ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

ХОЛОДНЫЙ ДОМ

Чарльз Диккенс
Холодный дом

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=132220
Диккенс, Чарльз. Холодный дом. Шедевр мировой литературы в одном томе : [роман]: Государственное издательство художественной литературы; Москва; 2016
ISBN 978-5-699-53733-4

Аннотация

Чарльз Диккенс (1812–1870) – один из величайших англоязычных прозаиков XIX века. «Просейте мировую литературу – останется Диккенс» – эти слова принадлежат Льву Толстому. Большой мастер создания интриги, Диккенс насытил драму «Холодный дом» тайнами и запутанными сюжетными ходами. Вы будете плакать и смеяться буквально на одной странице, сочувствовать и сострадать беззащитным и несправедливо обиженным – автор не даст вам перевести дух.

Содержание

Предисловие	7
Глава I	11
Глава II	24
Глава III	38
Глава IV	73
Глава V	96
Глава VI	121
Глава VII	160
Глава VIII	179
Глава IX	214
Глава X	241
Глава XI	262
Глава XII	289
Глава XIII	316
Глава XIV	343
Глава XV	380
Глава XVI	408
Глава XVII	424
Глава XVIII	449
Глава XIX	480
Глава XX	506
Глава XXI	533
Глава XXII	565

Глава XXIII 589
Глава XXIV 622
Глава XXV 654
Глава XXVI 670
Глава XXVII 694
Глава XXVIII 717
Глава XXIX 738
Глава XXX 756
Глава XXXI 786
Глава XXXII 814
Глава XXXIII 838
Глава XXXIV 865
Глава XXXV 893
Глава XXXVI 920
Глава XXXVII 947
Глава XXXVIII 981
Глава XXXIX 1000
Глава XL 1029
Глава XLI 1051
Глава XLII 1067
Глава XLIII 1080
Глава XLIV 1108
Глава XLV 1122
Глава XLVI 1145
Глава XLVII 1161
Глава XLVIII 1186

Глава XLIX 1214
Глава L 1239
Глава LI 1257
Глава LII 1278
Глава LIII 1298
Глава LIV 1320
Глава LV 1358
Глава LVI 1386
Глава LVII 1401
Глава LVIII 1432
Глава LIX 1458
Глава LX 1482
Глава LXI 1505
Глава LXII 1524
Глава LXIII 1541
Глава LXIV 1555
Глава LXV 1575
Глава LXVI 1589
Глава LXVII 1597

Чарлз Диккенс
Холодный дом

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Предисловие

Как-то раз в моем присутствии один из канцлерских судей любезно объяснил обществу примерно в полтораста человек, которых никто не подозревал в слабоумии, что хотя предубеждения против Канцлерского суда распространены очень широко (тут судья, кажется, покосился в мою сторону), но суд этот на самом деле почти безупречен. Правда, он признал, что у Канцлерского суда случались кое-какие незначительные промахи – один-два на протяжении всей его деятельности, но они были не так велики, как говорят, а если и произошли, то только лишь из-за «скаредности общества»: ибо это зловредное общество до самого последнего времени решительно отказывалось увеличить количество судей в Канцлерском суде, установленное – если не ошибаюсь – Ричардом Вторым, а впрочем, неважно, каким именно королем.

Эти слова показались мне шуткой, и, не будь она столь тяжеловесной, я решился бы включить ее в эту книгу и вложил бы ее в уста Велеречивого Кенджа или мистера Воулса, так как ее, вероятно, придумал либо тот, либо другой. Они могли бы даже присовокупить к ней подходящую цитату из шекспировского сонета:

Красильщик скрыть не может ремесло,

Так на меня проклятое занятье
Печатью несмываемой легло.
О, помоги мне смыть мое проклятье!

Но скаредному обществу полезно знать о том, что именно происходило и все еще происходит в судейском мире, поэтому заявляю, что все написанное на этих страницах о Канцлерском суде – истинная правда и не грешит против правды. Излагая дело Гридли, я только пересказал, не изменив ничего по существу, историю одного истинного происшествия, опубликованную беспристрастным человеком, который по роду своих занятий имел возможность наблюдать это чудовищное злоупотребление с самого начала и до конца. В настоящее время[1] в суде разбирается тяжба, которая была начата почти двадцать лет тому назад, в которой иногда выступало от тридцати до сорока адвокатов одновременно; которая уже обошлась в семьдесят тысяч фунтов, истраченных на судебные пошлины; которая является *дружеской тяжбой* и которая (как меня уверяют) теперь не ближе к концу, чем в тот день, когда она началась. В Канцлерском суде разбирается и другая знаменитая тяжба, все еще не решенная, а началась она в конце прошлого столетия и поглотила в виде судебных пошлин уже не семьдесят тысяч фунтов, а в два с лишком раза больше. Если бы понадобились другие доказательства того, что тяжбы, подобные делу «Джарндисы про-

[1] В августе 1853 г. (*Прим. автора.*)

тив Джарндисов», существуют, я мог бы в изобилии привести их на этих страницах, к стыду… скаредного общества.

Есть еще одно обстоятельство, о котором я хочу коротко упомянуть. С того самого дня, как умер мистер Крук, некоторые лица отрицают, что так называемое самовозгорание возможно; после того как кончина Крука была описана, мой добрый друг, мистер Льюис (быстро убедившийся в том, что глубоко ошибается, полагая, будто специалисты уже перестали изучать это явление), опубликовал несколько остроумных писем ко мне, в которых доказывал, что самовозгорания быть не может. Должен заметить, что я не ввожу своих читателей в заблуждение ни умышленно, ни по небрежности и, перед тем как писать о самовозгорании, постарался изучить этот вопрос. Известно около тридцати случаев самовозгорания, и самый знаменитый из них, происшедший с графиней Корнелией де Баиди Чезенате, был тщательно изучен и описан веронским пребендарием Джузеппе Бианкини, известным литератором, опубликовавшим статью об этом случае в 1731 году в Вероне и позже, вторым изданием, в Риме. Обстоятельства смерти графини не вызывают никаких обоснованных сомнений и весьма сходны с обстоятельствами смерти мистера Крука. Вторым в ряду наиболее известных происшествий этого рода можно считать случай, имевший место в Реймсе шестью годами раньше и описанный доктором Ле Ка, одним из самых известных хирургов во Франции. На этот раз умерла женщина, мужа которой, по недоразумению, об-

винили в ее убийстве, но оправдали после того, как он подал хорошо аргументированную апелляцию в вышестоящую инстанцию, так как свидетельскими показаниями было неопровержимо доказано, что смерть последовала от самовозгорания. Я не считаю нужным добавлять к этим знаменательным фактам и тем общим ссылкам на авторитет специалистов, которые даны в главе XXXIII, мнения и исследования знаменитых профессоров-медиков, французских, английских и шотландских, опубликованные в более позднее время; отмечу только, что не откажусь от признания этих фактов, пока не произойдет основательное «самовозгорание» тех свидетельств, на которых основываются суждения о происшествиях с людьми.

В «Холодном доме» я намеренно подчеркнул романтическую сторону будничной жизни.

Глава I
В Канцлерском суде

Лондон. Осенняя судебная сессия – «Сессия Михайлова дня» – недавно началась, и лорд-канцлер восседает в Линкольнс-Инн-Холле. Несносная ноябрьская погода. На улицах такая слякоть, словно воды потопа только что схлынули с лица земли, и, появись на Холборн-Хилле мегалозавр длиной футов в сорок, плетущийся, как слоноподобная ящерица, никто бы не удивился. Дым стелется, едва поднявшись из труб, он словно мелкая черная изморось, и чудится, что хлопья сажи – это крупные снежные хлопья, надевшие траур по умершему солнцу. Собаки так вымазались в грязи, что их и не разглядишь. Лошади едва ли лучше – они забрызганы по самые наглазники. Пешеходы, поголовно заразившись раздражительностью, тычут друг в друга зонтами и теряют равновесие на перекрестках, где, с тех пор как рассвело (если только в этот день был рассвет), десятки тысяч других пешеходов успели споткнуться и поскользнуться, добавив новые вклады в ту уже скопившуюся – слой на слое – грязь, которая в этих местах цепко прилипает к мостовой, нарастая, как сложные проценты.

Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где

он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города. Туман на Эссекских болотах, туман на Кентских возвышенностях. Туман ползет в камбузы угольных бригов; туман лежит на реях и плывет сквозь снасти больших кораблей; туман оседает на бортах баржей и шлюпок. Туман слепит глаза и забивает глотки престарелым гринвичским пенсионерам, хрипящим у каминов в доме призрения; туман проник в чубук и головку трубки, которую курит после обеда сердитый шкипер, засевший в своей тесной каюте; туман жестоко щиплет пальцы на руках и ногах его маленького юнги, дрожащего на палубе. На мостах какие-то люди, перегнувшись через перила, заглядывают в туманную преисподнюю и, сами окутанные туманом, чувствуют себя как на воздушном шаре, что висит среди туч.

На улицах свет газовых фонарей кое-где чуть маячит сквозь туман, как иногда чуть маячит солнце, на которое крестьянин и его работник смотрят с пашни, мокрой, словно губка. Почти во всех магазинах газ зажгли на два часа раньше обычного, и, кажется, он это заметил – светит тускло, точно нехотя.

Сырой день всего сырее, и густой туман всего гуще, и грязные улицы всего грязнее у ворот Тэмпл-Бара, сей крытой свинцом древней заставы, что отменно украшает подступы, но преграждает доступ к некоей свинцоволобой древней корпорации. А по соседству с Тэмпл-Баром, в Лин-

кольнс-Инн-Холле, в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

И в самом непроглядном тумане, и в самой глубокой грязи и трясине невозможно так заплутаться и так увязнуть, как ныне плутает и вязнет перед лицом земли и неба Верховный Канцлерский суд, этот зловреднейший из старых грешников.

День выдался под стать лорд-канцлеру – в такой, и только в такой вот день подобает ему здесь восседать, – и лорд-канцлер здесь восседает сегодня с туманным ореолом вокруг головы, в мягкой ограде из малиновых сукон и драпировок, слушая обратившегося к нему дородного адвоката с пышными бакенбардами и тоненьким голоском, читающего нескончаемое краткое изложение судебного дела, и созерцая окно верхнего света, за которым он видит туман и только туман. День выдался под стать членам адвокатуры при Верховном Канцлерском суде, – в такой-то вот день и подобает им здесь блуждать, как в тумане, и они в числе примерно двадцати человек сегодня блуждают здесь, разбираясь в одном из десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы, подставляя ножку друг другу на скользких прецедентах, по колено увязая в технических затруднениях, колотясь головами в защитных париках из козьей шерсти и конского волоса о стены пустословия и по-актерски серьезно делая вид, будто вершат правосудие. День выдался под стать всем причастным к тяжбе поверенным, из коих двое-трое унаследовали ее от своих отцов, зашибивших на ней деньгу, – в такой-то вот

день и подобает им здесь сидеть, в длинном, устланном коврами «колодце» (хоть и бессмысленно искать Истину на его дне); да они и сидят здесь все в ряд между покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, возражений ответчиков, постановлений, свидетельских показаний, судебных решений, референтских справок и референтских докладов – словом, целую гору чепухи, что обошлась очень дорого.

Да как же суду этому не тонуть во мраке, рассеять который бессильны горящие там и сям свечи; как же туману не висеть в нем такой густой пеленой, словно он застрял тут навсегда; как цветным стеклам не потускнеть настолько, что дневной свет уже не проникает в окна; как непосвященным прохожим, заглянувшим внутрь сквозь стеклянные двери, осмелиться войти сюда, не убоявшись этого зловещего зрелища и тягучих словопрений, которые глухо отдаются от потолка, прозвучав с помоста, где восседает лорд верховный канцлер, созерцая верхнее окно, не пропускающее света, и где все его приближенные париконосцы заблудились в тумане! Ведь это Канцлерский суд, и в любом графстве найдутся дома, разрушенные, и поля, заброшенные по его вине, в любом сумасшедшем доме найдется замученный человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище – покойник, которого он свел в могилу; ведь это он разорил истца, который теперь ходит в стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и

клянча у всех и каждого; это он позволяет могуществу денег бессовестно попирать право; это он так истощает состояния, терпение, мужество, надежду, так подавляет умы и разбивает сердца, что нет среди судейских честного человека, который не стремится предостеречь, больше того, – который часто не предостерегает людей: «Лучше стерпеть любую обиду, чем подать жалобу в этот суд!»

Так кто же в этот хмурый день присутствует в суде лорд-канцлера, кроме самого лорд-канцлера, адвоката, выступающего по делу, которое разбирается, двух-трех адвокатов, никогда не выступающих ни по какому делу, и вышеупомянутых поверенных в «колодце»? Здесь, в парике и мантии, присутствует секретарь, сидящий ниже судьи; здесь, облаченные в судейскую форму, присутствуют два-три блюстителя не то порядка, не то законности, не то интересов короля. Все они одержимы зевотой – ведь они никогда не получают ни малейшего развлечения от тяжбы ***«Джарндисы против Джарндисов»*** (того судебного дела, которое слушается сегодня), ибо все интересное было выжато из нее многие годы тому назад. Стенографы, судебные докладчики, газетные репортеры неизменно удирают вместе с прочими завсегдатаями, как только дело Джарндисов выступает на сцену. Их места уже опустели. Стремясь получше разглядеть все, что происходит в задрапированном святилище, на скамью у боковой стены взобралась щупленькая, полоумная старушка в измятой шляпке, которая вечно торчит в суде от начала и

до конца заседаний и вечно ожидает, что решение каким-то непостижимым образом состоится в ее пользу. Говорят, она действительно с кем-то судится или судилась; но никто этого не знает наверное, потому что никому до нее нет дела. Она всегда таскает с собой в ридикюле какой-то хлам, который называет своими «документами», хотя он состоит главным образом из бумажных спичек и сухой лаванды. Арестант с землистым лицом является под конвоем – чуть не в десятый раз – лично просить о снятии с него «обвинения в оскорблении суда», но просьбу его вряд ли удовлетворят, ибо он был когда-то одним из чьих-то душеприказчиков, пережил их всех и безнадежно запутался в каких-то счетах, о которых, по общему мнению, и знать не знал. Тем временем все его надежды на будущее рухнули. Другой разоренный истец, который время от времени приезжает из Шропшира, каждый раз всеми силами стараясь добиться разговора с канцлером после конца заседаний, и которому невозможно растолковать, почему канцлер, четверть века отравлявший ему жизнь, теперь вправе о нем забыть, – другой разоренный истец становится на видное место и следит глазами за судьей, готовый, едва тот встанет, воззвать громким и жалобным голосом: «Милорд!» Несколько адвокатских клерков и других лиц, знающих этого просителя в лицо, задерживаются здесь в надежде позабавиться на его счет и тем разогнать скуку, навеянную скверной погодой.

Нудное судоговорение по делу Джарндисов все тянется и

тянется. В этой тяжбе – пугале, а не тяжбе! – с течением времени все так перепуталось, что никто не может в ней ничего понять. Сами тяжущиеся разбираются в ней хуже других, и общеизвестно, что даже любые два юриста Канцлерского суда не могут поговорить о ней и пять минут без того, чтобы не разойтись во мнениях относительно всех ее пунктов. Нет числа младенцам, что сделались участниками этой тяжбы, едва родившись на свет; нет числа юношам и девушкам, что породнились с нею, как только вступили в брак; нет числа старикам, что выпутались из нее лишь после смерти. Десятки людей с ужасом узнавали вдруг, что они неизвестно как и почему оказались замешанными в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»; целые семьи унаследовали вместе с нею старые полузабытые распри. Маленький истец или ответчик, которому обещали подарить новую игрушечную лошадку, как только дело Джарндисов будет решено, успевал вырасти, обзавестись настоящей лошадью и ускакать на тот свет. Опекаемые судом красавицы девушки увяли, сделавшись матерями, а потом бабушками; прошла длинная вереница сменявших друг друга канцлеров; кипы приобщенных к делу свидетельств по искам уступили место кратким свидетельствам о смерти; с тех пор как старый Том Джарндис впал в отчаяние и, войдя в кофейню на Канцлерской улице, пустил себе пулю в лоб, на земле не осталось, кажется, и трех Джарндисов, но тяжба «Джарндисы против Джарндисов» все еще тянется в суде – год за годом, томительная и

безнадежная.

Тяжба Джарндисов дает пищу остроумию. Больше ничего хорошего из нее не вышло. Многим людям она принесла смерть, зато в судейской среде она дает пищу остроумию. Каждый референт Канцлерского суда наводил справки в приобщенных к ней документах. Каждый канцлер, в бытность свою адвокатом, выступал в ней от имени того или иного лица. Старшины юридических корпораций – пожилые юристы с сизыми носами и в тупоносых башмаках – не раз удачно острили на ее счет, заседая после обеда в избранном кругу своей «комиссии по распитию портвейна». Ученики-клерки привыкли оттачивать на ней свое юридическое острословие. Теперешний лорд-канцлер как-то раз тонко выразил всеобщее отношение к тяжбе: видный адвокат мистер Блоуэрс сказал про что-то: «Это будет, когда с неба хлынет картофельный дождь», а канцлер заметил: «Или – когда мы распутаем дело Джарндисов, мистер Блоуэрс», и этой шутке тогда до упаду смеялись блюстители порядка, законности и интересов короля.

Трудно ответить на вопрос: сколько людей, даже непричастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», было испорчено и совращено с пути истинного ее губительным влиянием. Она развратила всех судейских, начиная с референта, который хранит стопы насаженных на шпильки, пропыленных, уродливо измятых документов, приобщенных к тяжбе, и кончая последним клерком-переписчиком в «Па-

лате шести клерков», переписавшим десятки тысяч листов формата «канцлерский фолио» под неизменным заголовком «Джарндисы против Джарндисов». Под какими бы благовидными предлогами ни совершались вымогательство, надувательство, издевательство, подкуп и волокита, они тлетворны и ничего, кроме вреда, принести не могут. Даже мальчикам-слугам поверенных, издавна приучившимся не впускать несчастных просителей, уверяя их, будто мистер Чизл, Мизл – или как его там зовут? – сегодня особенно перегружен работой и занят до самого обеда, – даже этим мальчишкам пришлось лишний раз покривить душой из-за тяжбы Джарндисов. Сборщику судебных пошлин она принесла изрядную сумму денег, а в придачу – недоверие ко всем – даже к родной матери – и презрение к ближним. Чизл, Мизл – или как их там зовут? – привыкли давать себе туманные обещания разобраться в таком-то затянувшемся дельце и посмотреть, нельзя ли чем-нибудь помочь Дризлу, – с которым так плохо обошлись, – но не раньше, чем их контора развяжется с делом Джарндисов. Повсюду рассеяло это злополучное дело семена жульничества и жадности всех видов, и даже те люди, которые наблюдали за развитием тяжбы, находясь за пределами ее порочного круга, сами того не заметив, поддались искушению беспринципно махнуть рукой на все дурное вообще и, предоставив ему идти все тем же дурным путем, столь же беспринципно решили, что если мир плох, значит, устроен он как попало и не суждено ему быть хорошим.

Так в самой гуще грязи и в самом сердце тумана восседает лорд верховный канцлер в своем Верховном Канцлерском суде.

– Мистер Тенгл, – говорит лорд верховный канцлер, не вытерпев наконец красноречия этого ученого джентльмена.

– М'лорд? – отзывается мистер Тенгл.

Никто так тщательно не изучил дела «Джарндисы против Джарндисов», как мистер Тенгл. Он этим славится, – говорят даже, будто он со школьной скамьи ничего другого не читал.

– Вы скоро закончите изложение своих доводов?

– Нет, м'лорд… много разнообразных вопросов… но мой долг повиноваться… вашей м'лости, – выскальзывает ответ из уст мистера Тенгла.

– Мы должны выслушать еще нескольких адвокатов, не правда ли? – говорит канцлер с легкой усмешкой.

Восемнадцать ученых собратьев мистера Тенгла, каждый из которых вооружен кратким изложением дела на восемнадцати сотнях листов, подскочив, словно восемнадцать молоточков в рояле, и отвесив восемнадцать поклонов, опускаются на свои восемнадцать мест, тонущих во мраке.

– Мы продолжим слушание дела через две недели, в среду, – говорит канцлер.

Надо сказать, что вопрос, подлежащий обсуждению, – это всего лишь вопрос о судебных пошлинах, ничтожный росток в дремучем лесу породившей его тяжбы, – и уж он-то, несомненно, будет разрешен рано или поздно.

Канцлер встает; адвокаты встают; арестанта поспешно выводят вперед; человек из Шропшира взывает: «Милорд!» Блюстители порядка, законности и интересов короля негодующе кричат: «Тише!» – бросая суровые взгляды на человека из Шропшира.

– Что касается, – начинает канцлер, все еще продолжая судоговорение по делу «Джарндисы против Джарндисов», – что касается молодой девицы…

– Прош'прощенья, ваш'милость… молодого человека, – преждевременно вскакивает мистер Тенгл.

– Что касается, – снова начинает канцлер, произнося слова особенно внятно, – молодой девицы и молодого человека, то есть обоих молодых людей…

(Мистер Тенгл повержен во прах.)

– …коих я сегодня вызвал и кои сейчас находятся в моем кабинете, то я побеседую с ними и рассмотрю вопрос – целесообразно ли вынести решение о дозволении им проживать у их дяди.

Мистер Тенгл снова вскакивает:

– Прош'прощенья, ваш'милость… он умер.

– Если так, – канцлер, приложив к глазам лорнет, просматривает бумаги на столе, – то у их деда.

– Прош'прощенья, ваш'милость… дед пал жертвой… собственной опрометчивости… пустил пулю в лоб.

Тут из дальних скоплений тумана внезапно возникает крохотный адвокат и, пыжась изо всех сил, гудит громопо-

добным басом:

– Ваша милость, разрешите мне? Я выступаю от имени своего клиента. Молодым людям он приходится родственником в отдаленной степени родства. Я пока не имею возможности доложить суду, в какой именно степени, но он, бесспорно, их родственник.

Эта речь (произнесенная замогильным голосом) еще звучит где-то в вышине меж стропилами, а крохотный адвокат уже плюхнулся на свое место, скрывшись в тумане. Все его ищут глазами. Никто не видит его.

– Я побеседую с обоими молодыми людьми, – повторяет канцлер, – и рассмотрю вопрос о дозволении им проживать у их родственника. Я сообщу о своем решении завтра утром, когда открою заседание.

Канцлер уже собирается легким поклоном отпустить адвокатов, но тут подводят арестанта. Его запутанные дела, по-видимому, невозможно распутать, и остается только отдать приказ отвести его обратно в тюрьму, что и выполняют немедленно. Человек из Шропшира решается воззвать еще раз: «Милорд!» – но канцлер, заметив его, мгновенно исчезает. Все остальные тоже исчезают мигом. Батарею синих мешков заряжают тяжелыми бумажными снарядами, и клерки тащат ее прочь; полоумная старушка удаляется вместе со своими документами; опустевший суд запирают.

О, если б можно было здесь запереть всю им содеянную несправедливость, все горе, им принесенное, и сжечь дотла

вместе с ним как огромный погребальный костер, – какое это было бы счастье и для лиц, непричастных к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»!

Глава II
В большом свете

В этот слякотный день нам довольно лишь мельком взглянуть на большой свет. Он не так уж резко отличается от Канцлерского суда, и нам нетрудно будет сразу же перенестись из одного мира в другой. И большой свет, и Канцлерский суд скованы прецедентами и обычаями: они – как заспавшиеся Рипы Ван-Винклы, что и в сильную грозу играли в странные игры; они – как спящие красавицы, которых когда-нибудь разбудит рыцарь, после чего все вертелы в кухне, теперь неподвижные, завертятся стремительно!

Большой свет невелик. Даже по сравнению с миром таких, как мы, впрочем тоже имеющим свои пределы (в чем вы, ваша светлость, убедитесь, когда, изъездив его вдоль и поперек, окажетесь перед зияющей пустотой), большой свет – всего лишь крошечное пятнышко. В нем много хорошего; много хороших, достойных людей; он занимает предназначенное ему место. Но все зло в том, что этот изнеженный мир живет как в футляре для драгоценностей, слишком плотно закутанный в мягкие ткани и тонкое сукно, а потому не слышит шума более обширных миров, не видит, как они вращаются вокруг солнца. Это отмирающий мир, и порождения его болезненны, ибо в нем нечем дышать.

Миледи Дедлок вернулась в свой лондонский дом и дня через три-четыре отбудет в Париж, где ее милость собирается пробыть несколько недель; куда она отправится потом, еще неизвестно. Так, стремясь осчастливить парижан, предвещает великосветская хроника, а кому, как не ей, знать обо всем, что делается в большом свете. Узнавать об этом из других источников было бы не по-светски. Миледи Дедлок провела некоторое время в своей линкольнширской «усадьбе», как она говорит, беседуя в тесном кругу. В Линкольншире настоящий потоп. Мост в парке обрушился – одну его арку подмыло и унесло паводком. Низина вокруг превратилась в запруженную реку шириной в полмили, и унылые деревья островками торчат из воды, а вода вся в пузырьках – ведь дождь льет и льет день-деньской. В «усадьбе» миледи Дедлок скука была невыносимая. Погода стояла такая сырая, много дней и ночей напролет так лило, что деревья, должно быть, отсырели насквозь, и когда лесник подсекает и обрубает их, не слышно ни стука, ни треска – кажется, будто топор бьет по мягкому. Олени, наверное, промокли до костей, и там, где они проходят, в их следах стоят лужицы. Выстрел в этом влажном воздухе звучит глухо, а дымок из ружья ленивым облачком тянется к зеленому холму с рощицей на вершине, на фоне которого отчетливо выделяется сетка дождя. Вид из окон в покоях миледи Дедлок напоминает то картину, написанную свинцовой краской, то рисунок, сделанный китайской тушью. Вазы на каменной террасе перед

домом весь день наполняются дождевой водой, и всю ночь слышно, как она переливается через край и падает тяжелыми каплями – кап-кап-кап – на широкий настил из плитняка, исстари прозванный «Дорожкой призрака». В воскресенье пойдешь в церковку, что стоит среди парка, видишь – вся она внутри заплесневела, на дубовой кафедре выступил холодный пот, и чувствуешь такой запах, такой привкус во рту, словно входишь в склеп дедлоковских предков. Как-то раз миледи Дедлок (женщина бездетная), глядя ранними сумерками из своего будуара на сторожку привратника, увидела отблеск каминного пламени на стеклах решетчатых окон, и дым, поднимающийся из трубы, и женщину, догоняющую ребенка, который выбежал под дождем к калитке навстречу мужчине в клеенчатом плаще, блестящем от влаги, – увидела и потеряла душевное спокойствие. И миледи Дедлок теперь говорит, что все это ей «до смерти надоело».

Вот почему миледи Дедлок сбежала из линкольнширской усадьбы, предоставив ее дождю, воронам, кроликам, оленям, куропаткам и фазанам. А в усадьбе домоправительница прошла по комнатам старинного дома, закрывая ставни, и портреты покойных Дедлоков исчезли – словно скрылись от неизбывной тоски в отсыревшие стены. Скоро ли они вновь появятся на свет божий – этого даже великосветская хроника, всеведущая, как дьявол, когда речь идет о прошлом и настоящем, но не ведающая будущего, пока еще предсказать не решается.

Сэр Лестер Дедлок всего лишь баронет, но нет на свете баронета более величественного. Род его так же древен, как горы, но бесконечно почтеннее. Сэр Лестер склонен думать, что мир, вероятно, может обойтись без гор, но он погибнет без Дедлоков. О природе он, в общем, мог бы сказать, что замысел ее хорош (хоть она, пожалуй, немножко вульгарна, когда не заключена в ограду парка), но замысел этот еще предстоит осуществить, что всецело зависит от нашей земельной аристократии. Это джентльмен строгих правил, презирающий все мелочное и низменное, и он готов когда угодно пойти на какую угодно смерть, лишь бы на его безупречно честном имени не появилось ни малейшего пятнышка. Это человек почтенный, упрямый, правдивый, великодушный, с закоренелыми предрассудками и совершенно неспособный прислушиваться к голосу разума.

Сэр Лестер на добрых два десятка лет старше миледи. Ему уже перевалило за шестьдесят пять или шестьдесят шесть лет, а то и за все шестьдесят семь. Время от времени он страдает приступами подагры, и походка у него немного деревянная. Вид у него представительный: серебристо-седые волосы и бакенбарды, тонкое жабо, белоснежный жилет, синий сюртук, который всегда застегнут на все пуговицы, начищенные до блеска. Он церемонно учтив, важен, изысканно вежлив с миледи во всех случаях жизни и превыше всего ценит ее обаяние. К миледи он относится по-рыцарски, – так же, как в те времена, когда добивался ее руки, – и это – единствен-

ная романтическая черточка в его натуре.

Что и говорить, женился он на ней по любви, только по любви. До сего времени ходят слухи, будто она даже не родовита; впрочем, сам сэр Лестер происходит из столь знатного рода, что, вероятно, решил удовольствоваться им и обойтись без новых родственных связей. Зато миледи так прекрасна, так горда и честолюбива, одарена такой дерзновенной решительностью и умом, что может затмить целый легион светских дам. Эти качества в сочетании с богатством и титулом быстро помогли ей подняться в высшие сферы, и вот уже много лет, как миледи Дедлок пребывает в центре внимания великосветской хроники, на верхней ступени великосветской лестницы.

О том, как лил слезы Александр Македонский, осознав, что он завоевал весь мир и больше завоевывать нечего, знает каждый или может узнать теперь, потому что об этом стали упоминать довольно часто. Миледи Дедлок, завоевав *свой* мирок, не только не изошла слезами, но как бы оледенела. Утомленное самообладание, равнодушие пресыщения, такая невозмутимость усталости, что никаким интересам и удовольствиям ее не всколыхнуть, – вот победные трофеи этой женщины. Держится она безукоризненно. Если бы завтра ее вознесли на небеса, она, вероятно, поднялась бы туда, не выразив ни малейшего восторга.

Она все еще хороша собой, и хотя красота ее уже пережила летний расцвет, но осень для нее еще не настала. Ли-

цо у леди Дедлок примечательное – раньше его можно было назвать скорее очень миловидным, чем красивым, но с годами оно приобрело выражение, свойственное лицам высокопоставленных женщин, и это придало ее чертам классическую строгость. Она очень стройна и потому кажется высокой. На самом деле она среднего роста, но, как не раз клятвенно утверждал достопочтенный Боб Стейблс, «она умеет выставить свои стати в самом выгодном свете». Тот же авторитетный ценитель находит, что «экстерьер у нее безупречный», и, в частности, по поводу ее прически отмечает, что она «самая выхоленная кобылица во всей конюшне».

Итак, украшенная всеми этими совершенствами, миледи Дедлок (неотступно преследуемая великосветской хроникой) приехала в Лондон из линкольнширской усадьбы, чтобы провести дня три-четыре в своем городском доме, а затем отбыть в Париж, где ее милость собирается прожить несколько недель; куда она отправится потом, пока еще неясно. А в городском ее доме в этот слякотный, хмурый день появляется старосветский пожилой джентльмен, ходатай по делам, а также поверенный при Верховном Канцлерском суде, имеющий честь быть фамильным юрисконсультом Дедлоков, имя которых начертано на стольких чугунных ящиках, стоящих в его конторе, как будто ныне здравствующий баронет не человек, а монета, беспрерывно перелетающая по мановению фокусника из одного ящика в другой. Через вестибюль, вверх по лестнице, по коридорам, по комнатам, столь праздниц-

ным во время лондонского сезона и столь унылым остальное время года – страна чудес для посетителей, но пустыня для обитателей, – Меркурий в пудреном парике провожает пожилого джентльмена к миледи.

Пожилой джентльмен выглядит немного обветшалым, хотя, по слухам, он очень богат, ибо нажил большое состояние на заключении брачных договоров и составлении завещаний для членов аристократических семейств. Окруженный таинственным ореолом хранителя семейных тайн, он, как всем известно, владеет ими, не открывая их никому. Мавзолеи аристократии, век за веком врастающие в землю на уединенных прогалинах парков, среди молодой поросли и папоротника, хранят, быть может, меньше аристократических тайн, чем грудь мистера Талкингхорна, запертые в которой эти тайны бродят вместе с ним по белу свету. Он, что называется, «человек старой школы» – в этом образном выражении речь идет о школе, которая, кажется, никогда не была молодой, – и носит короткие штаны, стянутые лентами у колен, и гетры или чулки. Его черный костюм и черные чулки, все равно шелковые они или шерстяные, имеют одну отличительную особенность: они всегда тусклы. Как и он сам, платье его не бросается в глаза, застегнуто наглухо и не меняет своего оттенка даже при ярком свете. Он ни с кем никогда не разговаривает – разве только если с ним советуются по юридическим вопросам. Иногда можно увидеть, как он, молча, но чувствуя себя как дома, сидит в каком-нибудь крупном

поместье на углу обеденного стола или стоит у дверей гостиной, о которой красноречиво повествует великосветская хроника; здесь он знаком со всеми, и половина английской знати, проходя мимо, останавливается, чтобы сказать ему: «Как поживаете, мистер Талкингхорн?» Он без улыбки принимает эти приветствия и хоронит их в себе вместе со всем, что ему известно.

Сэр Лестер Дедлок сидит у миледи и рад видеть мистера Талкингхорна. Мистер Талкингхорн как будто сознает, что принадлежит Дедлокам по праву давности, а это всегда приятно сэру Лестеру; он принимает это как некую дань. Ему нравится костюм мистера Талкингхорна: подобный костюм тоже в некотором роде – дань. Он безукоризненно приличен, но все-таки чем-то смахивает на ливрею. Он облекает, если можно так выразиться, хранителя юридических тайн, дворецкого, ведающего юридическим погребом Дедлоков.

Подозревает ли об этом сам мистер Талкингхорн? Быть может, да, а может быть, и нет; но следует отметить одну замечательную особенность, свойственную миледи Дедлок, как дочери своего класса, как одной из предводительниц и представительниц своего мирка: смотрясь в зеркало, созданное ее воображением, она видит себя каким-то непостижимым существом, совершенно недоступным для понимания простых смертных, и в этом зеркале она действительно выглядит так. Однако любая тусклая планетка, вращающаяся вокруг нее, начиная с ее собственной горничной и кончая

директором Итальянской оперы, знает ее слабости, предрассудки, причуды, аристократическое высокомерие, капризы и кормится тем, что подсчитывает и измеряет ее душевные качества с такой же точностью и так же тщательно, как портниха снимает мерку с ее талии.

Допустим, что понадобилось создать моду на новый фасон платья, новый обычай, нового певца, новую танцовщицу, новое драгоценное украшение, нового карлика или великана, новую часовню – что-нибудь новое, все равно что. Этим займутся угодливые люди самых различных профессий, которые, по глубокому убеждению миледи Дедлок, способны лишь на преклонение перед ее особой, но в действительности могут научить вас командовать ею, как ребенком, – люди, которые всю свою жизнь только и делают, что нянчатся с ней, смиренно притворяясь, будто следуют за нею с величайшим подобострастием, на самом же деле ведут ее и всю ее свиту на поводу и, зацепив одного, непременно зацепят и уведут всех, куда хотят, как Лемюэль Гулливер увел грозный флот величественной Лилипутии.

– Если вы хотите привлечь внимание наших, сэр, – говорят ювелиры Блейз и Спаркл, подразумевая под «нашими» леди Дедлок и ей подобных, – вы должны помнить, что имеете дело не с широкой публикой; вы должны поразить их в самое уязвимое место, а их самое уязвимое место – вот это.

– Чтобы выгодно распродать этот товар, джентльмены, – говорят галантерейщики Шийн и Глосс своим знакомым

фабрикантам, – вы должны обратиться к нам, потому что мы умеем привлекать светскую клиентуру и можем создать моду на ваш товар.

– Если вы желаете видеть эту гравюру на столе у моих высокопоставленных клиентов, сэр, – говорит книгопродавец мистер Следдери, – если вы желаете ввести этого карлика или этого великана в дома моих высокопоставленных клиентов, сэр, если вы желаете обеспечить успех этому спектаклю у моих высокопоставленных клиентов, сэр, осмелюсь посоветовать вам поручить это дело мне, ибо я имею обыкновение изучать тех, кто задает тон в среде моих высокопоставленных клиентов, сэр, и, скажу не хвастаясь, могу обвести их вокруг пальца.

И, говоря это, мистер Следдери – человек честный – отнюдь не преувеличивает.

Итак, мистер Талкингхорн, быть может, не знает, что сейчас на душе у Дедлоков; но скорей всего знает.

– Дело миледи сегодня опять разбиралось в Канцлерском суде, не правда ли, мистер Талкингхорн? – спрашивает сэр Лестер, протягивая ему руку.

– Да. Сегодня оно опять разбиралось, – отвечает мистер Талкингхорн, как всегда, неторопливо кланяясь миледи, которая сидит на диване у камина и, держа перед собой ручной экран, защищает им лицо от огня.

– Не стоит и спрашивать, вышло ли из этого хоть что-нибудь путное, – говорит миледи с таким же скучающим видом,

какой был у нее в линкольнширской усадьбе.

– Ничего такого, что *вы* назвали бы «путным», сегодня не вышло, – отзывается мистер Талкингхорн.

– Да и никогда не выйдет, – говорит миледи.

Сэр Лестер не против бесконечных канцлерских тяжб. Тянутся они долго, денег стоят уйму, зато соответствуют британскому духу и конституции. Правда, сэр Лестер не очень заинтересован в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», хотя, кроме участия в ней – и, значит, надежды на наследство, – миледи не принесла ему никакого приданого, и он только смутно ощущает, как нелепейшую случайность, что его фамилия – фамилия Дедлок – встречается лишь в бумагах, приобщенных к какой-то тяжбе, тогда как должна бы стоять в ее заголовке. Но, по его мнению, Канцлерский суд, даже если он порой несколько замедляет правосудие и слегка путается, все-таки есть нечто, изобретенное – вкупе со многими другими «нечто» – совершенным человеческим разумом для закрепления навечно всего на свете. Вообще он твердо убежден, что санкционировать своей моральной поддержкой жалобы на этот суд все равно что подстрекать какого-нибудь простолюдина поднять где-нибудь восстание… по примеру Уота Тайлера.

– Ввиду того, что к делу приобщено несколько новых показаний, притом коротких, – начинает мистер Талкингхорн, – и ввиду того, что у меня есть прескверный обычай докладывать моим клиентам – с их разрешения – обо всех

новых обстоятельствах их судебного дела, – осторожный мистер Талкингхорн предпочитает не брать на себя лишней ответственности, – и далее, поскольку вы, как мне известно, собираетесь в Париж, я принес с собой эти показания.

(Сэр Лестер, кстати сказать, тоже собирается в Париж, но великосветская хроника жадно интересуется только его супругой.)

Мистер Талкингхорн вынимает бумаги, просит разрешения положить их на великолепный позолоченный столик, у которого сидит миледи, и, надев очки, начинает читать при свете лампы, прикрытой абажуром:

– «В Канцлерском суде. Между Джоном Джарндисом…»

Миледи прерывает его просьбой по возможности опускать «всю эту судейскую тарабарщину».

Мистер Талкингхорн бросает на нее взгляд поверх очков и, пропустив несколько строк, продолжает читать. Миледи с небрежным и презрительным видом перестает слушать. Сэр Лестер, покоясь в огромном кресле, смотрит на пламя камина и, кажется, величественно одобряет перегруженное бесчисленными повторами судейское многословие, видимо почитая его одним из оплотов нации. Там, где сидит миледи, становится жарко, а ручной экран, хоть и драгоценный, слишком мал; он красив, но бесполезен. Пересев на другое место, миледи замечает бумаги на столе… присматривается к ним… присматривается внимательней… и вдруг спрашивает:

– Кто это переписывал?

Мистер Талкингхорн мгновенно умолкает, изумленный волнением миледи и необычным для нее тоном.

– Кажется, такой почерк называется у вас, юристов, писарским почерком? – спрашивает она, снова приняв небрежный вид, и, обмахиваясь ручным экраном, пристально смотрит мистеру Талкингхорну в лицо.

– Нет, не сказал бы, – отвечает мистер Талкингхорн, рассматривая бумаги. – Вероятно, этот почерк приобрел писарской характер уже после того, как установился. А почему вы спрашиваете?

– Просто так, для разнообразия – очень уж скучно слушать. Но продолжайте, пожалуйста, продолжайте!

Мистер Талкингхорн снова принимается за чтение. Становится еще жарче; миледи загораживает лицо экраном. Сэр Лестер дремлет; но внезапно он вскакивает с криком:

– Как? Что вы сказали?

– Я сказал, – отвечает мистер Талкингхорн, быстро поднявшись, – «боюсь, что миледи Дедлок нездоровится».

– Мне дурно, – шепчет миледи побелевшими губами, – только и всего; но дурно, как перед смертью. Не говорите со мной. Позвоните и проводите меня в спальню!

Мистер Талкингхорн переходит в другую комнату; звонят колокольчики; чьи-то шаги шаркают и топочут; но вот наступает тишина. Наконец Меркурий приглашает мистера Талкингхорна вернуться.

– Ей лучше, – говорит сэр Лестер, жестом предлагая поверенному сесть и читать вслух – теперь уже ему одному. – Я очень испугался. Насколько я знаю, у миледи никогда в жизни не было обмороков. Правда, погода совершенно невыносимая… и миледи до смерти соскучилась у нас в линкольнширской усадьбе.

Глава III
Жизненный путь

Мне очень трудно приступить к своей части этого повествования, – ведь я знаю, что я неумная. Да и всегда знала. Помнится, еще в раннем детстве я часто говорила своей кукле, когда мы с ней оставались вдвоем:

– Ты же отлично знаешь, куколка, что я дурочка, так будь добра, не сердись на меня!

Румяная, с розовыми губками, она сидела в огромном кресле, откинувшись на его спинку, и смотрела на меня, – или, пожалуй, не на меня, а в пространство, – а я усердно делала стежок за стежком и поверяла ей все свои тайны.

Милая старая кукла! Я была очень застенчивой девочкой – не часто решалась открыть рот, чтобы вымолвить слово, а сердца своего не открывала никому, кроме нее. Плакать хочется, когда вспомнишь, как радостно было, вернувшись домой из школы, взбежать наверх, в свою комнату, крикнуть: «Милая, верная куколка, я знала, ты ждешь меня!», сесть на пол и, прислонившись к подлокотнику огромного кресла, рассказывать ей обо всем, что я видела с тех пор, как мы расстались. Я с детства была довольно наблюдательная, – но не сразу все понимала, нет! – просто я молча наблюдала за тем, что происходило вокруг, и мне хотелось понять это

как можно лучше. Я не могу соображать быстро. Но когда я очень нежно люблю кого-нибудь, я как будто яснее вижу все. Впрочем, возможно, что мне это только кажется потому, что я тщеславна.

С тех пор как я себя помню, меня, как принцесс в сказках (только принцессы всегда красавицы, а я нет), воспитывала моя крестная. То есть мне говорили, что она моя крестная. Это была добродетельная, очень добродетельная женщина! Она часто ходила в церковь: по воскресеньям – три раза в день, а по средам и пятницам – к утренней службе, кроме того, слушала все проповеди, не пропуская ни одной. Она была красива, и если б улыбалась хоть изредка, была бы прекрасна, как ангел (думала я тогда); но она никогда не улыбалась. Всегда оставалась серьезной и суровой. И она была такая добродетельная, что если и хмурилась всю жизнь, то лишь оттого, казалось мне, что видела, как плохи другие люди. Я чувствовала, что не похожа на нее ничем, что отличаюсь от нее гораздо больше, чем отличаются маленькие девочки от взрослых женщин, и казалась себе такой жалкой, такой ничтожной, такой чуждой ей, что при ней не могла держать себя свободно, мало того – не могла даже любить ее так, как хотелось бы любить. Я с грустью сознавала, до чего она добродетельна и до чего я недостойна ее, страстно надеялась, что когда-нибудь стану лучше, и часто говорила об этом со своей милой куклой; но все-таки я не любила крестной так, как должна была бы любить и любила бы, будь я по-настоя-

щему хорошей девочкой.

От этого, думается мне, я с течением времени сделалась более робкой и застенчивой, чем была от природы, и привязалась к кукле – единственной подруге, с которой чувствовала себя легко. Я была совсем маленькой девочкой, когда случилось одно событие, еще больше укрепившее эту привязанность.

При мне никогда не говорили о моей маме. О папе тоже не говорили, но больше всего мне хотелось знать о маме. Не помню, чтобы меня когда-нибудь одевали в траурное платье. Мне ни разу не показали маминой могилы. Мне даже не говорили, где находится ее могила. Однако меня учили молиться только за крестную, – словно у меня и не было других родственников. Не раз пыталась я, когда вечером уже лежала в постели, заговорить об этих волновавших меня вопросах с нашей единственной служанкой, миссис Рейчел (тоже очень добродетельной женщиной, но со мной обращавшейся строго), однако миссис Рейчел отвечала только: «Спокойной ночи, Эстер!», брала мою свечу и уходила, оставляя меня одну.

В нашей школе, где я была приходящей, училось семеро девочек, – они называли меня «крошка Эстер Саммерсон», – но я ни к одной из них не ходила в гости. Правда, все они были гораздо старше и умнее меня и знали гораздо больше, чем я (я была много моложе других учениц), но, помимо разницы в возрасте и развитии, нас, казалось мне, разделяло что-то еще. В первые же дни после моего поступления в школу

(я это отчетливо помню) одна девочка пригласила меня к себе на вечеринку, чему я очень обрадовалась. Но крестная в самых официальных выражениях написала за меня отказ, и я не пошла. Я ни у кого не бывала в гостях.

Наступил день моего рождения. В дни рождения других девочек нас отпускали из школы, а в мой нет. Дни рождения других девочек праздновали у них дома – я слышала, как ученицы рассказывали об этом друг другу; мой не праздновали. Мой день рождения был для меня самым грустным днем в году.

Я уже говорила, что, если меня не обманывает тщеславие (а я знаю, оно способно обманывать, и, может быть, я очень тщеславна, сама того не подозревая… впрочем, нет, не тщеславна), моя проницательность обостряется вместе с любовью. Я крепко привязываюсь к людям, и если бы теперь меня ранили, как в тот день рождения, мне, пожалуй, было бы так же больно, как тогда; но подобную рану нельзя перенести дважды.

Мы уже пообедали и сидели с крестной за столом у камина. Часы тикали, дрова потрескивали; не помню, как долго никаких других звуков не было слышно в комнате, да и во всем доме. Наконец, оторвавшись от шитья, я робко взглянула через стол на крестную, и в ее лице, в ее устремленном на меня хмуром взгляде прочла: «Лучше б у тебя вовсе не было дня рождения, Эстер… лучше бы ты и не родилась на свет!»

Я расплакалась и, всхлипывая, проговорила:

– Милая крестная, скажите мне, умоляю вас, скажите, моя мама умерла в тот день, когда я родилась?

– Нет, – ответила она. – Не спрашивай меня, дитя.

– Пожалуйста, пожалуйста, расскажите мне что-нибудь о ней. Расскажите же, наконец, милая крестная, пожалуйста, расскажите сейчас. За что она покинула меня? Как я ее потеряла? Почему я так отличаюсь от других детей и как получилось, что я сама в этом виновата, милая крестная? Нет, нет, нет, не уходите! Скажите же мне что-нибудь!

Меня обуял какой-то страх, и я в отчаянии уцепилась за ее платье и бросилась перед ней на колени. Она все время твердила: «Пусти меня!» Но вдруг замерла.

Ее потемневшее лицо так поразило меня, что мой порыв угас. Я протянула ей дрожащую ручонку и хотела было от всей души попросить прощения, но крестная так посмотрела на меня, что я отдернула руку и прижала ее к своему трепещущему сердцу. Она подняла меня и, поставив перед собой, села в кресло, потом заговорила медленно, холодным, негромким голосом (я и сейчас вижу, как она, сдвинув брови, показала на меня пальцем):

– Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время – и очень скоро, – когда ты поймешь это лучше, чем теперь, и почувствуешь так, как может чувствовать только женщина. То горе, что она принесла мне, я ей простила, – однако лицо крестной не смягчилось, когда

она сказала это, – и я больше не буду о нем говорить, хотя это такое великое горе, какого ты никогда не поймешь… да и никто не поймет, кроме меня, страдалицы. А ты, несчастная девочка, осиротела и была опозорена в тот день, когда родилась – в первый же из этих твоих постыдных дней рождения; так молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову, как сказано в Писании. Забудь о своей матери, и пусть люди забудут ее и этим окажут величайшую милость ее несчастному ребенку. А теперь уйди.

Я хотела было уйти – так замерли во мне все чувства, – но крестная остановила меня и сказала:

– Послушание, самоотречение, усердная работа – вот что может подготовить тебя к жизни, на которую в самом ее начале пала подобная тень. Ты не такая, как другие дети, Эстер, – потому что они рождены в узаконенном грехе и вожделении, а ты – в незаконном. Ты стоишь особняком.

Я поднялась в свою комнату, забралась в постель, прижалась мокрой от слез щекой к щечке куклы и, обнимая свою единственную подругу, плакала, пока не уснула. Хоть я и плохо понимала причины своего горя, мне теперь стало ясно, что никому на свете я не принесла радости и никто меня не любит так, как я люблю свою куколку.

Подумать только, как много времени я проводила с нею после этого вечера, как часто я рассказывала ей о своем дне рождения и заверяла ее, что всеми силами попытаюсь искупить тяготеющий на мне от рождения грех (в котором пока-

янно считала себя без вины виноватой) и постараюсь быть всегда прилежной и добросердечной, не жаловаться на свою судьбу и по мере сил делать добро людям, а если удастся, то и заслужить чью-нибудь любовь. Надеюсь, я не потворствую своим слабостям, если, вспоминая об этом, плачу. Я очень довольна своей жизнью, я очень бодра духом, но мне трудно удержаться.

Ну вот! Я вытерла глаза и могу продолжать. После этого дня я стала еще сильнее ощущать свое отчуждение от крестной и страдать от того, что занимаю в ее доме место, которое лучше было бы не занимать, и хотя в душе я была глубоко благодарна ей, но разговаривать с нею почти не могла. То же самое я чувствовала по отношению к своим школьным подругам, то же – к миссис Рейчел и особенно – к ее дочери, навещавшей ее два раза в месяц, – дочерью миссис Рейчел (она была вдовой) очень гордилась! Я стала очень замкнутой и молчаливой и старалась быть как можно прилежнее.

Как-то раз в солнечный день, когда я вернулась из школы с книжками в сумке и, глядя на свою длинную тень, стала, как всегда, тихонько подниматься наверх, к себе в комнату, крестная выглянула из гостиной и позвала меня. Я увидела, что у нее сидит какой-то незнакомый человек, – а незнакомые люди заходили к нам очень редко, – представительный важный джентльмен в черном костюме и белом галстуке; на мизинце у него был толстый перстень-печать, на часовой цепочке – большие золотые брелоки, а в руках – очки в золо-

той оправе.

– Вот она, эта девочка, – сказала крестная вполголоса. Затем проговорила, как всегда, суровым тоном: – Это Эстер, сэр.

Джентльмен надел очки, чтобы получше меня рассмотреть, и сказал:

– Подойдите, милая.

Продолжая меня разглядывать, он пожал мне руку и попросил меня снять шляпу. Когда же я сняла ее, он проговорил: «А!», потом «Да!». Затем уложил очки в красный футляр, откинулся назад в кресле и, перекладывая футляр с ладони на ладонь, кивнул крестной. Тогда крестная сказала мне: «Можешь идти наверх, Эстер», а я сделала реверанс джентльмену и ушла.

С тех пор прошло года два, и мне было уже почти четырнадцать, когда я однажды ненастным вечером сидела с крестной у камина. Я читала вслух, она слушала. Как всегда, я сошла вниз в девять часов, чтобы почитать Библию крестной, и читала одно место из Евангелия от Иоанна, где говорится о том, что к нашему Спасителю привели грешницу, а он наклонился и стал писать пальцем по земле.

– «Когда же продолжали спрашивать его, – читала я, – он, склонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень».

На этих словах я оборвала чтение, потому что крестная внезапно встала, схватилась за голову и страшным голосом

выкрикнула слова из другой главы Евангелия:

– «Итак, бодрствуйте… чтобы, пришедши внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте».

Мгновение она стояла, повторяя эти слова, и вдруг рухнула на пол. Мне незачем было звать на помощь – ее голос прозвучал по всему дому, и его услышали даже с улицы.

Ее уложили в постель. Она лежала больше недели, почти не изменившись внешне, – ее красивое лицо, со столь хорошо мне знакомым решительным и хмурым выражением, как бы застыло. Часто-часто, днем и ночью, прижавшись щекой к ее подушкам, чтобы она могла лучше расслышать мой шепот, я целовала ее, благодарила, молилась за нее, просила ее благословить и простить меня, умоляла подать хоть малейший знак, что она меня узнает и слышит. Все напрасно! Лицо ее словно окаменело. Ни разу, вплоть до самого последнего мгновения, и даже после смерти, оно не смягчилось.

На следующий день после похорон моей бедной, доброй крестной джентльмен в черном костюме и белом галстуке снова явился к нам. Он послал за мной миссис Рейчел, и я увидела его на прежнем месте – как будто он и не уходил.

– Моя фамилия Кендж, – сказал он, – запомните ее, дитя мое: контора Кенджа и Карбоя, в Линкольнс-Инне.

Я сказала, что уже встречалась с ним однажды и помню его.

– Садитесь, пожалуйста… вот здесь, поближе ко мне. Не

отчаивайтесь, – это бесполезно. Миссис Рейчел, вы осведомлены о делах покойной мисс Барбери, значит, мне незачем говорить вам, что средства, которыми она располагала при жизни, так сказать, умерли вместе с нею, и эта молодая девица теперь, когда ее тетка скончалась…

– Моя тетка, сэр!

– Не стоит продолжать обман, если этим не достигаешь никакой цели, – мягко проговорил мистер Кендж. – Она ваша тетка по крови, но не по закону. Не отчаивайтесь! Перестаньте плакать! Не надо так дрожать! Миссис Рейчел, наша юная приятельница, конечно, слышала о… э-э… – тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»?

– Нет, – ответила миссис Рейчел.

– Может ли быть, – изумился мистер Кендж, надев очки, – чтобы наша юная приятельница… *прошу* вас, не отчаивайтесь!.. никогда не слыхала о деле Джарндисов?

Я покачала головой, спрашивая себя, что это такое.

– Не слыхала о тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»? – проговорил мистер Кендж, глядя на меня поверх очков и осторожно поворачивая их футляр какими-то ласкающими движениями. – Не слыхала об одной из знаменитейших тяжб Канцлерского суда? О тяжбе Джарндисов, которая… э… является величайшим монументом канцлерской судебной практики? Тяжбе, в которой, я бы сказал, каждое осложнение, каждое непредвиденное обстоятельство, каждая фикция, каждая форма процедуры, известная этому су-

ду, повторяется все вновь и вновь? Это такая тяжба, какой не может быть нигде, кроме как в нашем свободном и великом отечестве. Должен сказать, миссис Рейчел, – очевидно, я казалась ему невнимательной и потому он обращался к ней, – что общая сумма судебных пошлин по тяжбе «Джарндисы против Джарндисов» дошла к настоящему времени до *шести-десяти*, а может быть, и *се-ми-десяти* тысяч фунтов! – заключил мистер Кендж, откидываясь назад в кресле.

Я ничего не могла понять; но что мне было делать? Я была так несведуща в подобных вопросах, что и после его разъяснений ровно ничего не понимала.

– Неужели она и впрямь ничего не слышала об этой тяжбе? – проговорил мистер Кендж. – Поразительно!

– Мисс Барбери, сэр, – начала миссис Рейчел, – которая ныне пребывает среди серафимов…

– Надеюсь, что так, надеюсь, – вежливо вставил мистер Кендж.

– …желала, чтобы Эстер знала лишь то, что может быть ей полезно. Только этому ее и учили здесь, а больше она ничего не знает.

– Прекрасно! – проговорил мистер Кендж. – В общем, это очень разумно. Теперь приступим к делу, – обратился он ко мне. – Мисс Барбери была вашей единственной родственницей (разумеется – незаконной; по закону же у вас, должен заметить, нет никаких родственников), но она скончалась, и, конечно, нельзя ожидать, что миссис Рейчел…

– Конечно, нет! – поспешила подтвердить миссис Рейчел.

– Разумеется, – согласился мистер Кендж. – Нельзя ожидать, что миссис Рейчел обременит себя вашим содержанием и воспитанием (прошу вас, не отчаивайтесь), поэтому вы теперь имеете возможность принять предложение, которое мне поручили сделать мисс Барбери года два тому назад, ибо хоть сама она тогда и отвергла это предложение, но просила сделать его вам в случае, если произойдет прискорбное событие, случившееся теперь. Далее, если я сейчас открыто признаю, что в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», а также в других делах я выступаю от имени весьма гуманного, хоть и своеобразного человека, погрешу ли я в каком-нибудь отношении против своей профессиональной осторожности? – заключил мистер Кендж, откидываясь назад в кресле и спокойно глядя на нас обеих.

Он, видимо, прямо-таки наслаждался звуками собственного голоса. Да и немудрено – голос у него был сочный и густой, что придавало большой вес каждому его слову. Он слушал себя с явным удовольствием, по временам слегка покачивая головой в такт своей речи или закругляя конец фразы движением руки. На меня он произвел большое впечатление, – даже в тот день, то есть раньше, чем я узнала, что он подражает одному важному лорду, своему клиенту, и что его прозвали «Велеречивый Кендж».

– Мистер Джарндис, – продолжал он, – осведомлен о… я бы сказал, печальном положении нашей юной приятельницы

и предлагает поместить ее в первоклассное учебное заведение, где воспитание ее будет завершено, где она ни в чем не станет нуждаться, где будут предупреждать ее разумные желания, где ее превосходно подготовят к выполнению ее долга на той ступени общественной лестницы, которая ей была предназначена… скажем, провидением.

И то, что он говорил, и его выразительная манера говорить произвели на меня такое сильное впечатление, что я, как ни старалась, не могла вымолвить ни слова.

– Мистер Джарндис, – продолжал он, – не ставит никаких условий, только выражает надежду, что наша юная приятельница не покинет упомянутое заведение без его ведома и согласия; что она добросовестно постарается приобрести знания, применяя которые будет впоследствии зарабатывать средства на жизнь; что она вступит на стезю добродетели и чести и… э-э… тому подобное.

Я все еще была не в силах выдавить из себя ни звука.

– Ну, так что же скажет наша юная приятельница? – продолжал мистер Кендж. – Не торопитесь, не торопитесь! Я подожду ответа. Не надо торопиться!

Мне ни к чему приводить здесь слова, которые тщетно пыталась произнести несчастная девочка, получившая это предложение. Мне легче было бы повторить те, которые она произнесла, если бы только их стоило повторять. Но я никогда не смогу выразить то, что она чувствовала и будет чувствовать до своего смертного часа.

Этот разговор происходил в Виндзоре, где я (насколько мне было известно) жила от рождения. Ровно через неделю, в изобилии снабженная всем необходимым, я уехала оттуда в почтовой карете, направлявшейся в Рединг.

Миссис Рейчел была так добра, что, прощаясь со мной, не растрогалась; я же была не так добра и плакала горькими слезами. Мне казалось, что за столько лет, прожитых вместе, я должна была бы узнать ее ближе, должна была так привязать ее к себе, чтобы наше расставание ее огорчило. Она коснулась моего лба холодным прощальным поцелуем, упавшим на меня, словно капля талого снега с каменного крыльца, – в тот день был сильный мороз, – а я почувствовала такую боль, такие укоры совести, что прижалась к ней и сказала, что если она расстается со мной так легко, то это – моя вина.

– Нет, Эстер, – возразила она, – это – твоя беда!

Почтовая карета подъехала к калитке палисадника, – мы не выходили из дома, пока не услышали стука колес, – и тут я грустно простилась с миссис Рейчел. Она вернулась в комнаты, прежде чем мой багаж был уложен на крышу кареты, и захлопнула дверь. Пока наш дом был виден, я сквозь слезы неотрывно смотрела на него из окна кареты. Крестная оставила все свое небольшое имущество миссис Рейчел, а та собиралась его распродать и уже вывесила наружу, на мороз и снег, тот старенький предкаминный коврик с узором из роз, который всегда казался мне самой лучшей вещью на свете. Дня за два до отъезда я завернула свою милую старую куклу

в ее собственную шаль и – стыдно признаться – похоронила ее в саду под деревом, которое росло у окна моей комнаты. У меня больше не осталось друзей, кроме моей птички, и я увезла ее с собой в клетке.

Клетка стояла у моих ног, на соломенной подстилке, и, когда дом скрылся из виду, я села на самый край низкого сиденья, чтобы легче было дотянуться до высокого окна кареты, и стала смотреть на опушенные инеем деревья, напоминавшие мне красивые кристаллы; на поля, совсем ровные и белые под пеленой снега, который выпал накануне; на солнце, такое красное, но излучавшее так мало тепла; на лед, отливающий темным металлическим блеском там, где конькобежцы и люди, скользившие по катку без коньков, смели с него снег. На противоположной скамье в карете сидел джентльмен, который казался очень толстым – так он был закутан; но он смотрел в другое окно, не обращая на меня никакого внимания.

Я думала о своей покойной крестной… и о памятном вечере, когда в последний раз читала ей вслух, и о том, как неподвижен и суров был ее хмурый взгляд, когда она лежала при смерти; думала о чужом доме, в который ехала; о людях, которых там увижу; о том, какими они окажутся и как встретят меня… но вдруг чуть не подскочила, – так неожиданны были чьи-то слова, прозвучавшие в карете:

– Какого черта вы плачете?

Я так испугалась, что потеряла голос и могла только ото-

зваться шепотом:

– Я, сэр?

Закутанный джентльмен не отрывался от окна, но я, конечно, догадалась, что это он заговорил со мной.

– Да, вы, – ответил он, повернувшись ко мне.

– Я не плачу, сэр, – пролепетала я.

– Нет, плачете, – сказал джентльмен. – Вот, смотрите!

Он сидел в дальнем углу кареты, но теперь подвинулся, сел прямо против меня и провел широким меховым обшлагом своего пальто по моим глазам (однако не сделав мне больно), а потом показал мне следы моих слез на меху.

– Ну вот! Теперь поняли, что плачете, – проговорил он. – Ведь так?

– Да, сэр, – согласилась я.

– А отчего вы плачете? – спросил джентльмен. – Вам не хочется ехать туда?

– Куда, сэр?

– Куда? Да туда, куда вы едете, – объяснил джентльмен.

– Я очень рада, что еду, сэр, – ответила я.

– Ну, так пусть у вас будет радостное лицо! – воскликнул джентльмен.

Он показался мне очень странным; то есть показались очень странными те немногие его черты, которые я могла разглядеть, – ведь он был закутан до самого подбородка, а лицо его почти закрывала меховая шапка с широкими меховыми наушниками, застегнутыми под подбородком; но я уже

успокоилась и перестала его бояться. И я сказала, что плакала, должно быть, оттого, что моя крестная умерла, а миссис Рейчел не горевала, расставаясь со мною.

– К чертям миссис Рейчел! – вскричал джентльмен. – Чтоб ее ветром унесло верхом на помеле!

Я опять испугалась, уже не на шутку, и взглянула на него с величайшим удивлением. Но я заметила, что глаза у него добрые, хоть он и сердито бормотал что-то себе под нос, продолжая всячески поносить миссис Рейчел.

Немного погодя он распахнул свой плащ, такой широкий, что в него, казалось, можно было завернуть всю карету, и сунул руку в глубокий боковой карман.

– Слушайте, что я вам скажу! – начал он. – Вот в эту бумагу, – он показал мне аккуратно сделанный пакет, – завернут кусок самого лучшего кекса, какой только можно достать за деньги… сверху слой сахара в дюйм толщины – точь-в-точь как жир на бараньей отбивной. А вот это – маленький паштет (настоящий деликатес и на вид, и на вкус); привезен из Франции. Как вы думаете, из чего он сделан? Из превосходной гусиной печенки. Вот так паштет! Теперь посмотрим, как вы все это скушаете.

– Благодарю вас, сэр, – ответила я, – я, право же, очень благодарна вам, но, – пожалуйста, не обижайтесь, – все это для меня слишком жирно.

– Опять сел в лужу! – воскликнул джентльмен – я не поняла, что он этим хотел сказать, – и выбросил оба пакета в

окно.

Больше он не заговаривал со мной и только, выйдя из кареты неподалеку от Рединга, посоветовал мне быть паинькой и прилежно учиться, а на прощанье пожал мне руку. Расставшись с ним, я, признаться, почувствовала облегчение. Карета отъехала, а он остался стоять у придорожного столба. Впоследствии мне часто случалось проходить мимо этого столба, и, поравнявшись с ним, я всякий раз вспоминала своего спутника – мне почему-то казалось, что я должна его встретить. Так было несколько лет; но я ни разу его не встретила и с течением времени позабыла о нем.

Когда карета остановилась, в окно заглянула очень подтянутая дама и сказала:

– Мисс Донни.

– Нет, сударыня, я Эстер Саммерсон.

– Да, конечно, – сказала дама. – Мисс Донни.

Наконец я поняла, что она, представляясь мне, назвала свою фамилию, и, попросив у нее извинения за недогадливость, ответила на ее вопрос, где уложены мои вещи. Под надзором столь же подтянутой служанки вещи мои перенесли в крошечную зеленую карету, затем мы трое – мисс Донни, служанка и я – уселись в нее и тронулись в путь.

– Мы все приготовили к вашему приезду, Эстер, – сказала мисс Донни, – а программу ваших занятий составили так, как пожелал ваш опекун, мистер Джарндис.

– Мой… как вы сказали, сударыня?

– Ваш опекун, мистер Джарндис, – повторила мисс Донни.

Я прямо обомлела, а мисс Донни подумала, что у меня захватило дух на морозе, и протянула мне свой флакон с нюхательной солью.

– А вы знакомы с моим… опекуном, мистером Джарндисом, сударыня? – спросила я наконец после долгих колебаний.

– Не лично, Эстер, – ответила мисс Донни, – только через посредство его лондонских поверенных, господ Кенджа и Карбоя. Мистер Кендж – человек замечательный. Необычайно красноречивый. Некоторые периоды в его речах просто великолепны!

В душе я согласилась с мисс Донни, но от смущения не решилась сказать это вслух. Не успела я опомниться, как мы доехали, и тут уж я совсем растерялась – никогда не забуду, что в тот вечер все в Гринлифе (доме мисс Донни) казалось мне каким-то туманным и призрачным.

Впрочем, я быстро здесь освоилась. Вскоре я так привыкла к гринлифским порядкам, что мне стало казаться, будто я приехала сюда уже давным-давно, а моя прежняя жизнь у крестной была не действительной жизнью, но сном. Такой точности, аккуратности и педантичности, какие царили в Гринлифе, наверное, не было больше нигде на свете. Здесь все обязанности распределялись по часам, – сколько их есть на циферблате, – и каждую выполняли в назначенный для нее час.

Нас, двенадцать пансионерок, воспитывали две мисс Донни – сестры-близнецы. Было решено, что в будущем я сама стану воспитательницей, и потому сестры Донни не только учили меня всему, что полагалось изучить в Гринлифе, но вскоре заставили помогать им в занятиях с другими девочками. Только этим и отличалась моя жизнь здесь от жизни других воспитанниц. Чем больше расширялись мои познания, тем больше уроков я давала, так что с течением времени у меня оказалось много работы, которую я очень любила, потому что, занимаясь со мной, милые девочки полюбили меня. Если, поступив к нам, новая воспитанница немного грустила и тосковала, она, право, не знаю почему, непременно сближалась со мной; поэтому всех новеньких стали отдавать на мое попечение. Они говорили, что я такая ласковая; а я думала, что это они сами ласковые. Я часто вспоминала о том, как в день своего рождения решила быть прилежной и добросердечной, не жаловаться на судьбу, стараться делать добро и, если удастся, заслужить чью-нибудь любовь, и, право же, право, готова была устыдиться, что сделала так мало, получив так много.

В Гринлифе я прожила шесть счастливых, спокойных лет. В день своего рождения я, слава богу, ни разу за это время не видела по глазам людей, что было бы лучше, если б я не родилась на свет. Когда наступал этот день, он приносил мне столько знаков любви и внимания, что они круглый год украшали мою комнату.

За эти шесть лет я ни разу никуда не выезжала, если не считать визитов к соседям во время каникул. Спустя примерно полгода после приезда в Гринлиф я спросила мисс Донни, как она думает, не написать ли мне мистеру Кенджу, что мне здесь хорошо живется, за что я очень благодарна, и, с ее одобрения, написала такое письмо. В ответ я получила официальное отношение юридической конторы, в котором подтверждалось получение моего письма и было сказано, что «содержание оного будет неукоснительно передано нашему клиенту». После этого я иногда слышала, как мисс Донни и ее сестра говорили, что плата за мое обучение поступает очень регулярно, и раза два в год отваживалась написать письмо мистеру Кенджу – такое же, как в первый раз. На каждое я получала обратной почтой точно такой же ответ, какой получила на свое первое, и все они были написаны тем же круглым почерком, а внизу стояла подпись: «Кендж и Карбой», сделанная другой рукой, – вероятно, самим мистером Кенджем.

Как странно, что мне приходится столько писать о себе самой! Как будто эта повесть – повесть о моей жизни! Впрочем, моя скромная особа вскоре отступит на задний план.

Шесть спокойных лет прожила я в Гринлифе (вспомнила, что уже говорила это), наблюдая в окружающих, как в зеркале, каждую ступень моего собственного роста и развития, и вот однажды ноябрьским утром получила следующее письмо. Я привожу его здесь без даты.

Для мисс Эстер Саммерсон.

Олд-сквер в Линкольнс-Инне.

Дело «Джарндисы против Джарндисов».

Сударыня!

Наш клиент, мистер Джарндис, согласно постановлению Канцлерского суда, принимает к себе в дом состоящую под опекой оного суда участницу вышеуказанного судебного дела и, вознамерившись подыскать ей достойную компаньонку, поручает нам уведомить Вас, что он желал бы воспользоваться Вашими услугами для достижения данной цели.

Мы обеспечили Вам проезд за наш счет в почтовой карете, выезжающей из Рединга в следующий понедельник, в восемь часов утра, и имеющей прибыть в Лондон, на Пикадилли, в каретный двор при гостинице «Погреб белого коня», где Вас будет ожидать наш клерк, чтобы проводить Вас в нашу контору по вышеуказанному адресу.

Готовые к Вашим услугам, сударыня,

Кендж и Карбой».

Ах, никогда, никогда, никогда не забыть мне, как взволновало это письмо весь дом! Так трогательно и горячо любили меня его обитательницы; так милостив был небесный отец, который не забыл меня, который облегчил и сгладил мой сиротский путь и привлек ко мне столько юных существ, что я едва могла вынести все это. Не могу сказать, чтобы мне хотелось видеть моих девочек не очень огорченными – нет, ко-

нечно, – но радость, и печаль, и гордость, и счастье, и смутное сожаление, вызванные их грустью, – все эти чувства так перемешались в моем сердце, что оно прямо разрывалось, хоть и было исполнено восторга.

День моего отъезда был назначен в письме, и на сборы у меня осталось только пять дней. И вот, когда я в течение всех этих пяти дней стала с каждой минутой получать все новые и новые доказательства любви и нежности; и когда наконец наступило утро отъезда и меня провели по всем комнатам, чтобы я взглянула на них в последний раз; и когда одна девочка крикнула: «Эстер, дорогая, простимся тут, у моей постели, ведь здесь ты впервые говорила со мной – и так ласково!»; и когда другие девочки попросили меня только написать им на бумажках их имена, с припиской: «От любящей Эстер»; и когда они все окружили меня, протягивая прощальные подарки, и со слезами прижимались ко мне, восклицая: «Что мы будем делать, когда наша милая, милая Эстер уедет!»; и когда я пыталась объяснить им, как снисходительны, как добры они были ко мне и как я благословляю и благодарю их всех, – что только творилось в моем сердце!

И когда обе мисс Донни, расставаясь со мной, горевали не меньше, чем самая маленькая воспитанница, и когда служанки говорили: «Будьте счастливы, мисс, где бы вам ни пришлось жить!», и когда невзрачный, хромой старик садовник, который, как мне казалось, все эти годы вряд ли замечал мое присутствие, тяжело дыша, побежал за отъезжавшей каре-

той, чтобы преподнести мне букетик герани, и сказал, что я была светом его очей, – старик именно так и сказал, – что только творилось в моем сердце!

И как мне было не плакать, если, проезжая мимо деревенской школы, я увидела неожиданное зрелище: бедные ребятишки высыпали наружу и махали мне шапками и капорами, а один седой джентльмен и его жена (я давала уроки их дочке и бывала у них в гостях, хотя они считались самыми высокомерными людьми во всей округе) закричали мне, позабыв обо всем, что нас разделяло: «До свиданья, Эстер! Желаем вам большого счастья!» – как мне было не плакать от всего этого и, сидя одной в карете, не твердить в глубочайшем волнении: «Я так благодарна, так благодарна!»

Но, конечно, я скоро рассудила, что после всего того, что для меня сделали, мне не подобает явиться в Лондон заплаканной. Поэтому я проглотила слезы и заставила себя успокоиться, то и дело повторяя: «Ну, Эстер, перестань! *Нельзя же так!*» В конце концов мне удалось вполне овладеть собой, хотя и не так быстро, как следовало бы, а когда я освежила себе глаза лавандовой водой, пора уже было готовиться к приезду в Лондон.

И вот я решила, что мы уже приехали, но оказалось, что до Лондона еще десять миль; когда же мы наконец действительно прибыли в город, мне все не верилось, что мы когда-нибудь доедем. Но как только мы начали трястись по булыжной мостовой и особенно когда мне стало казаться, будто все

прочие экипажи наезжают на нас, а мы наезжаем на них, я наконец поняла, что мы и в самом деле приближаемся к концу нашего путешествия. Немного погодя мы остановились.

На тротуаре стоял какой-то молодой человек, который, должно быть по неосторожности, вымазался чернилами; он обратился ко мне с такими словами:

– Я от конторы Кендж и Карбой в Линкольнс-Инне, мисс.

– Очень приятно, сэр, – отозвалась я.

Он оказался весьма предупредительным – приказал перенести в пролетку мой багаж, потом усадил в нее меня, и тут я спросила, уж не вспыхнул ли где-нибудь большой пожар, – спросила потому, что в городе стоял необычайно густой и темный дым – ни зги не было видно.

– Ну, что вы, мисс! Конечно, нет, – ответил молодой человек. – В Лондоне всегда так.

Я была поражена.

– Это туман, мисс, – объяснил он.

– Вот как! – воскликнула я.

Мы медленно двигались по улицам, самым грязным и темным на свете (казалось мне), и на каждой из них было такое столпотворение, что я удивлялась, как можно здесь не потерять головы; но вот шум внезапно сменился тишиной, – проехав под какими-то старинными воротами, мы покатили по безлюдной площади и остановились в углу у подъезда с широкой крутой лестницей, такой, какие бывают перед входом в церковь. И как по соседству с церковью нередко видишь

кладбище, так и здесь я, поднимаясь наверх, увидела в окно окаймленный аркадами двор, а в нем могилы с надгробными плитами.

В этом доме помещалась контора Кенджа и Карбоя. Молодой человек провел меня через канцелярию в кабинет мистера Кенджа, где сейчас никого не было, и вежливо пододвинул кресло к огню. Потом он показал мне на зеркальце, висевшее на гвозде сбоку от камина.

– Может, вам с дороги захочется привести себя в порядок, мисс, перед тем как представиться канцлеру. Впрочем, в этом вовсе нет надобности, смею заверить, – галантно проговорил молодой человек.

– Представиться канцлеру? – промолвила я в недоумении.

– Простая формальность, мисс, – объяснил молодой человек. – Мистер Кендж сейчас в суде. Он просил вам кланяться… не желаете ли подкрепиться, – я увидела на столике печенье и графин с вином, – а также просмотреть газету? – Молодой человек подал мне газету. Затем помешал угли в камине и ушел.

Все в этой комнате казалось мне таким странным – особенно потому, что здесь среди бела дня царил ночной мрак, свечи горели каким-то бледным пламенем и от всех предметов веяло сыростью и холодом, – и так все это было непривычно, что, взяв газету, я читала слова, не понимая их значения, и наконец поймала себя на том, что перечитываю одни и те же строки несколько раз подряд. Продолжать в том же

духе не имело смысла, поэтому я отложила газету, посмотрела в зеркало, хорошо ли на мне сидит шляпа, затем окинула взглядом полутемную комнату, потертые, покрытые пылью столы, кипы исписанной бумаги, книжный шкаф, набитый книгами самого невзрачного, самого непривлекательного вида. Потом я стала думать, и все думала, думала, думала; а огонь в камине все горел, и горел, и горел, а свечи мигали и оплывали, – щипцов для снимания нагара не было, пока молодой человек не принес щипцы, очень грязные, – и так я просидела целых два часа.

Наконец прибыл мистер Кендж. Кто-кто, а он ничуть не изменился; зато он нашел во мне резкую перемену, которой, видимо, был удивлен и очень доволен.

– Поскольку вам предстоит сделаться компаньонкой той молодой девицы, что сейчас сидит в кабинете канцлера, мисс Саммерсон, – сказал он, – мы полагаем, что вам сейчас следует находиться при ней. Присутствие лорд-канцлера вас не смутит, не правда ли?

– Нет, сэр, не думаю, – ответила я, поразмыслив, но так и не поняв, почему, собственно, я могу смутиться.

Итак, мистер Кендж взял меня под руку, и мы, выйдя на площадь, завернули за угол, миновали колоннаду какого-то здания и вошли в него через боковую дверь. Потом мы прошли по коридору и наконец очутились в хорошо обставленной комнате, где я увидела девушку и юношу у камина, в котором жарко горели и громко трещали дрова. Молодые люди

разговаривали, стоя друг против друга и опираясь на экран, поставленный перед камином.

Когда я вошла, они оба взглянули на меня, и девушка, озаренная пламенем, показалась мне необычайно красивой, – у нее были такие густые золотистые волосы, такие нежные голубые глаза, такое светлое, невинное, доверчивое лицо!

– Мисс Ада, – сказал мистер Кендж, – разрешите представить вам мисс Саммерсон.

Здороваясь со мной, она приветливо улыбнулась и протянула было мне руку, но вдруг передумала и поцеловала меня. Скажу коротко: она была так естественна, так мила и обаятельна, что уже спустя несколько минут мы с ней уселись в оконной нише, освещенной пламенем камина, и принялись болтать до того непринужденно и весело, будто век были подругами.

У меня точно гора с плеч свалилась! Как отрадно было сознавать, что она доверяет мне и что я ей нравлюсь! Как мило она отнеслась ко мне и как это меня ободрило!

Юноша был ее дальний родственник, Ричард Карстон, – она сама мне это сказала. Красивый, с ясным, открытым лицом, он удивительно хорошо смеялся, а когда Ада подозвала его, он стал возле нас и, тоже озаренный пламенем камина, стал разговаривать с нами весело, словно беззаботный мальчик. Лет ему было немного – девятнадцать, не больше, может быть, меньше; Ада была почти на два года моложе. Оба они потеряли родителей, а познакомились друг с другом только

сегодня (что показалось мне очень удивительным и странным). Итак, мы трое впервые встретились при столь необычных обстоятельствах, что об этом стоило поговорить, и мы говорили об этом, а огонь, переставший трещать, уже только подмигивал нам рдеющими очами, словно «засыпающий старый канцлерский лев», по выражению Ричарда.

Мы говорили вполголоса, потому что были не одни – какой-то судейский, в парадной мантии и парике фасона «с кошельком», то входил в комнату, то уходил, и, когда он открывал дверь, мы слышали какое-то отдаленное тягучее гуденье – судейский объяснил нам, что это один из адвокатов, выступающих по нашей тяжбе, обратился с речью к лорд-канцлеру. Наконец судейский сообщил мистеру Кенджу, что канцлер освободится через пять минут, и действительно вскоре послышался шум и топот, а мистер Кендж сказал, что заседание суда окончилось и его милость вернулся в свой кабинет.

Судейский в парике почти тотчас же распахнул дверь и пригласил мистера Кенджа войти. И вот мы все перешли в соседнюю комнату, – мистер Кендж впереди с моей дорогой девочкой (я теперь настолько привыкла называть ее так, что не могу писать иначе), – и здесь увидели лорд-канцлера, который сидел в кресле за столом у камина, одетый в простой черный костюм, – свою мантию, обшитую великолепным золотым кружевом, он бросил на другое кресло. Когда мы вошли, его милость окинул нас испытующим взглядом, но по-

здоровался с нами изысканно-вежливо и любезно.

Судейский в парике положил на стол его милости кипу дел, а его милость молча выбрал одно из них и принялся его перелистывать.

– Мисс Клейр, – проговорил лорд-канцлер. – Мисс Ада Клейр?

Мистер Кендж представил ему Аду, и его милость предложил ей сесть рядом с ним. Даже я сразу заметила, что она очень понравилась лорд-канцлеру и заинтересовала его. Но мне стало больно, когда я подумала о том, что у этой юной, прелестной девушки нет родного дома и ее опекает бездушное государственное учреждение, – ведь лорд верховный канцлер, даже самый добрый, едва ли может заменить любящих родителей.

– Джарндис, о котором идет речь, – начал лорд-канцлер, продолжая перелистывать дело, – это тот Джарндис, что владеет Холодным домом?

– Да, милорд, тот самый, что владеет Холодным домом, – подтвердил мистер Кендж.

– Неуютное название, – заметил лорд-канцлер.

– Но теперь это уютный дом, милорд, – сказал мистер Кендж.

– А Холодный дом, – продолжал его милость, – находится в…

– В Хэртфордшире, милорд.

– Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, не же-

нат? – спросил его милость.

– Нет, он не женат, милорд, – ответил мистер Кендж.

Минута молчания.

– Мистер Ричард Карстон здесь? – спросил лорд-канцлер, бросив взгляд на юношу.

Ричард поклонился и сделал шаг вперед.

– Гм! – произнес лорд-канцлер и снова принялся перелистывать дело.

– Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, милорд, – начал мистер Кендж вполголоса, – осмелюсь напомнить вашей милости, подыскал достойную компаньонку для…

– Для мистера Ричарда Карстона? – спросил (как мне показалось, но, может быть, я ослышалась) лорд-канцлер тоже вполголоса и улыбнулся.

– Для мисс Ады Клейр. Разрешите представить ее… мисс Саммерсон.

Его милость бросил на меня снисходительный взгляд и ответил на мой реверанс очень учтивым кивком.

– Мисс Саммерсон ведь не состоит в родстве ни с кем из тяжущихся?

– Нет, милорд.

Не успев договорить, мистер Кендж наклонился к канцлеру и начал о чем-то ему докладывать шепотом. Его милость слушал, не спуская глаз с бумаг; кивнул два-три раза, перевернул еще несколько страниц и потом до самого нашего ухода избегал смотреть на меня.

Мистер Кендж с Ричардом отошли к двери, у которой сидела я, а моя прелесть (я настолько привыкла называть ее так, что опять не могу удержаться!) осталась подле лорд-канцлера, и его милость побеседовал с нею отдельно – спросил (как она мне потом передала), тщательно ли она обдумала предложенный ей план устройства ее жизни, уверена ли, что ей будет хорошо у мистера Джарндиса, в Холодном доме, и почему она в этом уверена. Вскоре он поднялся и с поклоном отпустил ее, потом минуты две поговорил с Ричардом Карстоном, но уже стоя и не так официально, как говорил раньше, а проще – очевидно, он хоть и стал лорд-канцлером, но все еще не забыл, как нужно обращаться с наивными юношами, чтобы завоевать их симпатию.

– Прекрасно! – громко проговорил его милость. – Так я отдам приказ. Мистер Джарндис, владелец Холодного дома, подыскал для мисс Клейр очень хорошую компаньонку, насколько я могу судить, – тут только он взглянул на меня, – и при данных обстоятельствах весь план в целом, по-видимому, удачен – лучшего не придумать.

Он учтиво дал нам понять, что прием окончен, и все мы вышли, очень благодарные ему за то, что он был с нами так приветлив и любезен, чем, конечно, ничуть не умалил своего достоинства; напротив, это еще больше возвысило его в наших глазах.

Когда мы дошли до колоннады, мистер Кендж вспомнил, что ему нужно на минуту вернуться за какой-то справкой, и

оставил нас одних в тумане возле кареты лорд-канцлера, у которой стояли ожидавшие его слуги.

– Ну, с *этим* делом покончено! – сказал Ричард Карстон. – Куда же мы отправимся теперь, мисс Саммерсон?

– Разве вы этого не знаете? – спросила я.

– Не имею понятия, – ответил он.

– А *ты* знаешь, дорогая? – спросила я Аду.

– Нет! – сказала она. – А ты?

– И не подозреваю! – ответила я.

Мы переглянулись, посмеиваясь над тем, что стоим тут, словно дети, которые заблудились в лесу, как вдруг к нам подошла какая-то диковинная маленькая старушка в помятой шляпке и с ридикюлем в руках и, улыбаясь, сделала нам необычайно церемонный реверанс.

– О! – проговорила она. – Подопечные тяжбы Джарндисов! Оч-чень рада, конечно, что имею честь представиться! Какое это доброе предзнаменование для молодости, и надежды, и красоты, если они очутились здесь и не знают, что из этого выйдет.

– Полоумная! – прошептал Ричард, не подумав, что она может услышать.

– Совершенно верно! Полоумная, молодой джентльмен, – отозвалась она так быстро, что он совсем растерялся. – Я сама когда-то была подопечной. Тогда я еще не была полоумной, – продолжала она, делая глубокие реверансы и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы. – Я была ода-

рена молодостью и надеждой. Пожалуй, даже красотой. Теперь все это не имеет никакого значения. Ни та, ни другая, ни третья не поддержала меня, не спасла. Я имею честь постоянно присутствовать на судебных заседаниях. Со своими документами. Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро. В день Страшного суда. Я разгадала, что шестая печать, о которой сказано в Откровении, – это печать лорда верховного канцлера. Она давным-давно снята! Прошу вас, примите мое благословение.

Ада немного испугалась, а я, желая сделать удовольствие старушке, сказала, что мы ей очень обязаны.

– Да-а! – промолвила она жеманно. – Полагаю, что так. А вот и Велеречивый Кендж. Со *своими* документами! Как поживаете, ваша честь?

– Прекрасно, прекрасно! Ну, не приставайте к нам, любезная! – бросил на ходу мистер Кендж, уводя нас в свою контору.

– И не думаю, – возразила бедная старушка, семеня рядом со мной и Адой. – Вовсе не пристаю, я обеим им завещаю поместья, а это, надеюсь, не значит приставать? Ожидаю, что суд вынесет решение. Скоро. В день Страшного суда. Для вас это доброе предзнаменование. Примите же мое благословение!

Дойдя до широкой крутой лестницы, она остановилась и не пошла дальше; но когда мы, поднимаясь наверх, оглянулись, то увидели, что она все еще стоит внизу и лепечет, при-

седая и улыбаясь после каждой своей коротенькой фразы:

– Молодость. И надежда. И красота. И Канцлерский суд. И Велеречивый Кендж! Ха! Прошу вас, примите мое благословение!

Глава IV
Телескопическая филантропия

Мистер Кендж сообщил нам, когда мы вошли в его кабинет, что нам придется переночевать у миссис Джеллиби, затем повернулся ко мне и сказал, что я, конечно, знаю, кто такая миссис Джеллиби.

– Нет, не знаю, сэр, – ответила я. – Может быть, мистер Карстон… или мисс Клейр…

Но нет, они ровно ничего не знали о миссис Джеллиби.

– Та-ак, та-ак!.. Миссис Джеллиби, – начал мистер Кендж, становясь спиной к камину и устремляя взор на пыльный каминный коврик, словно на нем была написана биография упомянутой дамы, – миссис Джеллиби – это особа с необычайно сильным характером, всецело посвятившая себя обществу. В разные времена она занималась разрешением чрезвычайно разнообразных общественных вопросов, а в настоящее время посвящает себя (пока не увлечется чем-либо другим) африканскому вопросу, точнее – культивированию кофейных бобов… а *также* туземцев… и благополучному переселению на берега африканских рек лишнего населения Англии. Мистер Джарндис, – а он охотно поддерживает любое мероприятие, если оно считается полезным, и его часто осаждают филантропы, – мистер Джарндис, по-

видимому, очень высокого мнения о миссис Джеллиби.

Мистер Кендж поправил галстук и посмотрел на нас.

– А мистер Джеллиби, сэр? – спросил Ричард.

– Да! Мистер Джеллиби – он… э… я – пожалуй, смогу сказать вам о нем только то, что он муж миссис Джеллиби, – ответил мистер Кендж.

– Значит, он просто ничтожество, сэр? – проговорил Ричард, усмехаясь.

– Этого я не говорю, – с важностью ответил мистер Кендж. – Никак не могу этого сказать, ибо ровно ничего не знаю о мистере Джеллиби. Если мне не изменяет память, я ни разу не имел удовольствия его видеть. Возможно, что мистер Джеллиби человек выдающийся, но он, так сказать, растворился, растворился в более блестящих качествах своей супруги.

Далее мистер Кендж объяснил, что в такой ненастный вечер путь до Холодного дома показался бы нам очень долгим, темным и скучным, тем более что сегодня нам уже пришлось проехаться; поэтому мистер Джарндис сам предложил, чтобы мы переночевали в Лондоне. Завтра утром за нами к миссис Джеллиби приедет карета, которая и увезет нас из города.

Он позвонил в колокольчик, и вошел молодой человек, тот самый, который встретил меня, когда я приехала. Мистер Кендж назвал его Гаппи и спросил, отвезли ли к миссис Джеллиби вещи мисс Саммерсон и весь остальной багаж.

Мистер Гаппи сказал, что багаж отвезли, а сейчас у подъезда ждет карета, которая отвезет туда же и нас, как только мы пожелаем.

– Теперь, – начал мистер Кендж, пожимая нам руки, – мне осталось только выразить мое живейшее удовлетворение (до свиданья, мисс Клейр!) вынесенным сегодня решением и (всего вам *хорошего*, мисс Саммерсон!) живейшую надежду, что оно принесет счастье (рад, что имел честь познакомиться с вами, мистер Карстон!), всяческое благополучие и пользу всем заинтересованным лицам. Гаппи, проводите наших друзей до места.

– А где это «место», мистер Гаппи? – спросил Ричард, когда мы спускались с лестницы.

– Близехонько, – ответил мистер Гаппи, – Тейвис-Инн, знаете?

– Понятия не имею, где это, – ведь я приехал из Винчестера и никогда не бывал в Лондоне.

– Да тут рядом, за углом, – объяснил мистер Гаппи. – Свернем на Канцлерскую улицу, прокатимся по Холборну, и не пройдет четырех минут, как мы уже на месте, – рукой подать. Ну, мисс, *те*перь-то уж вы сами видите, что в Лондоне «всегда так», не правда ли?

Он, кажется, был в восторге от того, что я это вижу.

– Туман действительно очень густой! – подтвердила я.

– Но нельзя сказать, что он дурно влияет на вас, смею заверить, – проговорил мистер Гаппи, закинув подножку каре-

ты. – Напротив, мисс, судя по вашему цвету лица, он вам на пользу.

Я поняла, что, отпуская этот комплимент, он просто хотел доставить мне удовольствие, и сама посмеялась над собой за то, что покраснела; а мистер Гаппи, захлопнув дверцу, уже взобрался на козлы, и мы трое со смехом принялись болтать о том, какие мы все неопытные и какой этот Лондон странный, да так и болтали, пока не свернули под какую-то арку и не достигли места нашего назначения – узкой улицы с высокими домами, похожей на длинную цистерну, до краев наполненную туманом. Кучка зевак, в которой детей было больше, чем взрослых, стояла перед домом, к которому мы подъехали, – на двери его была прибита потускневшая медная дощечка с надписью: «Джеллиби».

– Ничего страшного, не волнуйтесь! – сказал мистер Гаппи, заглядывая к нам в окно кареты. – Это просто один из ребят Джеллиби застрял головой в ограде нижнего дворика.

– Бедняжка! – воскликнула я. – Откройте, пожалуйста, дверцу, – я выйду!

– Будьте осторожны, мисс. Ребята Джеллиби вечно выкидывают какие-нибудь штуки, – предупредил меня мистер Гаппи.

Я направилась к дворику, вырытому ниже уровня улицы, и подошла к бедному мальчугану, который оказался одним из самых жалких замарашек, каких я когда-либо видела; застряв между двумя железными прутьями, он, весь красный,

вопил не своим голосом, испуганно и сердито, в то время как продавец молока и приходский надзиратель, движимые самыми лучшими побуждениями, старались вытащить его наверх за ноги, очевидно полагая, что это поможет его черепу сжаться. Присмотревшись к мальчику (но сначала успокоив его), я заметила, что голова у него, как у всех малышей, большая, а значит, туловище, вероятно, пролезет там, где пролезла она, и сказала, что лучший способ вызволить ребенка – это пропихнуть его головой вперед. Продавец молока и приходский надзиратель принялись выполнять мое предложение с таким усердием, что бедняжка немедленно грохнулся бы вниз, если бы я не удержала его за передник, а Ричард и мистер Гаппи не прибежали на дворик через кухню, чтобы подхватить мальчугана, когда его протолкнут. В конце концов он, целый и невредимый, очутился внизу и тут же в остервенении принялся колотить мистера Гаппи палочкой от обруча.

Ни один из обитателей этого дома не вышел на шум, если не считать какой-то особы в высоких деревянных сандалиях, которая, стоя внизу во дворике, тыкала в мальчугана метлой, – не знаю, зачем, да, впрочем, она, пожалуй, и сама этого не знала. Поэтому я решила, что миссис Джеллиби нет дома, и была очень удивлена, когда та же особа появилась в коридоре, – но уже без сандалий, – и, проводив Аду и меня до выходящей во двор комнаты на втором этаже, доложила о нас так:

– Молодые леди пришли, миссис Джеллиби, те самые!

Поднимаясь наверх, мы прошли мимо нескольких других детей, на которых трудно было не наткнуться в темноте, а когда предстали перед миссис Джеллиби, один из этих бедных малышей с громким криком полетел кувырком вниз по лестнице и (как я заключила по шуму) прокатился целый марш.

Однако лицо миссис Джеллиби не отражало и малой доли того беспокойства, какого нельзя было не заметить на наших лицах, когда голова ее дорогого отпрыска отмечала свое движение по лестнице, стукаясь о каждую ступеньку, – Ричард говорил впоследствии, что их целых семь, да еще площадка, – и нас миссис Джеллиби встретила совершенно невозмутимо. Это была миловидная, очень маленькая, пухленькая женщина лет сорока-пятидесяти, с красивыми глазами, которые, как ни странно, все время были устремлены куда-то вдаль. Казалось, – я опять повторяю слова Ричарда, – будто они видят только то, что находится не ближе Африки!

– Очень, очень рада, – проговорила миссис Джеллиби приятным голосом, – что имею удовольствие принять вас у себя. Я глубоко уважаю мистера Джарндиса и не могу отнестись безучастно к тем, с кем он поддерживает знакомство.

Мы поблагодарили ее и сели у двери на колченогий, ветхий диван. У миссис Джеллиби были очень хорошие волосы, но, по горло занятая своими африканскими делами, она, очевидно, не успевала причесываться. Шаль, небрежно накинутая на ее плечи, упала на кресло, когда миссис Джелли-

би встала и двинулась нам навстречу; когда же она повернулась, чтобы снова сесть на свое место, мы не могли не заметить, что платье ее не застегнуто на спине и видна корсетная шнуровка – ни дать ни взять решетчатая стена садовой беседки.

Комната, усыпанная бумажками и почти вся загроможденная огромным письменным столом, тоже заваленным бумагами, была, надо сознаться, не только в полном беспорядке, но и очень грязна. Наши глаза не могли не заметить этого, а уши не могли не слышать воплей бедного ребенка, который упал с лестницы, должно быть – в кухню, где кто-то, казалось, пытался его задушить.

Но кто нас особенно поразил, так это изможденная, нездоровая с виду, хоть и довольно хорошенькая девушка, которая сидела за письменным столом, покусывая гусиное перо и уставившись на нас.

Трудно было так измазаться чернилами, как измазалась она. К тому же она с головы до ног (с нечесаной головки и до изящных ножек, обезображенных изношенными и рваными атласными туфлями со стоптанными каблуками) была одета так неряшливо, что, кажется, ни одна принадлежность ее туалета, начиная с булавок, не была в должном порядке и на своем месте.

– Вы видите, дорогие мои, – начала миссис Джеллиби, снимая нагар с двух вставленных в оловянные подсвечники толстых конторских свечей, от которых вся комната пропах-

ла горелым салом (камин давно погас, и в нем лежали только зола, несколько головешек да кочерга), – вы видите, дорогие мои, что у меня, как всегда, очень много работы; но вы меня извините. Теперь все мое время занято африканским проектом. В связи с ним я должна вести обширную переписку с различными общественными организациями и частными лицами, которые радеют о благосостоянии своих соотечественников. Я с удовлетворением могу сообщить вам, что дело подвигается. Мы надеемся, что уже через год от полутораста до двухсот здоровых семейств будут у нас заняты выращиванием кофе и обучением туземцев в Бориобула-Гха на левом берегу Нигера.

Ада молча взглянула на меня, и я тогда сказала, что все это, должно быть, очень отрадно.

– Очень отрадно, – подтвердила миссис Джеллиби. – И требует от меня всех моих сил; но не стоит их жалеть, если дело увенчается успехом, а я с каждым днем все больше верю в успех. Вы знаете, мисс Саммерсон, я просто не могу понять, почему *вы* до сих пор не заинтересовались Африкой.

Признаюсь, этот поворот в разговоре явился для меня столь неожиданным, что я растерялась. Я заикнулась было, что африканский климат…

– Лучший климат в мире! – перебила меня миссис Джеллиби.

– Разве, сударыня?

– Безусловно. Надо только остерегаться, – сказала миссис

Джеллиби. – Пройдите по Холборну, не остерегаясь, – попадете под колеса. Пройдите по Холборну осторожно, и вы никогда не попадете под колеса. То же самое и в Африке.

– Совершенно верно, – согласилась я, подумав: «Верно-то верно, но только по отношению к Холборну».

– Вот, не хотите ли взглянуть, – продолжала миссис Джеллиби, пододвигая к нам какие-то бумаги, – это заметки по поводу африканского климата и по всему африканскому вопросу в целом (мы их широко распространили) – почитайте, а я пока закончу письмо, которое диктую… своей старшей дочери – она мне заменяет секретаря…

Девушка, сидевшая за столом, перестала покусывать перо и поздоровалась с нами не то застенчиво, не то хмуро.

– Вот только допишем это письмо, и все мои сегодняшние дела будут завершены, – продолжала миссис Джеллиби с ласковой улыбкой, – хотя вообще работа моя никогда не кончается… На чем мы остановились, Кедди?

– «Кланяется мистеру Суоллоу и имеет честь…» – прочла Кедди.

– «…имеет честь уведомить его, – начала диктовать миссис Джеллиби, – в ответ на его письменный запрос об африканском проекте…» Уйди, Пищик, не приставай!

Пищик (так он сам себя прозвал) оказался тем самым несчастным ребенком, который только что скатился с лестницы; подойдя с пластырем на лбу к матери, он мешал ей диктовать, показывая на свои разбитые коленки, а мы с

Адой, глядя на них, не знали, чему ужасаться больше – ссадинам или грязи, которыми они были покрыты. Но миссис Джеллиби с безмятежным спокойствием, с каким говорила всегда, только бросила ему: «Уходи прочь, Пищик, несносный мальчишка!» – и снова устремила свои красивые глаза на Африку.

Она опять принялась за диктовку, а я отважилась тихонько остановить уходившего Пищика и, уверенная, что никому этим не помешаю, посадила бедняжку к себе на колени. Он очень удивился, особенно когда Ада поцеловала его, но вскоре стал всхлипывать все реже и реже, пока не затих совсем, и крепко уснул у меня на руках. Занявшись Пищиком, я упустила многие подробности письма, но все же сделала из него вывод, что Африка – это самое главное, а все прочие страны и вообще все на свете не имеет ровно никакого значения, и я прямо-таки устыдилась, что так мало о ней думала.

– Уже шесть часов! – проговорила миссис Джеллиби. – А мы обедаем в пять – то есть это только считается, что в пять, а на самом деле мы обедаем в разное время. Кедди, проводи мисс Клейр и мисс Саммерсон в их комнаты. Вы, наверное, хотите переодеться? Меня вы, конечно, извините, ведь я так занята. Ох, что за противный ребенок! Пожалуйста, мисс Саммерсон, спустите его на пол!

Но я попросила позволения взять малыша с собой, искренне уверяя, что он вовсе меня не беспокоит, унесла его

наверх и положила на свою кровать. Нам с Адой отвели наверху две смежные комнаты, сообщающиеся дверью. В них почти совсем не было мебели и царил немыслимый беспорядок, а занавеска на моем окне держалась только при помощи вилки.

– Принести вам горячей воды? – спросила нас мисс Джеллиби и огляделась в поисках кувшина с уцелевшей ручкой, но так и не нашла его.

– Пожалуйста, если вам нетрудно, – ответили мы.

– Дело не в трудности, – отрезала мисс Джеллиби, – вопрос в том, *есть ли* у нас вообще горячая вода.

Вечер был такой холодный, а воздух в комнатах такой сырой и затхлый, что, признаюсь, я чувствовала себя довольно скверно, тогда как Ада едва удерживалась от слез. Впрочем, мы вскоре развеселились и усердно принялись распаковывать свои вещи, но тут вернулась мисс Джеллиби и сказала, что, к сожалению, горячей воды нет, – чайник не удалось отыскать, а кипятильник испортился.

Мы попросили ее не беспокоиться и поторопились как можно скорее спуститься вниз – к огоньку. Но тут все дети, сколько их было в доме, поднялись по лестнице на площадку перед моей комнатой, чтобы полюбоваться чудом – спящим в моей постели Пищиком, – так что внимание наше все время отвлекалось непрестанным мельканием носиков и пальчиков, которым грозила опасность быть прищемленными дверью. Надо сказать, что комнаты наши не запирались

– у моей двери не было ручки, так что открыть и закрыть эту дверь можно было бы, только вставив в дырку заводной ключ, а в комнате Ады дверная ручка, правда, вертелась с величайшей легкостью, описывая полный круг, но на дверь это не оказывало никакого влияния. Поэтому я предложила детям войти ко мне в комнату и посидеть смирно за столом, пока я буду переодеваться и рассказывать им сказку о Красной Шапочке, на что они согласились и, войдя, вели себя тихо, как мышки, все до единого, даже Пищик, который проснулся как раз вовремя – еще до появления волка.

Наконец мы спустились по лестнице при свете коптилки, точнее зажженного фитиля, который плавал в стоявшей на окне кружке с надписью: «На память о Тенбриджских водах», и, войдя в гостиную (с открытой настежь дверью в комнату миссис Джеллиби), застали в ней девицу с опухшим, обмотанным фланелью лицом, которая, задыхаясь, тщетно старалась раздуть огонь в камине. Комната была полна дыму, так что мы целых полчаса просидели в ней при открытых окнах, кашляя и вытирая слезы, в то время как миссис Джеллиби все так же кротко диктовала письма об Африке. Я, признаться, была очень рада видеть ее столь поглощенной делами, ибо Ричард стал рассказывать нам, как ему пришлось мыть руки в форме для паштета и как чайник отыскался на его туалетном столике, и до того насмешил этим Аду, что и я, глядя на них, смеялась как дурочка.

В начале восьмого мы направились в столовую и, вняв со-

вету миссис Джеллиби, спускались по лестнице очень осторожно – половики, лишь кое-где прикрепленные прутьями к ступеням, были так изорваны, что превратились в настоящие ловушки. Нам подали превосходную треску, ростбиф, котлеты и пудинг – словом, обед мог бы быть очень хорошим, если бы только он был приготовлен хоть мало-мальски сносно; но все кушанья были недоварены или недожарены. Девица с фланелевой повязкой, прислуживая за столом, швыряла на него блюда куда попало и больше уже к ним не притрагивалась, а убирая со стола, ставила посуду на ступеньки лестницы. Та особа, которая была в деревянных сандалиях, когда мы впервые ее увидели (вероятно, кухарка), то и дело подходила к дверям и препиралась с опухшей девицей – судя по всему, они не ладили.

В течение всего обеда, который очень затянулся из-за различных происшествий – миску с картофелем уронили в угольное ведро, от штопора отлетела ручка и ударила девицу в подбородок, – в течение всего обеда миссис Джеллиби была по-прежнему невозмутима. Она рассказала нам кучу интересных вещей о Бориобула-Гха и туземцах, и ей принесли столько писем, что Ричард, сидевший рядом с нею, заметил в подливке четыре конверта сразу. Некоторые письма содержали отчеты о деятельности дамских комитетов или принятые на дамских совещаниях резолюции, и наша хозяйка читала их вслух; в других были запросы лиц, по разным причинам интересующихся культивированием кофе и туземцев;

третьи требовали немедленного отклика, и миссис Джеллиби три или четыре раза заставляла старшую дочь выходить из-за стола, чтобы писать на них ответы. Она была полна энергии и, несомненно, как сама говорила нам раньше, предана делу.

Мне хотелось узнать, кто тот скромный, лысый джентльмен в очках, который сел на свободный стул (определенных мест для хозяина и хозяйки здесь не было), после того как рыбу уже унесли, и, казалось, пассивно мирился с существованием Бориобула-Гха, но не был активно заинтересован этой колонией. За весь вечер он не вымолвил ни слова, и если бы не цвет лица, его можно было бы принять за туземца.

Лишь после того, как обед кончился и мы, дамы, вышли из столовой, оставив его наедине с Ричардом, мне пришло в голову, что ведь это, пожалуй, мистер Джеллиби. И он действительно оказался мистером Джеллиби, что подтвердил некий мистер Куэйл – говорливый молодой человек с зачесанными назад волосами, открывавшими лоснящийся, шишковатый на висках лоб; он пришел после обеда и, отрекомендовавшись Аде филантропом, сказал ей, что, по его мнению, брак миссис Джеллиби с мистером Джеллиби – это союз духа и материи.

Этот молодой человек не только сам разглагольствовал очень пространно о своих заслугах в африканских делах и о своем проекте подготовки «кофейных колонистов» к тому, чтобы они, обучив туземцев вытачивать ножки для роялей,

наладили экспортную торговлю этими ножками, но всячески старался обратить общее внимание на миссис Джеллиби, задавая ей такие, например, вопросы: «Насколько я знаю, миссис Джеллиби, вы за один день получили от полутораста до двухсот писем об Африке, не правда ли?» или: «Если меня не обманывает память, вы, миссис Джеллиби, говорили мне, что однажды отправили из одного почтового отделения пять тысяч циркуляров сразу?», и, как переводчик, повторял нам ответы миссис Джеллиби. Мистер Джеллиби весь вечер просидел в углу, прислонившись головой к стене и явно предаваясь унынию. Оставшись наедине с Ричардом после обеда, он, оказывается, несколько раз открывал было рот, словно собираясь что-то сказать, но, к величайшему смущению Ричарда, закрывал его, не проронив ни слова.

Миссис Джеллиби, обложившись кипами исписанной бумаги, сидела в ней, как в гнезде, весь вечер пила кофе и время от времени диктовала своей старшей дочери. Кроме того, она завела спор с мистером Куэйлом на тему – если только я правильно поняла – о братстве людей и при этом высказала несколько возвышенных суждений. Впрочем, я не могла слушать их беседу так внимательно, как следовало бы, потому что Пищик и все остальные ребятишки столпились возле нас с Адой в углу гостиной, приставая, чтобы им опять рассказали сказку, так что мы сидели, окруженные детьми, и шепотом рассказывали им о Коте в сапогах и не помню еще о чем, пока миссис Джеллиби случайно не вспомнила о них

и не отослала их спать. Пищик с криком требовал, чтобы в постель его уложила я, и я отнесла его наверх, где девица с фланелевой повязкой, как дракон, налетела на ребят и рассовала их всех по кроваткам.

Потом я принялась наводить порядок в нашей комнате и ублажать огонь в камине – ведь огонь тут был такой строптивый, что сначала никак не желал разгораться, но в конце концов ярко запылал. Вернувшись в гостиную, я почувствовала, что миссис Джеллиби презирает меня за мое легкомыслие, и мне стало не по себе, хоть я и знала, что не могу претендовать на более высокое мнение о моей особе.

Нам удалось отправиться на покой лишь около полуночи, но даже в этот поздний час миссис Джеллиби все еще сидела, обложившись бумагами, и пила кофе, а мисс Джеллиби все еще покусывала гусиное перо.

– Вот нелепый дом! – проговорила Ада, когда мы поднялись наверх. – Как странно, что кузен Джарндис направил нас сюда!

– А меня, душенька, это прямо ошеломило, – откликнулась я. – Хочу понять, но никак не могу.

– Что именно? – спросила Ада с прелестной улыбкой.

– Да все в этом доме, дорогая, – ответила я. – Должно быть, это очень хорошо со стороны миссис Джеллиби так надрываться над каким-то проектом облагодетельствования туземцев… но… как посмотришь, в каком состоянии Пищик и домашнее хозяйство!..

Ада рассмеялась, обвила рукой мою шею, – я стояла перед камином и смотрела на огонь, – и сказала мне, что я спокойная, милая, добрая девушка и что она всем сердцем полюбила меня.

– Ты такая заботливая, Эстер, – говорила она, – и вместе с тем такая веселая; и ты с такой скромностью делаешь так много. В твоих руках даже этот дом превратился бы в уютное гнездышко.

Моя милая, простодушная девочка! Она и не подозревала, что этими словами хвалила себя, – ведь надо было быть очень доброй, чтобы так меня превозносить!

– Можно задать тебе один вопрос? – спросила я после того, как мы с нею немного посидели у камина.

– Пожалуйста – хоть пятьсот, – сказала Ада.

– Я хочу спросить тебя о твоем родственнике, мистере Джарндисе. Я ему многим обязана. Ты могла бы что-нибудь рассказать мне о нем?

Ада откинула назад свои золотистые волосы и, смеясь, посмотрела на меня так удивленно, что я тоже диву далась – до того поразили меня и ее красота, и ее изумление.

– Эстер! – воскликнула она.

– Да, дорогая?

– Ты хочешь, чтобы я рассказала тебе про кузена Джарндиса?

– Да, милая, ведь я никогда его не видела.

– Я тоже никогда его не видела! – сказала Ада.

Кто бы мог этому поверить!

Да, она в самом деле никогда его не видела. Но, как она ни была мала, когда мама ее скончалась, она помнит, что мама никогда не могла говорить без слез о мистере Джарндисе, о его благородстве и великодушии, о том, что на него можно положиться во всех случаях жизни; и Ада полагается на него. Несколько месяцев назад кузен Джарндис, по словам Ады, написал ей «простое, искреннее письмо», в котором предложил устроить ее жизнь так, как это теперь было решено, и выразил надежду, что «со временем это, возможно, залечит кое-какие раны, нанесенные роковой канцлерской тяжбой». Ада ответила письмом, в котором с благодарностью приняла это предложение. Ричард получил такое же письмо и написал такой же ответ. Вот ему удалось видеть мистера Джарндиса, но только раз, пять лет назад, в Винчестерской школе. Он рассказывал о нем Аде в ту минуту, когда я вошла и увидела, как они стоят у камина, опираясь на экран, и добавил, что мистер Джарндис, «помнится, этакий грубовато-добродушный, краснощекий человек». Вот и все, что Ада могла мне сказать о нем.

Это заставило меня призадуматься, и, когда Ада уже спала, я все еще сидела у камина и все думала да раздумывала, – какой он, этот Холодный дом, и почему вчерашнее утро кажется мне теперь таким далеким. Не помню, куда забрели мои мысли, когда стук в дверь вернул меня к действительности.

Я тихонько открыла дверь и увидела, что за нею стоит мисс Джеллиби, трясясь от холода и держа в одной руке сломанную свечу в сломанном подсвечнике, а в другой – рюмку для яиц.

– Спокойной ночи! – хмуро проговорила она.

– Спокойной ночи! – отозвалась я.

– Можно войти? – неожиданно буркнула она, все так же хмуро.

– Конечно, – ответила я. – Только не разбудите мисс Клейр.

Мисс Джеллиби отказалась присесть и, угрюмо насупившись, стояла у камина, макая черный от чернил средний палец в уксус, налитый в рюмку, и размазывая им чернильные пятна по лицу.

– Чтоб ей провалиться, этой Африке! – внезапно воскликнула она.

Я хотела было что-то возразить.

– Да-да, чтоб ей провалиться! – перебила она меня. – Не спорьте, мисс Саммерсон. Я ее ненавижу, терпеть не могу! Противная!

Я сказала девушке, что она просто устала и мне ее жаль. Положила ей руку на голову и пощупала лоб, заметив, что сейчас он горячий, но завтра это пройдет. Она стояла все так же, надув губы и хмуро глядя на меня, но вдруг поставила рюмку и тихонько подошла к кровати, на которой лежала Ада.

– Какая хорошенькая! – проговорила она, по-прежнему хмуря брови и все тем же сердитым тоном. Я улыбкой выразила согласие.

– Сирота. Ведь она сирота, правда?

– Да.

– Но, должно быть, умеет многое? Танцует, играет на рояле, поет? Наверное, говорит по-французски, знает географию, разбирается в глобусе, умеет вышивать, все умеет?

– Несомненно, – подтвердила я.

– А вот я не умею, – сказала девушка. – Почти ничего не умею, только – писать. Вечно пишу для мамы. И как только вам обеим не стыдно было явиться сюда сегодня и глазеть на меня, понимая, что я ни к чему другому не способна? Вот какие вы скверные. Но, конечно, считаете себя очень хорошими!

Я видела, что бедная девушка вот-вот расплачется, и снова села в кресло, молча и только глядя на нее так же благожелательно (хочется думать), как относилась к ней.

– Позорище, – проговорила она. – И вы это сами знаете… Весь наш дом – сплошное позорище. Дети – позорище. Я – позорище. Папа страдает, да и немудрено! Приссилла пьет – вечно пьяная! И если вы скажете, что не почувствовали сегодня, как от нее пахнет, то это будет наглая ложь и очень стыдно с вашей стороны. Обед подавали ужасно, не лучше, чем в харчевне, и вы это заметили!

– Ничего я не заметила, дорогая, – возразила я.

– Заметили, – отрезала она. – Не говорите, что не заметили. Заметили!

– Но, милая, – начала я, – если вы не даете мне говорить…

– Да ведь вы сейчас говорите. Сами знаете, что говорите. Не выдумывайте, мисс Саммерсон.

– Милая моя, – снова начала я, – пока вы меня не выслушаете…

– Не хочу я вас слушать.

– Нет, хотите, – сказала я, – а если бы не хотели, это было бы совсем уж неразумно. Я ничего не заметила, потому что за обедом служанка ко мне не подходила, но я вам верю, и мне грустно это слышать.

– Нечего ставить это себе в заслугу, – промолвила она.

– Я и не ставлю, дорогая, – сказала я. – Это было бы очень глупо.

Не отходя от кровати, она вдруг наклонилась и поцеловала Аду (однако все с тем же недовольным выражением лица). Потом тихонько отошла и стала у моего кресла. Волнуясь, она тяжело дышала, и мне было очень жаль ее, но я решила больше ничего не говорить.

– Лучше бы мне умереть! – вырвалось у нее вдруг. – Лучше бы всем нам умереть! Это было бы самое лучшее для всех нас.

Мгновение спустя она упала передо мной на колени и, уткнувшись лицом в мое платье, зарыдала, горячо прося у меня прощенья. Я успокаивала ее, старалась поднять, но она,

вся в слезах, твердила, что ни за что не встанет, нет, нет!

– Вы учили девочек, – проговорила она. – Ах, если бы вы учили меня, я могла бы от вас всему научиться! Я такая несчастная, а вы мне так полюбились!

Мне не удалось уговорить ее сесть рядом со мною, – она только пододвинула к себе колченогую скамеечку и села на нее, по-прежнему цепляясь за мое платье. Но постепенно усталость взяла свое, и девушка уснула, а я, приподняв и положив к себе на колени ее голову, чтобы ей было удобнее, покрыла бедняжку шалью и закуталась сама. Так она и проспала всю ночь напролет у камина, в котором огонь погас и осталась только зола. А меня сначала мучила бессонница, и я, закрыв глаза и перебирая в уме события этого дня, тщетно старалась забыться. Наконец они мало-помалу стали тускнеть и сливаться в моей памяти. Я перестала сознавать, кто спит здесь, прислонившись ко мне. То мне казалось, что это Ада; то – одна из моих прежних редингских подруг (и мне не верилось, что я так недавно с ними рассталась); то – маленькая помешанная старушка, смертельно уставшая от реверансов и улыбок; то – некто, владеющий Холодным домом. Наконец все исчезло, исчезла и я сама.

Подслеповатый рассвет слабо боролся с туманом, когда я открыла глаза и увидела, что на меня пристально смотрит маленькое привидение с измазанным личиком. Пищик выкарабкался из своей кроватки и пробрался ко мне в ночной рубашке и чепчике, стуча зубками от холода, да так громко,

словно все они уже прорезались и зубов у него полон рот.

Глава V
Утреннее приключение

Утро было сырое, а туман все еще казался густым, – говорю «казался», ибо оконные стекла в этом доме так обросли грязью, что за ними и солнечный свет в разгаре лета показался бы тусклым, – но я хорошо знала, какие неудобства грозят нам здесь в этот ранний час, и очень интересовалась Лондоном, а потому, когда мисс Джеллиби предложила нам пойти погулять, согласилась сразу.

– Мама выйдет не скоро, – сказала она, – и хорошо, если завтрак подадут через час после этого, – вот как долго у нас всегда возятся. А папа – тот подкрепится чем бог послал и пойдет на службу. Никогда ему не удается позавтракать как следует. Приссилла с вечера оставляет для него булку и молоко, если только оно есть. Но молока часто не бывает – то не принесут, то кошка вылакает. Впрочем, вы, наверное, устали, мисс Саммерсон; может быть, вам лучше лечь в постель?

– Ничуть не устала, милая, – сказала я, – прогуляюсь с большим удовольствием.

– Ну, если так, – отозвалась мисс Джеллиби, – я пойду оденусь.

Ада сказала, что тоже хочет проветриться, и сразу же встала. Я спросила у Пищика, не позволит ли он мне вымыть его

и потом снова уложить, но уже на мою кровать – ведь ничего лучшего я для него придумать не могла. Он согласился с величайшей готовностью и, пока я его отмывала, смотрел на меня такими удивленными глазками, словно с ним совершалось какое-то чудо; но личико у него, конечно, было очень несчастное, хоть он ни на что не жаловался и заснул, свернувшись комочком, как только улегся. Надо сказать, что я не сразу решилась вымыть и уложить ребенка без позволения его мамаши, но потом рассудила, что никто в доме, по-видимому, ничего не заметит.

То ли от возни с Пищиком, то ли от возни с собственным одеванием и с Адой, которой я помогала одеться, но мне скоро стало жарко. Мисс Джеллиби мы застали в кабинете, – она старалась согреться у камина, который Приссилла силилась затопить, взяв из гостиной залитый салом подсвечник и бросив свечу в огонь, чтобы он наконец разгорелся. Все в доме было в том же виде, как и вчера, и, судя по всему, никто не собирался навести порядок. Скатерть, на которой мы обедали, даже не стряхнули, – так она и осталась на столе в ожидании первого завтрака. Все было покрыто пылью, усеяно хлебными крошками и обрывками бумаги. На ограде нижнего дворика висели оловянные кружки и бидон для молока; входная дверь была открыта настежь, а кухарку мы встретили за углом в тот момент, когда она, вытирая рот, выходила из трактира. Пробежав мимо, она объяснила, что пошла туда посмотреть, который час.

Но еще до встречи с кухаркой мы увидели Ричарда, который бегал вприпрыжку по Тейвис-Инну, чтобы согреть ноги. Приятно удивленный нашим столь ранним появлением, он сказал, что с удовольствием погуляет вместе с нами. Ричард взял под руку Аду, а мы с мисс Джеллиби пошли впереди них. Кстати сказать, мисс Джеллиби опять насупилась, и я никак не подумала бы, что я ей нравлюсь, если б она вчера сама мне этого не сказала.

– Куда бы нам пойти, как по-вашему? – спросила она.

– Куда угодно, милая, – ответила я.

– Куда угодно – все равно что никуда, – с досадой проговорила мисс Джеллиби и остановилась.

– Все-таки пойдемте куда-нибудь, – предложила я.

Она пошла вперед очень быстро, увлекая меня за собой.

– Мне все равно! – начала она вдруг. – Будьте свидетельницей, мисс Саммерсон, повторяю, мне все равно, но если даже он каждый вечер будет к нам приходить, пока не доживет до Мафусаиловых лет, ничего он от меня не дождется… один лоб чего стоит – высоченный, лоснится, весь в шишках! Каких *ослов* они строят из себя: и он, и мама!

– Дорогая! – упрекнула я мисс Джеллиби за столь непочтительное словцо и подчеркнутую выразительность, с какой она его произнесла. – Ваш дочерний долг…

– Эх, мисс Саммерсон, не говорите мне о дочернем долге! Где же тогда мамин материнский долг? Или она выполняет его только по отношению к обществу и Африке? Так пусть же

общество и Африка выполняют дочерний долг, – это скорей их обязанность, чем моя. Вы возмущены, я вижу! Ну что ж, я тоже возмущена, значит, мы обе возмущены – и делу конец!

Она еще быстрее повлекла меня вперед.

– Но так или иначе, а я опять скажу: пускай себе ходит, и ходит, и ходит, все равно – ничего он от меня не дождется. Видеть его не могу. А чего я совершенно не выношу, что ненавижу больше всего на свете, так это ту околесицу, которую они несут – мама и он. Удивляюсь, как это у булыжников хватает терпения лежать на мостовой перед нашим домом, слушать, как она и он городят вздор, сами себе противореча, и смотреть, как нелепо хозяйничает мама!

Я не могла не догадаться, что ее слова относятся к мистеру Куэйлу – тому молодому джентльмену, который пришел вчера после обеда. Продолжать этот разговор было бы не особенно приятно, но меня спасли Ричард и Ада, которые быстро догнали нас и со смехом спросили, не взбрело ли нам в голову устроить соревнование в беге. Это прервало излияния мисс Джеллиби; она умолкла и уныло поплелась рядом со мной, тогда как я не переставала удивляться разнообразию улиц, сменявших одна другую, людским толпам, которые уже двигались во всех направлениях, множеству экипажей, проезжавших мимо, деловитой возне с установкой товаров в витринах и уборкой магазинов, странным людям в лохмотьях, которые украдкой рылись в мусоре, ища булавок и всякое старье.

– Итак, кузина, – послышался сзади меня веселый голос Ричарда, говорившего с Адой, – я вижу, нам не уйти от Канцлерского суда! Мы другой дорогой пришли к тому месту, где встретились вчера, и… клянусь Большой печатью, вон и та самая старушка!

И правда, она стояла прямо перед нами, приседая, улыбаясь и так же, как и вчера, твердя покровительственным тоном:

– Подопечные тяжбы Джарндисов! Оч-чень счастлива, поверьте!

– Раненько вы из дому вышли, сударыня, – сказала я, в то время как она делала мне реверанс.

– Да-а! Я всегда гуляю здесь рано утром. До начала судебных заседаний. Уединенное местечко. Здесь я обдумываю повестку дня, – жеманно лепетала старушка. – Повестка дня требует длительных размышлений. Оч-чень трудно следить за канцлерским судопроизводством.

– Кто это, мисс Саммерсон? – прошептала мисс Джеллиби, крепче прижимая к себе мой локоть.

Слух у старушки был поразительно острый. Она сию же секунду сама ответила вместо меня:

– Истица, дитя мое. К вашим услугам. Я имею честь регулярно присутствовать в суде. Со своими документами. Не имею ли я удовольствия разговаривать еще с одной юной участницей тяжбы Джарндисов? – проговорила старушка, снова сделав глубокий реверанс, и выпрямилась, склонив го-

лову набок.

Ричард, стремясь искупить свою вчерашнюю оплошность, любезно объяснил, что мисс Джеллиби не имеет никакого отношения к тяжбе.

– Ха! – произнесла старушка. – Значит, она не ждет решения судьи? А все-таки и она состарится. Но не так рано. О нет, не так рано! Вот это сад Линкольнс-Инна. Я считаю его своим садом. Летом он такой тенистый – в нем как в беседке. Где мелодично поют пташки. Я провожу здесь большую часть долгих каникул суда. В созерцании. Вы находите долгие каникулы чересчур долгими, не так ли?

Мы ответили утвердительно, так как она, по-видимому, этого ждала.

– Когда с деревьев падают листья и нет больше цветов на букеты для суда лорд-канцлера, – продолжала старушка, – каникулы кончаются и шестая печать, о которой сказано в Откровении, снова торжествует. Зайдите, пожалуйста, ко мне. Это будет для меня добрым предзнаменованием. Молодость, надежда и красота бывают у меня очень редко. Много, много времени прошло с тех пор, как они меня навещали.

Она взяла меня под руку и повела вперед вместе с мисс Джеллиби, кивком предложив Ричарду и Аде идти вслед за нами. Не зная, как отказаться, я взглянула на Ричарда, ища у него помощи. Но эта встреча и забавляла его, и возбуждала его любопытство, к тому же он сам не знал, как отделаться от старушки, не обидев ее, и потому шел за нами вместе с

Адой; а наша чудаковатая проводница вела нас все дальше, снисходительно улыбаясь и то и дело повторяя, что живет совсем близко.

Так оно и было, и мы в этом быстро убедились. Она жила очень близко, и не успели мы сказать ей двух-трех любезных слов, как дошли до ее дома. Проведя нас через маленькую боковую калитку, старушка совершенно неожиданно остановилась в узком переулке, который так же, как и соседние дворы и улички, непосредственно примыкал к стене Линкольнс-Инна, и сказала:

– Вот моя квартира. Пожалуйте!

Она остановилась у лавки, над дверью которой была надпись: «*Крук, склад тряпья и бутылок*», и другая – длинными, тонкими буквами: «*Крук, торговля подержанными корабельными принадлежностями*». В одном углу окна висело изображение красного здания бумажной фабрики, перед которой разгружали подводу с мешками тряпья. Рядом была надпись: «Скупка костей». Дальше – «Скупка негодной кухонной утвари». Дальше – «Скупка железного лома». Дальше – «Скупка макулатуры». Дальше – «Скупка дамского и мужского платья». Можно было подумать, что здесь скупают все, но ничего не продают. Окно было сплошь заставлено грязными бутылками: тут были бутылки из-под ваксы, бутылки из-под лекарств, бутылки из-под имбирного пива и содовой воды, бутылки из-под пикулей, винные бутылки, бутылки из-под чернил. Назвав последние, я вспомнила, что по

ряду признаков можно было догадаться о близком соседстве лавки с юридическим миром, – она, если можно так выразиться, казалась чем-то вроде грязной приживалки и бедной родственницы юриспруденции. Чернильных бутылок в ней было великое множество. У входа в лавку стояла маленькая шаткая скамейка с горой истрепанных старых книг и надписью: «Юридические книги, по девять пенсов за том». Некоторые из перечисленных мною надписей были сделаны писарским почерком, и я узнала его – тем же самым почерком были написаны документы, которые я видела в конторе Кенджа и Карбоя, и письма, которые я столько лет получала от них. Среди надписей было объявление, написанное тем же почерком, но не имевшее отношения к торговым операциям лавки, а гласившее, что почтенный человек, сорока пяти лет, берет на дом переписку, которую выполняет быстро и аккуратно; «обращаться к Немо через посредство мистера Крука». Кроме того, тут во множестве висели подержанные мешки для хранения документов, синие и красные. Внутри за порогом кучей лежали свитки старого потрескавшегося пергамента и выцветшие судебные бумаги с загнувшимися уголками. Напрашивалась догадка, что сотни ржавых ключей, брошенных здесь грудой, как железный лом, были некогда ключами от дверей или несгораемых шкафов в юридических конторах. А тряпье – и то, что было свалено на единственную чашку деревянных весов, коромысло которых, лишившись противовеса, криво свисало с потолочной балки, и

то, что валялось под весами, возможно, было когда-то адвокатскими нагрудниками и мантиями. Оставалось только вообразить, как шепнул Ричард нам с Адой, пока мы стояли, заглядывая в глубь лавки, что кости, сложенные в углу и обглоданные начисто, – это кости клиентов суда, и картина могла считаться законченной.

Туман еще не рассеялся, и на улице было полутемно, к тому же доступ света в лавку преграждала стена Линкольнс-Инна, стоявшая в нескольких ярдах; поэтому нам, конечно, не удалось бы увидеть здесь так много, если бы не зажженный фонарь в руках бродившего по лавке старика в очках и мохнатой шапке. Повернувшись ко входу, старик заметил нас. Он был маленького роста, мертвенно-бледный, сморщенный; голова его глубоко ушла в плечи и сидела как-то косо, а дыхание вырывалось изо рта клубами пара – чудилось, будто внутри у него пылает огонь. Шея его, подбородок и брови так густо заросли белой, как иней, щетиной и были так изборождены морщинами и вздувшимися жилами, что он смахивал на корень старого дерева, усыпанный снегом.

– Ха! – пробурчал старик, подходя к двери. – Принесли что-нибудь на продажу?

Мы невольно отшатнулись и взглянули на нашу проводницу, которая силилась открыть наружную дверь, ведущую в жилые комнаты, вынутым из кармана ключом, а Ричард сказал, что раз мы уже получили удовольствие видеть, где она живет, то можем с нею проститься, так как времени у нас

мало.

Но проститься с нею оказалось вовсе не просто. Старушка с такой поразительной, искренней настойчивостью упрашивала нас хоть на минутку зайти и посмотреть, как она живет, и так простодушно, но упорно влекла меня в дом, к себе, должно быть видя во мне желанное для нее «доброе предзнаменование», что я (не знаю, как другие) просто не могла противиться. Впрочем, у всех нас любопытство было более или менее возбуждено, – во всяком случае, когда старушку поддержал ее хозяин, говоря: «Да-да! Сделайте ей удовольствие! Загляните на минутку! Входите, входите! Пройдите через эту дверь, если та не в порядке!» – мы вошли в лавку, положившись на покровительство Ричарда и ободренные его улыбкой.

– Мой хозяин, Крук, – проговорила маленькая старушка, представляя нам хозяина с таким видом, словно она снизошла к нему с высоты своего величия. – Соседи прозвали его «Лорд-канцлером». Его лавку называют «Канцлерским судом». Очень эксцентричная личность. Очень странный. О, уверяю вас, очень странный!

Она несколько раз качнула головой и постучала пальцем себе по лбу, как бы прося нас любезно извинить слабости своего хозяина.

– Ведь он, знаете ли, немножко… того!.. – величественно проговорила старушка.

Старик расслышал ее слова и ухмыльнулся.

– Что правда, то правда, – сказал он, шагая с фонарем впереди нас, – меня действительно прозвали Лорд-канцлером, а мою лавку – Канцлерским судом. А как вы думаете, почему люди прозвали меня Лорд-канцлером, а мою лавку Канцлерским судом?

– Право, не знаю! – бросил Ричард довольно пренебрежительным тоном.

– Изволите видеть, – начал старик, остановившись и повернувшись к нам, – люди потому… Ха! Что за чудесные волосы! У меня в подвале три мешка женских волос, но таких красивых и тонких нету. Какой цвет, какие шелковистые!

– Довольно, приятель, – проговорил Ричард, раздраженный тем, что старик провел своей желтой рукой по косам Ады. – Можете восхищаться, как и все мы, но не позволяйте себе вольностей.

Старик внезапно метнул на него такой взгляд, что я позабыла и про Аду, а та, смущенная и зардевшаяся, была до того красива, что привлекла даже рассеянное внимание маленькой старушки. Стараясь предотвратить ссору, Ада со смехом сказала, что может лишь гордиться столь неподдельным восхищением, а мистер Крук снова сжался и погас столь же внезапно, как вспыхнул.

– У меня здесь, изволите видеть, полным-полно всякой всячины, – продолжал он, подняв фонарь, – и все это, как полагают соседи (хотя они ничего не знают, эти люди), изнашивается, разваливается, гниет, вот почему они так и окре-

стили меня и мою лавку. А склад у меня битком набит старым пергаментом и бумагой. Да еще есть у меня страстишка к ржавчине, плесени, паутине. По мне, «что в сеть попало, то и рыба» – ничем не брезгую. А уж если что попадет ко мне в лапы, того я из них не выпущу (то есть соседи мои так думают, но что они знают, эти люди?); а еще я терпеть не могу никаких перемен, никакой уборки, стирки, чистки, ремонта у себя в доме. Потому-то лавка моя и получила столь зловещее прозвище – «Канцлерский суд». Но сам я на это не обижаюсь. Я чуть не каждый день хожу любоваться на своего благородного и ученого собрата, когда он заседает в Линкольнс-Инне. Он меня не замечает, но я-то его замечаю. Между нами невелика разница. Оба копаемся в неразберихе… Ха, Леди Джейн!

Большая серая кошка соскочила с полки к нему на плечо, и все мы вздрогнули.

– Ха! Покажи-ка им, как ты царапаешься. Ха! Ну-ка, рви, миледи! – приказал ей хозяин.

Кошка, спрыгнув на узел тряпья, принялась рвать его своими тигриными когтями и так шипела, что мне стало не по себе.

– Вот как она расправится со всяким, на кого я ее науськаю, – сказал старик. – Кроме всего прочего, я скупаю кошачьи шкурки, ну мне и принесли эту кошку. Отличная шкурка – сами видите, – однако я ее не содрал. Не содрал – не в пример Канцлерскому суду!

Он уже провел нас через лавку и открыл заднюю дверь, ведущую в подъезд. Остановившись, он положил руку на задвижку, а старушка, проходя мимо, снисходительно бросила:

– Довольно, Крук. Вы любезны, но надоедливы. Моим молодым друзьям некогда. Мне тоже некогда, – я должна присутствовать на судебном заседании, а оно вот-вот начнется. Мои молодые друзья – подопечные тяжбы Джарндисов.

– Джарндисов! – вздрогнул старик.

– «Джарндисы против Джарндисов» – знаменитая тяжба, Крук, – уточнила его жилица.

– Ха! – удивленно воскликнул старик, словно эти слова напомнили ему о многом, и еще шире раскрыл глаза. – Подумать только!

Он был явно ошеломлен и смотрел на нас с таким любопытством, что Ричард сказал ему:

– Вы, очевидно, очень интересуетесь делами, которые разбирает ваш благородный и ученый собрат – другой канцлер!

– Да, – рассеянно отозвался старик. – Еще бы! *Вас* зовут…

– Ричард Карстон.

– Карстон, – повторил он, медленно загибая указательный палец, как потом загибал остальные пальцы, перечисляя другие фамилии. – Так-так. А еще там встречаются фамилия Барбери, фамилия Клейр и фамилия Дедлок тоже, если не ошибаюсь.

– Да он знает нашу тяжбу не хуже, чем настоящий канцлер, который за это жалованье получает! – удивленно прого-

ворил Ричард, обращаясь ко мне и Аде.

– Еще бы! – начал старик, с трудом пытаясь сосредоточиться. – Да! Том Джарндис… не посетуйте, что я называю вашего родственника Томом, в суде его иначе не называли и знали так же хорошо, как… как вот теперь знают ее, – он кивнул на свою жилицу. – Том Джарндис частенько забегал в наши края. Все, бывало, шатался тут по соседству, места себе не находил, когда тяжба разбиралась или скоро должна была разбираться в суде; болтал с лавочниками и советовал им ни в коем случае не обращаться в Канцлерский суд. «Ведь это, – говаривал он, – все равно что попасть под жернов, который едва вертится, но сотрет тебя в порошок; все равно что изжариться на медленном огне; все равно что быть до смерти закусанным пчелами, которые жалят тебя одна за другой; все равно что утонуть в воде, которая прибывает по каплям; все равно что сходить с ума постепенно, минута за минутой». Однажды он чуть руки на себя не наложил, как раз вон там, где сейчас стоит молодая леди.

Мы слушали его с ужасом.

– Вошел он тогда в эту дверь, – рассказывал старик, медленно чертя пальцем в воздухе воображаемый путь по лавке, – я говорю про тот день, когда он это все-таки сделал… да, впрочем, все вокруг уже давно говорили, что рано или поздно, а он этим кончит… вошел он тогда в эту дверь, походил взад-вперед, сел на скамью, что стояла вон там, и попросил меня (я, конечно, был тогда гораздо моложе) при-

нести ему пинту вина. «Видишь ли, Крук, говорит, я прямо сам не свой; дело мое опять разбирается, и, судя по всему, теперь наконец-то вынесут решение». Мне не хотелось оставлять его тут одного, вот я и уговорил его пойти в трактир напротив – на той стороне моей улицы (то есть Канцлерской улицы), а сам пошел за ним вслед, посмотрел в окно, вижу: он сидит в кресле у камина, как будто спокойный, и не один, а в компании. Не успел я вернуться домой, слышу – выстрел… грянул и раскатился до самого Инна. Я выбежал… соседи выбежали… и сразу же человек двадцать крикнули: «Том Джарндис!»

Старик умолк и окинул нас жестким взглядом, потом открыл фонарь, задул пламя и закрыл дверцу.

– Кому-кому, а вам говорить не нужно, что угадали мы правильно. Ха! А как в тот день все соседи хлынули в суд на разбор дела! Как мой достойный и ученый собрат и все прочие судейские, по обыкновению, виляли и петляли, но делали вид, что и не слыхивали про последнее событие, к которому привела тяжба, а если даже слышали, – о господи! – так оно не имеет к ней ровно никакого отношения.

Румянец сошел с лица Ады, а Ричард побледнел не меньше, чем она. Да и немудрено – ведь даже я взволновалась, хотя и была непричастна к тяжбе; так как же горько было столь юным и неискушенным сердцам получить в наследство бесконечное несчастье, связанное для множества людей с такими ужасными воспоминаниями! С другой стороны, мне бы-

ло больно думать, что жизнь этого несчастного самоубийцы кое в чем напоминает жизнь бедной полоумной старушки, которая привела нас сюда; но, к моему удивлению, сама она этого как будто совершенно не сознавала и, ведя нас вверх по лестнице, объясняла нам, со снисходительностью высшего существа к слабостям простых смертных, что ее хозяин «немножко… того… знаете ли!».

Она жила на самом верху, в довольно большой комнате, из которой был виден Линкольнс-Инн-Холл. Это, должно быть, и послужило для нее главной побудительной причиной поселиться здесь. Ведь отсюда она, по ее словам, могла смотреть на здание Канцлерского суда даже ночью, особенно при лунном свете. Комната у нее была чистенькая, но почти совсем пустая. Самая необходимая мебель, старые гравированные портреты канцлеров и адвокатов, вырезанные из книг и прилепленные облатками к стенам, да несколько ридикюлей и рабочих мешочков, по словам хозяйки, «набитых документами», – вот все, что я здесь увидела. В камине ни угля, ни золы; нигде никакой одежды, ни крошки еды. На полке открытого посудного шкафчика стояло, правда, несколько тарелок, две-три чайных чашки и еще кое-какая посуда, но вся она была пустая, насухо вытертая. Оглядывая комнату, я с жалостью подумала, что, значит, недаром ее хозяйка такая изможденная, и только теперь поняла – почему.

– Чрезвычайно польщена, поверьте, этим визитом подопечных тяжбы Джарндисов, – начала бедная старушка са-

мым любезным тоном. – И весьма признательна за доброе предзнаменование. Местожительство у меня уединенное. Сравнительно. Я ограничена в выборе местожительства. Вынуждена находиться при канцлере. Я живу здесь уже много лет. Дни свои провожу в суде; вечера и ночи здесь. Ночи кажутся мне длинными, – ведь сплю я мало, а думаю много. Это, конечно, неизбежно, когда твое дело разбирается в Канцлерском суде. К сожалению, не имею возможности предложить шоколаду. Ожидаю, что суд вынесет решение скоро, а тогда устрою свою жизнь получше. В настоящее время не стесняюсь признаться подопечным тяжбы Джарндисов (строго доверительно), что иногда трудно сохранить приличный вид. Мне здесь случалось страдать от холода. А порой и от кое-чего более тяжкого, чем холод. Но это неважно. Прошу извинить, что завела разговор на столь низменные темы.

Она немного отодвинула занавеску продолговатого низкого чердачного окна и показала нам висящие в нем птичьи клетки; в некоторых из них сидело по нескольку птичек. Здесь были жаворонки, коноплянки, щеглы – всего птиц двадцать, не меньше.

– Я завела у себя этих малюток с особой целью, и подопечные ее сразу поймут, – сказала она. – С намерением выпустить птичек на волю. Как только вынесут решение по моему делу. Да-а! Однако они умирают в тюрьме. Бедные глупышки, жизнь у них такая короткая в сравнении с канцлерским

судопроизводством, что все они, птичка за птичкой, умирают, – целые коллекции у меня так вымерли одна за другой. И я, знаете ли, опасаюсь, что ни одна из этих вот птичек, хоть все они молоденькие, тоже не доживет до освобождения. Очень прискорбно, не правда ли?

Среди потока ее фраз изредка мелькал вопрос, но она не дожидалась ответа, а продолжала тараторить, как будто привыкла задавать вопросы в пространство, даже когда была одна.

– И, право же, – продолжала она, – я положительно опасаюсь иногда, уверяю вас, что, поскольку дело еще не решено и шестая, или Большая, печать все еще торжествует, может случиться, что и *меня* найдут здесь окоченевшей и бездыханной, как я находила стольких птичек.

В ответ на полный сострадания взгляд Ады Ричард ухитрился тихо и незаметно положить на каминную полку немного денег. Мы все подошли поближе к клеткам, делая вид, будто рассматриваем птичек.

– Я не могу позволить им петь слишком много, – говорила старушка, – так как (вам это покажется странным) в голове у меня путается, когда я слежу за судебными прениями и вдруг вспоминаю, что пташки мои сейчас поют. А голова у меня, знаете ли, должна быть очень, очень ясной! В другой раз я назову вам их имена. Не сейчас. В день столь доброго предзнаменования пусть поют сколько угодно. В честь молодости, – улыбка и реверанс, – надежды, – улыбка и реве-

ранс, – и красоты. – Улыбка и реверанс. – Ну вот! Раздвинем занавески – пусть будет совсем светло.

Птички оживились и начали щебетать.

– Я не могу открывать окно, чтобы воздух у меня был свежее, – говорила маленькая старушка (воздух в комнате был спертый, и ее не худо было бы проветрить), – потому что Леди Джейн – кошка, которую вы видели внизу, – покушается на их жизнь. Целыми часами сидит, притаившись, за окном на парапете. Я поняла, – тут она перешла на таинственный шепот, – что ее природное жестокосердие теперь обострилось – она охвачена ревнивой боязнью, как бы их не выпустили на волю. В результате решения суда, которое, я надеюсь, вынесут вскоре. Она хитрая и коварная. Иногда я готова поверить, что она не кошка, а волк из старинной поговорки: «Волк что голод – не выгонишь!»

Бой часов на колокольне, где-то поблизости, напомнил бедняжке, что уже половина десятого, и положил конец нашему визиту, – нам самим закончить его было бы не так-то легко. Придя домой, старушка положила на стол свой мешочек с документами, а теперь торопливо схватила его и осведомилась, не собираемся ли мы тоже пойти в суд. Мы ответили отрицательно, подчеркнув, что никоим образом не хотим ее задерживать, и тогда она открыла дверь, чтобы проводить нас вниз.

– После такого предзнаменования мне более чем когда-либо нужно попасть в суд до выхода канцлера, – сказала

она, – ибо он может назначить слушание моего дела в первую очередь. У меня предчувствие, что он действительно назначит его в первую очередь сегодня утром.

На лестнице она остановила нас и зашептала, что весь дом набит каким-то диковинным хламом, который ее хозяин скупил постепенно, а продавать не желает… потому что он чуть-чуть… того. Это она говорила на площадке второго этажа, а перед тем, на третьем этаже, ненадолго остановилась и молча указала нам пальцем на темную закрытую дверь.

– Единственный жилец, не считая меня, – объяснила она шепотом, – переписчик судебных бумаг. Здешние уличные мальчишки болтают, будто он продал душу черту. Не представляю себе, на что он мог истратить вырученные деньги! Тсс!

Тут она, должно быть, испугалась, как бы жилец не услышал ее слов из-за двери, и, повторяя «тсс!», пошла впереди нас на цыпочках, точно шум ее шагов мог выдать ему то, что она сказала.

Проходя через лавку к выходу тем же путем, как мы шли к лестнице, мы снова увидели старика хозяина, убиравшего в подполье кипы исписанной бумаги, видимо макулатуры. Старик работал очень усердно, – так, что пот выступил у него на лбу, – и, убрав сверток или пачку, хватал лежащий у него под рукой кусок мела и чертил им какую-то закорючку на обшивке стены.

Ричард, Ада, мисс Джеллиби и маленькая старушка уже

прошли мимо него, а я не успела, так как он внезапно остановил меня и, дотронувшись до моего локтя, написал мелом на стене букву «Д» – написал чрезвычайно странным образом, начав снизу. Это была заглавная буква, не печатная, но написанная точь-в-точь так, как написал бы ее клерк из конторы господ Кенджа и Карбоя.

– Можете вы произнести ее? – спросил старик, устремив на меня пронзительный взгляд.

– Конечно, – ответил я. – Это нетрудно.

– Как же она произносится?

– Д…

Снова бросив взгляд на меня, потом на дверь, он стер букву, вывел на ее месте букву «ж» (теперь незаглавную) и спросил:

– А это что такое?

Я ответила. Он стер «ж», написал «а» и задал мне тот же вопрос. Так он быстро чертил букву за буквой, все тем же странным образом, начиная снизу, а начертив, стирал ее, – причем ни разу не оставил на стене двух одновременно, – и остановился лишь после того, как написал все буквы, составляющие слово «Джарндис».

– Как произносится это слово? – спросил он меня.

Я произнесла его, и старик рассмеялся. Затем он таким же странным образом и с такой же быстротой начертил и стер одну за другой все буквы, составляющие слова «Холодный дом». Не без удивления прочла я вслух и эти слова, а старик

снова рассмеялся.

– Ха! – сказал он, отложив в сторону мел. – Вот видите, мисс, я могу рисовать слова по памяти, хоть и не умею ни читать, ни писать.

У него был такой неприятный вид, а кошка устремила на меня такой хищный взгляд, – словно я была кровной родственницей живших наверху птичек, – что я почувствовала настоящее облегчение, когда Ричард появился в дверях и сказал:

– Надеюсь, мисс Саммерсон, вы не собираетесь продавать свои волосы? Не поддавайтесь искушению. Три мешка уже лежат в подполье, и хватит с мистера Крука!

Я не замедлила пожелать мистеру Круку всего хорошего и присоединилась к своим друзьям, стоявшим на улице, и тут мы расстались с маленькой старушкой, которая очень торжественно простилась с нами и повторила свое вчерашнее обещание завещать Аде и мне какие-то поместья. Заходя за угол, мы оглянулись и увидели мистера Крука, – он смотрел нам вслед, стоя у входа в лавку с очками на носу и кошкой на плече, – хвост ее торчал над его мохнатой шапкой, словно длинное перо.

– Вот так утреннее приключение в Лондоне, – сказал Ричард со вздохом. – Ах, кузина, кузина, какие это страшные слова – «Канцлерский суд»!

– И я боялась их с тех пор, как помню себя, – откликнулась Ада. – Тяжело сознавать себя врагом, – ведь я, очевид-

но, враг, – своих многочисленных родственников и других людей; тяжело сознавать, что они мои враги, – а так оно, вероятно, и есть, – и видеть, что мы разоряем друг друга, сами не зная как и зачем, и всю жизнь проводим в подозрениях и раздорах. Должна же где-то быть правда, и очень странно, что за столько лет не нашлось ни одного честного судьи, который взялся бы за дело всерьез и выяснил, на чьей она стороне.

– Да, кузина, – вздохнул Ричард, – еще бы не странно! Вся эта разорительная, бесцельная шахматная игра действительно кажется очень странной. Когда я видел вчера, как безмятежно топчется на месте этот невозмутимый суд, и думал о страданиях пешек на его шахматной доске, у меня разболелись и голова и сердце. Голова – оттого, что я был не в силах понять, как все это возможно, если только люди не дураки и не подлецы, а сердце – от мысли о том, что люди бывают и дураками, и подлецами. Но, во всяком случае, Ада… можно мне называть вас Адой?

– Конечно, можно, кузен Ричард.

– Во всяком случае, Ада, Канцлерский суд не может вредно повлиять на нас. К счастью, мы с вами встретились, – благодаря нашему доброму родственнику, – и теперь суд не в силах нас разлучить!

– Надеюсь, что нет, кузен Ричард! – тихо промолвила Ада.

Мисс Джеллиби сжала мой локоть и бросила на меня весьма многозначительный взгляд. Я улыбнулась в ответ, и весь

остальной путь до дому мы прошли очень весело.

Спустя полчаса после нашего возвращения из спальни вышла миссис Джеллиби, а потом в течение часа в столовой один за другим появлялись разнообразные предметы, необходимые для первого завтрака. Я не сомневаюсь, что миссис Джеллиби легла спать и встала точно так же, как это делают все люди, но по ее виду казалось, будто она, ложась в постель, даже платья не сняла. За завтраком она была совершенно поглощена своими делами, так как утренняя почта принесла ей великое множество писем относительно Бориобула-Гха, а это, по ее собственным словам, сулило ей хлопотливый день. Дети шатались повсюду, то и дело падая и оставляя следы пережитых злоключений на своих ногах, превратившихся в какие-то краткие летописи ребячьих бедствий; а Пищик пропадал полтора часа, и домой его привел полисмен, который нашел его на Ньюгетском рынке. Спокойствие, с каким миссис Джеллиби перенесла и отсутствие и возвращение своего отпрыска в лоно семьи, поразило всех нас.

Все это время она усердно продолжала диктовать Кедди, а Кедди беспрерывно пачкалась чернилами, быстро обретая тот вид, в каком мы застали ее накануне. В час дня за нами приехала открытая коляска и подвода для нашего багажа. Миссис Джеллиби попросила нас передать сердечный привет своему доброму другу мистеру Джарндису; Кедди встала из-за письменного стола и, провожая нас, поцеловала меня, когда мы шли по коридору, а потом стояла на ступеньках

крыльца, покусывая гусиное перо и всхлипывая; Пищик, к счастью, спал, так что сон избавил его от мук расставанья (я не могла удержаться от подозрений, что на Ньюгетский рынок он ходил искать меня); остальные же дети прицепились сзади к нашей коляске, но вскоре сорвались и попадали на землю, и мы, оглянувшись назад, с тревогой увидели, что они валяются по всему Тейвис-Инну.

Глава VI
Совсем как дома

Тем временем прояснело, и чем дальше мы двигались на запад, тем светлей и светлей становился день. Озаренные солнцем, вдыхая свежий воздух, мы ехали, все больше и больше дивясь на бесчисленные улицы, роскошь магазинов, оживленное движение и толпы людей, которые запестрели, словно цветы, как только туман рассеялся. Но вот мы мало-помалу стали выбираться из этого удивительного города, пересекли предместья, которые, как мне казалось, сами могли бы образовать довольно большой город, и наконец свернули на настоящую деревенскую дорогу, а тут на нас пахнуло ароматом давно скошенного сена и перед нами замелькали ветряные мельницы, стога, придорожные столбы, фермерские телеги, качающиеся вывески и водопойные колоды, деревья, поля и живые изгороди. Чудесно было видеть расстилавшийся перед нами зеленый простор и знать, что громадная столица осталась позади, а когда какой-то фургон, запряженный породистыми лошадьми в красной сбруе, поравнялся с нами, бойко тарахтя под музыку звонких бубенчиков, мы все трое, кажется, готовы были запеть им в лад, – таким весельем дышало все вокруг.

– Дорога все время напоминает мне о моем тезке – Вит-

тингтоне, – сказал Ричард, – и этот фургон – последний штрих на картине… Эй! В чем дело?

Мы остановились, фургон тоже остановился. Как только лошади стали, звон бубенчиков перешел в легкое позвякиванье, но стоило одной из лошадей дернуть головой или встряхнуться, как нас вновь окатывало ливнем звона.

– Наш форейтор оглядывается на возчика, – сказал Ричард, – а тот идет назад, к нам… Добрый день, приятель! – Возчик уже стоял у дверцы нашей коляски. – Смотрите-ка, вот чудеса! – добавил Ричард, всматриваясь в него. – У него на шляпе ваша фамилия, Ада!

На шляпе у него оказались все три наши фамилии. За ее ленту были заткнуты три записки: одна – адресованная Аде, другая – Ричарду, третья – мне. Возчик вручил их нам одну за другой поочередно, всякий раз сперва прочитывая вслух фамилию адресата. На вопрос Ричарда, от кого эти записки, он коротко ответил: «От хозяина, сэр», – надел шляпу (похожую на котелок, только мягкий) и щелкнул бичом, а «музыка» зазвучала снова, и под ее звон он покатил дальше.

– Это фургон мистера Джарндиса? – спросил Ричард форейтора.

– Да, сэр, – ответил тот. – Едет в Лондон.

Мы развернули записки. Написанные твердым, разборчивым почерком, они были совершенно одинакового содержания, и в каждой мы прочли следующие слова:

«Надеюсь, друг мой, что мы встретимся

непринужденно и не будем стесняться один другого. Поэтому предлагаю встретиться, как старые приятели, ни словом не поминая о прошлом. Возможно, так будет легче и для Вас, а для меня – безусловно.

Любящий Вас

Джон Джарндис».

Эта просьба удивила меня, вероятно, меньше, чем моих спутников, – ведь мне так ни разу и не удалось поблагодарить того, кто столько лет был моим благодетелем и единственным покровителем. Раньше я не спрашивала себя: как мне благодарить его? – признательность была слишком глубоко скрыта в моем сердце; теперь же стала думать: как удержаться от благодарности при встрече с ним? И поняла, что это будет очень трудно.

Прочитав записки, Ричард и Ада стали говорить, что у них осталось впечатление, – только они не помнят, откуда оно взялось, – будто их кузен Джарндис не терпит благодарности за свои добрые дела и, уклоняясь от нее, прибегает к самым диковинным хитростям и уловкам вплоть до того, что спасается бегством. Ада смутно припомнила, как еще в раннем детстве слышала от своей мамы, будто мистер Джарндис однажды оказал ей очень большую услугу, а когда мама отправилась его благодарить, он, увидев в окно, что она подошла к дверям, немедленно сбежал через задние ворота, и потом целых три месяца о нем не было ни слуху ни духу. Мы много беседовали на эту тему, и, сказать правду, она не иссякала

весь день, так что мы почти ни о чем другом не говорили. Случайно отвлекшись от нее, мы немного погодя возвращались к ней опять и гадали, какой он, этот Холодный дом, да скоро ли мы туда доедем, да увидим ли мистера Джарндиса тотчас же по приезде или позже, да что он нам скажет и что следует нам сказать ему. Обо всем этом мы думали и раздумывали и говорили все вновь и вновь.

Дорога оказалась очень скверной – лошадям было тяжело, но пешеходные тропинки по обочинам большей частью были удобны; поэтому мы выходили из коляски на всех подъемах и шли в гору пешком, и нам так это нравилось, что, добравшись доверху, мы и на ровном месте не сразу садились в свой экипаж. В Барнете нас ждали сменные лошади, но им только что задали корму, так что нам пришлось подождать и мы успели сделать еще одну длинную прогулку по выгону и древнему полю битвы, пока не подъехала наша коляска. Все это нас так задержало, что короткий осенний день уже угас и наступила долгая ночь, а мы еще не доехали до городка Сент-Олбенса, близ которого, как нам было известно, находился Холодный дом.

К тому времени мы уже так разволновались и разнервничались, что даже Ричард признался, – когда мы катили по булыжной мостовой старинного городка, – что его обуяло нелепое искушение повернуть вспять. А мы с Адой – Аду он очень заботливо укутал, так как вечер был ветреный и морозный, – дрожали с головы до ног. Когда же мы выехали за

черту города и завернули за угол крайнего дома, Ричард сказал, что форейтор, который давно уже сочувствовал нашему нетерпеливому ожиданию, обернулся и кивнул нам; и тут обе мы поднялись и дальше ехали стоя (причем Ричард поддерживал Аду, чтобы она не вывалилась), напряженно всматриваясь в звездную ночь и расстилавшееся перед нами пространство. Но вот впереди на вершине холма блеснул свет, и кучер, указав на него бичом, крикнул: «Вон он, Холодный дом!», пустил лошадей крупной рысью и погнал их в гору так быстро, что нас, как брызгами на водяной мельнице, осыпало дорожной пылью, взлетающей из-под колес. Свет блеснул, погас, снова блеснул, опять погас, блеснул вновь, и мы, свернув в аллею, покатили в ту сторону, где он горел ярко. А горел он в окне старинного дома с тремя вздымавшимися на переднем фасаде шпилями и покатым въездом, который вел к крыльцу, изгибаясь дугой. Как только мы подъехали, где-то зазвонил колокол, и вот под его густой звон, гулко раздававшийся в тишине, и лай собак, доносившийся издали, озаренные потоком света, хлынувшим через распахнутую дверь, окутанные паром, поднявшимся от разгоряченных лошадей, чувствуя, как быстро забилось у нас сердце, мы вышли из коляски в немалом смятении.

– Ада, милая! Эстер, дорогая моя, добро пожаловать! Как я счастлив встретиться с вами! Рик, будь у меня сейчас еще одна свободная рука, я протянул бы ее вам!

Джентльмен, произносивший эти слова звучным, весе-

лым, приветливым голосом, одной рукой обнял Аду, другою – меня и, отечески поцеловав нас обеих, провел через переднюю в небольшую с красными стенами комнатку, залитую светом огня, который ярко пылал в камине. Тут он снова поцеловал нас и, разжав руки, усадил рядом на диванчик, уже пододвинутый поближе к огню. В эту минуту я поняла, что стоит нам хоть немножко дать волю своим чувствам, и он убежит во мгновение ока.

– Ну, Рик, – сказал он, – теперь у меня рука свободна. Одно лишь искреннее слово не хуже целой речи. От души рад вас видеть. Вы теперь дома. Отогревайтесь же!

Ричард пожал ему обе руки и доверчиво и почтительно, но сказал только (хотя сказал так горячо, что порядком меня напугал, – очень уж я боялась, как бы мистер Джарндис сразу же не скрылся): «Вы очень добры, сэр. Мы вам чрезвычайно обязаны!» – И, сняв шляпу и пальто, подошел к камину.

– Ну как, приятно было прокатиться? А миссис Джеллиби вам понравилась, моя милая? – спросил мистер Джарндис Аду.

Пока Ада отвечала, я украдкой посматривала на него, – не стоит и говорить, с каким интересом. Лицо его, красивое, живое, подвижное, часто меняло выражение; волосы были слегка посеребрены сединой. Я решила, что ему уже лет под шестьдесят, но держался он прямо и выглядел бодрым и крепким. Не успел он заговорить с нами, как голос его вызвал в моей памяти что-то пережитое в прошлом, только я

не могла припомнить, что именно; и вот наконец что-то в его порывистых манерах и ласковых глазах внезапно напомнило мне джентльмена, сидевшего в почтовой карете шесть лет назад, в памятный день моего отъезда в Рединг. И я поняла, что это был он. Но никогда в жизни я так не пугалась, как в ту минуту, когда сделала это открытие, – ведь он поймал мой взгляд и, словно прочитав мои мысли, так выразительно взглянул на дверь, что я подумала: «Только мы его и видели!»

Однако, к счастью, он никуда не сбежал, а спросил меня, какого я мнения о миссис Джеллиби.

– Она изо всех сил трудится на пользу Африки, сэр, – сказала я.

– Прекрасно! – воскликнул мистер Джарндис. – Но вы отвечаете так же, как Ада. – Я не слышала слов Ады. – Я вижу, вы все чего-то недоговариваете.

– Если уж говорить всю правду, – начала я, посмотрев на Ричарда и Аду, которые взглядами умоляли меня ответить вместо них, – нам показалось, что она, пожалуй, недостаточно заботится о своем доме.

– Не может быть! – вскричал мистер Джарндис.

Мне опять стало страшно.

– Слушайте, мне хочется знать, что вы о ней действительно думаете, дорогая моя. Быть может, я послал вас к ней не без умысла.

– Нам кажется, – проговорила я нерешительно, – что, по-

жалуй, ей лучше было бы начать со своих домашних обязанностей, сэр; ведь если их выполняешь небрежно и нерадиво, то этого не искупят никакие другие заслуги.

– А малютки Джеллиби, – вмешался Ричард, приходя мне на помощь, – ведь они – простите за резкость, сэр, – прямо-таки черт знает в каком виде.

– У нее благие намерения, – торопливо проговорил мистер Джарндис. – А ветер-то восточный, оказывается.

– Пока мы сюда ехали, ветер был северный, – заметил Ричард.

– Дорогой Рик, – сказал мистер Джарндис, мешая угли в камине, – ветер дует или вот-вот подует с востока – могу поклясться. Когда ветер восточный, мне время от времени становится как-то не по себе.

– У вас ревматизм, сэр? – спросил Ричард.

– Пожалуй, что так, Рик. Вероятно. Значит, малютки Джел… Я и сам подозревал… что они в… о господи, ну, конечно, ветер восточный! – повторил мистер Джарндис.

Роняя эти обрывки фраз, он раза два-три нерешительно прошелся взад и вперед по комнате, в одной руке держа кочергу, а другой ероша волосы с добродушной досадой, такой чудаковатый и такой милый, что нет слов выразить, как горячо мы им восхищались. Но вот он взял под руку меня и Аду и, попросив Ричарда захватить свечу, пошел с нами к двери, как вдруг повернул назад.

– Насчет ребятишек Джеллиби… – начал он. – Вы не мог-

ли разве… вы не… ну, словом, неплохо было бы, если б, скажем, на них вдруг градом посыпались с небес леденцы, или пирожки с малиновым вареньем, или вообще что-нибудь в этом роде!

– Но, кузен… – торопливо подхватила Ада.

– Вот это хорошо, моя прелесть! Приятно слышать, когда тебя называют «кузеном». А «кузен Джон» – и того лучше, пожалуй.

– Так вот, кузен Джон… – снова начала Ада со смехом.

– Ха-ха! Замечательно! – воскликнул мистер Джарндис в полном восторге. – Звучит необычайно естественно. Ну, и что же, дорогая моя?

– Они получили кое-что получше. К ним с небес слетела Эстер.

– Вот как? – сказал мистер Джарндис. – Что же Эстер делала?

– А вот что, кузен Джон, – принялась рассказывать Ада, обхватив обеими руками его руку и отрицательно качая головой в ответ на мою просьбу помолчать. – Эстер сразу подружилась с ними. Эстер нянчила их, укладывала спать, умывала, одевала, рассказывала им сказки, успокаивала их, покупала им подарки.

Милая моя девочка! Ведь я всего только и сделала, что вышла на улицу с Пищиком, когда его разыскали, и подарила ему крошечную лошадку.

– И еще, кузен Джон, она утешала бедную Кэролайн, стар-

шую дочь миссис Джеллиби, и была так внимательна ко мне, так мила!.. Нет, нет, не спорь, милая Эстер! Сама знаешь, отлично знаешь, что это правда!

И, не выпуская руки своего кузена Джона, моя ласковая девочка потянулась ко мне и поцеловала меня, потом вдруг расхрабрилась и, глядя ему прямо в глаза, сказала:

– Во всяком случае, кузен Джон, кто-кто, а я все-таки *благодарю* вас за подругу, которую вы мне дали.

Она словно вызывала его на то, чтобы он убежал. Но он остался.

– Как вы сказали, Рик, какой сейчас ветер? – спросил мистер Джарндис.

– Когда мы приехали, сэр, ветер был северный.

– Правильно, ветер вовсе не восточный. Я просто ошибся. Пойдемте, девочки, посмотрим ваш родной дом.

Это был один из тех очаровательных, причудливо построенных домов, где, переходя из одной комнаты в другую, спускаешься или поднимаешься по ступенькам, где находишь новые комнаты, после того как уже кажется, что ты осмотрел их все, где, миновав множество закоулков и коридорчиков, неожиданно попадаешь в еще более старинные, – как в деревенских коттеджах, – комнаты с решетчатыми оконными переплетами, к которым прижимается зеленая листва. Моя комната – первая, в которую мы вошли, – была именно такая: с двухскатным потолком, в котором было столько углов, что я никогда не могла их сосчитать, и с камином (в нем

пылали дрова), выложенным внутри белоснежным кафелем, каждая плитка которого отражала в миниатюре ярко пылающий огонь. Из этой комнаты, спустившись по двум ступенькам, можно было попасть в прелестную маленькую гостиную, выходящую окнами на цветник и предназначенную Аде и мне. А отсюда, поднявшись по трем ступенькам, – перейти в спальню Ады, где из красивого широкого окна открывался чудесный вид (в тот вечер мы увидели только обширное темное пространство, расстилавшееся под звездами), а под окном было устроено сиденье в такой глубокой нише, что, стоило только навесить на нее дверь с пружиной, и здесь сумели бы спрятаться три милых Ады. Из ее спальни можно было пройти на маленькую галерею, к которой примыкали две (только две) парадные комнаты, а из галереи, спустившись по короткой лесенке с низкими ступеньками и, пожалуй, слишком частыми поворотами, перейти в переднюю. Но если бы вы направились в другую сторону, то есть вернулись бы из спальни Ады в мою, вышли бы из нее через ту самую дверь, в которую вошли, и поднялись по нескольким винтовым ступеням, ответвлявшимся от лестницы, вы, наверное, заблудились бы в коридорах, где увидели бы катки для белья, треугольные столики и индийское кресло, которое могло превратиться в диван, сундук или кровать, – хотя на вид казалось не то остовом бамбуковой хижины, не то огромной птичьей клеткой, – а вывезено было из Индии неизвестно кем и когда. Отсюда можно было пройти в комнату Ричар-

да, которая служила библиотекой, гостиной и спальней одновременно, заменяя целую удобную квартирку. Небольшой коридор соединял ее с очень просто обставленной спальней, где мистер Джарндис круглый год спал при открытом окне на кровати без полога, стоявшей посредине комнаты, чтобы со всех сторон обдувал воздух; открытая дверь вела из спальни в смежную комнатку, где он принимал холодные ванны. Другой коридор вел из спальни к черному ходу, и, когда у конюшни чистили лошадей, отсюда было слышно, как им кричали: «Стой!» и «Пошел!» – если им случалось поскользнуться на неровных булыжниках. Но, если угодно, вы могли бы из спальни хозяина перейти прямо в переднюю – стоило только выйти в другую дверь (в каждой комнате здесь было не меньше двух дверей), спуститься по нескольким ступенькам и пройти по низкому сводчатому коридору, – а очутившись в передней, вы просто не поняли бы, каким образом вы отсюда вышли и как вам удалось сюда вернуться.

Как и сам дом, обстановка в нем была старинная, хоть и не казалась старой, и так же пленяла своим приятным разнообразием. Спальня Ады была, если можно так выразиться, «вся в цветах» – цветочным узором были украшены и ситцевые чехлы, и обои, и бархатные портьеры, и вышивки, и парчовая обивка стоявших по обе стороны камина двух роскошных, как во дворце, прямых кресел, к которым для большей пышности было приставлено, в качестве пажей, по скамеечке. Гостиная у нас была зеленая, увешанная картинками, на кото-

рых было изображено множество удивительных птиц, пристально и удивленно смотревших с полотен в застекленных рамах на аквариум с живой форелью, – такой коричневой и блестящей, словно ее подали под соусом, – и на другие картинки, например «Смерть капитана Кука» и весь процесс заготовки чая в Китае, нарисованный китайскими художниками. В моей комнате висели овальные гравюры с аллегорическими изображениями двенадцати месяцев, причем июнь олицетворяли дамы, работавшие на сенокосе в платьях с короткими талиями и широких шляпах, завязанных лентами, а октябрь – джентльмены в узких рейтузах, которые указывали треуголками на деревенские колокольни. Поясные портреты пастелью во множестве встречались по всему дому, но развешаны они были в полном беспорядке: так, например, брат молодого офицера, портрет которого висел в моей комнате, попал в посудную кладовую, а седую старуху, в которую превратилась моя хорошенькая юная новобрачная с цветком на корсаже, я увидела в той столовой, где завтракали. Зато вместо них у меня висели написанные во времена королевы Анны четыре ангела, которые не без труда поднимали на небо опутанного гирляндами самодовольного джентльмена, а другую стену украшал вышитый натюрморт – фрукты, чайник и букварь. Вся обстановка в этом доме, начиная с гардеробов и кончая креслами, столами, драпировками, зеркалами, вплоть до булавочных подушечек и флаконов с духами на туалетных столиках, отличалась столь же причудливым

разнообразием. Ни одной общей черты не было у этих вещей – разве только безукоризненная опрятность, сверкающая белизна полотняных скатертей и салфеток да кучки засушенных розовых лепестков и пахучей лаванды, которые лежали повсюду, в каждом ящике – все равно, большой он был или маленький.

Так вот: сначала – сияющий в звездной ночи свет в окнах, лишь кое-где притушенный занавесками; потом – светлые, теплые, уютные комнаты, и доносящийся издали гостеприимный, предобеденный стук посуды в столовой, и лицо великодушного хозяина, излучающее доброту, от которой светлело все, что мы видели, и глухой шум ветра за стенами, служащий негромким аккомпанементом всему, что мы слышали, – так вот каковы были наши первые впечатления от Холодного дома.

– Я рад, что он вам понравился, – сказал мистер Джарндис после того, как показал нам весь дом и снова привел нас в гостиную Ады. – Никаких особых претензий у него нет, но домик уютный, хочется думать, а с такими вот веселыми молодыми обитателями он будет еще уютнее. До обеда осталось всего полчаса. Гость у нас только один, но другого такого во всем мире не сыщешь – это чудеснейшее создание… дитя.

– И тут дети, Эстер! – воскликнула Ада.

– Дитя не настоящее, – пояснил мистер Джарндис, – дитя не по летам. Он взрослый – никак не моложе меня, – но по свежести чувств, простодушию, энтузиазму, прелестной бес-

хитростной неспособности заниматься житейскими делами он – сущее дитя.

Мы решили, что этот гость, очевидно, очень интересный человек.

– Это один знакомый миссис Джеллиби, – продолжал мистер Джарндис. – Он музыкант – правда, только любитель, хотя мог бы сделаться профессионалом. Кроме того, он художник-любитель, хотя тоже мог бы сделать живопись своей профессией. Очень одаренный, обаятельный человек. В делах ему не везет, в профессии не везет, в семье не везет, но это его не тревожит… сущий младенец!

– Вы сказали, что он человек семейный, значит, у него есть дети, сэр? – спросил Ричард.

– Да, Рик! С полдюжины, – ответил мистер Джарндис. – Больше! Пожалуй, дюжина наберется. Но он о них никогда не заботился. Да и где ему? Нужно, чтобы кто-то заботился о *нем самом*. Сущий младенец, уверяю вас!

– А дети его сумели позаботиться о себе, сэр? – спросил Ричард.

– Ну, сами понимаете, насколько это им удалось, – проговорил мистер Джарндис, и лицо его внезапно омрачилось. – Есть поговорка, что беднота своих отпрысков не «ставит на ноги», но «тащит за ноги». Так или иначе, дети Гарольда Скимпола с грехом пополам стали на ноги. А ветер опять переменился, к сожалению. Я это уже почувствовал!

Ричард заметил, что дом стоит на открытом месте, и когда

ночь ветреная, в комнатах дует.

– Да, он стоит на открытом месте, – подтвердил мистер Джарндис. – В том-то и дело. Потому в нем и гуляет ветер, в этом Холодном доме. Ну, Рик, наши комнаты рядом. Пойдемте!

Багаж привезли, и все у меня было под рукой, поэтому я быстро переоделась и уже принялась раскладывать свое «добро», как вдруг горничная (не та, которую приставили к Аде, а другая, еще незнакомая мне) вошла в мою комнату с корзиночкой, в которой лежали две связки ключей с ярлычками.

– Это для вас, мисс, позвольте вам доложить, – сказала она.

– Для меня? – переспросила я.

– Ключи со всего дома, мисс.

Я не скрыла своего удивления, а она, тоже немного удивленная, добавила:

– Мне приказали отдать их вам, как только вы останетесь одни, мисс. Ведь, если я не ошибаюсь, мисс Саммерсон – это вы?

– Да, – ответила я. – Это я.

– Большая связка – ключи от кладовых в доме, маленькая – от погребов, мисс. И еще мне велено показать вам завтра утром все шкафы и что каким ключом отпирается – в любое время, когда прикажете.

Я сказала, что буду готова к половине седьмого, а когда

горничная ушла, посмотрела на корзиночку и уже не спускала с нее глаз, совершенно растерявшись оттого, что мне оказали столь большое доверие. Так я и стояла, когда вошла Ада; и тут я показала ей ключи и объяснила, зачем их принесли, а она так очаровательно высказала свою веру в мои хозяйственные таланты, что я была бы бесчувственной и неблагодарной, если бы это меня не ободрило. Я понимала, конечно, что милая девушка говорит так лишь по доброте сердечной, но все-таки мне было приятно поддаться столь лестному обману.

Когда мы сошли вниз, нас представили мистеру Скимполу, который стоял у камина, рассказывая Ричарду о том, как он в свои школьные годы увлекался футболом. Маленький жизнерадостный человек с довольно большой головой, но тонкими чертами лица и нежным голосом, он казался необычайно обаятельным. Он говорил обо всем на свете так легко и непринужденно, с такой заразительной веселостью, что слушать его было одно удовольствие. Фигура у него была стройнее, чем у мистера Джарндиса, цвет лица более свежий, а седина в волосах менее заметна, и потому он казался моложе своего друга. Вообще он походил скорее на преждевременно постаревшего молодого человека, чем на хорошо сохранившегося старика. Какая-то беззаботная небрежность проглядывала в его манерах и даже костюме (волосы у него были несколько растрепаны, а слабо завязанный галстук развевался, как у художников на известных мне автопортре-

тах), и это невольно внушало мне мысль, что он похож на романтического юношу, который странным образом одряхлел. Мне сразу показалось, что и манеры его, и внешность совсем не такие, какие бывают у человека, который прошел, как и все пожилые люди, долголетний путь забот и жизненного опыта.

Из общего разговора я узнала, что мистер Скимпол получил медицинское образование и одно время был домашним врачом у какого-то немецкого князя. Но, как он сам сказал нам, он всегда был сущим ребенком «в отношении мер и весов», ничего в них не смыслил (кроме того, что они ему противны) и никогда не был способен прописать лекарство с надлежащей аккуратностью в каждой мелочи. Вообще, говорил он, голова его не создана для мелочей. И с большим юмором рассказывал нам, что, когда за ним посылали, чтобы пустить кровь князю или дать врачебный совет кому-нибудь из его приближенных, он обыкновенно лежал навзничь в постели и читал газеты или рисовал карандашом фантастические наброски, а потому не мог пойти к больному. В конце концов князь рассердился – «вполне резонно», откровенно признал мистер Скимпол, – и отказался от его услуг, а так как для мистера Скимпола «не осталось ничего в жизни, кроме любви» (объяснил он с очаровательной веселостью), то он «влюбился, женился и окружил себя румяными щечками». Его добрый друг Джарндис и некоторые другие добрые друзья время от времени подыскивали ему те или иные за-

нятия, но ничего путного из этого не получалось, так как он, должен признаться, страдает двумя самыми древними человеческими слабостями: во-первых, не знает, что такое «время», во-вторых, ничего не понимает в деньгах. Поэтому он никогда никуда не являлся вовремя, никогда не мог вести никаких дел и никогда не знал, сколько стоит то или другое. Ну что ж! Так вот он и жил всю жизнь, и такой уж он человек! Он очень любит читать газеты, очень любит рисовать карандашом фантастические наброски, очень любит природу, очень любит искусство. Все, что он просит у общества, – это не мешать ему жить. Не так уж это много. Потребности у него ничтожные. Дайте ему возможность читать газеты, беседовать, слушать музыку, любоваться красивыми пейзажами, дайте ему баранины, кофе, свежих фруктов, несколько листов бристольского картона; немножко красного вина, и больше ему ничего не нужно. В жизни он сущий младенец, но он не плачет, как дети, требуя луны с неба. Он говорит людям: «Идите с миром каждый своим путем! Хотите – носите красный мундир армейца, хотите – синий мундир моряка, хотите – облачение епископа, хотите – фартук ремесленника, а нет, так засуньте себе перо за ухо, как это делают клерки; стремитесь к славе, к святости, к торговле, к промышленности, к чему угодно, только… не мешайте жить Гарольду Скимполу!»

Все эти мысли и многие другие он излагал нам с необычайным блеском и удовольствием, а о себе говорил с ка-

ким-то оживленным беспристрастием, – как будто ему не было до себя никакого дела, как будто Скимпол был какое-то постороннее лицо, как будто он знал, что у Скимпола, конечно, есть свои странности, но есть и свои требования, которыми общество обязано заняться и не смеет пренебрегать. Он просто очаровывал своих слушателей. Если вначале я и смущалась, безуспешно стараясь примирить его признания со своими собственными взглядами на нравственный долг и ответственность (хотя я сама представляю их себе не очень ясно), меня смущало лишь то, что я не могла как следует уразуметь, почему этот человек свободен и от ответственности, и от нравственного долга. А что он действительно был от них свободен, я почти не сомневалась, – этого он ничуть не скрывал.

– Я ничего не домогаюсь, – продолжал мистер Скимпол все с тою же легкостью. – Мне не нужно ничем обладать. Вот великолепный дом моего друга Джарндиса. Я чувствую себя обязанным моему другу за то, что у меня есть этот дом. Я могу нарисовать и, рисуя, изменить его. Я могу написать о нем музыку. Когда я живу здесь, я в достаточной мере им обладаю, не испытывая никаких беспокойств, не неся расходов и ответственности. Короче говоря, у меня есть управляющий по фамилии Джарндис, и он не может меня обмануть. Мы только что говорили о миссис Джеллиби. Вот вам женщина с острым умом, сильной волей и огромной способностью вникать в каждую мелочь любого дела, – женщина, которая с

поразительным рвением преследует те или иные цели! Но я не жалею, что *у меня* нет ни сильной воли, ни огромной способности вникать в мелочи, ни уменья преследовать те или иные цели с поразительным рвением. Я могу восхищаться этой женщиной без зависти. Я могу сочувствовать ее целям. Я могу мечтать о них. Я могу лежать на траве – в хорошую погоду – и мысленно плыть по какой-нибудь африканской реке, обнимая всех встречных туземцев, и при этом так же полно наслаждаться глубокой тишиной и так же верно рисовать пышную растительность тропических дебрей, как если бы я и впрямь находился в Африке. Не знаю, приносит ли эта моя деятельность какую-нибудь непосредственную пользу, но только это я могу делать, и делаю отлично. А затем, когда Гарольд Скимпол, доверчивое дитя, умоляет вас, весь свет, то есть скопище практичных деловых людей: «Прошу вас, не мешайте мне жить и восхищаться человеческим родом», будьте добры, сделайте это так или иначе и позвольте ему качаться на его игрушечной лошадке!

Было совершенно ясно, что мистер Джарндис не остался глух к этой мольбе. Ясно хотя бы потому, какое почетное положение занимал в его доме мистер Скимпол, который вскоре сам подтвердил это, высказавшись еще яснее.

– Если я кому-нибудь и завидую, так это вам, великодушные вы создания, – сказал мистер Скимпол, обращаясь к нам троим, своим новым знакомым. – Я завидую вашей способности делать то, что вы делаете. На вашем месте я тоже бы

этим увлекся. Но я не чувствую к вам пошлой благодарности; ни малейшей. Я готов думать, что это *вам* следует благодарить *меня* за то, что я даю вам возможность наслаждаться собственной щедростью. Я знаю, вам это нравится. Быть может, я и на свет-то появился лишь для того, чтобы обогатить сокровищницу вашего счастья. Быть может, я родился затем, чтобы иногда давать вам возможность помогать мне в моих маленьких затруднениях и тем самым сделаться вашим благодетелем. Зачем же мне скорбеть о моей неспособности вникать в мелочи и заниматься житейскими делами, если она порождает столь приятные последствия? Я и не скорблю.

Из всех его шутливых речей (шутливых, но совершенно точно выражавших его взгляды) эта речь всего более пришлась по вкусу мистеру Джарндису. Впоследствии мне не раз хотелось выяснить вопрос, действительно ли это странно или только мне одной кажется странным, что мистер Джарндис, человек, способный, как никто, испытывать чувство благодарности за всякий пустяк, так стремится избежать благодарности других.

Все мы были очарованы. Я поняла, что мистер Скимпол, говоря откровенно с Адой и Ричардом, которых увидел впервые, и всячески стараясь быть столь утонченно любезным, только воздает должное их обаянию. Ричард и Ада (особенно Ричард), естественно, были польщены и решили, что для них это редкостная честь пользоваться столь большим доверием такого привлекательного человека. Чем внимательнее

нее мы слушали, тем оживленнее болтал мистер Скимпол. А уж если говорить о его веселом остроумии, его чарующей откровенности, его простодушной привычке слегка касаться своих собственных слабостей, как будто он хотел сказать: «Вы видите, я – дитя! В сравнении со мной вы коварные люди (он и вправду заставил меня считать себя коварной), а я весел и невинен; так забудьте же о своих хитростях и поиграйте со мной!» – то придется признать, что все это производило прямо-таки ошеломляющее впечатление.

И он был так чувствителен, так тонко ценил все прекрасное и юное, что уже одним этим мог бы покорять сердца. Вечером, когда я готовила чай, а моя Ада, сидя в соседней комнате за роялем, вполголоса напевала Ричарду какую-то мелодию, которую они случайно вспомнили, мистер Скимпол подсел ко мне на диван и так говорил об Аде, что я в него чуть не влюбилась.

– Она как утро, – говорил он. – Эти золотистые волосы, эти голубые глаза, этот свежий румянец на щеках… – ну, точь-в-точь летнее утро! Здешние птички так и подумают, когда увидят ее. Нельзя же называть сиротой столь прелестное юное создание, – оно живет на радость всему человечеству. Оно дитя вселенной.

Тут я заметила, что мистер Джарндис, улыбаясь, стоит рядом с нами, заложив руки за спину, и внимательно слушает.

– Вселенная – довольно равнодушная мать, к сожалению, – проговорил он.

– Ну, не знаю! – с жаром возразил ему мистер Скимпол.

– А я знаю, – сказал мистер Джарндис.

– Что ж! – воскликнул мистер Скимпол, – вы, конечно, знаете свет (который для вас – вся вселенная), а я не имею о нем понятия, так будь по-вашему. Но если бы все было по-моему, – тут он взглянул на Аду и Ричарда, – на пути этих двух юных созданий не попадались бы колючие шипы гнусной действительности. Их путь был бы усыпан розами; он пролегал бы по садам, где не бывает ни весны, ни осени, ни зимы, где вечно царит лето. Ни годы, ни беды не могли бы его омрачить. Мерзкое слово «деньги» никогда бы не долетало до него!

Мистер Джарндис с улыбкой погладил по голове мистера Скимпола, словно тот и в самом деле был ребенком, потом, сделав два-три шага, остановился на минуту и устремил глаза на девушку и юношу. Он смотрел на них задумчиво и благожелательно, и впоследствии я часто (так часто!) вспоминала этот взгляд, надолго запечатлевшийся в моем сердце. Ада и Ричард все еще оставались в соседней комнате, освещенной только огнем камина. Ада сидела за роялем; Ричард стоял рядом, склонившись над нею. Тени их на стене сливались, окруженные другими причудливыми тенями, которые хоть и были отброшены неподвижными предметами, но, движимые трепещущим пламенем, слегка шевелились. Ада так мягко касалась клавиш и пела так тихо, что музыка не заглушала ветра, посылавшего свои вздохи к далеким холмам. Тайна

будущего и ее раскрытие, предвещаемое голосом настоящего, – вот что, казалось, выражала вся эта картина.

Но я не потому упоминаю об этой сцене, что хочу рассказать про какое-то свое фантастическое предчувствие, хоть оно и запечатлелось у меня в памяти, а вот почему. Во-первых, я не могла не заметить, что поток слов, только что сказанных мистером Скимполом, был внушен отнюдь не теми мыслями и чувствами, которые отражались в безмолвном взгляде мистера Джарндиса. Во-вторых, хотя взгляд его, оторвавшись от молодых людей, лишь мимолетно остановился на мне, я почувствовала, что в этот миг мистер Джарндис признается мне, – признается умышленно и видит, что я понимаю его признание, – в своих надеждах на то, что между Адой и Ричардом когда-нибудь установится связь еще более близкая, чем родственные отношения.

Мистер Скимпол играл на рояле и на виолончели, он даже был композитором (однажды начал писать оперу, но, наскучив ею, бросил ее на половине) и со вкусом исполнял собственные сочинения. После чая у нас состоялся маленький концерт, на котором слушателями были мистер Джарндис, я и Ричард, – очарованный пением Ады, он сказал мне, что она, должно быть, знает все песни на свете. Немного погодя я заметила, что сначала мистер Скимпол, а потом и Ричард куда-то исчезли, и пока я раздумывала о том, как может Ричард не возвращаться так долго, зная, что он столько теряет, горничная, передавшая мне ключи, заглянула в дверь и прого-

ворила:

– Нельзя ли попросить вас сюда на минуту, мисс?

Я вышла с нею в переднюю, и тут горничная, всплеснув руками, воскликнула:

– Позвольте вам доложить, мисс, мистер Карстон просит вас подняться в комнату мистера Скимпола. Плохо его дело, мисс.

– Ему плохо? – переспросила я.

– Плохо, мисс. Как громом поразило, – ответила горничная.

Меня охватил страх, как бы внезапное недомогание мистера Скимпола не оказалось опасным, но я, конечно, попросила девушку успокоиться и никого не тревожить, сама же, быстро поднимаясь по лестнице вслед за нею, успела настолько овладеть собой, что стала обдумывать, какие средства лучше всего применить, если наш гость лишился чувств. Но вот горничная распахнула дверь, и я вошла в комнату, где, к своему несказанному изумлению, увидела, что мистер Скимпол не лежит на кровати и не распростерт на полу, но стоит спиной к камину, улыбаясь Ричарду, а Ричард в полном замешательстве смотрит на какого-то мужчину в белом пальто, который сидит на кушетке, то и дело приглаживая носовым платком свои редкие, прилизанные волосы, отчего они кажутся совсем уж редкими.

– Хорошо, что вы пришли, мисс Саммерсон, – торопливо начал Ричард, – вы можете дать нам совет. Наш друг, мистер

Скимпол, – не пугайтесь! – арестован за неуплату долга.

– Действительно, дорогая мисс Саммерсон, – проговорил мистер Скимпол со своей всегдашней милой откровенностью, – я сейчас очутился в таком положении, что нуждаюсь, как никогда, в вашем замечательном здравом смысле и в свойственных вам спокойной методичности и услужливости – словом, в тех ваших качествах, которых не может не заметить каждый, кто имел счастье провести хоть четверть часа в вашем обществе.

Мужчина, сидевший на кушетке и, видимо, страдавший насморком, чихнул так громко, что я вздрогнула.

– А он велик, этот долг, из-за которого вы арестованы, сэр? – спросила я мистера Скимпола.

– Дорогая мисс Саммерсон, – ответил он, качая головой в шутливом недоумении, – право, не знаю. Несколько фунтов сколько-то шиллингов и полупенсов, не так ли?

– Двадцать четыре фунта шестнадцать шиллингов и семь с половиной пенсов, – ответил незнакомец. – Вот сколько.

– И это, кажется… это, кажется, небольшая сумма? – сказал мистер Скимпол.

Незнакомец вместо ответа чихнул опять, и с такой силой, что чуть не свалился на пол.

– Мистеру Скимполу неудобно обратиться к кузену Джарндису, – объяснил мне Ричард, – потому что он на днях… насколько я понял, сэр, кажется, вы на днях…

– Вот именно! – подтвердил мистер Скимпол с улыбкой. –

Но я забыл, много ли это было и когда это было. Джарндис охотно сделает это опять, но мне чисто по-эпикурейски хочется чего-то новенького и в одолжениях… хочется, – он взглянул на Ричарда и меня, – вырастить щедрость на новой почве, в форме цветка нового вида.

– Как же быть, по-вашему, мисс Саммерсон? – тихонько спросил меня Ричард.

Прежде чем ответить, я осмелилась задать вопрос всем присутствующим: чем грозит неуплата долга?

– Тюрьмой, – буркнул незнакомец и с самым спокойным видом положил носовой платок в цилиндр, стоявший на полу у кушетки. – Или отсидкой у Ковинса.

– А можно спросить, сэр, кто такой…

– Ковинс? – подсказал незнакомец. – Судебный исполнитель.

Мы с Ричардом снова переглянулись. Как ни странно, арест беспокоил нас, но отнюдь не самого мистера Скимпола. Он наблюдал за нами с добродушным интересом, в котором – да простится мне это противоречие – видимо, не было ничего эгоистического. Он, как говорится, «умыл руки» – забыл о своих неприятностях, когда передоверил их нам.

– Вот о чем я думаю, – начал он, словно желая от чистого сердца помочь нам, – не может ли мистер Ричард, или его прелестная кузина, или оба они в качестве участников той канцлерской тяжбы, в которой, как говорят, спор идет об огромном состоянии, не могут ли они подписать что-ни-

будь там такое, или взять на себя, или дать что-нибудь вроде поручительства, или залога, или обязательства? Не знаю уж, как это называется по-деловому, но, очевидно, есть же средство уладить дело?

– Никакого нет, – изрек незнакомец.

– В самом деле? – подхватил мистер Скимпол. – Это кажется странным тому, кто не судья в подобных делах!

– Странно или не странно, но говорю вам – никакого! – сердито пробурчал незнакомец.

– Полегче, приятель, полегче! – кротко увещевал незнакомца мистер Скимпол, делая с него набросок на форзаце какой-то книги. – Не раздражайтесь тем, что у вас такая служба. Мы можем относиться к вам, позабыв о ваших занятиях, можем оценить человека вне зависимости от того, где он служит. Не так уж мы закоснели в предрассудках, чтобы не допустить мысли, что в частной жизни вы – весьма уважаемая личность, глубоко поэтическая натура, о чем вы, возможно, и сами не подозреваете.

В ответ незнакомец снова только чихнул – и чихнул оглушительно, но что именно он хотел этим выразить – то ли что принял как должное дань, отданную его поэтичности, то ли что отверг ее с презрением – этого я не могу сказать.

– Итак, дорогая мисс Саммерсон и дорогой мистер Ричард, – весело, невинно и доверчиво начал мистер Скимпол, склонив голову набок и разглядывая свой рисунок, – вы видите, я совершенно не способен выпутаться самостоятель-

но и всецело нахожусь в ваших руках! Я хочу только одного – свободы. Бабочки свободны. Неужели у человечества хватит духу отказать Гарольду Скимполу в том, что оно предоставляет бабочкам!

– Слушайте, мисс Саммерсон, – шепотом сказал мне Ричард, – у меня есть десять фунтов, полученных от мистера Кенджа. Я могу их отдать.

У меня было пятнадцать фунтов и несколько шиллингов, отложенных из карманных денег, которые я все эти годы получала каждые три месяца. Я всегда полагала, что может произойти какая-нибудь несчастная случайность, и я окажусь брошенной на произвол судьбы, без родных и без средств, и всегда старалась откладывать немного денег, чтобы не остаться без гроша. Сказав Ричарду, что у меня есть маленькие сбережения, которые мне пока не нужны, я попросила его объяснить в деликатной форме мистеру Скимполу, пока я схожу за деньгами, что мы с удовольствием уплатим его долг.

Когда я вернулась, мистер Скимпол, растроганный и обрадованный, поцеловал мне руку. Рад он был не за себя (я снова заметила эту непонятную и удивительную несообразность), а за нас; как будто собственные интересы для него не существовали и трогало его только созерцание того счастья, которое мы испытали, уплатив его долг. Ричард попросил меня уладить дело с «Ковинсовым» (так мистер Скимпол шутя называл теперь агента Ковинса), сказав, что я сумею

проделать эту операцию тактично, а я отсчитала ему деньги и взяла с него расписку. И это тоже привело в восторг мистера Скимпола.

Он так деликатно расточал мне комплименты, что я даже не очень краснела и расплатилась с человеком в белом пальто, ни разу не сбившись со счета. Тот положил деньги в карман и отрывисто буркнул:

– Теперь пожелаю вам всего наилучшего, мисс.

– Друг мой, – обратился к нему мистер Скимпол, став спиной к камину и отложив недоконченный набросок, – мне хотелось бы расспросить вас кое о чем, но только не обижайтесь.

– Валяйте! – так, помнится, ответил тот.

– Знали ли вы сегодня утром, что вам предстоит выполнить это поручение? – спросил мистер Скимпол.

– Знал уже вчера перед вечерним чаем, – ответил «Ковинсов».

– И это не испортило вам аппетита? Ничуть не взволновало вас?

– Ни капельки, – ответил «Ковинсов». – Не застал бы вас нынче, так застал бы завтра. Лишний день – пустяки.

– Но когда вы сюда ехали, – продолжал мистер Скимпол, – была прекрасная погода. Светило солнце, дул ветерок, пели пташки, свет и тени мелькали по полям.

– А разве кто-нибудь говорил, что нет? – заметил «Ковинсов».

– Никто не говорил, – подтвердил мистер Скимпол. – Но о чем вы думали в пути?

– Что значит «думали»? – рявкнул «Ковинсов» с чрезвычайно оскорбленным видом. – «Думали»! У меня и без думанья работы хватает, а вот заработка не хватает. «Думали»!

Последнее слово он произнес с глубоким презрением.

– Следовательно, – продолжал мистер Скимпол, – вы, во всяком случае, не думали о таких, например, вещах: «Гарольд Скимпол любит смотреть, как светит солнце; любит слушать, как шумит ветер; любит следить за изменчивой светотенью; любит слушать пташек, этих певчих в величественном храме Природы. И сдается мне, что я собираюсь лишить Гарольда Скимпола его доли того единственного блага, которое по праву принадлежит ему в силу рождения!» Неужели вы совсем об этом не думали?

– Будьте… уверены… что… *нет!* – проговорил «Ковинсов», который, видимо, отрицал малейшую возможность возникновения у него подобных мыслей – и столь упорно, что не мог достаточно ярко выразить это иначе как длинными паузами между словами, а под конец дернулся так, что чуть не вывихнул себе шею.

– Я вижу, у вас, деловых людей, мыслительный процесс протекает очень странным, очень любопытным образом! – задумчиво проговорил мистер Скимпол. – Благодарю вас, друг мой. Прощайте.

Мы отсутствовали довольно долго, и это могло вызвать

удивление тех, кто остался внизу, поэтому я немедленно вернулась в гостиную и застала Аду у камина, занятую рукоделием и беседой с кузеном Джоном. Вскоре пришел мистер Скимпол, а вслед за ним и Ричард. Весь остаток вечера мысли мои были заняты первым уроком игры в трик-трак, преподанным мне мистером Джарндисом, который очень любил эту игру, и я старалась поскорее научиться играть, чтобы впоследствии приносить хоть крупицу пользы, заменяя ему в случае нужды более достойного партнера. Но все-таки я не раз думала, – в то время как мистер Скимпол играл нам на рояле или виолончели отрывки из своих сочинений или, присев к нашему столу и без всяких усилий сохраняя прекраснейшее расположение духа, непринужденно болтал, – не раз думала, что, как ни странно, но не у мистера Скимпола, а только у меня и Ричарда остался какой-то осадок от послеобеденного происшествия, – ведь нам все казалось, будто это нас собирались арестовать.

Мы разошлись очень поздно, – Ада хотела было уйти в одиннадцать часов, но мистер Скимпол подошел к роялю и весело забарабанил: «Для продления дней надо красть у ночей хоть по два-три часа, дорогая!» Только после двенадцати вынес он из комнаты и свою свечу, и свою сияющую физиономию, и я даже думаю, что он задержал бы всех нас до зари, если бы только захотел. Ада и Ричард еще стояли у камина, решая вопрос, успела ли миссис Джеллиби закончить свою сегодняшнюю порцию диктовки, как вдруг вернулся мистер

Джарндис, который незадолго перед тем вышел из комнаты.

– О господи, да что же это такое, что это такое! – говорил он, шагая по комнате и ероша волосы в добродушной досаде. – Что я слышу? Рик, мальчик мой, Эстер, дорогая, что вы натворили? Зачем вы это сделали? Как вы могли это сделать? Сколько пришлось на каждого?.. Ветер опять переменился. Насквозь продувает!

Мы не знали, что на это ответить.

– Ну же, Рик, ну! Я должен уладить это перед сном. Сколько вы дали? Я знаю, это вы двое уплатили деньги! Зачем? Как вы могли?.. О господи, настоящий восточный… не иначе!

– Я, право же, не смогу ничего сказать вам, сэр, – начал Ричард, – это было бы неблагородно. Ведь мистер Скимпол положился на нас…

– Господь с вами, милый мальчик! На кого только он не полагается! – перебил его мистер Джарндис, яростно взъерошив волосы, и остановился как вкопанный.

– В самом деле, сэр?

– На всех и каждого! А через неделю он опять попадет в беду, – сказал мистер Джарндис, снова шагая по комнате быстрыми шагами с погасшей свечой в руке. – Он вечно попадает все в ту же самую беду. Так уж ему на роду было написано. Не сомневаюсь, что, когда его матушка разрешилась от бремени, объявление в газетах гласило: «Во вторник на прошлой неделе у себя, в Доме Бед, миссис Скимпол произвела на свет сына в стесненных обстоятельствах».

Ричард расхохотался от всей души, но все же заметил:

– Тем не менее, сэр, я не считаю возможным поколебать и нарушить его доверие и потому снова осмелюсь сказать, что обязан сохранить его тайну; но я предоставляю вам, как более опытному человеку, решить этот вопрос, а вы, надеюсь, подумаете, прежде чем настаивать. Конечно, если вы будете настаивать, сэр, я признаю, что был неправ, и скажу вам все.

– Пусть так! – воскликнул мистер Джарндис, снова остановившись и в рассеянности пытаясь засунуть подсвечник к себе в карман. – Я… ох, чтоб тебя! Уберите его, дорогая! Сам не понимаю, на что он мне нужен, этот подсвечник… а все из-за ветра – всегда так действует… Я не буду настаивать, Рик, – может, вы и правы. Но все же так вцепиться в вас и Эстер и выжать обоих, как пару нежных осенних апельсинов!.. Ночью разразится буря!

Он то засовывал руки в карманы, словно решив оставить их там надолго, то хватался за голову и ожесточенно ерошил волосы.

Я осмелилась намекнуть, что в такого рода делах мистер Скимпол сущее дитя…

– Как, дорогая моя? – подхватил мистер Джарндис последнее слово.

– Сущее дитя, сэр, – повторила я, – и он так отличается от других людей…

– Вы правы! – перебил меня мистер Джарндис, просияв. – Вы своим женским умом попали прямо в точку. Он – дитя,

совершенное дитя. Помните, я сам сказал вам, что он младенец, когда впервые заговорил о нем.

– Помним! Помним! – подтвердили мы.

– Вот именно – дитя. Не правда ли? – твердил мистер Джарндис, и лицо его прояснялось все больше и больше.

– Конечно, правда, – отозвались мы.

– И подумать только, ведь это был верх глупости с вашей стороны… то есть с моей, – продолжал мистер Джарндис, – хоть одну минуту считать его взрослым. Да разве можно заставить *его* отвечать за свои поступки? Гарольд Скимпол и… какие-то замыслы, расчеты и понимание их последствий… надо же было вообразить такое! Ха-ха-ха!

Так приятно было видеть, как рассеялись тучи, омрачавшие его светлое лицо, видеть, как глубоко он радуется, и понимать, – а не понять было нельзя, – что источник этой радости доброе сердце, которому очень больно осуждать, подозревать или втайне обвинять кого бы то ни было; и так хорошо все это было, что слезы выступили на глазах у Ады, смеявшейся вместе с ним, и я сама тоже прослезилась.

– Ну и голова у меня на плечах – прямо рыбья голова, – если мне нужно напоминать об этом! – продолжал мистер Джарндис. – Да вся эта история с начала и до конца показывает, что он ребенок. Только ребенок мог выбрать *вас* двоих и впутать в это дело! Только ребенок мог предположить, что у *вас* есть деньги! Задолжай он целую тысячу фунтов, произошло бы то же самое! – говорил мистер Джарндис, и лицо

его пылало.

Мы все согласились с ним, наученные своим давешним опытом.

– Ну конечно, конечно! – говорил мистер Джарндис. – И все-таки, Рик, Эстер, и вы тоже, Ада, – ведь я не знаю, чего доброго, вашему маленькому кошельку тоже угрожает неопытность мистера Скимпола, – вы все должны обещать мне, что ничего такого больше не повторится! Никаких ссуд! Ни гроша!

Все мы торжественно обещали это, причем Ричард лукаво покосился на меня и хлопнул себя по карману, как бы напоминая, что кому-кому, а нам с ним теперь уж не грозит опасность нарушить свое слово.

– Что касается Скимпола, – сказал мистер Джарндис, – то поселите его в удобном кукольном домике, кормите его повкуснее да подарите ему несколько оловянных человечков, чтобы он мог брать у них деньги взаймы и залезать в долги, и этот ребенок будет вполне доволен своей жизнью. Сейчас он, наверное, уже спит сном младенца, так не пора ли и мне склонить свою более трезвую голову на свою более жесткую подушку. Спокойной ночи, дорогие, господь с вами!

Но не успели мы зажечь свои свечи, как он снова заглянул в комнату и сказал с улыбкой:

– Да! я ходил взглянуть на флюгер. Тревога-то оказалась ложной… насчет ветра. Дует с юга!

И он ушел, тихонько напевая что-то.

Поднявшись к себе, мы с Адой немножко поболтали, и обе сошлись на том, что все эти причуды с ветром – просто выдумка, которой мистер Джарндис прикрывается, когда не может скрыть своей горечи, но не хочет порицать того, в ком разочаровался, и вообще осуждать или обвинять кого-нибудь. Мы решили, что это очень показательно для его необычайного душевного благородства и что он совсем непохож на тех раздражительных ворчунов, которые обрушиваются на непогоду и ветер (особенно – злополучный ветер, избранный мистером Джарндисом для другой цели) и валят на них вину за свою желчность и хандру.

Нечего и говорить, что я всегда была благодарна мистеру Джарндису, но за один этот вечер я так его полюбила, что как будто уже начала его понимать; и помогли мне в этом благодарность и любовь, слившиеся в одно чувство. Пожалуй, трудно было ожидать, что я смогу примирить кажущиеся противоречия в характерах мистера Скимпола или миссис Джеллиби, – так мал был мой опыт, так плохо я знала жизнь. Впрочем, я и не пыталась их примирить, потому что, оставшись одна, принялась размышлять об Аде и Ричарде и о том касавшемся их признании, которое, казалось, сделал мне мистер Джарндис. К тому же моя фантазия, немного взбудораженная, должно быть, ветром, не могла не обратиться на меня, хоть и против моей воли. Она устремилась назад, к дому моей крестной, потом обратно и пролетела по всему моему жизненному пути, воскрешая неясные думы, трепе-

тавшие некогда в глубине моего существа, – думы о том, известна ли мистеру Джарндису тайна моего рождения, и даже – уж не он ли мой отец… впрочем, эта праздная мечта теперь совсем исчезла.

Да, все это исчезло, напомнила я себе, отойдя от камина. Не мне копаться в прошлом; я должна действовать, сохраняя бодрость духа и признательность в сердце. Поэтому я сказала себе:

– Эстер, Эстер, Эстер! Помни о своем долге, дорогая! – И так тряхнула корзиночкой с ключами, что они зазвенели, как колокольчики, окрыляя меня надеждой, и под их ободряющий звон я спокойно легла спать.

Глава VII
Дорожка призрака

Спит ли Эстер, проснулась ли, а в линкольнширской усадьбе все та же ненастная погода. День и ночь дождь беспрерывно моросит – кап-кап-кап – на каменные плиты широкой дорожки, которая пролегает по террасе и называется «Дорожкой призрака». Погода в Линкольншире так плоха, что, даже обладая очень живым воображением, невозможно представить себе, чтобы она когда-нибудь снова стала хорошей. Да и кому тут обладать избытком живого воображения, если сэр Лестер сейчас не живет в своем поместье (хотя, сказать правду, живи он здесь, воображения бы не прибавилось), но вместе с миледи пребывает в Париже, и темнокрылое одиночество нависло над Чесни-Уолдом.

Впрочем, кое-какие проблески фантазии, быть может, и свойственны в Чесни-Уолде представителям низшего животного мира. Быть может, кони в конюшне – длинной конюшне, расположенной в пустом, окруженном красной кирпичной оградой дворе, где на башенке висит большой колокол и находятся часы с огромным циферблатом, на который, словно справляясь о времени, то и дело посматривают голуби, что гнездятся поблизости и привыкли садиться на его стрелки, – быть может, кони иногда и рисуют себе мыслен-

но картины погожих дней, и, может статься, они более искусные художники, чем их конюхи. Старик чалый, который столь прославился своим уменьем скакать без дорог – прямо по полям, – теперь косится большим глазом на забранное решеткой окно близ кормушки и, быть может, вспоминает, как в иную пору там, за стеной конюшни, поблескивала молодая зелень, а внутрь потоком лились сладостные запахи; быть может, даже воображает, что снова мчится вдаль с охотничьими собаками, в то время как конюх, который сейчас чистит соседнее стойло, ни о чем не думает – разве только о своих вилах и березовой метле. Серый, который стоит прямо против входа, нетерпеливо побрякивая недоуздком, и настораживает уши, уныло поворачивая голову к двери, когда она открывается и вошедший говорит: «Ну, Серый, стой смирно! Никому ты сегодня не нужен!» – Серый, быть может, не хуже человека знает, что он сейчас действительно не нужен никому. Шестерка лошадей, которая помещается в одном стойле, на первый взгляд кажется угрюмой и необщительной, но, быть может, она только и ждет, чтобы закрылись двери, а когда они закроются, будет проводить долгие дождливые часы в беседе, более оживленной, чем разговоры в людской или в харчевне «Герб Дедлоков»; быть может, даже будет коротать время, воспитывая (а то и развращая) пони, что стоит за решетчатой загородкой в углу. Так и дворовый пес, который дремлет в своей конуре, положив огромную голову на лапы, быть может, вспоминает о жарких, сол-

нечных днях, когда тени конюшенных строений, то и дело меняясь, выводят его из терпения, пока наконец не загонят в узкую тень его собственной конуры, где он сидит на задних лапах и, тяжело дыша, отрывисто ворчит, стремясь грызть не только свои лапы и цепь, но и еще что-нибудь. А может быть, просыпаясь и мигая со сна, он настолько отчетливо вспоминает дом, полный гостей, каретный сарай, полный экипажей, конюшню, полную лошадей, службы, полные кучеров и конюхов, что начинает сомневаться, – постой, уж нет ли всего этого на самом деле? – и вылезает, чтобы проверить себя. Затем, нетерпеливо отряхнувшись, он, быть может, ворчит себе под нос: «Все дождь, и дождь, и дождь! Вечно дождь… а хозяев нет!» – снова залезает в конуру и укладывается, позевывая от неизбывной скуки.

Так и собаки на псарне, за парком, – те тоже иногда беспокоятся, и если ветер дует очень уж упорно, их жалобный вой слышен даже в доме – и наверху, и внизу, и в покоях миледи. Собаки эти в своем воображении, быть может, бегают по всей округе, хотя на самом деле они лежат неподвижно и только слушают стук дождевых капель. Так и кролики с предательскими хвостиками, снующие из норы в нору между корнями деревьев, быть может, оживляются воспоминаниями о тех днях, когда теплый ветер трепал им уши, или о той чудесной поре года, когда можно жевать сладкие молодые побеги. Индейка на птичнике, вечно расстроенная какой-то своей наследственной обидой (должно быть, тем, что

индеек режут к Рождеству), вероятно, вспоминает о том летнем утре, когда она вышла на тропинку между срубленными деревьями, а там оказался амбар с ячменем, и думает – как это несправедливо, что то утро прошло. Недовольный гусь, который вперевалку проходит под старыми воротами, нагнув шею, хотя они высотой с дом, быть может, гогочет – только мы его не понимаем, – что отдает свое неустойчивое предпочтение такой погоде, когда эти ворота отбрасывают тень на землю.

Но как бы там ни было, фантазия не очень-то разыгрывается в Чесни-Уолде. Если случайно и прозвучит ее слабый голос, он потом долго отдается тихим эхом в гулком старом доме и обычно порождает сказки о привидениях и таинственные истории.

Дождь в Линкольншире лил так упорно, лил так долго, что миссис Раунсуэлл – старая домоправительница в Чесни-Уолде – уже не раз снимала очки и протирала их, желая убедиться, что она не обманывается и дождевые капли действительно текут не по их стеклам, а по оконным. Миссис Раунсуэлл могла бы не сомневаться в этом, если бы слышала, как громко шумит дождь; но она глуховата, в чем никто не может ее убедить. Почтенная старушка, красивая, представительная, безукоризненно опрятная, она держится так прямо и носит корсаж с таким прямым и длинным мысом спереди, что никто из ее знакомых не удивился бы, если бы после ее смерти оказалось, что корсетом ей служила широкая старо-

модная каминная решетка. Миссис Раунсуэлл почти не обращает внимания на погоду. Ведь дом, которым она «правит», стоит на месте во всякую погоду, а, по ее же собственным словам, «на что ей и смотреть, как не на дом?». Она сидит у себя в комнате (а комнатой ей служит боковой коридорчик в нижнем этаже с полукруглым окном и видом на гладкую четырехугольную площадку, украшенную гладко подстриженными деревьями с шарообразными кронами и гладко обтесанными каменными шарами, которые стоят на одинаковых расстояниях друг от друга, так что можно подумать, будто деревья затеяли игру в шары), – она сидит у себя, но ни на минуту не забывает обо всем доме. Она может открыть его, если нужно, и может тогда возиться и хлопотать в нем; но сейчас он заперт и величаво покоится во сне на широкой, окованной железом груди миссис Раунсуэлл.

Очень трудно представить себе Чесни-Уолд без миссис Раунсуэлл, хотя живет она в нем только пятьдесят лет. Спросите ее в этот дождливый день, как долго она здесь живет, и она ответит: «Будет пятьдесят лет и три с половиной месяца, если, бог даст, доживу до вторника». Мистер Раунсуэлл умер незадолго до того, как вышли из моды очаровательные парики с косами, и смиренно схоронил свою косичку (если только взял ее с собой) в углу кладбища, расположенного в парке, возле заплесневелой церковной паперти. Он родился в соседнем городке, и там же родилась его жена; а овдовела она в молодых летах. Карьера ее в доме Дедлоков началась

со службы в кладовой еще при покойном отце сэра Лестера.

Ныне здравствующий баронет, старший в роде Дедлоков, – безупречный хозяин. Он считает, что вся его челядь совершенно лишена индивидуальных характеров, стремлений, взглядов, и убежден, что они ей и не нужны, так как сам он создан для того, чтобы возместить ей все это своей собственной персоной. Случись ему узнать, что дело обстоит как раз наоборот, он был бы просто ошеломлен и, вероятно, никогда бы не пришел в себя – разве только затем, чтобы глотнуть воздуху и умереть. Но тем не менее он ведет себя как безупречный хозяин, полагая, что к этому его обязывает высокое положение в обществе. Он очень ценит миссис Раунсуэлл. Говорит, что она достойна всяческого уважения и доверия. Неизменно пожимает ей руку и по приезде в Чесни-Уолд, и перед отъездом, и если б ему случилось занемочь тяжкой болезнью, или свалиться с лошади, или попасть под колеса, или вообще очутиться в положении, не подобающем Дедлоку, он сказал бы, будь он в силах говорить: «Уйдите прочь и позовите миссис Раунсуэлл!» – ибо он знает, что в критических случаях никто не сумеет так поддержать его достоинство, как она.

Миссис Раунсуэлл хлебнула горя на своем веку. У нее было два сына, и младший, как говорится, сбился с пути – завербовался в солдаты, да так и пропал без вести. До нынешнего дня руки миссис Раунсуэлл, обычно спокойно сложенные на мыске корсажа, поднимаются и судорожно тре-

пещут, когда она рассказывает, какой он был славный мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добрый и умный мальчик! Ее старший сын мог бы хорошо устроить свою жизнь в Чесни-Уолде и со временем получить здесь место управляющего, но он еще в школьные годы увлекался изготовлением паровых машин из кастрюль и обучал певчих птиц накачивать для себя воду с минимальной затратой сил, причем изобрел им в помощь такое хитроумное приспособление типа насоса, что жаждущей канарейке оставалось только «приналечь плечом на колесо» – в буквальном смысле слова, – и вода текла. Подобные наклонности причиняли большое беспокойство миссис Раунсуэлл. Обуреваемая материнской тревогой, она опасалась, как бы сын ее не пошел «по дорожке Уота Тайлера», ибо отлично знала, что сэр Лестер пророчит эту «дорожку» всем тем, кто одарен способностями к ремеслам, неразрывно связанным с дымом и высокими трубами. Но обреченный молодой мятежник (в общем – кроткий, хотя и очень упорный юноша), подрастая, не только не проявлял раскаяния, но в довершение всего соорудил модель механического ткацкого станка, и тогда матушке его волей-неволей пришлось пойти к баронету и, заливаясь слезами, доложить ему об отступничестве сына.

– Миссис Раунсуэлл, как вам известно, я никогда ни с кем не спорю ни на какие темы, – изрек тогда сэр Лестер. – Вам надо сбыть с рук своего сына; вам надо устроить его на какой-нибудь завод. Железные месторождения где-то там на

севере, по-моему, самое подходящее место для подростка с подобными наклонностями.

И вот на север подросток отбыл, на севере вырос, и если сэр Лестер замечал его, когда тот приезжал в Чесни-Уолд навестить свою мать, или вспоминал о нем впоследствии, то, несомненно, видел в нем одного из тех нескольких тысяч темнолицых и угрюмых заговорщиков, которые привыкли шататься при свете факелов две-три ночи в неделю и всегда – с противозаконными намерениями.

Тем не менее сын миссис Раунсуэлл рос и развивался и по законам природы, и под воздействием воспитания; он устроил свою жизнь, женился и произвел на свет внука миссис Раунсуэлл, а тот, кончив ученье и вернувшись на родину из путешествия по дальним странам, куда его посылали, чтобы он пополнил свои знания и завершил подготовку к жизненному пути, – тот стоит теперь, в этот самый день, прислонившись к камину, в комнате миссис Раунсуэлл в Чесни-Уолде.

– Еще и еще раз скажу – я рада видеть тебя, Уот! И опять скажу, Уот, что рада тебя видеть! – говорит миссис Раунсуэлл. – Ты очень хороший мальчик. Ты похож на своего бедного дядю Джорджа. Ах! – И при этом воспоминании руки миссис Раунсуэлл, как всегда, начинают дрожать.

– Говорят, бабушка, я похож на отца.

– На него тоже, милый мой, но ты больше похож на бедного дядю Джорджа! А как твой дорогой отец? – Миссис Раунсуэлл снова складывает руки. – Он здоров?

– Живет хорошо, бабушка, – лучше некуда.

– Слава богу!

Миссис Раунсуэлл любит старшего сына, но осуждает его примерно так же, как осудила бы очень храброго солдата, перешедшего на сторону врага.

– Он вполне доволен своей жизнью? – спрашивает она.

– Вполне.

– Слава богу! Значит, он обучил тебя своему ремеслу и послал за границу и все такое? Ну что ж, ему лучше знать. Может, вокруг Чесни-Уолда творится много такого, чего я не понимаю. А ведь я уж немолода. И кто-кто, а я повидала немало людей из высшего общества!

– Бабушка, – говорит юноша, меняя разговор, – а кто эта хорошенькая девушка, которую я застал здесь у вас? Кажется, ее зовут Розой?

– Да, милый. Она дочь одной вдовы из нашей деревни. В теперешние времена так трудно обучать прислугу, что я взяла ее к себе с малых лет. Девушка толковая, и прок из нее будет. Уже неплохо научилась показывать дом посетителям. Она живет и столуется здесь, у меня.

– Может, она меня стесняется и потому ушла из комнаты?

– Должно быть, подумала, что нам надо поговорить о своих семейных делах. Она очень скромная. Что ж, это хорошее качество для молодой девушки. И редкое, – добавляет миссис Раунсуэлл, а мыс на ее корсаже выпячивается донельзя, – в прежние времена скромных девушек было больше.

Юноша наклоняет голову в знак уважения к взглядам столь опытной женщины. Миссис Раунсуэлл прислушивается.

– Кто-то приехал! – говорит она. Более острый слух ее молодого собеседника давно уже уловил стук колес. – Кому это взбрело в голову явиться в такую погоду, хотела бы я знать?

Немного погодя слышен стук в дверь.

– Войдите!

Входит темноглазая, темноволосая, застенчивая деревенская красавица, такая свежая, с таким румяным и нежным личиком, что дождевые капли, осыпавшие ее волосы, напоминают росу на только что сорванном цветке.

– Кто это приехал, Роза? – спрашивает миссис Раунсуэлл.

– Два молодых человека в двуколке, сударыня, и они хотят осмотреть дом… Ну да, так я им и сказала, позвольте вам доложить! – спешит она добавить в ответ на отрицательный жест домоправительницы. – Я вышла на крыльцо и сказала, что они приехали не в тот день и час, когда разрешается осматривать дом, но молодой человек, который был за кучера, снял шляпу, несмотря на дождь, и упросил меня передать вам эту карточку.

– Прочти, что там написано, милый Уот, – говорит домоправительница.

Роза так смущается, подавая карточку юноше, что молодые люди роняют ее и чуть не сталкиваются лбами, поднимая ее с полу. Роза смущается еще больше.

«Мистер Гаппи» – вот все, что написано на карточке.

– Гаппи! – повторяет миссис Раунсуэлл. – Мистер Гаппи! Что за чепуха; да я о нем и не слыхивала!

– С вашего позволения, он так мне и сказал! – объясняет Роза. – Но он говорит, что он и другой молодой джентльмен приехали на почтовых из Лондона вчера вечером по своим делам – на заседание судей; а оно было нынче утром где-то за десять миль отсюда, но они быстро покончили с делами и не знали, что с собою делать, да к тому же много чего наслушались про Чесни-Уолд, вот и приехали сюда в такую погоду осматривать дом. Они юристы. Он говорит, что хоть и не служит в конторе мистера Талкингхорна, но может, если потребуется, сослаться на него, потому что мистер Талкингхорн его знает.

Умолкнув, Роза спохватилась, что произнесла довольно длинную речь, и смущается еще больше.

Надо сказать, что мистер Талкингхорн – в некотором роде неотъемлемая принадлежность этого поместья; кроме того, он, как говорят, составлял завещание миссис Раунсуэлл. Старуха смягчается, разрешает, в виде особой милости, принять посетителей и отпускает Розу. Однако внук, внезапно возжаждав осмотреть дом, просит позволения присоединиться к посетителям. Бабушка, обрадованная его интересом к Чесни-Уолду, сопровождает его… хотя, надо отдать ему должное, он настоятельно просит ее не беспокоиться.

– Очень вам признателен, сударыня! – говорит в вести-

бюле мистер Гаппи, стаскивая с себя промокший суконный дождевик. – Мы, лондонские юристы, изволите видеть, не часто выезжаем за город, а уж если выедем, так стараемся извлечь из поездки все, что можно.

Старая домоправительница с чопорным изяществом показывает рукой на огромную лестницу. Мистер Гаппи и его спутник следуют за Розой, миссис Раунсуэлл и ее внук следуют за ними; молодой садовник шествует впереди и открывает ставни.

Как всегда бывает с людьми, которые осматривают дома, не успели мистер Гаппи и его спутник начать осмотр, как уже выбились из сил. Они задерживаются не там, где следует, разглядывают не то, что следует, не интересуются тем, чем следует, зевают во весь рот, когда открываются новые комнаты, впадают в глубокое уныние и явно изнемогают. Перейдя из одной комнаты в другую, миссис Раунсуэлл, прямая, как и сам этот дом, всякий раз присаживается в сторонке – в оконной нише или где-нибудь в уголке – и с величавым одобрением слушает объяснения Розы. А внук ее, тот слушает так внимательно, что Роза смущается все больше… и все больше хорошеет. Так они переходят из комнаты в комнату, то ненадолго воскрешая портреты Дедлоков, когда молодой садовник впускает в дом дневной свет, то погружая их в могильную тьму, когда садовник вновь преграждает ему путь. Удрученный мистер Гаппи и его безутешный спутник конца не видят этим Дедлокам, чья знатность, по-видимому,

зиждется лишь на том, что они и за семьсот лет ровно ничем не сумели отличиться.

Продолговатая гостиная Чесни-Уолда и та не может оживить мистера Гаппи. Он так изнемог, что обмяк на ее пороге и насилу собрался с духом, чтобы войти. Но вдруг портрет над камином, написанный модным современным художником, поражает его, как чудо. Мистер Гаппи мгновенно приходит в себя. Он во все глаза смотрит на портрет с живейшим интересом; он как будто прикован к месту, заворожен.

– Ну и ну! – восклицает мистер Гаппи. – Кто это?

– Портрет над камином, – объясняет Роза, – написан с ныне здравствующей леди Дедлок. По общему мнению, художник добился разительного сходства, и все считают, что это его лучшее произведение.

– Черт меня побери, если я ее когда-нибудь видел! – говорит мистер Гаппи, в замешательстве глядя на своего спутника. – Однако я ее узнаю. С этого портрета была сделана гравюра, мисс?

– Нет, его никто не гравировал. У сэра Лестера не раз просили разрешения сделать гравюру, но он неизменно отказывал

– Вот как! – негромко говорит мистер Гаппи. – Провалиться мне, если я не знаю ее портрета как свои пять пальцев, хоть это и очень странно! Так, значит, это леди Дедлок?

– Направо портрет ныне здравствующего сэра Лестера Дедлока. Налево портрет его отца, покойного сэра Лестера.

Мистер Гаппи не обращает никакого внимания на обоих этих вельмож.

– Понять не могу, – говорит он, не отрывая глаз от портрета, – почему я так хорошо его знаю! Будь я проклят, – добавляет мистер Гаппи, оглядываясь вокруг, – если этот портрет не привиделся мне во сне!

Никто из присутствующих не проявляет особого интереса к снам мистера Гаппи, так что возможность эту не обсуждают. Сам мистер Гаппи по-прежнему стоит как вкопанный перед портретом, так глубоко погрузившись в созерцание, что не двигается с места, пока молодой садовник не закрывает ставен; а тогда мистер Гаппи выходит из гостиной в состоянии оцепенения, которое служит хоть и своеобразной, но достаточной заменой интереса, и плетется по анфиладе комнат, растерянно выпучив глаза и словно повсюду ища леди Дедлок.

Но он больше нигде ее не видит. Он видит ее покои, куда всю компанию ведут напоследок, так как они очень красиво обставлены; он глядит в окна, как и миледи недавно глядела на дождь, смертельно ей надоевший. Но всему приходит конец – даже осмотру домов, ради которых люди тратят столько сил, добиваясь разрешения их осмотреть, и в которых скучают, едва начав их осматривать. Мистер Гаппи наконец кончил осмотр, а свежая деревенская красавица – свои объяснения, которые она неизменно завершает следующими словами:

– Терраса там, внизу, вызывает всеобщее восхищение. В связи с одним древним семейным преданием ее назвали «Дорожкой призрака».

– Вот как? – говорит мистер Гаппи с жадным любопытством. – А что это за предание, мисс? Может, оно имеет нечто общее с каким-нибудь портретом?

– Расскажите нам его, пожалуйста, – полушепотом просит Уот.

– Я его не знаю, сэр. – Роза совсем смутилась.

– Посетителям его не рассказывают; оно почти забыто, – говорит домоправительница, подойдя к ним. – Это просто семейная легенда, и только.

– Простите, сударыня, если я еще раз спрошу, не связано ли предание с каким-нибудь портретом, – настаивает мистер Гаппи, – потому что, верьте не верьте, но чем больше я думаю об этом портрете, тем лучше узнаю его, хоть и не знаю, откуда я его знаю!

Предание не связано ни с каким портретом – домоправительнице это известно наверное. Мистер Гаппи признателен ей за это сообщение, да и вообще очень ей признателен. Он уходит вместе с приятелем, спускается по другой лестнице в сопровождении молодого садовника, и вскоре все слышат, как посетители уезжают.

Смеркается. Миссис Раунсуэлл не сомневается в скромности своих юных слушателей – кому-кому, а им она может рассказать, отчего здешней террасе дали такое жуткое назва-

ние. Она усаживается в большое кресло у быстро темнеющего окна и начинает:

– В смутное время короля Карла Первого, милые мои, – то бишь в смутное время бунтовщиков, которые устроили заговор против этого славного короля, – Чесни-Уолдом владел сэр Морбари Дедлок. Есть ли сведения, что и раньше в роду Дедлоков был какой-нибудь призрак, я сказать не могу. Но очень возможно, что был, я так думаю.

Миссис Раунсуэлл думает так потому, что, по ее глубокому убеждению, род, столь древний и знатный, имеет право на призрак. Она считает, что обладанье призраком – это одна из привилегий высшего общества, аристократическое отличие, на которое простые люди претендовать не могут.

– Нечего и говорить, – продолжает миссис Раунсуэлл, – что сэр Морбари Дедлок стоял за августейшего мученика. А его супруга, в жилах которой не текла кровь этого знатного рода, судя по всему, одобряла неправое дело. Говорят, будто у нее были родственники среди недругов короля Карла, будто она поддерживала связь с ними и доставляла им нужные сведения. И вот, когда местные дворяне, преданные его величеству, съезжались сюда, леди Дедлок, как говорят, всякий раз стояла за дверью той комнаты, где они совещались, а те и не подозревали об этом… Слышишь, Уот, будто кто-то ходит по террасе?

Роза придвигается ближе к домоправительнице.

– Я слышу, как дождь стучит по каменным плитам, – от-

вечает юноша, – и еще слышу какие-то странные отголоски, вроде эха… Должно быть, это и есть эхо, – очень похоже на шаги хромого.

Домоправительница важно кивает головой и продолжает:

– Частью по причине этих разногласий, частью по другим причинам сэр Морбари не ладил с женой. Она была гордая леди. Они не подошли друг к другу ни по возрасту, ни по характеру, а детей у них не было – некому было мирить супругов. Когда же ее любимый брат, молодой джентльмен, погиб на гражданской войне (а убил его близкий родственник сэра Морбари), леди Дедлок так по нем горевала, что возненавидела всю мужнину родню. И вот, бывало, соберутся Дедлоки выступить из Чесни-Уолда, чтобы сражаться за короля, а она потихоньку спустится в конюшню поздней ночью да и подрежет жилы на ногах их коням; а еще говорят, будто раз ее супруг заметил, как она крадется вниз по лестнице ночью, и пробрался за ней по пятам в денник, где стоял его любимый конь. Тут он схватил жену за руку, и то ли когда они боролись, то ли когда она упала, а может, это конь испугался и лягнул ее, но она повредила себе бедро и с тех пор стала сохнуть и тосковать.

Домоправительница понизила голос; теперь она говорила почти шепотом:

– Раньше она была хорошо сложена и осанка у нее была величавая. Однако теперь она не роптала на свое увечье; никому не говорила, что искалечена, что страдает, но день за

днем все пыталась ходить по террасе, опираясь на палку и держась за каменную ограду, и все ходила, и ходила, и ходила взад и вперед, и по солнцепеку, и в тени, и с каждым днем ходить ей было все труднее. Но вот как-то раз под вечер ее супруг (а она с той ночи не сказала ему ни единого слова) – ее супруг стоял у большого окна на южной стороне и увидел, как она рухнула на каменные плиты. Он сбежал вниз, чтобы поднять ее, наклонился, а она оттолкнула его, глянула на него в упор холодными глазами и промолвила: «Я умру здесь – где ходила. И буду ходить тут и после смерти. Я буду ходить здесь, пока не сломится в унижении гордость вашего рода. А когда ему будет грозить беда или позор, да услышат Дедлоки мои шаги!»

Уот смотрит на Розу. В сгущающихся сумерках Роза опускает глаза, не то испуганная, не то смущенная.

– И в ту же минуту она скончалась. С тех-то пор, – продолжает миссис Раунсуэлл, – террасу и прозвали «Дорожкой призрака». Если шум шагов – просто эхо, так это такое эхо, которое слышно только в ночной темноте, и бывает, что его очень долго не слышно вовсе. Но время от времени оно слышится вновь, и это случается всякий раз, как Дедлокам грозит болезнь или смерть.

– Или позор, бабушка… – говорит Уот.

– Позор не может грозить Чесни-Уолду, – останавливает его домоправительница.

Внук просит извинения, бормоча: «Разумеется, разумеет-

ся!»

– Вот о чем говорит предание. Что это за звуки – неизвестно, но от них как-то тревожно на душе, – говорит миссис Раунсуэлл, вставая с кресла, – и, что особенно интересно, их нельзя не слышать. Миледи ничего не боится, но и она признает, что, когда они звучат, их нельзя не слышать. Их невозможно заглушить. Оглянись, Уот, сзади тебя стоят высокие французские часы (их нарочно поставили там), и когда их заведут, они тикают очень громко, а бой у них с музыкой. Ты умеешь обращаться с такими часами?

– Как не уметь, бабушка!

– Так заведи их.

Уот заводит часы и бой с музыкой тоже.

– Теперь подойди-ка сюда, – говорит домоправительница, – сюда, милый, поближе к изголовью миледи. Сейчас, пожалуй, еще недостаточно темно, но все-таки прислушайся! Слышишь шум шагов на террасе, несмотря на музыку и тиканье?

– Конечно, слышу!

– Вот и миледи говорит, что слышит.

Глава VIII
Как покрывают множество грехов

Как интересно мне было, встав до зари и принявшись за свой туалет, увидеть в окне, – в темных стеклах которого мои свечи отражались, словно огни двух маяков, – что мир там, за этими стеклами, еще окутан мглой уходящей ночи, а потом, с наступлением утра, наблюдать за его появлением на свет. По мере того как вид, открывавшийся из окна, постепенно становился все более отчетливым и передо мной вставали просторы, над которыми ветер блуждал во мраке, как в памяти моей блуждали мысли о моем прошлом, я с удовольствием обнаруживала незнакомые предметы, окружавшие меня во сне. Сначала их едва можно было различить в тумане, и утренние звезды еще мерцали над ними. Когда же бледный сумрак рассеялся, картина стала развертываться и заполняться так быстро и каждый мой взгляд открывал в ней так много нового, что я могла бы рассматривать ее целый час. Мало-помалу совсем рассвело, и свечи стали казаться мне чем-то лишним, ненужным, а все темные углы в моей комнате стали светлыми, и яркое солнце озарило приветливые поля и луга, над которыми древняя церковь аббатства с массивной колокольней возвышалась, отбрасывая на землю полосу тени, менее густой, чем этого можно было ожидать

от такого мрачного с виду здания. Но грубоватая внешность бывает обманчива (кто-кто, а я это, к счастью, уже знала), и нередко за нею скрываются нежность и ласка.

В доме все было в таком порядке, а все его обитатели так внимательно относились ко мне, что обе мои связки ключей ничуть меня не тяготили, но это все-таки очень трудно – запоминать содержимое каждого ящика и шкафа во всех кладовых и чуланах, отмечать на грифельной доске количество банок с вареньем, маринадами и соленьями, бутылок, хрусталя, фарфора и множества всяких других вещей, особенно если ты молода и глупа и к тому же одержима методичностью старой девы; поэтому не успела я оглянуться, как услышала звон колокола, – просто не верилось, что уже подошло время завтракать. Однако я немедленно побежала готовить чай, ибо мне уже поручили распоряжаться чаепитием; но все в доме, должно быть, заспались, – внизу никого еще не было, – и я решила заглянуть в сад, чтобы познакомиться и с ним. Сад привел меня в полный восторг: к дому тянулась красивая широкая аллея, по которой мы приехали (и где, кстати сказать, до того разворошили колесами гравий, что я попросила садовника пригладить его катком), а позади дома был разбит цветник, и, перейдя туда, я увидела, что за окном появилась моя милая подружка и, распахнув его, так улыбнулась мне, как будто ей хотелось послать мне воздушный поцелуй. За цветником начинался огород, за ним была лужайка, дальше маленький укромный выгон со стогами се-

на и, наконец, прелестный дворик небольшой фермы. А дом, уютный, удобный, приветливый, с тремя шпилями на крыше, с окнами разной формы – где очень маленькими, а где очень большими, но всюду очень красивыми, со шпалерами для роз и жимолости на южном фасаде, – этот дом был «достоин кузена Джона», как сказала Ада, которая вышла мне навстречу под руку с хозяином и безбоязненно проговорила эти слова, но не понесла наказания – «кузен Джон» только ущипнул ее нежную щечку.

За завтраком мистер Скимпол разглагольствовал не менее занимательно, чем вчера вечером. К столу подали мед, и это побудило мистера Скимпола завести разговор о пчелах. Он ничего не имеет против меда, говорил он (и я в этом не сомневалась, – мед он кушал с явным удовольствием), но протестует против самонадеянных притязаний пчел. Он не постигает, почему трудолюбивая пчела должна служить ему примером; он думает, что пчеле нравится делать мед, иначе она бы его не делала – ведь никто ее об этом не просит. Пчеле не следует ставить себе в заслугу свои пристрастия. Если бы каждый кондитер носился по миру, жужжа и стукаясь обо все, что попадается на дороге, и самовлюбленно призывал всех и каждого заметить, что он летит на работу и ему нельзя мешать, мир стал бы совершенно несносным местом. И потом, разве не смешно, что, как только вы обзавелись своим домком, вас из него выкуривают серой? Вы были бы невысокого мнения, скажем, о каком-нибудь ман-

честерском фабриканте, если бы он прял хлопок только ради этого. Мистер Скимпол должен сказать, что считает трутня выразителем более приятной и мудрой идеи. Трутень говорит простодушно: «Простите, но я, право же, не в силах заниматься делом. Я живу в мире, где есть на что посмотреть, а времени на это мало, и вот я позволяю себе наблюдать за тем, что делается вокруг меня, и прошу, чтобы меня содержал тот, у кого нет никакого желания наблюдать за тем, что делается вокруг него». Он, мистер Скимпол, полагает, что такова философия трутня, и находит ее очень хорошей философией, конечно, лишь при том условии, если трутень готов жить в ладу с пчелой, а насколько ему, мистеру Скимполу, известно, этот покладистый малый действительно готов жить с нею в ладу – только бы самонадеянное насекомое не противилось и поменьше кичилось своим медом! Он продолжал развивать эти фантастические теории с величайшей легкостью и в самых разнообразных вариантах и очень смешил всех нас, но сегодня он, по-видимому, говорил серьезно, насколько вообще мог быть серьезным. Все слушали его, а я ушла заниматься новыми для меня хозяйственными делами. Это отняло у меня некоторое время, а когда я на обратном пути проходила по коридору, захватив свою корзиночку с ключами, мистер Джарндис окликнул меня и попросил пройти с ним в небольшую комнату, которая примыкала к его спальне и казалась не то маленькой библиотекой, набитой книгами и бумагами, не то маленьким музеем сапог,

башмаков и шляпных коробок.

– Присаживайтесь, дорогая, – сказал мистер Джарндис. – Эта комната, к вашему сведению, называется Брюзжальней. Когда я не в духе, я удаляюсь сюда и брюзжу.

– Значит, вы бываете здесь очень редко, сэр, – сказала я.

– Э, вы меня не знаете! – возразил он. – Всякий раз, как меня обманет или разочарует… ветер, да еще если он восточный, я укрываюсь здесь. Брюзжальня – моя самая любимая комната во всем доме, – тут я сижу чаще всего. Вы еще не знаете всех моих причуд. Дорогая моя, почему вы так дрожите?

Я не могла удержаться. Старалась изо всех сил, но – сидеть наедине с ним, таким добрым, смотреть в его ласковые глаза, испытывать такое счастье, такую гордость оказанной тебе честью, чувствовать, что сердце твое так полно, и не…

Я поцеловала ему руку. Не помню, что именно я сказала, да и сказала ли что-нибудь вообще. Смущенный, он отошел к окну, а я готова была подумать, что он сейчас выпрыгнет вон; но вот он обернулся, и я успокоилась, увидев в его глазах то, что он хотел скрыть, отойдя от меня. Он ласково погладил меня по голове, и я села.

– Полно, полно! – промолвил он. – Все прошло. Уф! Не делайте глупостей.

– Этого больше не повторится, сэр, – отозвалась я, – но вначале трудно…

– Пустяки! – перебил он меня. – Легко, совсем легко. Да и

о чем говорить? Я слышу, что одна хорошая девочка осиротела, осталась без покровителя, и я решаю стать ее покровителем. Она вырастает и с избытком оправдывает мое доверие, а я остаюсь ее опекуном и другом. Что в этом особенного? Ну, вот! Теперь мы свели старые счеты, и «вновь предо мною милое лицо доверие и верность обещает».

Тут я сказала себе: «Слушай, Эстер, ты меня удивляешь, дорогая моя! Не этого я от тебя ожидала!» – и это так хорошо на меня подействовало, что я сложила руки на своей корзиночке и вполне овладела собой. Мистер Джарндис одобрительно посмотрел на меня и стал говорить со мной совершенно откровенно, – словно я давным-давно привыкла беседовать с ним каждое утро. Да мне казалось, что так оно и было.

– Вы, Эстер, конечно, ничего не понимаете в нашей канцлерской тяжбе? – сказал он.

И я, конечно, покачала головой.

– Не знаю, есть ли на свете такой человек, который в ней хоть что-нибудь понимает, – продолжал он. – Судейские ухитрились так ее запутать, превратить ее в такую чертовщину, что если вначале она имела какой-то смысл, то теперь его давно уже нет. Спор в этой тяжбе идет об одном завещании и праве распоряжаться наследством, оставленным по этому завещанию… точнее, так было когда-то. Но теперь спор идет только о судебных пошлинах. Мы, тяжущиеся, то и дело появляемся и удаляемся, присягаем и запрашиваем, представ-

ляем свои документы и оспариваем чужие, аргументируем, прикладываем печати, вносим предложения, ссылаемся на разные обстоятельства, докладываем, крутимся вокруг лорд-канцлера и всех его приспешников и, на основании закона, допляшемся до того, что и мы сами и все у нас пойдет прахом… из-за судебных пошлин. В них-то и весь вопрос. Все прочее каким-то непонятным образом улетучилось.

– Но вначале, сэр, спор шел о завещании? – попыталась я вернуть его к теме разговора, потому что он уже начал ерошить себе волосы.

– Ну да, конечно, о завещании, – ответил он. – Некий Джарндис нажил огромное богатство и однажды в недобрый час оставил огромное путаное завещание. Возник вопрос – как распорядиться завещанным имуществом, и вот на разрешение этого вопроса растрачивается все наследство; наследников так измучили, что, если бы стать наследником было все равно что стать величайшим преступником, эти мучения послужили бы для них достаточной карой; а само завещание свелось к мертвой букве. С самого начала этой злополучной тяжбы все обстоятельства дела, о которых уже осведомлены все тяжущиеся, кроме одного, докладываются для ознакомления тому единственному, который о них еще не осведомлен; с самого начала этой злополучной тяжбы каждый тяжущийся вновь и вновь получает копии всех документов, которыми она обрастает (или не получает, как обычно и наблюдается, потому что никому эти копии не нужны, но

тем не менее платит за них), а это целые возы бумаги; все вновь и вновь возвращается каждый тяжущийся к исходной точке в обстановке такой дьявольской свистопляски судебных издержек, пошлин, бессмыслицы и лихоимства, какая никому и не снилась, даже в самых диких видениях шабаша ведьм. Суд справедливости запрашивает Суд общего права; Суд общего права, вместо ответа, запрашивает Суд справедливости; Суд общего права находит, что он не вправе поступить так; Суд справедливости находит, что по справедливости он не может поступить этак; причем ни тот, ни другой не решаются даже сознаться, что они бессильны что-нибудь сделать без того, чтобы этот поверенный не давал советов и этот адвокат не выступал от имени А, а тот поверенный не давал советов и тот адвокат не выступал от имени Б, и так далее вплоть до конца всей азбуки, как в детских стишках про «Яблочный пирог». И так вот все это и тянется из года в год, из поколения в поколение, то и дело начинаясь сызнова и никогда не кончаясь. И мы, тяжущиеся, никоим образом не можем избавиться от тяжбы, ибо нас сделали «сторонами в судебном деле», и мы вынуждены оставаться «сторонами», хотим мы или не хотим. Впрочем, лучше об этом не думать. Когда мой двоюродный дед, несчастный Том Джарндис, стал об этом думать, это было началом его конца!

– Тот самый мистер Джарндис, сэр, о котором я слышала?

Он хмуро кивнул.

– Я его наследник, Эстер, и это был его дом. Когда я здесь

поселился, он и в самом деле был холодным. Хозяин оставил в нем следы своих несчастий.

– Но как этот дом изменился теперь! – сказала я.

– В старину он назывался «Шпили». Том Джарндис дал ему теперешнее название и жил здесь взаперти – день и ночь корпел над кипами проклятых бумаг, приобщенных к тяжбе, тщетно надеясь распутать ее и привести к концу. Между тем дом обветшал, ветер, свистя, дул сквозь трещины в стенах, дождь лил сквозь дырявую кровлю, разросшиеся сорняки мешали подойти к полусгнившей двери. Когда я привез сюда домой останки покойного, мне почудилось, будто дом тоже пустил себе пулю в лоб – так он был запущен и разрушен.

Последние слова он произнес с дрожью в голосе, обращаясь словно не ко мне, а к себе самому, и прошелся раза два-три взад и вперед по комнате, потом взглянул на меня, повеселел и, подойдя ко мне, снова уселся, засунув руки в карманы.

– Вот видите, дорогая, – я же говорил вам, что эта комната – моя Брюзжальня. Так на чем я остановился?

Я напомнила ему о тех улучшениях, которые он здесь сделал, – ведь они совершенно преобразили Холодный дом.

– Да, верно, я говорил о Холодном доме. В Лондоне у нас есть недвижимое имущество, очень похожее теперь на Холодный дом, каким он был в те времена. Когда я говорю, «наше имущество», я подразумеваю имущество, принадле-

жащее Тяжбе, но мне следовало бы сказать, что оно принадлежит Судебным пошлинам, так как Судебные пошлины – это единственная в мире сила, способная извлечь из него хоть какую-нибудь пользу, а людям оно только оскорбляет зрение и ранит сердце. Это улица гибнущих слепых домов, глаза которых выбиты камнями, – улица, где окна – без единого стекла, без единой оконной рамы, а голые ободранные ставни срываются с петель и падают, разлетаясь на части; где железные перила изъедены пятнами ржавчины, а дымовые трубы провалились внутрь; где зеленая плесень покрыла камни каждого порога (а каждый порог может стать Порогом смерти), – улица, где рушатся даже подпорки, которые поддерживают эти развалины. Холодный дом не судился в Канцлерском суде, зато хозяин его судился, и дом был отмечен той же печатью… Вот какие они, эти оттиски Большой печати; а ведь они испещряют всю Англию, дорогая моя; их узнают даже дети!

– Как он теперь изменился, этот дом! – сказала я опять.

– Да, – подтвердил мистер Джарндис гораздо более спокойным тоном, – и это очень умно, что вы обращаете мой взор на светлую сторону картины… (Это я-то умная!) Я никогда обо всем этом не говорю и даже не думаю, – разве только здесь, в Брюзжальне. Если вы считаете нужным рассказать про это Рику и Аде, – продолжал он, и взгляд его стал серьезным, – расскажите. На ваше усмотрение, Эстер.

– Надеюсь, сэр… – начала я.

– Называйте меня лучше опекуном, дорогая.

У меня снова захватило дыхание, но я сейчас же призвала себя к порядку: «Эстер, что с тобой? Опять!» А ведь он сказал эти слова таким тоном, словно они были не проявлением заботливой нежности, но простым капризом. Вместо предостережения самой себе я чуть-чуть тряхнула ключами и, еще более решительно сложив руки на корзиночке, спокойно взглянула на него.

– Надеюсь, опекун, – сказала я, – вы лишь немногое будете оставлять на мое усмотрение. Хочу думать, что вы во мне не обманетесь. Чего доброго, вы разочаруетесь, когда убедитесь, что я не очень-то умна – а ведь это истинная правда, и вы сами об этом догадались бы, если б у меня не хватило честности признаться.

Но он как будто ничуть не был разочарован – напротив. Широко улыбаясь, он сказал, что прекрасно меня знает и для него я достаточно умна.

– Будем надеяться, что так, – сказала я, – но я в этом глубоко сомневаюсь.

– Вы достаточно умны, дорогая, – проговорил он шутливо, – чтобы сделаться нашей доброй маленькой Хозяюшкой – той старушкой, о которой поется в «Песенке младенца» (не Скимпола, конечно, а просто младенца):

Куда ты, старушка, летишь в высоту?
«Всю паутину я с неба смету!»

Вы займетесь нашим домашним хозяйством, Эстер, и так тщательно очистите наше небо от паутины, что нам скоро придется покинуть Брюзжальню и гвоздями забить дверь в нее.

С этого дня меня стали называть то Старушкой, то Хлопотуньей, то Паутинкой, а не то – именами разных персонажей из детских сказок и песен – миссис Шиптон, матушка Хаббард, госпожа Дарден, – и вообще надавали мне столько прозвищ, что мое настоящее имя совсем затерялось среди них.

– Однако давайте вернемся к теме нашей болтовни, – сказал мистер Джарндис. – Возьмем хоть Рика – прекрасный многообещающий юноша. Скажите, на какой путь его направить?

О господи! Да что это ему в голову пришло спрашивать моего совета в таком деле!

– Так вот, Эстер, – продолжал мистер Джарндис, непринужденно засунув руки в карманы и вытянув ноги. – Ему надо подготовиться к какой-нибудь профессии, и он должен сам ее выбрать. Конечно, тут, наверное, не обойтись без целой кучи «парикатуры», но это нужно сделать.

– Целой кучи чего, опекун?

– Парикатуры, – объяснил он. – Это для нее самое меткое название. Ведь Рик состоит под опекой Канцлерского суда, дорогая моя. Кендж и Карбой пожелают высказать свое мнение; мистер Такой-то – какой-нибудь нелепый могиль-

щик, роющий могилы для правосудия в задней комнатушке где-нибудь в конце переулка Куолити-Корт, что выходит на Канцлерскую улицу, пожелает высказать свое мнение; адвокат пожелает высказать свое мнение; канцлер пожелает высказать свое мнение; его приспешники пожелают высказать свое мнение; всех их вкупе придется по этому случаю хорошенько подкормить; вся эта история повлечет за собой бесконечные церемонии и словоизвержение, никого не удовлетворит, будет стоить уйму денег, и все это в целом я называю парикатурой. Не знаю, как случилось, что человечество занемогло этой самой парикатурой, и за чьи грехи наши молодые люди попали в подобную яму, но это так!

Он снова принялся ерошить себе волосы, твердя, что на него действует ветер. Но мне было приятно, что ко мне он относится благожелательно – ведь когда он ерошил волосы, или шагал взад и вперед, или делал то и другое одновременно, стоило ему посмотреть на меня, как он успокаивался, светлел и, снова усевшись поудобнее, засовывал руки в карманы и вытягивал ноги.

– Не лучше ли прежде всего спросить самого мистера Ричарда, к чему именно его влечет? – сказала я.

– Правильно, – отозвался он. – Я и сам так думаю! А знаете что – попробуйте-ка со свойственным вам тактом и непритязательностью почаще говорить об этом с ним и с Адой, и посмотрим, на чем вы все сойдетесь. При вашем посредстве мы, наверное, достигнем цели, Хозяюшка.

Я не на шутку испугалась мысли о том, какое большое значение начинаю приобретать и как много мне доверено. Я вовсе этого не хотела; я просто собиралась сказать, что с Ричардом следует поговорить ему самому. Но сейчас я, конечно, не стала спорить и сказала только, что постараюсь, хоть и боюсь (я не могла не повторить этого), как бы он не вообразил меня гораздо более проницательной, чем я есть. На это опекун мой только рассмеялся самым ласковым смехом.

– Пойдемте! – сказал он, поднявшись и отодвинув кресло. – Хватит с нас Брюзжальни на сегодня! Еще одно последнее слово. Эстер, дорогая моя, не нужно ли вам спросить меня о чем-нибудь?

Он смотрел на меня так внимательно, что я, в свою очередь, внимательно посмотрела ему в глаза и почувствовала, что поняла его.

– О себе, сэр? – спросила я.

– Да.

– Опекун, – начала я, отважившись протянуть ему руку (которая внезапно похолодела больше, чем следует), – мне ни о чем не нужно вас спрашивать! Если бы мне следовало узнать или необходимо было узнать о чем-нибудь, вы бы сами мне это сказали – и просить бы вас не пришлось. Я всецело на вас полагаюсь, я доверяю вам вполне, и, будь это иначе, у меня поистине было бы черствое сердце. Мне не о чем спрашивать вас, совершенно не о чем.

Он взял меня под руку, и мы пошли искать Аду. С это-

го часа я чувствовала себя с ним совсем свободно, совсем непринужденно, ничего больше не стремилась узнать и была вполне счастлива.

Первое время мы вели в Холодном доме довольно беспокойную жизнь, так как нам пришлось познакомиться с теми нашими многочисленными соседями, которые знали мистера Джарндиса. А как нам с Адой казалось, его знали все, кто устраивал какие-нибудь дела на чужие деньги. Принявшись разбирать его письма и отвечать за него на некоторые из них, что мы иногда делали по утрам в Брюзжальне, мы с удивлением поняли, что почти все его корреспонденты видят цель своей жизни в том, чтобы объединяться в комитеты для добывания и расходования денег. И тут леди действовали не менее, а пожалуй, даже еще более рьяно, чем джентльмены. Они с величайшей страстностью не вступали, но прямо-таки врывались в комитеты и с необычайным рвением собирали деньги по подписке. Нам казалось, что некоторые из них всю свою жизнь только и делают, что рассылают подписные карточки по всем адресам, напечатанным в Почтовом адрес-календаре, – карточки на шиллинг, карточки на полкроны, карточки на полсоверена, карточки на пенни. Эти дамы требовали всего на свете. Они требовали одежды, они требовали поношенного белья, они требовали денег, они требовали угля, они требовали супа, они требовали поддержки, они требовали автографов, они требовали фланели, они требовали всего, что имел мистер Джарндис…

и чего он не имел. Их стремления были так же разнообразны, как их просьбы. Они стремились строить новые здания, они стремились выкупать закладные на старые здания, они стремились разместить в живописном здании (гравюра будущего западного фасада прилагалась) Общину сестер Марии, созданную по образцу средневековых братств; они стремились преподнести адрес миссис Джеллиби; они стремились заказать портрет своего секретаря и подарить его секретарской теще, чья глубокая преданность зятю пользовалась широкой известностью; они явно стремились добыть все на свете, начиная с пятисот тысяч брошюр и кончая ежегодной рентой, начиная с мраморного памятника и кончая серебряным чайником. Они присваивали себе множество титулов. Среди них были и Женщины Англии, и Дочери Британии, и Сестры всех главнейших добродетелей, каждой в отдельности, и Жены Америки, и Дамы всевозможных наименований. Они то и дело волновались по поводу разных избирательных кампаний и выборов. Нам, бедным глупышкам, казалось – впрочем, это явствовало из их собственных отчетов, – что эти дамы вечно подсчитывают голоса целыми десятками тысяч, но кандидаты их никогда не получают большинства. Прямо в голове мутилось при одной мысли о том, какую лихорадочную жизнь они, должно быть, ведут.

Среди дам, особенно энергично предающихся этой хищной благотворительности (если можно так выразиться), оказалась некая миссис Пардигл, которая, судя по количеству ее

писем к мистеру Джарндису, была одержима почти столь же мощным влечением к переписке, как сама миссис Джеллиби. Мы заметили, что едва разговор заходил о миссис Пардигл, ветер обязательно менял свое направление, мешая говорить мистеру Джарндису, который неизменно умолкал, сказав, что люди, занимающиеся благотворительностью, делятся на два разряда: одни ничего не делают, но поднимают большой шум, а другие делают большое дело, но без всякого шума. Подозревая, что миссис Пардигл принадлежит к первым, мы заинтересовались ею и обрадовались, когда она както раз приехала к нам вместе со своими пятерыми сынками.

Эта дама грозной наружности, в очках на огромном носу и с громовым голосом, видимо, требовала большого простора. Так оно и оказалось – она опрокинула своими накрахмаленными юбками несколько стульев, хотя они стояли не так уж близко от нее. Мы с Адою были одни дома и приняли ее не без робости – нам почудилось, будто она ворвалась к нам, как врывается вьюга, и если у шедших за нею маленьких Пардиглов лица казались застывшими до синевы, то в этом была виновата их матушка.

– Разрешите, молодые леди, представить вам моих пятерых сыновей, – затараторила миссис Пардигл после первых приветствий. – Возможно, вы видели их имена (и, пожалуй, не раз) на печатных подписных листах, присланных нашему уважаемому другу мистеру Джарндису. Эгберт, мой старший сын (двенадцати лет), – это тот самый мальчик, кото-

рый послал свои карманные деньги в сумме пяти шиллингов и трех пенсов индейцам Токехупо. Освальд, второй сын (десяти с половиной лет), – тот ребенок, который пожертвовал два шиллинга и девять пенсов на Памятник Великим Точильщикам нации. Фрэнсис, мой третий сын (девяти лет), дал шиллинг и шесть с половиной пенсов, а Феликс, четвертый сын (семи лет), – восемь пенсов на Перезрелых вдов; Альфред же, самый младший (пяти лет), добровольно записался в «Союз ликующих малюток» и дал зарок никогда в жизни не употреблять табака.

В жизни мы не видывали таких несчастных детей. Они были не просто изможденные и сморщенные – так что казались маленькими старичками, – но недовольство их доходило до яростного озлобления. Услышав про индейцев Токехупо, Эгберт впился в меня такими дикими и хмурыми глазами, что я легко могла бы принять его за одного из самых свирепых представителей этого племени. Надо сказать, что все пятеро детей злобно мрачнели, как только миссис Пардигл упоминала о их пожертвованиях, но Эгберт был самым ожесточенным. Впрочем, слова мои не относятся к маленькому члену «Союза ликующих малюток», – этот все время выглядел одинаково тупым и несчастным.

– Насколько я знаю, – промолвила миссис Пардигл, – вы нанесли визит миссис Джеллиби?

Мы ответили, что переночевали у нее.

– Миссис Джеллиби, – продолжала наша гостья, не пе-

реставая говорить таким навязчиво выразительным, громким, резким голосом, что мне почудилось, будто голос ее тоже в очках (кстати сказать, очки отнюдь не красили миссис Пардигл, и особенно потому, что глаза у нее, по выражению Ады, «лезли на лоб», то есть были сильно навыкате), – миссис Джеллиби – благодетельница общества и достойна того, чтобы ей протянули руку помощи. Мои мальчики внесли свою лепту на африканский проект: Эгберт – один шиллинг и шесть пенсов, то есть все свои карманные деньги за девять недель целиком; Освальд – один шиллинг и полтора пенса, тоже все свои карманные деньги полностью; остальные – в соответствии с их скромными доходами. Однако не все в миссис Джеллиби мне нравится. Мне не нравится, как она воспитывает своих отпрысков. В обществе это заметили. Известно, что ее отпрыски не принимают участия в той деятельности, которой она себя посвятила. Возможно, она права, возможно, не права, но права она или не права, я не так воспитываю *своих* отпрысков. Я всюду беру их с собой.

Я была убеждена (да и Ада также), что, услышав это, злонравный старший мальчик чуть было не издал пронзительного вопля. Мальчик удержался – только зевнул, – хотя первым его побуждением было завопить.

– Они ходят со мной к заутрене (в нашей церкви служат очень недурно) в половине седьмого утра, круглый год, включая, конечно, и самые холодные зимние месяцы, – трещала миссис Пардигл, – и целый день состоят при мне, в

то время как я выполняю свои ежедневные обязанности. Я – леди-попечительница школ, я – леди-посетительница бедных, я – леди-чтица назидательных книг, я – леди-распределительница пособий; я – член местного Комитета бельевых пожертвований и член многих общенациональных комитетов; одна лишь моя работа по подготовке избирательных кампаний просто не поддается учету – вероятно, никто так много не работает в этой области. И меня всюду сопровождают мои отпрыски, приобретая тем самым то знание бедноты, ту способность к благотворительности вообще, словом, ту склонность к такого рода деятельности, которая в будущем поможет им приносить пользу ближним и достигнуть довольства собой. Мои отпрыски нелегкомысленны: под моим руководством они тратят все свои карманные деньги на подписки и перебывали на стольких собраниях, прослушали столько лекций, речей и прений, сколько обычно выпадает на долю лишь очень немногим взрослым людям. Альфред (пяти лет), – как я уже говорила, он по собственному почину вступил в «Союз ликующих малюток», – Альфред был одним из тех очень немногих малышей, которые, придя на митинг, устроенный по этому случаю, не впали в забытье после пламенной двухчасовой речи председателя.

Альфред сверкнул на нас глазами так свирепо, что мы поняли – он никогда не сможет и не захочет забыть пытки, которой его подвергли в тот вечер.

– Вы, вероятно, заметили, мисс Саммерсон, – продолжа-

ла миссис Пардигл, – что на некоторых подписных листах, которые, как я уже говорила, присланы нашему уважаемому другу мистеру Джарндису, после имен моих отпрысков стоит имя О.-А. Пардигла, члена Королевского общества, подписавшегося на один фунт. Это – их отец. Мы обычно действуем одним и тем же порядком. Сначала я вношу свою лепту, потом мои отпрыски делают пожертвования в соответствии со своим возрастом и своими скромными доходами, и, наконец, мистер Пардигл замыкает шествие. Мистер Пардигл счастлив вносить свои скромные дары под моим руководством, и, таким образом, все это не только доставляет удовольствие нам, но, смеем думать, подает хороший пример другим.

Предположим, что мистеру Пардиглу довелось бы обедать с мистером Джеллиби, и предположим, что после обеда мистер Джеллиби излил бы свою душу мистеру Пардиглу; спрашивается: а не пожелал бы мистер Пардигл в обмен на это сделать мистеру Джеллиби какое-нибудь конфиденциальное признание? Я смутилась, поймав себя на таких мыслях, но они почему-то пришли мне в голову.

– Здесь у вас очень недурная местность! – заметила миссис Пардигл.

Мы были рады переменить разговор и, подойдя к окну, обратили ее внимание на красоты открывшегося перед нами вида, но я заметила, что миссис Пардигл таращит на них свои очки с каким-то странным равнодушием.

– Вы знакомы с мистером Гашером? – спросила наша гостья.

Нам пришлось ответить, что мы не имели удовольствия познакомиться с ним.

– Тем хуже для вас, верьте мне! – безапелляционно изрекла миссис Пардигл. – Какой это пылкий, страстный оратор… сколько в нем огня! Случись ему стоять в фургоне, вот хоть на этой лужайке – ведь она по своему местоположению самой природой приспособлена для митинга, – он мог бы целыми часами ораторствовать на любую тему! А теперь, молодые леди, – продолжала миссис Пардигл, возвращаясь к своему креслу и, словно невидимой силой, опрокидывая на довольно большом от себя расстоянии круглый столик с моей рабочей корзинкой, – а теперь вы, надеюсь, меня раскусили?

Вопрос был столь ошеломляющий, что Ада взглянула на меня в полном замешательстве. А о том, как была нечиста моя совесть после всего, что я передумала о нашей гостье, говорил цвет моих щек.

– Я хочу сказать, – объяснила миссис Пардигл, – что вы раскусили, какая черта в моем характере самая выпуклая. Как мне известно, она такая выпуклая, что ее можно заметить сразу же. Я знаю, – меня нетрудно видеть насквозь. Ну что ж! Не хочу скрывать – я женщина деловая; я обожаю трудную работу; я наслаждаюсь трудной работой. Волнения приносят мне пользу. Я так привыкла к трудной работе, так втянулась в нее, что не знаю усталости.

Мы пролепетали, что это достойно удивления и восхищения или что-то в этом духе. Вряд ли мы сами хорошенько понимали, чего это в самом деле достойно, а если сказали так, то просто из вежливости.

– Я не понимаю, что значит утомиться; попробуйте утомить меня, это вам не удастся! – продолжала миссис Пардигл. – Усилия, которые я трачу (хотя для меня это не усилия), количество дел, которые я делаю (хотя для меня они ничто), порой изумляют меня самое. Мои отпрыски и мистер Пардигл иной раз только посмотрят на меня, как уже выбиваются из сил, тогда как я поистине бодра, словно жаворонок!

Казалось бы, трудно было выглядеть более угрюмым, чем выглядел старший мальчик, однако сейчас его лицо еще больше потемнело. Я видела, как он сжал правый кулак и украдкой пырнул им в тулью своей шляпы, которую держал под мышкой.

– Это для меня большое преимущество, когда я обхожу своих бедных, – говорила миссис Пардигл. – Если я встречаю человека, который не желает меня выслушать, я заявляю напрямик: «Я не знаю, что такое усталость, милейший, я никогда не утомляюсь и намерена говорить, пока не кончу». Действует великолепно! Мисс Саммерсон, надеюсь, вы согласитесь сопровождать меня во время обходов сегодня же, а мисс Клейр – в ближайшем будущем?

Вначале я пыталась отказаться под тем предлогом, что у меня сегодня срочные дела и я не могу их бросить. Но отказ

мой не возымел никакого действия, поэтому я сказала, что не уверена в своей компетентности, неопытна в искусстве приспосабливаться к людям, которые живут в совсем других условиях, чем я, и обходиться с ними надлежащим образом; сказала, что не владею тем тонким знанием человеческого сердца, которое существенно необходимо для такой работы; что мне самой нужно многому научиться, прежде чем учить других, и я не могу полагаться только на свои добрые намерения. Итак, лучше мне по мере сил помогать окружающим меня людям, стараясь, чтобы этот круг постепенно и естественно расширялся. Все это я говорила очень неуверенно, так как миссис Пардигл была гораздо старше меня, обладала большим опытом, да и вела себя уж очень воинственно.

– Вы не правы, мисс Саммерсон, – возразила она, – но, может быть, вы просто не любите трудной работы или связанных с нею волнений, а это совсем другое дело. Если хотите видеть, как я работаю, извольте: я сейчас намерена – вместе со своими отпрысками – зайти тут поблизости к одному рабочему кирпичнику (пренеприятному субъекту) и охотно возьму вас с собою. И мисс Клейр тоже, если она окажет мне эту любезность.

Ада переглянулась со мной, и мы согласились, так как все равно собирались пойти погулять. Мы пошли надеть шляпы и, быстро вернувшись, увидели, что «отпрыски» томятся в углу, а их родительница носится по комнате, опрокидывая чуть ли не все легкие предметы. Миссис Пардигл завладела

Адой, а я пошла сзади с отпрысками.

Ада говорила мне впоследствии, что всю дорогу до дома кирпичника миссис Пардигл говорила все тем же громовым голосом (доносившимся, впрочем, и до меня), разглагольствуя о том, какое волнующее соревнование было у нее с другой дамой два-три года назад, когда предстояло выбрать кандидатов на какую-то пенсию и каждая дама выставила своего. Обеим пришлось то и дело обращаться к печати, давать обещания, кого-то уполномачивать, за кого-то голосовать, и эта сутолока, видимо, чрезвычайно оживила всех заинтересованных лиц, кроме самих кандидатов, которые так и не получили пенсии.

Мне очень приятно, когда дети со мной откровенны, и, к счастью, мне в этом отношении обычно везет, но на этот раз я попала в чрезвычайно щекотливое положение. Как только мы вышли из дому, Эгберт, с ухватками маленького разбойника, выпросил у меня шиллинг на том основании, что у него «сперли» карманные деньги. Когда же я заметила, что употреблять такое слово в высшей степени неприлично, особенно по отношению к матери (ибо он сердито добавил: «Она сперла!»), он ущипнул меня и сказал:

– Вот еще! Подумаешь! А вы-то сами! Попробуй у вас что-нибудь спереть – *вам* это тоже будет не по нутру! Чего она притворяется, что дает мне деньги, если потом отнимает? Зачем говорить, что это *мои* карманные деньги, раз мне не позволяют их тратить?

Эти волнующие вопросы привели в такое возбуждение и его, и Освальда, и Фрэнсиса, что они все трое разом ущипнули меня, да так умело – с вывертом, что я чуть не вскрикнула. В тот же миг Феликс наступил мне на ногу. А «Ликующий малютка», обреченный обходиться не только без табака, но и без пирожных, ибо маленький его доход отбирали целиком, так надулся от обиды и злости, когда мы проходили мимо кондитерской, что весь побагровел, и я даже испугалась. Ни разу во время прогулок с детьми не испытывала я столько телесных и душевных мук, сколько причинили мне эти неестественно сдержанные дети, оказав мне честь быть естественными со мною.

Я обрадовалась, когда мы дошли до дома кирпичника, хотя это была убогая лачуга, стоявшая у кирпичного завода среди других таких же лачуг с жалкими палисадниками, которых ничто не украшало, кроме грязных луж, и свиными закутами под самыми окнами, стекла которых были разбиты. Кое-где были выставлены старые тазы, и дождевая вода лилась в них с крыш или стекала в окруженные глиняной насыпью ямки, где застаивалась, образуя прудики, похожие на огромные торты из грязи. Перед окнами и дверьми стояли или слонялись мужчины и женщины, которые почти не обращали на нас внимания и только пересмеивались, когда мы проходили мимо, отпуская на наш счет различные замечания вроде того, что лучше бы, мол, господам заниматься своим делом, чем беспокоиться да марать башмаки, суя нос

в чужие дела.

Миссис Пардигл, шествуя впереди с чрезвычайно решительным видом и без умолку разглагольствуя о неряшливости простонародья (хотя даже самые чистоплотные из нас вряд ли могли бы соблюдать чистоту в подобной трущобе), провела нас в стоявший на краю поселка домишко, и мы, войдя в каморку, – единственную на первом этаже, – чуть не заполнили в ней все свободное пространство. Кроме нас, в этой сырой отвратительной конуре было несколько человек: женщина с синяком под глазом нянчила у камина тяжело дышавшего грудного ребенка; изможденный мужчина, весь измазанный глиной и грязью, курил трубку, растянувшись на земляном полу; крепкий парень надевал ошейник на собаку; бойкая девушка стирала что-то в очень грязной воде. Когда мы вошли, все они подняли на нас глаза, а женщина повернулась лицом к огню, вероятно стыдясь своего синяка и стараясь, чтобы мы его не заметили; никто с нами не поздоровался.

– Ну-с, друзья мои! – так начала миссис Пардигл, но тон у нее был, по-моему, отнюдь не дружественный, а какой-то слишком уж деловой и педантичный. – Как вы все поживаете? Вот я и опять здесь. Я уже говорила, что меня вам не утомить, будьте спокойны. Я люблю трудную работу и как сказала, так и сделаю.

– Ну что, вы уже все тут собрались или еще кто-нибудь явится? – буркнул человек, растянувшийся на полу, и, под-

перев голову рукой, уставился на нас.

– Нет, милейший, – ответила миссис Пардигл, усаживаясь на один табурет и опрокидывая другой. – Мы все тут.

– А мне показалось, будто вас маловато набралось, – заметил он, не вынимая трубки изо рта.

Парень и девушка расхохотались. Двое приятелей парня, заглянувшие посмотреть на нас, стояли в дверях, засунув руки в карманы, и тоже громко хохотали.

– Вам меня не утомить, добрые люди, – обратилась к ним миссис Пардигл. – Я наслаждаюсь трудной работой, и чем больше вы ее затрудняете, тем она мне больше нравится.

– Так облегчим ей работу! – гневно проговорил человек, лежавший на полу. – С этой работой я хочу покончить раз и навсегда. Хватит таскаться ко мне без зова. Хватит травить меня, как зверя. Сейчас вы, уж конечно, приметесь разнюхивать да выпытывать – знаю я вас! Так нет же! Не удастся. Я сам вместо вас буду вопросы задавать. Моя дочь стирает? Да, *стирает*. Поглядите на воду. Понюхайте ее! Вот эту самую воду мы пьем. Нравится она вам или, может, по-вашему, лучше вместо нее пить джин? В доме у меня грязно? Да, грязно, и немудрено, что грязно, и немудрено, что тут захворать недолго; и у нас было пятеро грязных и хворых ребят, и все они померли еще грудными, да оно и лучше для них и для нас тоже. Читал я книжицу, что вы оставили? Нет, я не читал книжицы, что вы оставили. Здесь у нас никто читать не умеет, а хоть бы кто и умел, так мне она все равно ни к

чему. Это книжонка для малых ребят, а я не ребенок. Вы бы еще куклу оставили; что же, вы мне куклу нянчить прикажете? Как я себя вел? Вот как: три дня я пил, а были бы деньги, так и на четвертый выпил бы. А не собираюсь ли я пойти в церковь? Нет, в церковь я не собираюсь. Да хоть бы и собрался, так меня там никто не дожидается; приходский надзиратель мне не компания, – больно уж он важная шишка. А почему у моей бабы синяк под глазом? Ну что ж, это я ей синяк наставил, а если она скажет, что не я, – так соврет!

Перед тем как произнести все это, он вынул трубку изо рта, а договорив, повернулся на другой бок и закурил снова.

Миссис Пардигл, глядя на него сквозь очки с напускной невозмутимостью, рассчитанной, как мне казалось, на то, чтоб обострить его неприязнь, вынула назидательную книжку с таким видом, словно это был жезл полицейского, и «арестовала» все семейство. Я хочу сказать, что, принуждая бедняков слушать религиозное поучение, она вела себя так, словно была неумолимым блюстителем нравственности, тащившим их в полицейский участок.

Аде и мне было очень неприятно. Мы обе чувствовали себя какими-то незваными гостьями, которым здесь не место, и обе думали, что миссис Пардигл не следовало бы так бездушно навязывать себя людям. Отпрыски ее хмуро глазели по сторонам; семья кирпичника обращала на нас внимание только тогда, когда парень заставлял свою собаку лаять, что он проделывал всякий раз, как миссис Пардигл произносила

фразу с особым пафосом. Нам обеим было тяжело видеть, что между нами и этими людьми воздвигнут железный барьер, разрушить который наша новая знакомая не могла. Кто и как мог бы сломать этот барьер, мы не знали, но нам было ясно, что ей это не по силам. Все то, что она читала и говорила, на наш взгляд, никуда не годилось для таких слушателей, даже если бы она вела себя безупречно скромно и тактично. А книжку, о которой говорил мужчина, лежавший на полу, мы просмотрели впоследствии, и мистер Джарндис, помнится, тогда усомнился, чтобы сам Робинзон Крузо смог ее одолеть, даже если бы на его необитаемом острове не было других книг.

Понятно, что у нас прямо гора с плеч свалилась, когда миссис Пардигл умолкла. Мужчина, лежавший на полу, тогда снова обернулся к ней и проговорил угрюмо:

– Ну? Кончили наконец?

– На сегодня кончила, милейший. Но я никогда не утомляюсь. И я опять приду к вам, когда настанет ваш черед, – ответила миссис Пардигл с подчеркнутой веселостью.

– Выкатывайтесь, да поживее, – отрезал он, ругнувшись, и, скрестив руки, закрыл глаза, – а когда уйдете, можете делать что угодно!

Миссис Пардигл встала, и ее пышные юбки подняли в этой тесной каморке целый вихрь, от которого чуть не пострадала трубка хозяина. Взяв за руки двоих своих отпрысков и приказав остальным идти следом, она выразила надеж-

ду, что кирпичник и все его домочадцы исправятся к тому времени, когда она в следующий раз придет сюда, а потом двинулись к другому домику. Надеюсь, я не погрешу против справедливости, если отмечу, что, уходя, она, как всегда, рисовалась, хотя это отнюдь не подобает тем, кто занимается оптовой благотворительностью и филантропией на широкую ногу.

Она думала, что мы последуем за ней, но, как только заполненное ею пространство освободилось, мы подошли к женщине, сидевшей у камина, и спросили, не болен ли ее маленький.

Женщина только молча взглянула на ребенка, лежавшего у нее на коленях. Мы уже раньше заметили, что, глядя на него, она закрывает рукой свой синяк, как бы затем, чтобы отгородить бедного малютку от всяких напоминаний о грубости, насилии и побоях.

Ада, чье нежное сердце было растрогано его жалким видом, нагнулась было, чтобы погладить его по щечке. Но я уже поняла, что случилось, и потянула ее назад. Ребенок был мертв.

– Ах, Эстер! – воскликнула Ада, опустившись перед ним на колени. – Посмотри! Ах, милая Эстер, какая крошка! Замученный, тихий, прелестный крошка! Как мне его жалко! Как жаль его мать. До чего же все это грустно! Бедный маленький!

Вся в слезах, она с таким состраданием, с такой нежно-

стью склонилась к матери и взяла ее за руку, что смягчилось бы любое материнское сердце. Женщина удивленно посмотрела на нее и вдруг разрыдалась.

Я сняла легкую ношу с ее колен, как можно лучше убрала маленького покойника, уложила его на полку и покрыла своим носовым платком. Мы старались успокоить мать, повторяя ей шепотом те слова, которые наш Спаситель сказал о детях. Она не отзывалась, только плакала, плакала горючими слезами.

Обернувшись, я увидела, что парень увел из комнаты собаку и стоит за дверью, глядя на нас сухими глазами, но не говоря ни слова. Девушка тоже молчала, сидя в углу и опустив глаза. Мужчина поднялся с пола. Он не выпустил трубки изо рта и ничего не сказал. Но лицо у него было все такое же настороженное.

Я посмотрела на них, и тут в комнату вбежала некрасивая, очень бедно одетая женщина и, подойдя к матери, воскликнула:

– Дженни! Дженни!

Мать поднялась и упала в раскрытые объятия женщины.

У этой тоже и на лице и на руках были видны следы побоев. Она была совершенно лишена обаяния – если забыть про ее обаятельную отзывчивость, – но, когда она утешала мать и плакала сама, ей не нужна была красота. Я говорю – утешала, хотя она только твердила: «Дженни! Дженни!» Но главное было в тоне, каким она произносила эти слова.

Очень трогательно было видеть этих двух женщин, простых, оборванных, забитых, но таких дружных; видеть, чем они могли быть друг для друга; видеть, как они сочувствовали одна другой, как сердце каждой из них смягчалось ради другой во время тяжелых жизненных испытаний. Мне кажется, что лучшие стороны этих людей почти совсем скрыты от нас. Что значит бедняк для бедняка – мало кому понятно, кроме них самих и бога.

Мы сочли за лучшее уйти, чтобы не докучать им. Вышли мы тихонько, и этого не заметил никто, кроме хозяина. Он стоял, прислонившись к стене у двери, и, сообразив, что мешает нам пройти, вышел первый. Ему, видимо, не хотелось признать, что сделал он это ради нас, но мы все поняли и поблагодарили его. Он не отозвался ни словом.

Когда мы возвращались, Ада всю дорогу так плакала, а Ричард, которого мы застали дома, так огорчился, увидев ее слезы (хоть и не преминул сказать мне, когда она вышла из комнаты: как она красива и в слезах!), что мы решили снова сходить к кирпичнику вечером, захватив с собой кое-какие вещи. Мистеру Джарндису мы рассказали обо всем этом очень коротко, тем не менее ветер мгновенно переменился.

Вечером Ричард пошел проводить нас туда, где мы были утром. По дороге нам пришлось пройти мимо шумного кабака, у дверей которого толпились мужчины. Среди них был отец ребенка, принимавший ревностное участие в чьей-то ссоре. Немного погодя мы встретили в такой же компании

парня с собакой. Его сестра стояла на углу улицы, смеясь и болтая в кругу других девушек, но когда мы поравнялись с нею, она как будто застыдилась и отвернулась.

Завидев домишко кирпичника, мы расстались со своим провожатым и дальше пошли одни. Подойдя к двери, мы увидели на пороге женщину, которая утром внесла в этот дом такое успокоение, а сейчас стояла, тревожно высматривая кого-то.

– Это вы, молодые леди? – прошептала она. – А я вот все поглядываю, не идет ли мой хозяин. Прямо сердце замирает от страха. Узнай он только, что я ушла из дому, – изобьет до полусмерти.

– Вы говорите о вашем муже? – спросила я.

– Да, мисс, о своем хозяине. Дженни спит, совсем из сил выбилась. Ведь она, бедная, семь суток, ни днем ни ночью, не спускала ребенка с колен, разве только если я, бывало, прибегу сюда да подержу его минутку-другую.

Она уступила нам дорогу, тихонько вошла и положила принесенные нами вещи близ убогой кровати, на которой спала мать. Никто не потрудился вымыть комнату; впрочем, вся лачуга была такая ветхая, что в ней, очевидно, и нельзя было навести чистоту и порядок, но восковое тельце, от которого веяло глубокой торжественностью смерти, переложили на другое место, обмыли и аккуратно завернули в белые полотняные лоскутки, потом снова покрыли моим носовым платком; и те же грубые потрескавшиеся руки, которые все

это сделали, положили на него пучок душистых трав, прикасаясь к нему так осторожно, так нежно!

– Награди вас бог! – сказали мы женщине. – Вы добрая.

– Я, молодые леди? – удивилась она. – Тсс! Дженни, Дженни!

Мать застонала во сне и шевельнулась. Звук знакомого голоса как будто успокоил ее. Она опять уснула.

Могла ли я знать, когда, приподняв свой носовой платок, смотрела на лежащее под ним тельце сквозь локоны Ады, рассыпавшиеся, как только она склонилась над младенцем, – мне тогда почудилось, будто вокруг него засиял ореол, – могла ли я знать, на чьей неспокойной груди будет со временем лежать тот самый платок, который сейчас прикрывает эту застывшую, спокойную грудь! Я только думала, что, быть может, ангел-хранитель младенца вспомнит когда-нибудь о той сострадательной женщине, которая снова покрыла маленького покойника моим платком, – вспомнит о ней теперь, когда мы уйдем, а она останется стоять на пороге, то всматриваясь в даль, то к чему-то прислушиваясь в страхе, то по-прежнему ласково повторяя: «Дженни, Дженни!»

Глава IX
Признаки и приметы

Не знаю, почему так получается, что я вечно пишу о себе. Я постоянно хочу писать о других людях, стараясь как можно меньше вспоминать о себе, и всякий раз, как вижу, что снова появляюсь в этой повести, очень досадую и говорю: «Ах ты, надоедливая девчонка, как ты смела опять появиться?» Но все без толку. Каждый, кто прочитает написанное мною, надеюсь, поймет, что если на этих страницах очень много говорится обо мне – то лишь потому, что я, право же, играю какую-то роль в своем повествовании и меня нельзя выкинуть совсем.

Милая моя подруга и я, мы вместе читали, работали, занимались музыкой, и все наше время было так заполнено, что зимние дни летели как яркокрылые птицы. Обычно уже во второй половине дня, а вечером – всегда, к нам присоединялся Ричард. Трудно было найти другого такого непоседливого юношу, однако сидеть в нашем обществе ему, несомненно, очень нравилось.

Ему очень, очень, очень нравилась Ада. Это я знаю наверное, и лучше сказать это сразу. Мне тогда еще не приходилось видеть влюбленных, но тайну Ады и Ричарда я разгадала очень быстро. Конечно, я не могла сказать им об этом или

намекнуть, что о чем-то догадываюсь. Напротив, я была так сдержанна, притворялась такой непонятливой, что иной раз, сидя за работой, подумывала, уж не становлюсь ли я настоящей притворщицей?

Но ничего не поделаешь. Все, что мне оставалось, – это сидеть тихо, и я была тише мышки. Они тоже были тише мышек, – я хочу этим сказать, что они еще не говорили о своем чувстве, но наивность, с какой они тем больше льнули ко мне, чем крепче привязывались друг к другу, была так очаровательна, что мне стало очень трудно скрывать, до чего меня интересуют их отношения.

– Наша милая маленькая Старушка – такая замечательная старушка, – говорил Ричард, ласково посмеиваясь и чуть-чуть краснея, когда выходил рано утром в сад мне навстречу, – что я просто не могу без нее обойтись. Опять начинается суматошный день – сначала буду возиться с книгами и приборами, потом, словно разбойник, скакать и в гору и под гору по всей округе, – и мне очень полезно начать этот день с неторопливой прогулки в обществе нашего уютного друга, так что вот я опять пришел!

– Ты знаешь, милая Хлопотунья, – говорила Ада, склонив голову на мое плечо, когда мы вечером сидели вместе у камина и пламя отражалось в ее задумчивых глазах, – когда мы с тобой приходим сюда наверх, в свои комнаты, мне не хочется разговаривать – только бы немножко посидеть, подумать, глядя на твое милое лицо, послушать шум ветра,

вспомнить о бедных моряках на море…

Надо сказать, что Ричард, по-видимому, собирался сделаться моряком. Теперь мы очень часто говорили на эту тему, считая, что следует удовлетворить жившее в нем с детства влечение к морю. Мистер Джарндис написал по этому поводу одному своему знатному родственнику, некоему сэру Лестеру Дедлоку, и попросил его помочь Ричарду стать на ноги; однако сэр Лестер вежливо ответил, что «был бы счастлив содействовать молодому джентльмену в его начинаниях, если бы мог, но ничего сделать не может», и добавил, что «миледи передает поклон молодому джентльмену (с которым, помнится, состоит в дальнем родстве) и убеждена, что он всегда будет выполнять свой долг, какую бы деятельность ни избрал».

– Итак, по-моему, все ясно, – придется самому пробивать себе дорогу, – сказал мне Ричард. – Ну что ж, ничего! Многим людям приходилось пробиваться самим, и они пробились. Хотелось бы только начать с командования быстроходным пиратским кораблем, чтобы увезти с собой канцлера и держать его на голодном пайке, пока он не вынесет решения по нашей тяжбе. И пусть тогда не мешкает, не то от него только кости да кожа останутся!

Жизнерадостность, оптимизм и почти неиссякаемая веселость сочетались в характере Ричарда с какой-то беспечностью, которая меня изумляла, и особенно потому, что он странным образом принимал ее за благоразумие. Это очень

своеобразно проявлялось во всех его денежных делах, и, пожалуй, мне лучше всего удастся объяснить это на примере, несколько отклонившись в сторону и напомнив о деньгах, которые мы одолжили мистеру Скимполу.

Мистер Джарндис узнал, сколько нам тогда пришлось выложить, не то от самого мистера Скимпола, не то от «Ковинсова» и, вернув мне деньги, сказал, чтобы я взяла себе свою долю, а остальное передала Ричарду. Но если бы количество мелких необдуманных трат, которые Ричард оправдывал возвращением своих десяти фунтов, сложить с количеством его бесед со мною на тему о том, что он якобы «сберег» или «скопил» эти деньги, – получилась бы крупная сумма.

– Почему бы и нет, благоразумная наша Хозяюшка? – сказал он мне, когда, недолго думая, решил подарить пять фунтов кирпичнику. – Я же заработал десять фунтов чистых на деле «Ковинсова».

– Как так? – удивилась я.

– Ну да, ведь в тот день я очень охотно расстался со своими десятью фунтами и не надеялся получить их обратно. Вы не можете этого отрицать?

– Нет, – согласилась я.

– Отлично! А потом я получил десять фунтов…

– То есть свои же десять фунтов, – напомнила я.

– Не в этом дело! – возразил Ричард. – Я теперь имею на десять фунтов больше, чем рассчитывал иметь, и, значит,

могу позволить себе истратить их без особенных колебаний.

Когда же его убедили не отдавать этих пяти фунтов, доказав, что они не принесут пользы, он опять записал эту сумму себе в актив и решил ее израсходовать.

– Давайте-ка подсчитаем! – говорил он. – Я сэкономил пять фунтов на истории с кирпичником, поэтому, если я прокачусь до Лондона и обратно на почтовых и потрачу на это четыре фунта, то сберегу один фунт. А сберечь один фунт – неплохая штука, позвольте вам заметить; пенни сберег – пенни нажил!

Ричард был по натуре искренний и великодушный юноша, каких мало – в этом я уверена. Пылкий и храбрый, он при всем своем беспокойном характере был так мягок, что я за несколько недель сблизилась с ним словно с братом. Мягкость была свойственна ему от природы и широко проявлялась бы и без влияния Ады, а под этим влиянием он стал самым обаятельным из друзей – всегда отзывчивый, всегда такой веселый, жизнерадостный и легкий. Я то сидела, то гуляла, то разговаривала с ним и Адой и подмечала, как они день ото дня все сильнее влюбляются друг в друга, не говоря об этом ни слова и каждый про себя застенчиво думая, что его любовь – величайшая тайна, о которой, быть может, еще не подозревает другой, – и, конечно, я была очарована не меньше, чем они сами, и не меньше, чем они, пленена их чудесной мечтой.

Так вот мы и жили; но как-то раз утром во время завтрака

мистер Джарндис получил письмо и, бросив взгляд на фамилию отправителя, воскликнул: «От Бойторна? Так-так!» – потом распечатал письмо и начал читать его с видимым удовольствием, а когда дошел примерно до половины, прервал на секунду чтение и объявил, что Бойторн «собирается к нам» погостить. «Интересно, кто такой этот Бойторн?» – думали мы. И, конечно, все мы думали также – я во всяком случае, – а не помешает ли он тому, что у нас назревает?

– С Лоуренсом Бойторном я учился в школе, – сказал мистер Джарндис, хлопнув письмом по столу, – это было сорок пять лет назад; нет – больше. В те времена он был самым пылким мальчишкой на свете, теперь нет более пылкого мужчины. В те времена он был самым шумливым мальчишкой на свете, теперь нет более шумливого мужчины. В те времена он был самым добродушным и здоровым мальчишкой на свете, теперь нет более добродушного и здорового мужчины. Очень большой человек.

– То есть рослый, сэр? – спросил Ричард.

– Да, Рик, и рослый, – ответил мистер Джарндис, – он лет на десять старше меня, дюйма на два выше; голова закинута назад, как у старого воина, руки сильные, как у кузнеца, только белые, грудь колесом, а легкие!.. других таких легких во всем мире не сыщешь. Говорит ли он, хохочет ли, храпит ли – в доме балки дрожат.

Мистер Джарндис, по-видимому, любовался обликом своего друга Бойторна, и мы заметили доброе предзнамено-

вание – исчезли все признаки того, что ветер может перемениться.

– Но, Рик… и Ада, а также вы, маленькая Паутинка (ведь все вы интересуетесь нашим новым гостем), – продолжал он, – когда я назвал его большим человеком, я думал о его душе, его горячем сердце, страстности, свежести восприятия. Речь у него так же выразительна, как голос. Он вечно впадает в крайности… говорит только в превосходной степени. В своих обличениях он сама беспощадность. Послушать его – подумаешь, это какой-то людоед, да, кажется, он и слывет людоедом в некоторых кругах. Впрочем, довольно! Я больше ничего не скажу о нем. Не удивляйтесь, если заметите, что ко мне он относится покровительственно, – он не забывает, что в школьные годы я был тихоней и наша дружба началась с того, что он как-то раз перед завтраком выбил два зуба (по его словам, целых шесть) у моего главного угнетателя. Бойторн и его камердинер приедут сегодня во второй половине дня, дорогая моя, – добавил мистер Джарндис, обращаясь ко мне.

Я позаботилась о том, чтобы все было готово к приему мистера Бойторна, и мы с любопытством стали ожидать его. Однако день проходил, а гость наш не появлялся. Подошло время обеда, но мистер Бойторн все еще не прибыл. Обед отложили на час, и мы сидели у камина, сумерничая при свете пламени, как вдруг входная дверь с грохотом распахнулась, и из передней донеслись следующие слова, произнесенные с

величайшим пафосом и громовым голосом:

– Нас обманули, Джарндис, – обманул какой-то отпетый мерзавец: сказал, что нам нужно свернуть направо, тогда как надо было свернуть налево. Свет не видывал такого отъявленного негодяя! Ясно, что и отец его был самым бессовестным из злодеев, если у него такой сын. Я бы его пристрелил, – и без малейших угрызений совести!

– Он сделал это нарочно? – спросил мистер Джарндис.

– Ничуть не сомневаюсь, что мошенник всю свою жизнь только и делает, что сбивает проезжих с пути! – загремел тот в ответ. – Когда он советовал мне свернуть направо, я, клянусь душой, подумал, что это самый паршивый пес, какого я когда-либо встречал. Да и я тоже хорош – стоял лицом к лицу с подобным прохвостом и не выбил ему мозгов!

– Ты хочешь сказать – зубов! – вставил мистер Джарндис.

– Ха-ха-ха! – захохотал мистер Лоуренс Бойторн, да так раскатисто, что стекла задребезжали. – Как? Ты еще помнишь? Ха-ха-ха!.. Тот малый тоже был беспутнейшим из бродяг! Могу поклясться, что он еще мальчишкой являл собой такое мрачное воплощение коварства, трусости и жестокости, что мог бы торчать пугалом на поле, усеянном подлецами. Случись мне завтра встретить на улице этого беспримерного мерзавца, я его сшибу, как трухлявое дерево!

– Не сомневаюсь, – откликнулся мистер Джарндис. – А теперь не хочешь ли пройти наверх?

– Могу поклясться, Джарндис, – проговорил гость, оче-

видно взглянув на часы, – будь ты женат, я повернул бы обратно у садовых ворот и удрал бы на отдаленнейшую вершину Гималайских гор, лишь бы не являться сюда в такой поздний час.

– Ну, зачем же так далеко! – сказал мистер Джарндис.

– Клянусь жизнью и честью, – на Гималаи! – вскричал гость. – Я ни в коем случае не позволил бы себе столь дерзкой вольности – заставить хозяйку дома ждать меня так долго. Я скорей уничтожил бы сам себя… гораздо скорей!

Не прерывая разговора, они стали подниматься по лестнице, и вскоре мы услышали из комнаты, отведенной мистеру Бойторну, громогласное «ха-ха-ха!», потом снова «ха-ха-ха!» – и вот даже самое отдаленное эхо стало вторить этим звукам и захохотало так же весело, как он или как мы, когда до нас донесся его хохот.

Еще не видя гостя, мы почувствовали, что он всем нам придется по душе, – столько искренности было в его хохоте, в его могучем, здоровом голосе, в той выразительности и отчетливости, с какими он произносил каждое слово, и даже в самом неистовстве, с каким он обо всем говорил в превосходной степени, что, впрочем, подобно холостой стрельбе из орудий, не задевало никого. Но мы и не подозревали, что он так нам понравится, как понравился, когда мистер Джарндис представил его нам. Это был не только очень красивый пожилой джентльмен – прямой и крепкий, каким нам его уже описали, с большой головой и седой гривой, с привлекатель-

но-спокойным выражением лица (когда он молчал), с телом, которое, пожалуй, могло бы располнеть, если бы не постоянная горячность, не дававшая ему покоя, с подбородком, который, возможно, превратился бы в двойной подбородок, если бы не страстный пафос, с которым мистер Бойторн всегда говорил, – словом, он был не только очень красивый пожилой джентльмен, но истинный джентльмен с рыцарски-вежливыми манерами, а лицо его освещала такая ласковая и нежная улыбка, до того ясно было, что скрывать ему нечего и он показывает себя таким, какой он есть на самом деле, то есть человеком, который не способен (по выражению Ричарда) ни на что ограниченное и лишь потому стреляет холостыми зарядами из огромных пушек, что не носит с собой никакого мелкокалиберного оружия, – так ясно все это было, что за обедом я с удовольствием смотрела на него, все равно, разговаривал ли он, улыбаясь, с Адой и со мною, или в ответ на слова мистера Джарндиса залпом выпаливал что-нибудь «в превосходной степени», или, вздернув голову, словно борзая, разражался громогласным «ха-ха-ха!».

– Ты, конечно, привез свою птичку? – спросил мистер Джарндис.

– Клянусь небом, это самая замечательная птичка в Европе! – ответил тот. – Удивительнейшее создание! Эту птичку я не отдал бы и за десять тысяч гиней. В своем завещании я выделил средства на ее содержание, на случай, если она переживет меня. Прямо чудо какое-то, – так она разумна

и привязчива. А ее отец был одной из самых необычайных птиц, когда-либо живших на свете!

Предметом его похвал была очень маленькая канарейка, совсем ручная, – когда камердинер мистера Бойторна принес ее на указательном пальце, она, тихонько облетев комнату, уселась на голову хозяину. Я слушала неукротимые и страстные высказывания мистера Бойторна, смотрела на малюсенькую, слабенькую пташку, спокойно сидевшую у него на голове, и думала, что такой контраст очень показателен для его характера.

– Могу поклясться, Джарндис, – говорил он, очень осторожно подавая канарейке крошку хлеба, – будь я на твоем месте, я бы завтра же утром схватил за горло всех судейских Канцлерского суда и тряс их до тех пор, пока деньги не выкатились бы у них из карманов, а кости не загремели в коже. Не мытьем так катаньем, а уж я бы вытряс из них решение по делу! Поручи это мне, и я займусь этим для тебя с величайшим удовольствием!

(Все это время маленькая канарейка клевала крошки у него с рук.)

– Спасибо, Лоуренс, – отозвался мистер Джарндис со смехом, – но тяжба теперь зашла в такой тупик, что ее не продвинешь, даже если законным образом перетряхнешь всех судей и всех адвокатов.

– Да, не было еще на земле такого дьявольского котла, как этот Канцлерский суд! – загремел мистер Бойторн. – Ничем

его не исправить, – разве только подложить под него мину с десятью тысячами центнеров пороха да во время какого-нибудь важного заседания взорвать его вместе со всеми протоколами, процессуальными кодексами и прецедентами, со всеми причастными к нему чиновниками, высшими и низшими, сверху донизу, начиная с отпрыска его, главного казначея, и кончая родителем его, дьяволом, так чтобы все они вместе рассыпались в прах!

Нельзя было не рассмеяться, когда он с такой энергией и серьезностью предлагал принять столь суровые меры для реформы суда. И мы рассмеялись, а он откинул голову назад, расправил широкую грудь, и мне снова почудилось, будто все кругом загудело, вторя его хохоту. Но это не произвело никакого впечатления на птичку, уверенную в своей безопасности, – она прыгала по столу, склоняя подвижную головку то на один бок, то на другой и вскидывая живые, блестящие глазки на хозяина, как будто он тоже был всего только птичкой.

– А в каком положения твоя тяжба с соседом о спорной тропинке? – спросил мистер Джарндис. – Ведь и ты не свободен от судебных хлопот.

– Этот субъект подал жалобу на меня за то, что я незаконно вступил на его землю, а я подал жалобу на него за то, что он незаконно вступил на мою землю, – ответил мистер Бойторн. – Клянусь небом, это надменнейший из смертных. Трудно поверить, что его зовут сэром Лестером. Лучше б ему

называться сэром Люцифером.

– Лестно для нашего дальнего родственника! – со смехом сказал мой опекун, обращаясь к Аде и Ричарду.

– Я бы попросил извинения, – заметил наш гость, – если бы не понял по выражению прекрасного лица мисс Клейр и улыбке мистера Карстона, что это лишнее, так как они держат своего дальнего родственника на дальнем расстоянии.

– Или – он нас, – вставил Ричард.

– Могу поклясться, что этот субъект, подобно отцу своему и деду, самый упрямый, надменный, тупой, меднолобый дурень на свете, и он лишь по какой-то необъяснимой ошибке природы явился на свет живым существом, а не палкой с набалдашником! – воскликнул мистер Бойторн, внезапно разражаясь новым залпом. – Да и все его сородичи – самодовольнейшие и совершеннейшие болваны!.. Но все равно – ему не загородить моей тропинки, будь он даже пятьюдесятью баронетами, слитыми воедино, и живи он в целой сотне Чесни-Уолдов, вложенных один в другой, как полые шары из слоновой кости работы китайских резчиков. Этот субъект пишет мне через своего уполномоченного, или секретаря, или не знаю там кого: «Сэр Лестер Дедлок, баронет, кланяется мистеру Лоуренсу Бойторну и обращает его внимание на то, что право прохода по тропинке у бывшего церковного дома, ныне перешедшего в собственность мистера Лоуренса Бойторна, принадлежит сэру Лестеру Дедлоку, ибо тропинка является частью чесни-уолдского парка, а посему сэр

Лестер Дедлок находит нужным загородить таковую». Я отвечаю этому субъекту: «Мистер Лоуренс Бойторн кланяется сэру Лестеру Дедлоку, баронету, и, обращая его внимание на то, что он, Бойторн, полностью отрицает все утверждения сэра Лестера Дедлока по поводу любого предмета, добавляет касательно заграждения тропинки, что был бы рад увидеть человека, который отважится ее загородить». Этот субъект подсылает какого-то отъявленного одноглазого негодяя поставить на тропинке калитку. Я поливаю этого отвратительного подлеца из пожарной кишки, пока он едва не испускает духа. За ночь этот субъект сооружает ворота. Утром я их срубаю на дрова и сжигаю. Он приказывает своим наемникам перелезть через ограду и шляться по моим владениям. Я ловлю их в безвредные капканы, стреляю в них лущеным горохом, целясь в ноги, поливаю их из пожарной кишки – словом, стремлюсь освободить человечество от непереносимого бремени в лице этих отпетых головорезов. Он подает жалобу на меня за вторжение в его владения, я подаю жалобу на него за вторжение в мои владения. Он подает жалобу, обвиняя меня в нападении и оскорблении действием; я защищаюсь, но продолжаю оскорблять и нападать. Ха-ха-ха!

Слыша, с какой невероятной энергией он все это говорил, можно было подумать, что нет на свете более сердитого человека. Но стоило только увидеть, как он в то же самое время смотрит на птичку, усевшуюся теперь на его большом пальце, и тихонько гладит указательным пальцем ее перышки,

и сразу становилось ясно, что нет на свете человека более кроткого. А прислушиваясь к его смеху и глядя на его добродушное лицо, казалось, что нет у него никаких забот, что ни с кем он не ссорится, ни к кому не испытывает неприязни и вся его жизнь – сплошное удовольствие.

– Нет-нет, – продолжал он, – никакому Дедлоку не удастся загородить мою тропинку. Хотя я охотно признаю, – тут он на минуту смягчился, – что леди Дедлок – достойнейшая леди на свете, и я готов воздать ей всю ту дань уважения, на какую способен простой джентльмен, а не баронет, получивший в наследство всю тупость своего семисотлетнего рода. Человека, который, двадцати лет поступив в полк, через неделю вызвал на дуэль своего начальника – самого властного и самонадеянного хлыща, когда-либо вдыхавшего воздух грудью, туго стянутой мундиром, – вызвал и был за то разжалован, такого человека не запугают никакие сэры Люциферы *Дед-локи*, ни *деды* их, ни внуки, ни *локоны* их, ни лысины. Ха-ха-ха!

– И такой человек не допустит, чтобы запугали его младшего товарища? – промолвил мой опекун.

– Безусловно нет! – подтвердил мистер Бойторн, покровительственно хлопая его по плечу, и мы все почувствовали, что хоть он и смеется, но говорит совершенно серьезно. – Он всегда будет стоять на стороне «тихони». Можешь положиться на него, Джарндис! Но, кстати, раз уж мы завели разговор об этом незаконном вторжении, – прошу прощения у

мисс Клейр и мисс Саммерсон за то, что так долго говорил на столь скучную тему, – нет ли для меня письма от ваших поверенных Кенджа и Карбоя?

– Как будто нет, Эстер? – осведомился мистер Джарндис.

– Ничего нет, опекун.

– Благодарю вас, – сказал мистер Бойторн. – Незачем было и спрашивать; если бы письмо пришло, мне его передала бы мисс Саммерсон – ведь я уже успел заметить, как она заботится обо всех ее окружающих. (Все они всегда хвалили меня: просто захвалить хотели!) Я спросил потому, что приехал к вам прямо из Линкольншира, не заезжая в Лондон, и подумал, не переслали ли моих писем сюда. Очевидно, они придут завтра утром.

В течение вечера, проведенного очень приятно, я не раз наблюдала, как мистер Бойторн, усевшись неподалеку от рояля и слушая музыку, – которую страстно любил, о чем ему не надо было говорить нам, потому что это было и так видно по его лицу, – посматривал на Ричарда и Аду с интересом и удовольствием, которые придавали необычайно привлекательное выражение его красивым чертам, так что я, подметив все это, даже спросила опекуна, когда мы сели играть в трик-трак, не был ли мистер Бойторн женат.

– Нет, – ответил он. – Нет.

– Но он был помолвлен? – сказала я.

– Как вы об этом догадались? – с улыбкой спросил опекун.

– Видите ли, опекун, – начала я, слегка краснея оттого,

что осмелилась высказать свои мысли, – в его обращении, несмотря ни на что, проглядывает такая нежность души, и он так вежлив и ласков с нами, что…

Мистер Джарндис взглянул в ту сторону, где сидел его друг, точь-в-точь такой, каким я его сейчас описывала.

Я замолчала.

– Вы правы, Хлопотунья, – подтвердил он. – Он чуть не женился однажды. Это было давным-давно. И больше он подобных попыток не делал.

– Его невеста умерла?

– Нет… но она умерла для него. Это повлияло на всю его дальнейшую жизнь. А вам не кажется, что у него и теперь голова и сердце полны всякой романтики?

– Я, пожалуй, могла бы так подумать, опекун. Да и немудрено, раз вы сами сказали мне это.

– С тех пор он уже никогда не был таким, каким обещал быть, – проговорил мистер Джарндис. – А теперь, в старости, у него никого нет, если не считать камердинера да маленькой желтенькой подружки… Ваш ход, дорогая моя!

Я поняла по тону опекуна, что мне не удастся продолжить разговор на эту тему без того, чтобы не вызвать перемены ветра. Поэтому я воздержалась от дальнейших вопросов. Я была заинтересована, но не сгорала от любопытства. Ночью, разбуженная громким храпом мистера Бойторна, я стала думать о его юношеской любви и старалась – что очень трудно – вообразить себе стариков снова молодыми и одаренными

обаянием молодости. Но я заснула раньше, чем мне это удалось, и видела во сне свое детство в доме крестной. Не знаю, интересно это или нет, но мне почти каждый день снилось мое детство.

Утром от господ Кенджа и Карбоя пришло письмо, в котором говорилось, что в полдень к мистеру Бойторну приедет их клерк. Был как раз тот день недели, в который я платила по счетам и подводила итоги в своих расходных книгах, а очередные хозяйственные дела старалась закончить побыстрее, поэтому я осталась дома, тогда как мистер Джарндис, Ада и Ричард, воспользовавшись прекрасной погодой, уехали кататься. Мистер Бойторн решил сначала увидеться с клерком от Кенджа и Карбоя, а потом пойти пешком навстречу друзьям.

Ну, так вот, я была занята по горло – просматривала торговые книги наших поставщиков, складывала столбцы цифр, платила по счетам, писала расписки и, признаться, совсем захлопоталась, когда доложили, что приехал мистер Гаппи и ожидает в гостиной. Я и раньше подумывала, что клерк, которого обещали прислать, возможно, окажется тем самым молодым человеком, который встретил меня у почтовой конторы, и была рада увидеть его, так как он имел какое-то отношение к моей теперешней счастливой жизни.

Но я с трудом узнала его – так аляповато он был разряжен. Он предстал предо мной в новом с иголочки костюме из глянцевитой ткани, в сверкающем цилиндре, сиреневых

лайковых перчатках, пестром шейном платке, с громадным оранжерейным цветком в петлице и толстым золотым кольцом на мизинце; и вдобавок от него на всю столовую разило ароматом индийской помады и прочей парфюмерии. Он так пристально посмотрел на меня, когда я попросила его присесть и подождать, пока не вернется горничная, которая пошла доложить о нем, что мной овладело смущение, и за все время, пока он сидел в углу, то кладя ногу на ногу, то ставя ее опять на пол, а я спрашивала, хорошо ли он доехал и выражала надежду, что мистер Кендж здоров, я ни разу на него не взглянула, но подметила, что он смотрит на меня все так же испытующе и странно.

Но вот его пригласили подняться наверх в комнату мистера Бойторна, а я сказала, что мистер Джарндис просит его закусить и, когда он вернется, ему подадут завтрак. Взявшись за ручку двери, мистер Гаппи проговорил немного смущенным тоном:

– Буду ли я иметь честь снова увидеть вас тут, мисс?

Я ответила, что, вероятно, никуда не уйду отсюда, и он удалился, отвесив мне поклон и еще раз взглянув на меня.

Подумав, что он просто неотесанный и застенчивый малый, – ведь он явно чувствовал себя очень неловко, – я решила подождать, пока он не сядет за стол; а убедившись, что ему подали все, что полагается, уйду. Завтрак принесли быстро, но он долго стоял нетронутым на столе. Беседа у мистера Гаппи с мистером Бойторном вышла длинной и… бурной,

судя по тому, что до меня доносился громовый голос нашего гостя, хотя комната его была довольно далеко от столовой, и время от времени звук этого голоса нарастал, как рев штормового ветра: очевидно, на клерка сыпался град обличений.

Наконец мистер Гаппи вернулся, и теперь вид у него был еще более растерянный, чем до совещания.

– Ну и ну, мисс! – проговорил он вполголоса. – Это настоящий варвар!

– Кушайте, пожалуйста, сэр, – сказала я.

Мистер Гаппи сел за стол, все так же странно всматриваясь в меня (я это чувствовала, хотя сама не смотрела на него), и суетливо принялся точить большой нож для разрезанья жаркого о длинную вилку. Точил он так долго, что я наконец сочла себя обязанной поднять глаза, чтобы рассеять чары, под влиянием которых он, видимо, трудился, будучи не в силах перестать.

Мистер Гаппи мгновенно перевел взгляд на блюдо с жарким и принялся резать мясо.

– А вы сами, мисс, что желаете скушать? Позвольте угостить вас чем-нибудь?

– Нет, благодарю вас, – ответила я.

– Неужто вы не позволите мне положить вам хоть кусочек? – спросил мистер Гаппи, торопливо проглотив большую рюмку вина.

– Благодарю вас, я ничего не хочу, – отказалась я. – Я осталась здесь, только желая убедиться, что вам подали все, что

вам нужно. Может быть, приказать принести еще чего-нибудь?

– Нет, очень вам признателен, мисс. У меня есть все необходимое для того, чтобы чувствовать себя удовлетворенным… по крайней мере я… то есть неудовлетворенным… нет… удовлетворенным я никогда не бываю.

Он выпил еще две рюмки вина, одну за другой.

Я подумала, что мне лучше уйти.

– Прошу прощенья, мисс, – проговорил мистер Гаппи и встал, увидев, что я поднялась. – Может, вы будете так добры уделить мне минутку для беседы по личному делу?

Не зная, что на это ответить, я снова села.

– «Все, что за этим последует, да не послужит во вред», не правда ли, мисс? – проговорил мистер Гаппи, волнуясь и придвигая стул к моему столу.

– Я вас не понимаю, – ответила я в недоумении.

– Так говорят у нас, юристов, – это юридическая формула, мисс. Это значит, что вы не воспользуетесь моими словами, дабы повредить мне у Кенджа и Карбоя или где-нибудь еще. Если наша беседа не приведет ни к чему, я останусь при своем, и ни моей службе, ни моим планам на будущее это не повредит. Словом, буду говорить совершенно конфиденциально.

– Не могу представить себе, сэр, – отозвалась я, – о чем вы можете говорить со мною столь конфиденциально, ведь вы видите меня всего только во второй раз в жизни; но я,

конечно, никоим образом не хочу вам вредить.

– Благодарю вас, мисс. Не сомневаюсь… уверен вполне. – Все это время мистер Гаппи то вытирал лоб носовым платком, то с силой тер левую ладонь о правую. – Если вы позволите мне опрокинуть еще бокальчик вина, мисс, это, пожалуй, поможет мне говорить, а то у меня, знаете, то и дело горло перехватывает, что, конечно, неприятно обеим сторонам.

Он выпил рюмку и вернулся на прежнее место. Я воспользовалась случаем и пересела подальше, – так чтобы отгородиться от него своим столом.

– Позвольте мне предложить вам бокальчик, мисс? – сказал мистер Гаппи, видимо приободрившись.

– Нет, – ответила я.

– Ну, полбокальчика? – настаивал мистер Гаппи. – Четверть? Нет! В таком случае приступим. В настоящее время, мисс Саммерсон, Кендж и Карбой платят мне два фунта в неделю. Когда я впервые имел счастье увидеть вас, я получал один фунт пятнадцать шиллингов, и жалованье мне довольно долго не повышали. Потом дали прибавку в пять шиллингов и обещают новую прибавку в пять шиллингов не позже чем через год, считая с нынешнего дня. У моей мамаши есть небольшой доход в виде маленькой пожизненной ренты, на которую она и живет, хотя и скромно, но ни от кого не завися, на улице Олд-стрит-роуд. Кто-кто, а уж она прямо создана для того, чтобы стать свекровью. Не сует носа в чужие

дела, не сварлива, да и вообще характер у нее легкий. Конечно, у нее есть свои слабости – у кого их нет? – но я ни разу не видел, чтоб она заложила за галстук в присутствии посторонних лиц, – при посторонних она и в рот не возьмет ни вина, ни спиртного, ни пива – можете быть спокойны. Сам я квартирую на площади Пентон-Плейс, в Пентонвилле. Местность низменная, но воздуху много – за домом пустырь; считается одной из самых здоровых окраин. Мисс Саммерсон! Самое меньшее, что я могу сказать, это: я вас обожаю. Может, вы будете столь добры разрешить мне (если можно так выразиться) подать декларацию… то есть сделать предложение?

Мистер Гаппи опустился на колени. Стол отгораживал меня от него, и потому я не очень испугалась. Я сказала:

– Что за нелепая поза? Немедленно встаньте, сэр, а не то мне придется нарушить обещание и позвонить!

– Выслушайте меня, мисс! – воскликнул мистер Гаппи, складывая руки в мольбе.

– Я не выслушаю ни слова больше, сэр, – ответила я, – если вы сию же минуту не встанете с ковра и не сядете за стол; а вы это сделаете, если у вас есть хоть капля разума.

Он жалостно посмотрел на меня, но все-таки медленно встал с колен и сел за стол.

– Какая насмешка, мисс! – начал он, положив руку на сердце, и, склонившись к подносу, меланхолически покачал головой. – Какая это насмешка – сидеть за столом в такой

момент. Душу воротит от еды в такой момент, мисс.

– Прошу вас прекратить этот разговор, – сказала я, – вы попросили меня вас выслушать, а теперь я прошу вас прекратить разговор.

– Прекращу, мисс, – отозвался мистер Гаппи. – Как я люблю и почитаю, так и повинуюсь. О, если б мог я дать обет Тебе пред алтарем!

– Это совершенно невозможно, – сказала я, – об этом не может быть и речи.

– Я понимаю, – начал мистер Гаппи, перегнувшись через поднос и снова впиваясь в меня пристальным взглядом, который я, странным образом, почувствовала, хоть и смотрела в другую сторону, – я понимаю, что в глазах света мое предложение, по всей вероятности, выглядит неавантажным. Но, мисс Саммерсон! ангел!.. Нет, не надо звонить… Я прошел суровую школу жизни и чем-чем только не занимался! Правда, я молод, но мне уже приходилось вести всякие расследования и возбуждать судебные дела, и я много чего повидал в жизни. Удостойте меня вашей ручки, и чего только я не придумаю, чтобы защитить ваши интересы и составить ваше счастье! Чего только я не разведаю насчет вас! Правда, я пока ничего не знаю, но чего только я не смогу узнать, если буду пользоваться вашим доверием и вы пустите меня по следу!

Я сказала, что, стремясь защитить мои интересы, или, точнее, то, что он считает моими интересами, он так же обрекает себя на неудачу, как и стремясь завоевать мою благосклон-

ность, а теперь он должен наконец понять, что я покорнейше прошу его удалиться.

– Жестокая мисс, выслушайте еще одно лишь слово! – сказал мистер Гаппи. – Полагаю, вы заметили, как поражен я был вашими прелестями в тот день, когда ждал вас у «Погреба белого коня». Полагаю, вы заметили, что я не мог удержаться от того, чтобы не отдать должного этим прелестям, когда откидывал подножку кареты. То была лишь ничтожная дань Тебе, но дань искренняя. С той поры образ Твой запечатлен в моей груди. Не раз я целыми вечерами ходил взад и вперед по улице, против дома Джеллиби, для того лишь, чтобы смотреть на кирпичные стены, за которыми некогда пребывала Ты. Сегодня мне было абсолютно не нужно являться сюда, и если я все же явился под предлогом деловых переговоров, то этот предлог придумал я один ради Тебя одной. Если я говорю об интересах, то лишь для того, чтобы зарекомендовать себя и свою почтительную скорбь. Любовь была и есть превыше всего.

– Мне было бы больно обидеть вас, мистер Гаппи, – сказала я, вставая и берясь за шнурок от звонка, – как, впрочем, и любого другого правдивого человека; и я не могу отнестись пренебрежительно ни к какому искреннему чувству, как бы неприятно оно ни проявлялось. Если вы действительно хотели убедить меня в вашем добром мнении обо мне, пусть несвоевременно и неуместно, я все же нахожу, что мне следует вас поблагодарить. Мне нечем гордиться; и я не гордая.

Надеюсь, – добавила я, не зная хорошенько, что говорю, – вы сейчас же удалитесь, забудете о том, что вели себя совершенно неразумно, и займетесь делами господ Кенджа и Карбоя.

– Полминуты, мисс! – воскликнул мистер Гаппи, останавливая меня, когда я потянулась к звонку. – Значит, все это не послужит мне во вред?

– Я никому ничего не скажу, – ответила я, – если только вы сами не подадите мне к этому повода.

– Четверть минуты, мисс! На случай, если вы передумаете – когда угодно, хотя бы в далеком будущем, неважно, ведь мои чувства все равно никогда не изменятся, – если вы иначе отнесетесь к моим словам, особенно насчет того, чего бы я не сделал для вас… запомните адрес: мистер Уильям Гаппи, площадь Пентон-Плейс, дом восемьдесят семь, а в случае моего переезда или кончины (от погибших надежд и тому подобное) пишите в адрес миссис Гаппи, Олд-стрит-роуд, дом триста два.

Я позвонила, вошла горничная, а мистер Гаппи положил на стол свою визитную карточку и удалился с горестным поклоном. Когда он уходил, я подняла глаза и снова увидела, как он, уже на пороге, оглянулся и посмотрел на меня.

Я просидела в столовой еще час или больше, подводя итоги записям в книгах и счетам, и много успела сделать. Потом привела в порядок свой письменный стол и разложила все по местам, и была так спокойна и бодра, что мне даже казалось, будто я окончательно выбросила из головы этот неожидан-

ный эпизод. Но, поднявшись в свою комнату, я, к собственному удивлению, рассмеялась, потом, к еще большему удивлению, расплакалась. Словом, я немного поволновалась, как будто в моей душе задели какую-то чувствительную струнку, связанную с моим прошлым, – задели так грубо, как этого еще не случалось ни разу с тех пор, как я зарыла в саду свою милую старую куклу.

Глава X
Переписчик судебных бумаг

На восточной стороне Канцлерской улицы, точнее – в переулке Кукс-Корт, выходящем на Карситор-стрит, торговец канцелярскими принадлежностями, мистер Снегсби, поставщик блюстителей закона, ведет свое дозволенное законом дело. Под сумрачной сенью Кукс-Корта, почти всегда погруженного в сумрак, мистер Снегсби торгует всякого рода бланками, потребными для судопроизводства, листами и свитками пергамента; бумагой – писчей, почтовой, вексельной, оберточной, белой, полубелой и промокательной; марками; канцелярскими гусиными перьями, стальными перьями, чернилами, резинками, копировальным угольным порошком, булавками, карандашами; сургучом и облатками; красной тесьмой и зелеными закладками; записными книжками, календарями, тетрадями для дневников и списками юристов; бечевками, линейками, чернильницами – стеклянными и свинцовыми; перочинными ножами, ножницами, шнуровальными иглами и другими мелкими металлическими изделиями, потребными для канцелярий, – словом, товарами столь разнообразными, что их не перечислить, и торгует он ими с тех пор, как отбыл срок ученичества и сделался компаньоном Пеффера. По этому случаю в Кукс-Корте

произошла своего рода революция – новая вывеска, намалеванная свежей краской и гласившая: «Пеффер и Снегсби», заменила старую, с надписью «Пеффер» (только), освященную временем, но уже неразборчивую. Потому неразборчивую, что копоть – этот «плющ Лондона» – цепко обвилась вокруг вывески с фамилией Пеффера и прильнула к его жилищу, которое, словно дерево, сплошь обросло этим «привязчивым паразитом».

Самого Пеффера теперь в Кукс-Корте не видно. Да и нечего искать его здесь, ибо вот уже четверть столетия, как он покоится на кладбище Сент-Эндрью, близ Холборна, под грохот подвод и наемных карет, раздающийся весь день и половину ночи и подобный реву громадного дракона. Если в те часы, когда дракон спит, мертвец и вылезает проветриться, если он и гуляет по Кукс-Корту, пока его не заставит вернуться на кладбище кукареканье жизнерадостного петуха, который почему-то, – интересно знать, почему? – неизменно предчувствует рассвет, хотя обитает в погребе маленькой молочной на Карситор-стрит, а значит, не может иметь почти никакого представления о дневном свете, – если Пеффер и навещает когда-нибудь скудно освещенный Кукс-Корт, – чего ни один владелец писчебумажной лавки не может категорически отрицать, – то он приходит незримо, никому не мешая, и никто об этом не знает.

Когда Пеффер еще не отжил своего срока, а Снегсби семь долгих лет «отбывал срок ученичества», у Пеффера, в той

же писчебумажной лавке, жила его племянница – низенькая, хитрая племянница, перетянутая, пожалуй, слишком туго, и с острым носом, напоминающим о резком холоде осеннего вечера, который тем холоднее, чем он ближе к концу. Жители Кукс-Корта поговаривают, будто маменька этой племянницы, побуждаемая слишком ревностной заботливостью о том, чтобы фигура ее дочки достигла совершенства, с детских лет шнуровала ее сама каждое утро, упершись своей материнской ногой в ножку кровати для большей устойчивости; а еще говорят, будто она заставляла дочь принимать целыми пинтами уксус и лимонный сок, каковые кислоты, по общему мнению, «ударили» в нос и характер пациентки.

Но какой бы из многих языков молвы ни породил эти вздорные слухи, они либо не дошли до ушей юного Снегсби, либо он пропустил их мимо ушей, а возмужав, посватался к обольстительному предмету этих слухов, получил согласие и заключил два союза сразу – и брачный, и коммерческий. Итак, мистер Снегсби и племянница покойного Пеффера совместно проживают теперь в Кукс-Корте, переулке, выходящем на Карситор-стрит, и племянница по-прежнему дорожит своей фигурой, да и как не дорожить? – ведь эта фигура, правда, быть может, и не всем по вкусу, но, бесспорно, должна считаться драгоценной, хотя бы потому, что она так миниатюрна.

Мистер и миссис Снегсби, как муж и жена, считаются «единой плотью и кровью», а по мнению их соседей, и «еди-

ным голосом». Этот голос, впрочем звучащий из уст одной лишь миссис Снегсби, частенько слышен в Кукс-Корте. Мистера Снегсби же почти совсем не слышно, ибо чуть не все, что он хочет сказать, говорит за него своим сладостным голосом миссис Снегсби. Это смирный, лысый, робкий человек с блестящей плешью и крошечным пучком черных волос, торчащим на затылке. Он склонен к уступчивости и к полноте. Поглядите на него, когда он стоит на своем пороге в Кукс-Корте, одетый в серый рабочий сюртук с черными коленкоровыми нарукавниками, и созерцает облака или когда он стоит в своей полутемной лавке с тяжелой плоской линейкой в руках и разрезает пергамент ножницами или ножом в обществе двух своих «мальчиков» – подмастерьев, – поглядите на него только, сразу скажете, что это исключительно скромный, непритязательный человек. В такие часы из-под пола, на котором он стоит, словно из могилы визгливого призрака, мятущегося в гробу, нередко раздаются крики и вопли, испускаемые тем самым голосом, о котором говорилось выше, и когда звуки эти становятся необычно пронзительными, мистер Снегсби говорит своим подмастерьям:

– Должно быть, это моя крошечка распекает Гусю!

Уменьшительное имя, упоминаемое в подобных случаях мистером Снегсби, не раз возбуждало остроумие кукскортовцев, отмечавших, что имя это больше подошло бы к самой миссис Снегсби, которая столь криклива, что ее закономерно и очень метко можно было бы прозвать «гусыней».

Однако это имя принадлежит и, если не считать жалованья – пятьдесят шиллингов в год – да крошечного сундучка с тряпками, является единственной собственностью некоей тощей молодой девицы из работного дома (как полагают, ее окрестили Августой), которая еще подростком была взята на воспитание, а точнее – напрокат или в аренду, одним добродушным благодетелем, обитающим в Тутинге, и, значит, несомненно, росла и развивалась в самых благоприятных условиях, но тем не менее «подвержена припадкам», а почему – этого приходский совет никак не может понять.

Гусе года двадцать три – двадцать четыре, но выглядит она на добрых десять лет старше, жалованье получает ничтожное – из-за своего необъяснимого недуга – и так боится вновь попасть в лапы своего бывшего покровителя, что работает без передышки, кроме как в те часы, когда лежит, уткнувшись головой в бадью, в помойное ведро, в котел, в блюдо, приготовленное к обеду, – словом, в то, что было поблизости, когда ее «схватило». Ею довольны родители и опекуны подмастерьев мистера Снегсби, ибо нечего бояться, что она внушит нежные чувства юным сердцам; ею довольна миссис Снегсби, которая всегда имеет возможность уличить ее в какой-нибудь оплошности; ею доволен мистер Снегсби, убежденный, что держит ее у себя только из милости. В глазах же Гуси жилище торговца канцелярскими принадлежностями – это храм изобилия и блеска. Маленькую гостиную наверху, с которой, если можно так выразиться, никогда не

снимают папильоток и передника, иначе говоря – чехлов, Гуся почитает самой роскошной комнатой во всем христианском мире. Вид, открывающийся из окон этой гостиной – с одной стороны на Кукс-Корт (и даже на кусочек Карситор-стрит), а с другой – на задний двор судебного исполнителя Ковинса, – кажется Гусе не имеющим себе равных по красоте. Висящие в этой гостиной написанные – и очень густо написанные – масляной краской портреты мистера Снегсби, взирающего на миссис Снегсби, и миссис Снегсби, взирающей на мистера Снегсби, в ее глазах – все равно что шедевры Рафаэля или Тициана. Итак, Гуся все-таки получает кое-какую награду за многие свои лишения.

Мистер Снегсби предоставил миссис Снегсби ведать всеми теми их делами, которые не имеют отношения к таинствам его торгового предприятия. Она расходует деньги по своему усмотрению, бранится со сборщиками налогов, назначает время и место воскресных молений, контролирует развлечения мистера Снегсби и не желает признавать себя ответственной за провизию, которую выбирает к обеду; поэтому ей завидуют жены во всем околотке, – то есть по обеим сторонам Канцлерской улицы на всем ее протяжении и даже за ее пределами, на Холборне, – и жены эти во время всех домашних сражений обычно просят своих мужей заметить, как отличается их (жен) положение от положения миссис Снегсби, а также их (мужей) поведение от поведения мистера Снегсби. Молва, которая, словно летучая мышь, вечно

носится над Кукс-Кортом, шмыгая из окна в окно, утверждает, будто миссис Снегсби ревнива и въедливо-любопытна, а мистера Снегсби она изводит так, что ему иной раз приходится бежать вон из дому, и обладай он хотя бы мышиной храбростью, он бы этого не потерпел. Говорят даже, будто жены, которые ставят его в пример своим своевольным мужьям, сами в глубине души смотрят на него свысока, а больше всех его презирает некая госпожа, чей господии и повелитель не без основания заподозрен в том, что он иной раз «учит» свою супругу, причем орудием этого «учения» ему служит собственный зонт. Но все эти смутные слухи, быть может, возникли потому, что мистер Снегсби в своем роде человек скорее созерцательного и поэтического склада, – летней порой он не прочь прогуляться по Степл-Инну и отметить, что воробьи и листва «выглядят совсем как в деревне»; а по воскресным дням он любит прохаживаться по Ролс-Ярду и (если он в хорошем расположении духа) разглагольствовать о том, что некогда были древние времена и чтоб ему провалиться, если под этой часовней не окажется парочки каменных гробов, стоит только копнуть поглубже. Далее, он тешит свое воображение мыслями о бесчисленных, уже усопших канцлерах, вице-канцлерах и государственных архиварiусах и так остро ощущает прелесть сельской природы, рассказывая обоим подмастерьям о том, что некогда, как он слышал своими ушами, ручей «прозрачный, как «христалл», бежал посередине Холборна, а на Рогатке действительно бы-

ла рогатка, и дорога оттуда пролегала прямо по лугам, – так остро ощущает прелесть сельской природы, что не испытывает никакого желания очутиться среди этой природы.

День подходит к концу, газ зажжен, но светит он не очень ярко, так как еще не совсем стемнело. Мистер Снегсби стоит у дверей своей лавки, взирая на облака, и видит поздно вылетевшую куда-то ворону, которая мчится на запад по кусочку неба, принадлежащему Кукс-Корту. Ворона пересекла Канцлерскую улицу и сад Линкольнс-Инна и теперь летит прямо на Линкольнс-Инн-Филдс – Линкольновы поля.

Здесь, в большом доме, некогда роскошном особняке, живет мистер Талкингхорн. Теперь особняк сдается внаем под юридические конторы, и в этих обшарпанных обломках его величия, как черви в орехах, засели юристы. Но просторные его лестницы, коридоры и вестибюли остались неизменными; сохранились и расписные потолки, в том числе потолок, на котором изображена некая «Аллегория» – воин в римском шлеме и небесно-голубой тоге, разлегшийся среди балюстрад, колонн, цветов, облаков и толстоногих младенцев и раздражающий зрителя до головной боли, что в той или иной степени, видимо, является целью всех Аллегорий. Здесь, среди своих многочисленных железных ящиков, на которых начертаны знатнейшие имена, всегда пребывает мистер Талкингхорн, если не считать тех дней, когда он гостит, помалкивая, но чувствуя себя как дома, в поместьях, где великие мира сего до смерти замучены скукой. Здесь он и нын-

че спокойно сидит за столом. Устрица старого закала, раковины которой никто не может открыть.

В сумерках этого вечера жилище его смахивает на него самого. И он, и оно обветшали, не гонятся за модой, не бросаются в глаза, – они могут позволить себе все это. Мистера Талкингхорна окружают тяжелые, старомодные, с широкими спинками, набитые волосом кресла красного дерева, сдвинуть которые нелегко; старинные столы с веретенообразными тонкими ножками, покрытые пыльными суконными скатертями; полученные в подарок гравированные портреты носителей громких титулов – и ныне здравствующих носителей, и их отцов. Толстый полинявший турецкий ковер устилает пол под столом, за которым сидит хозяин при свете двух свечей в старомодных серебряных подсвечниках – свечей, слишком скудно освещающих эту большую комнату. Названия его книг на корешках скрыты переплетом; все, что можно запереть, заперто; нигде не видно ни одного ключа. На виду лишь две-три бумаги. На столе под рукой у мистера Талкингхорна лежит какая-то рукопись, но он на нее не смотрит. Вооружившись круглой крышкой от чернильницы и двумя кусочками сургуча, он молча и неторопливо старается решить какую-то еще не решенную задачу. Он кладет прямо перед собой то крышку от чернильницы, то кусочек красного сургуча, то кусочек черного. Нет, не то! Мистер Талкингхорн вынужден все смешать и начать сызнова.

Здесь, под расписным потолком с Аллегорией – изобра-

женным в ракурсе римлянином, который пристально смотрит вниз и, кажется, вот-вот ринется на того, кто вторгся в его владения, тогда как тот не обращает на него никакого внимания, – здесь обитает мистер Талкингхорн и помещается его контора. У него нет служащих, если не считать человека средних лет во фраке с немного продранными локтями, который сидит на высоком деревянном диване в передней и лишь редко бывает слишком обременен работой. Мистер Талкингхорн не такой юрист, как все. Клерков ему не нужно. Он – великий хранитель чужих исповедей, с которыми надо обращаться бережно. Его клиенты нуждаются только *в нем самом,* и он сам делает для них все. Документы, которые ему нужно составить, составляются в Тэмпле специальными юрисконсультами по его тайным указаниям; точные копии, которые ему нужно снять, снимают в писчебумажной лавке, как бы дорого это ни обходилось. Человек средних лет, сидящий на деревянном диване, осведомлен о делах знати не больше, чем любой уличный метельщик на Холборне.

Кусочек красного сургуча, кусочек черного, крышка от чернильницы, крышка от другой чернильницы, маленькая песочница. Так! Это – в середину, это – направо, это – налево. Надо обязательно решить задачу, теперь или никогда… Теперь! Мистер Талкингхорн поднимается, поправляет очки, надевает цилиндр, кладет рукопись в карман, выходит из комнаты, говорит человеку средних лет во фраке с продранными локтями: «Я скоро вернусь» Он лишь очень редко го-

ворит ему что-нибудь более определенное.

Мистер Талкингхорн направляется в ту сторону, откуда прилетела ворона, – не столь прямым путем, как она, но почти, – к переулку Кукс-Корту выходящему на Карситор-стрит. Идет он в лавку с вывеской: «Снегсби. Торговля канцелярскими принадлежностями; переписка крупным почерком и копировка документов; переписка всевозможных судебных бумаг…», и прочее, и прочее, и прочее.

Сейчас что-то около пяти или шести часов вечера, и в Кукс-Корте веет тонким благоуханием горячего чая. Веет им и у дверей мистера Снегсби. День тут начинается и кончается рано – обедают в половине второго, ужинают в половине десятого. Когда мистер Снегсби давеча выглянул на улицу и увидел запоздавшую ворону, он уже собирался спуститься в свое «подземелье», чтобы попить чайку.

– Хозяин дома?

Гуся сторожит лавку, так как подмастерья пьют чай вместе с мистером и миссис Снегсби; поэтому обе дочки портного – специалиста по судейским мантиям, – которые сейчас расчесывают свои локоны перед двумя зеркалами, за двумя окнами, во втором этаже дома напротив, никак не могут отвлечь обоих подмастерьев от работы, на что они обе лелеют надежду, но всего-навсего возбуждают ненужное им восхищение Гуси, чьи волосы не растут, никогда не росли и, по общему убеждению, никогда не будут расти.

– Хозяин дома? – спрашивает мистер Талкингхорн.

Хозяин дома, и Гуся сейчас сходит за ним. Гуся исчезает, радуясь случаю выбраться из лавки, ибо лавка эта вызывает в ее душе смешанное чувство страха и благоговения, представляясь ей каким-то складом устрашающих орудий жестокой пытки, которой суд подвергает тяжущихся, – местом, куда лучше не входить после того, как потушен газ.

Приходит мистер Снегсби, засаленный, распаренный, пахнущий «китайской травкой» и что-то жующий. Старается поскорей проглотить кусочек хлеба с маслом. Говорит:

– Вот так неожиданность, сэр! Да это мистер Талкингхорн!

– Хочу сказать вам несколько слов, Снегсби.

– Пожалуйста, сэр! Но, господи, сэр, почему вы не послали за мной вашего служителя? Извольте, сэр, пройти в заднюю комнату.

Снегсби моментально оживился.

Тесная комнатушка, вся пропахшая салом пергамента, служит и складом товаров, и конторой, и мастерской, где переписывают бумаги. Обежав ее взглядом, мистер Талкингхорн садится на табурет у конторки.

– Я насчет тяжбы «Джарндисы против Джарндисов», Снегсби.

– Да, сэр?

Мистер Снегсби зажигает газ и, скромно предвкушая барыш, кашляет в руку. Надо сказать, что мистер Снегсби, по робости характера, не любит много говорить и, чтобы избе-

жать лишних слов, научился придавать самые разнообразные выражения своему кашлю.

– У вас на днях снимали для меня копии с некоторых свидетельских показаний по этому делу?

– Да, сэр, снимали.

– Одна из этих копий, – говорит мистер Талкингхорн (устрица старого закала, так крепко стиснувшая створки своей раковины, что никто не может ее открыть!) и небрежно ощупывает не тот карман, в какой сунул рукопись, – одна из этих копий переписана своеобразным почерком, и он мне понравился. Я шел мимо вас, подумал, что она при мне, и вот зашел спросить… но, оказывается, я не взял ее с собою. Все равно, когда-нибудь потом… А, вот она!.. Скажите, кто это переписывал?

– Кто переписывал, сэр? – повторяет мистер Снегсби, взяв рукопись и разгладив ее на пюпитре; потом берет ее левой рукой и сразу отделяет друг от друга все листы одним поворотом кисти, как умеют делать торговцы канцелярскими принадлежностями. – Мы отдали эту работу на сторону, сэр. Как раз тогда нам пришлось отдать много переписки на сторону. Я сию минуту скажу вам, кто переписывал это, сэр, – вот только посмотрю в торговой книге.

Мистер Снегсби берет книгу из несгораемого шкафа, снова старается проглотить кусок хлеба с маслом, который, должно быть, застрял у него в горле, и, косясь на копию свидетельских показаний, водит правым указательным пальцем

по странице сверху вниз.

– Джуби… Пекер… Джарндис… Джарндис! Нашел, сэр, – говорит мистер Снегсби. – Ну конечно! Как это я запамятовал! Эту работу, сэр, сдали одному переписчику, который живет по соседству с нами, по ту сторону Канцлерской улицы.

Мистер Талкингхорн уже увидел запись в книге, – нашел ее раньше, чем мистер Снегсби, и успел прочесть за то время, пока указательный палец полз вниз по странице.

– *Как* его фамилия? Немо? – спрашивает юрист.

– Немо, сэр. Вот что у меня записано. Сорок два полулиста. Отданы в переписку в среду, в восемь часов вечера; получены в четверг, в половине десятого утра.

– Немо! – повторяет мистер Талкингхорн. – «Немо» по-латыни значит «никто».

– А по-английски это, вероятно, значит «некто», сэр, – вежливо объясняет мистер Снегсби, почтительно покашливая. – Это просто фамилия. Вот видите, сэр! Сорок два полулиста. Сдано: среда, восемь вечера; получено: четверг, половина десятого утра.

Уголком глаза мистер Снегсби увидел голову миссис Снегсби, заглянувшей в дверь лавки, чтобы узнать, почему он сбежал во время чаепития. И мистер Снегсби кашляет в сторону миссис Снегсби, как бы желая ей объяснить: «Заказчик, душенька!»

– В половине десятого, сэр, – повторяет мистер Снегсби. –

Наши переписчики, те, что занимаются сдельной работой, довольно-таки странные люди, и возможно, что это не настоящая его фамилия; но так он себя называет. Теперь я припоминаю, сэр, что так он подписывается на рукописных объявлениях, которые расклеил в Рул-офисе, в Суде королевской скамьи, в камерах судей и прочих местах. Вам знакомы такого рода объявления, сэр: «Ищу работы…»?

Мистер Талкингхорн смотрит в окошко на задний двор судебного исполнителя Ковинса и на его освещенные окна. Столовая у Ковинса расположена в задней части дома, и тени нескольких джентльменов, попавших в переплет, переплетаясь, маячат на занавесках. Мистер Снегсби пользуется случаем чуть-чуть повернуть голову, взглянуть на свою «крошечку» через плечо и, еле шевеля губами, объяснить ей в свое оправдание, что это – «Тал-кинг-хорн… бо-гатый… вли-ятель-ный!»

– А раньше вы давали работу этому человеку? – спрашивает мистер Талкингхорн.

– Ну конечно, сэр. В том числе и ваши заказы.

– Как вы сказали, где он живет? Я задумался о более важных вопросах и прослушал.

– По ту сторону Канцлерской улицы, сэр. Говоря точнее, – мистер Снегсби снова делает глотательное движение, словно никак не может одолеть кусочек хлеба с маслом, – он снимает комнату у одного старьевщика.

– Можете вы немного проводить меня и показать этот

дом?

– С величайшим удовольствием, сэр!

Мистер Снегсби снимает нарукавники и серый сюртук, надевает черный сюртук, снимает с вешалки свой цилиндр.

– А! Вот и моя женушка, – говорит он громко. – Будь добра, дорогая, прикажи мальчику присмотреть за лавкой, покуда я провожу на ту сторону мистера Талкингхорна. Позвольте представить вам миссис Снегсби, сэр… Я вернусь сию минуту, душенька!

Миссис Снегсби кланяется юристу, удаляется за прилавок, следит за спутниками из-за оконной занавески, крадется в заднюю комнатку, просматривает записи в книге, которая осталась открытой. Ее любопытство явно возбуждено.

– Дом, как вы сами увидите, сэр, очень уж неказистый, – говорит мистер Снегсби, почтительно уступив узкий мощеный тротуар юристу и шагая по мостовой, – да и человек этот, то есть переписчик, тоже очень неказистый. Впрочем, все они какие-то дикие, сэр. Этот хорош хоть тем, что может совсем не спать. Прикажите, и он будет писать без передышки.

Теперь уже совсем стемнело, и газовые фонари горят ярко. Натыкаясь на клерков, спешащих отправить по почте дневную корреспонденцию, на адвокатов и поверенных, возвращающихся домой обедать, на истцов, ответчиков, всякого рода жалобщиков и толпу простых людей, чей путь вековая судебная мудрость перегородила миллионом препят-

ствий и, мешая им выполнять их самые несложные будничные дела, заставляет этих людей вязнуть в трясине судов «общего права» и «справедливости» и в той родственной ей таинственной уличной грязи, которая создается неизвестно из чего и которой мы обрастаем неизвестно когда и как, – а мы вообще знаем о ней только то, что, когда ее накопится слишком много, мы считаем нужным ее отгрести, – натыкаясь на всех этих встречных, поверенный и владелец писчебумажной лавки подходят к лавке старьевщика – складу бросовых, никому не нужных товаров, – расположенной у стены Линкольнс-Инна и принадлежащей, как объясняет вывеска всем тем, кого это может интересовать, некоему Круку.

– Вот где он живет, сэр, – говорит торговец канцелярскими принадлежностями.

– Значит, вот где он живет? – равнодушно повторяет юрист. – Благодарю вас, до свиданья.

– Разве вы не хотите войти, сэр?

– Нет, спасибо, не хочу; я пройду прямо домой, на Линкольновы поля. Спокойной ночи. Благодарю вас!

Мистер Снегсби приподнимает цилиндр и возвращается к своей «крошечке» и своему чаю.

Но мистер Талкингхорн не идет домой на Линкольновы поля. Он проходит немного вперед, поворачивает назад, возвращается к лавке мистера Крука и входит в нее. В лавке полутемно; на подоконниках стоят две-три нагоревших свечи; старик хозяин с кошкой на коленях сидит в глубине комнаты

у огня. Старик поднимается и, взяв нагоревшую свечу, идет навстречу гостю.

– Скажите, ваш жилец дома?

– Жилец или жилица, сэр? – переспрашивает мистер Крук.

– Жилец. Тот, что занимается перепиской.

Мистер Крук уже хорошо рассмотрел гостя. Он знает юриста в лицо. Имеет смутное представление о его аристократических связях.

– Вы хотите его видеть, сэр?

– Да.

– Я сам вижу его редко, – говорит мистер Крук, ухмыляясь. – Может, вызвать его сюда, вниз? Только вряд ли он придет, сэр!

– Тогда я поднимусь к нему, – говорит мистер Талкингхорн.

– Третий этаж, сэр. Возьмите свечу. Сюда, наверх!

Мистер Крук, стоя с кошкой на нижней ступеньке лестницы, смотрит вслед мистеру Талкингхорну.

– Ха! – бурчит он, когда мистер Талкингхорн уже почти исчез из виду.

Юрист смотрит вниз, перегнувшись через перила. Кошка, злобно разинув пасть, шипит на него.

– Брысь, Леди Джейн! Веди себя прилично при гостях, миледи! А вы знаете, что говорят о моем жильце? – шепчет Крук, поднимаясь на одну-две ступеньки.

– Что же о нем говорят?

– Говорят, будто он продал душу дьяволу; но мы-то с вами знаем, что это чушь – ведь тот ничего не покупает. И все-таки вот что я вам скажу: жилец мой такой мрачный, такой угрюмый человек, что он, чего доброго, мог бы пойти на подобную сделку. Не раздражайте его, сэр. Вот мой совет!

Кивнув головой, мистер Талкингхорн продолжает свой путь. Он подходит к темной двери на третьем этаже. Стучит, не получает ответа, открывает дверь и, открывая ее, нечаянно гасит свечу.

Впрочем, воздух в каморке такой спертый, что свеча могла бы и сама здесь погаснуть. Каморка тесная, почти черная от копоти, сажи и грязи. На ржавом остове каминной решетки, помятой в середине, – как будто сама Бедность вцепилась в нее когтями, – тускло рдеет красное пламя догорающего кокса. В углу у камина стоит дощатый сосновый стол со сломанным пюпитром – пустыня, испещренная пятнами от чернильного дождя. В другом углу потертый, старый чемодан лежит на одном из двух стульев, заменяя комод или гардероб; и, как он ни мал, большего, очевидно, не требуется – ведь и у этого стенки ввалились, как щеки голодающего. На полу ничего нет, если не считать старой полусгнившей циновки у камина, до того истоптанной, что веревка, из которой она сплетена, вся разлезлась. На окне нет занавесок, и ночную тьму прикрывают только облупившиеся ставни; они закрыты, и чудится, будто через две прорезанных в них уз-

ких дыры в комнату заглядывает голод, подобно фее, предвещающей смерть человеку на койке.

Да, против камина стоит низкая койка, на которой в беспорядке валяются грязное лоскутное одеяло, тощий тюфяк из полосатого тика и грубая холстинная простыня, и поверенный, нерешительно остановившийся в дверях, видит на этой койке человека. Человек лежит в рубашке и штанах; ноги у него босые. Лицо его кажется желтым при мертвенно-тусклом свете свечи, которая совсем оплыла, так что вокруг загнувшегося (но все еще тлеющего) фитиля выросло что-то вроде белой башенки. Волосы у человека растрепаны и спутались с бакенбардами и бородой, борода тоже растрепанная и такая же запущенная, как и все вокруг. Каморка такая промозглая и затхлая, и воздух в ней такой промозглый и затхлый, что нелегко разобрать, какие запахи здесь больше всего терзают обоняние; но в тошнотворном спертом воздухе, насыщенном застоявшимся табачным дымом, юрист различает терпкий, приторный запах опиума.

– Эй, приятель! – окликает он человека и стучит железным подсвечником в створку двери.

Ему кажется, что он разбудил своего приятеля. Тот лежит, слегка повернувшись к стене, но глаза у него широко открыты.

– Эй, приятель! – снова окликает его юрист. – Эй, вы, проснитесь!

Он колотит по двери, а свеча, так долго оплывавшая, гас-

нет, оставляя его во тьме, и только узкие глаза ставен пристально смотрят на койку.

Глава XI
Возлюбленный брат наш

Поверенный стоит в темной комнате, не зная, как поступить, но вот кто-то прикасается к его морщинистой руке, и он, вздрогнув, спрашивает:

– Кто тут?

– Это я, – отвечает старик хозяин, дыша ему в ухо. – Ну что, не добудились?

– Нет.

– А где же ваша свечка?

– Погасла. Вот она.

Крук, взяв у него из рук погасшую свечу, подходит к камину и, нагнувшись, старается зажечь ее о красные угольки, еще тлеющие в золе. Но они почти догорели, и фитиль не зажигается. Окликнув жильца, но не получив ответа, он бормочет, что сейчас принесет зажженную свечу из лавки, и уходит. Мистер Талкингхорн, движимый какими-то новыми соображениями, решил не оставаться в комнате, пока не вернется хозяин, и выходит на площадку.

Вскоре желанный свет озаряет стены, – это Крук медленно поднимается по лестнице вместе со своей зеленоглазой кошкой, которая идет за ним следом.

– Он всегда так спит? – спрашивает юрист вполголоса.

– Ха! Не знаю, – отвечает Крук, качая головой и поднимая брови. – Я почти ничего о нем не знаю, – очень уж он нелюдимый.

Перешептываясь, они вместе входят в комнату. При свете свечи огромные глаза ставен тускнеют и как будто закрываются. Но не закрываются глаза человека на койке.

– Боже мой! – восклицает мистер Талкингхорн. – Да он умер!

Крук, приподнявший было тяжелую руку лежащего, мгновенно роняет ее, и она, упав, свешивается с койки.

С минуту они молча смотрят друг на друга.

– Пошлите за доктором! Позовите мисс Флайт, сэр, – она живет выше! Смотрите – у постели яд! Позовите же Флайт, будьте добры! – просит Крук, раскинув тощие руки и наклонившись над телом, словно летучая мышь с распростертыми крыльями.

Мистер Талкингхорн, выбежав на площадку лестницы, кричит:

– Мисс Флайт! Флайт! Скорей сюда, как вас там? Флайт!

Крук следит за ним глазами и, в то время как юрист зовет мисс Флайт, пользуется возможностью подкрасться к старому чемодану и потом прокрасться на прежнее место.

– Скорее, Флайт, скорее! Сбегайте за доктором! Бегите же! – торопит мистер Крук полоумную старушку, свою жилицу, а та, мгновенно появившись и столь же мгновенно исчезнув, вскоре возвращается в сопровождении раздражен-

ного медика, которому она помешала обедать, – мужчины с заметно потемневшей от нюхательного табака верхней губой и заметным шотландским акцентом.

– Эге! Вот так история! – говорит медик, быстро осмотрев тело и подняв глаза. – Да он мертв, как фараонова мумия!

Мистер Талкингхорн (стоя возле старого чемодана) спрашивает, когда именно этот человек скончался.

– Когда, сэр? – говорит медик. – Пожалуй, уже часа три тому назад.

– И мне так кажется, – подтверждает смуглый молодой человек, который только что пришел и стоит по ту сторону койки.

– А вы тоже доктор, сэр? – спрашивает первый медик.

Смуглый молодой человек отвечает утвердительно.

– Ну, так я уйду, – говорит тот, – потому что мне тут делать нечего!

И, закончив этими словами свой краткий визит, он уходит доедать обед.

Смуглый молодой врач водит свечой перед лицом переписчика, потом тщательно осматривает того, кто оправдал выбор своего псевдонима, действительно сделавшись Никем.

– Я хорошо знал его в лицо, – говорит молодой врач. – Последние полтора года он покупал у меня опиум. Может быть, кто-нибудь из вас ему сродни? – спрашивает он, оглядывая всех троих.

– Он снимал у меня комнату, – угрюмо отвечает Крук, взяв свечу, которую протянул ему врач. – Как-то раз он сказал мне, что у него нет родных, так что самый близкий ему человек – это я.

– Он умер от слишком большой дозы опиума, – говорит врач, – в этом сомневаться не приходится. Комната вся пропахла опиумом. Да вот еще сколько осталось, – добавляет он, взяв из рук мистера Крука чайник, – человек десять отравить можно.

– А как по-вашему, он это – нарочно? – спрашивает Крук.

– Принял слишком большую дозу?

– Да!

Крук чуть не чмокнул губами, так он смакует все происходящее, сгорая от отвратительного любопытства.

– Не могу сказать. По-моему, это маловероятно – ведь он привык к таким дозам. Но наверное знать нельзя. Очевидно, он очень нуждался?

– Очевидно. В комнате у него… не особенно богато, – говорит Крук, окинув каморку острыми глазами; а глаза у него сейчас точь-в-точь такие, как у его кошки. – Впрочем, я к нему сюда не заходил с тех пор, как он ее снял, а сам он был очень уж нелюдимый – никогда не говорил о себе.

– Он задолжал вам за квартиру?

– За шесть недель.

– Ну, этого долга он не заплатит, – говорит молодой человек, закончив осмотр. – Он и вправду мертв, как фарао-

нова мумия, да оно, пожалуй, и лучше – смотрите, какой у него вид, как он жил… вот уж можно сказать – отмучился! А ведь в молодости он, наверное, вращался в хорошем обществе, может быть, даже был красавцем. – Сидя на краю койки, врач говорит все это сочувственным тоном, обернувшись к покойнику и положив руку ему на грудь. – Помнится, я как-то раз подумал, что он хоть и грубоват, а манеры у него как у светского человека, который скатился на дно. Так оно и было? – спрашивает он, оглядывая присутствующих.

Крук отвечает:

– Почем я знаю? Вы бы еще спросили меня о тех дамах, чьи волосы хранятся у меня внизу в мешках. Он полтора года квартировал у меня и жил – или не жил – перепиской, вот и все, что я о нем знаю.

Во время этого разговора мистер Талкингхорн, заложив руки за спину, стоит возле старого чемодана, явно не разделяя ни одного из трех разных чувств, которые владеют людьми, стоящими у койки, – ни профессионального интереса к смерти вообще, который испытывает молодой врач, независимо от того, что он говорит о покойнике; ни острого любопытства старика; ни ужаса полоумной старушки. Невозмутимое лицо юриста так же невыразительно, как его поношенный костюм. Трудно даже сказать, думал ли он в течение всего этого времени. Ничего нельзя заметить в его чертах – ни терпения, ни нетерпения, ни внимания, ни рассеянности. Видна только его внешняя оболочка. Однако легче

судить о свойствах хорошего музыкального инструмента по его футляру, чем о свойствах мистера Талкингхорна по его футляру.

Но вот он вмешивается в разговор, обращаясь к молодому врачу, как всегда, спокойным профессиональным тоном.

– Я зашел сюда, – начинает он, – как раз перед тем, как пришли вы, потому что хотел дать покойному, которого вижу впервые, работу по переписке. Я слышал о нем от своего поставщика – от Снегсби, что имеет лавку в Кукс-Корте. Поскольку никто здесь ничего не знает об умершем, следует послать за Снегсби. А, это вы? – обращается он к полоумной старушке, которую часто видел в суде и которая сама часто видела его в суде, а теперь, перепуганная до того, что потеряла дар речи, мимикой предлагает пойти за торговцем канцелярскими принадлежностями. – Сходите-ка вы за ним!

В ее отсутствие врач, прекратив бесплодное исследование, покрывает тело лоскутным одеялом. Он обменивается несколькими словами с мистером Круком. Мистер Талкингхорн не говорит ничего, но не отходит от старого чемодана.

Мистер Снегсби быстро прибегает, не успев даже снять серый сюртук и черные нарукавники.

– Боже мой, боже мой, – лепечет он, – надо же было до этого дойти, а? Подумать только!

– Вы можете дать хозяину дома какие-нибудь сведения об этом несчастном, Снегсби? – спрашивает мистер Талкингхорн. – Он, кажется, остался должен за квартиру. И его, ра-

зумеется, нужно похоронить.

– Но, сэр, – отзывается мистер Снегсби, покашливая в руку с извиняющимся видом. – Я, право, не знаю, что посоветовать… вот разве только послать за приходским надзирателем.

– Не в советах дело, – говорит мистер Талкингхорн. – Совет мог бы дать и я…

– Конечно, сэр, кому и советовать, как не вам, – вставляет мистер Снегсби, покашливая почтительно.

– Дело в том, что вы, может быть, знаете что-нибудь о его родных, или о том, откуда он прибыл, или вообще о чем-нибудь таком, что имеет к нему отношение.

– Уверяю вас, сэр, – отвечает мистер Снегсби, умоляюще кашлянув, – о том, откуда он прибыл, я знаю не больше, чем о том…

– Куда он отбыл, – подсказывает врач, приходя ему на помощь.

Молчание. Мистер Талкингхорн смотрит на торговца. Мистер Крук, разинув рот, ожидает, чтобы кто-нибудь заговорил опять.

– А насчет его родных, сэр, – говорит мистер Снегсби, – то скажи мне кто-нибудь: «Снегсби, вот двадцать тысяч фунтов лежат для вас наготове в Английском банке, назовите только хоть одного его родственника» – и я не мог бы назвать ни одного, сэр! Года полтора назад, помнится, как раз в то время, когда он снял комнату здесь, у старьевщика…

– В это самое время, – подтверждает Крук, кивнув головой.

– Года полтора назад, – продолжает мистер Снегсби, ободренный поддержкой, – он пришел к нам как-то раз утром, после первого завтрака, застал мою крошечку (это я так называю миссис Снегсби) в лавке, показал ей образец своего почерка и объяснил, что ищет работы по переписке и, говоря напрямик, – излюбленное выражение мистера Снегсби, которое он всегда произносит с какой-то убедительной искренностью, как бы извиняясь за свою прямоту, – говоря напрямик, признался, что очень нуждается. Моя женушка вообще недолюбливает незнакомцев, особенно, говоря напрямик, если им что-нибудь нужно. Но этот человек ее почему-то растрогал, – то ли потому, что он давно не брился, то ли потому, что волосы у него были растрепаны, или еще по каким-нибудь там дамским соображениям, – не знаю, судите сами, – но так или иначе, она взяла у него и образец почерка, и адрес. Моя женушка плохо запоминает фамилии, – продолжает мистер Снегсби, снисходительно кашлянув в руку, – он сказал, что его зовут Немо, а она не расслышала и подумала, что Нимродом. И вот с тех пор все, бывало, твердит мне за обедом и завтраком: «Снегсби, что ж это ты еще не нашел работы для Нимрода!» или: «Снегсби, почему ты не дал Нимроду переписывать эти тридцать восемь полулистов из дела Джарндисов?» – и тому подобное. Ну вот, так он и начал мало-помалу выполнять сдельную работу для нас, и

это все, что я о нем знаю, кроме того, что работал он быстро и не отказывался от ночной работы, так что если, бывало, сдашь ему, скажем, сорок пять полулистов в среду вечером, так он принесет их в четверг утром. И все это, – заключает мистер Снегсби, почтительно указывая цилиндром на койку, – мой уважаемый знакомый, несомненно, подтвердил бы, если бы мог.

– Надо бы вам посмотреть, – обращается мистер Талкингхорн к Круку, – не осталось ли после него каких-нибудь бумаг; может быть, вам удастся что-нибудь узнать из них. О его смерти произведут дознание, и вас будут допрашивать. Вы грамотный?

– Нет, неграмотный, – отвечает старик и вдруг усмехается.

– Снегсби, – говорит мистер Талкингхорн, – осмотрите комнату вместо него. А не то он может попасть в беду, нажить себе неприятность. Я подожду, раз уж я здесь, – только не мешкайте, – а потом засвидетельствую, если потребуется, что обыск был произведен правильно, законным образом. Посветите мистеру Снегсби, любезный, а он быстро узнает, нет ли здесь чего-нибудь такого, что могло бы вам помочь.

– Во-первых, тут имеется старый чемодан, сэр, – говорит Снегсби.

А, верно, чемодан! Мистер Талкингхорн как будто не замечал его раньше, хотя стоит совсем рядом, а в каморке почти ничего больше нет.

Старьевщик держит свечу, торговец производит обыск.

Врач прислонился к углу камина, мисс Флайт, трепеща, выглядывает из-за двери. Закаленный опытом старый юрист старого закала в тускло-черных коротких штанах, завязанных лентами у колен, в просторном черном жилете, в черном фраке со слишком длинными рукавами, в шейном платке, слабо свернутом мягким жгутом и завязанном узлом того особенного фасона, который так хорошо знаком всей знати, стоит на том же самом месте и в той же самой позе.

В старом чемодане лежат какие-то лохмотья; пачка квитанций ссудной кассы – этих расписок в получении проездных пошлин у застав на пути к Нищете; смятая бумажка, пахнущая опиумом, с нацарапанными на ней краткими записями, начатыми недавно, очевидно с намерением вести их регулярно, но скоро заброшенными: в такой-то день принято столько-то гранов, в такой-то – на столько гранов больше; несколько запачканных вырезок из газет с отчетами о дознаниях коронера по делам о смертях, вызванных неизвестной причиной; больше ничего нет. Обыскивают посудный шкаф и ящик забрызганного чернилами стола. Нигде нет ни обрывка старого письма или вообще бумаги, на которой было бы написано хоть слово. Молодой врач осматривает платье, в которое одет переписчик. Перочинный нож и несколько полупенсов – вот все, что он находит. Таким образом, предложение мистера Снегсби оказалось единственным разумным предложением, и решено вызвать приходского надзирателя.

Маленькая полоумная жилица отправляется за надзира-

телем, а все остальные выходят из каморки.

– Нельзя же оставлять здесь кошку! – говорит врач. – Это не годится!

Мистер Крук гонит кошку перед собой, а она крадется вниз, виляя гибким хвостом и облизываясь.

– До свидания! – говорит мистер Талкингхорн и возвращается домой к Аллегории и своим размышлениям.

Тем временем новость успела облететь весь переулок. Обыватели собираются кучками, чтобы обсудить происшествие, и высылают авангард разведчиков (главным образом мальчишек) к окнам мистера Крука, которые подвергаются осаде. Полисмен уже поднялся в комнату умершего и снова спустился, а теперь стоит, как башня, у входа в лавку, лишь изредка удостаивая взглядом мальчишек, копошащихся у его подножия; но стоит ему на них взглянуть, как они пугаются и отступают в замешательстве. Миссис Перкинс, которая несколько недель не разговаривала с миссис Пайпер, – ибо между ними возникли недоразумения из-за того, что маленький Перкинс «дал затрещину» маленькому Пайперу, – миссис Перкинс пользуется этим знаменательным случаем, чтобы возобновить дружеские отношения с соседкой. Молодой слуга из углового трактира, привилегированный любитель полицейского искусства, по должности своей обязанный знать жизнь и порой расправляться с пьяницами, обменивается конфиденциальными сообщениями с полисменом, напустив на себя неуязвимый вид молодца, которого не смеют

коснуться полицейские дубинки и которого нельзя забрать в полицейский участок. Люди, высунувшись из окон, переговариваются через переулок, и простоволосые разведчицы прибегают с Канцлерской улицы узнать, что случилось. По-видимому, все охвачены одним чувством – слава тебе господи, что не мистер Крук первый приказал долго жить, – но чувство это не лишено доли вполне понятного сожаления о том, что случилось так, а не наоборот. В разгаре этих волнений появляется приходский надзиратель.

Обычно во всем околотке приходского надзирателя считают ни на что не нужным должностным лицом, но сейчас он пользуется некоторой популярностью хотя бы уж потому, что скоро увидит мертвое тело. Полисмен смотрит на него, как на болвана-штатского, – на пережиток варварской эпохи уличных сторожей, – но все-таки разрешает войти этому официальному лицу, с которым приходится считаться, пока правительство не упразднит его должности. Волнение нарастает по мере того, как из уст в уста все дальше передаются слухи о том, что приходский надзиратель прибыл и вошел в дом.

Вскоре надзиратель выходит, снова возбуждая волнение обывателей, которые в его отсутствие несколько успокоились. Он объявляет, что для завтрашнего дознания требуются свидетели, которые могут сообщить коронеру и присяжным какие-либо сведения о покойном. Ему немедленно называют многочисленных свидетелей, которые ровно ниче-

го не могут сообщить. Еще больше его сбивают с толку, то и дело твердя, что сын миссис Грин сам был «переписчиком судебных бумаг и знал покойника как свои пять пальцев», но по расследовании выясняется, что упомянутый сын миссис Грин сейчас находится на борту корабля, три месяца назад отплывшего в Китай; впрочем, снестись с ним можно по телеграфу, испросив на то разрешения у адмиралтейства. Приходский надзиратель обходит все местные лавки и квартиры, чтобы допросить жителей, а войдя в какой-нибудь дом, всякий раз первым делом закрывает за собой дверь и доводит публику до исступления своей скрытностью, медлительностью и глупостью. Кто-то видел, как полисмен улыбнулся трактирному слуге. Интерес публики, ослабев, начинает переходить в равнодушие. Визгливыми ребячьими голосами она обвиняет приходского надзирателя в том, что он якобы сварил в котле какого-то мальчугана, и хором горланит отрывки из сложенной на эту тему народной песенки, в которой поется, будто упомянутый мальчуган пошел на суп для работного дома. В конце концов полисмен находит нужным защитить честь блюстителя благочиния и хватает одного певца, с тем чтобы отпустить его не раньше, чем разбегутся все остальные, и – с обязательством убраться прочь отсюда, прочь! да поживей! – обязательством, которое тот немедленно выполняет. Итак, волнение на время улеглось, а невозмутимый полисмен (для которого немножко больше опиума, немножко меньше не имеет ровно никакого значе-

ния) – невозмутимый полисмен в блестящем шлеме, немнущемся, жестком мундире, стянутом крепким ременным поясом, к которому прикреплены наручники, с толстой дубинкой в руке и прочими необходимыми для полицейского принадлежностями под стать перечисленным, тяжелой походкой неторопливо шагает дальше, похлопывая в ладоши руками в белых перчатках и время от времени останавливаясь на перекрестке посмотреть, не случилось ли какое-нибудь происшествие, начиная с пропажи ребенка и кончая убийством.

Приходский надзиратель, человек, не блещущий умом, носится под покровом ночи по Канцлерской улице с повестками, в которых фамилии всех присяжных перевраны, а не переврана только фамилия самого надзирателя, которую, впрочем, никто не может прочесть, да и не желает знать. После того как повестки вручены и свидетели получили приказ явиться, приходский надзиратель направляется к мистеру Круку, чтобы встретиться у него, как было условлено, с какими-то нищими, которые вскоре приходят, а потом ведет их наверх, где они преподносят большим «глазам» в ставнях новый предмет для созерцания, а именно, то последнее из земных жилищ, в которое предстоит вселиться тому, кто называл себя «Никто»… как, впрочем, и каждому смертному, кто бы он ни был.

И всю эту ночь гроб стоит наготове рядом со старым чемоданом, а на койке лежит одинокий человек, чей жизненный путь, продолжавшийся сорок пять лет, так же невозможно

проследить, как путь брошенного ребенка.

Наутро в переулке жизнь бьет ключом – «сущая ярмарка», как выражается миссис Перкинс, которая уже окончательно наладила свои отношения с миссис Пайпер и завела дружескую беседу с этой достойной особой. Коронер будет заседать в зале на втором этаже трактира «Солнечный герб», где два раза в неделю устраиваются «Гармонические собрания любителей пения» под председательством некоего джентльмена, знаменитого музыканта, против которого всегда сидит исполнитель комических песен, Маленький Суиллс, выражающий надежду (как гласит вывешенное в окне объявление), что все его друзья соберутся вновь, сплотятся вокруг него и поддержат его выдающийся талант. Все это утро «Солнечный герб» торгует бойко. Под влиянием всеобщего возбуждения даже детвора чувствует потребность подкрепиться, и пирожник, расположившийся по этому случаю на углу переулка, говорит, что его ромовые пончики раскупают нарасхват. Между тем приходский надзиратель снует между лавкой мистера Крука и трактиром «Солнечный герб» и показывает вверенный его попечению интересный предмет немногим избранным, умеющим держать язык за зубами, а те в благодарность подносят ему стаканчик-другой эля.

В назначенный час прибывает коронер, которого уже ожидают присяжные и которому салютуют кегли, что с грохотом валятся на пол в превосходном сухом кегельбане, пристроенном к «Солнечному гербу». Никто так часто не бывает в

трактирах, как коронер. Такая уж у него работа, что запахи опилок, пива, табачного дыма для него неотделимы от смерти в самых ужасных ее обличиях. Приходский надзиратель и трактирщик провожают коронера в зал Гармонических собраний, где он, сняв цилиндр, кладет его на рояль и садится в кресло с решетчатой спинкой в конце длинного стола, который составлен из нескольких небольших столов, сдвинутых вместе и украшенных бесконечно переплетающимися липкими кругами от пивных кружек и стаканов. Тут же расселись присяжные, сколько их смогло поместиться за столом. Остальные располагаются между плевательницами и винными бочками или прислоняются к роялю. Над головой у коронера висит небольшое железное кольцо, прикрепленное к висячей ручке звонка, и кажется, будто это – петля, уготованная для почтенного вершителя правосудия.

Сделайте перекличку присяжным и приведите их к присяге! В то время как происходит эта церемония, снова возникает волнение, потому что в зал вошел толстощекий коротыш со слезящимися глазами и пылающим носом, в рубашке с широким отложным воротником и, войдя, скромно стал у дверей, как простой зритель, хотя этот зал, видимо, для него привычное место. В публике шепчутся, что это Маленький Суиллс. Как полагают некоторые, очень возможно, что он выучится передразнивать коронера и на этой теме построит главный номер программы Гармонического собрания сегодня вечером.

– Итак, джентльмены… – начинает коронер.

– Тише вы! – кричит приходский надзиратель. Он обращается не к коронеру, хотя могло показаться, что именно к коронеру.

– Итак, джентльмены, – снова начинает коронер, – вы включены в список присяжных и вызваны сюда, чтобы произвести дознание о смерти одного человека. В вашем присутствии будет произведено расследование обстоятельств этой смерти, и вы вынесете свой приговор, приняв во внимание… – кегли! слушайте, надзиратель, кегли долой! – свидетельские показания, а не что-либо другое. Первое, что надлежит сделать, это осмотреть тело.

– Эй, вы, дайте дорогу! – кричит приходский надзиратель.

И вот все выступают нестройной процессией, чем-то напоминающей похоронную, и осматривают заднюю комнатку на третьем этаже дома мистера Крука, откуда некоторые из присяжных торопятся уйти и выходят, побледнев. Приходский надзиратель очень заботится о двух джентльменах, чьи манжеты и запонки не в полном порядке (он даже поставил для этой пары специальный столик в зале Гармонических собраний, поближе к коронеру), и всячески старается, чтобы они увидели все, что можно видеть. Старается потому, что это газетные репортеры, которые пишут отчеты о подобных дознаниях за построчный гонорар, а он, приходский надзиратель, не свободен от общечеловеческих слабостей и надеется прочесть в газетах о том, что сказал и сделал «Му-

ни, расторопный и сметливый приходский надзиратель этого квартала»; больше того, он жаждет, чтобы фамилия «Муни» так же часто и благожелательно упоминалась в прессе, как, судя по недавним примерам, упоминается фамилия палача.

Маленький Суиллс ждет возвращения коронера и присяжных. Ждет их и мистер Талкингхорн. Мистера Талкингхорна принимают с особенным почетом и сажают рядом с коронером, – между этим маститым вершителем правосудия, бильярдом и ящиком для угля. Дознание продолжается. Присяжные узнают о том, как умер объект их расследования, но больше ничего о нем не узнают.

– Джентльмены, – говорит коронер, – здесь присутствует весьма известный поверенный, который, как мне доложили, случайно оказался среди тех, кто обнаружил мертвое тело; но он может только повторить показания врача, домохозяина, жилицы и владельца писчебумажной лавки, уже выслушанные вами, следовательно, нет необходимости его беспокоить. Известно ли кому-нибудь из присутствующих еще что-либо?

Миссис Перкинс толкает вперед миссис Пайпер. Миссис Пайпер приводят к присяге.

– Анастасия Пайпер, джентльмены. Замужняя. Итак, миссис Пайпер, что вы можете сказать по этому поводу?

Ну что ж, миссис Пайпер может сказать многое – главным образом в скобках и без знаков препинания, – но сообщить она может немного. Миссис Пайпер живет в этом переулке

(где муж ее работает столяром), и все соседи были уверены уже давно (можно считать с того дня, который был за два дня до крещения Александра Джеймса Пайпера, а крестили его, когда ему было полтора годика и четыре дня, потому что не надеялись, что он выживет, так страдал ребенок от зубок, джентльмены), соседи давно уже были уверены, что потерпевший, – так называет миссис Пайпер покойного, – по слухам, продал свою душу. Она думает, что слухи распространились потому, что вид у потерпевшего был какой-то чудной. Она постоянно встречала потерпевшего и находила, что вид у него свирепый и его нельзя подпускать к малышам, потому что некоторые малыши очень пугливы (а если в этом сомневаются, так она надеется, что можно допросить миссис Перкинс, которая здесь присутствует и может поручиться за миссис Пайпер, за ее мужа и за все ее семейство). Видела, как потерпевшего изводила и дразнила детвора (дети, они и есть дети – что с них возьмешь? – и нельзя же ожидать, особенно если они шаловливые, чтоб они вели себя какими-то Мафузилами, какими вы сами не были в детстве). По этой причине, а также из-за его мрачного вида, ей часто снилось, будто он вынул из кармана острую кирку и раскроил голову Джонни (хотя мальчуган прямо бесстрашный и не раз дразнил его, гоняясь за ним по пятам). Однако она ни разу не видела наяву, чтобы потерпевший вытаскивал кирку или какое другое оружие, – уж чего не было, того не было. Видела, как он спешил уйти подобру-поздорову, когда за ним бежа-

ли ребятишки и улюлюкали ему вслед, – надо думать, он не любил ребят, – и никогда не видела, чтоб он разговаривал с ребенком или взрослым (если не считать того мальчика, что подметает перекресток на Канцлерской улице, вон там напротив, за углом, а будь он здесь, он бы вам сказал, что люди видали, как он частенько разговаривал с потерпевшим).

Коронер спрашивает:

– Мальчик здесь?

Приходский надзиратель отвечает:

– Нет, сэр, его здесь нет.

Коронер говорит:

– Так ступайте и приведите его сюда.

В отсутствие «расторопного и сметливого» приходского надзирателя коронер беседует с мистером Талкингхорном.

А! вот и мальчик, джентльмены!

Вот он здесь, очень грязный, очень охрипший, очень оборванный. Ну, мальчик!.. Но нет, погодите. Осторожней. Мальчику надо задать несколько предварительных вопросов.

Зовут – Джо. Так и зовут, а больше никак. Что все имеют имя и фамилию, он не знает. Никогда и не слыхивал. Не знает, что «Джо» – уменьшительное от какого-то длинного имени. С *него* и короткого хватит. А чем оно плохо? Сказать по буквам, как оно пишется? Нет. *Он* по буквам сказать не может. Отца нет, матери нет, друзей нет. В школу не ходил. Местожительство? А что это такое? Вот метла, она и есть метла, а врать нехорошо, это он знает. Не помнит, кто ему

говорил насчет метлы и вранья, но так оно и есть. Не может сказать в точности, что с ним сделают после смерти, если он сейчас соврет этим джентльменам, – должно быть, очень строго накажут, да и поделом… – так что он скажет правду.

– Ничего не выйдет, джентльмены! – говорит коронер, меланхолически покачивая головой.

– Вы полагаете, что не стоит слушать его показания, сэр? – спрашивает какой-то внимательный присяжный.

– Безусловно, – отвечает коронер. – Вы слышали, как выразился мальчик? «Не могу сказать в точности», а этак не годится, знаете ли. *Подобные* показания суду не нужны, джентльмены. Потрясающая испорченность. Уведите мальчика.

Мальчика уводят, производя этим огромное впечатление на слушателей, особенно на Маленького Суиллса, исполнителя комических песенок.

Далее. Имеются другие свидетели? Других свидетелей не имеется.

Итак, джентльмены! Перед нами неизвестный человек, который, как уже доказано, полтора года регулярно принимал опиум большими дозами и был найден умершим от того, что принял слишком много опиума. Если вы, по вашему мнению, располагаете доказательствами, которые могут привести вас к заключению, что он покончил с собой, вы придете к этому заключению. Если вы полагаете, что смерть произошла от несчастной случайности, вы вынесете соответ-

ственный приговор.

Приговор выносят соответственный. Смерть произошла от несчастной случайности. Сомнений нет. Джентльмены, вы свободны. До свидания.

Застегивая пальто, коронер вместе с мистером Талкинг-хорном частным образом выслушивает показания отвергнутого свидетеля, забившегося в уголок.

Несчастный помнит только, что покойника (которого он только что видел и узнал по желтому лицу и черным волосам) иногда дразнили и гнали по улицам. Помнит, что както раз, студеным, зимним вечером, когда он, Джо, дрожал от холода у какого-то подъезда, неподалеку от своего перекрестка, человек оглянулся, повернул назад, расспросил его и, узнав, что у него нет на свете ни единого друга, сказал: «У меня тоже нет. Ни единого!» – и дал ему денег на ужин и ночлег. Помнит, что с тех пор человек часто с ним разговаривал и спрашивал, крепко ли он спит по ночам, и как переносит голод и холод, и не хочется ли ему умереть, и задавал всякие другие столь же странные вопросы. Помнит, что, когда у человека не было денег, он, проходя мимо, говорил: «Сегодня я такой же бедный, как ты, Джо»; когда же у него были деньги, он всегда был рад (в это Джо верит всем сердцем), – всегда был рад поделиться с ним.

– Очень уж он жалел меня, – говорит мальчик, вытирая глаза оборванным рукавом. – Поглядел я давеча, как он лежит вытянувшись – вот так, – и думаю: что бы ему услыхать,

как я ему говорю про это. Очень уж он жалел меня, очень!

Джо спускается с лестницы, волоча ноги, а мистер Снегсби, поджидавший его, сует ему в руку полкроны.

– Если ты увидишь, что я перехожу твой перекресток со своей крошечкой – то есть с одной дамой, – говорит мистер Снегсби, прикладывая палец к носу, – смотри не вздумай сказать, что я дал тебе денег!

Некоторое время присяжные слоняются по «Солнечному гербу», болтая о том о сем. Наконец несколько человек совсем пропадают в табачном дыму, заполнившем зал «Солнечного герба», двое направляются в Хэмпстед, а четверо сговариваются пойти в театр по контрамаркам и закончить вечер устрицами. Маленького Суиллса усердно потчуют. На вопрос, что он думает о событиях дня, Маленький Суиллс отвечает (как всегда хлестко), что это «сногсшибательный случай». Хозяин «Солнечного герба», заметив, как популярен сегодня Маленький Суиллс, горячо рекомендует его присяжным и публике, подчеркивая, что в характерных песенках он не имеет себе равных, а характерных костюмов у него целый воз.

Итак, «Солнечный герб» постепенно исчезает во мраке ночи, а потом снова возникает, вспыхивая яркими огнями газовых рожков. Наступает час Гармонического собрания, и знаменитый музыкант занимает председательское место, против него лицом (красным лицом) к лицу располагается Маленький Суиллс, а их друзья, собравшись вновь, сплоти-

лись вокруг них и поддерживают выдающийся талант. В разгаре вечера Маленький Суиллс объявляет:

– Джентльмены, с вашего позволения, я попытаюсь представить короткую сцену из действительной жизни, разыгравшуюся здесь сегодня.

Его награждают громкими аплодисментами и возгласами одобрения; он выходит Суиллсом, возвращается коронером (ничуть не похожим на оригинал); изображает в лицах Дознание, а рояль для приятного разнообразия аккомпанирует припеву:

«Он… – (то есть коронер) – ведь типпи-тол-ли-долл, он ведь типпи-тол-ло-долл, он ведь типпи-тол-ли-долл. Ди!»

Наконец дребезжащий рояль умолкает, и «Гармонические друзья» собираются вновь положить свои головы на подушки. Тогда покой нисходит на одинокое тело, уже вселенное в последнее из своих земных жилищ, и узкие глаза ставен смотрят на него в течение всех тихих часов ночи. Если бы в те дни, когда этот несчастный еще младенцем лежал, как в гнездышке, в объятиях своей матери, подняв глазки на ее любящее лицо, цепляясь за ее шею и неумело стараясь обвить ее мягкими ручонками, – если бы в те дни его мать могла видеть в пророческом видении, как он сейчас лежит здесь, она не поверила бы видению! О, если в более счастливые дни в душе его пылал огонь, теперь угасший, – огонь любви к той женщине, которая любила его, где же эта женщина теперь, когда останки его еще не зарыты в землю?

Ночь в доме мистера Снегсби в Кукс-Корте проходит отнюдь не спокойно – Гуся никому не дает спать, ибо, как выражается мистер Снегсби, говоря напрямик, – «не успеет она оправиться от одного припадка, как забьется в другом и так доходит чуть не до двадцати». А «схватило» ее потому, что она одарена нежным сердцем и еще чем-то очень впечатлительным, что, возможно, превратилось бы в воображение, если бы в ее жизни не было Тутинга и благодетеля. Чем бы это ни было, но за чаем оно было так жестоко потрясено отчетом мистера Снегсби о дознании, происходившем в его присутствии, что, когда сели ужинать, Гуся внезапно метнулась в кухню, выронив голландский сыр, который с быстротой «Летучего Голландца» покатился туда же, опередив ее, и забилась в необычайно длительном припадке, а когда оправилась от него, забилась в другом припадке, потом в третьем, в четвертом… да так и промучилась всю ночь с короткими промежутками, которыми пользовалась, чтобы страстно упрашивать миссис Снегсби не увольнять ее, когда она «совсем очнется», и убеждать всех домочадцев уложить ее на каменный пол и отправиться спать. Поэтому, услышав наконец как в маленькой молочной на Карситор-стрит петух пришел в бескорыстный экстаз от того, что настал рассвет, мистер Снегсби, хоть он и терпеливейший из людей, глубоко вздыхает и говорит с облегчением:

– Я уж думал, что он околел, право!

Какой вопрос решает эта охваченная энтузиазмом птица,

напрягаясь до такой степени, и почему ей нужно кричать так громко о том, что ее никак не касается (впрочем, люди на разных публичных торжествах кричат так же), это уж ее дело. Достаточно того, что наступает рассвет, наступает утро, наступает полдень.

Тогда «расторопный и сметливый» приходский надзиратель, как пишут о нем в утренних газетах, приходит со своей компанией нищих к мистеру Круку и уносит тело новопреставленного возлюбленного брата нашего на затиснутое в закоулок кладбище, зловонное и отвратительное, источник злокачественных недугов, заражающих тела возлюбленных братьев и сестер наших, еще не преставившихся, в то время как возлюбленные братья и сестры наши, торчащие на черных лестницах власть имущих – о, если бы преставились *они!* – так прекраснодушны и любезны. На скверный клочок земли, который турок отверг бы как ужасающую мерзость, при виде которого содрогнулся бы кафр, приносят нищие новопреставленного возлюбленного брата нашего, чтобы похоронить его по христианскому обряду.

Здесь, на кладбище, которое со всех сторон обступают дома и к железным воротам которого ведет узкий зловонный крытый проход, – на кладбище, где вся скверна жизни делает свое дело, соприкасаясь со смертью, а все яды смерти делают свое дело, соприкасаясь с жизнью, – зарывают на глубине одного-двух футов возлюбленного брата нашего; здесь сеют его в тлении, чтобы он поднялся в тлении – призраком воз-

мездия у одра многих болящих, постыдным свидетельством будущим векам о том времени, когда цивилизация и варварство совместно вели на поводу наш хвастливый остров.

Внемли, ночь, внемли, тьма: тем лучше будет, чем скорей вы придете, чем дольше останетесь в таком месте, как это! Внемлите, редкие огни в окнах безобразных домов, а вы, творящие в них беззаконие, творите его, хотя бы отгородившись от этого грозного зрелища! Внемли, пламя газа, так угрюмо горящее над железными воротами, в отравленном воздухе, что покрыл их колдовской мазью, слизистой на ощупь! К каждому прохожему взывай: «Загляни сюда!»

Вместе с ночью приходит какое-то неуклюжее существо и крадется по дворовому проходу к железным воротам. Вцепившись в прутья решетки, заглядывает внутрь; две-три минуты стоит и смотрит.

Потом тихонько метет старой метлой ступеньку перед воротами и очищает весь проход под сводами. Метет очень усердно и тщательно, снова две-три минуты смотрит на кладбище, затем уходит.

Джо, это ты? Так-так! Хоть ты и отвергнутый свидетель, неспособный «сказать в точности», что сделают с тобой руки, более могущественные, чем человеческие, а все-таки ты не совсем погряз во мраке. В твое неясное сознание, очевидно, проникает нечто вроде отдаленного луча света, ибо ты бормочешь: «Очень уж он жалел меня, очень!»

Глава XII
Настороже

Дожди наконец-то перестали идти в Линкольншире, и Чесни-Уолд воспрянул духом. Миссис Раунсуэлл хлопочет, ожидая гостей, потому что сэр Лестер и миледи едут домой из Парижа. Великосветская хроника уже разнюхала это и утешает радостной вестью омраченную Англию. Она разнюхала также, что сэр Лестер и миледи намерены принимать избранный и блестящий круг *«сливок бомонда»* (великосветская хроника слаба в английском языке, но, подкрепившись французским, обретает титаническую силу) в своем древнем и гостеприимном родовом поместье в Линкольншире.

В знак уважения к избранному и блестящему кругу, а попутно и к самому Чесни-Уолду, обвалившийся мост в парке исправлен, а река вернулась в свои берега и, вновь перекрытая изящной аркой, выглядит очень эффектно, когда на нее смотришь из дома. Холодный, ясный, солнечный свет заглядывает в промерзшие до хрупкости леса и с удовлетворением видит, как резкий ветер разбрасывает листья и сушит мох. Целый день свет скользит по парку за бегущими тенями облаков, пытается их догнать и не может. Он проникает в окна и кладет на портреты предков яркие полосы и блики, которые вовсе не входили в замыслы художников. На портрет

миледи, висящий над огромным камином, он бросает широкую яркую полосу, скошенную влево, как перевязь на гербе внебрачных детей, и полоса эта, изламываясь, ложится на стенки каминной ниши, словно стремясь рассечь ее надвое.

В столь же холодный солнечный день, в столь же ветреную погоду миледи и сэр Лестер в дорожной карете (камеристка миледи и любимый камердинер сэра Лестера – на запятках) трогаются в обратный путь на родину. Под громкий звон бубенчиков и щелканье бичей пара неоседланных коней и пара кентавров в лакированных шляпах и ботфортах, с развевающимися гривами и хвостами, рьяно рвутся вперед, вывозя грохочущую карету со двора отеля «Бристоль» на Вандомской площади, скачут между исполосованной светом и тенью колоннадой улицы Риволи и садом рокового дворца обезглавленных короля и королевы, мчатся по площади Согласия и Елисейским Полям и, проехав под Триумфальной аркой на площади Звезды, выезжают из Парижа.

Сказать правду, чем быстрей они мчатся, тем лучше, ибо даже в Париже миледи соскучилась до смерти. Концерты, балы, опера, театр, катанье – все это старо; да и ничто не ново для миледи под одряхлевшими небесами. Не далее как в прошлое воскресенье, когда беднота веселилась и внутри городских стен, – играя с детьми среди статуй и подстриженных деревьев Дворцового сада, гуляя группами человек в двадцать по Елисейским (что значит – «райским») Полям, которые казались в тот день еще более райскими

благодаря каруселям и дрессированным собакам, или изредка заходила (в очень небольшом числе) в сумрачный собор Парижской Богоматери, чтобы прошептать краткую молитву у подножья колонны, озаренной трепещущим пламенем тонких восковых свечек в похожем на рашпер ржавом подсвечнике; когда беднота веселилась и за городскими стенами, окружая Париж кольцом танцевальных вечеринок, любовных приключений, выпивок, табачного дыма, поминовения усопших на кладбищах, бильярдных партий, карточных игр, состязаний в домино, шарлатанства и бесчисленных зловредных отбросов, одушевленных и неодушевленных, – не дальше как в прошлое воскресенье миледи, подавленная безысходной Скукой и томясь в лапах Гиганта Отчаяния, почти ненавидела свою собственную камеристку за то, что та была в хорошем настроении.

И миледи не терпится уехать из Парижа. Душевная тоска осталась у нее позади, но ждет ее и впереди, – ее злой гений опоясал тоской весь земной шар, и пояс этот нельзя расстегнуть; остается лишь одно, впрочем несовершенное, средство спастись – бежать из того места, где она тосковала. Отбросить Париж назад, вдаль, и сменить его на бесконечные аллеи по-зимнему безлистых деревьев, пересеченные другими бесконечными аллеями! И напоследок взглянуть на него, уже отъехав на несколько миль, когда Триумфальная арка на площади Звезды будет казаться всего лишь белым пятнышком, сверкающим на солнце, а город – просто холмиком на

равнине со вздымающимися над ним двумя темными прямоугольными башнями, со светом и тенью, наклонно слетающими к нему, как ангелы в сновидении Иакова!

Сэр Лестер, тот обычно доволен жизнью и потому скучает редко. Когда ему нечего делать, он может размышлять о своей знатности. А как это приятно, когда то, о чем размышляешь, неистощимо! Прочитав полученные письма, сэр Лестер откидывается на спинку сиденья в углу кареты и предается размышлениям, главным образом – о том, как велико его значение для общества.

– Сегодня утром вы, кажется, получили особенно много писем? – говорит миледи после долгого молчания.

Ей надоело читать – ведь за перегон в двадцать миль она успела прочесть чуть не целую страницу.

– Но в письмах нет ничего интересного… решительно ничего.

– Я, помнится, видела среди них письмо от мистера Талкингхорна – длиннейшее послание, какие он всегда пишет.

– Вы видите все, – отзывается сэр Лестер в восхищении.

– Ах, он скучнейший человек на свете! – вздыхает миледи.

– Он просит, – очень прошу извинить меня, – он просит, – говорит сэр Лестер, отыскав письмо и развернув его, – передать вам… Когда я дошел до постскриптума, мы остановились сменить лошадей, и я позабыл про письмо. Прошу прощенья. Он пишет… – Сэр Лестер так медлительно достает и прикладывает к глазам лорнет, что это слегка раздража-

ет миледи. – Он пишет: «Относительно дела о праве прохода…» Простите, пожалуйста, это не о том. Он пишет… Да! Вот оно, нашел! Он пишет: «Прошу передать мой почтительный поклон миледи и надеюсь, что перемена места принесла ей пользу. Не будете ли Вы так любезны сказать ей (ибо это ей, вероятно, будет интересно), что, когда она вернется, я смогу сообщить ей кое-что о том человеке, который переписывал свидетельские показания, приобщенные к делу, которое разбирается в Канцлерском суде, и столь сильно возбудившие ее любопытство. Я его видел».

Миледи наклонилась вперед и смотрит в окно кареты.

– Вот что он просит передать, – говорит сэр Лестер.

– Я хочу немного пройтись пешком, – роняет миледи, не отрываясь от окна.

– Пешком? – переспрашивает сэр Лестер, не веря своим ушам.

– Я хочу немного пройтись пешком, – повторяет миледи так отчетливо, что сомневаться уже не приходится. – Остановите, пожалуйста, карету.

Карета останавливается; любимый камердинер соскакивает с запяток, открывает дверцу и откидывает подножку, повинуясь нетерпеливому жесту миледи. Миледи выходит так быстро и удаляется так быстро, что сэр Лестер, при всей своей щепетильной учтивости, не успевает помочь ей и отстает. Минуты через две он ее нагоняет. Очень красивая, она улыбается, берет его под руку, не спеша идет с ним вперед

около четверти мили, говорит, что это ей до смерти наскучило, и снова садится на свое место в карете.

Целых три дня грохот и дребезжанье раздаются почти беспрерывно под аккомпанемент более или менее громкого звона бубенчиков и щелканья бичей, а кентавры и неоседланные кони с большим или меньшим усердием продолжают рваться вперед. Сэр Лестер и миледи так изысканно вежливы друг с другом, что в отелях, где они останавливаются, это вызывает всеобщее восхищение.

– Милорд, правда, староват для миледи, – говорит мадам, хозяйка «Золотой обезьяны», – в отцы ей годится, – но с первого взгляда видно, что они любящие супруги.

Подмечено, что милорд обнажает свою убеленную сединами голову, когда помогает миледи выйти из кареты или усаживает ее в карету. Подмечено, что миледи благодарит милорда за почтительное внимание, наклоняя прелестную головку и подавая супругу свою столь изящную ручку! Восхитительно!

Море не ценит великих людей – качает их, как и всякую мелкую рыбешку. Оно всегда жестоко обращается с сэром Лестером, чье лицо покрывается зеленоватыми пятнами, подобными плесени на сдобренном шалфеем сыре-чеддере, и в чьем аристократическом организме происходит гнетущая революция. Сэру Лестеру море представляется «оппозиционером» в Природе. Тем не менее сознание своей родовитости помогает баронету прийти в себя после остановки для отды-

ха, и он вместе с миледи едет дальше, в Чесни-Уолд, пролежав лишь одну ночь в Лондоне по дороге в Линкольншир.

В столь же холодный солнечный день, – который становится все более холодным, по мере того как склоняется к вечеру, – в столь же ветреную погоду, – которая становится все более ветреной, по мере того как отдельные тени безлистых деревьев в лесу все больше сливаются в сумраке, а Дорожка призрака, западный конец которой еще озарен пламенем небесного костра, готовится исчезнуть в ночном мраке, – они въезжают в парк. Грачи, покачиваясь в своих высоких жилищах на вязовой аллее, должно быть, решают вопрос – кто же это сидит в карете, проезжающей под деревьями; причем одни сходятся на том, что это сэр Лестер и миледи едут домой; другие спорят с недовольными, которые не желают этого признать; одно время все соглашаются, что решение вопроса следует отложить; потом снова заводят яростные споры, подстрекаемые какой-то упрямой и заспанной птицей, которая всем противоречит и жаждет, чтобы за ней осталось последнее карканье. Так они качаются на ветках и каркают, а дорожная карета подкатывает к дому, где в нескольких окнах тепло светятся огни, хоть этих освещенных окон не так много, чтобы придать жилой вид громадному темнеющему фасаду. Впрочем, жилой вид он примет скоро, – когда в Чесни-Уолд съедется избранный и блестящий круг.

Миссис Раунсуэлл находится на своем посту и отвечает на освященное обычаем рукопожатие сэра Лестера глубоким

реверансом.

– Как поживаете, миссис Раунсуэлл? Рад вас видеть.

– Имею честь приветствовать вас, сэр Лестер, и надеюсь, что вы в добром здоровье!

– В отменнейшем здоровье, миссис Раунсуэлл.

– Миледи выглядит прекрасно, донельзя очаровательно, – говорит миссис Раунсуэлл и снова приседает.

Миледи коротко дает понять, что она чувствует себя прекрасно, только донельзя утомлена.

Но поодаль, сзади домоправительницы, стоит Роза, и миледи, которая хоть и победила в себе многое в борьбе с собой, но еще не притупила своей острой наблюдательности, спрашивает:

– Кто эта девушка?

– Это моя молоденькая ученица, миледи… ее зовут Роза.

– Подойди поближе, Роза! – Леди Дедлок подзывает девушку знаком и, кажется, даже проявляет к ней некоторый интерес. – А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая? – говорит она, дотрагиваясь до плеча девушки двумя пальцами.

Роза, очень смущенная, отвечает: «Нет, с вашего позволения, миледи!» – и то поднимает глаза, то опускает, не зная, куда их девать, но еще больше хорошеет.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать, миледи.

– Девятнадцать, – повторяет миледи задумчиво. – Бере-

гись, как бы тебя не избаловали комплиментами.

– Слушаю, миледи.

Миледи, потрепав ее по щеке с ямочкой своими изящными, затянутыми в перчатку пальчиками, направляется к дубовой лестнице, у которой дожидается сэр Лестер, чтобы порыцарски проводить супругу наверх. Древний Дедлок, написанный в натуральную величину на панно, такой же тучный, каким был при жизни, и такой же скучный, смотрит со стены, выпучив глаза, словно не знает, что и подумать; впрочем, он и во времена королевы Елизаветы, должно быть, неизменно пребывал в недоумении.

В этот вечер в комнате домоправительницы Роза только и делает, что расточает хвалы леди Дедлок. Она такая приветливая, такая изящная, такая красивая, такая элегантная, у нее такой нежный голос и такая мягкая ручка, что Роза до сих пор ощущает ее прикосновение! Миссис Раунсуэлл, не без личной гордости, соглашается с нею во всем, кроме одного, – что миледи приветлива. В этом миссис Раунсуэлл не вполне уверена. Она никогда ни единым словом не осудит ни одного из членов этого достойнейшего семейства, – боже сохрани! – и особенно миледи, которой восхищается весь свет; но если бы миледи была «немножко более свободной в обращении», не такой холодной и отчужденной, она, по мнению миссис Раунсуэлл, была бы более приветливой.

– Я почти готова пожалеть, – добавляет миссис Раунсуэлл (только «почти», ибо в такой благодати, как семейная жизнь

Дедлоков, все обстоит как нельзя лучше, и думать, что это не так, граничит с богохульством), – я почти готова пожалеть, что у миледи нет детей. Вот, скажем, будь у миледи дочь, теперь уже взрослая молодая леди, миледи было бы о ком заботиться, а тогда, мне кажется, она обладала бы и тем единственным качеством, которого ей теперь не хватает.

– А вам не кажется, бабушка, что тогда она стала бы еще более гордой? – говорит Уот, который съездил домой, но быстро вернулся – вот какой он любящий внук!

– «Еще более» и «всего более» в приложении к какой-либо слабости миледи, дорогой мой, – с достоинством отвечает домоправительница, – это такие слова, которых я не должна ни произносить, ни слушать.

– Простите, бабушка. Но ведь миледи все-таки гордая; разве нет?

– Если она и гордая, то – не без основания. В роду Дедлоков все имеют основание гордиться.

– Ну, значит, им надо вычеркнуть из своих молитвенников текст о гордости и тщеславии, предназначенный для простонародья, – говорит Уот. – Простите, бабушка! Я просто шучу!

– Над сэром Лестером и леди Дедлок, дорогой мой, подшучивать не годится.

– Сэр Лестер и правда так серьезен, что с ним не до шуток, – соглашается Уот, – так что я смиренно прошу у него прощения. Надеюсь, бабушка, что, хотя сюда съезжаются и

хозяева, и гости, мне можно, как и любому проезжему, пробыть еще день-два на постоялом дворе «Герб Дедлоков»?

– Конечно, дитя мое.

– Очень рад, – говорит Уот. – Мне ведь ужасно хочется получше познакомиться с этой прекрасной местностью.

Тут он, должно быть случайно, бросает взгляд на Розу, а та опускает глаза и очень смущается. Однако, по старинной примете, у Розы сейчас должны были бы гореть не ее свежие, румяные щечки, но ушки, ибо в эту самую минуту камеристка миледи бранит ее на чем свет стоит.

Камеристка миледи, француженка тридцати двух лет, родом откуда-то с юга, из-под Авиньона или Марселя, большеглазая, смуглая, черноволосая женщина, была бы красивой, если бы не ее кошачий рот и неприятно напряженные черты лица, – от этого челюсти ее кажутся слишком хищными, а лоб слишком выпуклым. Плечи и локти у нее острые, и она так худа, что кажется истощенной; к тому же она привыкла, особенно когда сердится или раздражается, настороженно смотреть вокруг, скосив глаза и не поворачивая головы, от чего ей лучше было бы отвыкнуть. Она одевается со вкусом, но, несмотря на это и на всякие побрякушки, которыми она себя украшает, недостатки ее так бросаются в глаза, что она напоминает волчицу, которая рыщет среди людей, очень чистоплотная, но плохо прирученная. Она не только умеет делать все, что ей надлежит делать по должности, но говорит по-английски почти как англичанка; поэтому ей не прихо-

дится подбирать слова, чтобы облить грязью Розу за то, что та привлекла внимание миледи, а сидя за обедом, она с такой нелепой жестокостью изливает свое негодование, что ее сосед, любимый камердинер сэра Лестера, чувствует некоторое облегчение, когда она, взяв ложку, на время прерывает свою декламацию.

Ха-ха-ха! Она, Орта́нз, целых пять лет служит у миледи, и всегда ее держали на расстоянии, а эта кукла, эта марионетка, не успела она поступить сюда, как ее уже обласкала – прямо-таки обласкала – хозяйка! Ха-ха-ха! «А ты знаешь, дитя мое, какая ты хорошенькая?» – «Нет, миледи». (Тут она права!) «А сколько тебе лет, дитя мое? Берегись, как бы тебя не избаловали комплиментами, дитя мое!» Ну и потеха! Лучше не придумаешь!

Короче говоря, все это так восхитительно, что мадемуазель Ортанз не может этого забыть, и еще много дней, за обедом и ужином и даже в кругу своих соотечественниц и других особ, служащих в той же должности у приехавших гостей, она порой внезапно умолкает, чтобы вновь пережить полученное от «потехи» наслаждение, и оно проявляется в свойственной ей «любезной» манере еще сильнее напрягать черты лица, бросать вокруг косые взгляды и, поджимая тонкие губы, растягивать до ушей крепко сжатый рот – словом, выражать восхищение собственным остроумием при помощи мимики, которая нередко отражается в зеркалах миледи, когда миледи нет поблизости.

Для всех зеркал в доме теперь находится дело, и для многих из них – после длительного отдыха. Они отражают красивые лица, глупо ухмыляющиеся лица, молодые лица, лица, что насчитывают добрых шесть-семь десятков лет, но все еще не желают поддаваться старости, – словом, весь калейдоскоп лиц, появившихся в январе в Чесни-Уолде, чтобы погостить там одну-две недели, – лиц, на которых великосветская хроника, грозная охотница с острым нюхом, охотится с тех пор, как они, впервые поднятые с логовища, появились при Сент-Джеймском дворе, и вплоть до того часа, когда их затравят до смерти.

В линкольнширском поместье жизнь бьет ключом. Днем в лесах гремят выстрелы и звучат голоса; на дорогах в парке оживленное движение: скачут всадники, катят кареты; слуги и прихлебатели заполонили деревню и постоялый двор «Герб Дедлоков». Ночью издалека сквозь просветы между деревьями видны освещенные окна продолговатой гостиной, где над огромным камином висит портрет миледи, и эти окна – как цепь из драгоценных камней в черной оправе. По воскресеньям в холодной церковке становится почти тепло – столько в нее набирается молящихся аристократов, и запах, напоминающий о склепе Дедлоков, теряется в аромате тонких духов.

В этом избранном и блестящем кругу можно встретить немало людей образованных, неглупых, мужественных, честных, красивых и добродетельных. И все-таки, несмотря

на все его громадные преимущества, есть в нем что-то порочное. Что же именно?

Дендизм? Но теперь уже нет в живых короля Георга Четвертого (и тем хуже!), так что некому поощрять моду на Дендизм; теперь уже нет накрахмаленных галстуков, которыми обматывали шею, как полотенца навертывают на валики; теперь уже не носят фраков с короткой талией, накладных икр, мужских корсетов. Теперь уже нет карикатурных женоподобных модников, которые все это носили и, восседая в ложах оперного театра, падали в обморок от избытка восторга, после чего их приводили в чувство другие изящные создания, совавшие им под нос нюхательную соль во флаконах с длинным горлышком. Теперь не найдешь такого светского льва, который вынужден звать на помощь четырех человек, чтобы впихнуть его в лосины, который ходит смотреть на все публичные казни и горько упрекает себя за то, что однажды скушал горошину.

Но, быть может, избранный и блестящий круг все-таки заражен Дендизмом – и Дендизмом гораздо более опасным, проникшим вглубь и порождающим менее безобидные причуды, чем удушение себя галстуком-полотенцем или порча собственного пищеварения, против чего ни один разумный человек не станет особенно возражать?

Да, это так. И этого нельзя скрыть. В нынешнем январе в Чесни-Уолде гостят некоторые леди и джентльмены именно в этом новейшем вкусе, и они вносят Дендизм… даже в

Религию. Томимые мечтательной и неудовлетворенной жаждой эмоций, они за легким изысканным разговором единодушно сошлись на том, что у Простонародья не хватает веры вообще, – то есть, скажем прямо, в те вещи, которые подверглись испытанию и оказались небезупречными, – как будто простолюдин почему-то обязательно должен извериться в фальшивом шиллинге, убедившись, что он фальшивый! И эти леди и джентльмены готовы повернуть вспять стрелки на Часах Времени и вычеркнуть несколько столетий из истории, лишь бы превратить Простой народ в нечто очень живописное и преданное аристократии.

Здесь гостят также леди и джентльмены в другом вкусе, – не столь новомодные, зато чрезвычайно элегантные и сговорившиеся наводить ровный глянец на весь мир и скрывать все его горькие истины. Им все должно казаться томным и миловидным. Они изобрели вечную неподвижность. Ничто не должно их радовать или огорчать. Никакие идеи не смеют возмутить их спокойствие. Даже Изящные Искусства, которые прислуживают им в пудреных париках и в их присутствии пятятся назад, как лорд-камергер в присутствии короля, обязаны одеваться по выкройкам модисток и портных прошлых поколений, тщательно избегать серьезных вопросов и ни в малейшей степени не поддаваться влиянию текущего века.

Здесь гостит и милорд Будл, который считается одним из самых видных членов своей партии, который изведал, что

такое государственная служба, и с величайшей важностью заявляет сэру Лестеру Дедлоку после обеда, что решительно не понимает, куда идет наш век. Дебаты уже не те, какими они были когда-то; Парламент уже не тот, каким он некогда был; даже Кабинет министров не тот, каким он был прежде. Милорд Будл, недоумевая, предвидит, что, если теперешнее Правительство свергнут, у Короны при формировании нового Министерства будет ограниченный выбор, – только между лордом Кудлом и сэром Томасом Дудлом, конечно, лишь в том случае, если герцог Фудл откажется работать с Гудлом, а это вполне допустимо, – вспомните о их разрыве в результате известной истории с Худлом. Итак, если предложить Министерство внутренних дел и пост Председателя палаты общин Джудлу, Министерство финансов Зудлу, Министерство колоний Лудлу, а Министерство иностранных дел Мудлу, куда же тогда девать Нудла? Пост Председателя Тайного совета ему предложить нельзя – он обещан Пудлу. Сунуть его в Министерство вод и лесов нельзя – оно не очень нравится даже Квудлу. Что же из этого следует? Что страна потерпела крушение, погибла, рассыпалась в прах (а это ясно как день патриотическому уму сэра Лестера Дедлока) из-за того, что никак не удается устроить Нудла!

С другой стороны, член Парламента достопочтенный Уильям Баффи доказывает кому-то через стол, что в крушении страны, – в котором никто не сомневается, спорят лишь о том, почему оно произошло, – в крушении страны пови-

нен Каффи. Если бы с Каффи, когда он впервые был избран в Парламент, поступили так, как надлежало с ним поступить, и помешали ему перейти на сторону Даффи, можно было бы объединить его с Фаффи, заполучить для себя столь красноречивого оратора, как Гаффи, привлечь к поддержке предвыборной кампании громадные средства Фаффи, в трех графствах провести своих кандидатов – Джаффи, Заффи и Лаффи и укрепить власть государственной мудростью и деловитостью Маффи. А вместо всего этого мы теперь очутились в зависимости от любой прихоти Паффи!

По этому, как и по менее важным поводам, имеются разногласия, однако весь избранный и блестящий круг отлично понимает, что вопрос только в Будле и его сторонниках, а также в Баффи и *его* сторонниках. Вот те великие актеры, которым предоставлены подмостки. Несомненно, существует и Народ – множество статистов, которых иногда угощают речами, в уверенности, что эти статисты будут испускать восторженные клики и петь хором, как на театральной сцене, но Будл и Баффи, их приверженцы и родственники, их наследники, душеприказчики, управляющие и уполномоченные родились актерами на главные роли, антрепренерами и дирижерами, и никто, кроме них, не посмеет выступить на сцене во веки веков.

И в этом отношении в Чесни-Уолде столько Дендизма, что избранный и блестящий круг когда-нибудь найдет это вредным для себя. Ибо даже с самыми окаменелыми и вылощен-

ными кругами может случиться то, что бывает с магическим кругом, которым обводит себя волшебник, – за их пределами тоже могут возникнуть совершенно неожиданные призраки, действующие весьма энергично. Разница в том, что это будут не видения, но существа из плоти и крови, и тем опаснее, что они ворвутся в круг.

Как бы то ни было, в Чесни-Уолде людей полон дом, – так полон, что жгучее чувство обиды вспыхивает в сердцах приехавших с гостями, неудобно размещенных камеристок, и погасить это чувство невозможно. Только одна комната не занята никем. Расположенная в башенке, предназначенная для гостей третьестепенных, просто, но удобно обставленная, она носит какой-то старомодный деловой отпечаток. Это комната мистера Талкингхорна, и ее не отводят никому другому, потому что он может приехать в любое время. Но он еще не появлялся. В хорошую погоду он, доехав до деревни, обычно идет в Чесни-Уолд пешком через парк; входит в свою комнату с таким видом, словно и не выходил из нее с тех пор, как его видели здесь в последний раз; просит слугу доложить сэру Лестеру о его прибытии, на случай если он понадобится, и появляется за десять минут до обеда у входа в библиотеку. Он спит в своей башенке, и над головой у него – жалобно скрипящий флагшток, а под окном – веранда с полом, крытым свинцом, на которой, если он живет здесь, каждое погожее утро показывается черная фигура, смахивающая на какого-то великана-грача: это мистер Талкингхорн

прогуливается перед завтраком.

Каждый день миледи перед обедом ищет его в сумрачной библиотеке; но его нет. Каждый день миледи за обедом окидывает глазами весь стол в поисках незанятого места, перед которым стоял бы прибор для мистера Талкингхорна, если бы он только что приехал; но незанятого места нет. Каждый вечер миледи небрежным тоном спрашивает свою камеристку:

– Мистер Талкингхорн уже приехал?

Каждый вечер она слышит в ответ:

– Нет, миледи, еще не приехал.

Как-то раз под вечер, услышав этот ответ от своей камеристки, которая расчесывает ей волосы, миледи забывается, погрузившись в глубокое раздумье; но вдруг видит в зеркале свое сосредоточенное, печальное лицо и чьи-то черные глаза, с любопытством наблюдающие за ней.

– Будьте добры заняться делом, – говорит миледи, обращаясь к отражению мадемуазель Ортанз. – Любуйтесь своей красотой в другое время.

– Простите! Я любовалась красотой вашей милости.

– А ею вам вовсе незачем любоваться, – говорит миледи.

Но вот однажды, незадолго до заката, когда уже разошлись нарядные гости, часа два толпившиеся на Дорожке призрака, и сэр Лестер с миледи остались одни на террасе, появляется мистер Талкингхорн. Он подходит к ним, как всегда, ровным шагом, которого никогда не ускоряет и не

замедляет. На лице у него обычная, лишенная всякого выражения маска (если это маска), но каждая частица его тела, каждая складка одежды пропитаны семейными тайнами. Действительно ли он всей душой предан великим мира сего, или же служит им за плату и только – это его собственная тайна. Он хранит ее так же, как хранит тайны своих клиентов; в этом отношении он сам себе клиент и никогда себя не выдаст.

– Как ваше здоровье, мистер Талкингхорн? – говорит сэр Лестер, подавая ему руку.

Мистер Талкингхорн совершенно здоров. Сэр Лестер совершенно здоров. Миледи совершенно здорова. Все обстоит в высшей степени благополучно. Юрист, заложив руки за спину, идет по террасе рядом с сэром Лестером. Миледи тоже идет рядом с ним, но – с другой стороны.

– Мы думали, что вы приедете раньше, – говорит сэр Лестер.

Любезное замечание. Другими словами это означает: «Мистер Талкингхорн, мы помним о вашем существовании, даже когда вас здесь нет, когда вы не напоминаете нам о себе своим присутствием. Мы уделяем вам крупицу своего внимания, сэр, заметьте это!»

Мистер Талкингхорн, понимая все, наклоняет голову и говорит, что он очень признателен.

– Я приехал бы раньше, – объясняет он, – если бы не был так занят вашими тяжбами с Бойторном.

– Очень неуравновешенный человек, – строго замечает сэр Лестер. – Подобный человек представляет огромную опасность для любого общества. Личность весьма низменного умонаправления.

– Он упрям, – говорит мистер Талкингхорн.

– Да и как ему не быть упрямым, раз он такой человек! – подтверждает сэр Лестер, хотя сам всем своим видом выражает непоколебимое упрямство. – Ничуть этому не удивляюсь.

– Вопрос только в одном, – продолжает поверенный, – согласны ли вы уступить ему хоть в чем-нибудь?

– Нет, сэр, – отвечает сэр Лестер. – Ни в чем. *Мне*… уступать?

– Не в чем-нибудь важном. Тут вы, я знаю, конечно, не уступите. Я хочу сказать – в чем-нибудь маловажном.

– Мистер Талкингхорн, – возражает сэр Лестер, – в моем споре с мистером Бойторном не может быть ничего маловажного. Если я пойду дальше и скажу, что не постигаю, как это *любое* мое право может быть маловажным, я буду при этом думать не столько о себе лично, сколько о чести своего рода, блюсти которую обязан я.

Мистер Талкингхорн снова наклоняет голову.

– Теперь я знаю, что мне делать, – говорит он. – Но предвижу, что мистер Бойторн наделает нам неприятностей…

– Подобным людям, мистер Талкингхорн, – перебивает его сэр Лестер, – свойственно делать неприятности всем.

Личность исключительно недостойная, стремящаяся ко всеобщему равенству. Человек, которого пятьдесят лет тому назад, вероятно, судили бы в уголовном суде Олд-Бейли за какие-нибудь демагогические выступления и приговорили бы к суровому наказанию… быть может, даже, – добавляет сэр Лестер после короткой паузы, – к повешению, колесованию или четвертованию.

Произнеся этот смертный приговор, сэр Лестер, по-видимому, свалил гору со своих аристократических плеч и теперь почти так же удовлетворен, как если бы приговор уже был приведен в исполнение.

– Однако ночь на дворе, – говорит сэр Лестер, – как бы миледи не простудилась. Пойдемте домой, дорогая.

Они поворачивают назад, ко входу в вестибюль, и только тогда леди Дедлок заговаривает с мистером Талкингхорном.

– Вы что-то хотели мне сообщить насчет того человека, о котором я спросила, когда увидела его почерк. Как похоже на вас – не забыть о таком пустяке; а у меня он совсем выскочил из головы. После вашего письма все это снова всплыло у меня в памяти. Не могу представить себе, что именно мог мне напомнить этот почерк, но, безусловно, что-то напомнил тогда.

– Что-то напомнил? – повторяет мистер Талкингхорн.

– Да-да, – небрежно роняет миледи. – Кажется, что-то напомнил. Неужели вы действительно взяли на себя труд отыскать переписчика этих… как это называется?.. свидетель-

ских показаний?

– Да.

– Как странно!

Они входят в неосвещенную утреннюю столовую, расположенную в нижнем этаже. Днем свет льется сюда через два окна с глубокими нишами. Сейчас комната погружена в сумрак. Огонь в камине бросает яркий отблеск на обшитые деревом стены и тусклый – на оконные стекла, а за ними, сквозь холодное отражение пламени, видно, как совсем уже похолодевший парк содрогается на ветру и как стелется серый туман – единственный в этих местах путник, кроме несущихся по небу разорванных туч.

Миледи опускается в огромное кресло у камина, сэр Лестер садится в другое огромное кресло напротив. Поверенный становится перед огнем, вытянув вперед руку, чтобы заслонить лицо от света пламени. Повернув голову, он смотрит на миледи.

– Так вот, – говорит он, – я стал наводить справки об этом человеке и нашел его. И, как ни странно, я нашел его…

– Вполне заурядной личностью, – томно подсказывает миледи.

– Я нашел его мертвым.

– Как можно! – укоризненно внушает сэр Лестер, не столько шокированный самим фактом, сколько тем фактом, что об этом факте упомянули.

– Мне указали, где он живет, – это была убогая, нищен-

ская конура, – и я нашел его мертвым.

– Вы меня извините, мистер Талкингхорн, – замечает сэр Лестер, – но я полагаю, что чем меньше говорить о…

– Прошу вас, сэр Лестер, дайте мне выслушать рассказ мистера Талкингхорна, – говорит миледи. – В сумерках только такие рассказы и слушать. Какой ужас! Так вы нашли его мертвым?

Мистер Талкингхорн подтверждает это, снова наклоняя голову.

– Сам ли он наложил на себя руки…

– Клянусь честью! – восклицает сэр Лестер. – Но, право, это уж чересчур!

– Дайте же мне дослушать! – говорит миледи.

– Все, что вам будет угодно, дорогая. Но я должен сказать…

– Нет, вы не должны сказать! Продолжайте, мистер Талкингхорн.

Сэр Лестер галантно подчиняется, однако он все же находит, что заносить такого рода грязь в высшее общество – это… право же… право же…

– Я хотел сказать, – продолжает поверенный, сохраняя невозмутимое спокойствие, – что не имею возможности сообщить вам, сам ли он наложил на себя руки, или нет. Однако, выражаясь точнее, должен заметить, что он, несомненно, умер от своей руки, хотя сделал ли он это с заранее обдуманным намерением или по несчастной случайности – узнать

наверное никогда не удастся. Присяжные коронера вынесли решение, что он принял яд случайно.

– А кто он был такой, – спрашивает миледи, – этот несчастный?

– Очень трудно сказать, – отвечает поверенный, покачивая головой. – Он жил бедно, совсем опустился, – лицо у него было темное, как у цыгана, черные волосы и борода всклокочены, словом, он, вероятно, был почти нищий. Врач почему-то предположил, что в прошлом он и выглядел лучше, и жил лучше.

– А как его звали, этого беднягу?

– Его называли так, как он сам называл себя; но настоящего его имени не знал никто.

– Даже те, кто ему прислуживал?

– Ему никто не прислуживал. Просто его нашли мертвым. Точнее, это я его нашел.

– И больше никаких сведений о нем не удалось получить?

– Никаких. После него остался, – задумчиво говорит юрист, – старый чемодан. Но… нет, никаких бумаг в нем не было.

В течение этого короткого разговора леди Дедлок и мистер Талкингхорн, ничуть не меняя своей обычной манеры держаться, произносили каждое слово, не спуская глаз друг с друга, что, пожалуй, и неудивительно, когда приходится говорить на столь необычную тему. А сэр Лестер смотрел на пламя камина, всем своим видом смахивая на Дедлока, порт-

рет которого красуется на стене у лестницы. Дослушав рассказ, он снова начинает важно протестовать, подчеркивая, что раз у миледи, очевидно, не сохранилось ровно никаких воспоминаний об этом несчастном (если только он не обращался к ней с письменной просьбой о вспомоществовании), он, сэр Лестер, надеется, что больше не услышит о происшествии, столь чуждом тому кругу, в котором вращается миледи.

– Да, все это какое-то нагромождение ужасов, – говорит миледи, подбирая свои меха и шали, – ими можно заинтересоваться, но ненадолго. Будьте любезны, мистер Талкингхорн, откройте дверь.

Мистер Талкингхорн почтительно открывает дверь и держит ее открытой, пока миледи выплывает из столовой. Она проходит совсем близко от него, и вид у нее, как всегда, утомленный, исполненный надменного изящества. Они снова встречаются за обедом… и на следующий день… и много дней подряд. Леди Дедлок все та же томная богиня, окруженная поклонниками и, как никто, склонная смертельно скучать даже тогда, когда восседает в посвященном ей храме. Мистер Талкингхорн – все тот же безмолвный хранитель аристократических признаний… здесь он явно не на своем месте, но тем не менее чувствует себя совсем как дома. Оба они, казалось бы, так же мало замечают друг друга, как любые другие люди, живущие в тех же стенах. Но следит ли каждый из них за другим, всегда подозревая его в сокрытии

чего-то очень важного; но всегда ли каждый готов отразить любой удар другого, чтобы ни в коем случае не быть застигнутым врасплох; но что дал бы один, чтоб узнать, сколь много знает другой, – все это до поры до времени таится в их сердцах.

Глава XIII
Повесть Эстер

Не раз мы обсуждали вопрос, – сначала без мистера Джарндиса, как он и просил, потом вместе с ним, – какую карьеру должен избрать себе Ричард, но не скоро пришли к решению. Ричард говорил, что он готов взяться за что угодно. Когда мистер Джарндис заметил как-то, что Ричард, пожалуй, уже вышел из возраста, в котором поступают во флот, юноша сказал, что тоже так думает, – пожалуй, и вправду вышел. Когда мистер Джарндис спросил его, не хочет ли он поступить в армию, Ричард ответил, что подумывал об этом и это было бы неплохо. Когда же мистер Джарндис посоветовал ему хорошенько разобраться в себе самом и решить, является ли его давняя тяга к морю простым ребяческим увлечением или настоящей любовью, Ричард сказал, что очень часто пытался это решить, но так и не смог.

– Не знаю, потому ли он сделался столь нерешительным, – сказал мне как-то мистер Джарндис, – что с самого своего рождения попал в такую обстановку, где, как ни странно, все всегда откладывалось в долгий ящик, все было неясно и неопределенно, но что Канцлерский суд, в придачу к прочим своим грехам, частично виновен в его нерешительности, это я вижу. Влияние суда породило или укрепило в

Ричарде привычку всегда все откладывать со дня на день, все оставлять нерешенным, неопределенным, запутанным, надеясь, что произойдет то, или другое, или третье, а что именно – мальчик и сам себе не представляет. Даже у менее юных и более уравновешенных людей характер может измениться под влиянием обстановки, так что же говорить о Ричарде? Можно ли ожидать, чтобы юноше с еще не сложившимся характером удалось противостоять подобным влияниям, если он попал в их сферу?

Все это была правда, но позволю себе сказать вдобавок, о чем думала я сама; а думала я, что воспитание Ричарда, к величайшему сожалению, не оказало противодействия этим влияниям и не дало направления его характеру. Он проучился восемь лет в привилегированной закрытой школе и, насколько мне известно, выучился превосходно сочинять разнообразные стихи на латинском языке. Но я не слыхивала, чтобы кто-нибудь из его воспитателей попытался узнать, какие у него склонности, какие недостатки, или потрудился приспособить к его складу ума преподавание какой-либо науки! Нет, это его самого приспособили к сочинению латинских стихов, и мальчик научился сочинять их так хорошо, что, останься он в школе до своего совершеннолетия, он, я думаю, только и делал бы, что писал стихи, если бы не решил наконец завершить свое образование, позабыв, как они пишутся. Правда, латинские стихи очень красивы, очень поучительны, во многих случаях очень полезны для жизни и

даже запоминаются на всю жизнь, но я все же спрашивала себя, не лучше ли было бы для Ричарда, если бы сам он менее усердно изучал латинскую поэтику, зато кто-нибудь хоть немножко постарался бы изучить его.

Впрочем, я в этом ничего не понимаю и не знаю даже, способны ли были молодые люди Древнего Рима и Греции и вообще молодые люди любой другой страны сочинять стихи в таком количестве.

– Не имею ни малейшего представления, какую профессию мне избрать, – озабоченно говорил Ричард. – Я не хочу быть священником и это знаю твердо, а все остальное под вопросом.

– А не хочется вам пойти по стопам Кенджа? – предложил однажды мистер Джарндис.

– Не знаю; пожалуй, не очень, сэр! – ответил Ричард. – Правда, я люблю кататься на лодке. А клерки у юристов разводят свою писанину такой уймой воды… Ну и профессия!

– Может, хотите сделаться врачом? – подсказал мистер Джарндис.

– Вот это по мне, сэр! – воскликнул Ричард.

Сомневаюсь, чтобы до этой минуты ему хоть раз пришла в голову мысль о медицине.

– Вот это по мне, сэр! – повторил Ричард с величайшим энтузиазмом. – Наконец-то мы попали в точку! «Член Королевского Медицинского общества».

И никакими шутками нельзя было его разубедить, хотя

он сам весело подшучивал над собой. Он говорил, что теперь выбрал себе профессию и чем больше о ней думает, тем лучше понимает, что его судьба ясна – искусство врачевания для него самое высокое искусство. Подозревая, что он лишь потому пришел к этому выводу, что никогда не умел самостоятельно разобраться в своих способностях и, лишенный руководства, увлекался всяким новым предложением, радуясь возможности избавиться от тяжелой необходимости думать, я спрашивала себя, всегда ли сочинение стихов на латинском языке приводит к таким результатам, или Ричард – единственный в своем роде юноша.

Мистер Джарндис всячески старался вызвать его на серьезный разговор, убедительно доказывая, что нельзя обманывать себя в столь важном деле. После таких бесед Ричард ненадолго погружался в размышления, но вскоре неизменно говорил Аде и мне, что «все ясно», после чего переводил разговор на другую тему.

– Клянусь небом! – вскричал однажды мистер Бойторн, который горячо интересовался этим вопросом (впрочем, мне незачем добавлять, что он ни к чему не мог относиться равнодушно), – как отрадно видеть, что мужественный и достойный молодой джентльмен посвящает себя этой благородной профессии! Чем больше достойных людей будет заниматься ею, тем лучше будет для человечества, тем хуже – для продажных деляг и подлых шарлатанов, которые только принижают славное искусство врачевания в глазах всего

мира. Клянусь всем, что низко и презренно! – загремел мистер Бойторн. – Судовые лекари лечат до того скверно, что я предлагаю подвергнуть ноги – обе ноги – каждого члена Совета адмиралтейства сложному перелому, а всем опытным врачам запретить пользовать их под страхом ссылки на каторгу, если всю систему врачебной помощи во флоте не изменят коренным образом в течение сорока восьми часов!

– Дай им хоть неделю сроку! – сказал мистер Джарндис.

– Нет! – воскликнул мистер Бойторн непреклонно. – Ни в коем случае! Сорок восемь часов! Что касается всяких там корпораций, приходских общин, приходских советов и прочих им подобных сборищ, куда олухи с трясущимися головами сходятся, чтобы обмениваться такими речами, за которые – клянусь небом! – их следует сослать на каторжные работы, в ртутные рудники, на весь короткий остаток их мерзкого существования, хотя бы лишь для того, чтобы помешать их отвратительному английскому языку заражать язык, на котором люди говорят под солнцем, – что касается этих мерзавцев, что подло наживаются на рвении джентльменов, ищущих знания и, в награду за их неоценимые услуги, за лучшие годы их жизни и большие средства, потраченные ими на получение медицинского образования, платят медикам какие-то жалкие гроши, от каких откажется и простой клерк, – то я приказал бы свернуть шею всем этим подлецам, а черепа их выставить в Медицинской коллегии на обзор всему медицинскому миру так, чтобы младшие его представители уже

в юности могли определить посредством точных измерений, какими толстыми могут стать черепа!

Он закончил эту неистовую декларацию, оглядев всех нас с приятнейшей улыбкой, и внезапно загрохотал: «Ха-ха-ха!» – и хохотал так долго, что всякий другой на его месте изнемог бы от напряжения.

Мистер Джарндис несколько раз давал Ричарду сроки на размышление, но после того как они истекали, Ричард продолжал утверждать, что не намерен отказываться от сделанного выбора и все с тем же решительным видом уверял Аду и меня, что «все ясно»; поэтому мы надумали вызвать на совет мистера Кенджа. И вот как-то раз мистер Кендж приехал к нам обедать и уж, конечно, откидывался на спинку кресла, вертел и перевертывал свои очки, говорил звучным голосом и вообще держал себя совершенно так же, как в те времена, когда я была еще девочкой.

– А! – говорил мистер Кендж. – Да. Прекрасно! Отменная профессия, мистер Джарндис… отменная профессия.

– Но теоретическая и практическая подготовка к этой профессии требует усердия, – заметил мой опекун, бросив взгляд на Ричарда.

– Без сомнения, – согласился мистер Кендж. – Именно усердия.

– Впрочем, усердие более или менее необходимо для достижения любой цели, если она чего-нибудь стоит, – заметил мистер Джарндис, – и это вовсе не какое-то особое условие,

которого можно избежать, сделав иной выбор.

– Совершенно верно! – подтвердил мистер Кендж. – И мистер Ричард Карстон, столь достойным образом проявивший себя в… скажем… в области изучения классиков, под сенью коих прошла его юность, вступая теперь на более практическое поприще, бесспорно, найдет применение если не теории и практике сочинения стихов, то хотя бы навыкам, приобретенным в занятиях латинским языком – тем самым языком, на котором было сказано, что поэтом (если я не ошибаюсь) нужно родиться, но сделаться им нельзя.

– Можете на меня положиться, – недолго думая, отозвался Ричард, – дайте мне только взяться за ученье, и я сделаю все, что в моих силах.

– Прекрасно, мистер Джарндис, – сказал мистер Кендж, слегка кивнув. – Если мистер Ричард заверил нас, что, начав ученье, он сделает все, что в его силах, – повторяя эти слова, мистер Кендж сочувственно и ласково кивал головой, – то, мне кажется, нам остается только решить, как достигнуть цели его стремлений наиболее разумным образом. Далее, поскольку мистера Ричарда придется отдать в ученье к достаточно опытному практикующему врачу… у вас есть на примете такой врач?

– Как будто нет, Рик? – осведомился опекун.

– Никого нет, сэр, – ответил Ричард.

– Так! – отозвался мистер Кендж. – Ну, а что касается медицинской специальности… тут у вас имеется какое-нибудь

предпочтение?

– Н-нет, – проговорил Ричард.

– Так-так! – заметил мистер Кендж.

– Мне хотелось бы разнообразия в занятиях, – объяснил Ричард, – то есть широкого поля деятельности.

– Бесспорно, это весьма желательно, – согласился мистер Кендж. – Мне кажется, это легко устроить, не правда ли, мистер Джарндис? Нам придется только, во-первых, найти достаточно опытного врача; а едва мы объявим о нашем желании, – и нужно ли добавлять? – о нашей возможности платить за преподавание, у нас останется лишь одна трудность – выбрать одного из многих. Во-вторых, нам придется только соблюсти те небольшие формальности, которые обусловлены нашим возрастом и нашим состоянием под опекой Канцлерского суда. И тогда мы быстро, – выражаясь в непринужденном стиле самого мистера Ричарда, – возьмемся за ученье и будем заниматься сколько нашей душе угодно. Какое совпадение, – продолжал мистер Кендж, улыбаясь с легким оттенком меланхолии, – одно из тех совпадений, объяснить которые мы можем, – или не можем при наших теперешних ограниченных способностях, – но у меня есть родственник – врач. Возможно, вы найдете его подходящим, а он, возможно, согласится принять ваше предложение. Конечно, я так же не могу ручаться за него, как и за вас, но возможно, что он согласится!

Это было разумное предложение, и мы попросили ми-

стера Кенджа, чтобы он переговорил со своим родственником. Мистер Джарндис еще раньше собирался увезти нас в Лондон на несколько недель, поэтому мы на другой же день решили выехать как можно скорее, чтобы наладить дела Ричарда.

Неделю спустя мистер Бойторн от нас уехал, а мы поселились в уютной квартире близ улицы Оксфорд-стрит, над лавкой одного обойщика. Лондон поразил нас, как чудо, и мы целыми часами осматривали его достопримечательности, но запас их был так неистощим, что силы наши грозили иссякнуть раньше, чем мы успеем все осмотреть. Мы с величайшим наслаждением бывали во всех лучших театрах и смотрели все пьесы, которые стоило видеть. Я упоминаю об этом потому, что именно в театре мне опять начал досаждать мистер Гаппи.

Как-то раз, на вечернем спектакле, когда мы с Адой сидели у барьера ложи, а Ричард занимал свое любимое место – за креслом Ады, я случайно бросила взгляд на задние ряды партера и увидела мистера Гаппи – его прилизанные волосы, омраченное скорбью лицо и глаза, устремленные вверх, на меня. В течение всего спектакля я чувствовала, что мистер Гаппи не смотрит на актеров, но не отрывает глаз от меня – и все с тем же деланым выражением глубочайшего страдания и самого безнадежного уныния.

Его поведение испортило мне весь вечер – так оно было нелепо и стеснительно. И с тех пор всякий раз, как мы были в

театре, я видела в задних рядах партера мистера Гаппи – его неизменно прямые, прилизанные волосы, упавший на плечи воротничок рубашки и совершенно расслабленную фигуру. Если его не было видно, когда мы входили в зрительный зал, я, воспрянув духом, начинала надеяться, что он не придет, и все свое внимание отдавала пьесе, но – ненадолго, ибо рано или поздно встречала его томный взор, когда никак этого не ждала, и с той минуты не сомневалась, что мистер Гаппи ни разу за весь вечер не отведет от меня глаз.

Не могу выразить, как это меня стесняло. Трудно было бы им любоваться, даже если б он взбил свою шевелюру и поправил воротничок рубашки, но, зная, что на меня все с тем же подчеркнуто страдальческим лицом уставился человек столь нелепого вида, я чувствовала себя так неловко, что могла только смотреть на сцену, но не могла ни смеяться, ни плакать, ни двигаться, ни разговаривать. Кажется, я ничего не могла делать естественно. Избежать внимания мистера Гаппи, удалившись в аванложу, я тоже не могла, так как догадывалась, что Ричард и Ада хотят, чтобы я оставалась рядом с ними, зная, что им не удастся разговаривать непринужденно, если мое место займет кто-нибудь другой. Поэтому я сидела с ними, не зная, куда девать глаза, – ведь я не сомневалась, что, куда бы я ни взглянула, взор мистера Гаппи последует за мной, – и была не в силах отвязаться от мысли, что молодой человек тратит из-за меня уйму денег.

Иной раз я подумывала: а не сказать ли обо всем этом ми-

стеру Джарндису? Но боялась, как бы молодой человек не потерял места и не испортил себе карьеры.

Иной раз подумывала – а не довериться ли мне Ричарду; но терялась при мысли, что он, чего доброго, подерется с мистером Гаппи и наставит ему синяков под глазами. То я думала – не посмотреть ли мне на него, нахмурив брови и покачав головой? Но чувствовала, что не в силах. То решалась написать его матери, но потом убеждала себя, что, начав переписку, только поставлю себя в еще более неприятное положение. И всякий раз я приходила к выводу, что ничего сделать нельзя. Все это время мистер Гаппи с упорством, достойным лучшего применения, не только появлялся решительно на всех спектаклях, которые мы смотрели, но стоял в толпе, когда мы выходили из театра и даже – как я видела раза два-три – прицеплялся сзади к нашему экипажу с риском напороться на громадные гвозди. Когда мы приезжали домой, он уже торчал у столба для афиш против нашей квартиры. Обойщик, у которого мы поселились, жил на углу, а столб стоял против окон моей спальни, и я, поднявшись к себе в комнату, не смела подойти к окну из боязни увидеть мистера Гаппи (как я и видела его однажды в лунную ночь) прислонившимся к столбу и явно рискующим простудиться. Если бы мистер Гаппи, к счастью для меня, не был занят днем, мне не было бы от него покоя.

Предаваясь этим развлечениям, в которых мистер Гаппи принимал участие столь странным образом, мы не забыва-

ли и о деле, ради которого приехали в город. Родственником мистера Кенджа оказался некий мистер Бейхем Беджер, который имел хорошую практику в Челси и, кроме того, работал в крупной общественной больнице. Он охотно согласился взять к себе Ричарда и руководить его занятиями, для которых, по-видимому, мог создать благоприятную обстановку; и так как мистеру Беджеру понравился Ричард, а Ричард сказал, что мистер Беджер понравился ему «в достаточной степени», то сделка была заключена, разрешение лорд-канцлера получено, и все устроилось.

В тот день, когда Ричард и мистер Беджер договорились, нас всех пригласили отобедать у мистера Беджера. Нам предстояло провести «чисто семейный вечер», как было сказано в письменном приглашении миссис Беджер, и в доме ее не оказалось других дам, кроме самой хозяйки. Она сидела в гостиной, окруженная разнообразными предметами, по которым можно было догадаться, что она немножко пишет красками, немножко играет на рояле, немножко – на гитаре, немножко – на арфе, немножко поет, немножко вышивает, немножко читает, немножко пишет стихи и немножко занимается ботаникой. Это была женщина лет пятидесяти, с прекрасным цветом лица, одетая не по возрасту молодо. Если к небольшому списку ее занятий я добавлю, что она немножко румянилась, то – вовсе не для того, чтобы ее осудить.

Сам мистер Бейхем Беджер, краснощекий, бодрый джентльмен со свежим лицом, тонким голосом, белыми зу-

бами, светлыми волосами и удивленными глазами, был, вероятно, на несколько лет моложе миссис Бейхем Беджер. Он от души восхищался женой, но, как ни странно, прежде всего и преимущественно тем (как нам показалось), что она трижды выходила замуж. Едва мы успели сесть, как он торжествующе сообщил мистеру Джарндису:

– Вы, наверное, и не подозреваете, что я у миссис Бейхем Беджер третий муж!

– В самом деле? – промолвил мистер Джарндис.

– Третий! – повторил мистер Беджер. – Не правда ли, мисс Саммерсон, миссис Беджер не похожа на даму, у которой уже было двое мужей?

– Нисколько, – согласилась я.

– И оба в высшей степени замечательные люди! – проговорил мистер Беджер конфиденциальным тоном. – Первый муж миссис Беджер – капитан Суоссер, моряк королевского флота, был выдающимся офицером. Профессор Динго, мой ближайший предшественник, прославился на всю Европу.

Миссис Беджер случайно услышала его слова и улыбнулась.

– Да, дорогая, – ответил мистер Беджер на ее улыбку, – я сейчас говорил мистеру Джарндису и мисс Саммерсон, что у тебя уже было двое мужей – весьма выдающихся, и наши гости нашли, как и все вообще находят, что этому трудно поверить.

– Мне было всего двадцать лет, – начала миссис Беджер, –

когда я вышла замуж за капитана Суоссера, офицера королевского флота. Я плавала с ним по Средиземному морю и сделалась прямо-таки заправским моряком. В двенадцатую годовщину нашей свадьбы я стала женой профессора Динго.

– Прославился на всю Европу, – вставил мистер Беджер вполголоса.

– А когда на мне женился мистер Беджер, – продолжала миссис Беджер, – мы венчались в тот же самый месяц и число. Я уже успела полюбить этот день.

– Итак, миссис Беджер выходила замуж трижды, причем двое ее мужей были в высшей степени выдающимися людьми, – проговорил мистер Беджер, суммируя факты, – и каждый раз она венчалась двадцать первого марта, в одиннадцать часов утра!

Мы все выразили свое восхищение этим обстоятельством.

– Если бы не скромность мистера Беджера, – заметил мистер Джарндис, – я позволил бы себе поправить его, назвав выдающимися людьми всех троих мужей его супруги.

– Благодарю вас, мистер Джарндис. Я всегда ему это говорю, – промолвила миссис Беджер.

– А я, дорогая, что я тебе всегда говорю? – осведомился мистер Беджер. – Что, не стараясь притворно умалять те профессиональные успехи, которых я, быть может, достиг (и оценить которые нашему другу, мистеру Карстону, представится немало случаев), я не столь глуп – о нет! – добавил мистер Беджер, обращаясь ко всем нам вместе, – и не

столь самонадеян, чтобы ставить свою собственную репутацию на одну доску с репутацией таких замечательных людей, как капитан Суоссер и профессор Динго. Быть может, мистер Джарндис, – продолжал мистер Бейхем Беджер, пригласив нас пройти в гостиную, – вам будет интересно взглянуть на этот портрет капитана Суоссера. Он был написан, когда капитан вернулся домой с одной африканской базы, где страдал от тамошней лихорадки. Миссис Беджер находит, что на этом портрете он слишком желт. Но все-таки это красавец мужчина. Прямо красавец!

Мы все повторили, как эхо:

– Красавец!

– Когда я смотрю на него, – продолжал мистер Беджер, – я думаю: как жаль, что я с ним не был знаком! И это, бесспорно, доказывает, каким исключительным человеком был капитан Суоссер. С другой стороны – профессор Динго. Этого я знал хорошо – лечил его во время его последней болезни… разительное сходство! Над роялем портрет миссис Бейхем Беджер в бытность ее миссис Суоссер. Над диваном – портрет миссис Бейхем Беджер в бытность ее миссис Динго. Что касается миссис Бейхем Беджер в теперешний период ее жизни, то я обладаю оригиналом, но копии у меня нет.

Доложили, что обед подан, и мы спустились в столовую. Обед был весьма изысканный и очень красиво сервированный. Но капитан и профессор все еще не выходили из головы у мистера Беджера, и, так как нам с Адой досталась честь си-

деть рядом с хозяином, он потчевал нас ими очень усердно.

– Вам воды, мисс Саммерсон? Позвольте мне! Нет, простите, только не в этот стакан. Джеймс, принесите бокальчик профессора!

Ада восхищалась искусственными цветами, стоявшими под стеклянным колпаком.

– Удивительно, как они сохранились! – сказал мистер Беджер. – Миссис Бейхем Беджер получила их в подарок, когда была на Средиземном море.

Он протянул было мистеру Джарндису бутылку красного вина.

– Не то вино! – вдруг спохватился он. – Прошу извинения! Сегодня у нас исключительный случай, а в исключительных случаях я угощаю гостей совершенно необычайным бордо (Джеймс, вино капитана Суоссера!). Мистер Джарндис, капитан привез в Англию это вино, – не будем говорить, сколько лет тому назад. Вы такого вина не пивали. Дорогая, я буду счастлив выпить с тобой этого вина. (Джеймс, налейте бордо капитана Суоссера вашей хозяйке!) Твое здоровье, любовь моя!

Когда мы, дамы, удалились после обеда, нам пришлось забрать с собой и первого и второго мужа миссис Беджер. В гостиной миссис Беджер набросала нам краткий биографический очерк добрачной жизни и деятельности капитана Суоссера, а затем сделала более подробный доклад о нем, начиная с того момента, как он влюбился в нее на балу, который

давали на борту «Разящего» офицеры этого корабля, стоявшего тогда в Плимутской гавани.

– Ах, этот старый милый «Разящий»! – говорила миссис Беджер, покачивая головой. – Вот был великолепный корабль! Нарядный, блестяще оснащенный, прямо «высший класс», по словам капитана Суоссера. Извините меня, если я случайно употреблю флотское выражение, – ведь я когда-то была заправским моряком. Капитан Суоссер обожал это судно из-за меня. Когда оно уже больше не годилось для плавания, он частенько говаривал, что, будь он богат, он купил бы его старый остов и велел бы сделать надпись на шканцах, там, где мы стояли с ним во время бала, чтобы отметить то место, где он пал, испепеленный с носа и до кормы (как выражался капитан Суоссер) моими марсовыми огнями. Так он по-своему, по-флотски, называл мои глаза.

Миссис Беджер покачала головой, вздохнула и посмотрелась в зеркало.

– Профессор Динго сильно отличался от капитана Суоссера, – продолжала она с жалобной улыбкой. – Вначале я это чувствовала очень остро. Полнейший переворот во всем моем образе жизни! Но время и наука – в особенности наука – помогли мне свыкнуться и с ним. Я была единственной спутницей профессора в его ботанических экскурсиях, так что почти забыла, что когда-то плавала по морям, и сделалась заправским ученым. Замечательно, что профессор был полной противоположностью капитана Суоссера, а мистер Бе-

джер ничуть не похож ни на того, ни на другого!

Затем мы перешли к повествованию о кончине капитана Суоссера и профессора Динго, – оба они, видимо, страдали тяжкими болезнями. Рассказывая об этом, миссис Беджер призналась, что только раз в жизни была безумно влюблена и предметом этой пылкой страсти, неповторимой по свежести энтузиазма, был капитан Суоссер. Потом настал черед профессора, и он самым грустным образом начал постепенно умирать, – миссис Беджер только что стала передразнивать, как он, бывало, с трудом выговаривал: «Где Лора? Пусть Лора принесет мне сухарной водицы», – как в гостиную пришли джентльмены, и он сошел в могилу.

В тот вечер, и вообще за последнее время, я видела, что Ада и Ричард все больше стараются быть вместе, да и немудрено – ведь им так скоро предстояло расстаться. Поэтому, когда мы с Адой, вернувшись домой, поднялись к себе наверх, я не очень удивилась, заметив, что она молчаливее, чем всегда, но уж никак не ожидала, что она внезапно бросится в мои объятия и спрячет лицо на моей груди.

– Милая моя Эстер, – шептала Ада, – я хочу открыть тебе одну важную тайну!

Конечно, прелесть моя, «тайну», да еще какую!

– Что же это такое, Ада?

– Ах, Эстер, ты ни за что не догадаешься.

– А если постараюсь? – сказала я.

– Нет-нет! Не надо! Пожалуйста, не надо! – воскликнула

Ада, испуганная одной лишь мыслью о том, что я могу догадаться.

– Не представляю себе, что это может быть? – сказала я, притворяясь, что раздумываю.

– Это… – прошептала Ада, – это – насчет кузена Ричарда!

– Ну, родная моя, – сказала я, целуя ее золотистые волосы (лица ее я не видела), – что же ты о нем скажешь?

– Ах, Эстер, ты ни за что не угадаешь!

Так приятно было, что она прильнула ко мне, спрятав лицо; так приятно было знать, что плачет она не от горя, а от сверкающей радости, гордости и надежды, – даже не хотелось сразу же помочь ей признаться.

– Он говорит… Я знаю, это очень глупо, ведь мы так молоды… но он говорит, – и она залилась слезами, – что он нежно любит меня, Эстер.

– В самом деле? – сказала я. – Как странно!.. Но, душенька моя, я сама могла бы сказать это тебе давным-давно!

Ада в радостном изумлении подняла свое прелестное личико, обвила руками мою шею, рассмеялась, расплакалась, покраснела, снова рассмеялась, – и все это было так чудесно!

– Но, милая моя, – сказала я, – ты, должно быть, считаешь меня совсем дурочкой! Твой кузен Ричард любит тебя я уж и не помню сколько времени и ничуть этого не скрывает!

– Так почему же ты мне ни слова про это не сказала?! – воскликнула Ада, целуя меня.

– Как можно, милая моя! – проговорила я. – Я ждала, что-

бы ты мне призналась сама.

– Но раз уж я тебе сейчас призналась, ты не думаешь, что это дурно, нет? – спросила Ада.

Будь я самой жестокосердной дуэньей в мире, я и то не устояла бы против ее ласковой мольбы и сказала бы «нет». Но я еще не сделалась дуэньей и сказала «нет» с легким сердцем.

– А теперь, – промолвила я, – я знаю самое страшное.

– Нет, это – еще не самое страшное, милая Эстер! – вскричала Ада, еще крепче прижимаясь ко мне и снова пряча лицо у меня на груди.

– Разве? – сказала я. – Разве может быть что-нибудь страшнее?

– Может! – ответила Ада, качая головой.

– Неужели ты хочешь сказать, что… – начала я шутливо. Но Ада подняла глаза и, улыбаясь сквозь слезы, воскликнула:

– Да, люблю! Ты знаешь, ты знаешь, что да! – И, всхлипывая, пролепетала: – Люблю всем сердцем! Всем моим сердцем, Эстер!

Я со смехом сказала ей, что знала об этом так же хорошо, как и о любви Ричарда. И вот мы уселись перед камином, и некоторое время (хоть и недолго) я говорила одна; и вскоре Ада успокоилась и развеселилась.

– А как ты думаешь, милая моя Хлопотунья, кузен Джон знает? – спросила она.

– Если кузен Джон не слепой, душенька моя, надо думать, кузен Джон знает ничуть не меньше нас, – ответила я.

– Мы хотим поговорить с ним до отъезда Ричарда, – робко промолвила Ада, – и еще хотим посоветоваться с тобой и попросить тебя сказать ему все. Ты не против того, чтобы Ричард вошел сюда, милая моя Хлопотунья?

– Вот как! Значит, Ричард здесь, милочка моя? – спросила я.

– Я в этом не уверена, – ответила Ада с застенчивой наивностью, которая завоевала бы мое сердце, если б оно давно уже не было завоевано, – но мне кажется, он ждет за дверью.

Разумеется, так оно и оказалось. Они притащили кресла и поставили их по обе стороны моего, а меня посадили в середине, и вид у них был такой, словно они влюбились не друг в друга, а в меня, – так они были доверчивы, откровенны и ласковы со мной. Некоторое время они ворковали, перескакивая с одной темы на другую, а я их не прерывала, – я сама наслаждалась этим, – затем мы постепенно начали говорить о том, что они молоды, и должно пройти несколько лет, прежде чем эта ранняя любовь приведет к чему-нибудь определенному, ибо она только в том случае приведет к счастью, если окажется настоящей и верной и внушит им твердое решение исполнять свой долг по отношению друг к другу, – исполнять преданно, стойко, постоянно – так, чтобы каждый жил для другого. Ну что ж! Ричард сказал, что пойдет на все для Ады, Ада же сказала, что пойдет на все для Ричарда, по-

том они стали называть меня всякими ласковыми и нежными именами, и мы до полуночи просидели за разговором. В конце концов, уже на прощанье, я обещала им завтра же поговорить с кузеном Джоном.

Итак, наутро я пошла после завтрака к опекуну в ту комнату, которая в городе заменяла нам Брюзжальню, и сказала, что меня попросили кое-что сообщить ему.

– Если вы согласились, Хозяюшка, – отозвался он, закрывая книгу, – значит, в этом не может быть ничего дурного.

– Надеюсь, что так, опекун, – сказала я. – Это не тайна, могу вас уверить, но мне ее рассказали только вчера.

– Да? Что же это такое, Эстер?

– Опекун, – начала я, – вы, помните тот радостный вечер, когда мы впервые приехали в Холодный дом и Ада пела в полутемной комнате?

Мне хотелось напомнить ему, какой взгляд бросил он на меня в тот вечер. И, пожалуй, мне это удалось.

– Так вот… – начала было я снова, но запнулась.

– Да, моя милая, – проговорил он. – Не торопитесь.

– Так вот, – повторила я, – Ада и Ричард полюбили друг друга и объяснились.

– Уже! – вскричал опекун в полном изумлении.

– Да! – подтвердила я. – И, сказать вам правду, опекун, я, пожалуй, ожидала этого.

– Надо полагать! – воскликнул он.

Минуты две он сидел задумавшись, с прекрасной и такой

доброй улыбкой на изменчивом лице, потом попросил меня передать Аде и Ричарду, что хочет их видеть. Когда они пришли, он отечески обнял Аду одной рукой и с ласковой серьезностью обратился к Ричарду.

– Рик, – начал мистер Джарндис, – я рад, что завоевал ваше доверие. Надеюсь сохранить его и впредь. Когда я думал об отношениях, которые завязались между нами четырьмя и так украсили мою жизнь, наделив ее столькими новыми интересами и радостями, я, конечно, подумывал о том, что вы и ваша прелестная кузина (не смущайтесь, Ада, не смущайтесь, милая!) в будущем, возможно, решите пройти свой жизненный путь вместе. Я по многим причинам считал и считаю это желательным. Но не теперь, а в будущем, Рик, в будущем!

– И мы думаем, что в будущем, сэр, – ответил Ричард.

– Прекрасно! – сказал мистер Джарндис. – Это разумно. А теперь выслушайте меня, дорогие мои! Я мог бы сказать вам, что вы еще хорошенько не знаете самих себя и может произойти многое такое, что заставит вас разойтись, а цепь из цветов, которой вы себя связали, к счастью, очень легко порвать раньше, чем она превратится в цепь из свинца. Но этого я не скажу. Такого рода мудрость вскоре сама придет к вам, если только ей суждено прийти. Допустим, что вы и в ближайшие годы будете относиться друг к другу так же, как сегодня. Я хочу поговорить с вами и об этом, но сначала отмечу одно: если вы все-таки изменитесь, если, сделавшись

зрелыми людьми, вы поймете, что ваши отношения не те, какими они были в ту пору, когда вы были еще мальчиком и девочкой (простите, что я называю вас мальчиком, Рик!), но перешли в простые родственные отношения, не стесняйтесь признаться в этом мне, ибо тут не будет ничего страшного и ничего исключительного. Я всего только друг ваш и дальний родственник. Я не имею никакого права распоряжаться вашей судьбой. Но я хочу и надеюсь сохранить ваше доверие, если сам ничем его не подорву.

– Я считаю, сэр, и Ада тоже, конечно, – отозвался Ричард, – что вы имеете полное право распоряжаться нами, и право это зиждется на нашем уважении, благодарности и любви и крепнет с каждым днем.

– Милый кузен Джон, – проговорила Ада, склонив голову к нему на плечо, – отныне вы замените мне отца. Всю любовь, всю преданность, которые я могла бы отдать ему, я теперь отдаю вам.

– Ну, полно, полно! – остановил ее мистер Джарндис. – Значит, допустим, что ваши отношения не изменятся. С надеждою бросим взгляд на отдаленное будущее. Рик, у вас вся жизнь впереди, и она, конечно, примет вас так, как вы сами в нее войдете. Надейтесь только на провидение и на свой труд. Не отделяйте одного от другого, как это сделал возница-язычник. Постоянство в любви прекрасно, но оно не имеет никакого значения, оно ничто без постоянства в любом труде. Будь вы даже одарены талантами всех великих людей

древности и современности, вы ничего не сможете делать как следует, если твердо не решите трудиться и не выполните своего решения. Если вы думаете, что когда-нибудь было или будет возможно достигнуть подлинного успеха в больших делах или малых, вырывая его у судьбы, то есть без длительных усилий, а лихорадочными порывами, оставьте это заблуждение или оставьте Аду.

– Я оставлю это заблуждение, сэр, – ответил Ричард с улыбкой, – если только пришел с ним сюда (но, к счастью, кажется, нет), и трудом проложу свой путь к кузине Аде, в то будущее, что сулит нам счастье.

– Правильно! – сказал мистер Джарндис. – Если вы не можете сделать ее счастливой, вы не должны ее добиваться.

– Я не мог бы сделать ее несчастной… нет, даже ради того, чтоб она меня полюбила, – гордо возразил Ричард.

– Хорошо сказано! – воскликнул мистер Джарндис. – Это хорошо сказано! Она будет жить у меня, в родном для нее доме. Любите ее, Рик, в своей трудовой жизни не меньше, чем здесь, дома, когда будете ее навещать, и все пойдет хорошо. Иначе все пойдет плохо. Вот и вся моя проповедь. А теперь пойдите-ка вы с Адой погулять.

Ада нежно обняла опекуна. Ричард горячо пожал ему руку, и влюбленные направились к выходу, но на пороге оглянулись и сказали, что не уйдут гулять одни, а подождут меня.

Дверь осталась открытой, и мы следили за ними глазами, пока они не вышли через другую дверь из залитой солнеч-

ным светом соседней комнаты. Ричард шел, склонив голову, под руку с Адой и говорил ей что-то очень серьезным тоном, а она смотрела снизу вверх ему в лицо, слушала и, казалось, ничего больше не видела. Такие юные, прекрасные, окрыленные надеждами и взаимными обещаниями, они шли, озаренные лучами солнца, так же легко, как, вероятно, мысли их летели над вереницей грядущих лет, превращая их в сплошное сияние. Так перешли они в полосу тени, а потом исчезли. Это была только вспышка света, но такого яркого. Как только они ушли, солнце покрылось облаками и вся комната потемнела.

– Прав ли я, Эстер? – спросил опекун, когда они скрылись из виду.

Подумать только, что он, такой добрый и мудрый, спрашивал *меня*, прав ли он!

– Возможно, что Рик, полюбив, приобретет те качества, которых ему недостает… недостает, несмотря на столько достоинств! – промолвил мистер Джарндис, качая головой. – Аде я ничего не сказал, Эстер. Ее подруга и советчица всегда рядом с нею. – И он ласково положил руку мне на голову.

Как я ни старалась, я не могла скрыть своего волнения.

– Полно! Полно! – успокаивал он меня. – Но нам надо позаботиться и о том, чтобы жизнь нашей милой Хлопотуньи не целиком ушла на заботы о других.

– Какие заботы? Дорогой опекун, да счастливей меня нет никого на свете!

– И я так думаю, – сказал он. – Но, возможно, кто-нибудь поймет то, чего сама Эстер никогда не захочет понять, – поймет, что прежде всего надо помнить о нашей Хозяюшке!

Я забыла своевременно упомянуть, что на сегодняшнем семейном обеде было еще одно лицо. Не леди. Джентльмен. Смуглый джентльмен… молодой врач. Он вел себя довольно сдержанно, но мне показался очень умным и приятным. Точнее, Ада спросила, не кажется ли мне, что он приятный умный человек, и я сказала «да».

Глава XIV
Хороший тон

На другой день вечером Ричард расстался с нами, чтобы приступить к своим новым занятиям, и оставил Аду на мое попечение с чувством глубокой любви к ней и глубокого доверия ко мне. В те дни я всегда волновалась при мысли, а теперь (зная, о чем мне предстоит рассказать) еще больше волнуюсь при воспоминании о том, как много они думали обо мне даже в те дни, когда были так поглощены друг другом. Они включили меня во все свои планы на настоящее и будущее. Я обещала посылать Ричарду раз в неделю точный отчет о жизни Ады, а она обещала писать ему через день. Ричард же сказал мне, что я от него самого буду узнавать обо всех его трудах и успехах; что увижу, каким он сделается решительным и стойким; что буду подружкой Ады на их свадьбе, а когда они поженятся, буду жить вместе с ними, буду вести их домашнее хозяйство и они сделают меня счастливой навсегда и на всю мою жизнь.

– *Если бы* только наша тяжба сделала нас богатыми, Эстер… а ведь вы знаете, это может случиться! – сказал Ричард, должно быть желая увенчать этой мечтой свои радужные надежды.

По лицу Ады пробежала легкая тень.

– Ада, любимая моя, почему бы и нет? – спросил ее Ричард.

– Лучше уж пусть она теперь же объявит нас нищими.

– Ну, не знаю, – возразил Ричард, – так или иначе, она ничего не объявит теперь. Бог знает сколько лет прошло с тех пор, как она перестала что-либо объявлять.

– К сожалению, это верно, – согласилась Ада.

– Да, но чем дольше она тянется, дорогая кузина, тем ближе та или иная развязка, – заметил Ричард, отвечая скорее на то, что говорил ее взгляд, чем на ее слова. – Ну, разве это не логично?

– Вам лучше знать, Ричард. Боюсь только, что, если мы станем рассчитывать на нее, она принесет нам горе.

– Но, Ада, мы вовсе не собираемся на нее рассчитывать! – весело воскликнул Ричард. – Мы же знаем, что рассчитывать на нее нельзя. Мы только говорим, что если она сделает нас богатыми, то у нас нет никаких разумных возражений против богатства. В силу торжественного законного постановления Канцлерский суд является нашим мрачным, старым опекуном, и на все, что он даст нам (если он нам что-нибудь даст), мы имеем право. Не следует отказываться от своих прав.

– Нет, – сказала Ада, – но, может быть, лучше позабыть обо всем этом.

– Ладно, ладно, позабудем! – воскликнул Ричард. – Предадим все это забвению. Хлопотунья смотрит на нас сочув-

ственно – и кончено дело!

– А вы даже и не видели сочувствующего лица Хлопотуньи, когда приписали ему такое выражение, – сказала я, выглядывая из-за ящика, в который укладывала книги Ричарда, – но она все-таки сочувствует и думает, что ничего лучшего вы сделать не можете.

Итак, Ричард сказал, что с этим покончено, но немедленно, и без всяких новых оснований, принялся строить воздушные замки, да такие, что они могли бы затмить Великую Китайскую стену. Он уехал в прекраснейшем расположении духа. А мы с Адой приготовились очень скучать по нем и снова зажили своей тихой жизнью.

Вскоре после приезда в Лондон мы вместе с мистером Джарндисом сделали визит миссис Джеллиби, но нам не посчастливилось застать ее дома. Она уехала куда-то на чаепитие, взяв с собой мисс Джеллиби. В том доме, куда она уехала, должно было состояться не только чаепитие, но и обильное словоизвержение и письмописание на тему о пользе культивирования кофе и одновременно – туземцев в колонии Бориобула-Гха. Все это, наверное, требовало такой усиленной работы пером и чернилами, что дочери миссис Джеллиби участие в этой процедуре никак не могло показаться праздничным развлечением.

Миссис Джеллиби должна была бы отдать нам визит, но срок для этого истек, а она не появлялась, поэтому мы снова отправились к ней. Она была в городе, но не дома, – сра-

зу же после первого завтрака устремилась в Майл-Энд по каким-то бориобульским делам, связанным с некиим обществом, именуемым «Восточно-Лондонским отделением отдела вспомоществования». В прошлый наш визит я не видела Пищика (его нигде не могли отыскать, и кухарка полагала, что он, должно быть, уехал куда-то в повозке мусорщика), и поэтому я теперь снова спросила о нем. Устричные раковины, из которых он строил домик, все еще валялись в коридоре, но мальчика нигде не было видно, и кухарка предположила, что он «убежал за овцами». Мы немного удивленно повторили: «За овцами?», и она объяснила:

– Ну да, в базарные дни он иной раз провожает их далеко за город и является домой бог знает в каком виде!

На следующее утро я сидела с опекуном у окна, а моя Ада писала письмо (конечно, Ричарду), когда нам доложили о приходе мисс Джеллиби, и вот она вошла, держа за руку Пищика, которого, видимо, попыталась привести в приличный вид, а сделала это так: втерла грязь в ямочки на его щеках и ручонках и, хорошенько смочив ему волосы, круто завила их, – намотав пряди на собственные пальцы. Вся одежда на бедном малыше была ему не по росту – либо широка, либо узка. В числе прочих разнокалиберных принадлежностей туалета на него напялили шляпу, вроде тех, какие носят епископы, и рукавички для грудного младенца. Башмаки у Пищика смахивали на сапоги пахарей, только были поменьше, а голые ножонки – густо испещренные царапинами вдоль

и поперек, они напоминали сетку меридианов и параллелей на географических картах – торчали из слишком коротких клетчатых штанишек, края которых были обшиты неодинаковыми оборками: на одной штанине одного фасона, на другой – другого. Недостающие застежки на его клетчатом платьице были заменены медными пуговицами, вероятно споротыми с сюртука мистера Джеллиби, – так ярко они были начищены и так несоразмерно велики. Самые необыкновенные образцы дамского рукоделья красовались на его костюме в тех нескольких местах, где он был наспех починен, а платье самой мисс Джеллиби, как я сразу же догадалась, было заштопано той же рукой. Сама Кедди, однако, почему-то изменилась к лучшему, и мы нашли ее прехорошенькой. Она, по-видимому, сознавала, что, несмотря на все ее старания, бедный маленький Пищик выглядит каким-то чучелом, и, как только вошла, взглянула сначала на него, потом на нас.

– О господи! – проговорил опекун. – Опять восточный ветер, не иначе!

Мы с Адой приняли девушку ласково и познакомили ее с мистером Джарндисом, после чего она села и сказала ему:

– Привет от мамы, и она надеется, что вы извините ее, потому что она занята правкой корректуры своего проекта. Она собирается разослать пять тысяч новых циркуляров и убеждена, что вам будет интересно это узнать. Я принесла с собой циркуляр. Привет от мамы.

И, немного насупившись, она подала циркуляр опекуну.

– Благодарю вас, – сказал опекун. – Очень обязан миссис Джеллиби. О господи! Какой неприятный ветер!

Мы занялись Пищиком – сняли с него его епископскую шляпу, стали спрашивать, помнит ли он нас, и тому подобное. Сначала Пищик все закрывался рукавом, но при виде бисквитного торта осмелел – даже не стал упираться, когда я посадила его к себе на колени, а сидел смирно и жевал торт. Вскоре мистер Джарндис ушел в свою временную Брюзжальню, а мисс Джеллиби заговорила, как всегда, отрывисто.

– У нас, в Тейвис-Инне, все так же скверно, – начала она. – У меня – ни минуты покоя. А еще говорят об Африке! Хуже мне быть не может, будь я даже… как это называется?., «страдающим братом нашим!»

Я попыталась сказать ей что-то в утешение.

– Утешать меня бесполезно, мисс Саммерсон, – воскликнула она, – но все-таки благодарю вас за сочувствие. Кто-кто, а уж я-то знаю, как со мной поступают, и разубедить меня нельзя. *Вас* тоже не разубедишь, если с вами будут так поступать. Пищик, полезай под рояль, поиграй в диких зверей!

– Не хочу! – отрезал Пищик.

– Ну, погоди, неблагодарный, злой, бессердечный мальчишка! – упрекнула его мисс Джеллиби со слезами на глазах. – Никогда больше не буду стараться тебя наряжать.

– Ладно, Кедди, я пойду! – вскричал Пищик; он, право же, был очень милый ребенок и, тронутый огорченьем сестры, немедленно полез под рояль.

– Пожалуй, не стоит плакать из-за таких пустяков, – проговорила бедная мисс Джеллиби, как бы извиняясь, – но я прямо из сил выбилась. Сегодня до двух часов ночи надписывала адреса на новых циркулярах. Я так ненавижу все эти дела, что от одного этого у меня голова разбаливается, до того, что прямо глаза не глядят на свет божий. Посмотрите на этого несчастного малыша! Ну есть ли на свете подобное пугало!

Пищик, к счастью, не ведающий о недостатках своего туалета, сидел на ковре за ножкой рояля и, уплетая торт, безмятежно смотрел на нас из своей берлоги.

– Я отослала его на другой конец комнаты, – сказала мисс Джеллиби, подвигая свой стул поближе к нам, – потому что не хочу, чтобы он слышал наш разговор. Эти крошки такие понятливые! Так вот, я хотела сказать, что все у нас сейчас так плохо, что хуже некуда. Скоро папу объявят банкротом – вот мама и получит по заслугам. Она одна во всем виновата, ее и надо благодарить.

Мы выразили надежду, что дела мистера Джеллиби не так уж плохи.

– Надеяться бесполезно, хоть это очень мило с вашей стороны, – отозвалась мисс Джеллиби, качая головой. – Не дальше как вчера утром папа (он ужасно несчастный) сказал мне, что не в силах «выдержать эту бурю». Да и немудрено, – будь он в силах, я бы очень этому удивилась. Если лавочники присылают нам на дом всякую дрянь, какую им угодно, а слу-

жанки делают с нею все, что им угодно, а мне некогда наводить порядок в хозяйстве, да я и не умею, а маме ни до чего нет дела, так может ли папа «выдержать бурю»? Скажу прямо, будь я на месте папы, я бы сбежала.

– Но, милая, – сказала я, улыбаясь, – не может же ваш папа бросить свою семью.

– Хорошенькая семья, мисс Саммерсон! – отозвалась мисс Джеллиби. – Какие радости дает она ему, эта семья? Счета, грязь, ненужные траты, шум, падения с лестниц, неурядицы и неприятности – вот все, что он видит от своей семьи. В его доме все летит кувырком, всю неделю, от первого дня до последнего, как будто у нас каждый день большая стирка, только ничего не стирают!

Мисс Джеллиби топнула ногой и вытерла слезы.

– Мне так жаль папу, – сказала она, – и я так сержусь на маму, что слов не нахожу! Однако я больше не намерена терпеть. Не хочу быть рабой всю жизнь, не хочу выходить за мистера Куэйла. Выйти за филантропа… счастье какое, подумаешь. Только *этого* не хватает! – заключила бедная мисс Джеллиби.

Признаюсь, я сама не могла не сердиться на миссис Джеллиби, когда видела и слушала эту заброшенную девушку, – ведь я знала, сколько горькой бичующей правды было в ее словах.

– Если бы мы не подружились с вами, когда вы остановились у нас, – продолжала мисс Джеллиби, – я постеснялась

бы прийти сюда сегодня, – понятно, какой нелепой я должна казаться вам обеим. Но так или иначе, я решилась прийти, и в особенности потому, что вряд ли увижу вас, когда вы опять приедете в Лондон.

Она сказала это с таким многозначительным видом, что мы с Адой переглянулись, предвидя новые признания.

– Да! – проговорила мисс Джеллиби, качая головой. – Вряд ли! Я знаю, что могу довериться вам обеим. Вы меня никогда не выдадите. Я стала невестой.

– Без ведома ваших родных? – спросила я.

– Ах, боже мой, мисс Саммерсон, – ответила она в свое оправдание немного раздраженным, но не сердитым тоном, – как же иначе? Вы знаете, что за женщина мама, а рассказывать папе я не могу – нельзя же расстраивать его еще больше.

– А не будет он еще несчастнее, если вы выйдете замуж без его ведома и согласия, дорогая? – сказала я.

– Нет, – проговорила мисс Джеллиби, смягчаясь. – Надеюсь, что нет. Я всячески буду стараться, чтобы ему было хорошо и уютно, когда он будет ходить ко мне в гости, а Пищика и остальных ребятишек я собираюсь по очереди брать к себе, и тогда за ними будет хоть какой-нибудь уход.

В бедной Кедди таились большие запасы любви. Она все больше и больше смягчалась и так расплакалась над непривычной ей картиной семейного счастья, которую создала в своем воображении, что Пищик совсем растрогался в своей

пещере под роялем и, повалившись навзничь, громко разревелся. Я поднесла его к сестре, которую он поцеловал, потом снова посадила к себе на колени, сказав: «Смотри – Кедди смеется» (она ради него заставила себя рассмеяться), – и только тогда он постепенно успокоился, но все же не раньше, чем мы разрешили ему потрогать нас всех по очереди за подбородок и погладить по щекам. Однако его душевное состояние еще недостаточно улучшилось для пребывания под роялем, поэтому мы поставили его на стул, чтобы он мог смотреть в окно, а мисс Джеллиби, придерживая его за ногу, продолжала изливать душу.

– Это началось с того дня, когда вы приехали к нам, – сказала она.

Естественно, мы спросили, как все случилось.

– Я почувствовала себя такой неуклюжей, – ответила она, – что решила исправиться хоть в этом отношении и выучиться танцевать. Я сказала маме, что мне стыдно за себя и я должна учиться танцам. А мама только скользнула по мне своим невидящим взором, который меня так раздражает; но я все-таки твердо решила выучиться танцевать и поступила в Хореографическую академию мистера Тарвидропа на Ньюмен-стрит.

– И там, дорогая… – начала я.

– Да, там, – сказала Кедди, – там я обручилась с мистером Тарвидропом. Мистеров Тарвидропов двое – отец и сын. Мой мистер Тарвидроп – это сын, конечно. Жаль только, что

я так плохо воспитана, – ведь мне хочется быть ему хорошей женой, потому что я его очень люблю.

– Должна сознаться, – промолвила я, – что мне грустно слышать все это.

– Не знаю, почему вам грустно, – сказала она с легкой тревогой, – но так или иначе, я обручилась с мистером Тарвидропом, и он меня очень любит. Пока это тайна, – даже он скрывает нашу помолвку, потому что мистер Тарвидроп-старший имеет свою долю доходов в их предприятии, и, если сообщить ему обо всем сразу, без подготовки, это, чего доброго, разобьет ему сердце или вообще как-нибудь повредит. Мистер Тарвидроп-старший – настоящий джентльмен, настоящий.

– А жена его знает обо всем? – спросила Ада.

– Жена мистера Тарвидропа-старшего, мисс Клейр? – переспросила мисс Джеллиби, широко раскрыв глаза. – У него нет жены. Он вдовец.

Тут нас прервал Пищик, – оказывается, его сестра, увлеченная разговором, сама того не замечая, то и дело дергала его за ногу, как за шнурок от звонка, и бедный мальчуган, не выдержав, уныло захныкал. Ища сочувствия, он обратился ко мне, и я, будучи только слушательницей, сама взялась придерживать его. Мисс Джеллиби, поцелуем попросив прощенья у Пищика, сказала, что дергала его не нарочно, потом продолжала рассказывать.

– Вот как обстоят дела, – говорила она. – Но если я и по-

жалею, что так поступила, все равно я буду считать, что во всем виновата мама. Мы поженимся, как только будет можно, и тогда я пойду в контору к папе и скажу ему, а маме просто напишу. Мама не расстроится; *для нее* я только перо и чернила. Одно меня утешает, и немало, – всхлипнула Кедди. – Если я выйду замуж, я никогда уже больше не услышу об Африке. Мистер Тарвидроп-младший ненавидит ее из любви ко мне, а если мистер Тарвидроп-старший и знает, что она существует, то больше он ничего о ней не знает.

– Настоящий джентльмен – это он, не правда ли? – спросила я.

– Да, он настоящий джентльмен, – сказала Кедди. – Он почти всюду славится своим хорошим тоном.

– Он тоже преподает? – спросила Ада.

– Нет, он ничего не преподает, – ответила Кедди. – Но у него замечательно хороший тон.

Затем Кедди очень застенчиво и нерешительно сказала, что хочет сообщить нам еще кое-что, так как нам следует это знать, и она надеется, что это нас не шокирует. Она подружилась с мисс Флайт, той маленькой полоумной старушкой, с которой мы познакомились в день своего первого приезда в Лондон, и нередко заходит к ней рано утром, а там встречается со своим женихом и проводит с ним несколько минут до первого завтрака – всего несколько минут.

– Я захожу к ней и в другие часы, – проговорила Кедди, – когда Принца у нее нет. Принцем зовут мистера Тар-

видропа-младшего. Мне не нравится это имя, потому что оно похоже на собачью кличку, но ведь он не сам себя окрестил. Мистер Тарвидроп-старший назвал его Принцем в память принца-регента. Мистер Тарвидроп-старший боготворил принца-регента за его хороший тон. Надеюсь, вы не осудите меня за эти коротенькие свидания у мисс Флайт, – ведь я впервые пошла к ней вместе с вами и люблю ее, бедняжку, совершенно бескорыстно, да и она, кажется, привязалась ко мне. Если бы вы увидели мистера Тарвидропа-младшего, я уверена, что он вам понравился бы… во всяком случае, уверена, что вы не подумали бы о нем дурно. А сейчас мне пора на урок. Я не решаюсь просить вас, мисс Саммерсон, пойти со мною, но если бы вы пожелали, – закончила Кедди, которая все время говорила серьезным, взволнованным тоном, – я была бы очень рада… очень.

Так совпало, что мы уже условились с опекуном навестить мисс Флайт в этот самый день. Мы давно рассказали ему о том, как однажды попали к ней, и он выслушал нас с интересом, но нам все почему-то не удавалось пойти к ней снова. Я подумала, что, быть может, сумею повлиять на мисс Джеллиби и помешать ей сделать какой-нибудь опрометчивый шаг, если соглашусь быть ее поверенной, – она так хотела этого, бедняжка, – и потому решила пойти с нею и Пищиком в Хореографическую академию, чтобы затем встретиться с опекуном и Адой у мисс Флайт, – я только сегодня узнала, как ее фамилия. Но согласилась я лишь с тем условием, чтобы

мисс Джеллиби и Пищик вернулись к нам обедать. Последний пункт соглашения был радостно принят ими обоими, и вот мы при помощи булавок, мыла, воды и щетки для волос привели Пищика в несколько более приличный вид, потом отправились на Ньюмен-стрит, которая была совсем близко.

Академия помещалась в довольно грязном доме, стоявшем в каком-то закоулке, к которому вел крытый проход, и в каждом окне ее парадной лестницы красовались гипсовые бюсты. Насколько я могла судить по табличкам на входной двери, в том же доме жили учитель рисования, торговец углем (хотя места для склада тут, конечно, не могло быть) и художник-литограф. На самой большой табличке, прибитой на самом видном месте, я прочла: «Мистер Тарвидроп». Дверь в его квартиру была открыта настежь, а передняя загромождена роялем, арфой и другими музыкальными инструментами, которые были упакованы в футляры, видимо для перевозки, и при дневном свете у них был какой-то потрепанный вид. Мисс Джеллиби сказала мне, что на прошлый вечер помещение Академии было сдано – тут устроили концерт.

Мы поднялись наверх, в квартиру мистера Тарвидропа, которая, вероятно, была очень хорошей квартирой в те времена, когда кто-то ее убирал и проветривал и когда никто не курил в ней целыми днями, и прошли в зал с верхним светом, пристроенный к конюшне извозчичьего двора. В этом зале, почти пустом и гулком, пахло, как в стойле, вдоль стен стояли тростниковые скамьи, а на стенах были нарисованы

лиры, чередующиеся через одинаковые промежутки с маленькими хрустальными бра, которые были похожи на ветки и уже разроняли часть своих старомодных подвесок, как ветви деревьев роняют листья осенью. Здесь собралось несколько учениц в возрасте от тринадцати-четырнадцати лет до двадцати двух – двадцати трех, и я уже искала среди них учителя, как вдруг Кедди схватила меня за руку и представила его:

– Мисс Саммерсон, позвольте представить вам мистера Принца Тарвидропа!

Я сделала реверанс голубоглазому миловидному молодому человеку маленького роста, на вид совсем еще мальчику, с льняными волосами, причесанными на прямой пробор и вьющимися на концах. Под мышкой левой руки у него была крошечная скрипочка (у нас в школе такие скрипки называли «кисками»), и в той же руке он держал коротенький смычок. Его бальные туфельки были совсем крохотные, а держался он так простодушно и женственно, что не только произвел на меня приятное впечатление, но, как ни странно, внушил мне мысль, что он, должно быть, весь в мать, а мать его не слишком уважали и баловали.

– Очень счастлив познакомиться с приятельницей мисс Джеллиби, – сказал он, отвесив мне низкий поклон. – А я уже побаивался, что мисс Джеллиби не придет, – добавил он с застенчивой нежностью, – сегодня она немного запоздала.

– Это я виновата, сэр, я задержала ее; вы уж меня прости-

те, – сказала я.

– О, что вы! – проговорил он.

– И, пожалуйста, – попросила я, – не прерывайте из-за меня ваших занятий.

Я отошла и села на скамью между Пищиком (он тоже здесь был завсегдатаем и уже привычно забрался в уголок) и пожилой дамой сурового вида, которая пришла сюда с двумя племянницами, учившимися танцевать, и с величайшим возмущением смотрела на башмаки Пищика. Принц Тарвидроп провел пальцами по струнам своей «киски», а ученицы стали в позицию перед началом танца. В эту минуту из боковой двери вышел мистер Тарвидроп-старший во всем блеске своего хорошего тона.

Это был тучный джентльмен средних лет с фальшивым румянцем, фальшивыми зубами, фальшивыми бакенбардами и в парике. Он носил пальто с меховым воротником, подбитое – для красоты – таким толстым слоем ваты на груди, что ей не хватало только орденской звезды или широкой голубой ленты. Телеса его были сдавлены, вдавлены, выдавлены, придавлены корсетом, насколько хватало сил терпеть. Он носил шейный платок (который завязал так туго, что глаза на лоб лезли) и так обмотал им шею, закрыв подбородок и даже уши, что, казалось, стоит этому платку развязаться, и мистер Тарвидроп весь поникнет. Он носил цилиндр огромного размера и веса, сужавшийся к полям, но сейчас держал его под мышкой и, похлопывая по нему белыми перчатка-

ми, стоял, опираясь всей тяжестью на одну ногу, высоко подняв плечи и округлив локти, – воплощение непревзойденной элегантности. Он носил тросточку, носил монокль, носил табакерку, носил перстни, носил белые манжеты, носил все, что можно было носить, но ничто в нем самом не носило отпечатка естественности; он не выглядел молодым человеком, он не выглядел пожилым человеком, он выглядел только образцом хорошего тона.

– Папенька! У нас гостья. Знакомая мисс Джеллиби, мисс Саммерсон.

– Польщен, – проговорил мистер Тарвидроп, – посещением мисс Саммерсон.

Весь перетянутый, он кланялся мне с такой натугой, что я боялась, как бы у него глаза не лопнули.

– Папенька – знаменитость, – вполголоса сказал сын, обращаясь ко мне тоном, выдававшим его трогательную веру в отца. – Папенькой восхищаются все на свете.

– Продолжайте, Принц! Продолжайте! – произнес мистер Тарвидроп, становясь спиной к камину и снисходительно помахивая перчатками. – Продолжай, сын мой!

Выслушав это приказание, а может быть, милостивое разрешение, сын продолжал урок. Принц Тарвидроп то играл на «киске» танцуя; то играл на рояле стоя; то слабым голоском – насколько хватало дыхания – напевал мелодию, поправляя позу ученицы; добросовестно проходил с неуспевающими все па и все фигуры танца и ни разу за все время не

отдохнул. Его изысканный родитель ровно ничего не делал – только стоял спиною к камину, являя собой воплощение хорошего тона.

– Вот так он всегда – бездельничает, – сказала пожилая дама сурового вида. – Однако, верите ли, на дверной табличке написана *его* фамилия!

– Но сын носит ту же фамилию, – сказала я.

– Он не позволил бы сыну носить никакой фамилии, если бы только мог отнять ее, – возразила пожилая дама. – Посмотрите, как его сын одет! – И правда, костюм у Принца был совсем простой, потертый, почти изношенный. – А папаша только и делает, что франтит да прихорашивается, – продолжала пожилая дама, – потому что у него, изволите видеть, «хороший тон». Я бы ему показала «тон»! Не худо бы сбавить ему его тон, вот что!

Мне было интересно узнать о нем побольше, и я спросила:

– Может быть, он теперь дает уроки хорошего тона?

– Теперь! – сердито повторила пожилая дама. – Никогда он никаких уроков не давал.

Немного подумав, я сказала, что, может быть, он когда-то был специалистом по фехтованию.

– Да он вовсе не умеет фехтовать, сударыня, – ответила пожилая дама.

Я посмотрела на нее с удивлением и любопытством. Пожилая дама, все более и более кипевшая гневом на «воплощение хорошего тона», рассказала мне кое-что из его жизни,

категорически утверждая, что даже смягчает правду.

Он женился на кроткой маленькой женщине, скромной учительнице танцев, дававшей довольно много уроков (сам он и до этого никогда в жизни ничего не делал – только отличался хорошим тоном), а женившись, уморил ее работой, или, в лучшем случае, позволил ей доработаться до смерти, чтобы оплачивать расходы на поддержание его репутации в свете. Стремясь рисоваться своим хорошим тоном в присутствии наиболее томных денди и вместе с тем всегда иметь их перед глазами, он считал нужным посещать все модные увеселительные места, где собиралось светское общество, во время сезона появляться в Брайтоне и на других курортах и вести праздную жизнь, одеваясь как можно шикарней. А маленькая любящая учительница танцев трудилась и старалась изо всех сил, чтобы дать ему эту возможность, и, наверное, по сию пору продолжала бы трудиться и стараться, если бы ей не изменили силы. Объяснялось все это тем, что, несмотря на всепоглощающее себялюбие мужа, жена (завороженная его хорошим тоном) верила в него до конца и на смертном одре в самых трогательных выражениях поручила его Принцу, говоря, что отец имеет неотъемлемое право рассчитывать на сына, а сын обязан всемерно превозносить и почитать отца. Сын унаследовал веру матери и, всегда имея перед глазами пример «хорошего тона», жил и вырос в этой вере, а теперь, дожив до тридцати лет, работает на отца по двенадцати часов в день и благоговейно смотрит снизу вверх

на это мнимое совершенство.

– Как он рисуется! – сказала моя собеседница и с немым возмущением покачала головой, глядя на мистера Тарвидропа-старшего, который натягивал узкие перчатки, конечно не подозревая, как его честят. – Он искренне воображает себя аристократом! Подло обманывает сына, но говорит с ним так благосклонно, что его можно принять за самого любящего из отцов. У, я бы тебя на куски растерзала! – проговорила пожилая дама, глядя на мистера Тарвидропа с беспредельным негодованием.

Мне было немножко смешно, хотя я слушала пожилую даму с искренним огорчением. Трудно было сомневаться в ее правдивости при виде отца и сына. Не знаю, как бы я отнеслась к ним, если бы не слышала ее рассказа, или как бы я отнеслась к этому рассказу, если бы не видела их сама. Но одно так соответствовало другому, что нельзя было ей не верить.

Я переводила глаза с мистера Тарвидропа-младшего, работавшего так усердно, на мистера Тарвидропа-старшего, державшего себя так изысканно, как вдруг последний мелкими шажками подошел ко мне и вмешался в мой разговор с пожилой дамой.

Прежде всего он спросил меня, оказала ли я честь и придала ли очарование Лондону, избрав его своей резиденцией. Я не нашла нужным ответить, что, как мне прекрасно известно, я ничего не могу оказать или придать этому городу, и потому просто сказала, где я живу всегда.

– Столь грациозная и благовоспитанная леди, – изрек он, поцеловав свою правую перчатку и указывая ею в сторону танцующих, – отнесется снисходительно к недостаткам этих девиц. Мы делаем все, что в наших силах, дабы навести на них лоск… лоск… лоск!

Он сел рядом со мной, стараясь, как показалось мне, принять на скамье ту позу, в какой сидит на диване его августейший образец на известном гравированном портрете. И правда, вышло очень похоже.

– Навести лоск… лоск… лоск! – повторил он, беря понюшку табаку и слегка пошевеливая пальцами. – Но мы теперь уже не те, какими были, – если только я осмелюсь сказать это особе, грациозной не только от природы, но и благодаря искусству, – он поклонился, вздернув плечи, чего, кажется, не мог сделать, не поднимая бровей и не закрывая глаз, – мы теперь уже не те, какими были раньше в отношении хорошего тона.

– Разве, сэр? – усомнилась я.

– Мы выродились, – ответил он, качая головой с большим трудом, так как шейный платок очень мешал ему. – Век, стремящийся к равенству, не благоприятствует хорошему тону. Он способствует вульгарности. Быть может, я несколько пристрастен. Пожалуй, не мне говорить, что вот уже много лет, как меня прозвали «Джентльменом Тарвидропом», или что его королевское высочество принц-регент, заметив однажды, как я снял шляпу, когда он выезжал из Павильона

в Брайтоне (прекрасное здание!), сделал мне честь осведомиться: «Кто он такой? Кто он такой, черт подери? Почему я с ним не знаком? Надо б ему платить тридцать тысяч в год!» Впрочем, все это пустяки, анекдоты… Однако они получили широкое распространение, сударыня… их до сих пор иногда повторяют в высшем свете.

– В самом деле? – сказала я.

Он ответил поклоном и высоко вздернул плечи.

– В высшем свете, – добавил он, – где пока еще сохраняется то немногое, что осталось у нас от хорошего тона. Англия – горе тебе, отечество мое! – выродилась и с каждым днем вырождается все больше. В ней осталось не так уж много джентльменов. Нас мало. У нас нет преемников – на смену нам идут ткачи.

– Но можно надеяться, что джентльмены не переведутся благодаря вам, – сказала я.

– Вы очень любезны, – улыбнулся он и снова поклонился, вздернув плечи. – Вы мне льстите. Но нет… нет! Учитель танцев должен отличаться хорошим тоном, но мне так и не удалось привить его своему бедному мальчику. Сохрани меня бог осуждать моего дорогого отпрыска, но про него никак нельзя сказать, что у него хороший тон.

– Он, по-видимому, прекрасно знает свое дело, – заметила я.

– Поймите меня правильно, сударыня; он действительно прекрасно знает свое дело. Все, что можно заучить, он за-

учил. Все, что можно преподать, он преподает. Но есть вещи… – Он взял еще понюшку табаку и снова поклонился, как бы желая сказать: «Например, такие вот вещи».

Я посмотрела на середину комнаты, где жених мисс Джеллиби, занимаясь теперь с отдельными ученицами, усердствовал пуще прежнего.

– Мое милое дитя, – пробормотал мистер Тарвидроп, поправляя шейный платок.

– Ваш сын неутомим, – сказала я.

– Я вознагражден вашими словами, – отозвался мистер Тарвидроп. – В некоторых отношениях он идет по стопам своей матери – святой женщины. Вот было самоотверженное создание! О вы, женщины, прелестные женщины, – продолжал мистер Тарвидроп с весьма неприятной галантностью, – какой обольстительный пол!

Я встала и подошла к мисс Джеллиби, которая уже надевала шляпу. Да и все ученицы надевали шляпы, так как урок окончился. Когда только мисс Джеллиби и несчастный Принц успели обручиться – не знаю, но на этот раз они не успели обменяться и десятком слов.

– Дорогой мой, – ты знаешь, который час? – благосклонно обратился мистер Тарвидроп к сыну.

– Нет, папенька.

У сына не было часов. У отца были прекрасные золотые часы, и он вынул их с таким видом, как будто хотел показать всему человечеству, как нужно вынимать часы.

– Сын мой, – проговорил он, – уже два часа. Не забудь, что в три ты должен быть на уроке в Кенсингтоне.

– Времени хватит, папенька, – сказал Принц, – я успею наскоро перекусить и побегу.

– Поторопись, мой дорогой мальчик, – настаивал его родитель. – Холодная баранина стоит на столе.

– Благодарю вас, папенька. А *вы* тоже уходите, папенька?

– Да, милый мой. Я полагаю, – сказал мистер Тарвидроп, закрывая глаза и поднимая плечи со скромным сознанием своего достоинства, – что мне, как всегда, следует показаться в городе.

– Надо бы вам пообедать где-нибудь в хорошем ресторане, – заметил сын.

– Дитя мое, так я и сделаю. Я скромно пообедаю хотя бы во французском ресторане у Оперной колоннады.

– Вот и хорошо. До свидания, папенька! – сказал Принц, пожимая ему руку.

– До свидания, сын мой. Благослови тебя бог!

Мистер Тарвидроп произнес эти слова прямо-таки набожным тоном, и они, видимо, приятно подействовали на его сына, – прощаясь с отцом, он был так им доволен, так гордился им, всем своим видом выражал такую преданность, что, как мне показалось тогда, было бы просто нехорошо по отношению к младшему из Тарвидропов не верить слепо в старшего. Прощаясь с нами (и особенно с одной из нас, что я подметила, будучи посвящена в тайну), Принц вел себя так, что

укрепил благоприятное впечатление, произведенное на меня его почти детским характером. Я почувствовала к нему симпатию и сострадание, когда он, засунув в карман свою «киску» (а одновременно свое желание побыть немножко с Кедди), покорно пошел есть холодную баранину, чтобы потом отправиться на урок в Кенсингтон, и я вознегодовала на его «папеньку» едва ли не больше, чем суровая пожилая дама.

Папенька же распахнул перед нами дверь и пропустил нас вперед с поклоном, достойным, должна сознаться, того блестящего образца, которому он всегда подражал. Вскоре он, все такой же изысканный, прошел мимо нас по другой стороне улицы, направляясь в аристократическую часть города, чтобы показаться среди немногих других уцелевших «джентльменов». На несколько минут я целиком погрузилась в мысли обо всем, что видела и слышала на Ньюмен-стрит, и потому совсем не могла разговаривать с Кедди или хотя бы прислушиваться к ее словам, – особенно когда задумалась над вопросом: нет ли или не было ли когда-нибудь джентльменов, которые, не занимаясь танцами как профессией, тем не менее тоже создали себе репутацию исключительно своим хорошим тоном? Это меня так смутило и мне так живо представилось, что «мистеров Тарвидропов», может быть, много, что я сказала себе: «Эстер, перестань думать об этом и обрати внимание на Кедди». Так я и поступила, и мы проболтали весь остаток пути до Линкольнс-Инна.

По словам Кедди, ее жених получил такое скудное обра-

зование, что письма его не всегда легко разобрать. Она сказала также, что если бы он не так беспокоился о своей орфографии и поменьше старался писать правильно, то выходило бы гораздо лучше; но он прибавляет столько лишних букв к коротким английским словам, что те порой смахивают на иностранные.

– Ему, бедняжке, хочется сделать лучше, – заметила Кедди, – а получается хуже!

Затем Кедди принялась рассуждать о том, что нельзя же требовать, чтобы он был образованным человеком, если он всю свою жизнь провел в танцевальной школе и только и делал, что учил да прислуживал, прислуживал да учил, утром, днем и вечером! Ну и что же? Да ничего! Ведь она-то умеет писать письма за двоих, – выучилась, на свое горе, – и пусть уж лучше он будет милым, чем ученым. «Да ведь и меня тоже нельзя назвать образованной девушкой, и я не имею права задирать нос, – добавила Кедди. – Знаю я, конечно, очень мало, – по милости мамы!»

– Пока мы одни, мне хочется рассказать вам еще кое-что, мисс Саммерсон, – продолжала Кедди, – но я не стала бы этого говорить, если бы вы не познакомились с Принцем. Вы знаете, что такое наш дом. У нас в доме не научишься тому, что полезно знать жене Принца, – не стоит и пытаться. Мы живем в такой неразберихе, что об этом и думать нечего, и всякий раз, как я делала такие попытки, у меня только еще больше опускались руки. И вот я стала понемногу учиться…

у кого бы вы думали – у бедной мисс Флайт! Рано утром я помогаю ей убирать комнату и чистить птичьи клетки; варю ей кофе (конечно, она сама меня этому научила), и стала так хорошо его варить, что, по словам Принца, он никогда нигде не пил такого вкусного кофе и мой кофе привел бы в восторг даже мистера Тарвидропа-старшего, а тот ведь очень разборчивый. Кроме того, я теперь умею делать маленькие пудинги и знаю, как покупать баранину, чай, сахар, масло и вообще все, что нужно для хозяйства. Вот шить я еще не умею, – сказала Кедди, взглянув на залатанное платьице Пищика, – но, может быть, научусь; а главное, с тех пор как я обручилась с Принцем и начала заниматься всем этим, я чувствую, что характер у меня стал получше, и я многое прощаю маме. Нынче утром я совсем было расстроилась, когда увидела вас и мисс Клейр, таких чистеньких и хорошеньких, и мне стало стыдно за Пищика, да и за себя тоже; но, в общем, характер у меня, кажется, стал получше, и я многое прощаю маме.

Бедная девушка, как она старалась, как искренне говорила… я даже растрогалась.

– Милая Кедди, – сказала я, – я начинаю очень привязываться к вам и надеюсь, что мы подружимся.

– Неужели правда? – воскликнула Кедди. – Какое счастье!

– Знаете что, Кедди, душенька моя, – сказала я, – давайте отныне будем друзьями, давайте почаще разговаривать обо всем этом и попытаемся найти правильный путь.

Кедди пришла в восторг. Я всячески старалась по-своему,

по-старосветски утешить и ободрить ее и в тот день чувствовала, что простила бы мистера Тарвидропа-старшего только в том случае, если бы он преподнес своей будущей невестке целое состояние.

И вот мы подошли к лавке мистера Крука и увидели, что дверь в жилые помещения открыта. На дверном косяке было наклеено объявление, гласившее, что сдается комната на третьем этаже. Тут Кедди вспомнила и рассказала мне, пока мы поднимались наверх, что в этом доме кто-то скоропостижно умер и о его смерти производилось дознание, а наша маленькая приятельница захворала с перепугу. Окно и дверь в пустующую комнату были открыты, и мы решились в нее заглянуть. Это была та самая комната с окрашенной в темную краску дверью, на которую мисс Флайт тайком обратила мое внимание, когда я впервые была в этом доме. Печальный и нежилой вид был у этой каморки – мрачной и угрюмой, и, как ни странно, мне стало как-то тоскливо и даже страшно.

– Вы побледнели, – сказала Кедди, когда мы вышли на лестницу, – вам холодно?

Все во мне застыло – так подействовала на меня эта комната.

Увлекшись разговором, мы шли сюда медленно, поэтому опекун и Ада опередили нас. Мы застали их уже в мансарде у мисс Флайт. Они разглядывали птичек в клетках, в то время как врач, который был так добр, что взялся лечить старушку и отнесся к ней очень заботливо и участливо, оживленно

разговаривал с нею у камина.

– Ну, мне как врачу тут больше делать нечего, – сказал он, идя нам навстречу. – Мисс Флайт чувствует себя гораздо лучше и уже завтра сможет снова пойти в суд (ей прямо не терпится). Насколько я знаю, ее там очень недостает.

Мисс Флайт выслушала этот комплимент с самодовольным видом и сделала всем нам общий реверанс.

– Весьма польщена этим новым визитом подопечных тяжбы Джарндисов! – сказала она. – Оч-чень счастлива принять Джарндиса, владельца Холодного дома, под своим скромным кровом! – Мистеру Джарндису она сделала отдельный реверанс. – Фиц-Джарндис, милая, – так она прозвала Кедди и всегда называла ее так, – вам особый привет!

– Она была очень больна? – спросил мистер Джарндис доктора.

Мисс Флайт немедленно ответила сама, хотя опекун задал вопрос шепотом.

– Ах, совсем, совсем расхворалась! Ах, действительно тяжко болела! – пролепетала она конфиденциальным тоном. – Не боль, заметьте… но волнение. Не столько физические страдания, сколько нервы… нервы! Сказать вам правду, – продолжала она, понизив голос и вся дрожа, – у нас тут умер один человек. В доме нашли яд. Я очень тяжело переживаю такие ужасы. Я испугалась. Один мистер Вудкорт знает – как сильно. Мой доктор, мистер Вудкорт! – представила она его очень церемонно. – Подопечные тяжбы Джарнди-

сов… Джарндис, владелец Холодного дома… Фиц-Джарндис.

– Мисс Флайт, – начал мистер Вудкорт серьезным тоном (словно, говоря с нами, он обращался к ней) и мягко касаясь рукой ее локтя, – мисс Флайт описывает свой недуг со свойственной ей обстоятельностью. Ее напугало одно происшествие в этом доме, которое могло напугать и более сильного человека, и она занемогла от огорчения и волнения. Она поспешила привести меня сюда, как только нашли тело, но было уже поздно, и я ничем не мог помочь несчастному. Впрочем, я вознаградил себя за неудачу – стал часто заходить к мисс Флайт, чтобы хоть немного помочь ей.

– Самый добрый доктор из всей медицинской корпорации, – зашептала мне мисс Флайт. – Я жду решения суда. В Судный день. И тогда буду раздавать поместья.

– Дня через два она будет так же здорова, как всегда, – сказал мистер Вудкорт, внимательно глядя на нее и улыбаясь, – другими словами, совершенно здорова. А вы слышали о том, как ей повезло?

– Поразительно! – воскликнула мисс Флайт, восторженно улыбаясь. – Просто невероятно, милая моя! Каждую субботу Велеречивый Кендж или Гаппи (клерк Велеречивого Кенджа) вручает мне пачку шиллингов. Шиллингов… уверяю вас! И всегда их одинаковое количество. Всегда по шиллингу на каждый день недели. Ну, знаете ли! И так своевременно, не правда ли? Да-а! Но откуда же эти деньги, спросите вы?

Вот это важный вопрос! А как же! Сказать вам, что думаю *я? Я* думаю, – промолвила мисс Флайт, отодвигаясь с очень хитрым видом и весьма многозначительно покачивая указательным пальцем правой руки, – я думаю, что лорд-канцлер, зная о том, как давно была снята Большая печать (а ведь она была снята очень давно!), посылает мне эти деньги. И будет посылать вплоть до решения суда, которого я ожидаю. Да… это, знаете ли, очень похвально с его стороны. Таким путем признать, что он и *вправду* немножко медлителен для человеческой жизни. Так деликатно! Когда я в прошлый раз была в суде, – а я бываю там регулярно, со своими документами, – я дала ему понять, что знаю, кто присылает деньги, и он почти признался. То есть я улыбнулась ему со своей скамьи, а *он* улыбнулся мне со своей. Но это большая удача, не правда ли? А Фиц-Джарндис очень экономно тратит для меня эти деньги. О, уверяю вас, очень!

Я поздравила мисс Флайт (так как она обращалась ко мне) с приятной добавкой к ее обычному бюджету и пожелала ей подольше получать эти деньги. Я не стала раздумывать, кто бы это мог присылать ей пособие, не спросила себя, кто был к ней так добр и так внимателен. Опекун стоял передо мной, рассматривая птичек, и мне незачем было искать других добрых людей.

– Как зовут этих пташек, сударыня? – спросил он. – У них есть имена?

– Я могу ответить за мисс Флайт, – сказала я, – имена у

птичек есть, и она обещала нам назвать их. Помнишь, Ада?

Ада помнила это очень хорошо.

– Разве обещала? – проговорила мисс Флайт. – Кто там за дверью?.. Зачем вы подслушиваете, Крук?

Старик, хозяин дома, распахнул дверь и появился на пороге с меховой шапкой в руках и с кошкой, которая шла за ним по пятам.

– *Я* не подслушивал, мисс Флайт, – сказал он. – Я хотел было к вам постучать, а вы уж успели догадаться, что я здесь!

– Гоните вниз свою кошку! Гоните ее вон! – сердито закричала старушка.

– Ну-ну, будет вам!.. Бояться нечего, господа, – сказал мистер Крук, медленно и пристально оглядывая всех нас поочередно, – пока я здесь, на птиц она не кинется, если только я сам не велю ей.

– Не посетуйте на моего хозяина, – проговорила старушка с достоинством. – Он ведь… того, совсем того! Что вам нужно, Крук? У меня гости.

– Ха! – произнес старик. – Вы ведь знаете, что меня прозвали Канцлером?

– Да! Ну и что же? – сказала мисс Флайт.

– «Канцлер», а незнаком с одним из Джарндисов, неужто это не странно, мисс Флайт? – захихикал старик. – Разрешите представиться?.. Ваш слуга, сэр. Я знаю тяжбу «Джарндисы против Джарндисов» почти так же досконально, как вы, сэр. Я и старого сквайра Тома знавал, сэр. Но вас, помнится,

никогда не видывал… даже в суде. А ведь, если сложить все дни в году, когда я там бываю, получится немало времени.

– Я никогда туда не хожу, – отозвался мистер Джарндис (и он действительно никогда, ни при каких обстоятельствах, не появлялся в суде). – Я скорей отправился бы в… какое-нибудь другое скверное место.

– Вот как? – ухмыльнулся Крук. – Очень уж вы строги к моему благородному и ученому собрату, сэр; впрочем, это, пожалуй, естественно – для Джарндиса. Обжегся на молоке, будешь дуть на воду, сэр! Что я вижу! Вы, кажется, интересуетесь птичками моей жилицы, мистер Джарндис? – Шаг за шагом старик прокрался в комнату, приблизился к опекуну и, коснувшись его локтем, впился пристальным взглядом ему в лицо. – Чудачка такая, ни за что не соглашается сказать, как зовут ее птиц, хотя всем им дала имена. – Последние слова он произнес шепотом. – Ну как, назвать мне их, Флайт? – громко спросил он, подмигивая нам и показывая пальцем на старушку, которая отошла и сделала вид, что выметает золу из камина.

– Как хотите, – быстро ответила она.

Старик посмотрел на нас, потом перевел глаза на клетки и принялся называть имена птичек:

– Надежда, Радость, Юность, Мир, Покой, Жизнь, Прах, Пепел, Растрата, Нужда, Разорение, Отчаяние, Безумие, Смерть, Коварство, Глупость, Слова, Парики, Тряпье, Пергамент, Грабеж, Прецедент, Тарабарщина, Обман и Чепуха.

Вот и вся коллекция, – сказал старик, – и все заперты в клетку моим благородным ученым собратом.

– Какой неприятный ветер! – пробормотал опекун.

– Когда мой благородный и ученый собрат вынесет свое решение, всех их выпустят на волю, – проговорил Крук, снова подмигивая нам. – А тогда, – добавил он шепотом и осклабился, – если только это когда-нибудь случится, – но этого не случится, – их заклюют птицы, которых никогда не сажали в клетки.

– Восточный ветер! – сказал опекун и посмотрел в окно, делая вид, будто ищет глазами флюгер. – Ну да, прямо с востока дует!

Нам было очень трудно уйти из этого дома. Задерживала нас не мисс Флайт, – когда дело шло об удобствах других людей, эта малюсенькая старушка вела себя как нельзя внимательней. Нас задерживал мистер Крук. Казалось, он был не в силах оторваться от мистера Джарндиса. Будь они прикованы друг к другу, Крук и то не мог бы так цепляться за него. Он предложил нам осмотреть его «Канцлерский суд» и весь тот диковинный хлам, который там накопился. Пока мы осматривали лавку, хозяин (который сам затягивал осмотр) не отходил от мистера Джарндиса, а порой даже задерживал его под тем или иным предлогом, когда мы проходили дальше, по-видимому терзаемый желанием поговорить о какой-то тайне, коснуться которой не решался. Вообще весь облик и поведение мистера Крука в тот день так яр-

ко изобличали осторожность, нерешительность и неотвязное стремление сделать нечто такое, на что трудно отважиться, что это производило чрезвычайно странное впечатление. Он неотступно следил за моим опекуном. Он почти не сводил глаз с его лица. Если они шли рядом, Крук наблюдал за опекуном с лукавством старой лисицы. Если Крук шел впереди, он все время оглядывался назад. Когда мы останавливались, он стоял против мистера Джарндиса, водя рукой перед открытым ртом с загадочным видом человека, сознающего свою силу, поднимал глаза, опускал седые брови, щурился и, кажется, изучал каждую черточку на лице опекуна.

Обойдя весь дом (вместе с приставшей к нам кошкой) и осмотрев всю находившуюся в нем разнообразную рухлядь, и вправду прелюбопытную, мы наконец вернулись в заднюю комнатушку при лавке. Здесь на днище пустого бочонка стояла бутылка с чернилами, лежали огрызки гусиных перьев и какие-то грязные театральные афиши, а на стене было наклеено несколько больших печатных таблиц с прописями, начертанными разными, но одинаково разборчивыми почерками.

– Что вы тут делаете? – спросил опекун.

– Учусь читать и писать, – ответил Крук.

– И как у вас идет дело?

– Медленно… плохо, – с досадой ответил старик. – В мои годы это трудно.

– Было бы легче учиться с преподавателем, – сказал опе-

кун.

– Да, но меня могут научить неправильно! – возразил старик, и в глазах его промелькнула странная подозрительность. – Уж и не знаю, сколько я потерял оттого, что не учился раньше. Обидно будет потерять еще больше, если меня научат неправильно.

– Неправильно? – переспросил опекун, добродушно улыбаясь. – Но кому же придет охота учить вас неправильно, как вы думаете?

– Не знаю, мистер Джарндис, хозяин Холодного дома, – ответил старик, сдвигая очки на лоб и потирая руки. – Я никого не подозреваю, но лучше все-таки полагаться на самого себя, чем на других!

Эти ответы и вообще поведение старика были так странны, что опекун спросил мистера Вудкорта, когда мы все вместе шли через Линкольнс-Инн, правда ли, что мистер Крук не в своем уме, как на это намекала его жилица. Молодой врач ответил, что не находит этого. Конечно, старик донельзя подозрителен, как и большинство невежд, к тому же он всегда немного навеселе – напивается неразбавленным джином, которым так разит от него и его лавки, как мы, наверное, заметили, – но пока что он в своем уме.

По дороге домой я купила Пищику игрушку – ветряную мельницу с двумя мешочками муки, чем так расположила его к себе, что он никому, кроме меня, не позволил снять с него шляпу и рукавички, а когда мы сели за стол, пожелал

быть моим соседом. Кедди сидела рядом со мною с другой стороны, а рядом с нею села Ада, которой мы рассказали всю историю помолвки, как только вернулись домой. Мы очень ухаживали за Кедди и Пищиком, и Кедди совсем развеселилась, а опекун был так же весел, как мы, и все очень приятно проводили время, пока не настал вечер и Кедди не уехала домой в наемной карете с Пищиком, который уже сладко спал, так и не выпуская своей ветряной мельницы из крепко сжатых ручонок.

Я забыла сказать – во всяком случае, не сказала, – что мистер Вудкорт был тем самым смуглым молодым врачом, с которым мы познакомились у мистера Беджера. Не сказала я и о том, что в тот день мистер Джарндис пригласил его к нам отобедать. А также о том, что он пришел. А также о том, что, когда все разошлись и я предложила Аде: «Ну, душенька, давай немножко поболтаем о Ричарде!», Ада рассмеялась и сказала…

Впрочем, неважно, что именно сказала моя прелесть. Она всегда любила подшучивать.

Глава XV
Белл-Ярд

Пока мы жили в Лондоне, мистера Джарндиса постоянно осаждали толпы леди и джентльменов, которые волновались по всякому поводу и уже успели очень удивить нас своим образом действий. Мистер Куэйл, появившийся у нас вскоре после нашего приезда, участвовал во всех этих волнующих мероприятиях. Он совал свой лоснящийся шишковатый лоб во все, что происходило на свете, а волосы зачесывал назад, с такой силой приглаживая их щеткой, что самые корни их, казалось, готовы были вырваться из головы в ненасытной жажде благотворительности. Любые объекты этой благотворительности были для него равны, но особенно охотно он хлопотал о поднесении адресов всем и каждому. По-видимому, главнейшей его способностью была способность восхищаться кем угодно без всякого разбора. Он с величайшим наслаждением мог заседать сколько угодно часов, подставляя свой лоб лучам любого светила. Вначале, видя, как беззаветно он восхищается миссис Джеллиби, я подумала, что он предан до самозабвения ей одной. Но я скоро заметила свою ошибку и поняла, что он прислужник и глашатай целой толпы.

Однажды миссис Пардигл явилась к нам с просьбой под-

писаться в пользу чего-то, и с нею пришел мистер Куэйл. Что бы ни говорила миссис Пардигл, мистер Куэйл повторял нам ее слова, и если раньше он расхваливал миссис Джеллиби, то теперь расхваливал миссис Пардигл. Миссис Пардигл написала опекуну письмо, в котором рекомендовала ему своего красноречивого друга, мистера Гашера. Вместе с мистером Гашером снова явился и мистер Куэйл. Мистер Гашер, рыхлый джентльмен с потной кожей и глазами, столь несоразмерно маленькими для его лунообразного лица, что казалось, будто они первоначально предназначались кому-то другому, на первый взгляд не внушал симпатии; однако не успел он сесть, как мистер Куэйл довольно громко спросил меня и Аду, не кажется ли нам, что его спутник крупная личность – какой он, конечно, и был, если говорить о его расплывшихся телесах, но мистер Куэйл имел в виду красоту духовную, – и не поражают ли нас монументальные формы его чела? Короче говоря, в среде этих людей мы слышали о множестве «миссий» разного рода, но яснее всего поняли, что миссия мистера Куэйла сводится к восторженному восхищению миссиями всех прочих и что именно эта миссия пользуется наибольшей популярностью.

Мистер Джарндис попал в их компанию по влечению своего сострадательного сердца, повинуясь искреннему желанию делать добро по мере сил, но ничуть не скрывал от нас, что компания эта слишком часто кажется ему неприятной, ибо ее милосердие проявляется судорожно, а благо-

творительность превратилась в мундир для жаждущих дешевой известности крикливых проповедников и аферистов, неистовых на словах, суетливых и тщеславных на деле, до крайности низко раболепствующих перед сильными мира сего, льстящих друг другу и невыносимых для людей, которые стремятся без всякой шумихи предотвращать падение слабых, вместо того чтобы с непомерным хвастовством и самовосхвалением чуть-чуть приподымать павших, когда они уже повержены ниц. После того как мистеру Куэйлу однажды поднесли адрес благодаря стараниям мистера Гашера (которому уже поднесли адрес стараниями мистера Куэйла), а мистер Гашер полтора часа говорил об этом на митинге, где присутствовали воспитанники двух школ для бедных, причем то и дело напоминал мальчикам и девочкам о лепте вдовицы и убеждал их пожертвовать по полупенсу, – ветер, кажется, недели три подряд дул с востока.

Я говорю об этом потому, что мне опять придется рассказывать о мистере Скимполе. Мне казалось, что по контрасту с такого рода явлениями его откровенные признания в своей ребячливости и беспечности были большим облегчением для опекуна, который тем охотнее им верил, что ему было приятно видеть хоть одного вполне искреннего и бесхитростного человека среди стольких людей, противоположных ему по характеру. Я не хочу думать, что мистер Скимпол об этом догадывался и умышленно вел себя таким образом, – утверждать это я не имею права, ибо никогда не могла по-

нять его вполне. Во всяком случае, он со всеми на свете вел себя так же, как с моим опекуном.

Мистер Скимпол был не совсем здоров, и поэтому мы до сих пор не встречались с ним, хотя он жил в Лондоне. Но как-то раз утром он пришел к нам веселый, как всегда, и в приятнейшем расположении духа.

Ну, вот он и появился, говорил он. Он болел желтухой; а ведь желчь часто разливается у богатых людей, поэтому он во время болезни уверял себя, что он богат. Впрочем, в одном отношении он действительно богат, а именно – благими намерениями. Своего врача он, можно сказать, озолотил самым щедрым образом. Он всегда удваивал, а порой даже учетверял его гонорар. Он говорил доктору: «Слушайте, дорогой доктор, вы глубоко ошибаетесь, считая, что лечите меня даром. Если б вы только знали, как щедро я осыпаю вас деньгами… в душе, преисполненной благих намерений!» И в самом деле, он (по его словам) так горячо желал заплатить за свое леченье, что желание это считал почти равным действию. Имей он возможность сунуть доктору в руку эти кусочки металла и листки тонкой бумаги, которым человечество придает такое значение, он вручил бы их доктору. Но раз он такой возможности не имеет, он заменяет действие желанием. Прекрасно! Если он действительно хочет заплатить доктору, если его желание искренне и непритворно, – а так оно и есть, – значит, оно все равно что звонкая монета и, следовательно, погашает долг.

– Возможно, мне это только кажется, – отчасти потому, что я ничего не понимаю в ценности денег, – говорил мистер Скимпол, – но так мне кажется часто. И даже представляется вполне разумным. Мой мясник говорит мне, что хотел бы получить деньги по «счетику». Кстати, он всегда говорит не «счет», а именно «счетик», и в этом сказывается приятная, хоть и не осознанная им поэтичность его натуры, – тем самым он стремится облегчить расчеты нам обоим. Я отвечаю мяснику: «Мой добрый друг, вам уже уплачено, и жаль, что вы этого не понимаете. К чему вам трудиться, – ходить сюда и требовать уплаты по вашему «счетику»? Вам уже уплачено. Ведь я искренне хочу этого».

– Но предположим, – сказал опекун, рассмеявшись, – что он только *хотел* доставить вам мясо, указанное в счете, но не доставил?

– Дорогой Джарндис, – возразил мистер Скимпол, – вы меня удивляете. Вы разделяете точку зрения мясника. Один мясник, с которым я как-то имел дело, занял ту же самую позицию. Он сказал: «Сэр, почему вы скушали молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт?» – «Почему я скушал молодого барашка по восемнадцати пенсов за фунт, любезный друг? – спросил я, натурально изумленный таким вопросом. – Да просто потому, что я люблю молодых барашков»… Не правда ли, убедительно? «Если так, сэр, – говорит он, – надо мне было только хотеть доставить вам барашка, раз вы только хотите уплатить мне деньги». – «Давайте, при-

ятель, – говорю я, – рассуждать, как подобает разумным существам. Ну, как же это могло быть? Это совершенно немыслимо. Ведь у вас барашек *был*, а у меня денег *нет*. Значит, если вы действительно хотели прислать мне барашка, вы не могли его не прислать; тогда как я могу хотеть и действительно хочу уплатить вам деньги, но не могу их уплатить». Он не нашелся что ответить. Тем дело и кончилось.

– И он не подал на вас жалобы в суд? – спросил опекун.

– Подал, – ответил мистер Скимпол. – Но так он поступил под влиянием страсти, а не разума. Кстати, слово «страсть» напомнило мне о Бойторне. Он пишет мне, что вы и ваши дамы обещали ненадолго приехать к нему в Линкольншир и погостить в его холостяцком доме.

– Мои девочки его очень любят, – сказал мистер Джарндис, – и ради них я обещал ему приехать.

– Мне кажется, природа позабыла его отретушировать, – заметил мистер Скимпол, обращаясь ко мне и Аде. – Слишком уж он бурлив… как море. Слишком уж вспыльчив… ни дать ни взять бык, который раз навсегда решил считать любой цвет красным. Но я признаю, что достоинства его поражают, как удары кузнечного молота по голове.

Впрочем, странно было бы, если бы эти двое высоко ставили друг друга, – ведь мистер Бойторн так серьезно относился ко всему на свете, а мистер Скимпол ни к чему не относился серьезно. Кроме того, я заметила, что всякий раз, как речь заходила о мистере Скимполе, мистер Бойторн едва

удерживался от того, чтобы не высказать о нем свое мнение напрямик. Сейчас мы с Адой, конечно, сказали только, что нам мистер Бойторн очень нравится.

– Он и меня пригласил, – продолжал мистер Скимпол, – и если дитя может довериться такому человеку (а данное дитя склоняется к этому, раз оно будет под охраной соединенной нежности двух ангелов), то я поеду. Он предлагает оплатить мне дорогу в оба конца. Пожалуй, это будет стоить денег? Сколько-то шиллингов? Или фунтов? Или чего-нибудь в этом роде? Кстати, я вспомнил о «Ковинсове». Вы не забыли нашего друга «Ковинсова», мисс Саммерсон?

Очевидно, в уме его возникло некое воспоминание, и он тотчас же задал мне этот вопрос свойственным ему беспечным, легким тоном и без малейшего смущения.

– Как забыть! – ответила я.

– Так вот! «Ковинсов» сам арестован великим Судебным исполнителем – смертью, – сказал мистер Скимпол. – Он уже больше не будет оскорблять солнечный свет своим присутствием.

Меня это известие огорчило, и я сразу вспомнила с тяжелым чувством, как этот человек сидел в тот вечер на диване, вытирая потный лоб.

– Его преемник рассказал мне об этом вчера, – продолжал мистер Скимпол. – Его преемник сейчас у меня в доме… «описывает», или, как это там называется… Явился вчера в день рождения моей голубоглазой дочери. Я, конечно, его

урезонивал: «Это с вашей стороны неразумно и неприлично. Будь у вас голубоглазая дочь и приди я *к вам* без зова в день *ее* рождения, вам это понравилось бы?» Но он все-таки не ушел.

Мистер Скимпол сам посмеялся своей милой шутке и, легко прикоснувшись к клавишам рояля, за которым сидел, извлек несколько звуков.

– И он сообщил мне, – начал мистер Скимпол, прерывая свои слова негромкими аккордами там, где я ставлю точки. – Что «Ковинсов» оставил. Троих детей. Круглых сирот. И так как профессия его. Не популярна. Подрастающие «Ковинсовы». Живут очень плохо.

Мистер Джарндис встал и, взъерошив волосы, принялся ходить взад и вперед. Мистер Скимпол начал играть мелодию одной из любимых песен Ады. Мы с Адой смотрели на мистера Джарндиса, догадываясь о его мыслях.

Опекун ходил по комнате, останавливался, ерошил волосы, оставлял их в покое, опять ерошил и вдруг положил руку на клавиши и прекратил игру мистера Скимпола.

– Мне это не нравится, Скимпол, – сказал он озабоченно.

Мистер Скимпол, начисто позабывший о своих словах, взглянул на него удивленно.

– Человек этот занимался нужным делом, – продолжал опекун, шагая взад и вперед по очень ограниченному пространству между роялем и стеной и ероша волосы от затылка к макушке, так что казалось, будто их раздувает силь-

ный восточный ветер. – Мы сами виноваты – сами вызываем необходимость в подобной профессии нашими собственными ошибками и безумствами, недостатком житейской мудрости или неудачами, а значит, мы не должны мстить тем, кто занимается ею. В ней нет ничего дурного. Этот человек кормил своих детей. Хотелось бы узнать о нем побольше.

– О «Ковинсове»? – воскликнул мистер Скимпол, наконец поняв, о чем идет речь. – Нет ничего легче. Сходите в штаб-квартиру самого Ковинса – и узнаете все, что хотите знать.

Мистер Джарндис кивнул нам, а мы только и ждали этого знака.

– Ну, мои дорогие, пойдемте-ка прогуляемся туда. Эта прогулка ведь не хуже всякой другой, правда?

Мы быстро собрались и вышли. Мистер Скимпол пошел вместе с нами, положительно наслаждаясь своим участием в нашей экспедиции. Он говорил, что это для него так ново и свежо – разыскивать «Ковинсова», после того как «Ковинсов» столько раз разыскивал его самого.

И вот он повел нас по Карситор-стрит, выходящей на Канцлерскую улицу, и указал нам дом с забранными решеткой окнами, который назвал «замком Ковинса». Когда мы подошли к подъезду и позвонили, из какого-то помещения вроде конторы вышел уродливый малый и уставился на нас из-за железной калитки с заостренными прутьями.

– Вам кого нужно? – спросил малый, опершись подбород-

ком на два острия.

– Здесь служил один сыщик, или агент судебного исполнителя, или кто-то в этом роде, – тот, что недавно умер, – сказал мистер Джарндис.

– Да, – отозвался малый. – Ну и что?

– Скажите, пожалуйста, как его фамилия?

– Его фамилия Неккет, – ответил малый.

– А адрес?

– Белл-Ярд, – ответил тот. – Мелочная лавка Блайндера, на левой стороне.

– Скажите, был он… не знаю, как выразиться, – запнулся опекун, – был он трудолюбив?

– Неккет? – переспросил малый. – И очень даже. В слежке устали не знал. Уж если возьмется следить за кем-нибудь, так, бывало, часов по восемь, по десять кряду проторчит на углу у афишного столба.

– Могло быть и хуже, – проговорил опекун, ни к кому не обращаясь. – Если бы, например, он брался за дело, но не выполнял его. Спасибо. Только это мы и хотели узнать.

Мы простились с малым, который стоял, склонив голову набок, и, облокотившись на калитку, поглаживал и посасывал ее острые прутья, а сами вернулись в Линкольнс-Инн, – там нас поджидал мистер Скимпол, которому отнюдь не хотелось приближаться к дому судебного исполнителя Ковинса. Затем мы все вместе направились в Белл-Ярд, узкую уличку, находившуюся поблизости. Вскоре мы нашли ме-

лочную лавку. В ней сидела добродушная с виду старуха, страдавшая водянкой или астмой, а может быть, и той и другой болезнью.

– Дети Неккета? – отозвалась она в ответ на мой вопрос. – Да, мисс, они живут здесь. Пройдите, пожалуйста, на четвертый этаж. Дверь прямо против лестницы. – И она протянула мне ключ через прилавок.

Я взглянула на ключ и взглянула на нее; но у нее, очевидно, и в мыслях не было, что я не знаю, зачем он мне может понадобиться. Догадавшись, однако, что это, должно быть, ключ от комнаты детей, я, не задавая больше никаких вопросов, пошла вперед по темной лестнице. Мы шли, стараясь не шуметь, но нас было четверо, ветхие деревянные ступени скрипели под нами, и, когда мы поднялись на третий этаж, оказалось, что наш приход потревожил какого-то человека, и тот выглянул из своей комнаты.

– Вам кого… Гридли? – спросил он, устремив на меня сердитый взгляд.

– Нет, сэр, – ответила я, – я иду выше.

Он посмотрел на Аду, на мистера Джарндиса и на мистера Скимпола, устремляя сердитый взгляд на всех троих поочередно, по мере того как они проходили мимо, следуя за мной. Мистер Джарндис сказал ему: «Добрый день».

– Добрый день! – отозвался тот отрывисто и гневно.

Это был высокий, изжелта-бледный, изможденный мужчина, с почти облысевшей головой, лицом, изборожден-

ным глубокими морщинами, и глазами навыкате. Крупный и сильный, хотя уже стареющий, он говорил раздраженным, вызывающим тоном и даже немного напугал меня своей воинственностью. В руке он держал перо, и, проходя мимо его комнаты, я мельком заметила, что она завалена бумагами.

Он остался на площадке, а мы поднялись на самый верх. Я постучала в дверь, и чей-то звонкий голосок послышался из комнаты:

– Мы заперты на замок. Ключ у миссис Блайндер.

Вложив ключ в замочную скважину, я открыла дверь. В убогой комнатке с покатым потолком и очень скудной обстановкой стоял крошечный мальчик лет пяти-шести, который нянчил и укачивал на руках тяжелого полуторагодовалого ребенка. Погода стояла холодная, а комната была нетопленая; правда, дети были закутаны в какие-то ветхие шали и пелеринки. Но одежда эта, видимо, грела плохо – дети съежились от холода, а носики у них покраснели и заострились, хотя мальчуган без отдыха ходил взад и вперед, укачивая и баюкая малютку, склонившую головку к нему на плечо.

– Кто запер вас здесь одних? – естественно, спросили мы.

– Чарли, – ответил мальчик, останавливаясь и глядя на нас.

– Чарли – это твой брат?

– Нет. Сестра – Чарлот. Папа называл ее Чарли.

– А кроме Чарли, сколько вас всего детей?

– Я, – ответил мальчик, – да вот Эмма, – он дотронулся

до слабо завязанного чепчика ребенка, – и еще Чарли.

– А где же Чарли?

– Ушла стирать, – ответил мальчик и снова принялся ходить взад и вперед, неотрывно глядя на нас и не замечая, что головенка в нанковом чепчике вот-вот ударится о кровать.

Мы смотрели то на детишек, то друг на друга, но вот в комнату вбежала девочка очень маленького роста с совсем еще детской фигуркой, но умным, уже недетским личиком, – хорошеньким личиком, едва видным из-под широкополой материнской шляпы, слишком большой для такой крошки, и в широком переднике, тоже материнском, о который она вытирала голые руки. Они были в мыльной пене, от которой еще шел пар, и девочка стряхнула ее со своих пальчиков, сморщенных и побелевших от горячей воды. Если бы не эти пальчики, ее можно было бы принять за смышленого, наблюдательного ребенка, который играет в стирку, подражая бедной женщине-работнице.

Девочка, очевидно, работала по соседству и домой бежала во всю прыть. Поэтому, как она ни была легка, она все-таки запыхалась и вначале не могла выговорить ни слова, – только спокойно смотрела на нас, тяжело дыша и вытирая руки.

– А вот и Чарли! – воскликнул мальчик.

Малютка, которую он нянчил, потянулась к Чарли и закричала, просясь к ней «на ручки». Девочка взяла ее совершенно по-матерински – это движение было под стать шляпе и переднику – и посмотрела на нас поверх своей ноши, а ма-

лютка нежно прижалась к сестре.

– Неужели, – прошептал опекун, когда мы пододвинули девочке стул и усадили ее вместе с малюткой, а мальчик прильнул к старшей сестренке, уцепившись за ее передник, – неужели эта крошка содержит своим трудом остальных? Посмотрите на них! Посмотрите на них, ради бога!

И правда, на них стоило посмотреть. Все трое ребят крепко прижались друг к другу, и двое из них во всем зависели от третьей, а третья была еще так мала, но какой у нее был взрослый и положительный вид, как странно он не вязался с ее детской фигуркой!

– Ах, Чарли! Чарли! – начал мой опекун. – Да сколько же тебе лет?

– Четырнадцатый год пошел, сэр, – ответила девочка.

– Ого, какой почтенный возраст! – сказал опекун. – Какой почтенный возраст, Чарли!

Не могу выразить, с какой нежностью он говорил с нею – полушутя, но так сострадательно и грустно.

– И ты одна живешь здесь с этими ребятишками, Чарли? – спросил опекун.

– Да, сэр, – ответила девочка, доверчиво глядя ему прямо в лицо, – с тех пор как умер папа.

– Чем же вы все живете, Чарли? – спросил опекун, отворачиваясь на мгновенье. – Эх, Чарли, чем же вы живете?

– С тех пор как папа умер, я работаю, сэр. Сегодня нанялась стирать.

– Помоги тебе бог, Чарли! – сказал опекун. – Да ведь ты так мала, что, наверное, и до лоханки не достаешь!

– В деревянных сандалиях достаю, сэр, – быстро возразила девочка. – У меня есть высокие деревянные сандалии, – от мамы остались.

– А когда умерла твоя мама? Бедная мама!

– Мама умерла, как только родилась Эмма, – ответила девочка, глядя на личико малютки, прижавшейся к ее груди, – и тогда папа сказал, что мне нужно постараться заменить ей маму. И вот я старалась – работала по дому, убирала, нянчила ребят, стирала – еще задолго до того, как начала ходить по чужим людям. Так вот и научилась, сэр, понимаете?

– И ты часто ходишь на работу?

– Да когда бы ни наняли, – ответила Чарли, широко раскрывая глаза и улыбаясь, – надо же зарабатывать шестипенсовики и шиллинги!

– И ты запираешь ребят всякий раз, как уходишь?

– А это для безопасности, сэр, понимаете? – объяснила Чарли. – Миссис Блайндер заходит к ним время от времени, и мистер Гридли наведывается, да и мне иной раз удается забежать домой, а они тут играют себе, и Том не боится сидеть взаперти… правда, Том?

– Нет, не боюсь! – стойко ответил Том.

– А когда стемнеет, внизу – в переулке – зажигают фонари, и в комнате тогда совсем светло, почти совсем светло. Правда, Том?

– Да, Чарли, – подтвердил Том, – почти совсем светло.

– Он прямо золотой мальчик! – сказала девочка таким женственным, материнским тоном. – А когда Эмме захочется спать, он уложит ее в постель. А когда ему самому захочется спать, он тоже уляжется. А когда я приду домой, зажгу свечку да соберу ужин, он встанет и поужинает со мной. Правда, Том?

– Ну, еще бы, Чарли! – ответил Том. – А как же!

И то ли при мысли об этой величайшей радости в его жизни, то ли от прилива благодарности и любви к Чарли, которая была для него всем на свете, он уткнулся лицом в складки ее узкой юбчонки, и его улыбка перешла в слезы.

С тех пор как мы пришли сюда, это были первые слезы, пролитые детьми. Маленькая сиротка так спокойно говорила о своих умерших родителях, как будто ее огромное горе заглушали и необходимость мужественно бороться за существование, и детская гордость своим уменьем работать, и старательность, и деловитость. Но теперь, когда расплакался Том, она хоть и сидела смирно, хоть и смотрела на нас совершенно спокойно, ни одним движением не сдвинув и волоска на головках своих маленьких питомцев, я все же заметила, как две слезинки скатились по ее щекам.

Мы с Адой стояли у окна, делая вид, что смотрим на крыши домов и закопченные дымовые трубы, на чахлые комнатные цветы и птичьи клетки в окнах у соседей; но вот явилась миссис Блайндер, та женщина, которая сидела внизу, в

лавке, когда мы пришли (должно быть, она поднималась по лестнице все то время, что мы пробыли здесь), и завела разговор с опекуном.

– Если я не беру с них квартирной платы, так ведь это пустяк, сэр, – сказала она, – у кого хватит совести с них брать?

– Да, это пустяк, – отозвался опекун, обращаясь к Аде и ко мне. – Но этого достаточно, ибо наступит время, когда добрая женщина поймет, как *много* она сделала и что раз она сделала это для одного из малых сих, то… А эта крошка, – добавил он спустя несколько мгновений, – неужели она действительно в силах работать?

– Да, сэр, пожалуй что так, – ответила миссис Блайндер, с мучительным трудом переводя дыхание. – До чего она ловкая, – прямо на все руки. И, вы знаете, сэр, после смерти матери она так заботится о малышах, что весь переулок про нее говорит! А как она ухаживала за отцом, когда он расхворался, мы просто диву давались! «Миссис Блайндер, – сказал он мне, когда был уже при смерти, – он вон там лежал. – Миссис Блайндер, хоть и плохое у меня было занятие, но прошлой ночью я видел, будто тут в комнате, рядом с моей девочкой, сидит ангел, и я поручаю ее нашему общему отцу!»

– Он ничем другим не занимался? – спросил опекун.

– Нет, сэр, – ответила миссис Блайндер, – он всегда был только сыщиком – то есть агентом у судебного исполнителя. Когда он снял у меня комнату, я сначала не знала, кто он такой, а когда узнала, признаюсь откровенно, попросила

его съехать. В переулке у нас на таких соседей косятся. Таких прочие жильцы недолюбливают. Неблагородное это занятие, – продолжала миссис Блайндер, – и почти все осуждают тех, кто берется за такую работу. Мистер Гридли очень их не одобряет, а он хороший жилец, хотя ему довелось хлебнуть горя и это ему даже характер испортило.

– Поэтому вы попросили мистера Неккета съехать? – переспросил опекун.

– Попросила, – ответила миссис Блайндер. – Но когда наступил срок, а я больше ничего плохого о нем не услышала, меня взяло сомненье. Платил он аккуратно, работал усердно, – что ж, ведь он делал только то, что должен был делать, – говорила миссис Блайндер, бессознательно устремив глаза на мистера Скимпола, – уж и это хорошо, даже если занимаешься такой работой.

– Значит, вы все-таки оставили его у себя?

– Ну да, я сказала, что если он сумеет поладить с мистером Гридли, то я сама как-нибудь улажу дело с другими жильцами и не буду особенно обращать внимания, нравится это соседям у нас в переулке или нет. Мистер Гридли дал согласие – хоть и грубовато, а все-таки дал. Он всегда был грубоват с Неккетом, но с тех пор, как тот умер, хорошо относится к его детям. Человека ведь нельзя узнать как следует, пока его не испытаешь.

– А многие ли хорошо отнеслись к его детям? – спросил мистер Джарндис.

– В общем, нашлись бы люди, сэр, – ответила миссис Блайндер, – но, конечно, нашлось бы больше, занимайся покойный чем-нибудь другим. Мистер Ковинс пожертвовал гинею, а его агенты сложились и тоже дали небольшую сумму. Кое-кто из соседей, те, что всегда насмехались и хлопали друг друга по плечам, когда Неккет, бывало, проходил по переулку, собрали немного денег по подписке… вообще… к детям не так уж плохо относятся. Тоже и насчет Чарлот. Некоторые не хотят ее нанимать, потому что она, мол, дочь шпика; другие нанимают, но попрекают отцом; третьи ставят себе в заслугу, что, несмотря на это и на ее малолетство, дают ей работу; и ей зачастую платят меньше, чем другим поденщицам, а работать заставляют больше. Но другой такой безответной девчонки не сыскать, да и ловкая она, послушная, всегда старается изо всех сил и даже через силу. В общем, можно сказать, что к ней все относятся неплохо, сэр, но могли бы отнестись и получше.

Миссис Блайндер совсем задохнулась после своей длинной речи и села, чтобы легче было отдышаться. Мистер Джарндис обернулся, желая сказать нам что-то, но отвлекся, потому что в комнату неожиданно вошел мистер Гридли, тот жилец, о котором говорила хозяйка, – это его мы видели, поднимаясь наверх.

– Не знаю, зачем вы здесь, леди и джентльмены, – сказал он, словно раздосадованный нашим присутствием, – но вы уж извините меня за то, что я пришел. Кто-кто, а я прихожу

сюда не затем, чтобы глазеть по сторонам. Ну, Чарли! Ну, Том! Ну, малютка! Как мы нынче поживаем?

Он ласково наклонился к детям, и нам стало ясно, что они его любят, хотя лицо его было по-прежнему сурово, а с нами он говорил очень резким тоном. Опекун заметил все это и почувствовал к нему уважение.

– Никто, конечно, не придет сюда только затем, чтобы глазеть по сторонам, – проговорил он мягко.

– Все может быть, сэр, все может быть, – ответил тот, нетерпеливым жестом отмахнувшись от опекуна и сажая к себе на колени Тома. – С леди и джентльменами я спорить не собираюсь. Спорить мне довелось столько, что одному человеку на всю жизнь хватит.

– Очевидно, – сказал мистер Джарндис, – у вас есть достаточные основания раздражаться и досадовать…

– Ну вот, опять! – воскликнул мистер Гридли, загораясь гневом. – Я сварлив. Я вспыльчив. Я невежлив!

– По-моему, этого нельзя сказать.

– Сэр, – сказал Гридли, спуская на пол мальчугана и подходя к мистеру Джарндису с таким видом, словно хотел его ударить. – Вы что-нибудь знаете о Судах справедливости?

– Кое-что знаю, к своему горю.

– «К своему горю»? – повторил Гридли спокойней. – Если так, прошу прощения. Я невежа, как известно. Прошу у вас прощенья! Сэр, – вскричал он вдруг еще более страстно, – меня двадцать пять лет таскали по раскаленному железу, и

я по бархату ступать отвык. Подите вон туда, в Канцлерский суд, и спросите судейских, кто тот шут гороховый, что иногда развлекает их во время работы, и они вам скажут, что самый забавный шут – это «человек из Шропшира». Так вот, – крикнул он, с силой колотя одним кулаком о другой, – этот «человек из Шропшира» – это я и есть!

– Мои родственники и я, мы тоже, кажется, не раз имели честь потешать народ в этом высоком учреждении, – сдержанно проговорил опекун. – Вы, может быть, слышали мою фамилию? Я – Джарндис.

– Мистер Джарндис, – отозвался Гридли с неуклюжим поклоном, – вы спокойней меня переносите свои обиды. Скажу вам больше, скажу этому джентльмену и этим молодым леди, если они ваши друзья, что, относись я к своим обидам иначе, я бы с ума сошел! Только потому я и сохранил разум, что возмущаюсь, мысленно мщу за свои обиды и гневно требую правосудия, которого, впрочем, так и не могу добиться. Только поэтому! – Он говорил просто, безыскусственно, с большим жаром. – Может, вы скажете, что я слишком горячусь! Отвечу, что это в моем характере, и я не могу не горячиться, когда обижен. Или кипеть гневом, или вечно улыбаться, как та несчастная полоумная старушонка, что не вылезает из суда, а середины тут нет. Смирись я хоть раз, и мне несдобровать – рехнусь!

Он говорил с такой страстностью и горячностью, так резко меняясь в лице и размахивая руками, что на него было очень

тяжело смотреть.

– Мистер Джарндис, – начал он, – разберитесь в моей тяжбе. Вот как дело было – расскажу все по правде, как правда то, что есть небо над нами. Нас два брата. Отец мой (он был фермером) написал завещание и оставил свою ферму, скот и прочее имущество моей матери в пожизненное владение. После смерти матери все должно было перейти ко мне, кроме трехсот фунтов деньгами, которые я обязан был уплатить брату. Мать умерла. Прошло сколько-то времени, и брат потребовал завещанные ему деньги. Я да и некоторые наши родные говорили, что я уже выплатил ему часть этого наследства, раз он жил у меня в доме и питался за мой счет, а кроме того, получил кое-что из вещей. Теперь слушайте! Только об этом и шел спор, ни о чем другом. Завещания никто не оспаривал; спор шел только о том, выплатил я часть этих трехсот фунтов брату или нет. Чтобы разрешить спор, брат подал иск, и мне пришлось с ним судиться в этом проклятом Канцлерском суде. Я был вынужден судиться там – меня закон вынудил, и больше мне податься некуда. К этой немудреной тяжбе притянули семнадцать ответчиков! В первый раз дело слушали только через два года после подачи иска. Слушание отложили, и потом еще два года референт (чтоб ему головы не сносить!) наводил справки, правда ли, что я сын своего отца, чего ни один смертный не оспаривал. Но вот он решил, что ответчиков мало, – вспомните, ведь их было только семнадцать! – и что должен явиться еще один,

которого пропустили, после чего нужно все начать сначала. К тому времени – то есть раньше, чем приступили к разбору дела! – судебных пошлин накопилось столько, что нам, тяжущимся, пришлось уплатить суду втрое больше, чем стоило все наше наследство. Брат с радостью отказался бы от этого наследства, лишь бы больше не платить пошлин. Все мое добро, все, что досталось мне по отцовскому завещанию, ушло на судебные пошлины. Из этой тяжбы – а она все еще не решена – только и вышло, что разоренье, да нищета, да горе горькое – вот в какую беду я попал! Правда, мистер Джарндис, у вас спор идет о многих тысячах, у меня – только о сотнях. Но не знаю уж, легче мне или тяжелей, чем вам, если на карту были поставлены все мои средства к жизни, а тяжба так бесстыдно их высосала?

Мистер Джарндис сказал, что сочувствует ему всем сердцем и не считает себя единственным человеком, безвинно пострадавшим от этой чудовищной системы.

– Опять! – воскликнул мистер Гридли с не меньшей яростью. – Опять система! Мне со всех сторон твердят, что вся причина в системе. Не надо, мол, обвинять отдельных личностей. Вся беда в системе. Не следует, мол, ходить в суд и говорить: «Милорд, позвольте вас спросить, справедливо это или не справедливо? Хватит у вас нахальства сказать, что я добился правосудия и, значит, волен идти куда угодно?» Милорд об этом и понятия не имеет. Он сидит в суде, чтобы разбирать дела по системе. Мне твердят, что не надо, мол,

ходить к мистеру Талкингхорну, поверенному, который живет на Линкольновых полях, и говорить ему, когда он доводит меня до белого каления, – такой он бездушный и самодовольный (все они на один лад, знаю я их, – ведь они только выигрывают, а я теряю, разве не правда?), не надо, мол, говорить ему, что не мытьем, так катаньем, а уж отплачу я кому-нибудь за свое разоренье! *Он*, мол, не виноват. Вся беда в системе. Но если я пока еще не расправился ни с кем из них, то, кто знает, может, и расправлюсь! Не знаю, что случится, если меня в конце концов выведут из себя! Но служителей этой системы я буду обвинять на очной ставке перед великим, вечным судом!

Он был страшен в своем неистовстве. Я никогда бы не поверила, что можно прийти в такую ярость, если бы не видела этого своими глазами.

– Я кончил! – сказал он, садясь и вытирая лицо. – Мистер Джарндис, я кончил! Я знаю, что я горяч. Мне ли не знать? Я сидел в тюрьме за оскорбление суда. Я сидел в тюрьме за угрозы этому поверенному. Были у меня всякие неприятности и опять будут. Я – «человек из Шропшира», и для них это забава – сажать меня под стражу и приводить в суд под стражей и все такое; но иной раз я не только их забавляю, – иной раз бывает хуже. Мне твердят, что, мол, сдерживай я себя, мне самому было бы легче. А я говорю, что рехнусь, если буду сдерживаться. Когда-то я, кажется, был довольно добродушным человеком. Земляки мои говорят, что помнят

меня таким; но теперь я до того обижен, что мне нужно открывать отдушину, давать выход своему возмущению, а не то я с ума сойду. «Лучше бы вам, мистер Гридли, – сказал мне на прошлой неделе лорд-канцлер, – не тратить тут времени попусту, а жить в Шропшире, занимаясь полезным делом». – «Милорд, милорд, я знаю, что лучше, – сказал ему я, – еще того лучше – никогда бы в жизни не слышать о вашем высоком учреждении; только вот беда – не могу я разделаться с прошлым, а оно тянет меня сюда!» Но погодите, – добавил он во внезапном припадке ярости, – уж я их осрамлю когда-нибудь. До конца своей жизни буду я ходить в этот суд для его посрамления. Кабы знал я, когда наступит мой смертный час, да кабы возможно было принести меня в суд, да кабы остался у меня голос, чтобы говорить с ними, я бы умер там, в суде, только сначала сказал бы: «Многое множество раз вы таскали меня сюда и выгоняли отсюда. Выносите теперь ногами вперед!»

Его лицо столько лет и так часто выражало гнев, что оно не смягчилось даже теперь, когда он наконец успокоился.

– Я пришел забрать этих малышей к себе в комнату на часок, – сказал он, снова подходя к детям, – пусть поиграют у меня. Я не собирался говорить всего этого, ну да уж ладно. Ты не боишься меня, Том? Правда?

– Нет! – сказал Том. – На *меня-то* ведь вы не сердитесь.

– Верно, мальчуган. А ты уже уходишь, Чарли? Ну, иди ко мне, крошка! – Он взял младшую девочку на руки, и она

охотно к нему пошла. – А вдруг мы найдем внизу пряничного солдатика? Пойдемте-ка поищем его!

Он по-прежнему неуклюже, но довольно почтительно поклонился мистеру Джарндису, кивнул нам и пошел вниз, в свою комнату.

Тут мистер Скимпол, не проронивший ни слова с тех пор, как мы пришли сюда, заговорил, как всегда, веселым тоном. Он сказал, что, право же, очень приятно видеть, как все в мире бессознательно служит определенным целям. Вот, например, мистер Гридли, человек с сильной волей и поразительной энергией, – в интеллектуальном отношении нечто вроде «Невеселого кузнеца». Ведь он, мистер Скимпол, легко представляет себе, что много лет назад Гридли блуждал по жизни, ища, на что бы потратить избыток своего задора – как Юная Любовь блуждает среди шипов в жажде борьбы с препятствиями, – но вдруг на дороге у него стал Канцлерский суд и дал ему как раз то, чего он желал. И вот они соединены навеки! При других условиях он мог бы сделаться великим полководцем и взрывать всякие там города, а нет – так великим политическим деятелем, который упражняется в разного рода парламентской риторике; но теперь Гридли и Канцлерский суд приятнейшим образом столкнулись друг с другом, и никому от этого не стало хуже, а Гридли с того часа, так сказать, имеет все, что ему требовалось. А теперь вспомните про «Ковинсова»! Как чудесно бедный «Ковинсов» (отец этих прелестных деток) иллюстрирует тот же са-

мый принцип! Он, мистер Скимпол, сам иной раз сетовал на то, что есть на свете «Ковинсовы». «Ковинсов» становился ему поперек дороги. Он охотно обошелся бы без «Ковинсова». Будь он, Скимпол, султаном и скажи ему как-нибудь утром его великий визирь: «Что потребует у раба своего повелитель правоверных?», он мог бы зайти так далеко, что ответил бы: «Голову «Ковинсова»! Но как же обернулось дело? Оказывается, все это время он давал заработок вполне достойному человеку; он был благодетелем «Ковинсова»; он фактически дал возможность «Ковинсову» отлично воспитать этих прелестных деток, развивающих в себе такие общественные добродетели! Так что даже сердце у него забилось и слезы выступили на глазах, когда он, оглядев комнату, подумал: «Это *я* был великим покровителем «Ковинсова», и его скромный уют – дело *моих* рук!»

Было нечто столь пленительное в той легкости, с какой он перебирал струны своей фантазии, и сам он казался таким веселым ребенком рядом с серьезными детьми, которых мы видели в этой комнате, что опекун улыбнулся, возвращаясь к нам после короткой беседы вполголоса с миссис Блайндер. Мы поцеловали Чарли и вместе с нею спустились по лестнице, а выйдя на улицу, остановились посмотреть, как она бежит на работу. Не знаю, куда она шла; мы видели только, как она побежала, – такая маленькая-маленькая, в материнской шляпке и переднике, – скользнула под сводчатый проход в глубине двора и растворилась в суете и грохоте города, слов-

но капля росы в океане.

Глава XVI
В «Одиноком Томе»

Миледи Дедлок не сидится на месте, никак не сидится. Сбитая с толку великосветская хроника прямо не знает, где ее найти. Сегодня миледи в Чесни-Уолде; вчера была в своем лондонском доме; завтра, возможно, окажется за границей, – великосветская хроника ничего не может предсказать с уверенностью. Даже галантный сэр Лестер с трудом поспевает за супругой. И ему вскоре стало бы еще труднее, но вторая его верная подруга в счастье и несчастье – подагра – врывается в старинную дубовую спальню в Чесни-Уолде и хватает его за ноги, зажимая их в тиски.

Сэр Лестер мирится с подагрой, как с надоедливым демоном, но демоном патрицианским. Со времен, памятных человечеству, и даже незапамятных, все Дедлоки по прямой мужской линии страдали подагрой. И это можно доказать, сэр. Предки других людей, быть может, умирали от ревматизма или подвергались низменной заразе от нечистой крови болезненного простонародья, но Дедлоки внесли нечто особенное даже в равняющий всех процесс умиранья, ибо умирали они только от своей родовой подагры. Она переходила от одного славного поколения к другому, как столовое серебро, картины или линкольнширское поместье. Она – од-

но из их достоинств. Сэр Лестер, пожалуй, даже склонен думать, – хотя никогда не высказывал этих дум, – что ангел смерти, исполняя свои обязанности, когда-нибудь сообщит теням аристократов: «Милорды и джентльмены, имею честь представить вам еще одного Дедлока, прибывшего сюда, согласно удостоверению, по милости родовой подагры».

Итак, сэр Лестер отдает свои родовые ноги на растерзание родовому недугу, и можно подумать, что он держит свой титул и состояние на условиях этой феодальной повинности. Он чувствует, что кто-то позволяет себе вольность, заставляя представителя рода Дедлоков лежать на спине и ощущать судорожные схватки и колотье в нижних конечностях; но он рассуждает так: «Все мы, Дедлоки, подвергались этому. Это наша отличительная особенность. Веками принято было у нас нисходить в склеп, вырытый в парке, только из-за нашей родовой подагры, но никак не по более низменным причинам, и я мирюсь с этим компромиссом».

Великолепное зрелище представляет он, когда лежит с пылающими багровым и золотым огнем щеками перед своим любимым портретом миледи, в середине огромной гостиной, куда солнечный свет проникает через длинную вереницу окон и ложится широкими полосами на уходящую вдаль анфиладу комнат, чередуясь с мягкими полосами тени. За стенами дома о величии сэра Лестера свидетельствуют могучие дубы, которые вот уже много веков раскинули свои корни в покрытой зеленым газоном земле, не знавшей плуга и

отведенной под охотничий парк еще в те времена, когда короли ездили на войну с мечом и щитом, а на охоту – с луком и стрелами. В доме предки сэра Лестера, глядя на него со стен, говорят ему: «Каждый из нас был тут преходящей действительностью, оставил здесь эту раскрашенную тень свою и превратился в воспоминание, столь же неясное, как далекие голоса грачей, которые убаюкивают тебя», и предки тоже утверждают его величие. И в этот день он действительно велик. И горе Бойторну или иным дерзким наглецам, которые самонадеянно осмелятся поспорить с ним хотя бы из-за одного дюйма!

Вместо миледи при сэре Лестере сейчас состоит ее портрет. Сама же она умчалась в Лондон, но не намерена там оставаться и, к недоумению великосветской хроники, вскоре примчится домой. Но лондонский дом не подготовлен к ее приезду. Он одет в чехлы и мрачен. Только Меркурий в пудреном парике безутешно зевает у окна в вестибюле и вчера вечером даже сказал другому Меркурию, своему знакомому, тоже привыкшему вращаться в хорошем обществе, что если так будет продолжаться дальше, – чего быть не может, ибо человек с его характером этого не вынесет и нельзя ожидать от человека с его фигурой, чтобы он это вынес, – то он честью клянется, что ему останется только вонзить себе нож в грудь!

Какое отношение имеют линкольнширское поместье Дедлоков, их лондонский дом, их Меркурий в пудреном пари-

ке к тем местам, где прозябает Джо, отщепенец с метлой в руках, на которого упал слабый луч света, когда он подметал ступеньку перед входом на кладбище? Какое отношение имели друг к другу многие люди, которые, стоя на противоположных краях разделяющей их бездонной пропасти, все-таки столкнулись, самым любопытным образом, на бесчисленных путях жизни?

Джо день-деньской подметает свой перекресток, не подозревая об этой связи, если она вообще существует. На любой заданный ему вопрос он отвечает: «Ничего я не знаю», и этим исчерпывающе определяет свое невежество. Он знает, что в скверную погоду очищать перекресток от грязи трудно и еще трудней прокормиться этой работой. Никто ему не объяснил даже этого; он сам догадался.

Джо живет, – точнее, Джо только что не умирает, – в одном гиблом месте – трущобе, известной среди ему подобных под названием «Одинокий Том». Это темная, полуразрушенная улица, которой избегают порядочные люди, улица, где убогие дома, уже совсем обветшалые, попали в лапы каких-то предприимчивых проходимцев и теперь сдаются ими под ночлежки. По ночам лачуги эти кишат беднотой. Как на гниющем человеческом теле гнездится всякая ползучая тварь, так в этих гнилых развалинах теснятся толпы обездоленных, – вползают и выползают сквозь дыры в каменных и дощатых стенах, спят вповалку, бесчисленные, как личинки, скорчившись под проникающим внутрь дождем, где-

то бродят, заражаются лихорадкой, потом заражают ею других и в каждом отпечатке ног своих сеют столько зла, что ни лорду Кудлу, ни сэру Томасу Дудлу, ни герцогу Фудлу, ни всем прочим стоящим у власти знатным джентльменам, вплоть до Чудла, и в пятьсот лет не искоренить этого зла, хотя на то они и существуют.

За последние дни в «Одиноком Томе» дважды раздавался грохот, и облако пыли вздымалось, как после взорвавшейся мины, и всякий раз это означало, что обвалился дом. В газетах появились коротенькие заметки об этих происшествиях, а в ближайшей больнице оказались занятыми две-три лишних койки. Зияющие провалы на улице не застраиваются, а бездомные по-прежнему ютятся в развалинах. Вот-вот рухнет еще несколько домов, и можно думать, что в следующий раз грохот в «Одиноком Томе» будет еще оглушительней.

Нечего и говорить, что это заманчивое недвижимое имущество подведомственно Канцлерскому суду. Об этом знает каждый мало-мальски разумный человек, и объяснять ему это значит оскорблять его. Как возникло название «Одинокий Том», неизвестно, – может быть, эту улицу в народе прозвали «Томом» в честь первого истца или ответчика в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов»; или, может быть, – потому, что Том жил тут один-одинешенек, когда тяжба уже опустошила всю улицу, а другие жители еще не успели присоединиться к нему; или же это просто меткое название для трущобы, отрезанной от порядочного общества и обречен-

ной на безнадежность, – никто этого, вероятно, не знает. И, конечно, не знает Джо.

– Да не знаю я, – говорит Джо. – Ничего я не знаю.

Как это, должно быть, нелепо быть таким, как Джо! Бродить по улицам, не запоминая очертаний и совершенно не понимая смысла тех загадочных знаков, которые в таком изобилии начертаны над входом в лавки, на углах улиц, на дверях и витринах! Видеть, как люди читают, видеть, как люди пишут, видеть, как почтальоны разносят письма, и не иметь ни малейшего понятия об этом средстве общения людей, – чувствовать себя в этом отношении совершенно слепым и немым! Чудно́, должно быть, смотреть, как прилично одетые люди идут по воскресеньям в церковь с молитвенником в руках, и думать (ведь, может быть, Джо когда-нибудь все-таки думает) – какой во всем этом смысл? и если это имеет смысл для других, почему это не имеет смысла для меня? Терпеть, когда меня толкают, пинают, гонят прочь, и подумывать иной раз: а может, мне и вправду незачем быть ни здесь, ни там и нигде вообще, и вместе с тем недоумевать при мысли, что ведь как-никак, а я все-таки существую, но никому до меня никогда не было дела, вот я и стал таким! Как это, должно быть, нелепо, не только слышать от других, что я почти не человек (как я слышал, когда предложил себя в свидетели на дознании), но самому чувствовать это по опыту всю жизнь! Видеть, как лошади, собаки, рогатый скот проходят мимо меня, и сознавать, что по невежеству своему

я принадлежу к ним, а не к тем высшим существам, подобным мне с виду, чью чувствительность я оскорбляю! Представления Джо об уголовном суде, о судьях, о епископах, о правительстве или о своем неоцененном сокровище – конституции (если только он об этом сокровище знает), вероятно, довольно нелепы! Вся его физическая и духовная жизнь – сплошная нелепость, а смерть – нелепей всего.

Джо выходит из «Одинокого Тома» навстречу медлительному утру, которое здесь всегда наступает с опозданием, и жует на ходу замызганный ломтик хлеба. Ему надо пройти много улиц, и, так как двери подъездов еще не открыты, он садится завтракать на пороге «Общества распространения слова божия в чужих странах», а покончив с едой, подметает порог в благодарность за приют. Восхищаясь размерами этого здания, он спрашивает себя, для кого оно построено. Он и не подозревает, несчастный, о духовной нищете на коралловых рифах в Тихом океане, не знает, во что обходится спасение драгоценных душ под кокосовыми пальмами и хлебными деревьями.

Он подходит к своему перекрестку и принимается за утреннюю уборку. Город пробуждается; огромный волчок уже запущен и будет вертеться и крутиться весь день; люди, на несколько часов прервавшие свои занятия, снова начинают читать и писать – неизвестно зачем. Джо и прочие живые существа низшего разряда кое-как прозябают в этой немыслимой неразберихе. Сегодня базарный день. Ослепленные

волы, которых слишком часто подгоняли палками и слишком тяжело нагружали, но никогда не направляли на дорогу, мечутся куда попало, с налитыми кровью глазами и пеной у рта, а когда их отгоняют ударами, тычутся в каменные стены, часто калеча тех, кто их ничем не обидел, и часто калеча самих себя. Очень похоже на Джо и ему подобных… очень, очень похоже!

Подходит оркестр уличных музыкантов и начинает играть. Джо слушает. Слушает и собака – собака гуртовщика, которая заждалась хозяина у порога мясной лавки и, должно быть, вспоминает об овцах, с которыми возилась несколько часов и наконец благополучно развязалась. Ее как будто взяли сомнения насчет трех-четырех овец – не может понять, куда они подевались; она оглядывает улицу, словно ждет, не объявятся ли беглянки, и вдруг настораживает уши и вспоминает все. Это настоящая бродячая собака, привыкшая ко всякому сброду и харчевням; страшная для овец собака, готовая по свисту хозяина броситься на спину ослушнице и выдрать у нее клок шерсти; но вместе с тем – обученная, выдрессированная, развитая собака, которая училась выполнять свои обязанности и умеет их выполнять. Она и Джо слушают музыку, быть может, с одинаково сильным чувством животного удовольствия; да и в отношении пробуждающихся ассоциаций, мечтаний, сожалений, печальных или радостных представлений о том, что находится за пределами пяти чувств, он и она, вероятно, стоят на одном уровне. Но в про-

чих отношениях насколько зверь выше слушателя-человека!

Дайте потомкам этой собаки одичать, как одичал Джо, и не пройдет нескольких лет, как они выродятся, да так, что даже разучатся лаять, хоть и не перестанут кусаться.

Близясь к концу, день меняется, тускнеет, сыреет. Джо работает на своем перекрестке, увязая в уличной грязи, увертываясь от колес, лошадей, бичей, зонтов, чтобы получить гроши, которых хватит лишь на плату за отвратительный ночлег в «Одиноком Томе». Смеркается; в лавках один за другим вспыхивают газовые рожки; фонарщик с лестницей бежит по улице у самого тротуара. Хмурый вечер близок.

Мистер Талкингхорн сидит в своем кабинете и обдумывает прошение о выдаче ордера на арест, которое хочет подать завтра утром местному судье. Гридли – один недовольный сутяга – сегодня приходил сюда и угрожал ему. Никто не имеет права запугивать других, и этого зловредного субъекта придется снова посадить в тюрьму. С потолка кабинета смотрит Аллегория – в виде написанного в ракурсе неправдоподобного, опрокинутого вверх ногами римлянина, – и громадной, как у Самсона, рукой (вывихнутой и нелепой) настойчиво указывает на окно. Но с какой стати мистеру Талкингхорну смотреть в окно по такому пустячному поводу? Ведь эта рука всегда указывает туда. Поэтому он не смотрит в окно.

А если б он и посмотрел, если б увидел проходящую мимо женщину, так на что она ему? На свете женщин много;

по мнению мистера Талкингхорна, – слишком много, и они – источник всяческого зла, но, правда, тем самым дают заработок юристам. Зачем ему видеть женщину, проходящую мимо, даже если она ушла из дому тайком? Все они что-нибудь да утаивают. Мистеру Талкингхорну это очень хорошо известно. Но не все они похожи на ту женщину, которая сейчас прошла мимо него и его дома, – женщину, чье скромное платье разительно не вяжется с ее утонченным обликом. По платью ее можно принять за служанку высшего ранга, но по осанке и поступи, торопливой и вместе с тем гордой (насколько можно быть гордой на грязных улицах, по которым ей так непривычно идти), она – светская дама. Лицо ее закрыто вуалью, но тем не менее она себя выдает, и – настолько, что многие прохожие, обернувшись, внимательно смотрят ей вслед.

Она ни разу не оглянулась. Дама она или служанка, у нее есть какая-то цель, и она умеет добиваться этой цели. Она ни разу не оглянулась, пока не подошла к перекрестку, на котором Джо усердно работает метлой. Он переходит улицу вместе с нею и просит у нее милостыни. Но она по-прежнему не оглядывается, пока не переходит на другую сторону. Здесь она делает Джо едва заметный знак и говорит:

– Подойди ближе!

Джо следует за нею, и, пройдя несколько шагов, они входят в безлюдный двор.

– Ты – тот мальчик, о котором я читала в газетах? – спра-

шивает она, не поднимая вуали.

– Не знаю, – отвечает Джо, хмуро уставившись на вуаль, – не знаю я ни про какие газеты. Ничего я не знаю ни об чем.

– Тебя допрашивали на дознании?

– Ничего я не знаю ни… это вы про то, куда меня водил приходский надзиратель? – догадывается вдруг Джо. – А мальчика на дознании звали Джо, что ли?

– Да.

– Ну, так это я! – говорит Джо.

– Пройдем немного дальше.

– Вы насчет того человека? – спрашивает Джо, следуя за нею. – Того, что помер?

– Тише! Говори шепотом! Да. Правда ли, что при жизни вид у него был совсем больной, нищенский?

– Ну да! – отвечает Джо.

– У него был вид… не такой, как у *тебя*? – спрашивает женщина с отвращением.

– Ну нет, не такой скверный, – отвечает Джо. – Я-то настоящий нищий, уж это да! А вы его знали?

– Как ты смеешь об этом спрашивать?

– Не обижайтесь, миледи, – смиренно извиняется Джо: теперь даже он заподозрил, что она дама.

– Я не леди, я служанка.

– Служанка! Черта с два! – говорит Джо, ничуть не желая ее оскорбить, а просто выражая свое восхищение.

– Слушай и молчи. Не разговаривай со мной и отойди по-

дальше! Можешь ты показать мне все те места, о которых писали в газетах? Место, где ему давали переписку, место, где он умер, место, куда тебя водили, место, где он погребен? Ты знаешь, где его похоронили?

Джо отвечает кивком; да и на все вопросы женщины он отвечал кивками.

– Ступай вперед и покажи мне все эти ужасные места. Останавливайся против каждого и не говори со мной, пока я сама с тобой не заговорю. Не оглядывайся. Сделай, что я требую, и я тебе хорошо заплачу.

Джо внимательно слушает ее слова; повторяет их про себя, постукивая по ручке метлы, и находит не совсем понятными; молчит, размышляя об их значении; наконец уразумевает их смысл и, удовлетворенный, кивает лохматой головой.

– Ладно! – говорит Джо. – Только чур – без обману. Не вздумайте дать стрекача!

– Что говорит этот противный мальчишка? – восклицает служанка, отшатнувшись.

– Не вздумайте улепетнуть, вот что! – объясняет Джо.

– Ничего не понимаю. Ступай вперед! Я дам тебе столько денег, сколько у тебя никогда в жизни не было.

Джо складывает губы трубочкой и свистит, скребет лохматую голову, сует метлу под мышку и шагает впереди женщины, ловко переступая босыми ногами через острые камни, через грязь и лужи.

Кукс-Корт. Джо останавливается. Молчание.

– Кто здесь живет?

– Который давал ему переписывать, а мне полкроны дал, – отвечает Джо шепотом и не оборачиваясь.

– Иди дальше.

Дом Крука. Джо опять останавливается. Долгое молчание.

– А здесь кто живет?

– *Он* здесь жил, – отвечает Джо все так же шепотом.

После недолгого молчания его спрашивают:

– В какой комнате?

– В задней, наверху. Окно отсюда видать, с угла. Вон там, наверху! Там-то я и видел, как он лежал – вытянулся весь. А вот и трактир – это куда меня водили.

– Иди к месту, где его похоронили.

До этого места довольно далеко, но Джо, теперь уже доверяя своей спутнице, выполняет все ее требования и не оглядывается. Они долго идут по кривым проулкам, омерзительным во многих отношениях, и наконец подходят к сводчатому проходу, ведущему в какой-то двор, к газовому фонарю (уже зажженному) и к железным решетчатым воротам.

– Тут его и зарыли, – говорит Джо, ухватившись за решетку и заглядывая во двор.

– Где? Ох, какое страшное место!

– Здесь! – отвечает Джо, показывая пальцем. – Вон там. Где куча костей – как раз под кухонным окном! Да, почитай, и не зарывали. Пришлось ногами его топтать, чтобы в землю

запихнуть. Я бы вам его метлой отрыл, кабы ворота были открыты. Должно, потому их и запирают, – объясняет он, дергая за решетку. – День и ночь запертые. Глядите, крыса! – возбужденно вскрикивает Джо. – Эй! Глядите! Туда шмыгнула! Ого! Прямо в землю!

Служанка отшатывается в угол, – в угол этой отвратительной подворотни, пачкая платье о мерзкие пятна на стене; в волнении приказывает Джо отойти в сторону, потому что он ей противен, и, протянув руки вперед, на несколько минут замирает. Джо стоит и смотрит на нее во все глаза, даже после того, как она уже пришла в себя.

– Эта трущоба – освященная земля?

– Не знаю я ни об какой «освеченной» земле, – отвечает Джо, по-прежнему не отрывая глаз от женщины.

– Благословляли ее?

– Кого? – спрашивает Джо, совершенно сбитый с толку.

– Благословляли ее?

– Чтоб меня черти благословили, если я знаю! – говорит Джо, все шире раскрывая глаза. – Должно быть, что нет. Благословляли? – повторяет он оторопело. – А хоть бы и так, все равно толку мало. Благословляли? Похоже, скорей проклинали. Ничего я не знаю!

Служанка так же плохо слышит его слова, как и свои собственные. Она снимает перчатку, чтобы вынуть деньги из кошелька. Джо молча думает, какая белая и маленькая у нее рука, и какая же это, к черту, служанка, если она носит такие

сверкающие кольца.

Не прикасаясь к нему, она бросает ему на ладонь монету и вздрагивает, когда их руки сближаются.

– Теперь, – говорит она, – покажи мне опять могилу!

Джо просовывает ручку метлы между железными прутьями и с ее помощью старается возможно точнее показать, где находится могила. Потом поворачивает голову, желая убедиться, что его поняли, и видит, что остался один.

Первое, что он делает, это – подносит монету к свету газового фонаря и приходит в полное изумление, увидев, что она желтая – золотая. Затем пробует монету на зуб, чтобы узнать, не фальшивая ли она. Наконец сует ее в рот для сохранности и тщательно подметает ступеньку и весь проход. Покончив с этим, он направляется к Одинокому Тому, но останавливается чуть не под всеми бесчисленными газовыми фонарями, вынимает золотую монету и снова пробует ее на зуб, чтобы вновь убедиться, что она не фальшивая.

Сегодня вечером Меркурий в пудреном парике не может пожаловаться на одиночество, так как миледи едет на парадный обед и на три или четыре бала. Далеко, в Чесни-Уолде, сэр Лестер беспокойно тоскует в обществе одной лишь подагры и жалуется миссис Раунсуэлл на дождь, который так монотонно барабанит по террасе, что он, сэр Лестер, не может читать газету, даже сидя у камина в своей уютной гардеробной.

– Лучше бы, милая, сэру Лестеру перейти на другую по-

ловину дома, – говорит миссис Раунсуэлл Розе. – Его гардеробная на половине миледи. А я за все эти годы ни разу так ясно не слышала шагов на Дорожке призрака, как нынче вечером!

Глава XVII
Повесть Эстер

Пока мы жили в Лондоне, Ричард очень часто приходил к нам в гости (однако после нашего отъезда он скоро перестал писать нам регулярно), и мы всегда наслаждались его обществом – такой он был остроумный, жизнерадостный, добродушный, веселый и непосредственный. Чем лучше я его узнавала, тем больше он мне нравился; и я тем сильнее жалела, что его не приучили работать усердно и сосредоточиваться на чем-нибудь одном. Его воспитывали совершенно так же, как и многое множество других мальчиков, отличающихся друг от друга характером и способностями, и научили его справляться со своими обязанностями очень быстро, всегда успешно, иногда даже превосходно, но как-то судорожно и порывисто, что и позволило развиться тем его качествам, которые непременно следовало бы сдерживать и направлять. Это были хорошие качества, без которых нельзя заслуженно добиться никакого высокого положения, но, как огонь и вода, они, будучи отличными слугами, были очень плохими хозяевами. Если бы Ричард умел управлять ими, они стали бы его друзьями; но это они управляли Ричардом и, разумеется, сделались его врагами.

Я не потому пишу все это, что считаю правильным свое

мнение о воспитании Ричарда или любом другом предмете, – просто я так думала, а я хочу правдиво рассказывать обо всем, что думала и делала. Так вот какие у меня были мысли насчет Ричарда. Кроме того, я нередко замечала, как прав был опекун, говоря, что неопределенность и волокита канцлерской тяжбы заразили Ричарда беспечностью игрока, который чувствует себя участником какой-то очень большой игры.

Мистер и миссис Бейхем Беджер пришли к нам как-то раз днем, когда опекуна не было дома, и, разговаривая с ними, я, естественно, спросила о Ричарде.

– Что сказать о нем? – промолвила миссис Беджер. – Мистер Карстон чувствует себя прекрасно, и он прямо-таки украшает наше общество, могу вас уверить. Капитан Суоссер нередко говаривал обо мне, что для мичманов мое присутствие на обеде в кают-компании приятней, чем берег впереди по носу и ветер за кормой – даже после длинного перехода, когда солонина, которой кормит судовой ревизор, стала жесткой, как нок-бензели фор-марселей. Так он по-своему, по-флотски, хотел выразить, что я украшаю любое общество. И я, безусловно, могу совершенно так же воздать должное мистеру Карстону. Но я… вы не подумаете, что я сужу слишком поспешно, если я скажу вам кое-что?

Я ответила отрицательно, ибо вкрадчивый тон миссис Беджер требовал именно такого ответа.

– И мисс Клейр тоже? – ласково проговорила миссис Бе-

джер.

Ада также ответила отрицательно, но, видимо, забеспокоилась.

– Так вот, душеньки мои, – проговорила миссис Беджер, – вы извините меня, что я называю вас душеньками?

Мы попросили миссис Беджер не стесняться.

– Потому что вы действительно душеньки, позволю себе сказать, – продолжала миссис Беджер, – просто очаровательные во всех отношениях. Так вот, душеньки мои, хоть я еще молода… или, может быть, мистер Бейхем Беджер говорит мне это только из любезности…

– Нет! – воскликнул мистер Беджер, как участник митинга, возражающий оратору. – Нет, вовсе нет!

– Отлично, – улыбнулась миссис Беджер, – скажем, еще молода.

(– Несомненно, – вставил мистер Беджер.)

– Хоть я сама еще молода, душеньки мои, но мне много раз приходилось наблюдать молодых людей.

Сколько их было на борту милого старого «Разящего»! Впоследствии, плавая с капитаном Суоссером по Средиземному морю, я пользовалась всяким удобным случаем узнать поближе и обласкать мичманов, подчиненных капитану Суоссеру. Правда, их никогда не называют «молодыми джентльменами», душеньки мои, и вы, вероятно, ничего не поймете, если сказать вам, что они еженедельно «чистят белой глиной» свои счета, но я-то понимаю (это значит, что

они их приводят в порядок), да и немудрено, что понимаю – ведь синее море сделалось для меня второй родиной и я была заправским моряком. Опять же и при профессоре Динго…

(– Прославился на всю Европу, – пробормотал мистер Беджер.)

– Когда я потеряла своего дорогого первого и стала женой своего дорогого второго, – продолжала миссис Беджер, говоря о своих двух мужьях, как будто они были частями шарады, – я снова смогла продолжать свои наблюдения над молодежью. Аудитория на лекциях профессора Динго была многолюдная, и я, как жена выдающегося ученого, сама ищущая в науке того великого утешения, которое она способна дать, считала своей почетной обязанностью принимать у себя студентов для обмена научным опытом. Каждый вторник, вечером, у нас в доме подавали лимонад и печенье всем тем, кто желал их отведать. А науки было сколько душе угодно.

(– Замечательные это были собрания, мисс Саммерсон, – с благоговением вставил мистер Беджер. – Какое великолепное общение умов происходило там, вероятно, под председательством такого человека!)

– А теперь, – продолжала миссис Беджер, – будучи женой моего дорогого третьего, то есть мистера Беджера, я не теряю своей наблюдательности, выработанной при жизни капитана Суоссера и послужившей новым, неожиданным целям при жизни профессора Динго. Поэтому о мистере Карстоне я сужу не как новичок. И все же я убеждена, душеньки

мои, что мистер Карстон выбрал себе профессию неосмотрительно.

Ада так явно встревожилась, что я спросила у миссис Беджер, на чем основаны ее предположения.

– На характере и поведении мистера Карстона, дорогая мисс Саммерсон, – ответила она. – Он такой легкомысленный, что, вероятно, никогда не найдет нужным высказать свои истинные чувства, – подумает, что «не стоит того», – но к медицине он относится вяло. У него нет к ней того живого интереса, который необходим, чтобы она стала его призванием. Если он и думает о ней что-нибудь определенное, то я бы сказала, он считает ее скучной. А это не обещает успеха. Те молодые люди, которые серьезно интересуются медициной и всеми ее возможностями, – как, например, мистер Аллен Вудкорт, – найдут удовлетворение в ней самой, а значит, будут как-то вознаграждены, несмотря на то что им придется работать очень усердно за ничтожную плату и много лет терпеть большие лишения и горькие разочарования. Но я совершенно убеждена, что мистер Карстон не из таких.

– Мистер Беджер тоже так думает? – робко спросила Ада.

– Видите ли, – начал мистер Беджер, – откровенно говоря, мисс Клейр, подобный взгляд на вещи не приходил мне в голову, пока миссис Беджер его не высказала. Но когда миссис Беджер так осветила вопрос, я, натурально, отнесся к этому с величайшим вниманием, зная, что умственные способности миссис Беджер, не говоря уж о том, каковы они от приро-

ды, имели редкостное счастье развиваться в общении с двумя столь выдающимися (скажу даже прославленными) деятелями, какими были капитан Суоссер, моряк королевского флота, и профессор Динго. И я сделал вывод… коротко говоря, он совпадает с выводом миссис Беджер.

– Капитан Суоссер, – сказала миссис Беджер, – поговаривал, выражаясь образно, по-флотски, что, когда варишь смолу, старайся, чтоб она была как можно горячее, а когда драишь палубу шваброй, то драй так, словно у тебя сам Дэви Джонс – то бишь дьявол – за спиной. Мне кажется, что этот афоризм подходит не только к мореходной, но и к медицинской профессии.

– Ко всем профессиям, – заметил мистер Беджер. – Капитан Суоссер выразил это замечательно. Прекрасно сказано.

– Когда я вышла за профессора Динго и мы после свадьбы жили в северной части Девоншира, – промолвила миссис Беджер, – местные жители протестовали, когда он портил внешний вид домов и других строений, откалывая от них куски камня своим геологическим молотком. Но профессор отвечал, что он не признает никаких зданий, кроме Храма науки. Принцип тот же самый, не правда ли?

– Именно тот же самый! – подтвердил мистер Беджер. – Отлично сказано! Во время своей последней болезни, мисс Саммерсон, профессор выражался так же, когда (уже не вполне владея своими умственными способностями) не давал убрать из-под подушки свой молоточек и все порывал-

ся откалывать кусочки от физиономий окружающих. Всепоглощающая страсть!

Мы, пожалуй, предпочли бы, чтобы мистер и миссис Беджер говорили покороче, но все же поняли, что, не скрыв от нас своего мнения о Ричарде, они поступили бескорыстно и мнение их, по всей вероятности, справедливо. Мы условились ничего не передавать мистеру Джарндису, пока не увидимся с Ричардом, который собирался прийти к нам на следующий день, а с ним решили поговорить очень серьезно.

Итак, переждав некоторое время, чтобы Ричард мог немного побыть вдвоем с Адой, я вошла в комнату, где они сидели, и сразу поняла, что моя девочка (как и следовало ожидать) готова считать его совершенно правым, что бы он ни говорил!

– Ну, Ричард, как идут ваши занятия? – спросила я.

Когда он сидел с Адой, я всегда садилась рядом с ним с другой стороны. Он любил меня как родную сестру.

– Да, в общем, недурно! – ответил Ричард.

– Лучше этого он не мог сказать, ведь правда, Эстер? – с торжеством воскликнула моя прелесть.

Я попыталась бросить на нее укоризненный взгляд, но мне это, конечно, не удалось.

– Недурно? – повторила я.

– Да, – ответил Ричард, – недурно. Медицина – наука довольно скучная и однообразная. Но она не хуже любой другой науки.

– Милый Ричард! – проговорила я с упреком.

– А что? – спросил Ричард.

– «Не хуже любой другой»!

– Я не вижу в этом ничего плохого, Хлопотунья, – проговорила Ада, доверчиво переводя глаза с него на меня, – ведь если медицина не хуже любой другой науки, то Ричард, надеюсь, сделает в ней большие успехи.

– Ну да, конечно, и я надеюсь, – сказал Ричард, небрежно откинув волосы со лба. – Может быть, это, в конце концов, всего только испытание, пока наша тяжба не… простите, совсем было позабыл! Я ведь не должен упоминать о тяжбе. Запретная тема! Ну да, в общем все обстоит недурно. Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Ада охотно согласилась бы с ним – ведь она уже была твердо убеждена, что вопрос решен вполне удовлетворительно. Но я не считала возможным остановиться на этом и начала все сызнова.

– Нельзя же так, Ричард, и ты, милая Ада! – сказала я. – Подумайте, как это важно для вас обоих; а вы, Ричард, должны твердо знать, нравится ли вам ваша будущая профессия и намерены ли вы заниматься ею серьезно, или нет, – этого требует ваш нравственный долг по отношению к кузине. Я думаю, что нам обязательно надо поговорить об этом, Ада. А то будет поздно – и очень скоро.

– Конечно! Давайте поговорим! – согласилась Ада. – Но, мне кажется, Ричард прав.

Как могла я укорять ее хотя бы взглядом, если она была такая красивая, такая обаятельная и так любила его!

– Вчера у нас были мистер и миссис Беджер, Ричард, – сказала я, – и, судя по всему, они думают, что медицина вам не очень-то по вкусу.

– Неужели? – проговорил Ричард. – Вот как! Ну, это, пожалуй, меняет дело, – ведь я понятия не имел, что они так думают, и мне не хотелось их разочаровывать или доставлять им какие-нибудь неприятности. Да я и правда не особенно интересуюсь медициной. Но ведь это неважно! Она не хуже других наук!

– Ты слышишь, Ада! – воскликнула я.

– Должен сознаться, – продолжал Ричард полузадумчиво, полушутливо, – что медицина не совсем в моем вкусе. У меня к ней не лежит душа. И я слишком много слышу о мужьях миссис Бейхем Беджер – первом и втором.

– Ну, это можно понять, – в восторге воскликнула Ада. – Мы с тобой, Эстер, вчера говорили то же самое!

– И потом, – продолжал Ричард, – слишком все это однообразно: сегодня то же, что и вчера, завтра то же, что и сегодня.

– Мне думается, – сказала я, – что это недостаток, свойственный любой деятельности… даже самой жизни, если только она не протекает в каких-то необыкновенных условиях.

– Вы полагаете? – промолвил Ричард задумчиво. – Может

быть! Ха! Но слушайте, – он снова внезапно развеселился, – мы отвлеклись от того, о чем я говорил. Повторяю – медицина не хуже любой другой науки. В общем, все обстоит недурно! Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Однако даже Ада, чье личико сияло любовью, – а теперь, когда я уже знала, какая у нее невинная и доверчивая душа, это личико казалось мне еще более невинным и доверчивым, чем в тот памятный ноябрьский туманный день, когда я впервые его увидела, – даже Ада, услышав его слова, покачала головой и приняла серьезный вид. Поэтому я воспользовалась удобным случаем и намекнула Ричарду, что если он иногда перестает заботиться о себе, то он, по моему глубокому убеждению, конечно, никогда не перестанет заботиться об Аде, и если он ее любит и считается с ней, он не должен преуменьшать важность того, что может оказать влияние на всю их жизнь. Это заставило его призадуматься.

– Милая моя Хлопотунья, в том-то все и дело! – отозвался он. – Я думал об этом несколько раз и очень сердился на себя за то, что хоть я и очень хочу серьезно взяться за дело и… но это мне… почему-то не совсем удается. Не знаю, как это получается; должно быть, мне не хватает чего-то. Как дорога мне Ада, не знает никто, даже вы, Эстер (милая моя кузина, я так вас люблю!), но во всем остальном я не способен на постоянство. Это такие трудные занятия, и на них уходит столько времени! – добавил Ричард с досадой.

– Может быть, – начала я, – вы так относитесь к ним, по-

тому что сделали неудачный выбор?

– Бедный! – промолвила Ада. – Ничуть этому не удивляюсь!

Да! Никакие мои попытки смотреть на них укоризненно не удавались. Я сделала еще попытку, но просто не могла ничего поделать с собой, да если б и могла, какой вышел бы толк, пока Ада сидела, скрестив руки на плече Ричарда, а он глядел в ее нежные голубые глаза, устремленные на него?

– Видите ли, милая девушка, – начал Ричард, перебирая пальцами золотистые локоны Ады, – возможно, что я немного поторопился, может быть, сам не разобрался в своих склонностях. Очевидно, они направлены в другую сторону. Мог ли я знать наверное, пока не попробовал? Теперь вопрос в том, стоит ли бросать то, что начато. По-моему, это все равно что поднимать переполох по пустякам.

– Милый Ричард, – проговорила я, – да как же у вас хватает духу считать свои занятия пустяками?

– Я этого не считаю, – возразил он. – Я хочу сказать, что они *могут* оказаться пустяками, потому что знание медицины мне, может быть, и не понадобится.

Тут мы с Адой начали убеждать его, что ему не только следует, но положительно необходимо бросить медицину. Затем я спросила Ричарда, не подумывает ли он о какой-нибудь другой профессии, которая ему больше по душе.

– Теперь, дорогая моя Хлопотунья, – сказал Ричард, – вы попали в цель. Да, подумываю. Я считаю, что юриспруденция

подходит мне больше всего.

– Юриспруденция! – повторила Ада, как будто испугавшись этого слова.

– Если я поступлю в контору Кенджа, – объяснил Ричард, – и буду обучаться у Кенджа, я получу возможность следить за… хм! – «запретной темой», смогу досконально изучить ее, овладеть ею и удостовериться, что о ней не забывают и ведут ее как следует. Я смогу позаботиться об интересах Ады и своих собственных (они совпадают!) и буду корпеть над трудом Блекстона и прочими юридическими книгами с самым пламенным усердием.

Я вовсе не была в этом уверена и к тому же заметила, как омрачило лицо Ады его упование на какие-то туманные возможности, с которыми были связаны столь долго не сбывающиеся надежды. Но я сочла за лучшее поддержать его намерение упорно работать – в любой области – и только посоветовала ему хорошенько проверить себя и убедиться в том, что теперь-то уж он сделал выбор раз и навсегда.

– Дорогая Минерва, – отозвался Ричард, – я такой же уравновешенный, как вы. Я сделал ошибку, – всем нам свойственно ошибаться. Больше этого не будет, и я стану юристом, каких мало. То есть, конечно, – тут Ричард опять впал в сомнения, – если стоит поднимать такой переполох по пустякам!

Это побудило нас снова и очень серьезно повторить ему все то, что говорилось раньше, и мы пришли к прежнему за-

ключению. Но мы так настоятельно советовали Ричарду откровенно и без утайки поговорить с мистером Джарндисом, не медля ни минуты, да и самому Ричарду скрытность была так чужда, что он вместе с нами сейчас же разыскал опекуна и признался ему во всем.

– Рик, – отозвался опекун, внимательно выслушав его, – мы можем отступить с честью, да так и сделаем. Но нам необходимо быть осторожными – ради нашей кузины, Рик, ради нашей кузины, – чтобы впредь уже не делать подобных ошибок. Поэтому, прежде чем решить, намерены ли мы стать юристами, мы должны выдержать серьезное испытание. Прежде чем сделать прыжок, мы хорошенько подумаем и отнюдь не будем торопиться.

Ричард был до того энергичен, нетерпелив и порывист, что ничего на свете так не желал, как сию же минуту отправиться в контору мистера Кенджа и немедленно заключить с ним договор. Однако он охотно согласился повременить, когда ему доказали, что это необходимо, и удовольствовался тем, что, усевшись среди нас в самом веселом настроении, начал рассуждать в таком духе, словно единственной и неизменной целью его жизни с самого детства была именно та, которая увлекла его теперь. Опекун говорил с ним ласково и сердечно, но довольно серьезным тоном – настолько серьезным, что это произвело впечатление на Аду, и, когда Ричард ушел, а мы уже собирались подняться к себе наверх и лечь спать, она сказала:

– Кузен Джон, я надеюсь, что вы не думаете о Ричарде хуже, чем раньше?

– Нет, милая, – ответил он.

– Ведь очень естественно, что Ричард мог ошибиться в таком трудном вопросе. Это случается довольно часто.

– Да-да, милая, – согласился он. – Не надо грустить.

– Да мне вовсе не грустно, кузен Джон! – сказала Ада с бодрой улыбкой и не отнимая своей руки, – прощаясь, она положила руку ему на плечо. – Но мне было бы немножко грустно, если бы вы начали дурно думать о Ричарде.

– Дорогая моя, – проговорил мистер Джарндис, – я только в том случае буду думать о нем дурно, если вы хоть чуть-чуть почувствуете себя несчастной по его вине, и даже тогда я скорее стану бранить не бедного Рика, но самого себя, – ведь это я познакомил вас друг с другом. Ну, довольно, – все это пустяки! У него впереди долгие годы и длинный путь. Да разве я могу думать о нем дурно? Нет, милая моя кузина, только не я! И не вы – могу поклясться!

– Нет, конечно, кузен Джон, – отозвалась Ада. – Я уверена, что не смогу, – уверена, что не стану думать дурно о Ричарде, даже если весь свет будет так думать. А если весь свет будет думать о нем дурно, я тогда и смогу и стану думать о нем лучше, чем когда-либо!

Она проговорила эти слова так спокойно, искренне, не снимая рук – теперь уже обеих рук – с плеча опекуна, и посмотрела ему в лицо, как сама Верность!

– Мне кажется, – сказал опекун, глядя на нее задумчиво, – мне кажется, где-то должно быть сказано, что добродетели матерей иногда проявляются в детях так же, как грехи отцов. Спокойной ночи, мой цветочек. Спокойной ночи, Хозяюшка. Приятного сна! Чудесных сновидений!

И тут я впервые заметила, что благожелательный взгляд, которым он всегда провожал Аду, теперь омрачен какой-то тенью. Я хорошо помнила, как он смотрел на нее и Ричарда, когда она пела, озаренная пламенем камина. Еще недавно он любовался на них, когда они пересекали комнату, освещенную солнцем, и потом уходили в тень; но теперь взгляд его изменился, и даже, когда он перевел глаза на меня, этот безмолвный взгляд, выражавший доверие ко мне, не был уже столь спокойным и полным надежд, как раньше.

В тот вечер Ада хвалила мне Ричарда больше, чем когда-либо. Ложась в постель, она не сняла подаренного им браслета. После того как она проспала около часу, я поцеловала ее в щеку, любуясь ее спокойным, счастливым личиком, и решила, что она видит во сне Ричарда.

А мне в тот вечер совсем не хотелось спать, и я села за работу. Об этом, пожалуй, не стоит упоминать, но мне действительно не спалось, и на душе у меня было довольно тоскливо. Не знаю, почему. По крайней мере думаю, что не знаю. Впрочем, может быть, и знаю, но не думаю, что это имеет значение.

Во всяком случае, я решила работать как можно усерднее,

так, чтобы некогда было тосковать. И я, конечно, сказала себе: «Ты что же это, Эстер! Тоскуешь? *Ты!*» – И сказала как раз вовремя, потому что… да, взглянув на себя в зеркало, я заметила, что чуть не плачу. «Как будто тебе есть о чем горевать; наоборот, тебе бы только радоваться надо, неблагодарная ты душа!» – сказала я.

Будь я в силах заставить себя уснуть, я бы немедленно уснула; но это было не в моих силах, и я вынула из рабочей корзинки вышивку, которую начала в те дни, – это было украшение, предназначенное для одной из комнат нашего дома (то есть Холодного дома), – и, полная решимости, принялась за нее. Эта работа требовала большого внимания – необходимо было считать все стежки, – и я сказала себе, что не прекращу ее, пока у меня не начнут слипаться глаза, и только тогда лягу спать.

Итак, я вскоре совершенно погрузилась в работу. Но оказалось, что я забыла шелк в ящике рабочего столика внизу, в нашей временной Брюзжальне, а обойтись без него было нельзя, поэтому я взяла свечу и тихонько спустилась вниз, чтобы его взять. И вот я, к великому своему изумлению, увидела, входя в комнату, что опекун еще не ушел спать, но сидит и смотрит на пепел в камине. Он глубоко задумался, позабыв о раскрытой книге, лежавшей рядом на столике; серебристо-седые волосы рассыпались у него по лбу, словно рука его бессознательно перебирала их, в то время как мысли бродили где-то далеко, а лицо было очень усталое. Я чуть

не испугалась, увидев его так неожиданно; несколько мгновений стояла не двигаясь и уже хотела было уйти, не заговорив с ним, но он снова рассеянно взъерошил волосы, заметил меня и вздрогнул.

– Эстер!

Я объяснила ему, зачем пришла.

– Что это вы так поздно сидите за работой, дорогая?

– Я потому так засиделась сегодня вечером, – ответила я, – что не могу заснуть, и хотела хорошенько утомиться. Но, дорогой опекун, вы тоже засиделись, и у вас усталый вид. Может быть, у вас неприятности, и они мешают вам спать?

– Нет, Хозяюшка, у меня нет неприятностей, а если и есть, то такие, каких вам не понять, – сказал он.

Он говорил каким-то скорбным тоном, – так он еще никогда не говорил, – и я мысленно повторила его слова, словно это могло помочь мне уяснить себе их значение: «Такие, каких *мне* не понять».

– Не уходите, Эстер, посидите минутку, – сказал он. – Я сейчас думал о вас.

– Надеюсь, опекун, что неприятности у вас не из-за меня?

Он слегка махнул рукой и сейчас же заговорил своим обычным тоном. Перемена была так разительна и он овладел собой таким большим усилием воли, что я снова невольно повторила про себя: «Такие неприятности, каких *мне* не понять!»

– Милая Хозяюшка, – начал опекун, – я все думал… то

есть думал сейчас, пока сидел здесь, что вам следует знать о себе все, что знаю о вас я. Это очень мало. Почти ничего.

– Дорогой опекун, – отозвалась я, – когда вы однажды заговорили со мной об этом…

– Но с тех пор я передумал, – серьезным тоном перебил он меня, угадав, что я хочу сказать, – и решил, что одно дело, когда вы меня о чем-нибудь спрашиваете, Эстер, и совсем другое, когда я сам что-нибудь говорю вам. Может быть, это мой долг – сообщить вам то немногое, что я знаю.

– Если вы так думаете, опекун, значит, это правильно.

– Да, я так думаю, – проговорил он очень мягко, ласково, но очень твердо. – Теперь я именно так думаю, дорогая. Возможно, что некоторым людям, с которыми стоит считаться, ваше положение представляется унизительным; а если так, надо, чтоб уж вы-то сами не преувеличивали значения всего этого только потому, что имеете лишь смутное понятие о том, как обстоит дело.

Я села и, сделав над собой небольшое усилие, чтобы успокоиться как следует, проговорила:

– Одним из самых ранних моих воспоминаний, опекун, были следующие слова: «Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время, – и очень скоро, – когда ты поймешь это лучше, чем теперь, и почувствуешь так, как может чувствовать только женщина».

Повторяя эти слова, я закрыла лицо руками, потом отняла их со стыдом, но стыд мой, надеюсь, был теперь не такой,

как прежде, а более высокий, – и тогда я сказала опекуну, что это ему я обязана счастьем никогда, никогда, никогда, начиная с отрочества и до сего времени, не чувствовать себя опозоренной. Он протянул руку, как бы желая остановить меня. Я хорошо знала, что он не любит, когда его благодарят, и умолкла.

– Девять лет, милая, – начал он, немного подумав, – девять лет прошло с тех пор, как я получил письмо от одной женщины, которая жила совсем одна, – письмо, написанное с такой суровой страстностью и силой, каких я не встречал ни в каком другом письме. Она написала его (так и было откровенно сказано в письме) потому, быть может, что ей пришла блажь оказать доверие мне; а может быть, потому, что мне свойственно оправдывать чужое доверие. В письме говорилось о девочке-сиротке, двенадцати лет, – говорилось в жестоких выражениях, примерно таких же, как те, которые вы все еще помните. Женщина писала, что взяла на воспитание девочку и, скрыв, что она жива, растит ее втайне с самого дня ее рождения; но случись ей, то есть воспитательнице, умереть раньше, чем девочка вырастет, та останется совершенно одинокой, без друзей, без имени, брошенной на произвол судьбы. И она спрашивала меня, не возьмусь ли я в этом случае завершить воспитание ребенка, начатое ею.

Я молча слушала, внимательно глядя на него.

– Ваши детские воспоминания, дорогая моя, помогут вам представить себе, в каком мрачном свете эта особа видела и

выражала все это и как затуманивала ей ум ее извращенная религия, учившая, что дитя должно искупать чужую вину, в которой оно совершенно неповинно. Я пожалел малютку, обреченную на такую печальную жизнь, и ответил на письмо.

Я взяла его руку и поцеловала ее.

– Особа эта потребовала от меня, чтобы я не пытался ее увидеть, ибо она давно уже отказалась от всяких сношений с внешним миром и согласна встретиться только с моим доверенным лицом, если я кого-нибудь уполномочу на это. Я направил к ней мистера Кенджа. Она сказала ему – конечно, по своему почину, так как сам он и не думал ее спрашивать, – что живет под вымышленным именем. Сказала, что если в подобном случае можно говорить об узах кровного родства, то она приходится девочке родной теткой. И еще сказала, что ничего больше не откроет (мистер Кендж был убежден в том, что это ее решение непоколебимо), не откроет никогда и ни в каком случае. Дорогая моя, я сказал вам все.

Я взяла его руку и задержала в своей.

– Я видел свою подопечную чаще, чем она видела меня, – с улыбкой проговорил он, стараясь перейти на менее серьезный тон, – и знал, что все ее любят, а она приносит пользу людям и счастлива сама. И теперь она воздает мне за это сторицей каждый день и каждый час!

– А еще чаще, – добавила я, – она благословляет опекуна, который стал для нее отцом!

Не успела я произнести слово «отец», как заметила, что

лицо его снова покрылось какой-то тенью. Он опять прогнал ее, и она мгновенно исчезла; но ведь она все-таки появилась, и так скоро после моих слов, что мне почудилось, будто они кольнули его. В недоумении я снова повторила про себя: «Каких *мне* не понять. Такие неприятности, каких *мне* не понять!» Да, это была правда. Я тогда ничего не поняла и не понимала еще много-много дней.

– Давайте я отечески попрощаюсь с вами, дорогая моя, – сказал он, целуя меня в лоб, – и ложитесь спать. Сейчас уже поздно работать и думать. Вы и так делаете это ради нас целый день напролет, маленькая наша домоправительница.

В ту ночь я уже больше не работала и не думала. Я раскрыла свое признательное сердце перед богом, поблагодарила его за его милости и заботу обо мне, а потом заснула.

На другой день у нас был гость: пришел мистер Аллен Вудкорт. Он явился с прощальным визитом; несколько дней назад он обещал прийти проститься с нами перед отъездом. Он получил должность корабельного врача и уезжал далеко – в Китай, в Индию. Он уезжал очень, очень надолго.

Я думаю, точнее, знаю, что он был небогат. Все, что могла ему уделить его овдовевшая мать, было истрачено на обучение медицине. Молодой врач, не имевший в Лондоне почти никаких связей, конечно, не мог хорошо зарабатывать, и хотя он день и ночь лечил бедняков, проявляя чудеса заботливости и искусства, платили ему очень мало. Он был старше меня на семь лет… впрочем, мне, пожалуй, незачем упоми-

нать об этом, так как это совершенно некстати.

Помнится, то есть он сам говорил нам, что занимался медицинской практикой три-четыре года и если бы мог продержаться еще года три-четыре, ему незачем было бы уезжать в чужие страны. Но у него не было ни состояния, ни достаточного заработка, так что пришлось пуститься в далекий путь. Он уже несколько раз заходил к нам. Нам было жаль, что он вынужден уехать, так как в медицинском мире он считался очень талантливым, и многие выдающиеся врачи ценили его высоко.

Когда он пришел с прощальным визитом, он впервые привел к нам свою мать. Это была красивая пожилая дама с живыми черными глазами, но, кажется, довольно высокомерная. Она родилась в Уэльсе и вела свое происхождение от одного достославного мужа, некоего Моргана-ап-Керрига, который жил в незапамятные времена в какой-то местности, именуемой Гимлет или что-то в этом роде, и прогремел чуть ли не на весь мир, а вся его родня была связана кровными узами с королевским семейством. Судя по всему, он всю жизнь только и делал, что уходил в горы и с кем-то сражался, а некий бард, чье имя звучало как-то вроде Крамлинуоллинуэр, воспел его в произведении, которое называлось, если я правильно расслышала, «Мьюлиннуиллинуодд».

Миссис Вудкорт пространно рассказала нам о славе своего именитого предка и заявила, что, куда бы ее сын Аллен ни поехал, он, без сомнения, не забудет о своей родословной

и ни в коем случае не сделает мезальянса, то есть не женится на девице, которая ниже его по рождению. Она сказала ему, что в Индии живет много красивых англичанок, уехавших туда с известной целью, и среди них не трудно выбрать невесту с приданым, но потомку столь знаменитого предка не надо ни красоты, ни богатства, если с ними не сочетается хорошее происхождение, ибо происхождение – это главное. Она так много рассуждала на эту тему, что я вообразила, и не без душевной боли… но как глупо было воображать, что у нее могут быть какие-то задние мысли насчет *моего* происхождения.

Мистеру Вудкорту ее многословие как будто немного испортило настроение, но он был слишком вежлив, чтобы дать ей это понять, и, постаравшись незаметно перевести разговор, выразил благодарность опекуну за его радушие и за те очень счастливые часы, – он так и сказал: «очень счастливые часы», – которые он провел с нами. Воспоминание о них, сказал он, будет сопровождать его, куда бы он ни поехал, и он всегда будет дорожить ими. И вот мы поочередно пожали ему руку… по крайней мере так поступили все наши… и я тоже, а он поцеловал руку у Ады и… у меня, а потом ушел, расставшись с нами надолго, – ведь он уезжал далеко, так далеко!

Весь этот день я была очень занята: писала домой письма, в которых давала распоряжения прислуге, писала записки от имени опекуна, стирала пыль с его книг и бумаг, и мои ключи

от хозяйства то и дело звенели. Стало смеркаться, а я все еще была занята – вышивала, сидя у окна и что-то напевая, – и вдруг к нам неожиданно пришла не кто иная, как Кедди.

– Кедди, милая моя, – сказала я, – какие прелестные цветы!

В руках у нее был очаровательный букетик цветов.

– И правда, Эстер, – отозвалась Кедди. – Таких чудесных цветов я в жизни не видела.

– Принц подарил, милочка? – спросила я шепотом.

– Нет, – ответила Кедди, качая головой и протягивая мне цветы, чтобы я их понюхала. – Не Принц.

– Ну и Кедди! – воскликнула я. – Так, значит, у вас два поклонника!

– Что вы! Да разве это такие цветы, какие дарят поклонники? – промолвила Кедди.

– Разве это такие цветы, какие дарят поклонники? – повторила я, ущипнув ее за щечку.

Кедди в ответ только рассмеялась, сказала, что зашла ненадолго, потому что через полчаса придет Принц и будет ждать ее на углу улицы, потом села со мной и Адой у окна и, разговаривая, то и дело снова протягивала мне цветы или прикладывала их к моим волосам. В конце концов, уже перед уходом, она увела меня в мою комнату и сунула их мне за корсаж.

– Значит, это мне? – спросила я удивленно.

– Вам, – ответила Кедди, целуя меня. – Их оставил один

человек.

– Оставил?

– У бедной мисс Флайт, – сказала Кедди. – Один человек, который всегда был очень добр к ней, час назад торопился на корабль и оставил у нее эти цветы. Нет-нет! Не снимайте их. Они такие прелестные, пусть останутся! – добавила Кедди, осторожно поправляя цветы. – Ведь я сама была там при этом и не удивлюсь, если этот человек оставил их нарочно!

– Разве это такие цветы, какие дарят поклонники? – со смехом проговорила Ада, подойдя сзади и обняв меня за талию. – Ну, конечно, такие, Хлопотунья! Именно такие, какие дарят поклонники. Как раз такие, душенька моя!

Глава XVIII
Леди Дедлок

Не так-то легко было, как мы думали вначале, поместить Ричарда в контору мистера Кенджа, чтобы юноша мог «проверить себя». И больше всего этому помешал сам Ричард. Как только он получил возможность покинуть мистера Беджера когда угодно, он начал сомневаться, хочется ему с ним расстаться или нет. Он, право, не знает, говорил он, нужно ли это! Ведь медицина неплохая профессия; он не стал бы утверждать, что она ему не нравится; может быть, она ему нравится не меньше, чем любая другая; а что, если сделать еще одну попытку? Тут он на несколько недель уединился, обложившись учебниками и костями, и, кажется, приобрел большой запас знаний в очень короткий срок. Но рвение его спустя примерно месяц стало остывать, а когда совсем остыло, начало разгораться снова. Колебания Ричарда между юридическими науками и медицинскими тянулись так долго, что он только в середине лета окончательно расстался с мистером Беджером и поступил на испытание в контору господ Кенджа и Карбоя. Несмотря на свое непостоянство, он ставил себе в большую заслугу, что «на этот раз» решил всерьез приняться за дело. И он всегда был так добродушен, так радужно настроен и так ласков с Адой, что по-

рицать его было, право же, очень трудно.

– А мистер Джарндис (который, должна заметить, все это время находил, что ветер застрял где-то на востоке и дует только оттуда), мистер Джарндис – это такой человек, что лучше его во всем свете не сыщешь, Эстер! – нередко говорил мне Ричард. – Хотя бы только ради его удовольствия я должен по-настоящему взяться за дело и принять окончательное решение.

Мысль о том, что можно «по-настоящему взяться за дело» с таким смеющимся лицом, беззаботным видом и уверенностью в том, что все на свете может привлечь на время, но ничто не может удержать навсегда, – казалась мне до смешного невероятной. Как бы то ни было, в этот переходный период Ричард, по его собственным словам, работал так, что сам удивлялся, почему у него не седеют волосы. Но его «окончательное решение» свелось к тому, что (как я уже говорила) он в середине лета поступил в контору мистера Кенджа, чтобы узнать, как ему там понравится.

В денежных делах он все это время был таким, каким я уже описывала его раньше: щедрым, расточительным, безрассудно небрежным, но глубоко убежденным в своей расчетливости и осмотрительности. Примерно в ту пору, когда он собирался поступить к мистеру Кенджу, я полушутя, полусерьезно сказала как-то раз Аде в его присутствии, что ему не худо бы иметь кошелек Фортуната, так легкомысленно он относится к деньгам… на что он возразил следующим обра-

зом:

– Драгоценная моя кузина, послушайте-ка эту Старушку! Почему она так ворчит? Потому что я на днях заплатил всего только восемь фунтов (или сколько их там было?) за довольно изящный жилет и пуговицы к нему. Но, останься я у Беджера, мне пришлось бы выложить двенадцать фунтов за какие-то невыносимо скучные лекции. В итоге получается, что на этой операции я одним махом заработал целых четыре фунта!

Опекун долго обсуждал с ним вопрос, где ему поселиться на время его пробных занятий юриспруденцией, потому что мы давно уже вернулись в Холодный дом, а он был далеко от Лондона, и Ричард мог навещать нас лишь раз в неделю, не чаше. И вот однажды опекун сказал мне, что, если Ричард окончательно утвердится у мистера Кенджа, придется нанять ему квартиру или меблированные комнаты, куда мы могли бы иногда приезжать на несколько дней.

– Но в том-то и дело, Хозяюшка, – добавил он, ероша волосы с очень многозначительным видом, – что он еще не окончательно там утвердился!

Эти разговоры кончились тем, что мы наняли для Ричарда очень уютную меблированную квартиру в тихом старинном доме близ Куин-сквер, с платой за месяц вперед. И тут Ричард немедленно принялся тратить все деньги, какие у него были, на покупку всяких нелепых безделушек и украшений для своих комнат, и каждый раз, как нам с Адой уда-

валось отговорить его от какой-нибудь совершенно ненужной и особенно дорогой покупки, он записывал себе в актив ее стоимость и заявлял, что, купив что-нибудь более дешевое, он тем самым получит чистую прибыль.

Пока заканчивались все эти дела, наша поездка к мистеру Бойторну все откладывалась и откладывалась. Но вот наконец Ричард устроился в своей квартире, и ничто больше не мешало нам уехать. В такое время года, то есть летом, когда в юридическом мире застой, Ричард отлично мог бы отправиться вместе с нами, но он был страстно увлечен новизной своего положения и с головой ушел в энергичнейшие попытки раскрыть тайны роковой тяжбы. Поэтому мы уехали без него, и моя милая подруга была счастлива возможностью похвалить его за такое усердие.

В Линкольншир мы отправились в пассажирской карете, и поездка эта была очень приятной, причем с нами ехал занимательный собеседник в лице мистера Скимпола. Как оказалось, всю его мебель увез тот самый человек, который описывал ее в день рождения его голубоглазой дочери; но мистер Скимпол не огорчался, напротив – даже испытывал большое облегчение при мысли о том, что мебели у него больше нет. Кресла и столы, говорил он, предметы утомительные, ибо они всегда одинаковы и выражение у них не меняется – тупо уставятся на тебя и смотрят, так что даже неприятно становится, а ты на них смотришь столь же тупо. Словом, гораздо лучше не привязываться к одним и тем же креслам и столам,

но порхать, как бабочка, среди мебели, взятой напрокат, перелетая с палисандрового дерева на красное, с красного на ореховое, с мебели одного стиля на мебель другого стиля – как бог на душу положит!

– Любопытней всего, – говорил мистер Скимпол с внезапно пробудившимся юмором, – что я не заплатил мебельному торговцу за свои столы и кресла, тем не менее мой квартирохозяин отобрал их, недолго думая. Потеха, да и только! Просто нелепость какая-то! Мебельный торговец ведь не давал обязательства вносить моему хозяину плату за мою квартиру. Так зачем же мой хозяин ссорится с *ним*? Если у меня на носу сидит прыщик, который не соответствует оригинальным представлениям моего хозяина о красоте, то хозяину моему незачем скрести нос мебельного торговца, на котором и прыщика-то нет. Он рассуждает нелогично.

– Ну, – добродушно заметил опекун, – за столы и кресла, очевидно, заплатит тот, кто давал поручительство, что за них будет заплачено.

– Правильно! – согласился мистер Скимпол. – Но в том-то и вся загвоздка этой нелепой истории! Я сказал своему хозяину: «Вы, вероятно, не знаете, любезный, что за вещи, которые вы столь неделикатно отбираете, придется платить моему добрейшему другу Джарндису. Неужели вы не питаете уважения к *его* собственности?» Нет, не питает, ответил он; ни малейшего.

– И отверг все предложения? – спросил опекун.

– Отверг все предложения, – ответил мистер Скимпол. – Я сделал ему несколько деловых предложений. Я привел его к себе в комнату. Я спросил: «Вы деловой человек, не так ли?» Он ответил: «Да, деловой». – «Отлично, – сказал я, – так давайте поступать по-деловому. Вот чернильница, вот перья и бумага, вот облатки. Чего вы хотите? Я много лет жил в вашем доме, и думается мне, – к обоюдному удовольствию, покуда не возникло это неприятное недоразумение; так давайте же будем и друзьями, и деловыми людьми одновременно. Чего вы хотите?» На это он ответил образным выражением – оно хоть и английское, но в восточном вкусе, – он сказал, что «никогда не видел, какого цвета у меня деньги». «Любезный друг, – сказал я, – да у меня никогда не бывает денег. Я о деньгах и понятия не имею». – «Ну, сэр, – спросил он, – так что же вы мне предложите, если я соглашусь повременить?» – «Дорогой мой, – ответил я, – о времени я тоже не имею понятия; но вы, по вашим же словам, – деловой человек, и все, что вы ни предложите осуществить деловым образом при помощи перьев, чернил и бумаги… и облаток… я на все готов. Не возмещайте своих убытков за счет другого человека (ибо это глупо), но поступайте по-деловому!» Однако он отказался, и этим все кончилось.

Если ребячливость мистера Скимпола и причиняла ему самому известные неудобства, то она зато, несомненно, давала ему некоторые преимущества. Во время нашей поездки он с большим аппетитом уплетал все то, что мы покупали в

пути (управился даже с целой корзинкой отборных оранжерейных персиков), но ему и в голову не приходило платить за себя. Так, например, когда кучер начал собирать плату за проезд и мистер Скимпол шутливо спросил его, какую плату он, кучер, считает очень хорошей, скажем даже – щедрой, а тот ответил: «Полкроны с пассажира», мистер Скимпол заметил, что, принимая во внимание все обстоятельства, это совсем дешево, но платить предоставил мистеру Джарндису.

Погода была чудесная. Еще не созревшие хлеба волновались так красиво, жаворонки пели так радостно, живые изгороди были так густо усыпаны цветами, листва на деревьях была так пышна, а легкий ветерок веял над цветущими бобовыми плантациями, которые наполняли воздух таким дивным благоуханием! Близился вечер, когда мы въехали в город, где нам предстояло выйти из пассажирской кареты, – невзрачный городок со шпилем на церковной колокольне, рыночной площадью, каменной часовенкой на этой площади, единственной улицей, ярко освещенной солнцем, прудом, в который, ища прохлады, забрела старая кляча, и очень немногочисленными обитателями, которые от нечего делать полеживали или стояли сложа руки в холодке, отыскав где-нибудь немножко тени. После шелеста листьев, сопровождавшего нас всю дорогу, после окаймлявших ее волнующихся хлебов этот городишко показался нам самым душным и сонным из всех захолустных городков Англии.

На постоялом дворе мистер Бойторн, верхом на коне,

ждал у открытого экипажа, в котором собирался везти нас к себе в усадьбу, расположенную в нескольких милях отсюда. Завидев пассажирскую карету, он пришел в неописуемый восторг и мгновенно соскочил на землю.

– Клянусь небом! – воскликнул он, изысканно-вежливо поздоровавшись с нами. – Это не карета, а позор! Вот вам разительнейший пример, как отвратительны эти экипажи общего пользования; но такой, как этот, еще никогда не обременял земли. Сегодня он опоздал на двадцать пять минут. Кучера надо казнить!

– Да разве он опоздал? – спросил мистер Скимпол, к которому мистер Бойторн случайно повернулся. – Вы знаете мой недостаток – не имею представления о времени.

– На двадцать пять минут! Нет, на двадцать шесть минут! – ответил мистер Бойторн, взглянув на свои часы. – Этот негодяй вез двух дам и все-таки нарочно опоздал на целых двадцать шесть минут. Нарочно! Это не могло произойти случайно. Да и немудрено, ведь его отец, да и дядя тоже были самыми беспутными кучерами, какие когда-либо сидели на козлах.

Выпаливая все это с самым яростным возмущением, он с величайшей деликатностью усаживал нас в маленький фаэтон, расточая улыбки и сияя от радости.

– Очень жаль, молодые леди, – сказал он, стоя с обнаженной головой у дверцы экипажа, когда все уже уселись, – очень жаль, что мне придется везти вас кружным путем –

почти две лишних мили. Но прямая дорога идет через парк сэра Лестера Дедлока, а у нас с ним такие отношения, что я дал клятву – пока я жив, ни моей ноги, ни ноги моего коня не будет во владениях этого господина!

И, поймав взгляд опекуна, он расхохотался так громогласно, что даже застывший в неподвижности городишко как будто зашевелился.

– Разве Дедлоки тут, Лоуренс? – спросил опекун, когда мы уже отъехали и мистер Бойторн рысцой трусил по обочине, покрытой зеленым дерном.

– Сэр Гордец Болван тут, – ответил мистер Бойторн. – Ха-ха-ха! Сэр Гордец тут, и я рад сообщить, что тут ему сбили спесь. Миледи, – упоминая о ней, он всегда делал изысканно-вежливый жест, как бы желая подчеркнуть, что она непричастна к ссоре, – миледи, насколько я знаю, вот-вот должна приехать. Ничуть не удивляюсь, что она нарочно не приезжает сюда как можно дольше. Что только могло побудить столь бесподобную женщину выйти за это чучело, за этого истукана-баронета – неизвестно, и из всех тайн, какие когда-либо ставили в тупик любознательное человечество, эта тайна – самая непроницаемая! Ха-ха-ха-ха!

– Ну, если там не будет твоей ноги, – со смехом сказал опекун, – то *наши-то* ноги, вероятно, имеют право ходить по парку, пока мы здесь? На нас этот запрет не распространяется, не так ли?

– Своим гостям я ничего не могу запретить, – ответил ми-

стер Бойторн, слегка поклонившись Аде и мне с той вежливой улыбкой, которая так к нему шла, – разве только уезжать из моего дома. Все же я огорчен, что лишен удовольствия сопровождать их в прогулках по Чесни-Уолду, который очень красив. Но клянусь светом этого летнего дня, Джарндис, если ты сделаешь визит владельцу поместья, пока гостишь у меня, тебя примут холодно. Он и всегда-то чопорный, деревянный – ни дать ни взять часы с недельным заводом, те часы, что стоят в роскошном деревянном футляре, но никогда не идут и никогда не шли, ха-ха-ха! – но с друзьями своего друга и соседа Бойторна он будет особенно чопорен, можешь быть уверен.

– Я не стану подвергать его испытанию, – промолвил опекун. – Он, вероятно, так же не добивается чести познакомиться со мной, как я – чести познакомиться с ним. Подышу воздухом в парке да, пожалуй, посмотрю издали на дом, которым вольны любоваться все туристы, и хватит с меня.

– Отлично! – сказал мистер Бойторн. – В общем, я этому радуюсь. Так лучше. В этой округе на меня смотрят как на второго Аякса, который вызывает на бой молнию. Ха-ха-ха-ха! Когда я по воскресеньям хожу в нашу церковку, значительная часть незначительных прихожан ожидает, что когда-нибудь я, иссушенный и опаленный гневом Дедлока, рухну на каменный пол. Ха-ха-ха-ха! Дедлок, несомненно, удивляется, что я не падаю. Да и как ему не удивляться, клянусь небом, этому самодовольнейшему, тупейшему, чванли-

вейшему и совершенно безмозглому ослу!

Мы достигли вершины холма, на который поднимались, и тут наш друг показал нам издали на Чесни-Уолд, позабыв на время о владельце этого поместья.

Живописный старинный дом стоял в чудесном парке, очень густом и тенистом. Над деревьями, невдалеке от дома, возвышалась церковка, о которой говорил мистер Бойторн, и он указал нам на нее. О, как прекрасны были они, эти торжественные леса, по которым свет солнца и тени облаков мелькали, словно крылья небожителей, уносящихся в летнем воздухе к какой-то благой цели; как прекрасны были эти пологие зеленые склоны, эта блещущая река, этот сад, где цветы на симметрично разбитых клумбах цвели, сверкая ярчайшими красками! Дом с фронтонами, трубами, башнями, башенками, темной нишей подъезда, широкой террасой и пылающими розами, которые оплетали балюстраду и лежали на каменных вазах, казался почти призрачным, – так он был легок и вместе с тем монументален, в такую безмятежную, мирную тишину он был погружен. Мы с Адой решили, что тишина – это самая отличительная его черта. Все здесь – дом, сад, терраса, зеленые склоны, река, старые дубы, папоротники, мох, леса, открывшаяся в просеках, широко разостлавшаяся перед нами лиловатая даль – все, казалось, замерло в невозмутимом покое.

Мы въехали в небольшую деревню, миновали маленький постоялый двор с качавшейся над дорогой вывеской, кото-

рая гласила: «Герб Дедлоков», и, проезжая мимо, мистер Бойторн поздоровался с каким-то молодым джентльменом, который сидел на скамье у входа, положив рядом с собой рыболовные принадлежности.

– Это внук домоправительницы, мистер Раунсуэлл, – объяснил мистер Бойторн, – он влюблен в одну хорошенькую девушку, которая служит в усадьбе. Леди Дедлок привязалась к этой красотке и намерена удержать ее при своей прекрасной особе, но мой молодой друг отнюдь не ценит этой чести! Впрочем, сейчас он и сам не мог бы жениться, даже если б его бутончик согласился за него выйти, а значит, волей-неволей покоряется судьбе. Так он пока что частенько наведывается сюда на день – на два… удить рыбу… Ха-ха-ха-ха!

– Он обручился с этой хорошенькой девушкой, мистер Бойторн? – спросила Ада.

– Как вам сказать, дорогая мисс Клейр, – ответил он, – мне думается, они, вероятно, уже объяснились; но вы сами их скоро увидите, конечно, а о такого рода делах вы можете рассказать мне побольше… чем я вам.

Ада залилась румянцем, а мистер Бойторн рысью понесся вперед на сером красавце коне, спешился у подъезда своего дома и стал перед ним, протянув руку и сняв шляпу, чтобы приветствовать нас, когда мы подъедем.

Мистер Бойторн поселился в доме, где раньше жил приходский священник, – очаровательном доме с лужайкой

перед входом, пышным цветником сбоку и превосходным фруктовым садом и огородом в глубине усадьбы, окруженной старинной кирпичной стеной, у которой был такой вид, словно она сама созрела и зарумянилась, как плод. Да и все здесь радовало глаз зрелостью и полнотой жизни. Старые липы в аллее сплелись кронами, образовав зеленый свод; самые тени вишен и яблонь казались тяжелыми, так густо были усыпаны их ветви плодами, а ветки на кустах крыжовника, обремененные ягодами, гнулись дугой и ложились на землю; клубника и малина росли в таком же изобилии, а на шпалерах сотнями зрели персики. Под раскинутыми сетями и стеклами парниковых рам, сверкавшими и мерцавшими на солнце, виднелись такие густые заросли гороха, тыкв и огурцов, что каждый квадратный фут почвы здесь казался какой-то овощной сокровищницей, а запах душистых трав и разных полезных растений (не говоря уж об аромате ближних лугов, где начинался сенокос) насыщал воздух благоуханием, точно огромный букет. Такая тишина и спокойствие царили в этой благоустроенной усадьбе, огражденной старинной красной стеной, что даже гирлянды из перьев, вывешенные для отпугивания птиц, едва колыхались, а у самой стены вид был прямо-таки цветущий, и хотя на верхушке ее кое-где и торчали бесцельно гвозди и обломки упавшего карниза, но легче было вообразить их перезревшими подобно плодам в смене времен года, чем поверить в то, что эти гвозди заржавели, а карниз обрушился, подчиняясь общей судьбе всего

на свете.

В доме, правда, было меньше порядка, чем в саду, зато это был настоящий старинный дом, где во всех комнатах потолки были настланы на толстые балки, где в кухне пол был кирпичный, а камин огромный, со скамьями внутри, вдоль боковых стен. По соседству с домом находился злосчастный спорный участок земли, и там мистер Бойторн поставил караульного в рабочей блузе, который дежурил здесь день и ночь и был обязан в случае нападения немедленно звонить в большой колокол, повешенный специально для этой цели, спускать с цепи своего союзника – огромного бульдога, помещенного тут же, в конуре, и вообще разить врага. Не довольствуясь этими мерами предосторожности, мистер Бойторн самолично составил и вывесил на крашеных деревянных щитах, на которых огромными буквами было начертано его имя, следующие объявления с торжественными предупреждениями:

«Берегитесь бульдога. Свиреп ужасно. Лоуренс Бойторн».

«Мушкетон заряжен крупной дробью. Лоуренс Бойторн».

«Капканы и самострелы расставлены повсюду и стоят здесь круглые сутки. Лоуренс Бойторн».

«Внимание! Любое лицо или лица, которые дерзко осмелятся переступить границу этого владения, будут строжайше наказаны мною и подвергнутся судебному преследованию по всей строгости закона. Лоуренс Бойторн».

Эти щиты он показал нам из окна гостиной, а птичка пры-

гала у него на голове, и сам он хохотал: «Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!» – до того неистово, что я опасалась, как бы он себе не повредил.

– Стоит ли так хлопотать, – заметил мистер Скимпол всегдашним своим легким тоном, – если вы в глубине души относитесь к этому несерьезно?

– Несерьезно! – подхватил мистер Бойторн с несказанной горячностью. – Несерьезно! Да если бы только я мог надеяться, что сумею выдрессировать льва, я бы купил льва вместо этого пса и спустил его на первого же дерзкого разбойника, который осмелится попирать мое право. Пусть только сэр Лестер Дедлок согласится выйти и решить наш спор поединком, и я буду биться с ним любым оружием, известным человечеству в любую эпоху и в любой стране. Вот как серьезно я к этому отношусь! Вот как!

Мы приехали к нему в субботу. В воскресенье утром все мы отправились пешком в церковку, стоявшую в парке. Пройдя спорный участок земли, мы почти тотчас же вступили в парк и пошли по прелестной тропинке, которая извивалась в зеленой траве под раскидистыми деревьями и наконец привела нас к паперти.

Молящихся оказалось очень мало – все только деревенские жители, если не считать многолюдной дворни Чесни-Уолда, – некоторые уже сидели на скамьях, другие еще только входили в церковь. В толпе слуг выделялись осанистые ливрейные лакеи и типичный старосветский кучер, си-

девший с таким чванным видом, словно он прибыл сюда как официальный представитель всех тех напыщенных и важных персон, которых он когда-либо возил в своей карете. Была тут и целая выставка миловидных молодых женщин; но величавая домоправительница затмевала их всех красивым немолодым лицом и статной крупной фигурой. Рядом с нею сидела та хорошенькая девушка, о которой нам говорил мистер Бойторн. Она была необыкновенно хороша, и я могла бы догадаться, кто она такая, по ее красоте, даже если бы не заметила, как она вспыхивает под взглядами юного рыболова, которого я увидела неподалеку от нее. Одна женщина, с неприятным, хотя и красивым лицом, недоброжелательно рассматривала хорошенькую девушку, да, пожалуй, всех и все в церкви. Оказалось, что эта женщина француженка.

Колокол все звонил и звонил, но знатные прихожане пока еще не прибыли, поэтому я успела рассмотреть церковь, в которой пахло землей, словно от могилы, и подумать о том, как эта церковка сумрачна, ветха и торжественна. Свет едва проникал сюда через окна, за которыми росли деревья, и в этом тусклом свете окружающие меня лица казались бледными, а древние латунные плитки в полу и попорченные временем и сыростью надгробия – совсем темными; зато маленькая паперть, где звонарь монотонно звонил в колокол, казалась залитой необыкновенно ярким солнцем. Но вот молящиеся, сидевшие у входа, заволновались, благоговейный трепет пробежал по лицам всех этих простых людей, а ми-

стер Бойторн напустил на себя добродушно-свирепый вид, притворяясь, будто твердо решил не замечать существования некоторых лиц, и мне стало ясно, что знатные прихожане прибыли, а значит, служба сейчас начнется.

«Господи, не входи в суд с рабом твоим, ибо око твое видит…»

Забуду ли, как быстро забилось мое сердце, когда, встав с места, я почувствовала на себе чей-то взгляд?

Забуду ли, как эти прекрасные, гордые глаза внезапно утратили свою томность и приковали к себе мои? Прошло лишь мгновение, а с меня, выражаясь образно, уже «сняли оковы», и я опустила глаза и перевела их на страницы молитвенника; но хоть и короток был этот миг, я успела хорошо разглядеть прекрасное лицо той, что на меня взглянула.

И, странное дело, во мне всколыхнулось нечто связанное с моей одинокой жизнью у крестной; да, именно с теми далекими днями, когда я, кончив одевать свою куклу и одеваясь сама, становилась на цыпочки перед зеркальцем. А ведь я никогда в жизни не видела этой дамы… в этом я была уверена вполне… глубоко убеждена.

Нетрудно было догадаться, что церемонный, подагрический седовласый джентльмен, сидевший вместе с нею на большой, отгороженной от прочих скамье, – это сэр Лестер Дедлок, а дама – его супруга, леди Дедлок. Но отчего лицо ее пробудило во мне обрывки давних воспоминаний, смутных, разрозненных, словно увиденных в разбитом зеркале, и от-

чего, случайно встретившись с нею взглядом, я так взволновалась, пришла в такое смятение (а я все еще не могла успокоиться) – этого я не могла понять.

Решив, что это просто необъяснимая слабость, я попыталась преодолеть ее, вслушиваясь в слова молитв. Но, как ни странно, мне чудилось, будто это звучит не голос священника, а незабываемый голос моей крестной. И тут я подумала: а может быть, леди Дедлок случайно оказалась похожей на мою крестную? Пожалуй, между ними действительно было небольшое сходство, но только не в выражении лица – ибо в тех чертах, на которые я смотрела, не было и следа суровой решимости, избороздившей лицо крестной, как ливни скалу; а одно лишь легкое сходство черт едва ли могло бы так поразить меня. Кроме того, я до этой минуты ни в чьем лице не наблюдала такого высокомерия и гордости, как в лице леди Дедлок. И все же *я – я*, маленькая Эстер Саммерсон, девочка, которая когда-то жила одиноко, девочка, чей день рождения не праздновали, – казалось, вставала перед моими собственными глазами, вызванная из прошлого какой-то силой, таившейся в этой светской даме, а ведь я не могла бы сказать: «Мне кажется, что я вижу ее впервые», – нет, я была твердо уверена, что никогда не видела ее раньше.

Я так трепетала от этого необъяснимого волнения, что даже наблюдательный взгляд француженки-горничной тревожил меня, хоть я и заметила, что не успела она войти в церковь, как принялась шнырять глазами туда, сюда и во все

стороны. Мало-помалу, но очень медленно, я в конце концов поборола свое странное волнение. Не скоро взглянула я снова на леди Дедлок. Это было в ту минуту, когда молящиеся готовились петь хором перед началом проповеди. Но леди Дедлок уже не обращала на меня внимания, и сердце мое перестало стучать. Да и после оно трепетало лишь несколько мгновений, – когда леди Дедлок раза два взглянула в лорнет не то на меня, не то на Аду.

Служба кончилась, сэр Лестер изысканно-вежливо и галантно предложил руку леди Дедлок – хотя ему самому приходилось опираться на толстую палку – и повел свою супругу к выходу из церкви, а потом к поджидавшему их экипажу, в который были запряжены пони. После этого разошлись и слуги и остальные прихожане, на которых сэр Лестер (по выражению мистера Скимпола, вызвавшему бурный восторг мистера Бойторна) взирал с таким видом, словно считал себя крупным землевладельцем не только на земле, но и на небесах.

– Да ведь он и впрямь верит, что так оно и есть! – воскликнул мистер Бойторн. – Верит твердо. Так же верили его отец, дед и прадед.

– А вы знаете, – совершенно неожиданно заметил мистер Скимпол, обращаясь к мистеру Бойторну, – мне приятно видеть человека такого склада.

– Неужели? – удивился мистер Бойторн.

– Представьте себе, что он пожелает отнестись ко мне по-

кровительственно, – продолжал мистер Скимпол. – Пускай себе! Я не возражаю.

– А *я* возражаю, – проговорил мистер Бойторн очень решительно.

– В самом деле? – подхватил мистер Скимпол со свойственной ему легкостью и непринужденностью. – Но ведь с этими возражениями связано много всякого беспокойства. А стоит ли вам беспокоиться? Вот я совсем по-детски принимаю все, что выпадает мне на долю, и ни о чем не беспокоюсь! Скажем так: я приезжаю сюда и нахожу здесь могущественного властителя, который требует к себе почтения. Прекрасно! Я говорю: «Могущественный властитель, вот вам дань моего почтения! Легче отдать ее, чем удержать. Берите! Можете показать мне что-нибудь приятное – пожалуйста, буду счастлив полюбоваться; можете подарить мне что-нибудь приятное – пожалуйста, буду счастлив принять». Выслушав мои слова, могущественный властитель подумает: «Неглупый малый. Я вижу, он приспособляется к моему пищеварению и к моей желчи. Он не принуждает меня сворачиваться подобно ежу и топорщить иглы. Напротив, при нем я расцветаю, раскрываюсь, показываю свои светлые стороны, как туча у Мильтона, и тем приятнее нам обоим». Вот мой детский взгляд на такие вещи.

– Но предположим, что завтра вы отправитесь куда-нибудь в другое место, – проговорил мистер Бойторн, – и там встретите человека совершенно противоположного склада.

Как тогда?

– Как тогда? – повторил мистер Скимпол, являя всем своим видом величайшую искренность и прямодушие. – Совершенно так же. Я скажу: «Глубокоуважаемый Бойторн (допустим, что это вы олицетворяете нашего мифического приятеля), глубокоуважаемый Бойторн, вам не нравится могущественный властитель? Прекрасно. Мне также. Но я считаю, что в обществе я должен быть приятным; я считаю, что в обществе приятным обязан быть каждый. Короче говоря, общество должно быть гармоничным. Поэтому, если вам что-либо не нравится, мне это тоже не нравится. А теперь, высокочтимый Бойторн, пойдемте обедать!»

– Но высокочтимый Бойторн мог бы сказать… – возразил наш хозяин, надуваясь и густо краснея: – «Будь я…

– Понимаю, – перебил его мистер Скимпол. – Весьма возможно, он так и сказал бы.

– …если я *пойду* обедать!» – вскричал мистер Бойторн в буйном порыве, останавливаясь, чтобы хватить палкой по земле. – И он, наверное, добавил бы: «А есть ли в природе такая вещь, как принцип, мистер Гарольд Скимпол?»

– На что Гарольд Скимпол ответил бы следующее, – отозвался тот самым веселым тоном и с самой светлой улыбкой: – «Клянусь жизнью, не имею об этом ни малейшего понятия! Не знаю, какую вещь вы называете этим словом, не знаю, где она и кто ею владеет. Если вы владеете ею и находите ее удобной, я в восторге и сердечно вас поздравляю. Но

сам я понятия о ней не имею, уверяю вас, потому что я сущее дитя; и я ничуть не стремлюсь к ней и не жажду ее». Итак, сами видите, что высокопочтенный Бойторн и я, мы в конце концов пошли бы обедать.

То был один из их многих кратких разговоров, неизменно внушавших мне опасение, что они могут кончиться, – как, пожалуй, и кончились бы при других обстоятельствах, – бурным взрывом со стороны мистера Бойторна. Но в нем было сильно развито чувство гостеприимства и своей ответственности как нашего хозяина, а мой опекун искренне хохотал, вторя шуткам и смеху мистера Скимпола, словно смеху ребенка, который день-деньской то выдувает, то протыкает мыльные пузыри; поэтому дело никогда не заходило далеко. Сам мистер Скимпол, казалось, не сознавал, что становится на скользкий путь, и после таких случаев обычно шествовал в парк рисовать, – но никогда не кончал рисунка, – или принимался играть на рояле отрывки из каких-нибудь музыкальных произведений, или напевать отдельные фразы из разных песенок, а не то ложился на спину под дерево и созерцал небо, для чего, по его словам, он и был создан – так ему это нравилось.

– Предприимчивость и энергия приводят меня в восторг, – говорил он нам (лежа на спине). – Я, должно быть, заядлый космополит. К космополитам у меня глубочайшая симпатия. Я лежу в тенистом месте, как, например, вот это, и с восхищением размышляю о тех храбрецах, что отправля-

ются на Северный полюс или проникают в самую глубь знойных областей. Меркантильные души спрашивают: «Зачем человеку отправляться на Северный полюс? Какой в этом толк?» Не знаю, но *знаю* одно: быть может, он отправляется с целью, – хотя и неведомой ему самому, – занять мои мысли, покуда я лежу здесь. Возьмем особый пример. Возьмем рабов на американских плантациях. Допускаю, что их жестоко эксплуатируют, допускаю, что им это не совсем нравится, допускаю, что, в общем, им приходится туго; но зато для меня рабы населяют пейзаж, для меня они придают ему поэтичность, и, может быть, это – одна из отраднейших целей их существования. Если так – прекрасно, и я не удивлюсь, если так оно и есть.

В подобных случаях я всегда спрашивала себя, думает ли он когда-нибудь о миссис Скимпол и своих детях и в каком аспекте они представляются его космополитическому уму. Впрочем, насколько мне было известно, они вообще возникали в его представлении весьма редко.

Опять настала суббота, то есть прошла почти неделя с того дня, когда мы были в церкви, где у меня так сильно забилось сердце, и каждый день этой недели был до того ясным и лазурным, что мы с величайшим наслаждением гуляли в лесу, любуясь на прозрачные листья, пронизанные светом, который сверкал искрами в узорном сплетенье отброшенных деревьями теней, в то время как птицы распевали свои песни, а воздух, наполненный жужжанием насекомых, навевал

дремоту. В лесу мы облюбовали одно местечко – небольшую вырубку, покрытую толстым слоем мха и палых прошлогодних листьев, где лежало несколько поваленных деревьев с ободранной корой. Расположившись среди них, в конце просеки, зеленые своды которой опирались на тысячи белеющих древесных стволов – этих колонн, созданных природой, – мы смотрели на открывавшийся в другом ее конце далекий простор, такой сияющий по контрасту с тенью, в которой мы сидели, и такой волшебный в обрамлении сводчатой просеки, что он казался нам видением земли обетованной. Втроем – мистер Джарндис, Ада и я – мы сидели здесь и в эту субботу, пока не услышали, как вдали загремел гром, а вокруг нас по листьям забарабанили крупные дождевые капли.

Всю неделю парило и было невыносимо душно, но гроза разразилась так внезапно, по крайней мере над нами, в этом укромном месте, что не успели мы добежать до опушки леса, как гром и молния стали чередоваться почти беспрерывно, а дождь так легко пробивал листву, словно каждая его капля была тяжелой свинцовой бусинкой. В такую грозу укрываться под деревьями не следовало, и мы, выбежав из леса, поднялись и спустились по обомшелым ступенькам, которые вели через живую изгородь, напоминая две приставленные друг к другу стремянки с широкими перекладинами, и помчались к ближней сторожке лесника. Мы уже бывали здесь, и внимание наше не раз привлекала сумрачная красота этих мест, – хороши были и сама сторожка, стоявшая в густом по-

лумраке леса, и плющ, обвивавший ее всю целиком, и крутой овраг по соседству с нею; а однажды мы видели, как собака сторожа нырнула в этот заросший папоротником овраг, словно в воду.

Теперь все небо заволокло тучами, и в сторожке было до того темно, что мы разглядели только лесника, который подошел к порогу, едва мы подбежали, и принес нам два стула – Аде и мне. Окна с частым свинцовым переплетом были открыты настежь, мы сидели в дверях и смотрели на грозу. Чудесно было наблюдать, как поднимается ветер, гнет ветви деревьев и гонит перед собой дождь, словно клубы дыма; чудесно было слышать торжественные раскаты грома, видеть молнию, думать с благоговейным страхом о могущественных силах природы, окружающих нашу ничтожную жизнь, и размышлять о том, как они благотворны, – ведь уже сейчас все цветы и листья, даже самые крошечные, дышали свежестью, исходящей от этой мнимой ярости, которая словно заново сотворила мир.

– А не опасно сидеть в таком открытом месте?

– Конечно, нет, Эстер! – спокойно отозвалась Ада.

Ада ответила мне, но вопрос задала не я.

Сердце мое забилось снова. Я никогда не слышала этого голоса и до прошлой недели не видела этого лица, но теперь голос подействовал на меня так же странно, как тогда подействовало лицо. В тот же миг передо мной опять всплыли бесчисленные образы моего прошлого.

Леди Дедлок укрылась в сторожке раньше нас, а сейчас вышла из ее темной глубины. Она стала за моим стулом, положив руку на его спинку. Повернув голову, я увидела, что рука ее почти касается моего плеча.

– Я вас испугала? – спросила она.

Нет, то был не страх. Чего мне было бояться?

– Если мне не изменяет память, – проговорила леди Дедлок, обращаясь к опекуну, – я имею удовольствие говорить с мистером Джарндисом?

– Ваша память оказала мне такую честь, о которой я не смел и мечтать, леди Дедлок, – ответил опекун.

– Я узнала вас в церкви, в прошлое воскресенье. Жаль, что ссора сэра Лестера кое с кем из местных жителей, – хоть и не он ее начал, кажется, – лишает меня возможности оказать вам внимание здесь… такая нелепость!

– Я знаю обо всем этом, – ответил опекун, улыбаясь, – и очень вам признателен.

Она подала ему руку, не меняя безучастного выражения лица, по-видимому привычного для нее, и заговорила тоже безучастным тоном, но голос у нее был необычайно приятный. Она была очень изящна, очень красива, превосходно владела собой и, как мне показалось, могла бы очаровать и заинтересовать любого человека, если бы только считала нужным снизойти до него. Лесник принес ей стул, и она села на крыльце между нами.

– А тот молодой джентльмен, о котором вы писали сэру

Лестеру и которому сэр Лестер, к сожалению, ничем не мог посодействовать, он нашел свое призвание? – спросила она, обращаясь к опекуну через плечо.

– Надеюсь, что да, – ответил тот.

Она, по-видимому, уважала мистера Джарндиса, а сейчас даже старалась расположить его к себе. В ее надменности было что-то очень обаятельное, и когда она заговорила с опекуном через плечо, тон ее сделался более дружеским, – я чуть было не сказала «более простым», но простым он, вероятно, не мог быть.

– Это, кажется, мисс Клейр, и вы опекаете ее тоже?

Мистер Джарндис представил Аду по всем правилам.

– Вы слывете бескорыстным Дон Кихотом, но берегитесь, как бы вам не потерять своей репутации, если вы будете покровительствовать только таким красавицам, как эта, – сказала леди Дедлок, снова обращаясь к мистеру Джарндису через плечо. – Однако познакомьте же меня и с другой молодой леди, – добавила она и повернулась ко мне.

– Мисс Саммерсон я опекаю совершенно самостоятельно, – сказал мистер Джарндис. – За нее я не должен давать отчета никакому лорд-канцлеру.

– Мисс Саммерсон потеряла родителей? – спросила миледи.

– Да.

– Такой опекун, как вы, – это для нее большое счастье.

Леди Дедлок взглянула на меня, а я взглянула на нее и

сказала, что это действительно большое счастье. Она сразу же отвернулась с таким видом, словно ей почему-то стало неприятно или что-то не понравилось, и снова заговорила с мистером Джарндисом, обращаясь к нему через плечо:

– Давно мы с вами не встречались, мистер Джарндис.

– Да, давненько. Точнее, это я раньше думал, что давно, – пока не увидел вас в прошлое воскресенье, – отозвался он.

– Вот как! Даже вы начали говорить комплименты; или вы считаете, что они мне нужны? – проговорила она немного пренебрежительно. – Очевидно, я приобрела такую репутацию.

– Вы приобрели так много, леди Дедлок, – сказал опекун, – что, осмелюсь сказать, вам приходится платить за это кое-какие небольшие пени. Но только не мне.

– Так много! – повторила она с легким смехом. – Да.

Уверенная в своем превосходстве, власти и обаянии, – да и в чем только не уверенная! – она, очевидно, считала меня и Аду просто девчонками. И когда, рассмеявшись легким смехом, она молча стала смотреть на дождь, лицо у нее сделалось невозмутимым, ибо она, как видно, предалась своим собственным мыслям и уже не обращала внимания на окружающих.

– Если я не ошибаюсь, с моей сестрой вы были знакомы короче, чем со мной, в ту пору, когда мы все были за границей? – проговорила она, снова бросая взгляд на опекуна.

– Да, с нею я встречался чаще, – ответил он.

– Мы шли каждая своим путем, – сказала леди Дедлок, – и еще до того, как мы решили расстаться, между нами было мало общего. Жаль, что так вышло, конечно, но ничего не поделаешь.

Леди Дедлок умолкла и сидела, глядя на дождь. Вскоре гроза начала проходить. Ливень ослабел, молния перестала сверкать, гром гремел уже где-то далеко, над холмами появилось солнце и засияло в мокрой листве и каплях дождя. Мы сидели молча; но вот вдали показался маленький фаэтон, запряженный парой пони, которые везли его бойкой рысцой, направляясь к сторожке.

– Это посланный возвращается с экипажем, миледи, – проговорил лесник.

Когда фаэтон подъехал, мы увидели в нем двух женщин. Они вышли с плащами и шалями в руках – сначала та француженка, которую я видела в церкви, потом хорошенькая девушка; француженка – с вызывающим и самоуверенным видом, хорошенькая девушка – нерешительно и в смущении.

– Это еще что? – сказала леди Дедлок. – Почему вы явились обе?

– Посланный приехал за «горничной миледи», – сказала француженка, – а пока что ваша горничная – это я.

– Я думала, вы посылали за мной, миледи, – проговорила хорошенькая девушка.

– Да, я посылала за тобой, девочка моя, – спокойно ответила леди Дедлок. – Накинь на меня вот эту шаль.

Она слегка наклонилась, и хорошенькая девушка накинула шаль ей на плечи. Француженка не была удостоена вниманием миледи и только наблюдала за происходящим, крепко стиснув губы.

– Жаль, что нам вряд ли удастся возобновить наше давнее знакомство, – сказала леди Дедлок мистеру Джарндису. – Разрешите мне прислать назад экипаж для ваших питомиц? Он вернется немедленно.

Опекун решительно отказался, а миледи любезно попрощалась с Адой, – со мною же не простилась вовсе, – и, опираясь на руку мистера Джарндиса, села в экипаж – небольшой, низенький, с опущенным верхом фаэтон для прогулок по парку.

– Садись, милая, – приказала она хорошенькой девушке, – ты мне будешь нужна… Трогайте.

Экипаж отъехал, а француженка, с плащами, висевшими у нее на руке, так и осталась стоять там, где из него вышла.

Для гордых натур, пожалуй, нет ничего более нестерпимого, чем гордость других людей, и француженка понесла кару за свою навязчивость. Отомстила же она за себя таким странным способом, какой мне и в голову бы не пришел. Она стояла как вкопанная, пока фаэтон не свернул в аллею, потом как ни в чем не бывало сбросила с ног туфли и, оставив их валяться на земле, решительными шагами двинулась за экипажем по совершенно мокрой траве.

– Она с придурью, эта девица? – спросил опекун.

– Ну, нет, сэр, – ответил лесник, глядя ей вслед вместе с женой. – Ортанз не дура. Башка у нее работает на славу. Только она до черта гордая и горячая… такая гордячка и горячка, каких мало; к тому же ей на днях отказали от места, да еще ставят других выше ее, вот ей это и не по нутру.

– Но зачем ей шлепать в одних чулках по таким лужам? – спросил опекун.

– И правда, зачем, сэр? Разве затем, чтобы чуточку поостыть, – ответил лесник.

– А может, она воображает, что это кровь, – предположила жена лесника. – Она, сдается мне, и по крови ходить не постесняется, коли в ней самой кровь закипит.

Несколько минут спустя мы проходили мимо дома Дедлоков. Каким бы спокойным он ни был в тот день, когда мы впервые его увидели, сейчас он показался нам погруженным в еще более глубокий покой; а вокруг него сверкала алмазная пыль, веял легкий ветерок, примолкшие было птицы громко пели, все освежилось после дождя, и маленький фаэтон сверкал у подъезда, как серебряная колесница фей.

Все так же упорно и невозмутимо устремляясь к этому дому – мирная человеческая фигура на фоне идиллического пейзажа, – мадемуазель Ортанз шагала в одних чулках по мокрой траве.

Глава XIX
«Проходи, не задерживайся»

На Канцлерской улице и по соседству с нею теперь долгие каникулы. Славные суда, то бишь суды Общего права и Справедливости, эти построенные из тика, одетые в броню, скрепленные железом, непробиваемые, как бесстыдные медные лбы, но отнюдь не быстроходные клиперы, разоружены, расснащены и отведены в док. Летучий Голландец с командой просителей-призраков, вечно умоляющих каждого встречного ознакомиться с их документами, на время отплыл по воле волн бог весть куда. Все судебные здания закрыты; присутственные места, разомлев, спят мертвым сном; даже Вестминстер-Холл совсем обезлюдел, и в его тени могли бы петь соловьи, могли бы гулять «истцы», которые ищут не правосудия (как те, что встречаются здесь обычно), но счастья в любви.

Тэмпл, Канцлерская улица, Сарджентс-Инн, Линкольнс-Инн и даже Линкольновы поля напоминают мелководные океанские гавани во время отлива – судопроизводство, что сидит на мели, учреждения, что стоят на якоре, праздные клерки, что от нечего делать лениво раскачиваются на табуретах, которые не примут вертикального положения, пока не начнется прилив судебной сессии, – все они

обретаются на суше в тине долгих каникул. Входные двери юридических контор десятками запираются одна за другой, письма и пакеты целыми мешками сносятся в швейцарские. Мостовая против Линкольнс-Инн-Холла заросла бы пышной травой, если бы не рассыльные, которые сидят без дела в тени и, прикрыв от мух головы белыми фартуками, рвут и жуют эту траву с глубокомысленным видом.

В Лондоне остался только один-единственный судья, но даже он заседает в своей камере не более двух раз в неделю. Вот бы теперь поглядеть на него жителям тех городков его судебного округа, где он бывает на выездной сессии! Пышный парик, красная мантия, меха, свита с алебардами, белые жезлы, – куда все это подевалось!

Теперь он просто-напросто гладко выбритый джентльмен в белых брюках и белом цилиндре, с бронзовым морским загаром на судейской физиономии и со ссадиной на облупленном солнцем судейском носу, – джентльмен, который по пути в камеру заходит в устричную лавку и пьет имбирное пиво со льдом!

Адвокатура Англии рассеялась по лицу земли. Как может Англия прожить четыре долгих летних месяца без своей адвокатуры – общепризнанного ее убежища в дни невзгод и единственной ее законной славы в дни процветания, – об этом вопрос не поднимается, ибо сей щит и панцирь Британии, очевидно, не входит в состав ее теперешнего облачения. Ученый джентльмен, который всегда столь страстно негоду-

ет на беспримерные оскорбления, нанесенные его клиенту противной стороной, что, кажется, не в силах оправиться от них, теперь поправляется – и гораздо быстрее, чем можно было ожидать, – в Швейцарии. Ученый джентльмен, – великий мастер испепелять противников и губить оппонентов своим мрачным сарказмом, – теперь прыгает, как кузнечик, и веселится до упаду на французском курорте. Ученый джентльмен, который по малейшему поводу льет слезы целыми ведрами, вот уже шесть недель не пролил ни одной слезинки. Высокоученый джентльмен, который охлаждал природный жар своего пылкого темперамента в омутах и фонтанах юриспруденции, пока не достиг великого уменья заготовлять впрок неопровержимые аргументы в предвидении судебной сессии, а на сессии ставить в тупик дремлющих судей своими юридическими остротами, непонятными непосвященным, равно как и большинству посвященных, – этот высокоученый джентльмен бродит теперь, привычно наслаждаясь сухостью и пылью, по Константинополю. Прочие рассеянные обломки того же великого Палладиума встречаются на каналах Венеции, на втором пороге Нила, на германских водах, а также рассыпаны по всем песчаным пляжам побережья Англии. Но трудно увидеть хоть один из них на опустевшей Канцлерской улице и по соседству с нею. Если же иной раз и бывает, что какой-нибудь член адвокатской корпорации, одиноко проносясь по этой пустыне, завидит истца, который здесь блуждает, как призрак, бессильный поки-

нуть арену своих страданий, оба они пугаются один другого и жмутся к стенам противоположных домов.

Никто не запомнит такой жары, какая стоит в эти долгие каникулы. Все молодые клерки безумно влюблены и соответственно своим различным рангам мечтают о блаженстве с предметом своей страсти в Маргете, Рамсгете или Грейвзенде. Все пожилые клерки находят, что семьи их слишком велики. Все бродячие собаки, которые блуждают по Судебным Иннам и задыхаются на лестницах и в прочих душных закоулках, ищут воды и отрывисто воют в исступлении. Все собаки, что водят слепых на улицах, тянут своих хозяев к каждому встречному колодцу или, бросившись к ведру с водой, сбивают их с ног. Лавка с тентом для защиты от солнца, перед входом в которую тротуар полит водой и где в витрине стоит банка с золотыми и серебряными рыбками, кажется каким-то святилищем. Ворота Тэмпл-Бар, к которым примыкают Стрэнд и Флит-стрит, накаляются до того, что служат для этих двух улиц чем-то вроде нагревателя внутри кипятильника и всю ночь заставляют их кипеть.

В Судебных Иннах есть конторы, где можно было бы посидеть в прохладе, если бы стоило покупать прохладу ценой невыносимой скуки; зато в узких уличках, непосредственно прилегающих к этим укромным местам, настоящее пекло. В переулке мистера Крука так жарко, что обыватели распахивают настежь окна и двери и, чуть ли не вывернув свои дома наизнанку, выносят наружу стулья и сидят на тротуаре, а

среди них – сам мистер Крук, предающийся учебным занятиям в обществе своей кошки, которой никогда не бывает жарко. «Солнечный герб» прекратил на лето созыв Гармонических собраний, а Маленький Суиллс, получив ангажемент в «Пасторальные сады», расположенные ниже по течению Темзы, выступает там совершенно безобидным образом и поет комические песенки самого невинного содержания, которые, как гласит афиша, ни в малейшей степени не могут задеть самолюбие самых строгих и придирчивых особ.

Над всем этим юридическим миром, покрытым ржавчиной, безделье и сонная одурь долгих каникул нависли как гигантская паутина. Мистер Снегсби, владелец писчебумажной лавки в Кукс-Корте, выходящем на Карситор-стрит, чувствует, что общее безделье и одурь влияют не только на его душу, – душу человека, чувствительного и склонного к созерцанию, – но и на его торговлю, – как уже было сказано, торговлю канцелярскими принадлежностями. Во время долгих каникул у него больше досуга прогуливаться по Степл-Инну и Ролс-Ярду, чем в другие времена года, и он говорит обоим своим подмастерьям о том, как приятно в такую жару сознавать, что живешь на острове и что море плещет и волнуется вокруг тебя!

Сегодня, в один из этих каникулярных дней, Гуся хлопочет в маленькой гостиной, так как мистер и миссис Снегсби собираются принимать гостей. Гости будут скорее избранные, нежели многочисленные, – только мистер и миссис Чед-

бенд. Мистер Чедбенд очень любит называть себя и устно и письменно «сосудом», но иные непосвященные, спутав это наименование со словом «судно», порой ошибочно принимают его за человека, имеющего какое-то отношение к мореплаванию, хоть он и выдает себя за «священнослужителя». На самом деле мистер Чедбенд не имеет никакого духовного сана, – впрочем, хулители его находят, что он не способен сказать ничего выдающегося на величайшую из тем, а значит, подобное самозванство не может лежать тяжелым грузом на его совести, – однако у него есть последователи, и миссис Снегсби в их числе. Миссис Снегсби лишь с недавнего времени поплыла вверх по течению на буксире у Чедбенда, – это первоклассное судно привлекло ее внимание, когда ей от летнего зноя кровь слегка бросилась в голову.

– Моя крошечка, – говорит мистер Снегсби воробьям в Степл-Инне, – уж очень, знаете ли, привержена к своей религии!

Поэтому Гуся, потрясенная тем, что ей предстоит сделаться временной прислужницей Чедбенда, который, как ей известно, обладает даром проповедовать часа по четыре кряду, убирает маленькую гостиную к вечернему чаю. Вся мебель уже выколочена и очищена от пыли, портреты мистера и миссис Снегсби протерты мокрой тряпкой, лучший чайный сервиз стоит на столе, и готовится великолепное угощение: вкусный, еще теплый хлеб, поджаристые крендельки, холодное свежее масло, нарезанная тонкими ломтиками ветчина,

язык, сосиски и нежные анчоусы, уложенные рядами в гнездышке из петрушки, не говоря уже о яйцах только что из-под кур – яйца сварят и подадут в салфетке, чтобы не успели остыть, – и о горячих поджаренных ломтиках хлеба, намазанных сливочным маслом. Ибо Чедбенд – это судно, требующее много топлива, – хулители даже считают, что оно обжирается топливом, – и отлично умеет орудовать не только духовным оружием, но и такими материальными орудиями, как нож и вилка.

Когда все приготовления закончены, мистер Снегсби, облачившись в свой лучший сюртук, осматривает накрытый стол и, почтительно покашливая из-под руки, спрашивает миссис Снегсби:

– К какому часу ты пригласила мистера и миссис Чедбенд, душечка?

– К шести, – отвечает миссис Снегсби.

Кротко и как бы мимоходом мистер Снегсби отмечает, что «шесть уже пробило».

– Тебе, чего доброго, хочется начать без них? – язвительно осведомляется миссис Снегсби.

Мистеру Снегсби этого, по-видимому, очень хочется, но, кротко покашливая, он отвечает:

– Нет, дорогая, нет. Просто я сказал, который теперь час, только и всего.

– Что значит час по сравнению с вечностью?! – изрекает миссис Снегсби.

– Сущие пустяки, душечка, – соглашается мистер Снегсби. – Но когда готовишь угощение к чаю, то готовишь… его, так сказать… к известному часу. А когда час для чаепития назначен, лучше его соблюдать.

– Соблюдать! – повторяет миссис Снегсби строгим тоном. – Соблюдать! Можно подумать, что мистер Чедбенд идет драться на дуэли.

– Вовсе нет, душечка, – говорит мистер Снегсби.

Но вот Гуся, которую поставили сторожить приход гостей у окна спальни, шурша юбками и шаркая шлепанцами, мчится вниз по маленькой лестнице, как те призраки, что, по народным поверьям, бродят в домах, затем влетает в гостиную и с пылающими щеками докладывает, что мистер и миссис Чедбенд показались в переулке. Тотчас же после этого раздается звон колокольчика на внутренней двери в коридоре, и миссис Снегсби строго внушает Гусе, под страхом немедленного водворения ее в Тутинг к благодетелю, доложить о прибытии гостей по всем правилам – ни в коем случае не пропустить этой церемонии. Угрозы хозяйки расстраивают Гусе нервы (до этой минуты бывшие в полном порядке), и она самым ужасным образом нарушает этикет, объявляя:

– Мистер и миссис Чизминг… то есть как их… дай бог памяти! – после чего скрывается, терзаемая угрызениями совести.

Мистер Чедбенд – здоровенный мужчина с желтым лицом, расплывшимся в елейной улыбке, и такой тучный, что

кажется налитым ворванью. Миссис Чедбенд – строгая, суровая на вид, молчаливая женщина. Мистер Чедбенд ступает мягко и неуклюже, как медведь, обученный ходить на задних лапах. Он не знает, куда девать руки, – кажется, будто они всегда мешают ему и он предпочел бы ползать, – голова у него покрыта обильным потом, и перед тем как заговорить, он неизменно поднимает огромную длань, делая знак слушателям, что собирается их поучать.

– Друзья мои, – начинает мистер Чедбенд, – мир дому сему! Хозяину его, хозяйке его, отрокам и отроковицам! Друзья мои, почему я жажду мира? Что есть мир? Есть ли это война? Нет. Есть ли это борьба? Нет. Есть ли это состояние прелестное и тихое, и прекрасное и приятное, и безмятежное и радостное? О да! Посему, друзья мои, я желаю мира и вам, и сродникам вашим.

У миссис Снегсби такое выражение лица, словно она до дна души впитала в себя это назидательное поучение, поэтому мистер Снегсби находит своевременным произнести «аминь», что вызывает явное одобрение собравшихся.

– А теперь, друзья мои, – продолжает мистер Чедбенд, – поелику я коснулся этого предмета…

Появляется Гуся. Миссис Снегсби, замогильным басом и не отрывая глаз от Чедбенда, произносит с устрашающей отчетливостью:

– Пошла вон!

– А теперь, друзья мои, – повторяет Чедбенд, – поелику

я коснулся этого предмета и на своей смиренной стезе развиваю его…

Однако Гуся, непонятно почему, бормочет:

– Тысяча семьсот восемьдесят два.

Замогильный голос повторяет еще более грозно:

– Пошла вон!

– А теперь, друзья мои, – снова начинает мистер Чедбенд, – спросим себя в духе любви…

Но Гуся твердит свое:

– Тысяча семьсот восемьдесят два.

Мистер Чедбенд, немного помолчав со смирением человека, привыкшего к хуле, говорит с елейной улыбкой, в которой его двойной подбородок медленно расплывается складками:

– Выслушаем сию отроковицу. Говори, отроковица!

– Тысяча семьсот восемьдесят два его номер, позвольте вам доложить, сэр. Так что он спрашивает, за что дали шиллинг, – лепечет Гуся, едва переводя дух.

– За что? – отвечает миссис Чедбенд. – За проезд.

Гуся докладывает, что «он требует шиллинг и восемь пенсов, а не то подаст жалобу на седоков». Миссис Снегсби и миссис Чедбенд чуть не взвизгивают от негодования, но мистер Чедбенд, подняв длань, успокаивает всеобщее волнение.

– Друзья мои! – объясняет он. – Я вспомнил сейчас, что не выполнил вчера одного своего нравственного долга. Спра-

ведливо, чтобы я за это понес какую-либо кару. Мне не должно роптать. Рейчел, доплати восемь пенсов.

Пока миссис Снегсби, едва дыша, смотрит на мистера Снегсби жестким взглядом, как бы желая сказать: «Слышишь ты этого апостола!», а мистер Чедбенд блистает смирением и елейностью, миссис Чедбенд расплачивается. У мистера Чедбенда есть привычка – его излюбленный конек – сводить такого рода мелочные счеты публично и рисоваться этим по самым пустяковым поводам.

– Друзья мои, – говорит Чедбенд, – восемь пенсов – это немного. Справедливо было бы потребовать с меня лишний шиллинг и четыре пенса, справедливо было бы потребовать с меня полкроны. О, возликуем, возликуем! О, возликуем!

После этого пожелания, напоминающего отрывок из духовного стиха, мистер Чедбенд важно шествует к столу, но, прежде чем опуститься в кресло, поднимает длань, приступая к увещеванию.

– Друзья мои, – начинает он, – что зрим мы ныне, расставленное перед нами? Угощение. Нуждаемся ли мы в угощении, друзья мои? Нуждаемся. А почему мы нуждаемся в угощении, друзья мои? Потому что мы смертны, потому что мы грешны, потому что мы принадлежим земле, потому что мы не принадлежим воздуху. Можем ли мы летать, друзья мои? Не можем. Почему же не можем мы летать, друзья мои?

Мистер Снегсби, памятуя успех своего давешнего выступления, решается ответить бодрым тоном знатока: «Крыльев

нет». Но в тот же миг съеживается под суровым взглядом миссис Снегсби.

– Я повторяю вопрос, друзья мои, – продолжает мистер Чедбенд, полностью отвергая и предавая забвенью ответ мистера Снегсби, – почему мы не можем летать? Не потому ли, что нам предопределено ходить? Именно потому. Могли бы мы ходить, друзья мои, не имея сил? Не могли бы. Что сталось бы с нами, если бы мы не имели сил, друзья мои? Наши ноги отказались бы носить нас, наши колени подогнулись бы, наши лодыжки вывихнулись бы, и мы рухнули бы на землю. Так откуда же, друзья мои, черпаем мы на нашей бренной земле силу, потребную членам тела нашего? Не из хлеба ли в его разнообразных видах, – вопрошает Чедбенд, озирая стол, – не из масла ли, каковое сбивается из молока, которое уделяет нам корова; не из яиц ли, кои несет домашняя птица; не из ветчины ли, не из языка ли, не из сосисок ли и тому подобного? Из этого самого. Итак, вкусим же от яств отменных, расставленных перед нами.

Хулители не одобряют подобных словоизвержений, следующих друг за другом, как ступеньки лестницы, и не видят в них признаков одаренности мистера Чедбенда. Но это только доказывает их решимость предавать его хуле, ибо всякий знает по личному опыту, что «чедбендовский» ораторский стиль широко распространен и пользуется большим успехом. Так или иначе, мистер Чедбенд, закончив свою мысль, на время умолкает и, сев за стол мистера Снегсби, ма-

стерски расправляется с яствами. Превращение всякого рода пищи в жир упомянутого вида – процесс, столь привычный для этого образцового судна, что, когда мистер Чедбенд приступает к еде и питью, его смело можно уподобить большому салотопенному заводу или крупной фабрике, производящей ворвань для оптовой продажи. В этот каникулярный вечер в Кукс-Корте, выходящем на Карситор-стрит, «завод» работает так энергично, что, когда работа заканчивается, склад оказывается битком набитым.

На этой стадии приема Гуся, которая все еще не оправилась от своей первой неудачи, но не упустила ни одного возможного и невозможного случая осрамить себя и весь дом, – достаточно кратко упомянуть, что, взяв стопку тарелок, она с их помощью исполнила бравурный военный марш на голове мистера Чедбенда, а потом увенчала этого джентльмена блюдом с пышками, – на этой стадии приема появляется Гуся и шепчет на ухо мистеру Снегсби, что его вызывают.

– Меня вызывают, говоря напрямик, в лавку, – объявляет мистер Снегсби, поднимаясь, – поэтому уважаемые гости, может быть, извинят меня, если я отлучусь на минутку.

Мистер Снегсби спускается в лавку, а там оба подмастерья смотрят во все глаза на полицейского – квартального надзирателя, – который держит за плечо оборванца-подростка.

– Боже мой, что такое? – осведомляется мистер Снегсби. – Что тут происходит?

– Этому малому, – говорит квартальный, – тысячу раз

приказывали проходить, не задерживаясь на одном месте, но он не хочет…

– Да неужто я задерживаюсь, сэр? – горячо возражает подросток, вытирая грязные слезы рукавом. – Я не задерживаюсь, а сроду все хожу да хожу. Куда ж мне идти, сэр, и разве можно ходить больше, чем я хожу!

– Он не желает слушаться и задерживается на одном месте, – спокойно объясняет квартальный, слегка вздернув головой характерным для полицейских движением, чтобы шее было удобнее в твердом воротнике, – не желает, да и только, хотя не раз получал предупреждения, и я поэтому вынужден заключить его под стражу. Это такой упрямый сорванец, каких я в жизни не видывал. *Не желает* проходить, и все тут.

– О господи! Да куда ж мне идти! – кричит мальчик, в отчаянии хватаясь за волосы и топая босой ногой по полу в коридоре мистера Снегсби.

– Не дурить, а не то я с тобой живо расправлюсь! – внушает квартальный, невозмутимо встряхивая его. – Мне приказано, чтобы ты не задерживался. Я тебе это пятьсот раз говорил.

– Да куда ж мне деваться? – взвизгивает мальчик.

– М-да! А все-таки, знаете, господин квартальный, это разумный вопрос, – оторопело произносит мистер Снегсби и покашливает в руку, выражая этим кашлем величайшее недоумение и замешательство. – В самом деле, куда ему деваться, а?

– Насчет этого мне ничего не приказано, – отвечает квартальный. – Мне приказано, чтобы этот мальчишка не задерживался на одном месте.

Слышишь, Джо? Ни тебе да и никому вообще нет дела до того, что великие светила парламентского неба вот уже много лет не показывают тебе своей деятельностью примера продвижения вперед без задержки. Это мудрое правило, это глубоко философское предписание относится только к тебе, и оно – сущность и завершение твоего нелепого бытия на земле. Проходи, не задерживайся! Ты, конечно, не должен уходить совсем, Джо, ибо на это великие светила никак не согласны, но… проходи, не задерживайся!

Мистер Снегсби ничего не говорит по этому поводу. Он вообще ничего не говорит, но покашливает своим самым безнадежным кашлем, намекая на полную безвыходность создавшегося положения. К тому времени мистер и миссис Чедбенд и миссис Снегсби, заслышав спор, выходят на площадку лестницы. Гуся и не уходила из коридора, так что теперь все общество в сборе.

– Вопрос в том, сэр, – снова начинает квартальный, – знаете ли вы этого малого? Он говорит, что знаете.

Миссис Снегсби немедленно кричит с площадки:

– Нет, не знает!

– Кро-ше-чка! – умоляет мистер Снегсби, устремив глаза вверх, на лестницу. – Дорогая, позволь уж мне! Прошу тебя, имей капельку терпения, душечка. Я немного знаю этого

мальчугана и, право же, господин квартальный, не могу сказать о нем ничего плохого, скорей наоборот.

После чего владелец писчебумажной лавки рассказывает квартальному грустную историю своего знакомства с Джо, опустив эпизод с полукроной.

– Так-так! Значит, он не врет, – говорит квартальный. – Когда я его забрал на Холборне, он сказал, что вы его знаете. Тут какой-то молодой человек из толпы заявил, что знаком с вами, что вы почтенный домохозяин, и если я зайду к вам навести справки, он тоже придет сюда. Молодой человек, очевидно, не собирается сдержать свое слово, но… Ага! вот и он!

Входит мистер Гаппи и, кивнув мистеру Снегсби, с писарской рыцарственностью снимает цилиндр перед дамами, собравшимися на лестнице.

– Я как раз шел из конторы, – говорит мистер Гаппи торговцу, – вижу – скандал, и кто-то упомянул ваше имя, вот я и подумал, что надо бы разузнать, в чем дело.

– Вы очень любезны, сэр, – отзывается мистер Снегсби, – я вам очень благодарен.

И мистер Снегсби снова рассказывает о своем знакомстве с мальчиком, снова опуская эпизод с полукроной.

– Теперь я знаю, где ты живешь, – обращается квартальный к Джо. – Ты живешь в «Одиноком Томе». Тихое местечко, вполне приличное для житья, а?

– Как же я могу жить в более приличном месте, сэр? – воз-

ражает Джо. – Попробуй-ка я попроситься в тихое, приличное место, да там со мной и разговаривать не станут. Кто же захочет пустить в приличную квартиру такого нищего бродягу, как я?

– Так, значит, ты очень бедный, да? – спрашивает квартальный.

– А как же, сэр! Куда уж бедней быть, – отвечает Джо.

– Теперь судите сами! Не успел я к нему притронуться, как вытряхнул из него вот эти две полукроны! – говорит квартальный, показывая монеты всему обществу.

– Только и осталось, мистер Снегсби, – объясняет Джо, – только всего и осталось от того соверена, что мне дала леди под вуалью, а говорила, будто – служанка, та, что пришла вечером на мой перекресток и велела показать ваш дом и дом, где он помер, тот, кому вы переписку давали, а еще кладбище, где его зарыли. Говорит мне: «Ты, говорит, мальчик, который был на дознании?» – говорит. Я говорю: «Да», – говорю. Она говорит: «Можешь, говорит, показать мне все те места?» Я говорю: «Да, говорю, могу». Она говорит: «Покажи»; я и показал, а она дала мне соверен, а сама улизнула. А мне от этого соверена толку мало, – жалуется Джо, проливая грязные слезы, – пришлось заплатить пять шиллингов в «Одиноком Томе», чтобы разменяли монету, а то не соглашались; потом один парень украл у меня еще пятерку, когда я спал, да один мальчишка девять пенсов стянул, а хозяин, тот еще больше высосал на пьянку.

– Неужто ты надеешься, что кто-нибудь поверит этим вракам насчет какой-то леди и соверена? – говорит квартальный, косясь на него с невыразимым презрением.

– Ни на что я не надеюсь, сэр, – отвечает Джо. – Вовсе я ничего не думаю, но это правда истинная.

– Вот он каков, сами видите! – обращается квартальный к своим слушателям. – Ну, мистер Снегсби, если я на этот раз не посажу его под замок, вы поручитесь за то, что он не будет задерживаться на одном месте?

– Нет! – кричит миссис Снегсби с лестницы.

– Женушка! – умоляет ее супруг. – Господин квартальный, он, безусловно, не будет задерживаться на месте. Знаешь, Джо, тебе, право же, не следует задерживаться, – говорит мистер Снегсби.

– Не буду, сэр, – отвечает злосчастный Джо.

– Ну, так и не задерживайся, – внушает квартальный. – Ты знаешь, что тебе нужно делать? Ну и делай! И заруби себе на носу, что в следующий раз тебе не удастся выкрутиться так легко. Бери свои деньги. А теперь, чем скорей ты очутишься за пять миль отсюда, тем лучше будет для всех.

Высказав это прощальное наставление, квартальный показывает пальцем на закатное небо – вероятно, считая, что туда-то и должен отправиться Джо, потом желает своим слушателям доброго вечера и удаляется, а перейдя на теневую сторону Кукс-Корта, в котором негромко отдается стук его мерных шагов, снимает свой бронированный шлем, чтобы

немножко проветрить голову.

Неправдоподобная история о леди и соверене, рассказанная Джо, возбудила в той или иной мере любопытство всех присутствующих. Мистер Гаппи, одаренный пытливым умом, обожает разбираться в свидетельских показаниях и к тому же донельзя устал от безделья во время долгих каникул, поэтому он живо интересуется подвернувшимся делом и начинает форменным образом допрашивать «свидетеля», а это столь интересно для дам, что миссис Снегсби радушно приглашает его подняться наверх и выпить чашку чаю, но просит извинить за беспорядок на чайном столе, вызванный тем, что чаепитие было прервано в самом разгаре.

Мистер Гаппи принимает приглашение, а Джо приказано следовать за всей компанией до порога гостиной, где мистер Гаппи, взявшись за свидетеля, терзает его в соответствии с наилучшими образцами допросов, разминая и так и этак, подобно маслоделу, выжимающему кусок сливочного масла. Допрос, как и многие другие образцовые процедуры этого рода, дает лишь отрицательные результаты, но отнимает уйму времени, ибо мистер Гаппи высоко ценит свой талант, а миссис Снегсби находит, что все это не только удовлетворяет ее любознательность, но и возвышает торговое предприятие ее супруга в юридическом мире. Пока жестокая схватка между «следователем» и «свидетелем» продолжается, «судно Чедбенд», занятое только производством жиров, сидит на мели и ждет отплытия.

– Ну-с! – изрекает наконец мистер Гаппи. – Или мальчишка врет без зазрения совести, или это совершенно необычайный случай, превосходящий все, с чем мне приходилось сталкиваться по моей работе у Кенджа и Карбоя.

Миссис Чедбенд шепчет что-то на ухо миссис Снегсби, и та восклицает: «Не может быть!»

– Много лет! – подтверждает миссис Чедбенд.

– Она много лет знает контору Кенджа и Карбоя, – торжествующе объясняет миссис Снегсби мистеру Гаппи. – Позвольте вам представить: миссис Чедбенд – супруга этого джентльмена… его преподобие мистер Чедбенд.

– Неужели знает! – восклицает мистер Гаппи.

– Знала еще до того, как вышла за своего теперешнего мужа, – говорит миссис Чедбенд.

– Вы являлись одной из тяжущихся сторон в каком-либо судебном процессе, сударыня? – осведомляется мистер Гаппи, приступая теперь уже к ее допросу.

– Нет.

– *Ни в каком* судебном процессе, сударыня? – спрашивает мистер Гаппи.

Миссис Чедбенд качает головой.

– Быть может, вы были знакомы с каким-нибудь лицом, являвшимся одной из тяжущихся сторон в каком-либо судебном процессе, сударыня? – спрашивает мистер Гаппи, которого ничем не корми, только дай ему поговорить по всем правилам судебной процедуры.

– И да и нет, – отвечает миссис Чедбенд, жесткой усмешкой придавая оттенок шутливости своим словам.

– И да и нет! – повторяет мистер Гаппи. – Прекрасно. Скажите, сударыня, лицо, имевшее дело (мы пока не будем уточнять, какое именно дело) с конторой Кенджа и Карбоя, было знакомой вам леди или знакомым вам джентльменом? Не торопитесь, сударыня. Мы сейчас все это выясним. Мужчина это был или женщина, сударыня?

– И не мужчина и не женщина, – отвечает миссис Чедбенд тем же тоном.

– Ага! Значит; малолетнее дитя! – догадывается мистер Гаппи, бросая на миссис Снегсби тот пронзительный взгляд, который юристам полагается бросать на британских присяжных. – Ну, сударыня, может, вы будете столь добры сообщить нам, что же это было за дитя?

– Наконец-то вы попали в точку, сэр, – отзывается миссис Чедбенд, снова сопровождая свои слова жесткой усмешкой. – Так вот, сэр, судя по вашей наружности, надо думать, это было еще до вашего рождения. Я нянчила одну девочку, – ее звали Эстер Саммерсон, – а когда она подросла, кто-то поместил ее в школу и деньги за право учения посылал через контору господ Кенджа и Карбоя.

– Мисс Саммерсон, сударыня! – восклицает мистер Гаппи в волнении.

– Кто как, а *я* называю ее попросту – Эстер Саммерсон, – строго говорит миссис Чедбенд. – В мое время эту девчон-

ку не величали «мисс». Просто – Эстер. «Эстер, сделай это! Эстер, сделай то!» – и ей хочешь не хочешь, а приходилось делать, что приказывали.

– Уважаемая сударыня, – отзывается на это мистер Гаппи, пересекая тесную комнатку, – ваш покорный слуга встретил эту молодую леди в Лондоне, когда она впервые приехала сюда из того заведения, на которое вы намекнули. Доставьте удовольствие, разрешите пожать вам руку.

Мистер Чедбенд видит, что наконец и ему подвернулся удобный случай вымолвить слово, и, вставая, подает свой привычный сигнал, причем от головы у него идет пар, и он отирает ее носовым платком. Миссис Снегсби шипит:

– Тише! Тише!

– Друзья мои, – начинает Чедбенд, – мы вкусили с умеренностью (чего никак нельзя было сказать о нем самом) от благ, уготованных нам. Да живет дом сей от плодородия земли; да будет в нем изобилие зерна и вина; да растет он, да процветает он, да благоденствует он, да возвышается он, да поднимается он, да продвигается он! Но, друзья мои, вкусили ли мы еще от чего-либо? Вкусили. Друзья мои, от чего же мы еще вкусили? От духовного блага? Именно. Где же мы почерпнули сие духовное благо? Юный друг мой, выступи вперед!

Джо, к которому обращены эти слова, дергается всем телом назад, дергается вперед, дергается вправо и влево и наконец становится перед златоустым Чедбендом, относясь к

нему с явным недоверием.

– Юный друг мой, – говорит Чедбенд, – ты для нас перл, ты для нас алмаз, ты для нас самоцвет, ты для нас драгоценность. А почему, юный друг мой?

– Не знаю я, – отвечает Джо. – Ничего я не знаю.

– Юный друг мой, – продолжает Чедбенд, – ты ничего не знаешь, потому-то ты для нас драгоценность и самоцвет. Ибо что ты такое, юный друг мой? Зверь ли ты полевой? Нет. Птица ли ты небесная? Нет. Рыба ли морская или речная? Нет. Ты отпрыск рода человеческого, юный друг мой. Отпрыск рода человеческого. О, сколь блистательный жребий быть отпрыском рода человеческого! А почему блистательный, юный друг мой? Потому, что ты можешь получать уроки мудрости; потому, что ты можешь извлечь пользу из того поучения, кое я сейчас произношу ради твоего блага; потому, что ты не палка, не палица, не порог, не пень, не плаха, не подпорка.

Быть юным отпрыском людей —
Блаженства блещущий ручей!

Прохлаждаешься ли ты ныне в этом ручье, юный друг мой? Нет. Почему ты не прохлаждаешься ныне в этом ручье? Потому, что ты находишься в состоянии мрака; потому, что ты находишься в состоянии темноты; потому, что ты нахо-

дишься в состоянии греховности; потому, что ты находишься в состоянии рабства. Юный друг мой, что есть рабство? Давайте рассмотрим сие в духе любви.

На этой угрожающей стадии поучения Джо, который, кажется, мало-помалу сходит с ума, заслоняет правым рукавом лицо и зевает во весь рот. Возмущенная миссис Снегсби выражает убеждение, что он – отродье Сатаны.

– Друзья мои, – продолжает мистер Чедбенд, озирая свою паству, и его хулимый подбородок вновь расплывается складками в елейной улыбке, – надлежит мне терпеть унижения, надлежит мне терпеть испытания, надлежит мне терпеть оскорбления, надлежит мне терпеть наказания. Я оступился в прошлый день субботний, возгордившись произнесенным мною трехчасовым поучением. Ныне итог подведен правильно – мой заимодавец получил следуемое ему. О, возликуем, возликуем! О, возликуем!

Миссис Снегсби потрясена.

– Друзья мои, – говорит в заключение Чедбенд, оглядываясь кругом, – сейчас я не стану больше заниматься своим юным другом. Не хочешь ли, юный друг мой, прийти сюда завтра и, спросив у этой доброй госпожи, где меня можно застать, прослушать поучение, которое я тебе преподам; не хочешь ли также прийти, подобно жаждущей ласточке, на другой день, и на следующий за ним, и еще на следующий и приходить в течение многих приятных дней слушать поучения?

(Все это говорится с коровьей грацией.)

Джо, видимо, хочет только одного – удрать во что бы то ни стало – и потому уклончиво кивает головой. Тогда мистер Гаппи бросает ему пенни, а миссис Снегсби вызывает Гусю и приказывает ей выпроводить мальчика вон из дома. Но, прежде чем он выходит на лестницу, мистер Снегсби отдает ему объедки, взятые со стола, и мальчик уносит их, прижимая к себе.

А мистер Чедбенд, о котором хулители его говорят так: нечего удивляться, что он сколько угодно часов несет такую несусветную чепуху, но достойно удивления, что, раз имея наглость начать, он все-таки когда-нибудь умолкает, – мистер Чедбенд тоже возвращается к частной жизни и вкладывает в свое жировое предприятие небольшой капитал в виде ужина. Джо, не задерживаясь, бредет по улицам, оцепеневшим от долгих каникул, к Блекфрайерскому мосту и там находит среди раскаленных камней закоулок, где можно присесть и закусить.

И здесь он сидит, жует и грызет, устремив глаза вверх на огромный крест, что сверкает на куполе собора Св. Павла, выше красных и фиолетовых клубов дыма. Лицо у мальчика такое, словно эта священная эмблема – самый непонятный для него предмет во всем огромном, непонятном городе; да и немудрено – ведь крест такой ярко-золотой, вознесен так высоко и так ему недоступен. Здесь Джо сидит, а солнце закатывается, а река течет стремительно, а толпы плывут ми-

мо него двумя потоками – все движется к какой-то цели и к одному и тому же концу, – а он не тронется с места, пока его не прогонят приказом: «Проходи, не задерживайся!»

Глава XX
Новый жилец

Долгие каникулы тянутся к сессии, как ленивая река, которая очень медленно течет по равнине к морю. Точно так же тянется жизнь мистера Гаппи. Лезвие его перочинного ножа затупилось, а острие сломалось – так часто вонзает мистер Гаппи этот инструмент в свою конторку, бороздя ее во всех направлениях. Он вовсе не желает портить конторку, просто ему необходимо заняться хоть каким-нибудь делом, только непременно спокойным и не требующим слишком большого напряжения, физического или умственного. По его мнению, самое лучшее для него сейчас – это сидеть на табурете, неторопливо вращаясь вместе с ним на одной его ножке, вонзать нож в конторку и зевать.

Кенджа и Карбоя в городе нет, ученик клерка взял разрешение на право охоты и уехал к отцу, оба товарища мистера Гаппи – клерки, уже получающие жалованье, – находятся в отпуску. Честь конторы блюдут на равных началах мистер Гаппи и мистер Ричард Карстон. Но мистер Карстон на время помещен в кабинете самого Кенджа, и мистер Гаппи так на это негодует, что, ужиная вместе со своей мамашей омаром и салатом-латуком на Олд-стрит-роуд, заявляет ей в минуту откровенности со свойственным ему язвительным

сарказмом, что контора, кажется, недостаточно хороша для некоторых франтов, и, знай он заранее о появлении такого франта, он велел бы ее перекрасить.

Каждого новичка, занявшего табурет в конторе Кенджа и Карбоя, мистер Гаппи подозревает в том, что тот, само собой разумеется, коварно подкапывается под него, мистера Гаппи. Он не сомневается, что каждому такому субъекту хочется его спихнуть. Если его спросить: как спихнуть, почему, когда и зачем? – он только сощурит один глаз и покачает головой. Вдохновленный этими глубокомысленными соображениями, он чрезвычайно изобретательно прилагает невероятные усилия к тому, чтобы встречной интригой расстроить интригу, которой нет и в помине, и разыгрывает сложнейшую шахматную партию, не имея противника.

Поэтому мистер Гаппи обрел источник глубокого удовлетворения в том, что новичок вечно корпит над бумагами, приобщенными к тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», – ведь кто-кто, а мистер Гаппи отлично знает, что ничего, кроме путаницы и неудачи, из этого не выйдет. Его удовлетворение заражает третьего их сослуживца, жизнь которого во время долгих каникул тянется в конторе Кенджа и Карбоя так же томительно, а именно – юного Смоллуида.

Был ли когда-нибудь юный Смоллуид (которого обычно зовут просто Смолл или же Цып-Уид, шутливо выражая этим, что он еще не оперившийся цыпленок) – был ли когда-нибудь юный Смоллуид маленьким мальчиком, этот во-

прос считается в Линкольнс-Инне весьма спорным. Ему еще нет пятнадцати, но он уже великий знаток юриспруденции. Его дразнят тем, что он якобы пылает страстью к одной особе, торгующей в табачной лавочке неподалеку от Канцлерской улицы, и ради нее нарушил слово, данное другой особе, с которой был помолвлен несколько лет. Это типичное дитя города – низенький, щупленький, с высохшим личиком; однако его можно заметить даже издали, так как он носит высоченный цилиндр. Сделаться таким, как Гаппи, – вот цель его честолюбивых стремлений. Он подражает мистеру Гаппи (который относится к нему покровительственно) – подражает ему в одежде, в манере говорить, в походке – словом, уподобляется ему во всем. Он имеет честь пользоваться исключительным доверием мистера Гаппи и порой, когда в личной жизни мистера Гаппи возникают трудности, дает ему советы, почерпнутые из глубоких источников собственного опыта.

Мистер Гаппи все утро лежит на подоконнике, высунувшись наружу, после того как посидел на всех табуретах поочередно, но ни один из них не нашел удобным, и, стремясь освежить голову, несколько раз совал ее в несгораемый шкаф. Он дважды посылал мистера Смоллуида за шипучими напитками, а тот дважды наливал их в два конторских стакана и размешивал линейкой. Мистер Гаппи изрекает в назидание мистеру Смоллуиду следующий парадокс: «Чем больше пьешь, тем больше пить хочется», затем склоняет голову на подоконник и предается безнадежному томлению.

Продолжая смотреть в окно на погруженную в тень Старую площадь Линкольнс-Инна и окидывая взором опостылевшие кирпичные стены, выбеленные известкой, мистер Гаппи вдруг замечает внизу, под аркадой, чьи-то мужественные бакенбарды, которые выставились наружу и приподнялись, повернувшись в сторону его окна. В ту же секунду в Инне раздается негромкий свист, и приглушенный голос зовет:

– Эй! Га-аппи!

– Не может быть! – восклицает мистер Гаппи, оживляясь. – Смолл! Да это Джоблинг!

Смолл тоже высовывается из окна и кивает Джоблингу.

– Откуда ты взялся? – спрашивает мистер Гаппи.

– С огородов, что под Детфордом. Невтерпеж стало. Придется завербоваться в солдаты. Слушай! Дай-ка мне в долг полкроны. Есть хочется невыносимо.

Джоблинг явно изголодался, и лицо у него такое, словно, пожив на огородах под Детфордом, он совсем увял.

– Слушай, Гаппи! Брось полкроны, если найдется. Необходимо пообедать.

– Хочешь пообедать со мной? – спрашивает мистер Гаппи, бросая монету, которую мистер Джоблинг ловко подхватывает на лету.

– А долго придется терпеть? – спрашивает Джоблинг.

– Полчаса – и того меньше. Дай только дождаться, чтобы неприятель убрался восвояси, – отвечает мистер Гаппи, мот-

нув головой назад в комнату.

– Какой неприятель?

– Новичок. Учится на клерка. Подождешь?

– Может, дашь мне чего-нибудь почитать для препровождения времени? – спрашивает мистер Джоблинг.

Смоллуид предлагает «Список юристов». Но мистер Джоблинг с большим жаром заявляет, что «видеть его не может».

– Когда так, бери газету, – говорит мистер Гаппи. – Смолл снесет ее тебе. Только лучше не стой тут на виду. Сядь у нас на лестнице и читай. Тут тихо-спокойно.

Джоблинг с понимающим видом утвердительно кивает. Сметливый Смоллуид снабжает его газетой и время от времени присматривает за ним с площадки, опасаясь, как бы ему не надоело ждать и он не улепетнул преждевременно. Наконец «неприятель» отступает, и Смоллуид ведет мистера Джоблинга наверх.

– Ну, как поживаешь? – спрашивает мистер Гаппи, подавая ему руку.

– Так себе. А ты как?

Мистер Гаппи отвечает, что особенно похвалиться нечем, и мистер Джоблинг осмеливается спросить:

– А как *она*?

Мистер Гаппи воспринимает это как вольность и внушает:

– Джоблинг, в человеческой душе *есть такие* струны…

Джоблинг извиняется.

– Любые темы, только не эта! – говорит мистер Гаппи, мрачно наслаждаясь своей обидой. – Ибо *есть* струны, Джоблинг…

Мистер Джоблинг снова извиняется.

В течение этого краткого разговора деятельный Смоллуид, которому тоже предстоит принять участие в обеде, успел вывести писарским почерком на клочке бумаги: «Вернемся немедленно». Он сует это объявление в щель почтового ящика, к сведению тех, кого оно может интересовать, затем надевает цилиндр, сдвигая его набекрень под тем углом, под каким мистер Гаппи обычно сдвигает свой, и уведомляет патрона, что теперь можно удирать.

И вот все трое направляются в ближайший трактир того разряда, который завсегдатаи прозвали: «Лопай и хлопай!» и где служанка, сорокалетняя разбитная девица, как говорят, произвела впечатление на чувствительного Смоллуида, для которого, как для подмененных эльфами детей в сказках, возраст не имеет значения. Ведь этот преждевременно развившийся юноша уже овладел вековой мудростью сов. Если он когда-нибудь и лежал в люльке, то, наверное, лежал в ней, облаченный во фрак. Глаза у него, у этого Смоллуида, старые-престарые; пьет и курит он по-обезьяньи; шея у него сдавлена тугим воротником; его не проведешь – он знает все обо всем на свете. Словом, суды Общего права и Справедливости так его воспитали, что он сделался чем-то вроде древнего, допотопного чертенка, а если теперь и живет на земле,

то лишь потому, как острят в канцеляриях, что отцом его был Джон Доу, а матерью единственная женщина в семействе Роу, что же касается первых его пеленок, то их выкроили из синего мешка для хранения документов.

Не обращая внимания на провизию, соблазнительно разложенную в витрине трактира, – подмазанную белилами цветную капусту и битую птицу, корзинки с зеленым горошком, прохладные спелые огурцы и куски мяса, нарезанные для вертела, – мистер Смоллуид ведет спутников за собой. Здесь его все знают и уважают. Он кушает только в своем любимом отделении, требует себе все газеты и ругает тех лысых старцев, которые читают их дольше десяти минут. Ему не подашь начатого хлебного пудинга и не предложишь куска мяса из вырезки, если это не самый лучший кусок. А насчет качества подливки он тверд как алмаз.

Зная его колдовскую силу и подчиняясь его огромной опытности, мистер Гаппи советуется с ним относительно выбора блюд для сегодняшнего банкета и, устремив на него молящий взор, в то время как служанка перечисляет яства, спрашивает:

– Что закажешь *ты*, Цып?

Цып с видом глубокого знатока заказывает «ветчинно-телячий паштет и фасоль» и, демонически подмигнув старообразным оком, добавляет:

– Да смотри, Полли, не забудь положить в паштет начинку!

Мистер Гаппи и мистер Джоблинг заказывают то же самое. Напитки – три пинты портера пополам с элем. Вскоре служанка возвращается и приносит нечто похожее на модель вавилонской башни, а на самом деле – стопку тарелок и плоских оловянных судков. Мистер Смоллуид, одобрив все, что поставлено перед ним, подмигивает ей, придав своим древним очам благостно-понимающее выражение. И вот среди беспрестанно входящих и выходящих посетителей и снующей взад и вперед прислуги, под стук посуды, под лязг и грохот подъемника, спускающегося в кухню и поднимающего оттуда лучшие куски мяса из вырезки, под визгливые требования новых лучших кусков мяса, передаваемые вниз через переговорную трубу, под визгливые выкрикиванья цены тех лучших кусков мяса, которые уже съедены, в испарениях горячего кровяного мяса, разрезанного и неразрезанного, и в такой невыносимой жаре, что грязные ножи и скатерти, кажется, вот-вот извергнут из себя жир и пролитое пиво, триумвират юристов приступает к утолению своего аппетита.

Мистер Джоблинг застегнут плотнее, чем этого требует элегантность. Поля его цилиндра так залоснились, как если бы улитки избрали их своим любимым местом для прогулок. Та же особенность свойственна некоторым частям его сюртука, особенно швам. Вообще вид у мистера Джоблинга поблекший, как у джентльмена в стесненных обстоятельствах; даже его белокурые бакенбарды несколько пообтрепались и уныло никнут.

Аппетит у него такой ненасытный, словно все последнее время мистер Джоблинг питался отнюдь не досыта. Он так стремительно управляется со своей порцией паштета из ветчины и телятины, что одолевает ее раньше, чем его сотрапезники успели съесть половину своих, и мистер Гаппи предлагает ему заказать еще порцию.

– Спасибо, Гаппи, – говорит мистер Джоблинг, – право, не знаю, *хочется* ли мне еще.

Но когда приносят вторую порцию, он уплетает ее с величайшей охотой.

Мистер Гаппи поглядывает на него, не говоря ни слова; но вот мистер Джоблинг, наполовину опустошив вторую тарелку, перестает есть, чтобы с наслаждением отпить портера с элем из кружки (также наполненной заново), вытягивает ноги и потирает руки. Заметив, что он сияет довольством, мистер Гаппи говорит:

– Теперь ты опять стал человеком, Тони!

– Ну, не совсем еще, – возражает мистер Джоблинг. – Скажи лучше – новорожденным младенцем.

– Хочешь еще овощей? Салата? Горошка? Ранней капусты?

– Спасибо, Гаппи, – отвечает мистер Джоблинг. – Право, не знаю, *хочется* ли мне ранней капусты.

Блюдо заказывают с саркастическим наставлением (исходящим от мистера Смоллуида): «Только без слизняков, Полли!» И капусту приносят.

– Я расту, Гаппи! – говорит мистер Джоблинг, орудуя ножом и вилкой степенно, но с наслаждением.

– Рад слышать.

– Пожалуй, мне уж лет за десять перевалило, – говорит мистер Джоблинг.

Больше он ничего не говорит, пока не кончает своей работы, что ему удается сделать как раз к тому времени, когда мистер Гаппи и мистер Смоллуид кончают свою, и, таким образом, он в превосходном стиле достигает финиша, без труда обогнав двух других джентльменов на один ветчинно-телячий паштет и одну порцию капусты.

– А теперь, Смолл, что ты порекомендуешь на третье? – спрашивает мистер Гаппи.

– Пудинг с костным мозгом, – без запинки отвечает мистер Смоллуид.

– Ну и ну! – восклицает мистер Джоблинг с хитрым видом. – Вот ты как, а? Спасибо, мистер Гаппи, но я, право, не знаю, *хочется* ли мне пудинга с костным мозгом.

Приносят три пудинга, и мистер Джоблинг шутя отмечает, что быстро близится к совершеннолетию. Затем, по приказанию мистера Смоллуида, подают «три сыра честера», а потом «три рома с водой». Счастливо добравшись до этой вершины пиршества, мистер Джоблинг кладет ноги на покрытую ковром скамью (он один занимает целую сторону отделения) и, прислонившись к стене, говорит:

– Теперь я взрослый, Гаппи. Я достиг зрелости.

– А что ты теперь думаешь, – спрашивает мистер Гаппи, – насчет… ты не стесняешься Смоллуида?

– Ничуть. Даже с удовольствием выпью за его здоровье.

– За ваше, сэр! – откликается мистер Смоллуид.

– Я хотел спросить, – продолжает мистер Гаппи, – что думаешь ты *теперь* насчет вербовки в солдаты?

– Что я думаю после обеда, – отвечает мистер Джоблинг, – это одно, дорогой Гаппи, а что я думаю до обеда – это совсем другое. Но даже после обеда я спрашиваю себя: что мне делать? Чем мне жить? Иль фо манжет[2], знаете ли, – объясняет мистер Джоблинг, причем произносит последнее слово так, как будто говорит об одной из принадлежностей мужского костюма. – Иль фо манжет. Это французская поговорка, а мне нужно «манжет» не меньше, чем какому-нибудь французику. Скорей даже больше.

Мистер Смоллуид твердо убежден, что «значительно больше».

– Скажи мне кто-нибудь, – продолжает Джоблинг, – да хотя бы не дальше, чем в тот день, когда мы с тобой, Гаппи, махнули в Линкольншир и поехали осматривать дом в Касл-Уолде…

– Чесни-Уолде, – поправляет его мистер Смоллуид.

– В Чесни-Уолде (благодарю моего почтенного друга за поправку). Скажи мне кто-нибудь, что я окажусь в таком отчаянном положении, в какое буквально попал теперь, я…

---

[2] *Искаж. фр.* il fault manger – нужно питаться.

ну, я бы его отделал, – говорит мистер Джоблинг, глотнув разбавленного водой рома с видом безнадежной покорности судьбе. – Я бы ему шею свернул!

– И все же, Тони, ты и тогда был в пиковом положении, – внушает ему мистер Гаппи. – Ты тогда в шарабане только про это и твердил.

– Гаппи, я этого не отрицаю, – говорит мистер Джоблинг. – Я действительно был в пиковом положении. Но я надеялся, что авось все сгладится.

Ох, уж это столь распространенное убеждение в том, что всякие шероховатости «сгладятся»! Не в том, что их обстрогают или отшлифуют, а в том, что они «сами сгладятся»! Так иному сумасшедшему все вещи кажутся полированными!

– Я так надеялся, что все сгладится и наладится, – говорит мистер Джоблинг, слегка заплетающимся языком выражая свои мысли, которые тоже, пожалуй, заплетаются. – Но пришлось разочароваться. Ничего не наладилось. А когда дошло до того, что кредиторы мои принялись скандалить у нас в конторе, а люди, с которыми контора имела дела, стали жаловаться на какие-то пустяки – будто я занимал у них деньги, – ну, тут и пришел конец моей службе. Да и всякой новой службе тоже, – ведь если мне завтра понадобится рекомендация, все это в нее запишут, чем доконают меня окончательно. Так что же мне с собой делать? Я скрылся во мраке неизвестности, жил скромно, на огородах; но какой толк жить скромно, когда нет денег? С тем же успехом можно бы-

ло бы жить шикарно.

– Даже с большим, – полагает мистер Смоллуид.

– Конечно. Так и живут в высшем свете; а высший свет и бакенбарды всегда были моей слабостью, и мне наплевать, если кто-нибудь об этом знает, – говорит мистер Джоблинг. – Это – возвышенная слабость, будь я проклят, сэр, возвышенная. Ну! – продолжает мистер Джоблинг, с вызывающим видом глотнув еще рома. – Что же мне с собой делать, спрошу я вас, как не завербоваться в солдаты?

Мистер Гаппи, решив принять более деятельное участие в разговоре, разъясняет, что именно, по его мнению, можно сделать. Он говорит серьезным и внушительным тоном человека, который еще ничем себя не уронил в жизни – разве что сделался жертвой своих нежных чувств и сердечных горестей.

– Джоблинг, – начинает мистер Гаппи, – я и наш общий друг Смоллуид…

(Мистер Смоллуид скромно вставляет: «Оба джентльмены!», после чего делает глоток.)

– Мы не раз беседовали на эту тему, с тех пор как ты…

– Скажи: получил по шеям! – с горечью восклицает мистер Джоблинг. – Скажи, Гаппи. Ведь ты именно это хотел сказать.

– Нн-е-ет! Бросил службу в Инне, – деликатно подсказывает мистер Смоллуид.

– С тех пор как ты бросил службу в Инне, Джоблинг, –

говорит мистер Гаппи, – и я говорил нашему общему другу Смоллуиду об одном проекте, который на днях собирался тебе предложить. Ты знаешь Снегсби, того, что держит писчебумажную лавку?

– Знаю, что есть такой, – отвечает мистер Джоблинг. – Но он не был нашим поставщиком, и я незнаком с ним.

– А с *нами* он ведет дела, и я с ним знаком, – говорит мистер Гаппи. – Так вот, сэр! На днях мне довелось познакомиться с ним еще короче, так как непредвиденный случай привел меня к нему в дом. Сейчас незачем рассказывать об этом случае. Быть может, он имеет, – а может быть, и нет, – отношение к обстоятельствам, которые, быть может, набросили тень, – а может быть, и нет, – на мое существование.

У мистера Гаппи есть коварная привычка хвастаться своими горестями, соблазняя закадычных друзей завести разговор об упомянутых обстоятельствах, а как только друзья коснутся этой темы, накидываться на них с беспощадной суровостью, напоминая о струнах в человеческой душе; поэтому мистер Джоблинг и мистер Смоллуид обходят западню, сохраняя молчание.

– Все это может быть, а может и не быть, – повторяет мистер Гаппи. – Но не в этом дело. Достаточно тебе знать, что мистер и миссис Снегсби очень охотно сделают мне одолжение и что мистер Снегсби в горячую пору сдает много переписки на сторону. Через его руки проходит вся переписка для Талкингхорна, бывают и другие выгодные заказы. Я уве-

рен, что, если бы нашего общего друга Смоллуида допросили на суде, он подтвердил бы это.

Мистер Смоллуид кивает и, как видно, жаждет, чтобы его привели к присяге.

– Ну-с, джентльмены присяжные, – говорит мистер Гаппи, – то бишь ну, Джоблинг, ты, может быть, скажешь, что это незавидный образ жизни. Согласен. Но это лучше, чем ничего, и лучше, чем солдатчина. Тебе необходимо переждать непогоду. Нужно время, чтобы забылись твои недавние истории. И смотри – как бы тебе не пришлось провести это время похуже, чем в работе по переписке для Снегсби.

Мистер Джоблинг хочет прервать мистера Гаппи, но проницательный Смоллуид останавливает его сухим кашлем и словами:

– Ишь ты! Говорит, как пишет, – ни дать ни взять Шекспир!

– Вопрос делится на два пункта, Джоблинг, – продолжает мистер Гаппи. – Это первый. Перехожу ко второму. Ты знаешь Крука, по прозвищу Канцлер, проживающего на той стороне Канцлерской улицы? Да ну же, Джоблинг, ты, конечно, знаешь Крука, по кличке Канцлер, – того, что живет на той стороне Канцлерской улицы, – настаивает мистер Гаппи понукающим тоном следователя, который ведет допрос.

– Я знаю его в лицо, – говорит мистер Джоблинг.

– Знаешь в лицо. Очень хорошо. А ты знаешь старушку Флайт?

– Ее все знают, – отвечает мистер Джоблинг.

– Ее все знают. Оч-чень хорошо. Так вот, с недавнего времени в число моих обязанностей входит выдача этой самой Флайт недельного денежного пособия с вычетом из него недельной квартирной платы, каковую я (согласно полученным мною инструкциям) регулярно вручаю самому Круку в присутствии Флайт. Поэтому мне пришлось завязать знакомство с Круком, и я теперь знаю, какой у него дом и какие привычки. Мне известно, что у него сдается комната. Ты мог бы ее снять задешево и жить в ней под любым именем так же спокойно, как в ста милях от города. Он не будет задавать никаких вопросов и возьмет тебя в квартиранты по одному моему слову – хоть сию секунду, если хочешь. И вот еще что я скажу тебе, Джоблинг, – продолжает мистер Гаппи, внезапно понижая голос и снова переходя на дружеский тон, – это какой-то необыкновенный старикан… вечно роется в кипах каких-то бумаг, всеми силами старается научиться читать и писать, но, кажется, без всякого успеха. Совершенно необычайный старикашка, сэр. Не знаю, пожалуй, стоило бы последить за ним немножко.

– Ты хочешь сказать… – начинает мистер Джоблинг.

– Я хочу сказать, что *даже* я не могу его раскусить, – объясняет мистер Гаппи, пожимая плечами с подобающей скромностью. – Прошу нашего общего друга Смоллуида дать показание, слышал он или нет, как я говорил, что не могу раскусить Крука?

Мистер Смоллуид дает весьма краткое показание:

– Несколько раз.

– Я кое-что понимаю в своей профессии и кое-что понимаю в жизни, Тони, – говорит мистер Гаппи, – и мне лишь редко не удается раскусить человека в той или иной степени. Но с таким старым чудаком, как он, с таким скрытным, хитрым, замкнутым (хотя трезвым он, кажется, никогда не бывает) я в жизни не встречался. Ну-с, лет ему, должно быть, немало, а близких у него нет ни единой души, и поговаривают, будто он страшно богат; но кто бы он ни был – контрабандист, или скупщик краденого, или беспатентный содержатель ссудной кассы, или ростовщик (а я в разное время подозревал, что он занимается либо тем, либо другим), ты, может статься, сумеешь извлечь кое-какую выгоду для себя, если хорошенько его прощупаешь. Не вижу, почему бы тебе не заняться этим, если все прочие условия подходят.

Мистер Джоблинг, мистер Гаппи и мистер Смоллуид опираются локтями на стол, а подбородками на руки и устремляют глаза в потолок. Немного погодя все они выпивают, медленно откидываются назад, засовывают руки в карманы и переглядываются.

– Если бы только была у меня моя прежняя энергия, Тони! – говорит мистер Гаппи со вздохом. – Но в человеческой душе есть такие струны…

Оборвав эту грустную фразу на половине, мистер Гаппи пьет ром с водой и заканчивает свою речь передачей дела в

руки Тони Джоблинга, добавив, что до конца каникул, пока в делах застой, его кошелек «в размере до трех, четырех и даже пяти фунтов, уж коли на то пошло», предоставляется в распоряжение Тони.

– Пусть никто не посмеет сказать, что Уильям Гаппи повернулся спиной к другу! – с жаром изрекает мистер Гаппи.

Последнее предложение мистера Гаппи попало прямо в точку, и взволнованный мистер Джоблинг просит:

– Гаппи, твою лапу, благодетель ты мой!

Мистер Гаппи протягивает ему руку со словами:

– Вот она, Джоблинг, друг!

– Гаппи, сколько уж лет нас с тобой водой не разольешь! – вспоминает мистер Джоблинг.

– Да, Джоблинг, что и говорить! – соглашается мистер Гаппи.

Они трясут друг другу руки, потом мистер Джоблинг говорит с чувством:

– Спасибо тебе, Гаппи, но, право, не знаю, *хочется* ли мне выпить еще стаканчик ради старого знакомства.

– Прежний жилец Крука умер в этой комнате, – роняет мистер Гаппи как бы мимоходом.

– Да неужели? – удивляется мистер Джоблинг.

– Было произведено дознание. Вынесли решение: скоропостижная смерть. Это тебя не пугает?

– Нет, – отвечает мистер Джоблинг, – это меня не пугает, хотя он прекрасно мог бы умереть где-нибудь в другом

месте. Чертовски странно, что ему взбрело в голову умереть именно в *моей* комнате!

Мистер Джоблинг весьма возмущен подобной вольностью и несколько раз возвращается к этой теме, отпуская такие, например, замечания: «Ведь на свете немало мест, где можно умереть!» или «Умри я в *его* комнате, он бы не очень-то обрадовался, надо полагать!».

Как бы то ни было, соглашение уже заключено, и мистер Гаппи предлагает послать верного Смоллуида узнать, дома ли мистер Крук, ибо, если он дома, можно будет закончить дело без дальнейших проволочек. Мистер Джоблинг соглашается, а Смоллуид становится под свой высоченный цилиндр и выносит его из трактира точь-в-точь, как это обычно делает Гаппи. Вскоре он возвращается с известием, что мистер Крук дома и в открытую дверь его лавки видно, как он сидит в задней каморке и спит «как мертвый».

– Так я расплачусь, а потом пойдем повидаемся с ним, – говорит мистер Гаппи. – Смолл, сколько с нас причитается?

Мистер Смоллуид, подозвав служанку одним взмахом ресниц, выпаливает без запинки:

– Четыре ветчинно-телячьих паштета – три шиллинга; плюс четыре картофеля – три шиллинга и четыре пенса; плюс одна капуста – три шиллинга и шесть пенсов; плюс три пудинга – четыре и шесть; плюс шесть раз хлеб – пять шиллингов; плюс три сыра честера – пять и три; плюс четыре пинты портера с элем – шесть и три; плюс четыре рома с

водой – восемь и три, плюс три «на чай» Полли – восемь и шесть. Итого восемь шиллингов шесть пенсов; вот тебе полсоверена, Полли, – сдачи восемнадцать пенсов!

Ничуть не утомленный этими сложнейшими подсчетами, мистер Смоллуид прощается с приятелями холодным кивком, а сам остается в трактире, чтобы приволокнуться за Полли, если представится случай, и прочитать свежие газеты, которые чуть ли не больше его самого, – сейчас он без цилиндра, – так что, когда он держит перед собой «Таймс», пробегая глазами газетные столбцы, кажется, будто он улегся спать и с головой укрылся одеялом.

Мистер Гаппи и мистер Джоблинг направляются в лавку старьевщика, где Крук все еще спит «как мертвый», точнее – храпит, уткнув подбородок в грудь, не слыша никаких звуков и даже не чувствуя, как его легонько трясут. На столе рядом с ним, посреди прочего хлама, стоит пустая бутылка из-под джина и стакан. Нездоровый воздух в каморке так проспиртован, что даже зеленые глаза кошки, расположившейся на полке, кажутся пьяными, когда она то открывает их, то закрывает, то поблескивает ими на посетителей.

– Эй, вставайте же! – взывает мистер Гаппи к старику, снова встряхивая его поникшее тело. – Мистер Крук! Хелло, сэр!

Но разбудить его, как видно, не легче, чем разбудить узел старого платья, пропитанный спиртом и пышущий жаром.

– Не то спит, не то пьян вдрызг – видал ты такой столб-

няк? – говорит мистер Гаппи.

– Если он всегда так спит, – отзывается Джоблинг, несколько встревоженный, – как бы ему когда-нибудь не пришлось заснуть навеки.

– Больше похоже на обморок, чем на сон, – говорит мистер Гаппи, снова встряхивая старика. – Хелло, ваша милость! Да его тут пятьдесят раз ограбить можно! Откройте глаза!

Они долго возятся со стариком, и он наконец открывает глаза, но как будто ничего не видит – даже посетителей. Он закидывает ногу на ногу, складывает руки, жует потрескавшимися губами, но кажется столь же нечувствительным ко всему окружающему, как и раньше.

– Во всяком случае, он жив, – говорит мистер Гаппи. – Как поживаете, милорд канцлер? Я привел к вам своего приятеля по одному дельцу.

Старик сидит смирно, чмокая сухими губами, но не проявляя никаких признаков сознания. Спустя несколько минут он делает попытку встать. Приятели помогают ему, и он, пошатываясь, встает и, прислонившись к стене, смотрит на них, выпучив глаза.

– Как поживаете, мистер Крук? – повторяет мистер Гаппи, несколько растерявшись. – Как поживаете, сэр? У вас прекрасный вид, мистер Крук. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете?

Старик бесцельно замахивается не то на мистера Гаппи,

не то в пустое пространство и, с трудом повернувшись, припадает лицом к стене. Так он стоит минуты две, прижимаясь к стене всем телом, потом ковыляет, пошатываясь, через всю лавку к наружной двери. Воздух, движение в переулке, время или все это вместе наконец приводит его в себя. Он возвращается довольно твердыми шагами, поправляет на голове меховую шапку и острым взглядом смотрит на посетителей.

– Ваш покорный слуга, джентльмены; я задремал! Ха! Иной раз трудновато бывает меня разбудить.

– Пожалуй, что так, сэр, – подтверждает мистер Гаппи.

– Как! Разве вы пытались меня разбудить, а? – спрашивает подозрительный Крук.

– Немножко, – объясняет мистер Гаппи.

Случайно заметив пустую бутылку, старик берет ее в руки, осматривает и медленно опрокидывает вверх дном.

– Что такое! – кричит он, словно злой кобольд в сказке. – Кто-то здесь самовольно угостился!

– Когда мы пришли, она уже была пустая, уверяю вас, – говорит мистер Гаппи. – Вы разрешите мне снова наполнить ее для вас?

– Еще бы, конечно разрешу! – восклицает Крук в восторге. – Конечно разрешу! Нечего и говорить! Ступайте в «Солнечный герб»… это здесь близехонько… возьмите «лорд-канцлерский» джин, четырнадцать пенсов бутылка. Будьте спокойны, кого-кого, а меня там знают!

Он так навязчиво сует мистеру Гаппи бутылку, что этот

джентльмен, согласившись выполнить поручение, поспешно уходит, кивнув другу, и столь же поспешно возвращается с полной бутылкой. Старик берет ее на руки, словно любимого внука, и нежно поглаживает.

– Что такое? – шепчет он, отпив из бутылки и прищурив глаза. – Да это вовсе не «лорд-канцлерский» – четырнадцать пенсов бутылка. Этот стоит дороже – восемнадцать пенсов!

– Я думал, он вам больше по вкусу, – говорит мистер Гаппи.

– Вы благородный человек, сэр, – отзывается Крук, сделав еще глоток и пахнув на приятелей своим горячим, как пламя, дыханием. – Вы прямо владетельный барон какой-то.

Пользуясь удобным моментом, мистер Гаппи представляет своего друга под первым попавшимся именем, как «мистера Уивла», и объясняет, с какой целью они пришли. Крук с бутылкой под мышкой (он никогда не бывает ни совсем пьяным, ни вполне трезвым) не спеша разглядывает предложенного ему квартиранта и как будто остается доволен им.

– Хотите посмотреть комнату, молодой человек? – говорит он. – Отличная комната! Недавно побелили. Вымыли ее мылом и содой. Ха! Стоит вдвое дороже, чем я за нее беру, не говоря уж о том, что вы можете болтать со мной когда угодно; да еще кошка в придачу – мышей ловит на славу.

Расхвалив таким образом комнату, старик ведет приятелей наверх, в каморку, которая теперь действительно чище, чем была раньше, и обставлена кое-какой подержанной ме-

белью, извлеченной стариком из его неисчерпаемых складов. Условие заключают быстро, – ибо «лорд-канцлер» не хочет торговаться с мистером Гаппи, который по роду своих занятий имеет отношение к Кенджу и Карбою, тяжбе «Джарндисы против Джарндисов» и другим знаменитым судебным делам, – и договариваются, что мистер Уивл переберется на следующий день. Покончив с этим, мистер Уивл и мистер Гаппи направляются в переулок Кукс-Корт, выходящий на Карситор-стрит, где мистер Гаппи представляет мистера Уивла мистеру Снегсби и (что еще важнее) добивается одобрения и сочувствия миссис Снегсби. Затем они докладывают о своих успехах достославному Смоллуиду, который ждал их в конторе и специально для этой встречи напялил свой высоченный цилиндр, затем расстаются, причем мистер Гаппи объясняет, что охотно завершил бы угощение приятелей, сводив их на свой счет в театр, но, к сожалению, в человеческой душе есть такие струны, что это удовольствие превратится для него в горькую насмешку.

На другой день мистер Уивл, отнюдь не обремененный багажом, скромно приходит в дом Крука вечером, когда уже темнеет, и обосновывается в своем новом жилье, а два глаза в ставнях дивятся на него, когда он спит, и прямо надивиться не могут. На другое утро мистер Уивл, расторопный, но ни на что не годный молодой человек, просит у мисс Флайт иголку с ниткой, а у хозяина молоток и принимается за работу: изобретает нечто вроде занавесок, прибивает что-

то вроде полок и развешивает две принадлежащие ему чайные чашки, молочник и прочую сборную посуду на нескольких гвоздиках, уподобляясь потерпевшему кораблекрушение моряку, который пытается как-то скрасить свое жалкое положение.

Но что всего дороже мистеру Уивлу из того немногого, чем он владеет (не считая белокурых бакенбард, внушающих ему такую привязанность, какую лишь бакенбарды способны пробудить в сердце мужчины), – что ему всего дороже, так это избранная коллекция портретов, входящих в состав одной истинно национальной серии гравюр на меди, именуемой «Богини Альбиона, или Галерея Звезд Британской Красоты», – гравюр, на которых титулованные и светские дамы изображены во всем разнообразии деланых улыбок, какое только может создать искусство при содействии капитала. Этими великолепными портретами, которые были незаслуженно погребены в шляпной картонке во время его уединенной жизни на огородах, он и украшает свое помещение, а так как «Галерея Звезд Британской Красоты» одета в самые разностильные и фантастические костюмы, играет на самых разнородных музыкальных инструментах, ласкает собачек самых различных пород, делает глазки самым разнообразным пейзажам и располагается на фоне самых разнокалиберных цветочных горшков и балюстрад, результат получается совершенно умопомрачительный.

Но что поделаешь – мистер Уивл, как в прошлом Тони

Джоблинг, питает слабость к высшему свету. Взять как-нибудь вечерком в «Солнечном гербе» вчерашнюю газету и читать про избранные и блестящие метеоры, мчащиеся во всех направлениях по светским небесам, – вот что приносит ему несказанное утешение. Читать о том, что такой-то член такого-то избранного и блестящего круга совершил избранный и блестящий подвиг, присоединившись к этому кругу вчера, или предполагает совершить не менее избранный и блестящий подвиг, вознамерившись покинуть его завтра, – вот что вызывает в мистере Уивле трепет восторга. Ведь знать, как проводит время «Галерея Звезд Британской Красоты» и как она собирается его проводить, знать, какие свадьбы устраиваются в этой Галерее и какие в ней ходят слухи, – это все равно что соприкасаться с самыми прославленными из судеб людских. Почерпнув такого рода новости из светской хроники, мистер Уивл переводит взор на портреты тех лиц, о которых он читал, и смотрит на них с таким видом, словно он знаком с оригиналами этих портретов, а они знакомы с ним.

В общем, он спокойный жилец, мастер на всякие изобретения и выдумки, вроде уже упомянутых, умеет готовить себе пищу и убирать за собой, умеет и столярничать, а когда вечерние тени ложатся на переулок, проявляет склонность к общительности. В эти часы, если только его не навещает мистер Гаппи или другой похожий на него юнец, всунутый в темный цилиндр, мистер Уивл выходит из своей убогой каморки, – где находится унаследованная им деревянная

пустыня письменного стола, испещренная пятнами от чернильного дождя, – и беседует с Круком или «запросто болтает», как хвалебно отзываются в переулке, с каждым, кто пожелает завязать с ним разговор. Поэтому миссис Пайпер, которая играет в переулке ведущую роль, не может не сделать двух замечаний, к сведению миссис Перкинс: во-первых, если ее Джонни будет носить бакенбарды, ей хотелось бы, чтобы они были точь-в-точь такими, как бакенбарды нового жильца, и, во-вторых, «попомните мои слова, почтеннейшая миссис Перкинс, и не удивляйтесь, дорогая, если в конце концов деньги старого Крука достанутся этому молодому человеку!».

Глава XXI
Семейство Смоллуидов

В довольно неблагоустроенной и отнюдь не благоуханной части города, хотя одна из ее возвышенностей и носит название «Приятный холм», карлик Смоллуид, нареченный при крещении Бартоломью, а в лоне семьи именуемый Бартом, проводит те немногие часы, которые у него не отнимает служба и все связанное с нею. Он живет на узкой уличке, всегда безлюдной, темной, мрачной и, словно склеп, со всех сторон плотно обложенной кирпичами; а ведь тут когда-то росли леса, но от них сохранился лишь один пень, запах которого почти так же свеж и неиспорчен, как аромат юности Смоллуида.

Несколько поколений Смоллуидов произвели на свет лишь одного-единственного младенца. Правда, у них рождались маленькие старички и старушки, но детей не было, пока ныне здравствующая бабушка мистера Смоллуида не выжила из ума и не впала в детство. И бабушка мистера Смоллуида, бесспорно, украшает семейство такими, например, младенческими свойствами, как полное отсутствие наблюдательности, памяти, разума, интереса к чему бы то ни было, а также привычкой то и дело засыпать у камина и валиться в огонь.

Дедушка мистера Смоллуида тоже входит в состав семьи. Он совсем не владеет своими нижними конечностями и почти не владеет верхними, но разум у него не помутился. Старик не хуже, чем в прежние годы, помнит первые четыре правила арифметики и небольшое количество самых элементарных сведений. Что касается возвышенных мыслей, благоговения, восхищения и прочих подобных чувств, о наличии которых френологи судят по буграм и впадинам на черепе, то подобные мысли и чувства у него, очевидно, как были, так и остались только в буграх и впадинах, но глубже не проникли. Все, что приходит в голову дедушке мистера Смоллуида, является туда в виде личинки и навсегда остается личинкой. За всю свою жизнь он не вырастил ни одной бабочки.

Родитель этого приятного дедушки, обитающего в окрестностях «Приятного холма», был из породы тех толстокожих, двуногих, деньгососущих пауков, которые ткут паутину, чтобы ловить в нее неосторожных мух, и прячутся в норы, пока мухи не очутятся в западне. Бог этого старого язычника назывался Сложным Процентом. Прадедушка Смоллуид жил для него, обвенчался с ним, умер из-за него. Как-то раз он потерпел крупный убыток в одном чистеньком дельце, затеянном с тем расчетом, чтоб убыток потерпели другие, и тут в прадедушке Смоллуиде что-то надорвалось, – что-то необходимое для его существования, а значит, не сердце, – и его жизненный путь окончился. Он обучался в благотворительной школе, где прошел составленный по методу вопросов и

ответов полный курс истории древних народов – аморитян и хититов, тем не менее репутация у него была прескверная, и его нередко приводили в пример, когда желали доказать, что образование не всем идет впрок.

Дух его прославился в сыне, которого он всегда учил, что «в жизнь надо вступать рано», и двенадцати лет от роду поместил клерком в контору одного пройдохи-ростовщика. Там этот молодой джентльмен развил свой ум, узкий и беспокойный, и, обладая наследственными талантами, мало-помалу возвысился до профессии дисконтера, то есть занялся учетом векселей. Рано вступив в жизнь и поздно в брак, – по примеру своего отца, – он произвел на свет сына, тоже одаренного узким и беспокойным умом, а тот, в свою очередь, рано вступив в жизнь и поздно – в брак, сделался отцом двух близнецов: Бартоломью и Джудит Смоллуид. И все время, пока продолжался медленный рост этого родового древа, представители дома Смоллуидов, неизменно вступавшие в жизнь рано, а в брак поздно, развивали свои практические способности, отказываясь от всех решительно увеселений, отвергая все детские книги, волшебные сказки, легенды и басни и клеймя всякого рода легкомыслие. Это привело к отрадному последствию: в их доме перестали рождаться дети, а те перезрелые маленькие мужчины и женщины, которые в нем появлялись на свет, были похожи на старых обезьян, и их внутренний мир производил гнетущее впечатление.

Темная тесная гостиная Смоллуидов расположена в по-

луподвале, мрачна, угрюма, украшена только грубейшей суконной скатертью и уродливейшим чайным подносом из листового железа, так что стиль ее обстановки аллегорически и довольно точно отображает душу дедушки Смоллуида; и сейчас в этой гостиной, погруженные в черные, со спинками в виде ниш, набитые волосом кресла, что стоят по обеим сторонам камина, дряхлые мистер и миссис Смоллунд проводят часы своего заката. В камине стоят два тагана для котелков и чайников, за которыми обычно следит дедушка Смоллуид, а над ними из-под каминной полки выступает что-то вроде латунной виселицы, за которой он наблюдает, когда на ней жарится мясо. В кресле почтенного мистера Смоллуида под сиденьем устроен ящик, охраняемый его журавлиными ногами и, по слухам, содержащий баснословное богатство. Под рукой у старца лежит подушка, которой его заботливо снабжают, чтобы у него было чем швырнуть в почтенную спутницу его уважаемой старости всякий раз, как она заговорит о деньгах, ибо эта тема особенно сильно задевает его чувствительность.

– Где же Барт? – спрашивает дедушка Смоллуид у Джуди, которой Барт приходится братом-близнецом.

– Еще не пришел, – отвечает Джуди.

– Но ведь пора чай пить?

– Нет еще.

– А сколько же времени осталось, по-твоему?

– Десять минут.

– Что?

– Десять минут, – орет Джуди.

– Хо! – произносит дедушка Смоллуид. – Десять минут.

Бабушка Смоллуид, которая все время что-то бормотала и трясла головой, уставившись на таганы, слышит, что назвали число, и, связав его с деньгами, кричит, как отвратительный, старый, наголо ощипанный попугай:

– Десять десятифунтовых бумажек!

Дедушка Смоллуид незамедлительно швыряет в нее подушкой.

– Замолчи, черт тебя подери! – кричит славный старикан.

Это метательное движение влечет за собой два последствия. Брошенная подушка вдавливает череп миссис Смоллуид в мягкую боковую стенку ее кресла, и когда внучка извлекает бабушку на свет божий, бабушкин чепец представляет собой совершенно непристойное зрелище; что касается мистера Смоллуида, то, потратив на бросок все силы, он валится назад в *своем кресле*, как сломанная марионетка. В подобные минуты достойный пожилой джентльмен обычно напоминает мешок тряпья с черной ермолкой на макушке и почти не подает признаков жизни, пока внучка не произведет над ним двух операций – не встряхнет его, как огромную бутыль, и не взобьет, как огромный валик, который кладут на кровать, под подушку. После применения этих средств у него появляются некоторые признаки шеи, и тогда он и спутница заката его жизни, вернувшись в прежнее состоя-

ние, снова сидят в своих креслах-нишах друг против друга, как два часовых, давно позабытых на посту Черным Разводящим – Смертью.

Джуди, их внучка, – достойная союзница этой четы. Она столь неоспоримо является сестрой мистера Смоллуида-младшего, что, если бы их обоих смешать, из полученного теста не удалось бы вылепить юношу или девушку нормального размера; кроме того, она представляет собой столь отменный образец упомянутого фамильного сходства Смоллуидов с обезьяньим племенем, что, надев платьице с блестками и шапочку, могла бы гулять по плоской крышке шарманки, не вызывая слишком большого удивления и не считаясь из ряда вон выходящим экземпляром. Впрочем, сейчас она одета в простое платье из коричневой ткани.

У Джуди никогда не было куклы, она никогда не слышала о Золушке, никогда не играла ни в какие игры. Раз или два, лет десяти от роду, она случайно попадала в детское общество, но дети не могли поладить с Джуди, а Джуди не могла поладить с детьми. Она казалась им существом какого-то другого вида, и в них это вызывало инстинктивное отвращение к ней, а в ней – отвращение к ним. Вряд ли Джуди умеет смеяться. Скорей всего, не умеет – слишком редко она слышала смех. А уж о девичьем смехе она, безусловно, не имеет ни малейшего понятия. Попробуй она хоть раз рассмеяться по-девичьи, ей помешали бы зубы, – ведь и смеясь, она бессознательно подражала бы безобразным беззубым старикам,

как подражает им всегда, что бы она ни чувствовала. Такова Джуди.

А ее брат-близнец никогда в жизни не запускал волчка. О Джеке, истребителе великанов, или о Синдбаде-мореходе он знает не больше, чем о жителях звезд. Он так же мало способен играть в лягушку-скакушку или крикет, как превратиться в лягушку или крикетный мяч. Но он все-таки ушел несколько дальше своей сестры, так как в узком мире его опыта приоткрылось окно на более обширные области, лежащие в пределах кругозора мистера Гаппи. Отсюда его восхищение этим ослепительным чародеем и желание соревноваться с ним.

Со стуком и звоном, громким, как звуки гонга, Джуди ставит на стол один из своих железных чайных подносов и расставляет чашки и блюдца. Хлеб она кладет в корзинку из железной проволоки, а масло (крошечный кусочек) на оловянную тарелочку. Дедушка Смоллуид, пристально следя за тем, как Джуди разливает чай, спрашивает у нее, где девчонка.

– Какая? Чарли, что ли? – отзывается Джуди.

– Как? – переспрашивает дедушка Смоллуид.

– Вы про Чарли спрашиваете?

Это задевает какую-то пружину в бабушке Смоллуид, и, по привычке ухмыльнувшись таганам, она разражается неистовым воплем:

– За море! Чарли за море, Чарли за море, за море к Чарли, Чарли за море, за море к Чарли!

Вопит она с величайшей страстностью. Дедушка смотрит на подушку, но чувствует, что еще не совсем оправился после своего давешнего подвига.

– Ну да, про Чарли, если ее так зовут, – отвечает старик, когда наступает тишина. – Больно много она жрет. Лучше бы нанимать ее на своих харчах.

Джуди подмигивает, точь-в-точь как ее брат, кивает головой и складывает губы для слова «нет», но не произносит его вслух.

– Нет? – переспрашивает старик. – Почему?

– Она тогда запросит шесть пенсов в день, а нам ее прокорм дешевле обходится.

– Правда?

Джуди отвечает весьма многозначительным кивком, очень осторожно намазывает масло на хлеб, так чтобы не намазать лишнего, и, разрезав хлеб на ломтики, кричит:

– Эй, Чарли, где ты?

Робко повинуясь этому зову, появляется маленькая девочка в жестком переднике и огромной шляпе, с половой щеткой в мокрых, покрытых мыльной пеной руках и, подойдя, приседает.

– Что ты сейчас делаешь? – спрашивает Джуди, по-старушечьи набрасываясь на нее, словно злющая старая ведьма.

– Убираю заднюю комнату наверху, мисс, – отвечает Чарли.

– Смотри работай хорошенько, да не прохлаждайся. У ме-

ня лодырничать не удастся. Поторапливайся! Ступай! – кричит Джуди, топнув ногой. – С вами, девчонками, столько беспокойства, что вы и половины его не стоите.

Суровая матрона снова принимается за исполнение своих обязанностей – скупо намазывает масло, режет хлеб, – но вот на нее падает тень ее брата, заглянувшего в окно. Джуди с ножом и хлебом в руках открывает ему входную дверь.

– А-а, Барт! – говорит дедушка Смоллуид. – Пришел, а?

– Пришел, – отвечает Барт.

– Опять проводил время с приятелем, Барт?

Смолл кивает.

– Обедал на его счет, Барт?

Смолл опять кивает.

– Так и надо. Пользуйся чем только можешь на его счет, но пусть его глупый пример послужит тебе предостережением. Вот на что нужен такой приятель… только на то он и нужен, – изрекает почтенный мудрец.

Внук, не выслушав этого доброго наставления с должной почтительностью, все же удостаивает деда молчаливым ответом, еле заметно подмигнув и наклонив голову, а потом садится за чайный стол. Все четыре старческих лица парят над чайными чашками, словно компания страшных херувимов, причем миссис Смоллуид беспрестанно вертит головой и болтает с таганами, а мистера Смоллуида приходится то и дело встряхивать, как взбалтывают огромную черную склянку со слабительной микстурой.

– Да-да, – говорит добрый старец, продолжая мудрое поучение. – То же самое посоветовал бы тебе твой отец, Барт. Не пришлось тебе видеть своего отца. А жаль. Он был весь в меня.

Значит ли это, что на отца Барта было очень приятно смотреть, – неясно.

– Он был весь в меня, считать умел мастерски, – повторяет старец, сложив пополам ломоть хлеба с маслом у себя на коленях. – А умер он лет… пожалуй, уже десятка полтора прошло.

Миссис Смоллуид, повинуясь своему инстинкту, взвизгивает:

– Полторы тысячи фунтов! Полторы тысячи фунтов в черной шкатулке, полторы тысячи фунтов заперты, полторы тысячи фунтов убраны и припрятаны!

Достойный ее супруг, отложив в сторону хлеб с маслом, немедленно запускает в нее подушкой, припечатывая супругу к боковой стенке ее кресла, и, обессиленный, откидывается на спинку своего кресла. Теперь, то есть после того, как он обратился к миссис Смоллуид с такого рода увещеванием, он производит необычайно внушительное, но не вполне благоприятное впечатление: во-первых, потому, что от сделанного усилия черная его ермолка съехала на один глаз, придав ему вид распутного беса; во-вторых, потому, что он бормочет яростные ругательства по адресу миссис Смоллуид; и, в-третьих, потому, что в этом контрасте между его сильным

духом и бессильным телом угадываешь злобу старого душегуба, который наделал бы елико возможно больше зла, если бы только мог. Однако зрелище это столь хорошо знакомо семейному кругу Смоллуидов, что ничуть не привлекает к себе внимания. В таких случаях старца просто встряхивают и взбивают, словно он набит пером или пухом; подушку водворяют на ее обычное место рядом с ним, а старуху, чепец которой иногда приводят в порядок, а иногда нет, снова усаживают в кресло, где она сидит, готовая к тому, что ее опять повалят, как кеглю.

На сей раз прошло некоторое время, прежде чем престарелый джентльмен почувствовал себя достаточно остывшим, чтобы продолжать прерванную речь; но, начав ее, он и тут примешивает к этой речи назидательные вставки, обращенные к своей выжившей из ума подруге жизни, которая ни с кем в мире не общается, если не считать таганов. Вот примерно что он говорит:

– Поживи твой отец подольше, Барт, он нажил бы кучу денег – болтунья зловредная! – но как раз, когда он начал возводить здание, основу которого закладывал много лет, – сорока ты беспутная, галка, попугаиха, что ты там мелешь? – он заболел и умер от лихорадки, причем до последнего издыхания оставался бережливым человеком, ничего лишнего себе не позволял, а только и думал что о делах, – кошкой бы в тебя швырнуть, а не подушкой, да и швырну, раз уж ты такая несусветная дура! – а твоя мать – благоразумная женщина,

сухая, как щепка, зачахла, истлела, как трут, после того как родила тебя и Джуди. Ах ты, старая свинья! Чертова свинья! Свиная башка!

Джуди, ничуть не интересуясь тем, о чем она не раз слышала, сливает в полоскательницу недопитый чай из чашек, блюдец и чайника на ужин маленькой поденщице. Затем она ссыпает в железную хлебную корзинку все те крошки и обгрызанные корки хлеба, которые уцелели, несмотря на строгую экономию, царящую в доме.

– Мы с твоим отцом были компаньонами, Барт, – продолжает старик, – и когда я скончаюсь, вам с Джуди достанется все, что у меня есть. Повезло вам, что оба вы рано вступили в жизнь – Джуди пошла по цветочной части, а ты по судебной. Наследство-то вам и тронуть не придется. Вы и без него заработаете себе на жизнь да еще приложите к нему сколько-нибудь. Когда я скончаюсь, Джуди опять примется за цветочное дело, а ты по-прежнему будешь заниматься судебным.

Поглядеть на Джуди, можно подумать, что она имеет дело скорее с шипами, чем с цветами; но она действительно научилась ремеслу и тайнам изготовления искусственных цветов. Когда же почтенный дед Джуди и ее братца говорил о своей будущей кончине, внимательный наблюдатель, быть может, заметил бы в глазах внуков довольно нетерпеливое желание узнать, когда же наконец он скончается, и смешанное с затаенной обидой убеждение, что пора бы уж ему по-

кончить счеты с жизнью.

– Ну, если все наелись, – говорит Джуди, закончив свои приготовления, – я позову сюда девчонку пить чай. Позволь ей только пить одной на кухне – этому конца не будет.

Итак, Чарли вызвана в гостиную и под жестоким обстрелом хозяйских взглядов садится хлебать чай из полоскательницы и жевать объедки хлеба с маслом, напоминающие друидические развалины. Занятая бдительным надзором за этой молодой особой, Джуди Смоллуид приняла вид существа поистине геологического возраста, родившегося в отдаленнейшую эпоху. Достойна удивления ее способность то и дело налетать и накидываться на девочку по всякому поводу и без всякого, зря и не зря, ибо в искусстве помыкать служанками Джуди достигла такого совершенства, какого лишь редко достигают самые старые и опытные мастерицы этого дела.

– Нечего день-деньской глазеть по сторонам, – визжит, тряся головой и топая ногой, Джуди, успев поймать взгляд девочки, измерявший глубину чая в полоскательнице, – ешь скорей да принимайся за работу.

– Слушаю, мисс, – говорит Чарли.

– Нечего твердить «слушаю», – кричит мисс Смоллуид, – я вас, девчонок, насквозь вижу! Делай, что говорят, без лишних слов, может, я тогда тебе и поверю.

В доказательство своей покорности Чарли делает большой глоток чаю и так спешит управиться с друидическими развалинами хлеба, что мисс Смоллуид приказывает ей не объ-

едаться, подчеркивая, что в этом отношении «вы, девчонки, прямо противные». В дальнейшем Чарли, пожалуй, было бы еще труднее приспособиться ко взглядам Джуди на вопрос о девчонках вообще, но тут раздается стук в дверь.

– Посмотри, кто пришел, да не жуй, когда будешь отпирать! – кричит Джуди.

Как только предмет ее неусыпных забот убегает, чтобы открыть дверь, мисс Смоллуид пользуется возможностью убрать остатки хлеба с маслом и швырнуть две-три грязные чашки в чайное мелководье полоскательницы в знак того, что она считает еду и питье оконченными.

– Ну? Кто там и чего ему нужно? – спрашивает раздражительная Джуди.

Оказывается, это некий «мистер Джордж». Без дальнейших докладов и церемоний мистер Джордж входит в комнату.

– Ого! – говорит мистер Джордж. – Жарковато здесь у вас. Неужто вы и летом камин топите, а? Что ж! Пожалуй, вам не худо заранее приучиться к огоньку.

Последнее суждение мистер Джордж бормочет себе под нос, кивая дедушке Смоллуиду.

– Хо! Это вы! – восклицает старик. – Как дела? Как дела?

– Помаленьку, – отвечает мистер Джордж, усаживаясь на стул. – Я уже имел честь познакомиться с вашей внучкой; готов служить вам, мисс.

– А это мой внук, – говорит дедушка Смоллуид. – Его вы

еще не видели. Он пошел по судебной части и дома бывает редко.

– Готов служить и ему! Он похож на сестру. Очень похож на сестру. *Чертовски* похож на сестру, – говорит мистер Джордж, делая сильное и не вполне лестное ударение на этом наречии.

– А вам как живется, мистер Джордж? – спрашивает дедушка Смоллуид, медленно потирая ноги.

– Да по-прежнему. Вроде как футбольному мячу.

Мистер Джордж – смуглый и загорелый мужчина лет пятидесяти, хорошо сложенный и красивый, с вьющимися темными волосами, живыми глазами и широкой грудью. Его мускулистые, сильные руки, такие же загорелые, как и лицо, поработали, должно быть, немало. Бросается в глаза его странная манера садиться на самый краешек стула, словно он с давних пор привык оставлять у себя за спиной место для запасной одежды или снаряжения, которого теперь никогда не носит. И походка у него ровная и твердая – к ней очень пошли бы бряцанье тяжелой сабли и громкий звон шпор. Теперь он гладко выбрит, но губы складывает так, словно много лет носил пышные усы; об этом говорит и его привычка время от времени трогать верхнюю губу ладонью широкой смуглой руки. В общем, можно догадаться, что мистер Джордж – отставной кавалерист.

Трудно представить себе большую противоположность, чем мистер Джордж, с одной стороны, и члены семейства

Смоллуид – с другой. Вряд ли случалось хоть одному кавалеристу на свете квартировать у людей, столь непохожих на него. Рядом с ними он точно палаш рядом с устричным ножичком. Его мускулистая фигура – и их чахлые тельца; его широкие движения, которым нужно как можно больше свободного пространства, – и их напряженные ужимки; его звучная речь – и их скрипучие, тонкие голоса – все это никак не вяжется одно с другим, представляя чрезвычайно резкий и странный контраст. Когда он сидит в середине мрачной гостиной, слегка наклонившись вперед, уперев руки в бока и расставив локти, кажется, будто стоит ему остаться здесь подольше, и он поглотит все семейство и весь четырехкомнатный дом, включая выходящую во двор кухоньку и прочее.

– Вы трете себе ноги, чтобы их оживить? – спрашивает он дедушку Смоллуида, окинув взглядом комнату.

– Да так, знаете ли, мистер Джордж, отчасти по привычке, и… да… отчасти это помогает кровообращению, – отвечает тот.

– К-ро-во-о-бра-щению! – повторяет мистер Джордж, складывая руки на груди и как будто становясь вдвое шире. – С этим у вас дело плохо, должно быть.

– Что и говорить, мистер Джордж, стар стал, – соглашается дедушка Смоллуид. – Но для своих лет я еще крепкий. Я старше *ее*, – он кивает на жену, – а видите, какая она! Ах ты, трещотка зловредная! – снова вспыхивает в нем ярость.

– Несчастная старушенция! – говорит мистер Джордж, по-

вернувшись в сторону миссис Смоллуид. – Не надо ругать бабушку. Поглядите на нее: чепчик набок съехал – вот-вот с головы свалится; волосы спутались. Ну-ка, мамаша, сядьте-ка попрямее! Вот так лучше. Совсем молодцом!.. Вспомните о своей матери, мистер Смоллуид, – говорит мистер Джордж, усадив как следует старуху и возвращаясь на место, – если вам мало, что эта женщина ваша жена.

– А вы сами, конечно, были примерным сыном, мистер Джордж? – язвит старик, косясь на него.

– Да нет. Я примерным не был, – отвечает мистер Джордж, заливаясь густым румянцем.

– Это меня удивляет.

– Меня тоже. А мне следовало быть хорошим сыном, да, помнится, я и хотел этого. Но не вышло. Да, я был чертовски плохим сыном, и родные не могут мной похвалиться.

– Поразительно! – восклицает старик.

– Но теперь чем меньше об этом говорить, тем лучше, – продолжает мистер Джордж. – Приступим к делу! Помните наше условие? Всякий раз, как я плачу проценты за два месяца, вы угощаете меня трубкой. Не беспокойтесь! Все в порядке. Бояться вам нечего – можете подать мне трубку. Вот новый вексель, а вот деньги – проценты за два месяца; принес полностью, хоть и чертовски трудно скопить такую сумму, когда занимаешься тем, чем занимаюсь я.

Мистер Джордж сидит, скрестив руки на груди и словно поглощая всю гостиную вместе со всем семейством, а дедуш-

ка Смоллуид с помощью Джуди отпирает конторку и достает два черных кожаных бумажника; в один из них он кладет только что полученный документ, из другого вынимает другой такой же документ и передает его мистеру Джорджу, который скручивает его, чтобы потом раскурить им трубку. Прежде чем выпустить один документ из его кожаной тюрьмы и заключить в нее другой, старик, надев очки, проверяет каждую букву и каждый знак препинания в обоих, трижды пересчитывает деньги, требует, чтобы Джуди не менее двух раз повторила каждое произнесенное ею слово, и, весь дрожа, говорит и действует так медлительно, что эта операция отнимает уйму времени. Только после того как она закончена вполне, старик наконец отрывает жадные глаза и пальцы от бумаг и денег и отвечает на последнее замечание мистера Джорджа следующими словами:

– Бояться набить трубку? Мы вовсе не так скупы, сэр. Джуди, сейчас же подай трубку и стакан холодного грога мистеру Джорджу.

Игривые близнецы все это время смотрели прямо перед собой, если не считать той минуты, когда внимание их было приковано к черным кожаным бумажникам; теперь же оба они удаляются, полные презрения к посетителю и бросая его на произвол старика, подобно тому как удирают два медвежонка, оставив путешественника в лапах папаши-медведя.

– Так, значит, вы тут и сидите целый день? – говорит мистер Джордж, скрестив руки на груди.

– Именно, именно, – кивает старик.

– И ничем не занимаетесь?

– Присматриваю за камином, чтоб огонь не погас, чайник не выкипел, жаркое не пережарилось…

– Когда оно есть, – вставляет мистер Джордж весьма многозначительным тоном.

– Вот именно. Когда оно есть.

– Неужто вы ничего не читаете, не просите, чтобы вам почитали вслух?

Старик качает головой с жестким, коварным торжеством.

– Нет, нет. В нашем семействе охотников до чтения не было. Читать – только время терять. Чтением денег не заработаешь. Ни к чему. Бесполезное занятие. Нет-нет!

– Не знаешь, кому из вас двоих лучше живется, – говорит посетитель так тихо, что глуховатому старику трудно расслышать эти слова, и переводит глаза с него на старуху. – Послушайте! – произносит он громко.

– Слушаю.

– А ведь вы, наверное, распродадите мое имущество, если я хоть на день опоздаю внести проценты, – говорит мистер Джордж.

– Любезный друг мой! – восклицает дедушка Смоллуид, раскрыв объятия. – Никогда, никогда, любезный друг мой! Но мой приятель в Сити – тот, кого я упросил одолжить вам деньги, – он, пожалуй, на это способен!

– Ага, значит, вы не можете за него поручиться? – спра-

шивает мистер Джордж и едва слышно заканчивает свой вопрос словами: «Подлый старый лжец!»

– Любезный друг мой, ведь на него положиться нельзя. Я бы не решился ему довериться. Он требует, чтобы соглашение выполнялось неукоснительно, любезный друг мой.

– Требует, черт бы его побрал, – говорит мистер Джордж.

Чарли приносит поднос с трубкой, маленькой пачкой табаку и грогом, и мистер Джордж спрашивает ее:

– А ты что тут делаешь? Больно уж ты непохожа на здешних обитателей.

– Я хожу к ним на работу, сэр, – отвечает Чарли.

Осторожно сняв с девочки шляпу, кавалерист (если только он действительно служит или служил в кавалерии) гладит Чарли по головке, едва прикасаясь к ней сильной рукой.

– Ты украшаешь этот дом – придаешь ему здоровья. А то ведь тут не хватает молодости, как не хватает свежего воздуха.

Он отпускает ее, закуривает трубку и пьет за здоровье «приятеля мистера Смоллуида в Сити», каковой представляет собою единственную выдумку, созданную воображением уважаемого старого джентльмена.

– Значит, по-вашему, он способен жестоко прижать меня, а?

– По-моему, способен… боюсь, что так. Я знаю, что так он уже поступал раз двадцать, – опрометчиво говорит дедушка Смоллуид.

Опрометчиво потому, что его оцепеневшая дражайшая половина, некоторое время дремавшая у огня, мгновенно встрепенулась и затараторила:

– Двадцать тысяч фунтов, двадцать двадцатифунтовых бумажек в денежной шкатулке, двадцать гиней, двадцать миллионов по двадцати процентов, двадцать…

Но тут ее внезапно прерывает летящая подушка, которую посетитель, ошарашенный новизной этого своеобразного эксперимента, ловит в тот самый миг, когда она, как всегда, уже чуть было не придавила старуху.

– Дура зловредная! Скорпион… зловредный скорпион! Жаба разомлевшая! Трещотка, болтунья, ведьма на помеле, сжечь тебя давно пора! – задыхается старик, распростертый в кресле. – Любезный друг, встряхните меня немножко!

Изумленный мистер Джордж переводит глаза с одного на другую, а выслушав просьбу, хватает своего почтенного знакомца за шиворот и легко, словно куклу, сажает его прямо, раздумывая, по-видимому: «Уж не вытрясти ли из старца всякую возможность швыряться подушками и не стряхнуть ли его в могилу?» Поборов искушение, он все же так трясет старика, что голова у того мотается, как у балаганного арлекина, потом ловко сажает его в кресло и столь резким движением поправляет на нем ермолку, что старик после этого добрую минуту моргает глазами.

– О господи! – вздыхает мистер Смоллуид. – Довольно! Благодарю вас, любезный друг, довольно. Ох, боже мой, не

продохнуть! О господи!

Мистер Смоллуид бормочет все это, явно побаиваясь своего любезного друга, который все еще маячит перед ним и кажется ему еще более крупным, чем раньше.

Однако устрашающее видение постепенно оседает на свой стул и глубоко затягивается табачным дымом, утешая себя следующими философскими размышлениями вслух:

– Вы, пожалуй, правы, что соблюдаете условие со своим приятелем в Сити, почтенный, – ведь его имя начинается с буквы «Ч».

– Вы что-то сказали, мистер Джордж? – спрашивает старик.

Кавалерист, мотнув головой, наклоняется вперед, держа трубку в правой руке, и, облокотившись на правое колено, другую руку кладет на левое, по-военному отставив левый локоть, затем снова подносит трубку ко рту. Покуривая, он серьезно и внимательно смотрит на мистера Смоллуида, время от времени разгоняя клубы дыма, чтобы лучше видеть старика.

– Мне думается, – говорит он, чуть меняя позу, чтобы плавным округлым движением поднести стакан к губам, – что я единственный из живых людей (да и мертвых тоже), кому удалось заставить *вас* потратить деньги на трубку.

– Пожалуй! – соглашается старик. – Сказать правду, я никого не приглашаю в гости, мистер Джордж, и никого не угощаю. Не могу себе этого позволить. Но раз уж вы, хоть и

вежливо, настояли на трубке…

– Дело не в том, сколько она стоит, – это мелочь. Просто мне пришла блажь вытянуть из вас хоть это. Получить хоть что-нибудь за свои деньги.

– Ха! Вы предусмотрительны, сэр, вы предусмотрительны! – восклицает дедушка Смоллуид, потирая ноги.

– Очень. И всегда был. – Пых! – Вот вам неоспоримое доказательство моей предусмотрительности, – я нашел дорогу сюда. – Пых! – И еще одно – я сделался тем, кем являюсь теперь. – Пых! – Я славлюсь своей предусмотрительностью, – говорит мистер Джордж, спокойно продолжая курить. – Она-то меня и вывела в люди.

– Не унывайте, сэр. Вы еще можете выйти в люди.

Мистер Джордж смеется и делает глоток.

– Может быть, у вас есть родственники, которые согласятся уплатить этот должок, – спрашивает дедушка Смоллуид, и в глазах его зажигаются огоньки, – а может, среди них найдутся два-три кредитоспособных человека, которые поручатся за вас, так чтобы я мог уговорить своего приятеля в Сити дать вам новый заем? Мой приятель в Сити удовольствуется двумя кредитоспособными поручителями. Неужели у вас нет таких родственников, мистер Джордж?

Продолжая курить, мистер Джордж отвечает на это с невозмутимым видом:

– Ежели бы они и были, я все равно не стал бы их беспокоить. В юности я и так причинил немало беспокойства сво-

ей родне. *Может быть*, это и хорошо, когда блудный сын, в лучшие свои годы только прожигавший жизнь, наконец раскаивается, возвращается к порядочным людям, которые не могли им гордиться, и живет на их счет; но это не в моем духе. Если уж ты ушел из дому, то, по-моему, лучший вид покаяния – держаться подальше от своих.

– Но естественная привязанность, мистер Джордж? – возражает дедушка Смоллуид.

– К двум кредитоспособным поручителям, а? – говорит мистер Джордж, покачивая головой и спокойно покуривая. – Нет. Это тоже не в моем духе.

Дедушка Смоллуид, после того как его в последний раз встряхнули, мало-помалу соскальзывал с кресла, а теперь превратился в узел тряпья, из которого раздается голос, зовущий Джуди. Эта гурия появляется, привычно встряхивает его, и старец приказывает ей остаться в комнате, ибо он, по-видимому, остерегается докучать гостю просьбами о помощи.

– Да! – начинает приведенный в порядок дедушка Смоллуид. – Если бы вам удалось разыскать капитана, мистер Джордж, – это бы вас поставило на ноги. Помните, как вы в первый раз пришли сюда, прочитав наши объявления в газетах, – когда я говорю наши, я имею в виду объявления моего приятеля в Сити и еще двух-трех человек, которые таким же образом помещают свои капиталы и так со мной дружны, что изредка помогают мне в моей нужде, – вот если бы вы

тогда услужили нам, мистер Джордж, это поставило бы вас на ноги.

– Я бы не прочь стать на ноги, как вы выражаетесь, – говорит мистер Джордж, продолжая курить, однако уже несколько утратив спокойствие духа, ибо с той минуты, как Джуди вошла и стала за стулом дедушки, он до некоторой степени находится во власти каких-то чар, – но, конечно, не очарования, – и не в силах оторвать глаза от нее, – я бы не прочь стать на ноги, однако, в общем, я рад, что это не удалось.

– Почему же, мистер Джордж? Почему, скажите, ради… ради ведьмы? – спрашивает дедушка Смоллуид, явно раздраженный.

(Слово «ведьма», вероятно, вырвалось у него потому, что взгляд его упал на спящую миссис Смоллуид.)

– По двум причинам, почтенный.

– Какие же это две причины, мистер Джордж? Какие, скажите, ради…

– Нашего приятеля в Сити? – доканчивает его фразу мистер Джордж, спокойно отпивая из стакана.

– Да, если хотите. Какие причины?

– Во-первых, – отвечает мистер Джордж, по-прежнему не отрывая глаз от Джуди, словно она так стара и так похожа на дедушку, что безразлично, к кому из них обоих обращаться, – вы, джентльмены, меня провели. Вы писали в объявлениях, что мистер Хоудон (или капитан Хоудон, если верить поговорке: «Капитан – капитаном и останется») может

узнать от вас нечто для него полезное.

– Ну? – резким, пронзительным голосом понукает его старик.

– Вот вам и ну! – говорит мистер Джордж, не переставая курить. – Не велика польза, когда тебя сажают в тюрьму по приговору лондонских торговцев, а ведь так оно и было бы, явись он к вам.

– Почем вы знаете? Богатые родственники могли бы уплатить его долги целиком или хоть частично. Не мы провели его, а он – нас. Он задолжал нам кучу денег. Я скорей задушу его, чем прощу ему долг. Как вспомнишь про него… – рычит старик, растопырив бессильные пальцы, – так бы и задушил его сию же минуту.

Во внезапном порыве ярости он запускает подушкой в безобидную миссис Смоллуид, но подушка, никого не задев, пролетает мимо ее кресла.

– Я и сам знаю, – отзывается кавалерист, на мгновение вынимая трубку изо рта и переводя глаза, следившие за полетом подушки, на головку трубки, которая едва курится, – я и сам знаю, что он сорил деньгами и промотался. Я долгое время был с ним, когда он во весь опор мчался к разорению. Болен он был или здоров, богат или беден, я всегда находился при нем. Вот этой самой рукой я удержал его однажды, когда он уже прошел через все, разбил все в своей жизни… и поднес пистолет к виску.

– Жалко, что не выстрелил! – говорит благожелательный

старец. – Жалко, что голова его не разлетелась на столько кусков, сколько фунтов он задолжал!

– Случись так, от нее бы, конечно, только пыль осталась, – холодно отзывается кавалерист. – Так или иначе, когда-то у него было все – молодость, надежды, красота; потом не осталось ничего, и хорошо, что я не смог его разыскать тогда и принести ему столь большую «пользу». Это причина номер один.

– Надеюсь, причина номер два так же уважительна? – рычит старик.

– Нет. Вторая причина более эгоистическая. Чтобы его разыскать, мне самому пришлось бы попасть на тот свет. Он теперь там.

– Почем вы знаете, что он на том свете?

– Потому что на этом его нет.

– А почем вы знаете, что на этом его нет?

– Не теряйте терпения, как потеряли деньги, – советует мистер Джордж, невозмутимо выбивая пепел из трубки. – Он давным-давно утонул. В этом я уверен. Он упал за борт корабля. Не знаю только – нарочно или случайно. Может, ваш приятель в Сити знает… А вы не помните этого мотива, мистер Смоллуид? – добавляет он и насвистывает мотив, отбивая такт пустой трубкой по столу.

– Мотив! – повторяет старик. – Нет. Тут у нас никаких мотивов не поют.

– Это похоронный марш из «Саула». Под этот марш хо-

ронят военных, и лучше всего закончить наш разговор этой музыкой. А теперь, если ваша прелестная внучка, – простите, мисс, – соблаговолит прибрать эту трубку, вам не придется тратиться на новую, когда я опять приду сюда через два месяца. Добрый вечер, мистер Смоллуид!

– Любезный друг!

Старик протягивает ему обе руки.

– Значит, вы думаете, что ваш приятель в Сити жестоко прижмет меня, если я не уплачу процентов в срок? – спрашивает кавалерист, глядя на него сверху вниз, словно великан на карлика.

– Боюсь, что так, любезный друг, – отвечает старик, глядя на него снизу вверх, словно карлик на великана.

Мистер Джордж смеется, бросает последний взгляд на мистера Смоллуида, делает прощальный поклон в сторону презирающей его Джуди и выходит из гостиной такой походкой, что чудится, будто он гремит саблей и прочими металлическими предметами кавалерийского обмундирования.

– Проклятый плут! – рычит престарелый джентльмен, скорчив отвратительную рожу в сторону закрывшейся двери. – Но я скручу тебя, собаку! Я тебя скручу!

Прорычав эти доброжелательные слова, мистер Смоллуид воспаряет духом в те увлекательные области мышления, которые для него открыты его воспитанием и деятельностью; и вот опять он и миссис Смоллуид недвижно проводят часы своего заката, словно два бессменных часовых, забытых, как

уже было сказано, Черным Разводящим – Смертью.

Пока чета неотлучно находится на своем посту, мистер Джордж тяжелой поступью шагает по улицам с молодецким видом, но очень серьезным выражением лица. Уже восемь часов вечера, и сумерки наступают быстро. Он останавливается у моста Ватерлоо, читает афишу и решает пойти в цирк Астли. Там он восторгается лошадьми и цирковым искусством, критическим оком разглядывает оружие; недоволен фехтовальными номерами, так как фехтующие не умеют обращаться с рапирой; зато растроган до глубины души чувствительными сценами. Когда же под конец император Татарии, поднявшись на колесницу, улетает, милостиво благословляя соединившихся влюбленных британским флагом, ресницы мистера Джорджа увлажняются от душевного волнения.

Но вот представление окончилось, и мистер Джордж, снова перейдя по мосту через реку, направляется к тому расположенному между Хэймаркетом и Лестер-сквер прелюбопытному кварталу, где в изобилии встречаются невзрачные гостиницы и невзрачные иностранцы, помещения для игры в мяч, боксеры, учителя фехтования, телохранители, лавки старинного фарфора, игорные дома, выставки и всякий разношерстный люд, потрепанный жизнью и не желающий привлекать к себе внимания. Забравшись в самую глубь этого околотка, он входит во двор, потом в длинный, выбеленный крытый проход и приближается к большому кирпич-

ному строению, которое состоит лишь из голых стен, пола, стропил и кровли с прорезанными в ней окнами верхнего света и на фасаде которого, – если только можно сказать, что у этого строения есть фасад, – написано: «Галерея-Тир Джорджа, стрельба в цель и прочее».

Он входит в «Галерею-Тир Джорджа, стрельба в цель и прочее», а в ней горят газовые рожки (частью уже погашенные), стоят две выбеленные мишени для стрельбы из ружья, принадлежности для стрельбы из лука и для фехтования и все, что требуется для бокса, этого поистине британского искусства. Сегодня вечером здесь никто не занимается этими видами спорта, поэтому «Галерея-Тир Джорджа» безлюдна и вся целиком предоставлена уродливому коротышу с большой головой, который сейчас спит на полу.

Коротыш смахивает на оружейного мастера – он в зеленом суконном фартуке и шапочке, а лицо и руки у него запачканы порохом и почернели от возни с ружьями, которые ему приходится заряжать. Он лежит на свету, перед ярко-белой мишенью, и на ее фоне кажется еще чернее, чем он на самом деле. Неподалеку стоит крепкий, грубо сколоченный стол с тисками, – за этим столом коротыш работал весь день. Лицо у него словно сдавленное; одна щека сизого цвета и вся в пятнах – очевидно, он как-то раз, а может быть и не раз, пострадал от взрыва во время работы.

– Фил! – тихо окликает его кавалерист.

– Здесь! – громко отзывается Фил, с трудом поднимаясь

на ноги.

– Как дела?

– Дела – как сажа бела, – отвечает Фил. – Только пять дюжин ружейных выстрелов да дюжина пистолетных. И как нарочно – все в цель!

Вспомнив об этом, Фил жалобно охает.

– Закрывай лавочку, Фил!

Фил идет выполнять приказ, и тогда становится ясно, что он хромает, хотя способен двигаться очень быстро. На испещренной пятнами стороне его лица нет брови, на другой стороне бровь черная, косматая, и это несоответствие придает ему чрезвычайно своеобразный и довольно зловещий вид. Руки его, как видно, испытали все, что только можно испытать, кроме потери пальцев, – они скрючены, изборождены рубцами и шрамами. Сила у него, должно быть, большая, – тяжелые скамьи он поднимает с таким видом, словно они легче перышка. У него есть занятная привычка: когда ему нужна какая-нибудь вещь, он не идет к ней прямо, а ковыляет вокруг всей галереи, задевая плечом за стену, так что по всем четырем стенам этого помещения тянется грязная полоса, которую принято называть «следом Фила».

Сей страж, охраняющий «Галерею-Тир Джорджа» в отсутствие самого Джорджа, теперь запирает огромные двери, гасит все газовые рожки, кроме одного, – да и тот горит тускло, – и заканчивает свою работу тем, что вытаскивает из-за дощатой перегородки в углу два тюфяка и постель-

ные принадлежности. Тюфяки раскладывают в противоположных концах галереи, причем кавалерист стелет постель себе, а Фил себе.

– Фил! – говорит, подойдя к нему, хозяин, который уже снял сюртук и жилет и, оставшись в рубашке и штанах, выглядит еще более воинственно, чем раньше. – Тебя, кажется, нашли в чьем-то подъезде, а?

– В сточной канаве, – отвечает Фил. – Ночной сторож споткнулся и шлепнулся прямо на меня.

– Так, значит, для *тебя* бродячая жизнь дело привычное сызмальства?

– Чего привычней! – отвечает Фил.

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи, командир.

Фил даже к постели не может направиться прямо, а находит нужным пройти вдоль двух стен галереи, задевая их плечом, и только тогда поворачивает к своему тюфяку. Кавалерист, пройдясь раза два от места для прицельной стрельбы до мишени и посмотрев на луну, свет которой проникает сквозь окна в кровле, направляется более прямым путем к своему тюфяку и тоже укладывается спать.

Глава XXII
Мистер Баккет

Вечер сегодня жаркий, но аллегорическому римлянину на Линкольновых полях, должно быть, прохладно, да и немудрено – ведь у мистера Талкингхорна оба окна открыты настежь, а кабинет у него высокий, сумрачный, и в нем всегда сквозняк. Все это не очень приятно, когда приходит ноябрь с туманом и слякотью или январь со льдом и снегом, но в душные знойные дни долгих каникул тут хорошо. Вот почему у аллегорического римлянина довольно свежий вид, хотя щеки у него как персики, колени как букеты цветов, а вместо икр на ногах и мускулов на руках – розовые припухлости.

Тучи пыли летят в окна мистера Талкингхорна, но еще больше ее скопилось на его мебели и бумагах. Все здесь покрыто толстым слоем пыли. И когда полевой ветерок, заблудившись, попадает в эту комнату и в испуге мечется, как слепой, торопясь улететь вон отсюда, он пускает столько же пыли в глаза аллегорическому римлянину, сколько суд – или мистер Талкингхорн, как один из его самых преданных служителей, – временами пускает в глаза непосвященным.

В этом своем унылом складе пыли, – вездесущего вещества, в которое превратятся и его бумаги, и он сам, и все его клиенты, и все одушевленные и неодушевленные предметы,

какие есть на свете, – мистер Талкингхорн сидит за бутылкой у открытого окна и смакует старый портвейн. Человек жесткий, замкнутый, сухой и молчаливый, он, однако, не хуже других способен смаковать старое вино. Ларь с бесценным портвейном хранится у него в хитроумно устроенном погребе под Линкольновыми полями, и этот погреб – одна из его многочисленных тайн. Когда он обедает дома один, как обедал сегодня, он сначала съедает принесенные из ресторана рыбу и бифштекс или цыпленка, потом спускается со свечой в руке в гулкие подвалы, вырытые под опустелым домом, а затем неторопливо возвращается к себе, предшествуемый отдаленным отзвуком хлопающих дверей и овеянный запахом земли, приносит в свой кабинет бутылку и наливает из нее в рюмку сверкающий полувековой нектар, который краснеет за стеклом от сознания своей славы и наполняет всю комнату благоуханием виноградников Юга.

Сидя в сумерках у открытого окна, мистер Талкингхорн смакует вино. Оно как будто шепчет ему о своем полувековом безмолвии и плене, а он от этого все крепче замыкается в себе. Еще более непроницаемый, чем всегда, он сидит, пьет и, пожалуй, немного размякает в одиночестве, вспоминая в этот час сумерек обо всех известных ему тайнах, которые связываются в его представлении с темнеющими лесами за городом и просторными, обезлюдевшими, запертыми особняками в городе; а быть может, даже уделяет несколько мыслей самому себе, своей семейной истории, своим деньгам,

своему завещанию, – все это тайна для всех, – и тому единственному своему другу, холостяку, человеку того же склада и тоже юристу, который до семидесяти пяти лет жил так же, как мистер Талкингхорн, но внезапно почувствовал (как говорят), что жизнь эта слишком однообразна, и как-то раз, летним вечером, подарил свои золотые часы своему парикмахеру, не спеша вернулся домой в Тэмпл и повесился.

Но сегодня вечером мистер Талкингхорн не один и потому не может размышлять так долго, как привык. Из скромности отодвинув стул, так что сидеть не очень удобно, за тем же столом сидит лысый, кроткий, с лоснящимся лицом человек, который почтительно кашляет в руку, когда юрист приглашает его налить себе вина.

– Ну, Снегсби, – говорит мистер Талкингхорн, – давайте опять поговорим об этой странной истории.

– Пожалуйста, сэр.

– Вы сказали мне, когда были так добры зайти сюда вчера вечером…

– За что я должен попросить у вас извинения, сэр, если это была смелость с моей стороны; но вы, помнится, проявили некоторый интерес к этому лицу, и я подумал, что вы, может быть… пожелаете…

Мистер Талкингхорн не такой человек, чтобы помочь собеседнику сделать вывод или подтвердить какое-нибудь предположение, если они касаются его самого. Поэтому мистер Снегсби, робко покашливая, нерешительно повторяет:

– Я, конечно, должен просить у вас извинения, сэр, за эту смелость.

– Не беспокойтесь, – ободряет его мистер Талкингхорн. – Так вы говорили мне, Снегсби, что надели шляпу и отправились сюда, не сказав об этом жене. Мне кажется, вы поступили осмотрительно, ибо все это не так важно, чтобы об этом стоило говорить кому-нибудь.

– Изволите видеть, сэр, – объясняет мистер Снегсби, – моя женушка, говоря напрямик, любознательна. Да, любознательна. Она, бедняжка, страдает спазмами, и ей полезно, когда ум у нее чем-нибудь занят. Вот она и старается его занять… я бы сказал, чем попало, все равно касается это ее или не касается… особенно если не касается. У моей женушки очень деятельный ум, сэр.

Мистер Снегсби делает глоток и, восторженно кашляя в руку, бормочет:

– Боже мой, какое прекрасное вино!

– Значит, вы скрыли от нее свой вчерашний визит? – спрашивает мистер Талкингхорн. – И сегодняшний тоже?

– Да, сэр, сегодняшний тоже. Сейчас моя женушка, говоря напрямик, в набожном настроении – так по крайней мере она считает сама – и присутствует на так называемых «Вечерних бдениях» одного духовного лица, некоего Чедбенда. Он, бесспорно, очень красноречив, но мне лично не особенно нравится его стиль. Однако не в этом дело. Но поскольку моя женушка сегодня занята, мне легко удалось заглянуть к

вам без ее ведома.

Мистер Талкингхорн кивает.

– Налейте себе еще, Снегсби.

– Очень вам благодарен, сэр, – отзывается торговец, почтительно покашливая. – Замечательное вино, сэр!

– Теперь это вино считается редким, – говорит мистер Талкингхорн. – Ему пятьдесят лет.

– Да неужели, сэр? Впрочем, я ничуть этому не удивляюсь, разумеется. Ему можно дать… сколько угодно лет.

Воздав эту дань портвейну, мистер Снегсби скромно покашливает в руку, как бы извиняясь за то, что пьет такую драгоценность.

– Вы можете повторить еще раз все то, что говорил мальчик? – спрашивает мистер Талкингхорн, засовывая руки в карманы своих поношенных брюк и спокойно откидываясь назад в кресле.

– С удовольствием, сэр.

И владелец писчебумажной лавки очень точно, хотя и несколько многословно, пересказывает все, что говорил Джо у него в доме при гостях. Подойдя к концу рассказа, он вдруг вздрагивает всем телом и обрывает свою речь восклицанием:

– Боже мой, я и не знал, сэр, что здесь присутствует еще один джентльмен!

Мистер Снегсби испугался, заметив, что между ним и поверенным, неподалеку от стола, стоит внимательно всматривающийся в них человек со шляпой и палкой в руках – че-

ловек, которого не было здесь, когда сам мистер Снегсби вошел, и который при нем не входил ни в дверь, ни в окно. В комнате стоит шкаф, но петли его дверцы не заскрипели ни разу; не слышно было и шума шагов по полу. Однако этот третий человек стоит здесь со шляпой и палкой в руках, заложенных за спину, – внимательный, сосредоточенный и спокойный слушатель. Это крепко сложенный, немолодой, степенный на вид мужчина с острыми глазами, одетый в черный костюм. Он смотрит на мистера Снегсби с таким видом, словно хочет написать с него портрет, но, кроме этого, в нем на первый взгляд нет ничего особенно замечательного, – разве что появился он на манер привидения.

– Не обращайте внимания на этого джентльмена, – говорит мистер Талкингхорн, как всегда, спокойно. – Это просто мистер Баккет.

– Ах, вот как, сэр! – отзывается торговец, и его покашливание означает, что он понятия не имеет, кто такой мистер Баккет.

– Я устроил так, чтобы он услышал вашу историю, – говорит поверенный, – потому что мне хочется (по некоторым причинам) узнать все это поподробнее, а он хорошо разбирается в подобных делах. Что скажете, Баккет?

– Все очень просто, сэр. Наши люди приказали мальчишке не задерживаться на одном месте и убраться подальше, так что на прежнем перекрестке его не найдешь, но если мистер Снегсби не против отправиться со мной в «Одинокий Том»

и там опознать этого малого, мы приведем его сюда часа через два, даже раньше. Конечно, я могу сделать это и без мистера Снегсби, но так выйдет скорее.

– Мистер Баккет – агент сыскной полиции, Снегсби, – объясняет поверенный.

– Да неужели, сэр? – ужасается мистер Снегсби, и волосы, окаймляющие его плешь, готовы стать дыбом.

– Так если вы действительно согласитесь пойти туда с мистером Баккетом, – продолжает мистер Талкингхорн, – я буду вам очень признателен.

Мистер Снегсби колеблется лишь одно мгновение, но Баккет сразу же проникает в самую глубину его души.

– Да вы не бойтесь повредить мальчишке, – говорит он. – Ни капельки вы ему не повредите. С мальчишкой все в порядке. Мы только доставим его сюда, я ему задам два-три вопроса, а потом ему заплатят за беспокойство и отпустят его на все четыре стороны. Он на этом хорошо заработает. Обещаю вам, как честный человек, что мальчишку отпустят с миром. Не бойтесь ему повредить, бояться нечего.

– Прекрасно, мистер Талкингхорн, – бодро восклицает мистер Снегсби, немного успокоившись, – если так…

– Конечно! И вот еще что, мистер Снегсби, – конфиденциальным тоном говорит Баккет, подхватив торговца под руку, отводя его в сторону и дружески похлопывая по груди. – Вы, видать по всему, человек опытный, деловой, благоразумный. Вот какой *вы*.

– Я, конечно, очень благодарен вам за ваше доброе мнение обо мне, – отзывается мистер Снегсби, скромно покашливая, – но…

– Вот вы какой, заметьте, – продолжает Баккет. – Значит, незачем говорить такому человеку, как вы, человеку, который занимается таким делом, как ваше, а дело это основано на доверии и требует, чтобы его вели люди с головой на плечах, какие умеют глядеть в оба и держать язык за зубами (один мой дядя тоже когда-то имел писчебумажную лавку), – значит, незачем говорить такому человеку, как вы, что лучше всего и умней всего о такого рода делишках помалкивать. Ясно вам это? Помалкивать!

– Конечно, конечно, – соглашается мистер Снегсби.

– Не считаю нужным скрывать от *вас* следующее, – добавляет мистер Баккет с обаятельной, но притворной искренностью. – Есть сведения, что покойник оставил небольшое имущество, и вот тут возникает вопрос – уж не задумала ли эта бабенка как-нибудь изловчиться и присвоить себе наследство. Ясно вам это?

– Вот оно что! – восклицает мистер Снегсби, которому это, видимо, не совсем ясно.

– Ну, *а вы*, – продолжает Баккет, ласково и успокоительно похлопывая мистера Снегсби по груди, – вы стремитесь к тому, чтобы каждый пользовался своими правами согласно закону. Вот к чему стремитесь *вы*.

– Конечно, – соглашается мистер Снегсби, кивая.

– По этой причине и в то же время желая услужить… как это вы, мастера переписки, говорите – «заказчику» или «клиенту»? Я забыл, как выражался мой дядя.

– Я обычно говорю «заказчику», – отвечает мистер Снегсби.

– Правильно! – подтверждает мистер Баккет, совсем по-дружески пожимая ему руку. – По этой-то самой причине и в то же время желая услужить своему очень крупному заказчику, вы собираетесь вместе со мною, секретно, отправиться в «Одинокий Том» и впредь держать в тайне все это дело – никому никогда о нем не говорить. Ведь вы именно этого хотите, насколько я понимаю?

– Совершенно верно, сэр. Совершенно верно, – отвечает мистер Снегсби.

– Так вот ваша шляпа, – продолжает его новый друг, так бесцеремонно обращаясь со шляпой, как будто он ее сам сделал, – и, если вы готовы, я тоже готов.

Они прощаются с мистером Талкингхорном, – который попивает свое старое вино, по-прежнему совершенно невозмутимый, так что на поверхности его неизмеримых глубин не видно ни малейшего следа ряби, – затем направляются к выходу.

– Вам не случалось знавать одного очень славного малого по фамилии Гридли, нет? – спрашивает Баккет, когда они, дружески разговаривая, спускаются по лестнице.

– Нет, – отвечает мистер Снегсби, подумав, – я не знаю

никого с такой фамилией. А что?

– Да ничего особенного, – отвечает Баккет, – просто мне вспомнилось, как он немножко дал себе волю и принялся угрожать некоторым уважаемым лицам, так что я получил приказ арестовать его, но он скрылся… а жаль – благоразумному человеку скрываться не следует.

По дороге мистер Снегсби наблюдает нечто для него новое: каким бы скорым шагом они ни шли, у спутника его, как ни странно, все время такое выражение лица, как будто они не спеша прогуливаются от нечего делать; и еще – собираясь повернуть направо или налево, Баккет всякий раз притворяется, будто твердо решил идти прямо, но в самый последний момент делает крутой поворот. Время от времени навстречу им попадается квартальный полицейский, который обходит свой участок, и тут мистер Снегсби подмечает, что оба они – и его проводник и квартальный, – встречаясь, становятся чрезвычайно рассеянными и смотрят куда-то в пространство, как бы совсем не замечая друг друга. Изредка мистер Баккет нагоняет какого-то невысокого молодого человека в блестящем цилиндре с прилизанными волосами, закрученными на висках в два плоских завитка, и, почти не глядя на него, прикасается к нему своей палкой, а молодой человек, оглянувшись, мгновенно улетучивается. Мистер Баккет замечает почти все, что происходит вокруг, но лицо его так же не меняется, как не меняется огромный траурный перстень на его мизинце или булавка с крохотным

брильянтиком в массивной оправе, воткнутая в его рубашку.

Когда они наконец подходят к «Одинокому Тому», мистер Баккет ненадолго останавливается на углу и берет зажженный потайной фонарик у здешнего квартального надзирателя, а тот отправляется провожать их с другим фонариком у пояса. Мистер Снегсби шагает между своими проводниками по отвратительной улице, где нет стоков для воды, нет выхода для затхлого воздуха, где в черной глубокой грязи застаиваются смрадные лужи, – хотя в других кварталах сейчас мостовые сухи, – улице, издающей такое зловоние и представляющей такое зрелище, что он, проживший в Лондоне всю жизнь, едва верит своим органам чувств. От этой улицы, загроможденной грудами развалин, ответвляются другие улицы и переулки, столь омерзительные, что мистер Снегсби чувствует тошноту телесную и душевную, и ему чудится, будто он с каждым шагом все глубже погружается в преисподнюю.

– Отойдите-ка в сторону, мистер Снегсби, – говорит Баккет, когда навстречу им несут что-то вроде потрепанного паланкина, окруженного шумной толпой. – Тут по улицам горячка гуляет!

Несчастного невидимку уносят, а толпа, забыв об этом увлекательном зрелище, проносится мимо, как вереница страшных образин в бредовых видениях, рассеявшись, исчезает в переулках, развалинах, за стенами, но вдруг снова начинает метаться вокруг троих путников, что-то выкрикивая

с пронзительным предостерегающим свистом, пока все трое не удаляются прочь.

– В этих домах повальная горячка, Дарби? – хладнокровно спрашивает квартального мистер Баккет, направляя свой фонарик на какие-то зловонные лачуги.

Дарби отвечает, что «во всех», и даже, что много месяцев подряд люди здесь «валились десятками» и их уносили мертвых или умирающих, «как шелудивых овец». Они идут дальше, и Баккет говорит, что вид у мистера Снегсби довольно скверный, а мистер Снегсби отвечает, что тут ужасный воздух – просто дышать нечем.

Они справляются в нескольких домах о мальчике, которого зовут Джо. В «Одиноком Томе» лишь немногих знают по имени, данном при крещении, поэтому мистера Снегсби спрашивают, кто ему, собственно, нужен – Рыжий или Полковник, Виселица, Малец-Резец или Песий нос, Долговязый или Кирпич. Мистер Снегсби то и дело сызнова описывает наружность Джо. Мнения расходятся насчет того, кто же оригинал этого портрета. Одни думают, что это, наверное, Рыжий; другие – что не кто иной, как Кирпич. Приводят Полковника, но он ничуть не похож на того, кого ищут. Всякий раз, как мистер Снегсби и его проводники останавливаются, толпа окружает их со всех сторон, и из ее темных недр на мистера Баккета сыплются вкрадчивые советы. Всякий раз, как путники трогаются дальше, в толпу яростно врывается резкий свет их фонариков, и она исчезает, потом снова

мечется вокруг них в проходах, развалинах и за стенами.

Наконец отыскивают какую-то лачугу, в которой обычно ночует подросток по прозвищу Тупица, или Тупой малец, и тогда возникает надежда, что Тупица и Джо – одно лицо. К этому выводу приходят, сопоставив приметы, указанные мистером Снегсби, и сведения, полученные от хозяйки дома – бабы с головой, обмотанной черными тряпками, и с лицом пропойцы, которая выскочила из вороха лохмотьев, сваленных на полу какой-то собачьей конуры, служащей ей спальней. Тупица ушел к доктору за склянкой лекарства для больной женщины, но скоро вернется.

– А здесь нынче кто ночует? – спрашивает мистер Баккет, открыв другую дверь и освещая соседнюю каморку своим фонариком. – Двое пьяных мужчин, а? И две женщины? Мужчины в хорошем виде! – говорит он, подойдя к спящим, и у каждого отводит руку от лица, чтобы получше рассмотреть его. – Это ваши хозяева, сестрицы?

– Да, сэр, – отвечает одна из женщин. – Наши мужья.

– Кирпичники?

– Да, сэр.

– Что вы тут делаете? Вы не лондонские жители.

– Нет, сэр. Мы из Хэртфордшира.

– Из какой именно местности в Хэртфордшире?

– Из Сент-Олбенса.

– Пешком приплелись?

– Пришли вчера. Там без работы сидели, а здесь тоже ни-

чего путного не выходит, да, должно быть, и не выйдет.

– А таким способом ничего путного и не добьешься, – говорит мистер Баккет, поворачиваясь в сторону бесчувственных фигур на полу.

– Вот именно ничего, – со вздохом отвечает женщина. – Нам с Дженни это куда как хорошо известно.

Каморка фута на два, на три выше двери, и все-таки она так низка, что если бы самый высокий из посетителей выпрямился во весь рост, он уперся бы головой в закопченный потолок. Все здесь оскорбляет органы чувств; в затхлом воздухе даже толстая свеча горит каким-то бледным, болезненным пламенем. В каморке стоят две скамьи, и еще одна, повыше, заменяет стол. Мужчины спят там, где повалились на пол, а женщины сели поближе к свече. Женщина, отвечавшая на вопросы, держит на руках грудного ребенка.

– Сколько ему времени, этому крошке? – спрашивает Баккет. – На вид кажется, будто родился он только вчера.

Он говорит с женщиной довольно мягким тоном и осторожно направляет на ребенка свет своего фонарика, а мистеру Снегсби почему-то вспоминается другое дитя, окруженное сиянием, – дитя, которое он видел только на картинах.

– Ему еще трех недель нету, сэр, – отвечает женщина.

– Это ваш ребенок?

– Мой.

Другая женщина стояла, наклонившись над спящим младенцем, когда путники входили; теперь она нагибается снова

и целует его.

– А вы, должно быть, любите его, как родная мать, – говорит ей мистер Банкет.

– Я сама была матерью, хозяин; был и у меня такой же ребеночек, да помер.

– Эх, Дженни, Дженни! – говорит ей другая женщина. – Оно и лучше так. Лучше вспоминать о мертвом, чем думать о живом, Дженни! Куда лучше!

– Надеюсь, вы не настолько бессердечная женщина, – строго внушает мистер Баккет, – чтобы желать смерти своему собственному ребенку!

– Бог свидетель, конечно нет, хозяин, – отвечает она. – Я не бессердечная. Я не хуже любой нарядной леди отдала бы за него жизнь, кабы это было возможно.

– Ну, значит, и не говорите таких глупостей, – поучает ее мистер Баккет, снова смягчаясь. – Зачем это?

– Мне эти мысли в голову лезут, хозяин, когда ребенок вот так лежит у меня на коленях, а я на него смотрю, – говорит женщина, и глаза ее наполняются слезами. – Случись ему не проснуться больше, вы скажете, что я с ума сошла, так я буду по нем убиваться. Это я хорошо знаю. Я была при Дженни, когда у нее ребенок помер, – ведь правда, Дженни? – и помню, как она горевала. Но оглянитесь кругом, посмотрите на эту лачугу. Поглядите на них! – Она взглянула в сторону спящих на полу мужчин. – Поглядите на мальчишку, которого вы дожидаетесь, – того, что пошел за лекарством

для меня! Вспомните, каких ребят вы то и дело встречаете по своей работе и какими они вырастают у *вас* на глазах!

– Ладно, ладно, – говорит мистер Баккет, – воспитайте его порядочным человеком, – увидите, что он будет вас утешать и покоить в старости; так-то.

– Я всячески буду стараться его воспитывать, – отвечает она, вытирая глаза. – Но нынче вечером я прямо из сил выбилась, да и лихорадка меня трясет, вот я и стала раздумывать, что трудно ему будет вырасти хорошим человеком. Хозяин мой будет против этого, мальчонка и сам хлебнет колотушек, и увидит, как меня колотят, и дома ему станет страшно – убежит, а там, глядишь, и вовсе с пути собьется. Как я ни старайся, как ни работай на него изо всех сил, одной не справиться, а помощи ждать неоткуда; так что, несмотря на все мои старания, он все-таки может вырасти плохим человеком, и придет час, когда я буду глядеть на него сонного, – вот как теперь, – а он уже огрубеет, будет не такой, как прежде, ну, значит, и немудрено, что сейчас, когда он лежит у меня на коленях, я все о нем думаю и хочу, чтоб он помер, как ребенок Дженни.

– Ну, будет, будет! – говорит Дженни. – Ты устала, Лиз, да и больна. Дай-ка мне его подержать.

Она берет на руки ребенка и при этом нечаянно распахивает платье матери, но сейчас же оправляет его на истерзанной, исцарапанной груди, у которой лежал младенец.

– Это я из-за своего покойничка души не чаю в этом ма-

лыше, – говорит Дженни, шагая взад и вперед с ребенком на руках, – а она из-за моего покойничка души не чает в своем мальчике, так что даже думает: уж не лучше ли схоронить его, пока он еще мал? А я в это время думаю: чего только я не отдала бы, чтобы вернуть свое дитятко! Ведь обе мы – матери и чувствуем одинаково, только, бедные, не умеем сказать, что у нас на сердце лежит!

В то время как мистер Снегсби сморкается, покашливая сочувственным кашлем, за стеной слышны шаги. Мистер Баккет направляет свет фонарика на дверь и говорит мистеру Снегсби:

– Ну, что вы скажете насчет Тупицы? Тот самый?

– Да, это Джо, – отвечает мистер Снегсби.

Джо, ошеломленный, стоит в кругу света, напоминая оборванца на картинке в волшебном фонаре и трепеща при мысли о том, что он совершил преступление, слишком долго задержавшись на одном месте. Но мистер Снегсби успокаивает его заверением: «Ты просто нужен нам по делу, Джо, а за труды тебе заплатят», и мальчик приходит в себя; когда же мистер Баккет уводит его на улицу для небольшого частного собеседования, он хотя и дышит с трудом, но неплохо повторяет свой рассказ.

– Ну вот, от мальчишки я толку добился, и все в порядке, – говорит мистер Баккет, вернувшись. – Мы вас ждем, мистер Снегсби.

Но, во-первых, Джо должен завершить свое доброе дело –

отдать больной лекарство, за которым ходил, – и он отдает ей склянку, кратко объясняя: «Все зараз выпить немедля». Во-вторых, мистер Снегсби должен положить на стол полукрону – свое привычное всеисцеляющее средство от самых разнообразных недугов. В-третьих, мистер Баккет должен взять Джо за руку повыше локтя, чтобы вести его перед собой, ибо только таким порядком Тупой малец, как и любой другой малец, может быть приведен полицией на Линкольновы поля. Сделав все это, посетители желают спокойной ночи женщинам и снова погружаются в мрак и зловоние «Одинокого Тома».

Но вот они постепенно выбираются из этой трущобы теми же отвратительными путями, какими забрались в нее, а вокруг них толпа мечется, свистит и крадется, пока они не выходят за пределы «Одинокого Тома» и не возвращают потайного фонарика мистеру Дарби. Здесь толпа, подобно скопищу пленных демонов, с воем и визгом поворачивает назад и скрывается из виду. Путники идут и едут по другим улицам, лучше освещенным и более благоустроенным – никогда еще они не казались мистеру Снегсби так ярко освещенными и такими благоустроенными, – и наконец входят в те ворота Линкольнс-Инна, за которыми обитает мистер Талкингхорн.

Когда они поднимаются по темной лестнице (контора мистера Талкингхорна расположена на втором этаже), мистер Баккет объявляет, что ключ от входной двери у него в кармане, а значит, звонить не нужно. Но для человека столь све-

дущего в такого рода делах Баккет что-то уж очень долго и шумно отпирает дверь. Возможно, он подает кому-то сигнал подготовиться к приходу посетителей. Как бы то ни было, они наконец входят в переднюю, где горит лампа, а потом – в комнату мистера Талкингхорна, ту самую, где он сегодня вечером пил свое старое вино. Самого хозяина здесь нет, но свечи в обоих его старинных подсвечниках зажжены, и комната довольно хорошо освещена.

Мистеру Снегсби чудится, будто у мистера Баккета столько глаз, что им счету нет, а мистер Баккет, по-прежнему крепко, по-сыщицки, стискивая руку Джо, делает несколько шагов вперед; но Джо внезапно вздрагивает и останавливается.

– Что с тобой? – спрашивает Баккет шепотом.

– Она! – вскрикивает Джо.

– Кто?

– Леди!

В середине комнаты, там, куда падает свет, стоит женщина под густой вуалью. Неподвижная, безмолвная. Она стоит, окаменев, как статуя, лицом к вошедшим, но как будто не замечает их.

– Теперь скажи мне, – громко спрашивает Баккет, – откуда ты взял, что это та самая леди?

– А вуаль-то, – отвечает Джо, пристально вглядываясь в нее, – а шляпа, а платье… узнал сразу.

– Смотри, не ошибись, Тупица, – предостерегает Баккет,

внимательно наблюдая за мальчиком. – Взгляни-ка еще разок!

– Да я и так во все глаза гляжу, – говорит Джо, уставившись на женщину, – и вуаль та же, и шляпа, и платье.

– Ты мне говорил про кольца, а где же они? – спрашивает Баккет.

– Они у ней прямо сверкали, вот тут, – отвечает Джо, потирая пальцами левой руки суставы правой и не отрывая глаз от женщины.

Женщина снимает перчатку и показывает ему правую руку.

– Ну, что ты на это скажешь? – спрашивает Баккет.

Джо качает головой.

– У этой кольца совсем не такие, как те. И рука не такая.

– Что ты мелешь? – говорит Баккет, хотя он, как видно, доволен и даже очень доволен.

– Та рука была куда белей, и куда мягче, и куда меньше, – объясняет Джо.

– Толкуй там… ты еще, чего доброго, скажешь, что я сам себе родная мать, – говорит мистер Баккет. – А ты запомнил голос той леди?

– Как не запомнить, – отвечает Джо.

Тут в разговор вступает женщина:

– Похож ее голос на мой? Я буду говорить сколько хочешь, если ты не сразу можешь сказать. Тот голос хоть сколько-нибудь похож на мой голос?

Джо с ужасом смотрит на мистера Баккета.

– Ни капельки!

– Так почему же, – вопрошает этот достойный джентльмен, указывая на женщину, – ты сказал, что это та самая леди?

– А вот почему, – отвечает Джо, в замешательстве тараща глаза, но ничуть не колеблясь, – потому что на ней та самая вуаль, и шляпа, и платье. Это она и не она. Рука не ее, и кольца не ее, и голос не ее. А вуаль, и шляпа, и платье ее, и так же на ней сидят, как на той, и росту она такого же, и она дала мне соверен, а сама улизнула.

– Ну, – говорит мистер Баккет небрежным тоном, – от тебя нам проку немного. Но все равно, вот тебе пять шиллингов. Трать их поразумнее да смотри не влипни в какую-нибудь историю.

Баккет незаметно перекладывает монеты из одной руки в другую, как фишки, – такая уж у него привычка, ибо деньгами он пользуется главным образом, когда играет в подобные «игры», требующие ловкости, – кучкой кладет их мальчику на ладонь и выводит его за дверь, покидая мистера Снегсби, которому очень не по себе в этой таинственной обстановке, наедине с женщиной под вуалью. Но вот мистер Талкингхорн входит в комнату, и вуаль приподнимается, а из-под нее выглядывает довольно красивое, но чересчур выразительное лицо горничной-француженки.

– Благодарю вас, мадемуазель Ортанз, – говорит мистер

Талкингхорн, как всегда бесстрастно. – Я вызвал вас, чтобы решить один незначительный спор – пари, – и больше не стану вас беспокоить.

– Окажите мне милость, не забудьте, что я теперь без места, сэр, – говорит мадемуазель.

– Разумеется, разумеется!

– И вы соизволите дать мне вашу ценную рекомендацию?

– Всенепременно, мадемуазель Ортанз.

– Одно словечко мистера Талкингхорна – это такая сила!

– Словечко за вас замолвят, мадемуазель.

– Примите уверение в моей преданной благодарности, уважаемый сэр.

– До свидания.

Мадемуазель, от природы одаренная безукоризненными манерами, направляется к выходу с видом светской дамы, а мистер Баккет, для которого при случае так же естественно исполнять обязанности церемониймейстера, как и всякие другие обязанности, не без галантности провожает ее вниз по лестнице.

– Ну, как, Баккет? – спрашивает мистер Талкингхорн, когда тот возвращается.

– Все ясно, и все объяснилось так, как я сам объяснял, сэр. Нет сомнений, что в тот раз была другая женщина, но она надела платье этой. Мальчишка точно описал цвет платья и все прочее… Мистер Снегсби, я обещал вам, как честный человек, что его отпустят с миром. Так и сделали, не правда

ли?

– Вы сдержали свое слово, сэр, – отвечает торговец, – и, если я вам больше не нужен, мистер Талкингхорн, мне думается… поскольку моя женушка будет волноваться…

– Благодарю вас, Снегсби, вы нам больше не нужны, – говорит мистер Талкингхорн. – А я перед вами в долгу за беспокойство.

– Что вы, сэр. Позвольте пожелать вам спокойной ночи.

– Вы знаете, мистер Снегсби, – говорит мистер Баккет, провожая его до двери и беспрестанно пожимая ему руку, – что́ именно мне в вас нравится: вы такой человек, из которого ничего не выудишь, – вот какой вы. Когда вы поняли, что поступили правильно, вы о своем поступке забываете, – что было, то прошло, и всему конец. Вот что делаете *вы*.

– Я, конечно, стараюсь это делать, сэр, – отзывается мистер Снегсби.

– Нет, вы не воздаете должного самому себе. Вы не только стараетесь, вы именно так *делаете*, – говорит мистер Баккет, пожимая ему руку и прощаясь с ним нежнейшим образом. – Вот это я уважаю в человеке вашей профессии.

Мистер Снегсби произносит что-то приличествующее случаю и направляется домой, совсем сбитый с толку событиями этого вечера, – он сомневается в том, что сейчас бодрствует и шагает по улицам, сомневается в реальности улиц, по которым шагает, сомневается в реальности луны, которая сияет над его головой. Однако все эти сомнения скоро рассе-

иваются неоспоримой реальностью в лице миссис Снегсби, которая уже отправила Гусю в полицейский участок официально заявить о том, что ее супруга похитили, а сама в течение двух последних часов успела пройти все стадии обморока, ничуть не погрешив против самых строгих правил приличия, и теперь ждет не дождется пропавшего, увенчанная целым роем папильоток, торчащих из-под ночного чепца. Но за все это, как с горечью говорит «женушка», никто ей даже спасибо не скажет!

Глава XXIII
Повесть Эстер

С удовольствием прогостив у мистера Бойторна шесть недель, мы вернулись домой. Живя у него, мы часто гуляли по парку и в лесу, а проходя мимо сторожки, где однажды укрывались от дождя, почти всегда заглядывали к леснику, чтобы поговорить с его женой; но леди Дедлок мы видели только в церкви, по воскресеньям. В Чесни-Уолде собралось большое общество, и хотя леди Дедлок всегда была окружена красивыми женщинами, ее лицо волновало меня так же, как и в тот день, когда я впервые ее увидела. Даже теперь мне не совсем ясно, было ли оно мне приятно или неприятно, влекло ли оно меня или отталкивало. Мне кажется, я восхищалась ею с каким-то страхом, и я хорошо помню, что в ее присутствии мысли мои, как и в первую нашу встречу, неизменно уносились назад, в мое прошлое.

Не раз казалось мне в эти воскресенья, что я так же странно действую на леди Дедлок, как она на меня, то есть мне казалось, что если она приводит меня в смятение, то и я тревожу ее, но как-то по-другому. Однако всякий раз, как я, украдкой бросив на нее взгляд, видела ее по-прежнему такой спокойной, отчужденной и неприступной, я понимала, что подобные догадки – просто моя блажь. Больше того, по-

нимала, что вообще мои переживания, связанные с нею, это какая-то блажь и нелепость, и строго бранила себя за них.

Пожалуй, следует теперь же рассказать об одном случае, который произошел, пока мы еще гостили у мистера Бойторна.

Однажды я гуляла в саду вместе с Адой, и вдруг мне доложили, что меня хочет видеть какая-то женщина. Войдя в утреннюю столовую, где эта женщина меня ожидала, я узнала в ней француженку-горничную, которая, сняв туфли, шагала по мокрой траве в тот день, когда разразилась гроза с громом и молнией.

– Мадемуазель, – начала она, пристально глядя на меня слишком бойкими глазами, хотя вообще вид у нее был приятный, а говорила она и без излишней смелости, и не подобострастно, – придя сюда, я позволила себе большую вольность, но вы извините меня, ведь вы так обходительны, мадемуазель.

– Никаких извинений не нужно, если вы хотите поговорить со мной, – отозвалась я.

– Да, хочу, мадемуазель. Тысячу раз благодарю вас за разрешение. Значит, вы позволяете мне поговорить с вами, не правда ли? – спросила она быстро и непринужденно.

– Конечно, – ответила я.

– Мадемуазель, вы такая обходительная! Так выслушайте меня, пожалуйста. Я ушла от миледи. Мы с ней не могли поладить… Миледи такая гордая… такая высокомерная. Про-

стите! Вы правы, мадемуазель! – Быстрая сообразительность помогла ей предугадать то, что я собиралась сказать. – Мне не к лицу приходить сюда и жаловаться на миледи. Но, повторяю, она такая гордая, такая высокомерная! Больше я не скажу ничего. Весь свет это знает.

– Продолжайте, пожалуйста, – сказала я.

– Слушаю, и очень благодарна вам, мадемуазель, за ваше любезное обхождение. Мадемуазель, мне очень, очень хочется поступить в услужение к какой-нибудь молодой леди – доброй, образованной и прекрасной. Вы добры, образованны и прекрасны, как ангел. Ах, если бы мне выпала честь сделаться вашей горничной!

– К сожалению… – начала я.

– Не отсылайте меня так быстро, мадемуазель! – перебила она меня, невольно сдвинув тонкие черные брови. – Позвольте мне надеяться хоть минутку! Мадемуазель, я знаю, что это место будет более скромным, чем мое прежнее. Ну что ж! Такое мне и нужно! Я знаю, что это место будет менее почетным, чем мое прежнее. Ну что ж! Такого я и хочу. Я знаю, что буду получать меньше жалованья. Прекрасно. С меня хватит.

– Уверяю вас, – сказала я, чувствуя себя очень неловко при одной лишь мысли о подобной служанке, – я не держу камеристки…

– Ах, мадемуазель, но почему бы не держать? Почему, если вы можете нанять особу, которая к вам так приверже-

на?.. была бы так счастлива вам служить… так верна вам, так усердна, так предана всегда? Мадемуазель, я всем сердцем желаю служить вам. Не говорите сейчас о деньгах. Возьмите меня так. Без жалованья!

Она говорила с такой странной настойчивостью, что я чуть не испугалась и сделала шаг назад. А она в своем увлечении как будто даже не заметила этого и продолжала наступать на меня, говоря быстро, сдержанно, глухим голосом, однако выражаясь не без изящества и соблюдая все приличия.

– Мадемуазель, я родилась на юге, а мы, южане, вспыльчивы и умеем любить и ненавидеть до самозабвения. Миледи была слишком горда, чтобы со мной ужиться, а я была слишком горда, чтоб ужиться с нею. Все это позади… прошло… кончено! Возьмите меня к себе, и я буду вам хорошо служить. Я сделаю для вас так много, что вы сейчас этого и представить себе не можете. Уверяю вас, мадемуазель, я сделаю… ну, не важно, что именно, – сделаю все возможное во всех отношениях. Воспользуйтесь моими услугами, и вы об этом не пожалеете. Вы не пожалеете об этом, мадемуазель, и я хорошо вам услужу. Вы не представляете себе, как хорошо!

Я объяснила ей, почему не имею возможности ее нанять (не считая нужным добавить, как мало мне этого хотелось), а она смотрела на меня, и лицо ее дышало мрачной энергией, вызывая в моем уме образы женщин на парижских улицах во времена террора. Она выслушала меня не перебивая и проговорила нежнейшим голосом и с очень приятным ино-

странным акцентом:

– Ну что ж, мадемуазель, так тому и быть! Я очень огорчена. Значит, придется мне пойти в другое место и там искать то, чего не удалось найти здесь. Будьте так милостивы, позвольте мне поцеловать вашу ручку!

Еще пристальнее взглянув на меня, она взяла мою руку и чуть коснулась ее губами, но за этот миг как будто успела разглядеть и запомнить каждую ее жилку.

– Боюсь, что я удивила вас, мадемуазель, в тот день, когда разразилась гроза? – сказала она, делая прощальный реверанс.

Я призналась, что она удивила всех нас.

– Я тогда дала один обет, мадемуазель, – объяснила она с улыбкой, – и тут же решила запечатлеть его в своей памяти, так чтобы выполнить его свято. И я его выполню! Прощайте, мадемуазель!

Так завершился наш разговор, и я очень обрадовалась, когда он пришел к концу. Я решила, что француженка уехала из деревни, так как я ее больше не видела; а в дальнейшем ничто другое не нарушало наших тихих летних радостей, и спустя шесть недель мы, как я уже говорила, вернулись домой.

И в то время, и позже, в течение многих недель после нашего возвращения, Ричард постоянно навещал нас. Не говоря уж о том, что он являлся каждую субботу или воскресенье и гостил у нас до утра понедельника, он иногда неожидан-

но приезжал верхом среди недели, проводил с нами вечер и уезжал рано утром на другой день. Он был весел, как всегда, и говорил нам, что занимается очень прилежно, но в душе я не была спокойна за него!

Прилежание его, казалось мне, было дурно направлено. Я видела, что оно только потворствует обманчивым надеждам, связанным с губительной тяжбой, которая и так уже послужила причиной стольких горестей и бедствий. По словам Ричарда выходило, будто он разгадал все ее тайны и у него не осталось сомнений, что завещание, по которому он и Ада должны получить не знаю сколько тысяч фунтов, будет наконец утверждено, если у Канцлерского суда есть хоть капля разума и чувства справедливости, – но, боже! каким сомнительным казалось мне это «если»! – больше того, решение уже не может откладываться надолго, и дело близится к счастливому концу. Ричард доказывал это самому себе при помощи всяких избитых доводов, которые вычитал в документах, и каждый из них все глубже погружал его в трясину заблуждения. Он даже начал то и дело наведываться в суд. Он говорил нам, что всякий раз видит там мисс Флайт, болтает с нею, оказывает ей мелкие услуги и, втайне подсмеиваясь над старушкой, жалеет ее всем сердцем. Но он и не подозревал, – мой бедный, милый, жизнерадостный Ричард, которому в то время было даровано столько счастья и уготовано такое светлое будущее! – какая роковая связь возникает между его свежей юностью и ее блеклой старостью, между

его вольными надеждами и ее запертыми в клетку птичками, убогим чердаком и не вполне здравым рассудком.

Ада слишком горячо любила его, чтобы усомниться в нем, что бы он ни говорил и ни делал, а опекун, тот, правда, частенько жаловался на восточный ветер и больше прежнего сидел за книгами в Брюзжальне, но ровно ничего не говорил о Ричарде. И вот как-то раз, собираясь в Лондон, чтобы повидаться с Кедди Джеллиби по ее приглашению, я заранее попросила Ричарда встретить меня в этот день у конечной почтовой станции, – мне хотелось немного поговорить с ним. Приехав, я сразу увидела его, он взял меня под руку, и мы пошли пешком.

– Ну, как, Ричард, – начала я, как только мне удалось настроиться на серьезный лад, – чувствуете вы теперь, что окончательно решили, в чем ваше призвание?

– Ну да, дорогая, – ответил Ричард, – в общем, все у меня обстоит благополучно.

– Значит, решили? – спросила я.

– То есть что именно решил? – осведомился Ричард с веселым смехом.

– Окончательно решили сделаться юристом?

– Ну да, – ответил Ричард, – в общем, со мной все обстоит благополучно.

– Вы уже говорили это, милый Ричард.

– Но вы считаете, что это не ответ. Что ж! Пожалуй, вы правы. Решил? Вы спрашиваете, чувствую ли я, что оконча-

тельно решил, в чем мое призвание?

– Да.

– Нет, я, пожалуй, не могу сказать, что уже решил, в чем мое призвание, – сказал Ричард, делая сильное ударение на слове «уже», как будто в нем-то и заключалась вся трудность, – потому что этого нельзя решить, пока дело все еще не решено. Под «делом» я подразумеваю… запретную тему.

– А вы думаете, оно когда-нибудь будет решено?

– Ничуть в этом не сомневаюсь, – ответил Ричард.

Некоторое время мы шли молча, но вдруг Ричард заговорил со мной самым искренним, самым проникновенным тоном:

– Милая Эстер, я понимаю вас, и, клянусь небом, я хотел бы сделаться более постоянным человеком. Не только постоянным по отношению к Аде, – ее-то я люблю нежно, все больше и больше, – но постоянным по отношению к самому себе. (Мне почему-то трудно выразить это яснее, но вы поймете.) Будь я более постоянным человеком, я окончательно остался бы либо у Беджера, либо у Кенджа и Карбоя и теперь уже начал бы учиться упорно и систематически, и не залез бы в долги, и…

– А у вас *есть* долги, Ричард?

– Да, – ответил Ричард, – я немного задолжал, дорогая. А еще, пожалуй, слишком пристрастился к бильярду и все такое. Ну, теперь преступление раскрыто; вы презираете меня, Эстер, да?

– Вы знаете, что нет, – сказала я.

– Вы ко мне снисходительней, чем я сам, – продолжал он. – Милая Эстер, это мое большое несчастье, что я ничего не умею решать; но *как* могу я что-то решить? Когда живешь в недостроенном доме, нельзя решать окончательно, как в нем лучше устроиться; когда ты обречен оставлять все свои начинания незавершенными, очень трудно браться за дело с усердием – в том-то все и горе; вот как мне не повезло. Я родился под знаком нашей неоконченной тяжбы, в которой то и дело что-нибудь случается или меняется, и она развила во мне нерешительность раньше, чем я вполне понял, чем отличается судебный процесс, скажем, от процесса переодевания; и это из-за нее я становился все более и более нерешительным, и сам я ничего с этим поделать не могу, хоть и сознаю по временам, что недостоин любить свою доверчивую кузину Аду.

Мы шли по безлюдной улице, и Ричард, не удержавшись от слез, прикрыл рукой глаза.

– Ричард, не надо так расстраиваться! – проговорила я. – Натура у вас благородная, а любовь Ады с каждым днем делает вас все лучше и достойнее.

– Я знаю, милая, знаю, – отозвался он, сжимая мою руку. – Не обращайте внимания на то, что я сейчас немного разволновался, ведь я долго думал обо всем этом и не раз собирался поговорить с вами, но то случая не представлялось, то мужества у меня не хватало. Знаю, как должны бы влиять на

меня мысли об Аде; но и они теперь больше не действуют. Слишком я нерешителен. Я люблю ее всей душой и все-таки каждый день и каждый час причиняю ей вред тем, что врежу самому себе. Но это не может продолжаться вечно. В конце концов дело будет слушаться в последний раз, и решение вынесут в нашу пользу, а тогда вы с Адой увидите, каким я могу быть!

Минуту назад, когда я услышала его всхлипыванья, когда увидела, как слезы потекли у него между пальцев, у меня сжалось сердце; но гораздо больше огорчило меня то самообольщение, с каким он возбужденно произнес последние слова.

– Я досконально изучил все документы, Эстер… я несколько месяцев рылся в них, – продолжал он, мгновенно развеселившись, – и, можете на меня положиться, мы восторжествуем. А что касается многолетних проволочек, так чего-чего, а уж этого, видит небо, хватало; зато тем более вероятно, что теперь мы быстро закончим тяжбу… она уже внесена в список дел, назначенных к слушанию. Все наконец-то окончится благополучно, и тогда вы увидите!

Вспомнив о том, как он только что поставил Кенджа и Карбоя на одну доску с мистером Беджером, я спросила, когда он думает вступить в Линкольнс-Инн для продолжения своего образования.

– Опять! Да я об этом и не думаю, Эстер, – ответил он с видимым усилием. – Хватит с меня. Я работал, как каторж-

ник, над делом Джарндисов, утолил свою жажду знаний в области юридических наук и убедился, что они мне не по душе. К тому же я чувствую, как становлюсь все более и более нерешительным потому только, что вечно торчу на поле боя. Итак, – продолжал Ричард, снова приободрившись, – о чем же я подумываю теперь?

– Понятия не имею, – ответила я.

– Не смотрите на меня такими серьезными глазами, – сказал Ричард, – ведь то, о чем я думаю теперь, для меня лучше всего, дорогая Эстер, – я в этом уверен. Профессия на всю жизнь мне не нужна. Тяжба кончится, и я буду обеспеченным человеком. Но тут совсем другое дело. Эта будущая моя профессия по самой своей природе довольно изменчива и потому прекрасно подходит к моему теперешнему переходному периоду, могу даже сказать – подходит как нельзя лучше. Так вот, о чем же я теперь, естественно, подумываю?

Я посмотрела на него и покачала головой.

– О чем же, как не об армии? – проговорил Ричард тоном глубочайшего убеждения.

– Вы хотите служить в армии? – переспросила я.

– Конечно, в армии. Все, что нужно сделать, – это получить патент, и вот я уже военный – пожалуйста! – сказал Ричард.

И тут он принялся доказывать мне при помощи сложных подсчетов, занесенных в его записную книжку, что если он, не будучи в армии, за полгода задолжал, скажем, двести фун-

тов, а служа в армии, полгода не будет делать долгов, – что он решил твердо и бесповоротно, – то это даст ему четыреста фунтов в год экономии, а за пять лет две тысячи фунтов – сумму немалую. Затем он так чистосердечно, так искренне начал говорить о том, какую жертву приносит, временно расставаясь с Адой, как жаждет он любовью вознаградить ее за любовь и дать ей счастье (а он действительно этого жаждал всегда, что мне было хорошо известно), как стремится побороть свои недостатки и развить в себе настоящую решимость; а я слушала, и сердце мое горестно сжималось. И я думала: чем все это кончится, чем все это может кончиться, если и мужество его и стойкость были так рано и так неисцелимо подорваны роковым недугом, который губит всех, кто им заражен?

Я стала говорить с Ричардом со всей страстностью, на какую была способна, со всей надеждой, которой у меня почти не было; стала умолять его хоть ради Ады не возлагать упований на Канцлерский суд. А Ричард, охотно соглашаясь со мной, продолжал витать со свойственной ему легкостью вокруг Канцлерского суда и всего прочего, расписывая мне самыми радужными красками, каким он станет решительным человеком… увы, лишь тогда, когда губительная тяжба выпустит его на волю! Говорили мы долго, но, в сущности, все об одном и том же.

Наконец мы подошли к площади Сохо, где Кедди Джеллиби обещала ждать меня, считая, что это наиболее подхо-

дящее место, так как здесь было не людно, да и от Ньюмен-стрит близко. Кедди сидела в садике, разбитом посреди площади, и, завидев меня, поспешила выйти. Весело поболтав с нею, Ричард ушел, оставив нас вдвоем.

– У Принца тут, через дорогу, живет ученица, Эстер, – сказала Кедди, – и он добыл для нас ключ от садика. Хотите погуляем здесь вместе – мы запремся, и я без помехи расскажу вам, почему мне хотелось увидеть ваше милое, доброе личико.

– Отлично, дорогая, лучше не придумать, – сказала я.

И вот, Кедди, ласково поцеловав мое «милое, доброе личико», как она сказала, заперла калитку, взяла меня под руку, и мы стали с удовольствием прогуливаться по саду.

– Видите ли, Эстер, – начала Кедди, глубоко наслаждаясь возможностью поговорить по душам, – вы находите, что мне не следует выходить замуж без ведома мамы и даже скрывать от нее нашу помолвку, и хоть я не верю, что мама интересуется моей жизнью, но, раз вы так находите, я решила передать Принцу ваши слова. Во-первых, потому, что мне всегда хочется поступать, как вы советуете, и, во-вторых, потому, что у меня нет тайн от Принца.

– Надеюсь, он согласился со мной, Кедди?

– Милая моя! Да он согласится со всем, что вы скажете. Вы и представить себе не можете, какого он о вас мнения!

– Ну, что вы!

– Эстер, другая на моем месте воспылала бы ревностью, –

проговорила Кедди, смеясь и качая головой, – а я только радуюсь – ведь вы моя первая подруга, и лучшей подруги у меня не будет, так что чем больше вас любят, тем приятнее мне.

– Слушайте, Кедди, – сказала я, – все вокруг как будто сговорились баловать меня, и вы, должно быть, участвуете в этом заговоре. Ну, что же дальше, милая?

– Сейчас расскажу, – ответила Кедди, доверчиво взяв меня за руку. – Мы много говорили обо всем этом, и я сказала Принцу: «Принц, если мисс Саммерсон…»

– Надеюсь, вы не назвали меня «мисс Саммерсон»?

– Нет… Конечно, нет! – воскликнула Кедди, очень довольная и сияющая. – Я назвала вас «Эстер». Я сказала Принцу: «Если Эстер решительно настаивает, Принц, и постоянно напоминает об этом в своих милых письмах, – а ты ведь с большим удовольствием слушаешь, когда я читаю их тебе, – то я готова открыть маме всю правду, как только ты найдешь нужным. И мне кажется, Принц, – добавила я, – Эстер полагает, что мое положение будет лучше, определеннее и достойнее, если ты тоже скажешь обо всем своему папе».

– Да, милая, – проговорила я, – Эстер действительно так полагает.

– Значит, я была права! – воскликнула Кедди. – Однако это сильно встревожило Принца, – конечно, не потому, что он хоть капельку усомнился в том, что о нашей помолвке нужно сказать его папе, но потому, что он очень считается с мистером Тарвидропом-старшим и боится, как бы ми-

стер Тарвидроп-старший не пришел в отчаяние, не лишился чувств или вообще как-нибудь не пострадал, услышав такую новость. Принц опасается, как бы мистер Тарвидроп-старший не подумал, что он нарушил сыновний долг, а это было бы для него жестоким ударом. Ведь вы знаете, Эстер, у мистера Тарвидропа-старшего исключительно хороший тон, – добавила Кедди, – и он необычайно чувствительный человек.

– Разве так, милая моя?

– Необычайно чувствительный. Так говорит Принц. Поэтому мой милый мальчуган… у меня это нечаянно вырвалось, Эстер, – извинилась Кедди и густо покраснела, – но я привыкла называть Принца своим милым мальчуганом.

Я рассмеялась, а Кедди, тоже смеясь и краснея, продолжала:

– Поэтому он…

– Кто он, милая?

– Насмешница какая! – сказала Кедди, и ее хорошенькое личико запылало. – Мой милый мальчуган, раз уж вам так хочется! Он мучился из-за этого несколько недель и так волновался, что со дня на день откладывал разговор. В конце концов он сказал мне: «Кедди, папенька очень ценит мисс Саммерсон, и если ты упросишь ее присутствовать при моей беседе с ним, тогда я, пожалуй, решусь». И вот я обещала попросить вас. А если вы согласитесь, – Кедди посмотрела на меня с робкой надеждой, – то, может быть, после пойдете

со мной и к маме? Это я и хотела сказать, когда написала, что хочу попросить вас о большом одолжении и большой услуге. И если вы так сделаете, Эстер, мы оба будем вам очень благодарны.

– Дайте мне подумать, Кедди, – сказала я, притворяясь, что обдумываю ее слова. – Право же, я могла бы сделать и больше, если бы потребовалось. Я когда угодно готова помочь вам и вашему милому мальчугану, дорогая.

Мой ответ привел Кедди в полный восторг, да и немудрено, – ведь у нее было такое нежное сердце, каких мало найдется на свете, и оно так чутко отзывалось на малейшее проявление доброты и одобрения, – и вот мы еще два-три раза обошли садик, пока Кедди надевала свои новенькие перчатки и прихорашивалась, как умела, чтобы не ударить лицом в грязь перед «Образцом хорошего тона», а потом отправились прямо на Ньюмен-стрит.

Как и следовало ожидать, Принц давал урок. На этот раз он обучал не очень успевающую ученицу – упрямую и хмурую девочку с низким голосом, при которой застыла в неподвижности недовольная мамаша, – а смущение, в которое мы повергли учителя, отнюдь не способствовало успехам ученицы. Урок все время как-то не ладился, а когда он пришел к концу, девочка переменила туфли и закуталась в шаль, закрыв ею свое белое муслиновое платье; затем ее увели. Немного поговорив, мы отправились искать мистера Тарвидропа-старшего и нашли этот «Образец хорошего тона» вме-

сте с его цилиндром и перчатками расположившимся на диване в своей опочивальне – единственной хорошо обставленной комнате во всей квартире. Судя по всему, он только что завершил свой туалет – его шкатулка с туалетными принадлежностями, щетки и прочие вещи, все очень изящные и дорогие, были разбросаны повсюду, – причем одевался он не спеша и порой отрываясь от этого занятия, чтобы слегка закусить.

– Папенька, к нам пожаловали мисс Саммерсон… и мисс Джеллиби.

– Я в восторге! В упоенье! – воскликнул мистер Тарвидроп, вставая, и поклонился нам, высоко вздернув плечи. – Соблаговолите! – Он подвинул нам стулья. – Присядьте! – Он поцеловал кончики пальцев левой руки. – Я осчастливлен! – Он то закрывал глаза, то вращал ими. – Мое скромное пристанище превратилось в райскую обитель. – Он опять расположился на диване в позе «второго джентльмена Европы».

– Мисс Саммерсон, – начал он, – вы снова видите, как мы занимаемся нашим скромным искусством – наводим лоск… лоск… лоск! Снова прекрасный пол вдохновляет нас и вознаграждает, удостаивая нас своим чарующим присутствием. В наш век (а мы пришли в ужасный упадок со времен его королевского высочества принца-регента, моего патрона, – если осмелюсь так выразиться) – в наш век большое значение имеет уверенность в том, что хороший тон еще не со-

всем попран ногами ремесленников. Что его, сударыня, еще может озарять улыбка Красоты.

Я решила, что на эти слова лучше не отвечать, а он взял понюшку табаку.

– Сын мой, – проговорил мистер Тарвидроп, – сегодня во второй половине дня у тебя четыре урока. Я посоветовал бы тебе наскоро подкрепиться бутербродом.

– Благодарю вас, папенька; я всюду попаду вовремя, – отозвался Принц. – Дражайший папенька, убедительно прошу вас подготовиться к тому, что я хочу вам сказать!

– Праведное небо! – воскликнул «Образец», бледный и ошеломленный, когда Принц и Кедди, взявшись за руки, опустились перед ним на колени. – Что с ними? Они с ума сошли? А если нет, так что с ними?

– Папенька, – проговорил Принц с величайшей покорностью, – я люблю эту молодую леди, и мы обручились.

– Обручились! – возопил мистер Тарвидроп, откидываясь на спинку дивана и закрывая глаза рукой. – Стрела вонзилась мне в голову, и пущена она моим родным детищем!

– Мы давно уже обручились, папенька, – запинаясь, продолжал Принц, – а мисс Саммерсон, узнав об этом, посоветовала нам рассказать вам обо всем и была так добра, что согласилась присутствовать здесь сегодня. Мисс Джеллиби глубоко уважает вас, папенька.

Мистер Тарвидроп издал стон.

– Успокойтесь, прошу вас! Прошу вас, папенька, успокой-

тесь! – молил сын. – Мисс Джеллиби глубоко уважает вас, и мы прежде всего стремимся заботиться о ваших удобствах.

Мистер Тарвидроп зарыдал.

– Прошу вас, папенька, успокойтесь! – воскликнул сын.

– Сын мой, – проговорил мистер Тарвидроп, – хорошо, что святая женщина – твоя мать – избежала этих мук. Рази глубже и не щади меня. Разите в сердце, сэр, разите в сердце!

– Прошу вас, папенька, не говорите так! – умолял его Принц, весь в слезах. – У меня прямо душа разрывается. Уверяю вас, папенька, главное наше желание и стремление – это заботиться о ваших удобствах. Кэролайн и я, мы не забываем о своем долге, – ведь мой долг – это и ее долг, как мы с ней не раз говорили, – и с вашего одобрения и согласия, папенька, мы всеми силами постараемся скрасить вам жизнь.

– Рази в сердце! – бормотал мистер Тарвидроп. – Рази в сердце!

Но, мне кажется, он начал прислушиваться к словам сына.

– Дорогой папенька, – продолжал Принц, – мы прекрасно знаем, что вы привыкли к маленьким удобствам, на которые имеете полное право, и мы всегда и прежде всего будем стараться, чтобы вы ими пользовались, – для нас это станет делом чести. Если вы удостоите нас своего одобрения и согласия, папенька, нам и в голову не придет венчаться, пока вы не найдете это желательным, а когда мы поженимся, мы, само собой разумеется, будем прежде всего соблюдать ваши интересы. Вы всегда будете здесь главою семьи и хозяином

дома, папенька, и мы были бы просто бесчеловечными, если б не поняли этого и всячески не старались угодить вам во всем.

Мистер Тарвидроп перенес жестокую внутреннюю борьбу; но вот он оторвался от спинки дивана – причем пухлые его щеки легли на туго замотанный шейный платок – и выпрямился, снова превратившись в совершенный образец отцовского хорошего тона.

– Сын мой! – изрек мистер Тарвидроп. – Дети мои! Я не в силах устоять перед вашими мольбами. Будьте счастливы!

Благодушие, с каким он поднял с полу будущую невестку и протянул руку сыну (который поцеловал ее с искренним уважением и благодарностью), произвело на меня прямо ошеломляющее впечатление.

– Дети мои, – начал мистер Тарвидроп, отечески обнимая левой рукой севшую рядом с ним Кедди и грациозно уперев правую руку в бок, – сын мой и дочь моя, я буду заботиться о вашем благополучии. Я буду опекать вас. Вы всегда будете жить у меня (этим он хотел сказать, что всегда будет жить у них) – отныне этот дом так же принадлежит вам, как и мне, – считайте его своим родным домом. Да пошлет вам провидение долгую жизнь, чтобы обитать в нем со мною!

И так велика была власть его хорошего тона, что влюбленные преисполнились искренней благодарности, словно он принес им какую-то огромную жертву, а не устроился у них на содержании до конца дней своих.

– Что до меня, дети мои, – продолжал мистер Тарвидроп, – то я вступаю в ту пору своей жизни, когда желтеют и увядают листья, и нельзя предвидеть, как долго сохранятся последние, едва заметные, следы джентльменского хорошего тона в наш век ткачей и прядильщиков. Но пока что я по-прежнему буду выполнять свой долг перед обществом и, как всегда, показываться в городе. Потребности у меня немногочисленные и скромные. Вот эта моя комнатка, самое необходимое по части моего туалета, мой скудный завтрак и мой простой обед – и с меня довольно. Заботу об этих потребностях я возлагаю на вашу преданную любовь, а на себя возлагаю все остальное.

Эта столь необычайная щедрость снова повергла в умиление жениха и невесту.

– Сын мой, – проговорил мистер Тарвидроп, – у тебя нет кое-каких качеств, вернее, нет хорошего тона, с которым человек рождается, – его можно усовершенствовать воспитанием, но нельзя приобрести, – однако в этом отношении ты по-прежнему можешь полагаться на меня. Я стоял на своем посту со времен его королевского высочества принца-регента; я не сойду с него и теперь. Нет, сын мой. Если ты когда-нибудь взирал с чувством гордости на скромное общественное положение своего отца, будь уверен, что я ни в малейшей степени не запятнаю своей репутации. Ты, Принц, иного склада человек (все люди не могут быть одинаковыми, да это и не желательно), поэтому работай, старайся, зара-

батывай деньги и, насколько возможно, расширяй масштаб своей деятельности.

– Все это я буду делать от всего сердца, дражайший папенька: можете на меня положиться, – отозвался Принц.

– Не сомневаюсь, – сказал мистер Тарвидроп. – Способности у тебя не блестящие, дитя мое, но ты прилежен и услужлив. И во имя той святой Женщины, чью жизнь я, смею думать, имел счастье озарить *ярким* лучом света, я буду напутствовать вас обоих, дети мои, следующими словами: заботьтесь о нашем заведении, заботьтесь об удовлетворении моих скромных потребностей, и да пребудет с вами мое благословение!

Тут мистер Тарвидроп-старший сделался чрезмерно галантным, – должно быть, в честь знаменательного события, – и мне пришлось сказать Кедди, что если мы хотим попасть к ней в Тейвис-Инн сегодня, то нам следует отправиться туда немедленно. Кедди ласково простилась со своим женихом, мы ушли, и всю дорогу она была так весела и так расхваливала мистера Тарвидропа-старшего, что я ни за что на свете не согласилась бы осудить его хоть единым словом.

На окнах дома в Тейвис-Инне, занятого семейством Джеллиби, были расклеены объявления о том, что дом сдается внаймы, и теперь он казался еще грязнее, темнее и неприютнее, чем всегда. Всего лишь день-два назад бедного мистера Джеллиби внесли в список банкротов, а сегодня он заперся в столовой с двумя джентльменами и, окруженный груда-

ми синих мешков с бумагами, счетоводных книг и каких-то документов, делал самые отчаянные попытки разобраться в своих делах. Но эти дела, судя по всему, были выше его понимания, и когда Кедди по ошибке привела меня в столовую, мы увидели, что мистер Джеллиби, в очках на носу, растерянно сидит, загнанный в угол, между большим обеденным столом и обоими джентльменами, а лицо у него такое, словно он решил махнуть рукой на все, потерял дар слова и ничего уже больше не чувствует.

Поднявшись наверх, в комнату миссис Джеллиби (дети кричали на кухне, а прислуги нигде не было видно), мы увидели, что хозяйка дома занята своей обширной корреспонденцией – распечатывает, читает и сортирует письма, а на полу накапливается громадная куча разорванных конвертов. Миссис Джеллиби была так озабочена, что не сразу узнала меня, хотя и смотрела мне прямо в лицо своими странными блестящими глазами, устремленными куда-то вдаль.

– А! Мисс Саммерсон! – проговорила она наконец. – Я думала совсем о другом! Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете? Очень рада вас видеть. Как чувствуют себя мистер Джарндис и мисс Клейр?

В ответ я выразила надежду, что мистер Джеллиби тоже чувствует себя хорошо.

– Да нет, не вполне, моя милая, – возразила миссис Джеллиби самым невозмутимым тоном. – Ему не повезло в делах, и он немного расстроен. К счастью для меня, я так занята,

что мне некогда об этом думать. Теперь, мисс Саммерсон, у нас уже сто семьдесят семейств, в среднем по пяти человек в каждом, переселились или желают переселиться на левый берег Нигера.

Я вспомнила о той семье, которая жила тут, в этом доме, и еще не переселилась, да и не желала переселяться на левый берег Нигера, и не поняла, как может миссис Джеллиби оставаться такой спокойной.

– Я вижу, вы привели домой Кедди, – заметила миссис Джеллиби, взглянув на дочь. – Теперь даже странно видеть ее дома. Она почти совсем забросила свои прежние занятия и прямо-таки вынудила меня нанять мальчика.

– Но, мама… – начала Кедди.

– Ты же знаешь, Кедди, – мягко перебила ее мать, – что я *действительно* наняла мальчика, – сейчас он ушел обедать. К чему противоречить?

– Я не хотела противоречить, мама, – отозвалась Кедди. – Я только хотела сказать, что вы ведь и сами не собирались заставлять меня тянуть лямку всю жизнь.

– Я полагаю, милая, – возразила миссис Джеллиби, продолжая вскрывать письма, с улыбкой пробегать их блестящими глазами и раскладывать по разным местам, – я полагаю, что твоя мать для тебя образец деловой женщины. Далее. Как это ты сказала: «Тянуть лямку всю жизнь»? Если бы ты хоть сколько-нибудь интересовалась судьбами человеческого рода, ты не так относилась бы к делу. Но высокие ин-

тересы тебе чужды. Я часто говорила тебе, Кедди, что судьбами человеческого рода ты ничуть не интересуешься.

– Да, мама, Африкой я действительно не интересуюсь.

– Конечно, нет. И не будь я, к счастью, так занята, мисс Саммерсон, – продолжала миссис Джеллиби, бросая на меня мимолетный ласковый взгляд и раздумывая, куда бы положить только что вскрытое письмо, – это могло бы меня огорчать и расстраивать. Но в связи с Бориобула-Гха мне приходится думать о стольких вещах, на которых необходимо сосредоточиваться, что это служит для меня лекарством.

Кедди бросила на меня умоляющий взгляд, и, так как миссис Джеллиби снова устремила глаза на далекую Африку – прямо сквозь мою шляпу и голову, – я решила, что настал подходящий момент перейти к цели своего визита и привлечь к себе внимание миссис Джеллиби.

– Пожалуй, вы удивитесь, – начала я, – когда узнаете, зачем я пришла сюда и прервала ваши занятия.

– Я всегда рада видеть вас, мисс Саммерсон, – отозвалась миссис Джеллиби, спокойно улыбаясь и не переставая заниматься своим делом, – но мне жаль, – и она покачала головой, – что вы так равнодушны к бориобульскому проекту.

– Я пришла с Кедди, – сказала я, – ибо Кедди – и в этом она права – считает, что у нее не должно быть никаких тайн от матери, и думает, что я могу поддержать ее и помочь ей (хоть я сама не знаю, каким образом) открыть вам одну тайну.

– Кедди, – обратилась миссис Джеллиби к дочери, на миг оторвавшись от работы, но сейчас же безмятежно принялась за нее снова, покачав головой, – ты обязательно скажешь мне какую-нибудь глупость.

Кедди развязала ленты своей шляпы, сняла ее и, держа за завязки, принялась раскачивать над полом, но вдруг залилась слезами и пролепетала:

– Мама, я выхожу замуж.

– Вот нелепая девчонка! – заметила миссис Джеллиби с отсутствующим видом, просматривая только что распечатанное письмо. – Какая ты дурочка!

– Я выхожу замуж, мама, – всхлипывала Кедди, – за мистера Тарвидропа-младшего из танцевальной академии, а мистер Тарвидроп-старший (он, право же, настоящий джентльмен) дал свое согласие, и я прошу и умоляю вас, мама, тоже дать согласие, потому что без него я никогда не буду счастлива. Никогда, никогда! – всхлипывала Кедди, начисто позабыв о своих обидах и обо всем на свете, кроме любви к матери.

– Вот вы опять видите, мисс Саммерсон, – все так же безмятежно заметила миссис Джеллиби, – какое это счастье, что я так занята и обязана сосредоточиться на чем-то одном. Кедди обручилась с сыном какого-то учителя танцев… водит знакомство с людьми, которые интересуются судьбами человечества не больше, чем она сама! И это в то время, как мистер Куэйл, один из виднейших филантропов нашего ве-

ка, сказал мне, что готов сделать ей предложение!

– Мама, я всегда ненавидела и терпеть не могла мистера Куэйла! – проговорила Кедди, всхлипывая.

– Ах, Кедди, Кедди! – отозвалась миссис Джеллиби, с величайшим благодушием распечатывая следующее письмо. – Я в этом не сомневаюсь. Как ты могла относиться к нему иначе, если у тебя нет и крупицы тех интересов, которыми он так переполнен? Если бы общественные обязанности не были моим любимым детищем, если бы я не была занята обширными предприятиями мирового масштаба, все эти мелочи, признаюсь, могли бы меня глубоко огорчать, мисс Саммерсон. Но могу ли я допустить, чтобы сумасбродства Кедди (от которой я ничего другого и не ожидаю) встали преградой между мной и великим Африканским материком? Нет. Нет, – повторила миссис Джеллиби спокойным, ясным голосом и с приятной улыбкой, продолжая распечатывать и сортировать письма. – Нет, конечно.

Я была так мало подготовлена к столь холодному приему, хоть и ожидала его, что просто не находила слов. Кедди, по-видимому, тоже совершенно растерялась. А миссис Джеллиби по-прежнему вскрывала и сортировала письма, время от времени повторяя ласковым голосом и с невозмутимой улыбкой:

– Нет, конечно.

– Надеюсь, мама, – всхлипнула в заключение бедная Кедди, – вы на меня не сердитесь?

– Ну, Кедди, значит, ты и вправду глупая девчонка, если продолжаешь задавать мне такие вопросы после того, как я тебе рассказала о своих заботах, поглощающих все мое внимание, – ответила миссис Джеллиби.

– Надеюсь, мама, вы даете согласие и желаете нам счастья? – проговорила Кедди.

– Если ты так поступила, значит, ты просто неразумное дитя, – сказала миссис Джеллиби, – и даже испорченное дитя; а ведь ты могла бы посвятить себя грандиозной общественной деятельности. Но шаг сделан, я наняла мальчика, и говорить больше не о чем. Нет, Кедди, пожалуйста, не надо, – проговорила миссис Джеллиби, когда Кедди попыталась ее поцеловать, – не мешай работать; дай же мне разобраться в этой куче бумаг до прихода послеобеденной почты!

Я решила, что делать мне тут больше нечего и пора уходить. Однако мне пришлось ненадолго задержаться, так как Кедди сказала:

– Вы позволите, мама, привести его сюда и познакомить с вами?

– О господи, Кедди! – воскликнула миссис Джеллиби, уже успевшая погрузиться в созерцание какой-то неведомой дали. – Ты опять? Кого привести?

– Его, мама.

– Кедди, Кедди! – промолвила миссис Джеллиби, которой все эти пустяки, должно быть, осточертели. – Если уж тебе так хочется, приведи его как-нибудь вечером, когда не будет

ни собрания Главного Общества, ни совещания Отдела, ни заседания Подотдела. Тебе придется согласовать этот визит с расписанием моих занятий. Дорогая мисс Саммерсон, вы были очень любезны, что пришли сюда помочь этой глупышке. До свидания! Сегодня утром я получила еще пятьдесят восемь писем от рабочих семейств, желающих ознакомиться с различными деталями вопроса о культивировании кофе и туземцев, значит, мне незачем просить извинения за то, что у меня так мало досуга.

Меня нисколько не удивило, что Кедди расстроилась и, когда мы спускались по лестнице, снова зарыдала, бросившись мне на шею и говоря, что лучше бы ее выбранили, чем отнеслись к ней так безучастно, а потом призналась, что ей почти не во что одеться, и она прямо не знает, как ей удастся выйти замуж прилично. Однако я постепенно утешила ее, заведя разговор о том, как много она будет делать для своего несчастного отца и Пищика, когда заживет своим домом; и вот наконец мы спустились вниз, в сырую темную кухню, где Пищик валялся на каменном полу со своими братцами и сестрицами и где мы затеяли с ними такую возню, что я побоялась, как бы меня не разорвали на куски, и поскорее принялась рассказывать им сказки. Время от времени я слышала у себя над головой громкие голоса, доносившиеся из столовой, и грохот падающей мебели. Грохот, боюсь, объяснялся тем, что бедный мистер Джеллиби все еще силился разобраться в своих делах, но после каждой бесплодной по-

пытки отрывался от обеденного стола и устремлялся к окну, намереваясь выброситься из него во дворик.

Вечером, мирно возвращаясь домой после этого беспокойного дня, я много думала о помолвке Кедди, твердо надеясь, что (несмотря на мистера Тарвидропа-старшего) девушка будет счастливее, чем теперь. Да, думала я, и она, и муж ее едва ли когда-нибудь поймут, что представляет собою в действительности «образец хорошего тона»; что ж, тем лучше для них, и стоит ли желать им узнать истину? Я лично вовсе не хотела, чтобы они эту истину узнали, и мне даже было почти стыдно, что сама я не вполне верю в мистера Тарвидропа-старшего. И еще я смотрела на звезды и думала о тех, кто путешествует по дальним странам, и о звездах, которые видят *они*, и надеялась, что, быть может, и на мою долю выпадет благодать и счастье приносить пользу кому-нибудь по мере моих слабых сил.

Когда я вернулась домой, наши, по обыкновению, так обрадовались мне, что я, наверное, села бы и расплакалась от умиления, если бы не знала, что это будет им неприятно. Все в доме от первого до последнего человека приветствовали меня с такими сияющими лицами, разговаривали со мной так весело и были так рады хоть чем-нибудь мне услужить, что во всем мире, думалось мне, не нашлось бы никого счастливее меня.

В тот вечер мы долго засиделись за разговором, потому что Ада и опекун заставили меня подробно рассказать про

Кедди, и я болтала, болтала, болтала без умолку. Наконец я ушла к себе наверх, краснея при мысли о том, как я разглагольствовала, и вдруг услышала негромкий стук в дверь. Я сказала: «Войдите!», и в комнату вошла хорошенькая маленькая девочка, чистенько одетая в траурное платье, и сделала мне реверанс.

– Позвольте вам доложить, мисс, – сказала девочка нежным голосом, – я Чарли.

– Ну да, конечно, Чарли, – в изумлении воскликнула я, наклоняясь и целуя ее. – Как я рада видеть тебя, Чарли!

– Позвольте вам доложить, мисс, – продолжала Чарли все тем же нежным голосом, – я теперь ваша горничная.

– Ты, Чарли?

– Позвольте вам доложить, мисс, это вам подарок от мистера Джарндиса, а еще он шлет привет.

Я села и, обняв Чарли, смотрела на нее не отрывая глаз.

– Ах, мисс! – проговорила Чарли, всплеснув руками, и слезы потекли по ямочкам на ее щеках. – Том в школе, позвольте вам доложить, и учится так хорошо! А маленькая Эмма, мисс, она у миссис Блайндер, мисс, и о ней так заботятся! А Том давно уже поступил бы в школу, а Эмма перешла бы к миссис Блайндер, а я приехала бы сюда, но мистер Джарндис считал, что Тому, и Эмме, и мне надо было сначала привыкнуть к тому, что придется нам жить врозь, – ведь мы такие маленькие! Не плачьте, пожалуйста, мисс!

– Не могу удержаться, Чарли.

– Да, мисс, я тоже не могу удержаться, – сказала Чарли. – И позвольте вам доложить, мисс, мистер Джарндис шлет привет и думает, что вы захотите давать мне уроки. И, позвольте вам доложить, Том, и Эмма, и я – мы будем видеться раз в месяц. И я так счастлива и так благодарна, мисс, – воскликнула Чарли от полноты сердца, – и я постараюсь быть такой хорошей горничной!

– Чарли, милая, никогда не забывай того, кто все это сделал!

– Нет, мисс, никогда не забуду. И Том не забудет. И Эмма. Все это благодаря вам, мисс.

– Да я ничего об этом не знала. Все сделал мистер Джарндис, Чарли.

– Да, мисс, но он это сделал из любви к вам и чтобы вы стали моей хозяйкой. Позвольте вам доложить, мисс, это вам маленький подарок от него – с приветом; и все это он сделал из любви к вам. Мне и Тому приказано это запомнить.

Чарли вытерла глаза и принялась выполнять свои новые обязанности – расхаживать по комнате с хозяйственным видом и прибирать все, что попадалось под руку. Но вдруг Чарли подкралась ко мне сбоку и проговорила:

– Ах, мисс, не плачьте, пожалуйста.

И я повторила:

– Не могу удержаться, Чарли.

А Чарли тоже повторила:

– Да, мисс, и я не могу удержаться.

Так что я все-таки немного поплакала от радости, и она тоже.

Глава XXIV
Апелляция

Вскоре после моей беседы с Ричардом, о которой я уже писала, он рассказал о своих планах мистеру Джарндису. Опекуна это признание, вероятно, не застало врасплох, но все-таки очень огорчило и разочаровало. Теперь они с Ричардом нередко разговаривали наедине, то поздно вечером, то рано утром, проводили целые дни в Лондоне, постоянно встречались с мистером Кенджем и были обременены кучей неприятных хлопот. Все время, пока они были заняты этими делами, опекун очень страдал от восточного ветра и так часто ерошил свою шевелюру, что, кажется, ни один волос у него не лежал на месте; тем не менее со мной и Адой он был так же ласков, как и прежде, только никогда не говорил о делах Ричарда. Как мы ни старались, мы ничего не могли добиться и от самого Ричарда, кроме неопределенных заверений, что «все идет как нельзя лучше и наконец-то все в порядке», а это не могло рассеять нашу тревогу.

Однако мы со временем узнали, что лорд-канцлеру была подана новая просьба от имени Ричарда, как «несовершеннолетнего» и «состоящего под опекой суда» и не знаю еще кого, и что по этому поводу велись бесконечные переговоры, а лорд-канцлер во время заседания открыто назвал Ричарда

«надоедливым и капризным несовершеннолетним»; узнали также, что решение все откладывали и откладывали, что собирали справки, делали доклады и подавали прошения, пока наконец Ричард (как он сам нам говорил) не начал подумывать, что если он вообще когда-нибудь поступит на военную службу, то не раньше чем стариком лет семидесяти-восьмидесяти. В конце концов его вызвали в кабинет лорд-канцлера, и лорд-канцлер сделал ему очень строгое внушение за то, что он без толку проводит время и сам не знает, чего хочет («Не им бы говорить, не мне слушать!» – сказал Ричард по этому поводу), но в конце концов все-таки было решено удовлетворить его просьбу. Его зачислили в конногвардейский полк кандидатом на патент прапорщика, деньги на покупку патента внесли агенту, а сам Ричард, как и следовало ожидать, с головой ушел в изучение военных наук и каждое утро вставал в пять часов, чтобы упражняться в фехтовании.

Каникулы суда приходили на смену сессиям, а сессии каникулам. Время от времени мы узнавали, что тяжба «Джарндисы против Джарндисов» назначена к слушанию или отложена, должна рассматриваться или пересматриваться, так что она то появлялась на сцене, то исчезала. Ричард жил теперь у одного профессора в Лондоне и уже не мог бывать у нас так часто, как раньше; опекун был по-прежнему сдержан; и так вот и проходило время, пока патент не был выдан и Ричард не получил приказа явиться в свой полк, стоявший в Ирландии.

Он сломя голову примчался к нам как-то вечером с этой новостью и долго беседовал с опекуном. Примерно через час опекун заглянул в комнату, где сидели мы с Адой, и позвал нас: «Подите-ка сюда, девочки!» Мы вошли и увидели, что Ричард, который только что был в прекрасном расположении духа, сейчас стоит, прислонившись к камину, чем-то недовольный и сердитый.

– Я хочу сказать вам, Ада, – начал мистер Джарндис, – что мы с Риком несколько разошлись во взглядах. Ну, ну, Рик, не хмурьтесь!

– Вы ко мне слишком жестоки, сэр, – проговорил Ричард. – И мне это больно, особенно потому, что во всех прочих отношениях вы всегда были так снисходительны и сделали мне столько добра, что я ввек за него не отплачу. Без вас я никогда бы не мог найти правильный путь, сэр.

– Ладно, ладно! – сказал мистер Джарндис. – Но я хочу, чтобы вы стали на еще более правильный путь. Я хочу, чтобы вы нашли правильный путь в самом себе.

– Надеюсь, вы извините меня, сэр, – возразил Ричард с жаром, но все-таки почтительно, – если я скажу, что считаю себя наилучшим судьей во всем, что касается меня самого.

– Надеюсь, вы извините меня, дорогой Рик, – ласково проговорил опекун веселым и добродушным тоном, – если я скажу, что для вас это вполне естественно; но я иного мнения. Я обязан исполнить свой долг, Рик, а не то вы перестанете меня уважать, когда остынете; я же хотел бы, чтобы вы все-

гда меня уважали – и когда вы в пылу, и когда остываете.

Ада так побледнела, что опекун заставил ее сесть в свое кресло – то, в котором он обычно читал, – и сам сел рядом с нею.

– Пустяки, дорогая моя, все это пустяки, – сказал он. – Просто у нас с Ричардом произошла размолвка, какие бывают и у близких друзей, и мы должны сказать об этом вам, потому что именно вы послужили ее причиной. Ну вот, вас уже пугает то, что вам придется услышать.

– Вовсе нет, кузен Джон, – возразила Ада с улыбкой, – если, конечно, это исходит от вас.

– Благодарю вас, дорогая. Уделите мне минутку внимания, выслушайте меня спокойно и в это время не смотрите на Ричарда. И вы тоже, Хозяюшка. Дорогая моя девочка, – продолжал он, прикрыв ладонью руку Ады, лежавшую на подлокотнике кресла, – вы помните, о чем говорили мы четверо, когда наша Хлопотунья рассказала мне об одной маленькой любовной истории?

– Ричард и я, мы никогда не забудем, как добры вы были к нам в тот день, кузен Джон.

– Я никогда не забуду этого, – подтвердил Ричард.

– И я не забуду, – повторила Ада.

– Тем легче мне сейчас высказать то, что я должен сказать, и тем легче нам столковаться, – отозвался опекун, лицо которого как бы излучало всю нежность и благородство его сердца. – Ада, пташка моя, вам следует знать, что теперь Ричард

избрал себе специальность в последний раз. Все деньги, какие у него еще остались, уйдут на экипировку. Он растратил свое состояние и отныне привязан к дереву, которое посадил сам.

– Я действительно растратил свое теперешнее состояние, что, впрочем, меня ничуть не огорчает. Но то, что у меня осталось, сэр, – сказал Ричард, – это далеко не все, что я имею.

– Рик, Рик! – в ужасе воскликнул опекун изменившимся голосом и взмахнул руками, словно собираясь зажать себе уши. – Ради бога, не возлагайте никаких надежд и ожиданий на это родовое проклятие! Что бы вы ни делали в жизни, не бросайте и мимолетного взгляда на тот страшный призрак, который преследует нас уже столько лет. Лучше брать в долг, лучше просить подаяние, лучше умереть!

Все мы были потрясены страстностью, с какой он произнес эти слова. Ричард закусил губу и, затаив дыхание, смотрел на меня так, словно понимал, как важно для него предостережение опекуна, и знал, что я тоже это понимаю.

– Милая моя Ада, – сказал мистер Джарндис, успокоившись, – свой совет я высказал слишком резко; но ведь я живу в Холодном доме, и чего только я в нем не перевидал! Впрочем, об этом ни слова больше. Все средства, какими Ричард располагал, чтобы начать свой жизненный путь, теперь поставлены на карту. Я советую ему и вам, ради его же блага и ради вашего, решить перед разлукой, что вы ничем друг с

другом не связаны. Пойду дальше. Буду говорить напрямик с вами обоими. Вы ничего не хотели скрывать от меня; и я тоже хочу говорить с вами откровенно. Я прошу вас считать, что пока вас больше не связывают никакие узы, кроме родственных.

– Лучше сразу сказать, сэр, – возразил Ричард, – что вы совершенно лишили меня своего доверия и советуете Аде поступить так же.

– Лучше не говорить этого, Рик, потому что это неправда.

– Вы считаете, что я плохо начал, сэр, – упирался Ричард. – Да, *начал* я плохо.

– О том, *как* вам, по-моему, надо было начать и *как* продолжать, я говорил, когда мы в последний раз беседовали с вами, – сказал мистер Джарндис сердечным и ободряющим тоном. – Пока что вы ничего не начали, но всему свое время, и ваше еще не упущено… вернее, оно наступило теперь. Так начните же как следует! Вы оба еще очень молоды, милые мои, и вы в родстве друг с другом, но пока вы только родственники. Если же вас свяжут и более крепкие узы, то лишь тогда, Рик, когда вы для этого поработаете, не раньше.

– Вы ко мне слишком жестоки, сэр, – сказал Ричард, – не ждал я от вас такой жестокости.

– Милый мой мальчик, я еще более жесток к самому себе, когда огорчаю вас, – возразил мистер Джарндис. – Ваше лекарство в ваших руках. Ада, Рику будет лучше, если он вновь сделается свободным, если его перестанет связывать

ваша ранняя помолвка. Рик, для Ады это будет лучше, гораздо лучше, – в этом ваш долг перед нею. Ну, решайтесь! Пусть каждый из вас поступит так, чтобы не ему самому, а другому было лучше.

– Но почему же это лучше, сэр? – мгновенно откликнулся Ричард. – Когда мы открылись вам, вы не считали, что «так лучше». Тогда вы говорили другое.

– С тех пор я узнал кое-что новое. Я не обвиняю вас, Рик, но с тех пор я узнал кое-что новое.

– Очевидно, насчет меня, сэр?

– Что ж, пожалуй; вернее, насчет вас обоих, – ласково ответил мистер Джарндис. – Для вас еще не настала пора взаимных обещаний. Все это пока преждевременно, и я не имею права дать согласие на вашу помолвку. Решайтесь же, мои юные друзья, решайтесь и начинайте сызнова! Что было, то прошло, и для вас открылась новая страница – вот и пишите на ней историю своей жизни.

Ричард бросил на Аду встревоженный взгляд, но ничего не сказал.

– Я до сих пор избегал говорить об этом с вами обоими и с Эстер, – продолжал мистер Джарндис, – потому что хотел, чтобы все мы потолковали вместе, вполне откровенно и на равных началах. Теперь же я от всего сердца советую вам, теперь я настоятельно прошу вас вернуться к тем отношениям, в каких вы были, когда приехали сюда. Предоставьте времени, верности и постоянству соединить вас вновь. Если

вы поступите иначе, вы поступите плохо и тем убедите меня, что и я плохо поступил, познакомив вас друг с другом.

Наступило долгое молчание.

– Кузен Ричард, – проговорила наконец Ада, с нежностью подняв на него свои голубые глаза, – после того, что сказал кузен Джон, выбора нам не осталось. Не беспокойтесь обо мне, ведь вы оставляете меня на его попечении и знаете, что лучшей жизни я не желаю; да и не пожелаю никогда, если буду руководствоваться его советами, – это вы тоже хорошо знаете. Я… я не сомневаюсь, кузен Ричард, – продолжала Ада с легким смущением, – что я вам очень дорога и… и вряд ли вы полюбите другую. Но прошу вас хорошенько подумать об этом тоже – ведь я хочу, чтобы вам во всем улыбалось счастье. Можете мне верить, кузен Ричард. Сама я не изменчива, но и не безрассудна и никогда не стала бы вас осуждать. Ведь и просто родственникам бывает грустно расставаться, и мне, право же, очень, очень грустно, Ричард, хоть я и знаю, что все это нужно для вашего блага. Я всегда буду думать о вас с любовью и часто говорить о вас с Эстер, и… и, может быть, вы иногда будете немножко думать обо мне, кузен Ричард. А теперь, – сказала Ада, подойдя к Ричарду и протянув ему дрожащую руку, – мы опять только родственники, Ричард… быть может, навеки… и я всей душой желаю, чтобы моему милому кузену было хорошо, куда бы ни занесла его судьба!

Я удивлялась, почему Ричард не может простить опекуну,

что тот имеет о нем точь-в-точь такое же мнение, какое сам Ричард – в недавнем разговоре со мной – высказал о себе, и даже – в гораздо более сильных выражениях; но, как ни странно, он действительно не мог этого простить. С большим огорчением заметила я, что с этого часа он перестал быть таким непринужденным и откровенным с мистером Джарндисом, каким был раньше. У него были все основания относиться к опекуну по-прежнему, но этого не случилось, и – всецело по вине Ричарда – между ними начало возникать отчуждение.

Но вскоре он так увлекся подготовкой к отъезду и закупкой обмундирования, что позабыл обо всем на свете, даже о горе разлуки с Адой – она осталась в Хэртфордшире, а Ричард, мистер Джарндис и я отправились на неделю в Лондон. Порой он внезапно вспоминал об Аде, заливаясь слезами, и тогда признавался мне, что осыпает себя самыми тяжкими упреками. Но спустя несколько минут снова начинал легкомысленно болтать о каких-то неопределенных надеждах на богатство и вечное счастье с Адой и приходил в самое веселое расположение духа.

Это было очень хлопотливое время, и я целыми днями бегала с Ричардом по магазинам, покупая разные необходимые ему вещи. Я уж не говорю о тех вещах, которые он накупил бы сам, будь ему предоставлена эта возможность. Со мной он был вполне откровенен и зачастую так разумно и с таким чувством говорил о своих ошибках и своих твердых наме-

рениях и так широко распространялся на тему о том, какой поддержкой служат для него наши беседы, что мне никогда не надоедало разговаривать с ним.

Всю эту неделю к нам часто приходил один отставной солдат кавалерийского полка, обучавший Ричарда фехтованию. Это был красивый, грубовато-добродушный мужчина, с открытым лицом и непринужденным обращением, вот уже несколько месяцев занимавшийся с Ричардом. Я так много слышала о нем не только от Ричарда, но и от опекуна, что как-то раз утром, после завтрака, когда солдат пришел, я нарочно уселась со своим рукодельем в гостиной.

– Доброе утро, мистер Джордж, – сказал опекун, который тоже был в комнате. – Мистер Карстон скоро придет. А пока мисс Саммерсон будет очень рада познакомиться с вами. Присаживайтесь.

Он сел, как мне показалось, слегка смущенный моим присутствием, и, не глядя на меня, принялся поглаживать верхнюю губу широкой загорелой рукой.

– Вы всегда появляетесь вовремя – как солнце, – сказал мистер Джарндис.

– По-военному, сэр, – отозвался тот. – Привычка, просто привычка, сэр. Я совсем не деловой человек.

– Однако у вас, как я слышал, большое заведение, – заметил мистер Джарндис.

– Не особенно, сэр. Я держу галерею-тир, но не очень-то большую.

– А как по-вашему, мистер Карстон хорошо стреляет и фехтует? – спросил опекун.

– Довольно хорошо, сэр, – ответил мистер Джордж, сложив руки на широкой груди и сделавшись как будто еще крупнее. – Если бы мистер Карстон увлекся этими занятиями, он мог бы сделать огромные успехи.

– Но он, очевидно, ими не увлекается? – сказал опекун.

– Вначале он занимался с увлечением, а теперь нет… не увлекается. Может, он увлечен чем-нибудь другим… может быть, какой-нибудь молодой леди.

Его живые темные глаза впервые остановились на мне.

– Уверяю вас, мистер Джордж, что он увлечен не мной, – сказала я со смехом, – хотя вы, должно быть, заподозрили меня.

Он залился румянцем, проступившим сквозь его загар, и поклонился мне по-военному.

– Надеюсь, я не оскорбил вас, мисс. Ведь я простой солдат, человек неотесанный.

– Ничуть не оскорбили, – сказала я. – Я считаю это комплиментом.

Если вначале он почти не смотрел в мою сторону, то теперь взглянул на меня несколько раз подряд.

– Прошу прощения, сэр, – обратился он к опекуну с застенчивостью, свойственной иным мужественным людям, – но вы оказали мне честь назвать фамилию молодой леди…

– Мисс Саммерсон.

– Мисс Саммерсон, – повторил он и снова взглянул на меня.

– Вам знакома эта фамилия? – спросила я.

– Нет, мисс, по-моему, я такой никогда не слыхал. Но мне кажется, будто я с вами где-то встречался.

– Вряд ли, – усомнилась я, подняв голову и отрываясь от своего рукоделья, – его слова и манеры были так непосредственны, что я обрадовалась случаю посмотреть на него. – У меня очень хорошая память на лица.

– У меня тоже, мисс, – отозвался он, повернувшись ко мне, и тогда я хорошо разглядела его темные глаза и широкий лоб. – Хм! Не знаю, почему мне это показалось.

Он снова покраснел и так смутился, тщетно силясь вспомнить, где именно он мог меня видеть, что опекун пришел к нему на помощь.

– У вас много учеников, мистер Джордж?

– То много, то мало, сэр. Большей частью маловато – не хватает на жизнь.

– А какого рода люди приходят упражняться в вашей галерее?

– Всякие люди, сэр. И англичане, и иностранцы. От джентльменов до подмастерьев. Не так давно приходили ко мне и француженки и оказались большими мастерицами стрелять из пистолета. А сумасбродов, конечно, сколько угодно; впрочем, *эти* шляются всюду – была бы дверь открыта.

– Надеюсь, к вам не заглядывают люди оскорбленные, из тех, что замышляют окончить свою практику на живых мишенях? – сказал опекун, улыбаясь.

– Таких немного, сэр, но *бывают*. Большинство приходит или упражняться… или от нечего делать. Тех и других примерно поровну. Прошу прощения, сэр, – продолжал мистер Джордж, выпрямившись, расставив локти и упершись руками в колени, – вы, кажется, участвуете в тяжбе, которая разбирается в Канцлерском суде?

– К несчастью, да.

– У меня бывал один из *ваших* товарищей по несчастью, сэр.

– Тоже какой-нибудь истец, чье дело разбирается в Канцлерском суде? – спросил опекун. – А зачем он приходил?

– Человек этот был затравлен, загнан, замучен оттого, что его, так сказать, гоняли взад-вперед от старта к финишу и от финиша к старту, и он вроде как помешался, – объяснил мистер Джордж. – Не думаю, чтобы ему взбрело в голову кого-нибудь пристрелить, но он был в таком озлоблении, в такой ярости, что платил за пятьдесят выстрелов и стрелял до седьмого пота. Как-то раз, когда в галерее никого больше не было и он гневно рассказывал мне о своих обидах, я сказал ему: «Если такая стрельба служит для вас отдушиной, приятель, – прекрасно; но мне не очень нравится, что вы, в теперешнем вашем настроении, столь усердно ей предаетесь; лучше бы вам пристраститься к чему-нибудь другому».

Я был начеку – ведь он прямо обезумел, того и гляди затрещину даст, – однако он на меня не рассердился и сразу перестал стрелять. Мы пожали друг другу руки и вроде как подружились.

– Кто же он такой? – спросил опекун, как видно заинтересованный.

– Когда-то был мелким фермером в Шропшире, но теперь его превратили в затравленного быка, – ответил мистер Джордж.

– А это, случайно, не Гридли?

– Он самый, сэр.

Мы с опекуном немного поговорили о том, «как тесен мир», а мистер Джордж снова бросил на меня несколько быстрых, острых взглядов, и я тогда объяснила ему, каким образом мы узнали фамилию его клиента. Он опять поклонился по-военному – в благодарность за мое «снисхождение», как он выразился.

– Не знаю, – начал он, глядя на меня, – почему мне опять кажется… но… чепуха! Чего только не взбредет в голову!

Он провел тяжелой рукой по жестким темным волосам, как бы затем, чтобы отогнать какие-то посторонние мысли, и, немного подавшись вперед, сел, уперев одну руку в бок, а другую положив на колено, и в задумчивости устремил глаза на пол.

– Очень жаль, что этот Гридли снова попал в беду из-за своей вспыльчивости и теперь скрывается, как я слышал, –

сказал опекун.

– Да, так говорят, – отозвался мистер Джордж, по-прежнему задумчиво и не отрывая глаз от пола. – Так говорят.

– Вы не знаете, где он скрывается?

– Нет, сэр, – ответил кавалерист, встрепенувшись и подняв глаза. – Я ничего не могу о нем сказать. Судя по всему, его скоро совсем доконают. Можно терзать сердце крепкого человека много лет подряд, но в конце концов это внезапно скажется.

Приход Ричарда положил конец нашему разговору. Мистер Джордж встал, снова поклонился мне по-военному, простился с опекуном и тяжелой поступью вышел из комнаты.

Этот разговор произошел утром в тот день, когда Ричард собирался уезжать. Покупки мы уже закончили, а все его вещи я уложила в середине дня, так что у нас оставалось свободное время до вечера, когда Ричард должен был выехать в Ливерпуль, чтобы оттуда направиться в Холихед. Дело «Джарндисы против Джарндисов» снова должно было слушаться в этот самый день, поэтому Ричард предложил мне пойти с ним в суд и посмотреть, что там делается. Это был его последний день в Лондоне, и ему очень хотелось побывать в суде, а я ни разу туда не ходила, поэтому я согласилась, и мы направились к Вестминстер-Холлу, где происходило судебное заседание. Всю дорогу мы уговаривались, что Ричард будет писать мне, а я ему, и строили огромные

воздушные замки. Опекун знал, куда мы направились, и поэтому не пошел с нами.

Когда мы вошли в зал суда, лорд-канцлер – тот самый, которого я видела в его кабинете в Линкольнс-Инне, – уже восседал на своем судейском помосте с чрезвычайно важным и торжественным видом, а ниже помоста стоял покрытый красным сукном стол с жезлом, печатями и огромным приплюснутым букетом цветов, который напоминал крошечную клумбочку и наполнял ароматом весь зал. Ниже этого стола, навалив перед собой кипы бумаг на устланный циновками пол, длинной вереницей сидели поверенные, и тут же, в париках и мантиях, расположились джентльмены из адвокатуры, причем некоторые бодрствовали, другие спали, а один произносил речь, но никто его не слушал. Лорд-канцлер откинулся на спинку своего очень покойного кресла с подушечками на ручках и, облокотившись на подушечку, опустил голову на руку; некоторые из присутствующих дремали; другие читали газеты; третьи прохаживались по залу или шептались, сбившись в кучку, и все, казалось, были тут совсем как дома, ничуть не торопились, ни о чем не заботились и чувствовали себя очень уютно.

Видеть, как все тут идет так гладко, и думать о страшной жизни и смерти тяжущихся, видеть всю эту пышность и великолепие, вспоминая о разорении, нужде и нищенском прозябании, которые за этим скрываются; сознавать, что, в то время как боль несбыточных надежд терзает столько сердец,

эта торжественная церемония спокойно продолжается изо дня в день, из года в год в столь же безукоризненном порядке и так же невозмутимо; смотреть на лорд-канцлера и всю орду юристов, поглядывающих друг на друга и на публику с таким видом, словно никто из них и не слыхивал, что правосудие, во имя которого они здесь собрались, служит предметом горьких шуток во всей Англии, вызывает всеобщий ужас, презрение и негодование, славится как нечто столь позорное и постыдное, что разве только чудо может заставить его принести кому-нибудь хоть малейшую пользу, – словом, наблюдать, что тут творится, было для меня так странно и противоестественно, что я, неискушенная во всем этом, вначале просто не верила своим глазам и ничего не могла понять. Я сидела там, куда посадил меня Ричард, старалась прислушиваться и присматриваться к окружающему, но мне чудилось, будто все здесь какое-то нереальное, если не считать бедной маленькой мисс Флайт, слабоумной старушки, которая стояла на скамье, кивая головой в сторону судейских.

Заметив нас, мисс Флайт сейчас же подошла. Она радушно приняла меня в своих владениях и с большим удовлетворением и гордостью обратила мое внимание на их главнейшие достопримечательности. Мистер Кендж тоже подошел побеседовать с нами и примерно в том же стиле отдал должное суду с учтивой скромностью хозяина, который показывает гостям свой дом. Он сказал, что мы не очень удачно выбрали день для посещения суда – лучше было прийти на

первое заседание сессии, – но и сегодня все здесь очень внушительно, очень внушительно.

Мы пробыли в суде с полчаса, и наконец дело, которое разбиралось, – хотя смешно говорить «разбиралось», когда никто здесь не мог ни в чем разобраться, – по-видимому, иссякло по причине собственной бессодержательности, ибо судоговорение не привело ни к какому результату, которого, впрочем, никто и не ожидал. Лорд-канцлер сбросил со своего стола пачку бумаг джентльменам, сидевшим ниже его, и кто-то провозгласил: «Джарндисы против Джарндисов». Тут послышался глухой говор, смех, посторонние устремились к выходу, а клерки принялись втаскивать в зал документы, приобщенные к этому делу, – громадные кипы, связки, бесчисленные мешки, набитые бумагами.

Кажется, дело было назначено к слушанию для получения «дальнейших указаний» относительно какого-то расчета судебных пошлин – по крайней мере так поняла я, хотя понимала я довольно смутно. Впрочем, я сосчитала, что целых двадцать три джентльмена в париках «выступили по этому делу», как они выражались, но все они, видимо, разбирались в нем не лучше меня. Они толковали о нем с лорд-канцлером, спорили и объяснялись друг с другом, причем одни говорили, что надо поступить так, другие – что надо поступить этак, третьи в насмешку предлагали зачитать свидетельские показания, а это были громадные томы; меж тем глухой говор и смех все нарастали, и присутствующие развлекались от

нечего делать всем происходящим, но никто не мог ничего понять. Прошло около часа, множество речей было начато и прервано, наконец «дело отложили», как выразился мистер Кендж, а бумаги снова увязали, прежде чем клерки успели притащить весь их запас.

Когда эта безнадежная процедура пришла к концу, я взглянула на Ричарда и была глубоко потрясена – таким измученным выглядело его красивое молодое лицо.

– Не может это продолжаться вечно, Хлопотунья. В следующий раз нам повезет, и дело пойдет на лад!

Вот все, что он мне сказал.

Пока мы тут сидели, я видела, как мистер Гаппи приносит и раскладывает документы для мистера Кенджа; клерк тоже увидел меня и поклонился с таким жалостным видом, что мне захотелось уйти из суда. И вот, не успел Ричард взять меня под руку и повести к выходу, как мистер Гаппи подошел к нам.

– Извините меня, мистер Карстон, – зашептал он, – и вы тоже, мисс Саммерсон, но здесь присутствует одна дама, моя хорошая знакомая, которая знает мисс Саммерсон и жаждет иметь удовольствие пожать ей руку.

И тут я увидела миссис Рейчел – женщину, которая когда-то служила у моей крестной, а теперь внезапно возникла передо мной, словно воспоминание, принявшее человеческий облик.

– Как поживаете, Эстер? – сказала она. – Вы меня

помните?

Протянув ей руку, я ответила утвердительно и сказала, что она почти не изменилась.

– Удивляюсь, что вы еще не забыли тех времен, Эстер, – проговорила она так же сурово, как встарь. – Теперь все стало по-другому. Ну что ж! Рада вас видеть, рада, что вы не слишком загордились – узнали меня.

Однако она явно была разочарована тем, что я «не загордилась».

– Зачем же мне «гордиться», миссис Рейчел? – сказала я укоризненно.

– Я вышла замуж, Эстер, – холодно отозвалась она, поправляя меня, – и теперь меня зовут миссис Чедбенд. Ну что ж! Прощайте, и желаю вам всего лучшего.

Мистер Гаппи, который внимательно вслушивался в наш короткий разговор, вздохнул мне прямо в ухо и начал проталкиваться вместе с миссис Рейчел сквозь обступившую нас небольшую толпу каких-то людей, входивших и выходивших и столкнувшихся здесь потому, что суд перешел к слушанию другого дела. Мы с Ричардом тоже стали пробираться к выходу, и у меня еще не изгладилось неприятное впечатление от этой неожиданной встречи со старой знакомой, когда я увидела, что в нашу сторону, но не видя нас, идет не кто иной, как мистер Джордж. Он шагал, не обращая внимания на людей, теснившихся вокруг, и, будучи на голову выше их ростом, всматривался в глубину зала.

– Джордж! – крикнул Ричард, когда я показала ему на кавалериста.

– Вот хорошо, что я вас встретил, сэр, – отозвался тот. – И вас тоже, мисс. Вы не можете помочь мне найти одну особу, которая мне нужна? А то я здесь совсем запутался.

Он повернулся, проложил нам дорогу и, когда мы вышли из толпы, остановился в углу за широкой красной портьерой.

– Здесь должна быть одна свихнувшаяся старушка, – начал он, – и ее…

Я предостерегающе подняла палец, так как рядом со мною стояла мисс Флайт, которая с самого начала не отходила от меня и (к моему великому смущению) то и дело указывала на меня своим судейским знакомым, шепча им на ухо: «Тсс! Слева от меня Фиц-Джарндис!»

– Хм! – произнес мистер Джордж. – Помните, мисс, как мы нынче утром говорили об одном человеке? О Гридли, – добавил он тихим шепотом и прикрыв рот рукой.

– Да, – ответила я.

– Он прячется у меня. Я тогда не мог сказать вам об этом. Не имел на это его разрешенья. Но сейчас он кончает свой последний поход, мисс, и ему хочется повидаться с нею. Говорит, что они друг другу сочувствуют и что здесь они вроде как дружили. Вот я и пришел сюда за нею, потому что, когда я сидел сегодня у постели Гридли, мне чудилось, будто я слышу бой барабанов, повязанных траурным крепом.

– Сказать ей об этом? – спросила я.

– Пожалуйста, – ответил он, глядя на мисс Флайт с некоторой опаской. – Счастье, что я вас здесь встретил, мисс, а не то я один, пожалуй, и не сумел бы обойтись с этой леди.

Он выпрямился и, засунув руку за полу сюртука, стоял навытяжку, по-военному, пока я шепотом объясняла маленькой мисс Флайт, с какой доброй целью он пришел сюда.

– Мой сердитый друг из Шропшира! Почти такой же прославленный, как я! – воскликнула она. – Вот уж не ожидала! Дорогая моя, я с величайшим удовольствием пойду к нему.

– Он скрывается у мистера Джорджа, – сказала я. – Тсс! Вот и сам мистер Джордж.

– В самом деле! – воскликнула мисс Флайт. – Очень польщена такой честью! Военный, дорогая моя. Ни дать ни взять генерал! – шептала она мне.

В знак уважения к армии бедная мисс Флайт считала нужным вести себя столь церемонно и вежливо и приседать так часто, что ее нелегко было вывести из здания суда. Когда же это наконец удалось, она позволила мистеру Джорджу взять ее под руку и стала величать его «генералом», к безмерному удовольствию каких-то зевак, глазевших на нас. Мистер Джордж был так смущен всем этим и так почтительно умолял меня не покидать его, что я не решилась расстаться с ними, особенно потому, что при мне мисс Флайт всегда была сговорчива; да и она тоже сказала:

– Фиц-Джарндис, вы, милая моя, конечно, пойдете с нами.

Ричард, тот не только хотел, но даже настаивал, чтобы мы

проводили их до дому, и мы с ним решили, что так и надо сделать. Далее мистер Джордж сказал нам, что Гридли весь день вспоминал мистера Джарндиса, после того как узнал о нашем утреннем разговоре; поэтому я написала карандашом несколько слов опекуну, объяснив, куда мы поехали и зачем. Мистер Джордж зашел в кофейню, где запечатал мою записку, чтобы никто не узнал ее содержания, и мы отослали ее с посыльным.

Затем мы наняли карету, которая привезла нас на одну улицу по соседству с Лестер-сквер. Тут нам пришлось пробираться пешком по каким-то узким переулочкам, так что мистер Джордж даже извинялся перед нами, и вскоре подошли к «Тиру», дверь которого была заперта. Мистер Джордж потянул было за ручку звонка, висевшую на цепочке у двери, но в эту минуту какой-то очень почтенный на вид пожилой джентльмен, с проседью, в очках, черной короткой куртке, гетрах и широкополой шляпе, опиравшийся на большую палку с золоченым набалдашником, обратился к нему со следующими словами:

– Простите, милейший, – начал он, – здесь находится «Галерея-Тир Джорджа»?

– Да, сэр, – ответил мистер Джордж, поднимая глаза на огромные буквы, выведенные на побеленной стене.

– Ага! прекрасно! – сказал пожилой джентльмен, следуя за его взглядом. – Благодарю вас. Вы позвонили?

– Да, позвонил; а Джордж – это я, сэр.

– Так-так! – проговорил пожилой джентльмен. – Значит, вы и есть Джордж? Стало быть, я, как видите, прибыл сюда одновременно с вами. Ведь это вы приходили за мной, не правда ли?

– Нет, сэр. Я у вас не был.

– Вот как! – сказал пожилой джентльмен. – Ну, так, значит, это ваш служитель был у меня. Я – лекарь, и пять минут назад меня попросили прийти осмотреть больного в «Тире Джорджа».

– Барабаны уже повязаны траурным крепом, – проговорил мистер Джордж, обернувшись ко мне и Ричарду, и с серьезным видом покачал головой. – Совершенно верно, сэр, больной действительно здесь. Войдите, пожалуйста.

В эту минуту дверь отпер маленький, очень странного вида человек в шапочке и фартуке из зеленого сукна, – лицо его, руки и платье были сплошь вымазаны чем-то черным, – и мы прошли по темному коридору в просторное помещение с голыми кирпичными стенами, в котором находились мишени, ружья, рапиры и тому подобные предметы. Но не успели мы войти, как лекарь остановился и, сняв шляпу, как бы исчез, словно по волшебству, оставив вместо себя какого-то другого человека, совсем непохожего на того, кто входил сюда с нами.

– Слушайте, Джордж, – сказал человек, быстро повернувшись к кавалеристу и похлопывая его по груди толстым указательным пальцем. – Вы знаете меня, а я знаю вас. Вы чело-

век бывалый, и я человек бывалый. Меня зовут Баккет, как вам известно, и я имею ордер на арест Гридли – за нарушение общественной тишины и спокойствия. Этого человека вы прятали долго и очень ловко, надо вам отдать справедливость.

Мистер Джордж закусил губу и, покачав головой, устремил на него суровый взгляд.

– Ну, Джордж, – снова начал мистер Баккет, подойдя к нему вплотную, – вы человек разумный и примерного поведения; вот какой *вы*, бесспорно. Имейте в виду, я говорю с вами не как с первым встречным, – вы служили родине и знаете, что, когда нас призывает долг, мы должны повиноваться. Значит, хлопот с вами не будет – этого у вас и в мыслях нет. Понадобись мне ваша помощь, вы мне поможете – вот что сделаете вы. Фил Сквод, нечего тебе шляться бочком вокруг галереи таким манером, – грязный маленький человек ковылял вдоль стены, задевая за нее плечом и угрожающе глядя на незваного гостя, – все равно ведь я тебя знаю, и со мной это не пройдет.

– Фил! – проговорил мистер Джордж.

– Слушаю, хозяин.

– Стой смирно.

Маленький человек остановился, проворчав что-то сквозь зубы.

– Леди и джентльмены, – проговорил мистер Баккет, – извините, если вам здесь что-нибудь придется не по нутру, но я

инспектор Баккет из сыскного отделения и действую по долгу службы. Джордж, мне известно, где скрывается тот, кого я ищу, потому что я прошлой ночью сидел на крыше и видел его через окно в кровле, да и вас вместе с ним. *Он* вон там, и вы это знаете, – добавил Баккет, показывая куда-то пальцем, – вон где… там, на диване. Мне, разумеется, нужно увидеться с ним и заявить ему, что он должен считать себя арестованным; но вы меня знаете и знаете, что крутые меры мне принимать не хочется. Дайте мне слово, как мужчина мужчине (имейте в виду, я тоже отставной солдат!), – дайте слово, что между нами все обойдется честь по чести, а я по мере сил постараюсь уладить дело по-хорошему.

– Даю слово, – ответил мистер Джордж. – Но это с вашей стороны некрасиво, мистер Баккет.

– Чепуха, Джордж! Некрасиво? – возразил мистер Баккет, снова похлопывая его по широкой груди и пожимая ему руку. – А я разве сказал, что некрасиво укрывать у себя человека, которого я ищу, сказал я так, а? Так будьте и вы справедливы ко мне, старый приятель! Эх вы, старый Вильгельм Телль, старый лейб-гвардеец Шоу! Да что говорить, леди и джентльмены, ведь он – цвет всей британской армии. Мне бы такую молодецкую фигуру – полсотни фунтов не пожалел бы!

Итак, все открылось, и мистер Джордж после небольшого раздумья попросил разрешения сперва пройти с мисс Флайт к своему товарищу (так он называл Гридли).

Мистер Баккет разрешил, и мистер Джордж с мисс Флайт ушли в дальний угол галереи, оставив нас у стола, на котором лежали ружья. Тогда мистер Баккет, пользуясь случаем завязать легкий светский разговор, спросил меня, не боюсь ли я, как почти все молодые леди, огнестрельного оружия; спросил Ричарда, хорошо ли он стреляет; спросил Фила Сквода, какое из этих ружей тот считает самым лучшим и сколько оно могло стоить из первых рук, а выслушав ответ, выразил сожаление, что Фил Сквод дал волю своей вспыльчивости, ведь на самом-то деле Фил такой кроткий, что ему бы девушкой быть, – словом, мистер Баккет любезничал напропалую.

Через некоторое время он вместе с нами прошел в дальний конец галереи, и мы с Ричардом хотели было уже потихоньку уйти, как вдруг к нам подошел мистер Джордж. Он сказал, что, если мы не прочь повидаться с его товарищем, тот будет очень рад нас видеть. Но не успел он произнести эти слова, как зазвонил звонок и пришел опекун, – «на тот случай, – заметил он небрежным тоном, – если понадобится оказать хоть маленькую услугу бедняге, который страдает по тем же причинам, что и я». Итак, мы все четверо вернулись и пошли к Гридли.

Он лежал в почти пустой каморке, отделенной от галереи некрашеной дощатой перегородкой. Перегородка была низенькая – футов в восемь или десять, а потолка в каморке не было, так что мы видели у себя над головой стропила высокой крыши и то окно в кровле, через которое мистер Бак-

кет смотрел вниз. Солнце стояло низко, почти у горизонта, и озаряло своим алым светом лишь верхнюю часть стены, так что в каморке было полутемно. На простом, обитом парусиной диване лежал «человек из Шропшира», одетый почти так же, как в тот раз, когда мы впервые с ним встретились, но изменившийся так резко, что я сперва не узнала его – это мертвенно-бледное лицо не походило на то, которое сохранилось у меня в памяти.

Скрываясь в этом убежище, он все еще целыми днями что-то писал, вновь переживая свои обиды. Об этом свидетельствовали стол и несколько полок в каморке, заваленные рукописями и тупыми гусиными перьями. Трогательно привязанные друг к другу своими горестями, Гридли и помешанная старушка были теперь вместе, и казалось, что они одни. Она сидела на стуле, сжимая руку шропширца, а мы стали поодаль.

Как ослабел его голос, куда девалось его прежнее выражение лица, дышащее силой, гневом, стремлением бороться с несправедливостью, которая наконец сломила его! Призрачная тень некогда полного жизни, сильного мужчины – вот чем он был теперь по сравнению с «человеком из Шропшира», который когда-то беседовал с нами.

Он кивнул мне и Ричарду и обратился к опекуну:

– Мистер Джарндис, вы очень добры, что пришли повидаться со мной. Пожалуй, больше и не увидимся. Очень рад пожать вам руку, сэр. Вы хороший человек, вам противна

несправедливость, и, видит бог, я вас искренне уважаю!

Они сердечно пожали друг другу руки, и опекун сказал ему несколько ободряющих слов.

– Может, вам покажется странным, сэр, что я не захотел бы видеть вас сегодня, будь это наша первая встреча, – проговорил Гридли. – Но вы знаете, как я боролся; вы знаете, как я один шел против всех; вы знаете, что я швырнул им в лицо настоящую правду – сказал им, кто они такие и что они со мной сделали; вот почему мне не стыдно, что вы видите, в какую развалину я превратился.

– Вы мужественно боролись с ними много-много лет, – отозвался опекун.

– Да, сэр, это правда, – сказал Гридли со слабой улыбкой. – Я говорил вам о том, что произойдет, когда я потеряю мужество, и вот теперь – сами видите! Взгляните на нас… взгляните на нас!.. – Он высвободил руку, которую держала мисс Флайт, взял старушку под руку и привлек ее немного ближе к себе. – Это конец. От всех моих прежних привязанностей, от всех моих прежних стремлений и надежд, от всего живого и мертвого мира осталась у меня только вот эта несчастная, и только она одна близка мне, а я ей. Связали нас долгие годы общих страданий, и только эту мою связь с людьми еще не оборвал Канцлерский суд.

– Примите мое благословение, Гридли, – промолвила мисс Флайт, заливаясь слезами. – Примите мое благословение!

– Мистер Джарндис, я самонадеянно думал, что им меня не сломить, – сказал Гридли. – Я решил, что я им не поддамся. Я верил, что могу разоблачить и разоблачу их суд, что я докажу, какое это посмешище, раньше, чем умру от какой-нибудь болезни. Но силы мои истаяли. Как долго они таяли, не знаю; мне кажется, что я сломился сразу. Надеюсь, они никогда об этом не услышат. Надеюсь, все вы заставите их понять, что, даже умирая, я все еще вызывал их на бой так же решительно и упорно, как и во все эти долгие годы.

Тут мистер Баккет, сидевший в уголку у двери, добродушно принялся утешать страдальца как мог.

– Будет, будет! – проговорил он, не вставая с места. – Не надо так говорить, мистер Гридли. Просто-напросто вы немножко упали духом. Все мы иной раз немножко падаем духом. Даже *я*. Держитесь, держитесь! Не раз еще вам доведется выходить из себя и ругательски ругать всю эту компанию, а я тоже еще раз двадцать успею вас арестовать, если мне повезет.

Гридли только покачал головой.

– Не качайте головой, – сказал мистер Баккет. – Кивайте утвердительно, вот что вы должны делать. Эх, как вспомнишь, чего только мы с вами не вытворяли! Или я не знаю, что вы то и дело попадали во Флитскую тюрьму за оскорбление суда? Или я двадцать раз не приходил в суд только затем, чтобы поглядеть, как вы, не хуже бульдога, вцепитесь в канцлера? Или вы не помните тех лет, когда вы лишь начали

угрожать судейским и вас выводили из зала суда по два-три раза в неделю? Спросите-ка эту старушку, – она все видела. Держитесь, мистер Гридли, держитесь, сэр!

– Как вы хотите поступить с ним? – спросил его Джордж вполголоса.

– Не знаю еще, – ответил Баккет так же тихо. Потом он снова заговорил громко, ободряющим тоном: – Так, значит, вы сломились, мистер Гридли? И это вы говорите после того, как увертывались от меня столько недель, так что мне, как коту, пришлось лазить по крышам и явиться к вам под видом лекаря? Ну нет, не похоже, что вы сломились! Кто-кто, а я этого не думаю! А теперь я скажу, чего вам не хватает. Вам, знаете ли, не хватает волнений, – они бы вас поддержали, – вот чего не хватает *вам*! Вы привыкли к ним и не можете без них обойтись. Да я бы и сам не мог. Прекрасно, так вот вам ордер на арест, – он выдан по жалобе мистера Талкинг-хорна, проживающего на Линкольновых полях, и разослан в несколько графств. Как думаете, – не пойти ли вам со мной, согласно этому ордеру, да не поругаться ли всласть с судьями? Это вам на пользу пойдет; слегка освежитесь и поупражняетесь, перед тем как снова налететь на канцлера. Сдаваться? Мне даже странно слышать это от такого энергичного человека, как вы. Вам нельзя сдаваться. В Канцлерском суде вы – душа общества. Джордж, помогите-ка мистеру Гридли подняться, и посмотрим, может, ему лучше встать, чем валяться в постели.

– Он очень ослабел, – сказал кавалерист вполголоса.

– Разве? – встревоженно отозвался Баккет. – Я ведь только хотел его ободрить. Неприятно видеть, когда сдает старый знакомый. Надо бы ему хорошенько разозлиться на меня – это его оживит лучше некуда. Пусть себе тузит меня справа и слева сколько угодно. Кто-кто, а уж я этим никогда не воспользуюсь, жалобы не подам.

Вся кровля зазвенела от вопля мисс Флайт, и вопль этот до сих пор звенит в моих ушах.

– Не надо, Гридли! – вскрикнула она, когда он тяжело и медленно повалился навзничь, отдалившись от нее. – Как же без моего благословения? После стольких лет!

Солнце зашло, свет постепенно соскользнул с крыши, а тени поползли вверх. Но для меня тень этих двух людей – мертвого и живой – нависла над отъездом Ричарда, и была она гуще, чем тьма самой темной ночи. И за прощальными словами юноши мне слышалось: «От всех моих прежних привязанностей, от всех моих прежних стремлений и надежд, от всего живого и мертвого мира осталась у меня только вот эта несчастная, и только она одна близка мне, а я ей. Связали нас долгие годы общих страданий, и только эту мою связь с людьми еще не оборвал Канцлерский суд».

Глава XXV
Миссис Снегсби все насквозь видит

В переулке Кукс-Корт, что выходит на Карситор-стрит, неспокойно. Черное подозрение гнездится в этом мирном уголке. Впрочем, почти все кукскортовцы сохраняют свое обычное состояние духа – им не лучше и не хуже, но вот мистер Снегсби, тот изменился, и его «крошечка» это знает.

А все из-за того, что «Одинокий Том» и Линкольновы поля, как пара неукротимых скакунов, впрягаются в колесницу воображения мистера Снегсби, причем правит ею мистер Баккет, а сидят в ней Джо и мистер Талкингхорн, и все они вместе день-деньской кружатся с бешеной скоростью по писчебумажной лавке. Даже в кухоньке, где обедает и ужинает все семейство, колесница эта громыхает и мчится во весь опор, отъехав от обеденного стола как раз в ту минуту, когда мистер Снегсби, отрезавший первый кусок от бараньей ноги, зажаренной с картофелем, ни с того ни с сего вдруг застывает, устремляя пристальный взор на кухонную стену.

Мистер Снегсби никак не может взять в толк, во что он оказался замешанным. Что-то и где-то неладно, но что именно и что из этого может получиться – для кого именно, когда именно, с какой нежданной-негаданной стороны, – вот

над чем он все время ломает себе голову. Ему смутно мерещатся мантии и короны пэров, орденские звезды и подвязки, сверкающие сквозь слой пыли в конторе мистера Талкингхорна; он благоговеет перед тайнами, подведомственными этому лучшему и самому замкнутому из его клиентов, к которому все Судебные Инны, вся Канцлерская улица и весь прилегающий к ним юридический мир относятся с почтительным страхом; он вспоминает о сыщике, мистере Баккете, его указательном пальце и его фамильярности, которой нельзя ни избежать, ни отклонить, и все это убеждает мистера Снегсби в том, что он причастен к какой-то опасной тайне, не зная, к какой именно. И это чревато грозными последствиями, – ведь в любой час любого дня его жизни, всякий раз, как открывается дверь лавки, всякий раз, как звонит звонок, всякий раз, как входит посыльный, всякий раз, как приносят письмо, тайна может открыться, вспыхнуть, взорваться и разорвать на куски… один мистер Баккет знает – кого.

Поэтому стоит какому-нибудь незнакомому человеку войти в лавку (а таких незнакомцев приходит много) и произнести «Мистер Снегсби дома?» – или другие столь же безобидные слова, как сердце мистера Снегсби начинает громко стучать в его преступной груди. Подобные вопросы задевают его за живое, и если их задают мальчишки, он мстит за себя тем, что, перегнувшись через прилавок, дерет их за уши, спрашивая этих щенков, на что, собственно, они намекают

и почему сразу же не выкладывают все начисто? Другие, более неподатливые мужчины и мальчишки упорно преследуют мистера Снегсби в сновидениях и приводят его в ужас неразрешимыми вопросами; так что, когда петух в маленькой молочной на Карситор-стрит поднимает свой нелепый крик по поводу наступления утра, мистер Снегсби мечется во сне, терзаемый кошмарами, а «крошечка» расталкивает его, бормоча: «Да что же с ним такое творится?»

Сама «крошечка» отнюдь не последняя спица в колеснице его неприятностей. Он ни на миг не может забыть, что скрывает от нее некую тайну и обязан во что бы то ни стало молчать про этот свой больной зуб мудрости, который супруга того и гляди выдернет у него с зубодерской ловкостью, а потому он в ее присутствии весьма напоминает собаку, которая напроказила тайком от хозяина и, глядя по сторонам, упорно отводит от него глаза, чтобы не встретить его испытующего взора.

Не зря подмечает «крошечка» все эти разнообразные признаки и приметы. Они внушают ей догадку: «У Снегсби что-то на уме!» И вот в Кукс-Корт, что выходит на Карситор-стрит, вторгается подозрение. Путь от подозрения к ревности столь же прост и краток для миссис Снегсби, как путь от Кукс-Корта до Канцлерской улицы. И вот в Кукс-Корт, что выходит на Карситор-стрит, вторгается ревность. А попав сюда, ревность (которая, кстати сказать, давно уж блуждала где-то поблизости) становится весьма деятельной и рас-

торопной и, поселившись в груди миссис Снегсби, побуждает эту особу обшаривать по ночам карманы мистера Снегсби, тайно прочитывать его письма, самолично проверять торговый дневник и бухгалтерскую книгу, обыскивать кассу, денежную шкатулку и несгораемый шкаф, подсматривать в окна, подслушивать за дверьми, а затем связывать одно наблюдение с другим, только не тем концом, каким следует.

Миссис Снегсби все время настороже, так что в комнатах то и дело слышится скрип половиц и шуршание тканей – точь-в-точь как в «доме с привидениями». Подмастерья уже подумывают – а не укокошили ли здесь кого-нибудь в старину? Гуся же, вспоминая отрывки одного предания (слышанного ею в Тутинге, где оно рассказывалось в компании детей-сирот), полагает, что в погребе зарыты деньги и их сторожит белобородый старец, который вот уже семь тысяч лет не может выйти на свет божий потому, что однажды прочитал «Отче наш» не с начала до конца, а наоборот.

«Кто был Нимрод?» – непрестанно спрашивает себя миссис Снегсби. «Кто была эта леди… эта тварь? И кто такой этот мальчишка?» Но «Нимрод» умер, как и тот могучий охотник, чьим именем прозвала миссис Снегсби покойного переписчика, а леди недосягаема; поэтому миссис Снегсби пока что с удвоенной бдительностью устремляет свой умственный взор на мальчишку. «Так кто же, – в тысячу первый раз твердит миссис Снегсби, – кто же такой этот мальчишка? Кто такой…» И вдруг вдохновение осеняет миссис

Снегсби.

Мальчишка ничуть не уважает мистера Чедбенда. Нет, конечно, да и не станет уважать. Понятно, не станет, если ему подают дурной пример. Мистер Чедбенд позвал его к себе, назначил ему день, когда прийти, – миссис Снегсби сама это слышала, своими ушами! – и велел снова явиться сюда и узнать, куда ему надо направиться, чтобы выслушать поучение; а мальчишка не пришел! Почему он не пришел? Потому что кто-то запретил ему приходить. А кто запретил ему приходить? Кто? Ха-ха! Миссис Снегсби все насквозь видит.

Но, к счастью (тут миссис Снегсби загадочно улыбается и загадочно качает головой), мистер Чедбенд встретил вчера этого мальчишку на улице, и так как мальчишка – подходящий экземпляр для мистера Чедбенда, который желает преподать ему наставление ради духовной услады своей избранной паствы, – то мистер Чедбенд схватил его и пригрозил выдать полиции, если тот не скажет его преподобию, где он проживает, и не обещает или не выполнит обещания явиться в Кукс-Корт завтра вечером… «за-а-втра ве-че-ром», повторяет миссис Снегсби для пущей выразительности и опять загадочно улыбается и загадочно качает головой; и завтра вечером мальчишка будет здесь, и завтра вечером миссис Снегсби будет зорко следить за ним и еще кое за кем, и – боже ты мой! – можешь секретничать сколько угодно (говорит миссис Снегсби надменно и презрительно), но тебе не удастся отвести глаза *мне*!

Миссис Снегсби никому ничего не выбалтывает, но преследует свою цель втихомолку и хранит молчание. И вот приходит «завтрашний день», приходят вкусные яства – сырье для производства «ворвани», и вечер приходит тоже. Приходит мистер Снегсби в черном сюртуке; приходят Чедбенды; приходят (когда прожорливое судно уже нагружено до отказа) подмастерья и Гуся, чтобы выслушать поучение; приходит наконец вихрастый мальчишка и дергается назад, дергается вперед, дергается вправо, дергается влево, сжимает грязной рукой рваную меховую шапку и теребит ее, словно какую-то паршивую птицу, которую он поймал и ощипывает, прежде чем съесть в сыром виде, – короче говоря, приходит Джо, очень, очень тупой малый, которому мистер Чедбенд намерен преподать наставление.

Гуся приводит Джо в маленькую гостиную, и миссис Снегсби сверлит его бдительным взором. Не успел он войти, как взглянул на мистера Снегсби. Ага! Почему он взглянул на мистера Снегсби? Мистер Снегсби смотрит на Джо. Казалось бы, зачем ему смотреть на Джо; но миссис Снегсби все насквозь видит. А если она не права, так с какой стати им переглядываться? С какой стати мистеру Снегсби смущаться и кашлять в руку предостерегающим кашлем? Ясно как день, что мистер Снегсби отец этого мальчишки.

– Мир вам, друзья мои, – изрекает Чедбенд, поднимаясь и отирая жировые выделения со своего преподобного лика. – Да снизойдет на нас мир! Друзья мои, почему на нас? А по-

тому, – и он расплывается в елейной улыбке, – что мир не может быть против нас, ибо он за нас; ибо он не ожесточает, но умягчает; ибо он не налетает подобно ястребу, но слетает на нас подобно голубю. А посему мир нам, друзья мои! Юный отпрыск рода человеческого, подойди!

Протянув вперед свою пухлую лапу, мистер Чедбенд кладет ее на плечо Джо, раздумывая, куда бы ему поставить мальчика. Джо, относясь весьма подозрительно к намерениям своего преподобного друга и отнюдь не уверенный, что с ним не сыграют какой-нибудь злой шутки, бормочет:

– Пустите, не трогайте меня. Я вам слова худого не сказал. Пустите.

– Нет, юный друг мой, – вкрадчиво произносит Чедбенд, – я тебя не отпущу. А почему? Потому что я жнец, потому что я труженик и мученик, потому что ты ниспослан мне и сделался драгоценным орудием в руках моих. Друзья мои, дозволено ли мне будет употребить сие орудие ради вашего блага, ради вашей пользы, ради вашей выгоды, ради вашего благополучия, ради вашего обогащения? Юный друг мой, сядь на эту скамеечку.

Джо, видимо опасаясь, как бы его преподобие не вздумал остричь ему волосы, защищает голову обеими руками, но его заставляют сесть на скамейку, хоть и с большим трудом, так как он сопротивляется изо всех сил.

Когда его наконец водворили, как манекен, на скамейку, мистер Чедбенд, отступив за стол, поднимает свою медве-

жью лапу и произносит:

– Друзья мои!

Это – сигнал для слушателей, призывающий их сосредоточиться. Подмастерья, хихикая, подталкивают друг друга локтем. Гуся невидящим взором уставилась в пространство, и ее ошеломленное восхищение мистером Чедбендом смешивается с жалостью к одинокому отщепенцу, горькая доля которого глубоко ее трогает. Миссис Снегсби втихомолку начиняет порохом свои орудия. Миссис Чедбенд мрачно усаживается поближе к огню и греет колени, находя, что в тепле лучше ценишь красноречие.

Надо сказать, что мистер Чедбенд усвоил ораторскую привычку церковных проповедников устремлять пристальный взор на кого-либо из членов паствы и излагать свои доводы, обращаясь именно к этому лицу, в надежде, что оно будет время от времени откликаться на проповедь, издавая стон, вздох, возглас или другой доступный слуху знак глубокого душевного волнения, каковой знак, повторенный какой-нибудь пожилой особой на соседней скамье и затем, как при игре в фанты, всем кругом наиболее впечатлительных из присутствующих грешников, вызовет, как в парламенте, ряд одобрительных восклицаний и даст возможность самому мистеру Чедбенду развести пары. И мистер Чедбенд, произнося обращение: «Друзья мои!», просто по привычке случайно остановил свой взор на мистере Снегсби, превратив злосчастного владельца писчебумажной лавки, и так уже доста-

точно смущенного, в главного слушателя своих назиданий.

– Среди нас, друзья мои, – начинает Чедбенд, – находится идолопоклонник и язычник, обитатель шатров «Одинокого Тома», безостановочно блуждающий по поверхности земли. Среди нас, друзья мои, – тут мистер Чедбенд, дабы подчеркнуть свою мысль, вращает большой палец с грязным ногтем, удостоив мистера Снегсби елейной улыбкой, означающей, что проповедник вскоре повергнет ниц слушателя своими доводами, если только тот еще не повергнут, – среди нас, друзья мои, находится наш младший собрат. Он лишен родителей, лишен родственников, лишен стад и табунов, лишен золота, и серебра, и драгоценных камней. Итак, друзья мои, почему я говорю, что он лишен этих благ? Почему? Почему он лишен?

Мистер Чедбенд спрашивает все это таким тоном, словно задает мистеру Снегсби совершенно новую загадку, весьма остроумную и замысловатую, убеждая его не отказываться от попытки ее разгадать.

Мистер Снегсби, который уже не на шутку озадачен таинственным взглядом своей «крошечки», брошенным ею на супруга примерно в тот момент, когда мистер Чедбенд произнес слово «родители», поддается искушению и скромно отвечает: «Право, не знаю, сэр». Но этими словами он прервал проповедь, и в наказание миссис Чедбенд бросает на него свирепый взгляд, а миссис Снегсби восклицает: «Постыдись!»

– Я слышу некий голос, – продолжает мистер Чедбенд. – Голос ли это совести, друзья мои? Боюсь, что нет, хотя желал бы надеяться, чтоб он был таковым…

(– А-ах! – вздыхает миссис Снегсби.)

– …Голос, который говорит: «Не знаю». Тогда я сам вам скажу – почему. Я говорю, что собрат, присутствующий среди нас, лишен родителей, лишен родственников, лишен стад и табунов, лишен золота, и серебра, и драгоценных камней, потому что он лишен света, который озаряет некоторых из нас. Что есть этот свет? Что он такое? Я спрашиваю вас, что это за свет?

Откинув назад голову, мистер Чедбенд делает паузу, но мистера Снегсби уже не завлечь на путь гибели. Опираясь на стол, мистер Чедбенд наклоняется вперед и ногтем упомянутого большого пальца как бы вонзает в мистера Снегсби следующие слова:

– Это, – вещает Чедбенд, – луч лучей, солнце солнц, месяц месяцев, звезда звезд. Это – свет Ии-си-тины.

Мистер Чедбенд выпрямляется опять и торжествующе смотрит на мистера Снегсби, словно желая знать, как чувствует себя его слушатель после этих слов.

– Ии-си-тина! – повторяет мистер Чедбенд, снова пронзая мистера Снегсби. – Не утверждайте, что это не есть светильник светильников. Говорю вам, это так. Говорю вам миллион раз, это так. Так! Говорю вам, что буду провозвещать это вам, хотите вы или не хотите… нет, чем меньше вы этого

хотите, тем громче я буду провозвещать вам это. Я буду трубить в трубы! Говорю вам, что, если вы восстанете против этого, вы падете, вы будете сломлены, вы будете раздавлены, вы будете раздроблены, вы будете разбиты вдребезги.

Этот поток красноречия, сила которого вызывает глубокое восхищение у последователей мистера Чедбенда, не только приводит к тому, что мистер Чедбенд неприятно обливается потом, но и выставляет ни в чем не повинного мистера Снегсби заядлым врагом добродетели с медным лбом и каменным сердцем, отчего несчастный торговец теряется еще больше и, придя в самое угнетенное состояние духа, чувствует, что попал в какое-то фальшивое положение; но тут мистер Чедбенд приканчивает его смертельным ударом.

– Друзья мои! – начинает он снова после того, как некоторое время отирал платком потную голову, от которой валит столь горячий пар, что платок, должно быть, нагревается и тоже извергает клубы пара после каждого прикосновения к голове. – Преследуя цель, которой мы стремимся достигнуть при помощи слабых наших дарований, попытаемся же в духе любви определить, что есть Ии-си-тина, о коей я говорю. Ибо, юные друзья мои, – неожиданно обращается он к подмастерьям и Гусе, приводя их в оцепенелое замешательство, – если лекарь пропишет мне каломель или касторовое масло, я, натурально, имею право спросить: что есть каломель и что есть касторовое масло? Я имею право узнать это, прежде чем приму одно из этих лекарств или оба сразу.

Итак, юные друзья мои, что же в таком случае есть Ии-си-тина? Во-первых (в духе любви), юные друзья мои, что есть обычная Ии-си-тина, – обычная, подобно рабочей одежде, подобно будничному платью? Есть ли это ложь?

(А-ах! – вздыхает миссис Снегсби.)

– Есть ли это умолчание?

(Миссис Снегсби трепещет в знак отрицания.)

– Есть ли это мысленная оговорка?

(Миссис Снегсби качает головой очень медленно и с чрезвычайно загадочным видом.)

– Нет, друзья мои, ни то, ни другое, ни третье не есть Ии-си-тина! Ни одно из этих наименований для нее не подходит. Когда сей юный язычник, присутствующий ныне среди нас, – правда, сейчас он, друзья мои, заснул, так как печать равнодушия и смертных грехов легла на его веки, но не будите его, ибо надлежит мне бороться, сражаться, биться и победить ради него, – итак, когда сей юный закоренелый язычник рассказывал нам всякий вздор и чушь о том о сем, о леди, о соверене, было ли *это* Ии-си-тиной? Нет. И если это было ею отчасти, было ли это Ии-си-тиной целиком и вполне? Нет, друзья мои, отнюдь нет!

Если бы мистер Снегсби выдержал взгляд своей «крошечки», который проникает в его глаза – окна его души – и обыскивает всю его внутреннюю обитель, он был бы не таким человеком, каким родился. Но он не выдержал – он съежился и поник.

– Или, юные друзья мои, – продолжает Чедбенд, снисходя до уровня их понимания и весьма назойливо подчеркивая елейно-кроткой улыбкой, как долго ему пришлось опускаться с высот для этой цели, – если хозяин этого дома пойдет по городу и там увидит угря и вернется и войдет к хозяйке этого дома и скажет ей: «Сара, возрадуйся со мною, ибо я видел слона!», будет ли *это* Ии-си-тиной?

На глазах у миссис Снегсби показываются слезы.

– Или, юные друзья мои, предположим, что он видел слона, а вернувшись, сказал: «Слушайте, город опустел, я видел только угря!», будет ли *это* Ии-си-тиной?

Миссис Снегсби громко всхлипывает.

– Или же, юные друзья мои, – продолжает Чедбенд, подстрекаемый этими звуками, – предположим, что бесчеловечные родители сего уснувшего язычника – ибо родители у него были, юные друзья мои, сие не внушает сомнения, – предположим, что родители, покинув его на съедение волкам и стервятникам, бешеным псам, юным газелям и змеям, вернулись в свои обиталища и принялись за свои трубки и кубки, за свои флейты и пляски, за свои хмельные напитки, и говядину, и домашнюю птицу, будет ли *это* Ии-си-тиной?

На этот вопрос миссис Снегсби отвечает тем, что становится жертвой судорог, – жертвой не смиренной, но рыдающей и вопящей, да так пронзительно, что весь Кукс-Корт звенит от ее воплей. В конце концов она падает в обморок, и ее приходится тащить наверх по узкой лесенке тем же спо-

собом, каким переносят рояли. Страдания ее неописуемы и производят ошеломляющее впечатление на всех присутствующих; но вот курьеры, прибывшие из спальни, докладывают, что муки страдалицы прекратились, – она только совсем обессилела, – и мистер Снегсби, затисканный и помятый во время переноски «рояля», донельзя оробевший и ослабевший, отваживается выглянуть из-за двери и войти в гостиную.

Все это время Джо сидел на том месте, где проснулся, непрестанно теребя свою шапку и засовывая клочки меха в рот. Он выплевывает их с покаянным видом, чувствуя себя от природы неисправимым, закоренелым грешником, которому, значит, незачем и стараться не спать, потому что онто уж все равно никогда ничего знать не будет.

Но, может быть, Джо, есть на свете книга интересная и трогательная даже для существ, столь близких к животным, как ты, – книга, повествующая о делах, совершенных на этой земле ради простых людей, – и если бы Чедбенды, перестав заслонять собой ее свет, только указали тебе на нее в простодушном благоговении, не стремясь ее приукрасить – ибо она достаточно красноречива и без их жалкой помощи, – ты, возможно, и не заснул бы, ты даже нашел бы в ней, чему поучиться!

Джо никогда не слыхал о такой книге. Что ее творцы, что его преподобие Чедбенд – это для Джо «все едино»; но его преподобие Чедбенда Джо знает хорошо и скорей согласил-

ся бы бежать от него в течение целого часа, чем пять минут кряду слушать его суесловие.

«Незачем мне тут больше околачиваться, – думает Джо. – Нынче вечером мистеру Снегсби не до меня».

И Джо, волоча ноги, спускается к выходу.

Но внизу стоит добросердечная Гуся, уцепившись руками за перила кухонной лестницы и едва удерживаясь от грозящего ей припадка, – так ее расстроили вопли миссис Снегсби. Свой ужин, состоящий из хлеба и сыра, она отдает Джо, с которым впервые осмеливается перекинуться несколькими словами.

– На вот тебе, покушай, бедный мальчуган, – говорит Гуся.

– Премного благодарен, сударыня, – отзывается Джо.

– Небось есть хочется?

– Еще бы! – отвечает Джо.

– А куда девались твои отец с матерью, а?

Джо перестает жевать и стоит столбом. Ведь Гуся, эта сиротка, питомица христианского святого, чей храм находится в Тутинге, погладила Джо по плечу, – первый раз в жизни он почувствовал, что до него дотронулась рука порядочного человека.

– Не знаю я про них ничего, – говорит Джо.

– Я тоже не знаю про своих! – восклицает Гуся.

Она подавляет в себе симптомы близкого припадка, но вдруг пугается чего-то и, сбежав с лестницы, исчезает.

– Джо! – тихо шепчет мистер Снегсби мальчику, остановившемуся на ступеньке.

– Да, мистер Снегсби.

– Я не заметил, как ты ушел… вот тебе еще полкроны, Джо. Очень хорошо, что ты ничего не сказал о той леди, которую мы с тобой видели на днях. Вышло бы худо. Ни в коем случае не проболтайся, Джо.

– Ну, я пошел, хозяин.

Итак, спокойной ночи.

Призрачная тень в белье с оборками и ночном чепце следует за владельцем писчебумажной лавки, проникает в комнату, из которой он вышел, и скользит наверх. И отныне, куда бы он ни направился, его провожает не только его тень, но и чья-то другая, и эта другая тень следует за ним почти так же неотступно, почти так же бесшумно, как его собственная. И в какую бы тайну ни проникла его собственная тень, все, замешанные в эту тайну, берегитесь! Знайте, что бдительная миссис Снегсби тут как тут – кость от его кости, плоть от его плоти, тень от его тени.

Глава XXVI
Меткие стрелки

Зимнее утро обратило свой бледный лик к окружающим Лестер-сквер кварталам и мутными очами видит, что местным жителям не хочется вылезать из постелей. Впрочем, тут очень многие никогда не встают спозаранку даже в самую ясную погоду, ибо это не ранние пташки, а ночные птицы, и когда солнце стоит высоко, они спят на насесте, а когда сияют звезды, смотрят в оба и подстерегают добычу. За выцветшими, грязными ставнями и занавесками, на верхних этажах и в мансардах, более или менее искусно скрываясь под фальшивыми именами, фальшивыми волосами, фальшивыми титулами, фальшивыми драгоценностями и фальшивыми биографиями, целая колония бандитов спит первым сном. Это «рыцари зеленого стола» – шулеры, – которые могут немало порассказать об иностранных галерах и отечественных ступальных колесах, зная их по личному опыту; это шпионы могущественных правительств, вечно дрожащие от жалкого страха и малодушия; это гнусные предатели, трусы, дуэлисты, бретеры, картежники, жулики, мошенники, лжесвидетели, и некоторые из них прячут под грязными космами клейма, и все они кровожадней Нерона и преступнее заключенных в Ньюгетской тюрьме. Но как ни порочен дьявол, ко-

гда он носит бумазейное платье или рабочую блузу (а дьявол может быть очень порочным и в этом наряде), и в какой бы другой личине он ни являлся, он особенно коварен, черств и несносен, когда вкалывает булавку в манишку, называет себя джентльменом, имеет визитные карточки и знаки отличия, поигрывает на бильярде и знает толк в векселях и заемных письмах. В этой личине он все еще обитает на улицах, ведущих к Лестер-сквер, и мистер Баккет разыщет его там, когда найдет нужным.

Но зимнему утру он не нужен, и его оно не будит. Зато оно разбудило мистера Джорджа и его закадычного друга в «Галерее-Тире». Они встают, скатывают и убирают свои тюфяки. Мистер Джордж, побрившись перед крошечным зеркальцем, марширует с обнаженной головой и обнаженной грудью к колодцу во дворике и вскоре возвращается, сияя после мытья желтым мылом, обливанья ледяной водой и растиранья. Пока он вытирается широким купальным полотенцем, фыркая, словно какой-то воинственный водолаз, только что вынырнувший из воды, – причем жесткие его волосы вьются на загорелых висках тем круче, чем сильней он их трет, так что их, пожалуй, невозможно расчесать иначе как железными граблями или конской скребницей, – пока он вытирается, фыркает, растирается и отдувается, поворачивая голову из стороны в сторону, чтобы посуше вытереть шею, и резко наклоняясь вперед, чтобы не замочить своих солдатских ног, Фил, стоя на коленях, разводит огонь в камине с таким ви-

дом, словно наблюдать всю эту процедуру для него все равно что вымыться самому, и словно излишек здоровья, которым пышет хозяин, передается ему, Филу, и достаточно восстанавливает его силы хотя бы на один день.

Вытершись досуха, мистер Джордж принимается скрести себе голову двумя жесткими щетками сразу, и – так беспощадно, что Фил, который подметает пол, задевая плечом за стены, сочувственно подмигивает. Но вот мистер Джордж наконец причесался, а что касается декоративной стадии его туалета, то она завершается быстро. Затем он, как и в любое другое утро, набивает трубку с длинным чубуком, зажигает ее и, покуривая, шагает взад и вперед по галерее, в то время как Фил готовит завтрак, собираясь подать горячие булочки и кофе, от которых распространяется сильный запах. Мистер Джордж курит в задумчивости и прохаживается замедленным шагом. Быть может, эта утренняя трубка посвящена памяти покойного Гридли.

– Так, значит, Фил, – говорит Джордж, владелец «Галереи-Тира», сделав несколько кругов в молчании, – сегодня ты видел во сне деревню?

Он говорит это, вспомнив, что Фил, вылезая из постели, удивленным тоном рассказал ему свой сон.

– Да, начальник.

– Ну, и какая ж она была?

– Право, не могу сказать, начальник, какая она была, – говорит Фил, подумав.

– Так почем ты знаешь, что это была деревня?

– Должно быть, потому, что там была трава. А на траве – лебеди, – отвечает Фил, опять подумав.

– А что же лебеди делали на траве?

– Щипали ее, надо полагать, – отвечает Фил.

Хозяин снова начинает шагать взад и вперед, а слуга снова принимается готовить завтрак. Его работа не должна бы затягиваться – ведь нужно только очень незатейливо накрыть стол для завтрака на двоих да поджарить ломоть свиной грудинки на огне, разведенном на ржавой решетке камина; но за каждой вещью Филу приходится идти окольным путем, чуть не вокруг всей галереи, причем он никогда не приносит двух вещей сразу, так что все это берет довольно много времени. Наконец завтрак готов, и когда Фил объявляет об этом, мистер Джордж, постучав трубкой по выступу в камине, чтобы выбить из нее пепел, ставит ее в уголок и садится завтракать. Он накладывает себе еду на тарелку, и лишь после этого Фил, который сидит за длинным узким столиком напротив хозяина, следует его примеру; но он ставит тарелку себе на колени, то ли из скромности, то ли чтобы не бросались в глаза его почерневшие руки, или просто потому, что привык есть таким манером.

– Да, деревня, – говорит мистер Джордж, орудуя ножом и вилкой. – А ты, Фил, ее, наверно, и не видывал?

– Болото видел как-то раз, – отвечает Фил, с удовольствием уплетая завтрак.

– Какое болото?

– Просто болото, командир, – объясняет Фил.

– Да где ж ты его видел?

– Не помню где, – говорит Фил, – только я его видел, начальник. Плоское такое. И все в тумане.

Фил называет хозяина попеременно то начальником, то командиром, выражая этим равную степень уважения и почтительности, и так называет только мистера Джорджа.

– А я родился в деревне, Фил.

– Да что вы, командир?

– Да. Там и вырос.

Фил, подняв свою единственную бровь, с почтительным интересом смотрит на хозяина и делает огромный глоток кофе.

– Я знаю, как всякая птица поет, – говорит мистер Джордж, – не много найдется в Англии таких трав или ягод, каких я не мог бы назвать, не много найдется деревьев, на какие я не сумел бы влезть. Когда-то я был настоящим деревенским мальчуганом. Моя матушка жила в деревне.

– Надо думать, она была прекрасной старушкой, начальник, – замечает Фил.

– Да! И не так уж она была стара… тридцать пять лет тому назад, – говорит мистер Джордж. – Но бьюсь об заклад, что и в девяносто лет она могла бы держаться почти так же прямо, как я сейчас, да и в плечах была бы почти такой же широкой.

– Она умерла девяноста лет, начальник? – спрашивает

Фил.

– Нет. Ну, ладно! Оставим ее в покое, благослови ее бог! – говорит кавалерист. – С чего это я разболтался о деревенских мальчишках, беглецах и бездельниках? Из-за тебя, конечно! Так, значит, ты деревни не видывал… кроме как во сне да болота наяву? Так, что ли?

Фил качает головой.

– А хотелось бы увидеть?

– Да нет, пожалуй, не очень, – отвечает Фил.

– С тебя хватит и города, а?

– Видите ли, командир, – объясняет Фил, – ведь я ничего другого не знаю, а насчет того, чтобы гнаться за чем-нибудь новеньким, пожалуй, уж из лет вышел.

– А сколько же тебе лет, Фил? – спрашивает кавалерист, помолчав и поднося ко рту блюдечко, от которого идет пар.

– Сколько-то с восьмеркою, – отвечает Фил. – Никак не восемьдесят, но и не восемнадцать. Где-то между.

Мистер Джордж неторопливо опустил блюдечко, не прикоснувшись к его содержимому, и начинает с улыбкой: «Что за черт, Фил…», но не доканчивает фразы, заметив, что Фил считает по своим грязным пальцам.

– Мне было ровно восемь, по исчислениям приходского совета, когда я убежал с медником, – говорит Фил. – Раз послали меня куда-то, и вижу я, сидит у какой-то лачуги медник – один у своего горна греется, – вот благодать-то! Ну, он и говорит мне: «Не хочешь ли, паренек, побродить со мной?»

Я говорю: «Да», ну вот мы с ним да с горном и зашагали к нему домой в Клеркенуэл. Это первого апреля было. Я тогда умел считать до десяти, и вот наступает опять первое апреля, я и говорю себе: «Ну, брат, теперь тебе восемь и один». А на следующее первое апреля опять говорю себе: «Ну, брат, теперь тебе восемь и два». Дальше – больше, сравнялось мне восемь и один десяток, потом – восемь и два десятка. Ну, а когда уж столько наросло, я и запутался; а все ж таки всегда знаю, что мне восемь и сколько-то еще.

– Так, – отзывается мистер Джордж, снова принимаясь за еду. – А куда же девался медник?

– Допился до больницы, начальник, а в больнице его, говорят, положили… в стеклянный ящик, – с таинственным видом отвечает Фил.

– Зато ты сразу же повысился в чине? Продолжал его дело, Фил?

– Да, командир, худо ли, хорошо ли, продолжал его дело. Не больно-то оно было выгодное, – бродил я все по таким местам, как Сэфрон-Хилл, Хэттон-гарден, Клеркенуэл, Смитфилд, а там одна голь перекатная живет, – посуда до тех пор на огне стоит, пока совсем не распаяется, – и чинить уж нечего. При жизни хозяина почти что все бродячие медники у нас останавливались – хозяин на них больше зарабатывал, чем на починке. Ну, а ко мне они заходить не стали. Ведь я не то, что он. Он им, бывало, хорошую песню споет. А я не умел. Он им, бывало, сыграет что-нибудь на каком хочешь

котелке – хоть на чугунном, хоть на оловянном. А я только и умел, что чинить да лудить эти самые котелки – не мастер я по части музыки. Да еще больно я некрасивый был – бабы ихние на меня и глядеть не хотели.

– Очень уж они были разборчивые. В толпе ты не хуже других, Фил, – говорит кавалерист с ласковой улыбкой.

– Нет, начальник, – возражает Фил, качая головой. – Куда уж мне! Правда, когда я ушел с медником, наружность у меня была ничего себе, хотя тоже похвалиться нечем; ну, а потом, как пришлось мне еще мальчишкой раздувать горн своим собственным ртом, да цвет лица себе портить, да волосы подпаливать, да дым глотать; как пришлось самого себя клеймами метить – ведь мне сроду не везло, то и дело, бывало, о раскаленную медь обжигался; как пришлось мне сражаться с медником, – это уж, когда я подрос, – а дрались мы чуть не всякий раз, как он, бывало, хватит лишнего, что с ним чуть не каждый день случалось, ну, я и подурнел – больно уж чудной, совсем чудной стала моя красота, и это еще в молодых летах. Ну, а потом, как протрубил я годков двенадцать в темной кузнице, где много было охотников сыграть со мной шутку, да как поджарился я во время несчастного случая на газовом заводе, да как вылетел из окна, когда набивал гильзы для фейерверка, так вот и сделался таким уродом, что можно за деньги показывать.

Тем не менее Фил безропотно покоряется горькой своей судьбе и, вполне довольный, просит разрешения налить себе

еще чашечку кофе. Попивая кофе, он продолжает:

– После этого самого взрыва, – когда я гильзы для фейерверка набивал, – мы с вами и познакомились, командир. Помните?

– Помню, Фил. Ты тогда брел куда-то на солнцепеке.

– Ковылял, начальник, вдоль стенки…

– Правильно, Фил, – плечом ее задевал…

– В ночном колпаке! – возбужденно восклицает Фил.

– В ночном колпаке…

– Плелся на костылях! – кричит Фил еще более возбужденно.

– На костылях. И вот…

– И вот вы остановились, – кричит Фил, ставя чашку с блюдцем на стол и торопливо убирая тарелку с колен, – и говорите мне: «Эй, товарищ! Ты, сдается мне, был на войне!» Я тогда не нашелся что ответить, командир; меня прямо ошарашило, – гляжу, сильный такой человек, здоровый, смелый, и вдруг остановился, заговорил со мной: а что я тогда был – калека, кожа да кости. А вы со мной разговариваете, и слова у вас прямо от сердца идут, так что мне это словно стаканчик хмельного, и вы говорите: «Отчего это у тебя? Несчастный случай, что ли? Ты, как видно, был опасно ранен. Что у тебя болит, старина? Приободрись-ка да расскажи мне!» Приободрись! Да я уже приободрился. Ну, тут я вам что-то сказал, а вы тоже мне что-то сказали, а я вам еще, а вы мне еще; дальше – больше, и вот я здесь, командир. Я

здесь, командир! – кричит Фил, вскочив со стула, и, сам того не замечая, принимается ковылять вдоль стены. – И если нужна мишень или если от этого будет польза вашему заведению, – пускай клиенты целятся в меня. Моей красоты им все равно не испортить. Кто-кто, а я выдержу! Пускай! Если им нужен человек для бокса, пускай колотят меня. Пусть себе дубасят меня по башке, сколько душе угодно. Кому как, а мне хоть бы что. Если им нужен легковес для борьбы, хоть корнуэллской, хоть девонширской, хоть ланкаширской, хоть на какой хочешь манер, пусть себе швыряют меня на обе лопатки. Кому-кому, а *мне* это не повредит. Меня жизнь швыряла на всякие манеры!

Произнеся эту неожиданную речь с большой страстностью и сопроводив ее наглядными примерами из всех видов спорта, о которых в ней упоминалось, Фил Сквод ковыляет вдоль трех сторон галереи, задевая плечом за стену, потом вдруг отрывается от нее и, ринувшись на своего командира, бодает его головой, чтобы выразить свою преданность. Потом он убирает со стола остатки завтрака.

Мистер Джордж, весело рассмеявшись и похлопав его по плечу, помогает ему убрать посуду и привести в порядок заведение к предстоящему рабочему дню. Покончив с этим, он делает гимнастику с гирями, а затем, взвесившись на весах и заметив, что «слишком я раздобрел», с величайшей серьезностью начинает в одиночку упражняться в фехтовании. Между тем Фил принимается за работу у своего стола – что-

то привинчивает и отвинчивает, подчищает и подпиливает, продувает крошечные дырочки, покрывается еще более толстым слоем грязи и, кажется, проделывает все операции, какие только можно проделать с ружьем.

Но занятия хозяина и служителя неожиданно прерываются шумом шагов в коридоре, – необычным шумом, возвещающим о приходе необычных посетителей. Шаги эти, приближаясь к галерее, слышны все отчетливей, и вот появляются люди, которых на первый взгляд можно принять за участников потешного шествия, отмечающих пятого ноября годовщину Порохового заговора.

Два носильщика несут в кресле расслабленного, безобразного старика, а при нем состоит тощая девица, с похожей на маску физиономией, у которой «щека щеку ест», и если бы не ее крепко и вызывающе сжатые губы, могло бы показаться, что эта девица сейчас примется декламировать популярные вирши про те времена, когда заговорщики покушались взорвать Старую Англию. Но вот кресло опускают на пол, а старик в кресле охает:

– Ох, боже мой! Ох ты, господи! Меня всего растрясло! – И добавляет: – Как поживаете, любезный друг, как поживаете?

Тут мистер Джордж узнает в старике почтенного мистера Смоллуида, который выехал проветриться, захватив с собой свою внучку Джуди в качестве телохранительницы.

– Мистер Джордж, любезный друг мой, как поживаете? –

говорит дедушка Смоллуид, разжимая правую руку, которой он по дороге стиснул шею одного из носильщиков, да так, что чуть было его не задушил. – Вас не удивляет мой приезд, любезный друг мой?

– Вряд ли я удивился бы больше, появись здесь ваш «друг в Сити», – отвечает мистер Джордж.

– Я очень редко выезжаю из дому, – говорит мистер Смоллуид, тяжело дыша. – Вот уже много месяцев, как не выезжал. Хлопотливо это… да и дорого. Но мне так хотелось видеть вас, дорогой мистер Джордж. Как поживаете, сэр?

– Неплохо, – отвечает мистер Джордж. – Надеюсь, и вы тоже.

– Вы должны жить лучше, чем «неплохо», любезный друг, – говорит мистер Смоллуид, хватая его за обе руки. – Я привез свою внучку Джуди. Не мог от нее отвязаться. Ей прямо не терпелось повидаться с вами.

– Хм! Что-то непохоже! – бормочет мистер Джордж.

– И вот мы наняли карету и поставили в нее кресло, а тут у вас за углом меня вынули и перенесли сюда, чтобы я мог повидаться со своим любезным другом в его собственном заведении! Этот вот, – говорит дедушка Смоллуид, указывая на носильщика, который чуть было не погиб от удушения, а теперь уходит, отхаркиваясь, – этот привез нас сюда. Ему ничего лишнего не полагается. Плата за переноску входит в плату за проезд, – так мы договорились. А этого молодца, – он показывает на другого носильщика, – мы наняли на улице

за пинту пива. Она стоит два пенса. Джуди, уплати этому молодцу два пенса. Я не знал, наверное, что у вас есть свой служитель, любезный друг; а знал бы, ни за что бы не стал нанимать этого молодца.

Упомянув о Филе, дедушка Смоллуид бросает на него взгляд, исполненный ужаса, и глухо бормочет: «Ох ты, господи! О боже мой!» Впрочем, если судить поверхностно, опасения его имеют некоторые основания, ибо Фил, впервые в жизни увидев это пугало в черной бархатной ермолке, замер на месте с ружьем в руках, и вид у него такой, словно он – меткий стрелок, вознамерившийся подстрелить мистера Смоллуида, как безобразную старую птицу вороньей породы.

– Джуди, – говорит дедушка Смоллуид, – уплати, деточка, этому молодцу два пенса. Дорого берет за такой пустяк.

Упомянутый «молодец», один из тех диковинных экземпляров человеческой плесени, которые внезапно вырастают – в поношенных красных куртках – на западных улицах Лондона и охотно берутся подержать лошадей или сбегать за каретой, – упомянутый молодец без особого восторга получает свои два пенса, подбрасывает монеты в воздух, ловит их и удаляется.

– Дорогой мистер Джордж, – говорит дедушка Смоллуид, – будьте так любезны, помогите Джуди придвинуть меня к огоньку. Я привык сидеть у огонька, – человек я старый, все зябну да мерзну… Ох, боже мой!

Это восклицание неожиданно вырывается у почтенного джентльмена, потому что мистер Сквод, словно нечистый дух из сказки, хватает его вместе с креслом и придвигает вплотную к камину.

– Ох ты, господи! – задыхается мистер Смоллуид. – Ох, боже мой! Ох, злосчастная моя доля! Любезный друг мой, служитель у вас чересчур сильный… чересчур расторопный. Ох, боже мой, до чего расторопный! Джуди, отодвинь меня немножко. А то у меня ноги поджариваются, – в чем убеждаются и носы всех присутствующих, ощущающие запах паленых шерстяных чулок.

Немного отодвинув дедушку от огня, кроткая Джуди встряхивает его, как обычно, и приподнимает черную бархатную ермолку, как абажур, закрывшую ему один глаз, после чего мистер Смоллуид повторяет: «Ох, боже мой! Ох ты, господи!», озирается и, встретив взгляд мистера Джорджа, снова протягивает ему обе руки.

– Любезный друг! До чего я счастлив вас видеть! Значит, это и есть ваше заведение? Восхитительный уголок! Прямо картинка! А не случается у вас, чтобы какая-нибудь из этих штук сама собой выстрелила, а, любезный друг? – вопрошает дедушка Смоллуид, очень обеспокоенный.

– Нет, нет. Не бойтесь.

– А ваш служитель? Он… боже мой!.. не случается ему нечаянно стрельнуть, ведь нет, любезный друг мой?

– Он в жизни никого пальцем не тронул, только сам себя

искалечил, – с улыбкой отвечает мистер Джордж.

– Но все может случиться, знаете ли. Он, как видно, немало навредил самому себе, значит, может и другого поранить, – возражает старик. – Нечаянно… а может быть, и нарочно, почем знать? Мистер Джордж, прикажите ему, пожалуйста, бросить свое дьявольское огнестрельное оружие и отойти подальше.

Повинуясь кивку кавалериста, Фил с пустыми руками отходит в дальний конец галереи. Мистер Смоллуид, успокоенный, принимается растирать себе ноги.

– Значит, ваши дела идут хорошо, мистер Джордж? – обращается он к кавалеристу, который стоит прямо против него, расставив ноги и с палашом в руках. – Преуспеваете, благодарение богу?

Мистер Джордж холодно кивает и говорит:

– Продолжайте. Не затем вы сюда явились, чтобы сказать мне это; знаю я вас.

– Ну и шутник же вы, мистер Джордж, – отзывается почтенный дедушка. – С вами не соскучишься!

– Ха-ха! Продолжайте! – говорит мистер Джордж.

– Любезный друг!.. До чего эта ваша сабля острая; и блестит ужасно. Как бы случайно кого-нибудь не порезала. Меня прямо дрожь берет, мистер Джордж… Будь он проклят, – говорит достойный старец, обращаясь к Джуди, когда кавалерист отходит на два-три шага в сторону, чтобы положить палаш на место. – Ведь он мне деньги должен – чего доб-

рого, еще вздумает свести со мной счеты в этом разбойничьем вертепе. Вот бы притащить сюда твою зловредную бабушку, – он бы ей отбрил голову долой.

Мистер Джордж возвращается и, скрестив руки, смотрит сверху вниз на старика, сползающего все ниже и ниже в своем кресле, и наконец говорит:

– Ну, теперь начнем!

– Хо! – кричит мистер Смоллуид, потирая руки с хитрым кудахтающим смешком. – Да. Теперь начнем. Но что же мы теперь начнем, любезный друг?

– Курить трубку, – отвечает мистер Джордж и, невозмутимо придвинув свой стул к камину, берет с его решетки трубку, набивает ее, разжигает и спокойно начинает курить.

Это весьма смущает мистера Смоллуида, которому так трудно перейти к цели своего визита, какая б она ни была, что он приходит в бешенство и украдкой в бессильной злобе загребает когтями воздух, обуреваемый страстным желанием расцарапать и разодрать лицо мистеру Джорджу. А когти у достойного старца длинные и твердые, как свинец, руки тощие и жилистые, глаза зеленые и слезящиеся, и, хуже того, – загребая когтями воздух, он совсем съеживается в кресле и превращается в бесформенный узел тряпья, приобретая вид столь жуткий даже для привычных глаз Джуди, что эта юная дева налетает на дедушку и так его трясет в пылу не одной лишь родственной любви, но и кое-каких других чувств, так разминает, так тычет кулаком в различные части его тела и

особенно, выражаясь термином, принятым в науке самозашиты, «под ложечку», что в горестном расстройстве своем он невольно начинает издавать звуки, похожие на стук трамбовки.

Но вот Джуди наконец удается усадить его в кресле, и он сидит с побелевшим лицом и посиневшим носом (но не переставая загребать воздух когтями), а она, протянув руку, тычет сухоньким указательным пальцем мистера Джорджа в спину. Кавалерист поднимает голову, Джуди тычет пальцем в своего уважаемого дедушку и, побудив их таким образом возобновить разговор, впивается жестким взглядом в огонь.

– Да-да! Хо-хо! У-у-у-х! – бормочет дедушка Смоллуид, подавляя бешенство. – Любезный друг мой! – И он снова загребает воздух когтями.

– Вот что я вам скажу, – говорит мистер Джордж. – Если хотите со мной побеседовать, говорите начистоту. Я простой солдат – человек неотесанный и не умею ходить вокруг да около. Не научился этому искусству. Недостаточно умен для него. Мне оно ни к чему. А вы все только крутитесь да вертитесь вокруг меня, – продолжает кавалерист, поднося трубку ко рту, – и будь я проклят, но мне чудится, будто меня душат!

И он вбирает в свою широкую грудь как можно больше воздуха, словно хочет удостовериться, что еще не задушен.

– Если вы приехали по-дружески навестить меня, – продолжает мистер Джордж, – я вам очень признателен – добро

пожаловать! А если вы явились проверить, имеется ли у меня дома имущество, или нет, – проверяйте, не стесняйтесь. Желаете сказать мне что-нибудь – говорите!

Цветущая красавица Джуди, не спуская глаз с огня, понукает дедушку грубым тычком.

– Вот видите! Она со мной согласна! Но какого черта эта молодая особа не хочет присесть, как полагается, – говорит мистер Джордж, обратив недоуменный взгляд на Джуди, – понять не могу.

– Она от меня не отходит, чтобы прислуживать мне, сэр, – объясняет дедушка Смоллуид. – Я человек старый, дорогой мистер Джордж, мне уход нужен. Правда, я еще крепок для своих лет – не то что какая-нибудь зловредная попугаиха, – он рычит и по привычке ищет глазами подушку, – но за мной нужен присмотр, любезный друг.

– Ладно! – говорит кавалерист, повернув свой стул, чтобы лучше видеть лицо старика. – Что же дальше?

– Мой друг в Сити, мистер Джордж, дал небольшую сумму в долг одному из ваших учеников.

– Вот как? – отзывается мистер Джордж. – Очень жаль.

– Да, сэр. – Дедушка Смоллуид растирает себе ноги. – Это бравый молодой военный, мистер Джордж, его фамилия Карстон. Впоследствии явились его друзья и благородно заплатили за него сполна.

– В самом деле? – говорит мистер Джордж. – А как вы полагаете, ваш приятель в Сити захочет выслушать добрый

совет?

– Полагаю, что да, любезный мой друг. Если это вы желаете дать ему совет.

– Так вот, я советую ему не вести никаких дел с этим человеком. Тут ничего больше не высосешь. Насколько мне известно, молодой джентльмен промотался.

– Нет-нет, любезный друг! Нет-нет, мистер Джордж! Нет-нет, нет, сэр, – убеждает его дедушка Смоллуид, с хитрым видом растирая худые ноги. – Не совсем промотался, мне кажется. Он платежеспособен, раз у него есть добрые друзья, платежеспособен, поскольку получает жалованье, платежеспособен, поскольку может продать свой патент, платежеспособен, поскольку имеет шансы выиграть тяжбу, платежеспособен, поскольку имеет шансы выгодно жениться… нет, мистер Джордж, я, знаете ли, полагаю, что мой приятель в Сити все еще находит молодого джентльмена в известной мере платежеспособным, – заключает дедушка Смоллуид, сдвигая бархатную ермолку и по-обезьяньи почесывая ухо.

Отложив трубку в сторону, мистер Джордж кладет руку на спинку своего стула, а правой ногой барабанит по полу с таким видом, словно ему не очень нравится этот разговор.

– Но поговорим о другом, – продолжает мистер Смоллуид. – Так сказать, повысим в чине нашу беседу, как выразился бы какой-нибудь остряк. Перейдем, мистер Джордж, от прапорщика к капитану.

– Это еще что? – спрашивает мистер Джордж и, хмурясь,

перестает поглаживать то место, на котором у него некогда росли усы. – К какому капитану?

– Нашему капитану. Знакомому нам капитану. Капитану Хоудону.

– Ага! Вот оно что? – говорит мистер Джордж, присвистнув, и видит, что дедушка с внучкой впиваются в него глазами. – Вот вы к чему клоните! Ну и что же? Валяйте, я больше не хочу, чтобы меня душили. Выкладывайте!

– Любезный друг мой, – отзывается старик, – у меня наводили справки… Джуди, встряхни меня немножко… у меня вчера наводили справки о капитане, и я по-прежнему уверен, что капитан жив.

– Чепуха! – возражает мистер Джордж.

– Что вы изволили сказать, любезный друг? – спрашивает старик, приложив руку к уху.

– Чепуха!

– Хо! – восклицает дедушка Смоллуид. – Мистер Джордж, вы сами поняли бы, что я прав, знай вы, какие вопросы мне задали и по каким причинам. Так как же вы думаете, чего хочет юрист, который наводил эти справки?

– Заработать, – отвечает мистер Джордж.

– Вовсе нет!

– Значит, он не юрист, – утверждает мистер Джордж, скрестив руки с видом глубокой убежденности в своих словах.

– Любезный друг мой, он юрист, и весьма известный. Он хочет получить хоть несколько строк, написанных рукой ка-

питана Хоудона. Ему незачем оставлять их у себя. Ему нужно только посмотреть почерк и сравнить с рукописью, которая у него имеется.

– Ну и что же дальше?

– Видите ли, мистер Джордж, юрист случайно запомнил мое объявление, в котором говорилось, что мне желательно получить сведения о капитане Хоудоне, справился по этому объявлению и пришел ко мне… так же, как и вы, любезный друг мой. *Позвольте* пожать вам руку! Как я рад, что вы тогда пришли ко мне! Ведь не приди вы тогда, я бы не имел такого друга, как вы!

– Дальше, дальше, мистер Смоллуид! – понукает его мистер Джордж, не очень охотно совершив церемонию рукопожатия.

– Ничего такого у меня не нашлось. У меня остались только его подписи. Чтоб на него и мор, и чума, и глад, и бой, и смертоубийство, и гибель нечаянная обрушились! – верещит старик, превращая в проклятие одну из немногих запомнившихся ему молитв и яростно стиснув в руках бархатную ермолку. – У меня с полмиллиона его подписей наберется, не меньше! Но у вас, – он снова сбавляет тон, еле переводя дух, в то время как Джуди поправляет ермолку на его голом, словно кегельный шар, черепе, – у вас, дорогой мистер Джордж, наверное, осталось какое-нибудь письмо или документ, которые нам пригодились бы. Любая записка пригодится, если она написана его рукой.

– Написана его рукой, – задумчиво повторяет кавалерист. – Что ж, может, записка у меня и найдется.

– Дражайший мой друг!

– А может, и нет.

– Хо! – разочарованно вздыхает дедушка Смоллуид.

– Но, будь у меня хоть целая кипа его рукописей, я не показал бы вам и клочка, годного для ружейного пыжа, пока не узнал бы, зачем он вам нужен.

– Но, сэр, я говорил вам – зачем. Дорогой мистер Джордж, я же говорил вам.

– Говорили, да недоговаривали, – упорствует кавалерист, качая головой. – Мне нужно знать, что за этим кроется, знать, что тут нет никакого подвоха.

– Так не хотите ли отправиться вместе со мной к юристу? Любезный друг мой, поедемте, повидайтесь с этим джентльменом! – убеждает его дедушка Смоллуид, вынимая плоские старинные серебряные часы со стрелками, похожими на ноги скелета. – Я говорил ему, что, может быть, заеду к нему сегодня утром между десятью и одиннадцатью, а теперь половина одиннадцатого. Поедемте, мистер Джордж, повидайтесь с этим джентльменом!

– Хм! – произносит мистер Джордж с серьезным видом. – Что ж, можно. Но мне все-таки неясно, почему вы так заинтересованы во всем этом.

– Меня интересует малейший шанс получить хоть какие-нибудь сведения о капитане. Кто ж, как не он, облапо-

шил всех нас? Кто ж, как не он, задолжал нам огромные суммы денег? Почему я в этом заинтересован? Кого же, как не меня, интересует все, что его касается? Впрочем, любезный друг мой, – и дедушка Смоллуид опять сбавляет тон, – я ничуть не стремлюсь принуждать вас выдать какой-нибудь секрет. Отнюдь нет. Вы готовы отправиться со мною, любезный друг мой?

– Да! Подождите минутку. Но запомните, что я ничего не обещаю.

– Разумеется, дорогой мистер Джордж, разумеется.

– И вы согласны довезти меня туда задаром? – спрашивает мистер Джордж, доставая шляпу и толстые замшевые перчатки.

Эта шутка так смешит мистера Смоллуида, что он долго и еле слышно хихикает перед камином. Но, хихикая, он смотрит через свое парализованное плечо на мистера Джорджа, напряженно следя за ним, пока тот отпирает замок, висящий на неказистом буфете в дальнем конце галереи, шарит по верхним полкам и наконец вынимает что-то – должно быть, записку, потому что слышно шуршанье бумаги, – складывает и сует себе в грудной карман. Тут Джуди толкает локтем мистера Смоллуида, а мистер Смоллуид толкает локтем Джуди.

– Я готов! – говорит кавалерист, подойдя к ним. – Фил, отнеси этого пожилого джентльмена в карету, да смотри не ушиби его.

– Ох, боже мой! Ох ты, господи! Постойте! – умоляет мистер Смоллуид. – Слишком он расторопный. А вы, *наверное*, понесете меня осторожно, милый человек?

Фил не отвечает, но, схватив кресло вместе с грузом, пускается в свой окольный путь бочком, крепко стиснутый руками безгласного теперь мистера Смоллуида, и так быстро мчится по коридору, как будто ему дали приятное поручение сбросить старца в кратер ближайшего вулкана. Но путь его кончается у кареты, и он усаживает в нее старика, после чего обольстительная Джуди садится рядом с дедушкой, кресло водружают на крышу кареты в качестве украшения, а мистер Джордж занимает свободное место на козлах.

Мистер Джордж совершенно подавлен зрелищем, которое он созерцает, когда время от времени обертывается и заглядывает через оконце внутрь кареты, где мрачная Джуди все так же недвижима, а почтенный джентльмен в ермолке, сдвинутой на один глаз, все так же сползает с сиденья на солому, а другим глазом смотрит вверх, на мистера Джорджа, с беспомощным видом человека, которого тычут в спину.

Глава XXVII
Отставные солдаты

Мистеру Джорджу недолго приходится сидеть на козлах, скрестив руки на груди, ибо карета едет на Линкольновы поля. Когда же возница останавливает лошадей, мистер Джордж соскакивает с козел и, заглянув в карету, говорит:

– Как! Значит, тот юрист, что приходил к вам, – это мистер Талкингхорн?

– Да, любезный друг мой. А вы его знаете, мистер Джордж?

– Слышал о нем… да, кажется, и видел его. Но я с ним незнаком, и он меня не знает.

Мистера Смоллуида переносят наверх и – вполне благополучно благодаря помощи кавалериста. Его вносят в просторный кабинет мистера Талкингхорна и ставят его кресло на турецкий ковер перед камином. Мистера Талкингхорна пока нет дома, но он скоро вернется. Доложив об этом, человек, который обычно сидит на деревянном диване в передней, мешает угли в камине и уходит, оставив всю троицу греться у огня.

Комната сильно возбуждает любопытство мистера Джорджа. Он бросает взгляд вверх на расписной потолок, осматривает старинные юридические книги, созерцает портреты

великосветских клиентов, читает вслух надписи на ящиках.

– «Сэр Лестер Дедлок, баронет», – задумчиво читает мистер Джордж. – Так! «Поместье Чесни-Уолд»! Хм! – У ящиков с этой надписью мистер Джордж останавливается надолго и рассматривает их так внимательно, как будто это не ящики, а картины, затем возвращается к камину, повторяя: – Сэр Лестер Дедлок, баронет, и поместье Чесни-Уолд. Так!

– Денег у него как на Монетном дворе, мистер Джордж! – шепчет дедушка Смоллуид, потирая себе ноги. – Богатейший человек!

– О ком это вы? О поверенном или о баронете?

– О поверенном, о поверенном.

– Это я слышал и бьюсь об заклад, что он много чего знает. Да и квартира у него недурная, – говорит мистер Джордж, снова оглядываясь вокруг. – Взгляните-ка туда, вот так сейф… хорош!

Мистер Джордж умолкает, потому что входит мистер Талкингхорн. Он, конечно, ничуть не изменился. Одет в поношенный костюм, в руках держит очки в футляре, и даже этот футляр протерт чуть ли не до дыр. Обращение у него сдержанное и сухое. Голос глухой и хриплый. Лицо, как бы прикрытое занавесом, как всегда довольно жесткое и, пожалуй, даже презрительное, однако настороженное. В общем, если вдуматься поглубже, пожалуй, окажется, что мистер Талкингхорн вовсе уж не такой горячий поклонник и преданный приверженец аристократии, как принято считать.

– Доброе утро, мистер Смоллуид, доброе утро! – говорит он, войдя в кабинет. – Я вижу, вы привели с собой сержанта. Присядьте, сержант.

Снимая перчатки и кладя их в цилиндр, мистер Талкингхорн смотрит, полузакрыв глаза, в глубину комнаты, туда, где стоит кавалерист, и, быть может, думает: «Годишься, приятель!»

– Присядьте, сержант, – повторяет он, подходя к своему столу, поставленному поближе к камину, и садится в кресло. – Утро сегодня холодное и сырое… холодное и сырое!

Мистер Талкингхорн греет перед огнем то ладони, то пальцы и смотрит (из-за вечно опущенной «завесы») на троицу, полукругом сидящую против него.

– Ну, теперь я немного оживился! (Быть может, это следует понимать двояко?) Мистер Смоллуид! – Джуди снова встряхивает старика, чтобы заставить его принять участие в беседе. – Я вижу, вы привели с собой нашего доброго друга, сержанта.

– Да, сэр, – отвечает мистер Смоллуид, подобострастно преклоняясь перед богатым, влиятельным юристом.

– Так что же скажет сержант по поводу этого дела?

– Мистер Джордж, – обращается дедушка Смоллуид к кавалеристу и представляет ему хозяина взмахом дрожащей и сморщенной руки, – это и есть тот самый джентльмен, сэр.

Мистер Джордж, отдав честь хозяину, садится и, погруженный в глубокое молчание, сидит прямо, как палка, на са-

мом краю стула, словно за спиной у него полный вещевой комплект для полевого учения. Мистер Талкингхорн начинает:

– Ну, Джордж?.. Ваша фамилия Джордж, не так ли?

– Да, сэр.

– Что же вы скажете, Джордж?

– Прошу прощения, сэр, – отвечает кавалерист, – но мне хотелось бы знать, что скажете вы.

– То есть – относительно вознаграждения?

– Относительно всего вообще, сэр.

Эти слова подвергают терпение мистера Смоллуида такому испытанию, что он внезапно вмешивается в разговор и кричит:

– Скотина зловредная! – Но так же внезапно просит прощения у мистера Талкингхорна и оправдывает свою обмолвку, объясняя Джуди: – Я вспомнил о твоей бабушке, дорогая.

– Я полагаю, сержант, – продолжает мистер Талкингхорн, облокотившись на ручку кресла и заложив ногу за ногу, – что мистер Смоллуид уже подробно рассказал вам, в чем дело. Впрочем, все и так яснее ясного. Вы одно время служили под начальством капитана Хоудона, ухаживали за ним во время его болезни, оказывали ему много мелких услуг и вообще, как я слышал, пользовались его доверием. Так это или нет?

– Точно так, сэр, – отвечает мистер Джордж по-военному кратко.

– Поэтому у вас, возможно, осталось что-нибудь – все рав-

но что, – счета, инструкции, приказы, письма, вообще какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона. Я хочу сравнить образец его почерка с почерком одной рукописи, которая имеется у меня. Если вы мне поможете в этом, вы получите вознаграждение за труды. Три, четыре, пять гиней, надеюсь, удовлетворят вас вполне.

– Вот это щедрость, любезный друг мой! – восклицает дедушка Смоллуид, закатывая глаза.

– Если этого мало, скажите по совести, как честный солдат, сколько вы просите. Документ вы потом можете взять обратно, если хотите, хотя я предпочел бы хранить его у себя.

Мистер Джордж сидит, расставив локти, в той же самой позе, смотрит в пол, смотрит на расписной потолок, но не произносит ни слова. Вспыльчивый мистер Смоллуид загребает когтями воздух.

– Вопрос в том, – говорит мистер Талкингхорн, как всегда педантично, сдержанно, бесстрастно излагая дело, – во-первых, есть ли у вас какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона?

– Во-первых, есть ли у меня какой-нибудь документ, написанный рукой капитана Хоудона, сэр? – повторяет мистер Джордж.

– Во-вторых, каким вознаграждением удовольствуетесь вы за предоставление такого документа?

– Во-вторых, каким вознаграждением удовольствуюсь я

за предоставление такого документа? – повторяет мистер Джордж.

– В-третьих, как, по-вашему, похож его почерк на этот почерк? – спрашивает мистер Талкингхорн, внезапно протянув кавалеристу пачку исписанных листов бумаги.

– Похож ли его почерк на этот почерк? Так… – повторяет мистер Джордж.

Все три раза мистер Джордж, как бы машинально, повторял обращенные к нему слова, глядя прямо в лицо мистеру Талкингхорну; а сейчас он даже не смотрит на свидетельские показания, приобщенные к делу «Джарндисы против Джарндисов» и переданные ему для обозрения (хотя держит их в руках), но, задумчивый и смущенный, не спускает глаз с поверенного.

– Ну, так как же? – говорит мистер Талкингхорн. – Что скажете?

– А вот как, сэр, – отвечает мистер Джордж, потом поднимается и, выпрямившись во весь рост, стоит навытяжку, – великан да и только. – Извините меня, но я, пожалуй, не хотел бы иметь никакого отношения ко всему этому.

Мистер Талкингхорн, внешне невозмутимый, спрашивает:

– Почему?

– Изволите видеть, сэр, – объясняет кавалерист, – человек я не деловой и никакими делами не могу заниматься иначе, как по долгу военной службы. Среди штатских я, как гово-

рят в Шотландии, никудышный малый. Не такая у меня голова на плечах, сэр, чтобы разбираться в документах. Я любой огонь выдержу, только не огонь перекрестных допросов. Всего час или два назад я говорил мистеру Смоллуиду, что, когда меня впутывают в такие истории, мне чудится, будто меня душат. Вот и сейчас у меня такое чувство, – добавляет мистер Джордж, оглядывая всю компанию.

Он делает три шага вперед, чтобы положить бумаги на стол поверенного, и три шага назад, чтобы вернуться на прежнее место, а вернувшись, снова стоит навытяжку, смотрит то в пол, то на расписной потолок и закладывает руки за спину, как бы желая показать, что не возьмет никакого другого документа.

Это – вызов, и любимый неодобрительный эпитет мистера Смоллуида так настойчиво просится ему на язык, что обращение «любезный друг мой» он начинает со слога «зло», превращая эпитет «любезный» в совершенно новое слово «злолюб», но сейчас же обрывает речь, делая вид, будто у него язык заплетается. Преодолев первое затруднение, он нежнейшим тоном убеждает своего любезного друга не торопиться, но выполнить требование уважаемого джентльмена – выполнить с охотой и веря, что это столь же не предосудительно, сколь выгодно. Что касается мистера Талкингхорна, тот просто роняет время от времени фразы вроде следующих:

– Вы сами лучший судья во всем, что касается ваших ин-

тересов, сержант… Берегитесь, как бы таким путем не наделать бед… Как знаете, как знаете… Если вы стоите на своем, говорить больше не о чем.

Он произносит все это совершенно равнодушно, просматривая бумаги, лежащие на столе, и, кажется, собираясь написать письмо.

Мистер Джордж переводит недоверчивый взгляд с расписного потолка на пол, с пола на мистера Смоллуида, с мистера Смоллуида на мистера Талкингхорна, а с мистера Талкингхорна снова на расписной потолок и в смущении переминается с ноги на ногу.

– Изволите видеть, сэр, – говорит мистер Джордж, – вы не обижайтесь, но уверяю вас, с тех пор как я тут, между вами и мистером Смоллуидом, у меня, право же, такое чувство, словно меня уже раз пятьдесят придушили. Вот как обстоит дело, сэр. Я вам не чета, джентльмены. Но можно вас спросить, – на случай, если мне удастся отыскать образец почерка капитана, – зачем вам нужно видеть этот образец?

Мистер Талкингхорн бесстрастно качает головой.

– Нет, нельзя. Будь вы деловым человеком, сержант, мне незачем было бы объяснять вам, что мы, юристы, нередко наводим подобные справки, разумеется в целях вполне безобидных, но совершенно секретных. Если же вы опасаетесь повредить капитану Хоудону, то насчет этого можете не беспокоиться.

– Я и не беспокоюсь! Ведь он умер, сэр.

– Разве? – Мистер Талкингхорн спокойно садится за стол и начинает что-то писать.

– Я очень сожалею, сэр, – говорит после недолгого молчания кавалерист, в смущении разглядывая свою шляпу, – очень сожалею, что не смогу вам угодить. Не хочется мне впутываться в это дело, но, может, вам угодно, чтобы мнение мое подтвердил один мой друг, тоже отставной солдат, – он человек деловой, не то что я. А мне… мне сейчас, право же, чудится, будто меня совсем задушили, – говорит мистер Джордж, растерянно проводя рукой по лбу, – так что я даже не знаю, чего угодно мне самому.

Услышав, что упомянутое авторитетное лицо тоже отставной солдат, мистер Смоллуид так настоятельно убеждает кавалериста посоветоваться с ним и в особенности сообщить ему о вознаграждении в пять гиней и даже больше, что мистер Джордж обязуется пойти и повидаться с ним немедленно. Мистер Талкингхорн не высказывается ни за, ни против.

– Так я посоветуюсь, сэр, если разрешите, – говорит кавалерист, – и, если позволите, зайду к вам с окончательным ответом сегодня же. Мистер Смоллуид, если вы хотите, чтобы я снес вас вниз…

– Сию минуту, любезный друг мой, сию минуту. Позвольте мне только сказать два слова этому джентльмену с глазу на глаз.

– Пожалуйста, сэр. Не спешите, я подожду.

Кавалерист отходит в глубь комнаты и снова начинает с

любопытством рассматривать ящики – и несгораемые, и всякие другие.

– Не будь я слаб, как зловредный младенец, – шипит дедушка Смоллуид, притягивая к себе юриста за лацкан и обжигая его полупотухшим зеленым пламенем злых глаз, – я бы вырвал у него эту бумагу. Она у него за пазухой. Я сам видел, как он сунул ее туда. И Джуди видела. Да вымолви ты хоть слово, истукан, кукла деревянная, скажи, что видела, как он сунул ее за пазуху!

Сделав это пылкое назидание внучке, пожилой джентльмен толкает ее с такой яростью, что силы ему изменяют, и он скатывается с кресла, увлекая за собой мистера Талкингхорна, но Джуди подхватывает его и трясет изо всей мочи.

– Насилия я не применяю, друг мой, – холодно объясняет мистер Талкингхорн.

– Нет-нет, я знаю, знаю, сэр. Но все это раздражает и бесит хуже… хуже, чем твоя болтунья, трещотка, сорока-бабушка, – обращается старик к невозмутимой Джуди, которая только смотрит на огонь, но не говорит ни слова. – Знать, что у него есть нужная бумага, а он не желает ее отдать! Не желает! Он! Бродяга! Но погодите, сэр, погодите. В худшем случае он только немного покобенится. Он у меня в тисках. Я его прижму, сэр. Я его в бараний рог согну, сэр. Не хочет добром, так я его силой заставлю, сэр!.. А теперь, дорогой мой мистер Джордж, – говорит дедушка Смоллуид, закончив беседу с юристом и безобразно ему подмигивая, – я готов

принять вашу любезную помощь, мой добрейший друг!

Мистер Талкингхорн становится на коврик у камина, спиной к огню, чуть-чуть забавляясь всем происходящим, что заметно, несмотря на его сдержанность, и наблюдает за исчезновением мистера Смоллуида, ответив на прощальный поклон кавалериста только легким кивком.

Мистер Джордж находит, что избавиться от почтенного старца труднее, чем снести его вниз, ибо дедушка Смоллуид, усевшись в свой экипаж, так долго разглагольствует о гинеях и с такой любовью цепляется за пуговицу своего любезного друга, – хотя в душе жаждет разорвать ему сюртук и украсть бумагу, – что кавалерист вынужден силой от него оторваться. Когда это наконец удается, он уходит на поиски своего советчика.

Через украшенный аркадами Тэмпл, через Уайт-Фрайерс (где путник бросает взгляд на улицу Хэнгингсуорд, пересекающую ему путь), через Блекфрайерский мост и Блекфрайерс-роуд степенно шагает мистер Джордж к одной скромной уличке, пролегающей в том узле путей, где улицы, идущие от мостов через Темзу, и дороги из Кента и Сэррея сходятся в одной точке у достославного «Слона», чей «паланкин» из тысячи четырехконных карет уступил место более сильному железному чудищу, которое уже готово стереть его в порошок, как только осмелится. На этой уличке нет больших магазинов – только лавчонки, – и к одной из них, лавке музыкальных инструментов, в окне которой выставле-

ны две-три скрипки, флейты Пана, тамбурин, треугольник и продолговатые нотные тетради, мистер Джордж направляется своей тяжелой походкой. Немного не дойдя до лавки, он останавливается, увидев, что из нее вышла женщина в подоткнутой юбке, чем-то смахивающая на солдата, и, поставив на край тротуара маленькую деревянную лоханку, принимается мыть в ней что-то, разбрызгивая воду во все стороны. «Ну, конечно, опять моет овощи, – говорит себе мистер Джордж. – В жизни не видывал ее иначе, как за мытьем овощей, разве только когда она сидела на обозной фуре!»

Особа, вызвавшая эти размышления, сейчас действительно моет овощи и столь поглощена своей работой, что не замечает приближения мистера Джорджа и, только выплеснув воду в сточную канаву, выпрямляется, подняв лоханку, и видит, что он стоит рядом. Мистера Джорджа она приветствует не очень-то ласково.

– Стоит мне вас увидеть, Джордж, как мне уже хочется, чтобы вы убрались подальше – миль за сто отсюда!

Не отвечая на это приветствие, кавалерист следует за нею в лавку музыкальных инструментов, где женщина, поставив на прилавок лоханку с овощами, пожимает ему руку.

– Ни на минуту вас нельзя оставить с Мэтью Бегнетом, Джордж, – говорит она, облокотившись на прилавок, – так это для него опасно. До чего вы беспокойный, до чего непутевый…

– Да, я и сам это знаю, миссис Бегнет. Отлично знаю.

– Вот видите, сами знаете, какой вы! – подхватывает миссис Бегнет. – А что толку? *Отчего* вы такой?

– Должно быть, я от природы бродячее животное, – добродушно отвечает кавалерист.

– Вот как! – восклицает миссис Бегнет немного визгливым голосом. – Но какая мне будет польза от этого бродячего животного, если оно соблазнит моего Мэта бросить нашу музыкальную торговлю и уехать в Новую Зеландию или Австралию?

Миссис Бегнет никак нельзя назвать некрасивой. Правда, она довольно широка в кости и так часто бывала на солнце и на ветру, что кожа у нее огрубела и покрылась веснушками, а волосы надо лбом выцвели, но это здоровая, крепкая женщина с блестящими глазами и честным, открытым лицом. Сильная, деловитая, энергичная женщина лет сорока пяти – пятидесяти. Чистоплотная, выносливая, она одевается очень скромно (хотя и тепло) и позволяет себе лишь одно-единственное украшение – обручальное кольцо на пальце, который так потолстел с того дня, когда оно впервые было надето, что кольцо не снимется с него, пока не смешается с прахом миссис Бегнет.

– Миссис Бегнет, я же дал вам слово, – говорит кавалерист. – От меня Мэту худо не будет. Тут вы можете на меня положиться.

– Пожалуй, могу. Хотя вы и с виду такой, что, только погляди на вас, сразу из колеи выбьешься, – добавляет миссис

Бегнет. – Эх, Джордж, Джордж! Надо вам было остепениться да жениться на вдове Джо Пауча, когда он умер в Северной Америке, – она бы на руках вас носила!

– Что ж, случай, конечно, был подходящий, – отвечает кавалерист полушутя, полусерьезно, – только мне уж теперь никогда не остепениться и не войти в колею. Вдова Джо Пауча, пожалуй, могла бы стать мне хорошей женой, – и в ней и у ней кое-что было, – но я никак не мог отважиться на женитьбу. Вот если б мне посчастливилось найти такую жену, какую добыл себе Мэт!

Миссис Бегнет – добродетельная жена, но обычно не прочь пошутить со славным малым, – да коли на то пошло, она и сама славный малый, – и вместо ответа на комплимент шлепает мистера Джорджа по лицу пучком зелени, а потом уносит лоханку в комнату за лавкой.

– А, Квебек, малютка моя! – говорит Джордж, следуя туда же за миссис Бегнет по ее приглашению. – И крошка Мальта! Подите-ка поцелуйте своего Заводилу!

Обе молодые девицы, – которых, конечно, окрестили не этими именами, но всегда так зовут в семейном кругу, памятуя о названиях тех мест, где они родились в казармах, – молодые девицы сидят на трехногих табуретах и занимаются: младшая (лет пяти-шести) учит буквы по грошовой азбуке, а старшая (лет восьми-девяти) обучает младшую и в то же время шьет с величайшим усердием. Обе встречают мистера Джорджа восторженным криком, как старого друга, а расце-

ловав его и повозившись с ним, придвигают к нему свои табуреты.

– А как поживает юный Вулидж? – спрашивает мистер Джордж.

– Он? Ну, знаете! – восклицает миссис Бегнет, отрываясь от своих кастрюль (ибо она сейчас готовит обед) и вспыхнув ярким румянцем. – Вы не поверите, он теперь служит в театре вместе с отцом – играет на флейте в пьесе из военной жизни.

– Молодец у меня крестник! – восклицает мистер Джордж, хлопнув себя по бедру.

– Еще бы! – соглашается миссис Бегнет. – Настоящий британец. Вот он какой, наш Вулидж. Британец!

– А Мэт дует себе в свой фагот, и вы стали почтенными штатскими и все такое, – говорит мистер Джордж. – Семейные люди. Растут детки. Старуха, мать Мэта, в Шотландии, а ваш старик отец где-то в другом месте, и вы с ними переписываетесь и немного помогаете им и… ну ладно! Сказать правду, можно понять, почему вам хочется, чтобы я убрался миль за сто отсюда, – тут я совсем не ко двору!

Мистер Джордж, задумавшись, сидит перед огнем в чисто выбеленной комнате, где пол посыпан песком, где все чем-то напоминает казарму, где нет ничего лишнего, нет ни пылинки, ни пятнышка грязи ни на чем, начиная с щек Квебек и Мальты и кончая сверкающими оловянными кастрюлями и мисками на полках буфета, – мистер Джордж сидит задумав-

шись, в то время как миссис Бегнет хлопочет по хозяйству, и вот, как раз вовремя, мистер Бегнет и юный Вулидж приходят домой. Мистер Бегнет – отставной артиллерист, высокий, прямой, с загорелым лицом, густыми бровями, бакенбардами, как мочалка, но совершенно лысым черепом. Голос его, отрывистый, низкий, звучный, отчасти напоминает тембр того инструмента, на котором мистер Бегнет играет. Вообще мистер Бегнет кажется каким-то негибким, непреклонным, как бы окованным медью, словно сам он – фагот в оркестре человечества. Юный Вулидж смахивает на типичного и примерного подростка-барабанщика.

Отец и сын приветливо отдают честь кавалеристу. Улучив подходящую минуту, мистер Джордж говорит, что пришел посоветоваться с мистером Бегнетом, а тот радушно заявляет, что не хочет и слышать ни о каких делах до обеда и его другу не дадут совета, пока не дадут вареной свинины с овощами и зеленью. Кавалерист принимает приглашение, а затем он и мистер Бегнет, не желая мешать хозяйственным приготовлениям, уходят пройтись взад-вперед по улочке, где и прохаживаются мерным шагом, скрестив руки на груди, словно это не улица, а крепостной вал.

– Джордж, – начинает мистер Бегнет. – Ты меня знаешь. Советы дает моя старуха. Это такая голова! Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Погоди, дай ей только развязаться с овощами. Тогда будем держать совет. Как старуха скажет, так… так и делай!

– Так я и сделаю, Мэт, – соглашается мистер Джордж. – Ее мнение для меня важней, чем мнение целой коллегии.

– Коллегии! – подхватывает мистер Бегнет, выпаливая короткие фразы наподобие фагота. – Какую коллегию бросишь… в другой части света… в одной лишь серой накидке и с зонтом… зная, что она… одна вернется домой в Европу? А старуха, та – хоть завтра. Да и вернулась раз, было такое дело!

– Что правда, то правда, – говорит мистер Джордж.

– Какая коллегия, – продолжает Бегнет, – сумеет начать новую жизнь… с шестипенсовиком: на два пенса известки… на пенни глины… на полпенни песку… да сдача с этих шести пенсов! А так вот старуха и начала… Наше теперешнее дело.

– Рад слышать, что оно идет хорошо, Мэт.

– Старуха откладывает деньги, – продолжает мистер Бегнет, кивая в знак согласия. – У нее где-то чулок припрятан. А в нем деньги. Я его никогда не видал. Но знаю, что чулок у нее есть. Погоди, дай ей только развязаться с овощами. Тогда она тебе даст совет.

– Что за сокровище! – восклицает мистер Джордж.

– Больше чем сокровище. При ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину. Ведь это старуха направила мои музыкальные способности. Не будь старухи, я бы до сей поры служил в артиллерии. Шесть лет я пиликал на скрипке. Десять играл на флейте. Старуха сказала: «Ничего, мол, не выйдет… старанья много, да гибкости не хватает; попробуй-ка

фагот». Старуха выпросила фагот у капельмейстера стрелкового полка. Я упражнялся в траншеях. Подучился, купил фагот, стал зарабатывать!

Джордж говорит, что она свежа, как роза, и крепка, как яблоко.

– Старуха прекрасная женщина, – соглашается мистер Бегнет. – Значит, можно сказать, что она похожа на прекрасный день. Чем дальше, тем прекрасней. С моей старухой никто не сравнится. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

Продолжая беседовать о том о сем, они ходят взад и вперед по уличке, мерно маршируя в ногу, пока Квебек и Мальта не приглашают их отдать должное вареной свинине с овощами, над которой миссис Бегнет, как полковой священник, читает краткую молитву. Раздавая эту пищу и выполняя прочие свои хозяйственные обязанности, миссис Бегнет действует по тщательно выработанной системе: блюда стоят против нее, а она добавляет к каждой порции свинины порцию подливки, зелени, картофеля, других овощей, даже горчицы, и каждому подает тарелку с полным рационом. Распределив по той же системе пиво из кувшина и снабдив таким образом столующихся всем необходимым, миссис Бегнет принимается утолять собственный голод, который у нее под стать ее здоровью. «Инвентарь военной столовой», если можно так назвать обеденную посуду, в большей своей части состоит из роговых и оловянных предметов, служивших

хозяевам в различных частях света. В частности, складной нож юного Вулиджа, который открывается так же туго, как устрица, но то и дело с силой закрывается сам собой, – чем портит аппетит молодому музыканту, – по слухам, переходил из рук в руки и обошел все колониальные гарнизоны.

Покончив с обедом, миссис Бегнет с помощью младших членов семьи (которые сами моют и чистят свои чашки, тарелки, ножи и вилки) начищает до блеска всю обеденную посуду, приводя ее в тот вид, какой она имела до обеда, и убирает все по своим местам, но сначала выметает золу из камина, чтобы не задержать мистера Бегнета и гостя, которым уже хочется закурить трубки. Эти хозяйственные хлопоты вынуждают ее то и дело бегать в деревянных сандалиях на задний двор и черпать воду ведром, которое в конце концов получает удовольствие служить для омовения самой миссис Бегнет. Но вот «старуха» вернулась в комнату свежая, как огурчик, и уселась за шитье, и тогда, – только тогда, ибо лишь теперь можно считать, что она окончательно позабыла об овощах, – мистер Бегнет просит кавалериста рассказать, в чем дело.

Мистер Джордж приступает к этому с величайшим тактом, делая вид, будто обращается к мистеру Бегнету, но в действительности не отрывая глаз от «старухи», с которой сам Бегнет тоже не сводит глаз. А она, женщина столь же тактичная, усердно занимается шитьем. Когда дело изложено во всех подробностях, мистер Бегнет, соблюдая дисци-

плину, прибегает к своей обычной хитрости.

– Это все, Джордж? – спрашивает он.

– Все.

– Ты согласишься с моим мнением?

– Безоговорочно, – отвечает Джордж.

– Старуха, скажи ему мое мнение, – говорит мистер Бегнет. – Ты его знаешь. Скажи ему, в чем оно заключается.

Мнение ее мужа заключается в том, что мистер Джордж должен как можно меньше водиться с людьми, которые так скрытны, что ему их не раскусить; должен поступать как можно осторожнее в вопросах, которых он не понимает, потому что самое разумное – это не делать ничего втемную, не участвовать ни в чем загадочном и таинственном, не ставить ноги туда, где не видишь земли. Это и в самом деле мнение мистера Бегнета, но только высказанное «старухой», и оно снимает бремя с души мистера Джорджа, так убедительно подтверждая его собственное мнение и рассеивая его сомнения, что по столь исключительному случаю он решает выкурить еще трубку и поболтать о былых временах со всеми членами семейства Бегнет, сообразуясь с различными степенями их жизненного опыта.

По этим же причинам мистер Джордж ни разу не вставал с места в этой комнате, пока для британской публики в театре не пробил час ожидать фагот и флейту; но и тогда у мистера Джорджа уходит еще немало времени на то, чтобы в качестве домашнего любимца – «Заводилы» проститься с Кве-

бек и Мальтой и в качестве крестного отца тайком сунуть шиллинг в карман крестнику, прибавив к нему поздравления с успехом; поэтому, когда мистер Джордж поворачивает к Линкольновым полям, на дворе уже темно.

«Семейный дом, – размышляет он, шагая, – будь он хоть самый скромный, а поглядит на него такой холостяк, как я, и почувствует свое одиночество. Но все же хорошо, что я не отважился на женитьбу. Не гожусь я для этого. Я такой бродяга даже теперь, в моих летах, что и месяца бы не выдержал в галерее, будь она порядочным заведением и не живи я в ней по-походному, как цыган. Ладно! Зато я никого не позорю, никому не в тягость; и то хорошо. Много лет уж я этого не делал!»

Он свистом отгоняет от себя эти мысли и шагает дальше.

Дойдя до Линкольновых полей и поднявшись на лестницу мистера Талкингхорна, он видит, что дверь затворена – контора закрыта; но, не зная, что, если двери заперты, значит хозяев нет дома, и к тому же очутившись в темноте, кавалерист возится, ощупывая стену в надежде отыскать ручку звонка или открыть дверь, как вдруг с улицы входит мистер Талкингхорн, поднимается вверх по лестнице (конечно, бесшумно) и с раздражением спрашивает:

– Кто тут? Что вы здесь делаете?

– Прошу прощения, сэр. Это я, Джордж. Сержант.

– А разве сержант Джордж не успел заметить, что дверь моя заперта?

– Да нет, сэр, не успел. Во всяком случае, не заметил, – отвечает кавалерист, несколько уязвленный.

– Вы передумали? Или стоите на своем? – спрашивает мистер Талкингхорн.

Впрочем, он сам обо всем догадался с первого взгляда.

– Стою на своем, сэр.

– Так я и думал. Больше говорить не о чем. Можете идти. Значит, вы тот самый человек, у которого нашли мистера Гридли, когда он скрывался? – спрашивает мистер Талкингхорн, отпирая дверь ключом.

– Да, тот самый, – отвечает, остановившись, кавалерист, уже спустившийся на две-три ступеньки. – Ну и что же, сэр?

– Что? Мне не нравятся ваши сообщники. Вы не вошли бы в мою контору сегодня утром, знай я, что вы тот самый человек. Гридли? Злонамеренный, преступный, опасный субъект!

Юрист, проговорив эти слова необычным для него повышенным тоном, входит в контору и с оглушительным грохотом захлопывает дверь.

Мистер Джордж чрезвычайно возмущен подобным обращением, тем более что какой-то клерк, поднимающийся по лестнице, расслышал только последние слова и, очевидно, отнес их на счет мистера Джорджа.

– Хорошо меня тут аттестовали, – ворчит кавалерист, кратко выругавшись и быстро спускаясь по лестнице. – «Злонамеренный, преступный, опасный субъект!» – А проходя

под фонарем и взглянув вверх, видит, что клерк смотрит на него, явно стараясь запомнить его лицо. Все это настолько усиливает возмущение мистера Джорджа, что он минут пять пребывает в дурном расположении духа. Но затем свистом прогоняет это свое огорчение так же, как и все прочее, и шагает домой, в «Галерею-Тир».

Глава XXVIII
Железных дел мастер

Сэр Лестер Дедлок преодолел на время родовую подагру и снова встал на ноги как в буквальном, так и в переносном смысле. Сейчас он пребывает в своем линкольнширском поместье, но здесь опять наводнение, и хотя Чесни-Уолд хорошо защищен от холода и сырости, они забираются и туда и пронизывают сэра Лестера до костей. Дрова и каменный уголь – то есть бревна из дедлоковских лесов и останки лесов допотопных – жарко пылают в широких объемистых каминах, и в сумерках огонь подмигивает хмурым рощам, которые угрюмо наблюдают, как приносятся в жертву деревья; но и огонь не в силах отогнать врага. Ни трубы с горячей водой, протянувшиеся по всему дому, ни обитые войлоком окна и двери, ни ширмы, ни портьеры не могут возместить тепло, недостающее огню, и согреть сэра Лестера. Поэтому великосветская хроника однажды утром объявляет всем имеющим уши, что леди Дедлок вскоре собирается вернуться в Лондон на несколько недель.

Печально, но бесспорно, что даже у сильных мира сего бывают бедные родственники. У сильных мира сего нередко бывает даже больше бедных родственников, чем у простых смертных, ибо самая красная кровь высшего качества вопи-

ет так же громко, как и преступно пролитая кровь существ низшего порядка, и ее нельзя не услышать. Даже самые дальние родственники сэра Лестера похожи на преступления в том смысле, что непременно «выходят наружу». Среди них есть родственники столь бедные, что – да будет позволено нам высказать дерзкую мысль – лучше бы им не быть звеньями из накладного золота в отлитой из чистого золота цепи Дедлоков, но появиться на свет выкованными из простого железа и служить для черной работы.

Однако, будучи потомками знатных Дедлоков, они не могут выполнять никакой работы (за ничтожными исключениями, когда должность почетна, но не доходна), считая, что работать – это ниже их достоинства. Поэтому они гостят у своих богатых родственников; если удается, делают долги, если нет, живут бедно; женщины не находят себе мужей, а мужчины – жен; и все ездят в чужих экипажах и сидят на парадных обедах, которых никогда не устраивают сами, да так вот и прозябают в высшем свете. Можно сказать, что род Дедлоков – это крупная сумма, разделенная на некоторое число, а бедные родственники – остаток, и никто не знает, что с ними делать.

Каждый, кто считает себя сторонником сэра Лестера Дедлока и разделяет его образ мыслей, по-видимому, состоит с ним в более или менее близком или дальнем родстве. Начиная с милорда Будла и герцога Фудла и кончая Нудлом, все попадают в паутину родственных уз, которую, подобно могу-

щественному пауку, соткал сэр Лестер. Но, спесивый в своих родственных отношениях с «большими людьми», он с «маленькими» великодушен и щедр, – конечно, по-своему, свысока, – и даже сейчас, несмотря на сырую погоду, со стойкостью мученика выносит присутствие бедных родственников, приехавших в Чесни-Уолд погостить.

Среди них место в первом ряду занимает Волюмния Дедлок, молодая девица (шестидесяти лет), вдвойне одаренная блестящими родственными связями, ибо с материнской стороны она имеет честь состоять бедной родственницей других высокопоставленных особ. В юности мисс Волюмния обладала приятными талантами по части вырезания украшений из цветной бумаги, пения романсов на испанском языке под аккомпанемент гитары и загадыванья французских загадок в деревенских усадьбах, поэтому двадцать лет своей жизни, между двадцатью и сорока годами, она провела довольно весело. Но после сорока Волюмния вышла из моды и, наскучив человечеству своими вокальными выступлениями на испанском языке, удалилась в Бат, где скромно живет на ежегодное пособие, получаемое от сэра Лестера, и откуда время от времени выезжает, чтобы снова воскреснуть в поместьях родственников. В Бате у нее обширное знакомство среди безобразных тонконогих пожилых джентльменов в нанковых брюках, и в этом унылом городе она занимает высокое положение. Но в прочих местах ее слегка побаиваются – слишком уж расточительно она употребляет румяна

и, кроме того, упорно не желает расстаться со своим старомодным жемчужным ожерельем, похожим на четки из воробьиных яиц.

В любой благоустроенной стране Волюмнию беспрекословно включили бы в список пенсионеров. С этой целью даже были начаты хлопоты, и когда Уильям Баффи пришел к власти, никто уже не сомневался, что Волюмнии Дедлок дадут пенсию – фунтов двести в год. Однако Уильям Баффи, вопреки всем ожиданиям, почему-то нашел, что не может это устроить, – не такие, мол, времена, – и, как заявил ему тогда сэр Лестер Дедлок, это был первый очевидный признак того, что страна стоит на краю гибели.

Здесь гостит также достопочтенный Боб Стейблс, который умеет изготовить конскую примочку не хуже ветеринара и стреляет лучше, чем многие егери. С недавних пор он превыше всего жаждет послужить отечеству на доходном посту, не связанном ни с хлопотами, ни с ответственностью. В хорошо функционирующем политическом организме столь естественное желание бойкого молодого джентльмена с такими прекрасными связями было бы удовлетворено очень быстро. Однако Уильям Баффи, придя к власти, почему-то нашел, что устроить это пустяковое дело он тоже не может, – не такие, мол, времена, – и, как тогда заявил ему сэр Лестер Дедлок, это был второй признак того, что страна стоит на краю гибели.

Остальные родственники – это леди и джентльмены раз-

ных возрастов и способностей, в большинстве любезные и неглупые люди, которые, вероятно, преуспели бы в жизни, будь они в силах преодолеть свои родственные связи. Но они не в силах, а потому – почти все – немного подавлены этим и вяло блуждают по своим бесцельным путям, не зная, что с собой делать, тогда как другие не знают, что делать с ними.

В этом обществе, как и повсюду, полновластно царит миледи Дедлок. Она красива, элегантна, благовоспитанна и в своем мирке (именно «мирке», – ведь большой свет не простирается от полюса до полюса) властвует безраздельно, так что влияние ее в доме сэра Лестера, как ни холодно и надменно ее обращение, очень облагораживает этот мирок и способствует утонченности его нравов. Родственники, даже те старшие родственники, которые оцепенели от возмущения, когда сэр Лестер на ней женился, теперь, как вассалы, воздают ей должную дань, а достопочтенный Боб Стейблс ежедневно, в промежутке между первым и вторым завтраком, повторяет какому-нибудь избранному слушателю свое излюбленное оригинальное изречение, заявляя, что она «самая выхоленная кобылица во всей конюшне».

Вот какие гости сидят в продолговатой гостиной Чесни-Уолда в этот хмурый вечер, когда чудится, будто шаги на Дорожке призрака (хоть и неслышные здесь) – это шаги какого-то умершего родственника, который замерз на дворе, потому что его не впустили в дом. Близится время идти на покой. В спальнях по всему дому ярко горит огонь в

каминах, рисуя на стенах и потолке мрачные, призрачные очертания мебели. Свечи для спален стоят частоколом на дальнем столе у двери, а родственники зевают на диванах. Родственники сидят за роялем; родственники толпятся вокруг подноса с содовой водой; родственники встают из-за карточного стола; родственники расположились перед камином. Сэр Лестер стоит у своего любимого камина (в гостиной их два). С другой стороны этого широкого камина сидит за своим столиком миледи. Волюмния, в качестве одной из наиболее привилегированных родственниц, восседает в роскошном кресле между ними. Сэр Лестер смотрит с величавым неодобрением на ее подрумяненные щеки и жемчужное ожерелье.

– Я не раз встречала на лестнице, что ведет в мою спальню, – говорит, растягивая слова, Волюмния, чьи мысли, должно быть, уже скачут вверх по этой лестнице, к постели, в надежде отдохнуть после длинного вечера, проведенного в самой бессвязной болтовне, – я не раз встречала на лестнице одну из самых хорошеньких девушек, каких мне случалось видывать в жизни.

– Это протеже миледи, – объясняет сэр Лестер.

– Так я и думала. Я догадалась, что эту девушку высмотрели чьи-то необычайно зоркие глаза. Чудо, просто чудо! Красота, пожалуй, немножко кукольная, – говорит мисс Волюмния, мысленно сравнивая красоту девушки со своей собственной, – но в своем роде она – совершенство. А какой ру-

мянец – в жизни я не видела такого румянца!

Сэр Лестер, видимо, соглашается с нею, но величаво бросает неодобрительный взгляд на ее румянец.

– Надо сказать, – томно возражает миледи, – что если девушку «высмотрели необычайно зоркие глаза», как вы говорите, так это глаза миссис Раунсуэлл, а вовсе не мои. Роза – ее находка.

– Она ваша горничная, вероятно?

– Нет. Она у меня на все руки: это моя любимица… секретарь… девочка на побегушках… и мало ли еще кто.

– Вам приятно держать ее при себе, как, например, цветок, или птичку, или картину, или пуделя… впрочем, нет, не пуделя… или вообще что-нибудь такое же красивое? – поддакивает Волюмния. – Да, какая она прелесть! А как хорошо сохранилась эта очаровательная старушка миссис Раунсуэлл! Ей, должно быть, бог знает сколько лет, однако она по-прежнему такая расторопная и красивая!.. Мы с ней так дружим – право же, я ни с кем так не дружу, как с ней.

Сэр Лестер находит, что все это верно – домоправительница Чесни-Уолда не может не быть замечательной женщиной. Кроме того, он искренне уважает миссис Раунсуэлл, и ему приятно, когда ее хвалят. Поэтому он говорит: «Вы правы, Волюмния», чем доставляет Волюмнии безмерное удовольствие.

– У нее, кажется, нет родной дочери, не правда ли?

– У миссис Раунсуэлл? Нет, Волюмния. У нее есть сын.

Даже два сына.

Миледи, чья хроническая болезнь – скука – в этот вечер жестоко обострилась по милости Волюмнии, бросает усталый взгляд на свечи, приготовленные для спален, и беззвучно, но тяжело вздыхает.

– Вот вам разительный пример того беспорядка, которым отмечен наш век, когда уничтожаются межи, открываются шлюзы и стираются грани между людьми, – говорит сэр Лестер с угрюмой важностью. – Мистер Талкингхорн сообщил мне, что сыну миссис Раунсуэлл предложили выставить свою кандидатуру в парламент.

Мисс Волюмния испускает пронзительный стон.

– Да, именно, – повторяет сэр Лестер. – В парламент.

– В жизни не слыхивала о подобных вещах! Господи твоя воля, да что же он за человек? – восклицает Волюмния.

– Если не ошибаюсь… он… железных дел мастер.

Сэр Лестер медленно произносит эти слова серьезным, но не совсем уверенным тоном, как будто он не вполне убежден, нужно ли сказать «железных дел мастер» или, может быть, лучше «свинцовых дел мастерица», и допускает, что есть какой-то другой, более правильный термин, выражающий какое-то другое отношение человека к какому-то другому металлу.

Волюмния вновь испускает слабый стон.

– Он отклонил предложение, если только сведения мистера Талкингхорна соответствуют действительности, а в этом

я не сомневаюсь, ибо мистер Талкингхорн всегда правдив и точен; и все же, – говорит сэр Лестер, – все же этот случай остается из ряда вон выходящим и заставляет нас сделать весьма неожиданные… я бы сказал, даже потрясающие выводы. – Заметив, что мисс Волюмния встает, косясь на свечи для спален, сэр Лестер вежливо предупреждает ее желание, проходит через всю гостиную, приносит свечу и зажигает ее от лампы миледи, покрытой абажуром.

– Я должен попросить вас, миледи, – говорит он, зажигая свечу, – остаться здесь на несколько минут, ибо тот человек, о котором я только что говорил, приехал сегодня незадолго до обеда и попросил в очень учтиво составленной записке, – сэр Лестер, со свойственной ему правдивостью, подчеркивает это, – нельзя не сознаться, в очень учтиво и надлежащим образом составленной записке, попросил вас и *меня* уделить ему немного времени для каких-то переговоров относительно этой девушки. Он, кажется, собирается уехать сегодня вечером, поэтому я ответил, что мы примем его перед отходом ко сну.

Мисс Волюмния в третий раз взвизгивает и убегает, пожелав хозяевам… о господи!.. поскорей отделаться от этого, как его?.. железных дел мастера!

Остальные родственники вскоре расходятся, все до одного. Сэр Лестер звонит в колокольчик.

– Передайте привет мистеру Раунсуэллу, – он сейчас в комнате домоправительницы, – и скажите ему, что теперь я

могу его принять.

Миледи до сих пор слушала его как будто чуть-чуть внимательно, а сейчас она смотрит на мистера Раунсуэлла, который входит в гостиную. Ему, вероятно, лет за пятьдесят; он хорошо сложен – весь в мать; голос у него звучный, лоб широкий, волосы темные, уже сильно поредевшие на темени; лицо открытое, обличающее острый ум. Это представительный джентльмен в черном костюме, пожалуй, несколько дородный, но крепкий и энергичный. Он держит себя совершенно естественно и непринужденно и ничуть не растерялся от того, что попал в высший свет.

– Сэр Лестер и леди Дедлок, я уже извинился за свою навязчивость, а сейчас чем короче я буду говорить, тем лучше. Благодарю вас, сэр Лестер.

Старший в роде Дедлоков делает жест в сторону дивана, стоящего между ним и миледи. Мистер Раунсуэлл спокойно садится на этот диван.

– В теперешние деловые времена, когда возникло много крупных предприятий, у нашего брата заводчика повсюду разбросано столько рабочих, что нам не сидится на месте – вечно куда-то спешим.

Сэр Лестер не против того, чтобы «железных дел мастер» почувствовал, как не спешат здесь… здесь, в этом старинном доме, утонувшем в тихом парке, где у плюша и мхов хватило времени разрастись с буйной пышностью; где кривые узловатые вязы и густолиственные дубы глубоко погружены

в заросли папоротника и столетний слой опавших листьев; где солнечные часы на террасе веками безмолвно отмечают время, которое так же безраздельно принадлежало каждому Дедлоку, – пока он был жив, – как принадлежали ему дом и земли. Сэр Лестер садится в кресло, противопоставляя свой покой и покой Чесни-Уолда беспокойной спешке всяких там «железных дел мастеров».

– Леди Дедлок была так добра, – продолжает мистер Раунсуэлл, почтительно глядя и наклоняясь в сторону миледи, – что приблизила к себе одну молоденькую красотку; я говорю о Розе. Дело в том, что мой сын влюбился в Розу и попросил у меня разрешения посвататься к ней и обручиться с нею, если, конечно, она согласится выйти за него… а она, сдается мне, согласна. Я никогда не видал Розы – до нынешнего дня, – но сын мой, я бы сказал, малый не безрассудный… даже когда влюблен. И вот теперь я вижу, что, насколько я могу судить, она как раз такая, какой он ее описывал; да и матушка моя ею не нахвалится.

– Она этого заслуживает во всех отношениях, – говорит миледи.

– Очень рад, леди Дедлок, что вы изволили так выразиться, – незачем и говорить, как ценно для меня ваше доброе мнение о ней.

– Это, – вставляет сэр Лестер с невыразимо величественным видом, ибо он находит «железных дел мастера» излишне фамильярным, – это совершенно не относится к делу.

– Совершенно не относится, сэр Лестер. Мой сын еще мальчик, да и Роза еще девочка. Я сам пробил себе дорогу и хочу, чтобы сын мой тоже пробился сам; значит, сейчас об этом браке не может быть и речи. Но допустим, что я разрешу сыну стать женихом этой красотки, если красотка согласна стать его невестой; тогда мне придется откровенно сказать сразу – и вы, сэр Лестер и леди Дедлок, конечно, извините и поймете меня, – что я дам согласие лишь при одном условии: девушка должна будет уехать из Чесни-Уолда. Поэтому, раньше чем окончательно ответить сыну, я позволю себе сказать вам, что, если ее отъезд окажется в каком-нибудь отношении неудобным или нежелательным для вас теперь, я, насколько возможно, отложу свой ответ, и пусть все пока останется без изменений.

Должна уехать из Чесни-Уолда! Ставить условия! Все давние опасения, связанные с Уотом Тайлером и людьми из «железных округов», которые только и делают, что шляются при свете факелов, – все эти давние опасения внезапно обрушиваются на голову сэра Лестера, и его красивые седые волосы и бакенбарды чуть не встают дыбом от негодования.

– Должен ли я понять, сэр, – говорит сэр Лестер, – и должна ли понять миледи, – он сознательно вовлекает ее в беседу, во-первых, из учтивости, во-вторых, из осторожности, ибо привык полагаться на ее благоразумие, – должен ли я понять, мистер Раунсуэлл, и должна ли миледи понять ваши слова, сэр, в том смысле, что эта девушка слишком хороша

для Чесни-Уолда или что, оставаясь здесь, она может потерпеть какой-либо ущерб?

– Конечно, нет, сэр Лестер.

– Рад слышать.

Сэр Лестер принимает чрезвычайно высокомерный вид.

– Прошу вас, мистер Раунсуэлл, – говорит миледи, отмахиваясь от сэра Лестера, как от мухи, легчайшим движением прекрасной руки, – объясните мне, что именно вы хотите сказать.

– Охотно, леди Дедлок. Этого самого желаю и я.

Миледи, невозмутимо повернувшись лицом, – а лицо это отражает ум слишком живой и острый, чтобы его могло скрыть заученное выражение бесстрастия, как оно ни привычно, – миледи, повернувшись лицом к посетителю, типичному англосаксу, чьи резкие черты отражают решимость и упорство, внимательно слушает его, время от времени наклоняя голову.

– Я сын вашей домоправительницы, леди Дедлок, и детство провел по соседству с этим домом. Матушка моя прожила здесь полстолетия; здесь и умрет, очевидно. Будучи простого звания, она подает пример, и очень яркий пример, любви, привязанности, верности, словом чувств, которыми Англия законно может гордиться; однако эти чувства не являются привилегией и заслугой какого-то одного общественного слоя и в данном случае порождены прекрасными качествами, которыми обладают обе стороны – высшая, бесспор-

но, и столь же бесспорно, низшая.

Выслушав изложение этих принципов, сэр Лестер издает легкое фырканье, но чувство чести и любовь к истине заставляют его полностью, хотя и молчаливо, признать правоту «железных дел мастера».

– Прошу прощенья за то, что ломлюсь в открытую дверь, – мистер Раунсуэлл чуть поводит глазами в сторону сэра Лестера, – но мне не хочется подавать повода к поспешному заключению, что я стыжусь положения своей матери в этом доме или не питаю должного уважения к Чесни-Уолду и его владельцам. Я мог бы, конечно, пожелать, и я, конечно, желал, леди Дедлок, чтобы матушка, прослужив столько лет, уволилась и провела последние годы жизни со мной. Но я понял, что, порвав столь крепкие узы, разобью ей сердце, и давно уже отказался от этой мысли.

Сэр Лестер снова принимает величественный вид – подумать только, что можно упросить миссис Раунсуэлл, чтобы она бросила тот единственный дом, в котором ей следует жить, и свои последние годы провела у какого-то «железных дел мастера»!

– Я был фабричным учеником, – продолжает посетитель скромным и искренним тоном, – я был рабочим. Многие годы я жил на заработок простого рабочего, и я почти что самоучка. Моя жена – дочь мастера и воспитывалась по-простому. Кроме сына, о котором я уже говорил, у нас есть три дочери, и так как мы, к счастью, имели возможность дать им

больше, чем получили сами, то мы и дали им хорошее, очень хорошее образование. Мы всеми силами старались воспитать их так, чтобы они были достойны войти в любое общество.

В этом отцовском признании звучит легкое хвастовство, как будто посетитель добавил про себя: «Достойны войти даже в общество Чесни-Уолда». И сэр Лестер принимает еще более величественный вид, чем раньше.

– В наших местах и в нашей среде, леди Дедлок, подобных случаев сколько угодно, и у нас так называемые неравные браки менее редки, чем в других слоях общества. Бывает, например, что сын признается отцу в своей любви к девушке, которая работает у них на заводе. Отец и сам когда-то работал на заводе, однако на первых порах он, возможно, будет недоволен. Может быть, у него были другие виды на будущее сына. Но вот он удостоверился, что девушка ведет себя безупречно, и тогда он, скорее всего, скажет сыну примерно следующее: «Сначала я должен убедиться, что ты ее любишь по-настоящему. Ведь это для вас обоих дело нешуточное. Подожди два года, а я за это время дам образование твоей милой». Или, скажем, так: «Я на такой-то срок помещу девушку в ту школу, где учатся твои сестры, а ты дай мне честное слово, что будешь встречаться с нею не чаще чем столько-то раз в год. Если к концу этого срока окажется, что учил я ее не зря и вы с ней теперь сравнялись по образованию, и если вы оба не передумаете, то я помогу вам по мере

сил». Я знаю несколько таких случаев, миледи, и думаю, что они указывают мне путь.

Величественная сдержанность сэра Лестера взрывается… спокойно, но грозно.

– Мистер Раунсуэлл, – вопрошает сэр Лестер, заложив правую руку за борт синего сюртука и принимая торжественную позу – ту самую, в какой он изображен на портрете, висящем в галерее, – неужели вы проводите параллель между Чесни-Уолдом и… – он задыхается, но овладевает собой, – и… заводом?

– Нет нужды говорить, сэр Лестер, что между Чесни-Уолдом и заводом нет ничего общего, но в данном случае между ними, по-моему, прекрасно можно провести параллель.

Сэр Лестер окидывает величественным взглядом всю продолговатую гостиную из конца в конец и только тогда убеждается, что эти слова он услышал не во сне, а наяву.

– А вы знаете, сэр, что девушка, которую миледи – сама миледи! – приблизила к себе, училась в деревенской школе вот здесь, за воротами нашего парка?

– Я отлично это знаю, сэр Лестер. Школа очень хорошая, и владельцы Чесни-Уолда щедро ее поддерживают.

– В таком случае, мистер Раунсуэлл, – говорит сэр Лестер, – мне непонятно, к чему относятся ваши слова.

– Будет ли вам понятней, сэр Лестер, – и владелец железоделательного завода слегка краснеет, – если я скажу, что не считаю образование, полученное в деревенской школе, до-

статочным для жены моего сына?

От чесни-уолдской деревенской школы, – хотя в данную минуту она и не затронута, – ко всему общественному строю в целом; от всего общественного строя в целом к тому обстоятельству, что упомянутый строй трещит по всем швам, так как некоторые субъекты (железных дел мастера, свинцовых дел мастерицы и прочие) не сидят смирно, но выходят из рамок своего звания (а по крутой логике сэра Лестера, люди обязаны до самой смерти оставаться в том звании, в каком они родились); от этого обстоятельства к тому, что подобные субъекты подстрекают других людей выходить из рамок их звания и, таким образом, уничтожать межи, открывать шлюзы и прочее и тому подобное – вот направление быстротекущих мыслей в дедлоковском уме.

– Простите, миледи. Позвольте мне… одну минуту. – Миледи как будто собиралась заговорить. – Мистер Раунсуэлл, наши взгляды на нравственный долг, наши взгляды на общественное положение, наши взгляды на воспитание, наши взгляды на… короче говоря, все наши взгляды столь диаметрально противоположны, что продолжать этот разговор будет неприятно как вам, так и мне. Девушка облагодетельствована вниманием и милостью миледи. Если она желает уклониться от этого внимания и милости, или если она желает поддаться влиянию кого-либо, кто в соответствии со своими необычными взглядами, вы позволите мне выразиться: в соответствии со своими необычными взглядами, хотя

я охотно признаю, что он не обязан всегда соглашаться со мною, – кто в соответствии со своими необычными взглядами заставил ее уклониться от этого внимания и милости, то она вольна уклониться от них, когда ей заблагорассудится. Мы признательны вам за ту прямоту, с какою вы говорили. Это никак не повлияет на положение девушки в нашем доме. Но никаких условий мы заключать не можем и просим вас: будьте любезны покончить с этим предметом.

Посетитель молчит, чтобы дать возможность миледи высказаться, но она не говорит ни слова. Тогда он поднимается и отвечает:

– Сэр Лестер и леди Дедлок, разрешите мне поблагодарить вас за внимание и добавить только, что я буду очень серьезно советовать сыну побороть его увлечение. Спокойной ночи.

– Мистер Раунсуэлл, – говорит сэр Лестер с любезностью настоящего джентльмена, – сейчас уже поздно; не следует пускаться в путь в такую темень. Как бы вам ни было дорого время, позвольте миледи и мне предложить вам наше гостеприимство и хотя бы сегодня переночуйте в Чесни-Уолде.

– Надеюсь, вы согласитесь, – добавляет миледи.

– Я очень вам признателен, но мне нужно утром попасть вовремя в одно место, а оно так далеко отсюда, что придется ехать всю ночь.

Владелец железоделательного завода прощается, сэр Лестер звонит, миледи встает и уходит.

Вернувшись в свой будуар, миледи садится у камина и сидит в задумчивости, не прислушиваясь к шагам на Дорожке призрака и глядя на Розу, которая что-то пишет в соседней комнате. Но вот миледи зовет ее:

– Поди сюда, девочка моя. Скажи мне правду. Ты влюблена?

– Ах! Миледи!

Миледи смотрит на опущенную головку, на краснеющее личико и говорит, улыбаясь:

– А кто он? Внук миссис Раунсуэлл?

– Да, миледи, с вашего позволения. Но я не знаю, люблю ли я его… еще не знаю.

– Еще не знаешь, глупышка! А ты знаешь, что он уже любит тебя?

– Кажется, я ему немножко нравлюсь, миледи.

И Роза заливается слезами.

Неужели это леди Дедлок стоит рядом с деревенской красавицей, матерински поглаживая ее темноволосую головку, и смотрит на нее с таким задумчивым сочувствием? Да, это действительно она.

– Послушай, дитя мое. Ты молода и правдива, и я верю, что ты ко мне привязана.

– Очень, миледи. Чего бы я только не сделала, чтобы доказать, как глубоко я к вам привязана.

– И, мне кажется, тебе пока еще не хочется расстаться со мной, Роза, даже ради своего милого?

– Нет, миледи! Конечно, нет!

Роза только теперь подняла глаза, испуганная одной лишь мыслью о разлуке с миледи.

– Доверься мне, дитя мое. Не бойся меня. Я хочу, чтобы ты была счастлива, и сделаю тебя счастливой… если только могу хоть кому-нибудь на свете дать счастье.

Роза, снова заливаясь слезами, опускается на колени у ног миледи и целует ей руку. Миледи удерживает руку Розы в своих руках и, заглядевшись на пламя, перекладывает ее с ладони на ладонь, но вскоре медленно роняет. Она глубоко задумалась, и Роза, видя это, тихонько уходит; но глаза миледи по-прежнему устремлены на пламя.

Чего они ищут там? Руки ли, которой уже нет; руки, которой никогда не было; прикосновения, которое, как по волшебству, могло бы изменить всю ее жизнь? Или миледи прислушивается к глухим шумам на Дорожке призрака и спрашивает себя, чьи шаги они напоминают? Шаги мужчины? Женщины? Топот детских ножек, что подбегают все ближе… ближе… ближе? Скорбь овладела ею; иначе зачем бы столь гордой леди запирать двери и сидеть одной у огня в таком отчаянии?

На другой день Волюмния уезжает, да и прочие родственники разъезжаются еще до обеда. И нет среди всей родни человека, который не изумился бы, услышав за первым завтраком, как сэр Лестер рассуждает об уничтожении меж, открывании шлюзов и трещинах в общественном строе, обвиняя

в них сына миссис Раунсуэлл. Нет среди всей родни человека, который не высказал бы своего искреннего возмущения, объяснив все это слабостью пришедшего к власти Уильяма Баффи, и не почувствовал бы себя коварно и несправедливо лишенным подобающего места в стране… или пенсии… или чего-нибудь в этом роде… А Волюмния, та разглагольствует на эту тему, спускаясь под руку с сэром Лестером по огромной лестнице и пылая таким красноречивым негодованием, словно вся Северная Англия подняла восстание только затем, чтобы отобрать у нее банку с румянами и жемчужное ожерелье.

Так, под шумную суету лакеев и горничных, – ибо, как ни трудно бедной родне содержать самое себя, она волей-неволей обязана держать лакеев и горничных, – так разлетаются родственники по всем четырем ветрам, а тот зимний ветер, что дует сегодня, стряхивает столько листьев с деревьев, растущих близ опустевшего дома, что чудится, будто это родственники превратились в листья.

Глава XXIX
Молодой человек

Дом в Чесни-Уолде заперт; ковры скатаны и стоят огромными свитками в углах неуютных комнат; яркий штоф, принося покаяние, облекся в чехлы из сурового полотна; резьба и позолота умерщвляют свой блеск, а предки Дедлоков вновь лишены дневного света. Листья вокруг дома все падают и падают, – густо, но не быстро, ибо опускаются они кругами с безжизненной легкостью, унылой и медлительной. Тщетно садовник все подметает и подметает лужайку, туго набивает листьями тачки и катит их прочь, листья все-таки лежат толстым слоем, в котором можно увязнуть по щиколотку. Воет резкий ветер в парке Чесни-Уолда, стучит по крышам холодный дождь, дребезжат окна, и что-то рычит в дымоходах. Туманы прячутся в аллеях, заволакивают дали и похоронной процессией ползут по склонам холмов. Во всем доме, словно в заброшенной церковке, пахнет нежилым холодом, – только здесь не так сыро, – и чудится, будто всю длинную ночь мертвые и погребенные Дедлоки бродят по комнатам, распространяя запах тления.

Зато лондонский дом, настроение которого почти никогда не совпадает с настроением Чесни-Уолда, ибо лишь редко бывает, чтоб один ликовал, когда ликует другой, или один

прослезился, когда другой льет слезы, – не считая тех случаев, когда умирает кто-нибудь из Дедлоков, – лондонский дом сияет, пробужденный к жизни. Теплый и веселый, насколько это доступно столь пышному великолепию, нежно благоухающий самыми сладостными, самыми знойными – отнюдь не зимними – ароматами, какие только могут исходить от оранжерейных цветов; такой безмолвный, что одно лишь тиканье часов да потрескиванье дров в каминах нарушают тишину комнат, он как бы кутает промерзшего до костей сэра Лестера в шерсть всех цветов радуги. И сэру Лестеру приятно возлежать в величавом довольстве перед огнем, ярко пылающим в библиотеке, и снисходительно пробегать глазами по корешкам своих книг или удостоивать одобрительным взглядом произведения изящных искусств. Ибо сэр Лестер обладает собранием картин, старинных и современных. У него есть и картины так называемой «Маскарадной школы», до которой Искусство снисходит лишь редко, а описывать их лучше всего в том стиле, в каком составляются каталоги разнообразных предметов на аукционе. Как, например: «Три стула с высокими спинками, стол со скатертью, бутылка с длинным горлышком (в бутылке вино), одна фляжка, один женский испанский костюм, портрет в три четверти натурщицы мисс Джог, набор доспехов, содержащий Дон Кихота». Или: «Одна каменная терраса (с трещинами), одна гондола на заднем плане, одно полное облачение венецианского сенатора, богато расшитый белый атласный костюм с портре-

том в профиль натурщицы мисс Джог, одна кривая сабля в роскошных золоченых ножнах с рукоятью, выложенной драгоценными камнями, изысканный костюм мавра (очень редкий) и Отелло».

Мистер Талкингхорн бывает здесь довольно часто, так как он сейчас занимается разными имущественными делами Дедлоков, как, например, возобновлением арендных договоров и тому подобным. С миледи он тоже встречается довольно часто, и оба они все так же бесстрастны, все так же невозмутимы, все так же почти не обращают внимания друг на друга. Возможно, однако, что миледи боится этого мистера Талкингхорна и что он об этом знает. Возможно, что он преследует ее настойчиво и упорно, без тени сожаления, угрызений совести или сострадания. Возможно, что ее красота и окружающие ее пышность и блеск только разжигают его интерес к тому, что он предпринял, только укрепляют его намерения. Холоден ли он или жесток; непреклонен ли, когда выполняет то, что считает своим долгом; охвачен ли жаждой власти; решил ли докопаться до последней тайны, погребенной в той почве, где он всю жизнь рылся в поисках тайн; презирает ли в глубине души то великолепие, слабым отблеском которого является сам; копит ли в себе обиды и мелкие оскорбления, нанесенные ему под маской приветливости его высокопоставленными клиентами, – словом, движет ли им лишь одна из этих побудительных причин или все вместе, но возможно, что для миледи было бы лучше, если

бы в нее впились с бдительным недоверием пять тысяч пар великосветских глаз, чем лишь два глаза этого старосветского поверенного в помятом галстуке жгутом и в тускло-черных коротких штанах, перехваченных лентами у колен.

Сэр Лестер сидит в комнате миледи – той самой, где мистер Талкингхорн однажды читал свидетельские показания, приобщенные к делу «Джарндисы против Джарндисов», – и сегодня он особенно самодоволен. Миледи, – как и в тот день, – сидит перед камином, обмахиваясь ручным экраном. Сэр Лестер сегодня особенно самодоволен потому, что нашел в своей газете несколько замечаний, совпадающих с его взглядами на «шлюзы» и «рамки» общественного строя. Эти заметки имеют столь близкое отношение к недавнему разговору в Чесни-Уолде, что сэр Лестер пришел из библиотеки в комнату миледи специально для того, чтобы прочесть их вслух.

– Человек, написавший эту статью, обладает уравновешенным умом, – говорит он вместо предисловия, кивая огню с таким видом, словно поднялся на вершину горы и оттуда кивает автору статьи, который стоит у подножия, – да, уравновешенным умом.

Однако ум автора, видимо, не настолько уравновешен, чтобы не наскучить миледи, и, томно попытавшись слушать или, вернее, томно покорившись необходимости притвориться слушающей, она погружается в созерцание пламени, словно это пламя ее камина в Чесни-Уолде, откуда она и

не уезжала. Не подозревая об этом, сэр Лестер читает, приложив к глазам лорнет, но время от времени опускает его и прерывает чтение, чтобы выразить одобрение автору такими, например, замечаниями: «Совершенно справедливо», «Весьма удачно выражено», «Я сам нередко высказывал подобное мнение»; при этом он после каждого замечания неизменно забывает, где остановился, теряет последнюю строчку и в ее поисках снова пробегает глазами весь столбец.

Сэр Лестер читает с бесконечной серьезностью и важностью; но вот дверь открывается, и Меркурий в пудреном парике докладывает о приходе посетителя в следующих, необычных для него выражениях:

– Молодой человек, миледи, некий Гаппи.

Сэр Лестер умолкает и, бросив на него изумленный взгляд, повторяет убийственно холодным тоном:

– Молодой человек? Некий Гаппи?

Оглянувшись, он видит молодого человека: некий Гаппи совершенно растерялся и ни своим видом, ни манерами не внушает особого уважения.

– Послушайте, – обращается сэр Лестер к Меркурию, – почему вы позволяете себе приводить сюда, без надлежащего доклада, какого-то молодого человека… некоего Гаппи?

– Простите, сэр Лестер, но миледи изволила сказать, что примет этого молодого человека в любое время – когда бы он ни пришел. Я не знал, что вы здесь, сэр Лестер.

Оправдываясь, Меркурий бросает презрительный и воз-

мущенный взгляд на молодого человека, некоего Гаппи, как бы желая сказать: «Безобразие! Ворвался сюда и подложил мне свинью».

– Он не виноват. Так я ему приказывала, – говорит миледи. – Попросите молодого человека подождать.

– Пожалуйста, не беспокойтесь, миледи. Если вы сами велели ему явиться, я не стану мешать.

Сэр Лестер вежливо удаляется и, выходя из комнаты, не отвечает на поклон молодого человека, в надменной уверенности, что это какой-то назойливый башмачник.

После ухода лакея леди Дедлок, бросив властный взгляд на посетителя, окидывает его глазами с головы до ног. Он стоит у дверей, но она не приглашает его подойти ближе – только спрашивает, что ему угодно.

– Мне желательно, чтобы ваша милость соблаговолили немного побеседовать со мной, – отвечает мистер Гаппи в смущении.

– Вы, очевидно, тот человек, который написал мне столько писем?

– Несколько, ваша милость. Пришлось написать несколько, прежде чем ваша милость удостоили меня ответом.

– А вы не можете вместо беседы написать еще письмо? А?

Мистер Гаппи складывает губы в беззвучное «нет!» и качает головой.

– Вы удивительно навязчивы. Если в конце концов все-таки окажется, что ваше сообщение меня не касается, – а я

не понимаю, как оно может меня касаться, и не думаю, что касается, – я позволю себе прервать вас без дальнейших церемоний. Извольте говорить.

Небрежно взмахнув ручным экраном, миледи снова поворачивается к камину и садится чуть ли не спиной к молодому человеку, некоему Гаппи.

– С позволения вашей милости, – начинает молодой человек, – я сейчас изложу свое дело. Хм! Как я уже предуведомил вашу милость в своем первом письме, я служу по юридической части. И вот, служа по юридической части, я привык не выдавать себя ни в каких документах, почему и не сообщил вашей милости, в какой именно конторе я служу, хотя мое служебное положение – и жалованье тоже, – в общем, можно назвать удовлетворительными. Теперь же я могу открыть вашей милости, разумеется конфиденциально, что служу я в конторе Кенджа и Карбоя в Линкольнс-Инне, и, быть может, она небезызвестна вашей милости, поскольку ведет дела, связанные с тяжбой «Джарндисы против Джарндисов», которая разбирается в Канцлерском суде.

Миледи как будто начинает проявлять некоторое внимание. Она перестала обмахиваться ручным экраном и держит его неподвижно, должно быть прислушиваясь к словам молодого человека.

– Вот что, ваша милость, – говорит мистер Гаппи, немного осмелев, – лучше уж я сразу скажу, что дело, которое привело меня сюда, не имеет никакого отношения к тяжбе Джарн-

дисов, – не из-за нее так стремился я поговорить с вашей милостью; а потому мое поведение, конечно, казалось и кажется навязчивым… оно, в сущности, даже похоже на вымогательство. – Подождав минутку, чтобы получить уверение в противном, но не дождавшись, мистер Гаппи продолжает: – Будь это по поводу тяжбы Джарндисов, я немедленно обратился бы к поверенному вашей милости, мистеру Талкингхорну, проживающему на Линкольновых полях. Я имею удовольствие знать мистера Талкингхорна, – по крайней мере мы при встречах обмениваемся поклонами, – и будь это такого рода дело, я обратился бы к нему.

Миледи слегка поворачивает голову и говорит:

– Можете сесть.

– Благодарю, ваша милость. – Мистер Гаппи садится. – Итак, ваша милость, – мистер Гаппи справляется по бумажке, на которой сделал краткие заметки по своему докладу, но, по-видимому, ничего в ней не может понять, сколько бы он на нее ни смотрел. – Я… да!.. Я целиком отдаюсь в руки вашей милости. Если ваша милость найдет нужным пожаловаться на меня Кенджу и Карбою или мистеру Талкингхорну за то, что я сегодня пришел сюда, я попаду в прескверное положение. Это я признаю откровенно. Следовательно, я полагаюсь на благородство вашей милости.

Презрительным движением руки, сжимающей экран, миледи заверяет посетителя, что он не стоит ее жалоб.

– Благодарю, ваша милость, – говорит мистер Гаппи, –

я вполне удовлетворен. А теперь… я… ах, чтоб его! Дело в том, что у меня тут записаны два-три пункта насчет тех вопросов, которые я собирался затронуть, но записаны они вкратце, и я никак не могу разобрать, что к чему. Извините, пожалуйста, ваша милость, я только на минуточку поднесу записку к окну, и…

Идя к окну, мистер Гаппи натыкается на клетку с двумя маленькими попугаями и в замешательстве говорит им: «Простите, пожалуйста!» Но от этого заметки его не становятся разборчивее. Он что-то бормочет, потеет, краснеет и то подносит бумажку к глазам, то читает ее издали, держа в вытянутой руке. «З. С.? К чему тут З. С.? А-а! Э. С.! Понимаю! Ну да, конечно!» И он возвращается просветленный.

– Не знаю, случалось ли вашей милости слыхать об одной молодой леди, – говорит мистер Гаппи, останавливаясь на полпути между миледи и своим стулом, – или, может быть, даже видеть одну молодую леди, которую зовут мисс Эстер Саммерсон?

Миледи смотрит ему прямо в лицо.

– Я как-то встретила девушку, которая носит эту фамилию, и – не так давно. Прошлой осенью.

– Так; а не показалось ли вашей милости, что она на кого-то похожа? – спрашивает мистер Гаппи, скрестив руки, наклонив голову вбок и почесывая угол рта своей памятной запиской.

Миледи не отрывает от него глаз.

– Нет.

– Может, она похожа на кого-либо из родственников вашей милости?

– Нет.

– Я думаю, ваша милость, – говорит мистер Гаппи, – вы, очевидно, вряд ли помните лицо мисс Саммерсон.

– Я прекрасно помню эту девушку. Но что все это значит и какое мне до этого дело?

– Ваша милость, могу вас уверить, что образ мисс Саммерсон запечатлен в моем сердце – о чем сообщаю конфиденциально, – а когда я имел честь осматривать дворец вашей милости в Чесни-Уолде, – это в тот день, когда мы с приятелем ненадолго махнули в графство Линкольншир, – я тогда увидел столь разительное сходство между мисс Эстер Саммерсон и портретом вашей милости, что был прямо-таки ошарашен, да так, что в тот момент даже не понял, почему я так ошарашен. А теперь, когда я имею честь лицезреть вашу милость вблизи (с того дня я нередко позволял себе разглядывать вашу милость, когда вы катались в карете по парку и, осмелюсь сказать, не замечали моего присутствия, но я никогда не видел вашей милости так близко), – а теперь я до того изумлен этим сходством, – просто сверх всякого ожидания.

Молодой человек, некий Гаппи! Были времена, когда леди жили в укрепленных замках, а при них состояла свита, готовая выполнить без зазрения совести любое их приказа-

ние, и в те времена жалкая ваша жизнь и гроша бы не стоила, если бы эти прекрасные глаза смотрели на вас так, как они смотрят сейчас.

Неторопливо обмахиваясь маленьким ручным экраном, как веером, миледи снова спрашивает посетителя: как он думает, какое ей дело до его интереса к сходствам?

– Сейчас объясню, ваша милость, – отвечает мистер Гаппи, снова углубляясь в свою бумажку. – Провалиться ей, этой бумажонке! Ага! «Миссис Чедбенд». Да! – Мистер Гаппи придвигает свой стул и опять садится. Миледи откидывается на спинку кресла совершенно спокойно, но, пожалуй, с чуть-чуть менее непринужденной грацией, чем обычно, и не сводит пристального взгляда с посетителя. – Ага… хотя погодите минутку! – Мистер Гаппи снова справляется по бумажке. – Э. С. два раза? Ну да, конечно! Теперь я во всем разобрался!

Мистер Гаппи свернул бумажку трубочкой и, вонзая ее в воздух всякий раз, как хочет подчеркнуть свои слова, продолжает:

– Ваша милость, рождение и воспитание мисс Эстер Саммерсон окутаны загадочным мраком неизвестности. Я это знаю потому, – говорю конфиденциально, – что я в связи с этим выполнял кое-какие служебные обязанности у Кенджа и Карбоя. Вся суть в том, что, как я уже заявлял вашей милости, образ мисс Саммерсон запечатлен в моем сердце. Сумей я, ради ее же пользы, рассеять этот загадочный мрак или до-

казать, что у нее есть знатная родня, или обнаружить, что она имеет честь принадлежать к отдаленной ветви рода вашей милости, а значит, имеет право сделаться истицею в тяжбе «Джарндисы против Джарндисов», тогда… ну что ж, тогда я мог бы до некоторой степени претендовать на то, чтобы мисс Саммерсон посмотрела на мое предложение более благосклонным взором, чем она смотрела до сих пор. По правде сказать, она до сего времени смотрела на меня отнюдь не благосклонно.

Что-то вроде гневной улыбки промелькнуло по лицу миледи.

– Засим случилось одно весьма странное стечение обстоятельств, ваша милость, – говорит мистер Гаппи, – впрочем, с подобными случаями нам, юристам, иной раз приходится сталкиваться, – а я имею право называть себя юристом, ибо, хотя еще не утвержден, но Кендж и Карбой преподнесли мне свидетельство об окончании обучения, а моя мамаша взяла из своего маленького капитала и внесла деньги на гербовую марку, что обошлось недешево, – повторяю, произошло весьма странное стечение обстоятельств, а именно: я случайно встретил одну особу, жившую в услужении у некоей леди, которая воспитывала мисс Саммерсон, прежде чем мистер Джарндис взял ее на свое попечение. Эту леди звали мисс Барбери, ваша милость.

Быть может, лицо миледи кажется мертвенным оттого, что она, забывшись, подняла руку и недвижно держит перед

собой экран, а он обтянут шелком зеленого цвета; а может быть, миледи внезапно побледнела как смерть?

– Ваша милость, – продолжает мистер Гаппи, – вы когда-нибудь изволили слыхать о мисс Барбери?

– Не помню. Кажется, слышала. Да.

– Мисс Барбери была в родстве с семейством вашей милости?

Губы миледи шевелятся, но, не издав ни звука, она качает головой.

– *Не* была в родстве? – говорит мистер Гаппи. – Вот как! Но, может, ваша милость об этом не осведомлены? Ага! Значит, возможно, что и была? Так, так. – После каждого из этих вопросов миледи наклоняла голову. – Прекрасно! Далее, эта мисс Барбери была особой чрезвычайно замкнутой… судя по всему, необыкновенно замкнутой для женщины, – ведь женщины (во всяком случае, не знатные) обычно не прочь посудачить, – так что моя свидетельница не знает, были ли у мисс Барбери родственники. Раз, но только раз, она как будто доверилась моей свидетельнице в одном-единственном вопросе и тогда сказала ей, что по-настоящему девочку нужно бы называть не Эстер Саммерсон, но Эстер Хоудон.

– Боже!

Мистер Гаппи широко раскрывает глаза. Леди Дедлок, пронизывая его взглядом, сидит перед ним, все такая же мрачная, в той же самой позе, так же стиснув пальцами ручку экрана, чуть приоткрыв рот и слегка сдвинув брови, но

– как мертвая. Всего лишь миг спустя он видит, как возвращается к ней сознание: видит, как трепет пробегает по ее телу, словно рябь по воде; видит, как дрожат ее губы и как она сжимает их огромным усилием воли; видит, как она заставляет себя вновь осознать его присутствие и понять его слова. Она овладела собой мгновенно, а ее восклицание и обморок были, но сгинули, как труп, который сохранялся очень долго, а как только разрыли могилу и его коснулся воздух, рассыпался в прах.

– Вашей милости знакома фамилия Хоудон?

– Я слышала ее когда-то.

– Это фамилия какой-нибудь боковой или отдаленной ветви вашего рода?

– Нет.

– А теперь, ваша милость, – говорит мистер Гаппи, – я перехожу к последнему пункту этого дела, насколько я его расследовал. Дело подвигается, и я скоро докопаюсь до сути. Да будет известно вашей милости, – а может, вашей милости почему-либо уже известно, – что некоторое время тому назад в доме некоего Крука, проживающего близ Канцлерской улицы, нашли мертвым одного переписчика юридических документов, почти нищего. О смерти упомянутого переписчика производилось дознание, и оказалось, что упомянутый переписчик носил вымышленное имя, а настоящее его имя осталось неизвестным. Но я, ваша милость, на днях разузнал, что фамилия переписчика – Хоудон.

– Но какое мне дело *до этого?*

– Да, ваша милость, в том-то и весь вопрос! Засим, ваша милость, после смерти этого человека произошло странное событие. Какая-то леди… переодетая леди, ваша милость, пошла посмотреть на место происшествия, а также на могилу переписчика. Она наняла мальчишку-метельщика, чтобы тот ей все это показал. Если ваша милость желает, чтобы мальчишку привели сюда для подтверждения моих слов, я когда угодно его отыщу.

Бедный мальчишка ни капельки не интересует миледи, и она *ничуть* не желает, чтобы его приводили.

– Да, ваша милость, все это действительно чересчур странно, – говорит мистер Гаппи. – Послушали бы вы, как мальчишка рассказывал про кольца, что засверкали у нее на пальцах, когда она сняла перчатку, подумали бы – роман, да и только!

На руке, в которой миледи держит экран, поблескивают бриллианты. Она обмахивается экраном, и бриллианты блестят еще ослепительней; а у нее опять такое лицо, что, живи они оба в другие времена, большой опасности подвергся бы молодой человек, некий Гаппи.

– Считалось, ваша милость, что покойник не оставил после себя ни клочка, ни обрывка бумаги, по которым можно было бы установить его личность. Однако он все же оставил кое-что. Пачку старых писем.

Экран колеблется по-прежнему. За все это время миледи

ни на миг не отводила глаз от мистера Гаппи.

– Письма были взяты и спрятаны. А завтра вечером, ваша милость, они попадут в мои руки.

– Я спрашиваю вас еще раз, какое мне дело до всего этого?

– Сейчас объясню, ваша милость, и этим закончу наш разговор. – Мистер Гаппи встает. – Если вы полагаете, что цепь всех этих обстоятельств, сопоставленных одно с другим, а именно: бесспорное разительное сходство этой молодой леди с вашей милостью, что для присяжных служит положительным доказательством; воспитание молодой леди у мисс Барбери; признание мисс Барбери, что по-настоящему молодая леди должна была бы носить фамилию Хоудон, а не Саммерсон; то обстоятельство, что вашей милости *очень хорошо* известны обе эти фамилии, а также условия, в каких умер Хоудон, – повторяю, если вы полагаете, что цепь этих обстоятельств требует дальнейшего расследования дела в семейных интересах вашей милости, я принесу документы сюда. Я не знаю их содержания, знаю только, что это старые письма. Они еще не были у меня в руках. Я принесу их сюда, как только достану, и здесь впервые просмотрю их вместе с вашей милостью. Я уже говорил вашей милости, к какой цели стремлюсь. Я говорил вашей милости, что попаду в прескверное положение, если на меня поступит жалоба, так что все это – строго конфиденциально.

Полностью ли раскрыл свои планы молодой человек, некий Гаппи, или он преследует какую-то другую цель? Вы-

ражают ли его слова всю глубину, длину и ширину его намерений и подозрений, побудивших его прийти сюда; а если нет, так о чем же он умолчал? Сейчас он достойный противник миледи. Конечно, она вольна впиться в него глазами, зато он волен вперить свой взор в стол, не допуская, чтобы его свидетельская физиономия выразила хоть что-нибудь.

– Можете принести письма, – говорит миледи, – если уж вам так хочется.

– Честное слово, ваша милость, не очень-то вы меня поощряете, – отзывается мистер Гаппи, немного обиженный.

– Можете принести письма, – повторяет миледи тем же тоном, – если… вам не трудно.

– Слушаюсь. Желаю вашей милости всего наилучшего.

На столе под рукой у миледи стоит роскошная шкатулочка, обитая металлическими полосками и запертая на замок, – старинный денежный сундук в миниатюре. Миледи, не отрывая глаз от посетителя, подвигает ее к себе и отпирает.

– Нет, подобные мотивы мне чужды, уверяю вас, ваша милость, – протестует мистер Гаппи, – ничего такого я принять не могу. Желаю вашей милости всего наилучшего и очень вам признателен.

Итак, молодой человек откланивается и спускается по лестнице в вестибюль, где надменный Меркурий не считает себя обязанным покинуть свой Олимп у камина, чтобы проводить молодого человека вон из дома.

Сэр Лестер нежится в своей библиотеке и дремлет над га-

зетой; но нет ли в доме такой силы, которая может заставить его содрогнуться… больше того – заставить даже деревья в Чесни-Уолде всплеснуть узловатыми ветвями, даже портреты нахмуриться, даже доспехи пошевельнуться?

Нет. Слова, рыдания, крики – только колебания воздуха, а воздух в лондонском доме так основательно отгорожен от воздуха улицы, что звуки в комнате миледи поистине должны бы стать трубными звуками, чтобы слабый их отголосок достиг ушей сэра Лестера; и все-таки в доме раздается крик, летящий к небу, и это стонет в отчаянье женщина, упавшая на колени:

– О дитя мое, дочь моя! Значит, не умерла она в первые же часы своей жизни; значит, обманула меня жестокая моя сестра, что отреклась от меня и моего имени и так сурово воспитывала мое дитя! О дитя мое, дочь моя!

Глава XXX
Повесть Эстер

Вскоре после отъезда Ричарда к нам на несколько дней приехала гостья. Это была пожилая дама. Это была миссис Вудкорт, – она приехала из Уэльса, чтобы погостить у миссис Бейхем Беджер, и написала опекуну, «по просьбе своего сына Аллена», что получила от него письмо и что он здоров и «передает сердечный привет» всем нам, а в ответ на это опекун пригласил ее пожить в Холодном доме. Она пробыла у нас недели три. Ко мне она относилась очень хорошо и была чрезвычайно откровенна со мною – настолько, что я этим иногда тяготилась. Я прекрасно понимала, что не имею никаких оснований тяготиться ее откровенностью, понимала, что это просто глупо, и все же, как ни старалась, не могла себя побороть.

Очень уж она была догадливая старушка, к тому же, разговаривая со мной, она всегда сидела сложив руки и смотрела на меня до того пристально, что, может быть, это-то меня и раздражало. А может быть, мне не нравилось, что она держится слишком прямо и вся такая подобранная; но нет, вряд ли; это мне как раз нравилось, казалось очень милым и своеобразным. Не могло мне не нравиться и выражение ее лица, очень живого и красивого для пожилой женщины.

Не знаю, что было мне неприятно в ней. Точнее – знаю теперь, но тогда думала, что не знаю. Еще точнее… впрочем, это неважно.

По вечерам, когда я поднималась в свою комнату, чтобы лечь спать, она приглашала меня к себе, усаживалась перед камином в огромное кресло и – боже ты мой! – принималась рассказывать мне о Моргане-ап-Керриге, да так многословно, что просто наводила на меня тоску! Иногда она декламировала мне несколько строф из Крамлинуоллинуэра и Мьюлинуиллинуодда (если только я правильно пишу эти названия, что весьма сомнительно) и неизменно загоралась чувствами, которые были выражены в этих произведениях. Я ничего не понимала (она декламировала на уэльском языке) и догадывалась только, что в этих стихах превозносится древнее происхождение Моргана-ап-Керрига.

– Вот видите, мисс Саммерсон, – говорила она мне с важным, торжественным видом, – это и есть – богатство, доставшееся в наследство моему сыну. Куда бы мой сын ни поехал, он может гордиться своим кровным родством с Ап-Керригом. Пусть у него нет денег, у него всегда будет то, что куда лучше денег, – родовитость, милая моя.

Я сомневалась, чтобы в Индии или Китае так уж глубоко уважали Моргана-ап-Керрига, но, конечно, не говорила этого, а соглашалась, что иметь столь великих предков очень важно.

– *Очень важно*, милая моя, – подчеркивала миссис Вуд-

корт. – Конечно, тут есть свои минусы; так, например, это сужает выбор невесты для моего сына, но когда вступают в брак члены королевской семьи, выбор невест для них ограничен примерно так же.

И она слегка похлопывала меня по плечу и разглаживала мое платье, видимо желая показать, что, хотя нас и разделяет огромное расстояние, она все-таки хорошего мнения обо мне.

– Покойный мистер Вудкорт, милая моя, – говорила она не без волнения, ибо, несмотря на ее древнюю родословную, сердце у нее было любящее, – происходил из знатного шотландского рода Мак-Куртов из Мак-Курта. Он служил королю и отечеству – был офицером Королевского полка шотландских горцев и пал на поле брани. Мой сын – один из последних представителей двух старинных родов. Даст бог, он восстановит их прежнее положение и соединит их узами брака с другим древним родом.

Тщетно пыталась я переменить тему разговора, а я пыталась, хотя бы из желания услышать что-нибудь новое, и даже, может быть, затем… впрочем, не стоит останавливаться на таких подробностях. Но миссис Вудкорт никогда не позволяла мне поговорить о чем-нибудь другом.

– Милая моя, – обратилась она ко мне как-то вечером, – у вас столько здравого смысла, и вы смотрите на жизнь гораздо более трезво, чем девушки ваших лет; вот почему мне приятно разговаривать с вами о своих семейных делах. Вы

не очень близко познакомились с моим сыном, милая моя, но все-таки довольно хорошо его знаете и, надеюсь, помните, правда?

– Да, сударыня. Я его помню.

– Прекрасно. Так вот, милая моя, я считаю, что вы правильно судите о людях, и мне хочется, чтобы вы сказали мне, какого вы мнения о моем сыне.

– Но, миссис Вудкорт, – отозвалась я, – это так трудно.

– Отчего же трудно, милая моя? – возразила она. – По-моему, ничуть.

– Сказать, какого я мнения…

– О столь мало знакомом вам человеке, милая моя? Да, вы правы, это действительно трудно.

Я совсем не то хотела сказать – ведь мистер Вудкорт часто бывал у нас и очень подружился с опекуном. Так я и сказала, добавив, что мистер Вудкорт прекрасно знает свое дело, как считали мы все… а к мисс Флайт он относился с такой добротой и мягкостью, что это было выше всяких похвал.

– Вы отдаете ему должное! – сказала миссис Вудкорт, пожимая мне руку. – Вы правильно его оцениваете. Аллен славный малый, и работает он безупречно. Это я всегда говорю, хоть он и мой сын. И все-таки, моя прелесть, я вижу, что и у него есть недостатки.

– У кого их нет? – заметила я.

– Конечно! Но свои недостатки он может и должен исправить, – проговорила догадливая старушка, покачивая голо-

вой с догадливым видом. – Я так привязана к вам, милая моя, что могу вам довериться, как третьему совершенно беспристрастному лицу: мой сын – воплощенное легкомыслие.

Я сказала, что, судя по его репутации, вряд ли можно допустить, что он не любит своей профессии и работает недобросовестно.

– И тут вы правы, милая моя, – согласилась старушка, – но я говорю не о его профессии, заметьте себе.

– Вот как! – проговорила я.

– Да, – отозвалась она. – Я, милая моя, говорю о его поведении в обществе. Он любит слегка поухаживать за молодыми девицами, всегда любил – с восемнадцати лет. Но, милая моя, он ни к одной из них никогда не питал истинного чувства и не имел никаких серьезных намерений; ухаживал просто так – из вежливости и любезности, считая, что в этом ничего дурного нет. А все-таки это, знаете ли, нехорошо; ведь правда?

– Конечно, – сказала я, потому что старушка, по-видимому, ждала утвердительного ответа.

– И это, милая моя, знаете ли, может подать повод к необоснованным надеждам.

Я сказала, что, вероятно, может.

– Поэтому я не раз говорила ему, что он обязан вести себя поосторожнее и ради самого себя, и ради других. А у него один ответ: «Матушка, я буду вести себя осторожнее; но кому же и знать меня, как не вам, а вы знаете, что в подобных

случаях у меня нет никаких дурных намерений… Короче говоря – вообще никаких намерений!» И все это очень верно, милая моя, но это не оправдание. Так ли, этак ли, но раз уж он теперь уехал за тридевять земель и бог знает как долго пробудет в чужих краях, где ему представятся всякие блестящие возможности и удастся завести знакомства, значит, можно считать, что с прошлым покончено. Ну а вы, милая моя, – сказала вдруг старушка, расплываясь в улыбке и кивая головой, – что вы скажете о себе, моя прелесть?

– О себе, миссис Вудкорт?

– Нельзя же мне быть такой эгоистичной – вечно болтать о сыне, который уехал искать *свою* долю и найти себе жену… вот я и спрашиваю: вы-то сами, когда же вы собираетесь искать свою долю и найти себе мужа, мисс Саммерсон? Эх, смотрите-ка! Вот вы и покраснели!

Вряд ли я покраснела, – во всяком случае, если и покраснела, то это не имеет никакого значения, – но я сказала, что моя теперешняя доля вполне удовлетворяет меня, и я вовсе не хочу ее менять.

– Хотите, я скажу, что́ именно я всегда думаю о вас и о той доле, которая вас ждет, прелесть моя? – спросила миссис Вудкорт.

– Пожалуйста, если вы считаете себя хорошим пророком, – ответила я.

– Так вот: вы выйдете замуж за человека очень богатого и очень достойного, гораздо старше вас, – лет этак на двадцать

пять. И будете прекрасной женой, глубоко любимой и очень счастливой.

– Что ж, это действительно счастливая доля, – промолвила я. – Но почему она должна быть моей?

– Милая моя, – ответила она, – это к вам так подходит – ведь вы такая деловитая, такая аккуратная и у вас такое своеобразное положение, что это самое для вас подходящее; и это сбудется. И никто, прелесть моя, не поздравит вас с таким замужеством искреннее, чем я.

От этого разговора у меня остался какой-то неприятный осадок; как ни странно, но, кажется, так оно и было. Наверное так. В ту ночь я заснула не сразу, и мне было очень не по себе. Я так стыдилась своей глупости, что мне не хотелось сознаться в ней даже Аде; но тем больше мне было не по себе. Все, что угодно, я отдала бы за то, чтобы эта умная старушка была менее откровенной со мною, но я никак не могла избежать ее откровенности. Поэтому я то и дело меняла свое мнение о миссис Вудкорт. То я думала, что она любит фантазировать, то – что она воплощение правдивости. Иной раз подозревала, что она очень хитрая, но в ту же секунду уверяла себя, что ее честное уэльское сердце совершенно невинно и простодушно. Впрочем, какое это имеет значение для меня, думала я, и почему это все-таки имеет значение? Почему бы мне, когда я перед сном поднимаюсь к себе, забрав корзиночку с ключами, самой не зайти к старушке, не посидеть с нею перед камином, не поболтать немножко о том,

что интересует ее, – ведь я же умею так говорить с любым другим человеком, – и почему не могу я не огорчаться теми безобидными пустяками, о которых она рассказывает мне? Если меня влечет к ней, – думала я, – а меня, конечно, влечет, так как мне очень хочется ей понравиться и я рада, что нравлюсь ей, – почему же я с душевной болью, с отчаянием вдумываюсь в каждое слово, которое она произносит, и все вновь и вновь взвешиваю его на двадцати весах? Почему меня так тревожит, что она живет у нас в доме и каждый вечер разговаривает со мной по душам, если я чувствую, что для меня лучше и спокойнее, чтобы она жила у нас, а не где-нибудь в другом месте? Все это были недоумения и противоречия, в которых я не могла разобраться. То есть, может быть, и могла бы, но… впрочем, я вскоре расскажу и об этом, а сейчас это не к месту.

Когда миссис Вудкорт уехала, мне было жаль расставаться с нею, и все-таки я почувствовала облегчение. А потом к нам приехала Кедди Джеллиби и привезла с собой такую кучу семейных новостей, что они поглотили все наше внимание.

Кедди прежде всего заговорила о том (и на первых порах только о том и твердила), что лучшей советчицы, чем я, во всем мире не сыщешь. «Ну, это не новость», – сказала моя Ада, на что я, понятно, ответила: «Чепуха!» Потом Кедди объявила, что выйдет замуж через месяц, и если мы с Адой согласимся быть подружками у нее на свадьбе, она будет счастливейшей девушкой на свете. Вот это действитель-

но была новость, и я думала, что мы никогда не кончим говорить о ней – так много нам хотелось сказать Кедди, а Кедди так много хотелось сказать нам.

Оказалось, что бедный отец Кедди был объявлен не злостным банкротом – он «прошел через газету», как выразилась Кедди, точно газета – это нечто вроде туннеля, а кредиторы отнеслись к нему мягко и сострадательно, поэтому он, к счастью, выпутался, – хотя так и не сумел разобраться в своих делах, – отдал все, что имел (очевидно, не так уж это было много, судя по его домашней обстановке), и убедил всех заинтересованных лиц в том, что ничего больше сделать не может, бедняга. Ну, его отпустили с миром, честь его не пострадала, и он поступил на службу, чтобы начать жизнь заново. Что это была за служба, я так никогда и не узнала. Кедди говорила, что теперь он «таможенный и общий агент»; я же поняла только то, что, когда ему были особенно нужны деньги, он уходил добывать их куда-то в доки, но ему, кажется, никогда не удавалось ничего добыть.

Как только отец Кедди примирился с тем, что его остригли как овцу, и вся семья переехала в меблированную квартиру на Хэттон-гарден (в которой я, зайдя туда впоследствии, увидела, как дети выдергивают из кресел конский волос, жуют его и давятся), Кедди познакомила отца с мистером Тарвидропом-старшим, и бедный мистер Джеллиби, человек донельзя застенчивый и кроткий, так покорно поддался влиянию хорошего тона мистера Тарвидропа, что стари-

ки прямо-таки подружились. Мало-помалу мистер Тарвидроп-старший свыкся с мыслью о женитьбе своего сына и, настроив свои родительские чувства на высокий лад, согласился на то, чтобы знаменательное событие совершилось в ближайшее время, а жениху и невесте милостиво разрешил обзавестись хозяйством в танцевальной академии на Ньюмен-стрит, когда им будет угодно.

– А ваш папа, Кедди? Что сказал он?

– Ах, бедный папа, – ответила Кедди, – он только заплакал и выразил надежду, что мы с Принцем поладим лучше, чем ладил он с мамой. Он сказал это, когда Принца не было, – только мне одной. И еще он сказал: «Бедная моя девочка, плохо тебя учили вить уютное гнездо для мужа, но если ты сама не стремишься к этому всем сердцем, лучше тебе убить своего жениха, чем выйти за него замуж… если только ты искренне любишь его».

– И как же вы его успокоили, Кедди?

– Вы понимаете, мне было очень тяжело видеть папу таким расстроенным и слышать от него такие страшные вещи; ну, и я тоже не удержалась от слез. Но я сказала ему, что, право же, всем сердцем стремлюсь свить уютное гнездо, а когда он будет приходить к нам по вечерам, ему будет хорошо у нас и я постараюсь заботиться о нем лучше, чем заботилась в своем родном доме. Потом я обещала взять Пищика к себе, а папа опять прослезился и сказал, что дети у него – индейцы.

– Индейцы, Кедди?

– Да, – подтвердила Кедди. – Дикие индейцы. А еще папа сказал, – и тут она всхлипнула, бедняжка, а это уж вовсе не подобало «самой счастливой девушке на свете», – а еще сказал, что для них будет лучше, если их всех зарубят томагавками.

Ада заметила, что на этот счет можно не беспокоиться – мистер Джеллиби, очевидно, не всерьез высказал столь кровожадное пожелание.

– Конечно, я знаю, что папе вовсе не хочется видеть родных детей в лужах их собственной крови, – согласилась Кедди, – но он хотел сказать, что им очень не повезло с такой матерью, а ему очень не повезло с такой женой, и это, бесспорно, правда, хоть мне, как дочери, и не следует этого говорить.

Я спросила Кедди, известно ли миссис Джеллиби, что день свадьбы ее дочери уже назначен.

– Ах, Эстер, вы же знаете маму, – ответила она. – Разве можно сказать, известно ей что-нибудь или нет? Я ей не раз говорила, но, сколько ни говори, она только бросит на меня равнодушный взгляд, словно я… не знаю что… какая-нибудь отдаленная колокольня, – внезапно придумала Кедди сравнение, – а потом покачает головой и скажет: «Ах, Кедди, Кедди, какая ты надоедливая!» – и опять примется за свои бориобульские письма.

– А платьев у вас достаточно, Кедди? – спросила я. Я счи-

тала себя вправе задать этот вопрос потому, что она всегда откровенно говорила с нами обо всем.

– Что вам на это сказать, дорогая Эстер? – ответила она, вытирая слезы. – Буду всячески стараться одеться поприличнее и хочу верить, что мой милый Принц никогда не попрекнет меня тем, что я вошла в его дом такой замарашкой. Если б меня снаряжали в Бориобулу, мама отлично бы знала, что надо делать, и пришла бы в полный восторг. А в приданом она ничего не понимает, да и не интересуется такими вещами.

Кедди любила мать, но говорила она все это со слезами, как горькую правду, и вовсе не преувеличивала. Мы так жалели бедняжку, так восхищались тем, что она осталась хорошей девушкой, несмотря на подобное невнимание, что обе (то есть Ада и я) сразу же предложили ей небольшой план действий, которому она очень обрадовалась. А именно: она прогостит у нас три недели, потом я поживу с неделю у нее, и мы втроем будем придумывать фасоны, кроить, переделывать, шить, чинить и всячески постараемся, чтобы приданое у нее было как можно лучше. Опекун не менее самой Кедди обрадовался нашей выдумке, и мы на другой же день отвезли девушку домой, чтобы все устроить, а потом торжественно привезли ее назад вместе с ее сундуками и всеми покупками, какие только можно было выжать из десятифунтовой бумажки, которую мистер Джеллиби, быть может, добыл где-то в доках, а может быть, и не в доках, но так или иначе подарил

дочери. Чего только не надарил бы ей опекун, если бы мы ему не помешали, сказать трудно, но мы уговорили его купить ей только подвенечное платье и шляпу. Он согласился на этот компромисс, и тот день, когда Кедди села за шитье, был, пожалуй, самым счастливым в ее жизни.

Бедняжка не умела держать иголку в руках и колола себе пальцы так же часто, как, бывало, пачкала их чернилами. Время от времени она слегка краснела, то ли от боли, то ли от досады, что шитье у нее не ладилось, но это скоро прошло, и она быстро начала делать успехи. Итак, все мы – Кедди, Ада, моя маленькая горничная Чарли, портниха из города и я – день за днем усердно работали в самом радостном настроении.

Однако больше всего Кедди стремилась «выучиться домоводству», как она выражалась. Но, господи твоя воля! Одна лишь мысль о том, чтоб учиться домоводству у столь опытной хозяйки, как я, показалась мне такой нелепостью, что, когда Кедди завела об этом разговор, я рассмеялась, покраснела и смутилась самым комичным образом. Тем не менее я сказала:

– Кедди, я охотно помогу вам, дорогая, научиться всему, чему вы можете научиться *у меня*.

И я показала ей все мои записи, объяснила, как веду хозяйство, и вообще посвятила ее во все мелочи своей домашней суеты. Можно было подумать, что я показываю ей какие-то необыкновенные изобретения, – так внимательно она

все это изучала; когда же, заслышав звон моих ключей, она вставала и всюду ходила за мной, можно было подумать, что свет не видывал такой самозванки-учительницы, как я, и такой доверчивой ученицы, как Кедди Джеллиби.

Так – за шитьем и хозяйством, за уроками с Чарли, за игрой в трик-трак с опекуном по вечерам и дуэтами с Адой – три недели прошли очень быстро. Затем я вместе с Кедди поехала к ней домой, посмотреть, нельзя ли там что-нибудь наладить, а моя Ада и Чарли остались заботиться об опекуне.

Я сказала, что поехала вместе с Кедди к ней домой, но точнее было бы выразиться, что мы направились в меблированную квартиру на Хэттон-гарден. Раза два-три мы побывали и на Ньюмен-стрит, где полным ходом шли приготовления – главным образом к тому, чтобы создать все удобства для мистера Тарвидропа-старшего и лишь в незначительной степени – чтобы как можно дешевле устроить молодых подальше от него, чуть не на чердаке; но больше всего мы стремились навести порядок в меблированной квартире к свадебному завтраку и вовремя внушить миссис Джеллиби хоть некоторое представление о грядущем событии.

Это было труднее всего, так как миссис Джеллиби занималась вместе с каким-то тщедушным мальчуганом в передней гостиной (задняя оказалась просто каморкой), и гостиная эта была завалена ненужными бумагами и бориобульскими документами, как невычищенное стойло – соломой. Миссис Джеллиби сидела тут целый день – пила крепкий кофе,

диктовала и вела переговоры по бориобульским делам. Тщедушный мальчуган, который, казалось мне, все больше худел, столовался где-то на стороне. Мистер Джеллиби, вернувшись домой, тяжело вздыхал и спускался в кухню. Там он что-то ел, если только прислуга подавала ему какую-нибудь еду, затем, чувствуя, что он всем мешает, уходил и под дождем гулял по Хэттон-гарден. Злосчастные ребятишки все время куда-то карабкались и шлепались на пол, к чему они давно уже привыкли.

Нечего было и думать о том, чтобы за одну лишь неделю привести этих бедняжек в приличный вид, поэтому я предложила Кедди в день свадьбы по мере возможности угостить детей в мансарде, где все они спали, а главные наши усилия направить на их маму, мамину комнату и уборку столовой к свадебному завтраку. Ведь миссис Джеллиби требовала особого внимания, так как прореха у нее на спине теперь стала еще шире, чем в день первой нашей встречи, а волосы спутались, словно грива у клячи мусорщика.

Я решила, что лучше всего мне удастся подойти к делу, если я покажу матери приданое ее дочери, и как-то раз вечером, когда тщедушный мальчуган удалился, пригласила миссис Джеллиби взглянуть на туалеты, разложенные на кровати Кедди.

– Дорогая мисс Саммерсон, – проговорила миссис Джеллиби со свойственной ей мягкостью и встала из-за письменного стола, – право же, все эти приготовления прямо смехо-

творны, хотя вы, конечно, очень добры, что принимаете в них участие. Подумать только – Кедди выходит замуж… Что за дикая нелепость! Ах, Кедди, глупый ты, глупый, глупый котенок!

Тем не менее она вместе с нами поднялась наверх и устремила свой невидящий взор на наряды Кедди. Очевидно, приданое дочери вызвало в ее уме только одну отчетливую мысль, которую она и высказала, покачивая головой и с безучастной улыбкой:

– Но, милая мисс Саммерсон, если бы мы снаряжали нашу глупышку в путешествие по Африке, это обошлось бы вдвое дешевле!

Когда мы спускались по лестнице, миссис Джеллиби спросила, «неужели эта беспокойная церемония» действительно состоится в будущую среду? И, получив утвердительный ответ, осведомилась:

– А моя комната тоже понадобится, дорогая мисс Саммерсон? Но ведь я ни в коем случае не могу убрать оттуда свои бумаги.

Я осмелилась сказать, что комната обязательно будет нужна и что, по-моему, бумаги необходимо куда-нибудь убрать.

– Ну что ж, дорогая мисс Саммерсон, вам лучше знать, конечно, – сказала миссис Джеллиби. – Но Кедди вынудила меня нанять мальчика и до такой степени стеснила меня, – а ведь я так перегружена общественной деятельностью, – что я просто не знаю, куда повернуться. К тому же в среду днем

должно состояться собрание отделения нашего общества, – получается очень серьезное неудобство.

– Больше этого никогда не будет, – заметила я с улыбкой. – Надо думать, что Кедди выйдет замуж только раз в жизни.

– Это верно, – согласилась миссис Джеллиби, – это верно, дорогая. Придется уж нам как-нибудь примириться с этим.

Затем предстояло решить следующую задачу – как должна одеться миссис Джеллиби для такого случая? Странно было видеть, как безмятежно посматривала она на меня и Кедди из-за письменного стола, пока мы обсуждали этот вопрос, и по временам качала головой, улыбаясь чуть-чуть укоризненно, словно была высшим существом, которое снисходительно взирает на наши суетные хлопоты.

Туалеты ее были в таком состоянии и хранились в столь диком беспорядке, что задача наша оказалась нелегкой; но в конце концов мы придумали наряд, не слишком отличавшийся от того, какой надела бы обыкновенная мать в день свадьбы дочери. Рассеянный вид, с каким миссис Джеллиби позволяла портнихе примерять ей платье, и мягкость, с какой она потом заметила мне, как грустно, что я в свое время не обратила должного внимания на Африку, были под стать ее поведению во всем остальном.

Квартира у миссис Джеллиби была довольно тесная, но, если бы ее домочадцы одни занимали весь собор Св. Павла или Св. Петра, они получили бы от здания столь грандиозных размеров лишь одно преимущество – больше простран-

ства для разведения грязи. К тому времени, когда начались все эти приготовления к свадьбе Кедди, кажется, ни одна вещь, принадлежащая семейству Джеллиби и способная разбиться, не осталась целой, ни одна вещь, которую можно было так или иначе испортить, не осталась неиспорченной, ни один предмет в этом доме, способный покрыться грязью, начиная с коленок милых детишек и кончая дощечкой на входной двери, не покрылся таким слоем грязи, какой только мог на нем уместиться.

Бедный мистер Джеллиби, который говорил очень редко, а когда был дома, почти всегда сидел, прислонившись головой к стене, увидев, как мы с Кедди пытаемся навести хоть какой-то порядок во всей этой «мерзости запустения», внезапно заинтересовался нашей работой, снял сюртук и взялся нам помогать. Но когда мы открыли стенные шкафы, из них посыпались такие диковинные вещи, как, например, куски заплесневелого паштета, бутылки с какой-то прокисшей жидкостью, чепчики миссис Джеллиби, письма, пачки чаю, вилки, непарные сапоги, детские туфли, лучина для растопки, облатки для запечатывания писем, крышки от кастрюль, отсыревший сахар в рваных бумажных мешках, ножные скамеечки, растушевки для рисованья карандашом, ломти хлеба, шляпки миссис Джеллиби, книги с прилипшим к переплету сливочным маслом, оплывшие свечные огарки, которые когда-то погасили, вставив их горящим концом в сломанные подсвечники, ореховая скорлупа, головки и хвости-

ки креветок, клеенчатые салфетки, на которые ставили тарелки, перчатки, кофейная гуща, зонтики, – словом, столько всякой дряни, что мистер Джеллиби испугался и отступил. Но он все-таки приходил к нам каждый вечер и сидел без сюртука, прислонившись головой к стене с таким видом, словно охотно помог бы нам, если бы знал, как за это приняться.

– Бедный папа! – сказала мне Кедди накануне торжественного дня, уже вечером, когда нам с ней наконец удалось привести комнаты в мало-мальски приличный вид. – Нехорошо это, Эстер, что я его покидаю. Но, останься я здесь, разве смогу я что-то исправить? С тех пор как мы с вами познакомились, я только и делаю, что убираю да чищу, а все без толку. Не успеешь навести порядок, как мама с ее Африкой перевернет весь дом вверх дном. Наймешь прислугу – обязательно запьет. Мама на все влияет разрушительно.

Мистер Джеллиби не мог слышать ее слова, но он и вправду приуныл, кажется, даже всплакнул.

– Сердце у меня болит за него! – со слезами воскликнула Кедди. – Сегодня вечером, Эстер, я все время мечтаю о том, какой я буду счастливой с Принцем, а папа, вероятно, тоже мечтал когда-то о счастье с мамой. Но какое разочарование принесла ему жизнь!

– Милая моя Кедди! – начал сидевший у стены мистер Джеллиби, медленно повертывая голову.

Пожалуй, это я впервые услышала, как он сказал три слова

подряд.

– Да, папа? – отозвалась Кедди, подходя к нему и ласково обнимая его.

– Милая моя Кедди, – снова начал мистер Джеллиби, – не связывай своей жизни…

– Неужели с Принцем, папа? – вздрогнула Кедди. – Вы не хотите, чтобы я связала свою жизнь с Принцем?

– Нет, не то, дорогая моя, – сказал мистер Джеллиби. – С Принцем, конечно, можно. Но никогда не связывай…

Описывая наш первый визит в Тейвис-Инн, я привела слова Ричарда, который рассказывал, что мистер Джеллиби после обеда несколько раз открыл рот, но не вымолвил ни слова. Такая уж у него была привычка. И теперь он раз за разом открывал рот, но ничего не говорил и только меланхолично качал головой.

– Вы не хотите, чтобы я связывала свою жизнь с чем? С чем, милый папа? – приставала к нему Кедди, ласкаясь и обняв руками его шею.

– Никогда не связывай свою жизнь ни с какой миссией, дорогое мое дитя.

Мистер Джеллиби, застонав, снова прислонил голову к стене, и это был единственный случай, когда я услышала, как он пытается выразить свое отношение к бориобульскому вопросу. Быть может, когда-то он был более разговорчивым и оживленным; но силы его, видимо, совершенно иссякли задолго до того, как я с ним познакомилась.

В тот вечер я боялась, что миссис Джеллиби так и не перестанет безмятежно просматривать свои бумаги и пить кофе. Только в полночь удалось нам завладеть гостиной, но уборка ее показалась нам столь неразрешимой задачей, что Кедди, совершенно измученная, села на пыльный пол и расплакалась. Впрочем, она скоро успокоилась, и, принявшись за дело, мы с ней перед сном успели совершить чудеса.

Наутро комната приняла совсем веселый вид, так как мы вымыли ее, не жалея воды и мыла, украсили цветами и по-новому расставили мебель. Скромный завтрак сервировали так, что на него было приятно смотреть, а Кедди была просто очаровательна. Но после того как пришла моя любимая подруга, я подумала, – как и сейчас думаю, – что в жизни я не видывала такого милого личика, как у моей прелестной девочки.

Для детей мы устроили маленькую пирушку наверху, посадив Пищика во главе стола, и когда привели к ним Кедди в венчальном платье, они стали хлопать в ладоши и кричать «ура», а Кедди, плача при мысли о разлуке с ними, то и дело прижимала их к себе, пока мы не позвали Принца и не попросили его увести ее с собой; но тут Пищик, к сожалению, укусил жениха. Мистер Тарвидроп-старший пребывал внизу и милостиво благословил Кедди в столь хорошем тоне, что этого и описать невозможно, потом дал понять моему опекуну, что счастье сына – дело его отцовских рук, и он, мистер Тарвидроп, пожертвовал личными интересами, дабы

обеспечить это счастье.

– Дорогой сэр, – сказал мистер Тарвидроп, – молодые будут жить со мной вместе, – мой дом достаточно просторен, чтобы они могли устроиться с удобством, и у них будет приют под моим кровом. Я мог бы пожелать, – вы поймете мою мысль, мистер Джарндис, ведь вы помните моего августейшего покровителя, принца-регента, – я мог бы пожелать, чтобы сын мой выбрал себе жену в семействе, отличающемся более хорошим тоном, но да свершится воля небес!

В числе гостей были мистер и миссис Пардигл. Мистер Пардигл, человек с упрямым выражением лица и щетинистыми волосами, носивший слишком просторный жилет, все время говорил громким басом о своей лепте, о лепте миссис Пардигл и о лептах их пятерых мальчуганов. Мистер Куэйл, у которого волосы были, как всегда, зачесаны назад, а шишковатый лоб ярко блестел, пришел тоже, но не в качестве незадачливого поклонника, а как нареченный одной молодой – лучше сказать незамужней – особы, некоей мисс Уиск, которая также здесь присутствовала. Ее миссия, по словам опекуна, заключалась в том, чтобы провозглашать на весь мир, что миссия женщины совпадает с миссией мужчины, а единственная истинная миссия, как мужская, так и женская, состоит в том, чтобы постоянно выдвигать на публичных митингах декларативные резолюции по поводу всего на свете.

Гостей собралось немного, но, как и следовало ожидать от гостей миссис Джеллиби, все это были люди, посвятившие

себя общественной деятельности, и только ей одной. Кроме тех, о ком я уже упомянула, здесь находилась донельзя неопрятная дама в шляпке, криво сидевшей на голове, и в платье, на котором все еще торчал ярлычок с ценой, – дама, чей дом, по словам Кедди, был так запущен, что походил на утопающий в грязи пустырь; зато церковь в ее приходе напоминала благотворительный базар. Общество украшал также некий сварливый джентльмен, который заявил, что его миссия – это любить каждого человека, как родного брата, но который, по-видимому, был в натянутых отношениях со всем своим многочисленным семейством.

Трудно было бы умышленно собрать компанию более скучных свадебных гостей. «Миссия» столь низменная, как, например, стремление заботиться о своей семье, ни в коем случае не могла быть терпима в их среде, и мисс Уиск с величайшим негодованием заявила нам, перед тем как мы сели завтракать, что утверждать, будто миссия женщины ограничена узкой сферой Домашнего очага, – это оскорбительная клевета, исходящая от Тирана-Мужчины. У этих людей была и другая странность – ни один человек с миссией (кроме мистера Куэйла, чья миссия, как я, кажется, уже говорила, сводилась к тому, чтобы восторгаться чужими миссиями) не уважал миссии другого: так, если миссис Пардигл недвусмысленно заявляла, что, набрасываясь на бедняков и напяливая на них свою благотворительность, как смирительную рубашку, она избрала единственно правильный путь, то мисс

Уиск столь же недвусмысленно объявляла, что единственный разумный выход для мира – это освобождение женщины от гнета ее Тирана-Мужчины. А миссис Джеллиби все это время только улыбалась при мысли о том, как близоруки люди, если они видят что-нибудь кроме Бориобула-Гха.

Но я забегаю вперед, передавая содержание беседы, которую мы вели, возвращаясь домой, вместо того чтобы сначала рассказать о венчании Кедди. Все мы отправились в церковь, и мистер Джеллиби, по обычаю, торжественно подвел дочь к жениху. С какой важностью мистер Тарвидроп-старший, сунув цилиндр под мышку левой руки (и нацелив его, как пушку, на священника), закатил глаза на лоб чуть не до самого парика и, высоко подняв прямые плечи, стоял, как монумент, позади нас, подружек, в продолжение всей церемонии, а после нее отвесил нам поклон, – этого я никогда не сумела бы описать так, чтобы воздать ему должное.

Мисс Уиск, чью наружность я не могла бы назвать привлекательной и чье обращение было довольно суровым, сидела в церкви с презрительным выражением лица, очевидно считая обряд венчания одним из актов угнетения Женщины. Миссис Джеллиби, как всегда, спокойно улыбалась и с таким видом смотрела по сторонам блестящими глазами, словно из всей этой компании никто так мало не интересовался происходящим событием, как она.

Мы вернулись домой к завтраку, и миссис Джеллиби села во главе стола, а мистер Джеллиби против нее. Кедди перед

этим успела пробраться наверх, чтобы еще раз обнять детей и сказать им, что теперь ее фамилия – Тарвидроп. Для Пищика это сообщение не было приятным сюрпризом – он тотчас же повалился навзничь и в таком горестном неистовстве задрыгал ногами, что, когда послали за мной, пришлось согласиться с тем, что лучше посадить его за стол взрослых. Спустившись в гостиную, он сел ко мне на колени, а миссис Джеллиби, заметив по поводу его передника: «Ну и гадкий же ты мальчишка, Пищик, что за противный поросенок!» – ни на миг не утратила невозмутимого спокойствия. Впрочем, ребенок вел себя примерно, если не считать того, что притащил с собой фигурку Ноя (из игрушечного Ноева ковчега, который я подарила ему, перед тем как отправиться в церковь) и упорно окунал ее головой в стаканы с вином, а потом запихивал себе в рот.

Опекун, мягкий, все понимающий и приветливый, как всегда, ухитрился привести в приятное расположение духа даже этих нескладных гостей. Ни один из них, видимо, не признавал никаких тем для разговора, кроме своей излюбленной, и даже о ней не умел говорить как о неотъемлемой части мира, в котором есть и многое другое; но опекун все-таки поддерживал оживленный разговор, направляя его к тому, чтобы придать бодрости Кедди и создать за столом торжественное настроение, подобающее знаменательному событию; так что если завтрак прошел хорошо, то лишь благодаря ему. Страшно подумать, что бы мы стали делать

без него, – ведь вся эта компания презирала новобрачных и мистера Тарвидропа-старшего, а мистер Тарвидроп-старший смотрел на нее с высоты своего хорошего тона, сознавая свое неизмеримое превосходство; словом, обстановка была очень сложная.

Но вот бедной Кедди настало время уезжать, и все ее вещи уложили на крышу наемной кареты, запряженной парой лошадей, которые должны были увезти новобрачных в Грейвзенд. Мы очень растрогались, увидев, как Кедди горюет, разлучаясь со своей безалаберной семьей, и с величайшей нежностью обнимает мать.

– Мне очень жаль, мама, что я не могла больше писать под диктовку, – всхлипывала Кедди. – Надеюсь, вы теперь прощаете меня?

– Ах, Кедди, Кедди! – промолвила миссис Джеллиби. – Я уже говорила тебе, и не раз, что наняла мальчика; значит, с этим покончено.

– Вы на меня ничуть не сердитесь, ведь правда, мама? Скажите мне это, мама, пока я еще не уехала.

– Глупышка ты, Кедди! – ответила миссис Джеллиби. – Неужели у меня сердитый вид, или я часто сержусь, или у меня есть время сердиться? И как только это тебе приходит в голову?

– Позаботьтесь хоть немного о папе, пока меня здесь не будет, мама!

Миссис Джеллиби чуть не расхохоталась, выслушав эту

блажную просьбу.

– Ах ты, романтическое дитя, – сказала она, слегка похлопав Кедди по спине. – Ну, поезжай! Мы с тобой останемся друзьями. А теперь до свидания, Кедди, и будь счастлива!

Тогда Кедди бросилась на шею отцу и прижалась щекой к его щеке, словно он был бедным, глупеньким, обиженным ребенком. Все это происходило в передней. Отец выпустил Кедди из своих объятий, вынул носовой платок и сел на ступеньку лестницы, прислонившись головой к стене. Надеюсь, он обретал утешение хоть в стенах. Почти готова поверить, что так оно и было.

Тогда Принц, взяв Кедди под руку, с величайшим волнением и почтительностью обратился к своему родителю, чей хороший тон в ту минуту производил прямо-таки потрясающее впечатление.

– Еще раз и тысячу раз благодарю вас, папенька! – сказал Принц, целуя ему руку. – Я глубоко благодарен вам за доброту и внимание, с какими вы отнеслись к нашему браку, и, могу вас уверить, Кедди также благодарна.

– Очень, – рыдала Кедди, – о-о-чень!

– Мой дорогой сын и дорогая дочь, я исполнил свой долг, – изрек мистер Тарвидроп. – Если дух некоей святой Женщины сейчас витает над нами, взирая на совершающееся торжество, то сознание этого и ваша постоянная преданность послужат мне наградой. Надеюсь, вы не пренебрежете исполнением *вашего* долга, сын мой и дочь моя?

– Никогда, дражайший папенька! – воскликнул Принц.

– Никогда, никогда, дорогой мистер Тарвидроп! – сказала Кедди.

– Так и должно быть, – подтвердил мистер Тарвидроп. – Дети мои, мой дом принадлежит вам, мое сердце принадлежит вам, все мое принадлежит вам. Я никогда вас не покину, – нас разлучит только Смерть. Дорогой мой сын, ты, кажется, предполагаешь отлучиться на неделю?

– На неделю, дражайший папенька. Мы вернемся домой ровно через неделю.

– Мое дорогое дитя, – сказал мистер Тарвидроп, – позволь мне и в этом исключительном случае посоветовать тебе соблюсти строжайшую пунктуальность. Нам в высшей степени важно сохранить нашу клиентуру, а твои ученики могут и обидеться, если ты ими пренебрежешь.

– Ровно через неделю, папенька, мы непременно вернемся домой к обеду.

– Отлично! – сказал мистер Тарвидроп. – В вашей комнате, моя дорогая Кэролайн, вы увидите пылающий камин, а на моей половине – накрытый стол. Да-да, Принц! – добавил он с величественным видом, как бы желая предупредить самоотверженный отказ со стороны сына. – И ты, и наша Кэролайн, вы вначале будете чувствовать себя неуютно в мансарде и потому в первый день будете обедать на моей половине. Итак, будьте счастливы!

Молодые уехали, и не знаю, кому я больше удивлялась, –

миссис Джеллиби или мистеру Тарвидропу. Ада и опекун тоже не знали, кому удивляться больше, да так и сказали мне, когда мы заговорили об этом. Но прежде чем мы уехали, я получила самый неожиданный и выразительный комплимент от мистера Джеллиби. В передней он подошел ко мне, взял мои руки, пожал их с серьезным видом и дважды открыл рот. Я ничуть не сомневалась, что угадала его мысли, и, волнуясь, сказала: «Вы очень добры, сэр. Не надо ничего говорить, прошу вас!»

– Надеюсь, этот брак будет счастливым, опекун? – сказала я, когда мы втроем ехали домой.

– Надеюсь, Хлопотунья. Терпение. Там видно будет.

– Сегодня ветер дует с востока? – осмелилась я спросить.

Он добродушно расхохотался и ответил:

– Нет.

– Но утром он, наверное, был восточный? – осведомилась я.

Опекун снова ответил «нет», и на этот раз моя милая девочка тоже очень уверенно сказала «нет», покачав прелестной головкой; и так она была хороша с яркими цветами на золотистых кудрях, что показалась мне воплощением самой Весны.

– Много ты знаешь о восточных ветрах, дурнушка ты моя милая, – сказала я, целуя ее в восхищении… невозможно было удержаться.

Да! То, что я сейчас запишу, было им внушено их любо-

вью ко мне, это я хорошо знаю; к тому же ведь они сказали это давным-давно. Но мне непременно хочется записать это, даже если я потом все вычеркну, – ведь мне так приятно это писать. Они сказали, что не может ветер дуть с востока, если существует кто-то; они сказали, что, где бы ни появилась Хлопотунья, там всегда будет солнечный свет и летний воздух.

Глава XXXI
Сиделка и больная

Я долго была в отъезде, а вернувшись, как-то раз вечером поднялась наверх в свою комнату, чтобы посмотреть, как Чарли упражняется в чистописании, и, наклонившись, заглянула в ее тетрадку. Чистописание трудно давалось Чарли, – она совсем не владела пером; зато каждое перо в ее руке как бы оживало для озорства, портилось, кривилось, останавливалось, брызгало и, словно осел под седлом, шарахалось в углы страницы. Очень смешно было видеть, какие дряхлые буквы выводила детская ручонка Чарли – они были такие сморщенные, сгорбленные, кривые, а ручонка – такая пухленькая и кругленькая. А ведь на всякую другую работу Чарли была на редкость ловкая, и пальчики у нее были такие проворные, каких я в жизни не видела.

– Ну, Чарли, – сказала я, взглянув на страничку, исписанную буквой «О», которая изображалась то в виде квадрата, то в виде треугольника, то в виде груши и наклонялась во все стороны, – я вижу, мы делаем успехи. Только бы нам удалось написать ее круглой, Чарли, и мы дойдем до совершенства.

Я написала букву «О», и Чарли написала эту букву, но перо Чарли не пожелало аккуратно соединить концы и завязало их узлом.

– Ничего, Чарли. Со временем мы научимся.

Кончив заданный урок, Чарли положила на стол перо, разжала и сжала затекшую ручонку, внимательно просмотрела исписанную страницу – не то гордясь своими успехами, не то сомневаясь в них, – встала и сделала мне реверанс.

– Благодарю вас, мисс. Позвольте вам доложить, мисс, вы знаете одну бедную женщину, которую зовут Дженни?

– Жену кирпичника, Чарли? Да, знаю.

– Она давеча пришла сюда, заговорила со мной, когда я вышла из дому, и сказала, что вы ее знаете, мисс. Спросила меня, не я ли прислуживаю молодой леди, – молодая леди – это вы, мисс, – и я сказала «да», мисс.

– Я думала, она совсем уехала отсюда, Чарли.

– Она и правда уезжала, мисс, только вернулась на прежнее место… она и Лиз. А вы знаете другую бедную женщину, мисс, которую зовут Лиз?

– Знаю; то есть я ее видела, Чарли, но не знала, что ее зовут Лиз.

– Так она и сказала! – подтвердила Чарли. – Они обе вернулись, мисс, а то все бродяжничали – туда-сюда ходили.

– Бродяжничали, Чарли?

– Да, мисс. – Вот если бы Чарли научилась писать буквы такими же круглыми, какими были ее глаза, когда она смотрела мне в лицо, – чудесные получились бы буквы! – И эта бедная женщина приходила сюда раза три-четыре – все надеялась хоть одним глазком поглядеть на вас, мисс. «Только

поглядеть, а больше мне ничего не нужно», говорит; но вы были в отъезде. Вот она и увидела меня. Заметила, как я тут расхаживаю, мисс, – сказала Чарли и вдруг тихонько засмеялась от величайшей радости и гордости, – ну и подумала, – не иначе, как я ваша горничная!

– Неужели она в самом деле это подумала, Чарли?

– Да, мисс, – ответила Чарли, – что правда, то правда.

И Чарли снова рассмеялась в полном восторге, опять сделала круглые глаза и приняла серьезный вид, подобающий моей горничной. Мне никогда не надоедало смотреть на Чарли, на ее детское личико и фигурку, когда она, от всей души наслаждаясь своим высоким постом, стояла передо мной, совсем еще маленькая девочка, но уже такая серьезная, хотя сквозь ее серьезность и прорывалось порой милое ребяческое ликование.

– Где же ты с нею встретилась, Чарли? – спросила я.

Личико моей маленькой горничной потемнело, когда она ответила: «У аптеки, мисс». Ведь Чарли сама еще носила траур.

Я спросила, не больна ли жена кирпичника, но Чарли ответила, что нет. Захворал кто-то другой. Какой-то прохожий, который зашел к ней, а в Сент-Олбенс он приплелся пешком и собирается брести дальше, – сам не знает куда. Чарли сказала, что это какой-то бедный мальчик. И у него нет ни отца, ни матери, никого на свете.

– Вот и у нашего Тома, мисс, никого на свете бы не оста-

лось, умри мы с Эммой после смерти отца, – сказала Чарли, и ее круглые глазенки наполнились слезами.

– Значит, женщина пошла купить ему лекарство, Чарли?

– Она сказала, мисс, – ответила Чарли, – что он как-то раз принес лекарство ей.

Лицо моей маленькой горничной горело от столь сильного нетерпения, а ее всегда спокойные руки так крепко сжимали одна другую, когда она стояла посреди комнаты, пристально глядя на меня, что мне было совсем не трудно угадать ее мысли.

– Ну что ж, Чарли, – сказала я, – давай-ка мы с тобой пойдем к Дженни и разузнаем, как там и что.

Чарли мигом принесла мою шляпку и вуаль, подала мне одеться и – такая смешная – сама по-старушечьи закуталась в теплую шаль и заколола ее булавкой – ни дать ни взять маленькая бабушка; а быстрота, с какой она все это проделала, не оставляла сомнений в ее готовности идти к Дженни. И вот мы с Чарли вышли из дому, не сказав никому ни слова.

Вечер был холодный, непогожий, и деревья раскачивались под напором ветра. Весь этот день, да и много дней подряд, почти беспрерывно шел проливной дождь. Но к вечеру дождь перестал. Небо местами прояснилось, только было затянуто густой дымкой даже в зените, где в просветах меж тучами мерцало несколько звезд. На севере и северо-западе, там, где три часа назад зашло солнце, по небу тянулась полоса бледного, мертвенного света, и прекрасного и какого-то

зловещего, а на ней лежали волнистые угрюмые гряды туч, словно бурное море, внезапно оцепеневшее во время шторма. В той стороне, где находился Лондон, грозное зарево висело над темной равниной, и необычайно торжественным казался контраст между его яркостью и гаснущим светом зари, невольно внушая странную мысль, что это алое зарево – отблеск какого-то неземного огня, освещающего невидимые отсюда здания города и лица его бесчисленных обитателей.

В тот вечер у меня не было предчувствия. Знаю наверное, – ни малейшего предчувствия того, что должно было вскоре случиться со мною. Но я на всю жизнь запомнила, что в ту минуту, когда мы остановились у садовой калитки, чтобы взглянуть на небо, а потом пошли дальше своей дорогой, мне на мгновение почудилось, будто я не совсем такая, какой была. Я знаю, что это смутное ощущение возникло у меня именно там и тогда. С тех пор воспоминание об этом ощущении неизменно связывалось у меня с этим местом и часом и со всем тем, что я видела и слышала на этом месте и в этот час – вплоть до далеких шумов города, лая собаки, скрипа колес, катящихся с пригорка по грязной дороге.

Был субботний вечер, и многие жители того поселка, в который мы направлялись, разошлись по харчевням. Поэтому сегодня здесь было менее шумно, чем в тот день, когда я пришла сюда впервые, но все выглядело таким же нищенским, как и раньше. В печах для обжига кирпича пылал огонь, и удушливый дым тянулся к нам, озаренный бледно-голубым

светом.

Мы приблизились к домишку кирпичников, из которого тусклый свет свечи проникал наружу через разбитое и кое-как починенное окно. Постучав в дверь, мы вошли. Мать ребенка, умершего в тот день, когда мы были здесь впервые, сидела в кресле между койкой и убогим камином, а против нее, съежившись и прижавшись к каминной раме, на полу прикорнул какой-то подросток, с виду – нищий. Свою рваную меховую шапку он держал под мышкой, как узелок, и, стараясь согреться, так дрожал, что дрожали ветхие оконные рамы и дверь. Воздух в комнате был еще более затхлый, чем раньше, и в ней стоял неприятный и очень странный запах.

Как только мы вошли, я заговорила с женщиной, не поднимая вуали. Мальчик мгновенно вскочил и, пошатываясь, уставился на меня с каким-то непонятным удивлением и ужасом.

Он вскочил так быстро и его испуг так явно был вызван моим появлением, что я остановилась, вместо того чтобы подойти ближе.

– Не пойду я больше на кладбище, – забормотал мальчик, – не хочу я туда ходить, сказано вам!

Я подняла вуаль и заговорила с женщиной. Она отозвалась вполголоса:

– Уж вы не посетуйте на него, сударыня. Он скоро одумается. – А мальчику она сказала: – Джо, Джо, что это с тобой?

– Я знаю, зачем она пришла! – выкрикнул мальчик.

– Кто?

– Да вот эта леди. Она хочет меня на кладбище увести. Не пойду я на кладбище. Слышать о нем не хочу. Она, чего доброго, и меня зароет.

Он снова задрожал всем телом и прислонился к стене, а вместе с ним задрожала вся лачужка.

– Целый день только о том и твердил, сударыня, – мягко проговорила Дженни. – Ну, чего ты глаза выпучил? Ведь это моя леди, Джо.

– Так ли? – с сомнением отозвался мальчик и принялся разглядывать меня, прикрыв рукой воспаленные глаза. – А мне сдается, она та, другая… Не та шляпа и не то платье, а все-таки, сдается мне, она та, другая.

Моя маленькая Чарли, преждевременно познавшая болезни и несчастья, сняла свою шляпу и шаль, молча притащила кресло и усадила в него мальчика, точь-в-точь как многоопытная старуха сиделка; только у опытной сиделки не могло быть такого детского личика, как у Чарли, которая сразу же завоевала доверие больного.

– Слушай! – повернулся к ней мальчик. – Скажи-ка мне ты. Эта леди – не та леди?

Чарли покачала головой и аккуратно оправила его лохмотья, стараясь, чтобы ему было как можно теплее.

– Так! – буркнул мальчик. – Значит, это должно быть, не она.

– Я пришла узнать, не могу ли я чем-нибудь помочь тебе, –

сказала я. – Что с тобой?

– Меня то в жар кидает, то в холод, – хрипло ответил мальчик, бросив на меня блуждающий, растерянный взгляд, – то в жар, то в холод, раз за разом, без передышки. И все ко сну клонит, и вроде как в голове путается… а во рту сухо… и каждая косточка болит – не кости, а сплошная боль.

– Когда он пришел сюда? – спросила я женщину.

– Я нынче утром встретила его на краю нашего города. А познакомилась я с ним раньше, в Лондоне. Правда, Джо?

– В «Одиноком Томе», – ответил мальчик.

Иногда ему удавалось сосредоточить внимание или остановить на чем-нибудь блуждающий взгляд, но – лишь очень ненадолго. Вскоре он снова опустил голову и, тяжело качая ею из стороны в сторону, забормотал что-то, словно в полусне.

– Когда он вышел из Лондона? – спросила я женщину.

– Из Лондона я вышел вчера, – ответил за нее мальчик, теперь уже весь красный и пышущий жаром. – Иду куда глаза глядят.

– Куда? – переспросила я.

– Куда глаза глядят, – повторил мальчик немного громче. – Меня все гонят и гонят – не велят задерживаться на месте; прямо дыхнуть не дают с той поры, как та, другая, мне соверен дала. Миссис Снегсби, та вечно за мной следит, прогоняет, – а что я ей сделал? – да и все они следят, все гонят. Все до одного – с того часу, как встану и пока спать не лягу.

Ну, я и пошел куда глаза глядят. Вот куда. Она мне сказала там, в «Одиноком Томе», что пришла из Столбенса, вот я и побрел по дороге в Столбенс. Туда ли, сюда ли – все одно.

Что бы он ни говорил, он всякий раз под конец поверты-вался к Чарли.

– Что с ним делать? – сказала я, отводя женщину в сторо-ну. – Не может же он уйти в таком состоянии, тем более что идти ему некуда и он даже сам не отдает себе отчета, куда идет.

– Не знаю, сударыня, или, как говорится, «знаю не лучше покойника», – отозвалась она, бросая на Джо сострадатель-ный взгляд. – Может, покойники-то и лучше нашего знают, да только сказать нам не могут. Я его целый день у себя про-держала из жалости, похлебкой его покормила, лекарство да-ла, а Лиз пошла хлопотать, чтоб его куда-нибудь поместили (вот тут, на койке, мой крошечка – это ее ребенок, но он все равно что мой); только я долго держать у себя мальчишку я не могу: вернется мой хозяин домой да увидит его здесь, – вон вытолкает, а то и побьет, чего доброго. Смотри-ка! Вот и Лиз вернулась!

И правда, в комнату вбежала Лиз, а мальчик поднялся, должно быть смутно сознавая, что ему тут больше нельзя оставаться. Когда именно проснулся ребенок, когда Чарли подошла к нему, подняла его с койки и принялась нянчить, шагая взад и вперед по комнате, я не помню. Но она делала все это спокойно, по-матерински, как и в мансарде миссис

Блайндер, когда жила там вместе с Томом и Эммой и нянчила их.

Подруга Дженни побывала в разных местах, но всюду ее посылали от одного к другому, и она вернулась ни с чем. Сначала ей говорили, что сейчас поместить мальчика в больницу нельзя – слишком рано, потом – что уже поздно. Одно должностное лицо посылало ее к другому, а другое отсылало назад к первому, и так она и ходила взад и вперед, а я, слушая ее, подумала, что оба эти должностных лица, очевидно, были приняты на службу за уменье отвиливать от своих обязанностей, но вовсе не для того, чтобы их выполнять.

– А сейчас, – продолжала Лиз, еле переводя дух, потому что все время бежала и вдобавок была чем-то испугана, – сейчас, Дженни, твой хозяин идет домой, да и мой за ним следом, – а что будет с мальчиком, не знаю; помоги ему бог, но мы ничего для него сделать не можем!

Женщины сложились и, набрав несколько полупенсов, поспешно сунули их мальчику, а тот взял деньги, как в тумане, с какой-то полубессознательной благодарностью и, волоча ноги, вышел из дома.

– Дай-ка мне ребенка, доченька, – сказала Лиз, обращаясь к Чарли, – и спасибо тебе от всей души! Дженни, подруженька ты моя, спокойной ночи! Если хозяин мой на меня не накинется, сударыня, я немного погодя пойду поищу мальчика около печей, – скорей всего, он где-нибудь там приютится, – а утром опять схожу туда.

Она быстро ушла, и вскоре, проходя мимо ее дома, мы увидели, как она баюкает ребенка у двери, напевая ему песенку, а сама тревожно смотрит на дорогу, поджидая пьяного мужа.

Я боялась, что, если мы останемся здесь поговорить с этими женщинами, им за это попадет от мужей. Но я сказала Чарли, что нельзя нам покинуть мальчика и тем самым обречь его на верную смерть. Чарли гораздо лучше меня знала, что надо делать, а быстрота соображения была у нее под стать присутствию духа, и вот она выскользнула из дома раньше меня, и вскоре мы нагнали Джо, когда он уже подходил к печи для обжига кирпича.

Должно быть, он отправился в путешествие с узелком под мышкой, но узелок украли, а может быть, мальчик потерял его; и сейчас он нес жалкие клоки своей меховой шапки, как узелок, хотя шел с непокрытой головой под дождем, который вдруг снова полил как из ведра. Когда мы окликнули его, он остановился, но едва я к нему подошла, как он снова с ужасом впился в меня блестящими глазами и даже перестал дрожать.

Я предложила мальчику пойти к нам, обещав устроить его на ночлег.

– Не надо мне никакого ночлега, – отозвался он, – лягу промеж теплых кирпичей, и все.

– А ты не знаешь, что так и помереть можно? – проговорила Чарли.

– Все равно, люди везде помирают, – сказал мальчик, – дома помирают, – она знает где; я ей показывал… в «Одиноком Томе» помирают, – целыми толпами. Больше помирают, чем выживают, как я вижу. – И вдруг он хрипло зашептал, повернувшись к Чарли: – Ежели она не та, другая, так и не иностранка. Неужто их целых три!

Чарли покосилась в мою сторону немного испуганными глазами. Да и я чуть не испугалась, когда мальчик уставился на меня.

Но когда я подозвала его знаком, он повернулся и пошел за нами, а я, убедившись, что он слушается меня, направилась прямо домой. Идти было недалеко – только подняться на пригорок. Дорога была безлюдна – мимо нас прошел лишь один человек. А я сомневалась, удастся ли нам дойти до дому без посторонней помощи, – мальчик едва плелся неверными шагами и все время пошатывался. Однако он ни на что не жаловался и, как ни странно, ничуть о себе не беспокоился.

Придя домой, я оставила его ненадолго в передней, – где он съежился в углу оконной ниши, глядя перед собой остановившимися глазами, такими безучастными, что его оцепенелое состояние никак нельзя было объяснить сильным и непривычным впечатлением от яркого света и уютной обстановки, в которую он попал, – а сама пошла в гостиную, чтобы поговорить с опекуном. Там я увидела мистера Скимпола, который приехал к нам в почтовой карете, как он частенько приезжал – без предупреждения и без вещей; впрочем, он

постоянно брал у нас все, что ему было нужно.

Опекун, мистер Скимпол и я, мы сейчас же вышли в переднюю, чтобы посмотреть на больного. В передней собралась прислуга, а Чарли стояла рядом с мальчиком, который дрожал в оконной нише, как раненый зверек, вытащенный из канавы.

– Дело дрянь, – сказал опекун, после того как задал мальчику два-три вопроса, пощупал ему лоб и заглянул в глаза. – Как ваше мнение, Гарольд?

– Лучше всего выгнать его вон, – сказал мистер Скимпол.

– То есть как это – вон? – переспросил опекун почти суровым тоном.

– Дорогой Джарндис, – ответствовал мистер Скимпол, – вы же знаете, что я такое – я дитя. Будьте со мной строги, если я этого заслуживаю. Но я от природы не выношу таких больных. И никогда не выносил, даже в бытность мою лекарем. Он ведь других заразить может. Лихорадка у него очень опасная.

Все это мистер Скимпол изложил свойственным ему легким тоном, вернувшись вместе с нами из передней в гостиную и усевшись на табурет перед роялем.

– Вы скажете, что это ребячество, – продолжал мистер Скимпол, весело посматривая на нас. – Что ж, признаю, возможно, что и ребячество. Но ведь я и вправду ребенок и никогда не претендовал на то, чтобы меня считали взрослым. Если вы его прогоните, он опять пойдет своей дорогой; зна-

чит, вы прогоните его туда, где он был раньше, – только и всего. Поймите, ему будет не хуже, чем было. Ну, пусть ему будет даже лучше, если уж вам так хочется. Дайте ему шесть пенсов или пять шиллингов, или пять фунтов с половиной, – вы умеете считать, а я нет, – и с рук долой!

– А что же он будет делать? – спросил опекун.

– Клянусь жизнью, не имею ни малейшего представления о том, что именно он будет делать, – ответил мистер Скимпол, пожимая плечами и чарующе улыбаясь. – Но что-нибудь он да будет делать, в этом я ничуть не сомневаюсь.

– Какое безобразие, – проговорил опекун, которому я наскоро рассказала о бесплодных хлопотах женщин, – какое безобразие, – повторял он, шагая взад и вперед и ероша себе волосы, – подумайте только – будь этот бедняга осужденным преступником и сиди он в тюрьме, для него широко распахнулись бы двери тюремной больницы и уход за ним был бы не хуже, чем за любым другим больным мальчиком в нашем королевстве!

– Дорогой Джарндис, – сказал мистер Скимпол, – простите за наивный вопрос, но ведь я ничего не смыслю в житейских делах, – если так, почему бы этому мальчику не сесть в тюрьму?

Опекун остановился и взглянул на него каким-то странным взглядом, в котором смех боролся с негодованием.

– Нашего юного друга, как мне кажется, вряд ли можно заподозрить в щепетильности, – продолжал мистер Скимпол,

ничуть не смущаясь и совершенно искренне. – Мне думается, он поступил бы разумнее и в своем роде даже достойнее, если бы проявил энергию не в том направлении, в каком следует, и по этой причине попал в тюрьму. В этом больше сказалась бы любовь к приключениям, а стало быть, и некоторая поэтичность.

– Другого такого младенца, как вы, пожалуй, во всем мире нет, – отозвался опекун, снова принявшись шагать по комнате и, видимо, чувствуя себя неловко.

– Вы так думаете? – подхватил мистер Скимпол. – Что ж, пожалуй! Но, признаюсь, я не понимаю, почему бы нашему юному другу и не овеять себя той поэзией, которая доступна юнцам в его положении. Бесспорно, у него от природы есть аппетит, а когда он здоров, аппетит у него превосходный, надо думать. Прекрасно! И вот в тот час, когда наш юный друг привык обедать, – скорее всего, около полудня, – наш юный друг объявляет обществу: «Я голоден; будьте добры дать мне ложку и накормить меня». Общество, взявшее на себя организацию всей системы ложек и неизменно утверждающее, что у него есть ложка и для нашего юного друга, тем не менее не дает ему ложки; и тогда наш юный друг говорит: «Значит, придется вам меня извинить, если я ее сам стяну». Вот это и есть, как мне кажется, случай, когда энергия направлена не туда, куда следует, но зато не лишена некоторой доли разумности и некоторой доли романтики; и, право, не знаю, но я тогда, пожалуй, больше интересовался бы нашим юным дру-

гом, как иллюстрацией подобного случая, чем теперь, когда он простой бродяга… каким может сделаться кто угодно.

– Между тем, – решилась я заметить, – ему становится все хуже.

– Между тем, – весело повторил мистер Скимпол, – ему становится все хуже, как изволила сказать мисс Саммерсон со свойственным ей практическим здравым смыслом. Поэтому я рекомендовал бы вам выгнать его вон, прежде чем ему станет еще хуже.

Я, наверное, никогда не забуду того благожелательного выражения лица, с каким он все это говорил.

– Конечно, Хозяюшка, – заметил опекун, повернувшись ко мне, – я могу настоять на его помещении в больницу, если сам отправлюсь туда и потребую принять его, хотя, надо сказать, дело у нас обстоит очень плохо, если приходится этого добиваться, даже когда больной в таком состоянии. Но время позднее, погода отвратительная, а мальчик уже с ног валится. Чердак у нас над конюшней благоустроенный и там стоит койка; давайте-ка поместим мальчика туда до завтрашнего утра, а утром его можно будет закутать хорошенько и увезти. Так и сделаем.

– Вот как! – произнес мистер Скимпол, положив руки на клавиши, когда мы уже выходили. – Значит, вы идете к нашему юному другу?

– Да, – ответил опекун.

– Как я завидую вашему характеру, Джарндис! – прогово-

рил мистер Скимпол с шутливым восхищением. – Для вас такие вещи – совершенные пустяки, и для мисс Саммерсон тоже. Вы готовы во всякое время пойти куда угодно и сделать все, что угодно. Вот что значит слово «сделаю». А я никогда не говорю «сделаю» или «не сделаю», я просто говорю «не могу».

– Вы, должно быть, не можете даже посоветовать нам, чем помочь больному? – почти сердито спросил опекун, оглядываясь на него через плечо; подчеркиваю – только «почти», ибо он, по-видимому, никогда не считал мистера Скимпола существом, ответственным за свои поступки.

– Дорогой Джарндис, я заметил у него в кармане склянку с жаропонижающим лекарством, и самое лучшее, что он может сделать, – это принять его. Прикажите слегка побрызгать уксусом в помещении, где он будет спать, и держать это помещение в умеренной прохладе, а больного в умеренном тепле. Но давать советы – это с моей стороны просто дерзость. Ведь мисс Саммерсон обладает таким знанием всяких мелочей и такой способностью распоряжаться по мелочам, что и без меня сумеет сделать все необходимое.

Мы вернулись в переднюю и объяснили Джо, куда хотим его поместить, а Чарли еще раз объяснила ему все сначала, но он слушал ее с тем же вялым безразличием, которое я уже заметила в нем, и только устало озирался, словно все приготовления делались не для него, а для кого-то другого. Прислуга, жалея его, очень охотно принялась нам помогать, так

что мы быстро привели в порядок чердак, а несколько мужчин, из тех, что работали в усадьбе, тепло укутали мальчика и перенесли его через сырой двор. Отрадно было наблюдать, как ласково все они обращались с ним и как часто называли его «приятелем», надеясь этим подбодрить его. Всеми операциями руководила Чарли, которая беспрестанно сновала между конюшней и домом, перенося разные укрепляющие средства и питательные кушанья, которые, по нашему мнению, не могли повредить мальчику. Опекун лично пошел навестить больного, перед тем как его оставили на ночь, и, вернувшись в Брюзжальню, чтобы написать в больницу письмо, которое наш человек должен был передать ранним утром, сообщил мне, что мальчику лучше и его клонит ко сну. Дверь на чердак заперли, сказал опекун, – на случай, если у больного начнется бред и он будет порываться бежать, а внизу ляжет человек, который услышит малейший шум над собой.

Ада была простужена и не выходила из нашей комнаты, поэтому мистер Скимпол, оставшись в одиночестве, все это время развлекался, наигрывая отрывки из жалобных песенок, а иногда и напевая их (как мы слышали издали) с большим чувством и очень выразительно. Когда мы пришли к нему в гостиную, он сказал, что хочет исполнить маленькую балладу, – она вспомнилась ему «по ассоциации с нашим юным другом», – и совершенно очаровательно спел песню о том крестьянском мальчике, который —

Бездомный, без матери и без отца,
По свету блуждать обречен без конца.

Эта песня всегда вызывает у него слезы, сказал он нам.

Весь остаток вечера он был очень весел, ибо ему «хочется чирикать, как птичка, – заявил он в восторге, – стоит только вспомнить, какими на редкость талантливыми в деловом отношении людьми» он окружен. Поднимая стакан вина, разбавленного кипятком и сдобренного лимоном и сахаром, он предложил нам тост «за выздоровление нашего юного друга» и высказал предположение, которое в дальнейшем развил веселым тоном, что мальчику, как и Виттингтону, в будущем суждено стать лондонским лорд-мэром. А тогда мальчик, без сомнения, учредит Приют имени Джарндиса и Странноприимные дома имени Саммерсон, а также положит начало ежегодному паломничеству корпораций в Сент-Олбенс. Не подлежит сомнению, говорил он, что наш юный друг в своем роде чудесный мальчик и он идет своим чудесным путем, но путь его не совпадает с путем Гарольда Скимпола. Что за человек Гарольд Скимпол, Гарольд Скимпол узнал, к своему великому изумлению, когда впервые познакомился с самим собой и, тогда же приняв себя со всеми своими недостатками, решил, что самая здоровая философия – это примириться с ними; и он надеется, что мы поступим так же.

Наконец Чарли доложила, что мальчик успокоился. Из своего окна я видела ровно горящий фонарь, который поста-

вили на чердаке конюшни, и легла в постель, радуясь, что бедняга нашел приют.

Незадолго до рассвета со двора послышались шум и говор более громкие, чем обычно, и они меня разбудили. Одеваясь, я выглянула в окно и спросила слугу, – одного из тех, кто вчера всячески старался помочь мальчику, – все ли благополучно в доме. А фонарь по-прежнему горел в чердачном окне.

– Это из-за мальчика, мисс, – ответил слуга.

– Ему хуже? – спросила я.

– Был да сплыл, мисс.

– Неужели умер?

– Умер, мисс? Да нет! Пропал бесследно, удрал.

В котором часу ночи он сбежал, как, почему – гадать не стоило. Дверь была заперта, как и вечером, фонарь стоял на подоконнике; оставалось только предположить, что мальчик выбрался через люк в полу чердака, под которым был пустой каретный сарай. Но если это было так, значит, мальчик закрыл за собой люк; между тем, судя по всему, люка не открывали. Ни одной вещи не пропало. Когда все это выяснилось, мы с грустью поняли, что ночью у мальчика начался бред и, безотчетно влекомый куда-то или преследуемый безотчетным страхом, он убежал прочь в состоянии более чем беспомощном; по крайней мере так думали все мы, если не считать мистера Скимпола, а он, как всегда, в легкомысленном и непринужденном стиле несколько раз высказал пред-

положение, что наш юный друг сообразил, какой он небезопасный гость, если у него такая нехорошая лихорадка, и, побуждаемый природной деликатностью, убрался прочь.

Опросили всех, кого могли, и обыскали все. Осмотрели печи для обжига кирпича, ходили в поселок кирпичников, подробно расспрашивали обеих женщин, но они ничего о мальчике не знали и только искренне удивлялись. Несколько дней стояла дождливая погода, и этой ночью тоже шел такой проливной дождь, что отыскать беглеца по следам оказалось невозможным. Наши люди осмотрели все живые изгороди, канавы, каменные ограды, стога сена во всей округе – ведь мальчик мог лежать где-нибудь без сознания или мертвый, – но не нашли никаких признаков того, что он хотя бы проходил где-то поблизости. С той минуты, как его оставили одного на чердаке, о нем не было ни слуху ни духу.

Мальчика искали пять дней. Это не значит, что потом поиски прекратили, но внимание мое тогда было отвлечено в сторону очень памятным для меня событием.

Как-то вечером Чарли снова занималась чистописанием у меня в комнате, а я сидела против нее за работой и вдруг почувствовала, что наш столик закачался. Я подняла глаза и увидела, что моя маленькая горничная дрожит всем телом.

– Что с тобой, Чарли, ты озябла? – спросила я.

– Кажется, да, мисс, – ответила она. – Не знаю, что со мной такое. Вся трясусь – никак не могу усидеть смирно. И вчера меня тоже знобило… примерно в это же время, мисс. Не из-

вольте беспокоиться, только я, должно быть, заболела.

Тут я услышала голос Ады и со всех ног кинулась запирать дверь из своей комнаты в нашу уютную гостиную. Едва успела – только повернула ключ, как Ада уже постучалась.

Ада попросила меня впустить ее, но я сказала:

– Попозже, душенька моя милая. А сейчас уйди. Ничего особенного не случилось; я к тебе скоро приду.

Ах, как много, много утекло времени до того, как мы с моей дорогой девочкой зажили по-прежнему.

Чарли заболела. Наутро она совсем расхворалась. Я перевела ее в свою комнату, уложила в свою постель и осталась ухаживать за нею. Я обо всем рассказала опекуну, объяснила, почему считаю нужным остаться одна и почему ни в коем случае не хочу встречаться со своей любимой подругой. Вначале она то и дело подходила к моей двери, звала меня и даже упрекала со слезами и рыданиями; но я написала ей длинное письмо, в котором объясняла, что она меня только волнует и расстраивает, и умоляла ее, если она меня любит и дорожит моим спокойствием, разговаривать со мной не иначе, как из сада. После этого она стала приходить ко мне под окно еще чаще, чем раньше подходила к двери; и если я и прежде, когда мы почти не расставались, любила ее милый, нежный голос, то как же я полюбила его теперь, когда, стоя за оконной занавеской, слушала ее слова и отвечала ей, но не решалась даже выглянуть наружу! Как полюбила я его потом, когда наступили еще более тяжелые дни!

Ада переселилась в другую часть дома, мне поставили кровать в нашей гостиной, а я перестала закрывать дверь из гостиной в свою спальню и, превратив таким образом две комнаты в одну, все время следила за тем, чтобы воздух в них был чистый и свежий. Вся прислуга в доме и усадьбе была так добра, что с радостью явилась бы по моему зову во всякое время дня и ночи, без малейшего страха или неудовольствия; но я решила выбрать для услуг одну хорошую женщину, на которую могла положиться, и взяла с нее обещание соблюдать все предосторожности и не видеться с Адой. Она служила посредницей между мною и опекуном, с которым я выходила из дому подышать свежим воздухом, когда можно было не бояться, что натолкнешься на Аду, и, заручившись такой помощницей, я не терпела недостатка ни в чем.

А бедной Чарли становилось все хуже и хуже, и жизни ее грозила большая опасность, – тяжелобольная, она пролежала много долгих дней и ночей. И так терпелива она была, так безропотна, с такой кроткой стойкостью переносила страдания, что, когда я сидела у ее постели, обхватив руками ее голову, – иначе она не могла заснуть, – я часто молилась про себя нашему Отцу Небесному, чтобы он не дал мне забыть тот урок, который преподала мне эта младшая сестра моя.

Мне было очень больно думать о том, что, если Чарли и выздоровеет, ее хорошенькое личико, вероятно, утратит свою прелесть, – будет обезображено оспой, – а у нее бы-

ло такое милое детское личико с ямочками на щеках; но эта мысль исчезала перед угрозой еще большей опасности. Бывали особенно тяжелые минуты, когда Чарли в полубреду вспоминала о том, как ухаживала за больным отцом и детьми, но и тогда она узнавала меня и успокаивалась в моих объятиях, – ни в каком другом положении она не могла лежать спокойно, – а если и бормотала что-то бессвязное, то уже не так тревожно. В подобные минуты я всегда думала: как же я скажу двум осиротевшим малюткам, что малютка, которая всем своим любящим сердцем старалась заменить им мать, теперь умерла?

Были и другие минуты, когда Чарли хорошо узнавала меня, говорила со мной, просила передать сердечный привет Тому и Эмме и надеялась, что Том вырастет хорошим человеком. Тогда Чарли рассказывала мне, что она во время болезни отца читала ему, как умела, чтобы его подбодрить, – читала о том юноше, которого несли хоронить, а он был единственный сын у матери-вдовы; читала о дочери правителя, которую милосердная десница подняла с ложа смерти. И еще Чарли говорила мне, что, когда отец ее умер, она упала на колени у его постели и в первом порыве горя молилась, чтобы он тоже был воскрешен и вернулся к своим бедным детям; а если сама она теперь не поправится, добавляла Чарли, если она умрет, как умер отец, Том, наверное, тоже помолится, чтобы она воскресла. И она просила меня объяснить Тому, что в старину людей возвращали к жизни на зем-

ле лишь для того, чтобы мы могли надеяться на воскресение в небесах.

Но в каком бы состоянии ни была больная, она не утратила тех своих добрых качеств, о которых я говорила. И много, много раз я думала по ночам о возвышенной вере в ангела-хранителя и еще более возвышенной надежде на бога, которые до самого смертного часа жили в душе ее бедного, всеми презираемого отца.

Но Чарли не умерла. Она долго была в опасности, медленно и неуверенно боролась с нею, перенесла кризис, а потом стала выздоравливать. Вскоре появилась надежда, вначале казавшаяся несбыточной, на то, что Чарли снова станет прежней Чарли, и я уже видела, как ее личико мало-помалу приобретает прежнюю детскую миловидность.

Какое это было радостное утро, когда я рассказывала обо всем Аде, стоявшей в саду, и какой это был радостный вечер, когда мы с Чарли наконец-то вместе пили чай в нашей гостиной. Но в этот самый вечер я внезапно почувствовала, что меня знобит.

К счастью для нас обеих, я только тогда начала догадываться, что заразилась от Чарли, когда она снова улеглась в постель и успела заснуть спокойным сном. За чаем мне без труда удалось скрыть свое состояние, но сейчас это было бы уже невозможно, и я поняла, что быстро иду по ее следам.

Однако наутро мне стало гораздо лучше, и я поднялась рано, ответила на веселое приветствие моей милой Ады, сто-

явшей в саду, и мы разговаривали с нею так же долго, как всегда. Но мне смутно вспоминалось, что ночью я бродила по обеим нашим комнатам и мысли мои немного путались, хоть я и сознавала, где нахожусь; кроме того, мне временами становилось не по себе от какого-то странного ощущения полноты – казалось, я вся распухла.

К вечеру я почувствовала себя настолько плохо, что решила подготовить Чарли, и сказала ей:

– Ты теперь совсем окрепла, Чарли, ведь правда?

– Совсем! – ответила Чарли.

– Достаточно окрепла, Чарли, чтобы узнать одну тайну?

– Ну, уж для тайны-то я, безусловно, достаточно окрепла! – воскликнула Чарли.

Но не успела Чарли прийти в восторг, как личико у нее вытянулось – она узнала тайну по моему лицу и, вскочив с кресла, упала мне на грудь, твердя от всего своего благодарного сердца: «Ох, мисс, это все из-за меня! Из-за меня это, я виновата!» – и еще многое другое.

– Так вот, Чарли, – начала я немного погодя, после того как дала ей выговориться, – если я расхвораюсь, вся моя надежда на тебя. И если ты не будешь такой же спокойной и терпеливой во время моей болезни, какой была, когда хворала сама, ты не оправдаешь моих надежд, Чарли.

– Позвольте мне еще немножко поплакать, мисс, – проговорила Чарли. – Ох, милая моя, милая! позвольте мне только немножко поплакать, милая вы моя! – Не могу вспомнить

без слез, с какой любовью и преданностью она лепетала, обнимая меня: – Я буду умницей.

Ну, я уж позволила Чарли поплакать еще немножко, и нам обеим стало как-то легче.

– А теперь, мисс, с вашего позволения, можете на меня положиться, – спокойно проговорила Чарли. – Все буду делать, как вы прикажете.

– Сейчас я почти ничего не могу приказать тебе, Чарли. Но сегодня вечером скажу твоему доктору, что чувствую себя нехорошо и что ты будешь ухаживать за мной.

За это бедняжка поблагодарила меня от всего сердца.

– Когда же ты утром услышишь из сада голос мисс Ады, то, если я сама не смогу, как всегда, подойти к окну, подойди ты, Чарли, и скажи, что я сплю… что я очень устала и сплю. Все время поддерживай в комнате порядок, как это делала я, Чарли, и никого не впускай.

Чарли обещала выполнить все мои просьбы, а я улеглась в постель, потому что чувствовала себя очень скверно. В тот же вечер я показалась доктору и попросила его пока ничего не говорить домашним о моей болезни. Я лишь очень смутно помню, как эта ночь перешла в день, а день, в свою очередь, перешел в ночь, но все же в то первое утро я через силу добралась до окна и поговорила со своей любимой подругой.

На следующее утро я услышала за окном ее милый голос – до чего милым он казался мне теперь! – и не без труда (мне было больно говорить) попросила Чарли подойти и сказать,

что я сплю.

Я услышала, как Ада ответила:

– Ради бога, не тревожь ее, Чарли!

– Какой у нее вид, Чарли, у моей дорогой? – спросила я.

– Огорченный, мисс, – ответила Чарли, выглянув наружу из-за занавески.

– Но я знаю, что сегодня утром она очень красивая.

– В самом деле красивая, мисс, – отозвалась Чарли, снова выглянув наружу. – И она все еще смотрит вверх, на ваше окно. Смотрит… ясными голубыми глазами, благослови их бог! И они всего красивее, когда она их так поднимает ввысь.

Я подозвала Чарли и дала ей последнее поручение.

– Слушай, Чарли, когда она узнает, что я заболела, она попытается пробраться ко мне в комнату. Не впускай ее, Чарли, пока опасность не минует, если только ты любишь меня по-настоящему! Чарли, если ты хоть раз впустишь ее сюда, хоть секунду позволишь ей посмотреть, как я лежу здесь, я умру.

– Ни за что не впущу ее! Ни за что! – обещала она.

– Я верю тебе, милая моя Чарли. А теперь подойди сюда, посиди немножко здесь рядом и дотронься до меня. Ведь я тебя не вижу, Чарли, я ослепла!

Глава XXXII
Назначенный срок

Вечер настает в Линкольнс-Инне, этой непроходимой и беспокойной долине теней закона, в которой просители почти никогда не видят дневного света, – вечер настает в Линкольнс-Инне, и в конторах гасят толстые свечи, а клерки уже протопали вниз по расшатанным деревянным ступеням лестниц и рассеялись кто куда. Колокол, который в девять часов звонит здесь, уныло жалуясь на какие-то мнимые обиды, уже умолк; ворота заперты, и ночной привратник, внушительный страж, одаренный редкостной способностью ко сну, стоит на часах в своей каморке. Тускло светятся окна на лестницах – это закопченные фонари, как глаза Суда справедливости, близорукого Аргуса с бездонным карманом для каждого глаза и глазом на каждом кармане, подслеповато мигают звездам. Кое-где за грязными стеклами верхних окон мерцает слабое пламя свечи, позволяя догадываться, что какой-то хитроумный крючкотвор все еще трудится над уловлением недвижимой собственности в сети пергамента из бараньей кожи, что в среднем обходится примерно в дюжину баранов на акр земли. Вот над какой пчелиной работой – хотя служебные часы уже миновали – все еще корпят эти благодетели своих ближних, чтобы наконец подвести итог при-

бывному дню.

В ближнем переулке, где проживает «Лорд-канцлер лавки Тряпья и Бутылок», помыслы всех обывателей направлены к пиву и ужину. Миссис Пайпер и миссис Перкинс, чьи сыновья, занятые вместе с приятелями игрой в прятки, вот уже несколько часов то лежат в засаде на «проселках», ведущих к Канцлерской улице, то рыщут по этой «большой дороге», приводя в замешательство прохожих, – миссис Пайпер и миссис Перкинс только что поздравили друг дружку с тем, что ребята их уложены в кровать, а сами замешкались у чьей-то двери, чтобы обменяться несколькими словами на прощанье. Мистер Крук и его жилец, и то обстоятельство, что мистер Крук «вечно под мухой», и надежды молодого человека на его завещание, как всегда, служат главной темой их беседы. Но им есть что сказать и о «Гармоническом собрании» в «Солнечном гербе», откуда через полуоткрытые окна до переулка доносятся звуки рояля и где Маленький Суиллс не хуже самого Йорика уже вызвал восторженный рев у любителей гармонии, а теперь ведет басовую партию в дуэте, сентиментально приглашая своих друзей и покровителей «слушать, слушать, слушать рокот во-до-пада!». Миссис Перкинс и миссис Пайпер обмениваются мнениями и об одной молодой особе, музыкальной знаменитости, которая участвует в «Гармонических собраниях» и которой отведено особое место в рукописной афише на окне; причем миссис Перкинс имеет сведения, что эта музыкальная особа уже полтора года

замужем, – хотя на афише значится как «мисс М. Мелвилсон, прославленная сирена», – а младенца ее каждый вечер тайком приносят в «Солнечный герб», дабы он в антрактах получал необходимую для него пищу.

– Чем так жить, – говорит миссис Перкинс, – я скорей занялась бы для пропитания продажей серных спичек.

Миссис Пайпер, как и полагается, держится того же взгляда, отмечая, что домашняя жизнь лучше рукоплесканий публики, и благодарит бога за то, что сама она (разумеется, и миссис Перкинс тоже) занимает приличное положение в обществе. В это время является слуга из «Солнечного герба» и приносит ей увенчанную пышной пеной пинтовую кружку пива на ужин, а миссис Пайпер, приняв этот сосуд, направляется домой, предварительно пожелав спокойной ночи миссис Перкинс, которая все время держала в руках свою кружку с тех пор, как юный Перкинс принес ее из того же трактира, перед тем как его отослали спать. Вот уже в переулке раздается стук ставен, закрываемых в лавках, распространяется запах трубочного табака и дыма, в верхних окнах мелькает что-то вроде падающих звезд, и все это означает, что обыватели готовятся отправиться на покой. Вот уж и полисмен начинает дергать двери, проверять запоры, подозрительно приглядываться к узлам в руках у прохожих и совершать свой обход в уверенности, что все и каждый или сами грабят, или подвергаются ограблению.

Вечер душный, хотя все пронизано холодной сыростью, и

медленный туман стелется невысоко над землей. Вечер насыщен влагой – это как раз такой вечер, когда всюду проникают миазмы, исходящие от боен, вредных цехов, сточных канав, гнилой воды, кладбищ, а Регистратору смертей прибавляется работы. То ли в воздухе что-то есть, – и даже очень много чего-то, – то ли что-то неладно с самим мистером Уивлом, иначе говоря Джоблингом, но так ли, этак ли, а ему очень не по себе. Он мечется между своей комнатой и открытой настежь входной дверью, – то туда, то обратно, – и так раз двадцать в час. Это когда уже стемнело. А когда «Канцлер» закрыл свою лавку, – сегодня он закрыл ее очень рано, – мистер Уивл (в дешевой бархатной ермолке, так плотно прилегающей к голове, что его бакенбарды кажутся непомерно пышными) то спускается, то поднимается чаще прежнего.

Немудрено, что мистеру Снегсби тоже не по себе; ведь ему всегда более или менее не по себе, так как он всегда чувствует гнетущее влияние тайны, которая тяготеет над ним. Подавленный мыслями о загадочной истории, в которой он участвовал, но которой не разгадал, мистер Снегсби все время бродит близ тех мест, где, по его мнению, скрыт ее источник, а именно – вокруг лавки старьевщика. Эта лавка влечет его неодолимо. И даже сейчас, пройдя мимо «Солнечного герба» с тем, чтобы выйти из переулка на Канцлерскую улицу и закончить свою бесцельную вечернюю десятиминутную прогулку от собственной двери и обратно, мистер Снегсби

подходит к лавке Крука.

– А! Мистер Уивл? – говорит торговец канцелярскими принадлежностями, останавливаясь, чтобы поболтать с молодым человеком. – *Вы* здесь?

– Да! – отвечает Уивл. – Я здесь, мистер Снегсби.

– Дышите свежим воздухом перед тем, как улечься в постель? – осведомляется торговец.

– Ну, воздуху здесь не так-то много, и сколько бы его ни было, не очень-то он освежает, – отвечает Уивл, окинув взглядом весь переулок.

– Совершенно верно, сэр. А вы не замечаете, – говорит мистер Снегсби, умолкнув, чтобы втянуть носом воздух и принюхаться, – вы не замечаете, мистер Уивл, говоря напрямик, что здесь у вас пахнет жареным, сэр?

– Пожалуй; я сам заметил, что тут сегодня как-то странно пахнет, – соглашается мистер Уивл. – Должно быть, это из «Солнечного герба» – отбивные жарят.

– Отбивные котлеты жарят, говорите? Да… значит, отбивные котлеты? – Мистер Снегсби снова втягивает носом воздух и принюхивается. – Пожалуй, так оно и есть, сэр. Но, смею сказать, не худо бы подтянуть кухарку «Солнечного герба». Они у нее подгорели, сэр! И я думаю, – мистер Снегсби снова втягивает носом воздух и принюхивается, потом сплевывает и вытирает рот, – я думаю, говоря напрямик, что они были не первой свежести, когда их положили на рашпер.

– Весьма возможно. Погода сегодня какая-то гнилая.

– Погода действительно гнилая, – соглашается мистер Снегсби, – и я нахожу, что она действует угнетающе.

– Черт ее подери! На *меня* она прямо ужас наводит, – говорит мистер Уивл.

– Что ж, вы ведь, знаете ли, живете уединенно, в уединенной комнате, где произошло мрачное событие, – отзывается мистер Снегсби, глядя через плечо собеседника в темный коридор и отступая на шаг, чтобы посмотреть на дом. – Я лично не мог бы жить в этой комнате один, как живете вы, сэр. Я бы так нервничал, так волновался по вечерам, что все время стоял бы тут на пороге – лишь бы не сидеть в этой комнате. Но, правда, вы в ней не видели того, что видел я. Это большая разница.

– Я тоже прекрасно знаю, что́ там произошло, – говорит Тони.

– Неприятно, правда? – продолжает мистер Снегсби, покашливая в руку кротким и убеждающим кашлем. – Мистеру Круку не худо бы принять это во внимание и сделать скидку с квартирной платы. Надеюсь, он так и поступит.

– Надеюсь, – отвечает Тони. – Но сомневаюсь.

– Вы считаете квартирную плату слишком высокой, сэр? – спрашивает владелец писчебумажной лавки. – В этом околотке квартиры и правда дороговаты. Не знаю почему; должно быть, юристы набивают цены. Впрочем, – оговаривается мистер Снегсби, покашливая извиняющимся кашлем, – я

отнюдь не хочу опорочить хоть словом профессию, которая меня кормит.

Мистер Уивл снова окидывает взглядом переулок, потом смотрит на торговца. Мистер Снегсби, нечаянно поймав его взгляд, смотрит вверх, на редкие звезды, и, не зная, как прекратить разговор, покашливает.

– Как странно, сэр, – снова начинает он, медленно потирая руки, – что он тоже был…

– Кто он? – перебивает его мистер Уивл.

– Покойный, знаете ли, – объясняет мистер Снегсби, указав головой и правой бровью в сторону лестницы и похлопывая собеседника по пуговице.

– А, вы о нем! – отвечает тот, видимо не слишком увлеченный этой темой. – Я думал, мы уже перестали о нем говорить.

– Я только хотел сказать, сэр, как странно, что он поселился здесь и сделался одним из моих переписчиков, а потом вы поселились здесь и тоже сделались одним из моих переписчиков. В этом занятии нет ничего унизительного, напротив, – подчеркивает мистер Снегсби, терзаемый внезапным опасением, что этими словами он, сам того не желая, неделикатно предъявил какие-то права на мистера Уивла, – я знавал переписчиков, которые потом работали в конторах пивоваренных заводов и сделались весьма уважаемыми людьми. Чрезвычайно уважаемыми, сэр, – добавляет мистер Снегсби, подозревая, что не исправил своей оплошности.

– В самом деле, странное совпадение, как вы говорите, – отзывается Уивл, еще раз обводя взглядом весь переулок.

– Перст Судьбы, не правда ли? – говорит торговец.

– Совершенно верно.

– Вот именно! – соглашается мистер Снегсби, покашливая в подтверждение своих слов. – Перст Судьбы. Судьбы! А теперь, мистер Уивл, я, к сожалению, должен пожелать вам спокойной ночи. – Мистер Снегсби прощается таким тоном, словно необходимость уйти приводит его в отчаяние, хотя он все время, с тех пор как умолк, только и думал, как бы спастись бегством. – А не то моя крошечка будет искать меня. Спокойной ночи, сэр!

Если мистер Снегсби спешит домой, чтобы избавить свою «крошечку» от необходимости ринуться на его поиски, то об этом ему беспокоиться нечего. Его «крошечка» не спускала с него глаз все то время, пока он бродил вокруг да около «Солнечного герба», и теперь крадется за ним следом, повязав голову платком, а проходя мимо мистера Уивла, удостаивает сверлящим взглядом и его самого, и даже его дверь.

«Кого-кого, а меня вы, дамочка, теперь и в толпе узнаете, – думает мистер Уивл, – и кем бы вы ни были, но наружности вашей я похвалить не могу – голова у вас не голова, а узел какой-то… Этот малый, должно быть, так *никогда* и не явится!»

Но «этот малый» как раз приходит. Мистер Уивл предостерегающе поднимает палец, тащит «малого» в коридор и

запирает наружную дверь. Затем они поднимаются наверх – мистер Уивл тяжелыми шагами, а мистер Гаппи (ибо это он) весьма легкими. Запершись в задней комнате, они начинают беседу вполголоса.

– Я думал, ты уж к черту на кулички сбежал, вместо того чтобы поспешить сюда, – говорит Тони.

– Я же сказал, что – часов в десять.

– Ты сказал – часов в десять, – повторяет Тони. – Да, ты действительно сказал – часов в десять. Но по моему счету прошло десятью десять… прошло сто часов. В жизни у меня не было такого вечерка!

– А что случилось?

– Да ну тебя! – отвечает Тони. – Ничего не случилось. Но я тут парился и коптился в этой веселенькой старой лачуге, и на меня градом сыпались всякие страхи. Вот *погляди*, какой чудесный вид у этой свечки! – говорит Тони, показывая пальцем на свой стол, на котором тускло горит тонкая свечка с огромным нагаром и вся оплывшая.

– Это легко наладить, – отзывается мистер Гаппи, хватая щипцы для сниманья нагара.

– Ты *думаешь*? – возражает его друг. – Не так легко, как кажется. С тех пор как я ее зажег, она все время чадит.

– Да что с тобой такое, Тони? – спрашивает мистер Гаппи и со щипцами в руках смотрит на приятеля, который сидит, облокотившись на стол.

– Уильям Гаппи, – отвечает ему приятель, – я словно в

ад попал. А все из-за этой невыносимо мрачной, самоубийственной комнаты… да еще старый черт внизу.

Мистер Уивл хмуро отодвигает от себя локтем подносик для щипцов, опускает голову на руку, ставит ноги на каминную решетку и смотрит на пламя. Мистер Гаппи, наблюдая за ним, слегка покачивает головой и непринужденно усаживается за стол прямо против него.

– Кто это с тобой разговаривал, Тони, Снегсби, что ли?

– Да, чтоб его… да, это был Снегсби, – отвечает мистер Уивл, меняя конец начатой фразы.

– О делах?

– Нет. Не о делах. Просто он тут прохаживался и остановился почесать язык.

– Так я и подумал, что это Снегсби, – говорит мистер Гаппи, – но я не хотел, чтобы он меня видел, и потому ждал, пока он не уйдет.

– Ну, вот опять, Уильям Гаппи! – восклицает Тони, на мгновение подняв глаза. – Все какие-то тайны, секреты! Черт возьми, да задумай мы кого-нибудь укокошить, мы и то не вели бы себя так таинственно!

Мистер Гаппи пытается улыбнуться и, желая переменить разговор, с искренним или притворным восхищением оглядывает комнату и «Галерею Звезд Британской Красоты», заканчивая свой обзор прибитым над каминной полкой портретом леди Дедлок, которая изображена на террасе, возле тумбы на этой террасе, причем на тумбе – ваза, на вазе шаль,

на шали огромный меховой палантин, на огромном меховом палантине рука, на руке браслет.

– Леди Дедлок тут очень похожа, – замечает мистер Гаппи. – Только что не говорит!

– Лучше бы говорила, – ворчит Тони, не меняя позы. – Тогда я мог бы вести здесь светские разговоры.

Поняв наконец, что его никакими хитростями не приведешь в более общительное настроение, мистер Гаппи меняет неудачно взятый курс и принимается урезонивать приятеля.

– Тони, – начинает он, – я способен извинить угнетенное состояние духа, ибо, когда оно находит на человека, ни один человек не знает лучше, чем я, что это за состояние, и, может быть, ни один человек не имеет права знать об этом больше человека, в сердце которого запечатлен образ, не оправдавший надежд. Но когда речь идет о стороне, непричастной к делу, следует держаться в известных границах, и должен тебе заметить, Тони, что в данном случае я не считаю твое поведение ни гостеприимным, ни вполне джентльменским.

– Очень уж сильно ты выражаешься, Уильям Гаппи, – одергивает его мистер Уивл.

– Может быть, сэр, – парирует мистер Уильям Гаппи, – но когда я так выражаюсь, значит, я сильно чувствую.

Мистер Уивл признает свою неправоту и просит мистера Уильяма Гаппи предать забвению этот инцидент. Но мистер Гаппи, получив преимущество, не в силах расстаться с ним без того, чтобы не сделать другу добавочного внушения

обидчивым тоном.

– Нет! Черт возьми, Тони, – говорит этот джентльмен, – тебе все-таки надо бы поостеречься и не задевать самолюбия человека, в сердце которого запечатлен некий образ, не оправдавший надежд, и которому струны, дрожащие от нежнейших чувств, не приносят полного счастья. Ты, Тони, обладаешь всем, что способно очаровать глаз и привлечь к тебе внимание. Не в твоем характере, – к счастью для тебя, быть может, и я хотел бы то же самое сказать о себе, – не в твоем характере витать вокруг одного-единственного цветка. Для тебя открыт весь сад, и ты порхаешь в нем на своих воздушных крылышках. Тем не менее, Тони, я никогда не позволю себе задевать без нужды даже твое самолюбие!

Тони снова просит его не возвращаться к этой теме, восклицая с пафосом:

– Уильям Гаппи, бросим этот разговор!

Мистер Гаппи соглашается, добавив:

– Сам я никогда бы его не начал, Тони.

– А теперь, – говорит Тони, мешая угли в камине, – насчет этой пачки писем. Ну, разве не странно, что Крук решил передать мне письма именно в полночь?

– Очень. А почему так?

– А почему он вообще поступает так, а не иначе? Он и сам не знает. Сказал, что сегодня день его рождения и что передаст мне письма в полночь. К тому времени он будет мертвецки пьян. Целый день пил.

– Надеюсь, он не позабыл о том, что условился с тобой?

– Позабыл? Ну, нет. В этом на него можно положиться. Он никогда ничего не забывает. Я видел его нынче вечером, часов в восемь, – помогал ему лавку запирать, – и тогда письма лежали в его лохматой шапке. Он ее снял и показал их мне. Когда лавку заперли, он вынул их из шапки, повесил ее на спинку кресла и принялся перебирать письма при свете огня. Немного погодя я услышал отсюда, как он поет внизу – лучше сказать, воет, как ветер, – одну песню, – только ее он и знает… что-то насчет Бибо и старика Харона, и как этот Бибо умер в пьяном виде или что-то в этом роде. Но с тех пор его не слышно – притих, как старая крыса, что заснула в норе.

– Значит, ты должен спуститься к нему в двенадцать часов?

– Да, в двенадцать, но, как я уже говорил, когда ты наконец явился, мне показалось, будто прошло сто часов.

– Тони, – начинает мистер Гаппи, скрестив ноги и немного подумав, – ведь он еще не умеет читать, правда?

– Куда там! Читать он никогда не научится. Он может писать все буквы одну за другой и многие узнает – каждую в отдельности, – настолько-то он выучился под моим руководством, но складывать их не может. Одряхлел, смекалки не хватает… да к тому же горький пьяница.

– Тони, – говорит мистер Гаппи, положив ногу на ногу, – каким образом он сумел разобрать в этих письмах фамилию

Хоудона, как ты думаешь?

– Ничего он разобрать не может. Но ты же знаешь, у него необыкновенно острые глаза, и он постоянно срисовывает всякие надписи и тому подобное, ничего не понимая в них, только на глаз. Ну, он и срисовал эту фамилию, – очевидно, с адреса на письме, – а потом спросил у меня, что это означает.

– Тони, – говорит мистер Гаппи, перекладывая правую ногу на левую, потом левую на правую, – как ты считаешь, оригинал был написан женским почерком или мужским?

– Женским. Держу пари на пятьдесят против одного, что писала дама… косой почерк и хвостик у буквы «н» длинный, нацарапан как попало.

Во время этого разговора мистер Гаппи кусал себе ноготь большого пальца то на правой, то на левой руке и одновременно перекладывал ноги – то правую на левую, то наоборот. Собираясь сделать это снова, он случайно бросает взгляд на свой рукав. Рукав привлекает его внимание. Мистер Гаппи в замешательстве смотрит на него, выпучив глаза.

– Слушай, Тони, что творится в этом доме нынче ночью? Или это сажа в трубе загорелась?

– Сажа загорелась?

– Ну да! – отвечает мистер Гаппи. – Смотри, сколько набралось копоти. Гляди, вот она у меня на рукаве! И на столе тоже! Черт ее возьми, эту гадость, – смахнуть невозможно… мажется, как черный жир какой-то!

Они смотрят друг на друга, потом Тони подходит к две-

ри и прислушивается; поднимается на несколько ступенек, спускается на несколько ступенек. Вернувшись, сообщает, что всюду тишина и спокойствие, и повторяет свои слова, сказанные давеча мистеру Снегсби насчет отбивных котлет, подгоревших в «Солнечном гербе».

– Значит… – начинает мистер Гаппи, все еще глядя с заметным отвращением на свой рукав, когда приятели возобновляют разговор, усевшись друг против друга за стол у камина и вытянув шеи так, что чуть не сталкиваются лбами, – значит, он тогда-то и рассказал тебе, что нашел пачку писем в чемодане своего жильца?

– Именно тогда и рассказал, сэр, – отвечает Тони, с томным видом поправляя свои бакенбарды. – Ну, а я тогда же черкнул словечко своему закадычному другу, достопочтенному Уильяму Гаппи, – сообщил ему, что свидание состоится сегодня ночью, и посоветовал не приходить раньше, потому что старый черт хитрец, каких мало.

Усвоенный мистером Уивлом легкий оживленный тон светского льва, болтающего в гостиной, сегодня режет ухо ему самому, так что мистер Уивл меняет тон и оставляет бакенбарды в покое, а оглянувшись через плечо, видимо, снова отдается на растерзание охватившим его страхам.

– Вы условились, что ты унесешь письма к себе в комнату, прочитаешь их, разберешь, что к чему, а потом перескажешь Круку их содержание. Такой был уговор, Тони, верно? – спрашивает мистер Гаппи, беспокойно покусывая но-

готь большого пальца.

– Говори потише. Да. На том мы и порешили.

– Вот что я тебе скажу, Тони…

– Говори тише, – повторяет Тони.

Мистер Гаппи, кивнув своей хитроумной головой, наклоняет ее еще ближе к приятелю и переходит на шепот.

– Вот что я тебе скажу. Первым долгом, надо заготовить другую пачку писем, в точности схожую с настоящей, на тот случай, если старик потребует свою, пока та будет у меня в руках, – тогда ты ему и покажешь поддельную.

– Ну, а если он заметит, что пачка поддельная? А на это пятьсот шансов против одного, – догадается, как только бросит на нее свой пронзительный взгляд, – прямо сверло какое-то, – говорит Тони.

– Тогда пойдем напролом. Ведь это не его письма, и никогда они его письмами не были. Ты это разнюхал, и ты передал их мне… своему другу-юристу… для большей сохранности. Если же он будет настаивать, ведь их можно будет вернуть, не правда ли?

– Да-а, – неохотно соглашается мистер Уивл.

– Ну, Тони, какое у тебя выражение лица! – укоризненно говорит его приятель. – Неужели ты сомневаешься в Уильяме Гаппи? Неужели боишься, как бы чего не вышло?

– Я боюсь только того, что знаю, Уильям, не больше, – хмуро отвечает Тони.

– А что ты знаешь? – пристает к нему мистер Гаппи, слег-

ка повышая голос, но приятель снова предупреждает его: «Сказано тебе – говори потише», и он повторяет вопрос совершенно беззвучно, выговаривая слова одними лишь движениями губ: «Что же ты знаешь?»

– Я знаю три вещи. Во-первых, я знаю, что мы тут с тобой шепчемся по секрету, уединившись… словно два заговорщика.

– Ну что ж! – говорит мистер Гаппи. – Лучше нам быть заговорщиками, чем олухами, а поступай мы иначе, мы были бы олухами; ведь иначе нашего дела не обделать. Во-вторых?

– Во-вторых, мне неясно, какая нам в конце концов от этого дела выгода будет.

Мистер Гаппи, устремив взор на портрет леди Дедлок, прибитый над каминной полкой, отвечает ему:

– Тони, прошу тебя, положись на честность своего друга; кроме того, мы все это затеяли с целью помочь твоему другу в отношении тех струн человеческой души, которые… которых сейчас не следует трогать, чтобы не вызвать мучительного трепетанья. Твой друг не дурак!.. Что это?

– Колокол на соборе Святого Павла бьет одиннадцать. Слышишь – все колокола в городе зазвонили.

Приятели сидят молча, слушая металлические голоса, близкие и далекие, – голоса, что раздаются с колоколен различной высоты и по звуку различаются между собой еще больше, чем колокола – по высоте своего положения над землей. Когда они наконец умолкают, воцаряется тишина

еще более таинственная, чем раньше. Ведь шепот имеет одно неприятное свойство, – кажется, будто он создает вокруг шепчущихся атмосферу безмолвия, в которой витают духи звуков: странные потрескиванья и постукиванья, шорох невещественных одежд и шум зловещих шагов, не оставляющих следов на морском песке и зимнем снегу. А приятели, оказывается, так впечатлительны, что им чудится, будто воздух кишит призраками, и оба одновременно оглядываются назад, чтобы удостовериться, закрыта ли дверь.

– Ну, Тони, – продолжает мистер Гаппи, придвигаясь поближе к камину и покусывая ноготь дрожащего большого пальца, – а что же ты хотел сказать в-третьих?

– Не очень-то приятно устраивать заговор против покойника, да еще в той комнате, где он умер, особенно если сам в ней живешь.

– Но мы же не устраиваем никаких заговоров против него, Тони.

– Может, и нет, а все-таки мне это не нравится. Поживи-ка здесь сам, – увидишь, как все это понравится *тебе*.

– Что касается покойников, Тони, – продолжает мистер Гаппи, уклоняясь от этого предложения, – то ведь почти во всех комнатах когда-нибудь да были покойники.

– Знаю, что были, но почти во всех комнатах покойников оставляют в покое, и… они тоже оставляют тебя в покое, – возражает Тони.

Приятели снова смотрят друг на друга. Мистер Гаппи за-

мечает вскользь, что, затеяв все это дело, они, быть может, даже окажут услугу покойнику… надо надеяться. Наступает тягостное молчание, но вдруг мистер Уивл неожиданно начинает мешать угли в камине, а мистер Гаппи вскакивает, словно это в его собственном сердце помешали кочергой.

– Тьфу! Этой отвратительной копоти налетело еще больше, – говорит он. – Давай-ка откроем на минутку окно и глотнем свежего воздуха. Здесь невыносимо душно.

Он поднимает оконную раму, и оба ложатся животом на подоконник, наполовину высунувшись наружу. Переулок так узок, что приятели могут увидеть небо не иначе, как выгнув шею и задрав голову вверх; но огни, которые светятся кое-где в запыленных окнах, далекое тарахтенье экипажей и сознание того, что вокруг движутся люди, – все это действует успокоительно. Мистер Гаппи, бесшумно хлопая рукой по подоконнику, снова начинает шептать легким комедийным тоном:

– Кстати, Тони, не забудь, что старику Смоллуиду про это молчок, – он имеет в виду Смоллуида-младшего. – Я, знаешь, решил не впутывать его в это дело. Дедушка у него до черта въедливый. Это у них в роду.

– Не забуду, – говорит Тони. – Я знаю, как себя держать.

– Теперь насчет Крука, – продолжает мистер Гаппи. – Как ты думаешь, правда ли, что он добыл какие-то другие важные документы, как сам похвастался тебе, когда вы так подружились?

Тони качает головой.

– Не знаю. Понятия не имею. Если мы обделаем это дельце, не возбудив его подозрений, я, конечно, разберусь во всем. А как мне знать сейчас, если я не видел этих документов, а сам он ничего не понимает? Он постоянно читает – букву за буквой – отдельные слова из своих бумаг, потом чертит эти слова мелом на столе или на стене в лавке и спрашивает, что значит это да что значит то; но я не удивлюсь, если все его документы окажутся бросовой бумагой – он и купил-то их как макулатуру. Просто он забрал себе в голову, что у него есть важные документы. Судя по его словам, он целую четверть века все пытался их прочитать.

– Но почему это взбрело ему на ум? Вот в чем вопрос, – говорит мистер Гаппи, прищурив глаз и немного подумав с видом опытного юриста. – Возможно, он случайно нашел бумаги в какой-нибудь вещи, которую купил и где бумаг не должно было быть; а спрятаны они были так и в таком месте, что Крук, вероятно, вбил себе в свою хитрую голову, что они имеют какую-то ценность.

– А может быть, его облапошили, вовлекли в жульническую сделку. А может, он свихнулся оттого, что постоянно рассматривал свои бумаги, пьянствовал, торчал в суде лорд-канцлера и вечно слушал чтение документов, – предполагает мистер Уивл.

Мистер Гаппи кивает и, взвешивая в уме все эти возможности, по-прежнему задумчиво похлопывает по подоконни-

ку, на котором теперь уже сидит, упирается в него, измеряет его длину, растопырив пальцы, но вдруг быстро отдергивает руку.

– Что такое, черт побери? – восклицает он. – Посмотри на мои пальцы!

Они запачканы какой-то густой желтой жидкостью, омерзительной на ощупь и на вид и еще более омерзительно пахнущей каким-то тухлым тошнотворным жиром, который возбуждает такое отвращение, что приятелей передергивает.

– Что ты тут делал? Что ты выливал из окна?

– Что выливал? Да ничего я не выливал, клянусь тебе! Ни разу ничего не выливал с тех пор, как живу здесь, – восклицает жилец мистера Крука.

И все же смотрите сюда… и сюда! Мистер Уивл приносит свечу, и теперь видно, как жидкость, медленно капая с угла подоконника, стекает вниз, по кирпичам, а в другом месте застаивается густой зловонной лужицей.

– Ужасный дом, – говорит мистер Гаппи, рывком опуская оконную раму. – Дай воды, не то я руку себе отрежу.

Мистер Гаппи так долго мыл, тер, скреб, нюхал и опять мыл запачканную руку, что не успел он подкрепиться стаканчиком бренди и молча постоять перед камином, как колокол на соборе Св. Павла принялся бить двенадцать часов; и вот уже все другие колокола тоже начинают бить двенадцать на своих колокольнях, низких и высоких, и многоголосый звон разносится в ночном воздухе. Но вскоре снова наступает ти-

шина, и мистер Уивл объявляет:

– Ну, наконец-то срок наступил. Идти мне?

Мистер Гаппи кивает и «на счастье» хлопает его по спине, но не правой рукой, несмотря на то что запачканную правую он вымыл.

Мистер Уивл спускается по лестнице, а мистер Гаппи садится перед камином, стараясь приготовиться к долгому ожиданию. Но не проходит и двух минут, как слышится скрип ступенек, и Тони вбегает в комнату.

– Письма достал?

– Как бы не так! Ничего я не достал. Старика там нет.

За этот короткий промежуток времени Тони успел так перепугаться, что приятель, заразившись его страхом, бросается к нему и спрашивает громким голосом:

– Что случилось?

– Я не мог его дозваться, тихонько отворил дверь и заглянул в лавку. А там пахнет гарью… всюду копоть и этот жир… а старика нет!

И Тони издает стон.

Мистер Гаппи берет свечу. Ни живы ни мертвы приятели спускаются по лестнице, цепляясь друг за друга, и открывают дверь комнаты при лавке. Кошка отошла к самой двери и шипит, – не на пришельцев, а на какой-то предмет, лежащий на полу перед камином. Огонь за решеткой почти погас, но в комнате что-то тлеет, она полна удушливого дыма, а стены и потолок покрыты жирным слоем копоти. Кресла, стол и бу-

тылка, которая почти не сходит с этого стола, стоят на обычных местах. На спинке одного кресла висят лохматая шапка и куртка старика.

– Смотри! – шепчет Уивл, показывая на все это приятелю дрожащим пальцем. – Так я тебе и говорил. Когда я видел его в последний раз, он снял шапку, вынул из нее маленькую пачку старых писем и повесил шапку на спинку кресла, – куртка его уже висела там, он снял ее перед тем, как пошел закрывать ставни; а когда я уходил, он стоял, перебирая письма, на том самом месте, где на полу сейчас лежит что-то черное.

Уж не повесился ли он? Приятели смотрят вверх. Нет.

– Гляди! – шепчет Тони. – Вон там, у ножки кресла, валяется обрывок грязной тонкой красной тесьмы, какой гусиные перья в пучки связывают. Этой тесьмой и были перевязаны письма. Он развязывал ее не спеша, а сам все подмигивал мне и ухмылялся, потом начал перебирать письма, а тесемку бросил сюда. Я видел, как она упала.

– Что это с кошкой? – говорит мистер Гаппи. – Видишь?

– Должно быть, взбесилась. Да и немудрено – в таком жутком месте.

Оглядываясь по сторонам, приятели медленно продвигаются. Кошка стоит там, где они ее застали, по-прежнему шипя на то, что лежит перед камином между двумя креслами.

Что это? Выше свечу!

Вот прожженное место на полу; вот небольшая пачка бу-

маги, которая уже обгорела, но еще не обратилась в пепел; однако она не так легка, как обычно бывает сгоревшая бумага, и словно пропитана чем-то, а вот… вот головешка – обугленное и разломившееся полено, осыпанное золой; а может быть, это кучка угля? О, ужас, это он! и это все, что от него осталось; и они сломя голову бегут прочь на улицу с потухшей свечой, натыкаясь один на другого.

На помощь, на помощь, на помощь! Бегите сюда, в этот дом, ради всего святого!

Прибегут многие, но помочь не сможет никто. «Лорд-канцлер» этого «Суда», верный своему званию вплоть до последнего своего поступка, умер смертью, какой умирают все лорд-канцлеры во всех судах и все власть имущие во всех тех местах – как бы они ни назывались, – где царит лицемерие и творится несправедливость. Называйте, ваша светлость, эту смерть любым именем, какое вы пожелаете ей дать, объясняйте ее чем хотите, говорите сколько угодно, что ее можно было предотвратить, – все равно это вечно та же смерть – предопределенная, присущая всему живому, вызванная самими гнилостными соками порочного тела, и только ими, и это – Самовозгорание, а не какая-нибудь другая смерть из всех тех смертей, какими можно умереть.

Глава XXXIII
Непрошеные гости

И вот оба джентльмена, чьи манжеты и запонки не совсем в порядке, – те самые джентльмены, которые присутствовали на последнем дознании коронера в «Солнечном гербе», – снова появляются в околотке с непостижимой быстротой (за ними сломя голову сбегал расторопный и сметливый приходский надзиратель) и, учинив допрос всему переулку, ныряют в зал «Солнечного герба» и что-то строчат маленькими хищными перьями на листках тонкой бумаги. И вот поздней ночью они пишут о том, как вчера, около полуночи, весь квартал, расположенный по соседству с Канцлерской улицей, пришел в сильнейшее волнение и возбуждение, вызванные нижеследующим потрясающим и ужасным открытием. И вот они выражают уверенность, что читатели не забыли, как некоторое время тому назад общество было встревожено случаем загадочной смерти от опиума, имевшем место на втором этаже дома, где помещается лавка тряпья, бутылок и подержанных корабельных принадлежностей, которую держал некий Крук, – в высшей степени странная личность, человек весьма невоздержанный и уже очень немолодой, – и что, может быть, читатели вспомнят, как по удивительному стечению обстоятельств этого самого Крука допрашива-

ли на дознании, которое производилось по данному загадочному случаю в «Солнечном гербе», перворазрядном ресторане, непосредственно примыкающем с западной стороны к упомянутому дому и принадлежащем весьма уважаемому ресторатору мистеру Джеймсу Джорджу Богсби. И вот они описывают (елико возможно многословнее), как вчера вечером обитатели переулка в течение нескольких часов ощущали чрезвычайно странный запах, который и помог обнаружить трагическое происшествие, служащее темой настоящей заметки, каковой запах одно время был настолько силен, что мистер Суиллс, исполнитель комических песен, ангажированный мистером Дж. Дж. Богсби, самолично рассказал нашему репортеру о том, как он говорил мисс М. Мелвилсон, особе с некоторыми претензиями на музыкальный талант (также ангажированной мистером Дж. Дж. Богсби для участия в ряде концертов под названием «Гармонические ассамблеи или собрания», которые устраиваются в «Солнечном гербе» под руководством мистера Богсби в соответствии с указом короля Георга Второго), – говорил мисс М. Мелвилсон о том, что он (мистер Суиллс) чувствует, как загрязненное состояние атмосферы серьезно повредило его голосу, причем даже заметил в шутку, что он сейчас точь-в-точь отставной дипломат – не может издать ни единой ноты. Описывают, наконец, как это сообщение мистера Суиллса полностью подтвердилось показаниями двух весьма неглупых замужних женщин – миссис Пайпер и миссис Перкинс, кото-

рые проживают в том же переулке и, заметив зловонные испарения, решили, что они исходят из помещения, занимаемого Круком – злополучным покойником.

Все это и многое другое указанные два джентльмена строчат на месте происшествия, заключив между собою дружеский союз на почве прискорбной катастрофы, а мальчишки, населяющие переулок (мигом улизнувшие из своих кроватей), осаждают ставни зала в «Солнечном гербе», пытаясь увидеть хоть макушки обоих джентльменов, пока те еще пишут.

Все обитатели переулка – от мала до велика – не спят всю ночь и, нахлобучив что-нибудь на голову, выбегают на улицу, где только и делают, что говорят о злосчастном доме и глазеют на него. Мисс Флайт самоотверженно вытащили наружу, словно это в ее комнате вспыхнул пожар, и устроили ей ложе в «Солнечном гербе». А «Солнечный герб» всю ночь не гасит газа и не закрывает дверей, так как всякий переполох, от чего бы он ни случился, приносит доход трактиру, вызывая в обитателях переулка жажду успокоения. Со дня дознания «Солнечный герб» ни разу так бойко не торговал столь полезными для желудка головками чесноку и разбавленным горячей водой бренди. Как только трактирный слуга услышал о происшествии, он засучил рукава рубашки до самых плеч и сказал: «Ну, теперь у нас отбоя не будет от посетителей!» При первых же признаках тревоги юный Пайпер ринулся за пожарными машинами и с торжеством при-

мчался обратно тряским галопом, верхом на «Фениксе», изо всех сил цепляясь за это мифическое существо и окруженный шлемами и факелами. Один из «шлемов» остается на месте происшествия, после тщательного осмотра всех щелей и трещин, и теперь неторопливо прохаживается взад и вперед перед домом вместе с одним из двух полисменов, которых также оставили для присмотра. Обитатели переулка из числа тех, у кого водятся лишние деньжонки, охвачены неутолимой жаждой оказать этой троице гостеприимство в виде всевозможных жидкостей.

Мистер Уивл и его друг мистер Гаппи сидят за буфетной стойкой «Солнечного герба», и «Солнечный герб» так дорожит ими, что предоставил в их распоряжение все запасы своего буфета, – только бы посидели подольше.

– Не такое теперь время, – говорит мистер Богсби, – чтобы скупиться на деньги, – хотя сам довольно рьяно гонится за ними, стоя за прилавком. – Заказывайте, джентльмены, и – милости просим – получайте все, что назовете!

По этому приглашению оба джентльмена (особенно мистер Уивл) называют столько разных яств и напитков, что с течением времени им уже становится трудно назвать что-нибудь достаточно внятно; однако друзья, уже в который раз и всякий раз по-другому, рассказывают каждому новому посетителю о том, какая ночка выпала им на долю, да что они сказали, да что подумали, да что увидели. Тем временем то один, то другой полисмен подходит к дверям и, протянув ру-

ку, приоткрывает их и заглядывает внутрь из мрака ночи. Не то чтобы у него зародились какие-то подозрения, но ведь ему не худо знать, что тут делается.

Так ночь движется своей тяжелой поступью и видит, что переулок все еще бодрствует в неурочные часы, все еще угощает и угощается, все еще ведет себя так, как будто неожиданно получил в наследство малую толику денег. Так ночь, медленно отступая, наконец уходит, а фонарщик начинает свой обход и, как палач короля-деспота, отсекает маленькие огненные головы, стремившиеся хоть немного рассеять тьму. Так – худо ли, хорошо ли – наступает день.

А наступивший день, как ни мутно его лондонское око, может удостовериться, что переулок бодрствовал всю ночь. Не говоря уже о головах, что в дремоте опустились на столы, и пятках, что лежат на каменных полах, вместо того чтобы покоиться на кроватях, каменный лик самого переулка выглядит истомленным и осунувшимся. Но вот просыпается весь околоток и, услышав о том, что произошло, полуодетый, устремляется на расспросы, а у «шлема» и полисменов (которые, судя по их виду, волнуются гораздо меньше, чем переулок) хватает хлопот по охране дверей злополучного дома.

– Боже ты мой, джентльмены! – восклицает мистер Снегсби, подходя к ним. – Что я слышу?

– Что ж, все правда, – отвечает один из полисменов. – То-то вот и оно. Ну, не задерживайтесь, проходите!

– Но, боже ты мой, джентльмены, – снова начинает ми-

стер Снегсби, довольно грубо оттиснутый назад, – я же только вчера вечером стоял у этой самой двери между десятью и одиннадцатью часами и разговаривал с молодым человеком, который здесь проживает.

– В самом деле? – отзывается полисмен. – Этого молодого человека вы найдете в соседнем доме. Эй, вы, там, проходите, не задерживайтесь!

– Надеюсь, он не получил повреждений? – осведомляется мистер Снегсби.

– Каких повреждений? Нет. С чего бы ему получать повреждения?

Мистер Снегсби так расстроен, что не способен ответить ни на этот, ни на любой другой вопрос, и, отступив к «Солнечному гербу», видит там мистера Уивла, изнывающего над чаем с гренками в позе выдохшегося возбуждения и в клубах выдохнутого табачного дыма.

– И мистер Гаппи тоже! – восклицает мистер Снегсби. – Ох-ох-ох! Во всем этом поистине виден перст судьбы! А моя кро…

Голос отказывается служить мистеру Снегсби раньше, чем он успевает вымолвить слова «моя крошечка». Лицезрение сей оскорбленной супруги, которая в столь ранний час вошла в «Солнечный герб», стала у пивного бачка и, подобно грозному обвиняющему призраку, впилась глазами в торговца канцелярскими принадлежностями, лишает его дара речи.

– Дорогая, – говорит мистер Снегсби, когда язык у него наконец развязывается, – не хочешь ли чего-нибудь выпить? Немножко… говоря напрямик, капельку фруктового сока с ромом?

– Нет, – отвечает миссис Снегсби.

– Душенька, ты знакома с этими двумя джентльменами?

– Да! – отвечает миссис Снегсби и холодно кланяется им, не спуская глаз с мистера Снегсби.

Любящий мистер Снегсби не в силах всего этого вынести. Он берет миссис Снегсби под руку и отводит ее в сторону, к ближнему бочонку.

– Крошечка, почему ты так смотришь на меня? Прошу тебя, не надо!

– Я не могу смотреть иначе, – говорит миссис Снегсби, – а хоть и могла бы, так не стала бы.

Кротко покашливая, мистер Снегсби спрашивает: «Неужели не стала бы, дорогая?» – и задумывается. Потом кашляет тревожным кашлем и говорит: «Это ужасная тайна, душенька!», но грозный взгляд миссис Снегсби приводит его в полное замешательство.

– Правильно, – соглашается миссис Снегсби, качая головой, – это действительно ужасная тайна.

– Крошечка, – жалобно умоляет мистер Снегсби, – ради бога, не говори со мной так сурово и не смотри на меня как сыщик! Прошу тебя и умоляю, – не надо. Господи, уж не думаешь ли ты, что я способен подвергнуть кого-нибудь… са-

мовозгоранию, дорогая?

– Почем я знаю? – отвечает миссис Снегсби.

Наскоро обдумав свое несчастное положение, мистер Снегсби приходит к выводу, что на этот вопрос он и сам бы ответил «почем я знаю». Ведь он не может категорически отрицать своей причастности к происшествию. Он принял столь близкое участие, – какое именно, он не имеет понятия, – в одной таинственной истории, связанной с этим домом, и, быть может, сам того не подозревая, замешан и во вчерашнем событии. В истоме он отирает лоб носовым платком и вздыхает.

– Жизнь моя, – говорит несчастный торговец канцелярскими принадлежностями, – ты, надеюсь, не откажешься объяснить мне, почему, отличаясь вообще столь щепетильно примерным поведением, ты зашла в винный погребок до первого завтрака?

– А зачем пришел сюда *ты*? – спрашивает миссис Снегсби.

– Дорогая моя, только затем, чтоб узнать подробности рокового несчастья, случившегося с почтенным человеком, который… который самовозгорелся. – Мистер Снегсби делает паузу, чтобы подавить стон. – А еще затем, чтобы потом рассказать тебе обо всем, душенька, в то время как ты будешь пить чай с французской булочкой.

– Рассказать? Как бы не так! Словно вы рассказываете мне *все*, мистер Снегсби!

– Все… моя кро…

– Я буду рада, – говорит миссис Снегсби, наблюдая с суровой и зловещей усмешкой за его возрастающим смущением, – если вы вместе со мною пойдете домой. Я считаю, мистер Снегсби, что дома сидеть вам не так опасно, как в иных прочих местах.

– Право, не понимаю, душенька, почему ты так думаешь, но я готов уйти.

Мистер Снегсби беспомощно окидывает взором трактир, желает доброго утра мистерам Уивлу и Гаппи, заверяет их в своей радости по случаю того, что они не получили повреждений, и следует за миссис Снегсби, уходящей из «Солнечного герба». К вечеру возникшие у него подозрения насчет непостижимой доли его участия в катастрофе, которая служит предметом людских толков во всем околотке, почти превратились в уверенность, так он подавлен упорством, с каким миссис Снегсби сверлит его пристальным взглядом. Душевные муки его столь велики, что в нем возникает смутное желание отдать себя в руки правосудия и потребовать оправдания, если он не виновен, или кары по всей строгости закона, если виновен.

После завтрака мистер Уивл и мистер Гаппи направляются в Линкольнс-Инн, чтобы погулять по площади и очиститься от затянувшей их мозги темной паутины, – насколько возможно их очистить в течение небольшой прогулки.

– Сейчас самое время, Тони, – начинает мистер Гаппи,

после того как они в задумчивости прошлись по всем четырем сторонам площади, – сейчас самое время нам с тобой перекинуться словечком-другим насчет одного пункта, о котором нам нужно договориться безотлагательно.

– Вот что я тебе скажу, Уильям Гаппи! – отзывается мистер Уивл, глядя на своего спутника глазами, налитыми кровью. – Если этот пункт имеет отношение к заговору, лучше тебе и не говорить о нем. Этого с меня хватит, и больше я об этом слышать не хочу. А не то смотри, как бы *ты сам* не загорелся или не взорвался с треском!

Возможность эта столь не по вкусу мистеру Гаппи, что голос у него дрожит, когда он назидательным тоном внушает приятелю: «Тони, я полагаю, что все пережитое нами прошлой ночью послужит тебе уроком, и теперь ты до самой смерти не будешь переходить на личности». На это мистер Уивл отзывается следующими словами: «Я полагаю, Уильям, что это послужит уроком *тебе*, и теперь ты до самой смерти не будешь устраивать заговоров». Мистер Гаппи спрашивает: «Кто это устраивает заговоры?» Мистер Джоблинг отвечает: «Кто? Да ты, конечно!» Мистер Гаппи ему на это: «Нет, не устраиваю». А мистер Джоблинг ему на это: «Нет, устраиваешь!» Мистер Гаппи ему: «Кто это сказал?» Мистер Джоблинг ему: «Я сказал!» Мистер Гаппи: «Ах, вот как?» Мистер Джоблинг: «Именно так!» И, разгорячившись, оба некоторое время шагают молча, чтобы остыть.

– Тони! – говорит наконец мистер Гаппи. – Если бы ты

выслушал своего друга, вместо того чтобы набрасываться на него, ты бы не попал впросак. Но ты вспыльчив и неделикатен. Ты, Тони, обладая всем, что способно очаровать взор…

– К черту взор! – восклицает мистер Уивл, перебивая его. – Выкладывай все, что тебе не терпится сказать.

Мистер Гаппи снова принимается за свое, но, видя приятеля в угрюмом и прозаическом расположении духа, выражает тончайшие чувства своей души лишь тем, что говорит обиженным тоном:

– Тони, когда я утверждаю, что нам с тобой надо безотлагательно договориться насчет одного пункта, то это не имеет ничего общего с заговором, даже невинным. Как тебе известно, в тех случаях, когда предстоит судебное разбирательство, необходимо заранее определить, какие именно факты должны быть установлены свидетельскими показаниями. Как потвоему, желательно или не желательно, чтобы мы дали себе отчет, о каких именно фактах нас будут допрашивать на дознании о смерти этого несчастного старого мо… джентльмена? (Мистер Гаппи хотел было сказать «мошенника», но решил, что в данном случае слово «джентльмен» приличнее.)

– О каких фактах? Да о тех фактах, какие были.

– Я говорю о тех фактах, которые потребуется установить на дознании. А именно, – мистер Гаппи пересчитывает их по пальцам, – нас спросят, что́ мы знали о его привычках; когда мы видели его в последний раз; в каком состоянии он был тогда; что именно мы нашли и как мы это нашли.

– Да, – говорит мистер Уивл, – об этих фактах спросят.

– Так вот, мы первые нашли его мертвым, потому что он, будучи человеком со странностями, условился встретиться с тобой в полночь, чтобы ты помог ему разобрать какую-то бумагу, а это ты часто делал и раньше, так как сам он был неграмотный. Я весь вечер сидел у тебя, ты позвал меня вниз… ну, и так далее. Дознание будут вести только об обстоятельствах смерти покойного, значит, не следует говорить о том, что не относится к перечисленным мною фактам; надеюсь, ты с этим согласен?

– Да! – отвечает мистер Уивл. – Пожалуй, да.

– И ты не скажешь теперь, что это заговор? – говорит мистер Гаппи обиженным тоном.

– Нет, – отвечает его приятель, – и если дело только в этом, а не в чем-то похуже, я отказываюсь от своих возражений.

– А теперь, Тони, – говорит мистер Гаппи, снова взяв его под руку и медленно увлекая вперед, – мне хотелось бы знать, как другу, подумал ли ты о многочисленных преимуществах, которые получишь, если останешься жить в этом доме?

– Что ты хочешь этим сказать? – спрашивает Тони, остановившись.

– Подумал ли ты о многочисленных преимуществах, которые получишь, если останешься жить в этом доме? – повторяет мистер Гаппи, снова увлекая его вперед.

– В каком доме? В *том* доме?

Тони указывает в сторону лавки Крука.

Мистер Гаппи кивает.

– Ну, знаешь, я там ни одной ночи больше не проведу ни за какие блага, что бы ты мне ни предложил, – говорит мистер Уивл, испуганно озираясь.

– Ты так полагаешь, Тони?

– Полагаю! Неужели по моему виду можно подумать, что я только полагаю? Я в этом уверен! Я это знаю, – заявляет мистер Уивл, вздрогнув отнюдь не притворно.

– Значит, возможность или вероятность, – ибо дело надо рассматривать с этой точки зрения, – возможность или вероятность спокойно пользоваться имуществом, принадлежавшим одинокому старику, у которого, по-видимому, не было родственников, и вдобавок уверенность в том, что тебе удастся разузнать, что именно у него хранилось. – все это, по-твоему, не имеет никакого значения – до того тебя расстроила прошлая ночь, – так я тебя понимаю, Тони? – говорит мистер Гаппи, кусая себе большой палец с тем бóльшим ожесточением, чем больше он досадует.

– Никакого значения! И как только у тебя хватает нахальства предлагать мне жить в этом доме! – негодующе восклицает мистер Уивл. – Ступай-ка сам там поживи!

– Зачем говорить обо мне, Тони? – увещевает его мистер Гаппи. – Я никогда в этом доме не жил и не могу в нем поселиться теперь, а ты там снял комнату.

– Добро пожаловать в эту комнату, – подхватывает его

приятель, – и – тьфу! – будь как дома!

– Значит, ты твердо решил бросить эту затею, – говорит мистер Гаппи, – так я тебя понимаю, Тони?

– Да, – подтверждает Тони с самой убедительной искренностью. – За всю свою жизнь ты не сказал ничего более правильного. Именно так!

Пока они разговаривают, на площадь въезжает наемная карета, на козлах которой, бросаясь в глаза прохожим, торчит высоченный цилиндр. В карете, а значит бросаясь в глаза если не прохожим, то уж, во всяком случае, обоим приятелям, – ведь карета останавливается рядом с ними, чуть на них не наехав, – в карете восседают почтенный мистер Смоллуид и миссис Смоллуид вместе со своей внучкой Джуди.

Вся эта компания явно куда-то торопится, и вид у нее возбужденный, а когда высоченный цилиндр (украшающий мистера Смоллуида-внука) спускается с козел, мистер Смоллуид-дед, высунув голову из окна кареты, кричит мистеру Гаппи:

– Как поживаете, сэр? Как поживаете?

– Удивляюсь, зачем это Смолл и его семейство явились сюда в такую рань? – говорит мистер Гаппи, кивая приятелю.

– Дорогой сэр, – кричит дедушка Смоллуид, – окажите мне милость! Может, вы будете так любезны оба, вы и ваш друг, перенести меня в ресторан, тут в переулке, пока Барт с сестрой перенесут бабушку? Окажите услугу старику, сэр!

Мистер Гаппи бросает взгляд на приятеля, повторяя во-

просительным тоном: «Ресторан в переулке?» Потом догадывается, что речь идет о «Солнечном гербе», и вместе с мистером Уивлом готовится переправить туда почтенную кладь.

– Вот тебе плата за проезд! – обращается старец к своему вознице, свирепо усмехаясь и грозя ему бессильным кулаком. – Попробуй попросить еще хоть пенни, – я тебе не уплачу, но отплачу по закону. Милые молодые люди, пожалуйста, несите меня поосторожней! Позвольте вас обнять. Постараюсь вас особенно не душить. Ох, боже мой! Ох ты, господи! Ох, кости вы мои!

Хорошо, что «Солнечный герб» недалеко, – а то ведь не успели они пройти и полдороги, как мистер Уивл принимает вид человека, пораженного апоплексическим ударом. Состояние его, впрочем, не ухудшается – он только покряхтывает, дыша с трудом, но выполняет свою долю участия в переноске, – так что благодушный пожилой джентльмен наконец прибывает в зал «Солнечного герба», как он того и желал.

– Ох, боже мой, – охает мистер Смоллуид, озираясь и еле переводя дух в своем кресле. – Ох ты, господи! Ох, кости как ноют! Ох, спина болит! Ох, старость не радость! Да сядь же ты, наконец, плясунья, прыгунья, болтунья, крикунья, попугаиха! Сядь!

Его маленькая речь обращена к миссис Смоллуид и вызвана своеобразным поведением несчастной старухи, которая имеет привычку, как только ее поставят на ноги, семенить

мелкими шажками по комнате в каком-то ведьмовском танце и, что-то бурча, «делать стойку» перед неодушевленными предметами. Это объясняется не только слабоумием – бедная старуха, по-видимому, страдает еще и каким-то нервным расстройством; и сейчас она так бойко тараторила и плясала перед креслом с решетчатой спинкой, парным с тем, в котором сидит мистер Смоллуид, что угомонилась только тогда, когда внуки усадили ее в это кресло; а повелитель ее тем временем с красноречивым пылом обзывал супругу «упрямой галкой» и столько раз повторял эти ласковые слова, что остается только удивляться.

– Дорогой сэр, – продолжает дедушка Смоллуид, обращаясь к мистеру Гаппи, – тут случилась беда. Кто-нибудь из вас слышал о ней?

– Как не слыхать, сэр! Да ведь это мы первые его нашли!

– Вы его нашли? Вы оба нашли его? Барт, его нашли они!

Друзья, нашедшие «его», оторопело взирают на Смоллуидов, которые отвечают им тем же.

– Дорогие друзья, – визжит дедушка Смоллуид, протягивая руки, – премного вам благодарен за то, что вы приняли на себя скорбный труд найти прах родного брата миссис Смоллуид.

– Как? – переспрашивает мистер Гаппи.

– Брата миссис Смоллуид, любезный мой друг, – ее единственного родственника. Мы не были с ним в родственных отношениях, о чем теперь следует пожалеть, но ведь он сам

не хотел поддерживать с нами родственные отношения. Он не любил нас. Он был чудак… большой чудак. Если он не оставил завещания (а он, конечно, не оставил), я выхлопочу приказ о назначении меня душеприказчиком. Я приехал сюда присмотреть за имуществом – его надо опечатать, его надо стеречь. Я приехал сюда, – повторяет дедушка Смоллуид, загребая воздух всеми своими десятью пальцами сразу, – присмотреть за имуществом.

– Мне кажется, Смолл, – говорит безутешный мистер Гаппи, – ты должен был нам сказать, что Крук приходится тебе дядей.

– А вы оба сами ни слова не говорили о нем, вот я и подумал, что вам будет приятней, если я тоже буду помалкивать, – отвечает этот хитрец, таинственно поблескивая глазами. – Да я и не очень-то им гордился.

– Вас это вовсе и не касалось, дядя он нам или нет, – говорит Джуди. И тоже таинственно поблескивает глазами.

– Он меня ни разу в жизни не видел, – добавляет Смолл, – так с какой стати мне было знакомить его с вами!

– Да, с нами он никогда не встречался, о чем теперь следует пожалеть, – перебивает его дедушка Смоллуид, – но я приехал присмотреть за имуществом, – просмотреть бумаги и присмотреть за имуществом. Наследство по праву принадлежит нам, и мы его получим. Это дело я поручил своему поверенному. Мистер Талкингхорн, что живет на Линкольновых полях, здесь по соседству, был так любезен, что согла-

сился взяться за это в качестве моего поверенного, а уж он такой человек, что «сквозь землю видит», будьте покойны. Крук был единственным братом миссис Смоллуид; у нее не было родственников, кроме Крука, а у Крука не было родственников, кроме нее. Я говорю о твоем брате, зловредная ты тараканиха… семьдесят шесть лет от роду было старику.

Миссис Смоллуид тотчас же принимается трясти головой и пищать:

– Семьдесят шесть фунтов семь шиллингов и семь пенсов! Семьдесят шесть тысяч мешков с деньгами! Семьдесят шесть сотен тысяч миллионов пачек банкнотов!

– Подайте мне кто-нибудь кувшин! – орет ее разъяренный супруг, беспомощно оглядываясь кругом и не находя под рукой метательного снаряда. – Одолжите кто-нибудь плевательницу! Дайте мне что-нибудь твердое и острое, чем в нее запустить! Ведьма, кошка, собака, трещотка зловредная!

И, дойдя до белого каления от собственного красноречия, мистер Смоллуид, за неимением лучшего, хватает Джуди и что есть силы толкает эту юную деву на бабушку, а сам как мешок в изнеможении валится назад в кресло.

– Встряхните меня кто-нибудь, будьте так добры, – слышится голос из чуть шевелящейся кучи тряпья, в которую он превратился. – Я приехал присмотреть за имуществом. Встряхните меня и позовите полисменов, тех, что стоят на посту у соседнего дома, – я им объясню все, что нужно, насчет имущества. Мой поверенный сейчас явится сюда, что-

бы подтвердить мои права на имущество. Каторга или виселица всякому, кто покусится на имущество! – И пока верные долгу внуки усаживают его и, как всегда, возвращают к жизни встряхиванием и пинками, он, задыхаясь, повторяет, как эхо: «И… имущество! Имущество!.. Имущество!»

Мистер Уивл и мистер Гаппи переглядываются: первый – с таким видом, словно он умыл руки и больше не желает вмешиваться в это дело, второй с растерянным лицом, словно у него еще остались какие-то надежды. Но права Смоллуидов оспаривать бесполезно. Приходит клерк мистера Талкингхорна, на время покинувший свое служебное место – деревянный диван в передней хозяина, – и заявляет полиции, что мистер Талкингхорн под свою ответственность удостоверяет родственные отношения Смоллуидов к покойному, обещая представить бумаги и свидетельства к надлежащему сроку и в надлежащем порядке. Мистеру Смоллуиду тотчас же разрешают утвердить его права путем родственного визита в соседний дом и втаскивают его наверх в опустевшую комнату мисс Флайт, где он сидит в кресле, смахивая на отвратительную хищную птицу, – новый экземпляр в птичьей коллекции хозяйки.

Слух о приезде нежданного наследника быстро распространяется по переулку и тоже приносит прибыль «Солнечному гербу», а обывателей держит в возбуждении. Миссис Пайпер и миссис Перкинс полагают, что если завещания действительно не существует, то это несправедливо по отноше-

нию к «молодому человеку», и находят, что ему следует подарить что-нибудь ценное из наследства. Юный Пайпер и юный Перкинс, как члены неукротимого детского кружка – грозы прохожих на Канцлерской улице, – целый день превращаются в прах и пепел, играя в «самовозгорание» за водопроводной колонкой или под воротами, и над их останками раздаются дикие вопли и гиканье. Маленький Суиллс и мисс М. Мелвилсон ведут дружескую беседу со своими покровителями, чувствуя, что столь необычайные события должны уничтожить преграду между профессионалами и непрофессионалами. Мистер Богсби объявляет, что «Популярная песня «Король Смерть» – соло и хор, – исполняемая всей труппой», будет всю эту неделю гвоздем Гармонической программы; причем в афише сказано, что «Джеймс Джордж Богсби, невзирая на огромные дополнительные расходы, ставит этот номер, побуждаемый общими пожеланиями многочисленных уважаемых лиц, высказанными в баре, а также стремлением выразить скорбь по поводу недавно случившегося печального события, вызвавшего столь большую сенсацию». Одно обстоятельство, связанное с покойным, особенно сильно волнует переулок, а именно: общество считает, что следует заказать гроб нормального размера, несмотря на то что положить в него нужно так мало. В середине дня, после того как гробовщик сообщил в баре «Солнечного герба» о полученном им заказе на «шестифутовик», общество чувствует себя вполне удовлетворенным и провозглашает, что

поступок мистера Смоллуида делает ему великую честь.

За пределами переулка и даже на значительном от него расстоянии также наблюдается большое возбуждение: ученые и философы приезжают взглянуть на место происшествия; на углу улицы из карет высаживаются доктора, приехавшие с той же целью, и слышатся такие ученые рассуждения о воспламеняющихся газах и фосфористом водороде, какие переулку и во сне не снились. Некоторые из этих авторитетов (конечно, мудрейшие) с возмущением заявляют, что покойник не смел умирать той смертью, какую ему приписывают, а другие авторитеты напоминают им об одном исследовании этого рода смерти, перепечатанном в шестом томе «Философских трудов», и об одном небезызвестном учебнике английской судебной медицины, а также о случае с графиней Корнелией Бауди, имевшем место в Италии (и подробно описанном некиим Бьянкини, веронским пребендарием, автором ряда ученых трудов, в свое время слывшим человеком неглупым), а также – о свидетельствах господ Фодере́ и Мера, двух зловредных французов, упорно стремившихся изучить этот предмет, и, наконец, – о подтверждающем возможность подобных фактов свидетельстве господина Ле Ка, некогда довольно известного французского врача, который был столь невежлив, что жил в доме, где случилось происшествие подобного рода, и даже написал о нем статью; тем не менее первые из упомянутых авторитетов стоят на своем, и упрямство, с каким мистер Крук ушел из этого мира столь

окольным путем, кажется им чем-то совершенно непозволительным и оскорбительным для них лично.

Чем меньше переулок разбирается во всех этих спорах, тем больше все это нравится переулку, и с тем большим удовольствием он угощается яствами, которые можно получить в «Солнечном гербе». Вскоре появляется художник, сотрудник иллюстрированной газеты, с листами бумаги, – на которых передний план и фигуры уже нарисованы и годятся для чего угодно, начиная с кораблекрушения на корнуэльском берегу и вплоть до парада в Гайд-парке или митинга в Манчестере, – и, расположившись в спальне миссис Перкинс, – комнате, которая навеки останется достопримечательностью, – мгновенно делает набросок с дома мистера Крука чуть ли не в натуральную величину, точнее, превращает этот дом в громадное здание – ни дать ни взять Тэмпл. А получив приглашение заглянуть в роковую комнату при лавке, он создает из нее помещение длиной в три четверти мили, а высотой в пятьдесят ярдов, чем переулок особенно восторгается. Все это время оба джентльмена, о которых говорилось выше, рыщут из дома в дом и присутствуют на философских диспутах, – словом, ходят всюду и слушают всех и каждого, однако успевают то и дело нырять в зал «Солнечного герба» и писать там маленькими хищными перьями на листках тонкой бумаги.

И вот, наконец, появляется коронер и производит дознание, совершенно так же, как и в прошлый раз, если не счи-

тать того, что, особенно интересуясь этим случаем, как из ряда вон выходящим, он частным образом сообщает джентльменам присяжным, что «соседний дом, джентльмены, по-видимому, приносит несчастье; это – обреченный дом, но подобные вещи иной раз случаются, и это одна из тех загадок, которые мы разгадать не можем». Затем на сцену появляется «шестифутовик» и вызывает всеобщее восхищение.

Мистер Гаппи принимает лишь очень незначительное участие в происходящих событиях, если не считать того, что дает показания, ибо, как и всем посторонним, ему велят «проходить, не задерживаясь», и он может только слоняться около таинственного дома, с острой горечью наблюдать, как мистер Смоллуид запирает дверь на замок, и обижаться на то, что в дом его не пускают. Но прежде чем все заканчивается – то есть на следующий вечер после катастрофы, – мистер Гаппи находит нужным сообщить кое-что леди Дедлок.

С замирающим сердцем и каким-то унизительным ощущением виновности, порожденным страхом и бодрствованием в «Солнечном гербе», молодой человек, некий Гаппи, подходит в семь часов вечера к подъезду особняка Дедлоков и просит доложить о себе ее милости. Меркурий отвечает, что миледи собирается ехать на званый обед; неужели он не видит кареты у подъезда? Да, он видит карету у подъезда; но тем не менее он желает видеть и миледи.

Меркурий, как он вскоре скажет одному своему коллеге, тоже ливрейному лакею, охотно бы «вытолкал вон молодого

человека», если бы не получил приказания принять его, когда бы он ни пришел. Поэтому он скрепя сердце решается провести молодого человека в библиотеку. Здесь он оставляет молодого человека в просторной, неярко освещенной комнате, а сам идет доложить о нем.

Мистер Гаппи озирается по сторонам в полумраке, и всюду ему мерещится не то кучка угля, не то головешка, покрытая белой золой. Вскоре он слышит шорох. Уж не… Нет, это не призрак, а прекрасная плоть в блистательном одеянии.

– Прошу прощения у вашей милости, – говорит, запинаясь, мистер Гаппи в величайшем унынии, – я пришел не вовремя…

– Я уже говорила вам, что вы можете прийти в любое время.

Миледи садится в кресло и смотрит ему прямо в лицо, как и в прошлый раз.

– Благодарю покорно, ваша милость. Ваша милость очень любезны.

– Можете сесть.

Тон у нее не особенно любезный.

– Не знаю, ваша милость, стоит ли мне садиться и задерживать вас, ведь я… я не достал тех писем, о которых говорил, когда имел честь явиться к вашей милости.

– Вы пришли только затем, чтобы сказать об этом?

– Только затем, чтобы сказать об этом, ваша милость.

Мистер Гаппи и так уже угнетен, разочарован, обескура-

жен, и в довершение всего блеск и красота миледи действуют на него ошеломляюще. Ей отлично известно, как влияют на людей ее качества, – она слишком хорошо это изучила, чтобы не заметить хоть ничтожной доли того впечатления, которое они производят на всех. Она смотрит на мистера Гаппи пристальным и холодным взглядом, а он не только не может угадать, о чем она сейчас думает, но с каждой минутой чувствует себя все более и более далеким от нее.

Она не хочет начинать разговор, это ясно; значит, начать должен он.

– Короче говоря, миледи, – приступает к делу мистер Гаппи тоном униженно кающегося вора, – то лицо, от которого я должен был получить эти письма, скоропостижно скончалось и… – Он умолкает.

Леди Дедлок невозмутимо доканчивает его фразу:

– И письма погибли вместе с этим лицом?

Мистер Гаппи ответил бы отрицательно, если бы мог… но он не в силах скрыть правду.

– Полагаю, что так, ваша милость.

Если бы он теперь мог заметить в ее лице хоть малейший признак облегчения! Но нет, этого он не заметил бы, даже если бы ее присутствие духа не смутило его окончательно и если бы сам он смотрел ей в лицо, а не отводил глаза.

Он что-то бормочет срывающимся голосом, неуклюже извиняясь за свою неудачу.

– Это все, что вы имеете мне сказать? – спрашивает леди

Дедлок, выслушав его, или, точнее, выслушав то, что можно было разобрать в его лепете.

Мистер Гаппи отвечает, что все.

– Подумайте хорошенько, уверены ли вы в том, что ничего больше не желаете мне сказать, потому что вы говорите со мною в последний раз.

Мистер Гаппи в этом совершенно уверен. Да он и правда ничего больше не хочет сказать ей сейчас.

– Довольно. Я обойдусь без ваших извинений. Прощайте.

И, позвонив Меркурию, она приказывает ему проводить молодого человека, некоего Гаппи.

Но в доме в эту минуту случайно оказался пожилой человек, некий Талкингхорн. И этот пожилой человек, подойдя тихими шагами к библиотеке, в эту самую минуту кладет руку на ручку двери… входит… и чуть не сталкивается с молодым человеком, когда тот выходит из комнаты.

Одним лишь взглядом обмениваются пожилой человек и миледи, и на одно лишь мгновение всегда опущенная завеса взлетает вверх. Вспыхивает подозрение, страстное и острое. Еще мгновение, и завеса опускается снова.

– Прошу прощения, леди Дедлок… тысячу раз прошу прощения. Никак не ожидал застать вас здесь в такой час. Я думал, в комнате никого нет. Прошу прощения.

– Не уходите! – останавливает она его небрежным тоном. – Пожалуйста, останьтесь здесь. Я уезжаю на обед. Я уже кончила свой разговор с этим молодым человеком.

Расстроенный молодой человек выходит, кланяясь и подобострастно выражая надежду, что мистер Талкингхорн чувствует себя хорошо.

– Так-так, – говорит юрист, посматривая на него из-под сдвинутых бровей, хотя кому-кому, а мистеру Талкингхорну достаточно лишь бросить взгляд на мистера Гаппи. – От Кенджа и Карбоя, кажется?

– От Кенджа и Карбоя, мистер Талкингхорн. Моя фамилия Гаппи, сэр.

– Именно. Да, благодарю вас, мистер Гаппи, я чувствую себя прекрасно.

– Рад слышать, сэр. Желаю вам чувствовать себя как можно лучше, сэр, во славу нашей профессии.

– Благодарю вас, мистер Гаппи.

Мистер Гаппи выскальзывает вон крадущимися шагами. Мистер Талкингхорн, чей старомодный поношенный черный костюм по контрасту еще сильнее подчеркивает великолепие леди Дедлок, предлагает ей руку и провожает ее вниз по лестнице до кареты. Возвращается он, потирая себе подбородок, и в течение всего этого вечера потирает его очень часто.

Глава XXXIV
Поворот винта

– Что это такое? – спрашивает себя мистер Джордж. – Холостой заряд или пуля… осечка или выстрел?

Предмет этих недоумений – распечатанное письмо, – явно приводит кавалериста в полное замешательство. Он разглядывает письмо, держа его в вытянутой руке, потом подносит близко к глазам; берет его то одной рукой, то другой; перечитывает, наклоняя голову то вправо, то влево, то хмуря, то поднимая брови, и все-таки не может ответить на свой вопрос. Широкой ладонью он разглаживает письмо на столе, потом, задумавшись, ходит взад и вперед по галерее, то и дело останавливаясь, чтобы снова взглянуть на него свежим взглядом. Но даже это не помогает.

«Что же это такое, – раздумывает мистер Джордж, – холостой заряд или пуля?»

Неподалеку от него Фил Сквод при помощи кисти и горшка с белилами занимается побелкой мишеней, негромко насвистывая в темпе быстрого марша и на манер полковых музыкантов песню о том, что он «должен вернуться к покинутой деве и скоро вернется к ней».

– Фил!

Кавалерист подзывает его кивком.

Фил идет к нему как всегда: сначала бочком отходит в сторону, словно хочет куда-то удалиться, потом бросается на своего командира, как в штыковую атаку. Брызги белил отчетливо выделяются на его грязном лице, и он чешет свою единственную бровь ручкой малярной кисти.

– Внимание, Фил! Слушай-ка, что я тебе прочитаю.

– Слушаю, командир, слушаю.

– «Сэр! Позвольте мне напомнить Вам (хотя, как Вам известно, по закону я не обязан Вам напоминать), что вексель сроком на два месяца, выданный Вами под поручительство мистера Мэтью Бегнета на сумму девяносто семь фунтов четыре шиллинга и девять пенсов, подлежит к уплате завтра, а посему благоволите завтра же внести означенную сумму по предъявлении упомянутого векселя. С почтением Джошуа Смоллуид». Что ты на это скажешь, Фил?

– Беда, хозяин.

– Почему?

– А потому, – отвечает Фил, задумчиво разглаживая поперечную морщину на лбу ручкой малярной кисти, – что, когда с тебя требуют деньги, это всегда значит, что быть беде.

– Слушай, Фил, – говорит кавалерист, присаживаясь на стол. – Ведь я, можно сказать, уже выплатил половину своего долга в виде процентов и прочего.

Отпрянув назад шага на два, Фил неописуемой гримасой на перекошенном лице дает понять, что, на его взгляд, это не может улучшить положения.

– Но слушай дальше, Фил, – говорит кавалерист, опровергая движением руки преждевременные выводы Фила. – Мы договорились, что вексель будет… как это называется… переписываться. И я его переписывал множество раз. Что ты на это скажешь?

– Скажу, что на этот раз переписать не удастся.

– Вот как? Хм! Я тоже так думаю.

– Джошуа Смоллуид, это тот, кого сюда притащили в кресле?

– Он самый.

– Начальник, – говорит Фил очень серьезным тоном, – по характеру он пиявка, а по хватке – винт и тиски; извивается, как змея, а клешни у него, как у омара.

Образно выразив свои чувства и немного подождав дальнейших вопросов, мистер Сквод обычным путем возвращается к недобеленной мишени и громким свистом объявляет во всеуслышание, что он должен вернуться и скоро вернется к некоей воображаемой деве. Джордж, сложив письмо, подходит к нему.

– Командир, – говорит Фил, бросив на него хитрый взгляд, – а все-таки *есть* способ уладить дело.

– Уплатить долг, что ли? Чего бы лучше – да не могу!

Фил качает головой.

– Нет, начальник, нет… не такой плохой. Но способ есть; смотрите, как надо поступить! – говорит Фил, делая мастерской мазок своей кистью.

– Ты хочешь сказать – «произвести побелку», то есть объявить себя несостоятельным должником?

Фил кивает.

– Ну и способ! А ты знаешь, что тогда будет с Бегнетами? Ты знаешь, что они разорятся, выплачивая мои долги? Так вот ты какой честный, Фил, – говорит кавалерист, разглядывая его с немалым возмущением, – хорош, нечего сказать!

Стоя на одном колене перед мишенью, Фил горячо оправдывается, подчеркивая свои слова множеством аллегорических взмахов кистью и оглаживая большим пальцем края белой поверхности: оказывается, он совсем позабыл о поручительстве Бегнета, – но раз так, делать нечего, и пусть ни один волосок не упадет с головы любого члена этого достойного семейства; а пока он оправдывается, за стеной, в длинном коридоре, раздается шум шагов, и слышно, как кто-то веселым голосом спрашивает, дома ли Джордж. Бросив взгляд на хозяина, Фил поднимается, припадая на одну ногу, и отвечает: «Начальник дома, миссис Бегнет! Он здесь!» И вот появляется сама «старуха» вместе с мистером Бегнетом.

«Старуха» никогда не выходит на улицу без серой суконной накидки, грубой, поношенной, но очень опрятной и, несомненно, той самой, которой столь дорожит мистер Бегнет за то, что она проделала весь путь из другой части света домой, в Европу, вместе с миссис Бегнет и зонтом. А зонт – этот неизменный спутник «старухи» – тоже всегда сопровождает ее, когда она выходит из дому. Цвет у него такой,

что подобного нигде в мире не увидишь, а вместо ручки – ребристый деревянный крюк, в конец которого, похожий на нос корабля или птичий клюв, вставлена металлическая пластинка, напоминающая оконце над дверью подъезда или овальное стеклышко от очков – украшение, не наделенное способностью оставаться на своем посту с тем упорством, которого можно было бы ждать от предмета, длительно связанного с британской армией. Зонт у «старухи» какой-то весь обвисший, расхлябанный, в его «корсете» явно не хватает спиц, а все потому, надо думать, что он много лет служил дома – буфетом, а в путешествиях – саквояжем. Как бы то ни было, «старуха» целиком полагается на свою испытанную накидку с ее объемистым капюшоном и потому никогда не распускает зонта, но обычно пользуется этим орудием как жезлом, когда, делая покупки, хочет указать на заинтересовавшие ее куски мяса или пучки зелени или же стремится привлечь внимание торговцев дружеским тычком. Она никогда не выступает в поход без своей корзинки для покупок, которая смахивает на колодец, сплетенный из ивовых прутьев и прикрытый двухстворчатой откидной крышкой. Итак, в сопровождении этих своих верных спутников, в простой соломенной шляпке, из-под которой весело выглядывает открытое загорелое лицо, миссис Бегнет, краснощекая и сияющая, появляется в «Галерее-Тире» Джорджа.

– Ну, Джордж, старый друг, – говорит миссис Бегнет, – как вы себя чувствуете нынче утром? А утро-то какое сол-

нечное!

Дружески пожав ему руку, миссис Бегнет переводит дух после долгого пешего пути и садится отдохнуть. Приучившись отдыхать где угодно – и на верхушках обозных фур и на других столь же мало удобных местах, – она усаживается на твердую скамью, развязывает ленты своей шляпы, потом, откинув ее на затылок, складывает руки и, видимо, чувствует себя очень уютно.

Между тем мистер Бегнет уже успел пожать руку своему старому товарищу и Филу, которого миссис Бегнет тоже приветствует добродушным кивком и улыбкой.

– Ну, Джордж, – быстро начинает миссис Бегнет, – вот и мы с Дубом! – Она привыкла называть так своего мужа, должно быть, потому, что в те времена, когда они познакомились, его прозвали в полку Железным дубом за удивительную твердость и жесткость черт его лица. – Мы зашли, чтобы, как всегда, уладить дело с этим поручительством. Дайте ему подписать новый вексель, Джордж, и он подпишет как полагается.

– А я сам хотел зайти к вам нынче утром, – неохотно отзывается кавалерист.

– Да, так и мы думали; но решили выйти пораньше, а Вуличджа – до чего он хороший мальчик! – оставили присматривать за сестрами, и вот, как видите, пришли к вам. Дуб теперь так занят на службе и так мало двигается, что ему полезно прогуляться. Но что с вами, Джордж? – спрашивает

миссис Бегнет, прервав оживленную болтовню. – Вы прямо сам не свой!

– Я действительно сам не свой, – отвечает кавалерист. – Меня немножко сбили с позиции, миссис Бегнет.

Ее умные острые глаза сразу же угадывают правду.

– Джордж! – Она поднимает указательный палец. – Не говорите мне, что случилось что-то нехорошее с поручительством Дуба! Не говорите так, Джордж, ради наших детей!

Кавалерист смотрит на нее, и лицо у него расстроенное.

– Джордж, – продолжает миссис Бегнет, размахивая обеими руками для пущей выразительности и то и дело хлопая себя ладонями по коленям, – если вы допустили, чтобы с поручительством Дуба случилось что-то нехорошее, если вы его запутали, если по вашей милости наше добро пойдет с молотка, а я вижу по вашему лицу, Джордж, – читаю как по печатному, – что не миновать нам этого самого молотка, значит, вы поступили очень скверно, а нас обманули жестоко. Жестоко, Джордж, скажу я вам. Вот что!

Мистер Бегнет обычно неподвижен, как насос или фонарный столб, но сейчас он кладет широкую правую ладонь на лысую голову, как бы затем, чтобы защитить ее от душа, и в великом замешательстве смотрит на миссис Бегнет.

– Джордж, – говорит его «старуха», – я вам просто удивляюсь! Джордж, мне стыдно за вас! Я бы никогда не поверила, Джордж, что вы можете так поступить! Как говорится, «лежачий камень мохом обрастает», а я всегда знала, что вы

не лежачий камень, значит, мохом не обрастете, но у меня и в мыслях не было, что вы способны унести наш маленький пучок моха, – ведь на этот пучок Бегнету с детьми жить надо. Сами знаете, как он работает и какой он степенный. А Квебек, Мальта, Вулидж – вы же знаете, какие они; вот уж не ожидала, что у вас хватит духу, что у вас может хватить духу так нам удружить. Ох, Джордж! – И миссис Бегнет вытирает накидкой непритворные слезы. – Как вы могли?

Миссис Бегнет умолкла, мистер Бегнет, сняв руку с головы, словно душ уже прекратился, безутешно взирает на побледневшего мистера Джорджа, а тот в отчаянии смотрит на серую накидку и соломенную шляпу.

– Слушай, Мэт, – начинает кавалерист сдавленным голосом, обращаясь к мистеру Бегнету, но не отрывая глаз от его жены, – мне тяжело, что ты принимаешь все это так близко к сердцу, – и я полагаю, что дело уж не так плохо, как кажется. Сегодня утром я действительно получил вот это письмо, – и он читает письмо вслух, – однако надеюсь, что все еще можно уладить. Ну, а насчет камня, что ж, это правильно сказано. Я и вправду не лежу на месте, а все качусь да качусь, а когда, бывало, скатывался на чужую дорогу, так ни разу не прикатил туда ничего хорошего; это я знаю. Но никто не любит твою жену и детей больше, чем их люблю я, твой старый товарищ, бродяга, и я верю, что вы оба простите меня, если можете. Не думайте, что я от вас что-нибудь скрыл. Это письмо я получил только четверть часа назад.

– Старуха, – бурчит мистер Бегнет, немного помолчав, – скажи ему мое мнение.

– Ох, почему он не женился, – отзывается миссис Бегнет, смеясь сквозь слезы, – почему не женился на вдове Джо Пауча в Северной Америке? Тогда не стряслась бы с ним эта беда.

– Старуха правильно сказала, – говорит мистер Бегнет. – Почему ты не женился, а?

– Ну, теперь у вдовы Джо Пауча, надо думать, есть муж получше меня, – отвечает кавалерист. – Так ли, этак ли, а я теперь здесь, и *не* женат на ней. Что же мне делать? Вот все, что у меня за душой, – сами видите. Это не мое добро, а ваше. Скажите слово, и я распродам все до нитки. Да если б только я мог надеяться, что выручу примерно ту сумму, какая нам нужна, я бы давно уже все распродал. Не думай, Мэт, что я покину вас в беде – тебя и твою семью. Я скорей продам самого себя. Но хотел бы я знать, – говорит кавалерист, с презрением ударив себя кулаком в грудь, – кто пожелает купить такую рухлядь.

– Старуха, – бурчит мистер Бегнет, – скажи ему еще раз мое мнение.

– Джордж, – говорит «старуха», – если хорошенько подумать, так вас, пожалуй, и не за что очень осуждать, – вот разве только за то, что вы завели свое дело без средств.

– Ну да, и это было как раз в моем духе, – соглашается кавалерист, покаянно качая головой, – именно в моем духе,

я знаю.

– Замолчи! – прерывает его мистер Бегнет. – Старуха… совершенно правильно… передает мои мнения… так выслушай меня до конца!

– Если подумать хорошенько, не надо вам было тогда просить поручительства, Джордж, не надо было брать его. Но теперь уж ничего не поделаешь. Вы всегда были честным и порядочным человеком, насколько могли, – да таким и остались, – хоть и чуточку легкомысленным. А что до нас, подумайте, как же нам не тревожиться, когда такая штука висит у нас над головой? Поэтому простите нас, Джордж, и забудьте все начисто. Ну же! Простите и забудьте все начисто!

Протянув ему свою честную руку, миссис Бегнет другую протягивает мужу, а мистер Джордж берет их руки в свои и не выпускает в продолжение всей своей речи.

– Чего только я бы не сделал, чтобы распутаться с этим векселем, – да все, что угодно, поверьте! Но все деньги, какие мне удавалось наскрести, каждые два месяца уходили на уплату процентов, то есть как раз на то, чтоб опять переписывать вексель. Жили мы тут довольно скромно, Фил и я. Но галерея не оправдала ожиданий, и она… словом, она не Монетный двор. Не надо мне было ее заводить? Конечно, не надо. Но я завел ее вроде как очертя голову, – думал, она меня поддержит, выведет в люди; так что вы уж не осуди́те меня за эти надежды, а я благодарю вас от всей души, верьте мне, я прямо готов со стыда сгореть.

Кончив свою речь, мистер Джордж крепко жмет дружеские руки, а затем, уронив их, отступает шага на два и, распрямив широкие плечи, стоит навытяжку, словно он уже произнес последнее слово подсудимого и уверен, что его немедленно расстреляют со всеми воинскими почестями.

– Джордж, выслушай меня! – говорит мистер Бегнет, бросая взгляд на жену. – Ну, старуха, продолжай!

Мистер Бегнет, мнения которого высказываются столь необычным образом, может только ответить, что на письмо необходимо безотлагательно отозваться; что и ему, и Джорджу следует как можно скорее лично явиться к мистеру Смоллуиду и что прежде всего надо вызволить и выручить ни в чем не повинного мистера Бегнета, у которого денег нет. Мистер Джордж, полностью согласившись с этим, надевает шляпу, готовый двинуться вместе с мистером Бегнетом в лагерь врага.

– Плюньте на мои упреки, Джордж, все мы, бабы, болтаем не подумав, что в голову взбредет, – говорит миссис Бегнет, легонько похлопывая его по плечу. – Поручаю вам своего старика Дуба – вы его, конечно, выпутаете из беды.

Кавалерист говорит, что это добрые слова, и твердо обещает как-нибудь да выпутать Дуба. После чего миссис Бегнет, у которой вновь заблестели глаза, возвращается домой к детям вместе со своей накидкой, корзинкой и зонтом, а товарищи отправляются в многообещающее путешествие – умасливать мистера Смоллуида.

Большой вопрос, найдутся ли в Англии еще хоть два человека, которые так же плохо умели бы вести дела с мистером Смоллуидом, как мистер Джордж и мистер Мэтью Бегнет. Найдутся ли в той же стране еще два столь же простодушных и неопытных младенца во всех делах, что ведутся «на смоллуидовский манер», хотя вид у обоих товарищей воинственный, плечи широкие и прямые, а походка тяжелая. В то время как они с очень серьезным видом шагают по улицам к Приятному холму, мистер Бегнет, заметив, что спутник его озабочен, считает своим дружеским долгом поговорить о давешней вылазке миссис Бегнет.

– Джордж, ты знаешь старуху… она ласковая и кроткая, как ягненок. Но попробуй затронуть ее детей… или меня… сразу вспыхнет, как порох.

– Это можно поставить ей в заслугу, Мэт.

– Джордж, – продолжает мистер Бегнет, глядя прямо перед собой, – старуха… не может сделать ничего такого… чего ей не поставишь в заслугу. Большую или малую, неважно. При ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

– Ее надо ценить на вес золота, – соглашается кавалерист.

– Золота? – повторяет мистер Бегнет. – Вот что я тебе скажу. Старуха весит… сто семьдесят четыре фунта. Взял бы я за старуху… столько металла… какого угодно? Нет. Почему? Потому что старуха из такого металла сделана… который куда дороже… чем самый дорогой металл. И она *вся* целиком из такого металла!

– Правильно, Мэт!

– Когда она за меня вышла… и согласилась принять обручальное кольцо… она завербовалась на службу ко мне и детям… от всей души и от всего сердца… на всю жизнь. Она такая преданная, – говорит мистер Бегнет, – такая верная своему знамени… что попробуй только тронуть нас пальцем… и она выступит в поход… и возьмется за оружие. Если старуха откроет огонь… может случиться… по долгу службы… не обращай внимания, Джордж. Зато она верная!

– Что ты, Мэт! – отзывается кавалерист. – Да я за это ставлю ее еще выше, благослови ее бог!

– Правильно! – соглашается мистер Бегнет с самым пламенным энтузиазмом, однако не ослабляя напряжения ни в одном мускуле. – Поставь старуху высоко… как на Гибралтарскую скалу… и все-таки ты поставишь ее слишком низко… вот какой она молодец. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

Так, наперебой расхваливая «старуху», они подходят к Приятному холму и к дому дедушки Смоллуида. Дверь отворяет неизменная Джуди и, не особенно приветливо, больше того, со злобной усмешкой оглядев посетителей с головы до ног, оставляет их дожидаться, пока сама вопрошает оракула, можно ли их впустить. Оракул, по-видимому, дает согласие, ибо она возвращается, и с ее медовых уст слетают слова: «Можете войти, если хотите». Получив это любезное приглашение, они входят и видят мистера Смоллуи-

да, который сидит, поставив ноги в выдвижной ящик своего кресла, – словно в ножную ванну из бумаг, – видят и миссис Смоллуид, отгороженную от света подушкой, как птица, которой не дают петь.

– Любезный друг мой, – произносит дедушка Смоллуид, ласково простирая вперед костлявые руки, – как поживаете? Как поживаете? А кто этот ваш приятель, любезный друг мой?

– Кто он? – отвечает мистер Джордж довольно резко, так как еще не может заставить себя говорить примирительным тоном. – Это, да будет вам известно, Мэтью Бегнет, который оказал мне услугу в нашей с вами сделке.

– Ага! Мистер Бегнет? Так-так! – Старик смотрит на него, приложив руку к глазам. – Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете, мистер Бегнет? Какой он молодец, мистер Джордж! Военная выправка, сэр!

Гостям не предлагают сесть, поэтому мистер Джордж приносит один стул для Бегнета, другой для себя. Друзья усаживаются, причем мистер Бегнет садится так, словно тело его не может сгибаться, – разве только в бедрах и лишь для того, чтобы сесть.

– Джуди, – говорит мистер Смоллуид, – принеси трубку.

– Да нет уж, – вмешивается мистер Джордж, – не стоит девушке беспокоиться, – сказать правду, мне нынче что-то не хочется курить.

– Вот как? – отзывается старик. – Джуди, принеси трубку.

– Дело в том, мистер Смоллуид, – продолжает Джордж, – что я сегодня немножко не в духе. Сдается мне, сэр, что ваш друг в Сити устроил мне какой-то подвох.

– Ну что вы! – говорит дедушка Смоллуид. – На это он не способен.

– Разве нет? Что ж, рад слышать; а я думал, что это дело его рук. Вы знаете, о чем я говорю. О письме.

Дедушка Смоллуид улыбается самым отвратительным образом в знак того, что понял, о каком письме идет речь.

– Что это значит? – спрашивает мистер Джордж.

– Джуди, – говорит старик, – ты принесла трубку? Дай-ка ее мне. Так вы спрашиваете, что все это значит, любезный друг?

– Да! Но вспомните, мистер Смоллуид, вспомните, – убеждает его кавалерист, заставляя себя говорить как можно более мягким и дружественным тоном, и, держа развернутое письмо в правой руке, левым кулаком упирается в бок, – ведь я переплатил вам немало денег, а сейчас мы говорим с вами лицом к лицу, и оба прекрасно знаем, на чем мы порешили и какое условие соблюдали всегда. Я регулярно платил вам проценты, готов уплатить их сегодня и платить в будущем. Это первый раз, что я получил от вас такое письмо, и нынче утром оно меня немножко расстроило, потому что мой друг, Мэтью Бегнет, у которого, как вам известно, не было денег, когда…

– Как вам известно, мне это *не* известно, – перебивает его

старик ровным голосом.

– Но черт вас… то бишь, черт подери… я же говорю – вам, что денег у него не было; говорю, не так ли?

– Ну да, вы мне это говорите, – отвечает дедушка Смоллуид. – Но сам я этого не знаю.

– Пусть так, – соглашается кавалерист, подавляя гнев, – зато *я* знаю.

Мистер Смоллуид отзывается на его слова чрезвычайно добродушным тоном:

– Да, но это совсем другое дело! – И добавляет: – Впрочем, это не важно. Так ли, этак ли, мистер Бегнет все равно в ответе.

Бедный Джордж всеми силами старается благополучно уладить дело и задобрить мистера Смоллуида поддакиванием.

– Так думаю и я. Как вы правильно указали, мистер Смоллуид, Мэтью Бегнета притянут к ответу – все равно, были у него деньги или нет. Но это, видите ли, очень тревожит его жену, да и меня тоже; ведь если сам я такой никудышный бездельник, какому привычней получать тумаки, чем медяки, то он, надо вам знать, степенный семейный человек. Слушайте, мистер Смоллуид, – говорит кавалерист, решив вести деловые переговоры с солдатской прямотой, отчего сразу приобретает уверенность в себе, – хотя мы с вами в довольно приятельских отношениях, но я хорошо знаю, что не могу просить вас отпустить моего друга Бегнета на все четыре

стороны.

– Боже мой, вы слишком скромны. Можете *просить* меня о чем угодно, мистер Джордж.

(Сегодня в шутливости дедушки Смоллуида есть что-то людоедское.)

– А вы можете мне отказать – вы это имеете в виду, а? Или, пожалуй, не столько вы, сколько ваш друг в Сити? Ха-ха-ха!

– Ха-ха-ха! – как эхо, повторяет дедушка Смоллуид, но так жестко и с таким ядовито-зеленым огнем в глазах, что серьезный от природы мистер Бегнет, взирая на почтенного старца, становится еще более серьезным.

– Слушайте! – снова начинает неунывающий Джордж. – Я рад, что вы в хорошем расположении духа, потому что сам хочу покончить с этой историей по-хорошему. Вот мой друг Бегнет, и вот я сам. Будьте так добры, мистер Смоллуид, давайте сейчас же уладим дело, как всегда. И вы очень успокоите моего друга Бегнета и его семью, если просто скажете ему, в чем заключается наше условие.

Какой-то призрак внезапно взвизгивает пронзительным голосом и с издевкой: «О господи! о!..», хотя, может, это не призрак, а веселая Джуди; но нет, оглянувшись кругом, изумленные друзья убеждаются, что она молчит; только насмешливо и презрительно вздернула подбородок.

Мистер Бегнет становится еще более серьезным.

– Но вы как будто спросили меня, мистер Джордж, – го-

ворит вдруг старик Смоллуид, который все это время держал в руках трубку, – вы как будто спросили, что значит это письмо?

– Да, спросил, конечно, – отвечает кавалерист, как всегда несколько необдуманно, – но, в общем, мне не так уж интересно это знать, лишь бы дело было улажено по-хорошему.

Уклонившись от ответа, мистер Смоллуид целится трубкой в голову кавалериста, но вдруг швыряет ее об пол, и она разбивается на куски.

– Вот что оно значит, любезный друг. Я вас вдребезги расшибу! Я вас растопчу! Я вас в порошок сотру! Убирайтесь к дьяволу!

Друзья встают и переглядываются. Мистер Бегнет становится таким серьезным, что серьезней и быть нельзя.

– Убирайтесь к дьяволу! – снова кричит старик. – Хватит с меня ваших трубок и вашего нахальства. Вы что это? Разыгрываете из себя независимого драгуна? Ишь какой! Ступайте к моему поверенному (вы помните, где он живет; вы у него уже были) и там рисуйтесь своей независимостью. Ступайте, любезный друг, там для вас еще имеются кое-какие шансы. Открой дверь, Джуди, гони этих болтунов! Зови на помощь, если они не уберутся. Гони их вон!

Он ревет так громко, что мистер Бегнет кладет руки на плечи товарища и, не дав ему очнуться от изумления, выводит его за дверь, которую сейчас же захлопывает торжествующая Джуди. Мистер Джордж, ошарашенный, некото-

рое время стоит столбом, глядя на дверной молоток. Мистер Бегнет, погрузившись в глубочайшую бездну серьезности, как часовой, ходит взад и вперед под окошком гостиной и, проходя мимо, всякий раз заглядывает внутрь, как бы что-то обдумывая.

– Пойдем-ка, Мэт! – говорит мистер Джордж, придя в себя. – Надо нам толкнуться к юристу. Но что ты думаешь об этом негодяе?

Остановившись, чтобы кинуть прощальный взгляд в окно гостиной, мистер Бегнет отвечает, качнув головой в ту сторону:

– Будь моя старуха здесь… уж я бы им сказал!

Отделавшись таким образом от предмета своих размышлений, мистер Бегнет нагоняет кавалериста, и друзья удаляются, маршируя в ногу и плечом к плечу.

Когда же они приходят на Линкольновы поля, оказывается, что мистер Талкингхорн сейчас занят и видеть его нельзя. Очевидно, он вовсе не желает их видеть, – ведь после того как они прождали целый час, клерк, вызванный звонком, пользуется случаем доложить о них, но возвращается с неутешительным известием: мистеру Талкингхорну не о чем говорить с ними, и пусть они его не ждут. Но они все-таки ждут с упорством тех, кто знает военную тактику, и вот наконец опять раздается звонок, и клиентка, с которой беседовал мистер Талкингхорн, выходит из его кабинета.

Эта клиентка, красивая старуха, не кто иная, как миссис

Раунсуэлл, домоправительница в Чесни-Уолде. Она выходит из святилища, сделав изящный старомодный реверанс, и осторожно закрывает за собой дверь. Здесь к ней, по-видимому, относятся почтительно, – клерк встает с деревянного дивана, чтобы проводить ее через переднюю комнату конторы и выпустить на улицу. Старуха благодарит его за любезность и вдруг замечает товарищей, ожидающих поверенного.

– Простите, пожалуйста, сэр, если не ошибаюсь, эти джентльмены – военные?

Клерк бросает на них вопросительный взгляд, но мистер Джордж в это время рассматривает календарь, висящий над камином, и не оборачивается, поэтому мистер Бегнет берет на себя труд ответить:

– Да, сударыня. Отставные.

– Так я и думала. Так и знала. Увидела я вас, джентльмены, и потеплело у меня на сердце. И всегда так – стоит мне увидеть военных. Благослови вас бог, джентльмены! Вы уж извините старуху, – у меня сын родной в солдаты завербовался. Хороший был, красивый малый; озорной, правда, но добрый по-своему, хоть и находились люди, что хулили его прямо в глаза его бедной матери. Простите за беспокойство, сэр. Благослови вас бог, джентльмены!

– И вас также, сударыня! – желает ей мистер Бегнет от всего сердца.

Есть что-то очень трогательное в той искренности, с какой говорит эта старомодно одетая, но приятная старушка, в том

трепете, что пробегает по ее телу. Но мистер Джордж так увлекся календарем, висящим над камином (быть может, он считает, сколько месяцев осталось до конца года), что даже не оглянулся, пока она не ушла и за нею не закрылась дверь.

– Джордж, – хрипло шепчет мистер Бегнет, когда тот отрывается от календаря, – не унывай! «Эй-эй, солдаты, к чему грустить, ребята?» Веселей, дружище!

Клерк снова ушел доложить, что посетители все еще дожидаются, и слышно, как мистер Талкингхорн отвечает довольно раздраженным тоном: «Так пусть войдут!», после чего друзья переходят в огромную комнату с расписным потолком и камином, перед которым стоит сам хозяин.

– Ну, что вам нужно, любезные? Сержант, я ведь сказал вам в прошлый раз, что ваши посещения для меня нежелательны.

Сержант, поневоле изменивший за последние несколько минут и свою манеру говорить, и даже свою манеру держаться, отвечает, что получил письмо такого-то содержания, был по поводу него у мистера Смоллуида, а тот послал его сюда.

– Мне не о чем говорить с вами, – отзывается на это мистер Талкингхорн. – Если вы задолжали, вы обязаны уплатить долг или понести все последствия неуплаты. Неужели вам стоило приходить сюда только затем, чтоб услышать это?

Сержант должен сознаться, что денег у него, к сожалению, нет.

– Прекрасно! Тогда ваш поручитель, – этот человек, если

это он, – обязан уплатить за вас.

Сержант должен добавить, что, к сожалению, у этого человека тоже нет денег.

– Прекрасно! Тогда или вы оба сложитесь и уплатите деньги, или вас обоих привлекут к суду за неуплату долга, и вы оба пострадаете. Вы получили деньги и должны их возвратить. Нельзя прикарманивать чужие фунты, шиллинги и пенсы, а потом выходить сухим из воды.

Юрист садится в кресло и мешает угли в камине. Мистер Джордж выражает надежду, что он будет настолько добр, чтобы…

– Повторяю, сержант, мне не о чем говорить с вами. Ваши сообщники мне не нравятся, и я не хочу видеть вас здесь. Это дело не по моей специальности, и оно не проходило через мою контору. Мистер Смоллуид любезно предлагает мне ведение подобных дел, но, как правило, я за них не берусь. Вам нужно обратиться к Мельхиседеку, – контора его в Клиффордс-Инне.

– Прошу прощения, сэр, – говорит мистер Джордж, – за то, что я докучаю вам, хоть вы и приняли меня столь неприветливо, – ведь все это так же неприятно мне, как и вам; но, может, вы разрешите мне сказать вам несколько слов с глазу на глаз?

Мистер Талкингхорн встает и, засунув руки в карманы, отходит к оконной нише.

– Ну, к делу! Мне время дорого.

Мастерски разыгрывая полнейшее равнодушие, он все-таки бросил испытующий взгляд на кавалериста и позаботился стать спиной к свету, так чтобы лицо собеседника было освещено.

– Так вот, сэр, – говорит мистер Джордж, – тот человек, что пришел со мной, тоже замешан в этой несчастной истории, – номинально, только номинально, и я хочу лишь того, чтобы он не попал в беду из-за меня. Он в высшей степени уважаемый человек, имеет жену и детей; служил в королевской артиллерии…

– А мне, милейший, понюшка табаку дороже, чем вся королевская артиллерия – офицеры, солдаты, двуколки, фургоны, лошади, пушки и боевые припасы.

– Весьма возможно, сэр. Зато мне очень дороги Бегнет, его жена и дети, и я стараюсь, чтоб они не пострадали по моей вине. Значит, если я хочу вызволить их из этой беды, мне, видимо, остается только отдать вам безоговорочно то, что вы на днях хотели получить от меня.

– Вы принесли это сюда?

– Да, сэр, принес.

– Сержант, – начинает юрист сухим, бесстрастным тоном, который обескураживает больше, чем самое яростное неистовство, – решайтесь, пока я говорю с вами, потому что это наш последний разговор. Закончив его, я перестану говорить на эту тему и больше к ней не вернусь. Имейте это в виду. Хотите – оставьте здесь на несколько дней то, что,

по вашим словам, вы принесли сюда; хотите – унесите с собой. Если вы оставите это здесь, я сделаю для вас следующее: я поверну ваше дело на прежний лад и, больше того, выдам вам письменное обязательство, что этого вашего Бегнета ничем беспокоить не будут, пока вы не потеряете всякую возможность платить проценты; иначе говоря, пока ваши средства не истощатся полностью, кредитор не будет требовать от него уплаты вашего долга. Это значит, что фактически Бегнет почти освобождается от ответственности. Ну, как, решились?

Кавалерист сует руку за пазуху и, тяжело вздохнув, отвечает:

– Что делать, сэр, приходится.

Мистер Талкингхорн надевает очки, садится и пишет обязательство, потом медленно прочитывает и объясняет его Бегнету, который все это время смотрел в потолок, а теперь опять кладет руку на лысую голову, как бы желая защититься от этого нового словесного душа; и ему, должно быть, очень недостает «старухи», – будь она здесь, уж он бы выразил свои чувства. Кавалерист вынимает из грудного кармана сложенную бумагу и нехотя кладет ее на стол юриста.

– Это просто письмо с распоряжениями, сэр. Последнее, которое я получил от него.

Посмотрите на жернов, мистер Джордж, и вы увидите, что он меняется так же мало, как лицо мистера Талкингхорна, когда тот развертывает и читает письмо! Кончив читать, он

складывает листок и прячет его в свой стол, бесстрастный, как Смерть. Ни говорить, ни делать ему больше нечего; остается только кивнуть, все так же холодно и неприветливо, и коротко сказать:

– Можете идти. Эй, там, проводите этих людей!

Их провожают, и они идут к мистеру Бегнету обедать.

Вареная говядина с овощами вместо вареной свинины с овощами – только этим и отличается сегодняшний обед от прошлого, и миссис Бегнет по-прежнему распределяет кушанье, приправляя его прекраснейшим расположением духа, – ведь эта редкостная женщина всегда раскрывает объятия для Хорошего и не помышляя о том, что оно могло бы быть Лучшим, и находит свет даже в любом темном пятнышке. На сей раз «пятнышко» – это потемневшее чело мистера Джорджа; он против обыкновения задумчив и угнетен. Вначале миссис Бегнет надеется, что Квебек и Мальта, ласкаясь к нему, развеселят его соединенными усилиями, но, видя, что молодые девицы не узнают сегодня своего прежнего проказника Заводилу, она мигает им, давая легкой пехоте сигнал к отступлению и предоставляя мистеру Джорджу возможность развернуть свою колонну и дать ей отдых на открытом пространстве, у домашнего очага.

Но он не пользуется этой возможностью. Он остается в сомкнутом строю, мрачный и удрученный. Пока совершается длительный процесс мытья посуды, сопровождаемый стуком деревянных сандалий, мистер Джордж, хотя он так же, как

мистер Бегнет, снабжен трубкой, выглядит не лучше, чем за обедом. Он забывает о курении; смотрит на огонь и задумывается; наконец роняет трубку из рук, приводя мистера Бегнета в уныние и замешательство своим полным равнодушием к табаку.

Поэтому, когда миссис Бегнет, разрумянившись от освежающего умыванья холодной водой из ведра, в конце концов появляется в комнате и садится за шитье, мистер Бегнет бурчит: «Старуха!» – и, мигнув, побуждает ее разведать, в чем дело.

– Слушайте, Джордж! – говорит миссис Бегнет, спокойно вдевая нитку в иглу. – Что это вы такой хмурый?

– Разве? Значит, я невеселый собеседник? Да, пожалуй, что так.

– Мама, он совсем не похож на Заводилу, – кричит маленькая Мальта.

– Должно быть, он заболел; правда, мама? – спрашивает Квебек.

– Да, плохой это признак, когда перестаешь походить на Заводилу! – говорит кавалерист, целуя девочек. – Но это верно, – тут он вздыхает, – к сожалению, верно. Малыши всегда правы!

– Джордж, – говорит миссис Бегнет, усердно работая, – если бы я считала, что вы злопамятный и не можете позабыть, какую чушь наболтала вам нынче утром крикливая солдатка, которой потом хотелось язык себе откусить, – да, пожа-

луй, и надо бы откусить, – я не знаю, чего бы я вам сейчас не наговорила.

– Добрая вы душа, – отзывается кавалерист, – да вот ни столечко не вспоминаю.

– Ведь, право же, Джордж, я только то сказала и хотела сказать, что поручаю вам своего Дуба и уверена, что вы его выпутаете. А вы и впрямь его выпутали, к нашему счастью!

– Спасибо вам, дорогая! – говорит Джордж. – Я рад, что вы обо мне такого хорошего мнения.

Кавалерист дружески пожимает руку миссис Бегнет вместе с рукодельем – хозяйка села рядом с ним – и внимательно смотрит ей в лицо. Поглядев на нее несколько минут, в то время как она усердно работает иглой, он переводит глаза на Вулиджа, сидящего в углу на табурете, и подзывает к себе юного флейтиста.

– Смотри, дружок, – говорит мистер Джордж, очень нежно поглаживая по голове мать семейства, – вот какое у твоей мамы доброе, ласковое лицо! Оно сияет любовью к тебе, мальчик мой. Правда, оно немножко потемнело от солнца и непогоды, от переездов с твоим отцом да забот о вас всех, но оно свежее и здоровое, как спелое яблоко на дереве.

Лицо мистера Бегнета выражает высшую степень одобрения и сочувствия, насколько это вообще возможно для его деревянных черт.

– Наступит время, мальчик мой, – продолжает кавалерист, – когда волосы у твоей мамы поседеют, а ее лоб вдоль

и поперек покроется морщинами; но и тогда она будет красивой старухой. Старайся, пока молод, поступать так, чтобы в будущем ты мог сказать себе: «Ни один волос на ее милой голове не побелел из-за меня; ни одна морщинка горя не появилась из-за меня на ее лице!» Ведь из всех мыслей, какие тебе придут на ум, когда ты станешь взрослым, Вулидж, эта лучше всех!

В заключение мистер Джордж встает с кресла, сажает в него мальчика рядом с матерью и говорит с некоторой поспешностью, что пойдет курить трубку на улицу.

Глава XXXV
Повесть Эстер

Я болела несколько недель и о привычном укладе своей жизни вспоминала как о далеком прошлом. Но это объяснялось не столько тем, что прошло действительно много времени, сколько переменой во всех моих привычках, вызванной болезнью и вытекающими из нее беспомощностью и праздностью. После того как я несколько дней пролежала в четырех стенах своей комнаты, весь мир словно отошел от меня на огромное расстояние, и в этой дали различные периоды моей жизни почти слились друг с другом, тогда как в действительности их разделяли годы. С самого начала болезни я как будто поплыла по какому-то темному озеру, а все события моего прошлого остались на том берегу, где я жила, когда была здорова, и смешались где-то вдали.

Вначале меня очень волновало, что я уже не могу выполнять свои хозяйственные обязанности, но вскоре они стали казаться мне такими же далекими, как самые давние из моих давних обязанностей в Гринлифе, или как те летние дни, когда я возвращалась из школы в дом крестной, с сумкой для книг и тетрадей под мышкой, а тень детской фигурки бежала рядом со мною. Теперь я впервые поняла, как коротка жизнь и на каком маленьком пространстве может она уместиться в

сознании.

В разгаре болезни меня чрезвычайно тревожило, что все эти периоды моей жизни перепутываются в памяти один с другим. Чувствуя себя одновременно и ребенком, и молоденькой девушкой, и такой счастливой некогда Хлопотуньей, я мучилась не только воспоминаниями о заботах и трудностях, связанных со всеми этими стадиями моего развития, но и полнейшим своим бессилием поставить каждую из них на надлежащее место, хотя все вновь и вновь пыталась это сделать. Я думаю, что из тех, кому не довелось испытать подобного состояния, лишь немногие способны вполне понять меня, понять, какое болезненное беспокойство вызывали во мне эти переживания.

По той же причине я едва осмеливаюсь рассказать о том, что чувствовала, когда была в бреду, то есть о том времени, – этот период казался мне одной длинной ночью, хотя, вероятно, продолжался несколько дней и ночей, – о том времени, когда мне чудилось, будто я с огромным трудом карабкаюсь по каким-то гигантским лестницам, неотступно стараясь во что бы то ни стало добраться до верхушки, но, как червяк, которого я когда-то видела на садовой дорожке, непрестанно отступаю перед каким-нибудь препятствием и поворачиваю назад, а потом снова силюсь подняться наверх. Иногда я понимала очень ясно, но чаще всего смутно, что лежу в постели, и тогда разговаривала с Чарли, чувствовала ее прикосновение и прекрасно ее узнавала, однако ловила себя на том,

что жалуюсь ей: «Ох, Чарли, опять эти бесконечные лестницы… опять и опять… громоздятся до самого неба!», и все-таки снова старалась подняться по ним.

Смею ли я рассказать о тех, еще более тяжелых днях, когда в огромном темном пространстве мне мерещился какой-то пылающий круг – не то ожерелье, не то кольцо, не то замкнутая цепь звезд, одним из звеньев которой была я! То были дни, когда я молилась лишь о том, чтобы вырваться из круга, – так необъяснимо страшно и мучительно было чувствовать себя частицей этого ужасного видения!

Быть может, чем меньше я буду говорить об этих болезненных ощущениях, тем менее скучной и более понятной будет моя повесть. Я не потому описываю их здесь, что хочу заставить кого-то страдать от жалости ко мне, и не потому, что хоть сколько-нибудь страдаю сама, вспоминая о них. Но ведь, если бы мы глубже понимали природу этих странных недугов, мы, быть может, лучше умели бы их облегчать.

Покой, который за этим последовал, долгий сладостный сон и блаженный отдых, когда я от слабости была совершенно равнодушна к своей судьбе и могла бы (так мне по крайней мере кажется теперь) узнать, что вот-вот умру, и не почувствовать ничего, кроме сострадания к тем, кого покидаю, – все это, пожалуй, более понятно для других. В таком состоянии я была, когда однажды для меня вдруг снова засиял свет, а я вздрогнула и с безграничной радостью, описать которую невозможно никакими восторженными слова-

ми, поняла, что ко мне вернулось зрение.

Я слышала, как моя Ада день и ночь плачет за дверью, слышала, как она взывает ко мне, говоря, что я жестокая и не люблю ее; слышала ее просьбы и мольбы позволить ей войти, чтобы ухаживать за мной и утешать меня, не отходя от моей постели. Но когда я смогла говорить, я твердила только одно: «Ни за что, моя милая девочка, ни за что!» – и беспрестанно напоминала Чарли, чтобы она не впускала в комнату мою любимую, все равно, останусь я в живых или умру. Чарли была мне верна в это трудное время – ее маленькие руки и большое сердце держали дверь на запоре.

Но вот мое зрение стало восстанавливаться; лучезарный свет с каждым днем сиял для меня все ярче, я уже могла читать письма моей милой подруги, которые получала от нее каждое утро и каждый вечер; могла целовать их и класть под голову, зная, что Аде это не повредит. Я снова могла видеть, как моя маленькая горничная, такая нежная и заботливая, ходит по нашим двум комнатам, наводя порядок, и по-прежнему весело болтает с Адой, стоя у открытого окна. Я могла теперь понять, почему у нас в доме так тихо, – это о моем покое заботились все те, кто всегда был так добр ко мне. Я могла плакать от чудесной, блаженной полноты сердца и, совсем слабая, чувствовала себя не менее счастливой, чем когда была здоровой.

Мало-помалу я стала набираться сил. Вместо того чтобы лежать и с каким-то странным равнодушием следить за всем,

что делалось для меня, словно это делалось для кого-то другого, кого мне было лишь чуть-чуть жаль, я начала помогать тем, кто за мной ухаживал, сперва понемногу, потом все больше и больше, и наконец, когда я смогла обслуживать сама себя, ко мне вернулись интерес и любовь к жизни.

Как хорошо я помню тот блаженный день, когда меня впервые усадили в постели, заложив мне за спину подушки, чтобы я смогла отпраздновать свое выздоровление радостным чаепитием с Чарли! Эта девочка – наверное, она была послана в мир, чтобы помогать слабым и больным, – была так счастлива, так усердно хлопотала и так часто отрывалась от своей возни, чтобы положить голову мне на грудь, приласкать меня и воскликнуть с радостными слезами: «Как хорошо! Как хорошо!», что мне пришлось сказать ей:

– Чарли, если ты будешь продолжать в том же духе, мне придется снова улечься, милая, потому что я слабее, чем думала.

Тогда Чарли притихла, как мышка, и с сияющим личиком принялась бегать из комнаты в комнату, – от тени к божественному солнечному свету, от света к тени, а я спокойно смотрела на нее. Когда все было готово и к кровати моей придвинули хорошенький чайный столик, покрытый белой скатертью, заставленный всякими соблазнительными лакомствами и украшенный цветами, – столик, который Ада с такой любовью и так красиво накрыла для меня внизу, – я почувствовала себя достаточно крепкой, чтобы заговорить с

Чарли о том, что уже давно занимало мои мысли.

Сначала я похвалила Чарли за то, что в комнате у меня так хорошо; а в ней и правда воздух был очень свежий и чистый, все было безукоризненно опрятно и в полном порядке, – прямо не верилось, что я пролежала здесь так долго. Чарли очень обрадовалась и просияла.

– И все-таки, Чарли, – сказала я, оглядываясь кругом, – здесь недостает чего-то, к чему я привыкла.

Бедняжка Чарли тоже оглянулась кругом и покачала головой с таким видом, словно, по ее мнению, все было на месте.

– Все картины висят на прежних местах? – спросила я.

– Все, мисс, – ответила Чарли.

– И мебель стоит, как стояла, Чарли?

– Да, только я кое-что передвинула, чтобы стало просторнее мисс.

– И все-таки, Чарли, – сказала я, – мне недостает какой-то вещи, к которой я привыкла. А! Теперь, Чарли, я поняла, какой! Я не вижу зеркала.

Чарли встала из-за стола, под тем предлогом, что забыла что-то принести, убежала в соседнюю комнату, и я услышала, как она там всхлипывает.

Я и раньше очень часто думала об этом. Теперь я убедилась, что так оно и есть. Слава богу, это уже не было для меня ударом. Я позвала Чарли, и она вернулась, заставив себя улыбнуться, но, подойдя ко мне, не сумела скрыть своего горя, а я обняла ее и сказала:

– Это все пустяки, Чарли. Теперь я, наверное, выгляжу иначе, чем раньше, но и с таким лицом жить можно.

Вскоре я настолько поправилась, что уже могла сидеть в большом кресле и даже переходить неверными шагами в соседнюю комнату, опираясь на Чарли. Из этой комнаты зеркало тоже унесли, но от этого бремя мое не сделалось более тяжким.

Опекун все время порывался меня навестить, и теперь у меня уже не было оснований лишать себя счастья увидеться с ним. Он пришел как-то раз утром и, войдя в комнату, сначала только обнимал меня, повторяя: «Моя милая, милая девочка!» Я давно уже знала – кто мог знать это лучше меня? – каким глубоким источником любви и великодушия было его сердце; а теперь подумала: «Так много ли стоят мои пустяковые страдания и перемена в моей внешности, если я занимаю в этом сердце столь большое место? Да-да, он увидел меня и полюбил больше прежнего; он увидел меня, и я стала ему дороже прежнего; так что же мне оплакивать?»

Он сел рядом со мной на диван, обняв и поддерживая меня одной рукой. Некоторое время он сидел, прикрыв лицо ладонью, но, когда отнял ее, заговорил как ни в чем не бывало. Я не встречала и никогда не встречу более обаятельного человека.

– Девочка моя, – начал он, – какое это было грустное время! И какая моя девочка стойкая, наперекор всему!

– Все к лучшему, опекун, – сказала я.

– Все к лучшему? – повторил он нежно. – Конечно, к лучшему. Но мы с Адой были совсем одинокие и несчастные; но ваша подруга Кедди то и дело приезжала и уезжала; но все в доме были растерянны и удручены, и даже бедный Рик присылал письма – *и мне тоже*, – так он беспокоился о вас!

Ада писала мне про Кедди, но о Ричарде – ни слова. Я сказала об этом опекуну.

– Видите ли, дорогая, – объяснил он, – я считал, что лучше не говорить ей о его письме.

– Вы сказали, что он писал *и вам тоже*, – промолвила я, сделав ударение на тех же словах, что и он. – Как будто у него нет желания писать вам, опекун… как будто у него есть более близкие друзья, которым он пишет охотнее!

– Он думает, что есть, моя любимая, – ответил опекун, – и даже гораздо более близкие друзья. Говоря откровенно, он написал мне поневоле, только потому, что бессмысленно было посылать письмо вам, не надеясь на ответ, – написал холодно, высокомерно, отчужденно, обидчиво. Ну что ж, милая моя девочка, мы должны отнестись к этому терпимо. Он не виноват. Под влиянием тяжбы Джарндисов он переменился и стал видеть меня не таким, какой я есть. Я знаю, что под ее влиянием не раз совершались подобные перемены, и даже еще худшие. Будь в ней замешаны два ангела, она, наверное, сумела бы испортить даже их ангельскую природу.

– Но вас-то ведь она не испортила, опекун.

– Что вы, дорогая, конечно испортила, – возразил он, сме-

ясь. – По ее вине южный ветер теперь часто превращается в восточный. А Рик мне не доверяет, подозревает меня в чем-то… ходит к юристам, а там его тоже учат не доверять и подозревать. Ему говорят, что интересы наши в этой тяжбе противоположны, что удовлетворение моих требований грозит ему материальным ущербом, и так далее, и тому подобное. Однако видит бог, что если бы только я мог выбраться из этих горных дебрей «парикатуры», иначе говоря, волокиты и жульничества, с которыми так долго было связано мое злосчастное имя (а я не могу из них выбраться), или если бы я мог сровнять эти «горные дебри» с землей, отказавшись от своих собственных прав (чего тоже не могу, да, бесспорно, не может и ни один истец, – в такой тупик нас завели), я бы сделал это немедленно. Я предпочел бы увидеть, что бедный Ричард снова стал самим собой, нежели получить все те деньги, которые все умершие истцы, раздавленные телесно и душевно колесом Канцлерского суда, оставили невостребованными в казне, а этих денег, дорогая моя, хватило бы на то, чтобы возвести из них пирамиду в память о беспредельной порочности Канцлерского суда.

– Возможно ли, опекун, – спросила я, пораженная, – чтобы Ричард в чем-то подозревал вас?

– Эх, милая моя, милая, – ответил он, – это у него болезнь, – ведь тонкому яду этих злоупотреблений свойственно порождать подобные болезни. Кровь у Рика отравлена, и он уже не может видеть вещи такими, каковы они в действи-

тельности. Но это не его вина.

– Как это ужасно, опекун.

– Да, Хозяюшка, впутаться в тяжбу Джарндисов – это ужасное несчастье. Большего я не знаю. Мало-помалу юношу заставили поверить в эту гнилую соломинку; а ведь она заражает своей гнилью все окружающее. Но я опять повторяю от всего сердца: нам надо быть терпимыми и не осуждать бедного Рика. Сколько добрых, чистых сердец, таких же, как его сердце, было развращено подобным же образом, и все это я видел в свое время!

Я не могла не сказать опекуну, как я потрясена и огорчена тем, что все его благие и бескорыстные побуждения оказались бесплодными.

– Не надо так говорить, Хлопотунья, – ответил он бодро. – Ада счастлива, надеюсь, а это уже много. Когда-то я думал, что эта юная пара и я – мы будем друзьями, а не подозревающими друг друга врагами, что мы сумеем противостоять влиянию тяжбы и осилить его. Выходит, однако, что я предавался несбыточным мечтам. Тяжба Джарндисов словно пологом отгородила Рика от света, когда он еще лежал в колыбели.

– Но, опекун, разве нельзя надеяться, что он узнает по опыту, какая все это ложь и мерзость?

– Надеяться мы, конечно, *будем*, Эстер, – сказал мистер Джарндис, – и будем желать, чтобы он понял свою ошибку, пока еще не поздно. Во всяком случае, мы не должны быть к

нему очень строгими. Он не один: сейчас, когда мы вот так сидим и разговариваем с вами, немного найдется на свете взрослых, зрелых и к тому же хороших людей, которые, стоит им только подать иск в этот суд, не изменятся коренным образом, – которые не испортятся в течение трех лет… двух лет… одного года. Так можно ли удивляться бедному Рику? Молодой человек, с которым случилось это несчастье, – теперь опекун говорил негромко, словно думая вслух, – сначала не может поверить (да и кто может?), что Канцлерский суд действительно таков, какой он есть на самом деле. Молодой человек ждет со всем пылом и страстностью юности, что суд будет защищать его интересы, устраивать его дела. А суд изматывает его бесконечной волокитой, водит за нос, терзает, пытает; по нитке раздергивает его радужные надежды и терпение; но бедняга все-таки ждет от него чего-то, цепляется за него, и наконец весь мир начинает казаться ему сплошным предательством и обманом. Так-то вот!.. Ну, хватит об этом, дорогая.

Он все время осторожно поддерживал меня рукой, и его нежность казалась мне таким бесценным сокровищем, что я склонила голову к нему на плечо, – будь он моим родным отцом, я не могла бы любить его сильнее. Мы ненадолго умолкли, и я тогда решила в душе, что непременно повидаюсь с Ричардом, когда окрепну, и постараюсь образумить его.

– Однако в дни таких радостных событий, как выздоровление нашей дорогой девочки, надо говорить о более прият-

ных вещах, – снова начал опекун. – И мне поручили завести беседу об одном таком предмете, как только я вас увижу. Когда может прийти к вам Ада, милая моя?

О встрече с Адой я тоже думала часто. Отчасти в связи с исчезнувшими зеркалами, но не совсем, – ведь я знала, что никакая перемена в моей внешности не заставит мою любящую девочку изменить ее отношение ко мне.

– Милый опекун, – сказала я, – я так долго не пускала ее к себе, хотя для меня она, право же, все равно что свет солнца…

– Я это знаю, милая Хлопотунья, хорошо знаю.

Он был так добр, его прикосновение было полно такого глубокого сострадания и любви, а звук его голоса вносил такое успокоение в мое сердце, что я запнулась, так как была не в силах продолжать.

– Вижу, вижу, вы утомились, – сказал он. – Отдохните немножко.

– Я так долго не пускала к себе Аду, – начала я снова, немного погодя, – что мне, пожалуй, хотелось бы еще чуточку побыть одной, опекун. Лучше бы мне пожить вдали от нее, прежде чем вновь встретиться с нею. Если бы нам с Чарли можно было уехать куда-нибудь в деревню, как только я смогу передвигаться, и провести там с неделю, чтобы мне окрепнуть и набраться сил на свежем воздухе, чтобы мне освоиться с мыслью, какое это счастье – снова быть с Адой, мне кажется, так было бы лучше для нас обеих.

Надеюсь, это не было малодушием, что мне хотелось сначала немножко самой привыкнуть к своему изменившемуся лицу, а потом уже встретиться с моей дорогой девочкой, которую я так жаждала видеть; и мне действительно этого хотелось. Хотелось уехать. Опекун, разумеется, понял меня, но его я не стеснялась. Если мое желание и было малодушием, я знала, что он отнесется ко мне снисходительно.

– Ну, конечно, наша избалованная девочка – такая упрямая, что настоит на своем, даже ценою слез, которые прольются у нас внизу, – сказал опекун. – Но слушайте дальше! Бойторн, этот рыцарь до мозга костей, дал такой потрясающий обет, какого еще не видывала бумага, – он пишет, что, если вы не приедете и не займете всего его дома, из которого сам он специально для этого уже выехал, он клянется небом и землей снести этот дом, не оставив камня на камне!

И опекун передал мне письмо, которое начиналось не с обычного обращения вроде «Дорогой Джарндис», а устремлялось прямо к делу: «Клянусь, что если мисс Саммерсон не приедет и не поселится в моем доме, который я освобождаю для нее сегодня в час дня…», а дальше совсем всерьез и в самых патетических выражениях излагалась та необычайная декларация, о которой говорил опекун. Читая ее, мы смеялись от всей души, но это не помешало нам отдать должное ее автору, и мы решили, что я завтра же пошлю благодарственное письмо мистеру Бойторну и приму его приглашение. Оно было мне очень приятно, ибо из всех мест, куда

я могла бы уехать, мне никуда так не хотелось, как в Чесни-Уолд.

– Ну, милая наша Хозяюшка, – сказал опекун, взглянув на часы, – вас нельзя утомлять, и прежде чем подняться к вам наверх, мне пришлось дать обещание просидеть у вас не больше стольких-то минут, а они уже прошли все до одной. Но у меня есть к вам еще одна просьба. Маленькая мисс Флайт услышала, что вы заболели, и, недолго думая, явилась сюда пешком, – двадцать миль прошагала бедняжка, да еще в бальных туфельках! – чтоб узнать о вашем здоровье. Мы были дома, благодарение небу, а не то пришлось бы ей и возвращаться пешком.

Все тот же заговор! Как будто все сговорились доставлять мне удовольствие!

– Так вот, моя душенька, – сказал опекун, – если это вас не очень утомит, примите безобидную старушку как-нибудь днем, до того как поедете спасать преданный вам дом Бойторна от разрушения, и вы так ей этим польстите, приведете ее в такой восторг, в какой я бы не мог ее привести за всю свою жизнь, хоть и ношу славное имя – Джарндис.

Несомненно, он понимал, что встреча с таким бедным обиженным созданием послужит мне мягким и своевременным уроком. Я угадала это по его тону. И, конечно, я всячески постаралась уверить его, что очень охотно приму старушку. Я всегда жалела ее… и еще больше жалела теперь. Я всегда радовалась, что могу утешить ее в ее горестях, а те-

перь радовалась этому еще больше.

Мы условились, на какой день следует пригласить мисс Флайт приехать в почтовой карете и разделить со мной мой ранний обед. Когда опекун ушел, я легла на кушетку, лицом к стене, и стала молиться о прощении, – ведь, одаренная столькими благами, я, быть может, преувеличила в душе тяжесть того ничтожного испытания, которое мне было ниспослано. Мне вспомнилась детски-простодушная молитва, которую я произнесла в тот давний день рождения, когда стремилась быть прилежной, добросердечной, довольствоваться своей судьбой, стараться по мере сил делать добро людям, а если удастся, так и заслужить чью-нибудь любовь, – и я подумала, осуждая себя, о том счастье, которым наслаждалась с тех пор, и обо всех любящих сердцах, привязанных ко мне. Если я сейчас малодушна, значит, все эти блага не пошли мне впрок, подумала я. И я повторила ребяческие слова своей давней ребяческой молитвы и почувствовала, что она, как и раньше, внесла мир в мою душу.

Теперь опекун навещал меня каждый день. Примерно через неделю с небольшим я уже могла бродить по нашим комнатам и подолгу разговаривать с Адой из-за оконной занавески. Однако я ни разу ее не видела, – у меня не хватало духу взглянуть на ее милое личико, хоть я легко могла бы смотреть на нее, когда знала, что она не видит меня.

В назначенный день приехала мисс Флайт. Бедная старушка вбежала в мою комнату, совершенно позабыв о сво-

ем всегдашнем старании держаться чопорно, и с криком, вырвавшимся из глубины души, бросилась мне на шею, твердя: «Дорогая моя Фиц-Джарндис!»; а поцеловала она меня раз двадцать, не меньше.

– Ах, боже мой! – проговорила она, сунув руку в ридикюль. – Я захватила с собой только документы, дорогая моя Фиц-Джарндис; вы не можете одолжить мне носовой платок?

Чарли дала ей платок, и он очень пригодился доброй старушке, – она прижимала его к глазам обеими руками и целых десять минут плакала в три ручья.

– Это от радости, дорогая моя Фиц-Джарндис, – поспешила она объяснить. – Вовсе не от горя. От радости видеть вас по-прежнему здоровой. От радости, что вы оказали мне честь принять меня. Вас, душечка моя, я люблю гораздо больше, чем канцлера. Впрочем, я *продолжаю* регулярно ходить в суд. Кстати, дорогая моя, насчет платка…

Тут мисс Флайт взглянула на Чарли, которая выходила встречать ее на остановку почтовой кареты. Чарли посмотрела на меня с таким видом, словно ей не хотелось говорить на эту тему.

– Оч-чень правильно! – одобрила мисс Флайт. – Оч-чень тактично. Прекрасно! Чрезвычайно нескромно с моей стороны упоминать об этом, но, дорогая мисс Фиц-Джарндис, боюсь, что я иногда (это между нами, и сами вы не догадались бы), что я иногда путаюсь, говорю немножко… бессвязно, знаете ли, – и мисс Флайт приложила палец ко лбу. –

Только и всего.

– А что же вы хотели сообщить мне? – спросила я с улыбкой, понимая, что ей хочется рассказать что-то. – Вы возбудили мое любопытство, и придется вам удовлетворить его.

Мисс Флайт взглянула на Чарли, спрашивая ее совета в этом затруднительном случае, а Чарли проговорила: «Лучше уж скажите, сударыня», чем доставила безмерное удовольствие нашей гостье.

– Какая смышленая девочка, – сказала мисс Флайт, обращаясь ко мне с таинственным видом. – Малышка. Но оч-чень смышленая! Так вот, дорогая моя, это премиленький эпизод. Только и всего. Но, по-моему, он очаровательный. Можете себе представить: от каретной остановки нас провожала одна бедная особа в очень неизящной шляпке…

– Позвольте вам доложить, мисс, это была Дженни, – вставила Чарли.

– Вот именно! – подтвердила мисс Флайт сладчайшим голосом. – Дженни. Да-а! И можете себе представить: она сказала вот этой нашей девочке, что в ее коттедж приходила какая-то леди под вуалью, справляться о здоровье моей дорогой Фиц-Джарндис, и эта леди взяла себе на память носовой платок только потому, что он когда-то принадлежал моей прелестной Фиц-Джарндис! Ну, знаете ли, это очень располагает в пользу леди под вуалью!

– Позвольте вам доложить, мисс, – сказала Чарли, на которую я посмотрела с некоторым удивлением. – Дженни го-

ворит, что, когда ее ребеночек умер, вы оставили у нее свой носовой платок, а она убрала его, и он лежал вместе с пеленками и прочими вещицами, какие остались от младенца. Я думаю, позвольте вам доложить, что она сохранила его отчасти потому, что он ваш, мисс, отчасти потому, что им покрыли покойничка.

– Малышка, – прошептала мне мисс Флайт, пошевелив пальцами перед лбом, чтобы выразить этим, как умна Чарли. – Но чрезвычайно смышленая! И объясняет все так толково! Она, душечка, говорит понятней любого адвоката, какого я когда-либо слушала!

– Я все это помню, Чарли, – сказала я. – И что же?

– Так вот, мисс, – продолжала Чарли, – этот самый платок леди и взяла. И Дженни просила вам передать, что не отдала бы его ни за какие деньги, но леди сама взяла его, а взамен оставила сколько-то монет. Дженни ее совсем не знает, мисс, позвольте вам доложить.

– Странно, кто бы это мог быть? – сказала я.

– Вы знаете, душечка, – зашептала мисс Флайт, приблизив губы к самому моему уху и принимая в высшей степени таинственный вид, – по *моему* мнению… только не говорите нашей малышке, – это супруга лорд-канцлера. Ведь он, знаете ли, женат. И как я слышала, она ему житья не дает. Бросает бумаги его милости в огонь, дорогая моя, если он отказывается платить по счетам ее ювелира!

Я тогда не стала гадать, кто эта леди, – просто подумала,

что это, вероятно, была Кедди. Кроме того, мне пришлось заняться нашей гостьей, – она совсем закоченела во время поездки и, должно быть, проголодалась, а тут как раз подали обед, и надо было помочь ей, когда она, желая принарядиться, с величайшим удовольствием накинула на плечи жалкий истрепанный шарф и надела штопаные-перештопаные, совсем заношенные перчатки, которые привезла с собой завернутыми в бумагу. Мне пришлось также играть роль хозяйки за обедом, состоявшим из рыбы, жареной курицы, телятины, овощей, пудинга и мадеры, и мне так приятно было видеть, какую радость доставил этот обед старушке, как чинно и церемонно она кушала, что я уже не думала ни о чем другом.

Когда мы пообедали и нам подали десерт, красиво сервированный моей милой подругой, которая всегда сама наблюдала за приготовлением всего, что мне подавали, мисс Флайт, очень довольная, принялась болтать так оживленно, что я решила завести разговор о ее жизни, так как она всегда любила говорить о себе. Я начала с того, что спросила ее:

– Вы уже много лет ходите в Канцлерский суд, мисс Флайт?

– Ах, много, много, много лет, дорогая моя. Но я ожидаю судебного решения. В ближайшем будущем.

Но даже в ее надеждах сквозила такая тревога, что я усомнилась, надо ли было говорить об этом. И тут же подумала, что не надо.

– Мой отец ждал судебного решения, – продолжала, од-

нако, мисс Флайт. – Мой брат. Моя сестра. Все они ждали судебного решения. И я жду.

– Все они…

– Да-а. Умерли, конечно, дорогая моя, – ответила она.

Заметив, что ей хочется продолжать этот разговор, и желая ей угодить, я передумала и решила не избегать его, а поддержать.

– А не разумней ли было бы, – сказала я, – больше не ждать решения?

– Правильно, дорогая моя, – быстро подтвердила она, – конечно, разумней.

– И никогда больше не ходить в суд?

– И это тоже правильно, – согласилась она. – Когда вечно ждешь того, что никогда не приходит, – это так изматывает, дорогая моя Фиц-Джарндис! Так изматывает, что, верите ли, только кожа да кости остаются!

Она показала мне свою руку, такую тонкую, что смотреть было страшно.

– Но, дорогая моя, – продолжала она таинственным тоном. – В суде есть что-то ужасно манящее. Тс! Не говорите об этом нашей малышке, когда она придет. Она может испугаться. Да и немудрено. В суде есть что-то манящее беспощадно. Расстаться с ним *нет сил*. Так что волей-неволей *приходится* ждать.

Я попыталась разуверить ее. Она терпеливо и с улыбкой выслушала меня, но сейчас же нашла ответ:

– Да, да, да! Вы так думаете потому, что я путаюсь, говорю немножко бессвязно. Оч-чень нелепо говорить так бессвязно, не правда ли? И оч-чень большая путаница получается. В голове. Я так полагаю. Но, дорогая моя, я ходила туда много лет и заметила. Это все от Жезла и Печати, что лежат на столе.

– Но что же они могут сделать, как вы думаете? – мягко спросила я.

– Они притягивают, – ответила мисс Флайт. – Притягивают к себе людей, дорогая моя. Вытягивают из них душевное спокойствие. Вытягивают разум. Красоту. Хорошие качества. Я не раз чувствовала, как даже ночью они вытягивают мой покой. Холодные, блестящие дьяволы!

Она похлопала меня по руке и добродушно кивнула, как будто стремясь уверить меня, что мне нечего ее бояться, несмотря на то что она говорит о таких мрачных вещах и поверяет мне такие страшные тайны.

– Постойте-ка, – снова заговорила она. – Я расскажу вам, как все это было со мной. До того, как они меня притянули… до того, как я впервые их увидела… что я делала? Играла на тамбурине? Нет. Вышивала тамбуром. Мы с сестрой делали вышивки тамбуром. Наш отец и брат имели строительную контору. Мы жили все вместе. Оч-чень прилично, дорогая моя! Сначала притянули отца… постепенно. Все в доме вытянули вместе с ним. За несколько лет отец превратился в свирепого, желчного, сердитого банкрота, – никому,

бывало, не скажет ласкового слова, никого не подарит ласковым взглядом. А раньше он был совсем другой, Фиц-Джарндис. Его притянули к ответу, – посадили в тюрьму для несостоятельных должников. Там он и умер. Потом втянули брата… быстро… в пьянство. В нищету. В смерть. Потом втянули сестру. Тс! Не спрашивайте – во что! Потом я заболела и оказалась в нужде; и тогда узнала… впрочем, я и раньше знала, что все это – дело рук Канцлерского суда. Но вот я поправилась и пошла посмотреть на это чудовище. А как увидела, какое оно, сама втянулась и осталась там.

Эту краткую повесть о своей жизни она рассказывала тихим голосом, как-то напряженно, словно все еще ощущая боль нанесенного ей удара, а умолкнув, постепенно приняла свой прежний любезный и важный вид.

– Вы не совсем верите мне, дорогая моя! Ну что ж! Когда-нибудь да поверите. Я говорю немножко бессвязно. Но я заметила. Все эти годы я видела, как множество новых лиц появлялось там, и они, сами того не подозревая, поддавались влиянию Жезла и Печати. Так же, как мой отец. Как брат. Как сестра. Как я сама. Я слышу, как Велеречивый Кендж и все остальные говорят этим новым лицам: «А вот маленькая мисс Флайт. Кажется, вы тут человек новый, так вам надо пойти и представиться маленькой мисс Флайт!» Оч-чень хорошо. Горжусь, конечно, этой честью! И все мы смеемся. Но, Фиц-Джарндис, я знаю, что произойдет. Я куда лучше их самих знаю, когда их начинает манить. Я различаю при-

знаки, дорогая моя. Я видела, как они появились в Гридли. И я видела, чем это кончилось. Фиц-Джарндис, душечка, – она опять начала говорить вполголоса, – я видела, как они появились в нашем друге – подопечном тяжбы Джарндисов. Надо его удержать. А не то его доведут до гибели.

Несколько мгновений она смотрела на меня молча, потом лицо ее стало постепенно смягчаться, и на нем мелькнула улыбка. Опасаясь, должно быть, что разговор наш оказался слишком мрачным, и, кроме того, вероятно, уже забыв, о чем шла речь, она отпила немного вина из рюмки и проговорила любезным тоном:

– Да, дорогая моя, как я уже говорила, я жду решения суда. В ближайшем будущем. Тогда я, знаете ли, выпущу на волю своих птичек и буду жаловать поместья.

Меня очень огорчили и ее намеки на Ричарда, и таившаяся в ее бессвязных речах печальная истина, столь печальным воплощением которой являлась сама эта жалкая, худенькая старушка. Но, к счастью, она успокоилась и опять сияла, улыбалась и кивала головой.

– А знаете, что я вам скажу, дорогая моя, – весело проговорила она, положив свою руку на мою. – Вы еще не поздравили меня с моим доктором. Положительно еще ни разу не поздравили!

Я не совсем поняла, что она хочет сказать, в чем и вынуждена была сознаться.

– Я говорю о своем докторе, дорогая моя, о мистере Вуд-

корте, который был так необычайно внимателен ко мне. Хотя лечил меня совершенно безвозмездно. До Судного дня. Я говорю – о решении суда, которое рассеет во мне чары Жезла и Печати.

– Мистер Вудкорт теперь так далеко, – сказала я, – что поздравлять вас, пожалуй, уже поздно, мисс Флайт.

– Но, дитя мое, – возразила она, – возможно ли, что вы не знаете о том, что случилось?

– Нет, – ответила я.

– Не знаете, о чем говорят все и каждый, любимая моя Фиц-Джарндис?

– Нет, – сказала я. – Вы забыли, как долго я не выходила из своей комнаты.

– Верно! Забыла, дорогая моя… верно. Виновата. Но память из меня вытянули так же, как и все остальное, о чем я рассказывала. Оч-чень сильное влияние, не правда ли? Так вот, дорогая моя, произошло страшное кораблекрушение где-то там в Ост-Индских морях.

– Мистер Вудкорт погиб?!

– Не тревожьтесь, дорогая моя. Он в безопасности. Ужасная сцена. Смерть во всех ее видах. Сотни мертвых и умирающих. Пожар, буря и мрак. Толпы утопающих выброшены на скалу. И тут, среди всех этих ужасов, мой дорогой доктор оказался героем. Спокойно и мужественно выдержал все. Спас множество людей, не жаловался на голод и жажду, прикрывал нагих своей одеждой, руководил этими несчастны-

ми, указывал им, что надо делать, управлял ими, ухаживал за больными, хоронил мертвецов и, наконец, выходил тех, что остались в живых! Да, дорогая моя, эти бедные, истерзанные создания буквально молились на него. Добравшись до суши, они кланялись ему в ноги и благословляли его. Это знают все – по всей Англии молва гремит. Погодите! Где мой ридикюль с документами? Я взяла с собой описание, и вы прочтите его, прочтите!

И я действительно прочла с начала и до конца всю эту возвышенную историю, но в тот день читала ее еще очень медленно и с трудом, потому что у меня потемнело в глазах – я не различала слов и так плакала, что вынуждена была несколько раз откладывать в сторону длинную статью, которую мисс Флайт вырезала для меня из газеты. Я так гордилась тем, что когда-то знала человека, который поступил столь самоотверженно и доблестно; я ощущала такое пламенное ликование при мысли о его славе; я так восхищалась и восторгалась его подвигами, что завидовала этим пострадавшим от бури людям, которые падали к его ногам и благословляли его как своего спасителя. Я сама готова была упасть на колени перед ним, таким далеким, и, восхищаясь им, благословлять его за то, что он так великодушен и храбр. Я чувствовала, что никто – ни мать, ни сестра, ни жена – не мог бы преклоняться перед ним больше, чем я. И я действительно преклонялась!

Моя бедная маленькая гостья подарила мне эту статью, а

когда под вечер встала и начала прощаться, чтобы не опоздать к почтовой карете, в которой должна была вернуться в город, снова заговорила о кораблекрушении, но я была все еще очень взволнована и пока не могла представить себе его во всех подробностях.

– Дорогая моя, – сказала мисс Флайт, аккуратно складывая шарф и перчатки, – моему храброму доктору должны пожаловать титул. И, без сомнения, так оно и будет. Вы согласны со мной?

– Что он вполне заслужил титул? Да. Что он получит его? Нет.

– Почему же нет, Фиц-Джарндис? – спросила она довольно резким тоном.

Я объяснила ей, что в Англии не в обычае жаловать титулы лицам, совершившим подвиг в мирное время, как бы он ни был велик и полезен для человечества; впрочем, иной раз и жалуют, – если подвиг сводится к накоплению огромного капитала.

– Ну, что вы! – возразила мисс Флайт. – Как можете вы так говорить! Вы же знаете, дорогая моя, что все люди, которые украшают Англию своими знаниями, вдохновением, деятельным человеколюбием, всякого рода полезными усовершенствованиями, приобщаются к ее дворянству! Оглянитесь кругом, дорогая моя, и посмотрите. Нет, это вы сами, по-моему, сейчас немножко путаетесь, если не понимаете, что именно по этой веской причине в нашей стране всегда

будут титулованные лица!

Боюсь, что она верила во все, что говорила, – ведь она иногда совсем лишалась рассудка.

А теперь я должна открыть одну маленькую тайну, которую до сих пор старалась сохранить. Я думала иной раз, что мистер Вудкорт меня любил, и если б у него были хоть какие-то средства к жизни, он перед отъездом, пожалуй, сказал бы мне о своей любви. Я думала иногда, что, если б он так сказал, я была бы этому рада. Но теперь поняла – как хорошо, что он ничего не сказал! Как больно мне было бы написать ему, что мое несчастное лицо, то лицо, которое он знал, теперь изменилось до неузнаваемости и я безоговорочно освобождаю его от обещания, данного той, которую он никогда не видел! Да, так вышло гораздо лучше! Милосердно избавленная от этой великой скорби, я могла теперь от всего сердца молиться своей детской молитвой о том, чтобы стать такой, каким он себя проявил столь блестяще, ибо я знала, что нам ничего не нужно менять, что нас не связывает цепь, которую мне пришлось бы рвать или ему – влачить, и что, с божьего соизволенья, я могу скромно идти путем долга, а он – широким путем доблести, и хотя каждый из нас идет своей дорогой, я имею право мечтать о том, как встречу его, – бескорыстно, с чистыми помыслами, сделавшись гораздо лучше, чем он считал меня, когда я немного нравилась ему, – встречу в конце пути.

Глава XXXVI
Чесни-Уолд

Мы с Чарли отправились в Линкольншир не одни. Опекун, решив не спускать с меня глаз, пока я не прибуду здравой и невредимой в дом мистера Бойторна, поехал нас провожать, и мы два дня пробыли в дороге. Какими прекрасными, какими чудесными казались мне теперь каждое дуновенье ветра, каждый цветок, листик и былинка, каждое плывущее облако, все запахи, да и все вообще в природе! Это было моей первой наградой за болезнь. Как мало я утратила, если весь широкий мир давал мне столько радости!

Опекун должен был вернуться домой немедленно, поэтому мы еще по дороге решили, в какой день моя милая девочка приедет ко мне. Я написала ей письмо, которое опекун взялся передать, и через полчаса после нашего приезда, в чудесный вечер раннего лета, он уехал.

Будь я какой-нибудь принцессой, любимой крестницей доброй феи, которая одним взмахом волшебной палочки возвела для меня этот дом, я и то не была бы окружена в нем столькими знаками внимания. Его обитатели так тщательно приготовились к моему приезду, так любовно вспомнили о всех моих вкусах и склонностях, что не успела я обойти и половины комнат, как уже раз десять была готова упасть в

кресло от глубокого волнения. Однако я поступила лучше и, вместо того чтобы поддаться слабости, показала все эти комнаты Чарли. А Чарли так восхищалась ими, что мое волнение улеглось, и после того как мы прогулялись по саду и Чарли истощила весь свой запас восторженных похвал, я почувствовала себя такой спокойной и довольной, какой мне и следовало быть. Как приятно было, что после чая я смогла сказать себе: «Ну, Эстер, теперь ты, милая, должно быть, уже образумилась, так надо тебе сесть и написать благодарственное письмо хозяину дома». Мистер Бойторн оставил для меня приветственную записку, такую же жизнерадостную, как и он сам, и поручил свою птичку моему попечению, а это, я знала, было проявлением его величайшего доверия ко мне. И вот я написала ему в Лондон небольшое письмо, в котором рассказывала о том, как выглядят его любимые кусты и деревья, как чудо-птичка самым радушным образом прочирикала мне «добро пожаловать», как она пела у меня на плече, к неописуемому восторгу моей маленькой горничной, а потом уснула в любимом уголке своей клетки, – но видела она что-нибудь во сне или нет, этого я сказать не могу. Кончив письмо и отправив его на почту, я усердно принялась распаковывать наши вещи и раскладывать их по местам. Чарли я услала спать пораньше, сказав, что в этот вечер она мне больше не понадобится.

Ведь я еще ни разу не видела себя в зеркале и даже не просила, чтобы мне возвратили мое зеркало. Я знала, что

это малодушие, которое нужно побороть, но всегда говорила себе, что «начну новую жизнь», когда приеду туда, где находилась теперь. Вот почему мне хотелось остаться одной и вот почему, оставшись теперь одна в своей комнате, я сказала: «Эстер, если ты хочешь быть счастливой, если хочешь получить право молиться о том, чтобы сохранить душевную чистоту, тебе, дорогая, нужно сдержать слово». И я твердо решила сдержать его; но сначала ненадолго присела, чтобы вспомнить обо всех дарованных мне благах. Затем помолилась и еще немного подумала.

Волосы мои не были острижены; а ведь им не раз угрожала эта опасность. Они были длинные и густые. Я распустила их, зачесала с затылка на лоб, закрыв ими лицо, и подошла к зеркалу, стоявшему на туалетном столе. Оно было затянуто тонкой кисеей. Я откинула ее и с минуту смотрела на себя сквозь завесу из собственных волос, так что видела только их. Потом откинула волосы и, взглянув на свое отражение, успокоилась – так безмятежно смотрело оно на меня. Я очень изменилась, ах, очень, очень! Сначала мое лицо показалось мне таким чужим, что я, пожалуй, отпрянула бы назад, отгородившись от него руками, если бы не успокоившее меня выражение, о котором я уже говорила. Но вскоре я немного привыкла к своему новому облику и лучше поняла, как велика перемена. Она была не такая, какой я ожидала, но ведь я не представляла себе ничего определенного, а значит – любая перемена должна была меня поразить.

Я никогда не была и не считала себя красавицей, и все-таки раньше я была совсем другой. Все это теперь исчезло. Но провидение оказало мне великую милость – если я и плакала, то недолго и не очень горькими слезами, а когда заплела косу на ночь, уже вполне примирилась со своей участью.

Одно только беспокоило меня, и я долго думала об этом, прежде чем лечь спать. Я хранила цветы мистера Вудкорта. Когда они увяли, я засушила их и положила в книгу, которая мне очень нравилась. Никто не знал об этом, даже Ада. И я стала сомневаться, имею ли я право хранить подарок, который он послал мне, когда я была совсем другой… стала думать – а может, это нехорошо по отношению к нему? Я хотела поступать хорошо во всем, что касалось мистера Вудкорта, – даже в тайниках моего сердца, которого ему не суждено было узнать, – потому что ведь я могла бы любить его… любить преданно. В конце концов я поняла, что имею право сохранить цветы, если буду дорожить ими только в память о том, что безвозвратно прошло и кончилось, о чем я никогда больше не должна вспоминать с другими чувствами. Надеюсь, никто не назовет это глупой мелочностью. Для меня все это имело очень большое значение.

Я решила встать пораньше и уже сидела перед зеркалом, когда Чарли на цыпочках вошла в комнату.

– О господи, мисс, – вскричала Чарли, пораженная, – да вы уже встали?

– Да, Чарли, – ответила я, спокойно расчесывая волосы, –

и я отлично себя чувствую и очень счастлива.

Тут я поняла, что у Чарли гора с плеч свалилась; но та гора, что свалилась с моих плеч, была еще больше. Теперь я знала самое худшее и примирилась с этим. Продолжая свой рассказ, я не буду умалчивать о минутах слабости, которой не могла преодолеть, но они быстро проходили, и меня не покидало спокойствие духа.

Мне хотелось до приезда Ады окрепнуть вполне и вернуть себе хорошее настроение, поэтому я вместе с Чарли так распределила время, чтобы весь день проводить на свежем воздухе. Было решено, что мы будем гулять перед завтраком, обедать рано, выходить из дому и до и после обеда, после чая гулять в саду, временами отдыхать, взбираться на все окрестные холмы, бродить по всем окрестным дорогам, тропинкам и полям. А что касается разных питательных и вкусных блюд, то добродушная экономка мистера Бойторна вечно бегала за мной с какой-нибудь едой или питьем в руках; и стоило ей узнать, что я отдыхаю в парке, как она спешила ко мне с корзинкой, и ее веселое лицо сияло желанием прочесть мне лекцию о том, как полезно кушать почаще.

Для верховой езды мне был предоставлен пони – толстенький пони с короткой шеей и челкой, падавшей на глаза, – который умел скакать – если хотел – таким ровным, нетряским галопом, что казался мне сущим сокровищем. Спустя два-три дня он уже привык бежать мне навстречу, когда я, приходя на выгон, подзывала его, ел из моих рук и

шел за мной следом. Мы достигли столь полного взаимопонимания, что, когда он, бывало, ленивой рысцой вез меня по какой-нибудь тенистой дорожке и вдруг начинал упрямиться, стоило мне только потрепать его по шее и сказать: «Пенек, Пенек, странно, что ты не хочешь скакать, – ты же знаешь, как нравится мне легкий галоп, и не худо бы тебе доставить мне удовольствие, а так ты скоро совсем осовеешь – того и гляди заснешь!» – стоило мне это сказать, как он смешно дергал головой и сейчас же пускался вскачь, а Чарли в это время стояла где-нибудь и хохотала в таком восторге, что смех ее звучал словно музыка. Не знаю, кто дал Пеньку его кличку, но она к нему до того подходила, что казалось, будто она появилась на свет вместе с ним, как и его жесткая шерстка. Однажды мы запрягли его в маленький шарабан и торжественно проехали пять миль по зеленым проселкам, но вдруг, именно в ту минуту, когда мы начали превозносить его до небес, ему, должно быть, не понравилось, что его провожает целый рой надоедливых мелких комаров, которые всю дорогу толкутся у него над ушами, но как будто ни на дюйм не подвигаются вперед, и он остановился, чтобы поразмыслить о них. Должно быть, он пришел к выводу, что пора от них отвязаться, и упорно отказывался бежать дальше, пока я не передала вожжи Чарли, а сама не вышла из экипажа и не пошла вперед. После этого Пенек с каким-то упрямым добродушием двинулся за мной, сунув голову мне под мышку, и принялся тереться ухом о мой рукав. Тщетно

я его уговаривала: «Ну, Пенек, я же тебя знаю, – ты теперь побежишь, если я сяду, чтобы немножко проехаться», – стоило мне от него отойти, он опять останавливался и стоял как вкопанный. В конце концов мне пришлось все время идти впереди него: и так мы и вернулись домой, на потеху всей деревне.

Мы с Чарли не без оснований считали эту деревню удивительно приветливой: спустя какую-нибудь неделю жители ее уже улыбались нам, когда мы шли по улице, сколько бы раз на день мы ни проходили, и в каждом коттедже мы видели дружеские лица. Я уже в прошлый свой приезд познакомилась здесь со многими из взрослых и почти со всеми детьми, а теперь даже церковная колокольня казалась мне какой-то родной и милой.

…В числе моих новых друзей была одна очень дряхлая старушка, которая жила в беленьком, крытом соломой домике, таком крошечном, что, когда распахивали наружные ставни его единственного окна, они закрывали собой всю переднюю стену. У этой старушки был внук-моряк, и под ее диктовку я написала ему письмо, в заголовке которого нарисовала уголок у камина, где когда-то бабушка нянчила внука и где его старенькая скамеечка все еще стояла на прежнем месте. Вся деревня решила, что этот рисунок – чудо искусства; когда же из самого Плимута пришел ответ, гласивший, что внук собирается взять рисунок с собой в Америку, а из Америки напишет снова, мне начали приписывать заслуги,

по праву принадлежащие Почтовому ведомству, и расточать похвалы, заслуженные вовсе не мною, а им одним.

Я проводила столько времени на воздухе, так часто играла с ребятишками, так много беседовала со взрослыми, заходила, по приглашению хозяев, в столько коттеджей – да к тому же по-прежнему давала уроки Чарли и каждый день писала длинные письма Аде, – что мне даже некогда было подумать о моей маленькой утрате, и я почти всегда была веселой. Если я иногда и думала о ней в свободное время, то стоило мне чем-нибудь заняться, как я про нее забывала. Как-то раз я огорчилась, пожалуй, больше, чем следовало, – когда кто-то из деревенских детишек сказал:

– Мама, почему эта леди теперь не такая хорошенькая, как была?

Но я поняла, что ребенок любит меня не меньше прежнего, а когда он с каким-то жалостливо-покровительственным видом провел своей нежной ручонкой по моему лицу, ко мне быстро вернулось душевное равновесие.

Немало произошло мелких событий, которые меня очень утешили, показав, как естественно для мягкосердечных людей быть деликатными и внимательными к тем, кто в каком-нибудь отношении стоит ниже их. Один из таких случаев меня особенно тронул. Как-то раз я зашла в церковку, где только что кончилось венчание и молодые собирались расписываться в книге брачных записей.

Сначала перо подали молодому мужу, и он вместо под-

писи неуклюже поставил крест; потом настал черед подписываться новобрачной, и она тоже поставила крест. Между тем я узнала, когда гостила здесь в прошлый раз, что она не только самая хорошенькая девушка в деревне, но и отлично училась в школе; так что теперь я не могла не взглянуть на нее с удивлением. Немного погодя она отошла в сторону и со слезами искренней любви и восхищения в умных живых глазах прошептала мне:

– Он такой милый и хороший, мисс, но еще не умеет писать, – потом я его научу, а сейчас разве могла я его осрамить? Да ни за что на свете!

«Так чего же мне бояться людей, – подумала я, – если такое благородство живет в душе простой деревенской девушки?»

Ветерок освежал и бодрил меня так же, как и прежде, а на моем изменившемся лице играл здоровый румянец. Чарли, та была просто загляденье – такая сияющая и краснощекая, – и обе мы наслаждались жизнью весь день и крепко спали всю ночь напролет.

В лесах, примыкавших к парку Чесни-Уолда, у меня было одно любимое место, с которого открывался такой очаровательный вид, что здесь даже поставили скамью. Лес расчистили, прорубили в нем просеку, чтобы вид стал шире, и залитая солнцем даль была так прекрасна, что я каждый день отдыхала на этой скамье. Место здесь было высокое, и замечательная терраса Чесни-Уолда, прозванная «Дорож-

кой призрака», казалась отсюда особенно живописной, а диковинное прозвище и связанное с ним старинное семейное предание Дедлоков, рассказанное мне мистером Бойторном, сливались в моем представлении с этим видом и подчеркивали его природную красоту, придавая ему прелесть таинственности. Скамья стояла на отлогом пригорке, усеянном фиалками, и Чарли, большая охотница собирать полевые цветы, полюбила это место не меньше меня.

Теперь уже ни к чему разбираться, отчего я ни разу не пошла посмотреть чесни-уолдский дом и даже близко к нему не подходила. А ведь, приехав сюда, я услышала, что хозяева в отъезде и не собираются скоро возвращаться. Нельзя сказать, чтобы я не интересовалась этим домом, чтобы мне не хотелось знать, как он устроен: наоборот, сидя здесь на скамье, я часто пыталась вообразить, как в нем расположены комнаты, и спрашивала себя, правда ли, что отзвуки, похожие на шум человеческих шагов, порою слышатся, если верить преданию, на уединенной Дорожке призрака. Возможно, что неясное чувство, испытанное мною при встрече с леди Дедлок, не позволяло мне приближаться к этому дому даже в ее отсутствие. Не знаю, так это или нет. Естественно, что лицо ее и весь облик связывались в моем представлении с ее домом, но не могу сказать, чтобы именно это мешало мне подойти к нему; однако что-то мешало. По той ли, по другой ли причине или без всякой причины, но я ни разу не была около него, вплоть до того случая, к которому теперь

подошел мой рассказ.

В тот день я отдыхала после долгой прогулки на своем любимом пригорке, а Чарли собирала фиалки неподалеку от меня. Я смотрела вдаль, на Дорожку призрака, окутанную густой тенью, которую отбрасывала стена дома, и старалась представить себе призрак женщины, будто бы бродивший там, как вдруг заметила, что кто-то идет по лесу в мою сторону. Просека была очень длинная, и в ней стоял сумрак от густой листвы, а тени ветвей на земле переплетались так, что в глазах рябило, поэтому я сначала не могла понять, кто это идет. Но мало-помалу я различила, что это женщина… леди… леди Дедлок. Она была одна и, как ни странно, шла к тому месту, где я сидела, – шла гораздо быстрее, чем ходила всегда.

Неожиданно увидев ее чуть ли не рядом с собой (когда я ее узнала, она успела подойти так близко, что могла бы заговорить со мною), я взволновалась и даже хотела было встать и уйти. Но не смогла. Я была точно скованная, скованная не столько ее торопливым жестом, приглашавшим меня остаться, не столько тем, что она приближалась быстро, простирая ко мне руки, не столько разительной переменой в ее манерах, – куда девалась ее всегдашняя высокомерная сдержанность! – сколько чем-то в ее лице, о чем я тосковала и мечтала, когда была маленькой девочкой… чего никогда не видела в других лицах… чего не видела раньше в ее лице.

Страх и слабость внезапно овладели мною, и я позвала

Чарли. Леди Дедлок сейчас же остановилась и снова сделалась почти такой, какой я ее знала.

– Мисс Саммерсон, боюсь, что я испугала вас, – сказала она, замедлив шаг. – Вы, наверное, еще не окрепли. Я знаю, вы были тяжело больны. Я очень огорчилась, когда об этом услышала.

Я не могла оторвать глаз от ее бледного лица, не могла подняться со скамьи. Леди Дедлок протянула мне руку. Мертвенный холод этих пальцев так не вязался с неестественным спокойствием ее лица, что я окаменела. Не помню, какие мысли вихрем проносились в моем мозгу.

– Вы поправляетесь? – ласково спросила она.

– Я совсем здорова, леди Дедлок… была здорова минуту назад.

– Эта девочка – ваша служанка?

– Да.

– Может быть, вы пошлете ее вперед и пойдете домой вместе со мною?

– Чарли, – сказала я, – отнеси цветы домой, я скоро приду.

Чарли постаралась как можно лучше сделать реверанс, краснея, завязала ленты своей шляпы и ушла. Когда она исчезла из виду, леди Дедлок села рядом со мной на скамью.

Никакими словами не передать, что сталось со мной, когда я увидела в ее руке свой платок, тот, которым я когда-то покрыла умершего ребенка.

Я смотрела на нее; но я ее не видела, не слышала ее слов,

не могла перевести дух. Сердце мое билось так сильно и бурно, что мне чудилось, будто что-то во мне сломалось, и я умираю. Но вот она прижала меня к своей груди и покрыла поцелуями, плача надо мной, жалея меня, умоляя меня очнуться; но вот она упала на колени с криком: «О девочка моя, дочь моя, я – твоя преступная, несчастная мать! Прости меня, если можешь!»; но вот я увидела ее у своих ног на голой земле, подавленную беспредельным отчаянием, и уже тогда, в смятении чувств, подумала в порыве благодарности провидению: «Как хорошо, что я так изменилась, а значит, никогда уже не смогу опозорить ее и тенью сходства с нею… как хорошо, что никто теперь, посмотрев на нас, и не подумает, что между нами может быть кровное родство».

Я подняла свою мать, упрашивая и умоляя ее не унижаться передо мною в ослеплении горя и стыда. Я говорила невнятно и бессвязно; ведь я не только была потрясена, но мне стало страшно, когда я увидела ее у моих ног. Я сказала ей, точнее – попыталась сказать, что не мне, ее дочери, прощать ей что бы то ни было, но если уж так выпало мне на долю, то я прощаю ее, простила много, много лет назад. Я сказала, что сердце мое переполнено любовью к ней, и никакое прошлое не изменило и не изменит этой дочерней любви. Не мне, впервые прижавшейся к материнской груди, судить свою мать за то, что она дала мне жизнь; нет, долг велит мне благословить ее и принять, хотя бы весь свет от нее отвернулся, и я только прошу, чтобы она мне это позволила.

Я обнимала мать, она обнимала меня. В тиши этих лесов, в безмолвии этого летнего дня одни лишь наши смятенные души не знали покоя.

– Благословить и принять меня теперь уже поздно, – простонала моя мать. – Я должна идти своим темным путем, одна, а куда он меня приведет – не знаю. Ведь я даже за день, даже за час вперед не могу угадать, по какой дороге придется мне, грешной, идти. Вот какую земную кару навлекла я сама на себя. Я терплю ее и скрываю.

Вспомнив о своем стойком терпении, она, как вуалью, прикрылась привычным для нее горделивым равнодушием, но снова быстро сбросила его.

– Я должна хранить эту тайну, если ее можно сохранить, и – не только ради себя. У меня есть муж, – у меня, падшей женщины, позорящей своих близких!

Эти слова она произнесла с приглушенным стоном отчаяния, более страшным, чем громкий крик. Закрыв лицо руками, она вырвалась из моих объятий, словно не желая, чтобы я прикасалась к ней, потом опустилась на землю, и никакими мольбами, никакими ласками не могла я заставить ее подняться. Нет, нет, нет, твердила она, только так может она говорить со мною; всюду она должна быть гордой и высокомерной; но здесь, в эти единственные в ее жизни минуты искренности, она будет смиренной и униженной.

Моя несчастная мать рассказала мне, что, когда я заболела, она чуть не помешалась. Только тогда узнала она, что ее

дочь жива. Раньше она и не подозревала, что я ее дочь. Сюда она теперь приехала ради меня, чтобы хоть раз в жизни поговорить со мною. Нам нельзя встречаться, нельзя переписываться, и, наверное, отныне и до самой смерти нам не придется сказать друг другу ни слова. Отдавая мне письмо, написанное для меня одной, она наказала уничтожить его сразу же по прочтении, – и не столько ради нее, ибо ей ничего не нужно, сколько ради ее мужа и меня самой, – а потом считать ее умершей. Если я, видя ее в таком отчаянии, могу поверить, что она любит меня материнской любовью, то она просит поверить в это, ибо я тогда пойму, как она мучается, и, быть может, сама буду вспоминать о ней с более глубоким состраданием. А для нее уже нет никаких надежд, и помощи ей ждать неоткуда. Сохранит ли она свою тайну до самой смерти, или нет, – а если не сохранит, то навлечет позор и несчастье на то имя, которое носит, – все равно, она будет всегда бороться одна, ибо никто не может стать ей близким другом, никто на свете не в силах помочь ей ничем.

– А пока нет опасности, что тайна откроется? – спросила я. – Сейчас этой опасности нет, любимая моя матушка?

– Есть! – ответила мне мать. – Тайна чуть было не открылась. Только случай помог ее сохранить. Но другой случай может раскрыть ее… в любой день, может быть, завтра.

– Вы боитесь кого-нибудь?

– Тише! Не дрожи и не плачь так горько из-за меня. Я недостойна этих слез, – проговорила мать, целуя мне руки. –

Я очень боюсь одного человека.

– Это ваш враг?

– Во всяком случае, не друг. Он слишком бесстрастен и для вражды, и для дружбы. Это поверенный сэра Лестера Дедлока, и он, как говорят, «верный человек», но верность эта чисто деловая, бесчувственная – он никого не любит, только очень дорожит выгодами, привилегиями и славой, которыми пользуется как хранитель тайн многих знатных семейств.

– У него возникли подозрения?

– Возникли.

– Неужели он подозревает вас? – спросила я в тревоге.

– Да! Он вечно следит за мной, вечно тут, рядом. Я могу держать его в известных границах, но избавиться от него окончательно не могу.

– Неужели он не знает жалости, угрызений совести?

– Нет, он не знает и гнева. Он равнодушен ко всему на свете, кроме своего призвания. А его призвание – узнавать чужие тайны и пользоваться властью, которую они дают ему, не деля ее ни с кем и никому ее не уступая.

– Вы не могли бы довериться ему?

– И пытаться не буду. Много лет я шла своим темным путем, и он как-нибудь да кончится. Я в одиночестве буду идти им до конца, каков бы ни был конец. Близок он или далек, но, пока я не пройду всего пути, ничто не заставит меня свернуть с него.

– Милая матушка, неужели вы так твердо решились на это?

– Да, я *решилась*. Я долго побеждала безрассудство безрассудством, гордость – гордостью, презрение – презрением, дерзость – дерзостью и подавляла тщеславие многих еще большим тщеславием. И эту опасность я преодолею, если смогу, а если нет, устраню ее своей смертью. Кольцо опасности сомкнулось вокруг меня, и это почти так же страшно, как если бы вот эти чесни-уолдские леса глухой стеной сомкнулись вокруг дома; но мой путь от этого не изменится. У меня один путь, другого быть не может.

– Мистер Джарндис… – начала было я, но мать торопливо перебила меня вопросом:

– А *он* подозревает?

– Нет, – ответила я. – Ничуть! Уверяю вас, он ни о чем не подозревает! – И я передала ей с его слов все то, что он знал о моем происхождении. – Но он такой добрый и умный, – сказала я, – и, быть может, если б он знал…

Моя мать, все время сидевшая неподвижно, теперь прикоснулась рукой к моим губам и прервала меня.

– Можешь довериться ему вполне, – сказала она немного погодя. – На это я охотно даю согласие – жалкий дар покинутой дочери от такой матери! – но не говори об этом мне. Какая-то гордость во мне еще живет, даже теперь.

Я объяснила ей, насколько сумела тогда и насколько могу припомнить теперь, ибо волнение мое и отчаяние были так

велики, что я сама едва понимала свои слова, хотя в моей памяти неизгладимо запечатлелось каждое слово, произнесенное моей матерью, чей голос звучал для меня так незнакомо и грустно, – ведь в детстве я не училась любить и узнавать этот голос, а он никогда меня не убаюкивал, никогда не благословлял, никогда не вселял в меня надежду, – повторяю, я объяснила ей, или попыталась объяснить, что мистер Джарндис, который всегда был для меня лучшим из отцов, мог бы ей что-нибудь посоветовать и поддержать ее. Но моя мать ответила: нет, это невозможно; никто не может ей помочь. Перед нею лежит пустыня, и по этой пустыне она должна идти одна.

– Дитя мое, дитя мое! – промолвила она. – В последний раз! Эти поцелуи – в последний раз! Эти руки обнимают меня в последний раз! Мы больше не встретимся. Мне нужно остаться такой, какой я была так долго, иначе нечего и надеяться сохранить тайну. Вот какое возмездие, вот какая судьба выпали мне на долю. Если ты услышишь о леди Дедлок, блестящей, преуспевающей, окруженной лестью, подумай о своей несчастной матери, которая страдает под этой личиной от угрызений совести. Знай, что она мучается, бесплодно раскаивается, убивает в своем сердце единственную любовь и искренность, на какие способна! И прости ей, если можешь, и моли бога простить ее, хоть и он этого не может!

Мы обнимали друг друга еще несколько минут, но она так овладела собой, что отвела мои руки и, положив их мне на

грудь, поцеловала в последний раз, потом уронила, отошла от меня и исчезла в лесу. Я осталась одна; а там вдали, безмятежный и безмолвный в игре света и теней, стоял старый дом с террасами и башенками – тот дом, который вначале, когда я впервые его увидела, казался мне погруженным в полный покой, а теперь предстал передо мною черствым и безжалостным свидетелем мук моей матери.

Ошеломленная, слабая и беспомощная, как во время болезни, я наконец обрела новые силы, осознав всю необходимость бороться с опасностью раскрытия тайны и предотвратить малейшее подозрение. Я постаралась как можно лучше скрыть от Чарли следы своих слез и заставила себя вспомнить о том, что моя священная обязанность – вести себя осторожно и овладеть собою. Не скоро удалось мне подавить или хотя бы сдержать первые вспышки горя; но примерно через час мне стало лучше, и я поняла, что могу вернуться домой. Я шла очень медленно и, увидев Чарли, ожидавшую меня у калитки, сказала ей, что после того, как леди Дедлок ушла, мне захотелось погулять еще немного, но сейчас я чувствую, что выбилась из сил и хочу лечь спать. Запершись в своей комнате, я прочла письмо. И я узнала – в то время это имело для меня большое значение, – что, когда я появилась на свет, моя мать меня не бросила. Меня приняли за мертворожденную и унесли, а старшая и единственная сестра матери – моя крестная, у которой я жила в детстве, – заметив во мне признаки жизни, взяла меня к себе из свойственного ей

сурового чувства долга, но взяла неохотно, не желая, чтобы я выжила, воспитала меня в строжайшей тайне и с тех пор, то есть со дня моего рождения, ни разу не виделась с моей матерью. Вот каким необычным образом заняла я свое место в этом мире, – моя родная мать до недавнего времени считала, что я родилась бездыханной… погребена… никогда не жила на свете… не имела имени. Когда она впервые увидела меня в церкви, мое лицо поразило ее, и она подумала, что, если бы ее дочь родилась живой и жила до сих пор, она была бы похожа на меня; в то время она ничего другого не подумала.

Я пока не стану пересказывать всего, что еще говорилось в ее письме. Для этого я найду в своей повести надлежащее время и место.

Прежде всего я поспешила сжечь письмо матери и даже развеять его пепел. И тогда – надеюсь, это не было слишком большим грехом, – тогда я стала горько сожалеть о том, что меня вырастили: ведь для многих людей было бы лучше, думала я, если бы я и в самом деле родилась мертвой, ибо во мне таятся опасности и позор, грозящие моей родной матери и одному знатному роду; и я внушала себе такой ужас, была так подавлена и потрясена, что мне стало казаться, будто лучше мне было умереть, как только я родилась, – это было бы хорошо и согласно с волей провидения, а то, что я осталась в живых, – и дурно и идет вразрез с этой волей.

Вот какие чувства владели мною. Измученная вконец, я заснула, а когда проснулась, снова заплакала, вспомнив, что

вернулась в мир, отягощенная бременем тревоги за других. И я еще больше испугалась самой себя, когда вновь стала думать о той, против кого была свидетельницей, о владельце Чесни-Уолда и о новом и страшном значении давних слов, глухо бившихся мне в уши, как бьются волны прибоя о берег: «Твоя мать покрыла тебя позором, Эстер, а ты навлекла позор на нее. Настанет время – и очень скоро, – когда ты поймешь это и почувствуешь, как может чувствовать только женщина». Вспомнились мне и другие слова: «Молись каждодневно о том, чтобы чужие грехи не пали на твою голову». Я была не в силах распутать все эти узлы, и мне казалось, будто это я во всем виновата, будто источник позора во мне самой, и вот теперь на меня действительно пали чужие грехи.

День померк и перешел в безрадостный вечер, пасмурный и хмурый, а я все еще продолжала бороться с отчаянием. Я вышла из дому одна и немного погуляла по парку, наблюдая, как сумрак все гуще окутывает деревья, и следя за судорожным полетом летучих мышей, которые иногда почти задевали меня. Вдруг меня впервые потянуло к дому Дедлоков. Вероятно, я не решилась бы подойти к нему близко, будь я более спокойна. Но я не была спокойна и пошла по дороге, которая вела к нему.

Не смея останавливаться и даже оглядываться, я прошла мимо разбитого террасами благоухающего цветника с широкими дорожками, превосходно возделанными клумбами и мягким газоном; я увидела, как все тут красиво и вели-

чественно, увидела источенные временем и непогодой старинные каменные балюстрады, парапеты, широкие лестницы с низкими ступенями, подстриженный мох и плющ, которые покрывали все это и росли вокруг каменного пьедестала солнечных часов, а вскоре услышала плеск фонтана. Потом я увидела с дороги вереницы темных окон, перемежавшихся большими башнями, к которым лепились крохотные башенки, и вычурные крыльца, где торчали, словно выступив из берлог тьмы и как бы огрызаясь на вечерний сумрак, древние каменные львы и уродливые чудища с гербовыми щитами в лапах и оскаленными мордами. Отсюда дорога вела к воротам, потом во двор, куда выходил главный подъезд (здесь я ускорила шаги); дальше она вилась мимо конюшен, расположенных в таком месте, где все звуки и шумы, будь то шуршанье ветра в густом плюще, цеплявшемся за высокую красную стену, слабый, жалобный скрип флюгера, лай собак или медленный бой часов, казались приглушенными. Немного погодя я почувствовала сладкий запах лип, шелест которых доносился до меня, и, не сходя с дороги, повернула к южной стене дома. Тут я увидела над собой балюстраду Дорожки призрака и одно освещенное окно – быть может, окно моей матери.

В этом месте дорога, по которой я шла, была вымощена так же, как и терраса наверху, и шаги мои, ранее бесшумные, теперь стали гулко отдаваться от каменных плит. Не останавливаясь, чтобы посмотреть на что-нибудь, но успевая уви-

деть все, что можно было разглядеть на ходу, я быстро шагала вперед и спустя несколько мгновений прошла бы мимо освещенного окна, но, прислушавшись к отзвуку своих шагов, вдруг подумала, что предание о Дорожке призрака полно грозного значения, – и это я, я должна принести несчастье этому величественному дому, в котором уже сейчас слышны мои зловещие шаги. В ужасе от самой себя, еще большем, чем раньше, я похолодела и, повернув назад, пустилась бежать и от себя, и от всего на свете, и бежала без передышки, пока не поравнялась со сторожкой привратника и угрюмый, темный парк не остался далеко позади.

Только ночью, сидя одна в своей комнате и снова чувствуя себя отверженной и несчастной, я мало-помалу начала понимать, как нехорошо предаваться отчаянию и какая это неблагодарность. Я получила радостное письмо от своей милой подруги, которая собиралась приехать на другой день, и это письмо дышало такой любовью, такой надеждой на встречу со мной, что не растрогаться им могло бы лишь каменное сердце. И от опекуна я получила письмо, в котором он просил меня передать Хлопотунье, если я встречу эту старушку, что без нее все приуныли, хозяйство пришло в полный упадок, – ибо никто, кроме нее, не знает, что делать с ключами, – а все домочадцы твердят, что без нее дом не дом, и того и гляди взбунтуются, требуя ее возвращения. Оба эти письма заставили меня подумать о том, как мало я заслужила подобную любовь и какой счастливой должна себя чувство-

вать. Потом я стала вспоминать о всей своей прошлой жизни, и на душе у меня стало легче.

Ведь я теперь ясно видела, что провидение не желало моей смерти, иначе я не осталась бы в живых, не говоря уж о том, что никогда бы не выпала мне на долю такая счастливая жизнь. Я теперь ясно видела, что в жизни моей многое, очень многое было направлено к моему благу; и если грехи отцов иногда падают на детей, то это изречение имеет не тот смысл, который я нынче утром приписывала ему с таким страхом. Я поняла, что я так же не повинна в своем рождении, как и какая-нибудь королева – в своем, и небесный отец не станет карать меня за мое рождение, как не станет вознаграждать королеву за то, что она родилась. Потрясение, испытанное мною в этот самый день, показало мне, что уже теперь, так скоро, я могу примириться с постигшим меня ударом, ибо если лицо мое изменилось, то и в этом есть кое-что хорошее. Я вновь напомнила себе самой свое решение и помолилась, чтобы мне было даровано утвердиться в нем; я всю свою душу излила в молитве о себе и своей несчастной матери и почувствовала, что мрак, окутавший меня утром, начал рассеиваться. Во сне я уже не ощущала его, а когда заря разбудила меня, он исчез совсем.

Моя милая девочка должна была приехать в пять часов. Как убить время до ее приезда, я не знала и решила, что самое лучшее – это сделать длинную прогулку по дороге, которой она ехала; и вот Чарли, я и Пенек – Пенек под сед-

лом, потому что после того памятного случая его уже не решались запрягать, – мы втроем совершили большую экскурсию по дороге, а потом повернули обратно. Возвратившись, мы обошли и тщательно осмотрели дом и сад, постарались, чтобы все выглядело как можно лучше, и вынесли на видное место птичку, как одну из главных достопримечательностей усадьбы.

До приезда Ады оставалось еще добрых два часа, и в течение этих часов, показавшихся мне нестерпимо долгими, я, признаюсь, очень тревожилась, думая о своем изменившемся лице. Я так любила мою дорогую подругу, что ее мнением дорожила больше, чем мнением любых других людей, и потому очень беспокоилась, не зная, какое впечатление произведу на нее. Волновалась я вовсе не потому, что скорбела о случившемся, – хорошо помню, что в тот день я ничуть не скорбела, – но, думала я, достаточно ли подготовлена Ада? Может быть, увидев меня, она будет слегка смущена и разочарована? А вдруг лицо мое окажется хуже, чем она ожидала? А вдруг она будет искать свою прежнюю Эстер и не найдет ее? А вдруг ей придется привыкать ко мне и начинать все сначала?

Я отлично изучила личико моей милой девочки, а это прелестное личико очень правдиво отражало все ее чувства, и поэтому я знала, что она при самом первом взгляде на меня не сумеет скрыть свои чувства. И вот я стала думать: а что, если я увижу в ее лице то, чего и следует ожидать, смогу я

за себя поручиться?

И я поняла, что смогу. После того, что было вчера, наверное смогу. Но все ждать и ждать, все надеяться и надеяться, все думать и думать – это была такая плохая подготовка к нашему свиданию, что я решила опять пойти по дороге навстречу Аде.

Поэтому я сказала Чарли:

– Чарли, я одна пойду по дороге ей навстречу и вернусь вместе с ней.

Чарли всегда полностью одобряла все, что я делала, и я ушла, оставив ее дома.

Еще не дойдя до столба, отмечавшего вторую милю, я успела столько раз вздрогнуть при виде каждого далекого облака пыли (хоть и знала, что подняла его не почтовая карета – для этого было еще рано), что решила повернуть назад и направиться домой. А повернув назад, так испугалась, как бы карета не нагнала меня (хоть и знала, что этого не будет, да и не может быть), что пустилась бежать во всю прыть и бежала почти всю дорогу, из боязни, что карета все же меня обгонит.

Благополучно вернувшись домой, я поняла, какую сделала глупость! Я разомлела от жары, и вид у меня был очень плохой, тогда как я стремилась выглядеть как можно лучше.

Наконец, когда я, вся дрожа, сидела в саду, полагая, что осталось не меньше четверти часа до приезда Ады, Чарли внезапно крикнула мне:

– Она идет, мисс! Вот она!

Сама не зная, что делаю, я помчалась наверх в свою комнату и спряталась за дверью. Там я и стояла, дрожа всем телом, и не вышла, даже когда услышала голос моей дорогой девочки, которая звала меня, поднимаясь по лестнице:

– Эстер, милая моя, дорогая, где ты? Хозяюшка, милая Хлопотунья!

Она вбежала в комнату и уже хотела выбежать вон, как вдруг увидела меня. Ах, мой ангел! Все тот же прежний милый взгляд, полный любви, полный нежности, полный привязанности. Только это и было в ее взгляде… а больше ничего, ничего!

И как счастлива я была, когда очутилась на полу, а моя красавица, моя милая девочка, которая тоже очутилась на полу рядом со мною, прижала мое рябое лицо к своей прелестной щечке, обливая его слезами, осыпая поцелуями, и стала баюкать меня, как ребенка, называя всякими нежными именами, какие только могла вспомнить, и прижимая к своему неизменно преданному сердцу, – как счастлива я была тогда!

Глава XXXVII
«Джарндисы против Джарндисов»

Если бы тайна, которую я должна была хранить, была моей, я непременно и очень скоро поведала бы ее Аде. Но тайна была не моя, и я чувствовала, что не имею права говорить о ней даже опекуну, если только не случится что-то важное. Это бремя надо было нести в одиночестве; но я понимала, в чем теперь заключается мой долг, и, счастливая привязанностью своей любимой подруги, не нуждалась в поощрении и ободрении. Хоть и случалось нередко, что, в то время как она спала и все было тихо в доме, воспоминание о матери мешало мне уснуть и я проводила ночь в тоске, но зато в другие часы я не поддавалась унынию, и Ада видела меня такой, какой я была раньше… конечно, если не считать той перемены, о которой я уже достаточно говорила и о которой, если удастся, пока упоминать не буду.

Очень трудно мне было сохранить полное спокойствие в тот первый вечер, когда мы сидели за работой и Ада спросила, живут ли теперь Дедлоки в своем поместье, а мне пришлось ответить, что да, вероятно, живут, ведь леди Дедлок третьего дня разговаривала со мною в лесу. Еще трудней мне стало, когда Ада спросила, о чем разговаривала со мной леди Дедлок, и я ответила, что она отнеслась ко мне любезно и

участливо, а моя милая подруга, отдавая должное ее изяществу и красоте, заметила, что она очень горделива и вид у нее властный и холодный. Но Чарли, сама того не ведая, помогла мне, рассказав, что леди Дедлок провела только две ночи в усадьбе, проездом из Лондона в соседнее графство, где собиралась погостить в каком-то знатном семействе, а уехала она рано утром на другой день после того, как мы видели ее на нашем «Кругозоре», как мы называли место, где мы с нею встретились. Вообще о Чарли можно было сказать по пословице: «У маленьких кувшинчиков большие ушки»; эта девочка за день успевала услышать столько всяких новостей, сколько до моих ушей и за месяц не дошло бы.

Мы собирались прогостить у мистера Бойторна месяц. С приезда моей подруги прошла, помнится, всего одна чудесная неделя, и вот как-то раз вечером, когда мы только что кончили помогать садовнику поливать цветы и в доме уже зажгли свечи, за креслом Ады с очень таинственным и многозначительным видом появилась Чарли и знаком попросила меня выйти из комнаты.

– Ах, мисс, позвольте вам доложить, – зашептала Чарли, раскрыв как можно шире свои круглые глазенки. – Вас просят прийти в «Герб Дедлоков».

– Полно, Чарли, – отозвалась я, – кто может просить меня прийти на постоялый двор?

– Не знаю, мисс, – ответила Чарли, вытянув шею и крепко прижав сложенные ручонки к нагруднику своего переднич-

ка, что она всегда делала, когда наслаждалась чем-нибудь таинственным или секретным, – но это джентльмен, мисс, и он просил передать вам поклон и сказать, что, может, вы будете любезны прийти, только никому про это не говорите.

– Чей поклон, Чарли?

– Ихний, мисс, – ответила Чарли, которая хотя и делала успехи в изучении грамматики, но не очень быстро.

– Как же так вышло, что за мной послали тебя, Чарли?

– Это не меня послали, позвольте вам доложить, мисс, – ответила моя маленькая горничная. – Это послали У. Грабла, мисс.

– А кто такой У. Грабл, Чарли?

– Это мистер Грабл, мисс, – ответила Чарли. – Неужто не знаете, мисс? «Герб Дедлоков, содержатель У. Грабл», – объяснила Чарли нараспев, словно читая по складам вывеску.

– Вот как? Значит, он хозяин этого заведения, Чарли?

– Да, мисс. Позвольте вам доложить, мисс, жена у него прямо красавица, только она ногу сломала в щиколотке, и кость так и не срослась. А брат у ней пильщик – это который в тюрьме сидел, мисс, и люди говорят, что он, наверное, допьется до смерти, – ответила Чарли, – кроме пива, ничего в рот не берет.

Не понимая, в чем дело, и пугаясь теперь всего на свете, я решила, что мне лучше всего пойти туда одной.

Приказав Чарли поскорее принести мне шляпу с вуалью и шаль, я надела их и пошла по круто спускавшейся деревен-

ской уличке, где чувствовала себя так же свободно, как в саду мистера Бойторна.

В ожидании моего прихода мистер Грабл стоял без сюртука на пороге своей чистенькой маленькой таверны. Завидев меня, он обеими руками снял шляпу и, держа ее перед собой, как чугунный котел (очень тяжелый), провел меня по усыпанному песком коридору в свой лучший зал – опрятный, с ковром на полу, но до того загроможденный комнатными растениями, что в нем негде было повернуться, и украшенный такими, например, предметами, как цветная гравюра с портретом королевы Каролины, раковины, множество чайных подносов, два чучела высушенных рыб под стеклянными колпаками и какая-то странная вещь – не то диковинное яйцо, не то диковинная тыква (не знаю, что именно, и сомневаюсь, чтобы кто-нибудь знал), подвешенная к потолку. Я прекрасно знала мистера Грабла в лицо, – ведь я часто видела, как он стоял на своем пороге – приятный, полный человек средних лет, который почти никогда не снимал шляпы и высоких сапог, так как без них, видимо, чувствовал себя неуютно даже у собственного камина, а сюртук надевал, только когда ходил в церковь.

Сняв нагар со свечи и немного отступив, чтобы посмотреть, как она горит, он вышел так неожиданно, что я не успела даже спросить, кто послал его за мной. Он не закрыл за собой двери, и я услышала из другого зала голоса, которые мне показались знакомыми; но они внезапно смолкли. Кто-

то шел быстрыми легкими шагами к той комнате, где я находилась, и вдруг передо мной оказался Ричард.

– Милая моя Эстер, мой лучший друг! – воскликнул он так искренне и сердечно, что, изумленная этой неожиданной встречей и тронутая его братским приветствием, я едва нашла в себе силы сказать ему, что Ада чувствует себя прекрасно.

– Вы отвечаете на мои мысли… все та же милая девушка! – сказал Ричард, подводя меня к креслу и усаживаясь рядом со мной.

Я приподняла вуаль, но – только приподняла.

– Все та же милая девушка! – повторил Ричард тем же дружеским тоном.

Я откинула вуаль, положила руку ему на плечо и, глядя ему прямо в лицо, сказала, как горячо я благодарю его за ласковые слова и как радуюсь встрече с ним – радуюсь тем сильнее, что еще во время болезни решила поговорить с ним.

– Милая моя, – сказал Ричард, – с кем же мне еще говорить, как не с вами, если я жажду, чтобы именно вы меня поняли.

– А я хочу, Ричард, – отозвалась я, покачав головой, – чтобы вы поняли другого человека.

– Ну, раз уж вы с самого начала завели речь о Джоне Джарндисе… – проговорил Ричард, – ведь вы намекаете на него, надо думать?

– Конечно.

– Тогда я тоже скажу сразу: я очень рад поговорить о нем, так как стремлюсь, чтобы вы меня поняли именно в этом отношении. Чтобы поняли меня вы, заметьте себе: вы, дорогая! Ни мистеру Джарндису, ни мистеру Кому-угодно я не обязан давать отчета.

Мне стало горько, что он заговорил таким тоном, и он заметил это.

– Ну, хорошо, хорошо, милая моя, – сказал Ричард, – пока не будем спорить. Мне хочется взять вас под руку, тихонько войти в ваш здешний деревенский дом и сделать сюрприз моей прелестной кузине. Как вы ни преданы Джону Джарндису, вы разрешите мне это, надеюсь?

– Дорогой Ричард, – ответила я, – вы знаете, что вас радушно примут в его доме, – а ведь это ваш родной дом, если только вы сами пожелаете считать его родным, – и так же радушно вас примут и здесь!

– Вот это слова самой любезной хозяюшки на свете! – весело воскликнул Ричард.

Я спросила, как ему нравится его профессия.

– Что ж, в общем, она мне нравится, – ответил Ричард. – Все обстоит хорошо. Она не хуже любой другой – на время. Вероятно, я брошу ее, когда дела мои наконец уладятся, а тогда продам свой патент и… впрочем, не будем сейчас говорить обо всей этой скучной чепухе.

Такой молодой, красивый, ничуть не похожий на мисс Флайт! И все же как жутко напоминало о ней хмурое, нетер-

пеливое беспокойство, промелькнувшее в его глазах!

– Я сейчас в отпуску и живу в Лондоне, – сказал Ричард.

– Вот как?

– Да. Приехал последить за своими… за своими интересами в Канцлерском суде, пока не начались долгие каникулы, – объяснил Ричард с делано-беспечным смехом. – Наконец-то мы сдвинем с места эту долголетнюю тяжбу, обещаю вам.

Надо ли удивляться тому, что я покачала головой?

– По-вашему, это неприятная тема? – И вновь та же тень скользнула по его лицу. – Так давайте пустим ее по ветру – по всем четырем ветрам – хотя бы на нынешний вечер… Пф-ф!.. Улетела!.. А как вы думаете, кто здесь со мной?

– Мистер Скимпол? Я как будто слышала его голос.

– Он самый! Вот человек, с которым мне так хорошо, как ни с кем другим. Что за прелестное дитя!

Я спросила Ричарда, знает ли кто-нибудь, что они приехали сюда вместе. Нет, ответил он, этого не знает никто. Он пошел навестить милого старого младенца, – так он называл мистера Скимпола, – и милый старый младенец сказал ему, где мы находимся, а он, Ричард, сказал тогда милому старому младенцу, что ему очень хочется съездить к нам, и милый старый младенец напросился к нему в спутники; вот Ричард и взял его с собой.

– Я ценю его на вес золота, – даже втрое больше, чем он весит, – а уж о тех жалких деньгах, которые я уплатил за его проезд, и говорить нечего, – сказал Ричард. – Такой веселый

малый. Вот уж непрактичный человек! Наивен и молод душой!

Я, правда, не видела никакой непрактичности в том, что мистер Скимпол катается за счет Ричарда, но ничего не сказала. Впрочем, сам мистер Скимпол вошел в комнату, и мы переменили разговор. Мистер Скимпол был счастлив видеть меня; сказал, что целых шесть недель лил из-за меня сладостные слезы радости и сочувствия; в жизни не был так доволен, как в тот день, когда услышал о моем выздоровлении; только теперь начал понимать, какой смысл имеет сплав добра и зла в нашем мире; почувствовал, как высоко он ценит свое здоровье, когда слышит, что болен кто-то другой; не может утверждать наверное, но, возможно, это все-таки в порядке вещей, что «А» должен косить глазами, чтобы «Б» осознал, как приятно смотреть прямо перед собой, а «В» должен ходить на деревянной ноге, чтобы «Г» лучше ценил свои ноги из плоти и крови, обтянутые шелковыми чулками.

– Дорогая мисс Саммерсон, посмотрите на нашего друга Ричарда, – говорил мистер Скимпол, – он положительно окрылен самыми светлыми надеждами на будущее, хотя вызывает он их из тьмы Канцлерского суда. Как это очаровательно, как вдохновляет, как полно поэзии! В древности пастух был весел и в лесной глуши, ибо в своем воображении он слышал звуки свирели и видел пляски Пана и нимф. А этот вот пастушок, наш буколический Ричард, увеселяет скучные судебные Инны, заставляя фортуну и ее свиту резвиться в

них под мелодичное чтение судебного приговора, звучащее с судейской скамьи. Очень приятное зрелище, не правда ли? Какой-нибудь брюзгливый ворчун может, конечно, сказать мне: «А что толку от этих судов «права» и «справедливости», если все они – сплошное злоупотребление? Что вы можете сказать в их защиту?» Я отвечу: «Мой ворчливый друг, я их не защищаю, но они мне очень приятны. Вот, например, юный пастушок, мой друг, превращает их в нечто, пленяющее мою наивность. Я не говорю, что они существуют только для этого – ведь я дитя среди вас, практичных ворчунов, и не обязан отчитываться перед вами и перед самим собою, – но, быть может, это и так».

Я всерьез начала думать, что Ричард вряд ли мог бы найти себе худшего друга. Меня тревожило, что в то время, когда ему так было нужно руководиться твердыми принципами и стремиться к определенной цели, он подружился с тем, кто был так чарующе беспечен, отмахивался от всего на свете и легко обходился без всяких принципов и целей. Я, пожалуй, могла понять, почему такой человек, как мой опекун, умудренный жизненным опытом и вынужденный наблюдать презренные уловки и раздоры всех тех, кто имел несчастье связаться с семейной тяжбой, находил огромное облегчение в мистере Скимполе, который охотно признавался в своих слабостях и проявлял столь простодушную наивность; но я не была уверена, так ли все это бесхитростно, как кажется, и даже подумывала – уж не играет ли мистер Скимпол ка-

кую-то роль, которая не хуже всякой другой роли, но с меньшими хлопотами позволяет ему потворствовать своей лени.

Они оба отправились меня провожать, а когда мистер Скимпол расстался с нами у калитки, я тихонько вошла в наш дом вместе с Ричардом и сказала:

– Ада, душенька моя, я привела к тебе в гости одного джентльмена.

Не трудно было разгадать выражение ее зардевшегося изумленного личика. Она всем сердцем любила Ричарда, и он знал это, знала и я. Все это было очень прозрачно, хоть и считалось, что они встретились только как родственники.

Я готова была не верить себе, такой скверной становилась я в своей подозрительности, но у меня не было полной уверенности в том, что и Ричард любит Аду всем сердцем. Он горячо восхищался ею, – как все и каждый, – и, наверное, с огромной гордостью и пылом возобновил бы их раннюю помолвку, если бы не знал, что Ада сдержит обещание, данное опекуну. И все же меня терзала мысль, что влияние тяжбы распространилось даже на его любовь, – в этом, как и во всем остальном, Ричард откладывал осуществление своих самых искренних и серьезных намерений до той поры, когда развяжется с делом Джарндисов. Ах! Никогда я не узнаю, каким мог бы сделаться Ричард, если бы в его жизнь не вошло это зло!

Со свойственной ему прямотой он сказал Аде, что приехал не затем, чтобы тайком нарушить условия, поставлен-

ные мистером Джарндисом с ее согласия (пожалуй, слишком безоговорочного и доверчивого, по его мнению); нет, он приехал открыто повидаться со мной и с нею и доказать, что не по его вине у него с мистером Джарндисом создались натянутые отношения. «Милый старый младенец» должен был прийти к нам с минуты на минуту, поэтому Ричард попросил меня встретиться с ним на следующее утро, – он хотел поговорить со мною наедине и оправдаться. Я предложила пойти погулять с ним по парку в семь часов утра, и так мы и условились. Вскоре явился мистер Скимпол и целый час смешил нас своими шутками. Он настоял на том, чтобы мы позвали «Ковинсову малютку» (то есть Чарли), и с видом доброго дедушки сказал ей, что по мере сил давал возможность подзаработать ее покойному отцу, а если кто-нибудь из ее братишек поспешит заняться той же профессией, он, мистер Скимпол, надо надеяться, успеет и его завалить работой.

– Ведь я то и дело запутываюсь в этих сетях, – объяснил мистер Скимпол, попивая вино, разбавленное водой, и обводя нас сияющим взором, – но меня то и дело выпутывают… как рыбачью лодку. Или, скажем, позволяют мне выйти сухим из воды, как судовой команде, уволенной на берег. Всегда получается так, что кто-то за меня платит. Сам я платить не могу, как вам известно, потому что у меня никогда не бывает денег. Но Кто-то за меня платит. Я выпутываюсь благодаря Кому-то. Не в пример скворцу, я выпутываюсь из силков. Если вы спросите, кто же этот Кто-то, клянусь че-

стью, я не смогу ответить. Так давайте же выпьем за Кого-то. Благослови его бог!

На другой день Ричард немного опоздал, но ждала я его недолго, и мы отправились в парк. Утро было ясное и росистое, небо без единого облачка. Весело пели птички; дивно красиво искрились капельки росы на траве, зарослях папоротника и листве деревьев, а леса как будто стали еще пышнее, словно в прошлую тихую ночь, когда они покоились в непробудном сне, Природа, проявляясь во всех мельчайших жилках каждого чудесного листика, бодрствовала дольше обычного, чтобы прославить наступающий день.

– Что за очаровательное место! – воскликнул Ричард, оглядываясь кругом. – С тяжбами связано столько всяких ссор и раздоров, а тут ничего этого нет.

Зато здесь были иные горести.

– Знаете, что я вам скажу, милая девушка, – продолжал Ричард, – когда я наконец приведу в порядок свои дела, я приеду сюда отдыхать.

– Не лучше ли отдохнуть теперь же? – спросила я.

– Ну, что вы – отдыхать *теперь* или вообще делать что-нибудь определенное *теперь* – это не так-то легко, – возразил Ричард. – Короче говоря, невозможно, по крайней мере для меня.

– Почему же нет? – спросила я.

– Вы сами знаете почему, Эстер. Если бы вы жили в недостроенном доме, зная, что его придется покрыть кровлей или

снять ее, зная, что его будут сносить или перестраивать сверху донизу уже завтра или послезавтра, на будущей неделе, через месяц или в будущем году, вам трудно было бы там отдыхать – волей-неволей вам пришлось бы вести беспорядочную жизнь. Так живу и я. Вы сказали: «Отдохнуть теперь же». Но для нас, истцов, нет слова «теперь».

Я была почти готова поверить в притягательную силу суда, о которой мне столько говорила моя бедная маленькая слабоумная приятельница, потому что снова увидела, как лицо Ричарда омрачилось по-вчерашнему. Страшно подумать, но что-то в нем напоминало несчастного, теперь уже покойного «человека из Шропшира».

– Милый Ричард, наш разговор начался плохо, – сказала я.

– Я знал, что вы это скажете, Хлопотунья.

– Не я одна так думаю, милый Ричард. Не я предостерегала вас однажды, умоляя не возлагать надежд на это фамильное проклятие.

– Опять вы возвращаетесь к Джону Джарндису! – с досадой сказал Ричард. – Ну что ж, придется нам поговорить о нем рано или поздно – ведь самое важное, что мне нужно сказать, касается его; так уж лучше начать сразу. Милая Эстер, неужели вы ослепли? Неужели вам не ясно, что в этой тяжбе он заинтересованное лицо, и если ему, быть может, на руку, чтобы я в ней не разбирался и бросил о ней думать, то это вовсе не на руку мне.

– Эх, Ричард, – сказала я с упреком, – вы видели мистера Джарндиса, беседовали с ним, жили у него, знали его; так как же вы можете так говорить, – хотя бы мне одной и в уединенном месте, где никто нас не может услышать, – и как у вас хватает духу высказывать столь недостойные подозрения?

Он густо покраснел; должно быть, врожденное благородство пробудило в нем угрызения совести. Помолчав немного, он ответил сдержанным тоном:

– Эстер, вы, конечно, знаете, что я не подлец и что, с моей точки зрения, подозрительность и недоверие – это дурные качества в юноше моих лет.

– Безусловно, – сказала я. – Я совершенно в этом уверена.

– Что за милая девушка! – воскликнул Ричард. – Очень похоже на вас и утешительно для меня. А я нуждаюсь хоть в капельке утешения, – так мучит меня вся эта история, потому что, как бы хорошо она ни кончилась, она все-таки неприятная, о чем мне излишне говорить вам.

– Я отлично знаю, Ричард, – сказала я, – знаю не хуже, чем… чем, скажем, вы сами, что подобные заблуждения чужды вашей натуре. И я не хуже вас понимаю, что именно заставило вас перемениться так резко.

– Нет-нет, сестричка, – проговорил Ричард более веселым тоном, – вы-то уж, во всяком случае, будьте ко мне справедливы! Если я имел несчастье подпасть под влияние тяжбы, то ведь и мистер Джарндис его не избежал. Если она слегка развратила меня, то, вероятно, слегка развратила и его. Я не

говорю, что он сделался бесчестным человеком, оттого что попал в это сложное и неопределенное положение; нет, человек он честный, в этом я не сомневаюсь. Но влияние тяжбы оскверняет всех. Вы же знаете, что всех. Вы слышали, как он сам всегда утверждал это. Так почему же он один убережется?

– Потому, Ричард, – объяснила я, – что он человек незаурядный, и он твердо держится за пределами порочного круга.

– Ну да, потому-то, потому! – со свойственной ему живостью отозвался Ричард. – Что ж, милая девушка, может, это и вправду умней и расчетливей, когда притворяешься равнодушным к судьбе своей тяжбы. Глядя на тебя, прочие истцы начинают относиться спустя рукава к защите собственных интересов, и может случиться так, что некоторые люди сойдут в могилу, некоторые обстоятельства исчезнут из людской памяти, и под шумок произойдет немало событий, довольно-таки выгодных для тебя.

Мне было так жаль Ричарда, что я уже не смогла упрекнуть его даже взглядом. Я вспомнила, как снисходителен был опекун к его заблуждениям, как беззлобно он о них говорил.

– Эстер, – продолжал Ричард, – вы не должны думать, что я приехал сюда обвинять Джона Джарндиса у него за спиной. Я приехал только затем, чтобы оправдаться. Я скажу одно: все шло прекрасно и мы прекрасно ладили, пока я был мальчиком и в мыслях не имел этой самой тяжбы; но как только я начал интересоваться ею и разбираться в ней, дело приняло

совершенно другой оборот. Тогда Джон Джарндис вдруг решает, что мы с Адой должны разойтись, и если я не изменю своего весьма предосудительного образа действий, значит, я ее недостоин. Но я, Эстер, вовсе не собираюсь менять свой предосудительный образ действий. Я не хочу пользоваться расположением Джона Джарндиса ценой таких несправедливых компромиссных условий, какие он не имеет права диктовать. Нравится ему или не нравится, а я должен защищать свои права и права Ады. Я очень много думал об этом, и вот к какому выводу я пришел.

Бедный, милый Ричард! Он действительно думал об этом очень много. Как ясно это было видно по его лицу, голосу, по всему его виду.

– Итак, я честно сказал ему (надо вам знать, что я написал ему обо всем этом), – сказал, что между нами имеются разногласия и лучше открыто признать это, чем скрывать. Я благодарен ему за его добрые намерения и покровительство, и пусть он идет своей дорогой, а я пойду своей. Дело в том, что дороги наши не сходятся. По одному из двух завещаний, о которых идет спор, я должен получить гораздо больше, чем он. Я не берусь утверждать, что именно оно будет признано законным: однако оно существует и тоже имеет шансы на утверждение.

– Я не от вас первого узнала о вашем письме, дорогой Ричард, – сказала я. – Мне уже говорили об этом, и без единого слова обиды или гнева.

– В самом деле? – промолвил Ричард, смягчаясь. – Значит, хорошо, что я назвал его человеком честным, несмотря на всю эту несчастную историю. Но так я всегда говорил и никогда в этом не сомневался. Я знаю, милая Эстер, суждения мои кажутся вам чрезмерно резкими, так же отнесется к ним и Ада, когда вы расскажете ей о том, что произошло между мною и опекуном. Но если бы вы так же вникли в тяжбу, как я; если б вы покорпели над бумагами, как я корпел, когда работал у Кенджа; если бы вы знали, сколько в этих бумагах скопилось всяких обвинений и контробвинений, подозрений и контрподозрений, я казался бы вам сравнительно сдержанным.

– Может быть, и так, – сказала я. – Но неужели вы думаете, Ричард, что в этих бесчисленных бумагах много правды и справедливости?

– В тяжбе есть где-то и правда и справедливость, Эстер…

– Точнее, были – давным-давно, – сказала я.

– Есть… есть… должны быть где-то, – с жаром продолжал Ричард, – и их надо вытащить на свет божий. Но разве можно вытащить их, превращая Аду во что-то вроде взятки, в средство зажать мне рот? Вы говорите, что я переменился под влиянием тяжбы. Джон Джарндис говорит, что каждый, кто в ней участвует, меняется, менялся и будет меняться под ее влиянием. Следовательно, тем правильней я поступил, решив сделать все, что в моих силах, чтобы привести ее к концу.

– Все, что в ваших силах, Ричард! А разве другие столько лет не делали всего, что было в их силах? И разве трудности стали легче оттого, что было столько неудач?

– Не может же это продолжаться вечно, – ответил Ричард с такой кипучей страстностью, что во мне снова пробудилось печальное воспоминание об одной недавней встрече. – Я молод и полон рвения, а энергия и решимость часто творили чудеса. Другие отдавались этому делу только наполовину. Я же посвящаю ему всего себя. Я превращаю его в цель своей жизни.

– Но, Ричард, дорогой мой, тем хуже, тем хуже!

– Нет, нет и нет! Не бойтесь за меня, – возразил он ласково. – Вы милая, добрая, умная, спокойная девушка, которую любят все, но у вас предвзятые взгляды. А теперь вернемся к Джону Джарндису. Повторяю, добрая моя Эстер, когда мы с ним были в таких отношениях, которые он считал столь удобными для себя, мы были в неестественных отношениях.

– Неужели отчуждение и враждебность – это естественные отношения между вами, Ричард?

– Нет, этого я не говорю. Я хочу сказать, что тяжба поставила нас в неестественные условия, с которыми естественные родственные отношения несовместимы. Вот для меня еще одно основание сдвинуть ее с мертвой точки! Когда тяжба кончится, я, быть может, увижу, что ошибался в Джоне Джарндисе. Когда я с нею разделаюсь, в голове у меня, возможно, прояснится, и, может быть, я соглашусь с тем, что вы

говорите сегодня. Отлично. Тогда я признаю свою ошибку и принесу ему извинения.

Откладывать все до какого-то дня, который существует только в твоем воображении! Оставлять все запутанным и нерешенным на неопределенный срок!

– А теперь, лучшая из наперсниц, – продолжал Ричард, – мне хочется, чтобы моя кузина Ада поняла, что в своем отношении к Джону Джарндису я не проявляю ни придирчивости, ни непостоянства, ни своенравия, но действую разумно и целесообразно. Я хочу объяснить ей при вашем посредстве свое поведение, потому что она глубоко уважает и почитает кузена Джона, и я знаю, вы опишете ей мой образ действий в светлых тонах, хоть вы его и не одобряете, и… и, короче говоря… – тут он запнулся, – я… я не хочу, чтобы такая доверчивая девушка, как Ада, считала меня сварливым, подозрительным сутягой.

Я сказала в ответ, что эти последние слова гораздо более достойны его, чем все, что он говорил раньше.

– Что ж, это похоже на правду, моя милая, – согласился Ричард. – Пожалуй, так оно и есть. Но я скоро добьюсь своих прав. И тогда опять стану самим собой, не бойтесь.

Я спросила: это все, что я должна передать Аде?

– Не все, – ответил Ричард. – Я не могу утаить от нее, что Джон Джарндис ответил на мое письмо в обычном своем тоне, называя меня «мой дорогой Рик», попытался опровергнуть мои доводы и сказал, что они не ухудшат его отноше-

ния ко мне. (Все это очень мило, конечно, но дела не меняет.) Пусть Ада знает: я теперь потому вижусь с ней редко, что защищаю ее интересы так же, как и свои, – поскольку мы в совершенно одинаковом положении, – и если до нее дойдут вздорные слухи о том, что я будто бы легкомысленный и неблагоразумный человек, то она им, надеюсь, не поверит; напротив, я все время жду конца тяжбы и в зависимости от этого строю свои планы. Раз я теперь совершеннолетний и уже вступил на определенный путь, я не считаю себя обязанным давать отчет Джону Джарндису ни в каких своих поступках; но Ада все еще состоит под опекой суда, и я пока не прошу ее снова стать моей невестой. Когда же она сделается самостоятельной, я опять буду самим собой, а наши обстоятельства тогда, наверное, изменятся к лучшему. Если вы передадите ей все это со свойственной вам деликатностью, вы окажете мне очень большую и очень ценную услугу, милая Эстер, а я с тем большей силой буду врубаться в дебри джарндисовской тяжбы. Конечно, я не прошу вас умалчивать обо всем этом в Холодном доме.

– Ричард, – отозвалась я, – вы оказали мне большое доверие, но боюсь, что вы не послушаетесь моего совета, правда?

– В этом отношении не могу послушаться, милая девушка. Во всем остальном – охотно.

Как будто в его жизни было что-то другое! Как будто весь его жизненный путь и характер не были окрашены в один цвет!

– Можно мне задать вам один вопрос, Ричард?

– Разумеется, – сказал он со смехом. – Кому же и спрашивать, как не вам?

– Вы сами сказали, что ведете беспорядочную жизнь.

– А как быть, милая Эстер, если еще ничего не упорядочено?

– Вы опять в долгу?

– Ну, конечно, – признался Ричард, удивленный моей простотой.

– Почему же «конечно»?

– Потому что иначе нельзя, милое дитя. Не могу же я весь отдаться какой-нибудь цели и не нести никаких расходов. Вы забываете, а может быть и не знаете, что мы с Адой упомянуты как наследники и в том и в другом из двух спорных завещаний. По одному из них мы должны получить больше, по другому меньше – вопрос только в этом. Так или иначе, я не выйду из рамок завещанной суммы. Будьте спокойны, милая девушка, – добавил Ричард, забавляясь моим волнением, – все обойдется хорошо! Я все это преодолею, дорогая!

Я так ясно понимала опасность, угрожающую юноше, что всячески пыталась, заклиная его именем Ады, опекуна и своим собственным, предостеречь его с помощью самых убедительных доводов, какие только могла придумать, и указать ему на его ошибки. Он слушал меня терпеливо и кротко, но мои слова отскакивали от него, не производя ни малейшего впечатления. Да и немудрено, раз он в своем заблуждении

так отнесся к письму опекуна; но я все же решила попробовать, не поможет ли влияние Ады.

Итак, когда мы вернулись в деревню, я пошла домой завтракать и, сначала подготовив Аду к тому, что мне предстояло ей сказать, откровенно объяснила ей, почему мы должны опасаться, что Ричард погубит себя и попусту растратит свою жизнь. Это, конечно, очень ее огорчило, хотя она гораздо больше, чем я, надеялась, что он исправит свои ошибки, – так это было похоже на мою любящую девочку! – и она сейчас же написала ему следующее коротенькое письмо:

«Мой дорогой кузен!

Эстер передала мне все, что Вы говорили ей сегодня утром. Я пишу это письмо, чтобы самым серьезным образом сказать Вам, что я во всем с нею согласна, и Вы, несомненно, рано или поздно поймете, как исключительно правдив, искренен и добр наш кузен Джон, а тогда будете горько-горько сожалеть о том, что (сами того не желая) были к нему так несправедливы.

Я вряд ли сумею выразить то, что хочу сказать Вам, но верю, что Вы меня поймете. Я опасаюсь, мой дорогой кузен, что Вы отчасти ради моего блага готовите столько горя для себя; а если – для себя, то, значит, и для меня.

Если это так и если Вы, заботясь о моих интересах, занимаетесь этим делом, то я самым серьезным образом прошу и умоляю Вас отказаться от него. Все, что Вы можете сделать для меня, не даст мне и половины того счастья, какое я испытаю, когда Вы вырветесь из того мрака, в котором родились мы оба. Не сердитесь на

меня за то, что я говорю это. Прошу Вас, очень прошу, милый Ричард, и ради меня и ради Вас, поймите, что нельзя не чувствовать отвращения к тому источнику бед, который отчасти послужил причиной того, что оба мы осиротели в детстве, и очень прошу Вас: забудьте о нем навсегда. Мы по опыту знаем теперь, что ничего хорошего в нем нет, что никаких благ он нам не сулит и ничего, кроме горя, не принесет.

Мой дорогой кузен, мне незачем говорить Вам, что Вы совершенно свободны и, очень возможно, найдете другую девушку, которую полюбите гораздо больше, чем ту, что была Вашей первой любовью. Позвольте мне Вам сказать, что, по моему глубокому убеждению, Ваша избранница охотно разделит с Вами Ваш жребий, как бы он ни был скромен и беден, если только увидит, что Вы счастливы, исполняете свой долг, идете избранной Вами дорогой; но она не захочет возлагать надежды на богатство или даже получить крупное наследство вместе с Вами (хотя получить его вряд ли удастся), если за него придется заплатить многими томительными годами, проведенными в бесплодном ожидании и тревоге, и Вашим равнодушием к любым другим целям. Вы, может быть, удивляетесь, что я говорю это очень уверенно, хотя сама так неопытна и так мало знаю жизнь, но сердце подсказывает мне, что я права.

Глубоко любящая Вас, дорогой кузен, навсегда Ваша *Ада».*

Прочитав это письмо, Ричард сразу же явился к нам, хо-

тя письмо почти – а может быть, и совсем – не повлияло на него. Это мы еще посмотрим, кто прав, а кто не прав, говорил он… он нам докажет… мы увидим! Он был оживлен и пылок, – очевидно, нежность Ады приятно взволновала его; но мне оставалось лишь вздыхать и надеяться, что, когда он перечитает письмо, оно произведет на него более глубокое впечатление, чем произвело теперь.

Ричард и мистер Скимпол собирались провести с нами весь этот день и заказали себе места в почтовой карете на следующее утро, поэтому я стала искать удобного случая поговорить и с мистером Скимполом. Мы много времени проводили на воздухе, так что случай скоро представился, и я тогда осторожно объяснила мистеру Скимполу, что, потворствуя Ричарду, он возлагает на себя некоторую ответственность.

– Ответственность, дорогая мисс Саммерсон? – подхватил он мое последнее слово, улыбаясь сладчайшей улыбкой. – Ну нет, эта штука никак не для меня. Никогда в жизни я не возлагал на себя ответственности и никогда не возложу.

– По-моему, каждый человек обязан нести за что-то ответственность, – сказала я довольно робко, так как он был гораздо старше и гораздо умнее меня.

– Разве? – проговорил мистер Скимпол, выслушав эту новую для него точку зрения с очаровательным и шутливым удивлением. – Но ведь не каждый человек обязан быть платежеспособным, правда? Я неплатежеспособен. И никогда

не был таковым. Смотрите, дорогая мисс Саммерсон, – он вынул из кармана горсть мелких серебряных и медных монет, – вот сколько-то денег. Не имею понятия, сколько именно. Лишен способности сосчитать их. Скажите, что это четыре шиллинга и девять пенсов, скажите, что – четыре фунта и девять шиллингов, – как хотите. Говорят, я задолжал больше. Пожалуй, действительно больше. Пожалуй, я задолжал столько, сколько добрые люди мне одолжили. Если они не перестают давать мне в долг, почему я не смею брать у них взаймы? Вот вам Гарольд Скимпол как на ладони. Если это называется ответственностью, я готов нести ее.

Он непринужденно спрятал деньги, взглянув на меня с улыбкой, сиявшей на его тонком лице, словно речь его относилась к чудачествам какого-то постороннего человека; а я почти уверовала в то, что он сам и правда не имеет к ним отношения.

– Раз уж вы заговорили об ответственности, – продолжал он, – мне хочется отметить, что никогда я не имел счастья встречать особы, столь проникнутой возвышенным чувством ответственности, как вы. Вы представляетесь мне воплощением ответственности. Когда я вижу, уважаемая мисс Саммерсон, как вы стараетесь, чтобы маленькая упорядоченная система, в центре которой вы стоите, была безупречна, я готов сказать себе, – точнее, я очень часто себе говорю, – вот это ответственность!

После этих слов трудно было объяснить ему, что я имею

в виду, но я все же сказала, что все мы полагаемся на него и хотим верить, что он будет опровергать, а не поддерживать оптимистические взгляды Ричарда на тяжбу.

– Очень охотно опроверг бы, – отозвался мистер Скимпол, – будь это в моих силах. Но, дорогая мисс Саммерсон, я человек бесхитростный и не умею притворяться. Если он возьмет меня за руку и повлечет по воздуху через Вестминстер-Холл в погоню за фортуной, мне придется следовать за ним. Если он скажет: «Скимпол, пляшите со мной!», мне придется пуститься в пляс. Здравый смысл отверг бы это, я знаю, но у меня нет здравого смысла.

– Это большое несчастье для Ричарда, – заметила я.

– Вы так думаете? – отозвался мистер Скимпол. – Не говорите, не говорите! Предположим, он завел дружбу со Здравым смыслом… а это славный малый… весь в морщинах… ужасающе практичный… в каждом кармане на десять фунтов мелочи… в руках разграфленная счетная книга… в общем, скажем, похож на сборщика налогов. Допустим, что наш дорогой Ричард – жизнерадостный, пылкий юноша, который скачет через препятствия и, словно едва расцветший бутон, благоухает поэзией, – скажет этому весьма почтенному спутнику: «Я вижу перед собой золотую даль; она очень яркая, очень красивая, очень радостная, и вот я несусь по горам и по долам, чтобы доскакать до нее!» А почтенный спутник немедленно собьет его с ног разграфленной книгой; заявит ему трезвым, прозаическим тоном, что ничего

такого не видит; докажет ему, что это вовсе не золотая даль, а сплошные судебные пошлины, мошенничества, парики из конского волоса и черные мантии. Ну, знаете ли, разочарование будет мучительным; несомненно, полезным до последней степени, но неприятным. *Я* так поступать не могу. У меня нет разграфленной счетной книги; в моем характере нет элементов, присущих сборщику налогов; я отнюдь не почтенный человек и не хочу им стать. Странно, быть может, но это так!

Не стоило больше продолжать этот праздный разговор, поэтому я предложила догнать Аду и Ричарда, которые немного опередили нас, и, отчаявшись в мистере Скимполе, отказалась от безнадежных попыток его усовестить. Утром он успел побывать в усадьбе Дедлоков и во время прогулки юмористически описывал нам портреты их предков. По его словам, среди покойных леди Дедлок были пастушки столь внушительного вида, что даже мирные посохи превращались в их руках в оружие нападения. Свои стада они стерегли в пышных юбках с фижмами и пудреных париках и налепляли себе мушки, чтобы пугать простой народ, подобно тому как вожди некоторых племен раскрашивают себя перед битвой. Среди них был некий сэр… как его… Дедлок, которого художник изобразил на фоне битвы, взрыва бомбы, клубов дыма, вспышек молнии, пылающего города и осажденной крепости, причем все это умещалось между задними ногами его коня, что, по мнению мистера Скимпола, доказывало, сколь

низко ставят Дедлоки подобные пустяки. Все представители этого рода, говорил мистер Скимпол, при жизни были «чучелами», так что из них составилась обширная коллекция чучел с остекленевшими глазами, посаженных самым пристойным образом на всевозможные сучья и насесты, очень корректных, совершенно оцепеневших и навеки покрытых стеклянными колпаками.

Теперь стоило кому-нибудь упомянуть о Дедлоках, как я начинала волноваться; так что у меня стало легче на душе, когда Ричард с возгласом удивления побежал навстречу какому-то незнакомцу, которого заметил первый, в то время как тот неторопливо подходил к нам.

– Ну и ну! – проговорил мистер Скимпол. – Смотрите-ка – Воулс!

– Это приятель Ричарда? – спросили мы у него.

– И приятель, и поверенный, – ответил мистер Скимпол. – Вот, уважаемая мисс Саммерсон, если вам нужны здравый смысл, чувство ответственности и порядочность, воплощенные в одном лице, если вам нужен человек, примерный во всех отношениях, – пожалуйста, вот вам Воулс.

А мы и не знали, отозвались мы, что дела Ричарда ведет некто Воулс.

– Когда Ричард достиг совершеннолетия, – объяснил мистер Скимпол, – он расстался с нашим приятелем, Велеречивым Кенджем, и, насколько я знаю, обратился к Воулсу. Точнее, я знаю это наверное, потому что сам познакомил Ричар-

да с Воулсом.

– А вы давно его знаете? – спросила Ада.

– Воулса? Дорогая мисс Клейр, я знаю его так, как знаю нескольких других джентльменов-юристов. Однажды он очень вежливо и любезно начал что-то такое… начал судебное преследование, – так это, кажется, называется, – которое заключилось тем, что меня заключили в тюрьму. Кто-то был настолько добр, что вмешался и уплатил за меня деньги… сколько-то и четыре пенса, – я позабыл, сколько там было фунтов и шиллингов, но запомнил, что в конце суммы стояло четыре пенса, запомнил потому, что мне тогда показалось очень странным, что я кому-то должен четыре пенса… ну, а потом я познакомил Воулса с Ричардом. Воулс попросил меня отрекомендовать его, и я исполнил его просьбу. Но теперь мне вдруг пришло в голову, – добавил он, вопросительно глядя на нас с самой ясной своей улыбкой, словно он только сейчас сделал это открытие, – теперь мне пришло в голову, что, может быть, Воулс дал мне за это взятку? Во всяком случае, он дал мне что-то и назвал это «комиссионными». Может быть, это была бумажка в пять фунтов? А вы знаете, пожалуй, он действительно дал мне пятифунтовую бумажку!

Дальнейшим его рассуждениям на эту тему помешал Ричард, который вернулся очень возбужденный и торопливо представил нам мистера Воулса – долговязого, тощего, сутулого человека лет пятидесяти, с высоко поднятыми плечами,

поджатыми губами, посиневшими, точно от холода, и желтым лицом, усеянным красными прыщами. Он носил черный костюм, застегнутый до самого подбородка, и черные перчатки, и если в нем было что-нибудь замечательное, так это его безжизненный вид и пристальный взгляд, которым он медленно впивался в Ричарда.

– Надеюсь, я не помешал вам, леди, – сказал мистер Воулс; и я заметила еще одну его отличительную особенность: он говорил каким-то утробным голосом. – Я условился с мистером Карстоном, что всегда буду уведомлять его о разборе его дела в Канцлерском суде, и, когда вчера вечером, после отправки почты, один из моих клерков доложил мне, что дело довольно неожиданно поставлено на повестку завтрашнего заседания, я сегодня рано утром сел в почтовую карету и приехал сюда, чтобы переговорить со своим клиентом.

– Вот видите! – проговорил Ричард, краснея и торжествующе глядя на нас с Адой. – Мы теперь ведем дела не по старинке, не плетемся шагом. Мы галопом мчимся вперед! Мистер Воулс, нам нужно нанять какой-нибудь экипаж до городка, где останавливается почтовая карета, сесть в нее сегодня же вечером и уехать в Лондон!

– Как вам будет угодно, сэр, – ответил мистер Воулс. – Я весь к вашим услугам.

– Постойте, – сказал Ричард, посмотрев на часы. – Если я сейчас сбегаю в «Герб Дедлоков», уложу свой чемодан и найму двуколку, или фаэтон, или что попадется, у нас оста-

нется еще час до отъезда. Я вернусь к чаю. Кузина Ада, вы вместе с Эстер займете мистера Воулса в мое отсутствие?

Горячась и спеша, он сейчас же убежал и скоро скрылся из виду в вечернем сумраке. А мы все пошли по направлению к дому.

– Но разве это так необходимо, чтобы мистер Карстон присутствовал завтра на судебном заседании, сэр? – спросила я. – Разве это может улучшить положение дел?

– Нет, мисс, – ответил мистер Воулс. – Насколько я могу судить, не может.

Мы с Адой выразили сожаление, что Ричард поедет только для того, чтобы обмануться в своих надеждах.

– Мистер Карстон желает следить за своими интересами лично и поставил мне условием осведомлять его о ходе дела, – объяснил мистер Воулс, – а когда клиент ставит какое-нибудь условие и оно не является безнравственным, мне надлежит его соблюдать. Я стремлюсь вести дела аккуратно и начистоту. Я вдовец, у меня три дочери – Эмма, Джейн и Кэролайн, – и я стараюсь так выполнять свой долг, чтобы оставить им доброе имя. Приятное здесь место, мисс.

Это замечание было обращено ко мне, так как я шла рядом с мистером Воулсом, и я согласилась с ним и стала перечислять все здешние достопримечательности.

– Интересно! – сказал мистер Воулс. – Я имею счастье содержать моего престарелого отца, проживающего в Тоунтонской долине – на своей родине, – и весьма восхищаюсь той

местностью. Не думал я, что здешняя не менее живописна.

Желая поддержать разговор, я спросила мистера Воулса, не хочется ли ему навсегда поселиться в деревне.

– Этим вопросом, мисс, вы затронули во мне чувствительную струну, – ответил он. – Здоровье у меня неважное (сильно испорчено пищеварение), и если бы я имел возможность думать о себе одном, я искал бы убежища в сельском образе жизни, главным образом потому, что обязанности моей профессии всегда препятствовали мне вращаться в обществе и в частности – дамском, которое меня особенно привлекало. Но, имея трех дочерей – Эмму, Джейн и Кэролайн – и престарелого отца, я не могу позволить себе быть эгоистичным. Правда, мне уже не приходится содержать мою дражайшую бабушку, – она скончалась на сто втором году от рождения, – но осталось еще много таких причин, которые заставляют мельницу молоть беспрерывно.

Слушая его, надо было напрягать внимание, так как он говорил безжизненно, глухим, утробным голосом.

– Вы извините меня за упоминание о моих дочерях, – сказал он. – Это моя слабость. Мне хочется оставить бедным девушкам маленькое независимое состояние, а также доброе имя.

Тут мы подошли к дому мистера Бойторна, где нас ожидал стол, накрытый для вечернего чая. Вскоре, волнуясь и спеша, пришел Ричард и, опершись на спинку кресла, в котором сидел мистер Воулс, шепнул ему что-то на ухо. Ми-

стер Воулс ответил громко – или, лучше сказать, насколько мог громко:

– Вы увозите меня с собой, сэр? Пожалуйста, мне все равно, сэр. Как вам будет угодно. Я весь к вашим услугам.

Мы узнали из дальнейшего разговора, что мистера Скимпола оставят здесь до утра, а завтра он займет те два места в почтовой карете, за которые уже заплатили. Страдая за Ричарда и очень опечаленные разлукой с ним, мы с Адой совершенно ясно, хотя по возможности вежливо, дали понять, что расстанемся с мистером Скимполом в «Гербе Дедлоков» и уйдем к себе, как только путники уедут.

Вместе с Ричардом, который мчался вперед, окрыленный надеждами, мы миновали деревню и поднялись на пригорок, где, по его приказу, ожидал человек с фонарем, державший под уздцы тощую, изможденную клячу, запряженную в двуколку.

Никогда мне не забыть этих двух путников, сидевших друг подле друга, в свете фонаря: Ричард – возбужденный, горячий, веселый, с вожжами в руках, и мистер Воулс – оцепеневший, в черных перчатках, застегнутый на все пуговицы, взирающий на соседа, как змея, которая взглядом зачаровывает свою жертву. Я как сейчас все это вижу: теплый, темный вечер, летние зарницы, пыльная дорога, окаймленная живыми изгородями и высокими деревьями, тощая, изможденная кляча с настороженными ушами и спешный отъезд на разбирательство тяжбы «Джарндисы против Джарн-

дисов».

Моя дорогая девочка сказала мне в тот вечер, что ей безразлично, будет ли Ричард богат или беден, окружен друзьями или покинут всеми; и чем больше он будет нуждаться в любви верного сердца, тем больше любви найдет он в этом верном сердце; и еще сказала, что если он и теперь, несмотря на все свои заблуждения, думает о ней, то она будет думать о нем всегда; забудет о себе, если он позволит ей всецело посвятить себя его благу; забудет о своих удовольствиях, желая доставить удовольствие ему.

Сдержала ли она свое слово?

Я смотрю на лежащую передо мной дорогу, которая становится все короче, – так что конец пути уже виден; и над мертвым морем канцлерской тяжбы и разбитыми обломками, выброшенными им на берег, вижу свою любимую подругу, верную и добрую.

Глава XXXVIII
Борьба чувств

Когда нам пришла пора вернуться в Холодный дом, мы выехали в назначенный день, и все наши домочадцы оказали нам самый радушный прием. Я совсем поправилась, окрепла и, как только увидела корзиночку с ключами, которую принесли ко мне в комнату, ознаменовала свой приезд веселым тоненьким перезвоном, совсем как на Новый год. «Ну, Эстер, смотри же, – сказала я себе, – повторяю опять: помни о своем долге, помни; и если ты еще не очень радуешься тому, что должна исполнять свой долг весело и с удовольствием, во что бы то ни стало и при всех обстоятельствах, то обязана радоваться. Вот все, что мне нужно сказать тебе, дорогая!»

В первые дни у меня каждое утро было так занято разными хлопотами и возней с хозяйством, так заполнено проверкой счетов, непрерывной беготней взад и вперед из Брюзжальни в другие комнаты и обратно, новой раскладкой вещей в бесчисленных ящиках и шкафах, и вообще налаживанием всей жизни заново, что я ни минуты не была свободна. Но когда все было устроено и приведено в порядок, я решила на несколько часов съездить в Лондон; а побудило меня к этому одно обстоятельство, упомянутое в письме, которое я уничтожила в Чесни-Уолде.

Для этой поездки я выдумала предлог: сказала, что хочу повидаться с Кедди Джеллиби – так я ее всегда называла, – но сначала написала ей записку с просьбой пойти со мной в одно место, где мне нужно побывать по делу. Выехав из дому спозаранку, я так быстро прибыла в Лондон, что отправилась на Ньюмен-стрит, имея целый день в своем распоряжении.

Кедди не видела меня со дня своей свадьбы и так обрадовалась, была так приветлива, что я уже почти опасалась, как бы муж не приревновал ее ко мне. Но он был, по-своему, такой же противный… то есть – милый; словом, повторилась старая история – оба они, как и все, кого я знала, были со мной так ласковы, что я никогда бы не смогла заслужить подобное отношение к себе.

Мистер Тарвидроп-старший еще лежал в постели, и Кедди готовила для него шоколад, а грустный мальчуган, подмастерье (меня удивило, что в танцевальной профессии могут быть подмастерья), ждал, пока шоколад будет готов, чтобы отнести его наверх. Кедди сказала мне, что ее свекор чрезвычайно любезен и внимателен и они дружно живут все вместе. (Она говорила, что они «живут все вместе», но на самом деле пожилой джентльмен кушал самые лучшие кушанья и занимал самое лучшее помещение, тогда как Кедди с мужем довольствовались объедками и ютились в двух угловых комнатушках над конюшнями.)

– А как поживает ваша мама, Кедди? – спросила я.

– Мне рассказывает о ней папа, Эстер, – ответила Кедди, –

но вижу я ее очень редко. Мы с ней в хороших отношениях, чему я очень рада, но мама считает мой брак с учителем танцев глупостью и боится, как бы это не набросило тень и на нее.

Я подумала, что если бы миссис Джеллиби выполняла свой нравственный долг и семейные обязанности, вместо того чтобы водить телескопом по горизонту в поисках других занятий, то сумела бы предохранить себя от подобных неприятностей, но вряд ли стоит упоминать, что я не высказала этих мыслей.

– А ваш папа, Кедди?

– Он заходит к нам каждый вечер, – ответила Кедди, – и с таким удовольствием сидит вон там в углу, что на него приятно смотреть.

Бросив взгляд на этот угол, я увидела на стене отчетливый след от головы мистера Джеллиби. Утешительно было сознавать, что он нашел наконец, куда приклонить голову.

– А вы, Кедди, – спросила я, – очень заняты, наверное?

– Да, дорогая, очень занята, – ответила Кедди. – Открою вам большой секрет: я сама готовлюсь давать уроки танцев. У Принца слабое здоровье, и мне хочется ему помочь. Уроки здесь, в других школах, у учеников на дому да еще возня с подмастерьями, – право же, у него, бедняжки, слишком много работы!

И опять мне так странно было слышать о каких-то «танцевальных подмастерьях», что я спросила Кедди: много ли их?

– Четверо, – ответила Кедди. – Один живет у нас и трое приходящих. Очень милые ребятишки; но когда они сходятся вместе, им, как и всем детям, конечно, хочется играть, а не работать. Так, например, мальчуган, которого вы только что видели, вальсирует один в пустой кухне, а остальных мы рассовываем по всему дому – кого куда.

– Лишь для того, конечно, чтобы они сами упражнялись делать «па»? – предположила я.

– Именно, – подтвердила Кедди. – Каждый день они несколько часов практикуются в «па», которые им показали. Но танцуют они в классе, а теперь, летом, мы проходим фигуры танцев каждое утро, с пяти часов.

– Ну и трудовая жизнь у вас! – воскликнула я.

– Вы знаете, дорогая, – отозвалась Кедди с улыбкой, – когда приходящие подмастерья звонят нам утром (звонок проведен в нашу комнату, чтобы не беспокоить мистера Тарвидропа-старшего), я открываю окно и вижу, как они стоят на улице с бальными туфлями под мышкой – ни дать ни взять мальчишки-трубочисты.

Теперь хореография предстала передо мной в совершенно новом свете. Кедди же, насладившись эффектом своих слов, весело рассказала мне во всех подробностях о собственных занятиях.

– Видите ли, дорогая, чтобы сократить расходы на тапера, мне нужно самой научиться немножко играть на рояле, да и на «киске» тоже – то есть на скрипке, – и вот приходит-

ся теперь упражняться в игре на этих инструментах да еще совершенствоваться в нашей профессии. Будь мама похожа на других матерей, я бы немножко знала музыку, хоть для начала. Но музыке меня не учили, и должна признаться, что занятия ею на первых порах приводят меня в отчаяние. К счастью, у меня очень хороший слух, а к скучной работе я привыкла – этим-то я, во всяком случае, обязана маме, – а вы знаете, Эстер, где есть желание, там будет и успех; это относится ко всему на свете.

Тут Кедди со смехом села за маленькое расстроенное фортепьяно и очень бойко забарабанила кадриль. Доиграв ее, она покраснела, поднялась и сказала с улыбкой:

– Не смейтесь надо мной, пожалуйста, милая девочка!

Мне не смеяться хотелось, а плакать, но я не сделала ни того, ни другого. Я ободряла и хвалила ее от всего сердца. Ведь я хорошо понимала, что, хотя она вышла за простого учителя танцев и сама непритязательно стремилась сделаться лишь скромной учительницей, но она избрала естественный, здоровый, внушенный любовью путь труда и постоянства, который был не хуже любой миссии.

– Дорогая моя, – проговорила Кедди, очень довольная, – вы представить себе не можете, как вы меня подбодрили. Чем только я вам не обязана! Какие перемены, Эстер, даже в моем маленьком мирке! Помните тот первый вечер, когда я вела себя так невежливо и вся выпачкалась чернилами? Кто мог подумать тогда, что из всех возможных и невозможных

занятий я выберу преподавание танцев?

Муж ее, куда-то уходивший во время этого разговора, теперь вернулся и собирался начать упражнения с подмастерьями в бальном зале, а Кедди сказала, что полностью предоставляет себя в мое распоряжение. Но идти нам было еще рано, и я с большим удовольствием сообщила ей это – мне не хотелось уводить ее в часы занятий. Поэтому мы втроем отправились к подмастерьям, и я приняла участие в танцах.

Вот были диковинные ребятишки, эти подмастерья! Кроме грустного мальчугана, который, надеюсь, загрустил не потому, что вальсировал один в пустой кухне, подмастерьями числились еще два мальчика и маленькая, неопрятная хромая девочка в прозрачном платьице и очень безвкусной шляпке (тоже из какого-то прозрачного материала). И как не по-детски вела себя эта девочка, носившая свои бальные туфельки в затрепанном бархатном ридикюле! Как жалки были (когда они не танцевали) эти мальчуганы в рваных чулках и дырявых туфлях с совершенно смятыми задниками, таскавшие в карманах веревочки, камешки и костяшки!

Я спросила Кедди, что побудило их родителей выбрать для своих ребят эту профессию. Кедди ответила, что не знает, – может быть, детей готовят для преподавания танцев, а может быть – для сцены. Родители их – люди бедные; так, например, мать грустного мальчугана торгует имбирным пивом в ларьке.

Мы с величайшей серьезностью танцевали целый час,

причем грустный ребенок делал чудеса своими нижними конечностями, в движениях которых можно было подметить некоторые признаки получаемого им удовольствия; но выше его талии этих признаков не наблюдалось. Кедди не сводила глаз с мужа, явно стараясь подражать ему, хотя сама уже успела приобрести грацию и уверенность в движениях, что в соединении с ее хорошеньким личиком и прекрасной фигурой производило чрезвычайно приятное впечатление. Она уже теперь почти целиком взяла на себя обучение подмастерьев, и муж ее редко вмешивался в занятия, – разве что исполнял свою роль в какой-нибудь фигуре, если его участие было необходимо. Но он всегда аккомпанировал. Стоило посмотреть, как жеманилась девочка в прозрачном одеянии и как снисходительно она относилась к мальчикам! Так мы проплясали добрый час.

Когда урок окончился, муж Кедди собрался уходить в какую-то школу, а Кедди убежала принарядиться, перед тем как выйти вместе со мной. В это время я сидела в бальном зале и смотрела на подмастерьев. Двое приходящих убежали на лестницу – переобуться и подергать за волосы пансионера, о чем я догадалась по его негодующим крикам. Вернувшись в застегнутых курточках, с бальными туфлями за пазухой, они вынули свертки с хлебом и холодным мясом и принялись закусывать, расположившись под лирой, нарисованной на стене. Девочка в прозрачном платье, сунув туфельки в ридикюль и натянув на ноги стоптанные башмаки, рывком

втиснула голову в безвкусную шляпку; а на мой вопрос, любит ли она танцевать, ответила: «Только не с мальчишками», завязала ленты под подбородком и с презрительным видом ушла домой.

– Мистер Тарвидроп-старший, – сказала Кедди, – очень сожалеет, что еще не кончил своего туалета и потому лишен удовольствия повидать вас перед вашим уходом. Он вас прямо боготворит, Эстер.

Я сказала, что очень ему признательна, но не нашла нужным добавить, что охотно обойдусь без его внимания.

– Он очень долго занимается своим туалетом, – объяснила Кедди, – потому что на него, знаете ли, обращают большое внимание и ему нужно поддерживать свою репутацию. Вы не поверите, до чего он любезен с папой! Он может целый вечер рассказывать папе о принце-регенте, и я ни разу не видела, чтобы папа слушал кого-нибудь с таким интересом.

Я представила себе, как мистер Тарвидроп рисуется своим «хорошим тоном» в присутствии мистера Джеллиби, и пришла в полный восторг от этой картины. Потом я спросила Кедди, не пытается ли он когда-нибудь вызвать ее отца на разговор.

– Нет, – ответила Кедди, – вряд ли, но он всегда говорит сам, обращаясь к папе, и папа очень восхищается им и слушает его с удовольствием. Я знаю, конечно, что папа не имеет понятия о хорошем тоне, но он чудесно ладит с мистером Тарвидропом. Вы себе не представляете, как они подружи-

лись. Папа никогда не нюхал табака, а теперь он всякий раз берет понюшку из табакерки мистера Тарвидропа и то поднесет ее к носу, то опустит, и так весь вечер.

Подумать только – надо же было случиться, чтобы именно мистер Тарвидроп-старший явился спасать мистера Джеллиби от Бориобула-Гха! Это показалось мне чрезвычайно странным и забавным.

– Что касается Пищика, – нерешительно продолжала Кедди, – я боялась больше всего на свете (почти так же, как боюсь, что у меня самой родится ребенок), как бы он не обеспокоил мистера Тарвидропа, но мистер Тарвидроп так ласков с мальчиком, что и выразить нельзя. Он сам просит его привести, милая. Позволяет Пищику приносить ему газету в постель, угощает его корочками от своих гренков, гоняет по дому с разными маленькими поручениями, посылает ко мне за мелочью. Словом, чтобы долго не распространяться на эту тему, скажу, что я очень счастлива и должна горячо благодарить судьбу, – весело заключила Кедди. – Так куда же мы пойдем, Эстер?

– На Олд-стрит-роуд, – ответила я, – мне нужно сказать несколько слов одному клерку из юридической конторы, тому, которого послали встретить меня у почтовой станции, когда я приехала в Лондон и познакомилась с вами, дорогая. Я сейчас вспомнила, что этот самый джентльмен отвез нас тогда к вам.

– Если так, кому же идти туда с вами, как не мне, – сказала

Кедди.

Мы пошли на Олд-стрит-роуд и, отыскав квартиру миссис Гаппи, спросили, дома ли хозяйка. Миссис Гаппи, сидевшая в гостиной, не дождавшись, пока ее вызовут, выглянула в переднюю с риском, что дверь раздавит ее, как орех, немедленно представилась нам и пригласила нас войти. Это была пожилая женщина в огромном чепце; нос у нее был красноватый, а глаза посоловелые, зато все лицо расплывалось в улыбке. Душная маленькая гостиная была убрана для приема гостей, и здесь висел портрет сына хозяйки, более точный, если можно так выразиться, чем сама натура, – столь настойчиво он подчеркивал все черты оригинала без единого исключения.

Но в гостиной находился не только портрет, мы увидели здесь и оригинал. Разодетый необычайно пестро, он сидел за столом и читал какие-то юридические документы, приставив указательный палец ко лбу.

– Мисс Саммерсон, – проговорил мистер Гаппи, вставая, – ваше посещение превратило мое жилище в оазис. Мамаша, будьте добры, принесите стул для другой леди и не путайтесь под ногами.

Миссис Гаппи, не переставая улыбаться, что придавало ей удивительно игривый вид, исполнила просьбу сына, а сама села в углу и обеими руками прижала к груди носовой платок, словно припарку.

Я представила Кедди, и мистер Гаппи сказал, что все мои

друзья встретят у него более чем радушный прием. Затем я перешла к цели своего посещения.

– Я позволила себе написать вам записку, сэр, – начала я.

Желая засвидетельствовать получение записки, мистер Гаппи вынул ее из грудного кармана, прижал к губам и с поклоном опять положил в карман. Это так рассмешило мамашу мистера Гаппи, что она завертела головой, заулыбалась еще игривей и, молчаливо ища сочувствия, толкнула локтем Кедди.

– Можно мне немного поговорить с вами наедине? – спросила я.

Тут мамашу мистера Гаппи охватил такой припадок веселья, какого я в жизни не видывала. Смеялась она совершенно беззвучно, но при этом вертела и качала головой, прикладывала платок ко рту, искала у Кедди сочувствия, толкая ее локтем, рукой, плечом, и вообще так расшалилась, что ей лишь с трудом удалось провести Кедди через маленькую двустворчатую дверь в смежную комнату – свою спальню.

– Мисс Саммерсон, – сказал мистер Гаппи, – вы извините причуды родительницы, которая вечно заботится о счастье своего детища. Мамаша, правда, очень надоедлива, но все это у нее от материнской любви.

Я не представляла себе, что можно так густо покраснеть и так измениться в лице, как это случилось с мистером Гаппи, когда я подняла вуаль.

– Я просила вас позволить мне увидеться с вами здесь,

мистер Гаппи, – сказала я, – так как решила не заходить в контору мистера Кенджа: я вспомнила о том, что вы однажды говорили мне по секрету, и боялась поставить вас в неловкое положение.

Должно быть, я все-таки поставила его в неловкое положение. Никогда я не видела такого смущения, такого замешательства, такого изумления и страха.

– Мисс Саммерсон, – запинаясь, пробормотал мистер Гаппи. – Я… я… прошу прощения, но мы, юристы, мы… мы считаем необходимым высказываться определенно. Вы говорите о том случае, мисс, когда я… я оказал себе честь сделать вам предложение, которое…

У мистера Гаппи как будто подступил комок к горлу, который он не мог проглотить. Молодой человек взялся рукой за шею, кашлянул, сделал гримасу, снова попытался проглотить комок, опять кашлянул, еще раз сделал гримасу, обвел глазами комнату и принялся судорожно перебирать свои бумаги.

– У меня что-то вроде головокружения, мисс, – объяснил он, – прямо с ног валит. Я… э… – немножко подвержен этому… э… черт возьми!

Я молчала, чтобы дать ему время прийти в себя. И все это время он то прикладывал руку ко лбу, то опускал ее, то отодвигал свое кресло подальше в угол.

– Я хотел бы отметить, мисс… – снова начал мистер Гаппи, – боже мой!.. что-то у меня неладно с бронхами, надо

думать… хм!.. отметить, что в тот раз вы были настолько любезны, что отклонили и отвергли мое предложение. Вы… вы, быть может, не откажетесь подтвердить это? Хотя здесь и нет свидетелей, но, может, этак будет спокойней… у вас на душе… если вы подтвердите?

– Ну, конечно, – ответила я, – на ваше предложение я ответила категорическим отказом, мистер Гаппи.

– Благодарю вас, мисс, – отозвался он и, растопырив дрожащие пальцы, принялся мерить рукой стол. – Это меня успокаивает и делает вам честь… Э… должно быть, у меня бронхит, не иначе!.. что-то попало в дыхательное горло… э… может, вы не обидитесь, если я замечу, хоть в этом и нет необходимости, ибо ваш собственный здравый смысл, как, впрочем, и здравый смысл любого другого лица, помогает это понять… может, вы не обидитесь, если я замечу, что то предложение было сделано мною в последний раз… и делу конец?

– Так я это и понимаю, – ответила я.

– Может… э… всякие формальности, пожалуй, излишни, но так вам самой будет спокойнее… может, вы не откажетесь подтвердить это, мисс? – спросил мистер Гаппи.

– Подтверждаю полностью и очень охотно, – ответила я.

– Благодарю вас, – сказал мистер Гаппи. – Очень благородно с вашей стороны, смею заверить. Сожалею, что мои планы на жизнь, в связи с не зависящими от меня обстоятельствами, лишают меня возможности когда-либо вернуть-

ся к этому предложению или возобновить его в каком бы то ни было виде или форме; но оно навсегда останется воспоминанием, обвитым… э… цветами под сенью дружбы…

Тут ему пришел на помощь бронхит, и мистер Гаппи перестал мерить стол.

– Можно мне теперь сказать вам то, что я хотела, мистер Гаппи? – спросила я.

– Почту за честь, смею заверить, – ответил мистер Гаппи. – Я глубоко убежден, что ваш здравый смысл и ваше благоразумие, мисс… внушат вам желание говорить со всей возможной искренностью и прямотой, а посему не иначе, как с удовольствием, смею заверить, выслушаю всякое заявление, какое вы пожелаете сделать.

– В тот раз вы были так добры намекнуть…

– Простите, мисс, – перебил меня мистер Гаппи, – но лучше нам не переходить от недвусмысленных суждений к намекам. Я отказываюсь подтвердить, что намекал на что-нибудь.

– Вы сказали в тот раз, – снова начала я, – что желаете позаботиться о моих интересах и улучшить мою судьбу, начав расследование насчет моей особы. Вероятно, вы затеяли все это, узнав, что я сирота и всем обязана великодушию мистера Джарндиса. Итак, вот о чем я хочу попросить вас, мистер Гаппи: будьте так любезны, откажитесь от мысли принести мне пользу подобным образом. Я иногда думала об этом, особенно в последнее время, – с тех пор как заболела. И на-

конец решила – на случай, если вы когда-нибудь вспомните о своей затее и соберетесь что-то сделать в этом направлении, – решила прийти к вам и убедить вас, что вы ошиблись во всех отношениях. Ваши расследования не могут принести мне ни малейшей пользы, ни малейшей радости. Мне известно мое происхождение, и могу вас уверить, что вам не удастся улучшить мою долю никакими расследованиями. Может быть, вы давно уже бросили эту свою затею. Если так, простите за беспокойство. А если нет, прошу вас поверить мне и отказаться от своих планов. Прошу вас – ради моего душевного спокойствия.

– Должен сознаться, мисс, – отозвался мистер Гаппи, – что ваши слова – плод здравого смысла и благоразумия, которые я в вас угадывал. Подобное благоразумие вполне успокаивает меня, и если я сейчас превратно понял ваши намерения, то готов принести исчерпывающие извинения. Но поймите меня правильно, мисс: я приношу извинения лишь в тех ошибках, которые мог совершить во время нынешних наших переговоров, – не иначе, – что подтвердят и ваш здравый смысл и ваше благоразумие.

Надо отдать должное мистеру Гаппи – он почти перестал вилять. Видимо, он теперь был искренне готов исполнить мою просьбу, и лицо у него стало немного пристыженным.

– Будьте любезны, сэр, – продолжала я, заметив, что он хочет что-то сказать, – позвольте мне сразу высказать все, что мне нужно сообщить вам, так чтобы к этому уже не воз-

вращаться. Я пришла к вам насколько возможно секретно, потому что вы сообщили мне о вашей затее как о тайне, которую я твердо решила хранить, да и сохранила, как вам известно. Я уже говорила о своей болезни. Нет смысла скрывать, что если раньше я слегка стеснялась бы попросить вас о чем-нибудь, то теперь мне стесняться уже не нужно. Итак, обращаюсь к вам с просьбой и надеюсь, вы меня достаточно уважаете, чтобы ее выполнить.

Надо снова отдать должное мистеру Гаппи: он смущался все более и более и наконец, сгорая со стыда и краснея, сказал очень серьезным тоном:

– Даю честное слово, клянусь жизнью и клянусь душой, мисс Саммерсон, что, пока я жив, я буду выполнять ваши желания. Ни шагу не сделаю наперекор. Хотите, могу поклясться, чтобы вам было спокойнее… Когда я в настоящее время даю обещание касательно предмета, о коем идет речь, – скороговоркой продолжал мистер Гаппи, должно быть повторяя по привычке юридическую формулу, – я говорю правду, всю правду полностью и только правду…

– Этого вполне довольно, – сказала я, поднимаясь, – очень вам благодарна. Кедди, милая, я кончила!

Вместе с Кедди вернулась мамаша мистера Гаппи (теперь она уже толкала локтем меня и смеялась мне в лицо своим беззвучным смехом), и мы наконец ушли. Мистер Гаппи проводил нас до двери, с видом человека, который или не совсем проснулся, или спит на ходу, и смотрел нам вслед,

вытаращив глаза.

Но минуту спустя он выбежал за нами на улицу с непокрытой головой, так что длинные его волосы развевались во все стороны, и, попросив нас остановиться, проговорил с жаром:

– Мисс Саммерсон, клянусь честью и душой, вы можете на меня положиться!

– Я и полагаюсь, – отозвалась я, – и верю вам.

– Простите, мисс, – продолжал мистер Гаппи, делая то шаг вперед, то шаг назад, – но поскольку здесь находится эта леди… ваша собственная свидетельница… может, у вас будет спокойнее на душе (чего я и желаю), если вы повторите ваши утверждения.

– Кедди, – обратилась я к своей подруге, – вы, пожалуй, не удивитесь, милая, если я скажу вам, что никогда не было никакой помолвки…

– Ни предложения, ни взаимного обещания сочетаться браком, – ввернул мистер Гаппи.

– Ни предложения, ни взаимного обещания сочетаться браком, – подтвердила я, – между этим джентльменом…

– Уильямом Гаппи, проживающим на Пентон-Плейс, – пробормотал он.

– Между этим джентльменом, мистером Уильямом Гаппи, проживающим на Пентон-Плейс (Пентонвилл, графство Мидлсекс), и мною.

– Благодарю вас, мисс, – сказал мистер Гаппи, – очень обстоятельное… э… извините меня… как зовут эту леди, как

ее имя и фамилия?

Я сказала.

– Замужняя, я полагаю? – осведомился мистер Гаппи. – Замужняя. Благодарю вас. Урожденная Кэролайн Джеллиби; в девичестве проживала в Тейвис-Инне (Сити города Лондона, не числится ни в каком приходе); ныне проживает на улице Ньюмен-стрит, выходящей на Оксфорд-стрит. Очень вам признателен.

Он убежал домой, но опять вернулся бегом.

– Что касается этого предмета, я искренне и от души сожалею, что мои планы на жизнь в связи с не зависящими от меня обстоятельствами препятствуют возобновлению того, с чем некоторое время назад было навеки покончено, – сказал мне мистер Гаппи с жалким и растерянным видом, – но возобновить это невозможно. Ну, как вы думаете, *возможно* ли это? Прошу вас, ответьте.

Я ответила, что это, конечно, невозможно, – и речи быть не может. Он поблагодарил меня, побежал домой, но опять вернулся.

– Это делает вам великую честь, мисс, смею заверить, – сказал мистер Гаппи. – Если бы можно было воздвигнуть алтарь под сенью дружбы… но, клянусь душой, вы можете положиться на меня во всех отношениях, за исключением и кроме нежной страсти!

Борьба чувств, происходившая в груди мистера Гаппи и заставившая его метаться между порогом его дома и нами,

начала привлекать внимание прохожих, – тем более что волосы у молодого человека слишком отросли, а ветер дул сильный, – поэтому мы поспешили удалиться. Я ушла успокоенная, но, когда мы в последний раз оглянулись, оказалось, что мистер Гаппи все еще продолжает метаться туда-сюда, пребывая все в том же смятенном состоянии духа.

Глава XXXIX
Доверенный и клиент

Надпись «Мистер Воулс», а над нею – «Нижний этаж» начертаны на косяке одной двери в Саймондс-Инне, на Канцлерской улице, а Саймондс-Инн – небольшое полинялое унылое строение со слепыми окнами – смахивает на громадный мусорный ящик с двумя отделениями и решеткой. По-видимому, Саймонд был скряга и воздвиг это сооружение из старых строительных материалов, к которым легко пристают пыль и грязь, все, что гниет и разрушается, так что дом своим запущенным видом как бы увековечил память Саймонда, который при жизни выглядел не лучше. Это здание – точно памятник с гербом, поставленный Саймонду, и как в одной из «четвертей» герба иногда бывает начертан девиз, так в нижнем этаже Саймондс-Инна помещается юридическая контора мистера Воулса.

Контора мистера Воулса, скромная по своему характеру и укромная по местоположению, зажата в угол и щурится на глухую стену. Темная щель в три фута длиной, мощенная выбитым плитняком, ведет к черной, как деготь, двери мистера Воулса, в закоулок, где и в самое солнечное июльское утро царит непроглядная тьма, а над подвальной лестницей устроен черный навес, о который запоздалые прохожие ча-

стенько разбивают себе лоб. Контора у мистера Воулса такая тесная, что клерк может открыть дверь, не вставая с табурета, в то время как другой клерк, работающий бок о бок с ним за тем же столом, может с такой же легкостью мешать угли в камине. Зловоние, похожее на запах паршивой овцы и смешанное с запахом плесени и пыли, позволяет догадываться, что по вечерам (а нередко и днем) здесь жгут свечи из бараньего сала и перебирают пергамент в засаленных ящиках. Да и без этого запаха в конторе было бы нечем дышать, – такая она затхлая и душная. Если это помещение когда-нибудь красили и белили, то, наверное, в незапамятные времена; оба камина дымят, и все тут покрыто копотью; окна с тусклыми потрескавшимися стеклами в тяжелых подъемных рамах имеют лишь одну отличительную черту – твердую решимость вечно оставаться грязными и опущенными, если только их не принудят к противному. Поэтому в жаркую погоду между раздвинутыми челюстями наиболее ветхого из этих окон всегда вставлен пучок лучинок.

Мистер Воулс – очень почтенный человек. Практика у него небольшая, но человек он очень почтенный. Более известные поверенные, уже нажившие или еще наживающие крупные состояния, признают, что он в высшей степени почтенный человек. Он не упускает ни одного случая зашибить деньгу юридической практикой, а это признак почтенности. Он не позволяет себе никаких удовольствий, а это другой признак почтенности. Он сдержан и серьезен – еще

один признак почтенности. Пищеварение у него испорчено, что чрезвычайно почтенно. Ради своих трех дочерей он готов содрать семь шкур с одного вола, иначе говоря – с любого своего клиента. И его отец живет на его иждивении в Тоунтонской долине.

Главнейший принцип английской судебной системы сводится к тому, чтобы создавать тяжбу ради самой тяжбы на пользу самой себе. Нет другого принципа, который проводился бы столь же отчетливо, определенно и последовательно по всем ее извилистым и узким путям. Если посмотреть на нее с этой точки зрения, она покажется вполне стройной и логичной системой, а вовсе не теми непроходимыми дебрями, какими ее считают непосвященные. Но пусть они, эти непосвященные, хоть раз ясно поймут, что ее главный принцип – это создавать тяжбу ради самой тяжбы себе на пользу, а им во вред, и они, безусловно, перестанут роптать.

Но не вполне понимая это, – сознавая это лишь частично и смутно, – непосвященные не всегда охотно терпят ущерб, наносимый их душевному спокойствию, а также карману, и все-таки ропщут, притом очень громко. Тогда почтенность мистера Воулса выдвигается против них в качестве неопровержимого аргумента.

– Отменить этот законодательный акт, любезный сэр? – говорит мистер Кендж строптивому клиенту. – Отменить его, мой дорогой сэр? Никогда с этим не соглашусь. Попробуйте изменить этот закон, сэр, и вы увидите, каковы бу-

дут последствия вашей неосмотрительности для определенной категории юристов, очень достойным представителем которой, позвольте вам заметить, можно назвать поверенного противной стороны в данной тяжбе, – мистера Воулса. Сэр, эта категория юристов будет сметена с лица земли. Но вы же не можете позволить себе, скажу больше – весь общественный строй не может позволить себе обойтись без таких юристов, как мистер Воулс. Это трудолюбивые, упорные, солидные люди, большие мастера своего дела. Дорогой сэр, я понимаю, почему вы негодуете на существующее положение вещей; согласен, что вас оно не устраивает, но я никогда не подам голоса за уничтожение целой категории юристов, подобных мистеру Воулсу.

О почтенности мистера Воулса с решающим результатом упоминалось даже на заседаниях парламентских комиссий, что явствует из нижеследующего протокола беседы с одним известным поверенным.

Вопрос (номер пятьсот семнадцать тысяч восемьсот шестьдесят девятый). Если я правильно вас понимаю, ваше судопроизводство, несомненно, сопряжено с волокитой?

Ответ. Да, оно несколько медлительно.

Вопрос. И обходится очень дорого?

Ответ. Безусловно; нельзя вершить правосудие даром.

Вопрос. И вызывает всеобщее недовольство?

Ответ. Этого я не могу сказать. Во мне оно никакого недовольства не вызывает; скорее наоборот.

Вопрос. Но вы полагаете, что реформа нанесет ущерб определенной категории практикующих юристов?

Ответ. Несомненно.

Вопрос. Вы можете назвать для примера какого-либо типичного представителя этой категории?

Ответ. Да, я, не колеблясь, назову мистера Воулса. Реформа – для него разоренье.

Вопрос. Мистер Воулс считается в среде юристов почтенным человеком?

Ответ (который оказался роковым, ибо на десять лет прекратил подобные расследования). В юридическом мире мистер Воулс считается в *высшей степени* почтенным человеком.

А в дружеском разговоре не менее беспристрастные авторитеты заявляют, частным образом, что им непонятно, куда идет наш век, и утверждают, что мы катимся в пропасть, – ведь вот опять что-то отменили, а подобные перемены – гибель для таких людей, как Воулс, человек неоспоримо почтенный, который содержит отца в Тоунтонской долине и трех дочерей дома. Сделайте еще несколько шагов в этом направлении, говорят они, и что будет с отцом Воулса? Погибать ему, что ли? А куда деваться дочерям Воулса? Прикажете им сделаться белошвейками или пойти в гувернантки? Как будто мистер Воулс и его присные – мелкие вожди дикарей-людоедов, и, когда предлагается искоренить людоедство, их негодующие защитники ставят вопрос так: «Объ-

явите людоедство противозаконным, и вы уморите с голоду Воулсов!»

Итак, мистер Воулс со своими тремя дочерьми в Лондоне и отцом в Тоунтонской долине неуклонно исполняет свой долг в качестве бревна, подпирающего некое ветхое строение, которое превратилось в западню и угрожает гибелью всем. А очень многие люди в очень многих случаях рассматривают вопрос не с точки зрения перехода от Зла к Добру (о чем и речи нет), но всегда лишь с точки зрения ущерба или пользы для почтеннейшего легиона Воулсов.

Еще десять минут, и лорд-канцлер закроет заседание в последний раз перед долгими каникулами. Мистер Воулс, его молодой клиент и несколько синих мешков, набитых бумагами как попало, отчего они, словно объевшиеся удавы, сделались совершенно бесформенными, – мистер Воулс, его клиент и мешки вернулись в конторскую нору. Мистер Воулс, спокойный и невозмутимый, как и подобает столь почтенному человеку, стягивает с рук свои узкие черные перчатки, словно сдирая с себя кожу, стягивает с головы тесный цилиндр, словно снимая скальп с собственного черепа, и садится за письменный стол. Клиент швыряет свой цилиндр и перчатки на пол, отталкивает их ногой, не глядя на них и не желая знать, куда они девались, бросается в кресло, издавая не то вздох, не то стон; опускает больную голову на руку и всем своим видом являет воплощение «Юности в отчаянии».

– Опять ничего не сделано! – говорит Ричард. – Ничего, ничего не сделано!

– Не говорите, что ничего не сделано, сэр, – возражает бесстрастный Воулс. – Едва ли это справедливо, сэр… едва ли справедливо!

– Но что же именно сделано? – хмуро спрашивает Ричард.

– В этом заключается не весь вопрос, – отвечает Воулс. – Вопрос может также идти о том, что именно делается, что именно делается?

– А что же делается? – спрашивает угрюмый клиент.

Воулс сидит, облокотившись на письменный стол, и спокойно соединяет кончики пяти пальцев правой руки с кончиками пяти пальцев левой, затем так же спокойно разъединяет их и, медленно впиваясь глазами в клиента, отвечает:

– Многое делается, сэр. Мы налегли плечом на колесо, мистер Карстон, и колесо вертится.

– Да, но это колесо Иксиона. А как же мне прожить следующие четыре-пять месяцев, будь они прокляты! – восклицает молодой человек, вскочив с кресла и шагая по комнате.

– Мистер Карстон, – отвечает Воулс, не спуская глаз с Ричарда, куда бы тот ни повернулся, – вы слишком нетерпеливы, и я сожалею об этом в ваших же интересах. Извините меня, если я посоветую вам поменьше волноваться, поменьше рваться вперед. Надо бы вам получше держать себя в руках.

– Иначе говоря, надо бы мне подражать вам, мистер Во-

улс? – говорит Ричард с нетерпеливым смехом, снова присаживаясь и отбивая сапогом барабанную дробь на ковре, не украшенном никакими узорами.

– Сэр, – отвечает Воулс, не отрывая взгляда от клиента и как будто неторопливо поедая его глазами с аппетитом заядлого крючкотвора. – Сэр, – продолжает Воулс глухим, утробным голосом и с безжизненным спокойствием, – я не столь самонадеян, чтобы предлагать себя вам или кому-нибудь другому в качестве образца для подражания. Позвольте мне только оставить доброе имя своим трем дочерям, и этого с меня довольно, – я не своекорыстный человек. Но, раз уж вы столь язвительно сравниваете себя со мной, я сознаюсь, что мне хотелось бы привить вам немножко моей, – вы, сэр, склонны назвать это бесчувственностью, пусть так, ничего не имею против, скажем, бесчувственности, – немножко моей бесчувственности.

– Мистер Воулс, я не хотел обвинять вас в бесчувственности, – оправдывается несколько смущенный клиент.

– Я полагаю, что хотели, сэр, сами того не ведая, – отвечает беспристрастный Воулс. – Что ж, это очень естественно. Мой долг защищать ваши интересы хладнокровно, и я вполне понимаю, что в такое время, как теперь, когда вы так возбуждены, я могу показаться вам бесчувственным. Мои дочери, пожалуй, знают меня лучше; мой престарелый отец, возможно, знает меня лучше. Но они познакомились со мною гораздо раньше, чем вы, к тому же доверчивое око привя-

занности непохоже на подозрительное око деловых отношений. Я отнюдь не жалуюсь, сэр, на то, что око деловых отношений подозрительно, – совсем напротив. Заботясь о ваших интересах, я приветствую любую проверку, которой меня пожелают подвергнуть; меня следует проверять; я стремлюсь к тому, чтобы меня проверяли. Но ваши интересы, мистер Карстон, требуют хладнокровия и методичности с моей стороны; иначе нельзя… нет, сэр, даже ради того, чтобы доставить вам удовольствие.

Взглянув на конторскую кошку, которая терпеливо сторожит мышиную норку, мистер Воулс снова впивается глазами в молодого клиента, зачаровывая его взглядом, и продолжает глухим, как бы застегнутым на все пуговицы, едва слышным голосом, словно в нем сидит нечистый дух, который не хочет выйти наружу и не желает вещать громко.

– Вам угодно знать, сэр, что вам делать во время каникул? Полагаю, что вы, господа офицеры, можете доставить себе немало развлечений, – стоит только захотеть. Если бы вы спросили меня, что буду делать я во время каникул, мне было бы легче вам ответить. Я буду защищать ваши интересы. Меня вы всегда найдете здесь, и я день и ночь защищаю ваши интересы. Это мой долг, мистер Карстон, и для меня нет различий между судебными сессиями и каникулами. Если вы пожелаете посоветоваться со мной относительно ваших интересов, вы найдете меня здесь во всякое время. Другие юристы уезжают из города, я – нет. Я отнюдь не осуждаю

их за то, что они уезжают; я просто говорю, что сам я не уезжаю. Этот пюпитр – ваша скала, сэр!

Мистер Воулс хлопает по пюпитру, и раздается гулкий звук, кажется, будто хлопнули по крышке гроба. Но только – не Ричарду. Ему в этом звуке слышится что-то ободряющее. Быть может, мистер Воулс понимает это.

– Я отлично знаю, мистер Воулс, – говорит Ричард более дружественным и добродушным тоном, – что вы честнейший малый – другого такого на свете нет – и когда имеешь дело с вами, знаешь, что имеешь дело с опытным юристом, которого нельзя провести. Но поставьте себя на мое место: я веду беспорядочную жизнь, с каждым днем все глубже и глубже увязаю во всяких трудностях, постоянно надеюсь и постоянно разочаровываюсь, замечаю в себе самом одну перемену за другой – и все к худшему, а во всем остальном не вижу перемен к лучшему, – представьте это себе, и вы скажете, как я иногда говорю, что я в очень тяжелом положении.

– Вы уже знаете, сэр, – отзывается мистер Воулс, – что я никогда не подаю надежд. Я с самого начала сказал вам, мистер Карстон, что надежд я не подаю никогда. А в таком случае, как данный, когда большая часть судебных пошлин покрывается вычетами из спорного наследства, подавать надежды – значит не заботиться о своей репутации. Может показаться, будто я стремлюсь только к своей выгоде. И все же, когда вы говорите, что нет никаких перемен к лучшему, я должен опровергнуть ваше мнение, так как оно не соответ-

ствует действительности.

– Да? – говорит Ричард, повеселев. – Но почему вы так думаете?

– Мистер Карстон, ваши интересы защищает…

– Скала, как вы только что сказали.

– Именно, сэр! – подтверждает мистер Воулс и, покачивая головой, легонько похлопывает по пустому пюпитру, извлекая из него такой звук, что чудится, будто пепел где-то сыплется на пепел и прах сыплется на прах. – Именно скала. А это уже кое-что. Ваши интересы я защищаю отдельно от прочих, а значит, они не оттеснены чужими интересами и не затерялись среди них. Это уже кое-что. Тяжба не спит, мы ее будим, расшевеливаем, двигаем. Это уже кое-что. В тяжбе теперь фактически участвуют не одни только Джарндисы. Это уже кое-что. Никто теперь не может повернуть ее по-своему, сэр. А это уже, безусловно, кое-что.

Внезапно вспыхнув, Ричард хлопает кулаком по столу.

– Мистер Воулс! Скажи мне кто-нибудь, когда я впервые приехал к Джону Джарндису, что он не тот бескорыстный друг, каким казался, что на самом-то деле он таков, каким впоследствии мало-помалу предстал перед нами, я в самых сильных выражениях опроверг бы эту клевету и со всей своей горячностью защищал бы его. Так плохо я тогда знал жизнь! Теперь же объявляю вам, что он сделался для меня воплощением тяжбы; что если раньше она казалась мне чем-то отвлеченным, то теперь она воплотилась в Джоне Джарн-

дисе; что чем больше я страдаю, тем больше возмущаюсь им, и каждая новая проволочка, каждое новое разочарование – только новое оскорбление мне, нанесенное Джоном Джарндисом.

– Нет-нет, – возражает Воулс, – не надо так говорить. Всем нам следует быть потерпеливее. Что до меня, то я никого не осуждаю, сэр. Никогда никого не осуждаю.

– Мистер Воулс, – спорит разгневанный клиент, – вы не хуже меня знаете, что он задушил бы нашу тяжбу, будь это в его силах.

– Он не участвовал в ней активно, – соглашается мистер Воулс с притворной неохотой. – Он, безусловно, не участвовал в ней активно. Но, как бы то ни было… как бы то ни было, он, возможно, питает благие намерения. Кто может читать в сердцах, мистер Карстон?

– Вы можете, – отвечает Ричард.

– Я, мистер Карстон?

– Можете настолько, чтобы знать, какие у него намерения. Противоположны наши интересы или нет? Скажите… мне… это! – говорит Ричард, сопровождая последние три слова ударами кулаком по своей верной «скале».

– Мистер Карстон, – отзывается мистер Воулс, не делая ни малейшего движения и не мигая жадными глазами. – Я не исполнил бы своего долга в качестве вашего поверенного, я изменил бы вашим интересам, если бы назвал их совпадающими с интересами мистера Джарндиса. Они не сов-

падают, сэр. Я никогда никому не приписываю неблаговидных побуждений, ведь я – отец и сам имею отца, и я никогда никому не приписываю неблаговидных побуждений. Но я не должен отступать от своего профессионального долга, даже если это порождает семейные ссоры. Насколько я понимаю, вы сейчас советуетесь со мной как вашим поверенным относительно ваших интересов? Не так ли? В таком случае я вам отвечу, что ваши интересы не совпадают с интересами мистера Джарндиса.

– Конечно, нет! – восклицает Ричард. – Вы поняли это давным-давно.

– Мистер Карстон, – продолжает Воулс, – я не хочу говорить ничего лишнего о третьем лице. Я желаю оставить своим трем дочерям – Эмме, Джейн и Кэролайн – свое незапятнанное доброе имя вместе с маленьким состоянием, которое я, возможно, накоплю трудолюбием и усидчивостью. Кроме того, я стремлюсь сохранять хорошие отношения со своими собратьями по профессии. Когда мистер Скимпол оказал мне честь, сэр (я не скажу – очень высокую честь, ибо никогда не унижаюсь до лести), – честь свести нас с вами в этой комнате, я заявил вам, что не могу высказать вам своего мнения или дать совет касательно ваших интересов, покуда эти интересы вверены другому юристу. И я отозвался должным образом о конторе Кенджа и Карбоя, которая пользуется прекрасной репутацией. Вы, сэр, тем не менее нашли нужным отказаться от услуг этой конторы и поручить защи-

ту ваших интересов мне. Вы мне передали ее чистыми руками, сэр, и я принял ее на себя чистыми руками. Теперь эти интересы играют в моей конторе важнейшую роль. Органы пищеварения у меня работают плохо, как вы, вероятно, уже слышали от меня самого, и отдых мог бы дать мне возможность поправиться; но я не буду отдыхать, сэр, пока остаюсь вашим ходатаем. Когда бы я вам ни потребовался, вы найдете меня здесь. Вызовите меня куда угодно, и я явлюсь. В течение долгих каникул, сэр, я посвящу свой досуг все более и более пристальному изучению ваших интересов и подготовлюсь к тому, чтобы после осенней сессии Михайлова дня сдвинуть с места землю и небо (включая, конечно, и лорд-канцлера); когда же я в конечном итоге поздравлю вас, сэр, – продолжает мистер Воулс с суровостью решительного человека, – когда я в конечном итоге от всего сердца поздравлю вас с получением крупного наследства, сэр, – о чем мог бы сказать кое-что дополнительно, только я никогда не подаю надежд, – вы ничего не будете мне должны, помимо того небольшого излишка, который поверенный получает от клиента сверх полагающегося ему установленного по таксе гонорара, вычитаемого из спорного имущества. Я не предъявляю к вам никаких претензий, мистер Карстон, кроме одной: я прошу вас отдать мне должное, ибо я ревностно и энергично выполняю свои профессиональные обязанности, выполняю их отнюдь не медлительно и не по старинке, сэр. Когда же мои обязанности будут успешно выполне-

ны, мы расстанемся.

В заключение Воулс присовокупляет добавочный пункт к этой декларации своих принципов, сказав, что, поскольку мистер Карстон собирается вернуться в полк, не будет ли мистер Карстон столь любезен подписать приказ своему банкиру выдать ему, Воулсу, двадцать фунтов.

– За последнее время у меня было много мелких консультаций и совещаний, сэр, – объясняет Воулс, перелистывая свой деловой дневник, – издержек накопилось порядочно, а я не выдаю себя за богача. Когда мы с вами заключили наше теперешнее соглашение, я откровенно заявил вам, – а я придерживаюсь того принципа, что поверенный и клиент должны быть вполне откровенны друг с другом, – я откровенно заявил вам, что человек я небогатый, и если вы желаете иметь богатого поверенного, вам лучше оставить свои документы в конторе Кенджа. Нет, мистер Карстон, здесь вы не найдете ни положительных, ни отрицательных сторон богатства, сэр. Вот это, – и Воулс опять хлопает по пустому пюпитру, – ваша скала, но ни на что большее она не претендует.

Клиент, чье уныние как-то незаметно рассеялось и чьи угасавшие надежды разгорелись снова, берет перо и чернила и подписывает чек, недоуменно раздумывая и соображая, какое число на нем поставить, а это значит, что его вклад в банке довольно скуден. Все это время Воулс, застегнутый на все пуговицы как телесно, так и душевно, не отрывает от него пристального взгляда. Все это время кошка, прижившаяся в

конторе Воулса, следит за мышиной норкой.

Но вот наконец клиент пожимает руку мистеру Воулсу, умоляя его ради самого неба и ради самой земли сделать все возможное, чтобы «вызволить его» из Канцлерского суда. Мистер Воулс, никогда не подающий надежд, кладет ладонь на плечо своего клиента и с улыбкой отвечает:

– Я всегда здесь, сэр. Если вы пожелаете обратиться ко мне лично или письменно, вы всегда найдете меня здесь, сэр, и я буду плечом подталкивать колесо.

Так они расстаются, и Воулс, оставшись один, выписывает из своего делового дневника разные разности и переносит их в счетную книгу на благо своим трем дочерям. Так трудолюбивая лисица или медведь, быть может, подсчитывают добытых цыплят или заблудившихся путников, собираясь кормить ими своих детенышей, которым, впрочем, никак нельзя уподобить троих застегнутых на все пуговицы некрасивых, сухопарых девиц, обитающих вместе со своим родителем Воулсом в Кеннигтоне, где они занимают грязный коттедж, расположенный в болотистом саду.

Выйдя из непроглядного мрака Саймондс-Инна на залитую солнцем Канцлерскую улицу – сегодня и здесь, оказывается, светит солнце, – Ричард шагает в задумчивости, потом сворачивает к Линкольнс-Инну и прохаживается в тени линкольнс-иннских деревьев. Часто падала узорная тень этих деревьев на многих подобных прохожих, и все они были на один лад: понурая голова, обгрызенные ногти, хмурый взор,

замедленный шаг, мечтательный вид человека, не знающего, что с собой делать; все доброе, что было в душе, разъело ее и разъедено само; вся жизнь испорчена. Этот прохожий еще не оборван, но, может быть, и он когда-нибудь станет оборванцем. Канцлерский суд, черпающий мудрость только в Прецедентах, очень богат подобными «Прецедентами», так почему же один человек должен отличаться от десятка тысяч других людей?

Но упадок его начался еще так недавно, что, уходя отсюда и неохотно покидая на несколько долгих месяцев это место, хоть и столь ему ненавистное, Ричард, быть может, думает, что попал в какое-то исключительное положение. На сердце у него тяжело от терзающих забот, напряженного ожидания, недоверия и сомнения, и он, быть может, скорбно спрашивает себя, вспоминая о том дне, когда впервые пришел сюда, почему сегодняшний день так не похож на тот, почему он, Ричард, так не похож на того юношу, каким он был тогда, почему вся его душа так не похожа на его прежнюю душу. Но несправедливость порождает несправедливость; но когда борешься с тенями и они тебя побеждают, хочется создать себе реального противника; но когда тяжба твоя неосязаема и разобраться в ней не может никто, ибо время для этого давно миновало, чувствуешь горькое облегчение, нападая на друга, который мог бы тебя спасти от гибели, и в нем хочешь видеть своего врага. Ричард сказал Воулсу правду. В каком бы состоянии духа он ни был, в ожесточенном или смягчен-

ном, он все равно винит в своих горестях этого друга, ибо друг мешал ему достичь цели, к которой он, Ричард, стремился; а ведь если у него и может быть цель, то лишь та, которая ныне поглощает его целиком; кроме того, противник и угнетатель из плоти и крови служит ему самооправданием.

Значит ли это, что Ричард – чудовище? Или, может быть, Канцлерский суд оказался бы очень богат такими «Прецедентами», если б о них удалось получить справку у того ангела, который ведает деяниями человеческими?

Две пары глаз, привыкших видеть таких юношей, как Ричард, смотрят ему вслед, когда он, кусая ногти и погруженный в тяжелые думы, пересекает площадь и скрывается из виду в тени южных ворот. Обладатели этих глаз, мистер Гаппи и мистер Уивл, разговаривают, опершись на невысокий каменный парапет под деревьями. Ричард прошел мимо, совсем близко от них, ничего не замечая, кроме земли у себя под ногами.

– Уильям, – говорит мистер Уивл, расправляя бакенбарды, – вот оно где, горение-то! Только это не самовозгорание, а тление – вот это что.

– Да! – отзывается мистер Гаппи. – Теперь уж ему не выпутаться из тяжбы Джарндисов, а в долгах он по уши, надо думать. Впрочем, я о нем мало что знаю. Когда он поступил на испытание к нам в контору, он на всех свысока смотрел – будто на Монумент залез. У нас он и в клерках служил, и клиентом был, но, кем бы он ни был, хорошо, что я от него

избавился! Да, Тони, так вот, значит, чем они занимаются, как я уже тебе говорил.

Снова скрестив руки, мистер Гаппи опять прислоняется к парапету и продолжает интересный разговор.

– Все еще занимаются этим, – говорит мистер Гаппи, – все еще производят учет товаров, все еще пересматривают бумаги, все еще роются в горах всякой рухляди, этак они и лет за семь не управятся.

– А Смолл им помогает?

– Смолл от нас уволился – за неделю предупредил об уходе. Сказал Кенджу, что его дедушка не справляется со своими делами – трудно стало старику, – а ему, Смоллу, выгодно заняться ими. Между мною и Смоллом возникло охлаждение из-за того, что он был таким скрытным. Но он сказал, что мы с тобой первые начали скрытничать, – и, конечно, был прав, ведь мы и впрямь скрывали от него кое-что, – ну, я тогда опять подружился с ним. Вот как я узнал, что они все еще этим занимаются.

– Ты туда ни разу не заходил?

– Тони, – говорит мистер Гаппи, немного смущенный, – говоря откровенно, мне не очень-то хочется идти в этот дом – разве что с тобой вместе; поэтому я туда не заходил и поэтому предложил тебе встретиться сегодня со мною, чтобы забрать оттуда твои вещи. Теперь час пробил! Тони, – мистер Гаппи становится таинственно и вкрадчиво красноречивым, – я должен еще раз внушить тебе, что не зависящие

от меня обстоятельства произвели прискорбные перемены и в моих планах на жизнь, самых для меня дорогих, и в том отказавшем мне во взаимности образе, о котором я раньше говорил тебе как другу. Тот образ теперь развенчан, и тот кумир повержен. Что касается документов, которые я задумал было достать с твоей дружеской помощью и представить в суд в качестве вещественных доказательств, то единственное мое желание – бросить всю эту затею и предать ее забвению. Считаешь ли ты возможным, считаешь ли ты хоть сколько-нибудь вероятным (спрашиваю тебя, Тони, как друга), – ведь ты был знаком с этим взбалмошным и скрытным стариком, который пал жертвой… самопроизвольной огненной стихии; считаешь ли ты, Тони, хоть сколько-нибудь вероятным, что он тогда передумал и запрятал куда-то письма, после того как ты в последний раз виделся с ним, и что они в ту ночь не сгорели?

Мистер Уивл некоторое время размышляет. Качает головой. Говорит, что это совершенно невероятно.

– Тони, – продолжает мистер Гаппи, направляясь к переулку, где жил Крук, – еще раз пойми меня как друг. Не входя в дальнейшие объяснения, я могу повторить, что тот кумир повержен. Теперь единственная моя цель – все предать забвению. Я дал обет сделать это. И я должен выполнить свой обет и ради самого себя, ради развенчанного образа, и вследствие не зависящих от меня обстоятельств. Если бы ты хоть одним движением руки, хоть взмахом ресниц намекнул мне,

что где-то в твоем прежнем жилище лежат бумаги, хоть чуть-чуть похожие на те письма, я бросил бы их в огонь, сэр, под свою личную ответственность.

Мистер Уивл кивает. Мистер Гаппи возвысился до небес в собственных глазах после того, как высказал эти отчасти юридические, отчасти романтические соображения – ибо этот джентльмен обожает разговаривать в форме допроса и изъясняться в форме резюме или судебной речи, – и сейчас он с достойным видом шествует в сопровождении друга к переулку.

Ни разу, с тех пор как он стал переулком, не доставался ему такой «фортунатов кошель» сплетен, каким оказались события, происходящие в лавке умершего старьевщика. Ежедневно, в восемь часов утра, мистера Смоллуида-старшего подвозят к перекрестку и несут в лавку в сопровождении миссис Смоллуид, Джуди и Барта, и ежедневно все они сидят там весь день напролет, до девяти вечера, наскоро, по-походному, подкрепляясь не очень сытными яствами, доставленными из кухмистерской, и весь день напролет ищут и рыщут, роются и копаются, и ныряют в сокровищах дорогого покойника. Что это за сокровища – неизвестно, ибо наследники скрывают тайну так тщательно, что переулок прямо бесится. В бреду любопытства ему мерещатся гинеи, которые сыплются из чайников, чаши для пунша, до краев полные кронами, старые кресла и тюфяки, набитые ценными бумагами Английского банка. Переулок покупает за шесть пен-

сов историю мистера Дэниела Дансера и его сестры (с ярко раскрашенной картинкой на складной вклейке), а также – историю мистера Ивса, уроженца Саффолка, и все события этих достоверных историй приписывает биографии мистера Крука. Дважды вызывали мусорщика, чтобы увезти воз бросовой бумаги, золы и разбитых бутылок, и когда мусорщик приезжал, весь переулок собирался и рылся в его корзинах. Не раз люди видели, как оба джентльмена, пишущие хищными перышками на листках тонкой бумаги, снуют по всему околотку, избегая друг друга, так как их недавнее содружество распалось. «Солнечный герб» устраивает Гармонические вечера, умело извлекая выгоду из этих волнующих событий. Маленького Суиллса вознаграждают громкими аплодисментами за «речитативные» (как выражаются музыканты) намеки на эти события, и певец вдохновенно вставляет в свои обычные номера отсебятину, посвященную этой теме. Даже мисс М. Мелвилсон, исполняя снова вошедшую в моду каледонскую песенку «Мы дремлем», подчеркивает фразу «собаки обожают варево» (какое именно, неизвестно) с таким лукавством и таким кивком в сторону соседнего дома, что все мгновенно понимают ее намек на мистера Смоллуида, который обожает находить деньги, и в награду дважды вызывают ее на бис. Тем не менее переулок не может ничего узнать, и, как сообщают миссис Пайпер и миссис Перкинс бывшему жильцу Крука, чье появление служит сигналом к общему сбору, обыватели беспрерывно находятся в состоя-

нии брожения, томимые жаждой узнать все и даже больше.

Глаза всего переулка устремлены на мистера Уивла и мистера Гаппи, когда они стучат в запертую дверь дома, принадлежавшего дорогому покойнику, достигая тем самым вершины своей популярности. Когда же их, против всеобщего ожидания, впускают в дом, они тотчас же теряют популярность и даже начинают вызывать подозрение – от них, мол, ничего хорошего не жди.

Во всем доме ставни закрыты более или менее плотно, а в нижнем этаже так темно, что не худо бы зажечь там свечи. Мистер Смоллуид-младший ведет приятелей в заднюю комнату при лавке, где они, придя прямо с улицы, залитой солнцем, сначала не видят ничего – такая здесь тьма. Но вот мало-помалу они различают мистера Смоллуида-старшего, сидящего в своем кресле на краю не то колодца, не то могилы, набитой рваной бумагой, в которой добродетельная Джуди роется, как могильщица, тогда как миссис Смоллуид приютилась поблизости на полу в целом снежном сугробе из обрывков печатных и рукописных бумаг, которыми ее любезно осыпали весь день вместо комплиментов. Вся эта компания, и Смолл в том числе, почернела от пыли и грязи и приобрела какой-то бесовский вид, под стать виду самой комнаты. А комната, сейчас пуще прежнего заваленная хламом и рухлядью, стала еще грязнее, – если только можно было покрыться более толстым слоем грязи, – и в ней остались жуткие следы ее покойного обитателя и даже его надписи мелом на стене.

При входе посетителей мистер Смоллуид и Джуди немедленно складывают руки и прекращают свои раскопки.

– Ага! – каркает старик. – Как поживаете, джентльмены? Как поживаете? Пришли забрать свое имущество, мистер Уивл? Прекрасно, прекрасно. Ха! Ха! А не приди вы за ним вовремя, нам пришлось бы его распродать, чтобы выручить плату за хранение. Вы здесь опять чувствуете себя как дома, надо полагать? Рад вас видеть, рад вас видеть!

Мистер Уивл благодарит его и озирается. Взгляд мистера Гаппи следует за взглядом мистера Уивла. Взгляд мистера Уивла возвращается к исходной точке, не обнаружив ничего нового. Взгляд мистера Гаппи тоже возвращается к исходной точке и встречается со взглядом мистера Смоллуида. Приветливый старец все еще лепечет как заведенный механизм, завод которого скоро кончится: «Как поживаете, сэр… как вы… как…» Но вот завод кончился, и старик, запнувшись, ухмыляется молча, а мистер Гаппи вздрагивает, заметив мистера Талкингхорна, который стоит в темном углу напротив, заложив руки за спину.

– Этот джентльмен был так добр, что согласился взять на себя хлопоты по моим делам, – говорит дедушка Смоллуид. – Я неподходящий клиент для столь прославленного юриста, но он такой любезный!

Мистер Гаппи слегка подталкивает локтем приятеля, побуждая его еще раз оглянуться кругом, и суетливо кланяется мистеру Талкингхорну, который отвечает легким кивком.

Мистер Талкингхорн смотрит перед собой с таким видом, словно ему нечего делать и даже, пожалуй, немного забавно видеть нечто для него новое.

– Тут, наверное, много всякого добра, сэр, – говорит мистер Гаппи мистеру Смоллуиду.

– Да все больше хлам и тряпье, дорогой мой друг! Хлам и тряпье! Мы с Бартом и моей внучкой Джуди стараемся сделать опись того, что годится для продажи. Но пока что набрали немного; мы… набрали… немного… ха!

Завод мистера Смоллуида опять кончился; тем временем взгляд мистера Уивла, сопровождаемый взглядом мистера Гаппи, снова обежал комнату и вернулся к исходной точке.

– Ну, сэр, – говорит мистер Уивл, – мы больше не станем вам докучать, так позвольте нам пройти наверх.

– Куда угодно, дорогой сэр, куда угодно! Вы у себя дома. Будьте как дома, прошу вас!

Торопясь наверх, мистер Гаппи вопросительно поднимает брови и смотрит на Тони. Тони качает головой. Войдя в его прежнюю комнату, они видят, что она все такая же мрачная и зловещая, а под заржавленной каминной решеткой все еще лежит пепел от угля, горевшего в ту памятную ночь. Приятелям очень не хочется ни к чему прикасаться, и, прежде чем дотронуться до какой-нибудь вещи, они тщательно сдувают с нее пыль. Вообще у них нет ни малейшего желания задерживаться здесь, поэтому они спешат поскорей уложить скудное движимое имущество Тони и, не решаясь говорить

громко, только перешептываются.

– Смотри! – говорит Тони, отшатываясь. – Опять эта ужасная кошка… лезет сюда!

Мистер Гаппи прячется за кресло.

– Мне про нее Смолл говорил. В ту ночь она прыгала и кидалась на все и всех, рвала что попало когтями, как сущий дракон, потом забралась на крышу, недели две там шаталась и наконец шлепнулась вниз через дымовую трубу, худая, как скелет. Видал ты такую бестию? Смотрит, как будто все понимает, правда? Точь-в-точь как сам Крук! Брысь! Пошла вон, ведьма!

Стоя в дверях, хвост трубой и по-тигриному разинув пасть от уха да уха, Леди Джейн, как видно, не намерена повиноваться; но тут входит мистер Талкингхорн и спотыкается о нее, а она фыркает на его поношенные брюки, злобно шипит и, выгнув спину дугой, мчится вверх по лестнице. Может быть, ей опять захотелось побродить по крышам и вернуться домой через дымовую трубу.

– Мистер Гаппи, можно сказать вам несколько слов? – осведомляется мистер Талкингхорн.

Мистер Гаппи занят – он снимает со стены гравюры из «Галереи Звезд Британской Красоты» и укладывает эти произведения искусства в старую замызганную шляпную картонку.

– Сэр, – отвечает он, краснея, – я стремлюсь обходиться вежливо со всеми юристами и особенно, смею заверить, с та-

ким знаменитым, как вы… добавлю искренне, сэр, – со столь прославленным, как вы. Тем не менее, мистер Талкингхорн, если вы желаете сказать мне несколько слов, сэр, я могу выслушать вас лишь при том условии, что вы скажете их в присутствии моего друга.

– Вот как? – говорит мистер Талкингхорн.

– Да, сэр. У меня есть на то причины – отнюдь не личного характера, но мне они представляются вполне уважительными.

– Бесспорно, бесспорно. – Мистер Талкингхорн совершенно невозмутим, точь-в-точь каменная плита перед камином, к которому он неторопливо подошел. – Но дело это не столь важное, мистер Гаппи, чтобы вы из-за меня трудились ставить какие-то условия. – Он делает паузу и усмехается, а усмешка у него такая же тусклая и потертая, как его брюки. – Вас можно поздравить, мистер Гаппи; вы удачливый молодой человек, сэр.

– Похоже на то, мистер Талкингхорн; я не жалуюсь.

– Какие тут жалобы!.. Великосветские друзья, свободный вход в знатные дома, доступ к элегантным леди! В Лондоне найдется немало людей, которые дали бы уши себе отрезать, лишь бы очутиться на вашем месте, мистер Гаппи.

Мистер Гаппи отвечает с таким видом, словно он сам дал бы себе отрезать свои все гуще и гуще краснеющие уши, только бы сейчас сделаться одним из этих людей и перестать быть самим собой:

– Сэр, если я занимаюсь своим делом и выполняю все, что от меня требуется у Кенджа и Карбоя, то мои друзья и знакомые не должны интересовать ни моих хозяев, ни любых других юристов, в том числе мистера Талкингхорна. Я не обязан давать более подробные объяснения, и при всем моем уважении к вам, сэр, и, не в обиду будь сказано… повторяю, не в обиду будь сказано…

– Ну, конечно!

– …я вообще не желаю давать никаких объяснений.

– Так, так… – отзывается мистер Талкингхорн, невозмутимо кивая головой. – Прекрасно… Я вижу по этим портретам, что вы весьма интересуетесь высшим светом, сэр?

С этими словами он обращается к удивленному Тони, и тот признает справедливость этого обвинения, впрочем не очень тяжкого.

– Это похвально и свойственно большинству англичан, – отмечает мистер Талкингхорн.

Все это время он стоял на предкаминной плите спиной к закопченному камину, а теперь оглядывается вокруг, приложив к глазам очки.

– Кто это? «Леди Дедлок». Хм! В общем, очень похожий портрет, но недостаточно выразительно передана сила характера. Всего доброго, джентльмены, всего доброго!

После его ухода мистер Гаппи, обливаясь потом, собирается с силами и спешит снять со стен последние портреты из «Галереи Звезд Британской Красоты», причем леди Дедлок

он снимает под самый конец.

– Тони, давай-ка поскорей уложим вещи и вон отсюда, – возбужденно говорит он своему изумленному товарищу. – Не стоит больше скрывать от тебя, Тони, что с одной из представительниц этой лебединой стаи аристократок – той самой, чей портрет я сейчас держу в руках, у меня когда-то бывали тайные встречи и беседы. Могло наступить такое время, когда я мог бы открыть все это тебе. Но оно никогда не наступит. Данная мною клятва, поверженный кумир, а также не зависящие от меня обстоятельства требуют, чтобы все это было предано забвению. Я прошу тебя как друг, во имя твоего интереса к светской хронике и в память о тех небольших займах, которыми я, возможно, помогал тебе, предай все это забвению, не задав мне ни единого вопроса!

Эту просьбу мистер Гаппи высказывает в состоянии, близком к умопомешательству на почве юриспруденции, а душевное смятение его друга проявляется во всей его шевелюре и даже в холеных бакенбардах.

Глава XL
Дела государственные и дела семейные

Не одну неделю находится Англия в ужасном состоянии. Лорд Кудл подал в отставку, сэр Томас Дудл не пожелал принять пост, а так как, кроме Кудла и Дудла, во всей Великобритании не было никого (о ком стоило бы говорить), то в ней не было и правительства. К счастью, поединок между этими великими людьми, одно время казавшийся неминуемым, не состоялся, – ведь если бы оба пистолета выстрелили и Кудл с Дудлом укокошили один другого, Англии, надо думать, пришлось бы дожидаться правительства до тех пор, пока не вырастут маленький Кудл и маленький Дудл, ныне бегающие в платьицах и длинных чулках. Но это грозное национальное бедствие предотвратил лорд Кудл, который вовремя спохватился и признал, что, выражая в пылу полемики ненависть и презрение ко всей позорной деятельности сэра Томаса Дудла, он хотел сказать только то, что партийные разногласия никогда не помешают ему воздать этой деятельности дань самого горячего восхищения; с другой стороны, как весьма своевременно выяснилось, сэр Томас Дудл в глубине души считает лорда Кудла воплощением доблести и чести, каковым он и останется в памяти потомства. И все

же Англия не одну неделю находилась в гнетуще затруднительном положении, так как не имела кормчего (по удачному выражению сэра Лестера Дедлока), способного бороться со штормом; хотя сама Англия, как ни странно, по-видимому, не очень беспокоилась, а продолжала есть и пить, сочетаться браком и выдавать замуж, как и во времена допотопной древности. Но Кудл видел опасность, и Дудл видел опасность, и все их сторонники и приспешники совершенно ясно предвидели опасность. Наконец сэр Томас Дудл не только соблаговолил принять пост, но сделал это, что называется, на широкую ногу, притащив с собой и приняв на службу всех своих племянников, всех своих двоюродных братьев и всех своих зятьев. Таким образом, надежда для старого корабля еще не потеряна.

И вот Дудл решил, что пора ему воззвать к стране – преимущественно в виде соверенов и пива. Перевоплотившись в то и другое, он доступен во множестве мест сразу и сам может взывать к значительной части населения одновременно. Сейчас Британия ревностно прикарманивает Дудла в виде соверенов и проглатывает Дудла в виде пива, клянясь до исступления, что не делает ни того, ни другого, – только стремится к вящему расцвету своей славы и укреплению нравственности, – а лондонский сезон внезапно заканчивается, так как все дудлисты и кудлисты разъезжаются, чтобы помочь Британии, занятой священнодействием выборов в парламент.

Поэтому домоправительница Дедлоков миссис Раунсуэлл, – хоть она и не получила никаких приказаний, – предвидит, что в Чесни-Уолд скоро приедут господа вместе с немалой толпой родственников и других лиц, способных так или иначе содействовать важному делу, предусмотренному конституцией. И поэтому величавая старуха, схватив Время за вихор, водит его вверх и вниз по лестницам, по галереям, коридорам и комнатам, дабы оно теперь же – пока не успеет еще немного постареть, – удостоверилось, что все приведено в порядок: полы натерты до блеска, ковры разостланы, из драпировок выбита пыль, постели оправлены, подушки взбиты, кладовые и кухни вымыты и готовы к услугам, – словом, весь дом имеет тот вид, какой подобает достоинству его хозяев – Дедлоков.

Сегодня, в этот летний вечер, приготовления оканчиваются к закату солнца. Печальным и торжественным кажется старый дом, где жить очень удобно, но нет обитателей, если не считать портретов на стенах. «И они приходили и уходили, – мог бы сказать в раздумье какой-нибудь ныне здравствующий Дедлок, проходя мимо этих портретов, – и они видели эту галерею такой же безлюдной и безмолвной, какой я вижу ее сейчас; и они воображали, как воображаю я, что пусто станет в этом поместье, когда они уйдут; и им трудно было поверить, как трудно мне, что оно может обходиться без них; и они сейчас исчезли для меня, как я исчез для них, закрыв за собой дверь, которая захлопнулась с шумом, гул-

ко раскатившимся по дому; и они преданы равнодушному забвению; и они умерли».

Но вот запылали стекла окон, выходящих на запад, прекрасные, когда на них смотришь снаружи, и в этот закатный час словно вставленные не в тусклый серый камень, а в сверкающий золотой чертог, и свет, погаснув в остальных окнах, хлынул внутрь, богатый, щедрый, и затопил комнаты, как летнее изобилие затопляет поля. И тогда начинают оттаивать застывшие Дедлоки. Странно оживают их черты, когда тени листьев шевелятся в галерее. Надутый судья в углу, увлекшись, невольно подмигивает. У баронета – с тупо вытаращенными глазами и жезлом в руке – появляется ямочка на подбородке. В грудь каменной пастушки проникает луч света и тепла, и будь это сто лет назад, он мог бы ее согреть. Прабабушка Волюмнии, в туфлях на высоких каблучках и очень похожая на правнучку (лицо прабабки за целых два века предсказало появление на свет этой девственницы), испускает сияние, уподобляясь святой в ореоле. Фрейлина Карла Второго с большими круглыми глазами (и прочими прелестями под стать глазам) словно купается в пылающих водах, что, пылая, струятся.

Но пламя солнца гаснет. Полы уже во мгле, и тень медленно ползет вверх по стене, разя Дедлоков, как старость и смерть. И вот на портрет миледи, висящий над огромным камином, падает вещая тень какого-то старого дерева, и портрет бледнеет, трепещет, и чудится, будто чья-то огромная ру-

ка держит не то покрывало, не то саван, ожидая случая набросить его на миледи. Все темнее становится тень, все выше она поднимается по стене… вот уже потолок окутан красноватым сумраком… вот огонь погас.

Вся перспектива парка, с террасы казавшаяся такой близкой, торжественно отошла куда-то вдаль и преобразилась, как многие из тех красот, что кажутся нам столь же близкими и так же преобразятся, обратившись в далекий призрак. Поднимаются легкие туманы, падает роса, и воздух тяжел от сладостных благоуханий сада. Вот, превращаясь в огромные лесные массивы, сливаются друг с другом рощи, и каждая стала как бы одним густолиственным деревом. Вот, разлучая деревья, всходит луна и, постелив между стволами светлые дорожки, мостит светом аллею под высокими, как в соборе, причудливо изломанными сводами.

А теперь луна стоит уже высоко, и огромный дом, по-прежнему безлюдный, напоминает тело, покинутое жизнью. Теперь, прокрадываясь по комнатам, жутко думать даже о живых людях, которые когда-то спали в этих уединенных опочивальнях, а об умерших – тем более. Теперь настало время теней, когда каждый угол кажется пещерой, каждая ступенька вниз – ямой; когда цветные стекла в окнах отбрасывают на пол бледные, блеклые пятна; когда толстые балки на лестнице можно принять за что угодно и за все на свете, только не за балки; когда тусклые отблески падают на доспехи, и не поймешь, отблески это падают или доспехи, кра-

дучись, движутся, а в шлемах с опущенными забралами мерещатся страшные головы. Но из всех теней в Чесни-Уолде тень на портрете миледи в продолговатой гостиной ложится первой и уползает последней. В этот поздний час, при лунном свете, тень походит на зловещие руки, поднятые вверх и с каждым дуновением ветра угрожающие прекрасному лицу.

– Ей нехорошо, сударыня, – говорит один из грумов в приемной миссис Раунсуэлл.

– Миледи нездорова? Что с ней такое?

– Да миледи все время прихварывает, сударыня, с тех самых пор, как в последний раз приезжала сюда, – не со всей родней приезжала, сударыня, но одна; я говорю о том, когда она сюда заглянула, так сказать, вроде перелетной птицы. Миледи выходит из дома реже, чем всегда, и подолгу сидит у себя в покоях.

– В Чесни-Уолде, Томас, миледи поправится! – говорит домоправительница с гордым самодовольством. – Лучшего воздуха и более здоровой местности во всем свете не сыщешь!

Насчет этого Томас, возможно, придерживается собственных взглядов и, пожалуй, даже по-своему намекает на них, приглаживая лоснящиеся волосы от затылка к вискам, но высказаться яснее не хочет и уходит в людскую подкрепиться холодным мясным паштетом и элем.

Этот грум – рыба-лоцман, плывущая впереди более благородной рыбы, акулы. На следующий вечер прибывают сэр

Лестер и миледи, и с ними их свита в полном составе, а родственники и другие гости съезжаются со всех четырех сторон. С этого дня и в течение нескольких недель по тем областям страны, к которым Дудл взывает в виде золотого и пивного ливня, какие-то таинственные личности без громких имен носятся с деловитым видом, хотя все они просто-напросто беспокойные натуры и никогда ничего не делают, где бы они ни были.

Сэр Лестер находит, что во время событий государственного значения родственники приносят пользу. У достопочтенного Боба Стейблса нет соперников в искусстве занимать охотников за обедом. У прочих родственников нет соперников в уменье объезжать избирательные участки и трибуны и распинаться за интересы Англии. Волюмния немножко бестолкова, но породиста, и многие ценят ее бойкую болтовню и французские каламбуры, такие старые, что в круговороте времен они приобрели прелесть новизны, многие дорожат честью вести обольстительную Дедлок к столу и даже привилегией танцевать с нею. Когда совершаются события государственного значения, патриотическому делу можно послужить и танцами, и Волюмния неустанно пляшет ради неблагодарного отечества, отказавшего ей в пенсии.

Миледи не очень старается занимать толпу гостей и, все еще чувствуя недомогание, обычно выходит из своих покоев только во второй половине дня. Но на всех унылых обедах и гнетущих завтраках, на балах, словно скованных взглядом

василиска, и на прочих тоскливых празднествах уже одно ее появление вносит приятное разнообразие. Что касается сэра Лестера, ему и в голову не приходит, что те, кому посчастливилось быть принятыми в его доме, могут хоть в чем-нибудь нуждаться, и, пребывая в состоянии божественного удовлетворения, он вращается в обществе гостей, напоминая великолепный холодильник.

День за днем родственники трусят по пыли и скачут по придорожному дерну, объезжая избирательные участки и трибуны (в кожаных рукавицах и с арапниками, когда снуют по деревням, и в лайковых перчатках и с хлыстиками, когда снуют по городкам), и день за днем привозят донесения, по поводу которых сэр Лестер разглагольствует после обеда. День за днем эти беспокойные люди, обычно не имеющие решительно никаких занятий, кажутся по горло занятыми. День за днем Волюмния по-родственному болтает с сэром Лестером о положении нации, и сэр Лестер склоняется к выводу, что Волюмния вдумчивей, чем он полагал.

– Как наши дела? – спрашивает Волюмния, сжимая руки. – *Все ли* у нас благополучно?

Грандиозная кампания теперь уже почти закончилась, и через несколько дней Дудл перестанет взывать к стране. Сэр Лестер отобедал и только что появился в продолговатой гостиной – яркая звезда, сверкающая сквозь тучи родственников.

– Волюмния, – ответствует сэр Лестер, держа в руках ка-

кой-то список, – наши дела идут сносно.

– Только сносно!

Настало лето, и погода теплая, но по вечерам специально для сэра Лестера топят камин. Сэр Лестер садится на свое любимое место, отгороженное экраном от камина, и очень решительным, но чуть-чуть недовольным тоном – словно желая сказать: «*Я не* обыкновенный человек, и если говорю «сносно», это слово не следует понимать в его обычном значении», – повторяет:

– Волюмния, наши дела идут сносно.

– *У вас-то*, во всяком случае, нет противников, – уверенно говорит Волюмния.

– Да, Волюмния. Наша обезумевшая страна, как это ни печально, во многих отношениях утратила здравый смысл, но…

– Все-таки еще не настолько свихнулась, чтобы дойти до этого. Приятно слышать!

Удачно закончив фразу сэра Лестера, Волюмния вернула себе его благосклонность. Сэр Лестер, милостиво наклонив голову, как будто говорит себе: «В общем, она неглупая женщина, хотя порой говорит не подумав».

И в самом деле, обольстительная Дедлок совершенно напрасно подняла вопрос о противниках – ведь на всех выборах сэр Лестер неизменно выставляет свою кандидатуру, как своего рода крупный оптовый заказ, который следует выполнить срочно. Два других принадлежащих ему парламент-

ских места он считает как бы розничными заказами меньшего значения и просто направляет своим «поставщикам» угодных ему кандидатов с приказанием: «Будьте любезны изготовить из этих материалов двух членов парламента и по выполнении заказа прислать их на дом».

– Должен признать, Волюмния, что во многих местах народ, к прискорбию, выказал дурное умонастроение и на этот раз оппозиция правительству носила самый решительный и неукротимый характер.

– Пр-роходимцы! – бормочет Волюмния.

– Больше того, – продолжает сэр Лестер, окидывая взором родственников, расположившихся кругом на диванах и оттоманках, – больше того, даже во многих местах, точнее, почти во всех тех местах, где правительство одержало победу над некоей кликой…

(Заметим кстати, что кудлисты всегда обзывают дудлистов «кликой», а дудлисты платят тем же кудлистам.)

– …даже в этих местах, как я вынужден сообщить вам с краской стыда за англичан, наша партия восторжествовала лишь ценою огромных затрат. Сотни, – уточняет сэр Лестер, оглядывая родственников со все возрастающим достоинством и обостряющимся негодованием, – сотни тысяч фунтов пришлось истратить!

Есть у Волюмнии небольшой грешок – слишком она наивна, а наивность очень идет к детскому платьицу с широким кушаком и нагрудничку, но как-то не вяжется с румяна-

ми и жемчужным ожерельем. Так или иначе Волюмния по наивности вопрошает:

– Истратить? На что?

– Волюмния! – с величайшей суровостью выговаривает ей сэр Лестер. – Волюмния!

– Нет-нет, я не хотела сказать «на что», – спешит оправдаться Волюмния, взвизгнув по привычке. – Какая я глупая! Я хотела сказать: «Очень грустно!»

– Я рад, – отзывается сэр Лестер, – что вы хотели сказать: «Очень грустно».

Волюмния спешит высказать убеждение, что этих противных людей необходимо судить как предателей и силой заставить их поддерживать «нашу партию».

– Я рад, Волюмния, – повторяет сэр Лестер, не обращая внимания на эту попытку умаслить его, – что вы хотели сказать: «Очень грустно». Конечно, это позор для избирателей. Но раз уж вы, хоть и нечаянно, хоть и не желая задать столь неразумный вопрос, спросили меня: «На что?» – позвольте мне вам ответить. На неизбежные расходы. И, полагаясь на ваше благоразумие, Волюмния, я надеюсь, что вы не будете говорить на эту тему ни здесь, ни в других местах.

Обращаясь к Волюмнии, сэр Лестер считает своим долгом сохранять суровое выражение лица, так как в народе поговаривают, будто примерно в двухстах петициях по поводу выборов эти «неизбежные расходы» будут откровенно и бесцеремонно названы «подкупом», а некоторые безбожные

шутники уже предложили исключить из церковной службы обычную молитву «за парламент» и посоветовать прихожанам вместо этого молиться за шестьсот пятьдесят восемь джентльменов, «болящих и недугующих».

– Я думаю, – снова начинает Волюмния, оправившись, после небольшой передышки, от недавней экзекуции, – я думаю, мистер Талкингхорн заработался до смерти.

– Не знаю, с какой стати мистеру Талкингхорну зарабатываться до смерти, – возражает сэр Лестер, открывая глаза. – Я не знаю, чем занят мистер Талкингхорн. Он не выставлял своей кандидатуры.

Волюмния полагает, что его услугами пользовались. Сэр Лестер желает знать: кто пользовался и для чего именно? Волюмния, вторично посрамленная, предполагает, что кто-нибудь… для консультации и устройства дел. Сэр Лестер не имеет понятия, нуждался ли какой-нибудь клиент мистера Талкингхорна в услугах своего поверенного.

Леди Дедлок, сидя у открытого окна и облокотившись на подушку, лежащую на подоконнике, не отрывает глаз от вечерних теней, падающих на парк, но с тех пор, как заговорили о поверенном, она как будто начинает прислушиваться к беседе.

Один из родственников, томный, усатый кузен, развалившийся на диване в полном изнеможении, сообщает, что кто-то сказал ему вчера, будто Талкингхогн ездил в эти, как их… железные области… на консультацию п'какому-то де'у, и раз

уж дгака сегодня закончилась, вот было бы здогово, явись он с известием, что кандидата кудлистов пговалили с тгеском.

Меркурий, разнося кофе, докладывает сэру Лестеру, что приехал мистер Талкингхорн и сейчас обедает. Миледи на мгновение оборачивается, потом снова начинает смотреть в окно.

Волюмния счастлива, что ее Любимец здесь. Он такой оригинал, такой солидный господин, такой поразительный человек, который знает столько всякой всячины, но никогда ни о чем не рассказывает! Волюмния убеждена, что он франкмасон. Наверное, он возглавляет какую-нибудь ложу, – наденет короткий фартук, и все ему поклоняются, словно идолу, а вокруг все свечи, свечи и лопаточки. Все эти бойкие фразы обольстительная Дедлок пролепетала, как всегда, ребяческим тоном, продолжая вязать кошелек.

– С тех пор как я сюда приехала, – добавляет Волюмния, – он ни разу здесь не был. Я уж стала побаиваться, не разбилось бы у меня сердце по милости этого ветреника. Готова даже была подумать: уж не умер ли он?

Быть может, это сгустился вечерний мрак, а может быть, еще более густой мрак окутал душу миледи, но лицо ее потемнело, как будто она подумала: «О, если бы так было!»

– Мистер Талкингхорн, – говорит сэр Лестер, – всегда встречает радушный прием в нашем доме и всегда ведет себя корректно, где бы он ни был. Весьма достойный человек, всеми уважаемый, и – вполне заслуженно.

Изнемогающий кузен предполагает, что он «чу'овищно богатый с'бъект».

– У него, без сомнения, есть состояние, – отзывается сэр Лестер. – Разумеется, платят ему щедро, и в высшем обществе он принят почти как равный.

Все вздрагивают – где-то близко грянул выстрел.

– Господи, что это? – восклицает Волюмния, негромко взвизгнув.

– Крысу убили, – отвечает миледи.

Входит мистер Талкингхорн, а за ним следуют Меркурии с лампами и свечами.

– Нет-нет, не надо, – говорит сэр Лестер. – А впрочем, вы, может быть, не расположены сумерничать, миледи?

Напротив, миледи это очень любит.

– А вы, Волюмния?

О! Ничто так не прельщает Волюмнию, как сидеть и разговаривать в темноте.

– Так унесите свечи, – приказывает сэр Лестер. – Простите, Талкингхорн, я с вами еще не поздоровался. Как поживаете?

Мистер Талкингхорн входит, как всегда, неторопливо и непринужденно; кланяется на ходу миледи, пожимает руку сэру Лестеру, подходит к столику, за которым баронет обычно читает газеты, и опускается в кресло, которое занимает, когда хочет что-нибудь сообщить. Сэр Лестер опасается, как бы миледи не простудилась у открытого окна – ведь

она не совсем здорова. Миледи очень признательна ему, но ей хочется сидеть у окна, чтобы дышать свежим воздухом. Сэр Лестер встает, поправляет на ней шарф и возвращается на свое место. Тем временем мистер Талкингхорн берет понюшку табаку.

– Ну, как проходила предвыборная борьба? – осведомляется сэр Лестер.

– Неудачно с самого начала. Не было ни малейшей надежды. Они провели обоих своих кандидатов. Вас разгромили. Три голоса против одного.

Мастерски владея уменьем жить, мистер Талкингхорн вменил себе в обязанность не иметь политических убеждений, точнее – *никаких* убеждений. Поэтому он говорит «вас» разгромили.

Сэр Лестер обуян величественным гневом. Волюмния в жизни не слыхивала ничего подобного. Изнемогающий кузен бормочет, что это… неизбежно, газ… чегни… газгешают голосовать…

– И, заметьте, это в том самом месте, – продолжает в быстро сгущающейся темноте мистер Талкингхорн, когда снова водворяется тишина, – в том самом месте, где сыну миссис Раунсуэлл предлагали выставить свою кандидатуру.

– Но у него хватило такта и ума отклонить это предложение, как вы уведомили меня в свое время, – говорит сэр Лестер. – Не могу утверждать, что я хоть сколько-нибудь одобряю взгляды, которые высказал мистер Раунсуэлл, пробыв

около получаса в этой комнате; но его отказ был внушен ему правильным пониманием приличий, и я рад отметить это.

– Вы думаете? – отзывается мистер Талкингхорн. – Однако это не помешало ему принять очень активное участие в нынешних выборах.

Отчетливо слышно, как сэр Лестер охает.

– Так ли я вас понял? – говорит он. – Вы сказали, что мистер Раунсуэлл принимал очень активное участие в выборах?

– Исключительно активное.

– Против?..

– Ну да, конечно, против вас. Он превосходный оратор. Говорит просто и убедительно. Произвел сокрушительное впечатление и пользуется огромным влиянием. Деловой стороной выборов ведал он.

Все общество догадывается (хоть и не видит), что сэр Лестер величественно выкатил глаза.

– Ему усердно помогал его сын, – говорит мистер Талкингхорн в заключение.

– Его сын, сэр? – повторяет сэр Лестер ужасающе вежливым тоном.

– Его сын.

– Тот сын, что хотел жениться на девушке, которая прислуживает миледи?

– Тот самый. У него один сын.

– В таком случае, клянусь честью, – говорит сэр Лестер

после угрожающей паузы, во время которой слышалось его сопенье и можно было догадаться, что он выкатил глаза, – в таком случае, клянусь честью, клянусь жизнью, клянусь своей репутацией и принципами, шлюзы общества прорваны, и паводок… э… сровнял с землей грани и подрыл основы системы, коей поддерживается порядок!

Общий взрыв возмущения в толпе родственников. Волюмния полагает, что теперь-то уж действительно пора, я вам скажу, кому-нибудь, кто стоит у власти, вмешаться и принять какие-нибудь решительные меры. Изнемогающий кузен полагает, что… стгана летит… во весь опог… к чегту на гога.

– Я прошу, – говорит сэр Лестер, задыхаясь, – я прошу прекратить дальнейшие разговоры на эту тему. Комментарии излишни. Миледи, относительно этой девушки позвольте мне посоветовать вам…

– Я не хочу расставаться с нею, – отзывается негромким, но твердым голосом миледи, не вставая со своего места у окна.

– Я не об этом говорю, – поясняет сэр Лестер. – В этом отношении я с вами согласен. Но раз вы находите, что она заслуживает вашего покровительства, вам следовало бы удержать ее своим влиянием от таких опасных знакомств. Вам следовало бы объяснить ей, какому насилию подвергнутся в подобном обществе ее чувство долга и принципы; и вы могли бы уберечь ее для лучшей жизни. Вы могли бы указать

ей, что с течением времени она, вероятно, найдет себе в Чесни-Уолде мужа, который… – сэр Лестер на минуту задумывается и заключает: – который не отторгнет ее от алтарей ее праотцев.

Все это он произносит тем же неизменно вежливым и почтительным тоном, каким всегда говорит с женой. В ответ она только чуть заметно кивает. Всходит луна, и в окно, у которого сидит миледи, теперь льется маленький поток холодного бледного света, озаряющий ее голову.

– Следует заметить, однако, – говорит мистер Талкингхорн, – что эти люди по-своему очень горды.

– Горды?

Сэр Лестер не верит своим ушам.

– Я не удивился бы, если бы все они, – да и жених в том числе, – отреклись от этой девушки, не дожидаясь, пока она сама от них отречется, оставшись в Чесни-Уолде при создавшихся условиях.

– Ну что ж! – говорит сэр Лестер дрожащим голосом. – Ну что ж! Вам лучше знать, мистер Талкингхорн. Вы бывали в их среде.

– Уверяю вас, сэр Лестер, я только констатирую факт, – говорит поверенный. – Впрочем, я мог бы рассказать по этому поводу одну историю… с разрешения леди Дедлок.

Она дает согласие, наклонив голову, а Волюмния приходит в восторг. История! О, наконец-то он что-то расскажет! Она надеется, что это история с привидениями?

– Нет. Это истинное происшествие. – Неожиданно изменив своему обычному бесстрастию и немного помолчав, мистер Талкингхорн повторяет с некоторым пафосом: – Это истинное происшествие, мисс Дедлок. Сэр Лестер, мне лишь недавно рассказали его во всех подробностях. История очень короткая. Она иллюстрирует то, о чем я говорил. Я не буду называть имен – пока. Надеюсь, леди Дедлок не сочтет меня за это дурно воспитанным человеком?

При свете угасающего огня видно, как он повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок, замершая у окна.

– У мистера Раунсуэлла есть один земляк, – тоже заводчик, как мне говорили, – и этому земляку выпало счастье иметь дочь, которая привлекла внимание некоей знатной леди. Подчеркиваю, что это была действительно знатная леди – знатная не только по сравнению с ним; словом, она была замужем за джентльменом, занимавшим такое же положение в свете, как вы, сэр Лестер.

Сэр Лестер снисходительно роняет: «Да, мистер Талкингхорн», – выражая этим, что леди, о которой идет речь, вероятно, стояла на недосягаемой нравственной высоте в глазах какого-то «железных дел мастера».

– Леди была богата, красива, расположена к девушке, обращалась с нею очень ласково и всегда держала ее при себе. Надо, однако, сказать, что леди эта, при всей своей знатности, много лет скрывала одну тайну. Говоря точнее, она в

юности собиралась выйти замуж за одного молодого повесу – армейского капитана, – который только портил жизнь себе и другим. Замуж она за него не вышла, но произвела на свет ребенка, отцом которого был он.

При свете пламени видно, как мистер Талкингхорн повернулся к потоку лунного света. При свете луны видна леди Дедлок в профиль, замершая у окна.

– Когда армейский капитан умер, она решила, что теперь ей нечего опасаться разоблачения; но целая цепь событий, которой мне незачем докучать вам, привела к тому, что тайное стало явным. Как мне передавали, все началось с ее собственной неосторожности – однажды она не сдержалась, – и это доказывает, как трудно даже самым сдержанным из нас (а она была очень сдержанна) постоянно быть начеку. Вы, конечно, представляете себе, какое смятение, какой переполох поднялись в ее семье; предлагаю вам, сэр Лестер, вообразить, как был потрясен ее супруг. Но сейчас не об этом речь. Когда земляк мистера Раунсуэлла услышал, какая раскрылась тайна, он запретил дочери пользоваться покровительством и расположением этой леди, как не потерпел бы, чтобы девушку растоптали у него на глазах. Так сильна была в нем гордость, что он с возмущением увез дочь из этого дома, очевидно считая, что жить в нем для нее позор и бесчестие. Он не понимал, какая честь оказана ему и его дочери благосклонностью этой леди… никак не мог понять. Ему было так же тяжело видеть свою дочь в доме этой леди, как

если бы хозяйка его была из подонков общества. Вот и весь рассказ. Надеюсь, леди Дедлок извинит меня за то, что он носит столь печальный характер.

По поводу рассказа общество выражает различные мнения, более или менее не сходные с мнением Волюмнии. А это обольстительное юное создание никак не может поверить, что подобные леди существуют на свете, и считает, что вся эта история – чистейший вымысел. Большинство склонно разделить чувства изнемогающего кузена, выраженные в следующих немногих словах: «а… ну его к дьяволу… этого дугацкого… земляка Гаунсуэлла». Сэр Лестер мысленно возвращается к Уоту Тайлеру и воссоздает цепь событий по собственному усмотрению.

Вообще разговор что-то не клеится, да и немудрено – ведь с тех пор, как в других местах начались «неизбежные расходы», общество в Чесни-Уолде каждый день засиживалось до поздней ночи; а сегодня, впервые за много вечеров, в доме не было других гостей, кроме родственников. В одиннадцатом часу сэр Лестер просит мистера Талкингхорна позвонить, чтобы принесли свечи.

Теперь поток лунного света разлился в целое озеро, и теперь леди Дедлок в первый раз делает движение, встает и подходит к столу, чтобы выпить стакан воды. Родственники, как летучие мыши, вспугнутые ярким светом свечей, щурясь, подлетают к столу, чтобы подать ей стакан; Волюмния (которая всегда не прочь выпить чего-нибудь покрепче, ес-

ли удастся) берет другой стакан и удовлетворяется очень маленьким глотком; леди Дедлок, изящная, сдержанная, провожаемая восторженными взорами, медленно идет по длинной анфиладе комнат рядом с Волюмнией, и контраст между ними отнюдь не в пользу сей нимфы.

Глава XLI
В комнате мистера Талкингхорна

Мистер Талкингхорн поднимается на башенку и входит в свою комнату, немного запыхавшись, хотя поднимался он не спеша. Лицо у него такое, словно он свалил с себя бремя какой-то огромной заботы и по-своему – бесстрастно – удовлетворен. Нельзя сказать, что он торжествует, – нет, для этого он слишком замкнут, слишком сурово и непреклонно подавил в себе все чувства, – и сказать это – все равно что заподозрить его в таких, например, грехах, как волнение, вызванное любовью, нежными чувствами или какой-нибудь романтической блажью. Он испытывает спокойное удовлетворение. Быть может, он только яснее прежнего сознает свою власть, когда, сжав одной жилистой рукой другую и заложив их за спину, прохаживается взад и вперед бесшумными шагами.

В комнате стоит вместительный письменный стол, заваленный бумагами. Зеленая лампа зажжена, очки для чтения лежат на пюпитре, к столу придвинуто кресло – словом, все имеет такой вид, как будто мистер Талкингхорн собирается провести перед сном час-другой за работой. Но сейчас ему, должно быть, не хочется работать. Он пробегает глазами самые неотложные бумаги, низко наклонившись над сто-

лом, ибо вечером старческое зрение лишь с трудом разбирает и печатное и рукописное, потом открывает застекленную дверь и выходит на террасу с полом, обитым свинцом. По этой террасе он так же медленно прохаживается взад и вперед, остывая (если столь холодный человек вообще может остыть) после своего рассказа в гостиной.

Было время, когда люди, знавшие так же много, как мистер Талкингхорн, поднимались на башни при свете звезд и смотрели на небо, чтобы прочесть там свое будущее. В эту ночь небо усеяно мириадами звезд, но блеск их затмило яркое сиянье луны. Прохаживаясь мерным шагом взад и вперед по террасе, мистер Талкингхорн, может быть, ищет свою собственную звезду, а она, должно быть, очень неяркая звезда, если тот, кто представляет ее на земле, сам такой тусклый. Если же он пытается предугадать свою судьбу, то она, возможно, начертана другими письменами – не на небе, а гораздо ближе.

Он прогуливается по террасе, глядя вверх, но сейчас, должно быть, не видя ни неба, ни земли – так далеки от них его мысли, – и вдруг, проходя мимо окна, останавливается, заметив чьи-то глаза, впившиеся в него. Потолок в его комнате довольно низкий, а верхняя часть двери, расположенной против окна, застеклена. Вторая дверь, внутренняя, обита сукном, но он не закрыл ее, когда поднялся наверх, так как ночь очень теплая. Глаза, впившиеся в него, смотрят из коридора сквозь стекло. Они ему хорошо знакомы. Уже много

лет кровь не бросалась ему в лицо так внезапно и не заливала его таким ярким румянцем, как в тот миг, когда он узнает леди Дедлок.

Он входит в комнату, входит и миледи, закрывая за собой обе двери. В ее глазах смятение чувств… Страх это или гнев? Но осанка ее и вообще весь вид совершенно такие же, как два часа назад, когда она была в гостиной. Все-таки что же это – страх или гнев? Мистер Талкингхорн не может сказать наверное. Ведь и то и другое чувство способно вызвать такую бледность, достичь такой силы.

– Леди Дедлок!

Она отзывается не сразу; молчит и после того, как медленно опустилась в кресло у стола. Они смотрят друг на друга, недвижные, как два портрета.

– Зачем вы рассказали мою историю целой толпе?

– Леди Дедлок, мне нужно было дать вам понять, что я ее знаю.

– Как давно вы ее знаете?

– Я подозревал уже давно… но узнал наверное лишь недавно.

– Несколько месяцев назад?

– Несколько дней.

Он стоит перед нею, опустив одну руку на спинку кресла и заложив другую за старомодный жилет, под жабо, совершенно так же, как стоял перед нею всегда со дня ее замужества. Та же официальная вежливость, та же спокойная почтитель-

ность, под маской которой, быть может, таится вызов; тот же самый человек, загадочный, холодный, все такой же далекий, никогда не подходивший близко.

– Правда ли то, что вы говорили об этой бедной девушке?

Он немного наклоняет голову в ее сторону, как будто не вполне понимая ее вопрос.

– Вы же помните, о чем рассказывали. Это правда? Ее друзья тоже знают мою историю? Об этом уже говорит весь город? Пишут мелом на стенах, кричат на улицах?

Так! Гнев, страх и стыд. Все три чувства борются друг с другом. Как сильна эта женщина, если она может подавлять в себе эти бушующие страсти! Вот что думает мистер Талкингхорн, глядя на нее, и его косматые седые брови сдвигаются чуть ближе обычного под ее взглядом.

– Нет, леди Дедлок. Считайте мои слова гипотезой, – я предполагаю, что так может быть, и высказал это после того, как сэр Лестер, сам того не сознавая, отнесся столь высокомерно к моему рассказу. Но так оно и будет, если эти люди узнают… то, что знаем мы с вами.

– Значит, они еще не знают?

– Нет.

– Могу ли я спасти честь бедной девушки раньше, чем они узнают?

– Право же, леди Дедлок, – отвечает мистер Талкингхорн, – я не могу дать удовлетворительный ответ на этот вопрос.

Заинтересованный, он внимательно и с любопытством следит за ее внутренней борьбой и думает: «До чего эта женщина сильна, и как изумительно она владеет собой!»

– Сэр, – начинает она снова, всеми силами стараясь произносить слова отчетливо, ибо у нее дрожат губы. – Я выскажусь яснее. Я не оспариваю вашей гипотезы. Я все это предвидела и, когда встретилась здесь с мистером Раунсуэллом, не хуже вас поняла, что так оно и будет. Не сомневаюсь, что, если б он мог узнать, какая я на самом деле, бедная девушка показалась бы ему осквернённой тем, что она, хоть на мгновение, хоть помимо своей воли, была предметом моего высокого и благородного покровительства. Но я к ней расположена, – или, вернее, была расположена, ибо я уже не принадлежу к этому дому, – и если у вас хватит уважения к той женщине, которая сейчас в вашей власти, чтобы считаться с нею, она будет очень тронута вашим великодушием.

Мистер Талкингхорн слушает с глубоким вниманием, но отклоняет эту просьбу, самоуничижительно пожав плечами и еще ближе сдвинув брови.

– Вы подготовили меня к разоблачению, и за это я вам благодарна. Вы чего-нибудь требуете от меня? Может быть, я должна отречься от своих прав, может быть, я избавлю мужа от каких-нибудь обвинений или неприятностей, связанных с расторжением брачных уз, если удостоверю сейчас, что вы узнали правду? Я напишу все, что вы мне продиктуете; напишу здесь и немедленно. Я готова это написать.

«И напишет!» – думает юрист, заметив, как решительно она берет перо.

– Я не буду беспокоить вас, леди Дедлок. Пощадите себя, прошу вас.

– Вы же знаете, я давно ждала этого. Я не хочу щадить себя и не хочу, чтобы меня щадили. Хуже, чем вы поступили со мной, вы поступить не можете. Делайте же то, что вам осталось доделать.

– Леди Дедлок, делать ничего не нужно. Я позволю себе сказать несколько слов, когда вы кончите.

Казалось бы, им больше незачем следить друг за другом, но они все время следят, а звезды следят за ними, заглядывая в открытое окно. Далекие леса покоятся в лунном свете, а просторный дом так же безмолвен, как тесная домовина. Тесная домовина! Где же теперь в эту тихую ночь тот могильщик, тот заступ, которым суждено добавить последнюю великую тайну ко многим тайнам жизни Талкингхорна? Родился ли тот человек? Выкован ли тот заступ? В летнюю ночь, под недреманными очами звезд, как-то странно думать об этих вопросах; а может быть, еще страннее – не думать.

– О раскаянии, или угрызениях совести, или вообще о своих чувствах я не скажу ни слова, – снова начинает леди Дедлок. – Если бы я и сказала, вы бы меня не услышали. Забудем об этом. Это не для ваших ушей.

Он делает вид, что хочет возразить, но она презрительно отмахивается.

– О другом, совсем о другом пришла я поговорить с вами. Мои драгоценности находятся там, где хранились всегда. Там их и найдут. А также мои платья. И все ценное, что мне принадлежит. Сознаюсь, я взяла с собой деньги, но немного. Я нарочно переоделась в чужое платье, чтобы не привлекать к себе внимания. Я ушла, чтобы отныне исчезнуть. Объявите об этом всем. Это моя единственная просьба к вам.

– Простите, леди Дедлок, – говорит мистер Талкингхорн совершенно невозмутимо. – Я, кажется, вас не совсем понимаю. Вы ушли?..

– Чтобы исчезнуть для всех, кто живет здесь. Этой ночью я покидаю Чесни-Уолд. Я ухожу сейчас.

Мистер Талкингхорн качает головой. Она поднимается, но он качает головой, не снимая одной руки со спинки кресла, а другой – со своего старомодного жилета и жабо.

– Что это значит? Я не должна уходить?

– Нет, леди Дедлок, – отвечает он очень спокойно.

– Вы знаете, каким облегчением для всех будет мой уход? Разве вы забыли, что этот дом осквернен, запятнан, забыли – чем и кем?

– Нет, леди Дедлок, вовсе не забыл.

Не удостоив его ответом, она подходит к внутренней двери и берется за нее рукой, но он вдруг говорит, не шевельнувшись и не повысив голоса:

– Леди Дедлок, будьте любезны задержаться здесь и выслушать меня, а не то я ударю в набатный колокол, и не успе-

ете вы дойти до лестницы, как я подниму на ноги весь дом. А тогда уж мне придется рассказать все начистоту при всех гостях и слугах, при всех людях в этом доме.

Он победил ее. Она пошатнулась, вздрогнула и в замешательстве схватилась за голову. Пожалуй, никто бы не придал этому особого значения; но когда человек, одаренный зрением, столь изощренным, как у мистера Талкингхорна, подмечает минутное колебание в женщине ее склада, он прекрасно знает этому цену.

Он спешит повторить:

– Будьте добры выслушать меня, леди Дедлок, – и указывает на кресло, с которого она встала.

Она колеблется, но он снова указывает на кресло, и она садится.

– Отношения наши сложились неудачно, леди Дедлок, но – не по моей вине, и потому я не буду извиняться. Вам отлично известно, какое положение я занимаю при сэре Лестере, и вы, несомненно, давно уже думали, что я как раз тот человек, который способен узнать вашу тайну.

– Сэр, – отзывается она, не поднимая глаз с пола, на который устремлен ее взгляд, – лучше бы мне было уйти. А вам лучше было бы меня не удерживать. Вот все, что я хочу сказать.

– Простите, леди Дедлок, но я попрошу вас выслушать еще кое-что.

– Если так, я хочу слушать у окна. Здесь нечем дышать.

Она идет к окну, а его бдительный взор отражает внезапно зародившееся опасение – уж не задумала ли она броситься вниз и, ударившись о выступ стены или карниза, разбиться насмерть, рухнув на нижнюю террасу? Но, быстро оглядев ее с головы до ног, в то время как она стоит у окна, ни на что не опираясь, и смотрит перед собой на звезды, – угрюмо смотрит не вверх, а вперед, на те звезды, что низко стоят на небе, – он успокаивается. Повернувшись в ее сторону, он становится позади нее.

– Леди Дедлок, я еще не решил, какой путь мне избрать, – не нашел такого решения, которое сам признал бы правильным. Мне еще не ясно, что мне следует делать и как поступать в дальнейшем. Пока же я прошу вас хранить тайну, как вы ее хранили до сих пор, и не удивляться, что и я храню ее.

Он делает паузу, но миледи не отзывается на его слова.

– Простите, леди Дедлок. Это важный вопрос. Вы изволите слушать меня внимательно?

– Да.

– Благодарю вас. Я мог бы не сомневаться в этом, зная силу вашего характера. Мне не следовало задавать этого вопроса, но я привык шаг за шагом нащупывать почву, по которой ступаю. Единственный человек, с которым нужно считаться в этих несчастных обстоятельствах, – это сэр Лестер.

– Так почему же, – спрашивает она негромко и не отрывая угрюмого взгляда от далеких звезд, – почему вы удерживаете меня в этом доме?

– Потому что *необходимо* считаться с сэром Лестером. Леди Дедлок, мне нет нужды говорить вам, что он очень горд; что доверие его к вам безгранично, и падение луны с неба не так ошеломило бы его, как ваше падение с той высоты, на которую он вознес вас как свою супругу.

Она дышит быстро и тяжело, но стоит недвижно, такая же сдержанная, какой он видел ее в самом знатном кругу.

– Уверяю вас, леди Дедлок, что, если б не ваше прошлое, я скорее взялся бы одними своими силами – просто голыми руками – вырвать с корнем самое старое дерево в этом парке, чем расшатать ваше влияние на сэра Лестера или подорвать его доверие и уважение к вам. Даже теперь я колеблюсь. Не потому, что он усомнится в моих словах (нет, это невозможно даже для него), но потому, что удар будет для него неожиданным – ведь подготовить его не может никто.

– Даже мое бегство? – говорит она. – Подумайте об этом хорошенько.

– Ваше бегство, леди Дедлок, разгласит всю правду, вернее в сто раз раздутую правду, по всему свету. Ни на день нельзя будет сохранить честь рода. О бегстве и думать нечего.

В его ответе звучит спокойная убежденность, не допускающая возражений.

– Если я говорю, что сэр Лестер – единственный, с кем надо считаться, я хочу сказать, что его честь и честь рода – это одно целое. Сэр Лестер и баронетство, сэр Лестер и

Чесни-Уолд, сэр Лестер, его предки и его родовое наследие, – мистер Талкингхорн произносит эти слова очень сухо, – неотделимы друг от друга, о чем мне излишне напоминать вам, леди Дедлок.

– Продолжайте!

– Из этого следует, – продолжает мистер Талкингхорн скучным голосом, – что мне нужно многое принять во внимание. Дело надо замять, если можно. А как это будет возможно, если сэр Лестер сойдет с ума или будет лежать на смертном одре? Если я нанесу ему удар завтра утром, как прикажете тогда объяснить людям, почему все случилось так внезапно? Чем это было вызвано? Отчего вы разошлись? Леди Дедлок, люди немедленно примутся писать мелом на стенах и кричать на улицах обо всем этом, и вы должны помнить, что это заденет не только вас (с вами я вовсе не могу считаться в данном случае), но и вашего супруга, леди Дедлок, вашего супруга.

Он говорит чем дальше, тем проще, но только не более выразительно и не более оживленным тоном.

– Есть и другая точка зрения, – продолжает он. – Сэр Лестер обожает вас чуть не до ослепления. Быть может, он не прозреет, даже если узнает то, что знаем мы с вами. Я допускаю крайность, но может случиться и так. А если так, лучше, чтобы он ничего не узнал… лучше потому, что – разумней, лучше для него, лучше для меня. Все это я должен учесть, и все эти обстоятельства в совокупности очень затрудняют

решение.

Она стоит молча и смотрит все на те же звезды. Они уже бледнеют, и кажется, будто она застыла в неподвижности потому, что холод их оледенил ее тело.

– Мои наблюдения привели меня к выводу, – говорит мистер Талкингхорн, который теперь засунул руки в карманы и, как заведенная машина, продолжает высказывать свои соображения, – мои наблюдения, леди Дедлок, привели меня к выводу, что почти всем моим знакомым лучше было бы не вступать в брак. Три четверти их горестей вызваны браком. Так подумал я, когда сэр Лестер женился, и так всегда думал с тех пор. Но довольно об этом. Теперь я должен руководиться обстоятельствами. Пока же прошу вас хранить молчание, и сам я тоже буду молчать.

– Неужели я день за днем должна влачить свою тяжкую жизнь, пока вы этого требуете? – спрашивает она, по-прежнему глядя на далекое небо.

– Да, боюсь, что так, леди Дедлок.

– Неужели я должна оставаться прикованной к месту, где меня ждет душевная пытка?

– Все, что я советую, необходимо, – в этом я уверен.

– Неужели мне придется стоять на этих роскошных подмостках, где я так долго играла жалкую роль обманщицы, и они рухнут подо мной, когда вы подадите знак? – медленно говорит она.

– Не без предупреждения, леди Дедлок. Я не предприму

ничего, не известив вас заранее.

Все эти вопросы она задает таким тоном, как будто на память повторяет заученное или бредит во сне.

– И мы должны встречаться, как встречались?

– Только так, если позволите.

– И я по-прежнему должна скрывать свою вину, как скрывала ее столько лет?

– Как скрывали столько лет. Не мне говорить об этом, леди Дедлок, но я напомню вам, что ваша тайна не может тяготить вас больше, чем раньше, не может быть хуже или лучше, чем была. Правда, ее знаю я; но мы с вами, пожалуй, никогда не доверяли друг другу вполне.

Она еще некоторое время стоит все так же задумавшись, потом спрашивает:

– Вам нужно сказать мне еще что-нибудь?

– Видите ли, – отвечает педантичный мистер Талкингхорн, слегка потирая руки, – мне хотелось бы получить уверенность, что вы согласны на мое предложение, леди Дедлок.

– В этом вы можете быть уверены.

– Прекрасно. В заключение я хотел бы в качестве деловой меры предосторожности, – на случай, если вам придется рассказать сэру Лестеру о нашей встрече здесь, – я хотел бы напомнить, что, говоря с вами, я заботился лишь о том, чтобы оградить самолюбие и честь сэра Лестера, а также честь его рода. Я был бы счастлив всячески оградить и леди Дедлок, если бы обстоятельства это допускали; но они этого, к

сожалению, не допускают.

– Я могу засвидетельствовать вашу преданность, сэр.

Она все время стояла в задумчивости – и до того, как ответила, и после, – но в конце концов тронулась с места и теперь идет к выходу с невозмутимым видом, отчасти свойственным ей от рождения, отчасти благоприобретенным. Мистер Талкингхорн открывает перед нею обе двери совершенно так же, как он сделал бы это десять лет назад, и прощается с нею старомодным поклоном. Странный взгляд устремляет она на него и странным, хоть и едва заметным движением отвечает на его поклон, а затем ее прекрасное лицо исчезает в темноте. Да, думает он, оставшись один, эта женщина проявила необыкновенное самообладание.

Он еще больше убедился бы в этом, случись ему видеть, как эта женщина мечется по своим покоям, вся изогнувшись, точно от боли, закинув назад голову и заломив руки, стиснутые на затылке, а ее распустившиеся волосы развеваются у нее за спиной. Он еще больше бы в этом уверился, если б увидел, как эта женщина часами быстро ходит взад и вперед, без передышки, не зная усталости, и шагам ее вторят неизменные шаги на Дорожке призрака. Но он закрывает окно, преграждая доступ похолодавшему воздуху, и, задернув оконные занавески, ложится в постель и засыпает. А когда звезды гаснут и бледный рассвет, заглядывая в башенку, видит его лицо, такое старое, каким оно никогда не бывает днем, поистине чудится, будто могильщик с заступом

уже вызван и скоро начнет копать могилу.

Тот же бледный рассвет заглядывает к сэру Лестеру, который прощает в величаво-снисходительном сне свою кающуюся родину, заглядывает к бедным родственникам, которые видят себя во сне занятыми на государственной службе, главным образом – получением жалованья; заглядывает к целомудренной Волюмнии, которой снится, будто она принесла приданое в пятьдесят тысяч фунтов противному старику генералу, обладателю вставных зубов, которых у него полон рот – ни дать ни взять рояль, преизбыточно снабженный клавишами, – генералу, давно уже вызывающему восхищение в Бате и ужас в других местах. Заглядывает он и в мансарды под крышами, и в людские на дворе, и в каморки над конюшнями, где спящим снятся более непритязательные сны, например – о блаженстве в сторожке или законном браке с Уиллом или Салли. Но вот восходит яркое солнце и поднимает все и вся: Уиллов и Салли; испарения, дотоле таившиеся в земле; поникшие листья и цветы; птиц, зверей и ползучих тварей; садовников, которые будут сейчас подметать росистый газон и, укатывая его катком, развертывать позади себя свиток изумрудного бархата; дым, который чуть-чуть вьется, выползая из огромного кухонного очага, потом выпрямляется и стоит столбом в пронизанном светом воздухе. Последним поднимается флаг над головой спящего мистера Талкингхорна, весело возвещая, что сэр Лестер и леди Дедлок пребывают в своем счастливом доме и что в лин-

кольнширском поместье принимают гостей.

Глава XLII
В конторе мистера Талкингхорна

Покинув зеленые холмы и раскидистые дубы дедлоковского поместья, мистер Талкингхорн возвращается в зловонный, жаркий и пыльный Лондон. Каким образом он перебирается оттуда сюда, потом обратно – неизвестно; это одна из его непроницаемых тайн. В Чесни-Уолде он появляется с таким видом, словно от его конторы до этой усадьбы рукой подать, а в своей конторе – словно и не покидал Линкольновых полей. Перед поездкой он не переодевается, а вернувшись, не рассказывает о том, как съездил. Сегодня утром он исчез из своей комнаты в башенке так же незаметно, как сейчас, в поздних сумерках, появляется на Линкольновых полях.

Словно пыльная лондонская птица, что устраивается на ночь вместе с другими птицами на этих приятных полях, где все овцы пошли на пергамент, козы – на парики, а пастбище вытоптано и превратилось в пустырь, мистер Талкингхорн, этот сухарь, этот увядший человек, который живет среди людей, но не желает с ними знаться, который состарился, не изведав веселой юности, и так давно привык вить свое тесное гнездо в тайниках и закоулках человеческой души, что начисто позабыл о ее прекрасных просторах, – мистер Талкингхорн не спеша возвращается домой. Раскалена мосто-

вая, раскалены все здания, а сам он сегодня так пропекся в этой печи, что почти совсем высох, и его жаждущая душа мечтает о выдержанном полувековом портвейне.

Фонарщик, быстро перебирая ногами, спускается и поднимается по стремянке на той стороне Линкольновых полей, где живет мистер Талкингхорн, а этот верховный жрец, ведающий аристократическими таинствами, входит в свой скучный двор. Он уже поднялся на крыльцо, но еще не успел войти в полутемный вестибюль, как вдруг сталкивается на верхней ступеньке с низеньким человеком, который подобострастно кланяется ему.

– Это вы, Снегсби?

– Да, сэр. Надеюсь, вы здоровы, сэр? Я вас тут жду не дождусь, сэр, и собрался было уходить домой.

– Вот как? А в чем дело? Что вам от меня нужно?

– Изволите видеть, сэр, – отвечает мистер Снегсби, сняв шляпу, но держа ее у головы в знак почтения к своему лучшему заказчику, – я хотел бы сказать вам словечко-другое, сэр.

– Можете вы сказать его здесь?

– Безусловно, сэр.

– Тогда говорите.

Юрист оборачивается и, облокотившись на железные перила, ограждающие площадку крыльца, смотрит на фонарщика, который зажигает фонари во дворе.

– Это насчет… – начинает мистер Снегсби таинственным

полушепотом, – насчет… говоря напрямик, иностранки, сэр.

Мистер Талкингхорн удивленно смотрит на него.

– Какой иностранки?

– Иностранки, сэр. Француженки, если не ошибаюсь. Сам-то я не знаю ихнего языка, но по ее манерам и виду догадался, что она француженка; во всяком случае, безусловно иностранка. Та самая, что была у вас наверху, сэр, когда мы с мистером Баккетом имели честь явиться к вам в ту ночь и привести подростка-метельщика.

– А! Да-да. Мадемуазель Ортанз.

– Так ее зовут, сэр? – Мистер Снегсби, прикрыв рот шляпой, покорно покашливает. – Сам я, вообще говоря, не знаю, какие бывают иностранные имена, сэр, но не сомневаюсь, что ее зовут именно так.

Мистер Снегсби, кажется, чуть не сделал отчаянной попытки произнести имя француженки, но, подумав, снова только кашлянул, на этот раз вместо извинения.

– Что же вам нужно сказать мне о ней, Снегсби? – спрашивает мистер Талкингхорн.

– Изволите видеть, сэр, – отвечает торговец, прикрыв рот шляпой, – у меня из-за нее довольно большие неприятности. Я очень счастлив в семейной жизни… по крайней мере настолько счастлив, насколько это вообще возможно, разумеется, – но моя женушка немножко ревнива. Говоря напрямик, очень даже ревнива. А тут, изволите видеть, какая-то иностранка, да еще так шикарно одетая, приходит в лавку

и таскается, – я всегда остерегаюсь употреблять грубые выражения, сэр, если без них можно обойтись, но она действительно таскается… по переулку… а это, знаете ли, того… ведь правда? Сами посудите, сэр!

Изложив все это очень жалобным тоном, мистер Снегсби кашляет многозначительным кашлем, дабы восполнить пробелы своего рассказа.

– Что это ей взбрело в голову? – говорит мистер Талкингхорн.

– Вот именно, сэр, – отзывается мистер Снегсби, – я знал, что вам это тоже будет не по душе, так что вы извините меня и поймете, что беспокоился я не зря, особенно принимая во внимание всем известную порывистость моей женушки. Изволите видеть, иностранка, чье имя вы сейчас назвали, – а оно и вправду звучит как-то по-иностранному, – иностранка эта крайне сметливая особа и запомнила в ту ночь фамилию «Снегсби», потом навела справки, узнала мой адрес и както раз пришла к нам во время обеда. Надо сказать, что Гуся, наша служанка, девушка очень робкая и подверженная припадкам, увидела иностранку и перепугалась – до того у нее лицо сердитое, а когда говорит, чуть ли не зубами скрежещет, чтобы, значит, напугать слабоумную, – ну, девушка и не стерпела и, вместо того чтобы выдержать напор, грохнулась вниз с кухонной лестницы, и тут с ней начались припадки, один за другим, да такие, каких, наверное, ни с кем еще нигде не случалось, кроме как у нас дома. Так вот и вышло,

что у женушки моей было хлопот полон рот, и в лавку пошел я один. Иностранка мне и сказала тогда, что к мистеру Талкингхорну ее никогда не пускает его «наниматель» (я тогда еще подумал, что, должно быть, иностранцы так называют клерков), а поэтому она доставит себе удовольствие каждый день приходить ко мне в лавку, пока вы ее не примете. С тех пор она, как я уже говорил, повадилась таскаться, – да, сэр, таскаться! – мистер Снегсби с пафосом делает ударение на этом слове, – таскаться по переулку. А какие могут произойти от этого последствия, предвидеть невозможно. Не удивлюсь даже, если соседи уже строят насчет меня самые неприятные и ошибочные предположения, а о моей женушке и говорить нечего (хотя о ней нельзя не говорить). Тогда как, бог свидетель, – уверяет мистер Снегсби, покачивая головой, – я в жизни не видывал иностранок, – вот разве что, бывало, цыганка забредет со связкой метелок и грудным ребенком – это в старину – или с тамбурином и серьгами в ушах – это в теперешнее время. В жизни я не видывал иностранок, уверяю вас, сэр!

Мистер Талкингхорн выслушал жалобу с серьезным видом, а когда торговец умолк, он задает вопрос:

– Это все, не так ли, Снегсби?

– Ну да, сэр, все, – отвечает мистер Снегсби, заканчивая фразу кашлем, который явно означает: «и этого хватит… с меня».

– Не знаю, чего хочет мадемуазель Ортанз, – говорит

юрист, – с ума она сошла, что ли?

– Будь она даже сумасшедшей, сэр, – говорит мистер Снегсби умоляющим тоном, – это все-таки, знаете ли, плохое утешение, когда в твою семью вбивают клин или, скажем, иностранный кинжал.

– Верно, – соглашается юрист. – Так-так! Это надо прекратить. Очень жаль, что вам причинили беспокойство. Если она опять придет, пришлите ее сюда.

Отвесив несколько поклонов и отрывисто покашляв вместо извинения, мистер Снегсби уходит, немного утешенный. Мистер Талкингхорн поднимается по лестнице, говоря себе: «Ох, уж эти женщины, – на то они только и созданы, чтобы народ мутить. Мало мне разве пришлось возиться с хозяйкой, а теперь и со служанкой возись! Но с этой потаскухой разговоры короткие».

Открыв дверь, мистер Талкингхорн ощупью пробирается по своим темным комнатам, зажигает свечи и осматривается. При скудном свете трудно рассмотреть всю Аллегорию, изображенную на потолке, но ясно видно, как назойливый римлянин, вечно угрожающий ринуться вниз из облаков и указующий куда-то перстом, по-прежнему предается своему привычному занятию. Не удостоив его особым вниманием, мистер Талкингхорн вынимает из кармана небольшой ключ и отпирает ящик, в котором лежит другой ключ, а им отпирает сундук, где находится еще ключ, и таким образом добирается до ключа от погреба; а вынув его, готовится сойти в

царство старого вина. Он идет к двери со свечой в руке, как вдруг слышит стук.

– Кто там?.. Так-так, любезная, это вы? Легка на помине! Мне только что говорили о вас. Ну! Что вам угодно?

Он ставит свечу на каминную полку в передней, где днем сидит клерк, и, похлопывая ключом по своей иссохшей щеке, обращается с этими приветливыми словами к мадемуазель Ортанз. Крепко сжав губы и косясь на него, это создание кошачьей породы закрывает дверь и отвечает:

– Я никак не могла застать вас дома, сэр.

– Вот как?

– Я приходила сюда очень часто, сэр. Но мне всегда говорили: его нет дома, он занят, он то, он другое, он не может вас принять.

– Совершенно правильно, чистая правда.

– Неправда! Ложь!

У мадемуазель Ортанз есть привычка внезапно делать какое-нибудь движение, да так, что кажется, будто она вот-вот кинется на человека, с которым говорит, а тот невольно вздрагивает и отшатывается. Мистер Талкингхорн тоже вздрогнул и отшатнулся, хотя мадемуазель Ортанз только презрительно улыбнулась, полузакрыв глаза (но по-прежнему косясь на собеседника), и покачала головой.

– Ну-с, милейшая, – говорит юрист, быстро постукивая ключом по каминной полке, – если у вас есть что сказать, говорите… говорите.

– Сэр, вы поступили со мной нехорошо. Вы поступили скверно и неблагородно.

– Как? Скверно и неблагородно? – повторяет юрист, потирая себе нос ключом.

– Да. Не к чему и говорить об этом. Вы сами знаете, что это так. Вы поймали меня… завлекли… чтобы я давала вам сведения; просили показать мое платье, которое миледи надевала в ту ночь; просили прийти в этом платье, чтобы встретиться здесь с мальчишкой… Скажите! Так это или нет?

Мадемуазель Ортанз снова делает порывистое движение.

«Ведьма, сущая ведьма!» – по-видимому, думает мистер Талкингхорн, подозрительно глядя на нее; потом говорит вслух:

– Полегче, душечка, полегче. Я вам заплатил.

– Заплатили! – повторяет она с ожесточенным презрением. – Это два-то соверена! А я их и не разменяла даже – ни пенни из них не истратила; я их отвергаю, презираю, швыряю прочь!

Что она и проделывает, выхватив монеты из-за корсажа и швырнув их об пол с такой силой, что они подпрыгивают в полосе света, потом раскатываются по углам и, стремительно покружившись, постепенно замедляют бег и падают.

– Вот! – говорит мадемуазель Ортанз, снова полузакрыв большие глаза. – Так, значит, вы мне заплатили? Хорошенькая плата, боже мой!

Мистер Талкингхорн скребет голову ключом, а францу-

женка язвительно смеется.

– Вы, как видно, богаты, душечка, – сдержанно говорит мистер Талкингхорн, – если так сорите деньгами!

– Да я и правда богата, – отвечает она, – я очень богата ненавистью. Я всем сердцем ненавижу миледи. Вы это знаете.

– Знаю? Откуда я могу это знать?

– Вы отлично знали это, когда попросили меня дать вам те самые сведения. Отлично знали, что я была в яр-р-р-рости!

Нельзя, казалось бы, более раскатисто произнести звук «р» в последнем слове, но для мадемуазель Ортанз этого мало, и она подчеркивает страстность своей речи, сжав руки и стиснув зубы.

– О-о! Значит, я знал это, вот как? – говорит мистер Талкингхорн, внимательно рассматривая нарезку на бородке ключа.

– Да, конечно. Я не слепая. Вы рассчитывали на меня, потому что знали это. И были правы! Я ненавижу ее.

Мадемуазель Ортанз теперь стоит скрестив руки и последнее замечание бросает ему через плечо.

– Засим, имеете вы сказать мне еще что-нибудь, мадемуазель?

– Я с тех пор без места. Найдите мне хорошее место. Устройте меня в богатом доме! Если не можете или не желаете, тогда наймите меня травить ее, преследовать, позорить, бесчестить. Я буду помогать вам усердно и очень охот-

но. Ведь сами-то вы делаете все это. Мне ли не знать!

– Должно быть, вы слишком много знаете, – замечает мистер Талкингхорн.

– А разве нет? Неужели я так глупа и, как младенец, поверю, что приходила сюда в этом платье показаться мальчишке только для того, чтобы разрешить какой-то спор, пари? Хорошенькое дело, боже мой!

Эту тираду, до слова «пари» включительно, мадемуазель произносила иронически вежливо и мягко; затем внезапно перескочила на самый ожесточенный и вызывающий тон, а ее черные глаза закрылись и снова широко раскрылись чуть ли не в одно и то же мгновение.

– Ну-с, теперь посмотрим, – говорит мистер Талкингхорн, похлопывая себя ключом по подбородку и невозмутимо глядя на нее, – посмотрим, как обстоит дело.

– Ах, вот что? Ну, посмотрим, – соглашается мадемуазель, гневно и неистово кивая ему в ответ.

– Вы приходите сюда, чтобы обратиться ко мне с удивительно скромной просьбой, которую сейчас изложили, и, если я вам откажу, вы придете снова.

– Да, снова! – подтверждает мадемуазель, кивая все так же неистово и гневно. – Снова!.. И снова! И много раз снова! Словом, без конца!

– И придете не только сюда, но, быть может, и к мистеру Снегсби? А если визит к нему тоже не будет иметь успеха, вы придете сюда опять?

– И опять! – повторяет мадемуазель, как одержимая. – И опять. И опять. И много раз опять. Словом, без конца!

– Так. А теперь, мадемуазель Ортанз, позвольте мне посоветовать вам взять свечу и подобрать ваши деньги. Вы, вероятно, найдете их за перегородкой клерка, вон там в углу.

Она отвечает лишь коротким смехом, глядя на юриста через плечо, и стоит как вкопанная, скрестив руки.

– Не желаете, а?

– Нет, не желаю!

– Тем беднее будете вы и тем богаче я! Смотрите, милейшая, вот ключ от моего винного погреба. Это большой ключ, но ключи от тюремных камер еще больше. В Лондоне имеются исправительные заведения (где женщин заставляют вращать ногами ступальные колеса), и ворота у этих заведений очень крепкие и тяжелые, а ключи под стать воротам. Боюсь, что даже особе с вашим характером и энергией будет очень неприятно, если один из этих ключей повернется и надолго запрет за ней дверь. Как вы думаете?

– Я думаю, – отвечает мадемуазель, не пошевельнувшись, но произнося слова отчетливо и ласковым голосом, – что вы подлый негодяй.

– Возможно, – соглашается мистер Талкингхорн, невозмутимо сморкаясь. – Но я не спрашиваю, что вы думаете обо мне, я спрашиваю, что вы думаете о тюрьме.

– Ничего. Какое мне до нее дело?

– А вот какое, милейшая, – объясняет юрист, как ни в чем

не бывало пряча платок и поправляя жабо, – тут у нас законы так деспотично-строги, что ограждают любого из наших добрых английских подданных от нежелательных ему посещений, хотя бы и дамских. И по его жалобе на беспокойство такого рода закон хватает беспокойную даму и сажает ее в тюрьму, подвергая суровому режиму. Повертывает за ней ключ, милейшая.

И он наглядно показывает при помощи ключа от погреба, как это происходит.

– Неужели правда? – отзывается мадемуазель Ортанз все так же ласково. – Смехота какая! Но, черт возьми!.. какое мне все-таки до этого дело?

– А вы, красотка моя, попробуйте нанести еще один визит мне или мистеру Снегсби, – говорит мистер Талкингхорн, – вот тогда и узнаете – какое.

– Может быть, вы тогда меня в тюрьму упрячете?

– Может быть.

Мадемуазель говорит все это таким шаловливым и милым тоном, что странно было бы видеть пену на ее губах, однако рот ее растянут по-тигриному, и чудится, будто еще немного, и из него брызнет пена.

– Одним словом, милейшая, – продолжает мистер Талкингхорн, – мне не хочется быть неучтивым, но если вы когда-нибудь снова явитесь без приглашения сюда – или туда, – я передам вас в руки полиции. Полисмены очень галантны, но они самым позорящим образом тащат беспокойных лю-

дей по улицам… прикрутив их ремнями к доске, душечка.

– Вот увидим, – шипит мадемуазель, протянув руку вперед, – погляжу я, посмеете вы или нет!

– А если, – продолжает юрист, не обращая внимания на ее слова, – если я устрою вас на это хорошее место, иначе говоря, посажу под замок, в тюрьму, пройдет немало времени, прежде чем вы снова очутитесь на свободе.

– Вот увидим! – повторяет мадемуазель все тем же шипящим шепотом.

– Ну-с, – продолжает юрист, по-прежнему не обращая внимания на ее слова, – а теперь убирайтесь вон. И подумайте дважды, прежде чем прийти сюда вновь.

– Сами подумайте! – бросает она. – Дважды, двести раз подумайте!

– Ваша хозяйка уволила вас как несносную и непокладистую женщину, – говорит мистер Талкингхорн, провожая ее до лестницы. – Теперь начните новую жизнь, а мои слова примите как предостережение. Ибо все, что я говорю, я говорю не на ветер; и если я кому-нибудь угрожаю, то выполняю свою угрозу, любезнейшая.

Она спускается по лестнице, не отвечая и не оглядываясь. После ее ухода он тоже спускается в погреб, а достав покрытую паутиной бутылку, приходит обратно и не спеша смакует ее содержимое, по временам откидывая голову на спинку кресла и бросая взгляд на назойливого римлянина, который указует перстом с потолка.

Глава XLIII
Повесть Эстер

Теперь уже не имеет значения, как много я думала о своей матери – живой, но попросившей меня считать ее умершей. Сознавая, какая ей грозит опасность, я не решалась видеться с ней или даже писать ей из боязни навлечь на нее беду. Самое мое существование оказалось непредвиденной опасностью на жизненном пути моей матери, и, зная это, я не всегда могла преодолеть ужас, охвативший меня, когда я впервые узнала тайну. Я не осмеливалась произнести имя своей матери. Мне казалось, что я не должна даже слышать его. Если в моем присутствии разговор заходил о Дедлоках, что, естественно, случалось время от времени, я старалась не слушать и начинала считать в уме или читать про себя стихи, которые знала на память, или же просто выходила из комнаты. Помнится, я нередко делала это и тогда, когда нечего было опасаться, что заговорят о ней, – так я боялась услышать что-нибудь такое, что могло бы выдать ее – выдать по моей вине.

Теперь уже не имеет значения, как часто я вспоминала о голосе моей матери, спрашивая себя, услышу ли я его снова, – чего страстно желала, – и раздумывая о том, как странно и грустно, что я услышала его так поздно. Теперь уже не имеет значения, что я искала имя моей матери в газетах; ходила

взад и вперед мимо ее лондонского дома, который казался мне каким-то милым и родным, но боялась даже взглянуть на него; что однажды я пошла в театр, когда моя мать была там, и она видела меня, но мы сидели среди огромной, разношерстной толпы, разделенные глубочайшей пропастью, и самая мысль о том, что мы друг с другом связаны и у нас есть общая тайна, казалась каким-то сном. Все это давным-давно пережито и кончено. Удел мой оказался таким счастливым, что если я перестану рассказывать о доброте и великодушии других, то смогу рассказать о себе лишь очень немного. Это немногое можно пропустить и продолжать дальше.

Когда мы вернулись домой и зажили по-прежнему, Ада и я, мы часто разговаривали с опекуном о Ричарде. Моя милая девочка глубоко страдала оттого, что юноша был несправедлив к их великодушному родственнику, но она так любила Ричарда, что не могла осуждать его даже за это. Опекун все хорошо понимал и ни разу не упрекнул его за глаза ни единым словом.

– Рик ошибается, дорогая моя, – говорил он Аде. – Что делать! Все мы ошибались, и не раз. Будем полагаться на вас и на время, – быть может, он все-таки исправится.

Впоследствии мы узнали наверное (а тогда лишь подозревали), что опекун не стал полагаться на время и нередко пытался открыть глаза Ричарду, – писал ему, ездил к нему, мягко уговаривал его и, повинуясь велениям своего доброго сердца, приводил все доводы, какие только мог придумать,

чтобы его разубедить. Но наш бедный, любящий Ричард оставался глух и слеп ко всему. Если он не прав, он принесет извинения, когда тяжба в Канцлерском суде окончится, говорил он. Если он ощупью бредет во мраке, самое лучшее, что он может сделать, это рассеять тучи, по милости которых столько вещей на свете перепуталось и покрылось тьмой. Подозрения и недоразумения возникли из-за тяжбы? Так пусть ему позволят изучить эту тяжбу и таким образом узнать всю правду. Так он отвечал неизменно. Тяжба Джарндисов настолько овладела всем его существом, что из каждого приведенного ему довода он с какой-то извращенной рассудительностью извлекал все новые и новые аргументы в свое оправдание.

– Вот и выходит, – сказал мне как-то опекун, – что убеждать этого несчастного, милого юношу еще хуже, чем оставить его в покое.

Во время одного разговора на эту тему я воспользовалась случаем высказать свои сомнения в том, что мистер Скимпол дает Ричарду разумные советы.

– Советы! – смеясь, подхватил опекун. – Но, дорогая моя, кто же будет советоваться со Скимполом?

– Может быть, лучше сказать: поощряет его? – промолвила я.

– Поощряет! – снова подхватил опекун. – Кого же может поощрять Скимпол?

– А Ричарда разве не может? – спросила я.

– Нет, – ответил он, – куда ему, этому непрактичному, нерасчетливому, кисейному созданию! – ведь Ричард с ним только отводит душу и развлекается. Но советовать, поощрять, вообще серьезно относиться к кому или чему бы то ни было такой младенец, как Скимпол, совершенно не способен.

– Скажите, кузен Джон, – проговорила Ада, которая подошла к нам и выглянула из-за моего плеча, – почему он сделался таким младенцем?

– Почему он сделался таким младенцем? – повторил опекун, немного опешив, и начал ерошить свои волосы.

– Да, кузен Джон.

– Видите ли, – медленно проговорил он, все сильней и сильней ероша волосы, – он весь – чувство и… и впечатлительность… и… и чувствительность… и… и воображение. Но все это в нем как-то не уравновешено. Вероятно, люди, восхищавшиеся им за эти качества в его юности, слишком переоценили их, но недооценили важности воспитания, которое могло бы их уравновесить и выправить; ну, вот он и стал таким. Правильно? – спросил опекун, внезапно оборвав свою речь и с надеждой глядя на нас. – Как полагаете вы обе?

Ада, взглянув на меня, сказала, что Ричард тратит деньги на мистера Скимпола, и это очень грустно.

– Очень грустно, очень, – поспешил согласиться опекун. – Этому надо положить конец… Мы должны это прекратить. Я должен этому помешать. Так не годится.

Я сказала, что мистер Скимпол, к сожалению, познакомил Ричарда с мистером Воулсом, с которого получил за это пять фунтов в подарок.

– Да что вы? – проговорил опекун, и на лице его мелькнула тень неудовольствия. – Но это на него похоже… очень похоже! Ведь он сделал это совершенно бескорыстно. Он и понятия не имеет о ценности денег. Он знакомит Рика с мистером Воулсом, а затем, – ведь они с Воулсом приятели, – берет у него в долг пять фунтов. Этим он не преследует никакой цели и не придает этому никакого значения. Бьюсь об заклад, что он сам сказал вам это, дорогая!

– Сказал! – подтвердила я.

– Вот видите! – торжествующе воскликнул опекун. – Это на него похоже! Если бы он хотел сделать что-то плохое или понимал, что поступил плохо, он не стал бы об этом рассказывать. А он и рассказывает и поступает так лишь по простоте душевной. Но посмотрите на него в домашней обстановке, и вы лучше поймете его. Надо нам съездить к Гарольду Скимполу и попросить его вести себя поосторожней с Ричардом. Уверяю вас, дорогие мои, это ребенок, сущий ребенок!

И вот мы как-то раз встали пораньше, отправились в Лондон и подъехали к дому, где жил мистер Скимпол.

Он жил в квартале Полигон в Сомерс-Тауне, где в то время ютилось много бедных испанских беженцев, которые носили плащи и курили не сигары, а папиросы. Не знаю, то ли

он все-таки был платежеспособным квартирантом, благодаря своему другу «Кому-то», который рано или поздно всегда вносил за него квартирную плату, то ли его неспособность к делам чрезвычайно усложняла его выселение, но, так или иначе, он уже несколько лет жил в этом доме. А дом был совсем запущенный, каким мы, впрочем, его себе и представляли. Из решетки, ограждавшей нижний дворик, вывалилось несколько прутьев; кадка для дождевой воды была разбита; дверной молоток едва держался на месте; ручку от звонка оторвали так давно, что проволока, на которой она когда-то висела, совсем заржавела, и только грязные следы на ступенях крыльца указывали, что в этом доме живут люди.

В ответ на наш стук появилась неряшливая пухлая девица, похожая на перезрелую ягоду и выпиравшая из всех прорех своего платья и всех дыр своих башмаков, и, чуть-чуть приоткрыв дверь, загородила вход своими телесами. Но, узнав мистера Джарндиса (мы с Адой даже подумали, что она, очевидно, связывала его в своих мыслях с получением жалованья), она тотчас же отступила и позволила нам войти. Замок на двери был испорчен, и девица попыталась ее запереть, накинув цепочку, тоже неисправную, после чего попросила нас подняться наверх.

Мы поднялись на второй этаж, причем нигде не увидели никакой мебели; зато на полу всюду виднелись грязные следы. Мистер Джарндис без дальнейших церемоний вошел в

какую-то комнату, и мы последовали за ним. Комната была довольно темная и отнюдь не опрятная, но обставленная с какой-то нелепой, потертой роскошью: большая скамейка для ног, диван, заваленный подушками, мягкое кресло, забитое подушечками, рояль, книги, принадлежности для рисования, ноты, газеты, несколько рисунков и картин. Оконные стекла тут потускнели от грязи, и одно из них, разбитое, было заменено бумагой, приклеенной облатками; однако на столе стояла тарелочка с оранжерейными персиками, другая – с виноградом, третья – с бисквитными пирожными, и вдобавок бутылка легкого вина. Сам мистер Скимпол полулежал на диване, облаченный в халат, и, попивая душистый кофе из старинной фарфоровой чашки – хотя было уже около полудня, – созерцал целую коллекцию горшков с желтофиолями, стоявших на балконе.

Ничуть не смущенный нашим появлением, он встал и принял нас со свойственной ему непринужденностью.

– Так вот я и живу! – сказал он, когда мы уселись (не без труда, ибо почти все стулья были сломаны). – Вот я перед вами! Вот мой скудный завтрак. Некоторые требуют на завтрак ростбиф или баранью ногу, а я не требую. Дайте мне персиков, чашку кофе, красного вина, и с меня хватит. Все эти деликатесы нужны мне не сами по себе, а лишь потому, что они напоминают о солнце. В коровьих и бараньих ногах нет ничего солнечного. Животное удовлетворение – вот все, что они дают!

– Эта комната служит нашему другу врачебным кабинетом (то есть служила бы, если б он занимался медициной); это его святилище, его студия, – объяснил нам опекун.

– Да, – промолвил мистер Скимпол, обращая к нам всем поочередно свое сияющее лицо, – а еще ее можно назвать птичьей клеткой. Вот где живет и поет птичка. Время от времени ей общипывают перышки, подрезают крылышки; но она поет, поет!

Он предложил нам винограду, повторяя с сияющим видом:

– Она поет! Ни одной нотки честолюбия, но все-таки поет.

– Отличный виноград, – сказал опекун. – Это подарок?

– Нет, – ответил хозяин. – Нет! Его продает какой-то любезный садовник. Подручный садовника принес виноград вчера вечером и спросил, не подождать ли ему денег. «Нет, мой друг, – сказал я, – не ждите… если вам хоть сколько-нибудь дорого время». Должно быть, время было ему дорого – он ушел.

Опекун улыбнулся нам, как бы спрашивая: «Ну можно ли относиться серьезно к такому младенцу?»

– Этот день мы все здесь запомним навсегда, – весело проговорил мистер Скимпол, наливая себе немного красного вина в стакан, – мы назовем его днем святой Клейр и святой Саммерсон. Надо вам познакомиться с моими дочерьми. У меня их три: голубоглазая дочь – Красавица, вторая дочь – Мечтательница, третья – Насмешница. Надо вам повидать

их всех. Они будут в восторге.

Он уже собирался позвать дочерей, но опекун попросил его подождать минутку, так как сначала хотел немного поговорить с ним.

– Пожалуйста, дорогой Джарндис, – с готовностью ответил мистер Скимпол, снова укладываясь на диван, – сколько хотите минуток. У нас время – не помеха. Мы никогда не знаем, который час, да и не желаем знать. Вы скажете, что так не достигнешь успехов в жизни? Конечно. Но мы и не достигаем успехов в жизни. Ничуть на них не претендуем.

Опекун снова взглянул на нас, как бы желая сказать: «Слышите?»

– Гарольд, – начал он, – я хочу поговорить с вами о Ричарде.

– Он мой лучший друг! – отозвался мистер Скимпол самым искренним тоном. – Мне, пожалуй, не надо бы так дружить с ним – ведь с вами он разошелся. Но все-таки он мой лучший друг. Ничего не поделаешь; он весь – поэзия юности, и я его люблю. Если это не нравится вам, ничего не поделаешь. Я его люблю.

Привлекательная искренность, с какой он изложил эту декларацию, действительно казалась бескорыстной и пленила опекуна, да, пожалуй, на мгновение и Аду.

– Любите его сколько хотите, – сказал мистер Джарндис, – но не худо бы нам поберечь его карман, Гарольд.

– Что? Карман? – отозвался мистер Скимпол. – Ну, сейчас

вы заговорите о том, чего я не понимаю.

Он налил себе еще немного красного вина и, макая в него бисквит, покачал головой и улыбнулся мне и Аде, простодушно предупреждая нас, что этой премудрости ему не понять.

– Если вы идете или едете с ним куда-нибудь, – напрямик сказал опекун, – вы не должны позволять ему платить за вас обоих.

– Дорогой Джарндис, – отозвался мистер Скимпол, и его жизнерадостное лицо засияло улыбкой – такой смешной показалась ему эта мысль, – но что же мне делать? Если он берет меня с собой куда-нибудь, я должен ехать. Но как могу я платить? У меня никогда нет денег. А если б и были, так ведь я в них ничего не понимаю. Допустим, я спрашиваю человека: сколько? Допустим, он отвечает: семь шиллингов и шесть пенсов. Я не знаю, что такое семь шиллингов и шесть пенсов. Я не могу продолжать разговор на такую тему, если уважаю этого человека. Я не спрашиваю занятых людей, как сказать «семь шиллингов и шесть пенсов» на мавританском языке, о котором и понятия не имею. Так чего же мне ходить и спрашивать их, что такое семь шиллингов и шесть пенсов в монетах, о которых я тоже не имею понятия?

– Ну, хорошо, – сказал опекун, ничуть не раздосадованный этим бесхитростным ответом, – если вам опять случится поехать куда-нибудь с Риком, возьмите в долг у меня (только смотрите не проболтайтесь ему ни намеком), а он пусть себе

ведет все расчеты.

– Дорогой Джарндис, – отозвался мистер Скимпол, – я готов на все, чтобы доставить вам удовольствие, но это кажется мне пустой формальностью… предрассудком. Кроме того, даю вам слово, мисс Клейр и дорогая мисс Саммерсон, я считал мистера Карстона богачом. Я думал, что стоит ему написать какой-нибудь там ордер, или подписать обязательство, вексель, чек, счет, или проставить что-нибудь в какой-нибудь ведомости, и деньги польются рекой.

– Вовсе нет, сэр, – сказала Ада. – Он человек бедный.

– Что вы говорите! – изумился мистер Скимпол, радостно улыбаясь. – Вы меня удивляете.

– И он ничуть не богатеет оттого, что хватается за гнилую соломинку, – сказал опекун и с силой положил руку на рукав халата, в который был облачен мистер Скимпол, – поэтому, Гарольд, всячески остерегайтесь поощрять это заблуждение.

– Мой дорогой и добрый друг, – проговорил мистер Скимпол, – милая мисс Саммерсон и милая мисс Клейр, да разве я на это способен? Ведь все это – дела, а в делах я ничего не понимаю. Это он сам поощряет меня. Он является ко мне после своих великих деловых подвигов, уверяет, что они подают самые блистательные надежды, и приглашает меня восхищаться ими. Ну, я и восхищаюсь ими… как блистательными надеждами. А больше я о них ничего не знаю, да так ему и говорю.

Беспомощная наивность, с какой он излагал нам эти мыс-

ли, беззаботность, с какой он забавлялся своей неопытностью, странное уменье ограждать себя от всего неприятного и защищать свою диковинную личность сочетались с очаровательной непринужденностью всех его рассуждений и как будто подтверждали мнение моего опекуна. Чем чаще я видела мистера Скимпола, тем менее возможным казалось мне, что он способен что-либо замышлять, утаивать или подчинять кого-нибудь своему влиянию; однако в его отсутствие я считала это более вероятным, и тем менее приятно мне было знать, что он как-то связан с одним из моих близких друзей.

Мистер Скимпол понял, что его экзамен (как он сам выразился) окончен, и, весь сияя, вышел из комнаты, чтобы привести своих дочерей (сыновья его в разное время убежали из дому), оставив опекуна в полном восхищении от тех доводов, какими он оправдывал свою детскую наивность. Вскоре он вернулся с тремя молодыми особами и с миссис Скимпол, которая в молодости была красавицей, но теперь выглядела чахлой высокомерной женщиной, страдающей множеством всяких недугов.

– Вот это, – представил их нам мистер Скимпол, – моя дочь Красавица: ее зовут Аретуза, она поет и играет разные пьески и песенки, под стать своему папаше. Это моя дочь Мечтательница: зовут Лаура; немного играет, но не поет. А это моя дочь Насмешница: зовут Китти, немного поет, но не играет. Все мы немножко рисуем и немножко сочиняем

музыку, но никто из нас не имеет понятия ни о времени, ни о деньгах.

Миссис Скимпол вздохнула, и мне почудилось, будто ей хочется вычеркнуть этот пункт из списка семейных достоинств. Я подумала также, что вздохнула она нарочно – чтобы как-то воздействовать на опекуна; а в дальнейшем она вздыхала при каждом удобном случае.

– Как это приятно и даже прелюбопытно – определять характерные особенности каждого семейства, – сказал мистер Скимпол, обводя веселыми глазами всех нас поочередно. – В нашей семье все мы дети, а я – самый младший.

Дочки, видимо, очень любили отца и, услышав эту забавную истину, громко захохотали – особенно Насмешница.

– Это же правда, душечки мои, – разве нет, – сказал мистер Скимпол. – Так оно и есть, и так должно быть, ибо, как в песне поется, «такова наша природа». Вот, например, у нас сидит мисс Саммерсон, которая одарена прекрасными административными способностями и поразительно хорошо знает всякие мелочи. Мисс Саммерсон, наверное, очень удивится, если услышит, что в этом доме никто не умеет зажарить отбивную котлету. Но мы действительно не умеем; не знаем, как и подступиться к ней. Мы абсолютно ничего не умеем стряпать. Как обращаться с иголкой и ниткой, нам тоже неизвестно. Мы восхищаемся людьми, обладающими практической мудростью, которой нам так недостает, и мы с ними не спорим. Так для чего же им спорить с нами? Живите

и дайте жить другим, заявляем мы им. Живите за счет своей практической мудрости, а нам позвольте жить на ваш счет!

Он смеялся, но, как всегда, казался вполне искренним и глубоко убежденным во всем, что говорил.

– Мы ко всему относимся сочувственно, мои прелестные розы, – сказал мистер Скимпол, – ко всему на свете. Не так ли?

– О да, папа! – воскликнули все три дочери.

– По сути дела, в этом и заключается назначение нашей семьи в сумятице жизни, – пояснил мистер Скимпол. – Мы способны наблюдать, способны интересоваться всем окружающим, и мы действительно наблюдаем и интересуемся. Ничего больше мы не можем делать. Вот моя дочь – Красавица; она уже три года замужем. Признаюсь, что обвенчаться с таким же младенцем, как она сама, и произвести на свет еще двух младенцев было очень неумно с точки зрения политической экономии; зато очень приятно. В честь этих событий мы устраивали пирушки и обменивались мнениями по социальным вопросам. Как-то раз она привела домой молодого муженька, и они свили себе гнездышко у нас наверху, где и воспитывают своих маленьких птенчиков. В один прекрасный день Мечтательница и Насмешница, наверное, приведут *своих* мужей домой и совьют *себе* гнезда наверху. Так вот мы и живем; сами не знаем как, но как-то живем.

Не верилось, что Красавица может быть матерью двоих детей, – на вид она сама была еще совсем девочкой, и мне

стало жалко и мать, и ее ребят. Было совершенно ясно, что все три дочери росли без присмотра, а учили их чему попало и как попало – лишь с той целью, чтобы отец мог забавляться ими, как игрушками, когда ему было нечего делать. Я заметила, что дочки даже причесывались, сообразуясь с его вкусами: так, у Красавицы прическа была классическая – узел волос на затылке; у Мечтательницы романтическая – густые развевающиеся локоны, а у Насмешницы кокетливая – ясный лоб открыт, а на висках задорные кудряшки. Одевались они в том же стиле, как и причесывались, но чрезвычайно неряшливо и небрежно.

Ада и я, мы поболтали с этими молодыми особами и нашли, что они удивительно похожи на отца. Тем временем мистер Джарндис (который усиленно ерошил себе волосы и намекал на перемену ветра) беседовал с миссис Скимпол в углу, причем оттуда ясно доносился звон монет. Мистер Скимпол еще раньше выразил желание погостить у нас и удалился, чтобы переодеться.

– Розочки мои, – сказал он, вернувшись, – позаботьтесь о маме; ей сегодня нездоровится. А я денька на два съезжу к мистеру Джарндису, послушаю, как поют жаворонки, и это поможет мне сохранить приятное расположение духа. Вы ведь знаете, что сегодня его хотели испортить и опять захотят, если я останусь дома.

– Такой противный! – воскликнула дочь Насмешница.

– И ведь он знал, что папа как раз отдыхает, любуясь на

свои желтофиоли и голубое небо! – жалобно промолвила Лаура.

– И в воздухе тогда пахло сеном! – сказала Аретуза.

– Очевидно, этот человек недостаточно поэтичен, – поддержал их мистер Скимпол, но – очень добродушно. – Это было грубо с его стороны. Вот что значит, когда у тебя не хватает чуткости! Мои дочери очень обиделись, – объяснил он нам, – на одного славного малого…

– Вовсе он не славный, папа. Он несносный! – запротестовали все три дочери.

– Неотесанный малый… своего рода свернувшийся еж в человеческом образе, – уточнил мистер Скимпол. – Он пекарь, живет по соседству, и мы заняли у него два кресла. Нам нужны были два кресла, но у нас их не было, и потому мы, конечно, стали искать человека, который их *имеет* и может одолжить нам. Прекрасно! Этот угрюмый субъект одолжил нам кресла, и со временем они пришли в негодность. Когда они уже никуда не годились, он захотел взять их назад. Он взял их назад. Вы скажете – он удовлетворился? Ничуть. Он стал жаловаться – заявил претензию на то, что мы привели их в негодное состояние. Я пытался его урезонить, доказать ему, что он ошибается. Я сказал: «Неужели вы, друг мой, дожив до таких лет, все еще столь упрямы, что продолжаете считать кресло предметом, который надо поставить на полку и созерцать, разглядывать издали, рассматривать под тем или другим углом зрения? Неужели вы *не понимаете*, что

мы заняли у вас эти кресла для того, чтобы сидеть в них?» Но он не поддался ни на какие резоны и увещания и начал выражаться несдержанно. Терпеливый, как и сейчас, я сделал новую попытку его усовестить. Я сказал: «Послушайте, приятель, как бы ни различались между собой наши деловые способности, мои и ваши, все мы дети одной великой матери – Природы. Вы же видите, чем я занимаюсь в это ясное летнее утро (я тогда лежал на диване): передо мною цветы, на столе фрукты, над головой безоблачное небо, воздух напоен ароматами, и я созерцаю Природу. Умоляю вас, во имя нашего общечеловеческого братства, не заслоняйте мне столь божественной картины нелепой фигурой сердитого пекаря!» Но он не послушался, – закончил мистер Скимпол, смеясь и поднимая брови в шутливом изумлении, – он заслонил Природу своей нелепой фигурой, заслоняет и будет заслонять. Поэтому я очень рад, что могу ускользнуть от него и уехать к моему другу Джарндису.

Он, вероятно, и не думал о том, что миссис Скимпол и его дочери останутся в городе, обреченные на встречи с пекарем; впрочем, сами они так привыкли к подобному отношению, что принимали его как нечто само собой разумеющееся. Мистер Скимпол нежно простился с семьей, веселый и грациозный, как всегда, и уехал с нами в состоянии полной душевной гармонии. Спускаясь по лестнице, мы не могли не видеть комнат, двери которых были открыты настежь, и сделали вывод, что комната хозяина казалась роскошным чер-

тогом по сравнению с остальными.

Я не предвидела и не могла предвидеть, что не пройдет еще этот день, как случится одно событие, которое произведет на меня глубокое впечатление и навсегда останется мне памятным по своим последствиям. По дороге к нам гость наш был так оживлен, что я только слушала его и удивлялась; да и не я одна – Ада тоже поддалась его обаянию. Что касается опекуна, то не успели мы проехать милю-другую, как ветер, упорно дувший с востока, когда мы уезжали из Сомерс-Тауна, резко изменил направление.

Не знаю, была ли инфантильность мистера Скимпола подлинной или притворной во всех прочих отношениях, но перемене обстановки и прекрасной погоде он радовался совершенно по-детски. Ничуть не утомленный остротами, которыми он осыпал нас по дороге, он первым из нас прошел в гостиную, и я, занимаясь хозяйством, слышала, как он, сидя за роялем, одну за другой распевал итальянские и немецкие баркаролы и застольные песни – точнее, только их припевы.

Незадолго до обеда все мы были в сборе, и мистер Скимпол все еще сидел за роялем, наигрывая с большим чувством отрывки из музыкальных пьес, а в промежутках болтая о том, что завтра он дорисует развалины древней Веруламской стены, которые начал рисовать года два назад, но не кончил, потому что они ему надоели, – как вдруг нам принесли визитную карточку, и опекун с удивлением прочел вслух:

– Сэр Лестер Дедлок!

Гость вошел в комнату, и вся она завертелась передо мной, прежде чем я смогла сделать хоть шаг. Будь я в силах пошевельнуться, я бы убежала. Голова моя так кружилась, что у меня даже не хватило духу укрыться в оконной нише, где сидела Ада; впрочем, я и окна-то не видела и даже забыла, где оно. Не успела я собраться с силами и дойти до стула, как услышала свое имя и поняла, что опекун представляет меня.

– Садитесь, пожалуйста, сэр Лестер.

– Мистер Джарндис, – проговорил сэр Лестер, кланяясь и усаживаясь, – я имел честь заехать к вам…

– Этим вы сделали честь *мне*, сэр Лестер.

– Благодарю вас… я имел честь заехать к вам по дороге из Линкольншира, ибо желаю выразить вам свое сожаление по поводу того, что моя неприязнь, – впрочем, имеющая довольно серьезные основания, – моя неприязнь к одному джентльмену, который… который вам знаком, принимал вас у себя и о котором я поэтому больше ничего не скажу, помешала вам и, больше того, молодым леди, находящимся под вашей охраной и опекой, увидеть в моем чесни-уолдском доме кое-какие вещи, которые могли бы понравиться лицам с изысканным и утонченным вкусом.

– Вы чрезвычайно любезны, сэр Лестер, и я приношу вам глубокую благодарность от имени этих молодых леди – вот они! – и от себя.

– Весьма возможно, мистер Джарндис, что джентльмен,

о котором я по упомянутым причинам воздерживаюсь говорить, – весьма возможно, мистер Джарндис, что этот джентльмен оказал мне честь понять мой характер настолько превратно, чтобы внушить вам представление, будто вы не будете приняты в моем линкольнширском поместье с той вежливостью, с той почтительностью, которую всем моим людям предписано проявлять по отношению ко всем леди и джентльменам, посещающим мой дом. Если так, я только прошу вас поверить, сэр, что на самом деле вы были бы приняты столь же вежливо и почтительно, как и все прочие посетители.

Опекун деликатно уклонился от ответа.

– Мне было неприятно, мистер Джарндис, – важно продолжал сэр Лестер, – заверяю вас, сэр… *Мне* было неприятно… узнать от нашей чесни-уолдской домоправительницы, что один джентльмен, гостивший вместе с вами в этой части нашего графства, и, по-видимому, тонкий знаток Изящных Искусств, был точно так же и по той же причине лишен возможности осмотреть наши семейные портреты с той неторопливостью, с тем вниманием, с тем интересом, которые он, быть может, хотел бы им уделить, а значит, и сам лишился возможности получить удовольствие от созерцания некоторых из этих портретов.

Тут он вынул визитную карточку и, глядя на нее в лорнет, прочел очень внушительным тоном, хоть и с некоторым трудом:

– Мистер Гирольд… Геральд… Гарольд… Скемплинг, Скамплинг… простите – Скимпол.

– Да вот и сам мистер Гарольд Скимпол, – сказал мой опекун, явно удивленный.

– А! – воскликнул сэр Лестер. – Прекрасно; я счастлив познакомиться с мистером Скимполом и воспользоваться случаем лично выразить ему сожаление. Я надеюсь, сэр, что, когда вы снова заглянете в мои места, вам не придется больше стесняться, как в прошлый раз.

– Вы очень добры, сэр Лестер Дедлок. Я, конечно, воспользуюсь вашим любезным приглашением и доставлю себе удовольствие снова посетить ваш прекрасный дом. Владельцы таких поместий, как Чесни-Уолд, – проговорил мистер Скимпол со свойственным ему счастливым и беспечным видом, – это благодетели общества. Они так добры, что держат у себя множество великолепных вещей, позволяя нам, бедным людям, восторгаться и наслаждаться ими; а тот, кто не ощущает восторга и наслаждения, попросту проявляет неблагодарность по отношению к нашим благодетелям.

Сэру Лестеру подобные мысли, как видно, очень понравились.

– Вы художник, сэр?

– Нет, – ответил мистер Скимпол, – совершенно праздный человек. Просто любитель.

Сэру Лестеру это, как видно, понравилось еще больше. Он выразил надежду, что ему самому посчастливится быть

в Чесни-Уолде, когда мистер Скимпол опять приедет в Линкольншир, а мистер Скимпол заверил его, что очень польщен и почитает это за честь.

– Мистер Скимпол, – продолжал сэр Лестер, снова обращаясь к опекуну, – сообщил нашей домоправительнице, которая, как он, вероятно, заметил, давно и преданно служит нашей семье…

(– Это было на днях – я осматривал чесни-уолдский дом, когда поехал навестить мисс Саммерсон и мисс Клейр, – непринужденно пояснил мистер Скимпол.)

– …сообщил нашей домоправительнице, что и раньше гостил в этих местах с одним своим другом, и этот друг – мистер Джарндис. – Сэр Лестер поклонился моему опекуну. – Вот как я узнал о тех обстоятельствах, по поводу которых сейчас выразил сожаление. Уверяю вас, мистер Джарндис… *Мне* … было бы неприятно услышать, что в мой дом постеснялся войти любой джентльмен – кто бы он ни был; так что же говорить о джентльмене, который когда-то был знаком с леди Дедлок и даже приходится ей дальним родственником и которого (как миледи сама говорила мне) она глубоко уважает.

– Все ясно, сэр Лестер, – сказал опекун. – Я очень тронут, и все мы тронуты вашим вниманием. Промах сделал я сам, и это мне следует извиниться за него.

Я ни разу не подняла глаз. Я не видела гостя и, казалось мне, даже не прислушивалась к беседе. Странно, что я ее

запомнила, – ведь она как будто не дошла до моего сознания. Я слышала, как разговаривали окружающие, но была в таком смятении и так тяготилась присутствием этого джентльмена, которого инстинктивно стремилась избегать, что в голове у меня шумело, сердце билось, и мне казалось, что я ничего не понимаю.

– Я рассказал обо всем этом леди Дедлок, – сказал сэр Лестер, поднявшись, – и миледи сообщила мне, что она имела удовольствие обменяться несколькими словами с мистером Джарндисом и его подопечными, так как случайно встретилась с ними, когда они гостили по соседству. Позвольте мне, мистер Джарндис, повторить вам и этим молодым леди то, что я уже говорил мистеру Скимполу. Некоторые обстоятельства, несомненно, препятствуют мне утверждать, что я был бы рад услышать о посещении моего дома мистером Бойторном; но эти обстоятельства касаются только данного джентльмена, а к другим лицам они отношения не имеют.

– Вы помните, что я всегда говорю о нем, – легким тоном сказал мистер Скимпол, призывая нас в свидетели. – Это добродушный бык, который уперся на своем и считает, что все на свете окрашено в ярко-красный цвет!

Сэр Лестер Дедлок кашлянул, как бы желая выразить, что не может больше слышать ни слова о подобном субъекте, и простился с нами чрезвычайно церемонно и вежливо. Я постаралась поскорее уйти в свою комнату и не выходила из нее, пока не овладела собой. Это было очень трудно, но, к

счастью, никто ничего не заметил, и когда я снова сошла вниз, все только подшучивали надо мной, вспоминая, как я была молчалива и застенчива в присутствии знатного линкольнширского баронета.

И тогда я решила, что пора мне рассказать опекуну все, что я знаю о себе. Так тяжело было думать, что теперь я могу встретиться с матерью, что меня могут пригласить к ней в дом и даже что мистер Скимпол – хоть он вовсе мне не друг – будет удостоен вниманием и любезностью ее мужа, – так тяжело было сознавать все это, что я почувствовала себя не в силах найти правильный путь без помощи опекуна.

Когда все ушли спать и мы с Адой, как всегда, немного поболтали в нашей уютной гостиной, я снова вышла из своей комнаты и отправилась искать опекуна в его библиотеке. Я знала, что в этот час он всегда читает, и, когда подошла к его двери, увидела свет настольной лампы, падающий в коридор.

– Можно войти, опекун?

– Конечно, девочка моя. А что случилось?

– Ничего. Просто я решила воспользоваться часом, когда все в доме спят, чтобы сказать вам несколько слов о себе.

Он подвинул мне кресло, закрыл книгу и, отложив ее, обратил ко мне свое доброе, внимательное лицо. Я не могла не заметить, что лицо у него опять какое-то странное, совсем как в ту ночь, когда он сказал, что у него есть заботы, которых мне не понять.

– Все, что касается вас, милая Эстер, касается всех нас, –

сказал он. – Как бы охотно вы ни говорили со мною, я буду слушать вас еще охотнее.

– Я знаю, опекун. Но я так нуждаюсь в вашем совете и поддержке. Ах, вы не подозреваете, как я в этом нуждаюсь, и особенно сегодня.

Он удивился моей горячности и даже немного встревожился.

– Мне так хотелось поговорить с вами, – сказала я, – хотелось с той самой минуты, как приехал к нам гость.

– Какой гость, дорогая? Сэр Лестер Дедлок?

– Да.

Он скрестил руки и с глубочайшим изумлением посмотрел на меня, ожидая, что я скажу еще. Я не знала, как мне подготовить его.

– Слушайте, Эстер, – проговорил он с улыбкой, – кто-кто, но чтобы *вы* могли иметь какое-то отношение к нашему гостю – вот уж чего я бы никак не подумал!

– Ну да, опекун, конечно. И я не думала когда-то.

Улыбка сошла с его лица, и оно сделалось серьезным.

Он подошел к двери, чтобы убедиться, закрыта ли она (но об этом я уже позаботилась), и снова сел на свое место рядом со мной.

– Опекун, – начала я, – вы помните тот день, когда мы бежали от грозы и леди Дедлок говорила с вами о своей сестре?

– Конечно. Конечно, помню.

– И напомнила вам, что они с сестрой разошлись, «пошли

каждая своей дорогой».

– Конечно.

– Почему они расстались, опекун?

Он взглянул на меня и переменился в лице.

– Дитя мое, что за вопросы? Не знаю. Да, кажется, и никто не знал, кроме них самих. Кто мог ведать тайны этих гордых красавиц! Вы видели леди Дедлок. Если бы вы видели ее сестру, вы заметили бы, что она была так же непоколебима и надменна, как леди Дедлок.

– Ах, опекун, я видела ее много, много раз!

– Вы ее видели?

Он немного помолчал, закусив губу.

– Так вот, Эстер, когда вы как-то раз, давно, говорили со мной о Бойторне, а я сказал вам, что однажды он чуть было не женился и его невеста хоть и не умерла в действительности, но умерла для него, причем эта трагедия повлияла на всю его дальнейшую жизнь, – знали ли вы все это, знали вы, кто была его невеста?

– Нет, опекун, – ответила я, страшась света, который, пока еще тускло, забрезжил передо мной. – Нет, да и сейчас не знаю.

– Это была сестра леди Дедлок.

– Но почему, – выговорила я с большим трудом, – скажите мне, опекун, умоляю вас, почему разошлись *они* – мистер Бойторн и она?

– По ее желанию; а по какой причине – неизвестно; это

она утаила в своем непреклонном сердце. Впоследствии он предполагал (хоть и не знал наверное), что она поссорилась с сестрой, жестоко уязвившей ее гордыню, и безмерно страдала от этого; во всяком случае, она написала Бойторну, что с того числа, которым помечено ее письмо, она для него умерла, – да так оно и оказалось, – а к решению своему пришла потому, что знает, как сильна в нем гордость, как остро развито в нем чувство чести, свойственные и ее натуре. Зная, что эти качества главенствуют в его характере, как и в ее собственном, и считаясь с этим, она, по ее словам, принесла себя в жертву и будет нести свой крест до самой смерти. Так она, к сожалению, и поступила: с тех пор он никогда больше не видел ее и ничего о ней не слышал. Как, впрочем, и все те, кто ее знал раньше.

– Ах, опекун, это я виновата! – вскричала я в отчаянии. – Какое горе я причинила невольно!

– Вы, Эстер?

– Да, опекун. Невольно, но все-таки причинила. Эта женщина, что жила в уединении, – первая, кого я помню в жизни.

– Не может быть! – вскричал он, вскочив с места.

– Да, опекун, да! А *ее* сестра – моя мать!

Я хотела было рассказать ему, о чем писала мне мать, но в тот вечер он отказался слушать меня. Он говорил со мною так нежно и с таким глубоким пониманием, так ясно объяснил мне все то, что я сама смутно сознавала и на что на-

деялась в самые светлые свои минуты; а я, и без того уже переполненная пламенной благодарностью, жившей во мне столько лет, я никогда еще не любила его так сильно, не благодарила так глубоко, как в тот вечер. А когда он проводил меня до моей комнаты и поцеловал у двери и когда я наконец легла спать, я подумала: смогу ли я когда-нибудь работать так усердно, быть такой доброй по мере своих скромных сил, такой самоотверженной и такой преданной ему и полезной для других, чтобы доказать ему, как я благословляю и почитаю его?

Глава XLIV
Письмо и ответ

Наутро опекун позвал меня к себе, и я поведала ему все то, чего не досказала накануне. Сделать ничего нельзя, сказал он, остается только хранить тайну и избегать таких встреч, как вчерашняя. Он понимает мои опасения и вполне разделяет их. Он берется даже удержать мистера Скимпола от посещения Чесни-Уолда. Той женщине, которую не следует называть при мне, он не может ни помочь, ни дать совета. Он хотел бы помочь ей, но это невозможно. Если она подозревает юриста, о котором говорила мне, и ее подозрения обоснованны, в чем он, опекун, почти не сомневается, тайну вряд ли удастся сохранить. Он немного знает этого юриста в лицо и понаслышке и убежден, что это человек опасный. Но что бы ни случилось, твердил он мне с тревожной и ласковой нежностью, я буду так же не виновата в этом, как и он сам, и так же не смогу ничего изменить.

– Я не думаю, – сказал он, – что могут возникнуть подозрения, связанные с вами, дорогая моя. Но многое можно заподозрить и не зная о вас.

– Если говорить о юристе, это верно, – согласилась я. – Но с тех пор как я начала так тревожиться, я все думаю о двух других лицах.

И я рассказала ему все про мистера Гаппи, который, возможно, о чем-то смутно догадывался в то время, когда я сама еще не понимала тайного смысла его слов; впрочем, после нашей последней встречи я уже не сомневалась, что он болтать не будет.

– Прекрасно, – сказал опекун. – В таком случае мы пока можем забыть о нем. А кто же второй?

Я напомнила ему о горничной-француженке, которая так настойчиво стремилась поступить ко мне.

– Да! – отозвался он задумчиво. – Она опаснее клерка. Но, в сущности, дорогая, ведь она всего только искала нового места. Незадолго перед этим она видела вас и Аду и, естественно, вспомнила о вас. Просто она хотела наняться к вам в горничные. Вот и все.

– Она вела себя как-то странно, – сказала я.

– Да, странно, но странно вела она себя и тогда, когда ей вдруг пришла блажь сбросить туфли и шлепать по лужам в одних чулках, с риском простудиться насмерть, – сказал опекун. – Однако раздумывать обо всех этих шансах и возможностях – это значит бесполезно тревожиться и мучиться. Каждый пустяк может показаться опасным, если смотреть на него с подобной точки зрения. Не теряйте надежды, Хозяюшка. Нельзя быть лучше, чем вы; и теперь, когда вы знаете все, будьте самой собой, будьте такой, какой были раньше. Это самое приятное, что вы можете сделать для всех. Поскольку я знаю вашу тайну…

– И так облегчаете мне это бремя, опекун, – вставила я.

– …я буду внимательно следить за всеми событиями, происходящими в этой семье, насколько это возможно на расстоянии. А если наступит время, когда я смогу протянуть руку помощи и оказать хоть малейшую услугу той, чье имя лучше не называть даже здесь, я приложу все усилия, чтобы сделать это ради ее милой дочери.

Я поблагодарила его от всего сердца. Да и как было не благодарить! Я уже подошла к двери, как вдруг он попросил меня задержаться на минуту. Быстро обернувшись, я опять заметила, что выражение лица у него такое же, как в тот памятный мне вечер, и вдруг, сама не знаю почему, меня осенила неожиданная догадка, и мне показалось, что, быть может, я когда-нибудь его и пойму.

– Милая Эстер, – начал опекун, – я давно уже думал, что мне нужно кое-что сказать вам.

– Да, опекун?

– Трудновато мне было подойти к этому, да и сейчас еще трудно. Мне хотелось бы высказаться как можно яснее, с тем чтоб вы тщательно взвесили мои слова. Вы не против того, чтобы я изложил это письменно?

– Дорогой опекун, как могу я быть против того, чтобы вы написали что-нибудь и дали прочесть мне?

– Так скажите же мне, милая вы моя, – промолвил он с ясной улыбкой, – правда ли, что я сейчас такой же простой и непринужденный… такой же откровенный, честный и ста-

розаветный, как всегда?

Я совершенно искренне ответила: «Вполне». И это была истинная правда, ибо его мимолетные колебания исчезли (да они и длились-то всего несколько секунд), и он снова стал таким же светлым, всепонимающим, сердечным, искренним, как всегда.

– Может быть, вам кажется, что я умолчал о чем-нибудь, сказал не то, что думал, утаил что-то – все равно что? – спросил он, и его живые ясные глаза встретились с моими.

Я без колебания ответила, что, конечно, нет.

– Можете вы вполне полагаться на меня и верить всему, что я говорю, Эстер?

– Безоговорочно! – ответила я от всего сердца.

– Моя дорогая девочка, – сказал опекун, – дайте мне руку.

Он взял мою руку, легонько обнял меня, глядя мне в лицо все с той же неподдельной искренностью и дружеской преданностью, с той же прежней готовностью защищать меня, которые сразу превратили этот дом в мой родной дом, и сказал мне:

– С того зимнего дня, когда мы с вами ехали в почтовой карете, вы заставили меня перемениться, милая моя. Но, главное, вы с тех пор сделали мне бесконечно много добра.

– Ах, опекун, а вы? Чего только не сделали вы для меня с той поры!

– Ну, – сказал он, – об этом теперь вспоминать нечего.

– Но разве можно это забыть?

– Да, Эстер, – сказал он мягко, но серьезно, – теперь это надо забыть… забыть на некоторое время. Вам нужно помнить только о том, что теперь ничто не может меня изменить – я навсегда останусь таким, каким вы меня знаете. Можете вы быть твердо уверенной в этом, дорогая?

– Могу; твердо уверена, – сказала я.

– Это много, – промолвил он. – Это все. Но я не должен ловить вас на слове. Я не стану писать того, о чем думаю, пока вы не будете убеждены, что ничто не может изменить меня, такого, каким вы меня знаете. Если вы хоть чуть-чуть сомневаетесь, я не буду писать ничего. Если же вы, по зрелом размышлении, утвердитесь в этой уверенности, пошлите ко мне Чарли «за письмом» ровно через неделю. Но не присылайте ее, если не будете уверены вполне. Запомните, в этом случае, как и во всех остальных, я полагаюсь на вашу правдивость. Если у вас не будет уверенности, не присылайте Чарли!

– Опекун, – отозвалась я, – да ведь я уже уверена. Я так же не могу изменить свое убеждение, как вы не можете перемениться ко мне. Я пошлю Чарли за письмом.

Он пожал мне руку и не сказал больше ни слова. И в течение всей следующей недели ни он, ни я не говорили об этом. Когда настал назначенный им вечер, я, как только осталась одна, сказала Чарли:

– Чарли, пойди постучись к мистеру Джарндису и скажи ему, что пришла от меня «за письмом».

Чарли спускалась по лестнице, поднималась по лестнице, шла по коридорам, а я прислушивалась к ее шагам, и в тот вечер извилистые ходы и переходы в этом старинном доме казались мне непомерно длинными; потом она пошла обратно, по коридорам, вниз по лестнице, вверх по лестнице и наконец принесла письмо.

– Положи его на стол, Чарли, – сказала я.

Чарли положила письмо на стол и ушла спать, а я сидела, глядя на конверт, но не дотрагивалась до него и думала о многом.

Сначала я вспомнила свое угрюмое детство, когда была такой робкой и застенчивой, потом – тяжелые дни, когда моя тетка лежала мертвая и ее непреклонное лицо было таким холодным и неподвижным, а потом – то время, когда я жила вдвоем с миссис Рейчел и чувствовала себя такой одинокой, как будто мне не с кем было перемолвиться словом, не на кого бросить взгляд. Затем я вспомнила иные дни, когда мне было даровано счастье находить друзей среди всех окружающих и быть любимой. Я вспоминала все вплоть до того дня, когда впервые увидела мою дорогую девочку, принявшую меня с той сестринской любовью, которая так украсила и обогатила мою жизнь. Я вспомнила яркие приветственные огни, которые в одну холодную звездную ночь засверкали нам навстречу из этих самых окон, впервые озарив наши полные ожидания лица, и с тех пор уже не меркли. Я вновь пережила свою счастливую жизнь, перебрала в памяти дни

своей болезни и выздоровления. Я думала о том, как изменилась я сама и как неизменно ласковы со мной все мои друзья, и все это счастье сияло мне, словно яркий свет, исходя от лучшего из друзей, который сейчас прислал мне письмо, лежащее на столе.

Я вскрыла и прочла его. Я была так потрясена любовью, бескорыстной заботливостью, вниманием ко мне, которые проглядывали в каждом слове этого письма, что слезы то и дело застилали мне глаза, и я не сразу дочитала его до конца. Но потом я прочла его три раза подряд и только тогда положила обратно на стол. Я и раньше догадывалась о его содержании – и не ошиблась. В письме мне был задан вопрос: соглашусь ли я стать хозяйкой Холодного дома?

Это было не любовное письмо, хотя оно дышало любовью ко мне, – опекун писал так, как говорил со мной всегда. В каждой строчке я видела его лицо, слышала его голос, чувствовала его доброту и стремление защитить меня. Он писал так, как будто мы поменялись местами, как будто все добрые дела исходили от меня, а все чувства, пробужденные ими, – от него.

В письме он говорил о том, что я молода, а он уже пережил свою лучшую пору и достиг зрелости в то время, когда я была еще ребенком; а теперь у него уже седая голова, и он пишет мне, отлично понимая значение разницы в возрасте, и напоминает мне о ней, чтобы я хорошенько подумала. Говорил, что, согласившись на этот брак, я ничего не выиграю,

а отказавшись от него, ничего не потеряю, ибо никакие новые отношения не могут углубить его нежность ко мне, и, как бы я ни решила поступить, он уверен, что мое решение будет правильным. Свое предложение он обдумал еще раз, уже после нашего последнего откровенного разговора, и решил сделать его, хотя бы для того, чтобы на одном скромном примере показать мне, что весь мир готов опровергнуть суровое предсказание, омрачившее мое детство. Он писал, что я и представить себе не могу, какое счастье я способна ему дать, но об этом он больше ничего не скажет, ибо мне всегда следует помнить, что я ничем ему не обязана, а вот он – мой неоплатный должник. Он часто думал о нашем будущем; он предвидел, что настанет время, – как ни грустно, – очень скоро настанет время, когда Ада (которая уже почти достигла совершеннолетия) уйдет от нас и нам больше не придется жить, как мы живем теперь; а предвидя это, он постоянно размышлял о своем предложении. Вот как вышло, что он его сделал. Если я и чувствую, что могу дать ему законное право быть моим защитником, что могу радостно и охотно сделаться нежно любимой спутницей его последних лет во всех превратностях жизни и до самой смерти, он все же не хочет, чтобы я навеки связала себя согласием, пока это письмо еще так ново для меня; нет, даже если я все это чувствую, я должна дать себе много времени для размышления. Так ли я решу или иначе, он хочет сохранить наши прежние отношения, хочет обращаться со мною по-прежнему, хочет,

чтобы я по-прежнему называла его опекуном. Что же касается его чудесной Хлопотуньи, его маленькой Хозяюшки, он знает, что она навсегда останется такой, какая она теперь.

Вот главное, что он сказал в этом письме, где каждая строчка от первой до последней была внушена чувством справедливости и собственного достоинства; и написал он его в таком тоне, словно и правда был моим опекуном по закону, беспристрастно передающим мне предложение своего друга и бескорыстно перечисляющим все, что можно сказать за и против него.

Но он ни одним намеком не дал мне понять, что обдумывал все это еще в то время, когда я была красивее, чем теперь, но тогда решил ничего мне не говорить. Он не сказал, что, когда мое лицо изменилось и я подурнела, он продолжал любить меня так же, как и в лучшую мою пору. Не сказал, что, когда открылась тайна моего рождения, это не было для него ударом. Что его великодушие выше обезобразившей меня перемены и унаследованного мною позора. Что чем больше я нуждаюсь в подобной верности, тем больше могу полагаться на него до конца.

Впрочем, я теперь *сама* знала все это: знала очень хорошо. Это было для меня как бы завершением возвышенной повести, которую я читала, и я уже видела, к какому решению должна прийти – других решений быть не могло. Посвятить мою жизнь его счастью в благодарность за все, что он для меня сделал? Но этого мало, думала я, и чего же я

хотела в тот вечер, несколько дней назад, как не придумать, чем еще я могу отблагодарить его?

И все же, прочитав письмо, я долго плакала, и не только от полноты сердца, не только от неожиданности этого предложения, – ибо оно все-таки оказалось неожиданным для меня, хоть я и предвидела его; нет, я чувствовала, что безвозвратно утратила что-то, чему нет названия и что неясно для меня самой. Я была очень счастлива, очень благодарна, очень спокойна за свое будущее, но я долго плакала.

Немного погодя я подошла к своему старому зеркалу. Глаза у меня были красные и опухшие; и я сказала себе: «Ах, Эстер, Эстер, ты ли это?» Лицо в зеркале, кажется, снова собиралось расплакаться от этого упрека, но я погрозила ему пальцем, и оно стало спокойным.

– Вот это больше похоже на то сдержанное выражение, которым ты утешила меня, моя прелесть, когда я заметила в тебе такую перемену! – сказала я, распуская волосы. – Когда ты станешь хозяйкой Холодного дома, тебе придется быть веселой, как птичка. Впрочем, тебе постоянно надо быть веселой; поэтому начнем теперь же.

Я начала расчесывать волосы и совсем успокоилась. Правда, я все еще немножко всхлипывала, но только потому, что плакала раньше; а сейчас я уже не плакала.

– Так вот, милая Эстер, ты счастлива на всю жизнь. Счастлива своими лучшими друзьями, счастлива своим старым родным домом, счастлива возможностью делать много

добра, счастлива не заслуженной тобой любовью лучшего из людей.

И вдруг я подумала: а что, если бы опекун женился на другой, как бы я себя почувствовала и что стала бы делать? Вот уж когда действительно изменилось бы все вокруг меня. Я вообразила свою жизнь после этого события, и она представилась мне такой непривычной и пустой, что я немного побренчала своими ключами и поцеловала их, а потом положила в корзиночку.

Расчесывая на ночь волосы перед зеркалом, я стала думать о том, как часто я сама сознавала в душе, что неизгладимые следы болезни и обстоятельства моего рождения тоже требуют, чтобы я была всегда, всегда, всегда занята делом… полезна для других, приветлива, услужлива, и все это – искренне и без всяких претензий. Вот уж, право, самое подходящее время теперь унывать и лить слезы! А если мысль о том, чтобы сделаться хозяйкой Холодного дома, сначала показалась мне странной (хотя это и не оправдание для слез), то, в сущности, что же в ней странного? Если не мне, то другим людям она уже приходила в голову.

– Разве ты не помнишь, милая моя дурнушка, – спросила я себя, глядя в зеркало, – что говорила миссис Вудкорт о твоем замужестве, когда ты еще не была рябой?..

Быть может, это имя напомнило мне о… засушенных цветах. Теперь лучше было расстаться с ними. Конечно, они хранились лишь в память о том, что совсем прошло и кон-

чилось, но все-таки лучше было с ними расстаться.

Они были заложены в книгу, которая стояла на полке в соседней комнате – нашей гостиной, отделявшей спальню Ады от моей. Я взяла свечу и, стараясь не шуметь, пошла туда за этой книгой. Сняв ее с полки, я заглянула в открытую дверь, увидела, что моя милая красавица спит, и тихонько прокралась к ней, чтобы поцеловать ее.

Я знаю, что это была слабость, и плакать мне было совершенно не от чего, но я все-таки уронила слезу на ее милое личико, потом другую, еще и еще. Слабость еще бóльшая – я вынула засохшие цветы и на мгновение приложила их к губам Ады. Я думала о ее любви к Ричарду… хотя, в сущности, цветы не имели к этому никакого отношения. Потом я принесла их в свою комнату, сожгла на свечке, и они мгновенно обратились в пепел.

Наутро, сойдя в столовую к первому завтраку, я нашла опекуна таким же, как всегда, – по-прежнему искренним, откровенным и непринужденным. В его обращении со мной не чувствовалось ни малейшей натянутости; не было ее (или мне так казалось) и в моем обращении с ним. В это утро я несколько раз оставалась с ним вдвоем и думала тогда, что он, вероятно, сейчас заговорит со мной о письме; но об этом он не сказал ни слова.

Не сказал ни на другое утро, ни на следующий день, ни в один из тех дней, которые прожил у нас мистер Скимпол, задержавшийся в Холодном доме на целую неделю. Я каж-

дый день ждала, что опекун заговорит со мной о письме, но он молчал.

Тогда я стала волноваться и решила, что мне следует написать ответ. По вечерам, оставшись одна в своей комнате, я не раз пыталась приняться за него, но не могла даже начать как следует – что бы я ни написала, все мне не нравилось, и каждый вечер я думала, что лучше подождать еще денек. Так я прождала еще семь дней, но опекун по-прежнему ничего не говорил.

Наконец, как-то раз после обеда, когда мистер Скимпол уже уехал, а мы трое собирались покататься верхом, я переоделась раньше Ады и, спустившись в гостиную, подошла к опекуну, который стоял ко мне спиной и смотрел в окно.

Когда я вошла, он оглянулся и сказал с улыбкой:

– А, это вы, Хлопотунья? – и снова повернулся к окну.

Я решила поговорить с ним теперь же. Точнее, для этого только я и пришла сюда.

– Опекун, – промолвила я, запинаясь и дрожа, – когда бы вы хотели получить ответ на письмо, за которым ходила Чарли?

– Когда он будет готов, дорогая моя, – ответил он.

– Мне кажется, он готов, – сказала я.

– Его принесет Чарли? – с улыбкой спросил он.

– Нет; я сама принесла его, опекун, – ответила я.

Я обвила руками его шею и поцеловала его, а он спросил, считаю ли я себя хозяйкой Холодного дома, и я сказала:

«Да»; но пока что все осталось по-старому, и мы все вместе уехали кататься, и я даже ничего не сказала своей милой девочке.

Глава XLV
Священное поручение

Как-то раз утром, кончив бренчать ключами, я вместе с моей красавицей прогуливалась по саду и, случайно посмотрев в сторону дома, увидела, что в него вползает какая-то длинная, узкая тень, которая смахивает на мистера Воулса. В это самое утро Ада говорила мне о своих надеждах на то, что Ричард, может быть, скоро охладеет к канцлерской тяжбе, – охладеет именно потому, что теперь занимается ею с таким пылким увлечением, и, вспомнив об этом, я ничего не сказала о тени мистера Воулса моей дорогой девочке, чтобы не огорчить ее.

Немного погодя появилась Чарли и кинулась в нашу сторону, легко обегая кусты и мчась вприпрыжку по дорожкам, румяная и хорошенькая, словно спутница Флоры, а не просто моя служанка, и на бегу крикнула мне:

– С вашего позволения, мисс, извольте пойти домой, поговорить с мистером Джарндисом!

У Чарли была одна особенность: когда ее посылали передать что-нибудь, она начинала говорить, едва завидев, хотя бы издалека, того, к кому ее послали. Поэтому я поняла, что Чарли, в обычных для нее выражениях, просит меня «изволить пойти домой, поговорить с мистером Джарндисом», го-

раздо раньше, чем услышала ее голос. Когда же я наконец его услышала, она успела столько раз произнести эти слова, что совсем запыхалась.

Я сказала Аде, что скоро вернусь, а направляясь к дому, спросила у Чарли, не приехал ли к мистеру Джарндису какой-нибудь джентльмен. Чарли, чье знание грамматики, к стыду моему, никогда не делало чести моим педагогическим способностям, ответила:

– Да, мисс, который был приехавши в деревню с мистером Ричардом.

Трудно было представить себе людей, более разных, чем опекун и мистер Воулс. Когда я вошла, они сидели за столом друг против друга, и один был такой открытый, другой – такой скрытный; один – такой широкоплечий и прямой, другой – такой узкогрудый и сутулый; один откровенно высказывал то, что хотел сказать, сочным, звучным голосом, другой – все чего-то недосказывал и говорил бесстрастно, разевая рот как-то по-рыбьи, – словом, мне показалось, будто я в жизни не видывала людей, столь разительно несходных.

– Вы уже знакомы с мистером Воулсом, дорогая, – сказал опекун, надо сознаться, не слишком любезным тоном.

Мистер Воулс, как всегда в перчатках и застегнутый на все пуговицы, встал, затем снова сел, совершенно так же, как в тот раз, когда он садился рядом с Ричардом в двуколку. Поскольку у него не было перед глазами Ричарда, он смотрел прямо перед собой.

– Мистер Воулс, – начал опекун, глядя на эту черную фигуру, как на какую-то зловещую птицу, – привез нам очень печальные вести о нашем столь несчастном Рике. – Он сделал сильное ударение на словах «столь несчастном», словно желал подчеркнуть, что они характеризуют отношение мистера Воулса к Ричарду.

Я села между собеседниками. Мистер Воулс сидел недвижный, как истукан, только украдкой трогал рукой в черной перчатке один из красных прыщиков, усеявших его желтое лицо.

– Вы, к счастью, очень дружны с Риком, дорогая, – сказал опекун, – поэтому мне хотелось бы знать, что вы обо всем этом думаете. Будьте добры, мистер Воулс, высказаться как можно… как можно яснее.

И мистер Воулс, высказываясь отнюдь не ясно, начал так:

– Как я уже говорил, мисс Саммерсон, будучи поверенным мистера Карстона, я осведомлен о том, что он теперь находится в очень стесненных обстоятельствах, и дело не столько в общей сумме его долгов, сколько в особых условиях и срочности векселей, выданных мистером Карстоном, и в его возможностях погасить эти векселя, иными словами – уплатить долги. Я много раз добивался для мистера Карстона отсрочек по мелким платежам, но всяким отсрочкам есть предел, и мы до него дошли. Я не раз выручал его ссудами из собственного кармана, дабы уладить все эти неприятности, но, разумеется, хочу получить деньги обратно, ибо не выдаю

себя за богача и к тому же обязан содержать отца, проживающего в Тоунтонской долине, не говоря уж о том, что стремлюсь оставить маленькое состояние своим трем дорогим дочерям, проживающим вместе со мною. Я опасаюсь, что мистер Карстон попал в такое положение, выпутаться из коего он может, только продав свой патент; а если так, об этом, во всяком случае, желательно поставить в известность его родных.

Во время своей речи мистер Воулс не сводил с меня глаз, а теперь, погрузившись в молчание, – которого он, можно сказать, и не нарушал, такой глухой у него был голос, – снова устремил недвижный взгляд куда-то в пространство.

– Подумать только, – бедный юноша останется даже без того небольшого жалованья, которое получает теперь, – сказал мне опекун. – Но что я могу поделать? Вы знаете его, Эстер. Теперь он ни за что не согласится принять от меня помощь. Предлагать ее или даже намекать на это – значит довести его до крайности, если только он уже не доведен до нее чем-нибудь другим.

Мистер Воулс снова обратился ко мне:

– Мнение мистера Джарндиса, мисс, несомненно, соответствует истине, и в этом вся трудность. Я не считаю, что надо что-нибудь сделать. Я не говорю, что надо что-то сделать. Отнюдь нет. Я просто приехал сюда строго конфиденциально и рассказал обо всем с целью вести дела начистоту, так, чтобы впоследствии не говорили, будто дела не велись

начистоту. Я всегда стремлюсь вести все дела начистоту. Я хочу оставить после себя доброе имя. Если бы я, заботясь лишь о своих собственных интересах, посоветовался с мистером Карстоном, меня бы здесь не было, ибо, как вам хорошо известно, он горячо восстал бы против моей поездки. Наши сегодняшние переговоры не носят характера юридической консультации. Платы за них я не требую. Я заинтересован в них лишь в качестве члена общества, отца… *и* сына, – добавил мистер Воулс, чуть было не позабыв о родителе, проживающем в Тоунтонской долине.

Нам стало ясно, что, сообщая о своем намерении разделить с нами ответственность, которую он нес как человек, осведомленный о положении Ричарда, мистер Воулс сказал истинную правду. Я могла придумать лишь один выход: надо мне съездить в Дил, где теперь служит Ричард, увидеться с ним и по мере сил попытаться предотвратить беду. Не считая нужным советоваться с мистером Воулсом, я отвела опекуна в сторону, чтобы изложить ему свой план действий, а мистер Воулс, унылый и длинный, крадучись подошел к камину и протянул к огню свои траурные перчатки.

Опекун, конечно, сейчас же заспорил со мной, доказывая, что путешествие меня утомит, но других возражений у него не было, а мне очень хотелось поехать, так что я добилась его согласия. Теперь надо было только отделаться от мистера Воулса.

– Так вот, сэр, – сказал мистер Джарндис, – мисс Саммер-

сон повидается с мистером Карстоном, а нам остается лишь уповать на то, что его положение еще небезнадежно. Позвольте мне приказать, чтобы вам подали завтрак; вам не худо подкрепиться с дороги, сэр.

– Благодарю вас, мистер Джарндис, – отозвался мистер Воулс, протягивая свой длинный черный рукав, чтобы остановить опекуна, который хотел было позвонить, – завтракать я никак не могу. Благодарю вас, – нет-нет, ни кусочка. Пищеварение у меня совершенно испорчено, и я всегда ем очень умеренно, а если бы я позволил себе принять сытную пищу в такой час дня, не знаю, какие получились бы последствия. Поскольку все выяснено начистоту, сэр, я теперь, с вашего позволения, распрощаюсь с вами.

– Хотелось бы мне, – с горечью проговорил опекун, – чтобы и вы, мистер Воулс, и все мы навсегда распрощались с тяжбой, столь хорошо вам знакомой.

Мистер Воулс, чье одеяние, от сапог до цилиндра, было так густо покрыто черной краской, что она испарялась от близости к огню, распространяя очень неприятный запах, коротко и как-то криво кивнул, потом медленно покачал головой.

– Если мы, практикующие юристы, претендуем на то, чтобы нас уважали, сэр, мы должны налегать плечом на колесо. И мы налегаем, сэр. По крайней мере я налегаю и хочу думать, что все мои собратья по профессии поступают так же. Вы не забудете, мисс, что обещали не упоминать обо мне в

разговоре с мистером Карстоном?

Я ответила, что ни слова о нем не скажу.

– Пожалуйста, мисс. До свиданья. Мистер Джарндис, желаю вам всего доброго, сэр.

Мистер Воулс прикоснулся к моим пальцам, потом к пальцам опекуна своей холодной перчаткой, в которой, казалось, не было руки, и длинный, узкий – ни дать ни взять тень – уполз прочь. А мне представилось, как эта «тень», взобравшись на империал почтовой кареты, будет ползти по озаренным солнцем полям, между Холодным домом и Лондоном, замораживая на своем пути даже семена в земле.

Я, конечно, вынуждена была сказать Аде, куда еду и с какой целью, а она, разумеется, очень встревожилась и расстроилась. Но она была так предана Ричарду, что только жалела и оправдывала его, и в порыве все более глубокой любви – милая моя, любящая девочка! – написала длинное письмо, которое я обещала передать ему.

Пришлось взять с собой Чарли, хотя мне, конечно, не нужно было никаких провожатых и я охотно оставила бы ее дома. В тот же день мы вместе выехали в Лондон и, узнав, что в почтовой карете есть два свободных места для пассажиров, уплатили за них. В тот час, когда у нас обычно ложились спать, мы с Чарли покатили к морю вместе с письмами, адресованными в Кент.

Во времена почтовых карет ехать до Дила приходилось целую ночь, но в карете мы были одни, и эта ночь не показалась

нам слишком утомительной. Я провела ее так, как, наверное, провел бы каждый, будь он на моем месте. В иные минуты моя поездка казалась мне многообещающей, в другие – безнадежной. То я думала, что мне удастся помочь Ричарду, то удивлялась, как это могло взбрести мне в голову. То приходила к выводу, что, тронувшись в путь, поступила очень умно, то – что совсем не умно. В каком состоянии я найду Ричарда, что я скажу ему, что он скажет мне – все эти вопросы поочередно занимали меня, сочетаясь с моими противоречивыми чувствами; а колеса всю ночь отстукивали одну и ту же песню, и письмо опекуна казалось мне ее припевом.

Наконец мы въехали в узкие улицы Дила, очень унылые в это сырое туманное утро. Длинное плоское взморье с беспорядочно разбросанными домишками – деревянными и кирпичными, – загроможденное кабестанами, большими лодками, навесами, шестами с талями и блоками, и рядом обширные пустыри, усыпанные галькой, поросшие травой и сорняками, – все это показалось мне невыносимо скучным. Море волновалось под слоем густого белого тумана; а на суше все словно оцепенело, если не считать нескольких канатчиков, которые встали спозаранку и, обмотавшись пенькой, имели такой вид, словно, тяготясь своим теперешним существованием, собрались вплести в канаты самих себя.

Но когда мы вошли в теплую комнату превосходной гостиницы, умылись, переоделись и сели завтракать (ложиться спать уже не стоило), Дил стал казаться нам более веселым.

Наша комнатка чем-то напоминала каюту, и Чарли была от нее в восторге. Но вот туман начал подниматься как занавес, и мы увидели множество кораблей, о близости которых раньше и не подозревали. Не помню, сколько всего их было, хотя слуга назвал нам число судов, стоявших на рейде. Были там и большие корабли – особенно один, только что прибывший на родину из Индии; и когда солнце засияло, выглянув из-за облаков, и бросило на темное море светлые блики, казавшиеся серебристыми озерками, изменчивая игра света и тени на кораблях, суета маленьких лодок, снующих между ними и берегом, жизнь и движение на судах и во всем, что их окружало, – все это стало необычайно красивым.

Огромный корабль, прибывший из Индии, больше других привлекал наше внимание, потому что он стал на рейд этой ночью. Он был окружен лодками, и мы с Чарли толковали о том, как, должно быть, радуются люди на его борту, что наконец-то могут сойти на берег. Чарли хотелось знать, по каким океанам он плыл, правда ли, что в Индии очень жарко, какие там змеи и тигры и так далее; а так как подобные сведения она запоминала гораздо лучше, чем грамматические правила, то я рассказала ей все, что сама об этом знала. Я добавила также, что во время морских путешествий иногда случаются кораблекрушения, море выбрасывает людей на скалы, и тут несчастных спасает один-единственный человек, бесстрашный и добрый. Чарли спросила, как это может быть, и я рассказала ей, что мы дома узнали об одном таком случае.

Я хотела было послать Ричарду записку, чтобы известить его о своем приезде, но потом решила, что гораздо лучше пойти к нему без предупреждения. Он жил в казармах, и я немного сомневалась, удобно ли нам туда идти; но мы все-таки отправились на разведку. Заглянув в ворота казарменного двора, мы увидели, что в этот ранний час там почти безлюдно, и я спросила сержанта, стоявшего на крыльце гауптвахты, где живет Ричард. Он дал мне в провожатые солдата, а тот, поднявшись с нами по лестнице с голыми стенами, постучал в какую-то дверь и ушел.

– Кто там? – крикнул Ричард из комнаты. Я оставила Чарли в коридорчике и, подойдя к полуоткрытой двери, спросила:

– Можно войти, Ричард? Это я, Хлопотунья.

Ричард что-то писал за столом, а вокруг, на полу, в полном беспорядке валялись костюмы, жестянки, книги, сапоги, щетки, чемоданы. Он был полуодет, – и не в военном, а в штатском, – не причесан, и вид у него был такой же растерзанный, как у его комнаты. Все это я заметила лишь после того, как он радостно поздоровался со мной, а я села рядом с ним, – ведь едва он услышал мой голос, как вскочил из-за стола и немедленно заключил меня в свои объятья. Милый Ричард! Со мной он был все тот же. Вплоть до… ах, бедный, бедный мальчик! – вплоть до конца он всегда встречал меня с прежней мальчишеской веселостью.

– Праведное небо! – воскликнул он. – Милая моя Старуш-

ка, как вы очутились здесь? Мог ли я думать, что увижу вас? Ничего плохого не случилось? Ада здорова?

– Вполне здорова. И еще больше похорошела, Ричард!

– Эх! – вздохнул он, откинувшись на спинку кресла. – Бедная моя кузина! А я, Эстер, сейчас писал вам.

Он сидел, развалившись в кресле, комкая мелко исписанный лист бумаги, и такой он был молодой, красивый – в самом расцвете, – но какой измученный, издерганный!

– Раз уж вы потрудились столько написать, неужели мне не удастся прочесть ваше письмо? – спросила я.

– Эх, дорогая, – ответил он, безнадежно махнув рукой, – только поглядите на эту комнату, и вы прочтете все, что я написал. Вот оно – всюду, во всех углах!

Я ласково уговаривала его не унывать. Сказала, что, случайно узнав о его тяжелом положении, приехала, чтобы поговорить с ним и вместе найти какой-нибудь выход.

– Это похоже на вас, Эстер; но это – бесполезно, а потому – *не* похоже на вас! – отозвался он с грустной улыбкой. – Сегодня я уезжаю в отпуск – должен был уехать через час, – чтобы уладить дело с продажей моего патента. Пускай! Что сделано, того не воротишь. Итак, военная служба кончилась тем же, чем и прочие мои занятия. Не хватало только, чтобы я сделался священником, а не то я обошел бы полный круг всех профессий.

– Ричард, – начала я, – неужели вы действительно не можете остаться в полку?

– Никак не могу, Эстер, – ответил он. – Мне угрожает позор, да так скоро, что «власть имущим» (как говорится в катехизисе) гораздо удобнее обойтись без меня, чем оставить меня на службе. И они правы. Не говоря уже о моих долгах, настойчивых кредиторах и тому подобных неприятностях, я и сам не гожусь даже для этой службы. Ни к чему у меня не лежит душа; ни к какому делу, кроме одного, нет у меня ни интереса, ни охоты, ни любви. Если бы этот мыльный пузырь и не лопнул, – добавил он, разорвав в клочки свое письмо и разбрасывая обрывки, – все равно я не мог бы уехать из Англии. Ведь меня должны были командировать за границу, но как могу я уехать? Как могу я, умудренный горьким опытом, доверять ведение тяжбы даже Воулсу, если сам не стою у него над душой!

Очевидно, он прочел на моем лице то, что я хотела ему сказать, и, взяв мою руку, лежавшую у него на плече, поднес ее к моим губам, чтобы помешать мне произнести хоть слово.

– Нет, Хлопотунья! Я запрещаю… вынужден запретить всякие разговоры на некоторые темы. Их две: первая – Джон Джарндис. Вторая… сами знаете что. Назовите это помешательством, а я скажу, что теперь уж ничего не поделаешь, – я не могу остаться в здравом уме. Но это не помешательство – у меня есть одна-единственная цель, и к ней я стремлюсь. Жаль, что меня заставили свернуть с моего настоящего пути ради каких-то других целей. Вы, чего доброго, скажете, что

теперь, после того как я ухлопал на это дело столько времени, после того как я столько мучился и тревожился, надо его бросить, и это будет разумно! Да, разумно, чего уж разумней! А также очень приятно некоторым лицам; только я никогда этого дела не брошу.

Он был в таком состоянии, что я решила не возражать ему, чтобы не укреплять его решимости (хотя крепче она, пожалуй, и быть не могла). Я вынула и отдала ему письмо Ады.

– Вы хотите, чтобы я прочел его сейчас? – спросил он.

Я ответила утвердительно, а он положил письмо перед собой, облокотился на стол и, опустив голову на руки, начал читать. Но не прочтя и нескольких строк, обеими руками прикрыл лицо, чтобы я его не видела. Немного погодя он встал под тем предлогом, что за столом ему не хватает света, и отошел к окну. Там он читал письмо, стоя ко мне спиной, а дочитав, сложил его и, не выпуская из рук, молча стоял еще несколько минут. Когда он вернулся на прежнее место, я заметила на его глазах слезы.

– Вы, Эстер, конечно, знаете, о чем она мне пишет?

Он сказал это мягче, чем говорил раньше, и поцеловал письмо.

– Да, Ричард.

– Она предлагает мне свое маленькое наследство, которое вскоре должна получить, – сказал он и топнул ногой, – денег как раз столько, сколько я промотал, – и она просит и умо-

ляет принять их, чтобы я мог уладить свои дела и остаться на военной службе.

– Я знаю, что ничего она так не желает, как вашего счастья, – сказала я. – Ах, дорогой Ричард, у нее золотое сердце, у вашей Ады.

– Я это знаю. Я… лучше бы мне умереть!

Он снова отошел к окну и, взявшись за раму, опустил голову на руку. Мне было очень больно видеть его в таком состоянии, но я надеялась, что, быть может, он сделается более уступчивым, и не говорила ни слова. Однако я его плохо знала. Могла ли я ожидать, что он от волнения перейдет к новой вспышке чувства обиды?

– И тот самый Джон Джарндис, чье имя мы с вами в других случаях не упоминаем, пытался оторвать от меня это сердце! – воскликнул он негодующим тоном. – А милая девушка делает мне великодушное предложение, живя в доме этого самого Джона Джарндиса и, наверное, с милостивого согласия и при поддержке того же Джона Джарндиса, который вновь пытается меня подкупить, чтобы я отказался от своих прав.

– Ричард! – воскликнула я, вскочив с места. – Я не хочу слышать от вас такую постыдную клевету! – Первый раз в жизни я тогда по-настоящему рассердилась на него, но и то лишь на мгновение. Стоило мне взглянуть на его осунувшееся молодое лицо, уже выражавшее раскаяние, как я положила руку ему на плечо и сказала: – Пожалуйста, дорогой

Ричард, не говорите так со мной. Одумайтесь!

Он принялся беспощадно осуждать себя самым искренним тоном, сказал, что был глубоко не прав и тысячу раз просит у меня прощения. На это я улыбнулась, но не очень весело, потому что все еще дрожала после своей гневной вспышки.

– Принять это предложение, моя дорогая Эстер, – сказал он, садясь рядом со мной и возвращаясь к нашему разговору, – еще раз умоляю вас, простите меня, я глубоко раскаиваюсь, – принять это предложение невозможно; как ни дорога мне Ада, об этом и говорить нечего. Кроме того, я могу показать вам всякие официальные бумаги и документы, которые убедят вас, что с военной службой я покончил. Верьте мне, я уже снял с себя красный мундир. Но как бы я ни тревожился, как бы ни волновался, меня утешает сознание, что, заботясь о своих интересах, я защищаю интересы Ады. Воулс «налег плечом на колесо», а раз он работает для меня, то, значит, и для нее, благодарение богу!

В нем снова вспыхнули какие-то радужные надежды, и черты его прояснились, но видеть его таким мне было еще больнее.

– Нет-нет! – с жаром воскликнул Ричард. – Если бы все маленькое состояние Ады было моим, так и то не стоило бы тратить из него ни фартинга, чтоб удержать меня на том пути, для которого я не гожусь, которым не интересуюсь, который мне надоел. Лучше отдать эти деньги на дело, кото-

рое вернет их сторицей, лучше истратить их там, где перед Адой открывается гораздо больше возможностей. А обо мне не беспокойтесь! Теперь я буду думать только об одном, и мы с Воулсом будем работать для этой цели. Без средств я не останусь. Продам патент и частично расплачусь с некоторыми мелкими ростовщиками, которые теперь, по словам Воулса, ничего не хотят слышать и пристают со своими векселями. Во всяком случае, у меня еще осталось кое-что, а будет больше. Ну, довольно об этом! Отвезите Аде мое письмо, Эстер, и обе вы побольше верьте в меня – не думайте, что я уже совсем погиб, дорогая.

Не буду повторять того, что я говорила Ричарду. Я знаю: все это были скучные увещания, и, конечно, ничего умного я сказать не могла. Но я говорила от всего сердца. Он выслушал меня терпеливо и сочувственно; но я поняла, что говорить с ним сейчас на «запретные» темы – дело безнадежное. Во время этой встречи я поняла, как прав был опекун, когда сказал, что, пытаясь разубеждать Ричарда, мы повредим ему больше, чем если оставим его в покое.

Поэтому я наконец попросила Ричарда дать мне доказательства того, что он говорит правду и с военной службой у него действительно все кончено. Он охотно показал мне целую переписку, из которой явствовало, что на его прошение об отставке уже получено согласие. И тут я услышала от него самого, что у мистера Воулса имеются копии всех этих бумаг и что Ричард не раз советовался с ним о продаже патен-

та. Итак, я узнала, как обстоят дела Ричарда, привезла ему письмо Ады и обещала (а я уже обещала) вернуться вместе с ним в Лондон – вот и все; больше никакого толку из моей поездки не вышло. С грустью признав это в душе, я сказала, что вернусь в гостиницу и там подожду его, а он, накинув на плечи плащ, проводил меня и Чарли до ворот, и мы вдвоем с нею пошли обратно по взморью.

В одном месте собралось много любопытных, – они окружили морских офицеров, выходивших из шлюпки на берег, и старались подойти поближе к ним. Я сказала Чарли, что эта шлюпка, наверное, с того огромного корабля, который прибыл из Индии, и мы тоже остановились посмотреть.

Офицеры медленно поднимались на набережную, оживленно болтая друг с другом и с окружившими их людьми, и смотрели по сторонам, явно радуясь своему возвращению в Англию.

– Чарли, Чарли! – сказала я. – Уйдем отсюда! – И я вдруг так заспешила, что моя маленькая горничная не могла скрыть своего удивления.

Лишь тогда, когда мы с ней остались вдвоем в нашей комнатке-каюте и я смогла перевести дух, начала я понимать, почему так поторопилась уйти. В одном из этих загорелых моряков я узнала мистера Аллена Вудкорта, и мне стало страшно – а вдруг он узнает меня? Мне не хотелось, чтобы он видел мое изменившееся лицо. Я была застигнута врасплох и совсем растерялась.

Но я поняла, что так не годится, и сказала себе: «Слушай, милая моя, у тебя нет никаких оснований – нет и не может быть никаких оснований – страдать от этого больше, чем всегда. Какой ты была в прошлом месяце, такая ты и сегодня – не хуже, не лучше. Ты не выполняешь своего решения. Вспомни его, Эстер! Вспомни!» Я вся дрожала – от быстрой ходьбы – и вначале никак не могла успокоиться, но потом мне стало лучше, и я этому очень обрадовалась.

Моряки вошли в гостиницу. Я слышала, как они разговаривают на лестнице. Не было сомнений, что это они, так как я узнала их голоса… вернее, узнала голос мистера Вудкорта. Мне было бы гораздо легче уехать, не повидавшись с ним, но я твердо решила не спасаться бегством. «Нет, милая моя, нет. Нет, нет и нет!»

Я развязала ленты своей шляпы и приподняла вуаль – лучше сказать, наполовину опустила ее, хотя это почти одно и то же, – написала на своей визитной карточке, что нахожусь здесь вместе с мистером Ричардом Карстоном, и послала карточку мистеру Вудкорту. Он пришел сейчас же. Я сказала ему, что очень рада случайно оказаться в числе первых соотечественников, встретивших его по возвращении на родину, в Англию. И я поняла, что ему очень жаль меня.

– За то время, что мы не виделись с вами, мистер Вудкорт, вы многое испытали – кораблекрушение, опасности, – сказала я, – но едва ли можно назвать несчастьем то, что позволило вам сделать столько добра и проявить такое мужество. Мы

читали об этом с самым искренним сочувствием. Я впервые узнала все от вашей прежней пациентки, бедной мисс Флайт, когда выздоравливала после своей тяжкой болезни.

– А! Маленькая мисс Флайт! – отозвался он. – Она живет по-прежнему?

– По-прежнему.

Я уже настолько овладела собой, что могла обойтись без вуали, и сняла ее.

– Она вам так благодарна, мистер Вудкорт, что это просто трогательно. И ведь она очень любящая душа, – я ее хорошо знаю.

– Вы… вы так думаете? – проговорил он. – Мне… мне это очень приятно.

Ему было до того жаль меня, что он едва мог говорить.

– Верьте мне, – сказала я, – я была глубоко тронута ее сочувствием и вниманием в те трудные для меня дни.

– Я очень огорчился, когда узнал, что вы были тяжело больны.

– Да, я была очень больна.

– Но теперь вы совсем поправились?

– Да, совсем поправилась и по-прежнему жизнерадостна, – сказала я. – Вы знаете, как добр мой опекун и как счастливо мы живем; словом, мне есть за что благодарить судьбу и решительно нечего желать.

Я чувствовала, что он жалеет меня больше, чем я когда-либо сама жалела себя. Оказалось, что это я должна его

успокаивать, и на меня нахлынул прилив новых сил, я ощутила в себе новый источник спокойствия. Я стала говорить с ним о его путешествии и планах на будущее, спросила, не собирается ли он вернуться в Индию. Он ответил, что вряд ли вернется туда. В Индии судьба его баловала не больше, чем здесь. Как был он бедным судовым врачом, когда уехал, так и вернулся бедняк бедняком.

Пока мы беседовали и я радовалась, что облегчила ему (если только я имею право употребить это слово) тяжесть встречи со мной, Ричард вошел в комнату. Он узнал внизу, какой гость сидит у меня, и они встретились с искренним удовольствием.

После того как они поздоровались и поговорили о делах Ричарда, мистер Вудкорт, видимо, начал догадываться, что с юношей не все ладно. Он часто поглядывал на него с таким выражением, словно что-то в лице Ричарда вызывало в нем жалость; не раз бросал он взгляд и на меня, будто желая убедиться, знаю я истину или нет. А ведь Ричард в тот день был оживлен, весел и от души радовался мистеру Вудкорту, который всегда ему нравился.

Ричард предложил ему отправиться в Лондон с нами, но мистер Вудкорт должен был еще немного задержаться на корабле и потому не мог сопутствовать нам. Но пообедали мы все вместе, – было еще довольно рано, – и вскоре он стал почти таким же, каким был прежде, так что я все больше успокаивалась при мысли о том, что сумела смягчить остро-

ту его сострадания ко мне. Зато о Ричарде он все еще беспокоился. Когда карета была уже почти готова к отъезду и Ричард сбежал вниз присмотреть за своими вещами, мистер Вудкорт заговорил со мною о нем.

Я сомневалась, имею ли я право откровенно рассказать ему обо всем, что происходит с Ричардом, и только коротко объяснила, что он разошелся с мистером Джарндисом и запутался в злополучной канцлерской тяжбе. Мистер Вудкорт выслушал мой рассказ сочувственно и выразил сожаление, что все обстоит так плохо.

– Я заметила, что вы довольно внимательно за ним наблюдали, – сказала я. – Вы находите, что он очень переменился?

– Да, переменился, – ответил мистер Вудкорт, покачав головой.

Впервые в тот день я почувствовала, как кровь бросилась мне в лицо, но волнение мое было лишь мимолетным. Я отвернулась, и оно прошло.

– Не то чтобы он казался моложе или старше, – сказал мистер Вудкорт, – худощавее или полнее, бледнее или румяней, чем раньше, но лицо у него стало какое-то странное. Никогда в жизни я не видел такого странного выражения у человека еще очень молодого. Нельзя сказать, что дело тут только в тревоге или в усталости, хотя он, конечно, устал и постоянно встревожен, и все это похоже на уже зародившееся отчаяние.

– Вам не кажется, что он болен?

– Нет. На вид он здоров.

– А что у него неспокойно на душе, это нам слишком хорошо известно, – продолжала я. – Мистер Вудкорт, ведь вы поедете в Лондон?

– Да, завтра или послезавтра.

– Ричард ни в чем так не нуждается, как в друге. Он всегда был расположен к вам. Прошу вас, зайдите к нему, когда приедете. Навещайте его время от времени, если можете. Очень вас прошу, – этим вы его поддержите. Вы не знаете, как это может ему помочь. Вы и представить себе не можете, как Ада, мистер Джарндис и даже я… как все мы будем благодарить вас, мистер Вудкорт!

– Мисс Саммерсон, – проговорил он, волнуясь все больше, – видит небо, я буду ему верным другом! Раз вы доверили его мне, я принимаю на себя это поручение и буду почитать его священным!

– Благослови вас бог! – сказала я, и глаза мои быстро наполнились слезами, но я подумала: пускай, раз они льются не из-за меня самой. – Ада любит его… мы все его любим, но Ада любит его так, как мы любить не можем. Я передам ей ваши слова. Благодарю вас, и да благословит вас бог за нее!

Едва мы успели наскоро обменяться этими словами, как Ричард вернулся и, взяв меня под руку, пошел вместе со мной садиться в карету.

– Вудкорт, давайте будем встречаться в Лондоне! – сказал он, не подозревая, какое значение имеет его просьба.

– Обязательно! – отозвался мистер Вудкорт. – У меня там,

кажется, не осталось ни одного приятеля, кроме вас. А где мне вас найти?

– Мне, конечно, придется где-нибудь обосноваться, но где, я еще и сам не знаю, – сказал Ричард, раздумывая. – Спросите у Воулса в Саймондс-Инне.

– Хорошо! И чем скорей мы увидимся, тем лучше.

Они горячо пожали друг другу руки. Когда я уже сидела в карете, а Ричард еще стоял на улице, мистер Вудкорт дружески положил ему руку на плечо и взглянул на меня. Я поняла его и в благодарность помахала ему рукой.

Мы тронулись в путь, а он все еще не отрывал от меня глаз, и в этом последнем взгляде я прочла его глубокое сострадание ко мне. И я была рада этому. На себя прежнюю я теперь смотрела так, как мертвые смотрят на живых, если когда-нибудь вновь посещают землю. Я была рада, что меня вспоминают с нежностью, ласково жалеют и не совсем забыли.

Глава XLVI
«Держи его!»

Тьма покрыла «Одинокий Том». Все расползаясь и расползаясь с тех пор, как вчера вечером зашло солнце, она расползлась так широко, что постепенно заполнила все пустоты этого гиблого места. Некоторое время здесь кое-где еле теплились бледные, словно под землей горящие, огоньки, – как еле теплится в «Одиноком Томе» светильник Жизни, – с трудом, с великим трудом пробиваясь сквозь тяжелый зловонный воздух и мигая, как подмигивает этот светильник в «Одиноком Томе» многим мерзостям. Но все огни потухли. Луна часами смотрела тусклым холодным взглядом на Тома, словно признавая в нем слабого своего соперника и видя отдаленное сходство с собой в этой пустыне, непригодной для жизни и пожираемой внутренним пламенем; но луна зашла и исчезла. Ужасные кошмары, словно чернейшие кони из конюшни ада, что вышли на свое пастбище, носятся над «Одиноким Томом», а Том крепко спит.

Много произносилось речей и в парламенте, и в других местах по поводу Тома, и много было ожесточенных споров насчет того, как лучше исправить этот самый Том – вернуть ли его на путь истинный при помощи полицейских, или приходских надзирателей, или колокольного звона, или цифро-

вых данных, или правильно развитого вкуса, или Высокой церкви, или Низкой церкви, или вовсе обойдясь без церкви; приказать ли ему расщеплять кривым ножом его разума полемическую солому или же заставить его дробить камни. Из всей этой суеты и шумихи вытекает лишь одно несомненное следствие, а именно: Том сможет или сумеет, захочет или будет исправляться только в чьей-то теории, которую никто к нему не приложит на практике. А тем временем, тем многообещающим временем Том по-прежнему неуклонно летит вниз головой в пропасть вечной погибели.

Но он мстит. Самые ветры служат ему посланцами и работают на него в эти часы мрака. Нет капли в испорченной крови Тома, которая не занесла бы куда-нибудь заразы и болезни. Вот этой нынешней ночью она осквернит поток избранной крови (которую химики, сделав ее анализ, наверное, признают подлинно благородной) – крови одного норманнского рода, – и его светлость не сможет отречься от позорного родства. Нет атома в грязи, покрывающей Том, нет частицы в том отравленном воздухе, которым он дышит, нет непотребства и низости, ему свойственных, нет деяния, совершенного им по невежеству, злобе или жестокости, которые не обратились бы в возмездие за его обиды, проникнув во все слои общества вплоть до надменнейших из надменных и высочайших из высоких. Осквернением, грабежом, развратом Том поистине мстит за себя.

Трудно сказать, когда «Одинокий Том» безобразнее –

днем или ночью, – но если признать, что чем лучше он виден, тем он противней на вид, и что никакое воображение не может представить его себе хуже, чем он есть в действительности, то придется сделать вывод, что он безобразнее днем. А день как раз наступает; но было бы лучше для славы нации, чтобы солнце все-таки иногда заходило во владениях Британской империи, чем всходило над таким мерзостным чудищем, как Том.

Смуглый, загорелый джентльмен, которому, видимо, не спится и поэтому приятнее бродить по улицам, чем метаться в постели, считая ночные часы, заходит сюда в эти тихие предрассветные минуты. Все здесь возбуждает его любопытство, и он часто останавливается и окидывает взглядом убогие переулки. Однако он, должно быть, испытывает не только любопытство, – когда он смотрит по сторонам, в его живых темных глазах светятся сострадание и участие, словно он понимает весь ужас подобной нищеты и, вероятно, когда-то уже познакомился с нею.

По краям забитой грязью зловонной канавы – главной улицы «Одинокого Тома» – стоят, еле держась на месте, полуразрушенные лачуги, запертые и безмолвные. Нигде ни живой души, кроме этого путника да какой-то одинокой женщины, примостившейся на чужом пороге. Путник направляется в ее сторону. Приблизившись, он догадывается, что она пришла пешком издалека – ноги у нее стерты и покрыты дорожной пылью. Она сидит на пороге, облокотив-

шись на колено, опустив голову на руку, и, должно быть, ждет кого-то. Рядом с нею лежит парусиновый мешок или узел, который она принесла с собой. Женщина, вероятно, задремала – она не слышит приближающихся шагов.

Выщербленный тротуар так узок, что Аллен Вудкорт вынужден свернуть на мостовую, чтобы обойти эту женщину. Заглянув ей в лицо, он встречается с нею взглядом и останавливается.

– Что с вами?

– Ничего, сэр.

– Вы не можете достучаться? Хотите войти в этот дом?

– Да нет; просто дожидаюсь, пока не откроется ночлежка – это в другом доме… не здесь, – терпеливо объясняет женщина. – А села я на пороге потому, что скоро тут солнышко пригреет, а я озябла.

– Вы, должно быть, устали. Смотреть жалко, как вы сидите на улице.

– Спасибо вам, сэр. Ничего, посижу.

Он привык разговаривать с бедняками, и говорит он не тем покровительственным, или снисходительным, или ребяческим тоном, каким с ними беседуют обычно (ведь, по мнению многих, самый утонченный способ подойти к бедняку – это заговорить с ним языком прописей), поэтому женщина быстро перестает робеть и стесняться.

– Покажите-ка мне лоб, – говорит он, наклоняясь к ней. – Я лекарь. Не бойтесь. Я не сделаю вам больно.

Он знает, что, прикоснувшись к ней искусной и опытной рукой, он быстрее рассеет ее недоверие. Она сначала отнекивается, твердя: «Не надо, это пустяк», но не успел он тронуть пальцем пораненное место, как она подняла голову, чтоб ему было лучше видно.

– Да! Сильный ушиб и большая ссадина. Наверное, очень больно.

– Побаливает, сэр, – отвечает женщина, и слеза катится по ее щеке.

– Давайте-ка я вас полечу. Вот только оботру носовым платком, и все, – от платка больней не будет.

– Ну, конечно, сэр, я понимаю.

Он очищает пораненное место, обтирает его и, внимательно осмотрев, осторожно прижимает ладонью; потом, вынув из кармана коробочку с перевязочными материалами, промывает и бинтует рану. Занимаясь своим делом, он подшучивает над тем, что устроил хирургический кабинет на улице, потом спрашивает:

– Значит, ваш муж кирпичник?

– А вы почем знаете, сэр? – спрашивает женщина с удивлением.

– Просто я заметил, какого цвета глина на вашем мешке и платье, вот и догадался. И я знаю, что кирпичники бродят по разным местам в поисках сдельной работы. Как ни грустно, но знавал я и таких кирпичников, что поколачивают своих жен.

Женщина, быстро подняв глаза, кажется, хочет сказать, что ушиблась сама, а муж тут ни при чем. Но она чувствует, как лекарь кладет руку ей на лоб, видит, какое у него спокойное, сосредоточенное лицо, и молча опускает глаза.

– Где же сейчас ваш муж? – спрашивает лекарь.

– Вчера вечером с ним беда приключилась, сэр, – попал в кутузку; а выйдет – придет за мной в ночлежку.

– Не миновать ему беды похуже, если он часто будет давать волю кулакам, – ведь он же ударил вас. Но сами вы его, грубияна, прощаете, так что я больше не буду о нем говорить; только от души пожелаю, чтобы он заслужил ваше прошение. У вас есть ребенок?

Женщина качает головой.

– Есть-то есть, только не я его родила, – это ребенок Лиз; но для меня он все равно что свой.

– Значит, ваш умер. Понимаю! Бедный малыш!

Он уже кончил перевязывать рану и убирает коробочку.

– Наверное, у вас есть где-нибудь постоянное жилье. Далеко отсюда? – спрашивает он, добродушно отмахиваясь от благодарности, когда женщина встает и приседает перед ним.

– Далеко ли отсюда? Пожалуй, добрых двадцать две мили будет, сэр, а не то и все двадцать три. В Сент-Олбенсе. А вы, сэр, слыхали про Сент-Олбенс? Должно быть, слыхали – мне показалось, будто вы вздрогнули.

– Да, слыхал. А теперь я еще спрошу у вас кое о чем. У

вас есть деньги на ночлег?

– Да, сэр, – отвечает она, – денег у меня хватит.

И она показывает ему деньги. Потом застенчиво и горячо благодарит его, а он отвечает: «Не за что», – прощается с нею и уходит прочь. «Одинокий Том» все еще спит, и ничто в нем даже не шевелится.

Нет, что-то все-таки шевелится! Молодой человек, вернувшись на место, с которого издали заметил женщину, сидящую на пороге, видит, как оборванец-нищий очень осторожно пробирается вперед, боязливо протянув перед собой руку и прижимаясь к грязным стенам, от которых и самым последним нищим лучше бы держаться подальше. Это подросток с изможденным лицом и голодным блеском в горящих глазах. Он так старается пройти незамеченным, что даже появление чужого в этих краях, прилично одетого человека не соблазняет его оглянуться назад. Перейдя на другую сторону улицы, он ковыляет по ней, прикрыв лицо истрепанным рукавом, и то вдруг отшатнется назад, то снова двинется вперед, крадучись и в тревоге протянув перед собой руку, а его бесформенные лохмотья висят на нем клочьями, и невозможно догадаться, из чего сотканы эти лохмотья и для какой цели. По цвету и ветхости они смахивают на охапку прелых листьев болотного кустарника, гниющих уже давно.

Аллен Вудкорт останавливается, смотрит ему вслед и, разглядев его, смутно вспоминает, что когда-то видел этого мальчика. Он не может вспомнить – где и когда; но оборва-

нец что-то напомнил ему. Наконец Аллен решает, что видел его где-нибудь в больнице или приюте, но все-таки не может понять, почему этот мальчишка ему запомнился.

Раздумывая об этом, он постепенно выходит из «Одинокого Тома» на те улицы, где утро уже наступило, как вдруг слышит, что кто-то бежит сзади него, и, оглянувшись, видит, как мальчик мчится куда-то во всю прыть, а женщина с пораненным лбом несется за ним вдогонку.

– Держи его! Держи! – кричит женщина, задыхаясь. – Держите его, сэр!

Перебежав дорогу, Аллен Вудкорт кидается наперерез подростку, но тот оказался проворней – бросился вбок, пригнулся, выскользнул из рук Аллена и, отбежав на несколько ярдов, выпрямился и снова понесся во весь дух. Женщина гонится за ним, крича: «Держите его, сэр! Держите, ради бога!» У Аллена мелькает подозрение, что мальчишка только что украл у женщины деньги, и, приняв участие в погоне, он бежит так быстро, что то и дело нагоняет беглеца; но тот всякий раз бросается вбок, пригибается, ускользает из рук и мчится дальше. Поравнявшись с ним, можно было бы хватить его кулаком, сбить с ног и задержать, но преследователь не может на это решиться, и безобразная, нелепая погоня продолжается. Поняв наконец, что деться ему некуда, беглец ныряет в узкий проход и попадает во двор, из которого нет выхода. Здесь, у гнилого забора, путь его оканчивается, и мальчик валится на землю, задыхаясь и глядя на своего пре-

следователя, который стоит, тоже задыхаясь и глядя на него, пока не подбегает женщина.

– Ох, Джо, ты, Джо! – кричит женщина. – Вот ты какой! Наконец-то я тебя нашла!

– Джо! – повторяет Аллен, внимательно его разглядывая. – Джо! Погодите… Ну, конечно – он и есть! Да ведь этого малого приводили на допрос к коронеру.

– Ну да, я вас видел раз, на дознании, – жалобно лепечет Джо. – Ну и что? Неужто нельзя оставить в покое такого горемыку, как я? Может, вам мало моего горя? Хотите, чтоб мне еще горше было? Меня все гнали да гнали, то один из вас, то другой, пока от меня только кожа да кости остались. А что дознание было, так неужто это *я* виноват? *Я*-то ведь ничего худого не сделал. Тот очень добрый был, жалел меня; кто-кто только не ходил по моему перекрестку, а разговаривал со мной он один. Да неужто это я затеял, чтоб дознавались про его смерть? Лучше б уж про мою. Лучше бы уж мне пойти на реку да просверлить головой дырку в воде. Право, лучше.

Он бормочет таким жалобным голосом, его грязные слезы кажутся такими искренними, он лежит в углу под забором, до того похожий на гриб или какой-то болезненный нарост, который вырос тут среди грязи и мерзости, что Аллен Вудкорт растроган. Он спрашивает у женщины:

– Вот несчастный! Что он такого натворил?

Не отвечая, она только покачивает головой, глядя на ле-

жащего мальчика не сердито, но удивленно, и бормоча: «Эх, Джо, ты, Джо! Наконец-то я тебя отыскала!»

– Что он натворил? – спрашивает Аллен. – Ограбил вас?

– Да нет, сэр, что вы! Разве он станет у меня воровать! Мне он не сделал ничего, кроме хорошего; в том-то и чудо.

Аллен смотрит то на Джо, то на женщину, ожидая, чтобы кто-нибудь разгадал ему эту загадку.

– Он как-то раз пришел ко мне, сэр… – говорит женщина, – эх, Джо!.. пришел ко мне, сэр, в Сент-Олбенс, совсем больной, но я не посмела оставить его у себя, а одна молодая леди (которая много мне помогала, спасибо ей!) пожалела его и увела к себе домой…

Аллен в ужасе отшатывается от мальчика.

– Да, сэр, да! Оставила его ночевать у себя в доме, накормила, напоила, а он, неблагодарный этакий, взял да и сбежал ночью, и с тех пор ни слуху ни духу о нем не было, пока он вот сейчас не попался мне на глаза. А молодая леди (такая она была милая и красивая) заразилась от него оспой, потеряла свою красоту, и теперь ее, пожалуй, и не узнать бы, если бы не остались при ней ее ангельская душа, да ладное сложение, да нежный голос… Знаешь ты это? Неблагодарный этакий, знаешь ты, что все это приключилось из-за тебя и через ее доброту к тебе? – спрашивает женщина, начиная сердиться на мальчика при этом воспоминании и вдруг заливаясь горючими слезами.

Мальчик, ошеломленный этой новостью, растерянно трет

грязный лоб грязной ладонью, смотрит в землю и так дрожит всем телом, что скрипит ветхий забор, к которому он прислонился.

Взмахом руки Аллен останавливает женщину, и она умолкает.

– Ричард рассказывал мне… – начинает он, запинаясь, – то есть я вообще слышал обо всем этом. Подождите минуту, не обращайте на меня внимания; я сейчас поговорю с ним.

Отойдя в сторону, он некоторое время стоит близ крытого прохода и смотрит в пространство. Возвращается он, уже овладев собой, но борясь с желанием бросить этого мальчишку на произвол судьбы, и внутренняя борьба его так заметна, что женщина не сводит с него глаз.

– Ты слышишь, что она говорит? Впрочем, встань-ка лучше, встань!

Дрожа и пошатываясь, Джо медленно поднимается на ноги и становится, – как и все его собратья, когда они в затруднительном положении, – боком к собеседнику, опираясь костлявым плечом о забор и украдкой почесывая правой рукой левую ладонь, а левой ступней правую ногу.

– Ты слышал, что она сказала; я знаю, что все это правда. Ты бывал здесь с тех пор?

– Помереть мне на этом месте, если я был в «Одиноком Томе» до нынешнего проклятого утра, – отвечает Джо хриплым голосом.

– А зачем ты пришел сюда теперь?

Джо оглядывает тесный двор, смотрит на собеседника, не поднимая глаз выше его колен, и наконец отвечает:

– Я ведь никакого ремесла не знаю и никакой работы найти не могу. Совсем обнищал, да и заболел к тому же, ну и подумал: дай-ка я вернусь сюда, покуда все еще спят, спрячусь тут в одном знакомом месте, полежу до темноты, а тогда пойду попрошу милостыни у мистера Снегсби. Он, бывало, всегда подаст мне сколько-нибудь, хотя миссис Снегсби, та всякий раз меня прогоняла… как и все отовсюду.

– Откуда ты пришел?

Джо снова оглядывает двор, переводит глаза на колени собеседника и наконец опять прижимается щекой к забору, как видно покорившись своей участи.

– Слышишь, что я говорю? Я спрашиваю, откуда ты пришел?

– Ну, бродяжничал, коли на то пошло, – отвечает Джо.

– Теперь скажи мне, – продолжает Аллен, с большим трудом превозмогая отвращение, и, подойдя вплотную к мальчику, наклоняется к нему, стараясь завоевать его доверие, – скажи, отчего ты сбежал из того дома, когда добрая молодая леди пожалела тебя, на свое горе, и взяла к себе?

Тупая покорность Джо внезапно сменяется возбуждением, и, обращаясь к женщине, он горячо говорит, что знать не знал о том, что случилось с молодой леди, – и слыхом не слыхал, – и не затем он пошел к ней, чтоб ей повредить, да он лучше сам себе повредил бы, лучше дал бы отрезать

несчастную свою голову, кабы можно было так сделать, чтоб он и не подходил к ней; а она добрая была, очень добрая, пожалела его… – и все это он говорит таким тоном и с таким выражением лица, что искренность его не оставляет сомнений, а в заключение заливается горькими слезами.

Аллен Вудкорт видит, что это не притворство. Он заставляет себя дотронуться до мальчика.

– Ну-ка, Джо, скажи мне всю правду!

– Нет; не смею, – говорит Джо, снова отворачиваясь. – Не смею, а смел бы, так сказал бы.

– Но мне нужно знать, почему ты сбежал, – говорит Аллен. – Ну, Джо, говори!

Он повторяет это несколько раз, и Джо наконец поднимает голову, снова обводит глазами двор и говорит негромко:

– Ладно, кое-что скажу. Меня увели. Вот что!

– Увели? Ночью?

– Ага!

Очень опасаясь, как бы его не подслушали, Джо оглядывается кругом и даже смотрит на самый верх высокого, футов в десять, забора и сквозь щели в нем, как будто предмет его опасений может вдруг заглянуть через этот забор или спрятаться за ним.

– Кто тебя увел?

– Не смею сказать, – отвечает Джо. – Не смею, сэр.

– Но я хочу знать все – это нужно ради молодой леди. Можешь на меня положиться – я никому не перескажу. Говори,

никто не услышит.

– Вот уж не знаю, – сомневается Джо, опасливо покачивая головой. – Один человек, пожалуй, услышит!

– Ну что ты! Здесь же никого нет, кроме нас.

– Нет, по-вашему? – говорит Джо. – А если есть? Ведь он бывает и тут и там – во многих местах зараз.

Аллен смотрит на него в недоумении, но чувствует в этих нелепых словах какую-то правду, а что они сказаны искренне, в этом сомневаться нельзя. Он терпеливо ожидает подробного объяснения, а Джо, потрясенный не столько его настойчивостью, сколько терпением, наконец сдается и в отчаянии шепчет ему на ухо чье-то имя.

– Вот оно что! – говорит Аллен. – Но почему? Что ты наделал?

– Ничего, сэр. Никогда я ничего худого не делал, разве что задерживался на одном месте, да вот еще к дознанию меня притянули. Ну а теперь уж я не задерживаюсь – все иду да иду. На кладбище иду – вот куда.

– Нет-нет, туда мы тебя не пустим. Но что он сделал с тобой?

– Положил в больницу, – шепчет в ответ Джо, – ну я и лежал, покуда не выписали; потом деньжонок дал… четыре монеты, то есть четыре полукроны, и говорит: «Убирайся прочь! Никому ты здесь не нужен, говорит, ну так и убирайся подальше. Ступай бродяжничать, говорит. Не задерживайся на одном месте, говорит. Чтоб глаза мои тебя больше не ви-

дели ближе чем за сорок миль от Лондона, а не то каяться будешь». Да и буду каяться, дай ему только меня увидеть – а уж он увидит, будьте покойны, если только я сквозь землю не провалюсь, – заключает Джо и в тревоге снова озирается по сторонам.

Некоторое время Аллен раздумывает обо всем этом; потом обращается к женщине, не сводя с Джо ободряющего взгляда:

– Он не такой неблагодарный, как вы думали. У него была причина сбежать, хоть и неуважительная.

– Спасибо вам, сэр, спасибо! – восклицает Джо. – Вот видите! Сами видите, тетушка, что зря вы на меня поклеп взвели. Только обязательно скажите молодой леди, как джентльмен про меня говорил, вот и ладно будет. Что ж, *вы* ведь тоже меня пожалели, я понимаю.

– Ну, Джо, – говорит Аллеи, не сводя с него глаз, – пойдем-ка теперь со мной, и я найду тебе место получше; там ты ляжешь и спрячешься. Я пойду по одной стороне улицы, а ты по другой, чтобы на нас не обратили внимания, и ты обещай мне, что не убежишь; а свое обещание ты сдержишь, в этом я уверен.

– Не убегу… вот разве только увижу, что *он* идет, сэр.

– Отлично, верю на слово. Сейчас полгорода уже встает, а через час проснется весь город. Пойдем… До свиданья, сестрица.

– До свиданья, сэр; премного вам благодарна.

Женщина все время сидела на своем мешке и внимательно слушала, а теперь поднимается и берет мешок в руки. Джо повторяет: «Только вы обязательно скажите молодой леди, что не хотел я ей повредить, и передайте, что говорил про меня джентльмен!», потом, кивнув ей, идет, волоча ноги, дрожа, размазывая на лице грязь и мигая; кричит ей что-то на прощанье, не то смеясь, не то плача, и крадучись плетется позади Аллена Вудкорта, прижимаясь к домам на другой стороне улицы. Таким порядком оба они выходят из «Одинокого Тома» туда, где ярко светит солнце и где воздух чище.

Глава XLVII
Завещание Джо

Проходя вместе с Джо по улицам, где в утреннем свете высокие шпили церквей да и все отдаленные предметы кажутся такими отчетливыми и близкими, что невольно чудится, будто самый город обновился после ночного отдыха, Аллен Вудкорт обдумывает, как и где ему приютить своего спутника. «До чего это странно, – думает он, – что в самом сердце цивилизованного мира труднее приютить человека, чем бездомную собаку». Да, как ни странно, но так оно и есть, – и вправду труднее.

Первое время Аллен то и дело оглядывается – не убежал бы Джо. Но, сколько бы он ни смотрел, он всякий раз видит, как мальчик жмется к стенам домов на той стороне улицы, осторожной рукой нащупывая себе путь от кирпича к кирпичу и от двери к двери, и крадучись двигается вперед, настороженно следя глазами за спутником. Уверившись вскоре, что Джо не собирается удирать, Аллен идет дальше, обдумывая, как быть.

Увидев съестной ларек на углу, Аллен понимает, что нужно сделать прежде всего. Он останавливается, оглядывается и кивком подзывает Джо. Перейдя улицу, Джо приближается, то и дело останавливаясь, волоча ноги и медленно расти-

рая правым кулаком согнутую ковшиком левую ладонь, – кажется, будто он, получив в дар от природы пестик и ступку, мешает тесто из грязи. Джо подают завтрак, который представляется ему роскошным, и мальчик начинает глотать кофе и жевать хлеб с маслом, тревожно озираясь по сторонам, как испуганное животное.

Но он чувствует себя таким больным и несчастным, что ему теперь даже есть не хочется.

– Я думал – с голоду помираю, – говорит Джо немного погодя и перестает есть, – а выходит – и тут ошибся… ничего-то я не знаю, ничего понять не могу. Не хочется мне ни есть, ни пить.

И Джо стоит, дрожа всем телом и в недоумении глядя на завтрак.

Аллен Вудкорт щупает его пульс и кладет руку ему на грудь.

– Дыши глубже, Джо.

– Трудно мне дышать, – говорит Джо, – ползет оно еле-еле, дыхание-то… словно повозка тяжелая тащится. – Он мог бы добавить: «И скрипит, как повозка», но только бормочет: – Нельзя мне задерживаться, сэр.

Аллен ищет глазами аптеку. Аптеки по соседству нет, но есть трактир, и это, пожалуй, даже лучше. Он приносит рюмку вина и приказывает Джо отпить немножко. Мальчик начинает оживать после первого же глотка.

– Можешь выпить еще чуть-чуть, Джо, – говорит Аллен,

внимательно наблюдая за ним. – Вот так! Теперь отдохнем минут пять и пойдем дальше.

Мальчик сидит на скамье у съестного ларька, прислонившись спиной к железной решетке, а Аллен Вудкорт прохаживается взад и вперед по улице, освещенной утренним солнцем, и время от времени бросает взгляд на своего спутника, стараясь не показать, что следит за ним. Не нужно особой наблюдательности, чтобы заметить, как согрелся и подкрепился мальчик. Его лицо немного проясняется, если только может проясниться лицо столь хмурое, и он постепенно доедает ломоть хлеба с маслом, от которого раньше отказывался. Подметив эти благоприятные признаки, Аллен заговаривает с ним и, к своему немалому удивлению, узнает о встрече с леди под вуалью и обо всем, что из этого вышло. Медленно пережевывая хлеб, Джо медленно рассказывает, как было дело. После того как он покончил и с рассказом и с хлебом, путники идут дальше.

Не зная, где найти временное убежище для мальчика, Аллен решает посоветоваться со своей бывшей пациенткой, услужливой старушкой мисс Флайт, и направляется к тому переулку, где впервые встретился с Джо. Но в лавке старьевщика теперь все по-другому. Мисс Флайт уже не живет здесь; лавка закрыта; девица неопределенного возраста, с жесткими чертами лица, потемневшего от пыли, – не кто иная, как прелестная Джуди, – резко и скупо отвечает на вопросы. Все-таки посетитель узнает, что мисс Флайт переселилась со

своими птичками к миссис Блайндер, и тогда идет вместе с Джо в Белл-Ярд, который находится по соседству; а там мисс Флайт (которая встает рано, чтобы не опаздывать на «Суд скорый и правый», где председательствует ее добрый друг канцлер) мчится вниз по лестнице, проливая радостные слезы и раскрыв объятия.

– Мой дорогой доктор! – восклицает мисс Флайт. – Мой заслуженный, доблестный, уважаемый офицер!

Выражается она, правда, немного вычурно, но она так же приветлива и сердечна, как и самые здравые умом люди, – пожалуй, даже больше. Аллен, всегда терпеливый с нею, ждет, пока она не истощит всех своих запасов восторга, и, показав рукой на Джо, который стоит в дверях, весь дрожа, объясняет, зачем он сюда пришел.

– Нельзя ли мне поместить его на время где-нибудь поблизости? Вы такая опытная, такая рассудительная, – посоветуйте что-нибудь.

Мисс Флайт, весьма польщенная комплиментом, задумывается; но блестящая мысль приходит ей в голову не сразу. У миссис Блайндер весь дом занят, а сама мисс Флайт живет в комнате бедного Гридли.

– Гридли! – восклицает вдруг мисс Флайт, хлопнув в ладоши после того, как раз двадцать сказала, что живет в его комнате. – Гридли! Ну, разумеется! Конечно! Мой дорогой доктор! Нам поможет генерал Джордж.

Бесполезно было бы спрашивать, что это за «генерал

Джордж», даже если бы мисс Флайт уже не умчалась наверх, чтобы нацепить на себя общипанную шляпку и ветхую шаль и вооружиться своим ридикюлем с документами. Но вот она возвращается в парадном туалете и, как всегда бессвязно, объясняет доктору, что «генерал Джордж», у которого она часто бывает, знаком с ее дорогой Фиц-Джарндис и принимает близко к сердцу все, что ее касается, и тогда Аллен начинает думать, что, пожалуй, он избрал правильный путь. Желая подбодрить Джо, он говорит, что теперь их путешествие скоро кончится, и все вместе они отправляются к «генералу». К счастью, он живет недалеко.

Наружный вид «Галереи Джорджа», длинный коридор и открывающееся за ним просторное, почти пустое помещение кажутся Аллену Вудкорту подходящими. Располагает его к себе и внешность самого мистера Джорджа, который совершает свой утренний моцион, расхаживая по галерее с трубкой во рту и без сюртука, так что мускулы его рук, развитых фехтованием и гимнастическими гирями, отчетливо выделяются под рукавами тонкой рубашки.

– Ваш слуга, сэр, – говорит мистер Джордж, кланяясь по-военному.

Добродушная улыбка расплывается по всему его лицу вплоть до широкого лба и вьющихся волос, когда он здоровается с мисс Флайт, которая очень чинно и довольно медленно совершает торжественную церемонию представления. В заключение он повторяет: «Ваш слуга, сэр», – и снова кла-

няется.

– Простите, сэр, вы – моряк, если не ошибаюсь? – спрашивает мистер Джордж.

– Я горжусь тем, что меня принимают за моряка, – отвечает Аллен, – но я был только судовым лекарем.

– Вот как, сэр! А я было подумал, что вы настоящий морской волк.

Аллен выражает надежду, что мистер Джордж тем охотнее извинит его за вторжение и снова закурит трубку, которую хотел было отложить в сторону из вежливости.

– Очень благодарен, сэр, – говорит кавалерист. – Я знаю по опыту, что мисс Флайт относится снисходительно к моему курению, и если вы тоже… – и, не докончив фразы, он снова берет трубку.

Аллен рассказывает ему все, что знает про Джо, а кавалерист слушает, и лицо у него очень серьезное.

– Значит, это и есть тот парень, сэр, – спрашивает он, выглянув наружу и увидев Джо, который стоит, уставившись на огромные буквы, начертанные на выбеленной передней стене здания и не имеющие для него никакого смысла.

– Он самый, – отвечает Аллен. – И вот, мистер Джордж, я прямо не знаю, как мне с ним быть. Не хочется помещать его в больницу, даже если бы мне удалось выхлопотать, чтобы его туда приняли немедленно – ведь если его и примут, все равно пробудет он там недолго. Сбежит он и из работного дома, даже если у меня хватит терпения добиться, чтобы

его приняли, – ведь когда чего-нибудь добиваешься, только и слышишь, что разные отговорки да увертки и тебя то и дело гоняют из одного места в другое; а это мне не по вкусу.

– Никому это не по вкусу, сэр, – отзывается мистер Джордж.

– Он ни в коем случае не останется ни в больнице, ни в работном доме, потому что смертельно боится того человека, который велел ему «убраться подальше». В своем невежестве он верит, что этот человек вездесущ и всеведущ.

– Простите, сэр, – говорит мистер Джордж, – но вы не сказали, как его фамилия. Или ее нужно хранить в тайне, сэр?

– Да нет, просто мальчик делает из нее тайну. Фамилия этого человека Баккет.

– Тот Баккет, что служит в сыскной полиции, сэр?

– Он самый.

– Я его знаю, сэр, – говорит кавалерист, выпустив клуб дыма и расправляя грудь, – а мальчишка прав в том смысле, что этот Баккет, бесспорно, хитрая бестия.

И мистер Джордж продолжает курить с многозначительным видом, молча поглядывая на мисс Флайт.

– Видите ли, мне хочется, чтобы мистер Джарндис и мисс Саммерсон узнали, что этот Джо, – который сейчас рассказал мне такую невероятную историю, – наконец-то нашелся, и чтобы они смогли поговорить с ним, если пожелают. Поэтому я хочу нанять для него угол у порядочных людей, которые согласились бы принять его. Джо очень редко общался

с порядочными людьми, мистер Джордж, – говорит Аллен, заметив, что кавалерист смотрит в сторону входа. – В этом вся трудность. Может, вы знаете кого-нибудь по соседству, кто согласится принять его к себе ненадолго, если я заплачу за него вперед?

Задавая этот вопрос, он замечает грязнолицего маленького человека с причудливо искривленным телом и перекошенным лицом, который стоит рядом с кавалеристом и смотрит ему в глаза снизу вверх. Еще немного попыхтев трубкой, кавалерист вопросительно смотрит сверху вниз на маленького человека, а тот подмигивает ему.

– Надо вам знать, сэр, – говорит мистер Джордж, – что я хоть сейчас дал бы голову себе проломить, если бы только это могло доставить удовольствие мисс Саммерсон, и, стало быть, почитаю за честь оказать этой молодой леди любую услугу, пусть хоть самую малую. Мы сами живем тут, как бродяги, сэр, и Фил, и я. Видите, какая у нас обстановка. Если хотите, мы охотно отведем мальчику уголок, где ему будет спокойно. Никакой платы не нужно, кроме как за питание. Дела наши идут не блестяще, сэр. Нас когда угодно могут вышвырнуть отсюда вон со всеми потрохами. Тем не менее, сэр, располагайте этим помещением, худо ли оно, хорошо ли, пока мы сами еще живем здесь.

Сделав широкий жест трубкой, мистер Джордж как бы предоставляет все здание галереи в распоряжение гостя.

– Я полагаю, сэр, – добавляет он, – вы, как медик, можете

сказать, что на этот раз болезнь у бедняги не заразительная?

Аллен в этом совершенно уверен.

– Потому что заразой, сэр, мы сыты по горло, – поясняет мистер Джордж, печально покачав головой.

Его новый знакомый так же печально соглашается с этим.

– Я все же обязан сказать вам кое-что, – говорит Аллен, повторив, что болезнь у Джо не заразная, – мальчик очень плох, очень ослабел, и, может быть – наверное я знать не могу, – болезнь его так запущена, что он не выздоровеет.

– Вы находите, что он в опасности, сэр? – осведомляется кавалерист.

– Да, к сожалению.

– В таком случае, сэр, – решительно говорит кавалерист, – мне кажется, – ведь я и сам бродяга, – мне кажется, что чем скорей он войдет в дом, тем лучше. Эй, Фил! Веди-ка его сюда!

Мистер Сквод, весь перекосившись, бросается выполнять приказ, а кавалерист, докурив трубку, кладет ее на место. Мальчика приводят в галерею. Он не индеец из племени Токехупо, о котором хлопочет миссис Пардигл; он не ягненок из стада миссис Джеллиби, так как не имеет ни малейшего отношения к Бориобула-Гха; он не приукрашен отдаленностью и экзотикой; он не настоящий дикарь, не такой дикарь, который рожден и вырос в чужих странах; он самый обыкновенный продукт отечественного производства. Грязный, некрасивый, неприятный для всех пяти чувств; телом – за-

урядное детище заурядных улиц, и только душой – язычник. Доморощенная грязь оскверняет его, доморощенные паразиты пожирают его, точат его доморощенные болезни, покрывают его домотканые отрепья; отечественное невежество – порождение английской почвы и английского климата – так принизило его бессмертную природу, что он опустился ниже зверей, обреченных на погибель. Предстань, Джо, в своем неприкрашенном облике! От подошв на ступнях твоих и до темени на голове твоей нет в тебе ничего интересного.

Медленно, волоча ноги, входит Джо в галерею мистера Джорджа и стоит, сжавшись в комок и блуждая глазами по полу. Он как будто знает, что этим людям хочется отстраниться от него, и их желание отчасти вызвано им самим, отчасти тем горем, которое он причинил. И он тоже сторонится их. Он не из их среды, не из их мира. Он не принадлежит ни к какой среде, ему нет места ни в каком мире – ни в зверином, ни в человеческом.

– Слушай, Джо! – говорит Аллен. – Вот это мистер Джордж.

Джо еще некоторое время шарит взглядом по полу, потом на миг поднимает глаза, но сейчас же снова опускает их.

– Он твой добрый друг – хочет приютить тебя здесь у себя.

Джо вместо поклона загребает воздух рукой, сложенной ковшиком. Немного подумав и переступив с ноги на ногу, он бормочет: «Большое спасибо».

– Здесь тебе ничто не грозит. Будь послушным и поправ-

ляйся – вот все, что от тебя сейчас требуется. И ты всегда должен говорить нам правду, Джо, запомни это.

– Помереть мне на этом месте, – произносит Джо свое излюбленное выражение, – если не буду слушаться, сэр! Ничего я худого не сделал, кроме того, о чем вы знаете. И ничего худого со мной не случалось, сэр, только то и было, что ничего я знать не знал да чуть с голоду не подох.

– Верю. Теперь послушай, что скажет мистер Джордж. Я вижу, он хочет поговорить с тобой.

– Я только хотел, сэр, показать ему место, где он может улечься и выспаться как следует, – говорит мистер Джордж, такой прямой и широкоплечий, что подивиться можно. – Пойдем-ка! – Кавалерист уводит Джо в дальний угол галереи и открывает чуланчик. – Видишь, вот ты и дома! Вот тебе тюфяк, и если будешь хорошо себя вести, можешь тут лежать, пока мистер… простите, сэр… – он с виноватым видом смотрит на визитную карточку, которую дал ему Аллен, – пока мистер Вудкорт не позволит тебе встать. Не пугайся, если услышишь выстрелы, – стрелять будут не в тебя, а в мишень. И еще вот что я посоветую, сэр, – говорит кавалерист, обращаясь к гостю. – Фил, поди-ка сюда!

Фил бросается к ним, не преминув соблюсти все правила своей тактики.

– Этот человек сам был подкидышем, сэр, его в канаве нашли грудным младенцем. Значит, он, надо полагать, жалеет беднягу. Что, Фил, жалеешь ведь?

– Еще бы не жалеть, командир! – отвечает Фил.

– Я так думаю, сэр, – начинает мистер Джордж, и лицо у него такое, словно он уверенный в собственной правоте воин, который сейчас высказывает свое мнение на заседании военного совета, – надо бы Филу сводить парня помыться да купить ему на несколько шиллингов какой-нибудь одежонки попроще…

– Вот какой вы заботливый, мистер Джордж, – перебивает его Аллен, вынимая кошелек, – а я как раз сам хотел попросить вас об этом.

Филу Скводу немедленно поручают привести Джо в более приличный вид, и они уходят. Мисс Флайт в полном восторге от своего успеха, но она торопится в суд, очень опасаясь, как бы ее друг канцлер не стал о ней беспокоиться или не вынес в ее отсутствие того решения, которого она так долго ждала, а это, «мои дорогие доктор и генерал, – добавляет она, – было бы чрезвычайно досадной неудачей после стольких лет ожидания!» Аллен пользуется возможностью выйти на улицу, чтобы купить кое-какие подкрепляющие лекарства, а достав их по соседству, возвращается и, видя, что кавалерист шагает по галерее, тоже принимается шагать в ногу с ним.

– Мне кажется, сэр, – говорит мистер Джордж, – вы довольно коротко знакомы с мисс Саммерсон.

– Да, довольно коротко.

– Но вы не в родстве с нею?

– Нет, не в родстве.

– Простите за любопытство, – говорит мистер Джордж, – но мне показалось, будто вы потому принимаете такое большое участие в этом несчастном, что мисс Саммерсон однажды пожалела его, на свою беду. Что до *меня*, мне хочется помочь ему именно по этой причине.

– И мне тоже, мистер Джордж.

Кавалерист искоса поглядывает на загорелое лицо Аллена, смотрит в его живые темные глаза, быстро измеряет взглядом его рост и телосложение и, кажется, остается доволен.

– С тех пор как вы ушли, сэр, я все думал, что догадываюсь, даже знаю наверное, в чью квартиру на Линкольновых полях водил Баккет мальчишку. Мальчишка не знает, как фамилия хозяина этой квартиры, а я могу назвать ее вам. Талкингхорн. Вот к кому водили Джо.

Аллен, вопросительно глядя на него, повторяет:

– Талкингхорн?

– Да, Талкингхорн. Он самый, сэр. Я его знаю и знаю, что раньше он, тоже с помощью Баккета, разыскивал одного человека, – теперь уже умершего, – который его когда-то оскорбил. Кто-кто, а *я*, сэр, хорошо знаю этого Талкингхорна… на свое горе.

Аллен, естественно, спрашивает, что это за человек.

– Что за человек? Вы хотите знать, какой он с виду?

– С виду-то я его и сам знаю. Я спрашиваю, каков он с

людьми. Вообще, что он за человек?

– Так вот что я вам скажу, сэр, – отвечает кавалерист, внезапно останавливаясь и скрестив руки на широкой груди в таком гневе, что все лицо его вспыхивает и пылает. – Это прескверный человек. Это человек, который пытает людей медленной пыткой. Души в нем не больше, чем в каком-нибудь старом ржавом карабине… Это тот человек! – могу поклясться! – который заставил меня столько тревожиться, волноваться, раскаиваться, сколько всем прочим людям и ввек не заставить. Вот что он за человек, этот мистер Талкингхорн!

– Простите, я задел ваше больное место, – говорит Аллен.

– Еще бы не больное! – расставив ноги и лизнув широкую ладонь правой руки, кавалерист поглаживает ею то место, где некогда у него были усы. – Вы тут ни при чем, сэр! Но судите сами. Я у него во власти. Это я про него говорил, когда сказал вам давеча, что меня могут вышвырнуть вон отсюда со всеми потрохами. Он вечно держит меня в неизвестности, – живешь, будто на доске качаешься. И в покое не хочет оставить, и добить не добивает. Если мне нужно внести ему проценты, или попросить отсрочки, или вообще поговорить с ним по делу, он не желает меня видеть, не желает слышать… отсылает к Мельхиседеку в Клиффордс-Инн; а Мельхиседек отсылает меня из Клиффордс-Инна обратно к нему, Талкингхорну… так вот и хожу, по его милости, взад-вперед, вокруг да около, словно я из того же теста, что и он.

Э, да что там говорить – я теперь чуть не полжизни провожу у его дверей; все стою, дожидаюсь да время теряю. А ему что? Ничего! Все равно что старому ржавому карабину, с которым я его сравнил. Он меня так изводит, так раздражает, что, пожалуй, доведет до того… Ну, да ладно! чушь… я немного забылся. Мистер Вудкорт, – кавалерист снова начинает шагать, – скажу вам только: хорошо, что он старый человек; хорошо, что мне никогда не случится пришпорить коня да ринуться на него в открытом поле. Но если бы такой случай представился, а я бы до того дошел, до чего он меня частенько доводит… ему бы несдобровать, сэр!

Мистер Джордж так разволновался, что вынужден отереть потный лоб рукавом рубашки. Он старается успокоиться, насвистывая национальный гимн, но все-таки голова у него судорожно дергается, а грудь все еще вздымается; не говоря уж о том, что время от времени он обеими руками хватается за отложной воротник рубашки, должно быть находя его слишком тугим и боясь задохнуться. Короче говоря, Аллен Вудкорт почти не сомневается, что «в открытом поле» мистеру Талкингхорну несдобровать.

Вскоре возвращается Джо вместе со своим проводником и, приняв лекарство, собственноручно приготовленное Алленом, укладывается на тюфяк с помощью заботливого Фила, которому Аллен поручает уход за больным и дает все необходимые указания и медикаменты. Таким образом, утро проходит быстро. Аллен идет домой переодеться и позав-

тракать, а потом, даже не отдохнув, отправляется к мистеру Джарндису, чтобы рассказать ему о своей находке.

Он возвращается вместе с мистером Джарндисом, который очень заинтересовался его рассказом и по секрету предупредил его, что есть причины тщательно хранить все эти события в тайне. Джо в общих чертах и почти без изменений повторяет мистеру Джарндису все, что рассказывал утром. Но ему все тяжелее тянуть свою «повозку», и тянется она со все более глухим скрипом.

– Только бы мне полежать здесь спокойно, да не гнали бы меня никуда, – бормочет Джо, – и нашелся бы добрый человек, сходил бы на перекресток, где я подметал, да сказал бы мистеру Снегсби, что известный, мол, ему Джо идет себе да идет, не задерживаясь, как полагается, – очень я тогда рад буду! Еще больше, чем сейчас, хоть мне и сейчас так хорошо, что такому горемыке, как я, лучшего и желать невозможно.

Прошло дня два, а Джо все вспоминает о владельце писчебумажной лавки, да так часто, что Аллен, посоветовавшись с мистером Джарндисом, решает отправиться в Кукс-Корт – с тем большей готовностью, что «повозка», должно быть, вот-вот сломается.

Итак, Аллен приходит в Кукс-Корт. Мистер Снегсби стоит за прилавком в своем сером сюртуке и нарукавниках, перелистывая недавно принесенный переписчиком контракт, на который ушло немало бараньих кож, и блуждает глазами по этой исписанной писарским почерком необъятной перга-

ментной пустыне, где оазисы заглавных букв лишь изредка нарушают ее ужасающее однообразие, давая отдых взору и спасая «путника» от отчаяния. Мистер Снегсби останавливается у одного из этих чернильных колодцев и приветствует незнакомца кашлем, выражая готовность приступить к деловым переговорам.

– Вы не припоминаете меня, мистер Снегсби?

Сердце у мистера Снегсби начинает тяжело стучать, ибо его давние опасения еще не исчезли. Он едва находит в себе силы ответить:

– Нет, сэр; не могу сказать, что припоминаю. Я скорей думаю, говоря напрямик, что никогда вас не видывал, сэр.

– Мы встречались два раза, – говорит Аллен Вудкорт. – В первый раз у смертного одра одного бедняка, во второй…

«Вот оно – пришло-таки, наконец! – с ужасом думает торговец, внезапно вспомнив все. – Нарыв созрел: сейчас прорвется!» Однако у него хватает присутствия духа увести посетителя в комнатушку, где лежат счетные книги, и закрыть дверь.

– Вы не женаты, сэр?

– Нет, не женат.

– Пожалуйста, сэр, – просит мистер Снегсби удрученным шепотом, – хоть вы и холостой, постарайтесь говорить как можно тише. Дело в том, что моя женушка, наверное, подслушивает где-нибудь за дверью, готов держать пари на все свое предприятие и пятьсот фунтов в придачу!

Совершенно подавленный, мистер Снегсби садится на табурет, прислонившись спиной к конторке, и начинает оправдываться:

– У меня никогда не было никаких собственных секретов, сэр. Не могу припомнить, чтобы хоть раз я пытался обмануть свою женушку с того самого дня, как она согласилась выйти за меня замуж. Да я и не стал бы ее обманывать, сэр. Говоря напрямик, я не мог бы ее обмануть, просто не посмел бы. Но, несмотря на это и тем не менее, я положительно опутан всякими секретами и тайнами, так что мне прямо жизнь не мила.

Посетитель выражает ему соболезнование и спрашивает, помнит ли он Джо.

– Как не помнить! – отвечает мистер Снегсби, подавляя стон. – Если не считать меня самого, нет человека, против которого моя женушка была бы так решительно вооружена и настроена, как против Джо, – объясняет мистер Снегсби.

Аллен спрашивает: почему?

– Почему? – повторяет мистер Снегсби, в отчаянии хватаясь за пучок волос, торчащий на затылке его лысого черепа. – Да как же *мне* знать, почему? Впрочем, ведь вы холостяк, сэр, и дай вам бог еще долго оставаться в блаженном неведении супружеской жизни и задавать подобные вопросы женатым!

Высказав это доброе пожелание, мистер Снегсби кашляет – кашлем, выражающим унылую покорность судьбе, – и за-

ставляет себя выслушать посетителя.

– Ну вот, опять! – говорит мистер Снегсби, весь бледный от обуревающих его чувств и необходимости говорить шепотом. – Вот опять, с другой стороны! Одно лицо строжайше запрещает мне говорить о Джо кому бы то ни было, даже моей женушке. Потом приходит другое лицо в вашем лице, – то есть вы, – и столь же строго запрещает мне говорить о Джо любому другому лицу и особенно первому лицу. Да это просто какой-то сумасшедший дом! Говоря напрямик, это форменный бедлам, сэр! – заключает мистер Снегсби.

Но в конце концов оказывается, что дело вовсе уже не так плохо, как он думал, – мина не взрывается у его ног, и яма, в которую он упал, не разверзается еще глубже. Мягкосердечный и огорченный тяжелым состоянием Джо, он охотно обещает «забежать вечерком», пораньше, как только можно будет тихонько выбраться из дому. И когда наступает вечер, он действительно потихоньку уходит; но кто знает, может быть, миссис Снегсби не хуже его умеет делать свои дела втихомолку.

Джо очень обрадовался своему старому приятелю и, когда они остаются вдвоем, говорит, что «мистер Снегсби» чудо какой добрый, если сделал такой большей крюк из-за такого никудышного малого, как он, Джо. Тронутый видом больного, мистер Снегсби немедленно кладет на стол полкроны – свой волшебный бальзам, исцеляющий все раны.

– Ну, как ты себя чувствуешь, бедняга? – спрашивает тор-

говец, сочувственно кашляя.

– Мне повезло, мистер Снегсби, вот повезло-то, – отвечает Джо, – так что ничего мне больше не нужно. А уж как мне тут хорошо, вы и представить себе не можете. Мистер Снегсби! Очень я горько каюсь, что натворил такое, но ведь я не затем туда пошел, сэр.

Торговец тихонько кладет на стол еще полкроны и спрашивает Джо, почему он кается и что именно он натворил.

– Мистер Снегсби, – отвечает Джо, – я пошел и заразил одну леди, что там была, только она была не та, другая леди, и никто из них мне за это худого слова не сказал, потому что они такие добрые, а я такой несчастный. А леди вчера сама пришла меня навестить и говорит: «Эх, Джо! – говорит. – А мы думали, ты пропал, Джо!» – говорит. А сама сидит, улыбается до того спокойно – ни словечком меня не попрекнула за то, что я натворил, даже косо не глянула – вот какая; а я к стене отвернулся, мистер Снегсби. И вижу я: мистер Джарндис тоже волей-неволей, а отвернулся. А мистер Вудкот, тот пришел накапать мне чего-то, чтоб мне полегчало, – он день и ночь мне капает, – и вот наклонился он надо мной и стал говорить до того весело, а я вижу – у него слезы полились, мистер Снегсби.

Растроганный торговец кладет на стол еще полкроны. Если что и может облегчить его душу, так лишь повторное применение этого испытанного средства.

– Знаете, про что я думаю, мистер Снегсби, – продолжает

Джо, – может, вы умеете писать очень большими буквами, а?

– Конечно, Джо, как не уметь! – отвечает торговец.

– Большими-пребольшими буквами, громадными, а? – спрашивает Джо в волнении.

– Да, бедный мой мальчик.

Джо смеется, очень довольный.

– Так вот я про что думаю, мистер Снегсби: ведь мне велели не задерживаться на месте, все гнали и гнали, а я все шел да шел, а больше гнать некуда, так вот уж вы сделайте милость, напишите очень большими буквами, чтобы всякий мог разобрать, повсюду, что, мол, очень я горько каюсь, правда истинная, что натворил такое, хоть я вовсе не затем туда пошел и даже вовсе ничего знать не знал, а все-таки смекнул, когда мистер Вудкот из-за этого заплакал раз, да он и всегда о том горюет, и, может, он, бог даст, простит меня в душе. Вот написать про это большущими буквами, может, он тогда меня и простит.

– Так и напишем, Джо. Большущими буквами.

Джо снова смеется.

– Спасибо вам, мистер Снегсби. Очень вы добрый, сэр, а мне теперь стало еще лучше прежнего.

Отрывисто кашлянув, кроткий маленький торговец кладет на стол четвертую полукрону – первый раз в жизни пришлось ему истратить на подобные нужды столько полукрон – и неохотно уходит. Никогда больше он не встретится с Джо на нашей маленькой земле… никогда.

Ибо повозка, которую так тяжело влачить, близится к концу своего пути и тащится по каменистой земле. Сутками напролет ползет она вверх по обрывистым кручам, расшатанная, изломанная. Пройдет еще день-два, и когда взойдет солнце, оно уже не увидит эту повозку на ее тернистом пути.

Фил Сквод, закопченный и обожженный порохом, исполняет обязанности сиделки и одновременно работает в качестве оружейника за своим столиком в углу, то и дело оглядываясь, кивая головой в зеленой суконной ермолке и твердя: «Держись, мальчуган! Держись!» Нередко сюда приходит мистер Джарндис, а Аллен Вудкорт сидит тут почти весь день, и оба они много думают о том, как причудливо Судьба вплела этого жалкого отщепенца в сеть стольких жизненных путей. Кавалерист, могучий, пышущий здоровьем, тоже часто заглядывает в чулан и, загородив выход своим атлетическим телом, излучает на Джо столько энергии и силы, что мальчик, как бы немного окрепнув, отвечает на его ободряющие слова более твердым голосом.

Сегодня Джо весь день спит или лежит в забытьи, а Аллен Вудкорт, который только что пришел, стоит подле него и смотрит на его изнуренное лицо. Немного погодя он тихонько садится на койку, лицом к мальчику, – так же, как сидел в комнате переписчика судебных бумаг, – выстукивает ему грудь и слушает сердце. «Повозка» почти остановилась, но все-таки тащится еле-еле.

Кавалерист стоит на пороге, недвижно и молча. Фил, ти-

хонько стучавший по какому-то металлу, перестал работать и замер с молоточком в руке. Мистер Вудкорт оглядывается; его сосредоточенное лицо поглощенного своим делом врача очень серьезно, и, бросив многозначительный взгляд на кавалериста, он делает знак Филу унести рабочий столик. Когда Фил снова возьмет в руки свой молоточек, на нем будет ржавое пятнышко от слезы.

– Ну, Джо! Что с тобой? Не пугайся.

– Мне почудилось, – говорит Джо, вздрогнув и оглядываясь кругом, – мне почудилось, будто я опять в «Одиноком Томе». А здесь никого нет, кроме вас, мистер Вудкот?

– Никого.

– И меня не отвели обратно в «Одинокий Том»? Нет, сэр?

– Нет.

Джо закрывает глаза и бормочет:

– Большое вам спасибо.

Аллен внимательно смотрит на него несколько мгновений, потом, приблизив губы к его уху, тихо, но отчетливо произносит:

– Джо, ты не знаешь ни одной молитвы?

– Никогда я ничего не знал, сэр.

– Ни одной коротенькой молитвы?

– Нет, сэр. Вовсе никакой. Мистер Чедбендс, тот молился раз у мистера Снегсби, и я его слушал; только он как будто разговаривал сам с собой, а вовсе не со мной. Молился он куда как много, только я-то ничего понять не мог. Дру-

гие джентльмены, те тоже кое-когда приходили молиться в «Одинокий Том»; только они все больше говорили, что другие молятся не так, как надо, других, значит, осуждали, а то сами с собой разговаривали, а не с нами вовсе. *Мы*-то никогда ничего не знали. Кто-кто, а я знать не знал, об чем это они.

Эти слова он произносит очень медленно, и только опытный и внимательный слушатель способен услышать их, а услышав, понять. Ненадолго заснув или забывшись, Джо вдруг порывается соскочить с постели.

– Стой, Джо! Куда ты?

– На кладбище пора, сэр, – отвечает мальчик, уставившись безумными глазами на Аллена.

– Ляг и объясни мне. На какое кладбище, Джо?

– Где его зарыли, того, что был добрый такой, очень добрый, жалел меня. Пойду-ка я на то кладбище, сэр, – пора уж, – да попрошу, чтоб меня рядом с ним положили. Надо мне туда – пускай зароют. Он, бывало, часто мне говорил: «Нынче я такой же бедный, как ты, Джо», – говорит. А теперь я хочу ему сказать, что я, мол, такой же бедный, как он, и пришел, чтоб меня рядом с ним положили.

– Успеешь, Джо. Успеешь.

– Кто его знает! Может, и не захотят там зарыть, если я туда один пойду. Так уж вы обещайте, сэр, что меня туда отнесут и с ним рядом положат.

– Обещаю, Джо.

– Спасибо вам, сэр. Спасибо вам. Придется ключ от ворот достать, чтоб меня туда втащить, а то ворота день и ночь заперты. А еще там ступенька есть, – я ее своей метлой подметал… Вот уж и совсем стемнело, сэр. А будет светло?

– Скоро будет светло, Джо.

Скоро. «Повозка» разваливается на части, и очень скоро придет конец ее трудному пути.

– Джо, бедный мой мальчик!

– Хоть и темно, а я вас слышу, сэр… только я иду ощупью… ощупью… дайте руку.

– Джо, можешь ты повторить то, что я скажу?

– Повторю все, что скажете, сэр, – я знаю, это хорошее.

– Отче наш…

– Отче наш!.. да, это очень хорошее слово, сэр.

– Иже еси на небесех…

– Иже еси на небесех… скоро будет светло, сэр?

– Очень скоро. Да святится имя твое…

– Да святится… твое…

Свет засиял на темном мрачном пути. Умер!

Умер, ваше величество. Умер, милорды и джентльмены. Умер, вы, преподобные и неподобные служители всех культов. Умер, вы, люди; а ведь небом вам было даровано сострадание. И так умирают вокруг нас каждый день.

Глава XLVIII
Последняя схватка

Дом в Линкольншире снова смежил свои бесчисленные глаза, а дом в Лондоне бодрствует. В Линкольншире Дедлоки былых времен дремлют в рамах своих портретов, и чудится, будто это не ветер тихо шепчет в продолговатой гостиной, а портреты дышат мерно и ровно. В Лондоне Дедлоки наших времен с грохотом катят в огнеоких каретах, сквозь ночную тьму, а дедлоковские заспанные Меркурии, посыпав головы пеплом (то есть пудрой) в знак своего великого смирения, все утро просиживают в вестибюле, лениво развалясь и глазея в окошки. Большой свет – этот огромный мир, достигающий чуть не пяти миль в окружности, – мчится во весь опор, а светила Солнечной системы почтительно вращаются на указанном им расстоянии.

Там, где светская толпа всего гуще, где огни всего ярче, где все чувства сдерживаются изысканностью и утонченностью, доведенными до совершенства, там пребывает леди Дедлок. Никогда она не спускается с тех сияющих высот, на которые поднялась и которыми овладела. Хоть и рушится ее многолетняя вера в свое уменье скрыть все, что она хочет, под покровом гордости, хоть и не уверена она сегодня, что до завтра останется для всех окружающих прежней леди Дед-

лок, но не в ее натуре сдаться и пасть, когда в нее впиваются завистливые глаза. Поговаривают, будто с некоторых пор она стала еще прекраснее и еще надменнее. Изнемогающий кузен находит, что кгасоты у ней хватит… на це'ый магазин кгасоток… но от нее как-то не по себе… вгоде той неугомонной особы… что вскакивала с постели и бгодила по ночам… где-то у Шекспига.

Мистер Талкингхорн не говорит ничего, и лицо его ничего не выражает. Теперь, как и раньше, его можно увидеть на пороге какой-нибудь светской гостиной, в мягком белом галстуке, свободно завязанном старомодным узлом, и, как и раньше, он принимает знаки покровительственного внимания от аристократии, но ничем себя не выдает. По-прежнему его никак нельзя заподозрить в том, что он имеет хоть какое-нибудь влияние на миледи. По-прежнему ее никак не заподозришь в том, что она хоть сколько-нибудь его боится.

Со дня их последнего разговора в его башенке, в Чесни-Уолде, миледи много думала об одном вопросе. Теперь она приняла решение и готова выполнить его.

В большом свете еще только утро, хотя, судя по столь незначительному светилу, как солнце, полдень уже миновал. Меркурии, эти роскошные красавцы, выбились из сил – они больше не в состоянии глазеть в окна и теперь отдыхают в вестибюле, понурив тяжелые головы на манер перезрелых подсолнечников. И столько на них всякой мишуры и позолоты, что кажется, будто их тоже оставили на семена. Сэр Лестер

почивает в библиотеке на благо родине, заснув над отчетом Парламентской комиссии. Миледи сидит в той комнате, где принимала молодого человека, некоего Гаппи. Роза при ней; она что-то писала по приказу миледи и читала ей вслух. Сейчас Роза вышивает, а может быть, занимается каким-то другим девичьим рукоделием, а миледи в молчании смотрит на ее склоненную головку – уже не первый раз за этот день.

– Роза!

Деревенская красавица повертывается в сторону миледи, и ее личико сияет улыбкой. Но миледи очень серьезна, и сияющее личико принимает удивленное, недоумевающее выражение.

– Поди посмотри, заперта ли дверь?

Да, заперта. Подойдя к двери и вернувшись, Роза смотрит на миледи с еще большим удивлением.

– Я хочу сказать тебе кое-что по секрету, дитя мое, – ты хоть и не все понимаешь, но привязана ко мне. О том, что я собираюсь сделать, я буду говорить вполне откровенно – с тобой во всяком случае. Но я тебе доверяю. Никому не рассказывай о нашем разговоре.

Застенчивая молоденькая красавица очень серьезно обещает оправдать доверие миледи.

– Ты ведь заметила, – спрашивает леди Дедлок, делая ей знак сесть поближе, – ты заметила, Роза, что с тобой я не такая, как с другими людьми?

– Да, миледи. Со мной вы гораздо ласковее. И я часто ду-

маю, что знаю вас такой, какая вы на самом деле.

– Ты часто думаешь, что знаешь меня такой, какая я на самом деле? Бедное ты дитя, бедное дитя!

Она говорит это с какой-то горькой досадой, – но не на Розу, – и в глубокой задумчивости устремляет на девушку затуманенные глаза.

– А ты знаешь, Роза, как мне с тобой легко и хорошо? Тебе не приходило в голову, что ты мне приятна потому, что ты молода и простодушна, любишь меня и благодарна мне?

– Не знаю, миледи; почти не смею на это надеяться. Но мне всем сердцем хотелось бы, чтобы так оно и было.

– Так оно и есть, девочка моя.

Хорошенькое личико чуть было не вспыхнуло от радости, но радость быстро померкла – так скорбно прекрасное лицо другой женщины. И девушка робко ждет объяснений.

– Если бы я сегодня сказала тебе: «Уходи! Оставь меня!», мне было бы очень больно и горько, дитя мое, и я осталась бы совсем одинокой.

– Миледи! Я вам чем-то не угодила?

– Нет, что ты! Сядь сюда.

Роза опускается на скамеечку у ног миледи. Миледи кладет руку на ее темноволосую головку, прикасаясь к ней так же нежно, по-матерински, как и в тот памятный вечер, когда приезжал «железных дел мастер»; и уже не отнимает руки.

– Я говорила тебе, Роза, что хотела бы видеть тебя счастливой, и сделала бы тебя счастливой, если бы только могла

хоть кому-нибудь принести счастье. Но я не могу. Я лишь теперь узнала о некоторых обстоятельствах, и хотя тебя они не касаются, но есть причины, по которым лучше тебе не оставаться здесь. Ты не должна здесь оставаться. Я твердо решила, что ты здесь не останешься. Я написала отцу твоего жениха, и он сегодня приедет сюда. Все это я сделала ради твоего блага.

Девушка, заливаясь слезами, осыпает поцелуями ее руки и говорит: как же ей жить, когда они расстанутся? Миледи вместо ответа целует ее в щеку.

– А теперь, дитя мое, желаю тебе счастья там, где тебе будет лучше. Будь счастлива и любима!

– Ах, миледи, я иногда думала… простите, что я осмеливаюсь… думала, что *сами-то* вы несчастливы.

– Я!

– Неужели вам будет лучше, когда вы меня отошлете? Прошу вас, прошу, передумайте. Позвольте мне остаться у вас еще немножко!

– Я уже сказала тебе, дитя мое: все то, что я делаю, я делаю ради твоего блага, а не ради себя. Впрочем, это все уже сделано. В эту минуту, Роза, я говорю с тобой так, как чувствую; но не так я буду говорить немного погодя. Запомни это и сохрани в тайне мое признание. Сделай это ради меня; а сейчас мы расстанемся навсегда!

Миледи легонько отстраняет от себя свою простодушную наперсницу и выходит из комнаты. Когда она снова появля-

ется на лестнице к концу дня, вид у нее еще более надменный и холодный, чем всегда: она так равнодушна, словно все человеческие страсти, чувства, интересы, отжив свой век в древнейшие эпохи мира, исчезли с лица земли вместе с некогда населявшими ее и вымершими чудовищами.

Меркурий доложил о приходе мистера Раунсуэлла – вот почему миледи вышла из своих покоев. Мистер Раунсуэлл ожидает ее не в библиотеке; но миледи идет в библиотеку. Там сейчас сидит сэр Лестер, а миледи хочет сначала поговорить с ним.

– Сэр Лестер, я хочу… впрочем, вы, кажется, заняты.

О, боже мой, нет! Вовсе нет! Ведь у него только мистер Талкингхорн.

Всегда он где-то поблизости. Какой-то вездесущий. Нет от него спасения и покоя ни на миг.

– Виноват, леди Дедлок. Вы позволите мне удалиться?

Бросив на него взгляд, которым ясно сказано: «Вы же знаете, что вольны остаться, если сами этого захотите», – она говорит, что в этом нет надобности, и направляется к креслу. Мистер Талкингхорн с неуклюжим поклоном слегка подвигает к ней кресло и отходит к окну напротив. Вклинившись между нею и меркнущим светом дня на утихшей улице, он отбрасывает свою тень на миледи и погружает во мглу все, что она видит перед собой. Вот так он потопил во мраке и всю ее жизнь.

Улица за окном и при самом красивом освещении все

равно – скучная улица, на которой два длинных ряда домов уставились друг на друга с такой чопорной строгостью, что кажется, будто некоторые из стоящих здесь роскошных особняков были выстроены не из камня, но мало-помалу окаменели, завороженные этими взглядами. Улица за окном преисполнена столь унылого величия, так твердо решила не снисходить до оживления, что даже двери и окна здесь мрачно кичатся своей черной окраской и пылью, а гулкие конюшни на задних дворах имеют такой безжизненный, монументальный вид, словно в них должны стоять только каменные кони, сошедшие с пышных постаментов. На этой величественной улице ступени подъездов украшены замысловатыми железными решетками, и, приютившись в их омертвелых гирляндах, гасители для устаревших факелов дивятся на выскочку – газ. Кое-где, еле держась на месте в ржавой листве, торчит железный обручик, сквозь который сорванцы-мальчишки стараются пропихнуть шапки своих товарищей (только на это он теперь и годится), а оставили его, как священную память о тех временах, когда в него втыкали фонарь с горящим маслом, ныне исчезнувшим. Нет, даже само масло хоть и редко, но еще встречается кое-где, налитое в маленькую смешную стеклянную плошку с шишечкой на дне, напоминающей устрицу, и каждую ночь оно мигает и хмурится на новые источники света, уподобляясь в этом своему отставшему от века ретрограду-хозяину, заседающему в палате лордов.

Поэтому леди Дедлок, сидящей в кресле, пожалуй, не на что смотреть в окно, у которого стоит мистер Талкингхорн. И все же… и все же… она бросает на него такой взгляд, словно всем сердцем желает, чтобы эта тень сошла с ее пути.

Сэр Лестер просит извинения у миледи. Она желала сказать?..

– Только то, что у нас мистер Раунсуэлл (он приехал по моему приглашению) и что надо нам наконец решить вопрос об этой девушке. Мне до смерти надоела вся эта история.

– Чем же… я могу… помочь вам? – спрашивает сэр Лестер в полном недоумении.

– Примем его здесь и покончим с этим делом. Велите пригласить его сюда.

– Мистер Талкингхорн, позвоните, пожалуйста. Благодарю вас… Попросите… – говорит сэр Лестер Меркурию, не сразу припоминая, как величают мистера Раунсуэлла в деловом мире, – попросите железного джентльмена прийти сюда.

Меркурий отправляется на поиски «железного джентльмена», отыскивает и приводит его. Сэр Лестер радушно встречает эту «железистую личность».

– Надеюсь, вы здоровы, мистер Раунсуэлл. Присядьте. (Мой поверенный, мистер Талкингхорн.) Миледи пожелала, мистер Раунсуэлл, – торжественным мановением руки сэр Лестер дипломатично отсылает его к миледи, – пожелала побеседовать с вами. Хм!

– Буду очень счастлив, – отзывается «железный джентль-

мен», – с величайшим вниманием выслушать все то, что леди Дедлок изволит сказать мне.

Обернувшись к ней, он находит, что она нравится ему меньше, чем в их первую встречу. Холодом веет от ее отчужденного и высокомерного лица, и теперь уже ничто в ней не поощряет собеседника к откровенности.

– Позвольте спросить вас, сэр, – начинает леди Дедлок равнодушным тоном, – вы говорили со своим сыном относительно его блажи?

Когда она задает этот вопрос, кажется, будто ее томным глазам не под силу даже взглянуть на собеседника.

– Если мне не изменяет память, леди Дедлок, я сказал, когда в прошлый раз имел удовольствие вас видеть, что настоятельно буду советовать сыну преодолеть эту… блажь.

Заводчик повторяет ее слово, делая на нем упор.

– И вы ему это посоветовали?

– Ну да, конечно!

Сэр Лестер одобрительно кивает. Очень достойно. Если «железный джентльмен» что-нибудь обещал, он был обязан выполнить обещание. В этом отношении простые металлы не должны отличаться от драгоценных. Очень, очень достойно.

– Он так и сделал?

– Право же, леди Дедлок, я не могу дать вам определенный ответ. Боюсь, что не преодолел. Вероятно, еще нет. Наш брат, то есть человек нашего звания, иной раз связывает свои

планы на будущее со своей… блажью, а значит, ему не так-то легко отказаться от нее. Пожалуй, нам вообще свойственно относиться серьезно ко всему на свете.

Сэр Лестер, заподозрив, что за этой фразой скрывается «уот-тайлеровское умонастроение», вскипает. Мистер Раунсуэлл безукоризненно деликатен и вежлив; но тон его, хоть и учтивый, не менее холоден, чем оказанный ему прием.

– Видите ли, – продолжает миледи, – я думала об этой истории… которая мне надоела.

– Очень сожалею, смею заверить.

– И еще о том, что говорил по этому поводу сэр Лестер, а я с ним вполне согласна, – сэр Лестер польщен, – и я решила, что девушке лучше расстаться со мной, конечно, лишь в том случае, если вы не можете утверждать, что блажь у вашего сына прошла.

– Утверждать это я не могу, леди Дедлок, никоим образом.

– В таком случае девушке лучше уехать.

– Простите, миледи, – учтиво вмешивается сэр Лестер, – но, быть может, этим мы обидим девушку, и обидим незаслуженно. Вот молодая девушка, – начинает сэр Лестер величественно излагать вопрос, помахивая правой рукой (кажется, будто он расставляет серебряный столовый сервиз), – девушка, которая имела счастье привлечь к себе внимание и благосклонность высокопоставленной леди и пользуется покровительством этой высокопоставленной леди, а также всевоз-

можными преимуществами подобного положения, бесспорно очень значительными, – я полагаю, бесспорно очень значительными, сэр, – для молодой девушки ее звания. Итак, возникает вопрос, справедливо ли это – лишать молодую девушку тех многочисленных преимуществ и того счастья, которые выпали ей на долю, лишать только потому, что она, – сэр Лестер, как бы желая извиниться, но с очень важным видом, подчеркивает эту фразу, наклонив голову в сторону заводчика, – только потому, что она привлекла внимание отпрыска мистера Раунсуэлла? Заслужила ли она такую кару? Справедливо ли это по отношению к ней? Разве это мы раньше имели в виду?

– Виноват! – вставляет свое слово родитель этого «отпрыска». – Сэр Лестер, вы позволите мне высказаться? Мне кажется, мы можем сократить разговор. Прошу вас, не придавайте значения всему этому. Быть может, вы не забыли, – впрочем, нельзя ожидать, чтобы вы помнили такие пустяки, – а если забыли, то я вам напомню, что я с самого начала был против того, чтобы девушка оставалась здесь.

Не придавать значения покровительству Дедлоков? Ого! Сэр Лестер должен верить своим ушам, унаследованным от столь благородных предков; не будь этого, он подумал бы, что не расслышал слов «железного джентльмена».

– Ни нам, ни вам уже незачем распространяться об этом, – ледяным тоном говорит миледи, пока ее супруг еще не успел опомниться и только тяжело дышит в полном изумлении. –

Девушка очень хорошая; я ни в чем не могу ее упрекнуть, но она так равнодушна к этим своим многочисленным преимуществам и к счастью, которое выпало ей на долю, что влюбилась, – или воображает, что влюбилась, бедная глупышка! – и не способна оценить все это по достоинству.

Сэр Лестер позволяет себе заметить, что это совершенно меняет дело. Он должен был знать, что миледи имеет достаточные причины и основания придерживаться своего мнения. Он вполне согласен с миледи. Девушке лучше уехать.

– Как сказал сэр Лестер в прошлый раз, когда мы так устали от этих разговоров, мистер Раунсуэлл, – томно продолжает леди Дедлок, – мы не можем заключать с вами никаких соглашений. А если так, то при создавшихся условиях девушке здесь делать нечего, и ей лучше уехать. Так я ей и сказала. Желаете вы, чтобы мы отослали ее в деревню, или вы намерены взять ее с собой, или как вы вообще хотите с ней поступить?

– Леди Дедлок, разрешите мне говорить откровенно…

– Пожалуйста.

– Я предпочел бы как можно скорее избавить вас от этого бремени, а девушке дать возможность уволиться безотлагательно.

– Говоря так же откровенно, – отзывается миледи все с той же деланой небрежностью, – я бы тоже это предпочла. Если я правильно вас понимаю, вы возьмете ее с собой?

«Железный джентльмен» кланяется ей «железным» по-

клоном.

– Сэр Лестер, позвоните, пожалуйста.

Мистер Талкингхорн выступает вперед из оконной ниши и дергает за шнурок от звонка.

– Я забыла, что вы здесь. Благодарю вас.

Он кланяется, как всегда, и молча отходит к окну. Меркурий быстро является на зов, получает указания насчет того, кого именно ему следует привести, исчезает, приводит указанное лицо и снова исчезает.

Роза, как видно, плакала, да и сейчас еще очень взволнована. Не успела она войти, как заводчик, встав с кресла, берет ее под руку и останавливается с нею у двери, готовый уйти.

– Вот видите, вас уже взяли на попечение, и вы уходите под надежной защитой, – устало говорит миледи. – Я сказала, что вы очень хорошая девушка, и плакать вам не о чем.

– И все-таки, – замечает мистер Талкингхорн, чуть подвигаясь вперед и заложив руки за спину, – она, вероятно, плачет оттого, что ей жалко уезжать.

– Что с нее взять, ведь она невоспитанная, – парирует мистер Раунсуэлл довольно резким тоном, как будто он обрадовался, что наконец-то получил возможность отыграться на этом крючкотворе, – девчонка неопытная, ничего еще не понимает. Останься она тут, сэр, может, она и развилась бы.

– Все может быть, – невозмутимо соглашается мистер Талкингхорн.

Роза, всхлипывая, говорит, что ей очень грустно расставаться с миледи, что в Чесни-Уолде она жила счастливо, что у миледи ей было хорошо и она бесконечно благодарна миледи.

– Полно, глупый ты котенок! – негромко и мягко останавливает ее заводчик. – Возьми себя в руки, если любишь Уота!

Миледи отпускает девушку мановением руки, выражающим лишь равнодушие, и говорит:

– Довольно, милая, перестаньте! Вы хорошая девушка. Идите!

Сэр Лестер, величественно отрекшись от участия в этом деле, замыкается в святилище своего синего сюртука. Мистер Талкингхорн, – неясная фигура на фоне темной улицы, теперь, правда, уже испещренной световыми бликами фонарей, – маячит перед глазами миледи, еще более высокий и черный, чем всегда.

– Сэр Лестер и леди Дедлок, – говорит мистер Раунсуэлл после недолгого молчания, – прощаясь с вами, прошу извинить меня за то, что я, хоть и не по своему почину, вновь обеспокоил вас столь скучным делом. Уверяю вас, я прекрасно понимаю, как надоели леди Дедлок все эти пустяки. Пожалуй, я сделал лишь один промах – надо было тогда же уговорить девочку уехать со мной, не беспокоя вас. Но мне казалось, – и, смею заметить, я, очевидно, преувеличил значение этого вопроса, – мне казалось, что уважение к вам обязывает меня объяснить, как обстоит дело, а считаясь с ваши-

ми пожеланиями и удобствами, я проявлю искреннее стремление уладить дело по-хорошему. Надеюсь, вы извините меня за то, что я так плохо знаю высший свет.

Сэр Лестер считает, что подобная речь вынуждает его покинуть свое святилище.

– Мистер Раунсуэлл, – внушает он, – говорить об этом нет надобности. Я полагаю, что никаких оправданий не нужно ни нам, ни вам.

– Рад слышать это, сэр Лестер, и если вы разрешите мне напоследок вернуться к тому, о чем я говорил раньше, то есть к долголетней службе моей матери в семействе Дедлоков, – а подобная служба предполагает высокие достоинства и у господ и у слуг, – я приведу вот этот маленький пример – девушку, с которой я сейчас стою под руку и которая показала себя такой любящей и преданной при расставанье; а ведь, осмелюсь сказать, это моя матушка до некоторой степени воспитала в ней подобные чувства… хотя, конечно, леди Дедлок своим сердечным участием и мягкой снисходительностью сделала для Розы гораздо больше.

Возможно, что он говорит это с иронией, однако в его словах больше истины, чем он думает. Впрочем, он говорит, не изменяя своей обычной прямоте, – только оборачивается в ту сторону слабо освещенной комнаты, где сидит миледи. Сэр Лестер встает, чтобы ответить на прощальные слова посетителя, мистер Талкингхорн снова звонит, Меркурий снова прилетает, и мистер Раунсуэлл с Розой уходят из этого

дома.

Вносят лампы, и оказывается, что мистер Талкингхорн еще стоит у окна, заложив руки за спину, а миледи еще сидит в кресле и перед глазами у нее еще маячит его фигура, заслоняющая от нее и ночь и день. Миледи очень бледна. Заметив это, когда миледи поднимается, чтобы уйти, мистер Талкингхорн думает: «Еще бы ей не бледнеть! До чего сильна эта женщина! Она все время играла роль». Но и он умеет играть роль – у него одно неизменное амплуа, – и, когда он открывает дверь перед этой женщиной, пятьдесят пар глаз в пятьдесят раз более зорких, чем глаза сэра Лестера, не заметили бы ни единого изъяна в его игре.

Сегодня леди Дедлок обедает одна в своей комнате. Сэра Лестера вызвали в парламент спасать партию Дудла и громить клику Кудла. Сидя за обедом, леди Дедлок, по-прежнему мертвенно-бледная (и точь-в-точь такая, как о ней говорит изнемогающий кузен), спрашивает, уехал ли сэр Лестер. Да. А мистер Талкингхорн уже ушел? Нет. Вскоре она опять спрашивает: неужели он еще не ушел? Нет. Что он делает? Меркурий полагает, что он пишет письма в библиотеке. Миледи желает его видеть? Нет, ни в коем случае.

Зато он желает видеть миледи. Спустя несколько минут ей докладывают, что он свидетельствует миледи свое почтение и спрашивает, не соблаговолит ли она принять его и побеседовать с ним несколько минут после обеда. Миледи примет его сейчас. Он входит, извиняясь за то, что помешал ей ку-

шать, хоть и с ее разрешения. Когда они остаются одни, миледи взмахом руки просит его прекратить эту комедию.

– Что вам угодно, сэр?

– Вы знаете, леди Дедлок, – говорит юрист, садясь в кресло неподалеку от нее и медленно потирая ноги в поношенных штанах – вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз, – я несколько удивлен вашим образом действий.

– Вот как?

– Да, решительно удивлен. Не ожидал я этого. Я считаю, что вы нарушили наш договор и свое обещание. Это меняет наши отношения, леди Дедлок. Должен сказать, что я этого не одобряю.

Перестав потирать ноги, он кладет руки на колени и смотрит на нее. Он, как всегда, невозмутим, он не изменился ни в чем, однако в его обращении сейчас чувствуется какой-то едва заметный оттенок вольности, которого раньше никогда не было; и это не укрылось от внимания женщины.

– Я не совсем понимаю вас.

– Нет, кажется, понимаете. Думаю, что понимаете. Полно, леди Дедлок, полно, не к чему нам теперь фехтовать друг с другом и скрещивать рапиры. Ведь вы любите эту девочку.

– Ну так что же, сэр?

– Вы знаете, – да и я знаю, – что вы уволили ее не по тем причинам, которые указали, но чтобы оградить ее, насколько возможно, от… – простите, что я об этом говорю, но в этом суть дела, – от позора и бесчестия, которые угрожают вам.

– Ну так что же, сэр?

– А вот что, леди Дедлок, – отвечает юрист, положив ногу на ногу и поглаживая колено, – я против этого. Я считаю, что это опасно. Я убежден, что этого не нужно было делать, ибо это вызовет в вашем доме разговоры, подозрения, слухи и тому подобное. Кроме того, этим вы нарушили наше условие. Вы должны были оставаться совершенно такою же, как раньше. Однако вам, очевидно, самой ясно, как ясно мне, что сегодня вечером вы были совсем другой, нежели всегда. Э, да что говорить, леди Дедлок, это ясно всем.

– Если я, сэр, – начинает она, – помня о своей тайне…

Но он перебивает ее:

– Леди Дедлок, в этом суть дела, а когда говоришь о деле по существу, необходима полная ясность. Это уже не ваша тайна. Извините меня. Тут вы ошиблись. Это моя тайна, и я храню ее ради сэра Лестера и его рода. Будь она только вашей тайной, леди Дедлок, мы не вели бы здесь этого разговора.

– Совершенно верно. Если, помня об этой тайне, я по мере сил стараюсь спасти невинную девушку (ведь я не забыла, как вы на нее намекали, когда в Чесни-Уолде рассказывали мою историю гостям), – стараюсь спасти невинную девушку от тяжелых последствий угрожающего мне позора, то я поступаю так, как решила поступить. Ничто в мире и никто в мире не может поколебать мое решение или повлиять на меня.

Она говорит все это непринужденно, отчетливо и внешне

так же бесстрастно, как он. А он педантично обсуждает «суть дела», словно эта женщина – просто бесчувственное орудие, которым он пользуется в своих целях.

– Вот как? – говорит он. – Тогда вы сами видите, леди Дедлок, что доверять вам нельзя. Вы изложили все совершенно ясно, с предельной точностью, и теперь я вижу, что доверять вам нельзя.

– Быть может, вы помните, что я не скрыла своего беспокойства о девушке, когда мы ночью беседовали в Чесни-Уолде?

– Да, – отвечает мистер Талкингхорн, спокойно вставая и становясь спиной к камину. – Да. Я припоминаю, леди Дедлок, что о девушке вы тогда говорили. Но это было раньше, чем мы заключили условие; а ведь и буква и дух нашего условия запрещали вам совершать какие бы то ни было поступки, вытекающие из моего открытия. Это, бесспорно, так. Пощадить девушку? Но какое она имеет значение, какую ценность? Пощадить! Леди Дедлок, под угрозой честь рода. В подобных случаях необходимо идти напролом через… через все, не отклоняясь ни вправо, ни влево, не обращая внимания ни на что, ничего не щадя, все растаптывая на пути…

Она все время смотрела на стол. Теперь она подняла глаза и смотрит на собеседника. Лицо ее стало суровым, а нижняя губа закушена. «Эта женщина меня понимает, – думает мистер Талкингхорн, когда она снова опускает глаза. – Нельзя пощадить ее. Так с какой стати ей щадить других?»

Несколько мгновений они молчат. Леди Дедлок ничего не ела, но два или три раза недрогнувшей рукой наливала себе воды и выпивала ее. Она встает из-за стола, садится в глубокое кресло и, откинувшись назад, полулежит в нем, прикрыв лицо рукой. Ничто в ней не обнаруживает слабости и не возбуждает сострадания. Она задумчива, мрачна, сосредоточенна. «Эта женщина, – думает мистер Талкингхорн, стоя у камина, словно какой-то темный неодушевленный предмет, который заслоняет ей все на свете, – эта женщина достойна изучения».

И он всласть изучает ее на досуге – некоторое время даже не говорит ни слова. Она тоже что-то изучает на досуге. Не такая она женщина, чтобы заговорить первой; не такая, – стой он тут хоть до полуночи, и это столь ясно, что даже он чувствует себя вынужденным прервать молчание.

– Леди Дедлок, в нашей беседе мы еще не дошли до самого неприятного, но в нем суть дела. Наш договор расторгнут. Вы, с вашим умом и силой характера, не можете не понять, что я считаю договор недействительным и буду поступать, как мне заблагорассудится.

– Я к этому готова.

Мистер Талкингхорн наклоняет голову.

– Только по этому поводу мне и пришлось побеспокоить вас, леди Дедлок.

Он уже хочет уйти, но миледи останавливает его вопросом:

– Это и есть предупреждение, которое вы собирались мне сделать? Отвечайте, я хочу понять вас правильно.

– Я хотел сделать вам несколько иное предупреждение, леди Дедлок; то предупреждение я сделал бы, если бы вы соблюли наш договор. Но, в сущности, это одно и то же… в сущности, одно и то же. Только юрист поймет, в чем различие между ними.

– Значит, это последнее предупреждение?

– Именно. Последнее.

– Вы собираетесь сказать сэру Лестеру правду сегодня вечером?

– Вопрос ребром! – говорит мистер Талкингхорн с легкой улыбкой и осторожно покачивает головой, глядя на миледи, которая по-прежнему прикрывает лицо рукою. – Нет, не сегодня.

– Завтра?

– Принимая во внимание все обстоятельства, мне лучше не отвечать на этот вопрос, леди Дедлок. Скажи я вам, что и сам не знаю, когда именно это случится, вы не поверите, и мой ответ ничего вам не даст. Может быть, завтра. Но я, пожалуй, ничего больше не скажу. Вы предупреждены, а я не подаю надежд, которые в силу различных обстоятельств могут не исполниться. Желаю вам доброго вечера.

Он молча направляется к двери, а миледи опускает руку, поворачивает к нему бледное лицо и окликает его в тот миг, когда он собирается открыть дверь:

– Вы еще останетесь здесь? Я слышала, что вы писали в библиотеке. Вы вернетесь туда?

– Только за шляпой. Я иду домой.

Вместо ответа на его прощальный поклон она опускает не голову, а только глаза, и это – какое-то странное, еле заметное движение; а он уходит. Выйдя из комнаты, он вынимает часы, смотрит на них, и ему кажется, что они ошибаются примерно на одну минуту. Лестницу украшают другие, очень роскошные часы, которые, не в пример многим роскошным часам, славятся своей точностью.

– Ну, а *вы* что скажете, – говорит мистер Талкингхорн, взглянув на них. – Вы что скажете?

Если б они сейчас сказали: «Не иди домой!..» Какими знаменитыми часами они сделались бы отныне, если бы из всех отсчитанных ими вечеров они выбрали именно этот вечер, а из всех стариков и юношей, когда-либо стоявших перед ними, выбрали именно этого старика и сказали ему: «Не иди домой!»

Часы бьют три четверти восьмого – звон их отчетлив и чист – и продолжают тикать.

– Ну, вы хуже, чем я думал, – укоризненно бормочет мистер Талкингхорн, обращаясь к своим часам. – Ошибаетесь на две минуты! Этак вас на мой век не хватит.

Какие это были бы замечательные часы, если бы, заплатив добром за зло, они протикали в ответ: «Не иди домой!»

Он выходит на улицу и шагает, заложив руки за спину,

мимо величественных особняков, с которыми связано столько всевозможных тайн, трудностей, закладных, щекотливых дел, хранящихся под его поношенным жилетом из черного атласа. Кирпичи, выбеленные известкой, и те, кажется, делают ему признания. Высокие дымовые трубы поверяют ему семейные тайны. Труб этих видимо-невидимо, но ни одна не шепнет ему: «Не иди домой!»

Среди суеты и движения менее аристократических улиц, под грохот и дребезжанье бесчисленных экипажей, под шум бесчисленных шагов и звуки бесчисленных голосов, освещенный яркими огнями витрин, овеваемый западным ветром, теснимый густой толпой, он идет навстречу своей беспощадной судьбе, и ничто не остановит его словами: «Не иди домой!» Но вот он наконец пришел в свой скучный кабинет, зажег свечи и, оглянувшись кругом, смотрит вверх на римлянина, указующего перстом с потолка, но не видит сегодня ни в руке римлянина, ни в суете окруживших его амуров нового смысла и запоздалого предостережения: «Не входи сюда!»

Ночь лунная; но луна на ущербе и только сейчас встает над необъятными дебрями Лондона. Звезды сияют, как сияли они в Чесни-Уолде над террасой, пристроенной к башенке. «Эта женщина», как он с недавних пор привык называть миледи, смотрит на них. Душа у нее в смятении; на сердце гнет, она страдает, места себе не находит. Ей душно, ей тесно в этих просторных комнатах. Она рвется вон из них на

свободу и наконец решает уйти в сад.

Своевольная и властная всегда, эта женщина никого не удивляет, что бы она ни делала, и сейчас, небрежно накинув на плечи мантилью, она выходит на улицу, освещенную луной. Ее сопровождает Меркурий с ключом от сада. Отперев садовую калитку, он, по приказу миледи, отдает ей ключ, а она говорит, что он может идти домой. Она немного погуляет здесь, пока у нее не пройдет головная боль. Погуляет с час или больше. Провожать ее не надо. Калитка закрывается, щелкнув задвижкой, и Меркурий покидает миледи, которая скрылась из виду в тени деревьев.

Прекрасная ночь, яркая большая луна и мириады звезд. Направляясь в свой винный погреб, мистер Талкингхорн открывает и закрывает двери, которые захлопываются с шумом, и пересекает дворик, похожий на тюремный. Случайно подняв глаза к небу, он думает о том, какая сегодня прекрасная ночь, какая яркая большая луна, какое множество звезд! И такая тихая ночь!

Очень тихая ночь. Когда луна сияет ярким светом, она как бы излучает покой и тишину, умиротворяя даже те людные места, где жизнь кипит. Ночь тиха – тиха не только на пыльных дорогах и на вершинах холмов, с которых открывается вид на спящие поля, чей сон тем глубже, чем дальше они уходят куда-то, сливаясь наконец с каймой деревьев, что выделяются на фоне неба, окутанные призрачным, седым туманом; ночь тиха не только в садах, лесах и у реки, где залив-

ные луга свежи и зелены, где вода, сверкая, струится между уютными островками, плещет, низвергаясь с плотин, бежит среди шелестящих тростников; покой нисходит на реку не только там, где она течет меж тесно сгрудившимися домами и где в ней отражаются мосты, а верфи и корабли превращают ее во что-то черное и страшное, – не только там, где, спасаясь от этого уродства, она убегает в болотистую низину с мрачными баканами, которые торчат как скелеты, выброшенные на берег волнами, – не только там, где она широко растекается в более высоких, просторных местах, изобилующих нивами, ветряными мельницами и колокольнями, и где, наконец, сливается с вечно волнующимся океаном; ночь тиха не только в открытом море, не только на берегу, где случайный прохожий останавливается и смотрит, как шхуна с распростертыми крыльями пересекает лунную дорожку, которая, казалось, была дарована ему одному; нет, покой нисходит даже на дебри Лондона. Его колокольни, башни и купол его огромного собора кажутся все более воздушными; в этом бледном свете его закопченные крыши теряют грубость очертаний; шумы на улицах, приглушенные, умолкают один за другим, а звуки шагов на тротуарах медленно тают вдали. На тех полях, где обитает мистер Талкингхорн, – а судейские пастушки неумолчно играют на свирелях Канцлерского суда, оберегая в овчарнях своих овец, пока всеми правдами и неправдами не остригут их наголо, – на этих полях все шумы растворились в лунной ночи и слились в один

далекий гул, словно весь город превратился в огромное звенящее стекло.

Что это? Кто выстрелил из ружья или пистолета? Где?

Редкие прохожие вздрагивают, останавливаются и оглядываются кругом. Кое-где открываются окна и двери, и люди выходят узнать, что случилось. Выстрел был громкий, он вызвал эхо и гулко раскатился вдали. По уверению какого-то прохожего, от него даже дом затрясся. Он поднял на ноги всех собак в околотке, и они яростно лают. Перепуганные кошки бешено мчатся через улицу. Пока собаки все еще лают и воют, – один пес воет, как сущий демон, – церковные колокола, словно тоже чем-то испуганные, начинают отбивать часы. Как бы вторя им, уличный шум нарастает и становится громким, как крик. Но вскоре все затихает. Прежде чем последние отставшие часы начинают бить десять, водворяется тишина. И вот часы умолкли; прекрасная ночь, яркая большая луна и мириады звезд снова погружаются в покой.

А мистера Талкингхорна все это потревожило? В окнах у него темно, из комнат не доносится ни звука, дверь заперта. Впрочем, *этого* человека трудно вытащить из его раковины, – разве если случится что-то из ряда вон выходящее. Его не слышно, его не видно. Каким же оглушительным должен быть пушечный выстрел, чтобы нарушить невозмутимое спокойствие этого твердокаменного старика?

Много лет настойчивый римлянин указывал перстом с потолка неизвестно на что. Да вряд ли он и сегодня видит что-

то определенное. Просто он, как и всякий римлянин или как всякий британец, одержимый одной навязчивой идеей, раз начав, продолжает указывать. Так, изогнувшись в неестественной позе, он тщетно указывает перстом всю ночь напролет. Лунный свет, сумрак, заря, восход, день. А римлянин все так же настойчиво продолжает указывать перстом, хотя на него никто не обращает внимания.

Но вот наступает утро, и приходят люди, чтобы убрать комнаты. И то ли римлянин наконец указал на что-то новое, чего здесь не было раньше, то ли первый вошедший сошел с ума, но, так или иначе, человек этот, подняв глаза вверх, на протянутую руку, а затем опустив их на что-то, распростертое внизу, вскрикивает и бежит прочь. Остальные, увидев то, что видел первый, тоже вскрикивают и убегают, а на улице поднимается переполох.

Что все это значит? В комнате закрыли ставни, и ее не освещают ничем, и люди, незнакомые с нею, входят тихо, но тяжело ступая; уносят из нее какой-то груз в спальню и кладут его на кровать. Весь день здесь недоуменно шепчутся, усердно обыскивают каждый уголок, тщательно осматривают следы шагов и тщательно отмечают расположение всех вещей в комнате. Все глаза смотрят вверх на римлянина, и все голоса бормочут: «Если б он только мог рассказать, что он видел!»

Римлянин указывает на стол, а на столе стоят бутылка вина (почти полная), рюмка и две свечи, внезапно погасшие

вскоре после того, как их зажгли. Он указывает на пустое кресло и пятно на полу перед креслом – пятно, которое можно почти закрыть ладонью. Все это как раз в том месте, куда указывает его перст. Распаленное воображение способно увидеть во всем этом такие ужасы, от которых могут помешаться все остальные детали росписи – не только толстоногие амуры, но и облака, и цветы, и колонны, – словом, самое тело и душа этой Аллегории и весь ее ум. Все те, что входят в полутемную комнату и оглядываются кругом, непременно устремляют взор вверх, на римлянина, и он кажется им таинственным и грозным, как и всякий свидетель, пусть немой и недвижный.

И в течение многих грядущих лет люди, наверное, будут рассказывать страшные истории о пятне на полу, которое так легко прикрыть, но так трудно смыть; а римлянин, указующий перстом с потолка, будет указывать, пока пыль, сырость и пауки будут его щадить, – указывать с гораздо бóльшим смыслом, чем во времена мистера Талкингхорна, и – со зловещим значением. Ибо время мистера Талкингхорна прошло навсегда; а в ту ночь римлянин указывал на руку убийцы, поднятую на старика, и с вечера до утра беспомощно указывал на него самого, лежащего ничком на полу, с пулей в сердце.

Глава XLIX
Дружба дружбой, служба службой

Мистер Джозеф Бегнет (по прозвицу – Дуб), отставной артиллерист, а ныне музыкант-фаготист, и все его семейство отмечают знаменательную годовщину. Отмечают празднеством и пиром. Празднуют день рождения одного из членов семейства.

Не день рождения самого мистера Бегнета. Нет, эту славную веху в торговле музыкальными инструментами мистер Бегнет отмечает только тем, что особенно крепко целует детей перед завтраком, после обеда выкуривает лишнюю трубочку, а под вечер начинает спрашивать себя, что думает об этом его бедная старенькая матушка – тема, вызывающая бесконечные, но совершенно бесплодные размышления, так как мать его скончалась лет двадцать назад. Иные мужчины лишь редко вспоминают об отце – очевидно, на текущем счету их памяти весь вклад сыновней любви внесен на имя матери. Мистер Бегнет – один из таких мужчин. А достоинства своей «старухи» он ценит так высоко, что слово «самоотречение» кажется ему именем существительным женского рода.

Празднуют и не день рождения кого-нибудь из троих детей. Эти годовщины тоже отмечаются кое-чем, но, как пра-

вило, ограничиваются поздравлениями и пудингом. Правда, в прошлый день рождения юного Вулиджа мистер Бегнет сделал несколько замечаний насчет роста и общего развития сына и затем, после краткого, но глубокого размышления на тему о том, как все меняется с течением времени, учинил сыну экзамен по катехизису и задал ему совершенно точно вопросы первый и второй, а именно: «Как твое имя?» и «Кто дал тебе это имя?», но третьего вспомнить не смог и заменил его вопросом: «А как тебе нравится это имя?», придав ему, однако, значительность столь назидательную и поучительную, что вопрос приобрел совершенно ортодоксальный характер. Впрочем, экзамен по катехизису производился только в этот день рождения и не вошел в традицию на семейных торжествах.

Сегодня день рождения «старухи», и это величайший праздник в году, отмеченный в календаре мистера Бегнета ярко-красной цифрой. Знаменательное событие из года в год празднуется по определенному ритуалу, составленному и утвержденному мистером Бегнетом несколько лет назад. Глубоко убежденный в том, что обед, состоящий из двух кур, – высочайший предел царской роскоши, мистер Бегнет в этот день неизменно выходит из дому спозаранку, чтобы купить парочку кур, а продавец столь же неизменно надувает его, всучив ему двух самых древних старцев петухов, какие выросли и состарились в птичниках Европы. Вернувшись с этими образцами птичьей жесткости, завязанными в чистый

ситцевый платок, синий с белыми разводами (без которого в этот день покупки не обходятся), мистер Бегнет за завтраком, как бы между прочим, спрашивает миссис Бегнет, что именно она желала бы скушать за обедом. Миссис Бегнет, как ни странно столь неизменное совпадение, отвечает, что ей хотелось бы курятины, и мистер Бегнет немедленно вынимает из тайника свой узелок, вызывая всеобщее изумление и восторг. Далее он требует, чтобы «старуха» весь день напролет ничего не делала, но сидела бы сложа руки в своем самом лучшем наряде, а прислуживать ей и заниматься хозяйством будут дети и он сам. Но повар он никудышный, а потому нетрудно догадаться, что весь этот почет не доставляет «старухе» никакого удовольствия; однако она занимает свое почетное положение со всем благодушием, какое только можно вообразить.

В сегодняшний день ее рождения мистер Бегнет уже закончил традиционную подготовку к празднеству. Он купил два экземпляра домашней птицы, до того старых, что их, по пословице, конечно, никак нельзя было «провести на мякине», а уж на вертел они и подавно не годились; он изумил и привел в восторг все семейство неожиданной покупкой; он самолично руководит жареньем петухов, а миссис Бегнет сидит в парадном туалете, как почетная гостья, и ее смуглые сильные руки так и чешутся исправить оплошности, которые она подмечает.

Квебек и Мальта накрывают на стол, а Вулидж, как и подо-

бает, неся службу под командой отца, поворачивает вертел, на котором жарятся петухи. Конечно, юные поварята часто делают промахи, и тогда миссис Бегнет подмигивает им, покачивает головой или морщится, обернувшись в их сторону.

– В половине второго, – объявляет мистер Бегнет. – Минута в минуту. Изжарятся.

Миссис Бегнет с тревогой видит, что вертел остановился и один петух начинает подгорать.

– Ну и обед у тебя будет, старуха! – говорит мистер Бегнет. – Хоть самой королеве на стол.

Миссис Бегнет весело улыбается, показывая белые зубы, но юный Вулидж замечает в ней признаки такого беспокойства, что, побуждаемый сыновней любовью, взглядом спрашивает ее, что случилось? – а сам стоит, уставившись на нее во все глаза, начисто позабыв о петухах и не подавая никаких надежд на то, что к нему вернется память. К счастью, старшая из его сестренок догадывается, почему взволновалась миссис Бегнет, и приводит его в себя увещевательным толчком в бок. Петухи снова начинают вращаться, и миссис Бегнет даже глаза закрывает, – такая большая гора свалилась у нее с плеч.

– Джордж придет к нам, – говорит мистер Бегнет. – В половине пятого. Без опоздания. Сколько уж лет, старуха, Джордж приходит к нам? В этот день?

– Ах, Дуб, Дуб, да, я думаю, столько лет, сколько нужно для того, чтоб молодка стала старухой. Примерно столько,

никак не меньше! – отвечает миссис Бегнет, смеясь и качая головой.

– Старуха, – говорит мистер Бегнет. – Это вздор. Ты все такая же молодая. Если не моложе. Именно моложе. Как всем известно.

Квебек и Мальта кричат, хлопая в ладоши, что Заводила, наверное, принесет маме подарочек, и пытаются угадать, какой именно.

– Знаешь, Дуб, – начинает миссис Бегнет, но, окинув взглядом накрытый стол, правым глазом подмигивает Мальте, чтобы та принесла солонку, и, отрицательно качнув головой, дает понять Квебек, что перечницы ставить не нужно, – знаешь, Дуб, мне кажется, что Джордж опять собирается куда-то сбежать.

– Джордж, – возражает мистер Бегнет, – не способен дезертировать. И покинуть старого товарища. В беде. Не бойся.

– Да нет же, Дуб. Нет. Ты меня не понял. Я не хотела сказать, что покинет. Конечно, не покинет. Но дай ему только развязаться со своими денежными неурядицами, и он наверняка удерет куда-нибудь.

Мистер Бегнет спрашивает: почему?

– Видишь ли, – отвечает ему жена, немного подумав, – сдается мне, что Джордж стал какой-то беспокойный – прямо места себе не находит. Я не говорю, что он теперь не такой обходительный, как был. Конечно, обходительный – это

у него в крови; но он чем-то терзается и как будто выбит из колеи.

– Просто его чересчур замуштровали, – говорит мистер Бегнет. – Один крючкотвор замуштровал. Который самого дьявола из колеи выбьет.

– Это, пожалуй, верно, – соглашается с ним жена, – но все-таки дела не меняет, Дуб.

Разговор на время прекращается, так как мистер Бегнет понимает, что ему необходимо целиком сосредоточиться на приготовлении обеда, которому угрожает некоторая опасность, ибо от природы сухие петухи упорно не желают выделить из себя сок для подливки, а «темный» соус получился безвкусным и белым, как лен. Картошка, варившаяся в кожуре, столь же строптиво крошится на вилках, когда ее чистят, и рассыпается, словно она подвержена землетрясениям. А ноги у петухов оказались гораздо более длинными, чем следует, и обтянутыми жесткой, как чешуя, кожей. Преодолев, в меру своих способностей, все эти недостатки, мистер Бегнет кладет петухов на блюдо, и все усаживаются за стол, причем миссис Бегнет занимает место почетной гостьи – по правую руку от хозяина.

Большое счастье для «старухи», что день ее рождения бывает только раз в году, – ведь случись ей дважды отведать подобной «курятины», с ней бы худо было. Все тонкие связки и сухожилия, какими только обладает домашняя птица, у этих двух экземпляров уподобились гитарным струнам. Ко-

нечности же их глубоко пустили корни в тело, как старые деревья пускают корни в землю. В частности, ноги у петухов такие жесткие, что кажется, будто птицы эти посвятили большую часть своей долгой и многотрудной жизни пешеходному спорту и состязаниям в ходьбе. Но мистер Бегнет, не замечая этих маленьких недостатков, ревностно потчует миссис Бегнет, упрашивая ее скушать огромную порцию лакомства, лежащую на ее тарелке; а так как добрая «старуха» ни за что на свете не огорчит его хоть на миг ни в какой день года, а в этот – тем менее, то пищеварению ее угрожает страшная опасность. Как ухитряется юный Вулидж безнаказанно обгладывать и, не будучи потомком страуса, переваривать ноги этих петухов, его встревоженная матушка понять не в силах.

Но после окончания пира «старуха» подвергается новому испытанию: ей приходится сидеть в почетном бездействии и только смотреть, как ее дочки убирают комнату, выметают золу из камина, моют и чистят столовую и кухонную посуду на заднем дворе. Обе молодые девицы, подоткнув юбочки в подражание матери, носятся туда-сюда, скользя, как на коньках, в своих высоких деревянных сандалиях, а их бурный восторг и энергия подают самые радужные надежды на будущее, но внушают некоторые опасения в настоящем. Разговоры становятся бессвязными, посуда и оловянные кружки громко стучат и гремят, метлы так и летают по полу, вода льется и разливается, и все это – без удержу; что касает-

ся омовения самих молодых девиц, то оно слишком волнующее зрелище для миссис Бегнет, чтобы она могла смотреть на него со спокойствием, подобающим ее положению. Наконец различного рода очистительные процессы победоносно заканчиваются; Квебек и Мальта появляются в свежих нарядах, улыбающиеся и обсохшие; трубки, табак и бутылки уже на столе, а «старуха», как всегда в этот день приятного семейного торжества, впервые начинает наслаждаться душевным покоем.

Когда мистер Бегнет садится на свое обычное место, стрелки часов приближаются к половине пятого; а когда они отмечают ровно половину, мистер Бегнет объявляет:

– Джордж! Точно. По-военному.

Действительно, это пришел Джордж, и он горячо поздравляет «старуху» (которую целует по случаю торжественного дня), детей и мистера Бегнета.

– Всех поздравляю! – говорит мистер Джордж.

– Джордж, старый друг! – восклицает миссис Бегнет, глядя на него с любопытством. – Что с вами стряслось?

– Что со мной стряслось?

– Ну да! Вы какой-то бледный, Джордж, – бледней, чем всегда, да и вид у вас совсем расстроенный. Правда, Дуб?

– Джордж, – говорит мистер Бегнет. – Скажи старухе. Что случилось?

– Я не знал, что я бледный, – говорит кавалерист, проводя рукой по лбу, – не знал и что лицо у меня расстроенное; если

так, извините. Но сказать вам правду, тот мальчик, которого поместили у меня, умер вчера днем, и это меня очень огорчило, вроде как обухом по голове ударило.

– Бедняжка! – отзывается миссис Бегнет с материнским состраданием. – Неужели умер? Ах ты, господи!

– Я про это не хотел говорить – неподходящий предмет для разговора в день рождения, но ведь я не успел присесть, как вы уже выпытали у меня эту новость. А не то я бы сразу развеселился, – объясняет кавалерист, заставляя себя говорить более оживленным тоном, – но такая уж вы, миссис Бегнет, – все-то у вас мигом.

– Правильно, – соглашается мистер Бегнет. – Старуха. У нее и впрямь все мигом… Чисто порох.

– И больше того – она виновница нынешнего торжества, так что мы должны ее занимать! – восклицает мистер Джордж. – Вот поглядите, какую брошечку я принес. Вещица, конечно, пустяковая, так просто – на память. А больше в ней ничего хорошего нет, миссис Бегнет.

Мистер Джордж вынимает свой подарок, и младшие члены семейства встречают его восторженными прыжками и хлопаньем в ладоши, а мистер Бегнет благоговейным восхищением.

– Старуха! – говорит мистер Бегнет. – Скажи ему мое мнение о ней.

– Чудо как хороша, Джордж! – восклицает миссис Бегнет. – Такой красивой вещи я в жизни не видывала!

– Прекрасно, – соглашается мистер Бегнет. – Мое мнение!

– Она такая хорошенькая, Джордж, – говорит миссис Бегнет, вытянув руку, в которой держит подарок, и поворачивая брошку во все стороны, – что для меня она слишком уж красива!

– Плохо! – возражает мистер Бегнет. – Не мое мнение!

– Но так ли, этак ли, спасибо вам сто тысяч раз, старый друг, – говорит миссис Бегнет, протянув руку Джорджу, и глаза ее блестят от удовольствия, – и хоть я иной раз и обходилась с вами как сварливая солдатка, Джордж, на самом-то деле мы с вами такие закадычные друзья, каких во всем свете не сыщешь. А теперь, если хотите, Джордж, сами приколите ее на счастье.

Дети теснятся вокруг, желая лучше видеть, как Джордж прикалывает к лифу миссис Бегнет свой подарок, а мистер Бегнет смотрит поверх головы Вулиджа, чтобы тоже увидеть это, – смотрит с таким деревянно-степенным и в то же время ребячески-милым интересом, что миссис Бегнет не может удержаться от легкого смеха и говорит:

– Ах, Дуб, Дуб, вот уж бесценный старикан!

Но кавалеристу не удается приколоть брошь. Рука его дрожит, он волнуется и роняет свой подарок.

– Ну и ну! – говорит он, подхватив его на лету и озираясь по сторонам. – До того расстроился, что не могу справиться с таким пустяком!

Миссис Бегнет, придя к заключению, что для подобно-

го случая нет лучшего лекарства, чем трубка, мигом сама прикалывает брошку и, усадив кавалериста в его привычном уютном уголке, приносит мужчинам трубки.

– Если и трубка вас не подбодрит, Джордж, – говорит она, – посмотрите разок-другой вот сюда – на свой подарочек, а уж оба-то средства вместе обязательно подействуют.

– Да вас и одной хватит, чтобы меня подбодрить, – отзывается Джордж, – я это прекрасно знаю, миссис Бегнет… Ну, теперь расскажу вам, почему да отчего у меня столько огорчений накопилось. Возьмите хоть этого несчастного мальчишку. Невесело было видеть, как он умирает, зная, что ничем ему не поможешь.

– Что вы говорите, Джордж? Вы же помогли ему. Вы его приютили.

– Да, этим я ему помог, но ведь это пустяк. Я хочу сказать, миссис Бегнет, что он умирал, так ничему и не научившись, – только и умел, что отличать правую руку от левой. Ну, а тут уж помогать было поздно.

– Ах, бедняжка! – восклицает миссис Бегнет.

– И вот, – продолжает кавалерист, все еще не зажигая трубки и проводя тяжелой рукой по волосам, – тут невольно приходит на память Гридли. С ним тоже вышло плохо, хоть и по-другому. Так что оба они сливаются в твоих мыслях с бессердечным старым негодяем, что преследовал их обоих. А как подумаешь об этом ржавом карабине, что торчит в своем углу, такой жесткий, бесчувственный, равнодушный

ко всему на свете, так прямо дрожь пробирает и кровь горит в жилах, уверяю вас.

– Мой вам совет, – говорит миссис Бегнет, – зажгите-ка вы трубочку, и пусть у вас горит она, а не кровь. Так-то лучше будет – и спокойней, и уютней, да и для здоровья полезней.

– Правильно, – соглашается кавалерист, – так я и сделаю.

Да, так он и делает, правда не утратив своей негодующей серьезности, которая производит сильное впечатление на юных Бегнетов и даже побуждает мистера Бегнета ненадолго отложить церемонию тоста за здоровье миссис Бегнет – тоста, который Бегнет в такие дни всегда провозглашает сам, произнося речь, образцовую по сжатости. Но молодые девицы уже составили напиток, который мистер Бегнет привык называть «смесью», а трубка Джорджа уже рдеет, поэтому мистер Бегнет наконец считает своим долгом произнести главный тост праздничного вечера. Он обращается к собравшемуся обществу в следующих выражениях:

– Джордж. Вулидж. Квебек, Мальта. Сегодня день ее рождения. Сделайте хоть целый дневной переход. Другой такой не найдете. Пьем за ее здоровье!

Все с энтузиазмом выпили, и миссис Бегнет произносит благодарственную речь, еще более краткую. Этот перл красноречия сводится к четырем словам: «А я за ваше!», причем «старуха» сопровождает его кивком в сторону каждого из присутствующих поочередно и умеренным глотком «смеси». Но на сей раз она заключает церемонию неожиданным

восклицанием: «Кто-то пришел!»

Кто-то действительно пришел, – к великому удивлению маленького общества, – и уже заглянул в дверь. Это человек с острыми глазами, живой, проницательный, и он сразу ловит все устремленные на него взгляды, каждый в отдельности и все вместе, с такой ловкостью, которая обличает в нем незаурядного человека.

– Джордж, – говорит он с легким поклоном, – как вы себя чувствуете?

– Э, да это Баккет! – восклицает мистер Джордж.

– Он самый, – отзывается Баккет, войдя и закрыв за собой дверь. – А я, знаете ли, проходил тут по улице и случайно остановился взглянуть на музыкальные инструменты в витрине, – одному моему приятелю нужна подержанная виолончель с хорошим звуком – гляжу, целая компания веселится, и показалось мне, будто в углу сидите вы; так и есть – не ошибся. Ну, Джордж, как делишки? Идут довольно гладко? А ваши, тетушка? А ваши, хозяин? Бог мой! – восклицает мистер Баккет, раскрыв объятия, – да тут и деточки имеются! Только подсуньте мне малыша, и можете сделать со мной все, что угодно. Ну-ка, поцелуйте-ка меня, крошечки вы мои! Незачем и спрашивать, кто *ваши* родители. В жизни не видывал такого сходства!

Завоевав всеобщее расположение, мистер Баккет садится рядом с мистером Джорджем и усаживает к себе на колени Квебек и Мальту.

– Ах вы мои прелестные милашки, – говорит мистер Баккет, – поцелуйте-ка меня еще разок; а больше мне ничего не нужно. Господь с вами, до чего ж у вас здоровый вид! А по скольку лет вашим девочкам, тетушка? Одной восемь, а другой десять, я так думаю.

– Вы почти угадали, сэр, – говорит миссис Бегнет.

– Я всегда угадываю, – отвечает мистер Баккет, – потому что до смерти люблю ребят. У одного моего приятеля девятнадцать человек детей, тетушка, и все от одной матери, а сама она до сих пор свежая и румяная, как заря. Не такая красавица, как вы, но вроде вас, могу поклясться! А это как называется, душечка? – продолжает мистер Баккет, ущипнув Мальту за щечку. – Это персик, вот что это такое. Ну что за девочка! А как насчет твоего папы? Как думаешь, милочка, удастся папе подыскать подержанную виолончель с хорошим звуком для приятеля мистера Баккета? Моя фамилия Баккет. Смешная, правда?

Эти любезные речи окончательно завоевывают сердца всего семейства. Миссис Бегнет, позабыв, какой сегодня день, своими руками набивает трубку, потом наливает стакан мистеру Баккету и радушно потчует его. Такого приятного человека она с радостью приняла бы когда угодно и говорит ему, что особенно рада видеть его сегодня вечером, потому что он друг Джорджа, а Джордж нынче прямо сам не свой – чем-то расстроен.

– Сам не свой? Расстроен? – восклицает мистер Баккет. –

Что вы говорите! А в чем дело, Джордж? Ни за что не поверю, что вы расстроены. С чего бы вам расстраиваться? Впрочем, может, вас что-нибудь волнует, а?

– Ничего особенного, – отвечает Джордж.

– И *я* думаю, что нет, – поддакивает мистер Баккет. – Ну, что вас может волновать, а? Разве этих малюточек что-нибудь волнует, а? Понятно, нет; зато они сами скоро будут волновать каких-нибудь молодых людей и уж, конечно, приведут их в расстройство чувств. Я не очень-то хороший пророк, но это я вам предсказываю, тетушка.

Миссис Бегнет, совершенно плененная, выражает надежду, что у мистера Баккета есть дети.

– В том-то и горе, тетушка! – говорит мистер Баккет. – Вы не поверите: нет у меня детей. Жена да жилица – вот и вся моя семья. Миссис Баккет не меньше меня любит ребят и так же хотела бы иметь своих, но… нету. Так вот все и получается в жизни. Мирские блага распределены не поровну, но роптать не надо. Какой у вас уютный дворик, тетушка! Из этого дворика есть выход, а?

Из дворика выхода нет.

– Неужели нет? – переспрашивает мистер Баккет. – А я думал, что есть. Очень мне нравится этот дворик – в жизни не видывал такого. Вы мне позволите его осмотреть? Благодарю вас. Нет, я вижу, выхода нет. Но какой это благоустроенный дворик!

Обежав острым взглядом весь двор, мистер Баккет воз-

вращается, садится в кресло рядом со своим другом, мистером Джорджем, и ласково хлопает мистера Джорджа по плечу.

– Ну, а теперь как настроение, Джордж?

– Теперь хорошее, – отвечает кавалерист.

– Вот это в вашем духе! – одобряет мистер Баккет. – Да и с чего ему быть плохим? Мужчина с вашей прекрасной фигурой и здоровьем не имеет права расстраиваться… Скажите вы, тетушка, ну можно ли расстраиваться, когда у тебя такая широкая грудь?.. И ведь вас, конечно, ничто не волнует, Джордж; да и что может вас волновать?

Что-то уж очень настойчиво твердя одно и то же, несмотря на свои выдающиеся и многоразличные способности по части светского разговора, мистер Баккет два-три раза повторяет последнюю фразу, обращаясь к трубке, которую зажигает, как бы прислушиваясь к чему-то, с особенным, ему одному свойственным выражением лица. Но вскоре солнце его общительности приходит в себя после своего краткого затмения и вновь начинает сиять.

– А это ваш братец, душечки? – говорит мистер Баккет, обращаясь к Мальте и Квебек за информацией насчет юного Вулиджа. – И очень милый братец… конечно, только единокровный брат. Он уже в таком возрасте, что не может быть вашим сыном, тетушка.

– Во всяком случае, я могу удостоверить, что мать его не какая-то другая женщина, – со смехом возражает миссис

Бегнет.

– Да ну? Поразительно! А впрочем, он и вправду похож на вас – тут уж ничего не скажешь. Бог мой! Да он прямо вылитая мать! А вот лоб, знаете ли, – тут узнаешь отца!

Зажмурив один глаз, мистер Баккет переводит глаза с отца на сына, а мистер Бегнет курит с невозмутимым удовлетворением.

Миссис Бегнет пользуется удобным случаем сообщить гостю, что мальчик – крестник Джорджа.

– Крестник Джорджа? Да что вы! – подхватывает мистер Баккет с большим чувством. – Надо мне еще раз пожать руку крестнику Джорджа. Крестный и крестник делают честь один другому. А кем он у вас собирается быть, тетушка? У него есть способности к игре на каком-нибудь музыкальном инструменте?

– Играет на флейте. Прекрасно, – внезапно вмешивается мистер Бегнет.

– Вы не поверите, хозяин, когда я был мальчишкой, я сам играл на флейте, – говорит мистер Баккет, пораженный этим совпадением. – Не по-ученому, как наверняка играет он, а просто по слуху. Подумать только! «Британские гренадеры» – от этой песни у нас, англичан, кровь кипит! А нука, сыграй нам «Британских гренадеров», юноша!

Ничто не может сильнее польстить маленькому кружку, чем такая просьба, обращенная к юному Вулиджу, который немедленно достает свою флейту и начинает играть зажига-

тельную мелодию, в то время как мистер Баккет, необычайно оживившись, отбивает такт и поет припев: «Британские грена-а-а-адеры!», ни разу его не пропустив. Короче говоря, он оказался столь музыкальным человеком, что мистер Бегнет даже вынимает трубку изо рта и выражает убеждение, что их новый знакомый – певец. Мистер Баккет, не отрицая этого обвинения, сознается, что когда-то действительно немножко пел, стремясь излить чувства, волновавшие его грудь, но отнюдь не имея самонадеянного намерения услаждать своих друзей, и все это он говорит так скромно, что его тут же просят спеть. Не желая отстать от других участников вечеринки, он поет им: «Поверьте, когда б эти милые юные чары». Эту песню, как он объясняет миссис Бегнет, он всегда считал своей самой мощной союзницей, так как она помогла ему завоевать сердце миссис Баккет в бытность ее девицей и уговорить ее пойти под венец, или, как выражается мистер Баккет, «прийти к финишу».

Незнакомец оказался таким приятным и компанейским малым, так быстро сделался душой общества, что мистер Джордж, не выразивший большого удовольствия при встрече с ним, невольно начинает им гордиться. Он так любезен, у него столько разнообразных талантов, с ним чувствуешь себя так непринужденно, что положительно стоит познакомить его со своими друзьями. Выкурив еще одну трубку, мистер Бегнет уже так дорожит этим знакомством, что просит мистера Баккета оказать ему честь пожаловать к ним на следу-

ющий день рождения «старухи». А мистер Баккет испытывает величайшее уважение к семейству Бегнетов, особенно после того, как узнает, что сегодня празднуется день рождения хозяйки. Он пьет за здоровье миссис Бегнет с почти восторженной пылкостью; обещает прийти еще раз ровно через год, выражая более чем растроганную благодарность за приглашение; записывает для памяти знаменательную дату в свою большую черную записную книжку, стянутую ремешком, и выражает надежду, что миссис Баккет и миссис Бегнет еще до этого дня так подружатся, что сделаются как бы родными сестрами. Чего стоит общественная деятельность, говорит он, если у человека нет личных привязанностей? Правда, он сам, по мере своих скромных сил, общественный деятель, но не в этой области находит он счастье. Нет, счастье надо искать в благословенном кругу семьи.

Все сегодня складывается так, что мистер Баккет, естественно, не должен забывать о друге, которому обязан столь многообещающим знакомством. И он не забывает. Он все время рядом с ним. О чем бы ни заходил разговор, он не сводит с друга нежного взора. Он решает посидеть еще немного, чтобы идти домой вместе с ним. Он интересуется даже сапогами своего друга и внимательно их рассматривает, пока мистер Джордж, положив ногу на ногу, курит у камина.

Наконец мистер Джордж встает, собираясь уходить. В тот же миг встает и мистер Баккет, движимый тайным тяготением к обществу друга. Он в последний раз восторгается

детьми и вспоминает о поручении своего приятеля, который сейчас в отъезде.

– Так как же насчет подержанной виолончели, хозяин… можете вы подыскать мне что-нибудь в этом роде?

– Да хоть десяток, – отвечает мистер Бегнет.

– Очень вам признателен, – говорит мистер Баккет, крепко пожимая ему руку. – «Друга познаешь в нужде» – вот вы и есть такой друг. С хорошим звуком, заметьте! Мой приятель настоящий музыкант. Черт его побери, – пилит Моцарта и Генделя и прочих знаменитостей, как великий мастер своего дела. И вам ни к чему, – добавляет мистер Баккет задушевным и доверительным тоном, – вам ни к чему скромничать, хозяин, – назначать слишком дешевую цену. Я не хочу, конечно, чтобы мой приятель переплачивал, но вы должны получить приличную комиссию и вознаграждение за потерю времени. Это только справедливо. Каждый человек должен жить, и пусть живет.

Мистер Бегнет делает движение головой в сторону «старухи», как бы желая сказать, что новый знакомый прямо драгоценная находка.

– А что, если мне заглянуть к вам завтра, ну хоть, скажем, в половине одиннадцатого? Вы уже сможете назвать мне цены нескольких виолончелей с хорошим звуком? – осведомляется мистер Баккет.

Чего легче! Мистер и миссис Бегнет берутся узнать нужные сведения и даже предлагают друг другу собрать в сво-

ей лавке небольшую коллекцию виолончелей, чтобы покупатель мог с ними ознакомиться.

– Благодарю вас, – говорит мистер Баккет, – благодарю вас. До свидания, тетушка. До свидания, хозяин! До свидания, душечки. Очень вам признателен за один из приятнейших вечеров, какие я только проводил в жизни!

Нет, это они очень признательны ему за удовольствие, полученное в его обществе; так что и гость и хозяева расстаются, обменявшись самыми добрыми пожеланиями.

– Ну, Джордж, старый друг, – говорит мистер Баккет, подхватив кавалериста под руку у выхода из лавки, – пойдемте!

Они идут по уличке, а Бегнеты ненадолго задерживаются на пороге, глядя им вслед, и миссис Бегнет говорит достойному Дубу, что мистер Баккет «так и льнет к Джорджу – должно быть, души в нем не чает».

Соседние улицы узки и плохо вымощены; шагать по ним под руку не совсем удобно, и мистер Джордж вскоре предлагает спутнику идти порознь. Но мистер Баккет не в силах расстаться с другом и отвечает:

– Подождите минутку, Джордж. Дайте мне сперва поговорить с вами.

И он немедленно тащит Джорджа в какую-то харчевню, ведет его в отдельную комнату, закрывает дверь и, став к ней спиной, смотрит Джорджу прямо в лицо.

– Слушайте, Джордж, – начинает мистер Баккет, – дружба дружбой, а служба службой. Я всегда стараюсь по мере сил,

чтобы они не сталкивались одна с другой. Нынче вечером я пытался сделать все по-хорошему; судите сами, удалось мне это или нет. Можете считать себя под арестом, Джордж.

– Под арестом? За что? – спрашивает кавалерист, как громом пораженный.

– Слушайте, Джордж, – говорит мистер Баккет, стараясь внушить кавалеристу разумное отношение ко всему происходящему, и для большей убедительности тычет в его сторону толстым указательным пальцем, – как вам отлично известно, долг – это одно, а дружеская болтовня – совершенно другое. Мой долг официально предупредить вас, что «всякое суждение, которое вы произнесете, может быть обращено против вас». Поэтому, Джордж, будьте осторожней, не говорите лишнего. Вы случайно не слышали об одном убийстве?

– О каком убийстве?

– Слушайте, Джордж, – говорит мистер Баккет, назидательно двигая указательным пальцем, – запомните, что я вам сказал. Я вас ни о чем не расспрашиваю. Сегодня вечером вы были расстроены. Так вот, вы, случайно, не слышали об одном убийстве?

– Нет. А где произошло убийство?

– Слушайте, Джордж, – говорит мистер Баккет, – смотрите, не выдайте сами себя. Сейчас скажу, почему я за вами пришел. На Линкольновых полях произошло убийство… убили одного джентльмена, некоего Талкингхорна. Застре-

лили вчера вечером. Потому-то я и пришел за вами.

Кавалерист опускается в кресло, которое стоит сзади него, и на лбу его выступают крупные капли пота, а по лицу разливается мертвенная бледность.

– Баккет! Полно! Быть не может, чтобы мистера Талкингхорна убили и вы заподозрили *меня*!

– Джордж, – отвечает мистер Баккет, беспрерывно двигая указательным пальцем, – это не только может быть, но так оно и есть. Преступление было совершено вчера в десять часов вечера. Вы, конечно, знаете, где вы были вчера в десять часов вечера, и, надо думать, сможете представить доказательства – где именно.

– Вчера вечером! Вчера вечером! – повторяет кавалерист в раздумье. И вдруг его осеняет: – Господи, да ведь вчера вечером я был там!

– Я это знал, Джордж, – отзывается мистер Баккет очень непринужденно. – Я это знал. А также – что вы там бывали частенько. Люди видели, как вы околачивались в конторе Талкингхорна, не раз слыхали, как вы препирались с ним, и может быть – наверное я этого не говорю, заметьте себе, – но, может быть, слышали, как он вас называл злонамеренным, преступным, опасным субъектом.

Кавалерист открывает рот, словно хочет подтвердить все это, но не в силах вымолвить ни слова.

– Слушайте, Джордж, – продолжает мистер Баккет, положив шляпу на стол с таким деловым видом, словно он не

сыщик, арестовавший заподозренного, а какой-нибудь драпировщик, который пришел к заказчику, – я хочу, да и весь вечер хотел, – чтобы все у нас с вами обошлось по-хорошему. Скажу вам откровенно, что сэр Лестер Дедлок, баронет, обещал награду в сто гиней за поимку убийцы. Мы с вами всегда были в хороших отношениях, но по долгу службы я обязан вас арестовать, и если кто-то должен заработать эти сто гиней, не все ли равно, я их заработаю или кто другой. Итак, вы, надо думать, поняли, что я должен вас забрать, и будь я проклят, если не заберу. Придется мне звать на подмогу или обойдемся без этого?

Мистер Джордж уже пришел в себя и стал навытяжку, как солдат.

– Пойдемте, – говорит он. – Я готов.

– Джордж, – продолжает мистер Баккет, – подождите минутку! – И все с тем же деловым видом, словно сам он – драпировщик, а кавалерист – окно, на которое нужно повесить драпировки, вытаскивает из кармана наручники. – Обвинение тяжкое, Джордж; я обязан их надеть.

Кавалерист, вспыхнув от гнева, колеблется, но лишь мгновение, и, стиснув руки, протягивает их Баккету со словами:

– Ладно! Надевайте!

Мистер Баккет вмиг надевает на них наручники.

– Ну как? Удобно? Если нет, так и скажите, – я хочу, чтоб у нас с вами все обошлось по-хорошему, насколько позволяет долг службы; а то у меня в кармане есть другая пара.

Это замечание он делает с видом очень почтенного ремесленника, который стремится выполнить заказ аккуратно и вполне удовлетворить заказчика.

– Годятся? Прекрасно! Теперь слушайте, Джордж! – Он шарит в углу, достает плащ и закутывает в него кавалериста. – Отправляясь за вами, я позаботился о вашем самолюбии и прихватил с собой вот это. Чудесно! Кто теперь заметит, что на вас наручники?

– Один я, – отвечает кавалерист. – Но, раз так, окажите мне еще одну услугу – надвиньте-ка мне шляпу на глаза.

– Вздор какой! Неужели вы это серьезно? А стоит ли? Право, не стоит.

– Не могу я смотреть в лицо всем встречным, когда у меня эти штуки на руках, – настаивает мистер Джордж. – Ради бога, надвиньте мне шляпу на глаза.

Мистер Баккет выполняет эту настоятельную просьбу, сам надевает шляпу и выводит свою добычу на улицу; кавалерист идет таким же ровным шагом, как и всегда, но голова его сидит на плечах не так прямо, как раньше, и когда нужно перейти улицу или завернуть за угол, мистер Баккет направляет его, подталкивая локтем.

Глава L
Повесть Эстер

Вернувшись из Дила, я нашла у себя записку от Кедди Джеллиби (так мы все еще называли ее), в которой говорилось, что здоровье Кедди, пошатнувшееся за последнее время, теперь ухудшилось, и она будет невыразимо рада, если я приеду повидаться с нею. Записка была коротенькая – всего в несколько строчек, написанных в постели, с которой больная не могла встать, – вложенная в письмо ко мне от мужа Кедди, очень встревоженного и просившего меня исполнить ее просьбу. Теперь Кедди была матерью, а я – крестной бедненькой малютки, крохотной девочки со старческим личиком, до того маленьким, что оно почти скрывалось в оборках чепчика, и худенькими ручонками с длинными пальчиками, вечно сжатыми в кулачки под подбородком. Девочка лежала так целый день, широко раскрыв глазенки, похожие на блестящие крапинки, и словно недоумевая (казалось мне), почему она родилась столь крошечной и слабенькой. Когда ее перекладывали, она плакала; если же ее не трогали, вела себя так терпеливо, словно хотела только одного – спокойно лежать и думать. На личике у нее выделялись странные темные жилки, а под глазами – странные темные пятнышки, смутно напоминавшие мне о «чернильных временах» в жиз-

ни бедной Кедди; в общем, девочка производила очень жалкое впечатление на тех, кто к ней еще не привык.

Но сама Кедди к ней, конечно, привыкла и лучшей дочки не желала. Она забывала о своих недомоганиях, строя всевозможные планы и мечтая о том, как будет воспитывать свою крошку Эстер, да как крошка Эстер выйдет замуж, и даже как она, Кедди, состарившись, будет бабушкой крошечных Эстер крошки Эстер, и в этом так трогательно сказывалась ее любовь к ребенку, которым она так гордилась, что я поддалась бы искушению рассказать о ее мечтах подробно, если бы не вспомнила вовремя, что уже сильно уклонилась в сторону.

Теперь вернусь к записке. Отношение Кедди ко мне носило какой-то суеверный характер – оно возникло в ту давнюю ночь, когда она спала, положив голову ко мне на колени, и становилось все более суеверным. Она почти верила, – сказать правду, даже твердо верила, – что всякий раз, как мы встречаемся, я приношу ей счастье. Конечно, все это были выдумки любящей подруги, и мне почти стыдно о них упоминать, но доля правды в них могла оказаться теперь, когда Кедди заболела. Поэтому я, с согласия опекуна, поспешила уехать в Лондон, а там и она, и Принц встретили меня так радушно, что и передать нельзя.

На другой день я снова отправилась посидеть с больной, отправилась и на следующий. Поездки эти ничуть меня не утомляли – надо было только встать пораньше, проверить

счета и до отъезда распорядиться по хозяйству. Но после того как я съездила в город три раза, опекун сказал мне, когда я вечером вернулась домой:

– Нет, Хозяюшка милая, нет, этак не годится. Вода точит и камень, а эти частые поездки могут подточить здоровье нашей Хлопотуньи. Переедем-ка все в Лондон и поживем на своей прежней квартире.

– Только не делайте этого ради меня, дорогой опекун, – сказала я, – ведь я ничуть не утомляюсь.

И это была истинная правда. Я только радовалась, что кому-то нужна.

– Ну, так ради меня, – не сдавался опекун, – или ради Ады, или ради нас обоих. Позвольте, завтра, кажется, чей-то день рождения?

– Именно, – подтвердила я, целуя свою дорогую девочку, которой на другой день должен был исполниться двадцать один год.

– Вот видите; а ведь это большое событие, – заметил опекун полушутливо, полусерьезно, – и по этому случаю моей прелестной кузине придется заняться разными необходимыми формальностями в связи с ее совершеннолетием, выходит, что всем нам будет удобнее пожить в Лондоне. Значит, в Лондон мы и уедем. Решено. Теперь поговорим о другом: в каком состоянии вы оставили Кедди?

– В очень плохом, опекун. Боюсь, что ее здоровье и силы восстановятся не скоро.

– То есть как – «не скоро»? – озабоченно спросил опекун.

– Пожалуй, она проболеет несколько недель, как это ни грустно.

– Так! – Он принялся ходить по комнате, засунув руки в карманы и глубоко задумавшись. – Ну, а что вы скажете насчет ее доктора, милая моя? Он хороший врач?

Мне пришлось сознаться, что я не могу сказать о нем ничего дурного, хотя мы с Принцем не дальше как сегодня сошлись на том, что не худо бы проверить диагноз этого доктора, пригласив на консилиум другого врача.

– Знаете что, – быстро сказал опекун, – надо пригласить Вудкорта.

Мысль о нем не приходила мне в голову, и слова опекуна застали меня врасплох. На мгновение все, что связывалось у меня с мистером Вудкортом, как будто вернулось и привело меня в смятение.

– Вы ничего не имеете против него, Хлопотунья?

– Против него, опекун? Конечно, нет.

– И вы не думаете, что больная будет против?

Я не только не думала этого, но даже была убеждена, что она будет верить ему и он ей очень понравится. И я сказала, что она знакома с ним, так как они часто встречались, когда он так участливо лечил мисс Флайт.

– Прекрасно! – отозвался опекун. – Сегодня он уже был у нас, дорогая моя, и завтра я поговорю с ним об этом.

Во время этого короткого разговора я чувствовала, – не

знаю почему, ведь Ада молчала и мы даже не смотрели друг на друга, – чувствовала, что моя дорогая девочка живо помнит, как весело она обняла меня за талию, когда не кто иная, как наша Кедди принесла мне маленький прощальный подарок. И я поняла – необходимо сказать Аде и Кедди тоже о том, что мне предстоит сделаться хозяйкой Холодного дома, а если я стану все откладывать да откладывать, я буду в своих же глазах менее достойной любви хозяина этого дома. И вот, когда мы поднялись наверх и подождали, пока часы пробьют полночь, чтобы я первая смогла прижать к сердцу и поздравить свою любимую подругу с днем ее рождения, я стала говорить ей, как некогда говорила самой себе, о том, что ее кузен Джон добр и благороден и что меня ждет счастливая жизнь. Никогда еще, кажется, за все годы нашей дружбы моя дорогая девочка не была со мной так нежна, как в ту ночь. А я была так рада этому, так утешалась, сознавая, что правильно поступила, преодолев свою совсем ненужную скрытность, что была в десять раз счастливее прежнего. Всего несколько часов назад я не думала, что скрываю свою помолвку умышленно, но теперь, когда высказалась, почувствовала, что ясней понимаю, почему молчала так долго.

На другой день мы переехали в Лондон. Наша прежняя квартира была не занята, и мы в каких-нибудь полчаса так удобно устроились в ней, словно никогда из нее не уезжали. Мистер Вудкорт обедал у нас по случаю дня рождения моей милой девочки, и мы очень приятно провели вечер, хо-

тя, конечно, ощущали большую пустоту, ибо в этот торжественный день с нами не было Ричарда. А потом я несколько недель, – помнится, восемь или девять, – целыми днями сидела у Кедди; вот почему я все это время видела Аду очень мало, – никогда еще мы не виделись с нею так мало с тех пор, как познакомились, если не считать периода моей болезни. Правда, она часто приходила к Кедди, но там обе мы должны были развлекать и ободрять больную и потому не могли говорить по душам, как бывало. Если я возвращалась домой ночевать, мы с Адой не разлучались весь вечер; но Кедди плохо спала от боли, и я нередко оставалась у нее на всю ночь, чтобы ухаживать за нею.

Что за чудесная женщина была эта Кедди, как она любила мужа и свою маленькую жалкую крошку; а ведь ей надо было заботиться и обо всем доме! Самоотверженная, безропотная, она так горячо желала поскорей выздороветь ради своих близких, так боялась причинить кому-нибудь беспокойство, так была встревожена тем, что муж ее лишился своей помощницы, а об удобствах мистера Тарвидропа необходимо заботиться по-прежнему… словом, я только теперь узнала, до чего она хорошая. И как странно было думать, что она недвижно лежит день за днем, бледная и беспомощная, в том доме, где танцы – самое главное в жизни, где подмастерья с раннего утра упражняются под аккомпанемент «киски» в бальном зале, а неопрятный мальчуган всю вторую половину дня вальсирует один в пустой кухне.

По просьбе Кедди я взяла на себя верховное руководство и наблюдение за ее комнатками, вычистила их, убрала, передвинула ее кровать и другие вещи в светлый, веселый уголок, не такой душный, как тот, который она занимала раньше; и с тех пор мы завели такой обычай: сначала приводили в полный порядок свой туалет, потом я клала ей на руки мою малюсенькую тезку, а сама усаживалась рядом поболтать, поработать или почитать вслух. В один из таких спокойных часов я сказала Кедди про перемены в Холодном доме.

Кроме Ады, нас навещали и другие посетители. В первую очередь – Принц, который забегал к нам в перерывах между занятиями, осторожно входил, стараясь не шуметь, присаживался и с любящей тревогой глядел на Кедди и свою маленькую дочку. Хорошо ли, плохо ли чувствовала себя Кедди, она неизменно уверяла мужа, что ей почти совсем хорошо, а я – да простит мне небо! – неизменно подтверждала ее слова. Это так радовало Принца, что он иной раз вынимал из кармана свою «киску» и проводил смычком по одной-двум струнам, чтобы позабавить малютку; только это ему никогда не удавалось, – моя крошечная тезка как будто даже не замечала, что он играет.

Бывала у нас и миссис Джеллиби. Она заходила от случая к случаю, как всегда рассеянная, и тихо сидела, не глядя на внучку, но устремив глаза куда-то вдаль, словно все ее внимание было поглощено каким-нибудь юным бориобульцем, пребывающим на своих родных берегах. Поблескивая

глазами, по-прежнему безмятежная и растрепанная, она говорила: «Ну, Кедди, дитя мое, как ты себя чувствуешь сегодня?» – и приятно улыбалась, не слушая ответа; или заводила разговор о том, сколько писем она получила за последнее время, сколько ответов написала или какое количество кофе может производить колония Бориобула-Гха. Все это она говорила с благодушным и нескрываемым презрением к нашей столь узкой деятельности.

Бывал у нас и мистер Тарвидроп-старший, ради которого с утра до вечера и с вечера до утра принимались бесчисленные предосторожности. Если малютка плакала, ее чуть не душили из боязни, что детский крик, упаси боже, обеспокоит мистера Тарвидропа. Если ночью нужно было разжечь огонь в камине, это делали чуть ли не тайком и всячески стараясь не шуметь, чтобы не потревожить его сон. Если для удобства Кедди нужно было что-нибудь принести из другой комнаты, она сначала тщательно обдумывала вопрос: а не может ли эта вещь понадобиться ему? В ответ на это внимание он заходил к невестке раз в день, осеняя ее благодатью своего присутствия и с такой снисходительностью, с таким покровительственным видом, с таким изяществом озаряя все вокруг сиянием своей напыщенной особы, что я могла бы подумать (если б не видела его насквозь): ну, Кедди нашла себе благодетеля на всю жизнь!

– Моя Кэролайн, – говорил он, наклоняясь к ней, насколько это ему удавалось, – скажите мне, что сегодня вы чувству-

ете себя лучше.

– О, гораздо лучше; благодарю вас, мистер Тарвидроп, – отвечала Кедди.

– Я в восторге! В упоении! А наша милая мисс Саммерсон еще не совсем извелась от усталости?

Тут он закатывал глаза и посылал мне воздушный поцелуй, хотя приятно отметить, что он перестал ухаживать за мной с тех пор, как я так изменилась.

– Вовсе нет, – уверяла я его.

– Чудесно! Мы должны заботиться о нашей дорогой Кэролайн, мисс Саммерсон. Мы не должны скупиться ни на какие лекарства, лишь бы она поправилась. Мы должны хорошо кормить ее… Моя милая Кэролайн, – обращался он к своей невестке с бесконечно щедрым и покровительственным видом, – не отказывайте себе ни в чем, моя прелесть. Изъявите желание и удовлетворяйте его, дочь моя. Все, что есть в этом доме, все, что есть в моей комнате, – все к вашим услугам, дорогая. Прошу вас даже, – добавлял он порой, ярче прежнего блистая своим «хорошим тоном», – не обращайте внимания на мои скромные потребности, если они противоречат вашим, моя Кэролайн. Ваши нужды важнее моих.

Он так давно превратил свой «хороший тон» в привилегию для себя и повинность для других (унаследованную Принцем от покойной матери), что они приобрели право давности, и я не раз видела, как и Кедди и ее муж умилялись до слез, тронутые столь преданным самоотречением.

– Нет, дорогие мои, – внушал им мистер Тарвидроп, и я, видя, как бедная Кедди обнимает его толстую шею своей худенькой рукой, сама готова была прослезиться, но уже по другой причине, – нет, нет! Я обещал никогда не покидать вас. Исполняйте только свой долг по отношению ко мне, любите меня, и никакой другой награды я не требую. А теперь всего доброго! Я направляюсь в парк.

Там он прогуливался и нагуливал себе аппетит к обеду – обедал же он в ресторане. Хочу верить, что я не придираюсь к мистеру Тарвидропу-старшему, но я не замечала в нем качеств более достойных, чем те, о которых правдиво рассказываю здесь, если не считать того, что он, несомненно, был расположен к Пищику и очень торжественно брал его с собой на прогулку, – причем всегда отсылал мальчугана домой перед тем, как сам шел обедать – а иной раз дарил ему медяк. Но, насколько я знаю, даже это его бескорыстное внимание к ребенку требовало довольно больших расходов от других лиц, ибо Пищика надо было привести в достаточно парадный вид, чтобы профессор «хорошего тона» мог водить его за ручку гулять, так что малыша пришлось с головы до ног одеть во все новенькое за счет Кедди и ее мужа.

И наконец, в числе наших посетителей был мистер Джеллиби. Когда он приходил к нам по вечерам, кротким голосом спрашивал Кедди, как ее здоровье, а потом садился, прислонившись головой к стене и не делая больше никаких попыток вымолвить еще хоть слово, я, право же, чувствовала к

нему большое расположение. Если он заставал меня в хлопотах, занятой каким-нибудь пустяковым делом, он иногда порывался снять сюртук, как бы всей душой желая мне помочь, но дальше этого дело не шло. Так он и просиживал весь вечер, прислонившись головой к стене и пристально глядя на задумчивую малютку, а мне было трудно избавиться от нелепой мысли, что они понимают друг друга.

Перечисляя наших гостей, я еще не назвала мистера Вудкорта, но ведь он теперь лечил Кедди и потому постоянно бывал у нее. Под его наблюдением она быстро начала поправляться, да и немудрено – так он был мягок, так опытен, так неутомим в своих стараниях. За это время я много раз виделась с мистером Вудкортом, хоть и не так много, как можно было ожидать, – ведь, зная, что можно спокойно оставить Кедди на его попечении, я нередко уходила домой до его прихода. И все-таки мы встречались часто. Теперь я совершенно примирилась с собой, но тем не менее радовалась при мысли о том, что он до сих пор жалеет меня; а что он действительно меня жалеет, это я чувствовала. Он работал теперь ассистентом у мистера Беджера, имевшего большую практику, но сам пока не строил определенных планов на будущее.

Когда Кедди стала выздоравливать, я заметила, что моя милая Ада в чем-то переменилась. Не могу сказать, когда именно я впервые это заметила, так как наблюдала это во многих мелочах, ничтожных каждая в отдельности, но в це-

лом приобретавших некоторое значение. Сопоставив их одну с другой, я пришла к выводу, что Ада уже не так откровенно и весело разговаривает со мной, как бывало. Любила она меня так же нежно и преданно, как и раньше, в этом я ни минуты не сомневалась, но у нее как будто было тайное горе, которого она мне не поверяла; казалось, она молча жалела кого-то.

Этого я никак не могла понять, но мне было так дорого счастье моей красавицы, что ее душевное состояние меня тревожило, и я часто раздумывала, что́ именно могло ее так печалить. Наконец, убедившись, что Ада что-то скрывает от меня из боязни меня огорчить, я вообразила, будто она сама немного огорчена – из-за меня… моим признанием насчет Холодного дома.

Как могла я убедить себя в том, что это похоже на правду, не знаю. Мне и в голову не приходило, что, предполагая это, я придаю слишком большое значение своей особе. Сама-то ведь я не огорчалась; я была вполне довольна и совершенно счастлива. А все-таки Ада могла думать – думать за меня, хотя сама я выбросила из головы все подобные мысли, – о том, что когда-то было, но теперь изменилось, и мне было так легко поверить в свое предположение, что я и поверила.

Что мне сделать, чтобы успокоить свою милую девочку (думала я тогда), как доказать ей, что подобные чувства мне чужды? Что ж, оставалось только казаться как можно более оживленной да работать как можно усерднее, но это я всегда

старалась делать. Однако болезнь Кедди, то больше, то меньше, мешала мне исполнять мои домашние обязанности (хотя по утрам я всегда задерживалась, чтобы приготовить завтрак опекуну, и он сто раз говорил со смехом, что в доме, очевидно, две хозяйки, потому что его Хозяюшка всегда на месте); и вот я решилась быть прилежной и веселой вдвойне. Я хлопотала по дому, напевая все песни, какие звала; все шила и шила, как одержимая, все болтала и болтала без умолку и утром, и днем, и вечером.

Тем не менее все та же тень лежала между мною и моей милочкой.

– Итак, Хлопотунья, – заметил опекун как-то раз вечером, когда мы сидели втроем и он закрыл книгу, которую читал, – Вудкорт вылечил Кедди Джеллиби. И теперь она совсем здорова?

– Да, – ответила я, – и она платит ему такой горячей благодарностью, которая ценнее всякого богатства, опекун.

– Правильно; но я все же хотел бы, чтоб он получил и богатство, – сказал опекун, – всем сердцем желал бы.

И я желала этого. Так я и сказала.

– Еще бы! Мы охотно помогли бы ему разбогатеть, знай мы только, как это сделать. Ведь правда, Хозяюшка?

Не отрываясь от шитья, я рассмеялась и ответила, что не уверена, стоит ли это делать, – ведь богатство может его испортить, и тогда он, пожалуй, будет приносить меньше пользы людям, так как некоторые больные, например мисс Флайт,

да и сама Кедди и многие другие, уже не смогут его приглашать, а обойтись без него им будет трудно.

– Это верно, – сказал опекун. – Об этом я не подумал. Однако вы, наверное, согласитесь, что хорошо бы помочь ему разбогатеть, но лишь настолько, чтобы ему хватало на жизнь, не правда ли? Настолько, чтобы он мог работать со спокойной душой? Настолько, чтобы иметь уютный домашний очаг и домашних богов… а может быть, и домашнюю богиню?

– Это совсем другое дело, – проговорила я. – С этим мы все должны согласиться.

– Конечно, все, – отозвался опекун. – Я очень ценю Вудкорта, очень уважаю и осторожно расспрашивал его об его планах на будущее. Трудно предлагать помощь человеку независимому по натуре и такому гордому, как он. И все же я был бы рад помочь ему, если бы знал, как за это приняться. Он, видимо, подумывает о новом путешествии. Жаль было бы лишаться такого человека.

– Может быть, это откроет для него новый мир, – сказала я.

– Все может быть, Хлопотунья, – согласился опекун. – От старого мира он, вероятно, не ждет ничего хорошего. А вы знаете, мне иногда кажется, что он переживает какое-то разочарование или горе. Вы ни о чем таком не слыхали?

Я покачала головой.

– Хм! Стало быть, я ошибся, – сказал опекун.

Тут наступила маленькая пауза, и, решив, ради моей ми-

лой девочки, что лучше ее заполнить, я, продолжая работать, стала напевать песню, которую опекун особенно любил.

– Вы думаете, что мистер Вудкорт снова отправится в путешествие? – спросила я, промурлыкав свою песню до конца.

– Не знаю наверное, милая моя, но мне кажется, что он, возможно, уедет за границу надолго.

– Куда бы он ни поехал, он увезет с собой наши лучшие сердечные пожелания, – проговорила я, – и хотя это не богатство, он от них, во всяком случае, не обеднеет, правда, опекун?

– Конечно, Хлопотунья, – ответил он.

Я сидела на своем обычном месте – в кресле, рядом с опекуном. Раньше, до получения письма, я обычно занимала другое кресло, а это стало моим лишь теперь. Взглянув на Аду, сидевшую напротив, я увидела, что она смотрит на меня глазами, полными слез, и слезы текут по ее щекам. Тут я почувствовала, что мне нужно быть ровной и веселой, чтобы раз навсегда вывести из заблуждения свою подругу и успокоить ее любящее сердце. Впрочем, я и так уже была ровной и веселой, а значит, мне оставалось только быть самой собой.

Поэтому я заставила свою дорогую девочку опереться на мое плечо, – как далека я была от мысли, какое бремя лежит у нее на душе! – сказала, что ей не по себе, и, обняв ее, увела наверх. Когда мы вошли в свою комнату, Ада, быть может, уже была готова сделать мне признание, которое явилось бы для меня огромной неожиданностью, но я даже не попыта-

лась вызвать ее на откровенность – мне и в голову не пришло, что это как раз то, в чем она нуждается.

– Ах, моя милая, добрая Эстер, – промолвила Ада, – если бы только я могла решиться поговорить с тобой и кузеном Джоном, когда вы вместе!

– Да что с тобой, моя милочка! – старалась я успокоить ее. – Ада! Что же мешает тебе поговорить с нами?

Ада только опустила голову и крепче прижала меня к груди.

– Ты, конечно, не забываешь, моя прелесть, – сказала я, улыбаясь, – какие мы с ним спокойные, старозаветные люди и как твердо я решила быть самой скромной из замужних дам? Ты не забываешь, какая счастливая и мирная жизнь мне предстоит и кому я этим обязана? Я уверена, Ада, что ты никогда не забудешь о том, какой он чудесный человек. Этого нельзя забыть.

– Конечно, нет, Эстер, никогда!

– Значит, дорогая, – сказала я, – ты не можешь сказать нам ничего плохого; так почему бы тебе не поговорить с нами?

– Ты сказала «плохого», Эстер? – промолвила Ада. – Ах, когда я думаю обо всех этих годах, и об его отеческой заботливости и доброте, и о давней дружбе между всеми нами, и о тебе… ах, что мне делать, что делать!

Я посмотрела на свою девочку с удивлением и решила, что лучше ничего на это не отвечать, но попытаться развеселить ее; поэтому я сейчас же перевела разговор на воспоминания

о разных незначительных событиях нашей совместной жизни и, таким образом, не дала ей высказаться. Только после того как она улеглась, я пошла к опекуну пожелать ему спокойной ночи; потом вернулась к Аде и посидела подле нее.

Она спала, а я смотрела на нее, и мне казалось, что она немного изменилась. Я не раз думала об этом за последнее время. Даже теперь, глядя на нее, спящую, я не могла решить, в чем же, собственно, она изменилась; но что-то неуловимое в ее привычной для меня красоте теперь казалось мне каким-то другим. Я с грустью вспомнила давние надежды опекуна, связанные с нею и Ричардом, и сказала себе: «Она тревожится о нем», а потом стала раздумывать: к чему приведет эта любовь? Во время болезни Кедди я, возвращаясь домой, часто заставала Аду за шитьем, но она немедленно убирала свою работу, и я так и не узнала, что она шьет. В тот вечер работа ее лежала в не совсем задвинутом ящике комода, стоявшего рядом с ее кроватью. Я не выдвинула ящика, но призадумалась: что же она могла шить? Ведь шила она явно не для себя самой.

Целуя свою дорогую подругу, я заметила, что она лежит, засунув одну руку под подушку, так что ее не было видно.

Значит, я в то время была вовсе не такая добрая, какой они меня считали, вовсе не такая добрая, какой считала себя сама, если только о том и заботилась, чтобы казаться веселой и довольной, полагая, что от меня одной зависит успокоить мою милую девочку и вернуть ей душевный мир.

И я легла спать, не усомнившись в этом, обманув сама себя. А проснувшись на другой день, снова заметила, что все та же тень лежит между мной и моей дорогой девочкой.

Глава LI
Все объяснилось

Приехав в Лондон, мистер Вудкорт в тот же день пошел к мистеру Воулсу, в Саймондс-Инн. С той минуты, как я попросила его стать другом Ричарду, он никогда не забывал своего обещания и ни разу его не нарушил. Он сказал мне тогда, что, принимая мое поручение, почтет своим священным долгом его исполнить; и он сдержал слово.

Мистера Воулса он застал в конторе и сказал ему, что, по уговору с Ричардом, зашел сюда узнать его адрес.

– Правильно, сэр, – отозвался мистер Воулс. – Местожительство мистера Карстона не за сотню миль отсюда, сэр… не за сотню миль. Присядьте, пожалуйста, сэр.

Мистер Вудкорт поблагодарил мистера Воулса и сказал, что говорить им не о чем – он только просит дать адрес Ричарда.

– Именно, сэр. Я полагаю, сэр, – сказал мистер Воулс, не давая адреса и тем самым молчаливо настаивая на том, чтобы мистер Вудкорт присел, – я полагаю, сэр, что вы имеете влияние на мистера Карстона. Точнее, знаю, что имеете.

– Сам я этого не знаю, – заметил мистер Вудкорт, – но вам, должно быть, виднее.

– Сэр, мои профессиональные обязанности требуют, что-

бы мне было «виднее», – продолжал мистер Воулс, как всегда сдержанно. – Мои профессиональные обязанности требуют, чтобы я изучал и понимал джентльмена, который доверяет мне защиту своих интересов. А я никогда сознательно не погрешу против своих профессиональных обязанностей. Как я ни стремлюсь работать добросовестно, я, конечно, могу погрешить против своих профессиональных обязанностей, сам того не ведая; но сознательно не погрешу, сэр.

Мистер Вудкорт снова попросил мистера Воулса дать ему адрес Ричарда.

– Уделите мне внимание, сэр, – настаивал мистер Воулс. – Потерпите немного и выслушайте меня. Сэр, мистер Карстон ведет крупную игру без… нужно ли говорить без чего?

– Без денег, надо думать?

– Сэр, – отозвался мистер Воулс, – скажу вам честно (быть честным – это мое золотое правило, все равно выигрываю я от этого или проигрываю, а я вижу, что большей частью проигрываю), именно – без денег. Имейте в виду, сэр, я не высказываю вам никакого мнения о шансах мистера Карстона в этой игре – никакого мнения. Быть может, бросив игру, после того как он играл столь долго и крупно, мистер Карстон поступит в высшей степени неблагоразумно, а может быть, и наоборот; я лично не говорю ничего. Нет, сэр, ничего! – закончил мистер Воулс с решительным видом, хлопая ладонью по пюпитру.

– Вы, по-видимому, забываете, – заметил мистер Вуд-

корт, – что я не просил вас высказываться и не интересуюсь вашими высказываниями.

– Простите, сэр! – возразил мистер Воулс. – Вы несправедливы к самому себе. Нет, сэр! Простите! Я не могу допустить, – пока вы в моей конторе, я не могу допустить, – чтобы вы были несправедливы к самому себе. Вы интересуетесь всем, решительно всем, что касается вашего друга. Я слишком хорошо знаю человеческую натуру, сэр, чтобы хоть на минуту допустить, что джентльмен, подобный вам, не интересуется чем-либо, что имеет отношение к его другу.

– Может, и так, – проговорил мистер Вудкорт, – но я больше всего интересуюсь его адресом.

– Я, кажется, уже сообщил вам, сэр, номер дома, – сказал мистер Воулс «в скобках» и таким тоном, словно адрес Ричарда был чем-то совершенно лишним. – Если мистер Карстон и впредь намерен вести крупную игру, сэр, он должен иметь фонды. Поймите меня! В настоящее время фонды имеются налицо, я ничего не прошу, – фонды имеются налицо. Но для продолжения игры нужны еще фонды, если только мистер Карстон не намерен отказаться от того, что он предпринял, а это предоставляется исключительно и всецело его собственному усмотрению. Пользуюсь случаем откровенно заявить об этом вам, сэр, как другу мистера Карстона. Если фондов нет, я всегда буду счастлив выступать от имени мистера Карстона и вести его дела лишь в той мере, в какой могу твердо рассчитывать на гонорар, который мне

выплатят из спорного наследства, но не больше. Я не могу пойти дальше этого, сэр, не нанося ущерба другим лицам. Мне пришлось бы тогда нанести ущерб своим трем дорогим дочерям, или своему престарелому отцу, который живет на моем иждивении – в Тоунтонской долине, – или другим лицам. Принимая все это во внимание, сэр, я выношу решение (назовите его блажью или причудой, как хотите) не наносить ущерба никому.

На это мистер Вудкорт довольно сухо ответил: «Рад слышать».

– Я хочу, сэр, оставить по себе доброе имя, – продолжал мистер Воулс. – Поэтому я пользуюсь каждым удобным случаем откровенно рассказать любому другу мистера Карстона, в каком положении сейчас находится мистер Карстон. А о себе скажу, сэр, что за свою работу я заслуживаю вознаграждения. Если я берусь налечь плечом на колесо, я и налегаю, сэр, и полностью окупаю работой свой гонорар. Для этого я и нахожусь здесь. Для этой цели моя фамилия написана на входной двери.

– А как насчет адреса мистера Карстона, мистер Воулс?

– Мне помнится, сэр, я уже сказал вам, что мой клиент живет здесь, – ответил мистер Воулс. – Квартиру мистера Карстона вы найдете на третьем этаже. Мистер Карстон пожелал жить поближе к своему поверенному, и я ровно ничего не имею против этого, ибо только радуюсь, когда меня проверяют.

Тут мистер Вудкорт пожелал мистеру Воулсу всего доброго и пошел искать Ричарда, слишком хорошо понимая теперь, почему он так переменился.

Ричард оказался дома, в полутемной, убого обставленной комнате, и выглядел он почти так же, как в тот день, когда я виделась с ним в казармах, с той лишь разницей, что на этот раз он не писал, но держал в руках какую-то книгу, от которой и взгляд его и мысли были очень далеко. Дверь случайно была открыта, поэтому мистер Вудкорт некоторое время наблюдал за ним без его ведома и впоследствии говорил мне, что никогда не забудет, каким измученным и подавленным показался ему этот юноша, глубоко погруженный в свои думы.

– Вудкорт, дорогой мой! – воскликнул Ричард, вскочив с места и протянув руки. – Вы появляетесь передо мной, словно какой-то дух.

– Добрый дух, который, как и все прочие духи, по поверью, только и ждет, чтобы к нему обратились, – сказал мистер Вудкорт. – А как идут дела в мире смертных?

Они сели рядом.

– Довольно плохо и довольно медленно, – ответил Ричард, – во всяком случае – мои дела.

– Что же это за дела?

– Те, что связаны с Канцлерским судом.

– В жизни не слыхивал, чтобы там хоть когда-нибудь дела шли хорошо, – заметил мистер Вудкорт, качая головой.

– И я не слыхал, – сказал Ричард хмуро. – Да и кто слышал?

Но вдруг он оживился и сказал со свойственной ему непосредственной откровенностью:

– Вудкорт, я не хочу, чтобы вы ошибались во мне, даже если эта ошибка будет в мою пользу. Вы должны знать, что за все эти годы я не сделал ничего хорошего. Я стремился не делать ничего дурного, но, по-видимому, только на это я и способен, а больше ни на что. Возможно, что мне лучше было бы держаться подальше от той сети, которой меня опутала судьба; но я этого не думаю, хотя вы, наверное, скоро услышите, а может быть, уже слышали противоположное мнение. Короче говоря, я, очевидно, нуждался в какой-то цели; но теперь я выбрал себе цель – или она выбрала меня, – и спорить об этом уже поздно. Берите меня таким, каков я есть, и не требуйте от меня большего.

– Согласен, – проговорил мистер Вудкорт. – Относитесь так же ко мне.

– Ну, что говорить о вас! – отозвался Ричард. – Вы способны заниматься своим делом ради него самого, вы способны взяться за плуг и никогда не уклоняться в сторону, вы можете создать себе цель из чего угодно. Мы с вами очень разные люди.

Он говорил, словно сожалея о чем-то, и на минуту снова помрачнел.

– Ну, будет, будет! – воскликнул он, стараясь развеселить-

ся. – Всему бывает конец. Поживем – увидим! Итак, вы возьмете меня таким, каков я есть, и не будете требовать от меня большего?

– Ну да, конечно!

Они пожали друг другу руки со смехом, но очень искренне. За искренность одного из них я ручаюсь всем своим сердцем.

– Вы мне прямо богом ниспосланы, – сказал Ричард, – ведь я здесь никого не вижу, кроме Воулса. Вудкорт, есть одно обстоятельство, которое я хотел бы раз навсегда объяснить в самом начале нашей дружбы. Если я этого не сделаю, вы вряд ли сможете относиться ко мне хорошо. Вы, наверное, знаете, что я люблю свою кузину Аду?

Мистер Вудкорт ответил, что он узнал об этом от меня.

– Прошу вас, – продолжал Ричард, – не считайте меня отъявленным эгоистом. Не думайте, что я бьюсь над этой несчастной канцлерской тяжбой, ломая себе голову и терзая сердце, только ради своих собственных интересов и прав. Интересы и права Ады связаны с моими; их нельзя разделить. Воулс работает для нас обоих. Не забывайте этого!

Он пылко стремился подчеркнуть свою заботу об интересах Ады, и мистер Вудкорт самым решительным образом заверил его, что воздает ему должное.

– Видите ли, – сказал Ричард, с какой-то жалкой настойчивостью возвращаясь все к той же теме, хотя говорил он непосредственно, не обдумывая заранее своих слов, – я не

в силах вынести мысли, что могу показаться себялюбивым и низким столь прямому человеку, как вы, пришедшему сюда из чисто дружеских побуждений. Я хочу, Вудкорт, чтобы Ада получила все, на что она имеет право, так же как хочу этого для себя. Я приложу все силы к тому, чтобы она восстановила свои права, а я свои. Я ставлю на карту все, что могу наскрести, чтобы выпутать и ее, и себя. Умоляю вас, не забывайте об этом!

Впоследствии, когда мистер Вудкорт вспоминал об этой встрече, он говорил, что горячее стремление Ричарда защитить интересы Ады произвело на него очень сильное впечатление, и, рассказывая мне о своем визите в Саймондс-Инн, больше всего говорил об этом. А я снова стала бояться, что маленькое состояние моей дорогой девочки будет проглочено мистером Воулсом, – потому-то Ричард так и старается оправдать себя. Мистер Вудкорт пришел к Ричарду, когда я уже начала ездить к больной Кедди; теперь же я расскажу о том времени, когда Кедди поправилась, а между мной и моей милой подругой все еще лежала тень.

На другой день после того вечера, о котором я рассказала в предыдущей главе, я утром предложила Аде пойти повидаться с Ричардом. Меня немного удивило, что она стала колебаться, вместо того чтобы обрадоваться и согласиться сразу, как ожидала я.

– Дорогая моя, – начала я, – а ты не поссорилась с Ричардом за то время, что я так редко бывала дома?

– Нет, Эстер.

– Может быть, он тебе давно не писал? – спросила я.

– Нет, писал, – ответила Ада.

А глаза полны таких горьких слез и лицо дышит такой любовью! Я не могла понять своей милой подруги. «Не пойти ли мне одной к Ричарду?» – сказала я. Нет, Ада считает, что мне лучше не ходить одной. Может быть, она пойдет со мной вместе? Да, Ада находит, что нам лучше пойти вместе. Не пойти ли нам сейчас? Да, пойдем сейчас. Нет, я никак не могла понять, что творится с моей девочкой, почему лицо ее светится любовью, а в глазах слезы.

Мы быстро оделись и вышли. День был пасмурный, время от времени накрапывал холодный дождь. Это был один из тех серых дней, когда все кажется тяжелым и грубым. Мы шли, и на нас хмурились дома, нас осыпало пылью и окутывало дымом; все вокруг выглядело неприкрашенным и неприглаженным. Мне казалось, что моей красавице совсем не место на этих угрюмых улицах, казалось даже, что по их унылым мостовым похоронные процессии проходят гораздо чаще, чем в других частях города.

Прежде всего нам надо было отыскать Саймондс-Инн. Мы уже собирались зайти в какую-нибудь лавку и справиться, как вдруг Ада сказала, что это, кажется, по соседству с Канцлерской улицей.

– Так пойдем туда, милая, – сказала я.

Итак, мы пошли на Канцлерскую улицу и действительно

увидели там надпись: «Саймондс-Инн». Теперь оставалось только узнать номер дома.

– Впрочем, достаточно найти контору мистера Воулса, – вспомнила я, – ведь его контора в том же доме, что и квартира Ричарда.

На это Ада сказала, что контора мистера Воулса, вероятно, вон там, в углу. Так оно и оказалось.

Потом возник вопрос: в какую же из двух смежных дверей нам нужно войти? Я говорила, что в эту, Ада – что в ту, и опять моя прелесть оказалась права. Итак, мы поднялись на третий этаж и увидели фамилию Ричарда, начертанную большими белыми буквами на доске, напоминавшей могильную плиту.

Я хотела было постучать, но Ада сказала, что лучше нам просто повернуть дверную ручку и войти. И вот мы подошли к Ричарду, который сидел за столом, обложившись связками бумаг, покрытых пылью, и мне почудилось, будто каждая из этих бумаг – запыленное зеркало, отражающее его душу. На какую бы из них я ни взглянула, мне тотчас попадались на глаза зловещие слова: «Джарндисы против Джарндисов».

Ричард поздоровался с нами очень ласково, и мы уселись.

– Приди вы немного раньше, – сказал он, – вы застали бы у меня Вудкорта. Что за славный малый этот Вудкорт! Находит время заглянуть ко мне в перерывах между работой, а ведь всякий другой на его месте, даже будь он вполовину менее занят, считал бы, что зайти ему некогда. И он

такой бодрый, такой здоровый, такой рассудительный, такой серьезный… словом, совсем не такой, как я; и вообще здесь как будто светлеет, когда он приходит, и темнеет вновь, стоит ему выйти за дверь.

«Благослови его бог, – подумала я, – за то, что он сдержал слово, данное мне!»

– Он не так уверенно смотрит на наше будущее, Ада, как смотрим мы с Воулсом, – продолжал Ричард, бросая унылый взгляд на связки бумаг, – но ведь он посторонний человек и не посвящен в эти таинства. Мы погрузились в них с головой, а он нет. Можно ли ожидать, чтобы он хорошо разбирался в этом лабиринте?

Он снова опустил блуждающий взгляд на бумаги и провел обеими руками по голове, а я заметила, как ввалились и какими большими стали его глаза, как сухи его губы, как обкусаны ногти.

– Неужели вы считаете, Ричард, что жить в таком месте полезно для здоровья? – проговорила я.

– Как вам сказать, моя дорогая Минерва, – ответил Ричард со своим прежним беззаботным смехом, – конечно, воздух здесь не деревенский, и вообще местечко не бог весть какое веселое – если солнце случайно и заглянет сюда, значит, можете биться об заклад на крупную сумму, что открытые места оно освещает ярко. Но на время и здесь хорошо. Недалеко от суда и недалеко от Воулса.

– Может быть, – начала я, – расстаться с тем и другим…

– …было бы мне полезно? – докончил мою фразу Ричард, принудив себя засмеяться. – Конечно! Но теперь жизнь моя должна идти лишь одним путем – вернее, одним из двух путей. Или тяжба кончится, Эстер, или тяжущийся. Но кончится тяжба… тяжба, милая моя!

Эти последние слова были обращены к Аде, которая сидела к нему ближе, чем я. Она отвернулась от меня и смотрела на него, поэтому я не видела ее лица.

– Наши дела идут прекрасно, – продолжал Ричард. – Воулс подтвердит вам это. Мы действительно мчимся вперед на всех парах. Спросите Воулса. Мы не даем им покоя. Воулс знает все их окольные пути и боковые тропинки, и мы всюду их настигаем. Мы уже успели их разбередить. Мы разбудим это сонное царство, попомните мои слова!

Давно уже его уверенность в будущем огорчала меня больше, чем его уныние, ведь она была так непохожа на уверенность искреннюю, в ней было столько неутоленной жажды, столько отчаянного желания надеяться во что бы то ни стало, она была такая вымученная и такая мучительная для него самого, что я всем сердцем жалела его уже с давних пор. Но теперь, увидев, что все это неизгладимо запечатлелось на его красивом лице, я встревожилась еще больше. Я говорю «неизгладимо», так как убеждена, что, если бы в тот самый час роковая тяжба могла прийти к тому концу, о котором он мечтал, оставленные ею следы преждевременной тревоги, угрызений совести и разочарований все равно не покинули

бы его лица до самого смертного часа.

– Мне так привычно видеть нашу дорогую Хлопотунью, – сказал Ричард, в то время как Ада по-прежнему сидела недвижно и молча, – видеть ее сострадательное личико, все такое же, как в прежние дни…

Ах! Нет, нет. Я улыбнулась и покачала головой.

– …совершенно такое же, как в прежние дни, – повторил Ричард с чувством, беря меня за руку и глядя на меня тем братским взглядом, выражение которого ничто в мире не могло изменить, – мне так привычно видеть ее, что перед нею я не могу притворяться. Я немножко неустойчив, что правда, то правда. Временами я надеюсь, дорогая моя, временами… отчаиваюсь – не совсем, но почти. Я так устал! – проговорил Ричард, тихонько выпустив мою руку, и принялся ходить по комнате.

Он несколько раз прошелся взад и вперед и опустился на диван.

– Я так устал, – повторил он подавленно. – Это такая тяжелая, тяжелая работа!

Эти слова он произнес в раздумье, опустив голову на руку и устремив глаза в пол, а моя дорогая девочка вдруг поднялась, сняла шляпу, стала перед ним на колени и, смешав с его волосами свои золотистые локоны, которые озарили его словно потоком солнечного света, обвила руками его шею и обернулась ко мне. О, какое любящее и преданное лицо я увидела!

– Эстер, милая, – проговорила она очень спокойно, – я не вернусь домой.

Все объяснилось в одно мгновение.

– Никогда не вернусь. Я останусь со своим милым мужем. Вот уже больше двух месяцев, как мы обвенчались. Иди домой без меня, родная моя Эстер; я никогда не вернусь домой!

Моя милая девочка прижала к своей груди его голову. И тут я поняла, что вижу любовь, которую может изменить только смерть.

– Объясни все Эстер, моя любимая, – сказал Ричард, нарушив молчание. – Расскажи ей, как это случилось.

Я бросилась к ней прежде, чем она успела подойти ко мне, и обняла ее. Мы молчали, и я, прижавшись щекой к ее лицу, не хотела ничего слушать.

– Милая моя, – говорила я, – любимая моя. Бедная моя, бедная девочка!

Я так горячо жалела ее. Я очень любила Ричарда, но все-таки помимо своей воли страстно жалела ее.

– Эстер, ты простишь меня? Кузен Джон простит меня?

– Милая моя, – сказала я. – Ты обидела его, если хоть на миг усомнилась в этом. А я!..

Что *могла* я прощать ей?

Я вытерла глаза моей плачущей девочке и села рядом с ней на диване, а Ричард сел по другую сторону от меня, и в то время как я вспоминала о другом вечере, столь непохожем на этот день, – вечере, когда они посвятили меня в тайну своей

любви и пошли своим собственным безумным, счастливым путем, – они рассказывали мне, почему поженились теперь.

– Все, что у меня есть, принадлежит Ричарду, – объяснила Ада, – но, Эстер, он ничего не хотел принять от меня; что же мне оставалось делать, как не выйти за него замуж, если я так глубоко его люблю?

– А вы были целиком поглощены своими добрыми делами, замечательная наша Хлопотунья, – сказал Ричард, – могли ли мы говорить с вами в такое время? Да мы и не обдумывали ничего заранее. Просто вышли из дому в одно прекрасное утро и обвенчались.

– А когда все это совершилось, Эстер, – сказала моя девочка, – я постоянно думала да раздумывала, как сказать об этом тебе и как сделать лучше. То мне казалось, что тебе надо узнать обо всем немедленно, то – что тебе ничего знать не нужно и лучше скрыть все это от кузена Джона; словом, я не знала, как быть, и очень волновалась.

Значит, какой же я была эгоистичной, что не догадалась об этом раньше! Не помню, что́ я говорила им. Я была так огорчена и вместе с тем так любила их и была так рада, что они любят меня. Я так их жалела, но все же как будто гордилась их взаимной любовью. Никогда я не испытывала подобного волнения, и мучительного и приятного одновременно, и сама не могла разобраться, что́ больше – горе мое или радость. Но я пришла сюда не для того, чтобы омрачать их путь; я и не сделала этого.

Когда я немного одумалась и успокоилась, моя милая девочка вынула из-за корсажа обручальное кольцо, поцеловала его и надела на палец. Тут я вспомнила вчерашнюю ночь и сказала Ричарду, что со дня своей свадьбы она всегда надевала кольцо на ночь, когда никто не мог его увидеть. Ада, краснея, спросила: как ты об этом узнала, дорогая моя? А я сказала, что видела, как она спала, спрятав руку под подушку, но в то время и не подозревала, почему она так спит; вот как узнала, дорогая моя. Тогда они сызнова принялись рассказывать мне обо всем с самого начала, а я опять принялась огорчаться, радоваться, говорить глупости и по мере сил прятать от них свое старое, некрасивое лицо, чтобы не испортить им настроения.

Так проходило время; но мне пора уже было подумать о возвращении домой. Мы начали прощаться, и мне стало еще тяжелее, потому что Ада пришла в полное отчаяние. Она бросилась мне на шею, называя меня всеми ласковыми именами, какие могла придумать, и твердила, что не знает, как ей без меня жить. Ричард вел себя не лучше. А я, я, наверно, расстроилась бы еще больше, чем они оба, если бы несколько раз не сделала себе строгого внушения: «Эстер, если ты будешь так вести себя, я никогда больше не стану с тобой разговаривать!»

– Ну, признаюсь, в жизни я не видывала такой жены! – проговорила я. – Должно быть, она ни капельки не любит своего мужа. Слушайте, Ричард, оторвите от меня мою де-

вочку, ради всего святого.

Но я сама не выпускала ее из объятий и готова была плакать над нею бог знает сколько времени.

– Объявляю дорогим молодоженам, – сказала я, – что ухожу лишь для того, чтобы вернуться завтра, и что то и дело буду ходить сюда и обратно, пока Саймондс-Инну не надоест меня видеть. Поэтому я не буду прощаться, Ричард. Зачем, если я вернусь так скоро?

Я передала ему с рук на руки мою обожаемую девочку и собралась уходить; но задержалась, чтобы еще раз взглянуть на ее дорогое лицо, – сердце у меня разрывалось при мысли, что я сейчас должна буду уйти и расстаться с ней.

И вот я сказала (веселым и оживленным тоном), что, если они не пригласят меня прийти опять, я, быть может, и не посмею явиться без зова, но моя дорогая девочка только взглянула на меня и слабо улыбнулась сквозь слезы, а я сжала ее прелестное личико ладонями, в последний раз поцеловала ее, рассмеялась и убежала.

Но зато как я плакала, когда спускалась по лестнице! Мне казалось, что я навсегда потеряла свою Аду. Без нее я почувствовала себя такой одинокой, вокруг меня образовалась такая пустота, мне было так тяжело возвращаться домой – туда, где я уже не увижу ее, что я все плакала и плакала, шагая взад и вперед по какому-то темному закоулку, и никак не могла перестать.

Но постепенно я успокоилась, – после того как побранила

себя, – и поехала домой в наемной карете. Незадолго до этого дня тот бедный мальчик, которого я видела в Сент-Олбенсе, нашелся и теперь лежал при смерти, – вернее, он уже умер, но тогда я этого еще не знала. Опекун пошел справиться о его здоровье, но не вернулся к обеду. Я была совсем одна и поплакала еще немножко, хотя, в общем, кажется, вела себя не так уж плохо.

Понятно, что мне не сразу удалось привыкнуть к мысли о разлуке с моей любимой подругой. Ведь прошло всего три-четыре часа, а мы с нею прожили вместе столько лет. Я так упорно думала о той убогой неуютной квартире, в которой я ее оставила, так отчетливо представляла себе эти комнаты, мрачные, неприветливые, мне так страстно хотелось побывать около Ады и хоть как-то позаботиться о ней, что я решилась снова отправиться в Саймондс-Инн вечером, хотя бы лишь для того, чтобы посмотреть с улицы на ее окна.

Пожалуй, это было глупо, но тогда я думала иначе и даже теперь не совсем уверена, что это было глупо. Я рассказала обо всем Чарли, и мы вышли в сумерках. Когда мы подошли к новому, чужому для меня дому, который теперь стал домом моей милой девочки, было уже темно и в окнах за желтыми занавесками горел свет. Поглядывая на них, мы осторожно прошлись взад и вперед раза три-четыре и едва не столкнулись с мистером Воулсом, который вышел из своей конторы и, повернув голову, тоже посмотрел вверх, прежде чем направиться домой. Его долговязая черная фи-

гура и этот затерявшийся во тьме закоулок – все было так же мрачно, как мое душевное состояние. Я думала о юности, любви и красоте моей дорогой девочки, запертой в этих четырех стенах, и ее жилище, столь не подходящее для нее, казалось мне чуть ли не застенком.

Место здесь было очень уединенное и очень скудно освещенное, поэтому я не боялась, что меня кто-нибудь увидит, когда я буду пробираться на верхний этаж. Оставив Чарли внизу, я, стараясь не шуметь, поднялась по темной лестнице, и меня не смущал тусклый свет уличных масляных фонарей, так как сюда он не достигал. Я прислушалась, и в затхлой, гнилой тишине этого дома мне послышался неясный говор знакомых молодых голосов. Коснувшись губами доски, похожей на могильную плиту, и мысленно поцеловав свою дорогую девочку, я тихонько спустилась на улицу, решив сознаться как-нибудь на днях, что снова приходила сюда вечером.

И мне действительно стало легче: пусть никто не знал об этом тайном посещении, кроме Чарли и меня, мне все-таки показалось, будто оно смягчило мою разлуку с Адой и как-то соединило нас на несколько мгновений. Я отправилась домой, еще не совсем свыкшаяся с мыслью о перемене в своей жизни, но утешенная тем, что хоть немного побродила у дома своей милой подруги.

Опекун уже вернулся домой и стоял в задумчивости у темного окна. Когда я вошла, лицо его посветлело, и он сел на

свое обычное место; но, когда я села тоже, на меня упал свет лампы, и опекун увидел мое лицо.

– Хозяюшка, – сказал он, – да вы, оказывается, плакали.

– Да, опекун, – отозвалась я, – сознаюсь, что поплакала немножко. Ада была так расстроена, и все это так печально.

Я положила руку на спинку его кресла и увидела по его глазам, что мои слова и взгляд, брошенный на опустевшее место Ады, подготовили его.

– Она вышла замуж, дорогая?

Я рассказала ему все и подчеркнула, что она с первых же слов заговорила о том, как горячо желает, чтобы он простил ее.

– Мне нечего ей прощать. – сказал он. – Благослови их бог, и Аду, и ее мужа! – Но, как и я, он сразу же стал ее жалеть: – Бедная девочка, бедная девочка! Бедный Рик! Бедная Ада!

Мы умолкли и молчали, пока он не сказал со вздохом:

– Да-да, дорогая моя. Холодный дом быстро пустеет.

– Но его хозяйка остается в нем, опекун. – Я колебалась перед тем, как сказать это, но все-таки решилась – такой печальный у него был голос. – И она всеми силами постарается принести счастье этому дому.

– Это ей удастся, душа моя.

Письмо не внесло никакой перемены в наши отношения, если не считать того, что я теперь всегда сидела рядом с опекуном; и на этот раз в них ничего не изменилось. Он по-

прежнему посмотрел на меня ласковым отеческим взглядом, по-прежнему положил свою руку на мою и повторил:

– Ей это удастся, дорогая. Тем не менее Холодный дом быстро пустеет, Хозяюшка!

Немного погодя мне стало грустно, что мы больше ничего не сказали по этому поводу. Я чувствовала что-то вроде разочарования. Я стала опасаться, что, с тех пор как получила письмо и ответила на него, вела себя, пожалуй, не совсем так, как стремилась вести себя.

Глава LII
Упрямство

Но вот через день, рано утром, только мы собрались завтракать, как прибежал мистер Вудкорт и сообщил поразительную новость: совершено страшное убийство, подозрение пало на мистера Джорджа, и он заключен под стражу. Это меня так потрясло, что, услышав от мистера Вудкорта о том, что сэр Лестер Дедлок обещал крупную награду за поимку убийцы, я сначала не поняла, почему именно он обещал награду: но мистер Вудкорт объяснил, что убитый был поверенным сэра Лестера, и я тотчас вспомнила, какой страх он внушал моей матери.

Человек, к которому моя мать давно уже относилась настороженно и подозрительно, человек, который давно относился настороженно и подозрительно к ней, человек, которого она не любила и всегда боялась как опасного и тайного врага, теперь был устранен неожиданно и насильственно, и это показалось мне чем-то таким ужасным, что я сразу же вспомнила о ней. Как тяжело было слышать о такой смерти и тем не менее не чувствовать жалости! Как страшно было думать, что, быть может, моя мать когда-нибудь желала смерти этому старику, так внезапно выброшенному из жизни!

Эти мысли теснились в моей голове, усиливая смятение и

ужас, которые я всегда испытывала, когда упоминалось имя моей матери, и я так разволновалась, что едва усидела за столом. Я не могла следить за разговором, пока не прошло некоторое время и мне не удалось оправиться от потрясения. Но когда я немного пришла в себя, увидела, как огорчен опекун, и услышала, с каким серьезным видом оба мои собеседника говорят о заподозренном человеке, вспоминая, какое прекрасное впечатление он производил на нас и как много хорошего мы о нем знали, мое сочувствие к нему и мой страх за его судьбу так возросли, что я вполне овладела собой.

– Опекун, неужели вы думаете, что его обвиняют не без оснований?

– Нет, моя милая, я не могу так думать. Мы знаем его как человека искреннего и сострадательного, одаренного огромной силой и вместе с тем младенческой кротостью, очень храброго, но бесхитростного и уравновешенного, – так как же можно обвинять его «не без оснований» в подобном преступлении? Я не могу этому поверить. Не то что не верю или не хочу верить. Просто не могу!

– И я не могу, – сказал мистер Вудкорт. – И все-таки, несмотря на все, что мы думаем и знаем о нем, нам лучше не забывать, что против него собраны кое-какие улики. К покойному он относился враждебно. Ничуть этого не скрывал – говорил об этом многим. Ходит слух, будто у него с покойным были крупные разговоры, а что он отзывался о нем очень неодобрительно, это мне доподлинно известно.

Он признает, что находился поблизости от места преступления один, незадолго до того, как было совершено убийство. Я убежден, что он так же не виновен, как я сам, но все это – улики против него.

– Вы правы, – сказал опекун и, повернувшись ко мне, добавил: – Мы окажем ему очень плохую услугу, дорогая, если, закрыв глаза на правду, не учтем всего этого.

Я, конечно, понимала, что мы должны признать всю силу этих улик, и не только в своей среде, но и говоря с другими людьми. Однако я знала (и не могла не сказать этого), что, как бы ни были тяжелы улики против мистера Джорджа, мы не покинем его в беде.

– Упаси боже! – отозвался опекун. – Мы будем поддерживать его, как сам он поддержал двух несчастных, которых уже нет на свете.

Он имел в виду мистера Гридли и мальчика, которых мистер Джордж приютил у себя.

Тут мистер Вудкорт рассказал нам, что подручный кавалериста пришел к нему еще до рассвета, после того как всю ночь сам не свой бродил по улицам. Оказывается, мистер Джордж больше всего беспокоился, как бы мы не подумали, что он действительно совершил преступление. И вот он послал своего подручного сказать нам, что он не виновен, в чем и дает самую торжественную клятву. Мистер Вудкорт успокоил посланца только тем, что обещал ему прийти к нам рано утром и передать все это. Он добавил, что хочет немед-

ленно пойти навестить заключенного.

Опекун тотчас же сказал, что пойдет вместе с ним. Не говоря уж о том, что я была очень расположена к мистеру Джорджу, а он ко мне, у меня был тайный интерес ко всей этой истории, известный одному лишь опекуну. Я чувствовала себя так, словно все это было связано со мной и близко касалось меня. Мне казалось даже, что я лично заинтересована в том, чтобы обнаружили истинного виновника и подозрение не пало на людей невинных; ведь подозрения могут зайти очень далеко – только дай им волю.

Словом, я смутно сознавала, что долг призывает меня пойти вместе с ними. Опекун не пытался разубеждать меня, и я пошла.

Тюрьма, в которой сидел кавалерист, была огромная, со множеством дворов и переходов, так похожих друг на друга и так одинаково вымощенных, что, проходя по ним, я как будто лучше поняла заключенных, которые год за годом живут в одиночках, под замком, среди все тех же голых стен; лучше поняла ту привязанность, которую они иногда питают (как мне приходилось читать) к какому-нибудь сорному растению или случайно пробившейся былинке. На верхнем этаже, в сводчатой комнате, напоминающей погреб, со стенами столь ослепительно-белыми, что по контрасту с ними толстые железные прутья на окнах и окованная железом дверь казались густо-черными, мы увидели мистера Джорджа, стоявшего в углу. Очевидно, он раньше сидел там на скамейке

и встал, услышав, как отпирают замок и отодвигают засовы.

Увидев нас, он, тяжело ступая, сделал было шаг вперед, точно собирался подойти к нам, но вдруг замер на месте и сдержанно поклонился. Тогда я сама подошла к нему, протянула руку, и он мгновенно понял, как мы к нему относимся.

– У меня прямо гора с плеч свалилась, уверяю вас, мисс и джентльмены, – сказал он, очень горячо поздоровавшись с нами и тяжело вздохнув. – Теперь для меня уже не так важно, чем все это кончится.

Он был непохож на арестанта. Глядя на этого спокойного человека с военной выправкой, можно было скорее подумать, что он – один из стражей тюремной охраны.

– Принимать здесь даму еще менее удобно, чем в моей галерее, – сказал мистер Джордж, – но я знаю, мисс Саммерсон на меня не посетует.

Он подал мне руку и подвел меня к скамье, на которой сидел сам до нашего прихода, и когда я села, ему, как видно, стало очень приятно.

– Благодарю вас, мисс, – сказал он.

– Ну, Джордж, – проговорил опекун, – как мы не требуем от вас новых уверений, так, думается, и вам незачем требовать их от нас.

– Конечно, нет, сэр. Спасибо вам от всего сердца. Будь я виновен в этом преступлении, я не мог бы скрывать свою тайну и смотреть вам в глаза, раз вы оказали мне такое доверие своим посещением. Я очень тронут этим. Я не красно-

бай, но глубоко тронут, мисс Саммерсон и джентльмены.

Он приложил руку к широкой груди и поклонился нам, нагнув голову. Правда, он тотчас же выпрямился, но в этом безыскусственном поклоне сказалось его глубокое волнение.

– Прежде всего, – начал опекун, – нельзя ли нам позаботиться о ваших удобствах, Джордж?

– О чем, сэр? – спросил кавалерист, откашлявшись.

– О ваших удобствах. Может быть, вы нуждаетесь в чем-нибудь таком, что облегчило бы вам тяжесть заключения?

– Как вам сказать, сэр, – ответил мистер Джордж, немного подумав, – я вам очень признателен, но курить здесь запрещается, а ни в чем другом я не терплю недостатка.

– Ну, может быть, вы потом вспомните о каких-нибудь мелочах. Дайте нам знать, Джордж, как только вам что-нибудь понадобится.

– Благодарю вас, сэр, – сказал мистер Джордж с улыбкой на загорелом лице. – Кто всю жизнь мыкался по свету, тому пока что не так уж плохо и здесь.

– А теперь насчет вашего дела, – проговорил опекун.

– Да, сэр, – отозвался мистер Джордж, скрестив руки на груди, и приготовился слушать с некоторым любопытством, но вполне владея собой.

– В каком положении теперь ваше дело?

– Теперь, сэр, оно отложено. Баккет объяснил мне, что, вероятно, будет время от времени просить дальнейших отсрочек, пока дело не будет расследовано более тщательно.

Как оно может быть расследовано более тщательно, я лично не вижу, но Баккет с этим, вероятно, как-нибудь справится.

– Бог с вами, друг мой! – воскликнул опекун, невольно поддаваясь свойственной ему раньше чудаковатой пылкости. – Да вы говорите о себе, словно о постороннем человеке!

– Простите, сэр, – сказал мистер Джордж. – Я очень ценю вашу доброту. Но ни в чем не повинный человек в моем положении только так и может к себе относиться; а не то он голову об стену разобьет.

– До известной степени это правильно, – проговорил опекун немного спокойнее. – Но, друг мой, даже невинному необходимо принять обычные меры предосторожности для своей защиты.

– Конечно, сэр. Я так и сделал. Я заявил судьям: «Джентльмены, я так же не виновен в этом преступлении, как вы сами; все факты, которые выдвигались как улики против меня, действительно имели место; а больше я ничего не знаю». Так я буду говорить и впредь, сэр. Что же мне еще делать? Ведь это правда.

– Но одной правды мало, – возразил опекун.

– Мало, сэр? Ну, значит, дело мое дрянь! – шутливо заметил мистер Джордж.

– Вам нужен адвокат, – продолжал опекун. – Мы пригласим для вас опытного юриста.

– Прошу прощения, сэр, – сказал мистер Джордж, сделав шаг назад. – Я вам очень признателен. Но, с вашего позво-

ления, я решительно отказываюсь.

– Вы не хотите пригласить адвоката?

– Нет, сэр! – Мистер Джордж резко мотнул головой. – Благодарю вас, сэр, но… никаких юристов!

– Почему?

– Не нравится мне это племя, – сказал мистер Джордж. – Гридли оно тоже не нравилось. И… простите меня за смелость, но вряд ли оно может нравиться вам самим, сэр.

– Оно мне не нравится в Канцлерском суде, который разбирает дела гражданские, – объяснил опекун, немного опешив. – Гражданские, Джордж, а ваше дело уголовное.

– Вот как, сэр? – отозвался кавалерист каким-то беззаботным тоном. – Ну, а я не разбираюсь во всех этих тонкостях, так что я против всего племени юристов вообще.

Опустив руки, он переступил с ноги на ногу и стал, положив одну свою крупную руку на стол, а другую уперев в бок, с видом человека, которого не собьешь с намеченного пути. Тщетно мы все трое уговаривали его и старались разубедить. Он слушал нас с терпеливой кротостью, которая так шла к его грубоватому добродушию, но все наши доводы могли поколебать его не больше, чем тюрьму, в которой он сидел.

– Прошу вас, подумайте, мистер Джордж, – проговорила я. – Неужели у вас нет никаких желаний в связи с вашим делом?

– Я, конечно, хотел бы, чтобы меня судили военным судом, мисс, – ответил он, – но хорошо знаю, что об этом не

может быть и речи. Будьте добры, уделите мне немного внимания, мисс, – несколько минут, не больше, – и я попытаюсь высказаться как можно яснее.

Он оглядел всех вас троих поочередно, помотал головой, словно шею ему жал воротник тесного мундира, и после краткого раздумья продолжал:

– Видите ли, мисс, на меня надели наручники, арестовали меня и привели сюда. Я теперь опозоренный, обесчещенный человек – вот до чего я докатился. Баккет обшарил мою галерею сверху донизу; имущество мое, правда небольшое, все перерыли, порасшвыряли, так что неизвестно, где теперь что лежит, и (как я уже говорил) вот до чего я докатился! Впрочем, я на это не особенно жалуюсь. Хоть я и попал сюда «на постой» не по своей вине, но хорошо понимаю, что, не уйди я бродяжничать еще мальчишкой, ничего такого со мной не случилось бы. А теперь вот случилось. Значит спрашивается: как мне к этому отнестись?

Оглядев нас добродушным взглядом, он потер смуглый лоб и сказал, как бы извиняясь:

– Не умею я говорить, придется немножко подумать.

Немножко подумав, он снова посмотрел на нас и продолжал:

– Как теперь быть? Несчастный покойник сам был юристом и довольно крепко зажал меня в тиски. Не хочу тревожить его прах, но, будь он в живых, я бы сказал, что он до черта крепко прижал меня. Потому-то мне и не нравятся его

товарищи по ремеслу. Держись я от них подальше, я бы сюда не попал. Но не в этом дело. Теперь допустим, что это я его убил. Допустим, я действительно разрядил в него свой пистолет – один из тех, что за последнее время употреблялись для стрельбы в цель, а Баккет нашел у меня такие пистолеты, хотя ничего особенного в этом нет, и он мог бы найти их у меня когда угодно – в любой день, с тех пор как я содержу галерею-тир. Так что же я сделал бы, попав сюда, если б и впрямь совершил убийство? Я нанял бы адвоката.

Он умолк, заслышав, что кто-то отпирает замки и отодвигает засовы, и молчал, пока дверь не открыли и не закрыли опять. Вскоре я скажу, для чего ее открывали.

– Я нанял бы адвоката, а он сказал бы (как мне часто доводилось читать в газетах): «Мой клиент ничего не говорит, мой клиент временно воздерживается от защиты… мой клиент то, да се, да другое, да третье». Но я-то знаю, что у этого племени не в обычае идти напрямик и допускать, что другие идут прямым путем. Скажем, я не виновен, и я нанимаю адвоката. Скорей всего, он подумает, что я виновен… пожалуй, даже наверное так подумает. Что он будет делать, – все равно, поверит он мне или нет? Он будет действовать так, как будто я виновен: будет затыкать мне рот, посоветует не выдавать себя, скрывать обстоятельства дела, по мелочам опровергать свидетельские показания, вертеться, крутиться, и в конце концов он, может быть, меня вызволит – добьется моего оправдания. Но, мисс Саммерсон, как вы думаете,

хочу ли я, чтобы меня оправдали таким путем, или, по мне, лучше быть повешенным, а все-таки поступить по-своему?.. Извините, что я упоминаю о предмете, столь неприятном для молодой девицы.

Он уже вошел в азарт и больше не нуждался в том, чтобы «немножко подумать».

– Пусть уж лучше меня повесят, зато я поступлю по-своему. И я это твердо решил! Этим я не хочу сказать, – он оглядел всех нас, уперев свои сильные руки в бока и подняв темные брови, – этим я не хочу сказать, что мне больше других хочется, чтобы меня повесили. Я хочу сказать, что меня должны оправдать вполне, без всяких оговорок, или не оправдывать вовсе. Поэтому, когда говорят об уликах, которые против меня, но говорят правду, я подтверждаю, что это правда, а когда мне говорят: «Все, что вы скажете, может послужить материалом для следствия», – я отвечаю, что ничего не имею против!.. пускай служит. Если меня не могут оправдать на основании одной лишь правды, меня вряд ли оправдают на основании чего-то менее важного или вообще чего бы то ни было. А если и оправдают, этому для меня – грош цена.

Он сделал шага два по каменному полу, вернулся к столу и закончил свою речь следующими словами:

– Благодарю вас, мисс и джентльмены, горячо благодарю за ваше внимание и еще больше за участие. Я осветил вам все дело, как оно представляется простому кавалеристу, у

которого разум – все равно что тупой палаш. Я ничего хорошего в жизни не сделал, – вот только выполнял свой долг на военной службе, и если в конце концов случится самое худшее, я только пожну то, что посеял. Когда я очнулся от первого потрясения, после того как меня забрали и обвинили в убийстве, – а бродяга вроде меня, который столько шатался по свету, недолго оправляется от потрясений, – я обдумал, как мне себя вести, и сейчас объяснил это вам. Этой линии я и буду придерживаться. По крайней мере я не опозорю своих родных, не заставлю их хлебнуть горя и… вот все, что я могу вам сказать.

Когда дверь открыли – как я уже говорила раньше, – вошел человек такого же военного вида, как и мистер Джордж, но на первый взгляд не столь внушительный, а с ним – загорелая, с живыми глазами, здоровая на вид женщина, которая держала в руках корзинку и с самого своего прихода очень внимательно слушала все, что говорил мистер Джордж. Не прерывая своей речи, мистер Джордж приветствовал этих людей только дружеским кивком и дружеским взглядом. Теперь же он сердечно пожал им руки и сказал:

– Мисс Саммерсон и джентльмены, это мой старый товарищ Мэтью Бегнет. А это его жена миссис Бегнет.

Мистер Бегнет сдержанно поклонился нам по-военному, а миссис Бегнет присела.

– Они – мои истинные друзья, – сказал мистер Джордж. – Меня забрали из их дома.

– Подержанная виолончель, – вставил мистер Бегнет, сердито дергая головой. – С хорошим звуком. Для приятеля. Дело не в деньгах.

– Мэт, – сказал мистер Джордж, – ты слышал почти все, что я говорил этой леди и джентльменам! Ты, конечно, согласен со мной?

Мистер Бегнет, подумав, предоставил своей жене ответить на этот вопрос.

– Старуха, – проговорил он. – Скажи ему. Согласен я. Или нет…

– Ну, Джордж, – воскликнула миссис Бегнет, распаковывая свою корзинку, в которой лежали кусок холодной соленой свинины, пачка чаю, сахар и хлеб из непросеянной муки, – надо бы вам знать, что он никак с вами не согласен. Надо бы вам знать, что, послушавши вас, можно с ума спятить. Как же вас вызволить, если вы *этого* не хотите, *того* не желаете?.. Что это вам вздумалось так придираться да разбираться? Все это вздор и чепуха, Джордж.

– Не будьте строги ко мне в моих горестях, миссис Бегнет, – шутливо проговорил кавалерист.

– К черту ваши горести, если вы от них не умнеете! – вскричала миссис Бегнет. – Никогда в жизни не было мне так стыдно слушать дурацкую болтовню, как было стыдно за вас, когда вы тут всякий вздор городили. Адвокаты? А что, кроме вашей дурацкой придирчивости, мешает вам нанять хоть дюжину адвокатов, если этот джентльмен порекоменду-

ет их вам?

– Вот разумная женщина, – сказал опекун. – Надеюсь, вы уговорите его, миссис Бегнет.

– Уговорить его, сэр? – отозвалась она. – Бог с вами! Да вы не знаете Джорджа. Вот, глядите, – миссис Бегнет бросила корзинку и показала на мистера Джорджа своими смуглыми руками, не знавшими перчаток, – вот он какой! До чего он своевольный, до чего упрямый малый, – хоть кого выведет из терпения. Вы скорей вскинете на плечо сорокавосьмифунтовую пушку, чем разубедите этого человека, когда он забрал себе что-нибудь в голову и уперся на своем. Э, да неужто я его не знаю! – вскричала миссис Бегнет. – Неужто я вас не знаю, Джордж? Или вы после стольких лет вздумали корчить из себя неизвестно кого и втирать очки *мне*?

Дружеское негодование женщины сильно действовало на ее супруга, который несколько раз покачал головой, глядя на кавалериста и как бы убеждая его пойти на уступки. Время от времени миссис Бегнет бросала взгляд на меня, и по выражению ее глаз я поняла, что ей чего-то от меня хочется, но чего именно – я не могла догадаться.

– Вот уж много лет, как я перестала вас уговаривать, старина, – сказала миссис Бегнет, сдув пылинку со свинины и снова бросив на меня взгляд, – и когда леди и джентльмены узнают вас не хуже, чем знаю я, они тоже перестанут вас уговаривать. Если вы не слишком упрямы, чтобы принять кое-какие гостинцы, вот они!

– Принимаю с великой благодарностью. – отозвался кавалерист.

– В самом деле? – проговорила миссис Бегнет ворчливым, но довольно добродушным тоном. – Очень этому удивляюсь. Странно, что вы не хотите уморить себя голодом, лишь бы поставить на своем. Вот было бы похоже на вас! Может, вы теперь и до этого додумаетесь?

Тут она опять взглянула на меня; и теперь я поняла, что, глядя попеременно то на меня, то на дверь, она давала мне понять, что нам следует уйти и подождать ее за оградой тюрьмы. Передав это тем же способом опекуну и мистеру Вудкорту, я встала.

– Мы надеемся, что вы передумаете, мистер Джордж, – сказала я, – и когда снова придем повидаться с вами, найдем вас более благоразумным.

– Более благодарным вы меня не найдете, мисс Саммерсон, – отозвался он.

– Но надеюсь – более сговорчивым, – сказала я. – И прошу вас подумать о том, что необходимо раскрыть тайну и обнаружить преступника, – это дело первостепенной важности не только для вас, но, может быть, и для других лиц.

Он выслушал меня почтительно, но не обратил большого внимания на мои слова, которые я произнесла, слегка отвернувшись от него, – уже на пути к выходу. Он всматривался (как мне после сказали) в мое лицо и фигуру, которые почему-то вдруг привлекли его внимание.

– Любопытно, – проговорил он. – И ведь в тот раз я тоже так подумал!

Опекун спросил, что́ он имеет в виду.

– Видите ли, сэр, – ответил он, – когда в ночь преступления моя злосчастная судьба привела меня в дом убитого, по лестнице мимо меня прошла женщина, и хоть было темно, она показалась мне до того похожей на мисс Саммерсон, что я даже чуть было не заговорил с нею.

Я содрогнулась; такого ужаса я ни до, ни после этого не испытывала и, надеюсь, не испытаю и впредь.

– Она спускалась по лестнице, а я поднимался, – сказал кавалерист, – и когда она прошла мимо окошка, – в ту ночь светила луна, – я заметил, что на плечи у нее накинута широкая черная мантилья с длинной бахромой. Впрочем, это совершенно не относится к нашему делу, но сейчас мисс Саммерсон показалась мне до того похожей на ту женщину, что я сразу о ней вспомнил.

Я не могу определить и отделить одно от другого все те чувства, какие я испытала после его слов. Достаточно сказать, что если с самого начала мною владело смутное убеждение, что долг требует от меня наблюдать за ходом следствия по этому делу, – хоть я и не смела задавать себе никаких вопросов, – то сейчас это убеждение стало твердым; однако я с возмущением говорила себе, что у меня нет ни малейших оснований чего-то опасаться.

Мы втроем вышли из тюрьмы и стали прохаживаться

неподалеку от ворот, расположенных в уединенном месте. Долго ждать нам не пришлось, – мистер и миссис Бегнет тоже вышли из ворот и быстро подошли к нам.

На глазах у миссис Бегнет выступили слезы, ее пылающее лицо было взволнованно.

– Вы знаете, мисс, я и виду не показала Джорджу, какого я мнения о его деле, – призналась она, как только подошла к нам, – но он попал в скверную историю, бедняга!

– Нет, не думаю, если о нем позаботиться, если действовать осторожно и оказать ему помощь, – сказал опекун.

– Такому джентльмену, как вы, лучше знать, сэр, – заметила миссис Бегнет, поспешно вытирая глаза краем серой накидки, – но я за него беспокоюсь. Очень уж он неосторожный – говорил много такого, чего у него и на уме не было. Джентльмены присяжные, может, и не поймут его так, как понимаем мы с Дубом. К тому же собрали столько улик и столько свидетелей будут показывать против него, а Баккет такой хитрый.

– Подержанная виолончель. Говорил, что играл на флейте. В детстве, – добавил мистер Бегнет очень многозначительным тоном.

– Теперь вот что я вам скажу, мисс, – начала миссис Бегнет, – а когда я говорю «мисс», я говорю «все вы». Пойдемте-ка вон туда в уголок у стены, и я вам кое-что скажу.

И миссис Бегнет торопливо потащила нас в еще более уединенное место, но она так тяжело дышала от волнения,

что сначала не могла вымолвить ни слова, и мистеру Бегнету пришлось понукать ее:

– Скажи им, старуха!

– Так вот, мисс, – проговорила «старуха», развязывая ленты своей шляпы, чтобы свободнее было дышать, – легче сдвинуть с места Дуврский замок, чем сдвинуть Джорджа, когда он упрется на своем, если только не удастся найти какую-то новую силу, которая его сдвинет. И я эту силу нашла!

– Вы прямо сокровище, а не женщина! – сказал опекун. – Рассказывайте!

– Так вот что я вам скажу, мисс, – торопливо продолжала она, волнуясь и то и дело всплескивая руками. – Хоть он и говорит, что у него нет родных, но это сущая чепуха. Они ничего про него не знают, но зато он знает о них. Он кое-когда рассказывал мне о себе и – гораздо больше, чем другим, и не зря он как-то раз говорил моему Вулиджу, как это, мол, хорошо, если у матери не прибавилось ни одной морщинки, ни одного седого волоса по вине сына. Бьюсь об заклад на пятьдесят фунтов, что в тот день Джордж увидел свою мать. Она жива, и ее нужно привезти прямо сюда!

Тут миссис Бегнет, немедленно взяв в рот несколько булавок, принялась подкалывать подолы своих юбок, так чтобы они стали чуть короче серой накидки, и сделала она это изумительно быстро и ловко.

– Дуб, – сказала миссис Бегнет, – приглядывай за детьми, старик, и подай мне зонт! Я еду в Линкольншир, чтобы до-

ставить сюда старушку!

– Что она выдумала, эта женщина! – воскликнул опекун, сунув руку в карман. – Как же она поедет? Да хватит ли у нее денег?

Миссис Бегнет снова повозилась со своими юбками, вытащила кожаный кошелек, торопливо пересчитала лежавшие в нем несколько шиллингов, потом закрыла его с чувством полного удовлетворения.

– Не беспокойтесь обо мне, мисс. Я жена солдата и привыкла путешествовать одна. Ну, Дуб, – и миссис Бегнет расцеловалась с мужем, – один поцелуй тебе, старик, три детям. А теперь я отправилась в Линкольншир за матушкой Джорджа!

И она действительно уже тронулась в путь, в то время как мы трое только переглядывались, не помня себя от удивления. Она зашагала прочь твердым шагом, завернула за угол, и ее серая накидка скрылась из виду.

– Мистер Бегнет, – сказал опекун, – неужели вы так и отпустите ее?

– Ничего не поделаешь, – ответил тот. – Однажды приехала домой. Из другой части света. Вот в этой серой накидке. И с тем же зонтом. Что старуха скажет, то и делайте. Делайте! Когда старуха говорит: «Я *сама* сделаю». Она сама и сделает.

– Значит, она действительно такая добрая и честная, какой кажется, – заметил опекун, – а это очень много, – большего и не скажешь.

– Она знаменосец Несравненного батальона, – сказал мистер Бегнет и, уже уходя, еще раз оглянулся на нас. – И другой такой во всем свете не сыщешь. Но при ней я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину.

Глава LIII
След

Обстоятельства сложились так, что мистеру Баккету теперь частенько приходится совещаться со своим толстым указательным пальцем. Когда мистер Баккет обдумывает дела столь же важные, как то, которым он занят теперь, его толстый указательный палец как бы возвышается до положения демона-друга. Мистер Баккет прикладывает его к уху, и палец нашептывает ему нужные сведения; прикладывает к губам, и палец приказывает ему молчать; трет им нос, и палец обостряет его нюх; грозит им преступнику, и тот, как завороженный, выбалтывает гибельное признание. Авгуры из Храма Уголовного Розыска неизменно предсказывают, что, если уж мистер Баккет начал длительно совещаться со своим пальцем, значит, скоро можно ожидать грозного возмездия кому-то.

Мистер Баккет, в общем, – снисходительный философ, несклонный строго осуждать людские безрассудства, и обычно он изучает человеческую натуру не слишком ревностно; но теперь он заходит в десятки домов и без устали рыщет по бесчисленным улицам, хотя вид у него такой, словно он слоняется от нечего делать. С ближними своими он поддерживает самые дружеские отношения, а со многими даже не

прочь выпить за компанию. Деньгами он сорит не стесняясь, в обращении любезен, в беседе бесхитростен; однако в глубинах тихой реки его жизни струится подводное течение, которое направляется указательным пальцем.

Мистера Баккета не связывают ни пространство, ни время. Как и любой смертный, сегодня он здесь, а завтра его уже нет; но, не в пример простому смертному, послезавтра он опять тут как тут. Нынче вечером он, как будто из простого любопытства, осматривает железные гасители факелов у подъезда лондонского дома сэра Лестера Дедлока; а завтра утром будет в Чесни-Уолде ходить по террасе с полом, обитым свинцом, – той самой террасе, по которой некогда прохаживался старик, чей дух хотят умилостивить сотней гиней, обещанных за поимку убийцы. Мистер Баккет осматривает все вещи покойного – ящики, письменные столы, карманы – словом, все, что тому принадлежало. Несколько часов спустя он останется вдвоем с римлянином, и один будет по-прежнему указывать перстом вниз, а другой – поднимать указательный палец вверх.

Подобные занятия вряд ли совместимы с семейными радостями; во всяком случае, мистер Баккет теперь не бывает дома. А ведь он очень высоко ценит общество миссис Баккет – особы с врожденным сыскным нюхом, которая могла бы творить чудеса, если бы развила свой талант профессиональной практикой, но, не получив этой возможности, осталась просто любительницей, хотя и одаренной; однако ми-

стер Баккет избегает ее, лишая себя столь милого сердцу отдохновения. Миссис Баккет довольствуется общением и разговорами со своей жилицей (к счастью, женщиной приятной), в судьбе которой принимает участие.

В день похорон на Линкольновых полях собирается огромная толпа, и сэр Лестер Дедлок лично присутствует на церемонии. Строго говоря, кроме него, провожающих только трое: лорд Дудл, Уильям Баффи да изнемогающий кузен (которого прихватили с собой, чтобы составить две пары), но скорбных карет тьма-тьмущая. Аристократия соизволила выразить столько соболезнования на четырех колесах, сколько этому околотку в жизни не доводилось видывать. И так велико скопище гербов на дверцах карет, что кажется, будто вся Геральдическая палата сразу потеряла родителей. Герцог Фудл выслал роскошную карету – ни дать ни взять погребальный костер, осыпанный прахом и пеплом, – карету с серебряными втулками, патентованными осями, всеми новейшими усовершенствованиями и тремя осиротевшими лакеями шести футов ростом, торчащими на запятках, словно траурный султан. Все высокопоставленные кучера, сколько их есть в Лондоне, облачились в черные ливреи, и если покойный старик в поношенном одеянии питал некоторое пристрастие к породистым лошадям (что маловероятно), сегодня он может вдосталь налюбоваться ими.

Незаметный среди убитых горем факельщиков, экипажей и лошадиных ног, мистер Баккет сидит, притаившись, в од-

ной из скорбных карет и с удобством наблюдает за толпой сквозь решетчатые ставни ее окон. Он великий мастер следить за толпой, – как и за всем на свете, – и когда посматривает туда-сюда, то в правое окно кареты, то в левое, то поднимает глаза вверх на окна домов, то пробегает взглядом по головам людей, он ничего не упускает из виду.

«А, и ты здесь, мой дружок? – говорит себе мистер Баккет, подразумевая миссис Баккет, которая по его протекции получила место на крыльце дома, где жил покойный. – Вот как! Так-так! И ты, право же, выглядишь очень мило, миссис Баккет!»

Процессия еще не тронулась с места, – она ждет, чтобы из дому вынесли то, из-за чего все собрались. Мистер Баккет, расположившись в передней карете, украшенной гербами, чуть-чуть раздвигает ставни толстыми указательными пальцами обеих рук и наблюдает.

До чего нежна его супружеская любовь, – он прямо глаз не сводит с миссис Баккет. «Так вот ты где, мой дружок, а? – бормочет он себе под нос. – И ты взяла с собой нашу жилицу. Я за тобой присматриваю, миссис Баккет; надеюсь, ты чувствуешь себя прекрасно, дорогая?»

Ни слова больше не произносит мистер Баккет, но смотрит вокруг внимательнейшими глазами, пока не выносят завернутого в саван хранителя благородных тайн (Где теперь все эти тайны? По-прежнему ли он хранит их? Или они вместе с ним отбыли в это неожиданное путешествие?), – смот-

рит, пока процессия не трогается с места и картина перед его глазами не изменяется. После этого он усаживается поудобнее, словно тоже собирается куда-то ехать, и на всякий случай запоминает, как оборудована карета внутри – авось когда-нибудь пригодится.

Велико различие между мистером Талкингхорном, спрятанным в темном катафалке, и мистером Баккетом, спрятавшимся в темной карете. Неизмеримо пространство, окружающее маленькую ранку, которая повергла первого в непробудный сон, не тревожимый даже тряской по мостовым, и велико различие между этим пространством и тонкой нитью кровавого следа, которая держит второго в неусыпном и бдительном напряжении, заметном чуть не в каждом волосе на его голове! Но им обоим нет дела до этого различия: ни тот, ни другой ничуть этим не интересуются.

Мистер Баккет сидит в карете, как у себя дома, дожидаясь, пока вся процессия не пройдет мимо, затем выскальзывает на улицу, когда наступает момент, который он заранее наметил. И вот он направляет свои стопы в почти родной для него дом сэра Лестера Дедлока – дом, куда он вхож в любой час дня и ночи, где его всегда встречают гостеприимно и очень за ним ухаживают, где он знаком со всей челядью и окружен атмосферой таинственного величия.

Мистеру Баккету нет нужды стучать или звонить. Он запасся ключом от двери и может войти, когда ему заблагорассудится. В то время как он проходит по вестибюлю, Мерку-

рий докладывает:

– Вот для вас еще одно письмо, мистер Баккет; получено по почте, – и подает ему письмо.

– Неужели еще одно? – отзывается мистер Баккет.

Кто знает, быть может, Меркурий и томится любознательностью, возбужденной корреспонденцией мистера Баккета, но осторожный адресат вовсе не собирается ее удовлетворить. Мистер Баккет смотрит в лицо Меркурию с таким видом, словно это не лицо, но аллея в несколько миль длиной, которую он неторопливо просматривает из конца в конец.

– Скажите, у вас нет с собой табакерки? – осведомляется мистер Баккет.

К сожалению, Меркурий не нюхает табака.

– Достали бы мне щепотку, а? – просит мистер Баккет. – Вот спасибо. Все равно какого; насчет сорта я неразборчив. Вот уж спасибо так спасибо!

Не спеша взяв шепотку из табакерки, позаимствованной у кого-то из слуг, мистер Баккет долго и необычайно внимательно принюхивается к ней сперва одной ноздрей, потом другой, уверенным тоном объявляет, что табак как раз такой, какой ему нравится, и уходит с письмом в руках.

И вот мистер Баккет поднимается наверх в маленькую библиотеку, устроенную внутри большой, и хотя идет с таким видом, словно привык получать десятки писем в день, но, сказать правду, он никогда не вел обширной корреспонденции. Писать он не мастер – перо держит, как маленькую

карманную дубинку, которую всегда носит при себе, чтобы иметь ее под рукой, – и не поощряет других писать ему письма, поясняя, что это слишком безыскусственный и прямолинейный способ ведения щекотливых дел. Вдобавок ему нередко приходится наблюдать, как письма, компрометирующие репутации, представляются на рассмотрение суда в качестве вещественных доказательств, и он не без оснований полагает, что писать их было весьма неразумно. По этим причинам он почти никогда не пишет и не получает писем. Однако за последние двадцать четыре часа он получил их ровно полдюжины.

– И это тоже, – говорит мистер Баккет, развертывая только что полученное письмо, – это тоже написано тем же почерком и состоит из тех же двух слов.

Каких двух слов?

Он запирает дверь на ключ, снимает ремешок со своей черной записной книжки («книги судеб» для многих людей), вынимает из нее другое письмо и, положив его рядом с первым, читает в обоих разборчиво написанные слова: «Леди Дедлок».

– Да-да, – говорит мистер Баккет. – Но я мог бы заработать обещанную награду и без этой анонимной информации.

Положив письма в свою «книгу судеб» и снова затянув ее ремешком, он отпирает дверь как раз вовремя, чтобы принять обед, который ему приносят на роскошном подносе вместе с графином хереса. В дружеском кругу, где не нужно

стесняться, мистер Баккет нередко признает, что его ничем не корми, только дай ему выпить капельку хорошего, старого ост-индского хереса. Вот и теперь он наполнил и осушил рюмку, причмокнув от наслаждения, но не успел он приступить к еде, как его осеняет какая-то новая мысль.

Мистер Баккет бесшумно отворяет дверь и заглядывает в соседнюю комнату. В библиотеке никого нет, огонь в камине чуть теплится. Голубем облетев комнату, взгляд мистера Баккета опускается на тот стол, куда обычно кладут полученные письма. Там лежит несколько писем на имя сэра Лестера. Мистер Баккет подходит к столу и рассматривает адреса.

– Нет, – говорит он, – ни одного, написанного тем почерком нету. Значит, так пишут только мне. Завтра можно открыть все сэру Лестеру Дедлоку, баронету.

Затем он возвращается и с аппетитом обедает; а после того как он успел немного подремать, его приглашают в гостиную. В последние дни сэр Лестер вызывал его к себе туда каждый вечер и спрашивал, не может ли он сообщить что-нибудь новое. Изнемогающий кузен (чуть совсем не изнемогший на похоронах) и Волюмния тоже сидят в гостиной.

Мистер Баккет кланяется всем троим поочередно, но – по-разному. Сэру Лестеру – поклон почтительный; Волюмнии – поклон галантный; изнемогающему кузену – поклон старого знакомого, небрежно дающий понять, что «ты, мол, братец, известный повеса, из золотой молодежи; ты меня знаешь, и я тебя знаю». Продемонстрировав этими тонкими

оттенками свой такт, мистер Баккет потирает руки.

– Нет ли у вас чего-нибудь нового, инспектор? – спрашивает сэр Лестер. – Вы бы не хотели побеседовать со мною наедине?

– Побеседовать… нет, не сегодня, сэр Лестер Дедлок, баронет.

– Не забудьте, – продолжает сэр Лестер, – что мое время целиком в вашем распоряжении, ибо я стремлюсь восстановить попранное величие закона.

Мистер Баккет, кашлянув, устремляет взор на Волюмнию, нарумяненную и в жемчужном ожерелье, словно желая почтительно заметить: «А ты еще очень недурна собой. В твоем возрасте многие дамочки, право же, выглядят гораздо хуже».

Очаровательная Волюмния, возможно, подозревает о смягчающем влиянии своих прелестей и, перестав писать какие-то треугольные записки, мечтательно поправляет жемчужное ожерелье. Мистер Баккет мысленно подсчитывает, сколько может стоить это драгоценное украшение, и решает, что Волюмния сейчас, вероятно, сочиняет стихи.

– Если я еще не просил вас, инспектор, – продолжает сэр Лестер, – не просил самым настоятельным образом проявить все ваше мастерство при расследовании этого зверского преступления, то я немедленно воспользуюсь случаем исправить оплошность, которую я, быть может, сделал. Не думайте о затратах. Я готов взять на себя все расходы. Только добейтесь цели, а тратить можете сколько угодно, – я без коле-

баний оплачу все ваши издержки.

В ответ на эту щедрость мистер Баккет снова отвесил сэру Лестеру почтительный поклон.

– Как и следовало ожидать, – добавляет сэр Лестер с горячностью возмущенного человека, – ко мне еще не вернулось душевное спокойствие, нарушенное в тот день, когда произошло это страшное событие. Да и вряд ли я когда-нибудь успокоюсь. Но сегодня, после того как мне пришлось подвергнуться тяжкому испытанию – предать земле останки верного, усердного и приверженного мне человека, – я негодую.

Голос у сэра Лестера дрожит, его седые волосы топорщатся на голове. На глазах у него слезы; лучшая часть его существа в смятении.

– Я заявляю, – продолжает он, – я торжественно заявляю, что, пока преступника не найдут и не покарают по закону, я буду считать, что имя мое запятнано. Джентльмен, посвятивший мне значительную часть своей жизни, джентльмен, посвятивший мне последний день своей жизни, джентльмен, постоянно сидевший за моим столом и спавший под моим кровом, уходит из моего дома к себе, и спустя час после того, как он покинул мой дом, его убивают. Быть может, за ним шли по пятам от самого моего дома, следили, пока он был в моем доме, и даже наметили его жертвой именно потому, что он был связан с моим домом, – кто знает, а вдруг его связь с моим домом как раз и вызвала предположение, что

он владеет более крупным состоянием и вообще более важное лицо, чем могло бы показаться по его скромному образу жизни. Если я, с моими средствами, моим влиянием, моим общественным положением, не смогу обнаружить и уличить виновников столь страшного злодеяния, я погрешу против уважения к памяти этого джентльмена и моей верности тому, кто был всегда верен мне.

Пока он с глубоким волнением и искренностью произносит эту декларацию, оглядывая комнату с таким видом, словно обращается к большому обществу, мистер Баккет смотрит на него внимательно и серьезно, и в этом взгляде, – как ни дерзко подобное предположение, – быть может, есть доля сострадания.

– Сегодняшняя погребальная церемония, – продолжает сэр Лестер, – наглядно показала, каким уважением пользовался мой покойный друг, – он делает ударение на последнем слове, ибо смерть уравнивает сильных мира сего и малых сих, – каким уважением пользовался мой покойный друг среди цвета наших соотечественников, а мое присутствие на этой церемонии, как я уже говорил, растравило рану, нанесенную мне этим тягчайшим и дерзновенным преступлением. Если бы его совершил даже мой родной брат, я бы его не пощадил.

Вид у мистера Баккета очень серьезный. Волюмния говорит, что покойный был таким преданным, таким обаятельным человеком!

– Надо думать, вам его очень недостает, мисс, – произносит мистер Баккет успокоительным тоном. – Можно было заранее предвидеть, что вам его будет недоставать; мне это яснее ясного.

В ответ Волюмния дает понять мистеру Баккету, что ее чувствительная душа не оправится от этого удара до самой смерти, что нервы ее расстроены навсегда и больше уж она не питает ни малейшей надежды на то, что когда-нибудь будет в силах улыбнуться. Тем временем она складывает треугольником письмо, адресованное грозному старому генералу в Бат и рисующее меланхолическое состояние ее духа.

– Потрясение для деликатной особы женского пола, – сочувственно говорит мистер Баккет, – но со временем все это пройдет.

Волюмнии больше всего на свете хочется знать, что происходит. Признают ли виновным – или как это там называется – этого ужасного солдата? Были ли у него сообщники – или как их там называют в суде? И она задает еще множество таких же простодушных вопросов.

– Видите ли, мисс, – отвечает мистер Баккет, убедительно покачав указательным пальцем (и так он галантен от природы, что чуть было не добавил «душечка моя!»), – в настоящее время ответить на эти вопросы нелегко. Именно в настоящее время. Изволите видеть, сэр Лестер Дедлок, баронет, – вовлекая в разговор баронета, мистер Баккет отдает дань его знатности, – этим делом я занимаюсь день и ночь.

Если б не рюмка-другая хересу, мне, пожалуй, не удалось бы выдержать такое умственное напряжение. Я мог бы ответить на ваши вопросы, мисс, но это запрещает служебный долг. Сэр Лестер Дедлок, баронет, в самом скором времени будет осведомлен обо всем, что уже удалось выяснить. И я надеюсь, – мистер Баккет снова принимает серьезный вид, – что он получит удовлетворение.

Изнемогающий кузен надеется только, что кого-нибудь казнят… в назидание пгочим. Полагает, что в нынешние вгемена… повесить челаэка тгудней… чем достать челаэку место… хотя бы на десять тыщ в год. Не сомневается… что в пгимег пгочим… гогаздо лучше повесить не того, кого надо… чем никого.

– Видите ли, сэр, вы знаете жизнь, – говорит мистер Баккет, одобрительно подмигивая и сгибая палец, – и можете подтвердить то, что я сказал этой леди. Не к чему говорить *вам*, что, получив информацию, я взялся за работу. Вы знаете такие вещи, о каких леди и понятия не имеют, да этого от них и ждать нельзя. Бог мой! Особенно когда леди занимают столь высокое положение в обществе, как вы, мисс, – объясняет мистер Баккет, даже покраснев от того, что опять чуть было не сказал «душечка».

– Волюмния, – внушает сэр Лестер, – инспектор верен своему долгу и совершенно прав.

Мистер Баккет бормочет:

– Я рад, что удостоился вашего одобрения, сэр Лестер

Дедлок, баронет.

– В самом деле, Волюмния, – продолжает сэр Лестер, – вы не подаете примера, достойного подражания, задавая инспектору подобные вопросы. Он сам наилучший судья во всем, что касается его ответственности; он отвечает за свои действия. И нам, помогающим издавать законы, не подобает препятствовать и мешать тем, кто приводит их в исполнение. Или, – сэр Лестер теперь говорит довольно суровым тоном, ибо Волюмния пыталась перебить его раньше, чем он успел закончить фразу, – или тем, кто восстанавливает их поруганное величие.

Волюмния смиренно объясняет, что ею движет не простое любопытство (вообще столь свойственное юным и ветреным представительницам ее пола), но что она положительно умирает от жалости и участия к милейшему человеку, утрату которого оплакивают все.

– Прекрасно, Волюмния, – говорит сэр Лестер. – В таком случае вам надлежит быть как можно более осмотрительной.

Мистер Баккет пользуется паузой, чтобы снова заговорить.

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, с вашего позволения и между нами, я не прочь сообщить этой леди, что считаю расследование дела почти законченным. Это великолепное дело… великолепное… а то немногое, чего не хватает, чтобы его закончить, я надеюсь раздобыть через несколько часов.

– Я от души рад слышать об этом, – отзывается сэр Ле-

стер. – Это можно поставить вам в большую заслугу.

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, – продолжает мистер Баккет очень серьезным тоном, – надеюсь, это будет поставлено мне в заслугу и одновременно принесет удовлетворение всем. Видите ли, мисс, – объясняет мистер Баккет, устремляя серьезный взгляд на сэра Лестера, – когда я говорю, что это великолепное дело, надо понимать – великолепное с моей точки зрения. С точки зрения других лиц, такие дела всегда более или менее неприятны. Бывает, что мы узнаем о весьма странных происшествиях в семейных домах, мисс, – таких происшествиях, верьте мне, что вы бы сказали: да это просто чудеса в решете.

Волюмния соглашается с ним, издав легкое взвизгивание невинного младенца.

– Да, мисс, и даже – в благороднейших семействах, знатнейших семействах, высокопоставленных семействах, – говорит мистер Баккет и снова искоса бросает на сэра Лестера серьезный взгляд. – Я и раньше имел честь оказывать услуги высокопоставленным семействам; и вы представить себе не можете – ну, пойду дальше, скажу, что даже вы не можете себе представить, сэр, – обращается он к изнемогающему кузену, – какие порой случаются истории!

Кузен, который от неизбывной скуки то и дело нахлобучивал себе на голову диванные подушки, зевает и произносит: «Весь-а-ятно», – что означает: «Весьма вероятно».

Рассудив, что теперь как раз настала пора отпустить ин-

спектора, сэр Лестер властно прекращает разговор словами: «Очень хорошо. Благодарю вас!», а мановением руки объявляет, что беседа кончена, и если высокопоставленные семейства предаются низким порокам, то пусть они сами и расхлебывают все последствия.

– Не забудьте, инспектор, – снисходительно добавляет он, – что я в вашем распоряжении во всякое время, когда вам будет угодно.

Мистер Баккет (все с тем же серьезным видом) спрашивает: удобно ли будет сэру Лестеру принять его завтра утром, в случае, если, как и надо ожидать, дело подвинется вперед? Сэр Лестер отвечает: «В любое время!» Мистер Баккет, отвесив свои три поклона, направляется к выходу, но вдруг вспоминает нечто, о чем совсем было позабыл.

– Кстати, могу я спросить, – осведомляется он вполголоса, из осторожности вернувшись на прежнее место, – кто повесил на лестнице объявление о награде?

– Это *я* велел повесить его туда, – отвечает сэр Лестер.

– Вы не сочтете меня дерзким, сэр Лестер Дедлок, баронет, если я спрошу вас – зачем?

– Вовсе нет. Я выбрал это место как одно из самых заметных в доме. Мне кажется, что чем чаще объявление будет бросаться в глаза людям, тем лучше. Я хочу внушить всем в моем доме мысль о том, как тяжко это преступление, как твердо я решил покарать виновника и как безнадежны любые попытки избежать возмездия. Впрочем, инспектор, вы

знаете дело лучше меня, и если вы имеете какие-либо возражения…

Мистер Баккет пока не имеет никаких возражений; раз уж объявление есть, лучше его не снимать. Снова отвесив каждому из троих по поклону, он удаляется и закрывает дверь, а Волюмния слабо взвизгивает перед тем, как сказать, что этот восхитительно ужасный человек – просто какое-то вместилище страшных тайн.

Любя общество и умея приноравливаться ко всем его слоям, мистер Баккет останавливается в вестибюле перед камином, где в этот ранний зимний вечер пылает яркий, пышущий жаром огонь, и восторгается Меркурием.

– Ну и рост у вас, – шесть футов и два дюйма будет, а? – говорит мистер Баккет.

– И три дюйма, – отвечает Меркурий.

– Не может быть! До чего вы широки в плечах! – на первый взгляд и не угадаешь, что такой рослый. Вы не из тонконогих, э, нет! Скажите, вас никогда не лепил скульптор, натурщиком быть не доводилось?

Задавая этот вопрос, мистер Баккет слегка повернул и наклонил голову, придав такое выражение своим глазам, что его можно принять за ценителя искусств.

Меркурию никогда не доводилось быть натурщиком.

– А жаль; надо бы вам попробовать, – говорит мистер Баккет. – Один мой приятель-скульптор, – вы скоро услышите, что он попал в Королевскую академию, – дорого бы дал за то,

чтобы сделать с вас набросок, а потом изваять вашу статую из мрамора. Миледи, кажется, нет дома?

– Уехала на званый обед.

– Выезжает чуть не каждый день, а?

– Да.

– И немудрено! – говорит мистер Баккет. – Такая роскошная женщина, такая красавица, такая изящная, такая шикарная, да она прямо украшение для любого дома, куда бы ни поехала, ни дать ни взять – свежий лимон на обеденном столе. А ваш папаша служил по той же части, что и вы?

Следует отрицательный ответ.

– Мой служил по этой самой, – говорит мистер Баккет. – Сначала он был мальчиком на побегушках, потом ливрейным лакеем, потом дворецким, потом управляющим, а потом уж завел свой собственный трактир. При жизни пользовался всеобщим уважением, а когда умер – все по нем плакали. Лежа на смертном одре, говорил, что считает годы, проведенные в услужении, самым почетным временем своей жизни; да так оно и было. У меня родной брат в услужении и брат жены тоже. А что, у миледи хороший характер?

– Обыкновенный, – ответствует Меркурий. – Какой у всех леди, такой и у нее.

– Так! – отзывается мистер Баккет. – Значит, немножко избалована? Немножко капризна? Бог мой! Чего еще можно ожидать от женщин, если они такие красотки? За это-то самое они нам и нравятся, правда?

Засунув руки в карманы своих коротких атласных штанов персикового цвета и вытянув стройные ноги в шелковых чулках, Меркурий тоном заправского ловеласа говорит, что не может этого отрицать.

Слышен стук колес и неистовый звон колокольчика.

– Легка на помине! – говорит мистер Баккет. – Приехала!

Распахивается дверь, и миледи проходит по вестибюлю. Как всегда, очень бледная, она одета в полутраур, и на руках у нее два великолепных браслета. Красота этих браслетов, а может, и красота ее рук привлекает внимание мистера Баккета. Жадным взором он смотрит на них и чем-то бренчит у себя в кармане… быть может, медяками.

Заметив его издали, миледи устремляет вопросительный взгляд на другого Меркурия, того, что привез ее домой.

– Это мистер Баккет, миледи.

Шаркнув ножкой, мистер Баккет приближается к миледи, водя перед губами своим демоном-другом.

– Вы дожидаетесь сэра Лестера?

– Нет, миледи; я его уже видел.

– Вам нужно что-нибудь сказать мне?

– Не сейчас, миледи.

– Узнали что-нибудь новое?

– Кое-что, миледи.

Разговор ведется на ходу. Она даже не остановилась и плавно поднимается по лестнице одна. Подойдя ближе, мистер Баккет смотрит, как она поднимается по тем ступеням,

по которым старик спустился в могилу, проходит мимо грозной скульптурной группы вооруженных воинов и их теней на стене, проходит мимо печатного объявления, на которое бросает взгляд, и скрывается из виду.

– Обольстительная женщина, прямо обольстительная, – говорит мистер Баккет, вернувшись к Меркурию. – Вот только вид у нее не особенно здоровый.

Она и впрямь не особенно здорова, поясняет Меркурий. Мигрень замучила.

Неужели? Какая жалость! Так надо побольше гулять, советует мистер Баккет. Да она уже пробовала лечиться прогулками, говорит Меркурий. Иной раз гуляет часа по два, если чувствует себя скверно. И даже по ночам.

– А вы уверены, что рост у вас целых шесть футов и три дюйма? – спрашивает мистер Баккет. – Простите, что перебил.

В этом нет ни малейших сомнений.

– А я бы не подумал – до того вы хорошо сложены. И наоборот – взять к примеру хоть лейб-гвардейцев: считаются красавцами, а сложены препаршиво… Так, значит, гуляет даже по ночам? Однако только при лунном свете, конечно?

Ну, конечно. При лунном свете! Конечно. Разумеется! Собеседники что-то уж очень разговорчивы и охотно поддакивают друг другу.

– А сами вы, должно быть, не имеете привычки гулять? – продолжает мистер Баккет. – Не хватает времени, надо ду-

мать?

А хоть бы и хватало, так Меркурий не любит гулять. Предпочитает делать моцион на запятках.

– Оно и понятно, – соглашается мистер Баккет. – Разве можно сравнить гулянье с катаньем? Помнится, – продолжает мистер Баккет, грея себе руки и с приятностью поглядывая на пламя, – она ходила гулять в тот самый вечер, когда все это произошло.

– А как же, конечно, ходила! Я же сам и провел ее в сад, что через дорогу от нас.

– И оставили ее там, а сами ушли. Ну да, конечно, ушли. Я видел, как вы уходили.

– А я не видел *вас*, – говорит Меркурий.

– Да я, по правде сказать, торопился, – объясняет мистер Баккет, – пошел, знаете, навестить свою тетку – она живет в Челси, через два дома от старого Бан-Хауса; девяносто лет стукнуло старухе, одинокая, имеет небольшое состояние. Ну вот, я случайно и проходил мимо сада, в то время как вы отошли. Позвольте. В котором часу это было? Кажется, десяти еще не было.

– В половине десятого.

– Правильно. В половине десятого. И, если не ошибаюсь, миледи была в широкой черной мантилье с длинной бахромой?

– Ну да, в мантилье.

Ну да, конечно. Мистер Баккет должен вернуться наверх,

потому что у него есть там небольшое дельце, но сначала он хочет пожать руку Меркурию в благодарность за приятную беседу и спросить, не согласится ли Меркурий – мистер Баккет больше ни о чем не попросит, – не согласится ли он, когда у него выпадет полчасика свободного времени, уделить его скульптору Королевской академии к обоюдному удовольствию?

Глава LIV
Взрыв мины

Бодрый и свежий после сна, мистер Баккет встает спозаранку и готовится к боевому дню. Облачившись в чистую рубашку и вооружившись мокрой головной щеткой, каковым орудием он в торжественных случаях приглаживает те скудные остатки растительности, которые еще уцелели у него на черепе после суровой жизни, посвященной всякого рода расследованиям, мистер Баккет приводит себя в парадный вид, после чего начинает запасаться пищей и, первым делом заложив основу завтрака двумя бараньими отбивными, добавляет к ним в соответствующей пропорции чай, крутые яйца, гренки и варенье. Насладившись этими питательными яствами и закончив хитроумное совещание со своим демоном-другом, он конфиденциально поручает Меркурию негласно «доложить сэру Лестеру, баронету, что в любое время, когда он будет готов принять меня, я буду готов явиться». Милостивый ответ гласит, что сэр Лестер поторопится закончить свой туалет и через десять минут выйдет к мистеру Баккету в библиотеку, а мистер Баккет, направив свои стопы в эту комнату, становится перед камином и, приложив палец к подбородку, смотрит на рдеющие угли. Мистер Баккет задумчив, как человек, которому предстоит трудная ра-

бота, но спокоен, тверд и уверен в себе. Глядя на него, можно подумать, что он знаменитый игрок в вист на большие ставки, – скажем, от ста гиней и выше, – который уже уверен в выигрыше, но, стремясь поддержать свою блестящую репутацию, хочет вплоть до самой последней взятки разыгрывать игру мастерски. Ни тени тревоги или смущения не обнаруживает мистер Баккет, когда появляется сэр Лестер, но в то время, как баронет медленно идет к креслу, сыщик по-вчерашнему искоса поглядывает на него, внимательно и серьезно; а вчера в этом взгляде, сколь ни дерзка подобная мысль, пожалуй, была и доля сострадания.

– Простите, что я заставил вас ждать, инспектор, но сегодня утром я встал немного позже обычного. Я не особенно хорошо себя чувствую. Чувства негодования и волнения, которые я испытал в последние дни, отозвались на моем здоровье. Я подвержен… подагре. – Сэр Лестер хотел было сказать «недомоганиям», да так и сказал бы всякому другому, но мистер Баккет явно все знает про его подагру. – А последние события вызвали новый приступ.

Он садится с трудом и, видимо, превозмогая боль, а мистер Баккет подвигается поближе к нему и кладет на стол свою большую руку.

– Я не знаю, инспектор, – говорит сэр Лестер, поднимая на него глаза, – хотите ли вы, чтобы мы остались одни, но всецело предоставляю это на ваше усмотрение. Если вы хотите побеседовать со мной наедине, пожалуйста. Если нет,

мисс Дедлок было бы интересно…

– Изволите видеть, сэр Лестер Дедлок, баронет, – объясняет мистер Баккет, вкрадчиво склонив голову набок и приложив указательный палец к уху, как серьгу, – сейчас нам необходимо остаться вдвоем. Нам прямо-таки необходимо остаться вдвоем, и вы это вскоре поймете. В любой обстановке присутствие леди, и особенно столь высокопоставленной, как мисс Дедлок, для меня только приятно, но дело не во мне, и в данном случае, осмелюсь вас заверить, нам необходимо остаться вдвоем.

– Пусть так.

– Больше того, сэр Лестер Дедлок, баронет, – продолжает мистер Баккет, – я как раз хотел попросить у вас разрешения запереть дверь на ключ.

– Пожалуйста.

Ловко и бесшумно принимая эту предосторожность, мистер Баккет по привычке становится на одно колено и старается так повернуть ключ в скважине, чтобы и одним глазком нельзя было заглянуть в эту комнату из соседней.

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, я говорил вчера вечером, что мне лишь очень немногого недостает, чтобы закончить расследование. Теперь я его закончил и собрал все необходимые и достаточные улики против лица, совершившего преступление.

– Против солдата?

– Нет, сэр Лестер Дедлок, не против солдата.

Удивленно глядя на него, сэр Лестер осведомляется:

– Преступник заключен в тюрьму?

Мистер Баккет отвечает ему после небольшой паузы:

– Преступление совершила женщина.

Сэр Лестер откидывается на спинку кресла и, едва переводя дух, восклицает:

– Праведное небо!

– Теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет, – начинает мистер Баккет, стоя перед сидящим баронетом, и, упершись ладонью одной руки в библиотечный стол, выразительно поводит указательным пальцем другой, – теперь я обязан подготовить вас к некоторым известиям, которые могут нанести и, скажу больше, безусловно нанесут вам удар. Но, сэр Лестер Дедлок, баронет, вы джентльмен, а я знаю, что такое джентльмен и на что джентльмен способен. Джентльмен может перенести удар, когда это неизбежно, перенести твердо и стойко. Джентльмен может заставить себя перенести почти что любой удар. Да вот взять к примеру хоть вас самих, сэр Лестер Дедлок, баронет. Если вам наносят удар, вы, натурально, думаете о своем роде. Вы спрашиваете себя, как перенесли бы все ваши предки, вплоть до Юлия Цезаря, – пока что дальше не пойдем, – как все они перенесли бы подобный удар; вы вспоминаете, что десятки ваших предков способны были перенести удар мужественно, и сами вы переносите его мужественно в память о них и для поддержания родовой чести. Вот как вы рассуждаете и вот как вы действуете, сэр Лестер

Дедлок, баронет.

Сэр Лестер сидит, откинувшись назад с каменным лицом, и, вцепившись в ручки кресла, смотрит на мистера Баккета.

– Теперь, сэр Лестер Дедлок, – продолжает мистер Баккет, – подготовив вас таким образом, я буду просить вас ни минутки не огорчаться тем, что кое-какие обстоятельства стали известны *мне*. Я знаю так много о стольких людях, и знатных и простых, что одним фактом больше, одним – меньше, роли не играет. Как бы ни передвигались фигуры на шахматной доске, кого-кого, а *меня* это не удивит, и если мне стало известно, каким образом они передвинулись, так это не имеет ровно никакого значения, так как я знаю по опыту, что любая их перестановка (особенно если она сделана не по правилам) вполне возможна. Следовательно, вот что я вам скажу, сэр Лестер Дедлок, баронет: не огорчайтесь только потому, что мне стали известны кое-какие ваши семейные дела.

– Благодарю вас за старание подготовить меня, – говорит после небольшой паузы сэр Лестер, не шевельнув ни рукой, ни ногой и не меняясь в лице, – хочу верить, что в этом не было нужды, но, впрочем, отдаю должное вашим добрым побуждениям. Продолжайте, пожалуйста. А также, – сэр Лестер как-то съеживается, явно тяготясь тем, что перед глазами у него маячит фигура сыщика, – прошу вас, присядьте, если ничего не имеете против.

Вовсе нет. Мистер Баккет приносит себе стул и, усевшись,

тем самым несколько укорачивает свою фигуру.

– Теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет, после этого короткого предисловия я приступаю к делу. Леди Дедлок…

Выпрямившись в кресле, сэр Лестер бросает на сыщика гневный взор. Мистер Баккет делает успокоительное движение пальцем.

– Леди Дедлок, как вам известно, вызывает всеобщее восхищение. Да, всеобщее восхищение, – вот какая она, ее милость, – отмечает мистер Баккет.

– Я, безусловно, предпочел бы, инспектор, – холодно внушает ему сэр Лестер, – чтобы в нашей беседе имя миледи совершенно не упоминалось.

– И я предпочел бы, сэр Лестер Дедлок, баронет, но… Это невозможно.

– Невозможно?

Мистер Баккет неумолимо качает головой.

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, это никак невозможно. То, что я обязан вам сказать, относится к ее милости. Она – ось, вокруг которой вертится все.

– Инспектор, – возражает сэр Лестер с яростью во взоре и дрожью в губах, – вы знаете, в чем заключается ваш долг. Исполняйте свой долг, но берегитесь выходить за его пределы. Этого я не потерплю. Этого я не вынесу. Если вы припутаете к этому делу имя миледи, вы за это ответите… вы за это ответите… Имя миледи не такое имя, которое могут трепать все и каждый!

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, я скажу только то, что обязан сказать, не больше.

– Надеюсь, что так оно и будет. Отлично. Продолжайте. Продолжайте, сэр!

Глядя в эти гневные глаза, которые теперь избегают его, глядя на этого разгневанного человека, что дрожит с головы до ног, но тщится сохранить спокойствие, мистер Баккет, нащупывая себе путь указательным пальцем, продолжает вполголоса:

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, мой долг сказать вам, что покойный мистер Талкингхорн с давних пор относился к леди Дедлок недоверчиво и подозрительно.

– Если б он только посмел намекнуть мне на это, сэр, – но он не посмел, – я бы убил его своими руками! – кричит сэр Лестер, стукнув кулаком по столу.

Но в самом разгаре вспыхнувшей ярости он умолкает, скованный проницательным взглядом мистера Баккета, а тот, твердо уверенный в себе, медленно поводит указательным пальцем, терпеливо покачивая головой.

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, покойный мистер Талкингхорн был человек замкнутый, скрытный, и я не знаю наверное, что именно было у него на уме в первую пору вашего брака. Но, как я слышал от него самого, он давно уже подозревал, что леди Дедлок – в этом доме и в вашем присутствии, сэр Лестер Дедлок, – догадалась, взглянув на какую-то рукопись, что некий человек еще жив и живет в нищете –

человек, который любил ее, прежде чем вы начали за ней ухаживать, и обязан был на ней жениться… – Мистер Баккет делает паузу и повторяет решительным тоном: – Обязан был на ней жениться… бесспорно, обязан. Я слышал от самого мистера Талкингхорна, что спустя короткое время этот человек умер, а после его смерти мистер Талкингхорн заподозрил леди Дедлок в том, что она посетила, одна и тайком, убогое жилище и убогую могилу покойного. Я узнал – после того как навел справки и кое-что увидел и услышал, – что леди Дедлок действительно ходила туда в платье своей горничной, а узнал потому, что покойный мистер Талкингхорн поручил мне следить за ее милостью, – простите, что употребляю выражение, которое у нас в ходу, – и я ее выследил. В его конторе, на Линкольновых полях, я устроил очную ставку этой горничной со свидетелем, который служил проводником леди Дедлок, и тут уж не осталось сомнений в том, что ее милость без ведома этой девицы надевала ее платье. Сэр Лестер Дедлок, баронет, я вчера сделал попытку подготовить вас к столь неприятным разоблачениям, подчеркнув, что даже в высокопоставленных семействах порой случаются очень странные происшествия. Все, о чем я говорил сейчас, и еще кое-что произошло в вашем собственном семействе, с вашей собственной супругой и через нее. Я думаю, что покойный мистер Талкингхорн продолжал расследование до своего смертного часа и что в тот роковой вечер у него с леди Дедлок был по этому поводу крупный разго-

вор. Теперь вы только передайте все это леди Дедлок, сэр Лестер Дедлок, баронет, и спросите ее милость, что произошло вскоре после того, как он ушел отсюда, – не ходила ли она к нему домой, чтобы сказать ему еще что-то, и не надела ли она тогда широкой черной мантильи с длинной бахромой?

Сэр Лестер Дедлок сидит как статуя, устремив взор на беспощадный палец, вонзающийся в святая святых его сердца.

– Передайте все это ее милости, сэр Лестер Дедлок, баронет, от моего имени, от имени Баккета, инспектора сыскного отделения. И если ее милость будет отпираться, скажите ей, что – напрасно… ибо инспектор Баккет знает все – знает, что она проходила мимо солдата, как вы его называете (хотя теперь он в отставке), и знает, что она видела этого солдата, когда разминулась с ним на лестнице. Теперь, сэр Лестер Дедлок, баронет, зачем я все это говорю?

Закрыв лицо руками, сэр Лестер со стоном просит мистера Баккета немного помолчать. Но вскоре он отнимает руки от лица, так хорошо сохраняя достойный вид и внешнее спокойствие, – хотя его лицо так же бело, как волосы, – что мистеру Баккету становится даже немного страшно. Сэр Лестер всегда замкнут в раковине своей надменности, но сейчас его оледенило и сковало еще что-то, и мистер Баккет вскоре замечает, что речь его становится необычно медлительной, а начиная говорить, он иногда с трудом произносит какие-то нечленораздельные звуки. Подобными звуками он сейчас и нарушает молчание; однако вскоре овладевает со-

бой и заставляет себя выговорить, что не может постичь, каким образом столь преданный и усердный джентльмен, каким был покойный мистер Талкингхорн, ничего не сказал ему об этих прискорбных, печальных, непредвиденных, потрясающих, невероятных обстоятельствах.

– Повторяю, сэр Лестер Дедлок, баронет, – продолжает мистер Баккет, – передайте мои слова ее милости, и пусть она сама все объяснит. Расскажите об этом ее милости, если найдете нужным, от имени Баккета, инспектора сыскного отделения. Или я ничего не понимаю в людях, или вы узнаете, что покойный мистер Талкингхорн сам бы сообщил все это вам, как только решил бы, что настало время; узнаете даже, что он дал это понять ее милости. Более того, он, возможно, рассказал бы вам обо всем в то самое утро, когда я осматривал его тело! Ведь вы не знаете, что́ именно я собираюсь сказать и сделать через пять минут, сэр Лестер Дедлок, баронет; допустим, что меня сейчас пристукнут, вы тогда, чего доброго, станете удивляться, почему я не сделал того, что собирался сделать, не так ли?

Правильно. Сэр Лестер делает огромное усилие, стараясь не испускать нечленораздельных звуков, и ему удается выдавить из себя слово: «Правильно».

Но вдруг из вестибюля доносятся чьи-то громкие голоса. Прислушавшись к ним, мистер Баккет идет к двери и, бесшумно повернув ключ, открывает ее, а затем снова прислушивается. Немного погодя он оглядывается и говорит тороп-

ливым, но спокойным шепотом:

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, эта прискорбная семейная история разглашена, чего я и ожидал, после того, как покойный мистер Талкингхорн скончался так внезапно. Единственный шанс замять ее – это впустить сюда людей, которые сейчас препираются внизу с вашими лакеями. Может, вы посидите спокойно – ради чести вашего рода, – пока я разделаюсь с ними? И будьте так любезны, кивните мне головой, когда вам покажется, что я прошу кивнуть.

Сэр Лестер отвечает заплетающимся языком: «Как знаете, инспектор, как знаете!», а мистер Баккет, кивнув ему и с проницательным видом согнув указательный палец, шмыгает вниз в вестибюль, после чего голоса быстро умолкают. Вскоре он возвращается, а в нескольких шагах за ним шествует Меркурий, который вместе с другим родственным ему божеством в пудреном парике и персиковых штанах несет в кресле расслабленного старика. За ними идут мужчина и две женщины. Приветливо и непринужденно указав, куда поставить кресло, мистер Баккет отпускает обоих Меркуриев и снова запирает дверь на ключ. Сэр Лестер смотрит ледяным взором на это вторжение в его святилище.

– Ну-с, вы, может, знаете меня, леди и джентльмены, – начинает мистер Баккет конфиденциальным тоном. – Я Баккет, инспектор сыскного отделения, вот кто я такой, а вот это, – говорит он, высунув из внутреннего кармана кончик своей дубинки, которая всегда у него под рукой, – это знак

моей власти. Значит, вы хотите видеть сэра Лестера Дедлока, баронета? Прекрасно! Вы его видите, и заметьте себе, что не всякий может удостоиться такой чести. Ваша фамилия Смоллуид, дедушка, вот какая у вас фамилия, и мне она хорошо известна.

– Ну и что же? Вы ведь о ней ничего дурного не слышали! – визжит мистер Смоллуид громко и пронзительно.

– А вы, случайно, не знаете, за что зарезали одну свинью, а? – спрашивает мистер Баккет, глядя ему прямо в глаза, но ничуть не раздражаясь.

– Нет!

– Так вот, ее зарезали за то, что она вела себя чересчур нахально, – говорит мистер Баккет. – Смотрите, как бы и вам не подвергнуться той же участи, – это вам совсем ни к чему. Может, вы привыкли разговаривать с глухими, а?

– Да, – рычит мистер Смоллуид, – у меня жена глухая.

– Вот почему вы так пронзительно визжите. Но раз ее здесь нет, визжите, пожалуйста, на одну-две октавы ниже – так и мне будет приятнее, и для вас приличнее, – говорит мистер Баккет. – А этот джентльмен, он из проповедников, сдается мне.

– Это мистер Чедбенд, – отвечает Смоллуид, резко сбавив тон.

– Я когда-то знавал одного вашего однофамильца – приятель мой был, тоже сержант, – говорит мистер Баккет, протянув руку Чедбенду, – так что мне ваша фамилия нравится.

А это, наверное, миссис Чедбенд?

– И миссис Снегсби, – представляет мистер Смоллуид вторую свою спутницу.

– Ее муж держит писчебумажную лавку, и он мой закадычный друг, – говорит мистер Баккет. – Люблю его, как брата родного!.. Ну, в чем дело?

– То есть вы спрашиваете, по какому делу мы пришли? – осведомляется мистер Смоллуид, немного озадаченный столь неожиданным поворотом.

– Ага! Вы прекрасно понимаете, о чем я спрашиваю. Выкладывайте, а мы послушаем в присутствии сэра Лестера Дедлока, баронета. Ну! Валяйте.

Подозвав к себе мистера Чедбенда, мистер Смоллуид кратко совещается с ним шепотом. Мистер Чедбенд, выделяя из пор своего лба и ладоней значительное количество пота, произносит громко: «Да, вы первый!» – и возвращается на прежнее место.

– Я был клиентом и другом мистера Талкингхорна, – верещит дедушка Смоллуид, – я вел с ним дела. Я был полезен ему, а он был полезен мне. Покойный Крук был моим шурином. Он был родным братом зловредной сороки… то бишь миссис Смоллуид. Я унаследовал имущество Крука. Я осмотрел все его бумаги и вещи. Все они были перерыты на моих глазах. Среди них нашлась пачка писем, которая осталась от его покойного жильца и была запрятана на полке рядом с подстилкой Леди Джейн – Круковой кошки. Старик

повсюду рассовывал всякую всячину. Мистер Талкингхорн пожелал иметь эти письма и получил их; но сначала я сам их прочитал. Я деловой человек, ну, я в них и заглянул. Это были письма от любовницы его жильца, а подписывалась она «Гонория». Но ведь Гонория – это, черт побери, довольно редкое имя, а? Нет ли, случайно, в этом доме какой-нибудь леди, которая подписывается «Гонория», а? Да нет; не думаю, что есть! Нет-нет, не думаю! А может, подпись у нее похожа на ту? Нет-нет, не думаю, что похожа!

Но тут, на вершине своего торжества, мистер Смоллуид обрывает речь, задыхаясь от кашля, и только охает:

– Ох, боже мой! О господи! Меня совсем растрясло!

– Ну-с, – говорит мистер Баккет, подождав, пока он откашляется, – когда вы соберетесь сказать то, что касается сэра Лестера Дедлока, баронета, имейте в виду, что этот джентльмен сидит здесь.

– А разве я этого еще не сказал, мистер Баккет? – визжит дедушка Смоллуид. – Неужто я не сказал того, что касается этого джентльмена? Может, его не касается капитан Хоудон со своей «навеки любящей Гонорией» и их младенцем в придачу? В таком случае я желаю знать, где находятся эти письма. Это касается меня, если даже не касается сэра Лестера Дедлока. И я узнаю, где они! Я не потерплю, чтоб они улетучились под шумок. Я вручил их моему другу и поверенному мистеру Талкингхорну, а не кому-то другому.

– Да ведь он заплатил вам за них… заплатил щедро, – го-

ворит мистер Баккет.

– Не в плате дело. Я хочу знать, кому они достались. И я скажу вам, чего мы хотим… чего мы все здесь требуем, мистер Баккет. Мы требуем, чтобы это убийство расследовали тщательно и досконально. Мы знаем, кому оно на пользу и по каким причинам, а вы сделали еще далеко не все. Если Джордж, бродячий драгун, и приложил к этому руку, так он был только сообщником, а подстрекал его кто-то другой. Вы не хуже прочих понимаете, на что я намекаю.

– Так вот что я вам скажу, – говорит мистер Баккет, мгновенно изменив тон, подойдя вплотную к старику и придав чуть ли не колдовскую силу своему указательному пальцу. – Будь я проклят, если допущу, чтобы хоть один человек на свете испортил мое дело, или вмешался в него, или опередил меня хоть на полсекунды. Вы требуете тщательного и досконального расследования! Вы этого требуете! А вы видите эту руку? По-вашему, я не знаю, в какое время нужно ее протянуть и схватить за руку того, кто стрелял?

Так страшна сила этого человека и такая угроза звучит в его словах, которых никак не назовешь праздной похвальбой, что мистер Смоллуид начинает извиняться. Сдержав внезапно вспыхнувший гнев, мистер Баккет обрывает старика:

– Вот что я вам посоветую – не забивайте себе головы этим убийством. Это мое дело. Следите за газетами, и я не удивлюсь, если вы скоро прочтете в них что-нибудь насчет

него, только читайте повнимательней. Я знаю, что мне надо делать, и вот все, что я хотел вам сказать по этому поводу. Теперь насчет писем. Вы хотите знать, кому они достались? Охотно отвечу вам. *Мне* достались. Та самая пачка, а?

Мистер Смоллуид смотрит жадными глазами на маленький сверток, который мистер Баккет вынул из каких-то загадочных недр своего сюртука, и подтверждает, что это та самая пачка.

– Ну-с, что же вы еще скажете? – спрашивает мистер Баккет. – Только не больно широко разевайте пасть – вам это не идет, не очень красиво получается.

– Я желаю получить пятьсот фунтов.

– Нет, не желаете, – вы хотели сказать пятьдесят, – издевается над ним мистер Баккет.

Тем не менее выясняется, что мистер Смоллуид все-таки желает получить пятьсот.

– Имейте в виду, что сэр Лестер Дедлок, баронет, уполномочил меня рассмотреть эту вашу претензию (однако ничего не признавая и не обещая), – говорит мистер Баккет. Сэр Лестер машинально наклоняет голову. – А вы требуете, чтобы я уплатил вам пятьсот фунтов. Но ведь это нелепое требование! Двести пятьдесят и то много, но все-таки разумнее. Не лучше ли вам попросить двести пятьдесят?

Мистер Смоллуид совершенно уверен, что лучше ему этого не делать.

– В таком случае, – говорит мистер Баккет, – давайте вы-

слушаем мистера Чедбенда. Бог мой! Сколько раз я, бывало, слушал болтовню своего старого товарища-сержанта, вашего однофамильца, и до чего ж он был умеренный человек во всех отношениях – другого такого я в жизни не видывал!

Получив приглашение высказаться, мистер Чедбенд выступает вперед, источая пот из ладоней и расплываясь в елейной улыбке, а высказывается он в следующих словах:

– Друзья мои, ныне пребываем мы – Рейчел, супруга моя, и я сам – в палатах богачей и сильных мира сего. Почему пребываем мы ныне в палатах богачей и сильных мира сего, друзья мои? Потому ли, что мы приглашены, потому ли, что мы призваны пировать с ними, потому ли, что мы призваны ликовать с ними, потому ли, что мы призваны играть с ними на лютне, потому ли, что мы призваны плясать с ними? Нет! Так почему же пребываем мы здесь, друзья мои? Знаем ли мы некую греховную тайну и требуем ли мы зерна, и вина, и елея, или – что примерно одно и то же – денег за сохранение сей тайны? Пожалуй, так и есть, друзья мои.

– Вы деловой человек, вот вы кто такой, – говорит мистер Баккет, выслушав его очень внимательно, – а стало быть, собираетесь объяснить, какую именно тайну вы знаете. Правильно. Так и надо поступать.

– Давайте же, брат мой, в духе любви, углубимся в сие, – продолжает мистер Чедбенд, бросив на него хитрый взгляд. – Рейчел, супруга моя, выступи вперед!

Миссис Чедбенд, которой только того и надо было, высту-

пает вперед, отпихнув своего супруга на задний план, и, подойдя к мистеру Баккету, усмехается жестко и хмуро.

– Раз уж вы желаете знать то, что знаем мы, – говорит она, – пожалуйста, могу рассказать. Я воспитала мисс Хоудон, дочь ее милости. Я служила у сестры ее милости, а сестра эта очень тяжело переживала позор, который ей довелось испытать по вине ее милости, и даже сказала ее милости, что девочка умерла, – да она и впрямь чуть не умерла, как только родилась. Но она все-таки осталась в живых, и я ее знаю.

Произнося эту речь, миссис Чедбенд всякий раз со смехом делает язвительное ударение на словах «ее милость», а кончив, складывает руки и неумолимо смотрит на мистера Баккета.

– Надо так понимать, – говорит сыщик, – что вы ожидаете двадцатифунтовой бумажки или подарка примерно на эту сумму?

Миссис Чедбенд только посмеивается и презрительно заявляет ему, что он может «предложить» и двадцать пенсов.

– Супруга моего приятеля, владельца писчебумажной лавки, прошу вас, – говорит мистер Баккет, подзывая указательным пальцем миссис Снегсби. – Ну, а *вы* в какую игру играете, сударыня?

Вначале слезы и стенания мешают миссис Снегсби объяснить, в какую игру она играет, но мало-помалу смутно выясняется, что миссис Снегсби – женщина, истерзанная оби-

дами и оскорблениями, женщина, которую мистер Снегсби походя обманывал, покидал, пытался держать в черном теле; а в этих горестях величайшим утешением ей служило сочувствие покойного мистера Талкингхорна, который однажды, зайдя в Кукс-Корт в отсутствие ее неверного мужа, выразил ей такое участливое соболезнование, что она с тех пор привыкла обращаться к нему со всеми своими невзгодами. Оказывается, что все – не говоря о присутствующих – сговорились нарушать душевное спокойствие миссис Снегсби. Например, мистер Гаппи, клерк от Кенджа и Карбоя, вначале был открытая душа, ясный, как солнце в полдень, а потом вдруг замкнулся, и теперь душа его – потемки, мрак полночный, а все, безусловно, под влиянием подкупа и давления со стороны мистера Снегсби. Опять же мистер Уивл, приятель мистера Гаппи, – этот вел в переулке таинственную жизнь по все тем же понятным причинам. А еще покойный Крук, и покойный Нимрод, и покойный Джо – все они были «замешаны в этом». В чем именно, миссис Снегсби подробно не объясняет, но она знает, что Джо «был сыном мистера Снегсби», так верно знает, как если б об этом «в трубы трубили», и она шла по пятам за мистером Снегсби, когда тот ходил прощаться с мальчишкой, который был при смерти; а не будь мальчишка его сыном, на что бы мистеру Снегсби с ним прощаться? С некоторых пор она только и делала, что выслеживала мистера Снегсби да сопоставляла всякие подозрительные обстоятельства, а они все до единого были одно

подозрительней другого; словом, она день и ночь добивалась своей цели – изобличить и уличить своего изменщика-мужа. Так вот и вышло, что она свела Чедбендов с мистером Талкингхорном, выяснила вместе с мистером Талкингхорном, почему так переменился мистер Гаппи, и тем самым помогла вытащить на свет божий обстоятельства, которые интересуют всех присутствующих, хоть это все и вышло случайно, так сказать попутно; сама же она идет и будет идти своим прямым широким путем, который завершится полным разоблачением мистера Снегсби и разрывом супружеских уз. Все это миссис Снегсби, как оскорбленная женщина, приятельница миссис Чедбенд и последовательница мистера Чедбенда, оплакивающая покойного мистера Талкингхорна, заявляет здесь в доверительном порядке со всей возможной неясностью в мыслях и со всей возможной и невозможной бессвязностью речи, но зато она не предъявляет никаких денежных претензий, не строит никаких планов и проектов, кроме упомянутого, и лишь привносит сюда, как и повсюду, густые тучи пыли, которые поднимаются от непрестанно работающей мельницы ее ревности.

Пока она произносит этот монолог, отнимающий немало времени, мистер Баккет, мгновенно разглядев, что она собой представляет, ибо кислые ее слова прозрачны, как уксус, советуется со своим демоном-другом и устремляет острые внимательные глаза на Чедбендов и мистера Смоллуида. Сэр Лестер недвижим, и лицо у него такое же ледяное, как

и раньше, но он все-таки раза два бросает взгляд на мистера Баккета, как будто из всех людей на свете только один человек, этот сыщик, внушает ему доверие.

– Прекрасно, – говорит мистер Баккет, – теперь я вас понимаю, заметьте себе, и, будучи уполномочен сэром Лестером Дедлоком, баронетом, рассмотреть ваши претензии, – сэр Лестер снова машинально наклоняет голову в подтверждение его слов, – я могу уделить этому делу полное и беспристрастное внимание. Ну что ж, не буду называть ваше поведение «сговором», «вымогательством» или как-нибудь в этом роде, так как все мы тут люди, умудренные житейским опытом, и желаем уладить дело полюбовно. Но скажу вам, чему я *действительно* удивляюсь: я изумлен, что вы рискнули шуметь внизу, в вестибюле. Это было не в ваших интересах. Вот как я на это смотрю.

– Мы требовали, чтобы нас впустили, – оправдывается мистер Смоллуид.

– Ну да, конечно, вы требовали, чтобы вас впустили, – весело соглашается мистер Баккет, – но очень странно для пожилого джентльмена в вашем возрасте, – что называется, поистине почтенном возрасте, имейте в виду! – притом джентльмена, который уже не владеет своими конечностями, отчего ум у него обострился, ибо вся жизненная сила бросилась ему в голову, – повторяю, очень странно не понимать, что если он не будет помалкивать о подобном деле, так оно не принесет ему ни гроша! Вот видите, вы дали волю своему

вспыльчивому нраву; тут-то вы и потеряли почву под ногами, – объясняет мистер Баккет убедительным и дружеским тоном.

– Я только сказал, что не уйду, пока кто-нибудь из слуг не пойдет доложить сэру Лестеру Дедлоку, – возражает мистер Смоллуид.

– Именно! Вот когда вы дали волю своему вспыльчивому нраву. Ну, в другой раз держите его в руках – деньжонок подзаработаете. Позвонить, чтобы вас снесли вниз?

– Когда же мы опять займемся этим делом? – строго спрашивает миссис Чедбенд.

– Что за прелесть – настоящая женщина! Ваш очаровательный пол всегда отличался любопытством! – отвечает мистер Баккет не без галантности. – Буду иметь удовольствие сделать вам визит завтра или послезавтра… причем, конечно, не забуду о мистере Смоллуиде и его желании получить двести пятьдесят фунтов.

– Пятьсот! – восклицает мистер Смоллуид.

– Пусть так! Номинально пятьсот. – Мистер Баккет берется за шнурок от звонка. – А пока *могу* я пожелать вам всего хорошего от своего имени и от имени хозяина дома? – осведомляется он вкрадчивым тоном.

Ни у кого не хватает дерзости отказать ему в этом, и вся компания удаляется тем же порядком, каким явилась сюда. Мистер Баккет провожает гостей до двери, а вернувшись, говорит серьезным, деловым тоном:

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, вам решать, нужно ли от них откупиться, или нет. Я бы посоветовал откупиться при моем посредстве; и думаю, что откупиться можно будет по дешевке. Миссис Снегсби – это не женщина, а соленый огурец какой-то – была орудием в руках всех этих мошенников и, пытаясь связать концы с концами, принесла гораздо больше вреда, чем сама того желала. Покойный мистер Талкинг-хорн твердой рукой правил всеми этими клячами и, бесспорно, угнал бы их туда, куда хотел, но его самого стащили с козел головой вниз, а теперь клячи запутались ногами в постромках, и каждая тянет и тащит в свою сторону. Вот что происходит, и такова жизнь. Кошки нет – мышам раздолье; тронулся лед – водичка течет. Теперь насчет особы, которую придется арестовать.

Сэр Лестер как будто только сейчас проснулся, – хотя глаза у него все время были широко открыты, – и напряженно смотрит на мистера Баккета, в то время как тот бросает взгляд на свои часы.

– Особа, которую придется арестовать, находится сейчас здесь, в доме, – продолжает мистер Баккет, твердой рукой пряча часы и воодушевляясь, – и я собираюсь взять ее под стражу в вашем присутствии. Сэр Лестер Дедлок, баронет, вы только молчите и сидите смирно. Ни шума, ни суматохи не будет. Вечером я вернусь, если вам угодно, и постараюсь выполнить ваши пожелания, то есть получше замять эту несчастную семейную историю. А теперь, сэр Лестер Дедлок,

баронет, пусть вас не волнует этот арест. Вы ясно увидите, как было дело с начала и до конца.

Мистер Баккет звонит, идет к двери, шепотом отдает какое-то краткое приказание Меркурию, потом закрывает дверь и стоит перед нею, скрестив руки. Спустя одну-две минуты напряженного ожидания дверь медленно открывается, и входит француженка – мадемуазель Ортанз.

Как только она входит в комнату, мистер Баккет, захлопнув дверь, загораживает ее спиной. Вздрогнув от неожиданного шума, француженка озирается и только тогда видит сэра Лестера Дедлока, сидящего в кресле.

– Простите, пожалуйста, – торопливо бормочет она. – Мне сказали, что здесь никого нет.

Она делает шаг к двери и видит перед собой мистера Баккета. И вдруг судорога искажает ее лицо, и по нему разливается мертвенная бледность.

– Это моя жилица, сэр Лестер Дедлок, – говорит мистер Баккет, кивая на нее. – Вот уже несколько недель, как эта молодая иностранка сняла у меня комнату.

– Какое до этого дело сэру Лестеру, ангел мой? – насмешливо спрашивает мадемуазель.

– А вот увидим, ангел мой, – отвечает мистер Баккет.

Мадемуазель Ортанз смотрит на него, и хмурая гримаса на ее напряженном лице мало-помалу превращается в презрительную улыбку.

– Вы очень таинственны. А вы, случайно, не пьяны?

– В меру трезв, ангел мой, – отвечает мистер Баккет.

– Я только что пришла в этот омерзительный дом вместе с вашей женой. Несколько минут назад ваша жена куда-то ушла. Внизу мне сказали, что она здесь. Я поднимаюсь сюда, но ее здесь нет. Вы что, смеяться надо мной удумали? – спрашивает мадемуазель, спокойно сложив руки; но на ее смуглой щеке что-то дергается, как пружинка в часах.

Мистер Баккет только грозит ей пальцем.

– Ах, боже мой, идиот несчастный! – кричит мадемуазель, рассмеявшись и тряхнув головой. – Я ухожу, пустите меня, толстая свинья.

Она угрожающе топает ногой.

– А теперь, мадемуазель, – говорит мистер Баккет холодным и решительным тоном, – подите-ка сядьте на тот диванчик.

– Ни на что я не сяду, – упирается она, быстро качая головой.

– А теперь, мадемуазель, – повторяет мистер Баккет, который стоит столбом и только грозит ей пальцем, – сядьте-ка на тот диванчик.

– Зачем?

– Затем, что я арестую вас по обвинению в убийстве, и вы это сами прекрасно понимаете. Вы – женщина и вдобавок иностранка, а потому, заметьте, я хочу обойтись с вами вежливо, если только удастся быть вежливым. Если же не удастся, придется мне быть грубым; а за стеной находятся люди

погрубее меня. Каким я буду с вами – это всецело зависит от вас самой. Поэтому советую вам, как друг, пойти и, не медля ни секунды, сесть на тот диванчик.

Мадемуазель повинуется, хотя что-то быстро и резко дергается на ее щеке, и произносит сдавленным голосом:

– Вы дьявол!

– Вот видите, – удовлетворенно внушает ей мистер Баккет, – теперь вам удобно, и ведете вы себя так, как я того ожидал от неглупой молодой иностранки. Поэтому я хочу дать вам один совет, а именно: не говорите лишнего. Здесь никто не ждет от вас никаких показаний, и самое лучшее вам – не болтать языком. Одним словом, чем меньше вы будете «парлэ»[3], тем лучше, заметьте себе. – Мистер Баккет очень гордится тем, что употребил французское слово.

Растянув рот по-тигриному, мадемуазель недвижно сидит на диване, вытянувшись в струнку и стиснув руки – а может быть, и колени, – и ее черные глаза мечут пламя на сыщика.

– О, вы, Баккет, вы сущий дьявол! – бормочет она.

– Итак, сэр Лестер Дедлок, баронет, – начинает мистер Баккет, и теперь его указательный палец не знает ни минуты покоя, – эта молодая особа, моя жилица, служила горничной у ее милости в тот период, о котором я вам говорил, и она не только возненавидела ее милость самой лютой и страстной ненавистью, после того как была уволена…

– Ложь! – кричит мадемуазель. – Я сама уволилась.

---

[3] Parler – говорить (*фр.*).

– Почему же вы не слушаетесь моего совета? – спрашивает мистер Баккет весьма выразительным и чуть ли не умоляющим тоном. – Удивляюсь вашей несдержанности. Этак вы, чего доброго, проболтаетесь и скажете что-нибудь такое, что потом могут истолковать вам во вред, заметьте себе. Обязательно проболтаетесь. Не обращайте внимания на мои слова, пока я не даю показаний на суде. Я не с вами говорю.

– Уволена, тоже скажет! – в ярости кричит мадемуазель. – Ее милостью! Хорошенькая «ее милость», нечего сказать! Да я опозор-р-рила бы себя, останься я у такой гнусной леди!

– Ну, знаете, я вам удивляюсь! – увещает ее мистер Баккет. – А я-то думал, французы – вежливая нация, вот что я думал, право. И вдруг приходится слышать, как особа женского пола выражается подобным образом в присутствии сэра Лестера Дедлока, баронета!

– Олух несчастный! Его одурачили! – кричит мадемуазель. – Плевать я хотела на его дом, на его имя, на его глупость, – и она плюет на ковер. – Подумаешь, какой великий человек! Подумаешь, какой знатный! О господи! Тьфу!

– Так вот, сэр Лестер Дедлок, – продолжает мистер Баккет, – эта необузданная иностранка обозлилась на покойного мистера Талкингхорна и вбила себе в голову, что он у нее в долгу потому-де, что он однажды вызвал ее к себе в контору на очную ставку, о чем я вам уже рассказал; а ведь ей щедро заплатили за беспокойство.

– Ложь! – кричит мадемуазель. – Я отказалась от его де-

нег… наотрррез!

– Если вы будете упорно продолжать свое «парлэ», – бросает ей мистер Баккет как бы между прочим, – вам придется за это поплатиться, заметьте себе… Далее, не могу вам сказать, сэр Лестер Дедлок, потому ли она поселилась у меня с заранее обдуманным намерением совершить убийство, что сначала хотела замазать мне глаза; но так или иначе, она жила у меня уже в то время, когда шлялась вокруг да около конторы покойного мистера Талкингхорна, ища с ним ссоры, и в то же время изводила одного несчастного торговца, который ее до смерти боялся.

– Ложь! – кричит мадемуазель. – Все ложь!

– Убийство было совершено, сэр Лестер Дедлок, баронет, и вы знаете – при каких обстоятельствах. Теперь я прошу вас минуты две слушать меня внимательно. Меня вызвали, и дело это поручили мне. Я обследовал место преступления, мертвое тело, бумаги и вообще все, что нужно. Получив некоторые сведения (от одного клерка из того же дома), я забрал Джорджа, потому что его видели у дома покойного в ночь и даже чуть ли не в самый час преступления, а кроме того, слышали, как он раньше не раз пререкался с покойным и даже угрожал ему, насколько понял свидетель. Если вы спросите меня, сэр Лестер Дедлок, верил ли я с самого начала в то, что мистера Талкингхорна убил Джордж, я искренне отвечу вам: нет. А все-таки он мог быть убийцей, и против него скопилось столько улик, что я считал своим дол-

гом забрать его и посадить под замок до конца следствия. Теперь слушайте дальше!

Мистер Баккет наклоняется вперед слегка взволнованный, – что для него необычно, – и подготавливает слушателя к рассказу о дальнейших событиях, угрожающе взметнув указательный палец, а мадемуазель Ортанз, хмуро насупившись и впившись в него своими черными глазами, с решительным видом сжимает пересохшие губы.

– Вечером я вернулся домой, сэр Лестер Дедлок, баронет, и застал эту девицу за ужином с моей женой, миссис Баккет. С того дня как она впервые напросилась к нам в жилицы, она всячески подлизывалась к миссис Баккет, но в тот вечер лебезила больше обыкновенного; пожалуй, даже пересаливала. Точно так же она пересаливала, выражая свое глубокое уважение и прочее к незабвенной памяти покойного мистера Талкингхорна. Я сел за стол против нее; поглядел, как она орудует ножом, и, клянусь богом, вдруг меня осенило: понял – ее работа!

Мадемуазель едва слышно шепчет сквозь сжатые зубы и губы:

– Вы дьявол.

– Но где же находилась она в ночь убийства? – продолжает мистер Баккет. – В театре. (Как я впоследствии узнал, она действительно была в театре, – была и до того, как совершила убийство, и после.) Я понял, что мне придется иметь дело с очень хитрой преступницей и что собрать улики против

нее будет очень трудно, и вот я устроил ей западню, да такую, какой еще никогда не устраивал, и с таким риском, на какой еще ни разу не шел. Все это я успел обдумать, пока разговаривал с нею за ужином. Когда же мы с женой ушли наверх и легли спать (надо сказать, что дом у нас маленький, а слух у этой особы очень острый), я на всякий случай заткнул простынею рот миссис Баккет, – а вдруг она ахнет от удивленья? – и рассказал ей обо всем, что мне пришло в голову… Не вздумайте попытаться еще раз, душечка, а не то я вас стреножу.

Оборвав свою речь, мистер Баккет бесшумно ринулся на мадемуазель и придавил ей плечо тяжелой рукой.

– С чего это вы вдруг? – осведомляется она.

– Не вздумайте выброситься из окна. Вот с чего это я вдруг, – отвечает мистер Баккет, грозя ей пальцем. – Ну-ка, возьмите меня под руку. И незачем вам вставать; я сам сяду рядом с вами. Почему бы вам не взять меня под руку, а? Я человек женатый, с женой моей вы знакомы. Вот и берите меня под руку.

Тщетно пытаясь облизнуть сухие губы, она издает болезненный стон, сдерживает себя и повинуется.

– Прекрасно, теперь мы опять все наладили. Сэр Лестер Дедлок, баронет, это дело никогда бы не удалось расследовать досконально, как удалось теперь, не будь миссис Баккет; а она такая женщина, что отберите пятьдесят тысяч женщин… нет, сто пятьдесят тысяч, другой такой не найдете! Я

хотел, чтобы эта девица перестала держаться начеку, и потому с той самой ночи ни разу не заходил домой, однако по мере надобности клал записки для миссис Баккет то в молоко, то в булки, которые посылал ей. А что я шепнул миссис Баккет, когда заткнул ей рот простыней, так это следующие слова: «Можешь ты, милая моя, постоянно втирать ей очки, рассказывая, что я подозреваю Джорджа, того, другого, третьего? Можешь ты следить за ней день и ночь, не смыкая глаз? Можешь ты мне сказать: «Она шагу не ступит без моего ведома; она будет моей пленницей, сама того не подозревая; она не уйдет от меня, как не уйдет от смерти; жизнь ее будет моей жизнью, а душа – моей душой, пока я не уличу ее, если убийство совершила она?» А миссис Баккет ответила мне, хоть и не очень внятно – простыня мешала: «Могу, Баккет!» И блестяще выполнила свое обещание!

– Ложь! – перебивает его мадемуазель. – Сплошная ложь, друг мой!

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, правильно ли я все рассчитал? Когда я рассчитывал, что эта пылкая девица обязательно будет пересаливать и в других отношениях, был я прав или нет? Был прав. Что она задумала сделать? Не пугайтесь! Задумала свалить вину на ее милость.

Сэр Лестер поднимается, но, пошатнувшись, снова падает в кресло.

– И ее поощряли слухи о том, что я постоянно торчу у вас в доме; а торчал я здесь как раз в расчете на то, чтоб она

это знала. Теперь откройте вот эту мою записную книжку, сэр Лестер Дедлок, когда я, с вашего позволения, переброшу ее вам, и просмотрите полученные мною письма; вы в каждом увидите два слова! «Леди Дедлок». Разверните письмо, адресованное вам и перехваченное мною сегодня утром, и вы прочтете в нем три слова: «Леди Дедлок – убийца». Эти письма сыпались на меня, словно божьи коровки. Что же вы теперь скажете про миссис Баккет, если она видела из засады, как эта особа писала все свои письма? Что вы скажете про миссис Баккет, если она полчаса назад достала чернила, которыми были написаны эти письма, и почтовую бумагу и даже оторванные чистые полулисты и прочее? Что вы скажете, сэр Лестер Дедлок, баронет, про миссис Баккет, если она следила за этой девицей, когда та сдавала письма на почту одно за другим? – с торжеством осведомляется мистер Баккет, восторгаясь гениальностью своей супруги.

Два обстоятельства все больше бросаются в глаза по мере того, как мистер Баккет подходит к концу своего рассказа. Во-первых, чудится, будто он неуловимо получил какое-то грозное право собственности на мадемуазель. Во-вторых, чудится, будто самый воздух, которым она дышит, сжимается и замыкается вокруг нее, словно ее с трудом дышащее тело все тесней и тесней опутывают сетью или пеленают гробовыми пеленами.

– Известно, что ее милость была на месте преступления в тот знаменательный час, – говорит мистер Баккет, – и что

вот эта моя приятельница-иностранка увидела ее там, вероятно, с верхней площадки лестницы. Ее милость, Джордж и моя приятельница-иностранка, все они, можно сказать, тогда шли по пятам друг за другом. Но теперь это уже не имеет никакого значения, и я не буду распространяться на эту тему. Я нашел пыж от пистолета, из которого стреляли в покойного мистера Талкингхорна. Пыж был сделан из клочка бумаги, оторванного от печатной статьи с описанием вашего дома в Чесни-Уолде. Ну, это улика не очень веская, скажете вы, сэр Лестер Дедлок, баронет. Да! Но если вот эта моя приятельница-иностранка настолько позабыла об осторожности, что не побоялась просто изорвать на куски и бросить остаток печатной страницы, а миссис Баккет сложила обрывки и увидела, что не хватает как раз того клочка, который пошел на пыж, дело начинает принимать скверный оборот.

– Все это наглая ложь, – перебивает его мадемуазель. – Очень уж много вы разглагольствуете. Вы кончили или будете говорить вечно?

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, – продолжает мистер Баккет, который всегда с удовольствием произносит полный титул своего собеседника, не желая опускать ни единого слова, – последний пункт, к которому я теперь перехожу, доказывает, как важно в нашей работе быть терпеливым и ничего не делать второпях. Вчера я следил за этой особой без ее ведома, когда она была на похоронах вместе с моей женой, решившей взять ее с собою, а я уже тогда собрал столько улик,

подметил такое выражение на ее лице, был так возмущен ее подкопом под миледи, да и час похорон показался мне настолько подходящим часом для так называемого возмездия, что, будь я более молодым и менее опытным работником, я, не колеблясь, арестовал бы ее тогда. Опять же в прошлый вечер, когда ее милость, которая вызывает всеобщее восхищение, вернулась домой с видом, – бог мой! – можно сказать, с видом Венеры, выходящей из волн морских, было так неприятно и просто дико думать об обвинении ее в убийстве, которого она не совершила, что мне положительно не терпелось покончить с этим делом. Но допустим, что я покончил бы с ним; что бы я в этом случае потерял? Сэр Лестер Дедлок, баронет, я потерял бы тогда орудие преступления. После того как похоронная процессия тронулась в путь, вот эта моя пленница предложила миссис Баккет проехаться на омнибусе за город и попить чайку в одном очень приличном ресторанчике. Надо сказать, что неподалеку оттуда находится пруд. За чаем эта девица встала и пошла взять носовой платок из комнаты, где обе наши дамы оставили свои шляпки. Ходила она довольно долго и вернулась немного запыхавшись. Как только они приехали домой, миссис Баккет доложила мне об этом, а также о прочих своих наблюдениях и подозрениях. Ночь была лунная, я приказал обшарить дно пруда в присутствии двух наших сыщиков, и вскоре нашли карманный пистолет, который не успел пролежать там и шести часов… А теперь, душечка, просуньте ручку чуть

подальше и держите ее попрямей – тогда я не сделаю вам больно!

Мистер Баккет во мгновение ока защелкивает наручник на запястье француженки.

– Один есть, – говорит мистер Баккет. – Теперь протяните другую, душечка. Два… и дело с концом!

Он встает, она поднимается тоже.

– Где, – спрашивает она, опустив веки, так что они почти закрывают ее большие глаза, которые, как ни странно, все-таки смотрят на него пристальным взглядом, – где ваша лживая, ваша проклятая жена-предательница?

– Отправилась в полицейский участок, – отвечает мистер Баккет. – Там вы ее и увидите, душечка.

– Хотелось бы мне ее поцеловать! – восклицает мадемуазель Ортанз, фыркнув по-тигриному.

– А я опасаюсь, как бы вы ее не укусили, – говорит мистер Баккет.

– Уж я бы ее укусила! – кричит она, широко раскрыв глаза. – Я бы ее на куски растерзала с восторгом!

– Ну, конечно, душечка, – говорит мистер Баккет, сохраняя полнейшее спокойствие, – ничего другого я и не мог ожидать, зная, до чего ненавидят друга друга особы вашего пола, когда ссорятся. А на меня ведь вы сердитесь гораздо меньше, не так ли?

– Да. Но все-таки вы дьявол.

– То ангел, то дьявол, – вот как нас честят, а? – восклица-

ет мистер Баккет. – Но подумайте хорошенько, ведь я только действую по долгу службы. Позвольте мне накинуть на вас шаль поаккуратней. Мне и раньше не раз приходилось заменять камеристку многим дамам. Шляпку поправить не требуется? Кеб стоит у подъезда.

Бросив негодующий взгляд на зеркало, мадемуазель Ортанз одним резким движением приводит свой туалет в полный порядок, и, надо отдать ей должное, вид у нее сейчас точь-в-точь как у настоящей светской дамы.

– Так выслушайте меня, ангел мой, – язвительно говорит она, кивая головой. – Вы очень остроумны. Но можете вы возвратить к жизни того человека?

– Пожалуй, что нет, – отвечает мистер Баккет.

– Забавно! Послушайте меня еще немножко. Вы очень остроумны. Но можете вы вернуть женскую честь ей?

– Не злобствуйте, – говорит мистер Баккет.

– Или мужскую гордость ему? – кричит мадемуазель, с неизъяснимым презрением указывая на сэра Лестера. – Ага! Так посмотрите же на него. Бедный младенец! Ха-ха-ха!

– Пойдемте-ка, пойдемте; это «парлэ» еще хуже прежнего, – говорит мистер Баккет. – Пойдемте!

– Значит, не можете. Ну, так делайте со мной что хотите. Придет смерть – только и всего; а мне наплевать. Пойдемте, ангел мой. Прощайте вы, седой старик. Я вас жалею и презираю! – И она так стиснула зубы, что кажется, будто рот ее замкнулся при помощи пружины.

Нет слов описать, с каким видом выводит ее мистер Баккет, но этот подвиг он совершает каким-то ему одному известным способом, окружая и обволакивая ее, точно облаком, и улетая вместе с нею, – ни дать ни взять доморощенный Юпитер, который похищает предмет своей нежной страсти.

Оставшись один, сэр Лестер сидит недвижно, словно все еще прислушиваясь к чему-то, словно внимание его все еще чем-то поглощено. Но вот наконец он обводит глазами опустевшую комнату и, поняв, что в ней никого нет, пошатываясь встает, отодвигает кресло и делает несколько шагов, хватаясь рукой за стол. Потом останавливается и, снова бормоча что-то невнятное, поднимает глаза, точно присматриваясь к чему-то.

Бог его знает, что он такое видит. То ли – зеленые-зеленые леса Чесни-Уолда, великолепный дом, портреты своих предков; то ли – чужих людей, оскверняющих все это, полицейских, запустивших грубые руки в самое драгоценное его наследие, тысячи пальцев, указывающих на него, тысячи рож, злорадно смеющихся над ним. Но если подобные тени и мелькают перед ним, к его великому ужасу, то есть еще одна, совсем иная тень, имя которой он даже сейчас может произнести почти отчетливо; и, глядя лишь на нее одну, он рвет свои белые волосы и только к ней одной он простирает руки.

Это она – та, которой он дорожил без малейшего себялюбия, разве что много лет видел в ней главный источник своего достоинства и гордости. Она, которую он любил, боготво-

рил, почитал и вознес так высоко, что ее уважал весь свет. Она, к которой он, скованный этикетом и условностями своей жизни, испытывал живую любовь и нежность, сейчас терзаемые, как никакие другие его чувства, невыносимой пыткой. Он смотрит на нее, почти не думая о себе, и не может вынести мысли, что ее низвергли с тех высот, которые она так украшала.

Но, даже рухнув на пол, он, забывая о своих муках, все еще находит в себе силы вырвать ее имя из хаоса непроизвольных звуков и почти внятно вымолвить его, скорее со скорбью и состраданием, чем с упреком.

Глава LV
Бегство

Баккет, инспектор сыскного отделения, еще не нанес своего сокрушительного удара, о котором рассказывалось только что, он пока еще освежается сном, готовясь к боевому дню, а тем временем ночью двухместная почтовая карета, запряженная парой лошадей, выезжает из Линкольншира и по промерзшим зимним дорогам несется в Лондон.

Вскоре всю эту местность пересекут железные рельсы, и поезда будут метеорами проноситься по широким ночным просторам, грохоча и сверкая огнями, затмевающими лунный свет; но пока что их нет в этих краях, хоть и можно надеяться, что они когда-нибудь появятся. Ведутся подготовительные работы, производятся изыскания, ставятся вехи. Уже строят мосты, устои которых, еще не перекрытые фермами, в тоске переглядываются через дороги и реки, и можно подумать, что это каменные влюбленные, которым что-то препятствует соединиться; кое-где возведены отдельные участки насыпей, но, недоконченные, они сейчас похожи на обрывы, залитые потоками брошенных повозок и тачек, успевших покрыться ржавчиной; высокие треножники из жердей возникают на вершинах холмов, под которыми, по слухам, будут прорыты туннели; все имеет хаотический

вид, все кажется покинутым, безнадежно опустошенным. Но почтовая карета несется во тьме ночной по промерзшим дорогам, и не помышляя о дороге железной.

В этой карете едет миссис Раунсуэлл, столько лет прослужившая домоправительницей в Чесни-Уолде, а рядом с нею сидит миссис Бегнет в серой накидке и с зонтом в руках. «Старухе» хотелось бы примоститься на передней скамейке, снаружи, так как это сиденье устроено на открытом воздухе и представляет собой что-то вроде насеста, а она как раз привыкла путешествовать, сидя на торчке, но миссис Раунсуэлл так заботится об удобствах своей спутницы, что не пускает ее туда. Миссис Раунсуэлл не в силах выразить свою благодарность миссис Бегнет. Она сидит, как всегда величавая, держа спутницу за руку, и, как ни шероховата эта рука, уже не раз подносила ее к губам.

– Вы – сами мать, душа моя, – то и дело повторяет она, – и вы нашли мать моего Джорджа!

– А вот как дело было, – отзывается миссис Бегнет. – Джордж, он всегда говорил со мной откровенно, сударыня; и вот он раз у нас дома говорит моему Вулиджу, что придется, мол, тебе, Вулидж, о многом подумать, когда вырастешь, и приятней всего тебе будет думать о том, что у мамы твоей ни морщинки на лице, ни седого волоса на голове не прибавилось по твоей вине; и так трогательно он это сказал, что я сразу же догадалась: значит, недавно он что-то услышал про свою родную мать, вот и вспомнил о ней. В молодости он не

раз мне говорил, что был плохим сыном.

– Никогда, дорогая! – возражает миссис Раунсуэлл, заливаясь слезами. – Благословляю его от всей души, никогда! Он всегда меня любил, всегда был такой ласковый со мной, мой Джордж! Но он был смелый мальчик, немножко сбился с пути, ну и завербовался в солдаты. И я понимаю, что вначале он не хотел нам писать, пока не выйдет в офицеры; а когда увидел, что офицером ему не быть, решил, что, значит, он теперь ниже нас, и нечего ему нас позорить. Он всегда был гордый, мой Джордж, – чуть не с пеленок!

Всплеснув руками, словно в давно минувшие дни молодости, почтенная старуха, вся дрожа, вспоминает о том, какой он был хороший мальчик, какой красивый мальчик, какой веселый, добродушный и умный мальчик; как все в Чесни-Уолде его любили; как любил его сэр Лестер, когда еще был молодым джентльменом; как любили его собаки; как даже те люди, которые на него сердились, простили его, когда он, бедный мальчик, ушел из дому. И теперь, после такой долгой разлуки, увидеть его снова, но… в тюрьме! И широкий корсаж тяжело вздымается, а по-старинному подтянутый прямой стан горбится под бременем материнской любви и горя.

С врожденной чуткостью доброго, отзывчивого сердца миссис Бегнет позволяет старой домоправительнице ненадолго отдаться нахлынувшим на нее чувствам, – да и сама она вынуждена отереть рукой свои материнские глаза, но

вскоре снова начинает тараторить, как всегда, бодрым голосом:

– Вот я и говорю Джорджу, когда отправилась позвать его чай пить (а он тогда вышел на улицу под тем предлогом, что хочется, мол, трубочку выкурить на воздухе): «Что это вас нынче так тревожит, Джордж, скажите, ради всего святого? Я всякое видела на своем веку, да и вас частенько видела и в хорошее время и в плохое, и дома и за границей, но в жизни не видывала, чтобы вы так загрустили, – ведь можно подумать, будто вы в чем-то каетесь!» – «Эх, миссис Бегнет, – говорит Джордж, – мне нынче и вправду грустно и настроение у меня покаянное, вот почему я сейчас такой, каким вы меня видите». – «Да что же вы наделали, старый друг?» – спрашиваю я. «Эх, миссис Бегнет, – говорит Джордж, а сам головой качает, – что я делал сегодня, то делал и многие годы, а переделывать это – лучше и не пытаться. Если мне и доведется попасть в рай, то уж, конечно, не за то, что я был хорошим сыном своей матери-вдове. А больше я вам ничего говорить не буду». И вот, сударыня, как сказал мне Джордж, что теперь, мол, «переделывать – лучше и не пытаться», я вдруг и вспомнила кое-что, о чем и раньше не раз думала, и тут же принялась допытываться, отчего ему именно сегодня пришли в голову такие мысли. Ну, Джордж и говорит мне, что он, мол, случайно встретил в конторе Талкингхорна одну приятную старушку, которая очень напомнила ему мать, да так увлекся разговором про эту самую старушку, что со-

всем забылся и принялся мне расписывать, какой она была раньше, много лет назад. Но вот наконец он замолчал; тут я у него и спрашиваю: а кто ж она такая, эта старушка, которую он нынче видел? А Джордж отвечает, что это, мол, миссис Раунсуэлл, которая вот уже лет пятьдесят с лишком служит домоправительницей в семействе Дедлоков, в Чесни-Уолде, где-то в Линкольншире. А надо вам сказать, Джордж не раз говорил мне и раньше, что он родом из Линкольншира; ну я в тот вечер и сказала своему старику Дубу: «Дуб, это его мать – бьюсь об заклад на сорок пять фунтов!»

За последние четыре часа миссис Бегнет рассказывала все это по меньшей мере раз двадцать, щебеча, словно птица, но как можно громче, чтобы старушка могла расслышать ее слова, несмотря на стук колес.

– Спасибо вам, и дай вам бог счастья, – говорит миссис Раунсуэлл. – Дай вам бог счастья, добрая вы душа, а я вас благодарю от всего сердца!

– Бог с вами! – восклицает миссис Бегнет совершенно искренне. – За что же меня благодарить? Не за что! Вам спасибо, сударыня, за то, что вы так благодарите меня! И еще раз не забудьте, сударыня, когда увидите, что Джордж – и вправду ваш сын, непременно заставьте его, ради вашего же блага, заручиться всей помощью, какая ему нужна, чтобы оправдаться и снять с себя обвинение, – ведь он так же не виноват, как мы с вами. Этого мало, что правда и справедливость на его стороне; за него должны стоять суд и судейские, – вос-

клицает миссис Бегнет, видимо уверенная, что «суд и судейские» стоят особняком и навеки расторгли свой союз с правдой и справедливостью.

– Он получит всю помощь, какую только можно получить, дорогая моя, – говорит миссис Раунсуэлл. – Я с радостью отдам все свое добро, лишь бы помочь ему. Сэр Лестер сделает все, что можно, да и вся его родня тоже. Я… я знаю кое-что, дорогая моя, и буду сама просить, как мать, которая не видела его столько лет и наконец отыскала в тюрьме.

Старая домоправительница так волнуется, говорит так несвязно, так горестно ломает руки, что все это производит сильное впечатление на миссис Бегнет, и, пожалуй, даже удивило бы ее, если б она не видела, как страстно жалеет старушка своего несчастного сына. И все-таки миссис Бегнет недоумевает, почему миссис Раунсуэлл так рассеянно и непрерывно бормочет: «Миледи, миледи, миледи!»

Морозная ночь подходит к концу, брезжит рассвет, а почтовая карета все мчится вперед в утреннем тумане, похожая на призрак какой-то погибшей кареты. Ее окружает огромное общество других призраков – изгородей и деревьев, которые медленно исчезают, уступая дневной действительности. По приезде в Лондон путешественницы выходят из кареты; старая домоправительница – очень взволнованная и встревоженная, миссис Бегнет – совсем свежая и собранная, какой она, впрочем, осталась бы и в том случае, если бы ей немедленно пришлось отбыть дальше, в том же экипаже и

опять без багажа, и ехать в какой-нибудь гарнизон на мысе Доброй Надежды, острове Вознесения или в Гонконге.

Но пока они идут в тюрьму, где содержится кавалерист, старой домоправительнице удается не только оправить свое светло-лиловое платье, но и принять всегда свойственный ей спокойный и сдержанный вид. Сейчас она словно прекрасная статуэтка из старинного фарфора удивительно чистой и правильной формы; а ведь ни разу еще за все эти годы – и даже тогда, когда она вспоминала о своем блудном сыне, – сердце ее не билось так быстро, а корсаж не вздымался так судорожно, как сейчас.

Подойдя к камере, они видят, что дверь открывается и выходит надзиратель. Миссис Бегнет немедленно делает ему знак не говорить ни слова. Кивнув в знак согласия, он впускает их и закрывает дверь.

Поэтому Джордж, который что-то пишет за столом, сосредоточившись на своей работе и не подозревая, что он здесь уже не один, даже не поднимает глаз. Старая домоправительница смотрит на него, и одни лишь ее трепетные руки могли бы рассеять все сомнения миссис Бегнет, даже если б, увидев мать и сына вместе и зная все, что она знает, она все-таки усомнилась в их родстве.

Старая домоправительница не выдает себя ни шорохом платья, ни движением, ни словом. В то время как сын ее что-то пишет, ни о чем не подозревая, она стоит и смотрит на него, борясь с волнением, и только руки ее трепещут. Но они

очень красноречивы… очень, очень красноречивы. Миссис Бегнет понимает их язык. Они говорят о благодарности, о радости, о горе, о надежде; говорят о неугасимой любви, пылавшей безответно с той поры, как этот рослый человек стал юношей, и о том, что более внимательного сына мать любит меньше, а этого сына любит с великой нежностью и гордостью; они, эти руки, говорят таким трогательным языком, что на глазах у миссис Бегнет появляются слезы и, поблескивая, текут по ее загорелому лицу.

– Джордж Раунсуэлл! Милое мое дитя, обернись и взгляни на меня!

Выскочив из-за стола, сын обнимает мать и падает перед ней на колени. То ли в порыве позднего раскаяния, то ли отдавшись ранним воспоминаниям детства, он складывает руки, как ребенок на молитве, и, простирая их к материнской груди, опускает голову и плачет.

– Мой Джордж, мой милый, милый сын! Ты всегда был моим любимым сыном, ты и до сих пор любимый; где же ты был в эти горькие долгие годы?.. И как он вырос, как возмужал, каким стал красивым, сильным мужчиной! Я всегда думала, что он будет точь-в-точь таким, если, по милости божьей, останется в живых.

Некоторое время она не в силах спрашивать, а он не в силах отвечать связно. И все это время «старуха», то есть миссис Бегнет, стоит, отвернувшись, лицом к выбеленной стене, опираясь на нее рукой и прильнув к ней честным, открытым

лбом, стоит, вытирая глаза своей видавшей виды серой накидкой и ликует, – самая лучшая из «старух» на всем белом свете.

– Матушка, – начинает кавалерист, после того как все трое немного успокоились, – прежде всего простите меня, потому что я понял, как нужно мне ваше прощение.

Простить! Она прощает его всем сердцем и всей душой. Она всегда его прощала. Она рассказывает ему, как, много лет назад, назвала его в своем завещании своим возлюбленным сыном Джорджем. Она никогда не верила в то, что он плохой, нет, никогда. Если б она умирала, не изведав счастья этой встречи, – а ведь она уже старая женщина и долго не проживет, – и если б она не потеряла сознания перед смертью, то, испуская последнее дыхание, она благословила бы его, как своего возлюбленного сына Джорджа.

– Матушка, я не выполнил своего сыновнего долга, я огорчил вас и вот поплатился за это; но в последние годы и во мне зародилось что-то вроде добрых чувств. Когда я убежал из дому, я не очень тосковал о нем, матушка, – не очень, как это ни стыдно, а когда уехал далеко и очертя голову завербовался в солдаты, стал обманывать себя и думать, что ни о ком я не тоскую – уж, конечно, нет! – и что никто не тоскует обо мне.

Отерев глаза и спрятав носовой платок, кавалерист продолжает свою исповедь; но как разительно отличается его обычная манера говорить и держать себя от той мягкости, с

какой он говорит теперь, изредка обрывая речь полуподавленным всхлипываньем.

– И вот я написал домой лишь несколько строк, в которых рассказал, как вам хорошо известно, матушка, что завербовался в солдаты под чужим именем; а потом я уехал за границу. Там я сначала думал, что напишу домой на будущий год, когда выйду в люди; а когда этот год прошел, стал думать, что напишу на следующий – опять-таки когда выйду в люди; когда же прошел и этот год, я уже почти никогда не думал о том, что пора, мол, написать домой. Так вот год за годом и прошли все десять лет моей службы, а тут я стал стареть и спрашивать себя: да стоит ли вообще писать?

– Я не виню тебя, дитя мое… Но, Джордж, как мог ты не успокоить меня? Как мог не написать ни словечка своей любящей матери, которая все стареет и стареет?

Эти слова вновь переворачивают всю его душу, но он берет себя в руки и громко, с силой откашливается.

– Да простит меня бог, матушка, но я думал, что мои письма для вас плохое утешение. Вот вы – вас уважают и ценят. А мой брат – он все богатеет, становится все более известным человеком, как мне приходится иногда читать в наших северных газетах. А я – простой драгун… бродяга, я не сумел устроить свою жизнь, не умел сам себе пробить дорогу, как брат, и, хуже того, потерял ее, потому что забыл, в каких прекрасных правилах был воспитан, забыл то немногое, что знал в юности, а если чему и научился, так это не годи-

лось для тех занятий, которые мне по душе. Так какое право я имел писать о себе? Что хорошего могло выйти из моих писем после стольких лет? Ведь вы, матушка, тогда уже пережили самое худшее. В то время (то есть когда я уже стал зрелым) я понял, как вы обо мне горевали и плакали, как молились за меня; но со временем ваша боль прошла или притупилась, и, ничего обо мне не зная, вы думали обо мне лучше, чем я того заслуживал.

Старая мать скорбно качает головой и, взяв его сильную руку, с любовью кладет ее себе на плечо.

– Нет, матушка, я не говорю, что так оно действительно было, но так я себе это представлял. Повторяю, ну что хорошего могло из этого выйти? Правда, милая моя матушка, кое-что хорошее могло бы получиться для меня самого… но мне это показалось бы подлостью. Вы бы меня разыскали; выкупили бы меня из военной службы; увезли бы меня в Чесни-Уолд; свели бы меня с братом и его семьей; и все вы всячески старались бы как-нибудь мне помочь и превратить меня в степенного штатского. Но как могли бы вы верить в меня, когда я сам не мог в себя верить? Как могли бы вы не считать меня позорной обузой, – меня, бездельника-драгуна, который сам себе был позорной обузой, если не считать того времени, когда его сдерживала дисциплина? Как мог бы я смотреть в глаза детям брата и служить им примером – я, бродяга, который еще мальчишкой убежал из дому и принес горе и несчастье родной матери? «Нет, Джордж, – говорил я

себе, матушка, когда перебирал все это в уме, – ты сам себе постелил постель, ну и лежи в ней!»

Величаво выпрямившись, миссис Раунсуэлл со все возрастающей гордостью качает головой в сторону миссис Бегнет, как бы желая сказать: «Я вам говорила!» А «старуха», стремясь дать выход своим чувствам и выразить интерес к разговору, с силой тычет Джорджа зонтом в спину, между лопатками. И в дальнейшем она время от времени точно так же орудует зонтом, словно в припадке безумия, вспыхнувшего на почве дружеских чувств, но не забывает после каждого из этих увещаний повернуться к выбеленной стене и вытереть глаза серой накидкой.

– Вот я и убедил себя, матушка, что уж если я теперь раскаялся, то лучше всего искуплю свою вину тем, что буду лежать в постели, которую сам себе постелил, да и умру в ней. Так я и поступил бы (однако я не раз приезжал в Чесни-Уолд, чтобы хоть одним глазком поглядеть на вас без вашего ведома) – так я и поступил бы, если бы не вот эта жена моего старого товарища, – ведь, как я теперь вижу, она меня перехитрила. Но за это я благодарен ей… спасибо вам за это, миссис Бегнет, от всего сердца, от всей души.

На что миссис Бегнет ответствует двумя тычками.

И вот старуха мать начинает упрашивать своего сына Джорджа, своего милого, вновь обретенного мальчика, свою радость и гордость, свет своих очей, утеху своей старости, и, называя его всеми ласковыми именами, какие только может

вспомнить, уговаривает его воспользоваться самой лучшей консультацией, какую только можно получить при деньгах и связях; она говорит, что ему необходимо поручить ведение своего дела самым знаменитым адвокатам, каких только удастся пригласить; говорит, что, раз он попал в такую беду, ему надо поступать так, как ему посоветуют, и, хоть он и чист, как стеклышко, он не должен упрямиться; нет, он должен обещать, что станет думать только о тревогах и страданиях своей бедной старухи матери, а тревожиться и страдать она будет, пока его не отпустят с миром; если же он не послушается, он разобьет ей сердце.

– Матушка, вы просите так мало, что я должен уступить, – отвечает кавалерист, прервав ее поцелуем, – скажите, что мне нужно делать, и так я и буду делать – лучше поздно, чем никогда. Миссис Бегнет, вы, конечно, позаботитесь о матушке?

Вместо ответа «старуха» изо всей силы тычет его зонтом.

– Познакомьте ее с мистером Джарндисом и мисс Саммерсон, – она узнает, что они тоже уговаривали меня защищаться; а они посоветуют, как быть, и помогут нам.

– И еще, Джордж, – говорит ему мать, – мы должны как можно скорее послать за твоим братом. Он умный, рассудительный человек, – так мне говорили, хотя сама я, дорогой мой, почти ничего не знаю о том, что делается за оградой Чесни-Уолда, – и он может многое сделать для тебя.

– Матушка, – спрашивает кавалерист, – не рано ли мне

просить вас об одной милости?

– Конечно, нет, дорогой мой.

– Тогда окажите мне только одну великую милость – не пишите об этом брату.

– О чем не писать, дорогой?

– Не пишите обо мне. Сознаюсь, матушка, что я просто не могу вынести этой мысли… не могу свыкнуться с нею. Он так не похож на меня, мой брат, он столько сделал, чтобы выйти в люди, пока я прозябал в солдатах, что у меня духу не хватит встретиться с ним в тюрьме и вдобавок – когда меня обвиняют в тяжком преступлении. Можно ли ожидать от такого человека, как он, что подобная новость будет ему приятна? Нельзя. Нет, скройте от него мою тайну, матушка, окажите мне эту незаслуженную милость и кого-кого, а брата не посвящайте в мою тайну.

– Но не всегда же скрывать, милый Джордж?

– Может быть, и не всегда, матушка, – хотя, возможно, я когда-нибудь попрошу и об этом; а пока скрывайте, умоляю вас. Если же ему суждено узнать, что его бродяга-брат вернулся, – говорит кавалерист, с сомнением покачивая головой, – то лучше уж я сам скажу ему об этом и посмотрю, как он примет мои слова, а тогда решу, наступать мне или отступать.

Он горячо настаивает, глубоко убежденный в своей правоте, а по лицу миссис Бегнет видно, что она понимает и одобряет его; поэтому мать сдается и, умолкнув, всем сво-

им видом обещает исполнить его просьбу. За это он ласково благодарит ее.

– Во всем остальном, милая моя матушка, я буду самым сговорчивым и послушным сыном; только в этом одном не уступлю. Теперь я готов принять даже адвокатов. Я тут сидел и писал кое-что, – он бросает взгляд на исписанную бумагу, лежащую на столе, – рассказывал совершенно точно обо всем, что знаю насчет покойного, и как вышло, что меня припутали к этому злополучному делу. Написано просто и по всем правилам, не хуже, чем книга приказов по полку, – ни слова лишнего, только то, что относится к делу. Я надумал прочесть это с начала и до конца, как только получу разрешение говорить в свою защиту. Надеюсь, мне и теперь можно будет прочесть это; а впрочем, я сейчас отказываюсь от своей воли и, что бы там ни говорили, что бы ни делали, обещаю не своевольничать.

Итак, переговоры благополучно закончились соглашением, а время, отведенное для свидания, уже подходит к концу, поэтому миссис Бегнет объявляет, что пора уходить. Старуха мать снова и снова обнимает сына, а сын вновь и вновь прижимает ее к своей широкой груди.

– Куда вы отведете матушку, миссис Бегнет?

– Я поеду в городской дом, милый мой, то есть в дом моих господ. У меня там срочное дело, – отвечает миссис Раунсуэлл.

– Вы наймете карету и проводите туда матушку, миссис

Бегнет? Да я и так знаю, что проводите. И спрашивать не к чему.

Действительно, «не к чему», соглашается миссис Бегнет при помощи зонта.

– Возьмите ее с собой, старинная моя приятельница, и примите мою благодарность. Поцелуйте от меня Квебек и Мальту, передайте привет крестнику, крепко пожмите руку Дубу, а вот это вам, дорогая моя, – жаль только, что это не десять тысяч фунтов золотом!

Кавалерист касается губами загорелого лба «старухи», и дверь его камеры закрывается.

Добрая старая домоправительница хочет отправить миссис Бегнет домой в той же карете, но тщетны все ее мольбы. Живо соскочив на мостовую у подъезда дедлоковского дома и поднявшись вместе с миссис Раунсуэлл на крыльцо, «старуха» пожимает ей руку, удаляется с деловым видом и вскоре, вернувшись в лоно бегнетовского семейства, как ни в чем не бывало снова принимается за мытье овощей.

Миледи сидит в той комнате, где вела свой последний разговор с покойным, и смотрит на то место, где он стоял у камина, так неторопливо изучая ее на досуге, как вдруг слышит стук в дверь. Кто это? Миссис Раунсуэлл. Что привело миссис Раунсуэлл в город так неожиданно?

– Горе, миледи. Тяжкое горе. Ах, миледи, можно мне сказать вам несколько слов?

Что еще случилось и почему эта всегда спокойная стару-

ха так дрожит? Она гораздо счастливее своей госпожи, как часто думала сама госпожа, так почему же она так трепещет и смотрит на миледи с таким странным недоверием?

– Что случилось? Сядьте и отдышитесь.

– Ах, миледи, миледи! Я нашла своего сына… младшего, того, что так давно ушел в солдаты. И он сидит в тюрьме.

– За долги?

– Нет, нет, миледи. Я с радостью заплатила бы за него, сколько бы он ни задолжал.

– За что же он попал в тюрьму?

– По обвинению в убийстве, миледи, – убийстве, в котором он так же не виновен, как… как я. Его обвиняют в убийстве мистера Талкингхорна.

Что значит ее взгляд и этот жест мольбы? Почему она подходит так близко? Что за письмо держит она в руках?

– Леди Дедлок, дорогая моя госпожа, милостивая госпожа, добрая моя госпожа! Вы должны пожалеть меня, вы должны простить меня. Я служила своим господам еще до вашего рождения. Я предана им. Но подумайте о моем дорогом сыне, – ведь на него напраслину взвели.

– Я его не обвиняю.

– Нет, миледи, нет. Но другие обвиняют, и он в тюрьме, в опасности. Ах, леди Дедлок, если вы можете сказать хоть слово в его оправдание, скажите это слово!

Что она такое вообразила, эта старуха? Почему она думает, что женщина, к которой она обращается с подобной

просьбой, может опровергнуть несправедливое подозрение, если оно действительно несправедливо? Прекрасные глаза миледи смотрят на домоправительницу с удивлением, чуть ли не с ужасом.

– Миледи, вчера вечером я выехала из Чесни-Уолда, чтобы на старости лет найти своего пропавшего сына, а в последние дни шаги на Дорожке призрака слышались так часто и такие они были зловещие, каких я ни разу не слыхивала за все эти годы. Ночь за ночью, чуть, бывало, стемнеет, их топот отдавался в ваших покоях, но вчера вечером они звучали так страшно, как никогда. И вот, миледи, вчера, как стемнело, я получила это письмо.

– Какое письмо?

– Тише! Тише! – Оглянувшись кругом, домоправительница отвечает испуганным шепотом: – Миледи, я никому о нем ни слова не сказала, я не верю тому, что в нем написано, я знаю, что этого не может быть, я твердо уверена, что это неправда. Но мой сын в опасности, и вы должны меня пожалеть. Если вы знаете что-нибудь такое, что неизвестно другим, если вы кого-нибудь подозреваете, если вы можете разгадать эту загадку, но по какой-то причине молчите, то подумайте обо мне, дорогая моя госпожа, и, несмотря ни на что, расскажите обо всем, что вам известно. Это моя единственная просьба. Я знаю, вы не жестокая, но вы всегда поступаете по-своему, без чужой помощи, ни с кем не водите дружбы, и каждый, кто восхищается вами, как изящной и

прекрасной леди, – а восхищаются все, – каждый знает, что вы очень далеки от него, и к вам нельзя подойти близко. Миледи, может быть, гордость или гнев заставляют вас молчать о том, что вам известно, а если так, умоляю вас, подумайте о своей верной служанке, – ведь вся моя жизнь прошла в вашем семействе, и я к нему глубоко привязана, – смягчитесь и помогите оправдать моего сына! Миледи, моя добрая госпожа, – умоляет старая домоправительница с непритворным простодушием, – я такая ничтожная и скромная, а вы от природы такая гордая и далекая ото всех, что, пожалуй, и представить себе не можете, как я страдаю за свое детище; но я так страдаю, что вот даже пришла сюда к вам и осмелилась просить и умолять вас не отвергнуть нас в это ужасное время, если вы можете помочь нам добиться правды!

Не говоря ни слова, миледи поднимается и берет письмо из ее рук.

– Вы хотите, чтобы я его прочла?

– Пожалуйста, прочтите, миледи, но лишь после того, как я уйду, и не забудьте о моей единственной просьбе.

– Не знаю, чем я могу помочь. Я не скрываю ничего такого, что касается вашего сына. Я никогда его не обвиняла.

– Миледи, прочитайте это письмо, и, может быть, вы больше пожалеете моего сына за то, что на него взвели поклеп.

Старая домоправительница уходит, а миледи стоит с письмом в руках. Она действительно не жестокая, и было время, когда лицо этой почтенной женщины, умоляющей ее с

такой страстной искренностью, пробудило бы в ней глубокое сострадание. Но миледи так давно привыкла подавлять свои чувства и скрывать истину, столько лет сознательно перевоспитывала себя в той пагубной школе, которая учит людей заглушать свои естественные душевные побуждения, хоронить их в своем сердце, – подобно тому, как мухи далеких эпох погребены в янтаре, – наводить однообразный и тусклый глянец на всех хороших и дурных, глубоко чувствующих и бесчувственных, разумных и неразумных, – так давно привыкла к этому, что, слушая миссис Раунсуэлл, до сих пор подавляла в себе даже удивление.

Она развертывает письмо. В него вложена печатная заметка о том, как нашли труп человека с пулей в сердце, лежавший ничком на полу; а внизу написано ее имя и слово «убийца».

Письмо выпало из ее рук. Как долго оно пролежало на полу, она не знает; оно лежит, где упало, но вдруг она отдает себе отчет в том, что перед нею стоит лакей и докладывает о приходе молодого человека, некоего Гаппи. Лакей, должно быть, несколько раз повторил свои слова – они звенели в ее ушах еще до того, как она начала понимать их смысл.

– Проводите его сюда.

Он входит. Подняв письмо, она держит его в руках и старается сосредоточиться. Для мистера Гаппи она все та же леди Дедлок, по-прежнему сдержанная, гордая и холодная.

– Ваша милость, может быть, мой приход сначала пока-

жется вам непростительной дерзостью, но ведь вы, ваша милость, ни разу не были рады меня видеть, на что я, впрочем, не жалуюсь, так как, принимая во внимание все обстоятельства, радоваться действительно было нечему; но когда я объясню вашей милости, с какой целью явился сейчас, вы, надеюсь, меня не осудите, – говорит мистер Гаппи.

– Объясняйте.

– Очень благодарен, ваша милость. Я должен прежде всего сказать вашей милости, – начинает мистер Гаппи, присев на краешек стула и поставив цилиндр на ковер у своих ног, – что мисс Саммерсон, чей образ, как я однажды сказал вашей милости, был в течение одного периода моей жизни запечатлен в моем сердце, пока его не стерли не зависящие от меня обстоятельства, – мисс Саммерсон говорила со мной после того, как я в последний раз имел удовольствие нанести визит вашей милости, и настоятельно просила меня не делать никаких шагов ни в какой области, которая может ее касаться. А поскольку желания мисс Саммерсон для меня закон (исключая желаний, связанных с не зависящими от меня обстоятельствами), я, следовательно, никак не думал, что удостоюсь высокой чести снова нанести визит вашей милости.

Тем не менее он пришел, угрюмо напоминает ему миледи.

– Тем не менее я пришел, – признает мистер Гаппи. – Вот я и хочу разъяснить вашей милости, почему я пришел.

Она просит разъяснить это как можно яснее и короче.

– А я, – говорит мистер Гаппи обиженным тоном, – насто-

ятельно прошу вашу милость обратить особенное внимание на то, что я пришел сюда не ради себя. Направляясь к вам, я заботился не о своих интересах. Не дай я мисс Саммерсон обещания, которое почитаю священным, ноги бы моей больше не было в этом доме; напротив, я бы держался от него подальше.

Мистер Гаппи находит, что сейчас ему самая пора запустить обе руки себе в шевелюру.

– Вы, может, припомните, ваша милость, что, когда я пришел сюда в прошлый раз, я столкнулся с одним человеком, который пользовался большой известностью среди нас, юристов, и чью потерю все мы оплакиваем. С тех пор этот человек принялся вредить мне всюду и везде, можно сказать, весьма некрасивым образом, так что я уж начал побаиваться не на шутку, а не сделал ли я, сам того не ведая, чего-нибудь против желания мисс Саммерсон. Но ведь я, – хвалить себя не годится, однако должен это сказать в свою защиту, – ведь я тоже неплохо знаю свое дело.

Леди Дедлок устремляет на него строгий, вопросительный взгляд. Мистер Гаппи мгновенно отводит от нее глаза и смотрит куда-то в сторону.

– Скажу больше, – продолжает он, – было так трудно понять, чего, собственно, добивается этот человек совместно с другими лицами, что, пока мы не понесли утраты, которую оплакиваем, я, можно сказать, увязал в песке, – вы, ваша милость, возможно, этого не поняли, ибо вращаетесь в

высших кругах, так благоволите считать, что это все равно что «зашел в тупик». Опять же Смолл – это мой приятель, с которым ваша милость незнакомы, – Смолл сделался таким замкнутым и двуличным, что временами было довольно трудно удержаться и не стукнуть его по башке. Так или иначе, но я напряг свои скромные силы и способности, да еще мне помог один наш общий друг, некий мистер Тони Уивл (человек аристократических склонностей – у него в комнате всегда висит портрет вашей милости), и вот теперь у меня появилась причина кое-чего опасаться, почему я и явился предупредить, что вашей милости надо держаться начеку. Прежде всего позвольте спросить, ваша милость: не приходили к вам нынче утром какие-нибудь необычные гости? Я хочу сказать – не светские визитеры, а такие, как, например, бывшая служанка мисс Барбери или один человек, который не владеет своими нижними конечностями, так что его приходится таскать, словно чучело Гая Фокса.

– Нет.

– Ну, а я могу заверить вашу милость, что эти посетители сюда явились и их приняли. Надо вам сказать, что я увидел их у подъезда и подождал на углу площади, пока они отсюда не вышли, а тогда отошел и целых полчаса кружил по улицам, чтобы с ними не встретиться.

– Какое мне дело до всего этого и какое вам дело? Я вас не понимаю. Что вы хотите этим сказать?

– Ваша милость, я пришел просить вас держаться начеку.

Может, в этом нет надобности. Пусть так. В таком случае я только сделал все возможное, чтобы выполнить обещание, которое дал мисс Саммерсон. Я сильно подозреваю (кое-что Смолл сам выболтал, а кое-что мы выпытали у него), я сильно подозреваю, что те письма, которые я когда-то брался принести вашей милости, а потом считал погибшими, на самом деле вовсе не погибли. Еще я подозреваю, что если в них есть что разглашать, так это разглашают *сейчас*. И еще – что гости, о которых я упоминал, явились сюда нынче утром, чтобы сорвать на этом хороший куш. И, должно быть, уже сорвали, а нет, так вот-вот сорвут.

Мистер Гаппи поднимает свой цилиндр и встает.

– Ваша милость, вам лучше знать, имеет все это хоть какое-нибудь значение или не имеет. Так ли, этак ли, но я старался исполнить желание мисс Саммерсон в том смысле, чтобы ничего больше не затевать и насколько возможно замять то, что я уже успел сделать; с меня этого довольно. Возможно, что не было никакой надобности предостерегать вашу милость и, придя сюда с этой целью, я позволил себе вольность; если так, надеюсь, вы постараетесь забыть мой дерзкий поступок, а я попытаюсь забыть ваше неодобрение. Теперь я распрощаюсь с вашей милостью, и, заверяю вас, нечего бояться, что я опять явлюсь к вам.

В ответ на эти прощальные заверения она лишь едва поднимает глаза, но вскоре после его ухода звонит в колокольчик.

– Где сейчас сэр Лестер?

Меркурий докладывает, что он сидит один в библиотеке, запершись.

– Приходил ли кто-нибудь к сэру Лестеру сегодня утром?

Несколько человек по делу. Меркурий описывает их так, как до него описал мистер Гаппи. Довольно; он может идти.

Так! Все кончено. Имя ее на устах у толпы; муж ее узнал о своем несчастье, позор ее получит огласку, – быть может, слух разносится уже сейчас, пока она это думает, – и вдобавок к громовому удару, которого так долго ждала она, но никак не ждал ее муж, какие-то невидимые доносчики обвиняют ее в убийстве ее врага.

А врагом ее он действительно был, и она часто, часто, часто желала его смерти. Он враг и теперь, даже в могиле. Тяжкое обвинение свалилось на нее как новая пытка, которой ее подвергает его безжизненная рука. И, вспомнив о том, что в тот вечер она тайком подходила к его дверям, вспомнив, что незадолго перед убийством она уволила свою любимую служанку, – а это могут объяснить ее желанием избавиться от лишних глаз, – вспомнив все это, она трепещет, словно рука палача касается ее шеи.

Она бросилась на пол и лежит, зарывшись лицом в диванные подушки, а волосы ее разметались в беспорядке. Но вдруг она вскакивает, носится по комнате, снова бросается на пол, мечется, стонет. Она охвачена невыразимым ужасом. Будь она и вправду убийцей, ужас ее не мог бы быть сильнее.

Ведь если б она действительно задумала совершить убийство и приняла хитроумнейшие предосторожности, ненавистный образ, несмотря на это, разросся бы в ее глазах до гигантских размеров и помешал бы ей предугадать неизбежные последствия преступления – но не успел бы он пасть ниц, как эти последствия хлынули бы на нее нежданным потоком, – как всегда бывает после убийства; и вот теперь она понимает, что когда он ее выслеживал, а она думала: «О, если бы смертельный удар поразил этого старика и убрал с моего пути!» – то эти мысли ей внушало желание уничтожить бесследно – развеять по всем ветрам – улики, собранные им против нее. Недаром она испытала недоброе облегчение, когда узнала о его смерти. Чем была его смерть, как не извлечением камня, замыкавшего гнетущий ее свод, а теперь свод рушится, рассыпаясь на тысячи обломков, и каждый из них давит и ранит ее!

И вот страшное наваждение охватывает и омрачает ее душу: от этого преследователя – живого или мертвого, окостенелого и бесчувственного при жизни, каким она хорошо его помнит, или столь же окостенелого и бесчувственного теперь, на гробовом ложе, – от этого преследователя нельзя спастись иначе как смертью. Затравленная, она бежит. Смятение чувств – стыда, страха, угрызений совести, отчаяния, – достигнув своего апогея, берет над нею верх; и даже ее непоколебимая уверенность в себе теперь сорвана и унесена прочь, как древесный лист неистовым ураганом.

Она торопливо пишет несколько строк мужу и, запечатав письмо, оставляет его на столе:

«Если меня будут разыскивать, обвинив в его убийстве, верьте, что в этом я совершенно не виновна. Во всем остальном не верьте ничему хорошему обо мне, ибо я виновна во всех других проступках, какие мне приписывают, как Вы уже слышали или услышите. В тот роковой вечер он предупредил меня, что расскажет Вам о моем падении. После того как он расстался со мной, я вышла из дому, сказав, что хочу погулять в саду, где иногда гуляю, но на самом деле я решила пойти к нему, чтобы в последний раз попросить его сжалиться надо мной: прекратить муки ожидания – эту ужасную пытку, которой он мучил меня так давно – Вы не знаете, как давно, – и сострадательно нанести удар завтра же утром.

В доме у него было темно и тихо. Я звонила два раза, но никто не откликнулся, и я вернулась домой.

Теперь у меня уже нет дома. Я больше не буду обременять Вас. Забудьте в своем справедливом негодовании недостойную женщину, на которую Вы напрасно потратили столько великодушной преданности, – эта женщина покидает Вас с глубоким стыдом, – еще более глубоким, чем стыд, с которым она бежит от самой себя – и прощается с Вами навсегда!»

Она быстро одевается, прячет лицо под вуалью, прислушивается к чему-то и, не взяв с собой ни драгоценностей, ни денег, спускается по лестнице и, улучив минуту, когда в

вестибюле никого нет, открывает, потом закрывает за собой огромную дверь и быстро исчезает из виду, словно ее подхватил и унес резкий морозный ветер.

Глава LVI
Погоня

Бесстрастно, как и подобает знатным, городской дом Дедлоков взирает на другие дома величаво-унылой улицы и ничем не выдает, что внутри его что-то неладно. Тарахтят кареты, раздается стук в двери, высший свет обменивается визитами; пожилые прелестницы с костлявыми шейками и персиковыми щечками, румянец которых приобретает довольно-таки замогильный оттенок при дневном свете, когда эти очаровательные создания смахивают на какой-то сплав из Женщины и Смерти, изображенных на популярной картинке, – пожилые прелестницы ослепляют мужчин. Из холодных конюшен, мягко покачиваясь на рессорах, выезжают кареты, и на их козлах, глубоко погрузившись в пуховые подушки, восседают коротконогие кучера в белокурых париках, а на запятках торчат расфранченные Меркурии с булавами в руках и в треуголках набекрень – зрелище, поистине достойное небожителей.

Внешне городской дом Дедлоков ничуть не меняется, и проходит много часов, прежде чем внутри его рушится чинное однообразие его жизни. Но вот обворожительная Волюмния, замученная великосветской болезнью – скукой и находя, что сегодня этот недуг слишком сильно портит ей

настроение, решается наконец перейти в библиотеку для перемены обстановки. Однако ее осторожный стук не вызывает отклика, и тогда она открывает дверь, заглядывает внутрь и, увидев, что в комнате никого нет, входит.

В Бате, этом городке, заросшем травой и заселенном стариками, бойкая Дедлок слывет донельзя любопытной девицей, которая пользуется всяким удобным и неудобным случаем шмыгать туда-сюда с золотым лорнетом в руках и совать свой нос во что только можно. И на сей раз она, конечно, не упускает случая попорхать, как птичка, над письмами и бумагами своего родича – быстро клюнуть один документ, заглянуть, склонив головку набок, в другой и, приложив к глазам лорнет, с любознательным и беспокойным видом попрыгать от стола к столу. Увлекшись поисками, она обо что-то спотыкается и, направив лорнет в эту сторону, видит своего родича, – он распростерт на полу, словно поваленное дерево.

Столь неожиданное открытие придает любимому слабому взвизгиванию Волюмнии изрядную долю искренности, и в доме мгновенно поднимается переполох. Слуги мчатся вверх и вниз по лестницам, яростно звонят звонки, посылают за докторами, леди Дедлок ищут повсюду, но не находят. О ней нет ни слуху ни духу с тех пор, как она позвонила в последний раз. Ее письмо к сэру Лестеру найдено на ее столе; но кто знает, может быть, он уже получил другую весть из другого мира – весть, требующую личного ответа, – и те-

перь все языки человечества, живые и мертвые, ему одинаково чужды.

Его укладывают в постель, согревают, растирают, обмахивают, прикладывают ему лед к голове и всячески стараются привести его в чувство. Однако день угас и ночь наступила в спальне, прежде чем хриплое его дыхание стало ровным, а в устремленных в одну точку невидящих глазах, перед которыми время от времени водили свечой, впервые мелькнули проблески сознания. Но с тех пор, как он пришел в себя, состояние его непрерывно улучшается – мало-помалу он начинает поворачивать голову, переводить глаза с одного предмета на другой и даже шевелить пальцами в знак того, что слышит и понимает все, что ему говорят.

Сегодня утром, когда он рухнул на пол, он был красивым осанистым джентльменом, немножко припадающим на ногу, но все же представительным и с упитанным лицом. Теперь он лежит в постели – старик со впалыми щеками, дряхлая тень самого себя. Раньше голос у него был густой и сочный, и сэр Лестер так долго был убежден в огромном весе и значении каждого своего слова для всего человечества, что слова его и вправду звучали так, словно в них был какой-то важный смысл. Но теперь он может только шептать, а все, что он шепчет, звучит так, как и должно звучать, – это бессмысленный лепет, не слова, а звук пустой.

Его любимая служанка – преданная домоправительница – стоит у его ложа. Это первое, что он осознает, и это яв-

но доставляет ему удовольствие. Сделав несколько тщетных попыток заставить окружающих понять его речь, он делает знак, чтобы ему подали карандаш, но – еле заметный знак, так что его понимают не сразу. Только старая домоправительница догадывается, чего он хочет, и приносит ему аспидную доску.

Немного погодя он медленно, не своим почерком, царапает на ней слова: «Чесни-Уолд?»

Нет, отвечает ему домоправительница, он в Лондоне. Ему сделалось дурно сегодня утром, в библиотеке. Как она рада, что случайно оказалась в Лондоне и может теперь ухаживать за ним.

– Болезнь у вас не тяжелая, сэр Лестер. Завтра вам будет гораздо лучше, сэр Лестер. Так и сказали все эти джентльмены.

Она говорит это, а слезы текут по ее красивому старческому лицу.

Окинув глазами всю комнату, больной очень внимательно всматривается в докторов, обступивших кровать, и пишет: «Миледи».

– Миледи нет дома, сэр Лестер; она вышла до того, как вам сделалось дурно, и еще не знает о вашей болезни.

Очень волнуясь, он указывает на слово, которое написал. Все стараются его успокоить, но он опять указывает на это слово, а волнение его возрастает. Он видит, как люди переглядываются, не зная, что сказать, и, снова взяв аспидную

доску, пишет: «Миледи. Ради бога, где?» Потом испускает стон, в котором звучит мольба.

Врачи решают, что старуха домоправительница должна отдать ему письмо миледи, содержания которого никто не знает и даже не может предугадать. Она распечатывает и отдает ему письмо, чтобы он сам прочел его. С великим трудом прочитав его два раза, он кладет письмо исписанной страницей вниз, так, чтобы никто не мог ее увидеть, и стонет. Но вот он снова теряет сознание или впадает в забытье, и только спустя час открывает глаза и склоняет голову на руку своей верной и преданной старой служанки. Врачи понимают, что ему легче быть с нею одной и отходят в сторону, возвращаясь лишь тогда, когда нужна их помощь.

Он снова просит аспидную доску, но не может вспомнить слово, которое хочет написать. Смотреть жалко на его тревогу, его волнение и страдания. Кажется, будто он вот-вот помешается – так остро он чувствует, что необходимо спешить, и так беспомощно силится объяснить, что именно нужно сделать, за кем надо послать. Он написал букву Б и остановился. Но вдруг, когда отчаяние его уже дошло до предела, он начинает писать слово «мистер» перед Б. Старуха домоправительница подсказывает: «Баккет?» Слава богу! Это он и хотел написать.

Мистера Баккета находят внизу, – он обещал вернуться и уже явился. Позвать его?

Нельзя не понять, как страстно жаждет сэр Лестер его уви-

деть, – нельзя не понять, как хочет он, чтобы комнату покинули все, кроме домоправительницы. Его желание исполняют быстро, и мистер Баккет приходит. Из всех людей на земле только он один подает надежду и внушает доверие сэру Лестеру, упавшему с высоты своего величия.

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, очень грустно видеть вас в таком состоянии. Надеюсь, вы поправитесь. Обязательно поправитесь, на благо своему роду.

Сэр Лестер, передав мистеру Баккету письмо, пристально следит за его лицом, пока тот читает. А мистеру Баккету приходят в голову какие-то новые мысли, – это видно по его глазам, – и, согнув свой указательный палец, но не отрывая глаз от письма, он наконец говорит:

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, я вас понимаю.

Сэр Лестер пишет на аспидной доске: «Полное прощение. Найдите…» Мистер Баккет останавливает его:

– Сэр Лестер Дедлок, баронет, я ее найду. Но поиски надо начать немедленно. Нельзя терять ни минуты.

С быстротою мысли повернувшись в ту сторону, куда посмотрел сэр Лестер Дедлок, он видит на столе небольшую шкатулку.

– Принести ее сюда, сэр Лестер Дедлок, баронет? Понятно. Открыть одним из этих ключей? Понятно. Самым маленьким ключом? Разумеется. Вынуть деньги? Вынимаю. Пересчитать? За этим дело не станет. Двадцать и тридцать – пятьдесят, еще двадцать – семьдесят, еще пятьдесят – сто

двадцать, да еще сорок – сто шестьдесят. Взять их на расходы? Возьму и, конечно, дам отчет. Денег не жалеть? Не буду.

Быстрота, с какой мистер Баккет безошибочно понимает все молчаливые приказания сэра Лестера, кажется почти сказочной. Миссис Раунсуэлл взяла свечу, чтобы посветить ему, и у нее даже голова закружилась – так стремительно бегают его глаза и летают руки, когда он вскакивает, уже готовый к отъезду.

– А вы Джорджу матерью доводитесь, бабушка: вот вы кто такая, правда? – обращается к ней мистер Баккет, уже нахлобучив шляпу на голову и застегивая пальто.

– Да, сэр, я его мать, и до чего я по нем горюю!

– Так я и думал, судя по тому, что он давеча мне говорил. Ну что ж, тогда я вам кое-что скажу. Можете больше не горевать. С вашим сыном все обстоит прекрасно. Нет, плакать не надо, потому что сейчас вы должны ухаживать за сэром Лестером Дедлоком, баронетом, а будете плакать – ему лучше не станет. Что до вашего сына, повторяю: у него все прекрасно, и он с сыновней любовью велел пожелать вам того же и поклониться. Обвинение с него сняли, – вот как обстоит дело; честь его ничуть не пострадала и репутация не запятнана, – она не хуже вашей, а ваша чиста, как стеклышко, держу пари на один фунт. Можете мне верить – ведь это я забрал вашего сынка. Он тогда вел себя молодцом, да и вообще он человек расчудесный, а вы расчудесная старушка, и вы с ним такие мать и сын, что вас можно за деньги показывать как

образцовых… Сэр Лестер Дедлок, баронет, ваше поручение я выполню. Не бойтесь, что я сверну с дороги вправо или влево, что я засну, умоюсь или побреюсь раньше, чем найду то, что пошел искать. Передать от вашего имени прощение и вообще всякие добрые слова? Сэр Лестер Дедлок, баронет, передам. Вам желаю поправиться, а вашим семейным делам – уладиться, как они улаживались – бог мой! – и будут улаживаться во многих семействах до скончания веков!

Кончив свою речь и застегнувшись на все пуговицы, мистер Баккет бесшумно выходит из комнаты, глядя перед собой и словно уже пронизывая глазами ночную тьму в поисках беглянки…

Прежде всего он направляется в покои миледи и осматривает их, стараясь найти хоть какую-нибудь мелочь, которая могла бы ему помочь. Теперь в ее комнатах совсем темно, и было бы очень любопытно понаблюдать, как мистер Баккет, подняв над головой восковую свечу, мысленно составляет инвентарь хрупких безделушек, которые столь разительно не вяжутся с его обликом; но никто его не видит, потому что он позаботился запереть дверь.

– Шикарный будуар, – говорит мистер Баккет, чувствуя, что он как будто понаторел во французском языке после своей недавней стычки с француженкой. – Должно быть, стоил кучу денег. Нелегко, верно, было расстаться с такой роскошью; очень уж туго ей пришлось, надо думать!

Он открывает и закрывает ящики в столах, заглядывает в

шкатулки и футляры с драгоценностями, видит свое отражение в бесчисленных зеркалах и принимается философствовать по этому поводу.

– Можно подумать, что я вращаюсь в великосветских кругах и сейчас собираюсь расфрантиться, чтобы ехать на бал в Олмэк, – бормочет мистер Баккет. – Того и гляди окажется, что я – какой-нибудь гвардейский щеголь, а мне-то и невдомек.

По-прежнему обегая глазами комнату, он находит в ящике комода дорогой ларчик и открывает его. Широкая его рука роется в перчатках, почти не ощущая их, – слишком они легки и нежны для его огрубевших пальцев, – и вдруг нащупывает белый носовой платок.

– Хм! Надо осмотреть *тебя*, – говорит мистер Баккет, ставя на комод свечу. – С какой это стати *тебя* хранили не с другими платками, а припрятали отдельно? С какой целью? Ты чей платок – ее милости или еще чей-то? Где-нибудь на тебе должна быть метка.

Отыскав метку, он читает вслух: «Эстер Саммерсон».

– Так! – говорит мистер Баккет и стоит, приложив палец к уху. – Пойдем-ка: *тебя* я прихвачу с собой.

Он заканчивает свои наблюдения так же бесшумно и тщательно, как начал и вел их: наводит порядок, оставляя все вещи, кроме платка, на тех самых местах, где они были раньше, и, пробыв в этих комнатах всего минут пять, покидает их и выходит на улицу. Бросив взгляд вверх, на тускло осве-

щенные окна в спальне сэра Лестера, он мчится во весь дух к ближайшей стоянке наемных карет и, выбрав лошадь, за которую не жаль заплатить хорошие деньги, велит ехать в «Галерею-Тир Джорджа». Мистер Баккет не считает себя ученым знатоком лошадей, но, привыкнув посещать главнейшие конские состязания и тратить там малую толику денег, обычно любит подводить итоги своим знаниям в этой области, утверждая, что, если лошадь резва, он это сразу видит.

Вот и сегодня он тоже не ошибся. Тарахтя по булыжникам со скоростью, опасной для жизни, и, однако, внимательно глядя острыми глазами на всех крадущихся прохожих, мимо которых карета несется по полночным улицам, и даже на свет в верхних окнах, за которыми люди уже легли или ложатся спать, и на углы улиц, которые с грохотом объезжает карета, и на пасмурное небо, и на землю, покрытую тонкой пеленой снега, – ибо след может найтись где угодно, – он во весь опор мчится к месту своего назначения, да так стремительно, что, приехав и соскочив на землю, чуть не задыхается в клубах пара, который валит от лошади.

– Отпусти-ка ей удила на минутку, пускай остынет; а я мигом вернусь.

Пробежав по длинному деревянному проходу, он видит, что кавалерист сидит дома и курит трубку.

– Так я и знал, Джордж, что после всего, что вы пережили, вы первым долгом возьметесь за трубку, приятель. Не могу тратить лишних слов. Дело чести! Все – ради спасения

женщины. Мисс Саммерсон, та девица, что была здесь, когда умер Гридли, – не беспокойтесь, я знаю, что ее так зовут, – о ней не беспокойтесь! – так вот: где она живет?

Кавалерист только что вернулся домой после визита к ней и дает ее адрес, – это неподалеку от Оксфорд-стрит.

– Вы об этом не пожалеете, Джордж. Спокойной ночи!

Он выходит, смутно припоминая, что, оказывается, видел и Фила, который сидел, разинув рот, у нетопленого камина, уставившись на нежданного гостя; потом несется дальше и снова выходит из кареты, опять-таки окутанный клубами пара.

Мистер Джарндис один не спит во всем доме, но уже собирается лечь спать, как вдруг слышит резкий звон колокольчика и, оторвавшись от книги, в халате спускается вниз, чтобы открыть дверь.

– Не пугайтесь, сэр. – Гость, во мгновение ока очутившись в передней, уже запер дверь и, дружески глядя на хозяина, стоит, положив руку на задвижку. – Я уже имел удовольствие встречаться с вами. Инспектор Баккет. Взгляните на этот носовой платок, сэр, – это платок мисс Эстер Саммерсон. Я сам нашел его в комоде у леди Дедлок четверть часа назад. Нельзя терять ни минуты. Дело идет о жизни и смерти. Вы знакомы с леди Дедлок?

– Да.

– Сегодня там открылась одна тайна. Семейные дела получили огласку. Сэра Лестера Дедлока, баронета, хватил

удар, – не то апоплексия, не то паралич, – и его долго не удавалось привести в чувство, так что потеряно драгоценное время. Леди Дедлок ушла из дому сегодня, во второй половине дня, и оставила мужу письмо, которое мне совсем не по нутру. Прочтите его. Вот оно!

Прочитав письмо, мистер Джарндис спрашивает сыщика: что он обо всем этом думает?

– Не знаю, что и думать. Скорей всего, она хочет покончить с собой. Так или иначе, может дойти до этого, и опасность возрастает с каждой минутой. Надо было начать поиски раньше – я бы ста фунтов не пожалел отдать за каждый потерянный час. Дело в том, мистер Джарндис, что сэр Лестер Дедлок, баронет, поручил мне выследить и найти ее… чтобы спасти и сказать, что он ее прощает. Деньги и полномочия у меня имеются, но мне нужно еще кое-что. Мне нужна мисс Саммерсон.

Мистер Джарндис переспрашивает с тревогой в голосе:

– Мисс Саммерсон?

– Слушайте, мистер Джарндис, – отвечает мистер Баккет, который все это время с величайшим вниманием изучал лицо собеседника, – я говорю с вами как с человеком большой души, а дело такое спешное, какие нечасто случаются. Промедление тут необычайно опасно, и если оно произойдет по вашей вине, вы потом никогда себе этого не простите. Повторяю, восемь, а то и десять часов, ценой по сотне фунтов каждый, не меньше, потеряны с тех пор, как леди Дедлок ис-

чезла. Мне поручили ее найти. Я – инспектор Баккет. Ее и так уж тяготило многое, а тут еще она узнала, что ее заподозрили в убийстве. Если я пущусь за нею в погоню один, она, не зная о том, что сэр Лестер Дедлок, баронет, просил меня передать, может дойти до крайности. Если же я поеду за нею вдогонку вместе с молодой леди, к которой она питает нежные чувства, – я ни о чем не спрашиваю и вообще об этом ни слова, – она поверит, что я ей друг. Отпустите со мной мисс Саммерсон, дайте мне возможность удержать леди Дедлок с ее помощью, и я спасу беглянку и верну ее, если она еще жива. Отпустите со мной мисс Саммерсон, – задача эта трудная, – и я как можно лучше сделаю все, что в моих силах, хоть и не знаю, что в данном случае будет лучше. Время летит – скоро час ночи. Когда он пробьет, будет потерян еще целый час, а он стоит уже не сотню, а тысячу фунтов.

Все это верно, и спешить действительно необходимо. Мистер Джарндис просит сыщика подождать внизу, пока сам он пойдет переговорить с мисс Саммерсон. Мистер Баккет соглашается, но, по своему обыкновению, не остается внизу, а следует за мистером Джарндисом наверх, не упуская его из виду. Пока наверху совещаются, он стоит в засаде на полутемной лестнице. Немного погодя мистер Джарндис, вернувшись, говорит, что мисс Саммерсон сейчас придет и под покровительством мистера Баккета будет сопровождать его всюду, куда он укажет.

Мистер Баккет, очень довольный, одобряет это решение

и, поджидая свою спутницу, отходит к двери.

Тут он настраивает свой ум на высокий лад и устремляет мысленный взор в необъятную даль. Он видит множество одиноких прохожих на улицах; множество одиноких за городом, на пустошах, на дорогах, под стогами сена. Но той, которую он ищет, среди них нет. Он видит других одиноких: они стоят на мостах и, перегнувшись через перила, смотрят вниз; они ютятся во мраке глухих закоулков под мостами, у самой воды; а какой-то темный-темный бесформенный предмет, что плывет по течению, – самый одинокий из всех, – привлекает к себе его внимание.

Где она? Живая или мертвая, где она? Если бы тот платок, который он складывает и бережно прячет, волшебной силой показал ему комнату, где она его нашла, показал окутанный мраком ночи пустырь, вокруг домишка кирпичника, где маленького покойника покрыли этим платком, сумел бы Баккет выследить ее там? На пустыре, где в печах для обжига пылают бледно-голубые огни; где ветер срывает соломенные кровли с жалких кирпичных сараев; где глина промерзла, а вода превратилась в лед и чудится, будто дробилка, которую, целый день шагая по кругу, приводит в движение изможденная слепая лошадь, это не просто дробилка, но орудие пытки для человека, – на этом гиблом, вытоптанном пустыре маячит чья-то одинокая тень, затерянная в этом скорбном мире, засыпаемая снегом, гонимая ветром и как бы оторванная от всего человечества. Это женщина; но она одета как нищая, и

в подобных отрепьях никто не пересекал вестибюля Дедлоков и, распахнув огромную дверь, не выходил из их дома.

Глава LVII
Повесть Эстер

Я уже легла спать и успела заснуть, как вдруг опекун постучал в дверь моей комнаты и попросил меня встать немедленно. Когда я выбежала, чтобы поговорить с ним и узнать, что случилось, он после двух-трех вступительных слов сказал мне, что сэр Лестер Дедлок узнал все, что моя мать бежала из дому, а к нам явился человек, которому поручено найти ее, если удастся, и заверить в том, что ее простили, что ее любят и не дадут в обиду; меня же этот человек просит сопровождать его, в надежде, что на нее повлияют мои мольбы, если сам он не сумеет ее убедить. Таков был общий смысл слов опекуна, и я их поняла; но тревога, спешка и горе привели меня в замешательство, и как я ни старалась, я не могла успокоиться и совсем пришла в себя лишь спустя несколько часов.

Тем не менее я быстро оделась и закуталась, не разбудив ни Чарли, ни других обитателей нашего дома, и сошла вниз, к мистеру Баккету, – оказалось, что это ему доверили тайну. Так мне сказал опекун, провожая меня, и объяснил также, почему мистер Баккет вспомнил обо мне. В передней при свете свечи, которую держал опекун, мистер Баккет вполголоса прочел мне письмо, оставленное моей матерью на сто-

ле, и минут через десять после того, как меня разбудили, я уже сидела рядом со своим спутником и мы быстро катили по улицам.

Он сказал мне прямо, однако стараясь щадить меня, что хочет задать мне несколько вопросов и что очень многое будет зависеть от моих ответов, которые должны быть совершенно точными. Спрашивал он главным образом о том, как часто я виделась со своей матерью (которую он неизменно называл «леди Дедлок»), когда и где я говорила с нею в последний раз и как это вышло, что у нее очутился мой носовой платок. Когда я ответила ему на эти вопросы, он попросил меня хорошенько подумать – подумать не спеша, нет ли где-нибудь такого человека, все равно где, к которому она, вероятней всего, решит обратиться в случае крайней необходимости. Я никого не могла указать, кроме опекуна. Но, подумав, назвала еще мистера Бойторна. Я вспомнила о нем потому, что о моей матери он всегда говорил с рыцарской почтительностью, был когда-то помолвлен с ее сестрой, – как я слышала от опекуна, – и, сам того не ведая, пострадал по причинам, связанным с ее прошлым.

Во время этого разговора мой спутник приказал вознице придержать лошадь, чтобы нам было легче слышать друг друга. Теперь же он велел ему трогаться снова и, немного подумав, сказал мне, что уже решил, как действовать дальше. Он был не прочь изложить мне свой план, но в голове у меня мутилось, и я чувствовала, что все равно ничего не пойму.

Мы отъехали еще не очень далеко от нашего дома, как вдруг остановились в переулке у освещенного газом здания, где, видимо, помещалось какое-то учреждение. Мистер Баккет провел меня туда и усадил в кресло у камина, в котором ярко пылал огонь. Я посмотрела на стенные часы – был уже второй час ночи. Двое полицейских в безукоризненно опрятных мундирах и ничуть не похожие на людей, работающих всю ночь, молча писали что-то за письменным столом; и вообще здесь было очень тихо, если не считать того, что из подвального этажа доносились глухие стуки в дверь и крики, на которые никто не обращал внимания.

Мистер Баккет вызвал третьего полицейского и шепотом передал ему какие-то инструкции, после чего тот вышел из комнаты, а первые двое стали совещаться, причем один из них одновременно писал что-то под диктовку мистера Баккета, говорившего вполголоса. Оказалось, что они составляли описание наружности моей матери, и когда оно было закончено, мистер Баккет принес его мне и прочел шепотом. Описание это было сделано очень точно.

Второй полицейский, подойдя к нам вплотную и внимательно прослушав чтение, снял с описания копию и вызвал еще одного человека в мундире (их было несколько в соседней комнате), а тот взял копню и ушел с нею. Все это они делали очень быстро, не теряя ни минуты, хотя никто, казалось, не спешил. Как только бумагу куда-то отослали, оба полицейских снова принялись что-то писать – очень стара-

тельно и аккуратно. Мистер Баккет стал спиной к камину и в задумчивости принялся греть перед огнем подошвы своих сапог, согнув сначала одну ногу, потом другую.

– Вы хорошо закутались, мисс Саммерсон? – спросил он, поймав мой взгляд. – На дворе зверский холод; не под силу это для молодой леди – провести ночь на воздухе в такую стужу.

Я ответила, что мне все равно, какая погода, и одета я тепло.

– Дело может затянуться надолго, – заметил он. – Ну что ж, пускай, лишь бы оно хорошо кончилось, мисс.

– Молю бога, чтобы оно кончилось хорошо! – сказала я.

Он успокоительно кивнул головой.

– Что бы вы ни делали, никогда не волнуйтесь. Что бы ни случилось, отнеситесь к этому хладнокровно и спокойно, – так будет лучше для вас, лучше для меня, лучше для леди Дедлок и лучше для сэра Лестера Дедлока, баронета.

Ко мне он был так внимателен, говорил со мной так мягко, что, глядя на него, когда он стоял спиной к камину, грея себе сапоги и почесывая щеку указательным пальцем, я прониклась доверием к его прозорливости, и это меня успокоило. Еще не было без четверти двух, когда я услышала топот копыт и стук колес.

– Ну, мисс Саммерсон, – сказал мистер Баккет, – пора нам тронуться в путь!

Он взял меня под руку, полицейские вежливо поклони-

лись мне на прощанье, и я увидела у подъезда фаэтон, или, скорее, коляску с поднятым верхом, запряженную парой почтовых лошадей и с форейтором вместо кучера. Мистер Баккет усадил меня в экипаж, а сам сел на козлы. Человек в мундире, которого мистер Баккет посылал за коляской, передал ему, по его просьбе, потайной фонарь, и, после того как он сделал несколько указаний форейтору, мы отъехали.

Иногда мне казалось, что все это сон. Мы мчались во весь опор по таким путаным улицам, что в этом лабиринте я скоро потеряла всякое представление о том, где мы находимся; заметила только, что мы два раза переехали по мостам через Темзу, затем покатили по ее низкому берегу, густо застроенному, пересеченному узкими уличками, загроможденному сухими и плавучими доками, висячими мостами и высокими складами, из-за которых торчал целый лес корабельных мачт. Наконец мы остановились на углу какого-то топкого переулка, где, несмотря на сильный ветер, дувший с реки, стоял очень тяжелый запах, и тут при свете фонаря мой спутник стал совещаться с какими-то людьми, видимо полисменами и матросами. На полуразрушенной стене, у которой они стояли, висело объявление, и я разобрала на нем слова: «Найдены утопленники», потом другую надпись что-то насчет вылавливания баграми, – и тогда во мне вспыхнуло страшное подозрение: я поняла, с какой целью мы приехали сюда.

Мне незачем было напоминать себе, что я нахожусь тут

не для того, чтобы, поддавшись своим чувствам, усложнить трудные поиски, умалить надежды на их успех и удлинить неизбежные проволочки. Я молчала, но никогда не забуду, сколько я выстрадала в этом ужасном месте. И по-прежнему все вокруг казалось мне страшным сном. Позвали сидевшего в лодке человека, совсем черного от грязи, в длинных сапогах, промокших и разбухших, и такой же шляпе, и он стал шептаться с мистером Баккетом, а потом вместе с ним спустился куда-то по скользким ступеням – вероятно, затем, чтобы показать ему что-то спрятанное там. Они вернулись, вытирая руки о полы пальто, словно там, внизу, они трогали и переворачивали что-то мокрое; но, к счастью, мои опасения оказались напрасными!

Посовещавшись некоторое время с окружающими, мистер Баккет (которого все здесь, видимо, знали и уважали) вошел вместе с ними в какой-то дом, оставив меня в коляске, а форейтор принялся ходить взад и вперед около своих лошадей, чтобы согреться. Начинался прилив, о чем я догадывалась по шуму прибоя, слыша, как волны разбиваются о берег в конце переулка, устремляясь в мою сторону. Они даже не приблизились к нам, и все же за те четверть часа, – а может быть и меньше, – что мы простояли на берегу, мне сотни раз чудилось, будто волны уже подкатывают, и я содрогалась при мысли, что они могут бросить под ноги лошадям мою мать.

Но вот мистер Баккет вышел, наказав здешним людям

«смотреть в оба», и, погасив фонарь, снова занял свое место.

– Не тревожьтесь, мисс Саммерсон, хоть мы и заехали в эту дыру, – сказал он, повернувшись ко мне. – Я только хотел наладить дело и самолично убедиться, что оно налажено. Трогай, приятель!

Должно быть, мы повернули назад и ехали теперь прежней дорогой. Это не значит, что я, в расстройстве чувств, смогла запомнить хоть какие-нибудь отдельные приметы нашего пути к реке, но так мне казалось по общему виду улиц. Мы ненадолго заехали в какое-то другое учреждение, вероятно полицейский участок, и еще раз проехали по мосту. Все это время, да и в течение всей нашей поездки, мой закутанный спутник, сидевший на козлах, ни на миг не ослаблял напряженного внимания ко всему окружающему, но, когда мы ехали по мосту, он, казалось, насторожился еще больше. Один раз он привстал, чтобы заглянуть через перила, в другой раз соскочил с козел и побежал назад вслед за какой-то женщиной, как тень проскользнувшей мимо нас; то и дело он смотрел в глубокую черную бездну воды, и лицо у него было такое, что сердце у меня замирало. Река в тот час наводила ужас – она была такая мрачная и словно затаившаяся, так быстро ползла между низкими плоскими берегами, была так густо испещрена какими-то тенями и предметами с неясными, призрачными очертаниями, казалась такой мертвенной и таинственной. С тех пор я много раз видела ее и при солнечном, и при лунном свете, но так и не могла забыть впе-

чатлений своей ночной поездки. В моей памяти на этом мосту всегда тускло горят фонари; резкий вихрь бешено крутится вокруг бездомной женщины, бредущей нам навстречу, монотонно вертятся колеса, а свет фонарей на нашей коляске отражается в воде, и чудится, будто бледный отблеск его глядит на меня… как лицо, выступающее из жуткой реки.

Мы долго тарахтели по безлюдным улицам, но вот наконец съехали с мостовой на темную, немощеную дорогу, и городские дома остались позади нас. Немного погодя я узнала хорошо знакомую мне дорогу в Сент-Олбенс. В Барнете нас дожидалась подстава; лошадей перепрягли, и мы тронулись дальше. Стоял жестокий мороз, открытая местность, по которой мы ехали, вся побелела от снега; но сейчас снег не шел.

– А ведь она старая ваша знакомая, эта дорога-то, правда, мисс Саммерсон? – пошутил мистер Баккет.

– Да, – отозвалась я. – Вы собрали какие-нибудь сведения?

– Кое-какие собрал, но им нельзя доверять вполне, – ответил он, – впрочем, времени прошло еще немного.

Мистер Баккет заходил во все трактиры, и дневные и ночные, если только в них горел свет (в те времена на этой дороге они встречались часто, так как здесь было много проезжих), и соскакивал с козел у застав, чтобы поговорить со сборщиками подорожных пошлин. Я не раз слышала, как он приказывал подать вина своим собеседникам и бренчал монетами, да и вообще он был со всеми любезен и весел, но как только снова садился на козлы, лицо его принимало прежнее

настороженное, сосредоточенное выражение, и он неизменно бросал форейтору все тем же деловым тоном:

– Трогай, приятель!

Мы задерживались так часто, что все никак не могли доехать до Сент-Олбенса, а между пятью и шестью часами утра снова остановились в нескольких милях от него у трактира, из которого мистер Баккет принес мне чашку чаю.

– Выпейте, мисс Саммереон, – это вас подкрепит. А вы понемногу приходите в себя, правда?

Я поблагодарила его и сказала, что, пожалуй, действительно прихожу в себя.

– Вначале вы, что называется, были ошеломлены, – сказал он, – да и немудрено, бог мой! Не говорите громко, душа моя. Все в порядке. Мы ее нагоняем.

Не знаю, какое радостное восклицание вырвалось или чуть было не вырвалось у меня, но он поднял палец, и я прикусила язык.

– Она прошла здесь вчера вечером, около восьми или девяти часов. В первый раз я услышал о ней у Хайгетской таможенной заставы, но не мог узнать ничего определенного. С тех пор расспрашивал о ней всюду. В одном месте нападал на ее след, в другом терял его, но все равно она где-то впереди на нашей дороге и жива… Эй, конюх, бери обратно чашку с блюдцем. И если ты не увалень, посмотрим, удастся тебе поймать полукрону другой рукой или нет. Раз, два, три – поймал! Ну, приятель, теперь вскачь!

Вскоре мы прибыли в Сент-Олбенс, где остановились незадолго до рассвета, как раз когда я начала сопоставлять и осознавать события этой ночи, поверив наконец, что все это – не сон. Оставив коляску на почтовой станции и приказав заложить в нее пару свежих лошадей, мистер Баккет взял меня под руку, и мы направились домой, то есть к Холодному дому.

– Это ваше постоянное местожительство, мисс Саммерсон, – объяснил мой спутник, – поэтому я хочу навести справки здесь – может, сюда заходила какая-нибудь незнакомка, похожая на леди Дедлок, и спрашивала вас или мистера Джарндиса. Вряд ли это могло быть, но возможность не исключена.

Когда мы поднимались на холм, он внимательно осматривал все вокруг – уже начало светать, – и вдруг напомнил мне, что когда-то, в памятный для меня вечер, я спускалась с этого холма вместе со своей маленькой горничной и бедным Джо, которого он называл Тупицей.

Я не могла понять, как он узнал об этом.

– Вон там на дороге вы поравнялись с каким-то человеком, – помните? – спросил мистер Баккет.

Да, я и это отлично помнила.

– Это был я, – сказал мой спутник.

Заметив, что я удивилась, он продолжал:

– В тот день я приехал сюда на двуколке повидать этого малого. И вы, наверное, слышали, как стучали колеса, когда

вы сами пошли его повидать; я же заметил вас и вашу девчонку в то время, как вы обе поднимались в гору, а я вел на поводу свою лошадь под гору. Я расспросил о парне в поселке, быстро узнал, в каком обществе он очутился, и только было подошел к кирпичным сараям, чтобы за ним последить, как увидел, что вы ведете его сюда, к себе домой.

– Разве он тогда в чем-нибудь провинился? – спросила я.

– Нет, ни в чем, – ответил мистер Баккет, спокойно сдвинув шляпу на затылок, – но не думаю, чтобы он вообще вел себя безукоризненно. Не думаю. Я хотел его повидать потому, что необходимо было избежать огласки этой самой истории, касавшейся леди Дедлок. А мальчишка не умел держать язык за зубами, разболтал про то, что однажды оказал небольшую услугу покойному мистеру Талкингхорну, за которую тот ему заплатил; ну, а позволить ему болтать нельзя было ни в каком случае. Итак, я выпроводил его из Лондона, а потом решил приехать сюда и приказать ему, чтоб он и не думал возвращаться в город, раз уж он оттуда ушел, а убирался бы подальше да не попадался мне на обратном пути.

– Бедный мальчик! – сказала я.

– Довольно бедный, – согласился мистер Баккет, – и довольно беспокойный, и довольно неплохой – только вдали от Лондона и прочих подобных мест. Когда я увидел, что его взяли к вам в дом, я, верьте не верьте, прямо остолбенел.

Я спросила его, почему.

– Почему, душа моя? – сказал мистер Баккет. – Да потому,

разумеется, что в вашем доме его длинному языку и конца бы не было. Все равно как если бы он родился с языком ярда в полтора или того длиннее.

Теперь я отчетливо помню весь этот разговор, но тогда в голове у меня мутилось, и мне никак не удавалось сосредоточить внимание – я сообразила только, что, рассказывая мне о Джо так подробно, мой спутник хотел лишь развлечь меня. Из тех же благих побуждений, надо полагать, он часто заговаривал со мной о том о сем, но по лицу его было видно, что он все время думает только о своей цели. На эту тему он говорил и тогда, когда мы вошли в наш сад.

– А! – сказал мистер Баккет. – Вот мы и пришли! Красивый дом и стоит в уединенном месте. Прямо как в сказке – ни дать ни взять домик в дятловом дупле, – который можно было распознать только по дыму, что так красиво вился над крышей. Я вижу, тут раненько начинают разводить огонь на кухне; значит, служанки у вас хорошие. Только нужно строго следить за теми людьми, которые приходят в гости к прислуге; кто их знает, что у них на уме, да и не угадаешь, если не знаешь наверное, зачем они пришли. И еще одно, душа моя: если вы когда-нибудь обнаружите, что за кухонной дверью прячется молодой человек, обязательно подайте на него жалобу, как на заподозренного в тайном проникновении в жилой дом с противозаконной целью.

Мы уже подошли к дому. Мистер Баккет нагнулся, внимательно осмотрел гравий в поисках следов, потом взглянул

вверх, на окна.

– А этот старообразный юнец, мисс Саммерсон, он всегда живет в одной и той же комнате, когда приезжает к вам в гости? – спросил он, глядя на окна комнаты, которую мы обычно отводили мистеру Скимполу.

– Вы знаете мистера Скимпола! – воскликнула я.

– Как вы сказали? – переспросил мистер Баккет, наклонившись ко мне. – Скимпол, да? Я не раз спрашивал себя, как его фамилия. Так, значит, Скимпол. А как его зовут? Уж наверное не Джоном и не Джекобом!

– Гарольдом, – ответила я.

– Гарольдом. Так. Престранная птица этот Гарольд, – сказал мистер Баккет, глядя на меня очень многозначительно.

– Он своеобразный человек, – согласилась я.

– Не имеет понятия о деньгах, – заметил мистер Баккет. – Но все же от них не отказывается!

Мистер Баккет, очевидно, знает его, невольно вырвалось у меня.

– Послушайте-ка, что я вам расскажу, мисс Саммерсон, – начал он. – Вам вредно все время думать об одном и том же, так что я вам про это расскажу, чтобы вы хоть немного отвлеклись. Ведь это он сказал мне, где находится Тупица. В ту ночь я решил было постучаться и только спросить у кого-нибудь о мальчишке; а потом подумал: дай-ка я сначала попытаю счастья, авось удастся разыскать его иным путем; увидел тень в этом окне, да и бросил в стекло горсть

гравия. Гарольд открыл окно, я на него поглядел; ну, думаю: «Этот субъект мне пригодится». Первым долгом принялся его умасливать – сказал, что не хочется-де беспокоить хозяев, раз они уже легли спать, и как это, мол, прискорбно, что мягкосердечные молодые леди укрывают у себя бродяг; а как только раскусил его хорошенько, говорю, что охотно, мол, пожертвую пятифунтовую бумажку, лишь бы выпроводить отсюда Тупицу без шума и треска. Тут он весь расплывается в улыбке, поднимает брови и начинает рассуждать: «К чему говорить мне о какой-то пятифунтовой бумажке, друг мой? В таких вопросах я сущее дитя – да я и понятия не имею, что такое деньги». Я-то, конечно, уразумел сразу, что значит этакое беззаботное отношение к подобному предмету, и, теперь уже не сомневаясь, что этот тип как раз такой, какой мне нужен, завернул в пятифунтовую бумажку камешек, да и подбросил его Скимполу. Ладно! Он смеется и сияет с самым невинным видом и наконец говорит: «Но я не знаю ценности этой бумажки. Что же мне с нею делать?» – «Истратьте ее, сэр», – отвечаю я. «Но меня облапошат, – говорит он, – мне не дадут столько сдачи, сколько нужно; я потеряю эту бумажку; мне она ни к чему». Бог мой, в жизни вы не видывали такой физиономии, с какой он мне все это выкладывал! Само собой, он объяснил мне, где найти Тупицу, и я его нашел.

Я заметила, что со стороны мистера Скимпола это было предательством по отношению к моему опекуну и такой по-

ступок уже выходит за обычные пределы его ребяческой наивности.

– Вы говорите – пределы, душа моя? – повторил мистер Баккет. – Пределы? Вот что, мисс Саммерсон, хочу я вам дать один совет, который понравится вашему супругу, когда вы счастливо выйдете замуж и заведете свою семью. Всякий раз, как вам кто-нибудь скажет, что «я-де ровно ничего не смыслю в денежных делах», – смотрите в оба за своими собственными деньгами, потому что их обязательно прикарманят, если удастся. Всякий раз, как вам кто-нибудь объявит: «В житейских делах я дитя», – знайте, что этот человек просто не желает нести ответственность за свои поступки, и вы его уже раскусили и поняли, что он эгоист до мозга костей. Сказать правду, сам я человек не поэтичный, если не считать того, что иной раз не прочь спеть песню в компании, но зато я человек практичный и знаю все это по опыту. Это закон жизни. Кто ненадежен в одном, тот ненадежен во всем. Ни разу не встречал исключения. И вы не встретите. Да и никто другой. Сделав такое предостережение неопытной девице, душа моя, я позволю себе позвонить в этот вот звонок и, таким образом, вернуться к нашему делу.

Но так же, как у меня, дело, должно быть, ни на миг не выходило у него из головы, о чем можно было догадаться по его лицу. Все наши домашние были поражены моим неожиданным появлением в столь ранний час, да еще в обществе подобного спутника, а расспросы мои удивили их еще боль-

ше. Мне ответили, что никто в Холодный дом не приходил. И это, конечно, была правда.

– Если так, мисс Саммерсон, – сказал мой спутник, – нам надо как можно скорей попасть в тот дом, где живут кирпичники. Вы уж сами их расспросите, будьте так добры. Чем проще с ними разговаривать, тем лучше, а вы – сама простота.

Мы немедленно тронулись в путь. Дойдя до памятного мне домика, мы увидели, что он заперт и, по-видимому, необитаем; но одна из соседок, знавших меня, вышла на улицу, в то время как я старалась достучаться, и сказала, что обе женщины с мужьями живут теперь все вместе в другом доме – ветхом домишке, сложенном из старого кирпича, на краю того участка, где находятся печи и длинными рядами сушатся кирпичи. Мы сразу же пошли к этому дому, стоявшему в нескольких сотнях ярдов от прежнего, и, увидев, что дверь полуоткрыта, я ее распахнула.

Обитатели его сидели за завтраком, но их было только трое, не считая ребенка, который спал в углу на койке. Дженни, матери умершего ребенка, дома не было. Увидев меня, другая женщина встала, а мужчины, как всегда, хмуро промолчали, но все-таки угрюмо кивнули мне, как старой знакомой. Когда же вслед за мной вошел мистер Баккет, все переглянулись, и я с удивлением поняла, что женщина его знает.

Я, конечно, попросила разрешения войти. Лиз (я знала только это ее уменьшительное имя), поднявшись, хотела бы-

ло уступить мне свое место, но я села на табурет у камина, а мистер Баккет присел на край койки. Теперь, когда мне пришлось говорить с людьми, к которым я не привыкла, я вдруг разволновалась и почувствовала себя неловко. Было очень трудно начать, и я не удержалась от слез.

– Лиз, – промолвила я, – я приехала издалека, ночью, по снегу, чтобы спросить насчет одной леди…

– Которая была здесь, как вам известно, – перебил меня мистер Баккет, обращаясь ко всем троим сразу и вкрадчиво глядя на них, – о ней-то вас и спрашивают. О той самой леди, что была здесь вчера вечером, как вам известно.

– А кто сказал *вам*, что здесь кто-то был? – спросил муж Дженни, который даже перестал есть, прислушиваясь к разговору, и хмуро уставился на мистера Баккета.

– Мне это сказал некто Майкл Джексон – тот, что носит синий вельветовый жилет с двумя рядами перламутровых пуговиц, – недолго думая, ответил мистер Баккет.

– Кто б он там ни был, пусть занимается своими делами и не сует носа в чужие, – проворчал муж Дженни.

– Он, должно быть, безработный, – объяснил мистер Баккет в оправдание мифическому Майклу Джексону, – вот и чешет язык от нечего делать.

Женщина не села на свое место, а стояла в нерешительности, положив руку на сломанную спинку стула и глядя на меня. Мне казалось, что она охотно поговорила бы со мной наедине, если бы только у нее хватило смелости. Она все еще

колебалась, как вдруг ее муж, который держал ломоть хлеба с салом в одной руке и складной нож – в другой, с силой стукнул рукояткой ножа по столу и, выругавшись, приказал жене не соваться в чужие дела и сесть за стол.

– Мне очень хотелось бы видеть Дженни, – сказала я, – она, конечно, рассказала бы мне все, что знает об этой леди, которую мне, право же, очень нужно догнать – вы не представляете себе, как нужно!.. А что, Дженни скоро вернется домой? Где она?

Женщине не терпелось ответить, но мужчина с новым ругательством пнул ее в ногу своим тяжелым сапогом. Впрочем, он предоставил мужу Дженни сказать все, что тому заблагорассудится, а тот сначала упорно молчал, но наконец повернул в мою сторону свою косматую голову:

– Терпеть не могу, когда ко мне приходят господа, о чем вы, может статься, уже слышали от меня, мисс. Я-то ведь не лезу к ним в дом, значит, довольно странно с их стороны, что они лезут ко мне. Хорошенький переполох поднялся бы у них в доме, надо полагать, вздумай я прийти в гости к *ним*. Но на вас я не так злюсь, как на других, и вам не прочь ответить вежливо, хоть и предупреждаю, что не позволю травить себя как зверя. Скоро ли вернется домой Дженни? Нет, не скоро. Где она? Ушла в Лондон.

– Она ушла вчера вечером? – спросила я.

– Ушла ли она вчера вечером? Да, вчера вечером, – ответил он, сердито мотнув головой.

– Но она была здесь, когда пришла леди? Что ей говорила леди? Куда леди ушла? Прошу вас, умоляю, будьте так добры, скажите мне, – просила я, – потому что я очень встревожена и мне надо знать, где она сейчас.

– Если мой хозяин позволит мне сказать и не обругает… – робко начала женщина.

– Твой хозяин, – перебил ее муж, медленно, но выразительно, пробормотав ругательство, – твой хозяин тебе шею свернет, если ты будешь лезть не в свое дело.

Немного помолчав, муж Дженни снова повернулся ко мне и принялся отвечать на мои вопросы, но по-прежнему неохотно и ворчливым тоном:

– Была ли здесь Дженни, когда пришла леди? Да, была. Что ей говорила леди? Так и быть, скажу вам, что леди ей говорила. Она сказала: «Вы не забыли, как я пришла к вам однажды поговорить про ту молодую леди, что вас навещала? Помните, как щедро я вам заплатила за носовой платок, который она здесь оставила?» Да, Дженни помнила. И все мы помнили. Ладно; а что, эта молодая леди сейчас в Холодном доме? Нет, она в отъезде. Слушайте дальше. Леди сказала, что, как ни странно, но она идет пешком, одна, и нельзя ли ей хоть часок отдохнуть – посидеть на том самом месте, где вы сейчас сидите. Да, можно; ну, она села и отдохнула. Потом ушла часов… скорей всего, в двадцать минут двенадцатого, а может, и в двадцать минут первого; у нас тут никаких часов нету, ни карманных, ни стенных, – мы и не знаем, кото-

рый час. Куда она ушла? Я не знаю, куда она ушла. Она пошла одной дорогой, а Дженни – другой; одна пошла прямо в Лондон, другая – в сторону от Лондона. Вот и все. Спросите моего соседа. Он все слышал и видел. Он то же самое скажет.

Другой человек повторил:

– Вот и все.

– Леди плакала? – спросила я.

– Ни черта она не плакала! – ответил муж Дженни. – Башмаки у нее, правда, совсем изорвались, да и платье тоже было рваное, а плакать она не плакала… чего-чего, а этого я не видел.

Женщина сидела, сложив руки и потупившись. Ее муж повернул свой стул, чтобы видеть ее лицо, и, положив на стол кулак, тяжелый, как молот, очевидно, держал его наготове, чтобы выполнить свою угрозу, если жена нарушит запрет.

– Надеюсь, вы не против того, чтобы я спросила вашу жену, какой у нее был вид, у этой леди? – сказала я.

– Ну, отвечай! – грубо крикнул он жене. – Слышишь, что она сказала? Отвечай, да не говори лишнего.

– Плохой у ней был вид, – ответила женщина. – Бледная она такая была, измученная. Очень плохо выглядела.

– Она много говорила?

– Нет, не много, и голос у нее был хриплый.

Отвечая, она все время смотрела на мужа, как бы спрашивая у него разрешения.

– А что, она очень ослабела? – спросила я. – Она что-ни-

будь ела или пила у вас?

– Отвечай! – приказал муж в ответ на взгляд жены. – Отвечай, да не болтай лишнего.

– Выпила немного воды, мисс, а потом Дженни подала ей хлеба и чашку чаю. Только она, можно сказать, и не притронулась ни к чему.

– А когда она ушла отсюда… – начала было я, но муж Дженни нетерпеливо перебил меня:

– Когда она отсюда ушла, она пошла прямо на север по большой дороге. Можете там расспросить, если не верите, – увидите, что я правду сказал. Теперь все. Больше говорить не о чем.

Я взглянула на своего спутника и, увидев, что он уже встал и готов тронуться в путь, поблагодарила за полученные сведения и простилась. Женщина проводила мистера Баккета пристальным взглядом, а он, уходя, тоже пристально посмотрел на нее.

– Ну, мисс Саммерсон, – сказал он мне, когда мы быстро пошли прочь, – значит, у них остались часы ее милости. Это ясно как день.

– Вы их видели? – воскликнула я.

– Нет, но все равно что видел, – ответил он. – А то зачем бы ему говорить, что было «двадцать минут» не то двенадцатого, не то первого, и еще, что у них нет часов и они не знают, который час? Двадцать минут! Да разве он умеет определять время с такой точностью? Точность до получаса

– это все, на что он способен, уж, конечно, не больше. Так вот, значит: или ее милость отдала ему свои часы, или он сам их взял. Я думаю, что она их отдала, но за какую услугу она отдала ему часы? За какую услугу она их отдала?

Пока мы торопливо шагали вперед, он все повторял этот вопрос, видимо не зная, какой выбрать ответ из всех тех, что приходили ему на ум.

– Если бы только у нас было время, – сказал мистер Баккет, – а этого-то нам как раз и не хватает, – я мог бы выпытать все у той женщины; но почти нет шансов, что мне скоро удастся поговорить с нею наедине, а ждать удобного момента мы не можем. Мужчины следят за ней зорко, а всякий дурак знает, что любая несчастная бабенка вроде нее, забитая, запуганная, замученная, вся в синяках с головы до ног, будет, несмотря ни на что, слушаться мужа, который над ней измывается. Они что-то скрывают. Жаль, что нам не удалось повидать другую женщину.

Я от души жалела об этом, так как Дженни была мне очень благодарна и, наверное, не отказалась бы выполнить мою просьбу.

– Возможно, мисс Саммерсон, – сказал мистер Баккет, все раздумывая над этим вопросом, – что ее милость послала эту женщину в Лондон с весточкой к вам; возможно также, что муж ее получил часы за то, что позволил жене пойти. Все это не вполне ясно для меня, но похоже, что так оно и есть. Не хочется мне выкладывать деньги сэра Лестера Дедлока, ба-

ронета, этим грубиянам, да я и не думаю, что это может принести пользу сейчас. Нет! Пока что, мисс Саммерсон, едем вперед, прямо вперед и больше ни слова об этом!

Мы еще раз зашли домой, и там я написала короткую записку опекуну, приказав немедленно отослать ее, а потом поспешили обратно на почтовую станцию, где оставили свою коляску. Лошадей привели, как только увидели, что мы подходим, и спустя несколько минут мы снова тронулись в путь.

Снег пошел еще на рассвете и шел все сильнее. День был такой пасмурный, а снег шел так густо, что, в какую сторону ни глянь, ни зги не было видно. Несмотря на жестокий мороз, снег не совсем смерзся и хрустел под копытами лошадей, как ракушки на берегу моря, превращаясь в какую-то кашу из грязи и воды. Лошади то и дело скользили и спотыкались, и мы были вынуждены останавливаться, чтобы дать им передышку. Во время первого перегона одна наша лошадь три раза спотыкалась и падала и теперь едва держалась на ногах, так что форейтору пришлось спешиться и вести ее на поводу.

Я не могла ни есть, ни спать, и меня так волновали все эти проволочки и задержки, что не раз во мне вспыхивало неразумное желание выскочить из коляски и пойти пешком. Но, подчиняясь своему благоразумному спутнику, я смирно сидела на месте. А он, свежий и бодрый, вероятно, потому, что делал свое дело не без удовольствия, заходил во все дома, попадавшиеся нам по дороге; говорил с первыми встреч-

ными, как со старыми знакомыми; бежал погреться на каждый придорожный огонек; беседовал, выпивал и жал руки собеседникам в каждом постоялом дворе и кабачке; дружески болтал со всеми возчиками, колесниками, кузнецами и сборщиками подорожных пошлин; однако не терял ни минуты и, снова влезая на козлы, все с тем же настороженным и решительным выражением лица, всякий раз деловито бросал форейтору: «Трогай, приятель!»

Когда мы меняли лошадей после первого перегона, мистер Баккет, весь облепленный мокрым снегом, который комками падал с его пальто, и с мокрыми до колен ногами, вышел с конного двора, хлюпая и увязая в грязи, – что с ним случалось не раз с тех пор, как мы выехали из Сент-Олбенса, – и, подойдя к коляске, заговорил со мной:

– Держитесь, мисс Саммерсон. Я узнал наверное, что она проходила здесь. Теперь выяснилось, как она была одета, и здесь видели женщину в таком платье.

– Она по-прежнему шла пешком? – спросила я.

– Пешком. Возможно, она направилась к тому джентльмену, о котором вы говорили; однако мне это кажется сомнительным – ведь он живет неподалеку от поместья Дедлоков.

– Я почти ничего не знаю о ней, – сказала я. – Может быть, тут поблизости живет какой-нибудь другой ее знакомый, о котором я никогда не слышала.

– Это верно. Но так или иначе, смотрите не вздумайте плакать, душа моя, и постарайтесь не волноваться… Трогай,

приятель!

Мокрый снег шел весь день не переставая; с самого утра поднялся густой туман и не рассеивался ни на минуту. В жизни я не видела таких ужасных дорог. Иной раз я даже побаивалась – а вдруг мы сбились с пути и заехали на пашню или в болото. Сколько времени прошло с тех пор, как мы выехали, я не знала, да и почти не думала об этом; но мне казалось, что очень много, и, как ни странно, чудилось, будто я никогда не была свободна от той тревоги, которая теперь владела мною.

Чем дальше мы ехали, тем больше я опасалась, что мой спутник начинает терять уверенность в себе. С людьми, попадавшимися на дороге, он вел себя по-прежнему, но, когда сидел один на козлах, лицо у него становилось все более озабоченным. Я заметила, что в течение одного длинного перегона он очень беспокоился и все водил и водил пальцем перед губами. Я слышала, как он расспрашивал встречных кучеров и возчиков, каких пассажиров они видели в каретах и других экипажах, ехавших впереди нас. Их ответы его не удовлетворяли. Влезая на козлы, он неизменно делал мне успокоительный знак пальцем или глазами, но когда говорил: «Трогай, приятель!» – в голосе его слышалось недоумение.

Во время одной из остановок, когда мы снова меняли лошадей, он наконец сказал мне, что потерял след, – никто на дороге не видел женщины, одетой так-то и так-то, – и поте-

рял так давно, что сам начинает этому удивляться. Не беда, говорил он, когда теряешь след ненадолго, а потом снова находишь; но в этих местах след вдруг исчез необъяснимым образом, и с тех пор так и не удается снова напасть на него. Это подтверждало мои опасения, возникшие уже тогда, когда он принялся читать названия дорог на столбах и соскакивать с козел на перекрестках, чтобы осматривать их по четверти часа кряду. Впрочем, он и сейчас просил меня не унывать, утверждая, что на следующем перегоне мы, вероятно, снова найдем потерянный след.

Но следующий перегон окончился тем же, что и предыдущий, – мы не узнали ничего нового. При этой станции был просторный постоялый двор, стоявший в уединенном месте, но построенный основательно, с удобствами для проезжих, и не успели мы въехать в огромные ворота, как хозяйка и ее хорошенькие дочки подошли к нашей коляске и принялись упрашивать меня выйти и отдохнуть, пока будут перепрягать лошадей, а я решила, что отказываться нехорошо. Они провели меня наверх в теплую комнату и оставили одну.

Помню, это была угловая комната, с окнами на две стороны, – одно окно выходило на примыкавший к проселку конный двор, где конюхи выпрягали из облепленной грязью коляски забрызганных усталых лошадей, а за двором был виден проселок, над которым медленно покачивалась вывеска; другое окно выходило на темный сосновый лес. Я подошла к этому окну и стала смотреть на ветви деревьев, согнувшие-

ся под снегом, который бесшумно падал с них мокрыми хлопьями. Надвигалась ночь, и она казалась еще мрачнее оттого, что на оконном стекле, переливаясь, рдели отблески огня, горевшего в камине. Я смотрела на просветы между стволами деревьев, на ямки, чернеющие в снегу, там, куда падала с ветвей капель, и, вспоминая о материнском лице хозяйки, окруженной веселыми дочерьми, которые приняли меня так радушно, думала о том, что моя мать, может быть, лежит в таком вот лесу… и умирает.

Я испугалась, внезапно увидев обступивших меня женщин – хозяйку и ее дочерей, но вспомнила, что, падая в обморок, изо всех сил старалась не потерять сознания, и это послужило мне некоторым утешением. Меня усадили на большой диван у камина, обложили подушками, и добродушная хозяйка сказала, что нынче вечером мне никуда ехать нельзя, а надо лечь в постель. Но я так вздрогнула, испугавшись, как бы они не задержали меня здесь, что хозяйка быстро взяла свои слова обратно, и мы сошлись на том, что я отдохну, но не более получаса.

Добрая она была женщина, ласковая, – и не только она, но и все три ее хорошенькие дочки, которые так хлопотали вокруг меня. Меня упрашивали поесть горячего супа и жареной курицы, пока мистер Баккет обсушится и пообедает в другой комнате; но когда у камина поставили и накрыли круглый стол, я не смогла ни к чему притронуться, хоть мне и очень не хотелось огорчать хозяек. Все же я съела несколь-

ко ломтиков поджаренного хлеба и выпила немного горячего вина с водой, и так как все это показалось мне очень вкусным, хозяйки были до некоторой степени вознаграждены за свои старания.

Спустя полчаса, минута в минуту, коляска с грохотом проехала под воротами, и женщины проводили меня вниз, но теперь я уже согрелась, отдохнула, успокоилась под влиянием их ласковых слов и (как я их убедила) вряд ли снова могла лишиться чувств. Когда я села в коляску и с благодарностью распрощалась со всеми, младшая дочь – цветущая девятнадцатилетняя девушка, которая, как мне сказали, должна была выйти замуж раньше сестер, – стала на подножку и поцеловала меня. С той поры я никогда больше ее не видела, но до сих пор вспоминаю о ней как о близком друге.

Окна этого дома, залитые светом свечей и пламенем каминов, казались очень яркими и теплыми во мраке морозной ночи, но они скоро исчезли во тьме, а мы снова принялись уминать и месить мокрый снег. Двигались мы с большим трудом, но на этом перегоне дорога была лишь немногим хуже, чем на прежних, да и перегон был короткий – всего девять миль. Мой спутник, сидя на козлах, курил, – я попросила его не стесняться в этом отношении, когда заметила на последнем постоялом дворе, что он стоит у пылающего огня, уютно окутанный клубами дыма, – но он по-прежнему внимательно всматривался во все окружающее и быстро соскакивал с козел, едва завидев вдали дом или человека, а по-

том так же быстро взбирался на свое место. На коляске были фонари, но он зажег и свой потайной фонарик, который, видимо, был его постоянным спутником, и, время от времени поворачивая его в мою сторону, освещал им меня, вероятно желая удостовериться, что я хорошо себя чувствую. Я могла бы задернуть занавески, прикрепленные к поднятому верху коляски, но ни разу этого не сделала – мне казалось, будто этим я лишу себя последней надежды.

Мы проехали весь перегон, но так и не напали на потерянный след. Когда мы остановились на почтовой станции, я в тревоге взглянула на мистера Баккета, который в это время стоял и смотрел, как конюхи перепрягают лошадей, но поняла по его еще более озабоченному лицу, что он ничего не узнал. Однако секунду спустя, как раз когда я откинулась на спинку сиденья, он вдруг заглянул ко мне под верх коляски с зажженным фонариком в руке, возбужденный и совершенно изменившийся в лице.

– Что случилось? – спросила я, вздрогнув. – Она здесь?

– Нет-нет. Не обольщайтесь надеждой, душа моя. Никого здесь нету. Но я напал на след!

Иней опушил его волосы и ресницы и валиками лежал в складках его одежды. Мистер Баккет стряхнул его с лица, перевел дух и только тогда снова заговорил со мной.

– Так вот, мисс Саммерсон, – сказал он, постукивая пальцем по фартуку коляски, – возможно, вы будете разочарованы, когда узнаете, что я теперь собираюсь делать, но успо-

койтесь. Вы меня знаете. Я – инспектор Баккет, и вы можете на меня положиться. Мы ехали долго; но ничего… Подать четверку лошадей! Едем обратно! Живо!

На дворе поднялся переполох, и кто-то, выбежав из конюшни, крикнул: «Куда же ехать, вперед или обратно?»

– Обратно – сказано вам! Обратно! Оглохли, что ли? Обратно!

– Обратно, – спросила я, пораженная. – В Лондон? Значит, мы возвращаемся?

– Да, мисс Саммерсон, – ответил он, – возвращаемся. Прямиком – в Лондон. Вы меня знаете. Не бойтесь. Будем гнаться за другой, черт побери!

– За другой? – повторила я. – За какой «другой»?

– За Дженни, ведь вы ее так называли? За ней я и буду гнаться… Эй, вы, те две пары сюда – по кроне получите. Да проснитесь вы наконец!

– Но вы не оставите той леди, которую мы ищем… вы не покинете ее в такую ночь, когда она в таком отчаянии! – пролепетала я, в тревоге хватаясь за его руку.

– Нет, душа моя, не покину. Но я буду гнаться за другой… Эй, вы, запрягайте быстрей! Отправить верхового на следующую станцию с приказом выслать оттуда верхового вперед и заказать еще четверку… Милая моя, не бойтесь!

Он так властно отдавал эти распоряжения и так метался по двору, понукая конюхов, что переполошил всю станцию, и это поразило меня, пожалуй, не меньше, чем внезапная пе-

ремена направления. Но вот в самом разгаре суматохи верховой галопом ускакал заказывать сменных лошадей, а нашу четверку запрягли во мгновение ока.

– Душа моя, – сказал мистер Баккет, вскакивая на свое место и заглядывая под верх коляски, – простите меня за фамильярность, но постарайтесь поменьше нервничать и волноваться. Я пока больше ничего не скажу, но вы меня знаете, душа моя; не так ли?

Я решилась сказать, что он, конечно, гораздо лучше меня знает, как поступить, но уверен ли он, что поступает правильно? Нельзя ли мне поехать вперед одной, чтобы найти… я в отчаянии схватила его за руку и прошептала: «…свою родную мать?»

– Душа моя, – ответил он, – мне все известно, все; но неужели я стану вас обманывать, как по-вашему? Это я-то – инспектор Баккет? Ведь вы меня знаете, правда?..

Что я могла ответить, как не «да»?

– Так мужайтесь по мере сил и верьте, что я стараюсь для вас не меньше, чем для сэра Лестера Дедлока, баронета… Ну, готово?

– Готово, сэр!

– Едем! Трогай, ребята!

Мы снова мчались по той же унылой дороге, но обратно, а жидкая грязь и талый снег летели из-под копыт нашей четверки, как водяные брызги из-под мельничного колеса.

Глава LVIII
Зимний день и зимняя ночь

По-прежнему бесстрастно, как и подобает знатным, городской дом Дедлоков взирает на величаво-унылую улицу. Время от времени в окошках вестибюля появляются пудреные парики, и их обладатели глазеют на беспошлинную пудру, что весь день сыплется с неба, а другие «персиковые цветы» в этой «оранжерее», будучи экзотическими растениями и спасаясь от холодного ветра, дующего с улицы, поворачиваются к огню, ярко пылающему в камине. Приказано говорить, что миледи отбыла в Линкольншир, но изволит вернуться на днях.

Однако молва, у которой нынче хлопот полон рот, не желает следовать за ней в Линкольншир. Щебеча и летая по городу, она и не думает его покидать. Она уже знает, что с этим бедным, несчастным человеком, сэром Лестером, поступили очень дурно. Она слышит, душечка моя, всякие ужасные вещи. Она прямо-таки потешает весь свет, то есть мир, имеющий пять миль в окружности. Не знать, что у Дедлоков что-то стряслось, значит расписаться в своей собственной безвестности. Одна из прелестниц с персиковыми щечками и костлявой шейкой уже осведомлена о всех главнейших уликах, которые будут представлены палате лордов, когда сэр

Лестер внесет туда билль о своем разводе.

У ювелиров Блейза и Спаркла и у галантерейщиков Шийна и Глосса только о том и говорят и будут говорить еще несколько часов, так как это – интереснейшее событие современности, характернейшее явление века. Постоянные посетительницы этих лавок, при всем их высокомерии и недостижимости, измеряются и взвешиваются там с такой же точностью, как и любой товар, и даже самый неопытный приказчик за прилавком отлично разбирается в том, что у них сейчас вошло в моду.

– Наши покупатели, мистер Джонс, – говорят Блейз и Спаркл, нанимая этого неопытного приказчика, – наши покупатели, сэр, это – овцы, сущие овцы. Стоит двум-трем меченым овцам тронуться с места, как остальные уже бегут за ними. Только не упустите первых двух-трех, мистер Джонс, и вся отара попадет к вам в руки.

То же самое говорят Шийн и Глосс *своему* Джонсу, объясняя ему, как надо привлекать великосветское общество и рекламировать товар, на который они (Шийн и Глосс) решили создать моду. Руководясь теми же безошибочными принципами, мистер Следдери, книгопродавец и поистине великий пастырь великолепных овец, признается в этот самый день:

– Ну да, сэр, среди моей высокопоставленной клиентуры, конечно, ходят слухи о леди Дедлок, и очень упорные слухи, сэр. Надо сказать, что мои высокопоставленные клиенты непременно должны о чем-нибудь разговаривать, сэр, и

стоит увлечь какой-нибудь темой одну или двух леди, которых я мог бы назвать, чтобы этой темой увлеклись все. Представьте себе, сэр, что вы поручили мне пустить в продажу какую-нибудь новинку; я постараюсь заинтересовать ею этих двух леди совершенно так же, как они сейчас сами заинтересовались случаем с леди Дедлок, потому что были знакомы с нею и, быть может, слегка ей завидовали, сэр. Вы увидите, сэр, что эта тема будет пользоваться большой популярностью в среде моих высокопоставленных клиентов. Будь она предметом спекуляции, сэр, на ней можно было бы нажить кучу денег. А уж если это говорю я, можете мне верить, сэр, ибо я поставил себе целью изучить свою высокопоставленную клиентуру, сэр, и умею заводить ее как часы, сэр.

Так слух распространяется в столице, не добираясь, однако, до Линкольншира. В половине шестого пополудни, по часам на башне конногвардейских казарм, от достопочтенного мистера Стейблса, наконец, добились нового изречения, обещающего затмить первое, то, на котором так долго зиждилась его репутация записного остряка. Эта блестящая острота гласит, что хотя он всегда считал леди Дедлок самой выхоленной кобылицей во всей конюшне, но никак не подозревал, что она с норовом и может «понести». Восхищение, вызванное этой остротой в скаковых кругах, не поддается описанию.

То же самое на празднествах и приемах, то есть на тех небесах, где леди Дедлок блистала так часто, и среди тех со-

звездий, которые она затмевала еще вчера; там она и сегодня – главный предмет разговоров. Что это? Кто это? Когда это было? Где это было? Как это было? Ее самые закадычные друзья сплетничают про нее на самом аристократическом и новомодном жаргоне с новомодными каламбурами, в новомоднейшем стиле, наимоднейшим манером растягивая слова и с безупречно вежливым равнодушием. Достойно удивления, что эта тема развязала язык всем, кто доселе держал его на привязи, и эти молчальники – подумать только! – ни больше ни меньше, как принялись острить! Одну из таких хлестких острот Уильям Баффи унес из того дома, где обедал, в палату общин, а там лидер его партии пустил ее по рукам вместе со своей табакеркой, чтобы удержать членов парламента, задумавших разбежаться, и она произвела такой фурор, что спикер (которому ее тихонько шепнули на ухо, полузакрытое краем парика) трижды возглашал: «К порядку!» – но совершенно безрезультатно.

Не менее поражает другое обстоятельство, связанное со смутными городскими толками о леди Дедлок, – оказывается, люди, которые вращаются на периферии круга великосветской клиентуры мистера Следдери, люди, которые ничего не знают и никогда ничего не знали о леди Дедлок, находят теперь нужным, для поддержания своего престижа, делать вид, будто и им тоже она служит главной темой всех разговоров; а получив ее из вторых рук, они передают ее дальше вместе с новомодными каламбурами, в новомоднейшем

стиле, наимоднейшим манером растягивая слова, с новомоднейшим вежливым равнодушием, и прочее и тому подобное; и хотя все это – из вторых рук, но в низших солнечных системах и среди тусклых звезд почитается равным самой свежей новинке. Если же среди этих мелких торгашей последними новостями попадается литератор, живописец или ученый, как благородно он поступает, поддерживая свою ослабевшую музу столь великолепными костылями!

Так проходит зимний день за стенами дома Дедлоков. А что же происходит в нем самом?

Сэр Лестер лежит в постели и уже обрел дар слова, но говорит с трудом и невнятно. Ему предписали молчание и покой и дали опиума, чтобы успокоить боль, – ведь его давний враг, подагра, терзает его беспощадно. Он совсем не спит, разве что изредка впадает в тупое, но чуткое забытье. Узнав, что погода очень скверная, он велел передвинуть свою кровать поближе к окну и подложить ему под голову подушки, чтобы он мог видеть, как падает мокрый снег. Весь зимний день напролет он смотрит на снег за окном.

При малейшем шуме, хотя его немедленно прекращают, рука сэра Лестера тянется к карандашу. Старуха домоправительница сидит у его постели и, зная, что именно он собирается написать, шепчет:

– Нет, сэр Лестер, он еще не вернулся. Ведь он уехал вчера поздно вечером. С тех пор прошло не так уж много времени.

Больной опускает руку и снова смотрит на мокрый снег,

смотрит долго, пока ему не начинает казаться, будто снег валит так густо и быстро, что от этих мелькающих белых хлопьев и ледяных снежинок у него вот-вот закружится голова; и тогда он на минуту закрывает глаза.

На снег он начал смотреть, как только рассвело. День угаснет еще не скоро, но сэр Лестер решает вдруг, что надо приготовить покои миледи к ее приезду. Сегодня очень холодно и сыро. Надо хорошенько протопить ее комнаты. Пусть все знают, что ее ждут. «Пожалуйста, миссис Раунсуэлл, последите за этим сами». Он пишет все это на аспидной доске, и домоправительница повинуется ему с тяжелым сердцем.

– Боязно мне, Джордж, – говорит она сыну, который ждет ее внизу, чтобы побыть с нею, когда ей удастся урвать свободную минутку, – боязно мне, милый мой, что миледи никогда уже больше не войдет в этот дом.

– Что это у вас за дурные предчувствия, матушка?

– И в Чесни-Уолд не вернется, милый мой.

– Это еще хуже. Но почему, матушка, почему?

– Когда я вчера говорила с миледи, Джордж, мне показалось, будто она так выглядит – да, пожалуй, и так глядит на меня, – словно шаги на Дорожке призрака ее почти настигли.

– Полно, полно! Вы сами себя пугаете этими страхами из старых сказок, матушка.

– Нет, милый мой. Нет, не сама я себя пугаю. Вот уже много лет, как я служу в их роду, – шестой десяток, – и никогда у меня не было никаких страхов. Но он гибнет, милый мой;

знатный, древний род Дедлоков гибнет.

– Не хочется верить этому, матушка.

– Как я рада, что дожила до той поры, когда понадобилась сэру Лестеру в его болезни и горе, – ведь я еще не совсем одряхлела, я еще могу работать, а ему приятнее, чтобы при нем была я, а не кто-нибудь другой. Но шаги на Дорожке призрака настигнут миледи, Джордж; много дней они за нею гнались, а теперь растопчут ее и двинутся дальше.

– Бог с вами, милая матушка, надеюсь, что этого не случится.

– И я надеюсь, Джордж, – отвечает старуха, качая головой и разводя руками. – Но если мои страхи оправдаются и ему доведется узнать об этом, кто скажет ему правду?..

– Это ее покои?

– Да, это покои миледи, и все здесь осталось в том виде, в каком она их покинула.

– Что ж, – говорит кавалерист, оглядываясь кругом и понижая голос, – теперь я начинаю понимать, почему вы так думаете, матушка. Когда смотришь на комнаты, а они, как вот эти покои, убраны для человека, которого ты привык в них видеть, но он ушел из них в горе, да к тому же бог весть куда, – чудится, будто у них и впрямь жуткий вид.

Он недалек от истины. Как на все расставанья падает тень последней, вечной разлуки, так опустевшие комнаты, лишившись своих обитателей, горестно шепчут о том, какой неизбежно будет когда-нибудь и ваша, и моя комната. Пу-

сто стало в гостиной миледи, и она кажется мрачной и нежилой; а в будуаре, где вчера вечером мистер Баккет тайком делал обыск, все ее платья, украшения и даже зеркала, привыкшие отражать эти вещи, когда они были как бы частью ее существа, кажутся какими-то заброшенными и ненужными. Как ни темен, как ни холоден зимний день, в этих покинутых комнатах сейчас темнее и холоднее, чем во многих хижинах, которые едва укрывают людей от непогоды, и хотя слуги разводят яркий огонь в каминах и для тепла огораживают кушетки и кресла стеклянными экранами, сквозь которые алый свет проникает в самые дальние углы, в покоях миледи нависла тяжелая туча, и ее не рассеет никакой свет.

Старуха домоправительница сидела здесь вместе с сыном, пока не закончились приготовления к приезду миледи, и теперь возвращается наверх. Тем временем Волюмния заняла место миссис Раунсуэлл, хотя жемчужное ожерелье и банки с румянами, рассчитанные на то, чтобы пленять Бат, едва ли могут помочь больному. Считается, что Волюмния не знает (да она и в самом деле не знает) о том, что случилось, поэтому привычная для нее обязанность лепетать уместные замечания кажется ей сейчас чересчур щекотливой, и, умолкнув, она то рассеянно оправляет простыни на кровати больного, то осторожно движется на цыпочках, то зорко заглядывает в глаза родича и раздражающе шепчет себе под нос: «Он спит». Опровергая это совершенно ненужное утверждение, сэр Лестер в негодовании написал на аспидной доске: «Нет,

не сплю».

Тогда, уступив кресло у кровати старухе домоправительнице, Волюмния, сочувственно вздыхая, садится у стола в некотором отдалении. Сэр Лестер смотрит на мокрый снег за окном и прислушивается, не слышно ли долгожданных шагов. А старой служанке, которая словно выступила из рамы старинного портрета, чтобы проводить на тот свет вызванного туда Дедлока, чудится, будто тишину нарушают отзвуки ее собственных слов: «Кто скажет ему правду?»

Сегодня утром сэр Лестер отдался в руки камердинера, чтобы вернуть себе презентабельный вид, и теперь выглядит даже элегантным – конечно, насколько это возможно для больного. Его обложили подушками, седые волосы его причесаны, как всегда, белье на нем безукоризненное, и он облачен в красивый халат. Лорнет и часы лежат у него под рукой. Он считает необходимым, – и теперь, пожалуй, не столько ради своего собственного достоинства, сколько ради миледи, – казаться как можно менее встревоженным и как можно больше самим собой. Женщины любят чесать язык, и Волюмния в том числе, хоть она и принадлежит к роду Дедлоков. Он держит ее при себе, конечно, лишь затем, чтоб она не чесала язык в чужих домах. Он тяжело болен, но очень стойко переносит свои душевные и телесные муки.

Обольстительная Волюмния, будучи одной из тех бойких девиц, которые не могут молчать долго, не подвергаясь неминуемой опасности быть растерзанными драконом Ску-

кой, вскоре предвещает откровенными зевками появление этого чудища. Поняв, что ей не удастся подавить зевоту иначе как болтовней, она поздравляет миссис Раунсуэлл с ее сыном, утверждая, что он положительно один из самых красивых мужчин, каких она когда-либо видела, а военная выправка у него такая, как у… как бишь его звали? – ну, этого ее любимого лейб-гвардейца, которого она боготворит… милейший был человек… пал в битве при Ватерлоо.

Сэр Лестер слушает эти похвалы так удивленно и смотрит вокруг с таким недоумением, что миссис Раунсуэлл находит нужным объяснить ему, о ком идет речь.

– Мисс Дедлок говорит не о старшем моем сыне, сэр Лестер, а о младшем. Я его нашла. Он вернулся домой.

Сэр Лестер нарушает молчание хриплым возгласом:

– Джордж? Ваш сын Джордж вернулся домой, миссис Раунсуэлл?

Старуха домоправительница вытирает глаза.

– Да, сэр Лестер. Слава богу, вернулся.

Значит, пропавший без вести нашелся, значит, тот, кто ушел из дому так давно, теперь возвратился, и сэр Лестер, быть может, видит в этом доброе предзнаменование – подтверждение своих надежд? Быть может, он думает: «Неужели я, с моими средствами, не смогу ее вернуть, если после ее ухода прошло лишь несколько часов, а вот вернулся же человек, пропадавший столько лет».

Теперь бесполезно просить его умолкнуть; он твердо ре-

шил говорить и говорит – заплетающимся языком, но настолько внятно, что его понимают.

– Почему вы мне раньше не сказали, миссис Раунсуэлл?

– Он вернулся только вчера, сэр Лестер, и я не знала, достаточно ли вы окрепли, чтобы мне можно было доложить вам об этом.

К тому же опрометчивая Волюмния, слегка взвизгнув, вспоминает, как вчера решили скрыть, что кавалерист – сын миссис Раунсуэлл, а значит, она сейчас напрасно проговорилась. Но миссис Раунсуэлл уверяет, да с таким жаром, что корсаж ее высоко вздымается, что она, конечно, сама доложила бы о возвращении своего сына Джорджа сэру Лестеру, как только ему стало бы лучше.

– Где же ваш сын Джордж, миссис Раунсуэлл? – спрашивает сэр Лестер.

Немало встревоженная тем, что больной говорит вопреки запрету врачей, миссис Раунсуэлл отвечает, что Джордж в Лондоне.

– Где в Лондоне?

Миссис Раунсуэлл вынуждена сознаться, что он здесь, в доме.

– Приведите его сюда, ко мне в спальню. Приведите сию минуту.

Старухе волей-неволей приходится пойти за сыном. Сэр Лестер по мере сил приводит себя в порядок, чтобы принять его. Покончив с этим, он снова смотрит в окно на мокрый

снег и снова ждет, не послышатся ли шаги той, что должна вернуться. Мостовую под окном завалили соломой, чтобы заглушить уличный шум, и, когда миледи подъедет к дому, пожалуй, и не услышишь стука колес.

Так он лежит, как будто позабыв о новом, неожиданном событии, правда не очень значительном; но вот приходит домоправительница вместе с сыном-кавалеристом. Мистер Джордж, осторожно подойдя к кровати, кланяется, а выпрямившись, стоит навытяжку, густо краснея и глубоко стыдясь самого себя.

– Боже мой, ты ли это, Джордж Раунсуэлл! – восклицает сэр Лестер. – Помнишь меня, Джордж?

Кавалеристу трудно понять больного – приходится смотреть ему в лицо и мысленно расчленять звуки его невнятной речи, – но с помощью матери он наконец понял вопрос и отвечает:

– Как не помнить, сэр Лестер! Худая была бы у меня память, сэр Лестер, если б я вас не помнил.

– Вот смотрю я на тебя, Джордж Раунсуэлл, – с трудом выговаривает сэр Лестер, – и вижу тебя мальчуганом в Чесни-Уолде… ясно помню… совсем ясно.

Он смотрит на кавалериста, пока слезы не выступают у него на глазах, а тогда снова поворачивает голову к окну, за которым падает мокрый снег.

– Простите, сэр Лестер, – говорит кавалерист, – но, может, вы разрешите мне приподнять вас немножко? Позволь-

те мне передвинуть вас, сэр Лестер, чтобы вам было удобней лежать.

– Пожалуйста, Джордж Раунсуэлл… будь так добр.

Кавалерист обхватывает его руками, как ребенка, легко приподнимает и укладывает, повернув лицом к окну, чтобы ему было удобней смотреть туда.

– Спасибо. Рука у тебя легкая – по наследству от матери досталась, – говорит сэр Лестер, – а силу сам нажил. Спасибо.

Взмахом руки он просит Джорджа не уходить. Джордж стоит у кровати молча – ждет, пока с ним не заговорят.

– Почему ты хотел скрыть, что вернулся?

Сэр Лестер произносит эти слова очень медленно.

– Сказать правду, сэр Лестер, мне ведь хвастаться нечем, и я… я опять попросил бы вас, сэр Лестер, если б вы не были больны, хотя, надеюсь, вы скоро поправитесь, – попросил бы вас, как о милости, позволить мне всегда скрывать, кто я такой. Я должен, конечно, объяснить – почему, но это нетрудно угадать и без объяснений, а они здесь сейчас совсем не ко времени, да и мне самому не сделают чести. Люди по-разному смотрят на вещи, но с тем, что мне хвастаться нечем, сэр Лестер, согласятся все.

– Ты был солдатом, – возражает сэр Лестер, – солдатом, верным своему долгу.

Джордж кланяется по-военному.

– Коли на то пошло, сэр Лестер, я всего только исполнял

свой воинский долг, повинуясь дисциплине, а этого мало.

– Как видишь, Джордж Раунсуэлл, – говорит сэр Лестер, не отрывая глаз от кавалериста, – я чувствую себя плохо.

– Мне очень грустно слышать и видеть это, сэр Лестер.

– Верю. Так вот. Не говоря уж о моей давней болезни, меня внезапно разбил паралич. Ноги немеют, – и он с трудом проводит рукой по бедру, – и язык заплетается, – и он дотрагивается до губ.

Джордж снова кланяется, глядя на больного с понимающим и сочувственным видом. Перед ними обоими всплывают другие времена, – когда оба они были юны (только Джордж гораздо моложе сэра Лестера) и так же вот смотрели друг на друга в Чесни-Уолде, – и оба они сейчас очень растроганы.

Но прежде чем снова умолкнуть, сэр Лестер, видимо, твердо решил сказать что-то, о чем думал долго, и теперь он пытается немного приподняться на подушках. Заметив это, Джордж снова обхватывает его руками и укладывает так, как этого хочет больной.

– Спасибо, Джордж. Ты словно мое второе я. В Чесни-Уолде, Джордж, ты, бывало, часто носил за мной запасное ружье. Ты для меня как свой человек в этом моем необычном испытании, совсем свой.

Поднимая сэра Лестера, Джордж положил его здоровую руку себе на плечо, и сэр Лестер, беседуя с ним, не отнимает ее.

– Я хотел добавить, – продолжает сэр Лестер, – говоря о своем параличе, я хотел добавить, что, к сожалению, он совпал с небольшим недоразумением, которое вышло у нас с миледи. Я не хочу этим сказать, что у нас была размолвка (никакой размолвки не было), но вышло недоразумение – мы по-разному отнеслись к некоторым обстоятельствам, важным только для нас самих, и это на короткое время лишило меня общества миледи. Она нашла нужным уехать… я верю, что она скоро вернется… Волюмния, я говорю достаточно внятно? Я не могу заставить себя правильно произносить слова.

Волюмния отлично его понимает, и в самом деле он говорит гораздо яснее, чем этого можно было ожидать минуту назад. Он изо всех сил старается говорить отчетливо, и это видно по тревожному и напряженному выражению его лица. Только твердая решимость выполнить задуманное помогает ему вернуть себе дар слова.

– Посему, Волюмния, – продолжает он, – я желаю сказать при вас, при своей старой домоправительнице и друге, миссис Раунсуэлл, в преданности и верности которой не усомнится никто, а также при ее сыне Джордже, который вернулся и живо напомнил мне о моей молодости, проведенной в доме моих предков в Чесни-Уолде… на случай, если у меня будет второй удар, на случай, если я не выздоровею, на случай, если я потеряю и дар речи, и возможность изъясняться письменно, хоть и надеюсь на лучшее…

Старуха домоправительница беззвучно плачет; Волюмния пришла в величайшее возбуждение, и щеки ее залиты ярчайшим румянцем; кавалерист скрестил руки на груди и слегка наклонил голову, и все они слушают больного с почтительным вниманием.

– …Посему я желаю сказать и самым торжественным образом призываю всех вас в свидетели – начиная с вас, Волюмния, – что отношение мое к леди Дедлок не изменилось. Что у меня нет никаких оснований обвинять ее в чем бы то ни было. Что я всегда питал к ней глубочайшую привязанность, которая не уменьшилась и ныне. Скажите это и ей самой, и всем. Если вы чего-нибудь недоскажете, вы будете виновны в умышленном вероломстве по отношению ко мне.

Волюмния, вся дрожа, уверяет, что буквально исполнит его распоряжение.

– Миледи вознесена так высоко, она так прекрасна, так превосходно воспитана и образована, она почти во всех отношениях настолько выше даже лучших из тех женщин, которые ее окружают, что не может не иметь врагов и не страдать от клеветников. Пусть все они знают, как теперь знаете вы с моих слов, что я, будучи в здравом уме и твердой памяти, не отменяю ни единого распоряжения, сделанного мною в ее пользу. Я не уменьшаю наследства, оставленного ей по моему завещанию. Я не изменил своего отношения к ней, и я не признаю недействительным, – хоть и мог бы признать, как видите, – ни единого шага, сделанного мною ради ее блага

и счастья.

В другое время его широковещательная декларация могла бы показаться смешной, – как и казались раньше иные его декларации, – но теперь она производит глубокое, трогательное впечатление. Его благородная искренность, верность, рыцарское стремление защитить жену, одержанная им ради нее великодушная победа над горечью обиды и оскорбленной гордости свидетельствуют об истинном благородстве, мужестве и честности. Когда в человеке проявляются столь светлые качества, он достоин всяческого уважения, все равно, будь он простой ремесленник или высокородный джентльмен. В такие минуты и тот и другой поднимаются на одинаковую высоту, и оба – простые смертные – излучают одинаково яркий свет.

Утомленный напряжением, больной откинул голову на подушку и закрыл глаза – только на минуту, не больше, – а потом снова начинает смотреть в окно, прислушиваясь к глухим шумам. Он охотно принимает от кавалериста мелкие услуги, и тот уже становится ему необходимым. Это получилось как-то само собой – никто не сказал об этом ни слова, но все понятно. Джордж, отступив шага на два, чтобы не маячить перед глазами больного, стоит на страже за креслом матери.

День угасает. Туман и моросящий дождь, пришедшие на смену снегопаду, сгущаются вместе с сумерками, и пламя камина бросает все более яркие блики на стены и мебель. На

улицах мрак сгущается тоже, вспыхивают яркие огни газовых фонарей, а упрямые масляные плошки, которые по сию пору удержались здесь, вместе с полузамерзшим-полурастаявшим источником своей жизни, судорожно мигают, словно разевающие рот огненные рыбы, вытащенные из воды. Большой свет, целый день подъезжавший по устланной соломой улице к входной двери, чтобы позвонить в колокольчик и «справиться о здоровье», разъезжается по домам, переодевается в вечерние туалеты, обедает и, как уже было сказано, сплетничает о своем дорогом друге на все новомодные лады.

А сэру Лестеру становится хуже – он беспокоится, мечется и тяжко страдает. Волюмния зажгла было свечу (должно быть, ей так уж на роду написано – вечно делать не то, что следует), но получила приказ погасить ее, так как «еще светло». На самом деле сейчас уже совсем темно, – темнее не будет и ночью. Вскоре Волюмния делает новую попытку зажечь свечу. «Нет! Погасите. Еще светло».

Старуха домоправительница первая догадалась, что сэр Лестер пытается себя уверить, будто еще не поздно.

– Дорогой сэр Лестер, почитаемый господин мой, – тихонько шепчет она, – я обязана взять на себя смелость просить и умолять вас ради вашей же пользы не лежать в полной темноте, – вы все прислушиваетесь, ждете, а ведь так время тянется еще дольше. Позвольте мне опустить шторы и зажечь свечи – вам тогда будет уютнее. Светло ли, темно ли, а часы на колокольнях все равно будут отбивать время,

сэр Лестер, и ночь все равно пройдет. И миледи все равно вернется.

– Я знаю, миссис Раунсуэлл; но я слаб… а он уехал так давно.

– Не очень давно, сэр Лестер. И суток еще не прошло.

– Но сутки – это большой срок. Боже, какой большой!

Он говорит это со стоном, от которого у нее сжимается сердце.

Она знает, что сейчас не время зажигать яркий свет; слезы его она считает слишком священными, чтобы даже ей можно было их видеть. И она сидит в темноте, не говоря ни слова; но немного погодя начинает бесшумно двигаться по комнате – то помешает угли в камине, то станет у темного окна и посмотрит на улицу. Овладев собой, он наконец говорит ей:

– Вы правы, миссис Раунсуэлл, надо признать то, что есть, – ведь хуже не будет. Уже поздно, а они все еще не приехали. Зажгите свет!

Свет зажгли, теперь уже не видно, как моросит дождь за окном, и сэру Лестеру остается только прислушиваться.

Но как он ни болен, как ни подавлен, все замечают, что он оживляется, когда кто-нибудь скажет: надо бы пойти посмотреть, жарко ли горит огонь в покоях миледи, и убедиться, что все готово к ее приезду. Эти уловки шиты белыми нитками, но он видит в них признак того, что ее ждут, и это поддерживает в нем надежду.

Пробило полночь, а вокруг все так же пусто. Экипажи

проезжают в эту пору редко, а поздней ночью других звуков в этом квартале обычно не слышно, если только какой-нибудь кутила не напьется до такой степени, что, одержимый охотой к перемене мест, забредет на эту промерзшую улицу и, шагая по мостовой, примется во все горле орать песни. Зимняя ночь так тиха, что слушать эту глубочайшую тишину все равно что смотреть в непроглядный мрак. Если откуда-то издалека и доносится какой-нибудь звук, он прорезает мглу, словно бледный луч света, а потом безмолвие нависает еще тяжелее.

Всю челядь услали спать (и она не прочь уйти на покой, так как не спала прошлую ночь), и только миссис Раунсуэлл дежурит вместе с Джорджем в спальне сэра Лестера. Ночь тянется медленно, – вернее, она как будто совсем останавливается между двумя и тремя часами, – и тогда мать и сын замечают, что больной все тревожнее жаждет узнать, какова погода, – ведь сам он не видит, что делается за окном. Поэтому Джордж, который каждые полчаса обходит дозором тщательно убранные покои миледи, теперь идет к двери вестибюля и, выглянув на улицу, возвращается с докладом, в котором как можно более светлыми красками рисует беспросветно ненастную ночь: ведь на самом-то деле мокрый снег идет не переставая, и даже на каменных тротуарах скопилось столько холодной, как лед, слякоти, что в ней можно увязнуть по щиколотку.

Волюмния сидит наверху в своей комнате, выходящей

на отдаленную лестничную площадку, куда можно попасть, лишь пройдя еще два марша после того, как на лестнице кончается резьба и позолота, ибо это – комната для родственниц, и в ней висит разительно непохожий, просто страшный, портрет сэра Лестера, сосланный сюда за свои пороки, а днем из нее можно увидеть скучный задний двор, обсаженный кустами, которые засохли и смахивают на какие-то допотопные экземпляры кустов черного чая, – Волюмния сидит наверху, в своей комнате, одолеваемая всяческими страхами. Пожалуй, самый главный из них – страх перед тем, что будет с ее маленьким доходом, если, как она выражается, «что-нибудь случится» с сэром Лестером. В этом смысле «что-нибудь» значит только одно, а именно последнее, что вообще может случиться с сознанием любого баронета на этом свете.

Страхи довели Волюмнию до того, что она уже не находит в себе мужества посидеть у своего камина или улечься спать в своей комнате, а принуждена выйти из нее, обмотав прелестную головку бесчисленными платками и окутав прелестную фигурку шалями, а выйдя, бродить, как привидение, по всему дому, особенно по теплым и роскошным покоям, убранным для той, которая все еще не вернулась. В такую ночь Волюмния не в силах выносить одиночество, и ей сопутствует ее горничная, которую для того и подняли с кровати, а горничная совсем закоченела, до смерти хочет спать и вообще обижена судьбой, ибо в силу обстоятельств обречена прислуживать бедной родственнице, тогда как мечтает

служить у леди с десятью тысячами годового дохода, – значит, немудрено, что лицо у нее не очень любезное.

К счастью, их время от времени навещает кавалерист – когда обходит дозором покои миледи, – поэтому хозяйке с горничной обеспечены и защита, и мужское общество, что очень приятно в поздние часы ночи. Заслышав приближающиеся шаги, обе они всякий раз прихорашиваются, чтобы встретить его во всей красе, а в промежутках между его визитами проводят часы своего бдения, то погружаясь в кратковременное забытье, то не без озлобления споря о том, валилась ли мисс Дедлок, – которая сидит поставив ногу на решетку камина, – или не валилась в огонь, когда (к великому ее неудовольствию) была спасена своим добрым гением – горничной.

– Ну, как теперь чувствует себя сэр Лестер, мистер Джордж? – осведомляется Волюмния, поправляя на голове капюшон.

– Да как вам сказать, мисс; сэру Лестеру, пожалуй, не лучше, не хуже. Он очень расстроен и слаб и даже иногда немного бредит.

– А обо мне спрашивал? – осведомляется Волюмния нежным голосом.

– Нет, не могу этого утверждать, мисс… то есть я не слышал, чтобы спрашивал.

– Какое, поистине, грустное время, мистер Джордж.

– Что правда, то правда, мисс. А не лучше ли вам лечь

спать?

– Право же, лучше бы вам лечь спать, мисс Дедлок, – настаивает горничная резким тоном.

Но Волюмния отвечает: нет! нет! Ее могут позвать… она может внезапно понадобиться. Она никогда бы себе не простила, если бы «что-нибудь случилось», а ее бы не оказалось «на месте». Она отказывается обсуждать поднятый горничной вопрос, почему это самое «место» обязательно должно находиться здесь, а не в ее собственной комнате (которая расположена ближе к спальне сэра Лестера), но стойко заявляет, что останется на месте. Далее Волюмния ставит себе в заслугу, что она «ни одного глаза не сомкнула», – как будто у нее их двадцать или тридцать, – но это утверждение трудно примирить с тем, что всего пять минут назад она, без всякого сомнения, открыла оба глаза.

Вот уже бьет четыре часа, а вокруг по-прежнему пусто, и стойкость Волюмнии начинает ослабевать или, скорее, усиливаться, ибо теперь Волюмния считает своим долгом подготовиться к завтрашнему дню, когда от нее может потребоваться многое; в сущности даже, как ни стремится она остаться на месте, может быть, ей надлежит пожертвовать собой и покинуть это место. Словом, как только кавалерист приходит опять и повторяет: «Не лучше ли вам лечь спать, мисс?», а горничная настаивает еще резче: «Вам, право же, лучше бы лечь спать, мисс Дедлок!» – Волюмния встает и кротко лепечет: «Делайте со мной что хотите!»

Мистер Джордж, несомненно, хочет проводить ее под ручку в предназначенную для родственниц комнату, а горничная, несомненно, хочет запихнуть ее в постель без всяких церемоний. Принимаются соответственные меры, и кавалерист, обходя дозором весь дом, уже больше никого не встречает на своем пути.

Погода не улучшается. С подъезда, с карнизов, с парапета, с каждого выступа, столба и колонны падает талый снег. Забившись, словно в поисках убежища, под притолоку огромной входной двери, под самую дверь, в углы окон, в каждую укромную щелку и трещину, снег тает и растекается. Он все еще падает на крышу, на окно верхнего света, и даже проникает сквозь оконные рамы внутрь, и так же размеренно – кап-кап-кап, – как звучат шаги на Дорожке призрака, – капает вниз на каменный пол.

Кавалерист, в котором безлюдное величие огромного дома – знакомое ему по Чесни-Уолду – пробудило старые воспоминания, поднимается по лестницам и проходит по парадным комнатам, держа свечу в вытянутой руке. Он думает о том, какие превратности судьбы он пережил за последние несколько недель, думает о своих детских годах, проведенных в деревне, и о двух периодах своей жизни, так странно сомкнувшихся через большой, отделяющий их друг от друга промежуток времени; он думает об убитом человеке, чей образ еще жив в его памяти; думает о женщине, покинувшей эти покои, где все напоминает о том, что она была здесь еще

так недавно; думает о хозяине дома, который лежит наверху, и о вещих словах: «Кто скажет ему правду?» – думает, озираясь по сторонам, – а вдруг ему сейчас кто-нибудь померещится, и тогда придется собрать всю свою храбрость, чтобы подойти, прикоснуться рукой к видению и доказать себе, что оно обман чувств. Но ничего такого нет; все вокруг пусто… пусто, как тьма, – и наверху и внизу, – тьма, что его окружает, когда он вновь поднимается по широкой лестнице; пусто, как гнетущее безмолвие.

– Все готово к приему миледи, Джордж Раунсуэлл?

– Все в полном порядке, сэр Лестер.

– Никаких вестей?

Кавалерист качает головой.

– Может быть, пришло письмо, но о нем забыли доложить?

Впрочем, сэр Лестер и сам понимает, что на это надеяться нечего, и, не дожидаясь ответа, опускает голову.

Джордж Раунсуэлл теперь стал совсем своим человеком для сэра Лестера, как тот сам сказал несколько часов назад, и в течение всей этой зимней ночи, пустой и длинной, он время от времени поднимает больного и перекладывает поудобнее, а при первом запоздалом проблеске утра, угадав, – тоже как свой человек, – невысказанное желание больного, гасит свет и поднимает шторы. День возникает как призрак. Холодный, тусклый, сумрачный, он выслал вперед свою грозную предвестницу, мертвенно-бледную полосу зари, и как

бы восклицает, предостерегая: «Вы, бодрствующие в этом доме, смотрите, что я вам несу! Кто скажет ему правду?»

Глава LIX
Повесть Эстер

Было три часа ночи, и отдельные дома, раскиданные по предместьям Лондона, начали наконец вытеснять поля и, образуя улицы, смыкаться вокруг нас. Дороги совершенно испортились со вчерашнего дня, когда мы проезжали по ним засветло, так как снег шел и таял всю ночь, но энергия моего спутника не ослабела. Мне чудилось, будто она влечет нас вперед, лишь немногим уступая энергии наших лошадей, и не раз случалось, что она помогала им. Лошади, выбившись из сил, то останавливались на полугоре, то боролись с бурными потоками воды, и их сносило течением, то падали, поскользнувшись, и запутывались в сбруе; но мой спутник всякий раз приходил им на помощь, светя своим фонариком, и когда очередное дорожное происшествие благополучно заканчивалось, я неизменно слышала его спокойное: «Трогай, ребята!»

Нет слов рассказать о том, с какой твердостью и уверенностью в себе он руководил нашим возвращением. Ни разу не поколебавшись в своем решении, он ни разу не приказал остановиться, чтобы навести справки, пока до Лондона не осталось всего нескольких миль. Но и теперь во время редких остановок он ограничивался лишь двумя-тремя вопро-

сами; и так мы между тремя и четырьмя часами ночи доехали до Излингтона.

Не буду говорить подробно, с каким мучительным чувством неизвестности и тревоги я все это время думала о том, что мы с каждой минутой все больше и больше отдаляемся от моей матери. Правда, я очень надеялась, что мистер Баккет прав и если он гонится за Дженни, то на это у него, наверное, есть серьезные причины, и все-таки всю дорогу до Лондона я терзалась сомнениями и недоумением. Что будет, когда мы найдем эту женщину, и как нам удастся наверстать потерянное время – вот вопросы, от которых я не могла отделаться, и когда мы остановились, я была уже совершенно измучена своими мыслями.

Остановились мы на широкой улице, где была стоянка карет. Мой спутник заплатил обоим нашим форейторам, которые были так забрызганы грязью, словно их самих таскали по дорогам, как нашу коляску, и, коротко объяснив им, куда ее надо отвезти, взял меня на руки и перенес в наемную карету, которую выбрал сам.

– Душа моя, – воскликнул он, – да вы, я вижу, совсем промокли!

А я и не заметила этого. Мокрый снег часто проникал под верх коляски, к тому же раза два мне пришлось выходить из нее, когда упавшая лошадь билась и ее поднимали, – так можно ли было удивляться, что я промокла? Я уверяла мистера Баккета, что это пустяки, но наш возница – его знако-

мый, – не слушая моих уговоров, сбегал к себе в конюшню и принес охапку чистой сухой соломы. Ее бросили в карету, хорошенько закутали ею мои ноги, и мне стало тепло и удобно.

– Ну, душа моя, – сказал мистер Баккет, просунув голову в окно кареты, после того как дверцу закрыли, – теперь мы эту женщину нагоним. Может быть, не очень скоро, но не тревожьтесь. Ведь вы уверены, что я действую не без оснований. Правда?

Я и не подозревала, что это за основания, – не подозревала, как скоро я пойму их вполне; но я уверила его, что всецело на него полагаюсь.

– Так и следует, душа моя, – отозвался он. – И вот что я вам скажу! Если вы будете полагаться на меня хоть вполовину меньше, чем я полагаюсь на вас теперь, после того как увидел, какая вы, то этого с меня хватит. Бог мой! Ведь вы ни капельки не мешаете. В жизни я не видывал такой девушки ни в каком кругу, – а я их много перевидал, в том числе высокопоставленных, но ни одна не могла бы вести себя так, как вели себя вы, с тех пор как вас подняли с постели. Вы примерная девушка, вот вы кто, – с жаром воскликнул мистер Баккет, – примерная!

Я сказала ему, как я рада, – а я действительно радовалась, – что не была для него обузой, и надеюсь, не буду и впредь.

– Душа моя, – отозвался он, – когда девушка так же неж-

на, как стойка, и так же стойка, как нежна, – это все, чего я прошу, и больше, чем ожидаю. Тогда эта девушка просто царица женщин, и вы как раз такая.

С этими ободряющими словами – они действительно ободрили меня в моем одиноком горе – он влез на козлы, и мы снова тронулись в путь. Где мы ехали – я не знала тогда, не знаю и теперь, но мы как будто нарочно выбирали самые узкие и глухие улицы Лондона. Всякий раз, как мистер Баккет давал новые указания нашему вознице, я уже знала, что мы сейчас нырнем в еще более путаную сеть подобных улочек, и так оно неизменно оказывалось.

Иногда мы выезжали на довольно широкий проспект или направлялись к ярко освещенному зданию, более крупному, чем все соседние дома. Тогда мы останавливались у подъезда учреждения, подобного тем, в какие заезжали в первый час нашего пути, и я видела, как мой спутник совещается с какими-то людьми. Бывало и так, что, пройдя куда-то под воротами или обогнув угол улицы, он таинственно махал своим зажженным фонариком. Тут на его свет роем бабочек слетались другие огоньки, и снова начиналось совещание. Мало-помалу круг, в пределах которого мы вели поиски, как будто начал сужаться. Полисмены, стоявшие здесь на своих постах, уже знали то, что хотел узнать мистер Баккет, и указывали, куда надо направиться. Наконец мы остановились надолго, так как беседа его с одним из этих полисменов вышла довольно длинной и, видимо, интересной, судя по тому,

как он время от времени кивал головой. Закончив совещание, он подошел ко мне с очень деловым и очень сосредоточенным видом.

– Ну, мисс Саммерсон, – сказал он мне, – я знаю, вы не испугаетесь, что бы ни случилось. Не к чему рассказывать вам все, – скажу только, что теперь мы эту женщину выследили и вы можете мне понадобиться с минуты на минуту. Не хочется вас беспокоить, душа моя, но вы в силах немного пройти пешком?

Я, конечно, сейчас же вышла из кареты и взяла его под руку.

– Идти тут довольно трудно, – сказал мистер Баккет, – не спешите.

Я растерянно и торопливо озиралась по сторонам, не понимая, куда попала, и все же, когда мы переходили какую-то улицу, мне показалось, будто я узнаю ее.

– Мы на Холборне? – спросила я.

– Да, – ответил мистер Баккет. – Узнаете вы улицу за тем углом?

– Кажется, это Канцлерская улица.

– Правильно! Так ее окрестили когда-то, душа моя, – подтвердил мистер Баккет.

Мы свернули на нее, увязая в мокром снегу, и я услышала, как часы пробили половину шестого. Мы шли молча и так быстро, как только можно было идти по такой скользкой дороге, как вдруг какой-то встречный прохожий в плаще оста-

новился на узком тротуаре и сделал шаг в сторону, чтобы пропустить меня. В тот же миг я услышала возглас удивления и свое имя, произнесенное мистером Вудкортом. Я сразу узнала его голос.

Было так неожиданно и так… не знаю, как сказать – то ли приятно, то ли больно встретить его поздней ночью, после моих лихорадочных странствий, что я не смогла удержаться от слез. Мне почудилось, будто я попала в чужую страну и там вдруг услышала его слова:

– Дорогая мисс Саммерсон, вы ли это? Как случилось, что вы на улице в такой час и в такую погоду?

Он слышал от опекуна, что меня вызвали по какому-то срочному делу, и сам сказал мне это, чтобы избавить меня от всяких объяснений. А я сказала ему, что мы только что вышли из экипажа и теперь идем… но, не зная, куда мы идем, я запнулась и взглянула на своего спутника.

– Видите ли, мистер Вудкорт, – проговорил он, называя моего собеседника по фамилии, так как расслышал, как я произнесла ее в разговоре, – мы сейчас собираемся свернуть в следующий переулок. Инспектор Баккет.

Не обращая внимания на мои возражения, мистер Вудкорт сбросил с себя плащ и накинул его мне на плечи.

– Хорошо сделали, – поддержал его мистер Баккет, – очень хорошо.

– Можно мне вас проводить? – спросил мистер Вудкорт, не знаю только – меня или моего спутника.

– Бог мой! – воскликнул мистер Баккет, отвечая и за меня и за себя. – Конечно, можно.

Все это было сказано в одно мгновение, и дальше я шла между ними обоими, закутанная в плащ.

– Я только что от Ричарда, – сказал мистер Вудкорт. – Сидел у него с десяти часов вечера.

– О господи, значит, он болен!

– Нет-нет, он не болен, уверяю вас, но, правда, не совсем хорошо себя чувствует. Сегодня он расстроился, ослабел, – вы знаете, он иногда очень волнуется и устает, – вот Ада и послала за мной, по своему обыкновению; а я, вернувшись домой, увидел ее записку и сразу же направился в эти края. Ну, что вам еще сказать? Немного погодя Ричард так оживился, а ваша Ада так этому обрадовалась и была так уверена, что это дело моих рук, – хотя, бог свидетель, я тут совершенно ни при чем, – что я сидел у них, пока он не заснул и не проспал несколько часов крепким сном. Столь же крепким, надеюсь, каким сейчас спит Ада!

Он говорил о них как о своих близких друзьях, был непритворно предан им, внушил доверие моей дорогой девочке, воспылавшей к нему благодарностью, и всегда ободрял ее, а я… могла ли я сомневаться, что все это связано с обещанием, которое он дал мне? Какой я была бы неблагодарной, если бы не вспомнила слов, которые он мне сказал, когда был так взволнован моей изменившейся внешностью: «Вы доверили его мне, и ваше поручение я почитаю священным!»

Мы опять свернули в узкий переулок.

– Мистер Вудкорт, – сказал мистер Баккет, внимательно присматриваясь к нему на ходу, – мы сейчас должны зайти по делу к одному торговцу канцелярскими принадлежностями, некоему мистеру Снегсби. Как, да вы его, оказывается, знаете?

Он был так наблюдателен, что, назвав эту фамилию, сразу же догадался по лицу мистера Вудкорта, что тот знает торговца.

– Да, я немного знаком с ним и заходил к нему сюда.

– Прекрасно, сэр! – проговорил мистер Баккет. – Так позвольте мне ненадолго оставить мисс Саммерсон с вами, а я пойду поговорить с ним.

Последний из полисменов, с которыми совещался мистер Баккет, молча стоял сзади нас. Я его не замечала, пока он не вмешался в разговор – когда я сказала, что, кажется, кто-то плачет здесь поблизости.

– Не пугайтесь, мисс, – промолвил он. – Это служанка Снегсби.

– Видите ли, – объяснил мистер Баккет, – с этой девушкой случаются припадки, и нынче ночью ей туго пришлось. Это очень досадно, потому что мне нужно получить от нее кое-какие сведения; так что придется как-нибудь привести ее в чувство.

– Но, если бы не она, мистер Баккет, все в доме давно завалились бы спать, – сказал полисмен. – Она тут голосила

чуть не всю ночь, сэр.

– Что правда, то правда, – согласился тот. – Мой фонарь догорает. Посветите-ка мне своим.

Все это говорилось шепотом, неподалеку от того дома, из которого глухо доносились стоны и плач. Мистер Баккет подошел к двери, которую полицейский осветил маленьким кругом света, и постучал.

Дверь открыли только после того, как он постучал два раза, и он вошел в дом, а мы остались на улице.

– Мисс Саммерсон, – сказал мистер Вудкорт, – прошу вас, позвольте мне остаться с вами, только не сочтите меня навязчивым.

– Вы очень добры, – ответила я. – Мне нечего скрывать от вас, и если я теперь что-то скрываю, так это чужая тайна.

– Это я хорошо понимаю. Верьте мне, я останусь при вас только до тех пор, пока не почувствую себя лишним.

– Я во всем доверяю вам, – сказала я. – Я знаю и глубоко чувствую, как свято вы исполняете свое обещание.

Немного погодя маленький круг света засиял вновь, и, освещенный им, мистер Баккет подошел к нам; лицо у него было серьезное.

– Пойдемте, пожалуйста, туда, мисс Саммерсон, – сказал он, – погрейтесь у огонька. Мистер Вудкорт, мне сказали, что вы – врач. Будьте добры, осмотрите эту девушку, – может, удастся привести ее в чувство? У нее где-то спрятано письмо, которое мне очень нужно. В ее сундуке письма нет,

должно быть, она носит его с собой, но сейчас она так скорчилась и съежилась, что до нее трудно дотронуться, не сделав ей больно.

Мы все трое вошли в дом. В этом доме было не только холодно и сыро, но и душно. В коридоре за дверью стоял перепуганный, расстроенный маленький человек в сером сюртуке, очень вежливый, с мягким голосом.

– Пройдите, пожалуйста, вниз, мистер Баккет, – сказал он. – Леди извинит меня за то, что я веду вас в кухню, – в будни она заменяет нам гостиную. В чулане при кухне обычно спит Гуся; она и сейчас там, бедняжка, и так мучается, просто ужас!

Мы стали спускаться по лестнице, а за нами следовал мистер Снегсби – так звали маленького человека, как я скоро узнала. В кухне у огня сидела миссис Снегсби, и глаза у нее были очень красные, а лицо очень суровое.

– Крошечка, – начал мистер Снегсби, входя следом за нами, – не лучше ли нам прекратить, – говоря напрямик, дорогая, – прекратить вражду хоть на одну минутку за всю эту длинную ночь? К нам пришли инспектор Баккет, мистер Вудкорт и одна леди.

Миссис Снегсби очень удивилась, да и немудрено, и, оглядев нас всех, бросила особенно недружелюбный взгляд на меня.

– Крошечка, – продолжал мистер Снегсби, присев в самом дальнем углу у двери, словно он считал, что, садясь на

стул у себя дома, позволяет себе некоторую вольность, – ты, может быть, спросишь меня, почему инспектор Баккет, мистер Вудкорт и эта леди зашли в переулок Кукс-Корт в такой неурочный час? Не знаю. Не имею ни малейшего понятия. Если бы мне и сказали, почему, я все равно ничего бы не понял, и лучше пускай не говорят.

Он сидел, опустив голову на руку, и казался таким жалким, а мое появление здесь, очевидно, было столь нежелательным, что я уже хотела извиниться, как вдруг мистер Баккет решил вмешаться.

– Вот что, мистер Снегсби, – начал он, – подите-ка вы сейчас с мистером Вудкортом и позаботьтесь о своей Гусе…

– «Своей Гусе», мистер Баккет! – воскликнул мистер Снегсби. – Продолжайте, сэр, продолжайте в том же духе. Того и гляди, меня заподозрят и в том, что она «моя».

– Держите свечу, – продолжал мистер Баккет, не исправив своей оплошности, – или держите девушку и вообще помогайте, когда вас попросят. Вы, безусловно, будете делать все это охотно, потому что вы человек учтивый и мягкий, сами знаете, и сердце ваше полно сочувствия к ближнему. (Мистер Вудкорт, осмотрите ее, пожалуйста, и если вам удастся найти письмо, отдайте его мне как можно скорее.)

Мистер Вудкорт и мистер Снегсби вышли, а мистер Баккет, ни на минуту не умолкая, заставил меня сесть в углу у камина и снять сырые башмаки, потом повесил их сушиться на каминную решетку.

– Не огорчайтесь, мисс, что миссис Снегсби встретила вас не очень-то приветливо, – проговорил он, – ведь все дело в том, что она давно уже находится в заблуждении. Она это скоро поймет, – что будет не слишком приятно для столь здравомыслящей особы, как она, – ибо я сейчас объясню ей все. – Стоя у камина со своей мокрой шляпой и моими шалями в руках и сам смахивая на ворох мокрого тряпья, он обратился с речью к миссис Снегсби: – Первое, что я вам скажу, как замужней женщине, притом одаренной так называемыми чарами, – помните песню: «Поверьте, когда б эти милые чары…» и так далее? – полно, вы же знаете эту песню, раз ее знают в свете, и зря вы будете мне твердить, что не вращаетесь в светском обществе, – так вот, значит, первое, что я вам скажу, как женщине, одаренной чарами и прелестями, – которые, заметьте, должны бы внушить вам веру в себя, – это то, что вы сами во всем виноваты.

Миссис Снегсби испуганно посмотрела на него, но немного смягчилась и, запинаясь, спросила, что хочет этим сказать мистер Баккет.

– Что хочет этим сказать мистер Баккет? – повторил он, а я увидела по его лицу, что он, и болтая, все время прислушивался к тому, что делалось за стеной, стараясь угадать, нашлось ли письмо, – увидела и взволновалась, поняв, какое большое значение оно имеет. – Сейчас я вам объясню, что он хочет сказать, сударыня. Пойдите-ка посмотрите спектакль «Отелло». Эта трагедия – самая для вас подходящая.

Миссис Снегсби в искреннем недоумении спросила: почему?

– Почему? – повторил мистер Баккет. – А потому, что вы кончите тем же, если не возьмете себя в руки. Да что говорить – ведь в этот самый момент, пока я тут с вами беседую, у вас душа не на месте и в голове вертятся всякие мысли насчет этой вот молодой леди. А сказать вам, кто она такая? Ну, слушайте: вы, что называется, женщина большого ума, хотя, коли на то пошло, душа у вас слишком велика для тела, – так и выпирает, – и вы меня знаете, а также помните, в каком доме вы виделись со мной на днях и о чем шла речь в той компании. Ведь помните? Да! Прекрасно. Так вот, эта молодая леди – та самая, о которой тогда шла речь.

Миссис Снегсби, видимо, поняла его слова лучше, чем я могла их понять в то время.

– А Тупица, иначе говоря Джо, был замешан в этом деле, и только в нем одном; и переписчик, которого вы знали, был тоже замешан в этом деле, но только в нем; и ваш супруг, который разбирался во всем этом не больше, чем ваш прадедушка, был замешан (покойным мистером Талкингхорном, своим лучшим заказчиком) именно в этом деле, и только в нем; и вся эта злобная орава была замешана все в том же самом деле, но только в нем одном. И вот замужняя женщина, столь одаренная прелестями, сама замазывает себе глазки (да еще такие блестящие!) и бьется изящной головкой об стену. Ну, знаете, мне прямо стыдно за вас! (Пора бы уж ми-

стеру Вудкорту найти письмо.)

Миссис Снегсби покачала головой и приложила платок к глазам.

– Вы думаете, это все? – с жаром продолжал мистер Баккет. – Нет, не все. Смотрите, что вышло. Другая особа, тоже замешанная в этом деле и только в нем одном и попавшая в очень тяжелое положение, приходит сюда нынче вечером, разговаривает с вашей служанкой и передает ей бумагу, за которую я и ста фунтов не пожалел бы отдать. А что делаете вы? Вы прячетесь и подглядываете за ними, а потом налетаете на девчонку – зная, какая у нее болезнь и каким пустяком можно вызвать приступ, – налетаете так неожиданно и с такой яростью, что она, черт подери, валится наземь в припадке, да так и валяется до сих пор, а ведь чья-то человеческая жизнь, быть может, зависит от одного ее слова!

Он говорил все это так внушительно, что я невольно сжала руки, и вся комната закружилась передо мной. Но это сразу же прошло. Вернулся мистер Вудкорт, отдал мистеру Баккету какую-то бумажку и снова ушел.

– Ну, миссис Снегсби, единственное, чем вы можете искупить свою вину, – сказал мистер Баккет, быстро бросив взгляд на бумажку, – это оставить меня здесь вдвоем с этой молодой леди – я хочу с ней поговорить. И если вы знаете, как помочь джентльмену, который возится в чулане, или чем можно привести в чувство девушку, да поскорее, действуйте как можно проворней и усердней!

Миссис Снегсби немедленно вышла, а он закрыл за нею дверь.

– Теперь, душа моя, скажите, вы спокойны и вполне владеете собой?

– Вполне, – сказала я.

– Чей это почерк?

Это был почерк моей матери. Несколько строк, написанных карандашом на измятом, надорванном клочке бумаги, покрытом пятнами сырости и наспех сложенном в виде письма на мое имя, адресованного на квартиру опекуна.

– Вы узнали почерк, – сказал мистер Баккет, – и если вы достаточно владеете собой, чтобы прочесть мне вслух это письмо, читайте! Но не пропустите ни слова.

Письмо было написано по частям, в разное время. Вот что я прочла:

«Я пришла сюда, в этот домик, с двумя целями. Во-первых, мне хотелось увидеть еще раз свою любимую, если удастся, – только увидеть; ни говорить с нею, ни дать ей знать, что я близко, я не хотела. Вторая цель – ускользнуть от погони и скрыться навек. Не осуждай той другой матери за ее участие. Она помогла мне, но лишь после моих самых настоятельных уверений, что это – на благо моей любимой. Ты помнишь ее умершего ребенка. Согласие мужчин я купила, но женщина помогла мне, не требуя награды».

– «Я пришла сюда». Значит, она писала это, когда отдыхала у кирпичников, – сказал мой спутник. – Это подтвер-

ждает мои выводы. Я оказался прав.

Следующие строки были написаны позже.

«Я прошла длинный путь, бродила много часов и знаю, что скоро умру. Ох, эти улицы! Я хочу лишь одного – смерти. Уходя из дому, я хотела поступить иначе, гораздо хуже; но теперь я избавлена от необходимости добавить этот грех ко всем другим своим грехам! Я замерзла, промокла, выбилась из сил, и этого достаточно, чтобы меня нашли мертвой; но я умру от других причин, хоть и страдаю от всего этого. Все, что было моим оплотом, рухнуло мгновенно, и это справедливо; справедливо и то, что мне суждено умереть от ужаса и угрызений совести».

– Крепитесь! – сказал мистер Баккет. – Осталось лишь несколько слов.

Последние слова были написаны еще позже, вероятно, когда уже стемнело.

«Я сделала все, что могла, чтобы скрыться. Так меня скорее забудут, а его позор будет менее тяжким. При мне нет ничего такого, что помогло бы узнать, кто я. С этим письмом я расстаюсь сейчас. Место, где я успокоюсь, если только буду в силах дойти до него, вспоминалось мне часто. Прощай. Прости».

Мистер Баккет обнял меня одной рукой и осторожно опустил в кресло.

– Успокойтесь! Не осуждайте меня за жестокость, душа моя, но как только вам станет лучше, наденьте башмаки и

приготовьтесь.

Я надела башмаки и приготовилась; но ждать мне пришлось долго – он ушел в соседнюю комнату, а я сидела одна и все время молилась за свою несчастную мать. Все в доме хлопотали около больной девушки, и я слышала, как мистер Вудкорт отдавал распоряжения и то и дело заговаривал с нею. Наконец он вернулся вместе с мистером Баккетом и сказал, что с девушкой необходимо обращаться очень мягко, поэтому он считает, что мы скорее получим нужные нам сведения, если расспрашивать ее буду я. Теперь она уже в силах отвечать на вопросы, надо только говорить с нею ласково, стараясь не испугать ее. Мистер Баккет сказал, что спросить ее надо о том, каким образом к ней попало письмо, о чем она говорила с женщиной, которая отдала ей это письмо, и куда ушла женщина. Стараясь по мере сил запомнить все эти вопросы, я прошла в чулан вместе со своими спутниками. Мистер Вудкорт хотел было остаться, но по моей просьбе последовал за нами.

Больная девушка сидела на полу, на том месте, куда ее положили после припадка. Все стояли вокруг нее, но – поодаль, чтобы ей легче дышалось. Она выглядела слабой и болезненной, а лицо у нее было некрасивое, но доброе и какое-то жалкое, хотя все еще немного безумное. Я стала на колени рядом с бедняжкой и положила ее голову к себе на плечо; а она обвила рукой мою шею и залилась слезами.

– Бедная моя девочка, – сказала я, прижавшись лицом к ее

лбу, – ведь я тоже плакала и дрожала, – я знаю, это жестоко – беспокоить тебя в такое время, но нам очень нужно кое-что узнать об этом письме, так нужно, что мне не хватило бы и целого часа, чтобы объяснить тебе почему.

Жалобным голосом она принялась уверять, что не хотела сделать ничего плохого… «не хотела сделать ничего плохого, миссис Снегсби!»

– Мы в этом не сомневаемся, – сказала я, – но прошу тебя, скажи мне, как попало к тебе это письмо.

– Да, сударыня, я скажу, скажу чистую правду. Я скажу все по правде, миссис Снегсби.

– Мы тебе верим, – отозвалась я. – Так как же это случилось?

– Меня послали по делу, сударыня… поздно вечером… и вот пришла я домой и вижу – какая-то женщина из простых, вся мокрая, вся в грязи, смотрит на наш дом. Как завидела она, что я подхожу к дверям, окликнула меня и спрашивает, не тут ли, мол, я живу. Я говорю, – да, тут. А она говорит, что знает в этом околотке только два-три дома, но заблудилась и не может их отыскать… Ох, что мне делать, что мне делать? Не поверят они мне! Она не сказала мне ничего плохого, и я не сказала ей ничего плохого, право же, миссис Снегсби!

Пришлось самой хозяйке уверять служанку, что ее не обвиняют ни в чем, и миссис Снегсби, надо отдать ей должное, с покаянным видом успокоила девушку, которая лишь после этого смогла отвечать мне.

– Так, значит, она заблудилась и не могла отыскать эти дома? – спросила я.

– Не могла! – со слезами ответила девушка, качая головой. – Нет! Никак не могла! И она была такая слабая, хромая, несчастная, – ох, до чего несчастная! – если б вы только увидели ее, мистер Снегсби, вы обязательно дали бы ей полкроны!

– Ну, Гуся, ну, девочка, – пробормотал мистер Снегсби, не зная, что и сказать, – дал бы, конечно.

– А ведь говорила она так хорошо, – продолжала девушка, глядя на меня широко открытыми глазами, – послушать, так прямо сердце кровью обливалось. И потом спросила меня, может, я знаю, как пройти на кладбище? А я спросила, на какое кладбище? А она говорит: на кладбище для бедных. Тут я и говорю ей, что я сама – бедная сиротка, а кладбища для бедных – они в каждом приходе. А она говорит, что ей нужно то кладбище для бедных, что недалеко отсюда, – попадаешь туда через крытый проход и там еще ступенька есть и железная решетка.

Я смотрела ей в лицо, упрашивая ее рассказать все подробно, как вдруг заметила, что ее последние слова явно встревожили мистера Баккета.

– Ох, боже мой, боже мой! – вскричала девушка, крепко прижимая волосы к темени обеими руками. – Что мне делать? что мне делать? Она хотела пойти на кладбище, где схоронили того человека, что выпил сонное зелье… вы тогда

пришли домой и рассказали нам про него, мистер Снегсби, – а мне стало так страшно, миссис Снегсби! Ох, мне опять страшно. Держите меня!

– Нет, сейчас тебе гораздо лучше, – сказала я, – умоляю тебя, умоляю, скажи мне, что было дальше.

– Да, скажу; да, скажу! Только не сердитесь на меня, сударыня, за то, что мне было так худо.

Сердиться на нее, бедняжку!

– Ну вот! Теперь я скажу, теперь скажу. И тогда она говорит: может, я покажу ей дорогу на кладбище? А я говорю: ладно, и показала, а она глядит на меня, как слепая, а сама прямо с ног валится. И вот вынула она письмо, показала мне и говорит, что если она, мол, снесет его на почту, так оно все сотрется и его бросят, не отошлют никуда; и еще сказала: может, я соглашусь взять письмо и отослать с посыльным, а ему заплатят на месте. Я говорю: ладно, если только в этом нет ничего плохого; а она сказала, что нет – ничего плохого нету. И вот взяла я у нее письмо, а она говорит, что ей нечем мне заплатить, а я говорю, что я, мол, сама бедная и ничего мне не надо. Ну она тогда сказала: «Благослови тебя бог!» – и ушла.

– И она пошла…

– Да! – крикнула девушка, угадав вопрос. – Да! Пошла в ту сторону, куда я сказала. Тут я вернулась домой, а миссис Снегсби как подскочит ко мне откуда-то сзади да как вцепится в меня, ну я и перепугалась.

Мистер Вудкорт осторожно разнял ее руки, и я встала. Мистер Баккет закутал меня в плащ, и мы немедленно вышли на улицу. Мистер Вудкорт колебался, идти ему с нами или остаться, но я сказала: «Не покидайте меня сейчас!» – а мистер Баккет добавил: «Идемте с нами, вы можете нам понадобиться; нельзя терять времени!»

У меня осталось лишь самое смутное воспоминание о том, как мы тогда шли. Помню, что это было не ночью и не днем – брезжил рассвет, но фонари еще горели, – а мокрый снег по-прежнему шел не переставая и все вокруг было им занесено. Помню редких закоченелых прохожих на улицах. Помню мокрые крыши домов, канавы, забитые грязью, переполненные водосточные трубы, сугробы почерневшего снега и льда, по которым мы пробирались, узкие переулки, по которым мы шли. Но, помнится, все это время мне чудилось, будто я отчетливо, совсем ясно слышу, как несчастная девушка рассказывает мне все, что знает; чудилось, будто голова ее лежит у меня на руке; будто покрытые пятнами стены домов приняли человеческий облик и уставились на меня; будто какие-то огромные шлюзы открываются и закрываются не то у меня в голове, не то где-то в пространстве, и все призрачное сделалось более ощутимым, чем вещественное.

Наконец мы остановились под сводом темного отвратительного прохода, в конце которого над железными решетчатыми воротами горел фонарь и куда едва проникал утренний свет. Ворота были заперты. За ними виднелось кладбище –

страшное место, где лишь очень медленно начинала рассеиваться ночная тьма и где я смутно различила какое-то нагромождение поруганных могил и надгробных камней в колодце из ветхих запущенных домов с редкими тусклыми огоньками в окнах, со стенами, на которых густая плесень проступала как гной на язвах. На ступеньке перед железными воротами, в луже какой-то ужасающей жидкости, стекавшей со стен этой трущобы и капавшей отовсюду, была распростерта женщина, в которой я с криком жалости и ужаса узнала… Дженни, мать умершего ребенка.

Я кинулась было к ней, но меня удержали, и мистер Вудкорт с величайшей горячностью и даже со слезами принялся умолять меня выслушать, что скажет мистер Баккет, и только тогда подойти к женщине. Кажется, я послушалась его; наверное, послушалась.

– Мисс Саммерсон, подумайте минутку, и вы все поймете. Они обменялись платьями в доме кирпичников.

«Они обменялись платьями в доме кирпичников!» Я могла только повторить про себя эти слова и понять их прямой смысл, но не могла догадаться, какое значение они имеют.

– И одна вернулась в Лондон, – объяснил мистер Баккет, – а другая пошла другой дорогой. Та, что пошла другой дорогой, отошла недалеко – только чтобы замести следы, а потом сделала круг по полям и вернулась домой. Подумайте минутку!

Я и эти его слова могла повторить про себя, но никак не

могла понять их значения. Я видела перед собой распростертую на ступеньке мать умершего ребенка. Она лежала там, обхватив одной рукой прут железной решетки и словно обнимая его. Она лежала там – женщина, что так недавно говорила с моей матерью. Она лежала там, замученная, бездомная, в обмороке. Та женщина, что принесла письмо моей матери; та единственная, что знала, где теперь моя мать; та, что могла указать нам, как найти и спасти мою мать, которую мы искали так далеко отсюда; та, что погибала из-за чего-то, связанного с моей матерью, но неизвестного мне, и, может быть, должна была скоро умереть и уйти от нас туда, где мы ничем не могли ей помочь… она лежала там, а они меня удерживали! Я увидела, каким торжественным и сострадательным стало вдруг лицо мистера Вудкорта, но не поняла ничего. Я увидела, как он положил руку на грудь моего второго спутника, чтобы заставить его посторониться, но не поняла почему. Я увидела, как он стоит на холодном ветру, благоговейно обнажив голову. Но ничего этого я не могла понять.

Я услышала даже, как спутники мои обменялись следующими словами:

– Может быть, ей подойти?

– Пусть подойдет. Пусть коснется первая. Это ее право, не наше.

Я подошла к железным воротам и наклонилась. Я подняла тяжелую голову, откинула в сторону длинные мокрые волосы

и повернула к себе лицо. И увидела свою мать, холодную, мертвую!

Глава LX
Перспективы

Перехожу к другим главам своего повествования. Все мои близкие были так внимательны ко мне и я черпала такое утешение в их доброте, что не могу вспомнить об этом без волнения. Впрочем, я уже столько говорила о себе и мне надо сказать еще столько, что я не буду распространяться о своем горе. Я захворала, но болела недолго, и не стала бы даже упоминать об этом, если бы могла умолчать о сочувствии моих близких.

Итак, перехожу к другим главам своего повествования.

Все время, пока я болела, мы безвыездно жили в Лондоне, и к нам тогда, по приглашению опекуна, приехала погостить миссис Вудкорт. Наконец опекун решил, что я достаточно окрепла и повеселела, так что уже могу побеседовать с ним по душам, как встарь, – хотя, послушайся он меня, это можно было бы сделать и раньше, – и, взяв свое рукоделье, я снова села в мое кресло рядом с ним. Он сам назначил время этой беседы, и мы были одни.

– Ну вот, вы и опять в Брюзжальне, Хозяюшка, – начал он, встретив меня поцелуем, – добро пожаловать, дорогая! Есть у меня один проект, и я хочу предложить его вам, милая девочка. Я надумал пожить в Лондоне еще полгода, а то

и дольше… там видно будет. Словом, поселиться здесь на время.

– И значит, на это время покинуть Холодный дом, – сказала я.

– Да, милая, – отозвался он. – Холодный дом должен привыкнуть сам заботиться о себе.

Мне показалось, будто он проговорил это с грустью, но, взглянув на него, я увидела, что доброе его лицо сияет необычайно довольной улыбкой.

– Холодный дом, – повторил он, и я почувствовала, что на этот раз тон у него вовсе не грустный, – должен привыкнуть сам заботиться о себе. Он слишком далеко от Ады, моя дорогая, а вы Аде очень нужны.

– Как это похоже на вас, опекун, подумать об этом и сделать нам обеим такой приятный сюрприз, – сказала я.

– Не такой уж я бескорыстный, как кажется, дорогая моя, заметьте это себе, если хотите превознести меня за эту добродетель, – ведь если вы чуть не каждый день будете уезжать, мне с вами почти не придется видеться. Кроме того, бедный Рик от нас отдалился, а мне хочется как можно чаще и подробней знать, как живет Ада. И не она одна, но и он, бедный, тоже.

– Вы виделись с мистером Вудкортом сегодня утром, опекун?

– С мистером Вудкортом я вижусь каждое утро, Хлопотунья.

– О Ричарде он говорит все то же?

– То же самое. Думает, что никакой болезни у него нет, точнее – даже уверяет, что он ничем не болен. Однако Вудкорт неспокоен за Рика… да и можно ли быть спокойным?

Последнее время моя милая девочка приходила к нам каждый день, иногда даже два раза в день; но мы предвидели, что так часто она будет бывать у нас, лишь пока я не поправлюсь вполне. Мы ясно видели, что ее преданное, благодарное сердце по-прежнему полно любви к кузену Джону, и были убеждены, что Ричард не препятствует ей встречаться с нами; но, с другой стороны, мы знали, что она считает своим долгом по отношению к мужу навещать нас не слишком часто. Опекун со свойственной ему чуткостью скоро все это понял и постарался убедить Аду, что находит ее поведение вполне правильным.

– Милый, несчастный, заблудший Рик! – сказала я. – Когда же он, наконец, проснется и поймет свое заблуждение?

– Пока что он к этому не склонен, дорогая моя, – ответил опекун. – Чем больше он страдает, тем враждебней относится ко мне, видя во мне главного виновника своих страданий.

Я не могла удержаться и сказала:

– Как это неразумно!

– Эх, Старушка, Старушка! – отозвался опекун. – Да разве есть хоть что-нибудь разумное в тяжбе Джарндисов? Все в ней неразумно и несправедливо сверху донизу, неразумно и несправедливо снаружи и внутри, неразумно и несправед-

ливо от начала и до конца – если только будет конец, – так может ли бедный Рик, который вечно возится с этой тяжбой, набраться от нее ума-разума? Может ли этот юноша собирать виноград с терновника, а инжир с чертополоха, если этого не могли и наши предки в седую старину?

Опекун всегда говорил о Ричарде мягко, с большой чуткостью, а я, слушая его, умолкала очень быстро, – так трогало меня его отношение к юноше.

– А ведь лорд-канцлер, и вице-канцлеры, и вся канцлерская тяжелая артиллерия, пожалуй, безмерно удивились бы, узнай они о том, как неразумен и несправедлив один из их истцов, – продолжал опекун. – Не меньше, чем удивлюсь я, когда эти ученые мужи начнут выращивать моховые розы на пудре, которой они засеивают свои парики!

Он повернулся было к окну, чтобы узнать, откуда дует ветер, но удержался и вместо этого облокотился на спинку моего кресла.

– Так-то, милая девочка. Ну, а теперь вернемся к нашей теме, дорогая. Предоставим времени, случаю и благоприятному стечению обстоятельств уничтожить этот подводный камень. Нельзя же допустить, чтоб о него разбилась Ада. Ричард не должен со мной сближаться, пока есть хоть малейший риск, что он может вновь отдалиться от меня, – ему и Аде будет очень трудно перенести второй разрыв с другом. Поэтому я настоятельно просил мистера Вудкорта, а теперь настоятельно прошу вас, дорогая, не заговаривать обо мне с

Риком. Забудьте об этом. Пройдет неделя, месяц, год – все равно, рано или поздно, он посмотрит на меня более ясными глазами. Я могу и подождать.

Пришлось сознаться, что я уже говорила об этом с Ричардом; кажется, говорил и мистер Вудкорт.

– Да, это я знаю с его слов, – промолвил опекун. – Ну что ж. Он, так сказать, заявил протест от себя, а Хлопотунья – от себя, и больше об этом говорить не к чему. Теперь я перейду к миссис Вудкорт. Как она вам нравится, дорогая моя?

В ответ на этот вопрос, такой странный и неожиданный, я сказала, что она мне очень нравится и, по-моему, она теперь приятней, чем была раньше.

– И я так думаю, – согласился опекун. – Меньше болтает о родословных, правда? Не так пространно рассказывает о Моргене-ап… или как его там зовут?

Я ответила, что именно это я и хотела сказать, хотя, в сущности, ее Морген-ап-Керриг был довольно безобидной личностью даже тогда, когда миссис Вудкорт рассказывала о нем пространней, чем теперь.

– Но, в общем, пусть он сидит себе там в своих родных горах, – сказал опекун. – Я с вами согласен. Итак, Хлопотунья, может быть, мне попросить миссис Вудкорт погостить у нас подольше?

Да. И все же…

Опекун смотрел на меня, ожидая ответа.

Мне нечего было ответить. Вернее, я не могла придумать

ответ. Мне как-то смутно казалось, что лучше бы у нас погостил кто-нибудь другой; но почему – этого я, пожалуй, не могла объяснить даже самой себе. То есть себе-то я могла объяснить, но уж никак не другим.

– Тут вот какое обстоятельство, – сказал опекун. – Вудкорт работает неподалеку от нас, а значит, сможет заходить к нам и видеться с матерью сколько душе угодно, что будет приятно им обоим; мы к ней привыкли, и она вас любит.

Да. Этого нельзя было отрицать. Я ничего не могла сказать против. Он очень хорошо все это придумал – я не могла бы предложить ничего лучшего; но на душе у меня было не совсем спокойно… Эстер, Эстер, почему же? Эстер, подумай!

– Это действительно очень разумно, дорогой опекун, лучше не придумаешь.

– Вы уверены, Хлопотунья?

Совершенно уверена. Минуту назад я заставила себя подумать, подумала и теперь уже была совершенно уверена.

– Прекрасно, – сказал опекун. – Так и сделаем. Решили единогласно.

– Решили единогласно, – повторила я, не отрываясь от своего рукоделья.

Я тогда вышивала скатерть для его книжного столика. В памятный вечер перед своей тяжкой поездкой я отложила эту неоконченную работу и с тех пор больше за нее не принималась. Теперь я показала скатерть опекуну, и она ему очень понравилась. Я попросила его рассмотреть узор, описала, ка-

кой красивой будет эта скатерть, и наконец решила возобновить наш разговор на том месте, где он прервался.

– Вы как-то сказали, дорогой опекун, – помнится, перед тем, как Ада от нас ушла, – что мистер Вудкорт опять собирается уехать за границу надолго. Вы с тех пор говорили с ним об этом?

– Да, Хозяюшка; довольно часто.

– Он решил уехать?

– Как будто нет.

– Может быть, у него появились какие-то новые виды на будущее? – спросила я.

– Как вам сказать?.. Да… может быть, – начал опекун, очевидно обдумывая свой ответ. – Примерно через полгода откроется вакансия на должность врача для бедных в одном йоркширском поселке. Живут там зажиточно, и место приятное – нечто среднее между городом и деревней: речки и улицы, мельницы и луга, – да и работа подходящая для такого человека, как он. Я хочу сказать – человека, который надеется и желает возвыситься над общим уровнем (а ведь почти все люди хотят этого временами), но в конце концов удовольствуется и общим уровнем, если получит возможность приносить пользу и честно работать, хоть и не прославится. Я думаю, что все благородные души честолюбивы, но мне больше всего нравится честолюбие, которое спокойно выбирает подобный путь, вместо того чтобы судорожно пытаться перескочить через него. Честолюбие Вудкорта как раз такое.

– И его назначат на эту должность? – спросила я.

– Ну, знаете, Хлопотунья, – ответил опекун с улыбкой, – не будучи оракулом, я ничего не могу сказать наверное, но думаю, что назначат. Репутация у него очень хорошая, к тому же среди людей, потерпевших кораблекрушение вместе с ним, оказались йоркширцы, тамошние жители, и как ни странно, но я верю, что чем лучше ты сам, тем больше у тебя шансов на успех. Впрочем, не думайте, что это доходное место. Должность очень, очень скромная, дорогая моя, – работы много, а заработка мало; но можно надеяться, что со временем положение его улучшится.

– Бедняки в этом поселке будут счастливы, если выбор падет на мистера Вудкорта, опекун.

– Правильно, дорогая, в этом сомневаться не приходится.

Больше мы об этом не говорили, и опекун не сказал ни слова о Холодном доме и его будущем. Потому не сказал, решила я тогда, что я ношу траур и еще только в первый раз после болезни сижу с ним наедине.

Теперь я каждый день навещала мою дорогую девочку в том унылом темном закоулке, где она жила. Обычно я бывала у нее по утрам, но всякий раз, как у меня выпадал часок-другой свободного времени, я надевала шляпу и снова бежала на Канцлерскую улицу. Оба они, и Ричард и Ада, были так рады видеть меня в любое время и так оживлялись, заслышав, что я открываю дверь и вхожу (чувствуя себя здесь как дома, я никогда не стучала), что я ничуть не боялась им

надоесть.

Приходя к ним, я часто не заставала Ричарда. Если же он и был дома, то обычно что-то писал или читал документы, приобщенные к тяжбе, сидя за своим столом, заваленным бумагами, до которых не позволял дотронуться. Случалось мне видеть, как он стоит в нерешительности перед конторой мистера Воулса. Случалось сталкиваться с ним, когда он бродил по соседству, бесцельно слоняясь по улицам и покусывая ногти. Нередко я встречала его в Линкольнс-Инне близ того здания, где впервые его увидела; но – ах! – как он был непохож на прежнего, как непохож!

Я знала, что состояние, принесенное ему Адой в приданое, тает, как свечи, горящие по вечерам в конторе мистера Воулса. А состояние это было очень небольшое. К тому же у Ричарда были долги до женитьбы; так что я теперь хорошо понимала, что значат слова «мистер Воулс налегает плечом на колесо», – а он продолжал «налегать», как я слышала. Моя дорогая подруга оказалась превосходной хозяйкой и всячески старалась экономить; и все же я знала, что молодые беднеют с каждым днем.

В этом убогом углу она сияла, как прекрасная звезда. Она так украсила и озарила его, что теперь его и узнать нельзя было. Сама же она была бледнее, чем раньше, когда жила дома, и я удивлялась, почему она так молчалива, – ведь она до сих пор не теряла бодрости и надежды, а лицо у нее всегда было такое безмятежное, что, мне казалось, это любовь

к Ричарду ослепляет ее, и она просто не видит, что он идет к гибели.

Как-то раз я шла к ним обедать, раздумывая обо всем этом. И вдруг, подойдя к Саймондс-Инну, встретила маленькую мисс Флайт, которая вышла от них. Она только что нанесла визит «подопечным тяжбы Джарндисов», как она все еще их называла, и осталась от души довольна этой церемонией. Ада говорила мне, что старушка является к ним каждый понедельник ровно в пять часов, нацепив на шляпку лишний белый бант, – которого на ней не увидишь в другое время, – а на руке у нее тогда висит ее самый объемистый ридикюль с документами.

– Душенька моя! – начала она. – Я в восторге! Как поживаете? Как я рада вас видеть. Вы идете с визитом к нашим интересным подопечным Джарндисов? *Ну, конечно!* Наша красавица дома, душенька моя, и будет счастлива видеть вас.

– Значит, Ричард еще не вернулся? – спросила я. – Вот хорошо, а то я боялась, что немного опаздываю.

– Нет, еще не вернулся, – ответила мисс Флайт. – Сегодня он засиделся в суде. Я оставила его там с Воулсом. Надеюсь, вы не любите Воулса? *Не надо* любить Воулса. О-пас-нейший человек!

– Вероятно, вы теперь встречаетесь с Ричардом чаще прежнего, к сожалению? – спросила я.

– Прелесть моя, – ответила мисс Флайт, – я встречаюсь с ним ежедневно и ежечасно. Вы помните, что я вам гово-

рила о притягательной силе вещей на столе лорд-канцлера? Так вот, душенька моя, если не считать меня, Ричард самый постоянный истец во всем суде. Это прямо-таки забавляет нашу маленькую компанию. Мы оч-чень дружная компания, не правда ли?

Грустно было слышать это от бедной слабоумной старушки, но я не удивилась.

– Короче говоря, достойный мой друг, – зашептала мне на ухо мисс Флайт с покровительственным и таинственным видом, – я должна открыть вам один секрет. Я назначила Ричарда своим душеприказчиком. Назначила, уполномочила и утвердила. В своем завещании. Да-а!

– Неужели? – удивилась я.

– Да-а, – повторила мисс Флайт самым жеманным тоном, – назначила его своим душеприказчиком, распорядителем и уполномоченным. (Так выражаются у нас в Канцлерском суде, душенька.) Я решила, что если сама я не выдержу, так ведь он-то успеет дождаться решения. Он так регулярно бывает в суде.

Я только вздохнула.

– Одно время, – начала мисс Флайт и тоже вздохнула, – я собиралась назначить, уполномочить и утвердить бедного Гридли. Он тоже очень регулярно ходил в суд, моя прелесть. Уверяю вас, прямо образцово! Но он не выдержал, бедняга; поэтому я назначила ему преемника. Никому об этом не рассказывайте. Говорю по секрету.

Она осторожно приоткрыла свой ридикюль и показала мне сложенную бумагу – вероятно, то самое завещание, о котором говорила.

– Еще секрет, дорогая: я сделала добавление к своей птичьей коллекции.

– В самом деле, мисс Флайт? – отозвалась я, зная, как ей приятно, когда ее слушают с интересом.

Она несколько раз кивнула головой, а лицо ее омрачилось и потемнело.

– Еще две птички. Я назвала их «Подопечные тяжбы Джарндисов». Они сидят в клетках вместе с остальными: с Надеждой, Радостью, Юностью, Миром, Покоем, Жизнью, Прахом, Пеплом, Мотовством, Нуждой, Разорением, Отчаянием, Безумием, Смертью, Коварством, Глупостью, Словами, Париками, Тряпьем, Пергаментом, Грабежом, Прецедентом, Тарабарщиной, Обманом и Чепухой.

Бедняжка поцеловала меня такая взволнованная, какой я ее еще не видела, и отправилась восвояси. Имена своих птичек она перечисляла очень быстро, словно ей было страшно услышать их даже из своих собственных уст, и мне стало жутко.

Подобная встреча никак не могла поднять мое настроение; охотно обошлась бы я и без встречи с мистером Воулсом, которого Ричард (явившийся минуты через две после меня) привел к обеду. Обед был очень простой, но Аде и Ричарду все-таки пришлось ненадолго выйти из комнаты,

чтобы заняться хозяйством. Тут мистер Воулс воспользовался случаем побеседовать со мной вполголоса. Он подошел к окну, у которого я сидела, и заговорил о Саймондс-Инне.

– Скучное место, мисс Саммерсон, для тех, кто здесь не работает, – начал мистер Воулс и, желая протереть стекло, чтобы мне было лучше видно, принялся пачкать его своей черной перчаткой.

– Да, смотреть здесь не на что, – согласилась я.

– И слушать нечего, мисс, – отозвался мистер Воулс. – Случается, что сюда забредут уличные музыканты, но мы, юристы, не музыкальны и быстро их выпроваживаем. Надеюсь, мистер Джарндис здоров, к счастью для своих друзей?

Я поблагодарила мистера Воулса и сказала, что мистер Джарндис вполне здоров.

– Сам я не имею удовольствия быть в числе его друзей, – заметил мистер Воулс, – и знаю, что в его доме на нашего брата, юриста, порой смотрят недружелюбно. Как бы то ни было, наш путь ясен: хорошо о нас говорят или плохо, все равно мы, вопреки всякого рода предубеждениям против нас (а мы жертвы предубеждений), ведем свои дела начистоту… Как вы находите мистера Карстона, мисс Саммерсон?

– У него очень нездоровый вид… страшно встревоженный.

– Совершенно верно, – согласился мистер Воулс.

Он стоял позади меня, длинный и черный, чуть не упираясь головой в низкий потолок, и так осторожно ощупывал

свои прыщи на лице, словно это были не прыщи, а драгоценные камни, да и говорил он ровным утробным голосом, как человек, совершенно лишенный человеческих чувств и страстей.

– Мистер Карстон, кажется, находится под наблюдением мистера Вудкорта?

– Мистер Вудкорт – его бескорыстный друг, – ответила я.

– Но я хотел сказать – под профессиональным наблюдением, под медицинским наблюдением.

– Оно плохо помогает, когда душа неспокойна, – заметила я.

– Совершенно верно, – согласился мистер Воулс.

Такой медлительный, такой хищный, такой бескровный и унылый! Мне чудилось, будто Ричард чахнет под взглядом своего поверенного, а поверенный чем-то смахивает на вампира.

– Мисс Саммерсон, – продолжал мистер Воулс, очень медленно потирая руки в перчатках – казалось, его тупому осязанию безразлично, затянуты они в черную лайку или нет, – я считаю брак мистера Карстона неблагоразумным поступком.

Я попросила его не говорить со мной на эту тему. Они дали друг другу слово, когда были еще совсем юными, объяснила я ему (довольно-таки негодующим тоном), а будущее представлялось им более светлым и ясным, чем теперь, когда Ричард поддался злополучному влиянию, омрачающему

его жизнь.

– Совершенно верно, – снова подтвердил мистер Воулс. – Однако, придерживаясь своего принципа высказывать все начистоту, я замечу, с вашего позволения, мисс Саммерсон, что нахожу этот брак чрезвычайно неблагоразумным. Я считаю своим долгом высказать это мнение, долгом не только по отношению к близким мистера Карстона, от которых, натурально, жду справедливой оценки, но и по отношению к своей собственной репутации, ибо я дорожу ею, как юрист, стремящийся сохранить всеобщее уважение, ибо ею дорожат мои три дочери, которым я стараюсь обеспечить маленькое независимое состояние, и добавлю даже: ею дорожит мой престарелый отец, содержать которого я считаю своей почетной обязанностью.

– Этот брак стал бы совсем другим браком – гораздо более счастливым и во всех отношениях более удачным, мистер Воулс, – сказала я, – если бы Ричарда можно было уговорить отказаться от роковой цели, к которой вы стремитесь вместе с ним.

Беззвучно кашлянув, или, точнее, зевнув в свою черную перчатку, мистер Воулс наклонил голову, как бы не желая резко возражать даже против этого.

– Мисс Саммерсон, – произнес он, – возможно, что вы и правы; и я охотно признаю, что молодая леди, столь неблагоразумно принявшая фамилию мистера Карстона, – надеюсь, вы не посетуете на меня за то, что я из чувства долга перед

близкими мистера Карстона повторяю это, – является весьма достойной молодой леди из очень хорошей семьи. Дела помешали мне вращаться в обществе иначе как в качестве поверенного моих клиентов, тем не менее, надеюсь, я способен понять, что супруга мистера Карстона весьма достойная молодая леди. Что касается красоты, то в этой области я не знаток и никогда с юных лет не обращал на нее большого внимания; но смею сказать, что эта молодая леди отличается большими достоинствами и в отношении красоты. Ее (как я слышал) считают красивой клерки нашего Инна, а в этом они смыслят больше меня. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих собственных интересах…

– Полно! Какие там интересы, мистер Воулс!

– Простите, – перебил меня мистер Воулс и продолжал все тем же утробным и бесстрастным голосом: – У мистера Карстона имеются некоторые интересы, связанные с некоторыми завещаниями, которые оспариваются в суде. Так выражаемся мы, юристы. Что же касается того обстоятельства, что мистер Карстон печется о своих интересах, то я уже сказал вам, мисс Саммерсон, в тот день, когда впервые имел удовольствие с вами встретиться, что я стремлюсь вести дела начистоту, – я тогда употребил именно эти слова и впоследствии записал их в свой деловой дневник, который можно представить для ознакомления когда угодно, – я уже сказал вам, что мистер Карстон желает следить за своими инте-

ресами лично и поставил мне условием подробно осведомлять его о ходе его дела. Когда же любой мой клиент ставит какое-либо не безнравственное (я хочу сказать, не противозаконное) условие, мне надлежит выполнить это условие. Я его выполнял; я его выполняю. Однако я никоим образом не хочу смягчать положение, когда ставлю о нем в известность близких мистера Карстона. С вами я говорю начистоту, как говорил и с мистером Джарндисом. Я считаю своим профессиональным долгом высказаться начистоту, хоть и не могу потребовать за это гонорара. Итак, как ни грустно, но скажу начистоту, что дела мистера Карстона весьма плохи, что сам мистер Карстон очень плох и что брак его – чрезвычайно неблагоразумный брак… Здесь ли я, сэр? Да, благодарю вас, я здесь, мистер Карстон, и с удовольствием веду приятную беседу с мисс Саммерсон, за что обязан принести вам глубокую благодарность, сэр!

Так он оборвал наш разговор, отвечая Ричарду, который окликнул его, войдя в комнату. Но я уже слишком хорошо поняла все значение щепетильных попыток мистера Воулса спасти себя и свою репутацию и не могла не чувствовать, что беда, которой мы так опасались, надвигается вместе с угрожающим падением его клиента.

Мы сели за стол, и я с тревогой воспользовалась случаем присмотреться к Ричарду. Мистер Воулс (снявший перчатки во время еды) мне не мешал, хотя сидел против меня, а стол был не широкий, – не мешал потому, что если уж поднимал

глаза, то не сводил их с нашего хозяина. Я нашла Ричарда похудевшим и вялым, небрежно одетым, рассеянным, и если он время от времени делал над собой усилие, стараясь оживленно поддерживать разговор, то вскоре снова погружался в тупую задумчивость. Его большие блестящие глаза, такие веселые в былое время, теперь были полны тревоги, беспокойства, и это совершенно изменило их. Не могу сказать, что он постарел. В некоторых случаях гибель юности не то же самое, что старость; и на такую гибель были обречены юность и юношеская красота Ричарда.

Он ел мало и, кажется, относился к еде равнодушно; он стал гораздо более раздражительным, чем раньше, и был резок даже с Адой. Вначале я подумала, что от его прежней беспечности не осталось и следа; потом стала замечать, как ее отблески мелькают на его лице, так же, как видела иногда в зеркале какие-то черточки своего прежнего лица. И прежний его смех еще не совсем угас; но он казался лишь эхом прежнего веселья, и от этого становилось грустно на душе.

Но со мной он был по-прежнему ласков и, как всегда, рад видеть меня у себя, так что мы с удовольствием болтали, вспоминая прошлое. Наша беседа явно не интересовала мистера Воулса, хотя он иногда растягивал рот в какой-то зевок, который, видимо, заменял ему улыбку. Вскоре после обеда он поднялся и сказал, что просит у дам позволения удалиться к себе в контору.

– Как всегда, всего себя отдаете делу, Воулс! – воскликнул

Ричард.

– Да, мистер Карстон, – ответил тот, – нельзя пренебрегать интересами клиентов, сэр. Только о них и должен думать человек моего склада – юрист, который стремится сохранить свое доброе имя в среде коллег и в любом обществе. Если я лишаю себя удовольствия вести столь приятный разговор, мистер Карстон, то к этому меня до известной степени понуждают и ваши собственные интересы.

Ричард сказал, что не сомневается в этом, и посветил мистеру Воулсу, пока тот спускался по лестнице. Вернувшись, он не раз повторял нам, что Воулс славный малый, надежный малый, который выполняет все, за что берется, – словом, прямо-таки замечательный малый! И он твердил это так настойчиво, что я все поняла – он уже начал сомневаться в мистере Воулсе.

Усталый, он бросился на диван, а мы с Адой принялись наводить порядок, так как прислуги у молодых не было, если не считать женщины, приходившей убирать квартиру. У моей милой девочки было маленькое фортепьяно, и она тихонько села за него и принялась петь любимые песни Ричарда, но сначала мы перенесли лампу в соседнюю комнату, потому что он жаловался, что глазам его больно от света.

Я сидела между ними, рядом с моей дорогой девочкой, и слушала ее чудесный голос с глубокой печалью. Кажется, Ричард испытывал то же самое – потому-то он, должно быть, и захотел остаться в темноте. Ада пела, но время от време-

ни вставая, наклонялась к нему и говорила несколько слов; и вдруг пришел мистер Вудкорт. Он подсел к Ричарду, заговорил с ним полушутя-полусерьезно, и само собой вышло, что Ричард рассказал ему, как он себя чувствует и как провел день. Немного погодя мистер Вудкорт сказал Ричарду, что ночь нынче лунная и свежая, так что не пойти ли им вдвоем погулять по мосту, а Ричард охотно согласился, и они ушли.

Моя дорогая девочка по-прежнему сидела за фортепьяно, а я – рядом с нею. Когда Ричард и мистер Вудкорт ушли, я обняла ее за талию. Она взяла меня за руку левой рукой (я сидела слева от нее), а правой продолжала перебирать клавиши, но не брала ни одной ноты.

– Эстер, любимая моя, – начала Ада, нарушая молчание, – когда у нас сидит Аллен Вудкорт, Ричард так хорошо себя чувствует, что я за него совсем спокойна. За это мы должны благодарить тебя.

Я объяснила своей милой подруге, что я тут совершенно ни при чем, – ведь мистер Вудкорт бывал в доме ее кузена Джона, познакомился там со всеми нами, и Ричард всегда ему нравился, а он всегда нравился Ричарду и… и так далее.

– Все это верно, – сказала Ада, – но если он стал нашим преданным другом, то этим мы обязаны тебе.

Я решила уступить своей дорогой девочке, чтобы прекратить спор. Так я ей и сказала. Сказала легким тоном, ибо почувствовала, что она дрожит.

– Эстер, любимая моя, я хочу быть хорошей женой…

очень, очень хорошей женой. Этому меня научишь ты.

Мне ее научить! Но я промолчала, ибо заметила, как ее рука бродит по клавишам, и поняла: мне не надо ничего говорить… Ада сама хочет сказать мне что-то.

– Когда я выходила замуж за Ричарда, я предвидела то, что его ожидает. Я долго была вполне счастлива своей дружбой с тобой, а ты меня так любила, так обо мне заботилась, что я не знала горя и тревоги; но я тогда поняла, в какой он опасности, Эстер.

– Я знаю, я знаю, любимая моя!

– Когда мы поженились, я немного надеялась, что, быть может, сумею показать ему, в чем он заблуждается… надеялась, что, став моим мужем, он, может быть, посмотрит на все это другими глазами, вместо того чтобы с еще большим рвением преследовать свою цель ради меня… как он это делает теперь. Но если бы даже я не надеялась, я бы все равно вышла за него замуж, Эстер… все равно!

Ее рука, которая раньше безостановочно бродила по клавишам, на мгновение замерла, твердо надавив на них, – казалось, Ада хотела этим подчеркнуть свои последние слова; а как только она умолкла, рука ее снова ослабела… и тут я поняла, как искренне говорила моя милая подруга.

– Не думай, любимая моя Эстер, что я не вижу того, что видишь ты, и не боюсь того, чего ты боишься. Никто не может понять Ричарда лучше, чем я. Величайшая мудрость на свете никогда не будет знать его так, как знает моя любовь.

Она говорила все это так скромно и мягко, но ее дрожащая рука, бродившая по немым клавишам, выражала такое глубокое волнение! Моя милая, милая девочка!

– Каждый день я вижу его в таком плохом состоянии, в каком его не видит никто. Я смотрю на него, когда он спит. Как бы ни менялось его лицо, я понимаю, чем вызвана перемена. Но когда я вышла замуж за Ричарда, Эстер, я твердо решила, с помощью божьей, никогда не показывать ему, что огорчена его поведением, – ведь от этого ему только стало бы еще хуже. Я хочу, чтобы, приходя домой, он не читал на моем лице ни малейшего беспокойства. Я хочу, чтобы, глядя на меня, он видел только то, что любит во мне. Для этого я и вышла за него замуж, и это меня поддерживает.

Я чувствовала, что она дрожит все сильнее. Но молчала, ожидая новых признаний, и вскоре начала догадываться, о чем еще она хочет говорить со мной.

– И еще кое-что поддерживает меня, Эстер.

Она на мгновение умолкла, но только на мгновение, а рука ее по-прежнему бродила по клавишам.

– Я немного заглядываю вперед и мечтаю о том времени, когда, может быть, получу большую, очень большую поддержку. Это будет, когда Ричард, взглянув на меня, увидит в моих объятиях существо более красноречивое, чем я, более способное вернуть его на правильный путь и спасти.

Рука ее замерла. Ада крепко обняла меня, а я обняла ее.

– Но если и эта малютка не поможет, Эстер, я все рав-

но буду мечтать о будущем. Я буду мечтать о далеком-далеком будущем, которое наступит через многие-многие годы, – мечтать, что, когда я состарюсь или, быть может, умру, дочь Ричарда, прекрасная и счастливая в замужестве, будет гордиться своим отцом и служить ему утешением. Или буду мечтать о том, как благородный и мужественный юноша – такой же красивый, каким некогда был Ричард, такой же полный надежд, но гораздо более счастливый, – будет идти рядом с отцом в солнечный день и, почитая его седины, говорить себе: «Благодарю бога за такого отца! Его чуть не сгубило роковое наследство, но он возродился к новой жизни благодаря мне!»

О моя прелестная девочка, какое чудесное сердце билось так трепетно рядом с моим!

– Вот какие надежды поддерживают меня, милая моя Эстер, и, я знаю, будут поддерживать всегда. Впрочем, даже они иногда покидают меня, – ведь мне так страшно смотреть на Ричарда.

Я попыталась ободрить свою любимую и спросила: чего же она боится? Заливаясь слезами, она ответила:

– …Что он не увидит своего ребенка, не доживет…

Глава LXI
Неожиданность

Никогда не исчезнут из моей памяти те дни, когда я часто навещала убогое жилище, которое так украшала моя милая девочка. Я больше не бываю в тех краях и не хочу бывать – с тех пор я посетила их лишь раз, – но в моей памяти они окружены ореолом скорби, и он будет сиять вечно.

Конечно, не проходило и дня без того, чтобы я не навестила Аду и Ричарда. Вначале я два-три раза заставала у них мистера Скимпола, который от нечего делать играл на фортепьяно и, как всегда, оживленно болтал. Признаться, я почти не сомневалась, что каждое его появление у молодых чувствительно отзывается на кошельке Ричарда, но даже не говоря об этом, в его беспечной веселости было что-то слишком несовместимое с душевным состоянием Ады, о котором я знала. Кроме того, мне было ясно, что Ада относится к мистеру Скимполу так же, как я. Тщательно продумав все это, я решила пойти к нему и сделать попытку деликатно объясниться с ним. Больше всего я заботилась о благе моей дорогой девочки, и это придало мне смелости.

Как-то раз утром я вместе с Чарли отправилась в Сомерс-Таун. Чем ближе я подходила к знакомому дому, тем больше мне хотелось повернуть вспять, – ведь я предвиде-

ла, как безнадежны будут мои старания повлиять на мистера Скимпола и как много шансов на то, что он нанесет мне жестокое поражение. Тем не менее я решила, что делать нечего, – раз уж я пришла сюда, отступать поздно. Дрожащей рукой я постучала в дверь, повторяю – рукой, потому что дверной молоток исчез, и после длительных переговоров меня впустила какая-то ирландка, которая стояла во дворике и, пока я стучала, кочергой отбивала крышку от бочки для воды, должно быть на растопку.

Мистер Скимпол лежал в своей комнате на диване, поигрывая на флейте, и при виде меня пришел в восторг. Кто же должен принимать меня, спросил он? Которую из его дочерей я предпочла бы видеть в роли церемониймейстера? Дочь Насмешницу, дочь Красавицу или дочь Мечтательницу? А может быть, я хочу видеть всех трех сразу в одном роскошном букете?

Уже наполовину побежденная, я ответила, что, с его разрешения, хотела бы поговорить с ним наедине.

– Дорогая мисс Саммерсон, с величайшей радостью! – отозвался он, подвигая свое кресло поближе ко мне и сияя очаровательной улыбкой. – Но, разумеется, говорить мы будем не о делах. А стало быть, об удовольствиях!

Я сказала, что, конечно, пришла не по делу, но тема нашего разговора будет не из приятных.

– Если так, дорогая мисс Саммерсон, – промолвил он с самой искренней веселостью, – вы про нее и не говорите. К

чему говорить о вещах, которые нельзя назвать приятными? Я никогда о них не говорю. А ведь вы гораздо приятнее меня во всех отношениях. Вы приятны вполне; я же не вполне приятен. Поэтому, если уж я никогда не говорю о неприятных вещах, так вам тем более не к лицу о них говорить! Итак, с этим покончено, давайте поболтаем о чем-нибудь другом.

Мне было неловко, но я все-таки решилась сказать, что хочу говорить о том, для чего явилась сюда.

– Я сказал бы, что это ошибка, – промолвил мистер Скимпол с легким смехом, – если бы считал, что мисс Саммерсон способна ошибаться. Но я этого не считаю!

– Мистер Скимпол, – начала я, глядя ему в глаза, – я так часто слышала от вас самих, что вы ничего не смыслите в житейских делах…

– То есть в наших трех друзьях из банкирского дома – Фунте, Шиллинге и… как бишь зовут младшего компаньона? Пенс? – принялся шутить мистер Скимпол. – Правильно! О них я не имею ни малейшего представления!

– Так, может быть, вы не посетуете на меня за навязчивость, – продолжала я. – Но, мне кажется, вы обязаны знать, что Ричард теперь обеднел.

– Боже мой! – воскликнул мистер Скимпол. – Но я тоже обеднел, как мне говорят.

– И что дела его очень запутаны.

– Как и мои – точь-в-точь! – отозвался мистер Скимпол с ликующим видом.

– Ада, естественно, этим очень встревожена и, вероятно, тревожится еще больше, когда вынуждена принимать гостей; а Ричарда никогда не оставляет тяжкая забота; ну вот я и решила взять на себя смелость сказать вам… не можете ли вы… не…

Мне было очень трудно высказаться до конца, но мистер Скимпол взял мои руки в свои и с сияющим лицом очень быстро докончил мою фразу:

– Не бывать у них? Конечно, не буду больше бывать, дорогая мисс Саммерсон; безусловно не буду. Да и зачем мне у них бывать? Если я куда-нибудь иду, я иду, чтобы получить удовольствие. Я никогда не хожу туда, где буду страдать, потому что я создан для удовольствий. Страдание само приходит ко мне, когда хочет. Надо сказать, что в последнее время я почти не получал удовольствия, когда заходил к нашему милому Ричарду, а вы так практичны и проницательны, что объяснили мне, почему так вышло. Наши молодые друзья утратили ту юношескую поэтичность, которая некогда была в них столь пленительной, и начали думать: «Вот человек, которому нужны фунты». Это правда; мне то и дело нужны фунты – но не для себя, а для торговцев, которые то и дело норовят получить их с меня. Далее, наши молодые друзья понемножку становятся меркантильными и начинают думать: «Вот человек, который уже получил фунты… то есть взял их в долг», – а я и вправду брал. Я всегда занимаю фунты. Выходит, что наши молодые друзья, опустившиеся до про-

зы (о чем приходится очень пожалеть), так сказать, вырождаются, лишаясь способности доставлять мне удовольствие. А раз так, с какой стати я к ним пойду? Смешно!

Сияющая улыбка, с какой он, разглагольствуя, поглядывал на меня, и бескорыстно-благожелательное выражение его лица были просто поразительны.

– А кроме того, – продолжал он свои рассуждения тоном безмятежной уверенности в себе, – если я не иду туда, где буду страдать, – а пойди я туда, я поступил бы чудовищно, наперекор самой сущности своей жизни, – так зачем мне идти куда-то, чтобы причинять страдания другим? Если я навещу наших молодых друзей теперь, когда они в неуравновешенном состоянии духа, я причиню им страдание. Мое общество будет им неприятно. Они могут сказать: «Вот человек, который занимал фунты, но не может вернуть эти фунты», – чего я, разумеется, не могу, – и речи быть не может! Если так, вежливость требует, чтобы я к ним не ходил… я и не буду ходить.

Кончив свою речь, он с чувством поцеловал мне руку и поблагодарил меня. Только утонченный такт мисс Саммерсон, сказал он, помог ему разобраться во всем этом.

Я была очень смущена, но решила, что раз уж я добилась своей главной цели, мне все равно, что он столь извращенным путем пришел к единомыслию со мной. Мне нужно было, однако, сказать ему еще кое о чем, и тут уж я была уверена, что меня ничем не смутишь.

– Мистер Скимпол, – начала я, – осмелюсь сказать еще кое-что перед тем, как уйти: недавно я с удивлением узнала из самых достоверных источников, что вам было известно, с кем ушел бедный больной мальчик из Холодного дома, и что вы в связи с этим согласились принять подарок. Я не сказала об этом опекуну из боязни его огорчить; но вам я могу сознаться, что очень удивилась.

– Не может быть! Неужели вы действительно удивились, дорогая мисс Саммерсон? – переспросил мистер Скимпол, шутливо поднимая брови.

– Очень.

Он немного подумал об этом с приятнейшим и чуть лукавым видом и наконец, окончательно отказавшись понять мое удивление, проговорил самым чарующим тоном:

– Вы знаете, я сущее дитя. Скажите, почему же вы удивились?

Мне не хотелось объяснять все подробно, но мистер Скимпол сам попросил меня об этом, потому-де, что ему очень любопытно это знать, и я в самых мягких выражениях, какие могла придумать, дала ему понять, что он тогда погрешил против своих нравственных обязанностей. Это показалось ему очень интересным и забавным, и он отозвался на мою речь словами: «Неужели правда?» – сказанными с неподдельным простодушием.

– Вы же знаете, что я не могу отвечать за свои поступки, нисколько на это не претендую. И никогда не мог. От-

ветственность – это такая штука, которая всегда была выше меня… или ниже, – пояснил мистер Скимпол, – я даже не знаю точно, выше или ниже; но, насколько я понимаю, наша дорогая мисс Саммерсон (которая отличается практическим здравым смыслом и ясностью ума) намекает, вероятно, на то, что я тогда принял деньги, не так ли?

Я опрометчиво согласилась с этим.

– Ага! В таком случае, – проговорил мистер Скимпол, качая головой, – я, как видите, безнадежно не способен уразуметь все это.

Я решила уйти и встала, но добавила еще, что нехорошо было променять доверие опекуна на взятку.

– Дорогая мисс Саммерсон, – возразил мистер Скимпол с неподражаемой наивной веселостью, – никто не может дать взятку мне.

– Даже мистер Баккет? – спросила я.

– Даже он, – ответил мистер Скимпол. – Никто не может. Деньги для меня не имеют никакой цены. Я ими не интересуюсь; я в них ничего не смыслю; я в них не нуждаюсь: я их не берегу… они уплывают от меня мгновенно. Как же можно дать взятку мне?

Я сказала, что думаю иначе, хоть и не способна с ним спорить.

– Напротив, – продолжал мистер Скимпол, – в подобных случаях я как раз стою выше прочих людей. В подобных случаях я способен действовать, руководствуясь философией. Я

не опутан предрассудками, как итальянский младенец свивальниками. Я свободен, как воздух. Я, как жена Цезаря, чувствую себя выше всяких подозрений.

Он так легко, с такой шаловливой беспристрастностью убеждал сам себя, жонглируя своей аргументацией, словно пуховым шариком, что в этом с ним, пожалуй, не мог бы сравниться никто на свете!

– Рассмотрите этот случай, дорогая мисс Саммерсон. Вот мальчик, которого привели в дом и уложили на кровать в таком состоянии, которое мне очень не нравится. Когда этот мальчик уже на кровати, приходит человек… точь-в-точь как в детской песенке «Дом, который построил Джек». Вот человек, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот банкнот, предложенный человеком, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот Скимпол, который принимает банкнот, предложенный человеком, который спрашивает о мальчике, приведенном в дом и уложенном на кровать в состоянии, которое мне очень не нравится. Вот факты. Прекрасно. Должен ли был вышеозначенный Скимпол отказаться от банкнота? Почему он должен был отказаться от банкнота? Скимпол противится, он спрашивает Баккета: «Зачем это нужно? Я в этом ничего не смыслю; мне это ни к чему; берите это обратно». Баккет все-таки просит Скимпола принять банкнот. Имеются ли

такие причины, в силу которых Скимпол, не извращенный предрассудками, может взять банкнот? Имеются. Скимпол о них осведомлен. Что же это за причины? Скимпол рассуждает следующим образом: вот дрессированная рысь – энергичный полицейский инспектор, неглупый человек, который весьма своеобразно проявляет свою энергию, отличаясь тонкостью замыслов и их выполнения; который ловит для нас наших друзей и врагов, когда они от нас убежали; возвращает нам наше имущество, когда его у нас украли; достойно мстит за нас, когда нас убили. Занимаясь своим искусством, этот энергичный полицейский инспектор преисполнился непоколебимой веры в деньги – он находит их очень полезными для себя и приносит ими большую пользу обществу. Неужели я должен расшатывать эту веру Баккета только потому, что у меня самого ее нет; неужели я стану умышленно притуплять оружие Баккета; неужели я решусь буквально парализовать Баккета в его будущей сыскной работе? И еще одно. Если со стороны Скимпола предосудительно взять банкнот, значит, со стороны Баккета предосудительно его предлагать – и даже гораздо более предосудительно, так как Банкет опытнее Скимпола. Но Скимпол стремится уважать Баккета; Скимпол, хоть он и человек маленький, считает *необходимым* уважать Баккета для поддержания общественного строя. Государство настоятельно требует от него доверять Баккету. И он доверяет. Вот и все!

Мне нечего было возразить на это рассуждение, и поэто-

му я распрощалась с мистером Скимполом. Однако мистер Скимпол, который был в прекрасном расположении духа, и слышать не хотел, чтобы я вернулась домой в сопровождении одной только «Ковинсовой малютки», как он все еще называл Чарли, и сам проводил меня до дому. По дороге он занимал меня приятным разговором о том о сем; а прощаясь, заверил, что никогда не позабудет, с какой деликатностью и тактом я разъяснила ему, как ему надо себя вести с нашими молодыми друзьями.

Как-то так вышло, что я больше не встречала мистера Скимпола; поэтому лучше мне тут же рассказать все, что я знаю о его дальнейшей жизни. Опекун и он охладели друг к другу главным образом из-за случая с Джо, а также потому, что мистер Скимпол (как мы впоследствии узнали от Ады) бездушно пренебрег просьбами опекуна не вымогать денег у Ричарда. Его крупный долг опекуну никак не повлиял на их разрыв. Мистер Скимпол умер лет через пять после этого, оставив дневник, письма и разные материалы автобиографического характера; все это было опубликовано и рисовало его как жертву коварной интриги, которую человечество замыслило против простодушного младенца. Говорят, будто книга получилась занимательная, но я, открыв ее как-то раз, прочла из нее только одну фразу, случайно попавшуюся мне на глаза, и дальше уже читать не стала. Вот эта фраза: «Джарндис, как и почти все, кого я знал, – это воплощенное Себялюбие».

А теперь я подхожу к тем главам своего повествования, которые очень близко касаются меня самой, и опишу события, которых никак не предвидела. Если время от времени во мне и возникали воспоминания о том, каким было когда-то мое несчастное лицо, то лишь потому, что они были частью воспоминаний о тех годах моей жизни, которые уже миновали… миновали так же, как детство и отрочество. Я не утаила ни одной из многих моих слабостей, связанных с этим, но правдиво описала их такими, какими они сохранились в моей памяти. Хочу и надеюсь поступать так же до самого последнего слова на этих страницах, которое, видимо, скоро будет дописано.

Бежали месяцы, а моя дорогая девочка, по-прежнему черпая силы в надеждах, которые поведала мне, сияла в своем жалком жилище, словно прекрасная звезда. Ричард, совсем замученный, изможденный, день за днем продолжал торчать в суде, безучастно просиживал там весь день напролет, даже если знал, что дело его ни в коем случае не будет разбираться, и, таким образом, сделался там одним из самых бессменных завсегдатаев. Вряд ли хоть кто-нибудь из судейских помнил, каким был Ричард, когда впервые пришел в суд.

И он был так поглощен своей навязчивой идеей, что иной раз, в веселую минуту, признавался, что ему не пришлось бы даже дышать свежим воздухом, «не будь Вудкорта». Только мистер Вудкорт и мог иногда на несколько часов отвлечь внимание Ричарда от тяжбы и даже расшевелить его в те дни,

когда он погружался в очень тревожившую нас летаргию души и тела, приступы которой учащались с каждым месяцем. Моя дорогая девочка была права, когда говорила, что, заботясь о ее благе, он с тем большим рвением цепляется за свой самообман. Я тоже не сомневалась, что его желание возместить растраченное еще больше возросло от жалости к молодой жене и наконец уподобилось одержимости игрока.

Я уже говорила, что навещала их как можно чаще. Если я проводила у них вечер, то обычно возвращалась вдвоем с Чарли в наемной карете; а бывало и так, что опекун встречал меня по дороге, и мы шли домой вместе. Однажды мы с ним условились встретиться в восемь часов вечера. На этот раз мне не удалось уйти, как всегда, точно в назначенное время, потому что я кое-что шила для своей дорогой девочки и, заканчивая работу, должна была сделать еще несколько стежков; но задержалась я очень ненадолго и, убрав рабочую корзинку, в последний раз поцеловала свою дорогую подругу, пожелала ей спокойной ночи и заторопилась вниз. Мистер Вудкорт пошел меня проводить, так как сумерки уже сгустились.

Когда мы подошли к месту, где я обычно встречалась с опекуном, – а это было недалеко и мистер Вудкорт уже не раз провожал меня туда, – опекуна там не оказалось. Мы подождали с полчаса, прохаживаясь взад и вперед, но он не приходил. Тогда мы решили, что или ему что-то помешало прийти, или он приходил, но, не дождавшись меня, ушел;

и мистер Вудкорт предложил проводить меня до дому пешком.

Мы в первый раз шли вдвоем, если не считать тех случаев, когда он провожал меня до обычного места встречи с опекуном, которое было совсем близко. Всю дорогу мы говорили о Ричарде и Аде. Свою благодарность ему за то, что он сделал, я никогда не выражала словами, – в то время она была больше всяких слов, – но я надеялась, что, быть может, он догадывается о том, что я чувствовала так глубоко.

Придя домой и поднявшись наверх, мы узнали, что опекуна нет дома, а миссис Вудкорт тоже ушла. Мы были в той самой комнате, куда я привела свою краснеющую подругу, когда ее девичье сердце избрало себе юного возлюбленного, который потом стал ее мужем и так страшно изменился, – в той самой комнате, где мы с опекуном любовались на них, когда они уходили, озаренные солнцем, в расцвете своих надежд и окрыленные верой друг в друга.

Мы стояли у открытого окна и смотрели вниз, на улицу, как вдруг мистер Вудкорт заговорил со мной. Я сразу поняла, что он меня любит. Я сразу поняла, что мое рябое лицо казалось ему ничуть не изменившимся. Я сразу поняла, что чувство, которое я принимала за жалость и сострадание, в действительности было преданной, великодушной, верной любовью. Ах! Как поздно я это поняла… как поздно, поздно! Такова была моя первая неблагодарная мысль. Как поздно!

– Когда я вернулся, – сказал он мне, – когда я возвратился

таким же бедняком, каким был до отъезда, и увидел вас, а вы тогда только что встали с постели после болезни, но так нежно заботились о других, ничуть не думая о себе…

– Полно, мистер Вудкорт, не надо, не надо! – умоляла я его. – Я не заслуживаю ваших похвал. В то время я часто думала о себе, очень часто!

– Верьте мне, любовь всей моей жизни, – сказал он, – что моя похвала – не похвала влюбленного, но истинная правда. Вы не знаете, что видят в Эстер Саммерсон все те, кем она окружена, не знаете, как много сердец она трогает и пробуждает, как благоговейно все восхищаются ею и как ее любят!

– О мистер Вудкорт! – воскликнула я. – Быть любимой – это такое счастье! Такое счастье! Я горжусь этой великой честью и плачу от радости и горя… от радости – потому, что меня любят, от горя – потому, что я недостаточно этого заслуживаю… но думать о вашей любви я не имею права.

Я сказала это, уже овладев собой, – ведь когда он так превозносил меня и я слышала, как в его дрожащем голосе звучит глубокая вера в меня, я жаждала как можно лучше заслужить его похвалу. А заслужить ее было еще не поздно. И хотя в этот вечер я перевернула непредвиденную страницу своей жизни, но в течение всех грядущих лет я могла жить так, чтобы стать достойной его похвал. Эта мысль утешала и вдохновляла меня, и, думая об этом, я видела, что благодаря ему во мне раскрываются новые достоинства.

Он нарушил молчание.

– Плоха была бы моя вера в любимую, которая вечно будет мне так же дорога, как теперь, если бы после того, как она сказала, что не имеет права думать о моей любви, я все-таки настаивал бы на своем, – проговорил он с такой глубокой искренностью, что она придала мне твердости, хоть я и не могла удержаться от слез. – Милая Эстер, позвольте мне только добавить, что то глубокое чувство к вам, с которым я уехал за границу, стало еще более глубоким, когда я вернулся на родину. Я все время надеялся, – с того самого часа, когда в моей жизни впервые блеснул луч какого-то успеха, – надеялся, что скажу вам о своей любви. Я все время опасался, что скажу вам о ней напрасно. Сегодня сбылись и мои надежды, и мои опасения. Я вас огорчаю. Ни слова больше.

Мне почудилось, будто я на мгновение превратилась в того безгрешного ангела, каким он меня считал, и с великой скорбью поняла, как тяжело ему терять меня! Мне хотелось помочь ему в его горе, так же хотелось, как в тот день, когда он впервые меня пожалел.

– Дорогой мистер Вудкорт, – начала я, – прежде чем мы расстанемся сегодня, я должна вам сказать еще кое-что. Я не могу сказать это так, как хотела бы… и никогда не смогу… но…

Мне снова пришлось заставить себя вспомнить о том, что я должна быть достойной его любви и горя, и только после этого я смогла продолжать.

– Я глубоко чувствую ваше великодушие и сохраню это

драгоценное воспоминание до своего смертного часа. Я хорошо знаю, как я изменилась, знаю, что вам известно мое происхождение, и понимаю, какое это возвышенное чувство – такая верная любовь, как ваша. То, что вы мне сказали, не могло бы так взволновать меня и не имело бы для меня такой большой цены, если бы это сказал любой другой человек. И это не пропадет даром. От этого я сама стану лучше.

Он закрыл глаза рукой и отвернулся. Стану ли я когда-нибудь достойной его слез?

– Если мы по-прежнему будем встречаться с вами, – когда будем ухаживать за Ричардом и Адой, а также, надеюсь, и при более благоприятных обстоятельствах, – и вы увидите, что я в чем-то стала лучше, знайте – это зародилось во мне сегодня вечером благодаря вам. И не думайте, дорогой, дорогой мистер Вудкорт, никогда не думайте, что я забуду этот вечер… Верьте, что пока бьется мое сердце, оно всегда будет гордо и счастливо тем, что вы полюбили меня.

Он взял мою руку и поцеловал ее. Он вполне овладел собой, и это еще больше меня ободрило.

– Судя по тому, что вы сейчас сказали, – промолвила я, – можно надеяться, что вы будете работать там, где хотели?

– Да, – ответил он. – Я добился этого с помощью мистера Джарндиса, а вы так хорошо его знаете, что вам легко догадаться, как велика была его помощь.

– Бог да благословит его за это, – сказала я, протянув ему руку, – и благослови вас бог во всех ваших начинаниях!

– Это пожелание поможет мне работать лучше, – отозвался он. – Оно поможет мне выполнять мои новые обязанности, как новое священное поручение, данное вами.

– Бедный Ричард! – невольно воскликнула я. – Что он будет делать, когда вы уедете?

– Мне пока еще рано уезжать. Но даже если бы надо было, я не покинул бы его, дорогая мисс Саммерсон.

И еще об одном должна была я сказать ему на прощанье. Я знала, что, умолчав об этом, я буду менее достойной той любви, которую не могла принять.

– Мистер Вудкорт, – начала я, – прежде чем расстаться со мной, вы будете рады узнать от меня, что будущее представляется мне ясным и светлым, что я совершенно счастлива и вполне довольна своей судьбой, что мне не о чем жалеть и нечего желать.

Он ответил, что бесконечно рад это слышать.

– С самого детства, – сказала я, – обо мне неустанно заботился лучший из людей – человек, с которым я связана такими узами привязанности, благодарности и любви, что за всю свою жизнь, как бы я ни старалась, я не смогу выразить всей глубины чувств, которые испытываю к нему в течение одного-единственного дня.

– Я разделяю эти чувства, – отозвался он. – Ведь вы говорите о мистере Джарндисе.

– Вам хорошо известны его достоинства, – сказала я, – но лишь немногие могут понять величие его души так, как по-

нимаю я. Все его самые высокие и лучшие качества открылись мне ярче всего в том, как он строил мою такую счастливую жизнь. И если бы вы раньше не питали к нему чувств величайшего уважения и почтения, – а я знаю, вы его уважаете и почитаете, – эти чувства возникли бы у вас теперь, после моих слов, и в вашей душе пробудилась бы благодарность к нему за меня.

Он с самой горячей искренностью подтвердил мои слова. Я снова протянула ему руку.

– До свидания, – сказала я, – прощайте!

– «До свидания» – то есть до новой встречи завтра; а «прощайте» – в знак того, что мы навсегда прощаемся с этой темой?

– Да.

– До свидания; прощайте!

Он ушел, а я стояла у темного окна и смотрела на улицу. Его любовь, столь верная и великодушная, явилась так неожиданно, что не прошло и минуты после его ухода, как твердость снова изменила мне, и слезы, хлынувшие у меня из глаз, помешали мне видеть все, что было за окном.

Но то были не слезы горя и сожаления. Нет. Он назвал меня «любовь всей моей жизни», сказал, что я вечно буду так же дорога ему, как теперь, и сердце мое едва могло вынести радостное торжество, принесенное мне этими словами. Моя первая безумная мысль исчезла. Нет, не поздно услышала я его слова, ибо не поздно было вдохновиться ими, чтобы идти

по пути добра, верности, благодарности и довольствоваться своей судьбой… Как легок был мой путь! Насколько легче его пути!

Глава LXII
Еще одна неожиданность

В тот вечер я была в таком состоянии, что не могла никого видеть. Я не могла даже взглянуть на себя в зеркало, – мне казалось, что мои слезы укоряют меня. Не зажигая свечи, я в темноте ушла к себе в комнату, в темноте помолилась и в темноте легла спать. Мне не нужно было света и для того, чтобы перечитать письмо опекуна, – это письмо я знала на память. Я достала его и мысленно прочла при том ярком свете благородства и любви, которые исходили от него; потом легла в постель, положив письмо на подушку.

Наутро я встала спозаранку и позвала Чарли гулять. Мы накупили цветов для обеденного стола, а вернувшись, принялись расставлять их в вазы, и вообще дел у нас было по горло. Встали мы так рано, что до завтрака оставалось еще много времени, и я успела позаниматься с Чарли; а Чарли (которая по-прежнему не обнаруживала никаких успехов в грамматике) на этот раз отвечала с блеском, так что мы обе показали себя с лучшей стороны во всех отношениях. Вошел опекун и сказал: «Ну, дорогая, сегодня вид у вас еще более свежий, чем у ваших цветов!» А миссис Вудкорт процитировала и перевела несколько строф из «Мьюлинуиллинуода», в которых воспевалась озаренная солнцем горная вершина,

после чего сравнила меня с нею.

Все это было так приятно, что я, кажется, сделалась еще более похожей на эту самую вершину. После завтрака я стала искать удобного случая поговорить с опекуном, – заглядывала туда-сюда, пока не увидела, что он сидит у себя в комнате… той самой, где я провела вчерашний вечер… и что с ним никого нет. Тогда я под каким-то предлогом вошла туда со своими ключами и закрыла за собой дверь.

– Это вы, Хозяюшка? – сказал опекун, подняв глаза; он получил несколько писем и сейчас, видимо, отвечал на них. – Вам нужны деньги?

– Нет-нет, денег у меня достаточно.

– Что за Хозяюшка, – как долго у нее держатся деньги, – воскликнул опекун, – другой такой нигде не сыскать.

Он положил перо на стол и, глядя на меня, откинулся на спинку кресла. Я часто говорила о том, какое у него светлое лицо, но тут подумала, что никогда еще не видела его таким ясным и добрым. Оно было озарено столь возвышенным счастьем, что я подумала: «Наверное, он сегодня утром сделал какое-то большое и добро дело».

– Что за Хозяюшка, – задумчиво улыбаясь мне, повторил опекун, – как долго у нее держатся деньги; другой такой нигде не сыскать.

Он ничуть не изменил своего прежнего обращения со мной. Мне так оно нравилось, и я так любила опекуна, что, когда теперь подошла к нему и села в свое кресло, которое

стояло рядом с его креслом, – здесь я обычно читала ему вслух, или говорила с ним, или работала молча, – я едва решилась положить руку ему на грудь, – так не хотелось мне его тревожить. Но я поняла, что вовсе его не потревожила.

– Милый опекун, – начала я. – Я хочу поговорить с вами. Может быть, я в чем-нибудь поступала нехорошо?

– Нехорошо, дорогая моя?

– Может быть, я была не такой, какой хотела быть с тех пор, как… принесла вам ответ на ваше письмо, опекун?

– Вы всегда были такой, какой я хотел бы вас видеть, моя милая.

– Я очень рада этому, – сказала я. – Помните, как вы спросили меня, считаю ли я себя хозяйкой Холодного дома? И как я сказала «да»?

– Помню, – ответил опекун, кивнув. Он обнял меня, как бы желая защитить от чего-то, и с улыбкой смотрел мне в лицо.

– С тех пор, – промолвила я, – мы говорили об этом только раз.

– И я тогда сказал, что Холодный дом быстро пустеет; так оно и оказалось, дорогая моя.

– А *я* сказала, – робко напомнила я ему: – «Но хозяйка его остается».

Он все еще обнимал меня, как бы защищая от чего-то, и ясное его лицо все так же светилось добротой.

– Дорогой опекун, – сказала я, – я знаю, как вы отнеслись к

тому, что произошло после этого, и каким внимательным вы были. С тех пор прошло уже много времени, а вы как раз сегодня сказали, что теперь я совсем поправилась, так, может быть, вы ждете, чтобы я заговорила сама? Может быть, мне самой надо это сделать? Я стану хозяйкой Холодного дома, как только вы этого пожелаете.

– Вот видите, – весело отозвался он, – как у нас с вами сходятся мысли! Я ни о чем другом и не думаю – за исключением бедного Рика, а это очень большое исключение. Когда вы вошли, я как раз думал об этом. Так когда же мы подарим Холодному дому его хозяйку, дорогая?

– Когда хотите.

– Ну, скажем, в будущем месяце?

– Хорошо, в будущем месяце, дорогой опекун.

– Итак, день, когда я сделаю самый радостный для меня, самый лучший шаг в моей жизни, – день, когда я стану счастливейшим из людей и мне можно будет завидовать больше, чем любому другому человеку на свете, – день, когда мы подарим Холодному дому маленькую хозяюшку, – этот день настанет в будущем месяце, – сказал опекун.

Я обвила руками его шею и поцеловала его совершенно так же, как в тот день, когда принесла ему свой ответ.

Тут к двери подошла горничная и доложила о приходе мистера Баккета, но опоздала, так как сам мистер Баккет уже выглянул из-за ее плеча.

– Мистер Джарндис и мисс Саммерсон, – начал он, с тру-

дом переводя дух, – простите, что помешал. Может быть, вы *разрешите* внести сюда наверх одного человека, который сейчас находится на лестнице и не хочет оставаться там, чтобы не привлекать внимания?.. Благодарю вас… Будьте добры, внесите этого субъекта сюда, – сказал кому-то мистер Баккет, перегнувшись через перила.

В ответ на эту необычную просьбу два носильщика внесли в комнату какого-то немощного старика в черной ермолке и посадили его у двери. Мистер Баккет сейчас же отпустил носильщиков, с таинственным видом закрыл дверь и задвинул задвижку.

– Видите ли, мистер Джарндис, – начал он, сняв шляпу и подчеркивая свои слова движениями столь памятного мне указательного пальца, – вы меня знаете, и мисс Саммерсон меня знает. Этот джентльмен также знает меня, а фамилия его – Смоллуид. Занимается учетом векселей, а еще, как говорится, ростовщичеством. Ведь вы ростовщик, правда? – сказал мистер Баккет, прерывая на минуту свою речь, чтобы обратиться к названному джентльмену, который смотрел на него необычайно подозрительно.

Старик хотел было что-то возразить на это обвинение, но ему помешал жестокий приступ кашля.

– И поделом! – сказал мистер Баккет, не преминув извлечь из этого пользу. – Не спорьте, когда это все равно ни к чему, – вот вам и не придется страдать от таких приступов. Теперь, мистер Джарндис, обращаюсь к вам. Я вел перегово-

ры с этим джентльменом по поручению сэра Лестера Дедлока, баронета, и часто бывал у него по тем или иным делам. А живет он там, где раньше жил его родственник, старьевщик Крук… вы, кажется, знавали Крука, правда?

Опекун ответил: «Да».

– Так; а надо вам знать, – продолжал мистер Баккет, – что этот джентльмен унаследовал имущество Крука, – впрочем, имущество никчемное, попросту говоря – хлам. И, между прочим, горы каких-то бросовых бумаг. Никому не нужных, разумеется!

Мистер Баккет говорил все это, лукаво поглядывая на нас, и, не бросив ни взгляда, не сказав ни слова, способного вызвать протест настороженно слушавшего старика, очень ловко ухитрился намекнуть нам на то, что излагает дело точно так, как условился о том с мистером Смоллуидом, хотя мог бы рассказать о нем гораздо подробней, если бы считал это желательным; поэтому нам не трудно было его понять. А ведь задача мистера Баккета усложнялась тем, что мистер Смоллуид был не только глух, но и подозрителен и прямо-таки впивался глазами в его лицо.

– И вот, как только этот джентльмен вступил в права наследства, он, естественно, начал рыться в этих горах бумаги, – продолжал мистер Баккет.

– Что? Что он начал? Повторите! – крикнул мистер Смоллуид визгливым, пронзительным голосом.

– Рыться! – повторил мистер Баккет. – Как осторожный

человек, привыкший заботиться о своих интересах, вы начали рыться в бумагах, как только вступили в права наследства, не так ли?

– А как же иначе? – крикнул мистер Смоллуид.

– А как же иначе, – живо подтвердил мистер Баккет, – иначе нельзя, – очень было бы непохвально, если б вы не рылись. И вот вам, помните, случайно попалась на глаза, – продолжал мистер Баккет, наклоняясь к мистеру Смоллуиду с насмешливой улыбкой, на которую тот никак не ответил, – и вот вам случайно попалась бумага за подписью «Джарндис». Попалась, а?

Мистер Смоллуид смущенно посмотрел на нас и неохотно кивнул в подтверждение.

– И вот вы на досуге и не спеша заглянули в эту бумагу, – не скоро, конечно, – потому что вам было ничуть не любопытно ее прочитать, да и к чему любопытствовать? – и чем же оказалась эта бумага, как не завещанием? Вот потеха-то! – проговорил мистер Баккет все с тем же веселым видом, словно он вспомнил остроту, которой хотел рассмешить мистера Смоллуида; но тот по-прежнему сидел как в воду опущенный, и ему, вероятно, было не до смеха. – И чем же оказалась эта бумага, как не завещанием?

– Я не знаю, завещание это или еще что, – проворчал мистер Смоллуид.

С минуту мистер Баккет молча смотрел на старика, который уже чуть не сполз с кресла и походил на какой-то ком, –

смотрел так, что казалось, будто он с наслаждением надавал бы ему тумаков; но желания этого он, конечно, не выполнил и по-прежнему стоял, наклонившись над мистером Смоллуидом все с тем же любезным выражением лица, и только искоса поглядывал на нас.

– Знали или не знали, – продолжал мистер Баккет, – но завещание все-таки внушало вам некоторое сомнение и беспокойство, потому что душа у вас нежная.

– Как? Что вы сказали, какая у меня душа? – переспросил мистер Смоллуид, приложив руку к уху.

– Очень нежная душа.

– Хо! Ладно, продолжайте, – сказал мистер Смоллуид.

– Вы много чего слыхали насчет одной пресловутой тяжбы, что разбирается в Канцлерском суде, той самой, где спор идет о двух завещаниях, оставленных некиим Джарндисом; вы знаете, что Крук был охотник скупать всякое старье – мебель, книги, бумагу и прочее, ни за что не хотел расставаться с этим хламом и все время старался научиться читать; ну вот, вы и начинаете думать – и правильно делаете: «Эге, надо мне держать ухо востро, а то как бы не нажить беды с этим завещанием».

– Эй, Баккет, рассказывайте, да поосторожней! – в тревоге вскричал старик, приложив руку к уху. – Говорите громче, без этих ваших зловредных уверток. Поднимите меня, а то я плохо слышу. О господи, меня совсем растрясло!

Мистер Баккет поднял его во мгновение ока. Но, как толь-

ко мистер Смоллуид перестал кашлять и злобно восклицать: «Ох, кости мои! Ох, боже мой! Задыхаюсь! Совсем одряхлел – хуже, чем эта болтунья, визгунья, зловредная свинья у нас дома!» – мистер Баккет, зная, что теперь старик снова может расслышать его слова, продолжал все тем же оживленным тоном:

– Ну, а я привык часто захаживать к вам, вот вы и рассказали мне по секрету о завещании, правда?

Мистер Смоллуид подтвердил это, но донельзя неохотно, чрезвычайно недовольным тоном и ничуть не скрывая, что кому-кому, а уж мистеру Баккету он ни за что бы не сказал ничего по секрету, если бы только мог этого избежать.

– И вот мы с вами обсуждаем это дело, – обсуждаем по-хорошему, – и я подтверждаю ваши вполне основательные опасения, говоря, что вы наживете себе кучу пре-непри-ятнейших хлопот, если не заявите о найденном завещании, – с пафосом проговорил мистер Баккет, – а вы, вняв моему совету, договариваетесь со мной о передаче этого завещания здесь присутствующему мистеру Джарндису без всяких условий. Если оно окажется ценным документом, вы получите от мистера Джарндиса награду по его усмотрению; так?

– Такой был уговор, – согласился мистер Смоллуид, по-прежнему неохотно.

– Поэтому, – продолжал мистер Баккет, сразу же переменив свой любезный тон на строго деловой, – вы в настоящее время имеете при себе это завещание, и единственное, что

вам остается сделать, это вынуть его!

Покосившись на нас бдительным взглядом и торжествующе потерев нос указательным пальцем, мистер Баккет впился глазами в своего «закадычного друга» и протянул руку, готовый взять бумагу и передать ее опекуну. Мистер Смоллуид вынул бумагу очень неохотно и лишь после того, как многословно попытался уверить нас в том, что он бедный, трудящийся человек и полагается на порядочность мистера Джарндиса, который не допустит, чтобы он, Смоллуид, пострадал из-за своей честности. Но вот наконец он очень медленно вытащил из бокового кармана покрытую пятнами, выцветшую бумагу, сильно опаленную на обороте и немного обгоревшую по краям – очевидно, ее когда-то хотели сжечь, но, бросив в огонь, быстро вытащили оттуда. С ловкостью фокусника мистер Баккет мгновенно выхватил бумагу у мистера Смоллуида и вручил ее мистеру Джарндису. Передавая ее опекуну, он прошептал, приложив руку ко рту:

– Он не договорился со своими домочадцами, сколько за нее надо запросить. Все они там из-за этого переругались. Я предложил за нее двадцать фунтов. Сперва скаредные внуки накинулись на дедушку за то, что он зажился на этом свете, а потом накинулись друг на друга. Бог мой! Это такая семейка, что каждый в ней готов продать другого за фунт или два, если не считать старухи, но ту не приходится считать только потому, что она выжила из ума и не может заключать сделок.

– Мистер Баккет, – громко проговорил опекун, – какую

бы ценность ни представляла эта бумага для меня или для других, я вам очень признателен, и если она действительно ценная, я сочту своим долгом соответственно вознаградить мистера Смоллуида.

– Не соответственно вашим заслугам. Не бойтесь этого, – дружески пояснил мистер Баккет мистеру Смоллуиду. – Соответственно ценности документа.

– Это я и хотел сказать, – промолвил опекун. – Заметьте, мистер Баккет, что сам я не стану читать этой бумаги. Дело в том, что вот уже много лет, как я окончательно отказался от всякого личного участия в тяжбе – так она мне осточертела. Но мисс Саммерсон и я, мы немедленно передадим бумагу моему поверенному, выступающему в суде от моего имени, и все заинтересованные стороны будут безотлагательно осведомлены о ее существовании.

– Вам ясно, что мистер Джарндис совершенно прав, – заметил мистер Баккет, обращаясь к своему спутнику. – Теперь вы поняли, что никто не будет в обиде, и, значит, у вас гора с плеч свалилась, – стало быть, можно приступить к последней церемонии – отправить вас в кресле обратно домой.

Отперев дверь, он кликнул носильщиков, пожелал нам доброго утра, значительно посмотрел на нас, согнув палец на прощанье, и ушел.

Мы тоже поспешили отправиться в Линкольнс-Инн. Мистер Кендж был свободен, – он сидел за столом в своем пыльном кабинете, набитом скучными на вид книгами и кипами

бумаг. Мистер Гаппи подвинул нам кресла, а мистер Кендж выразил удивление и удовольствие по поводу того, что наконец-то видит в своей конторе мистера Джарндиса, который давно уже сюда глаз не кажет. Это приветствие он произносил, вертя в руках очки, и мне казалось, что сегодня ему особенно подходит прозвище «Велеречивый Кендж».

– Надеюсь, – проговорил мистер Кендж, – что благотворное влияние мисс Саммерсон, – он поклонился мне, – побудило мистера Джарндиса, – он поклонился опекуну, – отчасти преодолеть его враждебное отношение к той тяжбе и тому суду, которые… так сказать, занимают определенное место среди величественной галереи столпов нашей профессии?

– Насколько я знаю, – ответил опекун, – мисс Саммерсон наблюдала такие результаты деятельности этого суда и такие последствия этой тяжбы, что никогда не станет влиять на меня в их пользу. Тем не менее если я все-таки пришел к вам, то это отчасти из-за суда и тяжбы. Мистер Кендж, прежде чем положить эту бумагу к вам на стол и тем самым развязаться с нею, позвольте мне рассказать вам, как она попала в мои руки.

И он рассказал это кратко и точно.

– Вы изложили все так ясно и по существу, сэр, – сказал мистер Кендж, – как не излагают дела даже на заседании суда.

– А вы считаете, что английские суды Общего права и

Справедливости когда-нибудь высказывались ясно и по существу? – заметил мистер Джарндис.

– О, как можно! – ужаснулся мистер Кендж.

Сначала мистер Кендж как будто не придал особого значения бумаге, но не успел он бросить на нее взгляд, как заинтересовался, а когда развернул ее и, надев очки, прочел несколько строк, стало ясно, что он был поражен.

– Мистер Джарндис, – начал он, подняв глаза, – вы это прочли?

– Нет, конечно! – ответил опекун.

– Но слушайте, дорогой сэр, – сказал мистер Кендж, – это завещание Джарндиса составлено позже, чем те, о которых идет спор в суде. Все оно, по-видимому, написано завещателем собственноручно. Составлено и засвидетельствовано, как полагается по закону. И если даже его собирались уничтожить, – судя по тому, что оно обгорело, – все-таки фактически оно не уничтожено. Это неопровержимый документ!

– Прекрасно! – сказал опекун. – Но какое мне до него дело?

– Мистер Гаппи, – позвал мистер Кендж громко. – Простите, мистер Джарндис…

– Да, сэр?

– К мистеру Воулсу в Саймондс-Инн. Мой привет. «Джарндисы против Джарндисов». Буду рад побеседовать с ним.

Мистер Гаппи исчез.

– Вы спрашиваете, какое вам дело до этого документа, мистер Джарндис? Но если бы вы его прочитали, вы увидели бы, что в нем вам завещано гораздо меньше, чем в более ранних завещаниях Джарндиса, хотя сумма остается весьма крупной… весьма крупной, – объяснил мистер Кендж, убедительно и ласково помахивая рукой. – Засим вы увидели бы, что в этом документе суммы, завещанные мистеру Ричарду Карстону и мисс Аде Клейр, в замужестве миссис Ричард Карстон, гораздо значительнее, чем в более ранних завещаниях.

– Слушайте, Кендж, – сказал опекун, – если бы все огромное богатство, вовлеченное тяжбой в порочный Канцлерский суд, могло достаться обоим моим молодым родственникам, я был бы вполне удовлетворен. Но неужели вы просите *меня* поверить в то, что хоть что-нибудь хорошее может выйти из тяжбы Джарндисов?

– Ах, полно, мистер Джарндис! Это предубеждение, предубеждение! Дорогой сэр, наша страна – великая страна… великая страна. Ее судебная система – великая система… великая система. Полно! Полно!

Опекун ничего не сказал на это, а тут как раз появился мистер Воулс. Всем своим видом он скромно выражал благоговейное почтение к юридической славе мистера Кенджа.

– Как поживаете, мистер Воулс? Будьте так добры, присядьте здесь рядом со мной и просмотрите эту бумагу.

Мистер Воулс повиновался и внимательно прочел весь до-

кумент от начала и до конца. Чтение его не взволновало; но, впрочем, его не волновало ничто на свете. Изучив бумагу, он отошел к окну вместе с мистером Кенджем и довольно долго говорил с ним, прикрыв рот своей черной перчаткой. Не успел мистер Воулс сказать и нескольких слов, как мистер Кендж уже начал с ним спорить, но меня это не удивило – я знала, что еще не было случая, чтобы два человека одинаково смотрели на любой вопрос, касающийся тяжбы Джарндисов. Однако в разговоре, который, казалось, весь состоял из слов «уполномоченный по опеке», «главный казначей», «доклад», «недвижимое имущество» и «судебные пошлины», мистер Воулс, по-видимому, одержал верх над мистером Кенджем. Закончив беседу, они вернулись к столу мистера Кенджа и теперь уже стали разговаривать громко.

– Так! Весьма замечательный документ, правда, мистер Воулс? – промолвил мистер Кендж.

Мистер Воулс подтвердил:

– Весьма.

– И весьма важный документ, мистер Воулс? – проговорил мистер Кендж.

Мистер Воулс снова подтвердил:

– Весьма.

– И, как вы правильно сказали, мистер Воулс, когда дело будет слушаться в следующую сессию суда, появление этого документа будет весьма интересным и неожиданным фактом, – закончил мистер Кендж, глядя на опекуна с высоты

своего величия.

Мистер Воулс, юрист менее значительный, но стремящийся к укреплению своей репутации, был польщен, что его мнение поддерживает такой авторитет.

– А когда же начнется следующая сессия? – спросил опекун, вставая после небольшой паузы, во время которой мистер Кендж бренчал деньгами в кармане, а мистер Воулс пощипывал свои прыщи.

– Следующая сессия, мистер Джарндис, начнется в следующем месяце, – ответил мистер Кендж. – Разумеется, мы немедленно проделаем все, что требуется в связи с этим документом, и соберем относящиеся к нему свидетельские показания; и, разумеется, вы получите от нас обычное уведомление о том, что дело назначено к слушанию.

– На которое я, разумеется, обращу не больше внимания, чем всегда.

– Вы по-прежнему склонны, дорогой сэр, – сказал мистер Кендж, провожая нас через соседнюю комнату к выходу, – при всем вашем обширном уме, вы по-прежнему склонны поддаваться распространенному предубеждению? Мы процветающее общество, мистер Джарндис… весьма процветающее общество. Мы живем в великой стране, мистер Джарндис… мы живем в великой стране. Наша судебная система – великая система, мистер Джарндис; неужели вы хотели бы, чтобы у великой страны была какая-то жалкая система? Полно, полно!

Он говорил это, стоя на верхней площадке лестницы и делая плавные движения правой рукой, словно держал в этой руке серебряную лопаточку, которой накладывал цемент своих слов на здание упомянутой системы, чтобы оно простояло еще многие тысячи веков.

Глава LXIII
Сталь и железо

«Галерея-Тир Джорджа» сдается внаем, весь инвентарь распродан, а сам Джордж живет теперь в Чесни-Уолде и, когда сэр Лестер ездит верхом, сопровождает его, стараясь держаться поближе к поводьям его коня, так как всадник правит не очень твердой рукой. Но сегодня у Джорджа другие заботы. Сегодня он едет на север, в «страну железа», посмотреть, что там делается.

Чем дальше он едет на север, в «страну железа», тем реже встречаются на его пути свежие зеленые леса, – такие, как в Чесни-Уолде, – и наконец они исчезают совсем; только и видишь вокруг, что угольные шахты и шлак, высокие трубы и красный кирпич, блеклую зелень, палящие огни да густые, никогда не редеющие клубы дыма. Вот по каким краям едет кавалерист, посматривая по сторонам и высматривая без устали, не покажется ли то место, куда он едет.

Наконец он въезжает в оживленный городок, который весь звенит от лязга железа, весь – в огнях и дыму (такого всадник еще не видывал, хотя сам уже почернел от угольной пыли на дорогах), и вскоре останавливает коня на мосту, переброшенном через канал с черной водой, и спрашивает встречного рабочего, не слыхал ли тот про некоего Раунсу-

элла.

– Вы бы еще спросили, хозяин, слыхал ли я, как меня зовут, – отвечает рабочий.

– Значит, его хорошо знают в этих местах, приятель? – спрашивает кавалерист.

– Раунсуэлла-то? Ну, еще бы!

– А где он сейчас, как вы думаете? – спрашивает кавалерист, глядя перед собой.

– То есть, вы хотите знать – в банке он, или на заводе, или дома? – интересуется рабочий.

– Хм! Как видно, Раунсуэлл такая важная шишка, – бормочет кавалерист, поглаживая себя по подбородку, – что мне, пожалуй, лучше повернуть назад… Я и сам не знаю, где я хочу его видеть. Как вы думаете, найду я мистера Раунсуэлла на заводе?

– Трудно сказать, где его найти. Днем в эти часы вы можете застать его на заводе, если только он теперь в городе, – ведь он часто уезжает по делам; а нет – так его сына.

А где его завод?

Видит приезжий вон те трубы… самые высокие?

Да, видит.

Ну, так ему надо ехать прямо на них; скоро будет поворот налево, и тут он опять увидит эти трубы за высокой кирпичной стеной, что тянется вдоль всей улицы. Это и есть завод Раунсуэлла.

Кавалерист благодарит за полученные сведения и медлен-

но едет дальше, посматривая по сторонам. Назад он не поворачивает, но оставляет своего коня (которого ему очень хочется почистить собственноручно) на постоялом дворе, где сейчас, по словам конюха, обедают «рабочие руки» Раунсуэлла. У некоторых «рабочих рук» Раунсуэлла сейчас обеденный перерыв, и они заполнили весь город. Они очень мускулисты и сильны, эти «рабочие руки» Раунсуэлла… и немножко закопчены.

Кавалерист подходит к воротам в кирпичной стене, заглядывает во двор и, пораженный, видит всюду, куда ни глянь, огромное скопление железа, пережившего самые различные стадии, отлитого в самые разнообразные формы: железные полосы, клинья, листы; железные чаны, котлы, оси, колеса, зубья, рычаги, рельсы; железо гнутое, перекрученное, превращенное в детали машин странной, причудливой формы; горы железного лома, ржавого от старости; а подальше – печи, в которых железо рдеет и клокочет в пылу юности; яркие фейерверки железных искр, брызжущие из-под парового молота; железо, раскаленное докрасна, железо, раскаленное добела, железо, охлажденное до черноты; он ощущает железный вкус и железный запах; слышит оглушительное «вавилонское смешение» железных звуков.

– Ну и местечко, – того и гляди голова затрещит! – говорит кавалерист, оглядываясь кругом и отыскивая глазами контору. – А кто это идет, хотел бы я знать? Смахивает на меня в молодости. Должно быть – мой племянник, если верить в

семейное сходство. Ваш слуга, сэр.

– К вашим услугам, сэр. Вы кого-нибудь ищете?

– Простите. Вы мистер Раунсуэлл-младший, если не ошибаюсь?

– Да.

– Я ищу вашего отца, сэр. Мне надо с ним побеседовать.

Молодой человек говорит, что он пришел как раз вовремя, ибо мистер Раунсуэлл сейчас здесь, и провожает посетителя в контору к отцу.

«Очень похож на меня в молодости… до черта похож!..» – думает кавалерист, следуя за ним.

Войдя во двор, они подходят к какому-то зданию, в одном из верхних этажей которого помещается контора. Мистер Джордж, увидев джентльмена, сидящего в конторе, густо краснеет.

– А ваша фамилия? – спрашивает молодой человек. – Как доложить о вас отцу?

Джордж, будучи не в силах отвязаться от мыслей о железе, наобум отвечает: «Сталь»; так его и представляют. Но вот Джордж остается вдвоем с джентльменом, который сидит за столом, разложив перед собой счетные книги и листы бумаги, исписанные цифрами или заполненные сложными чертежами. Стены в конторе голые, окна голые, и за ними открывается вид на царство железа. По столу разбросаны какие-то железные предметы, умышленно разломанные на куски для испытания на прочность в различные периоды их службы в

качестве различных орудий. Все вокруг покрыто железной пылью, а за окнами виден дым – он поднимается густыми клубами из высоких труб и смешивается с дымом туманного «Вавилона» других труб.

– Я к вашим услугам, мистер Сталь, – говорит джентльмен, после того как посетитель присел на потертый стул.

– Видите ли, мистер Раунсуэлл, – начинает Джордж, наклоняясь вперед, облокотившись на левое колено и держа шляпу в руке, но тщательно избегая встречаться глазами с братом, – я предвижу, что мое посещение покажется вам скорее навязчивым, чем приятным. Когда-то я служил в драгунах и подружился с одним товарищем, который, если не ошибаюсь, был вашим братом. Насколько я знаю, у вас был брат, который причинил немалое беспокойство своей семье, убежал из дому и ничего хорошего не сделал, если не считать того, что старался не показываться на глаза родным.

– А вы по-прежнему утверждаете, – говорит заводчик изменившимся голосом, – что ваша фамилия Сталь?

Кавалерист бормочет что-то невнятное и смотрит на него. Старший брат вскакивает, называет его по имени и обнимает.

– Ну, брат, ты похитрее меня! – кричит кавалерист, и слезы показываются у него на глазах. – Как живешь, старина? А я и помыслить не мог, что ты мне так обрадуешься. Как живешь, старина? Как живешь?

Они снова и снова трясут друг другу руки, обнимаются,

и кавалерист все твердит: «Как живешь, старина?» – уверяя, что и помыслить не мог, что брат ему так обрадуется.

– Больше того, – говорит он в виде заключения к полному отчету обо всем случившемся с ним до его приезда сюда, – я вовсе и не хотел признаваться тебе, кто я такой. Я думал, что, если ты снисходительно отнесешься ко всему, что я расскажу про твоего брата, я со временем решусь написать тебе письмо. Но я не удивился бы, брат, если бы вести обо мне не доставили тебе удовольствия.

– Вот погоди, Джордж, мы тебе дома покажем, как мы относимся к подобным вестям, – отвечает брат. – Сегодня у нас в семье торжественный день, и ты, загорелый старый солдат, приехал как раз вовремя. Мы с моим сыном Уотом порешили, что ровно через год он женится на одной хорошенькой и хорошей девушке, – ты такой и не видывал за все свои странствия. Завтра она уезжает в Германию с одной из твоих племянниц, чтобы немного пополнить свое образование. Мы надумали отпраздновать это событие, и ты будешь героем дня.

Вначале мистер Джордж так ошеломлен этой перспективой, что с жаром отказывается от подобной чести. Однако брат и племянник (а племяннику он тоже твердит, что и помыслить не мог, что они ему так обрадуются), завладевают им и ведут его в нарядный дом, во всей обстановке которого заметно приятное смешение простоты – привычной для родителей, когда-то живших скромно, – и роско-

ши, соответствующей их изменившемуся положению в обществе и обеспеченности их детей. Мистер Джордж совершенно потрясен изяществом и благовоспитанностью своих родных племянниц, красотой Розы, своей будущей племянницы, и как во сне принимает ласковые приветствия всех этих молодых девиц. Кроме того, он болезненно смущен почтительным обращением племянника и в душе с огорчением называет себя никчемным шалопаем. Как бы то ни было, в доме сегодня большая радость, очень непринужденное общество и нескончаемое веселье; причем мистер Джордж, со свойственным ему грубоватым добродушием и выправкой отставного военного, не ударил лицом в грязь, а его обещание приехать на свадьбу и быть посаженым отцом у Розы вызвало всеобщее одобрение. Голова кружится у мистера Джорджа, когда, лежа в ту ночь на самой парадной кровати в доме брата, он перебирает все это в уме, и ему чудится, будто призраки его племянниц (перед этими девицами в кисейных платьях с развевающимися оборками он весь вечер испытывал благоговейный трепет) вальсируют на немецкий манер по его стеганому одеялу.

На следующее утро братья запираются в комнате заводчика, и старший, со свойственной ему ясностью ума и здравым смыслом, начинает объяснять, как, по его мнению, лучше всего устроить Джорджа у него на заводе, но младший жмет ему руку и перебивает его:

– Брат, миллион раз благодарю тебя за более чем братский

прием и миллион раз благодарю за более чем братские предложения. Но я уже решил, как мне жить дальше. Я тебе все объясню, только сначала хочу посоветоваться с тобой по одному семейному вопросу. Скажи мне, – и кавалерист, сложив руки, глядит на брата с непоколебимой твердостью, – скажи, как убедить матушку вычеркнуть меня?

– Я не совсем понимаю тебя, Джордж, – отвечает заводчик.

– Я говорю, брат, как убедить матушку, чтобы она меня вычеркнула? Как-нибудь надо ее убедить.

– Ты хочешь сказать – вычеркнула из своего завещания?

– Ну да, вот именно. Короче говоря, – объясняет кавалерист, снова сложив руки с еще более решительным видом, – я хочу сказать… пусть… она меня вычеркнет!

– Но, дорогой Джордж, – отзывается брат, – неужели тебе так необходимо подвергнуться этой операции?

– Обязательно! Непременно! Если этого не сделают, я не отважусь на такую подлость, как остаться дома. Этак, пожалуй, я скоро опять удеру. Я не затем вернулся домой, брат, чтобы отнять у твоих детей их права, не говоря уж о твоих правах, брат. Ведь я-то давным-давно потерял свои права! Если вы все хотите, чтоб я остался, нужно меня вычеркнуть, а не то я не смогу держать голову высоко. Слушай! Ты слывешь человеком умным, деловым, ты можешь мне посоветовать, как все это проделать.

– Я могу посоветовать тебе, Джордж, – уверенным тоном

говорит заводчик, – как не проделывать этого и все-таки достигнуть своей цели. Посмотри на нашу мать, подумай о ней, вспомни, как волновалась она, когда нашла тебя! Ты думаешь, можно хоть чем-нибудь заставить ее сделать такой шаг во вред любимому сыну? Ты думаешь, есть хоть малейший шанс на ее согласие, и она, наша милая, любящая старушка, не будет глубоко обижена подобным предложением? Если ты так думаешь, ты ошибаешься. Нет, Джордж! Лучше примирись с тем, что тебя *не* вычеркнут. Я полагаю, – говорит заводчик, с улыбкой глядя на брата и забавляясь задумчивым и глубоко разочарованным выражением его лица, – я полагаю, можно все устроить и без вычеркиванья.

– Как же это, брат?

– Если уж тебе так хочется, можешь сам потом сделать завещание и распорядиться, как тебе угодно, наследством, которое ты, к своему несчастью, получишь.

– Это верно, – говорит кавалерист, подумав. И, положив руку на руку брата, застенчиво спрашивает: – Ты не откажешься передать это своей жене и детям?

– Конечно, нет.

– Спасибо. И ты не против сказать им, что хоть я, конечно, бродяга, но – просто шалопай, а не подлец.

Заводчик соглашается, подавляя добродушную усмешку.

– Спасибо. Спасибо. У меня гора с плеч свалилась, – говорит кавалерист и, глубоко вздохнув, кладет руки на колени, – а ведь я давно уже твердо решил добиться, чтобы меня

вычеркнули!

Братья сидят лицом к лицу, очень похожие друг на друга, но кавалерист отличается от брата какой-то неуклюжей простотой и полной непрактичностью.

– Так вот, – продолжает он, стараясь позабыть о своем разочаровании, – теперь, чтобы с этим покончить, поговорим вообще о моих планах на жизнь. Ты поступил по-братски, когда предложил мне обосноваться здесь и занять свое место в той жизни, которую ты создал своим умом и деловитостью. Горячо тебя благодарю. Это более чем братский поступок, как я уже говорил, и я горячо тебя благодарю, – говорит Джордж и долго жмет руку брату. – Но, сказать правду, брат, я… я вроде сорной травы, и сажать меня в хорошо возделанный сад теперь уже поздно.

– Дорогой Джордж, – возражает старший брат, глядя ему в лицо с доверчивой улыбкой и сдвинув густые прямые брови, – предоставь это мне и позволь мне сделать попытку.

Джордж качает головой:

– Я знаю, ты, конечно, мог бы найти мне работу; но это не нужно… не нужно, дорогой мой! Кроме того, оказалось, что я кое в чем могу быть полезен сэру Лестеру Дедлоку, с тех пор как он заболел… из-за семейных неприятностей; а ему легче принять помощь от сына нашей матери, чем от любого другого человека.

– Что ж, дорогой Джордж, – говорит брат, и легкая тень омрачает его открытое лицо, – если ты предпочитаешь слу-

жить в домашней бригаде сэра Лестера Дедлока…

– Ну вот, брат! – восклицает кавалерист, не дав ему договорить, и снова кладет руку на колено. – Ну вот! Тебе это не нравится. Но я на тебя не обижаюсь. Ты ведь не привык к тому, чтобы тебе приказывали, а я привык. Ты сам умеешь держать себя в полном порядке и подчиняться собственной дисциплине; а мне надо, чтобы меня держали в руках другие. Я и ты – мы привыкли жить по-разному и смотрим на жизнь с разных точек зрения. Я не говорю о своих гарнизонных повадках потому, что вчера чувствовал себя тут у вас совсем свободно, да, наверное, вы о них и не вспомните, когда я уеду. Но в Чесни-Уолде мне будет лучше – там для сорной травы больше простора, чем здесь; да и нашей милой старушке будет приятней, если я останусь при ней. Вот почему я решил принять предложение сэра Лестера Дедлока. А когда я через год приеду сюда и буду посаженым отцом у Розы, и вообще когда бы я сюда ни приехал, у меня хватит ума оставить «домашнюю бригаду» в засаде и не давать ей маневрировать на твоей территории. Еще раз горячо благодарю тебя и горжусь тем, что ты положишь начало роду Раунсуэллов.

– Ты знаешь себя, Джордж, – говорит старший брат, пожимая ему руку, – и, может быть, ты даже лучше меня самого знаешь меня. Иди своим путем. Иди, только бы нам с тобой снова не потерять друг друга из виду.

– Не бойся, не потеряем! – отзывается кавалерист. – А

теперь пора уже мне сесть на коня и тронуться в обратный путь, брат, но сначала я попрошу тебя: будь так добр, просмотри одно письмо, которое я написал. Я нарочно привез его с собой, чтобы отослать отсюда, – боялся, как бы той, кому я пишу, не стало больно, если б она увидела, что письмо пришло из Чесни-Уолда. Переписка – это вообще не по моей части, а насчет этого письма я особенно неспокоен, потому что мне хочется, чтобы оно вышло искренним и деликатным вместе.

Тут он передает брату письмо, написанное убористо, бледноватыми чернилами, но четким, круглым почерком, и брат читает:

> «Мисс Эстер Саммерсон, инспектор Баккет сказал мне, что в бумагах одного человека нашли адресованное мне письмо, посему осмелюсь доложить Вам, что в письме этом было всего лишь несколько строк с распоряжениями из-за границы насчет того, когда, где и как я должен вручить другое, прилагаемое письмо одной молодой и красивой леди, которая в то время была не замужем и жила в Англии. Я в точности выполнил это распоряжение.
>
> Далее, осмелюсь доложить Вам, что письмо у меня попросили, сказав, что оно нужно только для сравнения почерков, а иначе я бы его не отдал, потому что, оставаясь у меня, оно никому не могло принести вреда; ни за что бы не отдал, – разве только меня сначала убили бы выстрелом в сердце, ну, тогда бы и взяли.

Далее, осмелюсь доложить, что, если б я только знал, что некий несчастный джентльмен жив, я бы не успокоился, пока не нашел бы его там, где он скрывался, и не поделился бы с ним своим последним фартингом как из чувства долга, так и по своему искреннему желанию. Но считалось (официально), что он утонул, и он действительно упал за борт пассажирского корабля, ночью, в одном ирландском порту, спустя несколько часов после прибытия корабля из Вест-Индии, как я своими ушами слышал и от офицеров и от матросов, и мне известно, что это было (официально) подтверждено.

Далее, осмелюсь доложить, что в моем скромном, заурядном положении я остаюсь и всегда буду оставаться Вашим искренне преданным и восхищающимся Вами слугой, а те качества, которыми Вы наделены превыше всех на свете, я уважаю гораздо глубже, чем это выражено в ограниченных рамках настоящего письма.

Имею честь кланяться.

Джордж».

– Немного официально написано, – говорит старший брат, с недоумевающим видом складывая письмо.

– Но ничего такого в нем нет, чего нельзя было бы написать молодой девушке, настоящей леди? – спрашивает младший.

– Ровно ничего.

Итак, письмо запечатали и присоединили к остальной се-

годняшней корреспонденции, касающейся железа, которую предстоит сдать на почту. Затем мистер Джордж, сердечно простившись с семейством брата, собирается оседлать своего коня и отбыть. Однако брат, не желая так скоро расставаться с ним, предлагает ему доехать вместе в легкой открытой коляске до того постоялого двора, где Джордж должен заночевать, и обещает пробыть там с ним до утра; а на чистокровном старом чесни-уолдском Сером поедет слуга. Предложение принято с радостью, после чего братья отправляются в путь, и приятная поездка, приятный обед, а наутро приятный завтрак проходят в братском общении. Затем братья опять долго и горячо жмут друг другу руки и расстаются – заводчик поворачивает к дыму и огням, а кавалерист – к зеленым просторам.

Вскоре после полудня во въездной аллее Чесни-Уолда раздается приглушенный дерном топот его коня, бегущего тяжелой кавалерийской рысью, и всадник, которому в этом топоте слышится звон и бряцанье полного кавалерийского снаряжения, проезжает под старыми вязами.

Глава LXIV
Повесть Эстер

Вскоре после моей последней, памятной беседы с опекуном он как-то раз утром передал мне запечатанный конверт и сказал: «Это вам к будущему месяцу, дорогая». В конверте я нашла двести фунтов.

Никому ничего не говоря, я принялась за необходимые приготовления. Согласуя свои покупки со вкусами опекуна, разумеется хорошо мне известными, я старалась сделать себе такое приданое, которое могло ему понравиться, и надеялась, что это мне удастся. Я никому ничего не говорила, потому что все еще побаивалась, как бы это известие не огорчило Аду, и потому еще, что опекун и сам никому ничего не говорил. Конечно, я считала, что мы, во всяком случае, не должны никого приглашать на свадьбу и венчаться будем самым скромным образом. Может быть, я только скажу Аде: «Не хочешь ли, душенька моя, пойти завтра посмотреть, как я буду венчаться?» А может быть, мы поженимся и вовсе втихомолку, как поженились она и Ричард, и я никого не буду извещать о нашем браке, пока он не состоится. Мне казалось, что, будь выбор предоставлен мне, я предпочла бы последнее.

Единственное исключение я допустила в отношении мис-

сис Вудкорт. Ей я сказала, что выхожу замуж за опекуна и что обручились мы уже довольно давно. Она отнеслась к этому очень одобрительно. Прямо не знала, как мне угодить, да и вообще стала гораздо мягче, чем была в первое время нашего знакомства. Она охотно взяла бы на себя любые хлопоты, лишь бы чем-нибудь мне помочь, однако я, разумеется, позволяла это лишь в той небольшой мере, в какой ей было приятно помогать мне, не обременяя себя.

Конечно, не такое это было время, чтобы перестать заботиться об опекуне, и не такое, конечно, чтобы перестать заботиться о моей милой подруге. Поэтому я всегда была очень занята, и это меня радовало. Что касается Чарли, то она по уши погрузилась в рукоделье. Бывало, обложится кипами тканей – корзинки полны доверху, столы завалены, – а шить не шьет, только день-деньской смотрит вокруг круглыми глазенками, соображая, что еще надо сделать, уверяет себя, что она все это сделает, и наслаждается своими почетными обязанностями.

Между тем я, должна сознаться, никак не могла разделить мнение опекуна о найденном завещании и даже питала кое-какие надежды на решение по делу Джарндисов. Кто из нас двух оказался прав, выяснится вскоре, но я, во всяком случае, не подавляла в себе подобных надежд. У Ричарда завещание вызвало новый прилив энергии и оживления, но приободрился он лишь на короткое время, ибо уже потерял даже свою прежнюю способность надеяться на безнадежное, и

мне казалось, будто им целиком овладела лишь одна его лихорадочная тревога. Из нескольких слов опекуна, сказанных как-то раз, когда мы говорили об этом, я поняла, что свадьба наша состоится не раньше, чем окончится сессия Канцлерского суда, на которую молодые и я под чужим влиянием возлагали надежды, и я все чаще думала, как приятно мне будет выйти замуж, когда Ричард и Ада станут немного более обеспеченными.

Сессия должна была вот-вот начаться, как вдруг опекуна вызвали в провинцию, и он уехал из Лондона в Йоркшир по делам мистера Вудкорта. Он и раньше говорил мне, что его присутствие там будет необходимо. Как-то раз вечером, вернувшись домой от своей дорогой девочки, я сидела, разложив вокруг себя все свои новые туалеты, рассматривала их и думала, и тут мне принесли письмо от опекуна. Он просил меня приехать к нему в Йоркшир, указывая, в какой пассажирской карете для меня заказано место и в котором часу утра она выезжает из города. В постскриптуме он добавлял, что с Адой я расстанусь лишь на короткий срок.

Я в то время никак не ожидала, что мне придется уехать, однако собралась в полчаса и выехала на другой день рано утром. Я ехала весь день и весь день спрашивала себя, для чего я могла понадобиться опекуну в такой глуши; и все придумывала то одну причину, то другую; но я была очень, очень, очень далека от истины.

Приехала я уже ночью и сразу увидела опекуна, который

пришел меня встретить. Это было для меня большим облегчением, ибо к вечеру я начала немного беспокоиться (особенно потому, что письмо его было очень кратким) и думать – уж не заболел ли он? Однако он был совершенно здоров, и когда я вновь увидела его доброе лицо, какое-то особенно светлое и прекрасное, я подумала: ну, значит, он тут сделал еще какое-то большое и доброе дело. Впрочем, угадать это было нетрудно, – ведь я знала, что он и приехал-то сюда лишь для того, чтобы сделать доброе дело.

Ужин в гостинице был уже готов, и когда мы остались одни за столом, опекун сказал:

– Ну, Хозяюшка, вам, должно быть, не терпится узнать, зачем я вызвал вас сюда?

– Конечно, опекун, – ответила я, – хоть я и не считаю себя Фатимой, а вас – Синей Бородой, но все-таки мне немножко любопытно узнать, зачем я вам понадобилась.

– Не хочу лишать вас спокойного сна этой ночью, милая моя, – пошутил он, – а потому, не откладывая до утра, объясню вам все теперь же. Мне очень хотелось так или иначе выразить Вудкорту, как я ценю его человечное отношение к бедному, несчастному Джо, как благодарен ему за его неоценимую заботливость о наших молодых и как он дорог всем нам. Когда выяснилось, что он будет работать здесь, мне пришло в голову: а попрошу-ка я его принять от меня в подарок домик, скромный, но удобный, где он сможет приклонить свою голову. И вот для меня стали подыскивать такой

дом, нашли его и купили за очень недорогую цену, а я привел его в порядок для Вудкорта, стараясь, чтобы жить в нем было приятно. Но когда я третьего дня отправился туда и мне доложили, что все готово, я понял, что сам я недостаточно хороший хозяин и не могу судить, все ли устроено, как следует. Ну, я и вызвал самую лучшую маленькую хозяюшку, какую только можно сыскать, – пусть, мол, приедет, выскажет свое мнение и поможет мне советом. И вот она сама здесь, – заключил опекун, – она здесь и улыбается сквозь слезы!

Я потому улыбалась сквозь слезы, что он был такой милый, такой добрый, такой чудесный. Я пыталась сказать ему все, что думала о нем, но не могла вымолвить ни слова.

– Полно, полно! – проговорил опекун. – Вы придаете этому слишком большое значение, Хлопотунья. Слушайте, что это вы так расплакались, Старушка? Что с вами делается?

– Это от светлой радости, опекун… от полноты сердца, – ведь оно у меня переполнено благодарностью.

– Так-так, – отозвался он. – Очень рад, что заслужил ваше одобрение. Да я в нем и не сомневался. Все это я затеял, чтобы сделать приятный сюрприз маленькой хозяйке Холодного дома.

Я поцеловала его и вытерла глаза.

– Я все теперь понимаю! – сказала я. – Давно уже догадывалась по вашему лицу.

– Не может быть! Неужели догадывались, милая моя? – проговорил он. – Что за Старушка, как она умеет читать

мысли по лицам!

Он был так необычно весел, что я тоже не могла не развеселиться, и мне стало почти стыдно, что вначале я была совсем невеселой. Ложась в постель, я немножко поплакала. Сознаюсь, что поплакала; но хочу думать, что – от радости, хоть и не вполне уверена, что от радости. Я дважды мысленно повторила каждое слово его письма.

Наступило чудеснейшее летнее утро, и мы, позавтракав, пошли под руку осматривать дом, о котором я должна была высказать свое веское мнение многоопытной хозяйки. Мы подошли к нему сбоку, открыли калитку в ограде ключом, который взял с собой опекун, вошли в цветник, и первое, что мне бросилось в глаза, это – клумбы и цветы, причем цветы были рассажены, а клумбы разбиты так, как я это сделала у нас дома.

– Вот видите, дорогая моя, – заметил опекун, остановившись и с довольным видом наблюдая за выражением моего лица, – я решил подражать вам, зная, что лучше не придумаешь.

Мы пересекли прелестный фруктовый садик, где в зеленой листве прятались вишни, а на траве играли тени яблонь, и вошли в дом, точнее – коттедж с крошечными, чуть не кукольными комнатками, простой деревенский коттедж, в котором было так чудесно, так тихо, так красиво, а из окон открывался вид на такие живописные веселые места: текущая вдали речка поблескивала сквозь нависшую над ней пыш-

ную летнюю зелень и, добежав до мельницы, с шумом вертела жернова, а приблизившись к коттеджу, сверкала, огибая окраину приветливого городка и луг, на котором пестрели группы игроков в крикет и над белой палаткой развевался флаг, колеблемый легким западным ветерком. И когда мы осматривали хорошенькие комнатки, а выйдя на небольшую деревенскую веранду, прохаживались под маленькой деревянной колоннадой, украшенной жимолостью, жасмином и каприфолией, – всюду я узнавала, и в обоях на стенах, и в расцветке мебели, и в расстановке всех этих красивых вещей, *свои* вкусы и причуды, *свои* привычки и выдумки – те самые, что всегда служили предметом шуток и похвал у нас дома, – словом, во всем находила отражение самой себя.

Слов не хватало выразить, в каком я была восторге от всей этой прелести; но, в то время как я любовалась ею, меня стало тревожить тайное сомнение. Я думала: разве это даст счастье ему? А может быть, на душе у него было бы спокойнее, если бы обстановка его дома не так напоминала ему обо мне? Правда, я не такая, какой он меня считает, но все-таки он любит меня очень нежно, а здесь все будет скорбно напоминать ему о том, что он считает тяжкой утратой. Я не хочу, чтобы он меня забыл, и, быть может, он не забудет меня и без этих напоминаний, но мой путь легче его пути, а я примирилась бы даже с его забвением, если б оно могло дать счастье ему.

– А теперь, Хлопотунья, – сказал опекун, которого я еще

никогда не видела таким гордым и радостным, как сейчас, когда он показывал мне все в доме и слушал мои похвалы, – теперь в заключение надо вам узнать, как называется этот домик.

– Как же он называется, дорогой опекун?

– Дитя мое, – проговорил он, – пойдите и посмотрите.

Оп повел меня к выходу, на парадное крыльцо, которое до сих пор обходил стороной, но, перед тем как ступить на порог, остановился и сказал:

– Милое мое дитя, неужели вы не догадываетесь, как он называется?

– Нет! – сказала я.

Мы сошли с крыльца, и опекун показал мне надпись, начертанную над входом: *«Холодный дом»*.

Он подвел меня к скамье, стоявшей в кустах поблизости, сел рядом со мной и, взяв мою руку, начал:

– Милая моя девочка, с тех пор как мы познакомились, я, мне кажется, всегда искренне стремился дать вам счастье. Правда, когда я написал вам письмо, ответ на которое вы принесли сами, – и он улыбнулся, – я слишком много думал о своем собственном счастье; но думал и о вашем. Вы были еще совсем девочкой, а я уже иногда мечтал о том, чтобы вы со временем сделались моей женой; но не стоит мне спрашивать себя, позволил бы я или нет этой давней мечте овладеть мною вновь, если бы обстоятельства сложились подругому. Как бы то ни было, я снова стал об этом мечтать

и написал вам письмо, а вы на него ответили. Вы слушаете меня, дитя мое?

Я похолодела и дрожала всем телом, но слышала каждое его слово. Я сидела, пристально глядя на него, а лучи солнца, сквозившие сквозь листву, озаряли мягким светом его непокрытую голову, и мне чудилось, будто лицо его светится, как лик ангельский.

– Слушайте, любимая моя, но ничего не говорите сами. Теперь должен говорить я. Неважно, когда именно я стал сомневаться в том, что мое предложение действительно принесет вам счастье. Вудкорт приехал домой, и вскоре у меня уже не осталось сомнений.

Я обвила руками его шею, склонила голову к нему на грудь и заплакала.

– Лежите так, дитя мое, лежите спокойно и верьте мне, – сказал он, слегка прижимая меня к себе. – Теперь я вам опекун и отец. Лежите так, отдыхайте и верьте мне.

Он говорил, успокаивая меня, как нежный шелест листвы, ободряя, как ясный день, светло и благотворно, как светит солнце.

– Поймите меня, дорогая моя девочка, – продолжал он. – Я знал, как развито в вас чувство долга, как вы преданы мне, и не сомневался, что со мной вы будете довольны и счастливы; но я понял, с каким человеком вы будете еще счастливей. Немудрено, что я угадал тайну этого человека, когда наша Хлопотунья еще и не подозревала о ней, – ведь я знал

гораздо лучше, чем она сама, какая она хорошая; а это хорошее никогда не может измениться. Ну вот! Аллен Вудкорт уже давно открыл мне свою тайну, однако он до вчерашнего дня ничего не знал о моей, а узнал лишь за несколько часов до вашего приезда. Я молчал до поры до времени, потому что не хотел мириться с тем, что кто-то не ценит по достоинству такую прелесть, как моя Эстер; не хотел, чтобы высокие качества моей милой девочки – хотя бы даже малейшая их частица – остались незамеченными и непризнанными; не хотел, чтоб ее только из милости приняли в род Моргана-ап-Керрига, ни за что не допустил бы этого, хоть дайте мне столько золота, сколько весят все горы Уэльса!

Он умолк и поцеловал меня в лоб, а я всхлипнула и снова расплакалась, чувствуя, что не могу вынести мучительного наслаждения, которое доставляли мне его похвалы.

– Полно, Старушка! Не плачьте! Сегодня день радости. Я ждал его, – сказал он горячо, – ждал месяц за месяцем! Еще несколько слов, Хлопотунья, и я доскажу все, что хотел сказать. Твердо решившись не допустить, чтобы хоть одна капля достоинств моей Эстер осталась незамеченной, я поговорил по секрету с миссис Вудкорт. «Вот что, сударыня, – сказал я, – я вижу, точнее, знаю наверное, что ваш сын любит мою подопечную. Далее, я убежден, что моя подопечная любит вашего сына, но готова пожертвовать своей любовью из чувства долга и привязанности и принесет эту жертву так полно, безоговорочно и свято, что вы об этом и не догадаетесь, да-

же если будете следить за ней день и ночь». Затем я рассказал ей всю нашу историю… нашу… вашу и мою. «Теперь, сударыня, – сказал я, – когда вы все это узнали, приезжайте к нам и погостите у нас. Приезжайте и наблюдайте за моей девочкой час за часом; говорите все, что хотите, против ее происхождения, о котором я могу сказать вам то-то и то-то, – мне не хотелось ничего скрывать от нее, – а когда хорошенько подумаете, скажите мне, что такое «законное рождение». Ну, надо отдать должное ее древней уэльской крови, дорогая моя! – с энтузиазмом воскликнул опекун. – Я уверен, что сердце, которому эта кровь дает жизнь, бьется при мысли о вас, Хлопотунья, с неменьшей теплотой, неменьшим восхищением, неменьшей любовью, чем мое собственное!

Он нежно приподнял мою голову, а я прижалась к нему, и он стал целовать меня снова и снова, прежними, отеческими поцелуями. Как ясно я поняла теперь, почему он всегда казался мне моим защитником!

– Еще одно слово, и теперь уже последнее. Когда Аллен Вудкорт объяснялся с вами, милая моя, он говорил с моего ведома и согласия. Но я никак его не обнадеживал, конечно, нет, – ведь такие вот нечаянные радости моих близких служат мне великой наградой, а я был столь жаден, что не хотел лишиться хоть малейшей ее крупицы. Мы тогда решили, что, объяснившись с вами, он придет ко мне и расскажет обо всем, что было; и он рассказал. Больше мне не о чем говорить. Любимая моя, Аллен Вудкорт стоял у смертного ложа

вашего отца… и вашей матери. Вот – Холодный дом. Сегодня я дарю этому дому его маленькую хозяюшку и клянусь, что это самый светлый день в моей жизни!

Он встал сам и поднял меня. Теперь мы были не одни. Мой муж – вот уже целых семь счастливых лет, как я называю его так, – стоял рядом со мной.

– Аллен, – проговорил опекун, – примите от меня этот добровольный дар – лучшую жену, какая только есть на свете. Вам я скажу лишь одно: вы ее достойны, а у меня это высшая похвала. Примите ее и вместе с нею скромный домашний очаг, который она вам приносит. Вы знаете, как она преобразит его, Аллен, вы знаете, как она преобразила его тезку. Позвольте мне только иногда делить с вами блаженство, которое воцарится в нем, и я буду знать, что ничем я сегодня не пожертвовал. Ничем, ничем!

Он еще раз поцеловал меня, и теперь на глазах у него были слезы; потом сказал более мягко:

– Эстер, любимая моя, после стольких лет – это своего рода разлука. Я знаю, моя ошибка заставила вас страдать. Простите своего старого опекуна, возвратите ему его прежнее место в вашей привязанности и выкиньте эту ошибку из памяти… Аллен, примите мою любимую.

Он вышел из-под зеленого свода листвы, но приостановился на открытом месте и, озаренный солнцем, обернулся в нашу сторону и сказал веселым голосом:

– Вы найдете меня где-нибудь здесь по соседству. Ветер

западный, Хлопотунья, настоящий западный! И впредь – никаких благодарностей; а то ведь я теперь опять буду жить по-холостяцки, и если этого моего требования не выполнят, убегу и не вернусь никогда!

Как счастливы были мы в тот день, какая тогда была радость, какое успокоение, какие надежды, какая благодарность судьбе, какое блаженство! Обвенчаться мы решили в конце месяца; но мы еще не знали, когда нам удастся переехать сюда и поселиться в своем доме, – это зависело от Ады и Ричарда.

На другой день мы все трое вернулись домой вместе. Как только мы приехали в Лондон, Аллен сразу же отправился к Ричарду, чтобы сообщить радостное известие ему и моей милой подруге. Было уже поздно, но, прежде чем лечь спать, я все-таки собиралась ненадолго пойти к Аде, решила только сначала заехать с опекуном домой, чтобы напоить его чаем и посидеть с ним рядом в своем старом кресле, – мне не хотелось, чтобы оно опустело так скоро.

Приехав, мы узнали, что сегодня какой-то молодой человек три раза приходил к нам и спрашивал меня; а когда ему в третий раз сказали, что я вернусь не раньше десяти часов вечера, он попросил доложить, что «зайдет часиков в десять». Все три раза он оставлял свою визитную карточку. На ней было написано: «Мистер Гаппи».

Естественно, я стала раздумывать – для чего я могла ему понадобиться? И так как с мистером Гаппи у меня всегда

связывалось что-нибудь смешное, я принялась подшучивать над ним и, слово за слово, рассказала опекуну о том, как он однажды сделал мне предложение, а потом сам отказался от моей руки.

– Если так, – сказал опекун, – мы, конечно, примем этого героя.

Мы распорядились, чтобы мистера Гаппи приняли, но едва успели это сделать, как он уже пришел опять.

Увидев рядом со мной опекуна, он опешил, но овладел собой и сказал:

– Как живете, сэр?

– А вы как поживаете, сэр? – осведомился опекун.

– Благодарю вас, сэр, недурно, – ответил мистер Гаппи, – Разрешите представить вам мою мамашу, миссис Гаппи, проживающую на Олд-стрит-роуд, и моего закадычного друга, мистера Уивла. Надо сказать, что мой друг одно время называл себя Уивл, но его настоящая и подлинная фамилия – Джоблинг.

Опекун попросил их всех присесть, и они уселись.

– Тони, ты, может, приступишь к изложению дела? – обратился мистер Гаппи к своему другу после неловкого молчания.

– Излагай сам, – ответил ему друг довольно резким тоном.

– Итак, мистер Джарндис, сэр, – начал после недолгого размышления мистер Гаппи, к великому удовольствию своей мамаши, которое она выразила тем, что принялась тол-

кать локтем мистера Джоблинга и залихватски подмигивать мне, – я желал переговорить с мисс Саммерсон наедине, и ваше уважаемое присутствие явилось для меня некоторой неожиданностью. Но, может, мисс Саммерсон осведомила вас о том, что когда-то произошло между мной и ею?

– Да, – ответил опекун с улыбкой, – мисс Саммерсон мне кое-что рассказала.

– Это упрощает мою задачу, – сказал мистер Гаппи. – Сэр, я окончил ученье у Кенджа и Карбоя, и, кажется, – к удовлетворению всех заинтересованных сторон. Теперь меня зачислили (после экзамена, от которого можно было прямо свихнуться, столько пришлось зазубрить всякой никчемной чепухи) – меня зачислили, повторяю, в список ходатаев по делам, и я даже захватил с собой свое свидетельство – может, вы пожелаете ознакомиться?

– Благодарю вас, мистер Гаппи, – ответил опекун. – Верю вам на слово, или, как выражаетесь вы, юристы, «признаю наличие этого свидетельства».

Мистер Гаппи отказался от мысли извлечь что-то из своего кармана и продолжал, не предъявляя свидетельства:

– У меня лично капиталов нет, но у моей мамаши есть небольшое состояние в виде ренты, – тут мамаша мистера Гаппи принялась вертеть головой – столь невыразимое удовольствие получила она от этих слов, потом закрыла рот носовым платком и снова подмигнула мне. – Следовательно, я когда угодно могу призанять у нее несколько фунтов на свои

конторские расходы, к тому же – без всяких процентов, а это, изволите видеть, огромное преимущество, – с чувством заключил мистер Гаппи.

– Еще бы не преимущество! – согласился опекун.

– У меня уже имеется клиентура, – продолжал мистер Гаппи, – по соседству с площадью Уолкот, в Ламбете. Посему я снял дом в этом околотке, и, по мнению моих друзей, очень удачно (налоги пустяковые, пользование обстановкой включено в квартирную плату), и теперь намерен безотлагательно основать там самостоятельную юридическую контору.

Мамаша мистера Гаппи снова принялась отчаянно вертеть головой, проказливо ухмыляясь каждому, кто бросал на нее взгляд.

– В доме шесть комнат, не считая кухни, – продолжал мистер Гаппи, – квартира очень удобная, по мнению моих друзей. Говоря «друзей», я главным образом подразумеваю своего друга Джоблинга, который знает меня, – мистер Гаппи устремил на него сентиментальный взор, – чуть не с пеленок.

Мистер Джоблинг подтвердил это, шаркнув ногами.

– Мой друг Джоблинг будет помогать мне в качестве клерка и жить у меня в доме, – продолжал мистер Гаппи. – Мамаша тоже переедет ко мне, когда истечет и кончится срок договора на ее теперешнюю квартиру на Олд-стрит-роуд, так что общества у нас хватит. Мой друг Джоблинг от природы наделен аристократическими вкусами и, кроме того, знает

все, что происходит в высшем свете, и он всецело поддерживает те планы, которые я сейчас излагаю.

Мистер Джоблинг произнес: «Конечно», – и немного отодвинулся от локтя мамаши мистера Гаппи.

– Далее, сэр, поскольку мисс Саммерсон доверила вам нашу тайну, мне незачем говорить, – продолжал мистер Гаппи (мамаша, будьте добры, ведите себя посмирнее), – мне незачем говорить вам, что образ мисс Саммерсон некогда был запечатлен в моем сердце и я сделал ей предложение сочетаться со мною браком.

– Об этом я слышал, – заметил опекун.

– Обстоятельства, – продолжал мистер Гаппи, – отнюдь не зависящие от меня, но совсем наоборот, временно затуманили этот образ. В каковой период времени мисс Саммерсон вела себя исключительно благородно; добавлю даже – великодушно.

Опекун похлопал меня по плечу, видимо очень забавляясь всем происходящим.

– А теперь, сэр, – сказал мистер Гаппи, – я лично пришел в такое состояние духа, что возжелал отплатить взаимностью за ее великодушие. Я хочу доказать мисс Саммерсон, что могу подняться на высоту, достичь которой она вряд ли полагала меня способным. Я вижу теперь, что образ, который я считал вырванным с корнем из моего сердца, на самом деле отнюдь не вырван. Он по-прежнему влечет меня неодолимо, и, поддаваясь этому влечению, я готов пренебречь теми об-

стоятельствами, кои не зависят ни от кого из нас, и вторично сделать предложение, которое я когда-то имел честь сделать мисс Саммерсон. Покорнейше прошу мисс Саммерсон соблаговолить принять от меня дом на площади Уолкот, контору и меня самого.

– Поистине очень великодушное предложение, сэр, – заметил опекун.

– А как же, сэр! – совершенно искренне согласился мистер Гаппи. – К этому-то я и стремлюсь – проявить великодушие. Конечно, я не считаю, что, делая предложение мисс Саммерсон, я приношу себя в жертву; не считают этого и мои друзья. Тем не менее имеются обстоятельства, которые, сдается мне, следует принять в расчет в качестве противовеса к кое-каким моим маленьким недочетам, – вот у нас и установится полное равновесие.

– Я возьму на себя смелость, сэр, ответить на ваше предложение от имени мисс Саммерсон, – со смехом сказал опекун и позвонил в колокольчик. – Очень тронутая вашими благими намерениями, она желает вам доброго вечера и всего хорошего.

– Вот так так! – произнес мистер Гаппи, тупо уставившись на нас. – Как же это надо понимать, сэр: как согласие, как отказ или как отсрочку?

– Понимайте как решительный отказ! – ответил опекун.

Мистер Гаппи, не веря своим ушам, бросил взгляд на друга, потом на мамашу, которая внезапно рассвирепела, потом

на пол, потом на потолок.

– В самом деле? – сказал он. – В таком случае, Джоблинг, если ты такой друг, каким себя изображаешь, ты, кажется, мог бы взять под ручку мамашу и вывести ее вон, чтоб она под ногами не путалась, – незачем ей оставаться там, где ее присутствие нежелательно.

Но миссис Гаппи решительно отказалась выйти вон и не путаться под ногами. Просто слышать об этом не захотела.

– Ну-ка, ступайте-ка отсюда вы, – сказала она опекуну. – Что еще выдумали! Это мой-то сын да не хорош для вас? Постыдились бы! Пошли вон!

– Но, почтеннейшая, – возразил опекун, – вряд ли разумно просить меня уйти из моей собственной комнаты.

– А мне плевать! – отрезала миссис Гаппи. – Пошли вон! Если мы для вас не хороши, так ступайте найдите себе жениха получше. Подите-ка поищите себе хороших!

Я была прямо поражена, увидев, как миссис Гаппи, которая только что веселилась до упаду, мгновенно обиделась до глубины души.

– Ну-ка, подите-ка да поищите себе подходящего жениха, – повторяла миссис Гаппи. – Убирайтесь вон!

Но мы не убирались, и это, кажется, пуще всего удивляло и выводило из себя мамашу мистера Гаппи.

– Чего ж вы не уходите? – твердила она. – Нечего вам тут рассиживаться!

– Мамаша, – вмешался ее сын, забежав вперед и отпихнув

ее плечом, когда она боком налетела на опекуна, – намерены вы придержать язык или нет?

– Нет, Уильям, – ответила она, – не намерена! Не намерена, пока он не уберется вон отсюда!

Тем не менее мистер Гаппи и мистер Джоблинг вместе взялись за мамашу мистера Гаппи (которая принялась ругаться) и, к великому ее неудовольствию, потащили ее вниз, причем голос ее повышался на одну ступень всякий раз, как она спускалась со ступеньки лестницы, продолжая настаивать, чтобы мы сию же минуту пошли искать подходящего для нас жениха, а самое главное – убрались вон отсюда.

Глава LXV
Начало новой жизни

Началась судебная сессия, и опекун получил уведомление от мистера Кенджа, что дело будет слушаться через два дня. Я все-таки надеялась на завещание и волновалась, думая о том, как оно повлияет на исход дела, поэтому мы с Алленом условились пойти в суд с утра. Ричард был очень возбужден и вдобавок так истощен и слаб, хотя его все еще не считали больным, что моя дорогая девочка поистине нуждалась в поддержке. Но Ада ждала, что скоро – теперь уже очень скоро – получит помощь, на которую так надеялась, и потому никогда не поддавалась унынию.

Дело должно было разбираться в Вестминстере. Надо сознаться, что оно разбиралось там уже раз сто, и все же я не могла отделаться от мысли, что на этот раз судебное разбирательство, *может быть*, и приведет к какому-нибудь результату. Мы вышли из дому сразу же после первого завтрака, чтобы вовремя попасть в Вестминстер-Холл, и шли по оживленным улицам – так радостно это было и непривычно… идти вдвоем!

По дороге мы советовались, как нам помочь Ричарду и Аде, как вдруг я услышала, что кто-то окликает меня:

– Эстер! Милая Эстер! Эстер!

Оказалось, что это Кедди Джеллиби – она высунула голову из окна маленькой кареты, которую теперь нанимала, чтобы объезжать своих учеников (их было очень много), и тянулась ко мне, словно пытаясь обнять меня на расстоянии в сотню ярдов. Незадолго перед тем я написала ей письмо, в котором рассказывала о том, что сделал для меня опекун, но у меня все не хватало времени навестить ее. Мы, конечно, повернули назад, и моя любящая подруга пришла в такой восторг, с такой радостью вспоминала о том вечере, когда принесла мне цветы, так самозабвенно тискала мои щеки (а заодно и шляпку) и вообще так безумствовала, называя меня всяческими ласкательными именами и рассказывая Аллену о том, сколько я для нее сделала, что мне пришлось сесть рядом с ней и успокоить ее, позволив ей говорить и делать все, что душе угодно. Аллен стоял у дверцы кареты и радовался не меньше Кедди, а я радовалась не меньше их обоих; удивляюсь только, как это мне все-таки удалось от нее оторваться, а выскочив из кареты, я стояла растрепанная, с пылающими щеками, и, смеясь, смотрела вслед Кедди, которая тоже смотрела на нас из окошка, пока не скрылась из виду.

Из-за этого мы опоздали на четверть часа и, подойдя к Вестминстер-Холлу, узнали, что заседание уже началось. Хуже того, в Канцлерском суде сегодня набралось столько народу, что зал был набит битком – в дверь не пройдешь, и мы не могли ни видеть, ни слышать того, что творилось там внутри. Очевидно, происходило что-то смешное – вре-

мя от времени раздавался хохот, а за ним возглас: «Тише!» Очевидно, происходило что-то интересное – все старались протиснуться поближе. Очевидно, что-то очень потешало джентльменов-юристов, – несколько молодых адвокатов в париках и с бакенбардами стояли кучкой в стороне от толпы, и, когда один из них сказал что-то остальным, те сунули руки в карманы и так расхохотались, что даже согнулись в три погибели от смеха и принялись топать ногами по каменному полу.

Мы спросили у стоявшего возле нас джентльмена, не знает ли он, какая тяжба сейчас разбирается. Он ответил, что «Джарндисы против Джарндисов». Мы спросили, знает ли он, в какой она стадии. Он ответил, что, сказать правду, не знает, да и никто никогда не знал, но, насколько он понял, судебное разбирательство кончено. Кончено на сегодня, то есть отложено до следующего заседания? – спросили мы. Нет, ответил он, совсем кончено.

Кончено!

Выслушав этот неожиданный ответ, мы опешили и переглянулись. Возможно ли, что найденное завещание наконец-то внесло ясность в дело и Ричард с Адой разбогатеют? Нет, это было бы слишком хорошо, – не могло этого случиться. Увы, этого и не случилось!

Нам не пришлось долго ждать объяснений; вскоре толпа пришла в движение, люди хлынули к выходу, красные и разгоряченные, и с ними хлынул наружу спертый воздух. Од-

нако все были очень веселы и скорей напоминали зрителей, только что смотревших фарс или выступление фокусника, чем людей, присутствовавших на заседании суда. Мы стояли в сторонке, высматривая кого-нибудь из знакомых, как вдруг из зала стали выносить громадные кипы бумаг – кипы в мешках и кипы такой величины, что в мешки они не влезали, словом – неохватные груды бумаг в связках всевозможных форматов и совершенно бесформенных, под тяжестью которых тащившие их клерки шатались и, швырнув их до поры до времени на каменный пол зала, бежали за другими бумагами. Хохотали даже эти клерки. Заглянув в бумаги, мы увидели на каждой заголовок «Джарндисы против Джарндисов» и спросили какого-то человека (по-видимому, судейского), стоявшего среди этих бумажных гор, кончилась ли тяжба.

– Да, – сказал он, – наконец-то кончилась! – и тоже расхохотался.

Тут мы увидели мистера Кенджа, который выходил из зала суда и, с самым достойным и любезным видом, слушал, что говорил ему почтительным тоном мистер Воулс, тащивший свой собственный мешок с документами. Мистер Воулс увидел нас первый.

– Взгляните, сэр, вон стоит мисс Саммерсон, – сказал он. – И мистер Вудкорт.

– А, вижу, вижу! Да. Они самые! – отозвался мистер Кендж, снимая передо мною цилиндр с изысканной вежливостью. – Как поживаете? Рад вас видеть. А мистер Джарн-

дис не пришел?

Нет. Он никогда сюда не ходит, напомнила я ему.

– По правде сказать, это хорошо, что он не пришел сюда сегодня, – сказал мистер Кендж, – ибо его – позволительно ли будет сказать это в отсутствие нашего доброго друга? – его столь непоколебимые и своеобразные взгляды, пожалуй, только укрепились бы; без разумных оснований, но укрепились бы.

– Скажите, пожалуйста, что произошло сегодня? – спросил Аллен.

– Простите, что вы изволили сказать? – переспросил его мистер Кендж чрезвычайно вежливым тоном.

– Что произошло сегодня?

– Что произошло? – повторил мистер Кендж. – Именно. Да, ну что ж, произошло немногое… немногое. Перед нами возникло непредвиденное препятствие… мы были вынуждены, я бы сказал, внезапно остановиться… если можно так выразиться… на пороге.

– А найденное завещание, оно признано документом, имеющим законную силу, сэр? – спросил Аллен. – Разъясните нам это, пожалуйста.

– Конечно, разъяснил бы, если бы мог, – ответил мистер Кендж, – но этого вопроса мы не обсуждали… не обсуждали…

– Этого вопроса мы не обсуждали, – как эхо, повторил мистер Воулс своим глухим утробным голосом.

– Вам следует иметь в виду, мистер Вудкорт, – заметил мистер Кендж, убеждающе и успокоительно помахав рукой, точно серебряной лопаточкой, – что тяжба эта была незаурядная, тяжба эта была длительная, тяжба эта была сложная. Тяжбу «Джарндисы против Джарндисов» довольно остроумно называют монументом канцлерской судебной практики.

– На котором с давних пор стояла статуя Терпения, – сказал Аллен.

– Поистине очень удачно сказано, сэр, – отозвался мистер Кендж, снисходительно посмеиваясь, – очень удачно! Далее, вам следует иметь в виду, мистер Вудкорт, – тут внушительный вид мистера Кенджа перешел в почти суровый вид, – что на разбирательство этой сложнейшей тяжбы с ее многочисленными трудностями, непредвиденными случайностями, хитроумными фикциями и формами судебной процедуры была затрачена уйма стараний, способностей, красноречия, знаний, ума, мистер Вудкорт, высокого ума. В течение многих лет… э… я бы сказал, цвет Адвокатуры и… э… осмелюсь добавить, зрелые осенние плоды Судейской мудрости в изобилии предоставлялись тяжбе Джарндисов. Если общество желает, чтобы ему служили, а страна – чтобы ее украшали такие Мастера своего дела, за это надо платить деньгами или чем-нибудь столь же ценным, сэр.

– Мистер Кендж, – сказал Аллен, который, видимо, сразу все понял, – простите меня, но мы спешим. Не значит ли это, что все спорное наследство полностью истрачено на уплату

судебных пошлин?

– Хм! Как будто так, – ответил мистер Кендж. – Мистер Воулс, а *вы* что скажете?

– Как будто так, – ответил мистер Воулс.

– Значит, тяжба прекратилась сама собой?

– Очевидно, – ответил мистер Кендж. – Мистер Воулс?

– Очевидно, – подтвердил мистер Воулс.

– Родная моя, – шепнул мне Аллен, – Ричарду это разобьет сердце!

Он переменился в лице и так встревожился, – ведь он хорошо знал Ричарда, чье постепенное падение я сама наблюдала уже давно, – что слова, сказанные моей дорогой девочкой в порыве проникновенной любви, вдруг вспомнились мне и зазвучали в моих ушах похоронным звоном.

– На случай, если вам понадобится мистер Карстон, сэр, – сказал мистер Воулс, следуя за нами, – имейте в виду, что он в зале суда. Я ушел, а он остался, чтобы немножко прийти в себя. Прощайте, сэр, прощайте, мисс Саммерсон.

Завязывая шнурки своего мешка с документами, он впился в меня столь памятным мне взглядом хищника, медленно пожирающего добычу, и приоткрыл рот, как бы затем, чтобы проглотить последний кусок своего клиента, а затем поспешил догнать мистера Кенджа, – должно быть, из боязни оторваться от благожелательной сени велеречивого столпа юриспруденции – и вот уже его черная, застегнутая на все пуговицы зловещая фигура проскользнула к низкой двери в

конце зала.

– Милая моя, – сказал мне Аллен, – оставь меня ненадолго с тем, кого ты поручила мне. Поезжай домой с этой новостью и потом приходи к Аде!

Я не позволила ему проводить меня до кареты, но попросила его как можно скорее пойти к Ричарду, добавив, что сделаю так, как он сказал. Быстро добравшись до дому, я пошла к опекуну и сообщила ему, с какой новостью я вернулась.

– Что ж, Хлопотунья, – промолвил он, ничуть не огорченный за себя самого, – чем бы ни кончилась эта тяжба, счастье, что она кончилась, – такое счастье, какого я даже не ожидал. Но бедные наши молодые!

Все утро мы проговорили о них, думая и раздумывая, чем бы им помочь. Во второй половине дня опекун проводил меня до Саймондс-Инна, и мы расстались у подъезда. Я поднялась наверх. Услышав мои шаги, моя милая девочка вышла в коридор и кинулась мне на шею; но сейчас же овладела собой и сказала, что Ричард уже несколько раз спрашивал обо мне. По ее словам, Аллен отыскал его в зале суда – Ричард забился куда-то в угол и сидел как каменный. Очнувшись, он вспыхнул и, видимо, хотел было обратиться к судье с гневной речью. Но не смог, потому что кровь хлынула у него изо рта, и Аллен увез его домой.

Когда я вошла, он лежал на диване, закрыв глаза. Рядом на столике стояли лекарства; комнату хорошо проветри-

ли и привели в полный порядок – в ней было полутемно и очень тихо. Аллен стоял около дивана, не сводя с больного внимательных глаз. Лицо Ричарда показалось мне мертвенно-бледным, и теперь, глядя на него, пока он меня еще не видел, я впервые поняла, до чего он измучен. Но я давно уже не видела его таким красивым, как в этот день.

Я молча села рядом с ним. Вскоре он открыл глаза и, улыбаясь своей прежней улыбкой, проговорил слабым голосом:

– Старушка, поцелуйте меня, дорогая!

Меня очень утешило, хоть и удивило, что он и в этом тяжелом состоянии не утратил бодрости духа и с надеждой смотрел на будущее. Он говорил, что радуется нашей предстоящей свадьбе, да так, что слов не хватает. Ведь Аллен был ангелом-хранителем для него и Ады; и он благословляет нас обоих и желает нам всех радостей, какие только может принести нам жизнь. Я почувствовала, что сердце у меня готово разорваться, когда увидела, как он взял руку моего жениха и прижал ее к своей груди.

Мы как можно больше говорили о будущем, и он несколько раз сказал, что приедет к нам на свадьбу, если только здоровье позволит ему встать. Ада как-нибудь ухитрится привезти его, добавил он. «Ну, конечно, милый мой Ричард!» Откликаясь на его слова, моя дорогая девочка, спокойная и прекрасная, казалось, все еще надеялась на ту поддержку, которую должна была получить так скоро, а я уже все поняла… все!..

Ему было вредно много говорить, и когда он умолкал, мы умолкали тоже. Сидя рядом с ним, я сделала вид, что углубилась в какое-то рукоделье, предназначенное для моей любимой подруги, – ведь он привык подшучивать надо мною за то, что я вечно чем-нибудь занята. Ада облокотилась на его подушку и положила его голову к себе на плечо. Он часто впадал в забытье, а проснувшись, сразу спрашивал, если не видел Аллена:

– Где же Вудкорт?

Настал вечер; и вдруг, случайно подняв глаза, я увидела, что в маленькой передней стоит опекун.

– Кто там, Хлопотунья? – спросил Ричард. Он лежал спиной к двери, но по выражению моего лица догадался, что кто-то пришел.

Я взглядом спросила у Аллена, как быть; он кивнул, и я тогда нагнулась к Ричарду и сказала ему, кто пришел. Опекун все это видел и, тотчас же подойдя ко мне, тихонько покрыл ладонью руку Ричарда.

– Вы, вы пришли! – воскликнул Ричард. – Какой вы добрый, какой добрый! – И тут впервые за этот день из глаз его хлынули слезы.

Опекун – олицетворение доброты – сел на мое место, не снимая руки с руки Ричарда.

– Милый Рик, – проговорил он, – тучи рассеялись, и стало светло. Теперь мы все видим ясно. Все мы когда-нибудь заблуждались, Рик, – кто больше, кто меньше. Все это пустяки.

Как вы себя чувствуете, мой милый мальчик?

– Я очень слаб, сэр, но надеюсь, что поправлюсь. Придется теперь начинать новую жизнь.

– Правильно; хорошо сказано! – воскликнул опекун.

– Я начну ее не так, как раньше, – сказал Ричард с печальной улыбкой. – Я получил урок, сэр. Жестокий был урок, но я извлек из него пользу, не сомневайтесь в этом.

– Ну полно, полно, – утешал его опекун, – полно, полно, милый мой мальчик!

– Я думал, сэр, – продолжал Ричард, – что ничего на свете мне так не хотелось бы, как увидеть их дом, то есть дом Хлопотуньи и Вудкорта. Вот если бы можно было перевезти меня туда, когда я начну поправляться, – там я, наверное, выздоровлю скорее, чем в любом другом месте.

– А я и сам уже думал об этом, Рик, – сказал опекун, – да и наша Хлопотунья тоже – мы как раз сегодня говорили об этом с нею. Надеюсь, муж ее ничего не будет иметь против. Как вы думаете?

Ричард улыбнулся и поднял руку, чтобы дотронуться до Аллена, стоявшего у его изголовья.

– Об Аде я не говорю ничего, – сказал Ричард, – но думаю о ней постоянно. Взгляните на нее! Видите, сэр, как она склоняется над моей подушкой, а ведь ей самой так нужно положить на нее свою бедную головку и отдохнуть… любовь моя, милая моя бедняжка!

Он обнял ее, и все мы умолкли. Но вот он медленно вы-

пустил Аду из своих объятий, а она оглядела всех нас, обратила взор к небу, и губы ее дрогнули.

– Когда я приеду в новый Холодный дом, – продолжал Ричард, – мне придется многое рассказать вам, сэр, а вы многому меня научите. Вы тоже приедете туда, правда?

– Конечно, дорогой Рик!

– Спасибо!.. Узнаю вас, узнаю! – сказал Ричард. – Впрочем, я узнаю вас во всем, что вы теперь сделали… Мне рассказали, как вы устроили их дом, как вспомнили о вкусах и привычках Эстер. Вот приеду туда, и мне будет казаться, что я вернулся в старый Холодный дом.

– Но, надеюсь, вы и туда приедете, Рик? Вы знаете, я теперь буду жить совсем один, и тот, кто ко мне приедет, окажет мне великую милость. Да, дорогая моя, великую милость! – повторил он, повернувшись к Аде, и, ласково погладив ее по голове, отделил от ее золотистых волос один локон и приложил его к губам. (Мне кажется, он тогда в душе дал себе обет заботиться о ней, если ей придется остаться одной.)

– Все это было как страшный сон! – проговорил Ричард, крепко сжимая руки опекуну.

– Да, но только сон, Рик… только сон.

– А вы, такой добрый, можете ли вы забыть все это, как сон, простить и пожалеть спящего, отнестись к нему снисходительно и ободрить его, когда он проснется?

– Конечно, могу. Кто я сам, как не спящий, Рик?

– Я начну новую жизнь! – сказал Ричард, и глаза его засияли.

Мой жених наклонился к Аде, и я увидела, как он торжественно поднял руку, чтобы предупредить опекуна.

– Когда ж я уеду отсюда в те чудесные места, где все будет, как было в прежние годы, где у меня хватит сил рассказать, чем была для меня Ада, где я смогу искупить многие свои ошибки и заблуждения, где я буду готовиться к воспитанию своего ребенка? – сказал Ричард. – Когда я уеду туда?

– Когда вы достаточно окрепнете, милый Рик, – ответил опекун.

– Ада, любимая!

Ричард силился приподняться. Аллен приподнял его, так чтобы Ада смогла обнять его, как ему этого хотелось.

– Я много огорчал тебя, родная моя. Я пересек твой путь, словно какая-то бедная заблудшая тень; я взял тебя замуж и принес тебе только бедность и горе; я промотал твое состояние. Ты простишь мне все это, моя Ада, прежде чем я начну новую жизнь?

Улыбка озарила его лицо, когда Ада нагнулась и поцеловала его. Он медленно склонил голову ей на грудь, крепче обвил руками ее шею и с прощальным вздохом начал новую жизнь… Не в нашем мире, о нет, не в нашем! В том мире, где исправляют ошибки нашего.

Поздно вечером, когда дневной шум утих, бедная помешанная мисс Флайт пришла ко мне вся в слезах и сказала,

что выпустила на волю своих птичек.

Глава LXVI
В Линкольншире

Тихо стало в Чесни-Уолде с тех пор, как жизнь там течет по-новому, с тех пор, как смолкли сплетни об одной главе из истории рода Дедлоков. Ходит слух, будто сэр Лестер деньгами замкнул уста тем, что могли бы говорить; но это слух недостоверный, он передается шепотом, ползет еле-еле, а если и вспыхивает в нем искра жизни, то она скоро угасает. Известно, что красавица леди Дедлок покоится теперь в родовом мавзолее под темной сенью деревьев, в парке, где по ночам гулко кричат совы; но откуда ее привезли домой, чтобы положить в этом уединенном месте, и отчего она умерла – все это тайна. Некоторые ее прежние приятельницы, главным образом из числа прелестниц с персиковыми щечками и костлявыми шейками, обмолвились как-то раз, зловеще играя огромными веерами – подобно прелестницам, вынужденным флиртовать с неумолимой смертью после того, как растеряли всех прочих своих вздыхателей, – обмолвились как-то раз, когда весь «большой свет» был в сборе, что они удивляются, почему останки Дедлоков, погребенных в мавзолее, не возмущены ее кощунственным присутствием. Но покойные Дедлоки относятся к нему совершенно невозмутимо и никогда не протестуют.

Время от времени в этом глухом углу слышен топот копыт, который доносится из лощины, заросшей папоротником, и с тропинки, вьющейся между деревьями, и вскоре верхом на коне появляется сэр Лестер, одряхлевший, сгорбленный, почти слепой, но все еще представительный, и с ним другой всадник, рослый крепкий мужчина, готовый в любую минуту подхватить поводья, если их уронит его хозяин. Как только они подъезжают к мавзолею, конь сэра Лестера привычно останавливается перед входом, а сэр Лестер снимает шляпу, и, молча постояв тут, всадники удаляются.

Война с дерзким Бойторном все еще свирепствует, хотя вспыхивает она лишь изредка, то разгораясь, то угасая, как пламя, трепещущее на ветру. А все потому, как слышно, что, когда сэр Лестер навсегда переехал в Линкольншир, мистер Бойторн недвусмысленно выразил желание отказаться от своего права на спорную тропинку и выполнить все требования сэра Лестера; но сэр Лестер, поняв это как снисхождение к его немощам или несчастью, так вознегодовал и так величественно оскорбился, что мистер Бойторн оказался вынужденным снова нарушить мир и среди бела дня вторгнуться во владения соседа, чтобы вернуть ему спокойствие духа. Итак, мистер Бойторн по-прежнему воздвигает на спорной тропинке деревянные щиты с грозными предупреждениями и (с птичкой на голове) держит громовые речи против сэра Лестера в святилище собственного дома, а в церковке ведет себя по-прежнему вызывающе, делая вид, будто совершенно

не замечает присутствия баронета. Однако ходит слух, что чем более яростно гневается мистер Бойторн на своего давнего врага, тем больше он в глубине души печется о его благе; но сэр Лестер в своей гордой непреклонности и не догадывается, как его ублажают. Нимало не подозревает он и о том, как близко подошел его путь к пути противника, когда оба они сплели свои судьбы с судьбами двух сестер, и оба от этого пострадали; а противник его, который теперь об этом узнал, уж, конечно, ничего ему не скажет. Таким образом, распря продолжается, к величайшему удовлетворению обеих сторон.

В одной из сторожек, разбросанных по парку, – той, которая видна из дома (в дни, когда Линкольншир был залит водой, миледи часто видела близ нее ребенка сторожа), – теперь живет рослый мужчина, отставной кавалерист. Несколько реликвий, оставшихся от его прежней службы, развешаны здесь по стенам, и нет более приятного развлечения для хромого коротыша, который работает на конном дворе, как натирать их до блеска. Коротыш никогда не сидит сложа руки: примостившись у входа в шорную, он полирует стремена, удила, мундштучные цепочки, бляхи на сбруе, вообще весь конюшенный инвентарь, какой только можно полировать, и, таким образом, ведет жизнь, целиком заполненную полировкой. Потрепанный, маленький, искалеченный человек, он не лишен сходства со старым псом смешанной породы, который вынес немало колотушек. Его зовут Фил.

Приятно смотреть на величавую старуху домоправительницу (еще более туговатую на ухо, чем раньше), когда она идет в церковь под руку с сыном, и наблюдать – что удается немногим, ибо теперь в доме почти не бывает гостей, – как обходятся они с сэром Лестером и как он обходится с ними. В разгаре лета к ним приезжают друзья, и тогда серая накидка и зонт, которых в другое время в Чесни-Уолде не видно, мелькают сквозь зеленую листву; тогда в заброшенных пильных ямах и других глухих уголках парка резвятся две девочки, а у входа в сторожку, где живет кавалерист, дымок из двух трубок вьется в душистом вечернем воздухе. Тогда в сторожке заливается флейта, играющая вдохновенную мелодию «Британских гренадеров», а под вечер двое мужчин прохаживаются взад и вперед и слышно, как кто-то произносит грубоватым твердым голосом: «Но при старухе я этого не говорю. Надо соблюдать дисциплину».

Большая часть дома заперта, и посетителям его уже не показывают; но сэр Лестер, как и встарь, поддерживая свое одряхлевшее достоинство, возлежит на прежнем месте, перед портретом миледи. По вечерам свечи в гостиной горят только в этом углу, огороженном широкими экранами, но кажется, будто круг света мало-помалу сужается и тускнеет, и недалеко то время, когда и здесь воцарится тьма. Сказать правду, еще немного, и для сэра Лестера свет угаснет совсем, а сырая дверь мавзолея, которая закрывается так плотно и открывается с таким трудом, распахнется, чтобы его

впустить.

Длинными вечерами Волюмния, чье лицо с течением времени все больше багровеет там, где ему надлежит быть румяным, и все больше желтеет там, где оно должно быть белым, читает вслух сэру Лестеру и, вынужденная прибегать к различным уловкам, чтобы подавить зевоту, находит, что лучше всего это удается, когда берешь в рот жемчужное ожерелье и придерживаешь его розовыми губками. Читает она все больше многословные трактаты, в которых обсуждается вопрос о Баффи и Будле и доказывается, как непорочен Баффи и как мерзок Будл, или что страна погибает, ибо привержена к Будлу, а не к Баффи, или что она спасена, ибо предалась Баффи, а не Будлу (обязательно – тому или другому, а третьего быть не может). Сэру Лестеру все равно что слушать, и слушает он не очень внимательно, хотя всякий раз, как Волюмния отваживается умолкнуть, он немедленно просыпается и, повторив звучным голосом последнее произнесенное ею слово, с легким неудовольствием осведомляется, не утомилась ли она. Впрочем, Волюмния, по-птичьи порхая и поклевывая разные бумаги, узрела как-то раз документ, относящийся к ней и составленный в предвидении того самого, что когда-нибудь «случится» с ее родичем, а документ этот должен так щедро вознаградить ее в будущем за нескончаемое чтение вслух, что уже теперь удерживает на почтительном расстоянии даже дракона Скуку.

Родственники перестали гостить в унылом Чесни-Уолде

и съезжаются ненадолго лишь во время охотничьего сезона, когда в зарослях гремят выстрелы и несколько егерей и загонщиков, разбросанных по лесу, поджидают на прежних местах, не появится ли пара или тройка невеселых родственников. Изнемогающий кузен, которого здешняя скука доводит до полного изнеможения, впадает в ужасающе удрученное состояние духа и, когда не охотится, стонет под гнетущим грузом диванных подушек, уверяя, что в этой чегтовой стагой тюгме пгямо взбеситься можно…

Единственные праздники для Волюмнии в этом столь изменившемся линкольнширском поместье – это те немногие и очень редкие дни, когда она считает своим долгом послужить графству Линкольншир или всему отечеству вообще, украсив своим присутствием благотворительный бал. И тогда эта чопорная сильфида преображается в юную фею и под конвоем кузенов, ликуя, трясется четырнадцать миль по скверной дороге, направляясь в убогий, запущенный бальный зал, который в течение трехсот шестидесяти четырех суток каждого невисокосного года напоминает дровяной склад у антиподов, – так набит он ветхими столами и стульями, опрокинутыми ножками кверху. Тогда она и впрямь покоряет все сердца своей снисходительностью, девической живостью и способностью порхать не хуже, чем в те дни, когда у безобразного старого генерала со ртом, набитым зубами, еще не прорезалось ни одного зуба ценою по две гинеи за штуку. Тогда эта буколическая нимфа знатного рода

кружится и вертится, выполняя сложные фигуры танца. Тогда к ней подлетают поклонники с чаем, лимонадом, сандвичами и комплиментами. Тогда она бывает ласковой и жестокой, величавой и скромной, переменчивой и пленительно капризной. Тогда напрашивается забавная параллель между нею и украшающими этот бальный зал маленькими хрустальными канделябрами прошлого века с тощими ножками, скудными подвесками, нелепыми шишечками без подвесок, голыми веточками, разронявшими и подвески и шишечки, и чудится, будто все эти канделябры с их слабым радужным мерцанием – двойники Волюмнии.

Все остальное время жизнь Волюмнии в Линкольншире – это не жизнь, а длительное пустое прозябание в пережившем себя доме, взирающем на деревья, которые вздыхают, заламывают руки, склоняют головы и, предавшись беспросветному унынию, роняют слезы на оконные стекла. Величественный лабиринт, он теперь не столько обитель древнего рода живых людей и их неживых подобий, сколько обиталище древнего рода отзвуков и отголосков, что вылетают из бесчисленных своих могил после каждого звука и отдаются по всему зданию. Дом – пустыня, с коридорами и лестницами, по которым не ходят люди; дом, где стоит ночью уронить гребень на пол спальни, как послышатся чьи-то крадущиеся шаги, которые пойдут блуждать по всем комнатам. Дом, по которому редко кто отваживается бродить в одиночку; где служанка взвизгивает, если из камина выпадает уголек, ни с

того ни с сего принимается плакать, становится жертвой душевной тоски, предупреждает о своем намерении уволиться и уезжает.

Вот каков ныне Чесни-Уолд. Такой в нем теперь мрак и запустение; так мало он меняется, все равно, освещен ли он летним солнцем, или погружен в зимний сумрак; такой он всегда хмурый и безлюдный – днем над ним уже не развевается флаг, ночью не сияют огнями его окна; нет в нем больше хозяев, которые то приезжают, то уезжают, нет гостей, чтобы вдохнуть душу в темные холодные клетки комнат; не шевелится в нем жизнь, и даже чужому глазу видно, что страсть и гордость умерли в линкольнширском поместье и обрекли его на тупое спокойствие.

Глава LXVII
Конец повести Эстер

Вот уже целых семь счастливых лет, как я – хозяйка Холодного дома. К тому, что я написала, осталось добавить всего лишь несколько слов; вскоре они будут написаны, и тогда я навеки прощусь с неведомым другом, для которого я все это пишу; я сохраню немало дорогих мне воспоминаний, надеюсь, кое-что останется в памяти и у него или у нее.

Милую мою девочку отдали на мое попечение, и я не расставалась с ней много недель. Ребенок, на которого возлагали столько надежд, родился раньше, чем могилу его отца обложили дерном. Это был мальчик, и мы с мужем и опекуном назвали его Ричардом в честь отца.

Помощь, на которую так надеялась моя дорогая подруга, пришла; но провидение прислало ее с иной целью. Младенец родился, чтобы вернуть жизнь и счастье матери, а не отцу, и он выполнил свое назначение. Когда я узнала, какие силы таятся в этой слабой ручонке, как исцеляет она своим прикосновением сердце моей любимой, вселяя в него надежду, я увидела новый смысл в господней благости и милосердии.

И вот мать и дитя постепенно окрепли – я увидела, как моя дорогая девочка стала иногда выходить в мой деревенский сад и гулять с ребенком на руках. В то время я уже была

замужем. Я была счастливейшей из счастливых.

Как раз в это время у нас гостил опекун, и однажды он спросил Аду: когда же она вернется домой?

– Оба дома родные для вас, дорогая моя, – сказал он, – но старший Холодный дом претендует на первенство. Когда вы окрепнете, и вы и мой мальчик, переезжайте в свой родной дом.

Ада называла его «милым кузеном Джоном». Но он сказал, что теперь она должна называть его опекуном. Ведь отныне он будет опекуном и ей, и мальчику; к тому же он давно привык, чтобы его так называли. Тогда она назвала его «опекуном» и с тех пор всегда называет его так. Дети даже не знают, что у него есть какое-нибудь другое имя.

Я сказала – «дети», потому что у меня родились две дочки.

С трудом верится, что Чарли (а у нее все такие же круглые глаза, и она по-прежнему не в ладах с грамматикой) теперь замужем за нашим соседом-мельником. Но верится или не верится, а это правда, и сейчас, ранним летним утром, когда я, оторвав глаза от стола, за которым пишу, бросаю взгляд в окно, я вижу, что колеса их мельницы начинают вертеться. Надеюсь, мельник не избалует Чарли; но что поделаешь – он в ней души не чает, а Чарли очень гордится своим браком, потому что муж у нее человек зажиточный и считался завидным женихом. Теперь у меня новая маленькая горничная, и, глядя на нее, мне кажется, будто время остановилось – семь

лет стоит так же неподвижно, как стояли мельничные колеса полчаса назад, – а все потому, что крошка Эмма, сестра Чарли, теперь точь-в-точь такая, какою Чарли сама была когда-то. Что касается Тома, брата Чарли, не знаю, право, сколько он успел пройти по арифметике, пока учился в школе, но думаю, что до десятичных дробей все-таки дошел. Как бы то ни было, он работает у мельника, и он такой хороший, застенчивый парень – всегда в кого-нибудь влюблен и всегда этого стыдится.

Кедди Джеллиби провела у нас свои последние каникулы и была еще милее прежнего – только и делала, что до упаду танцевала с детьми и дома и в саду, словно уроки танцев ей ничуть не надоели. Теперь Кедди уже не нанимает кареты, но держит свою собственную, да и живет она в целых двух милях к западу от Ньюмен-стрит. Работает она очень много, потому что ее муж (очень любящий муж) стал прихрамывать и почти не может ей помогать. Тем не менее она ничуть не жалуется на судьбу и с величайшей охотой делает все, что ей приходится делать. Мистер Джеллиби все свои вечера просиживает у нее, прислонившись головой к стене в ее новой квартире, как сидел в старой. Я слышала, будто миссис Джеллиби была жестоко уязвлена унизительным для нее замужеством и ремеслом дочери; но эта язва, кажется, уже зажила. В колонии Бориобула-Гха она разочаровалась – затея потерпела неудачу, потому что бориобульский царек вдруг решил обменять на ром всех колонистов, вернее – тех, ко-

му удалось выжить в тамошнем климате, – но теперь миссис Джеллиби принялась добиваться того, чтобы женщины получили право заседать в парламенте, и Кедди говорила мне, что эта новая миссия требует еще более обширной корреспонденции, чем старая. Я чуть было не забыла о бедной дочурке Кедди. Теперь она уже не такая жалкая крошка, какой была, но она глухонемая. Пожалуй, нет на свете лучшей матери, чем Кедди, – ведь как ни мало у нее свободного времени, она ухитряется изучать разные способы обучения глухонемых, чтобы облегчить жизнь своему ребенку.

Я, кажется, никогда не кончу рассказывать о Кедди, – вот и сейчас вспомнила про Пищика и мистера Тарвидропа-старшего. Пищик теперь служит в таможне, и весьма успешно. Мистер Тарвидроп-старший так растолстел, что кажется, будто его вот-вот удар хватит, но он по-прежнему рисуется своим «хорошим тоном» в общественных местах, по-прежнему наслаждается жизнью на свой лад и по-прежнему пользуется тем, что в него слепо верят. Он все так же покровительствует Пищику и, кажется, даже завещал юноше свои любимые французские часы, которые висят на стене в его будуаре… но принадлежат не ему.

Первые же деньги, которые нам удалось скопить, мы употребили на расширение своего уютного домика – пристроили к нему специально для опекуна маленькую Брюзжальню и самым торжественным образом открыли ее, когда он приехал к нам погостить. Я стараюсь писать все это в легком тоне,

потому что приближаюсь к концу своей повести и чувствую, как переполнено мое сердце, а когда пишу об опекуне, то и вовсе не могу удержаться от слез.

Глядя на него, я всегда вспоминаю о том, как наш бедный дорогой Ричард назвал его добрым человеком. Аде и ее прелестному мальчику он стал горячо любящим отцом; а со мной он все тот же, каким был всегда; так как же мне назвать его? Он лучший и самый близкий друг моего мужа, он любимец наших детей. Мы любим его глубочайшей благоговейной любовью. Но хотя он всегда представляется мне каким-то высшим существом, я чувствую себя с ним так просто, так легко, что сама себе удивляюсь. Я не утратила ни одного из своих прежних ласкательных имен и прозвищ, не утратил и он своего, и когда он гостит у нас, я всегда сижу рядом с ним в своем старом кресле. «Старушка», «Хлопотунья», «Хозяюшка» – так зовет он меня по-прежнему, а я по-прежнему отвечаю: «Да, дорогой опекун!»

С тех пор как он подвел меня к крыльцу нашего дома, чтобы я прочла его название, я ни разу не замечала, чтобы ветер дул с востока. Однажды я сказала опекуну, что теперь как будто никогда не бывает восточного ветра, а он сказал: что правда, то правда, в самом деле не бывает; в один памятный день ветер навсегда перестал дуть с востока.

Мне кажется, что моя дорогая подруга стала еще красивее прежнего. Скорбь, омрачившая Аду и теперь исчезнувшая, как бы омыла ее невинное личико, и оно стало каким-то воз-

вышенно-непорочным. По временам, когда я поднимаю глаза и вижу, как она в черном траурном платье, которого еще не снимает, дает урок моему Ричарду, я чувствую, – трудно это выразить! – как приятно мне было бы знать, что она поминает в своих молитвах свою милую Эстер.

Я назвала мальчика «мой Ричард»! Но ведь он говорит, что у него две мамы, и я одна из них.

Сбережений у нас немного, но мы живем в достатке и ни в чем не нуждаемся. Всякий раз, как я выхожу из своего дома с мужем, я со всех сторон слышу, как благословляют его люди. Всякий раз, как я вхожу в чужой дом, чей бы он ни был, я слышу хвалы моему мужу или читаю их в благодарных глазах. Всякий раз, как я вечером ложусь спать, я засыпаю с уверенностью, что сегодня он облегчил чьи-то страдания и утешил человека в беде. Я знаю, что многие, очень многие неизлечимые больные в последний свой час благодарили его за терпеливый уход. Разве это не богатство?

Люди хвалят даже меня, как жену своего доктора. Людям приятно встречаться даже со мной, и они ставят меня так высоко, что это меня очень смущает. Всем этим я обязана ему, моему возлюбленному, моей гордости! Это ради него меня любят, так же как я делаю все, что делаю в жизни, ради него.

Дня два назад, нахлопотавшись к вечеру, – надо было приготовиться к приезду моей дорогой подруги, опекуна и маленького Ричарда, которые прибудут завтра, – я пошла

немного посидеть на крыльце, милом, памятном крыльце, и вдруг Аллен вернулся домой. Он спросил:

– Что ты здесь делаешь, бесценная моя Хозяюшка?

А я ответила:

– Луна светит так ярко, Аллен, а ночь так прекрасна, что мне захотелось тут посидеть и подумать.

– О чем же ты думала, моя милая? – спросил Аллен.

– Какой ты любопытный! – отозвалась я. – Мне почти стыдно говорить об этом, но все-таки скажу. Я думала о своем прежнем лице… о том, каким оно было когда-то.

– И что же ты думала *о нем*, моя прилежная пчелка? – спросил Аллен.

– Я думала, что ты все равно *не мог бы* любить меня больше, чем теперь, даже останься оно таким, каким было.

– Каким было когда-то? – со смехом проговорил Аллен.

– Ну да, разумеется, – каким было когда-то.

– Милая моя Хлопотунья, – сказал Аллен и взял меня под руку, – ты когда-нибудь смотришься в зеркало?

– Ты же знаешь, что смотрюсь; сам видел.

– И ты не видишь, что никогда еще ты не была такой красивой, как теперь?

Этого я не видела; да, пожалуй, не вижу и сейчас. Но я вижу, что дочурки у меня очень хорошенькие, что моя любимая подруга очень красива, что мой муж очень хорош собой, а у моего опекуна самое светлое, самое доброе лицо на свете, так что им совсем не нужна моя красота… даже если

допустить…